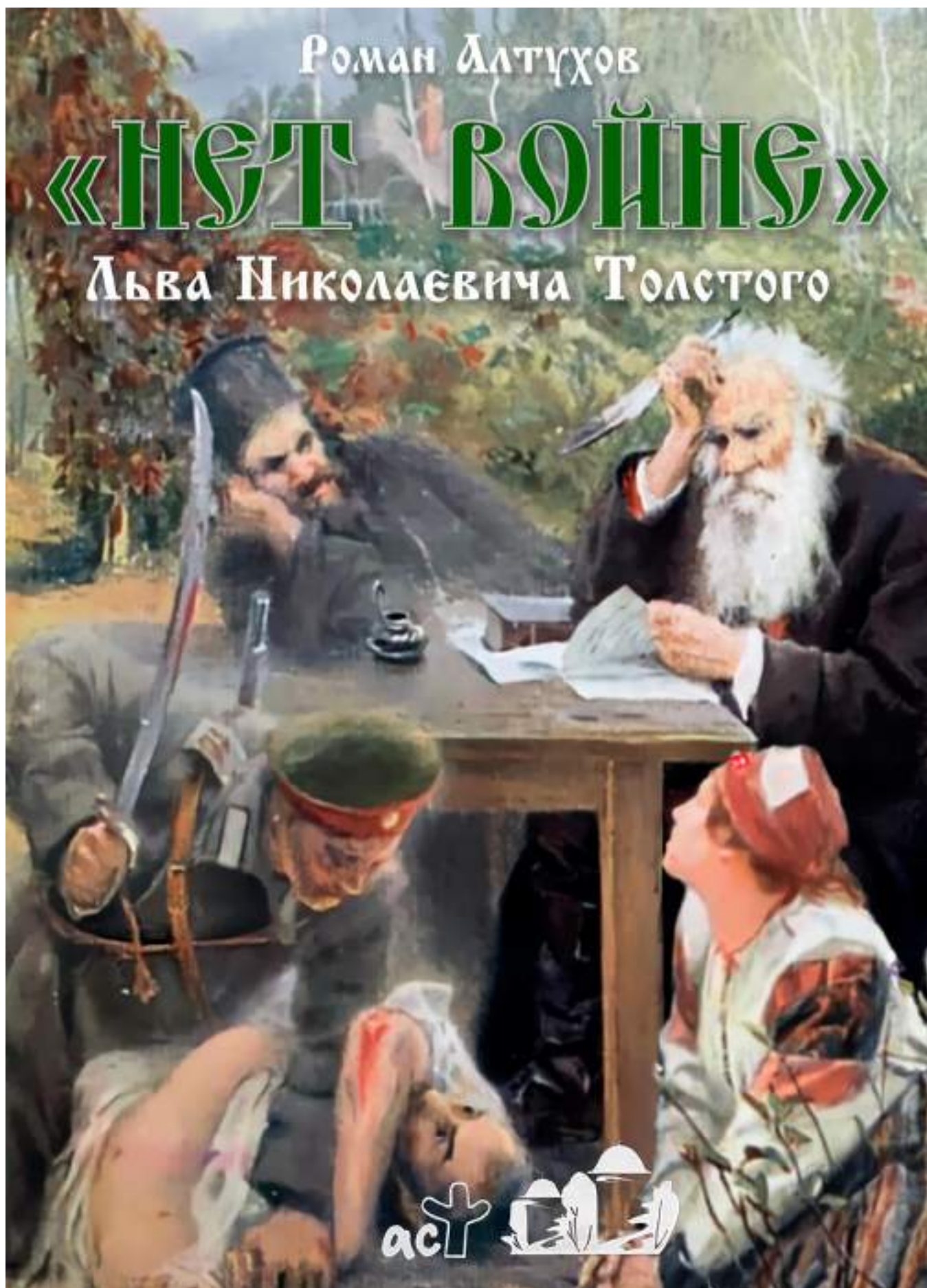


Роман Алтухов

# «НЕТ ВОЙНЕ»

Льва Николаевича Толстого



act 

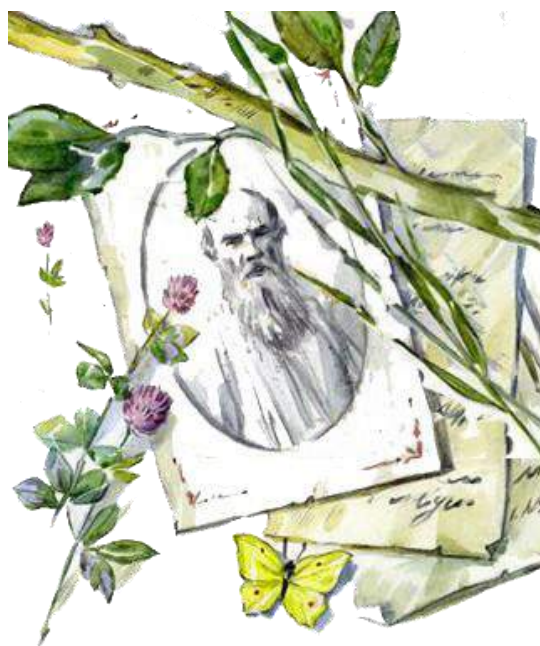
ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТИ НА ЗЕМЛЮ, И КАК ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ

Роман АЛТУХОВ

# «ЖЕТ ВОЙЖЕ!»

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА  
ТРАСТОРГО

Издание Второе, исправленное и дополненное



Ясная Поляна  
2023

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,  
под этим неизмеримым звёздным небом?  
Неужели может среди этой обаятельной природы  
удержаться в душе человека чувство злобы, мщения  
или страсти истребления себе подобных?

*(«Набег», 1853)*

Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют,  
стараясь заглушить в себе голос совести.

*(Дневник. 6 января 1853 г.)*

Стонит надеть на человека мундир, отдалить его от семейства и ударить в барабан, чтобы сделать из него зверя.

*(Из записной книжки на 1857 г.)*

Война — противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие.

*(«Война и мир», 1863–1868 гг.)*

Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилем, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться.

*(«Одумайтесь!» 1904)*

Для меня безумие, преступность войны, особенно в последнее время,  
когда я писал и потому много думал о войне,  
так ясны, что кроме этого безумия и преступности ничего не могу в ней видеть.

*(Письмо к Л.Л. Толстому. 15 апреля 1904 г.)*

Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов,  
приходящих в ужас при виде бедствий войны,  
а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести.

*(Из интервью французскому журналисту Ж. А. Бурдону (газета «Фигаро»).*  
*Ясная Поляна. 2 (15) марта 1904 г.)*

Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны; надеемся победить эту огромную силу  
всех правительств, имеющих в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы войск; в наших руках  
только одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина.

*(Доклад, подготовленный для Конгресса мира в Стокгольме, 1909 г.)*

УДК 821.161.1(031)  
ББК 83.3 (2Рос=Рус)1—8  
А34

А34      **Алтухов Р.** «Нет войне!» Льва Николаевича Толстого»  
*Монография.* Москва: АСТ – Тула: ИД «Ясная  
Поляна», 2023. – 1551 с., илл.

Исследуется эволюция воззрений Толстого-писателя и мыслителя, в разные периоды жизни, на этику, психологию и общественные практики войны, на военное «состояние», военный патриотизм. Автор особенно подчёркивает коренное отличие этического или христианского религиозного неприятия Л. Н. Толстым войны в сравнении с воззрениями и практиками пацифизма, к которому писателя часто причисляют.

*Публикуется в авторской редакции.  
Перепечатка допускается безвозмездно (даром).  
Все права защищены.*



# ЛЪВ ТОЛСТОЙ

## ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОТИВ ВОЙНЫ

(ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО)

### ОДИН. Проблематика

Так уж повелось, что, несмотря на общеизвестность евангельской максимы «не противьтесь злему» (*Мф.*, 5, 39), сама концепция «непротивления злему» насилем, или, иначе, ненасилия, в массовом сознании связывается нередко с именем не Иисуса Христа, а русского писателя, педагога, мыслителя и публициста Льва Николаевича Толстого.

При этом, с удивительной, но не осознаваемой, кажется, большинством парадоксальностью, Толстому-христианину «отводят», даже не спросив его мнения, местечко в стане вполне светских, и изначально политизированных «борцов» с войной. Писателя часто именуют пацифистом, анархо-пацифистом или, что уже теплее — пацифистом *христианским*. Разумеется, «пацифистом до «пацифизма»», если иметь в виду, что сам этот термин утвердился в европейских языках лишь накануне Первой мировой войны, а обозначаемое им общественно-политическое европейское движение не получило при жизни Толстого распространения в России и, по всем нашим наблюдениям, не вызывало долгое время, в середине и второй половине XIX столетия, вплоть до 1890-х годов, сколько-нибудь значительного интереса у Толстого: как и сам писатель, несмотря на растущую известность на Западе, до распространения его духовных писаний 1880-х годов и в особенности трактата уже начала 1890-х «Царство

Божие внутри вас», не воспринимался европацифистами как единомышленник.

Один из новейших исследователей, претендующих на роль биографа Толстого, и даже на своеобразное «прочтение» (осмысление) его жизни, Андрей Зорин, в книге «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» идёт по пути несопротивления массовому тренду и, быть может, даже и искренне, именуется «позднего» Толстого «радикальным анархистом» и «радикальным пацифистом» — подчёркивая при этом, что более благоразумная, не «радикальная» стадия имманентного личности писателя бунтарства пришлась на десятилетия жизни до религиозного перелома и прихода Толстого к началу 1880-х к чистой, первоначальной евангельской вере Христа (режим доступа: [http://leo-tolstoy.ucoz.ru/ISSLEDOVANIYA/Zorin\\_A-Jizn\\_Lva\\_Tolstogo\\_Opyit\\_P.a4.pdf](http://leo-tolstoy.ucoz.ru/ISSLEDOVANIYA/Zorin_A-Jizn_Lva_Tolstogo_Opyit_P.a4.pdf)).

По следочкам и стопочкам А. Зорина, Г. Ореханова и ряда других «властителей дум» читающего интеллектуального меньшинства в России движется орда популяризаторов, ориентирующаяся на более массового и менее подготовленного читателя — со своим наиболее разрекламированным в этой орде представителем, Павлом Басинским, автором нескольких глянцевого бестселлеров «про Толстого».

Буквально с начала агрессии путинской России в отношении свободного мира и прекрасной, героической маленькой Украины, с 24 февраля 2022 года, сеть интернет обогатилась шуткой, запущенной несомненными читателями и почитателями А. Зорина, П. Басинского и легиона подобных им, о «необходимости», в связи с навязчивой ложью подпутинских СМИ и системой запретов преступного режима Владимира Путина называть войну войною — переименовать знаменитый роман Л. Н. Толстого не иначе, как «Спецоперация и мир», а в связи с несколькими популярными антивоенными цитатами «из Толстого» в онлайн и офлайн сообществах рождались предположения о том, что «сказал» бы Лев Толстой по поводу начатой мировым преступником и его кремлёвской шайкой полномасштабной военной агрессии, именованной им «Специальной Военной Операцией» (СВО) и «что бы ему <Толстому> за это было».

Появились и защитники, идеологи «СВО» именем Толстого, среди которых особо стоит выделить потомка Льва Николаевича, видного деятеля бандитской партии «Единая Россия» Петра Толстого и желанного некогда гостя в Ясной Поляне, писателя Захара Прилепина. Обходя молчанием свидетельства безусловного протеста Толстого против войны и военно-патриотического обмана, фальсификаторы

сосредоточивают внимание на периоде военной службы молодого писателя или, скажем, на переживаниях уже старца-Толстого о гибели множества народа в не менее преступной для России, нежели нынешняя Украинская, Русско-японской войне, атрибутируемых ими как безусловно державно-патриотические.



Петр Толстой  
24 фев. в 14:22



Заседание Постоянного Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, конечно, было посвящено ситуации на Украине.

Пришлось напомнить нашим коллегам, что Россия в течение 8 лет призывала к диалогу, мы на всех площадках рассказывали о происходящем на Донбассе, говорили о том, к чему привел госпереворот 2014 года. Нас слушали? Нет. Вместо этого продолжали накачивать оружием и реализовывать проект «антиРоссия» на территории Украины.

Подчеркну, никто никогда не поставит Россию на колени, мы давали шанс убедиться в этом и в 1812 году, и в 1945. Сегодня же мы гарантируем безопасность мирных жителей и свободу выбора для всех украинцев, вынужденная операция по демилитаризации Украины коснется только военной инфраструктуры.

Образчик пропагандистской лжи потомка Толстого по имени Пётр.  
Сайт «ВКонтакте», 24 февраля 2022 г.

Итак, Толстой для значительного процента обитателей не только «русского», но и всего нашего лжехристианского мира — офицер и патриот, на старости лет, сбрендив, «скатившийся» до анархизма и пацифизма, да ещё и самых-самых радикальных!

Но всё не так просто и схематично — что, кстати, осознавалось и некоторыми исследователями темы в прошлом. Особенно любопытно наблюдать, как зёрнышки не то, что Христовой и Божьей правды-Истины, а хотя бы здравого смысла и научной, исследовательской принципиальной честности пробиваются сквозь шелуху неперемных в советском толстоведении идеологом «ленинизма» — в очень-очень старой книге замечательного Сергея Нестеровича Чубакова (род. 1935) — до прихода в науку, кстати, служившего на Северном флоте СССР и отставленного от этой службы в звании

офицера (в 1956 – 1959 гг.). Прислушаемся к едва слышному, сквозь бездну прошедших времён, голосу Сергея Нестеровича, к вынужденно «эзоповской», но оттого не менее правдивой речи этого разумного и даже по-офицерски, по-толстовски храброго, дерзкого, в условиях брежневской цензуры, но мало кем и тогда услышанного и понятого Человека:

«В советском литературоведении, к сожалению, до сих пор не изжито окончательно влияние концепции, заложенной Плехановым, согласно которой Толстой разделяется на две “половины” — великого художника и слабого мыслителя, и обе эти половины противопоставляются одна другой. В силу давней инертности и сегодня в отдельных исследовательских работах о писателе можно встретить знакомые избитые стереотипы: мол, в вопросах государства Толстой — анархист, по отношению к основным вопросам философии он — идеалист, что касается его взглядов на проблемы войны и мира, — тут Толстой с удивительной безапелляционностью дружно объявляется пацифистом. [...] В работах других исследователей само имя автора “Войны и мира” ассоциировалось со “знаменем пацифизма” (Брейтбург С. М. Предисловие к кн.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 39, с. XI), а его многочисленные антивоенные выступления 1890 – 1910-х годов — с “пацифистской проповедью” (Варшавский С. Л. Н. Толстой и русско-японская война // Литературный современник. 1934. № 4. С. 147).

Несколько позднее, вслед за Плехановым, “папой пацифизма” станет величать Толстого и Луначарский. К позиции Плеханова и Луначарского примыкали Ольминский, Аксельрод-Ортодокс, Фриче, Квитко и другие.

В то же время все эти авторы делают исключение по отношению к эстетическому наследию Толстого: тут писатель безоговорочно признаётся ими гениальным художником. Как будто можно быть “идеалистом”, “анархистом”, “пацифистом” и т. п., т. е. слабо разбираться в вопросах государства и права, религии, философии и социологии, войны и мира и одновременно выступать несравненным художником, с необыкновенно правдивой и точной достоверностью, реалистически изображать живую жизнь отдельных людей и целых народов на конкретном материале определённой исторической эпохи!

Нет, не вяжутся концы с концами у тех, кто объявляет Толстого слабым мыслителем. В действительности же — да простят нам читатели такое сравнение — Толстой — это такое угловатое, кряжистое,



“суковатое полено”, которое никому ещё не удалось и никогда не удастся, втиснуть ни в одну поленицу, ни в одно прокрустово ложе, именуемое то “идеализмом”, то “анархизмом”, то “пацифизмом” и т. п.

[...] Нет, не пацифизм, благонамеренный и робкий, не апелляция к милости власть имущих, а антимилитаризм [...] — вот то основное средство, тот “выход”, те “замки”, “ключи” и “отмычки”, которые предлагает Толстой для достижения вселенской гармонии и всеобщего мира людям, запертым “железной дверью в неразрушимых стенах” войны и насилия. По итоговому убеждению Толстого, “корень всего”, “замок, запирающий всё” — это не что иное, как военщина, “солдатство”, милитаризм. “Ключ” к этому “замку” — идея, долженствующая овладеть массами, мысль, которая должна стать всеобщей, об аморальности, преступности насилия, войны, милитаризма» (Чубаков С.Н. *“...Всё дело жизни...”*. Лев Толстой и поиски мира. Минск, 1978. С. 154 – 156).

Конечно, говоря об осуждении Толстым «аморальности» войны и военной службы, С. Н. Чубаков не мог в советском подцензурном издании развить тему — обосновав напрашивающийся из хода его суждений аргумент как о христианском, именно христианском религиозном, а не светско-гуманистическом характере моральной проповеди Толстого, так и собственно антивоенной проповеди Толстого, качественно и содержательно отличной от любых пацифистских дискурсов. Цензорами и тогда уже, в СССР, была сволочь интеллигентская, порченная городской жизнью — той самой городской цивилизацией, в условиях которой в Новое и Новейшее время умирает религиозная вера и торжествует безбожный, светский гуманизм, породивший среди прочих своих выскерков и выблядков, в том числе и гнусную движуху «пацифизма». Но сути дела это не меняет: вряд ли С. Н. Чубаков, глубоко изучивший и осмысливший духовные и антивоенные писания Толстого, мог бы сомневаться в том, о чём не мог высказать в советской книжке: в последовании великого яснополянца Христу!

Дело в том, что настоящее отношение Льва Николаевича Толстого именно к военному насилию не просто эволюционировало вместе с общественным и личным духовным опытом писателя, но и имело всегда существенные субъективные составляющие, отличающие их от критического настроения писателя в отношении, скажем, простой

драки или института смертных казней. Об отношении Толстого к последним мы подробно писали в другой нашей работе, вышедшей в “пилотном” электронном варианте в 2019-м и, с доработками, в 2021 годах под двумя названиями: «Лев Толстой против смертных казней» (2019) и «Лев Толстой и Россия убивающая» (2021). Данная книга, выходящая самостоятельно, могла бы быть написана и рассматриваться как Вторая часть последней из названных книг, так как значительная часть антивоенных откликов Толстого-христианина и Толстого-публициста связана, так или иначе, именно с событиями в России. Но, конечно, и не исключительно с Россией!

Вот наш предварительный тезис: Лев Николаевич Толстой и в антивоенных своих выступлениях шёл очень особенной, “своей” тропкой. Анализируя отношение Л. Н. Толстого к пацифизму со времени, когда, примерно на рубеже 1880 – 1890-х гг., он впервые обращает пристальное внимание на деятельность европейских и американских пацифистов, выразившее себя как в личной корреспонденции в их адрес, личном Дневнике писателя, так в особенности в ряде публицистических выступлений по теме — неизбежно признать, что даже самые близкие ему по антивоенным убеждениям люди, именно пацифисты и проповедники религиозного ненасилия, не совпадали с убеждениями яснополянца в ряде важнейших положений. И сойтись на одном «фундаменте» Толстому с ними было бы столь же затруднительно, как и с социалистами, с которыми так же ошибочно часто сближают Толстого — по причине «общественной критики», «обличений» в его художественных и публицистических писаниях.

Причина — как раз в том, что Толстой, минуя все исторические толкования, черпал христианские смыслы непосредственно из евангелий, опираясь на первоначальное учение Христа, на выраженное в нём то особенное *жизнепонимание*, о котором мы будем говорить дальше, на протяжении практически всей книги. «Фундамент» же даже наиболее близкого Толстому, именно *христианского* пацифизма — принципиально иной.

Средневековое отношение к проблеме войны и мира в западном христианстве строилось на воззрениях Отцов Церкви — прежде всего Блаженного Августина, а также Фомы Аквинского и других богословов, на основе фундаментальных тезисов о грехопадении и искуплении, о "граде Божьем" и "граде Земном". В рамках земного

уклада мир как отсутствие войны признавался абсолютной ценностью. Но поскольку "мир сей" греховен, отсутствие войны здесь считалось временным миром (рах temporalis), ибо "идеальный мир есть Бог, и земные владыки не способны достичь вечного мира" (рах æterna). (*Мир/Peace: Альтернативы войне от античности до конца Второй мировой войны. Антология. М., 1993. С. 66*).

Секулярные тенденции европейской общественной мысли, вооружавшейся от эпохи к эпохе всё больше положительным научным знанием, постепенно разрушают эту картину мира, меняют ориентиры человека и общества: они сводятся теперь к достижению "Царства Божия на Земле". Само по себе это устремление, как увидит читатель, весьма близко вере и убеждениям Толстого. Однако, начиная с трактатов гуманистов XVI – XVII вв. и особенно в трудах эпохи Просвещения, у аббата Сен-Пьера, Ж.-Ж. Руссо и конечно И. Канта, в это устремление включается идея "вечного мира" на Земле не как награды Свыше, от Бога, а как некоторой задачи, предполагающей положительную деятельность личностей и обществ. Предлагаются разные способы его достичь, причём если раньше под "justitia" понималась Божественная, в своём высшем проявлении, справедливость, то теперь совершается переход к светскому праву Нового времени. Из идеи универсального христианского единства вырастают проекты достижения мира на основе международного права — через федерации, союзы государств и т.п.

С идеалом *мирной жизни* в эпоху Просвещения совершилась та же секулярная подмена, подхваченная в России и до сих пор муssiруемая городской либеральной сволочью, что и с идеалом *свободы*. Для чистого христианского сознания свобода отнюдь не повседневное состояние, а награда за повиновение Отцу, Богу: за *усилие братства и равенства*, то есть старание быть хотя чуть-чуть лучше, нежели способна греховная природа наследников «ветхого Адама», если дать ей всю возможную «свободу» быть тем, что она есть: зверюшкой Дарвина полуфабрикатом начатой Божественным актом Творения (из предковых форм), но пока даже не продолженной, не говорим не оконченной, человечеством эволюции.

Награда эта — сладчайша, соблазнительна, подобна конфетам для дитя. И, как дитя вредный шоколад, так и человек свободу должен получать малыми угощениями — и не просто так! Если зверюшке Дарвина вдоволь жрать вкусняшек — будут повальные ожирение и иные отвратительные болезни. Если же пережрать человеку *свободы*,

забыв о смысле своей жизни как дитя, посланника и работника Отца, Бога на Земле...

Исторически уже в эпоху Просвещения эта погоня за *свободой* индивидов и особенно общностей привела к вакханалии насилия: революциям и кровопролитным войнам. Точно так же и декларативная погоня за *миром* — пронизательно изобличённая в этом, как мы покажем, Львом Толстым — привела, разумея *мир* международный, к страшнейшим до сего дня войнам в истории человечества, разумея же *мир* внутриобщественный — к удержанию и оправданию во многих странах жестоких наказаний для преступников, включая смертные казни и лжей, служащих оправданию и освящению системных, намеренно организуемых в обществах форм насилия.

При этом до появления таких антивоенных «радикалов», как Толстой, приоритетный интерес к проблеме насилия и войны не был характерен в целом ни для секулярного, ни для христианского мирозерцаний. В обоих случаях подавляющим большинством войны воспринимались либо как данность Свыше, либо их существование считалось «естественным». Светская мысль лишь внесла новое содержание в заимствованное у Августина понятие "справедливая война" (*bellum justum*). Теперь это была война "по государственной необходимости". Под влиянием идей Гоббса о мире как продукте социально-государственной организации, который заменил естественное состояние человечества — войну, и особенно по историческому опыту Тридцатилетней войны государство утвердилось в роли гаранта мира (*Мир / Peace. С. 77*). Оказавший огромное влияние на автора «Войны и мира» гениальный и остроумнейший военный теоретик, великолепный *Карл фон Клаузевиц* (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780 – 1836) отправил «в отставку» даже то сострадание к гнущему зверьку твоего вида, которое характерно для поведения высших млекопитающих, животных: война — неизбежный вариант в деятельности политиков, а успешность её, военные победы неотделимы, по Клаузевицу, от жертвования собой крупных общностей «подданных» своего государя. Победа стала измеряться буквально «горами трупов»: степенью разрушения физических и нравственных сил «противника».

Как светский, так и опирающийся на этику «исторического» христианства пацифизм недалеко ушёл от того, что Лев Николаевич Толстой именовал «суеверием государства», то есть убеждения в необходимости легитимного и системно организованного «добра с

кулаками» (камнями, пулями, ядами, пушками, бомбами, гильотинами...). В основе устойчивости этого суеверия — всё тот же исконный «ветхий Адам» с обезьяньим хвостком. Что подтверждает массовость случаев в современной России, когда мокрогубый трусливый 17-18-летний говнюшонок откашивается от армии «по пацифизму», а заглянь в его биографию: за пять годков до того лез в драки, что-то орал, всячески стремился к доминированию в детском коллективе, а ещё через пять, десять годков глядишь — засядет эта зверюшка Дарвина приматоидной своей, обезьяньей жопой во власти (как, например, помощник депутатика господствующей, «властной» партии), в «бизнесе», при которых будет (по прежнему, но уже «со стороны», салютуя пацифизму) повседневно пользоваться *системным насилием или его угрозой* в лице охранников, полицаев, законов, судилищ... Какое же здесь отрицание хотя бы самых злостных форм — системного, намеренно организованного насилия? Одна буржуазно-пацифистская лжа. «И точка».

С другой стороны, уже Реформация породила стремление переосмыслить проблему войны и мира без полного разрыва с церковью. Вслед за Лютером свободой толкования Священного Писания и христианской традиции воспользовались и многочисленные рационалистические секты. Некоторые из них — квакеры, меннониты, баптисты и др. — выводили требование отказаться от насилия вообще и в особенности военного из первоисточников христианства, как категорический императив для каждого верующего. Наибольшее развитие это течение получило в Англии и Соединённых Штатах. В России такой радикальный отказ от участия в системно организованном насилии был характерен, например, для духоборов, баптистов, меннонитов, молокан и иного сектантства, отдельные представители которого привлекли внимание Толстого ещё до собственного его христианского исповедничества.

Именно к этому направлению мысли людей, которым в XIX веке не мог ещё быть хотя бы известен термин пацифизм, ровесник века XX-го, был максимально близок Толстой. Опять же: только *близок*, ибо великий яснополянец не разделял ни одно из мистических и суеверных представлений таких сектантов.

Толстой не дожил до той радикализации пацифизма, порождённой Первой мировой войной, когда пацифисты «восприняли опыт сторонников ненасилия, и с течением времени антивоенные и антинасильственные идеи стали отождествляться», так что для пацифизма

актуальным сделалось такое определение: «коллективное обозначение всех усилий по созданию вместо существующих межгосударственных отношений разумного порядка» (*Сдвижков Д.А. Против «железа и крови»: Пацифизм в Германской империи. М., 1999. С. 15*). Ряд исследователей прошлого века уже решительным образом различали «пацифизм в строгом смысле — основанный на религиозной этике безусловного и личного отрицания войны — и конформистский "интернационализм" или "пацифицизм". Сторонники последнего добивались уничтожения войн методами арбитража, разоружения и международной организации, но признавали идею "справедливой войны" — оборонительной или в виде карательной экспедиции за невыполнение обязательств перед мировым сообществом. Пацифистами по этой версии считаются, кроме квакеров, баптистов, меннонитов, также и последователи Л. Толстого, М. Ганди и проч.» (*Там же*).

Итак, можно вывести, что без опоры в религиозном учении, в христианском жизнепонимании и отношении к жизни пацифизм в массе голов всегда будет брать малые победы, да и то лишь в случаях, страшных для подлецов, эгоистов и трусов: например, в ситуациях призыва в армию, мобилизации на войну... и проигрывать во всей прочей повседневности оправданию полицаев, судилищ, войска, вооружений, казней и войн интересами общества и государства — идее обеспечения «внутреннего мира» в крупных общностях.

В чём же кардинальное отличие мировоззрения Льва Николаевича Толстого, в особенности «позднего», от пацифизма обыкновенной и в наши дни буржуазной либеральной и интеллигентской сволочи?

---

## ДВА. Истоки

### Смертные казни и война...

Казалось бы, как два вида мерзейшего, системно организованного насилия они должны вызывать одинаковое отторжение Льва Николаевича. Но это совершенно не так. Пожалуй, одинаково лишь основание этического отвращения и религиозного отвержения этих форм человекоубийства в личности и в сознании Толстого. В нашей книге о смертных казнях мы исходили из очевидной для всякого

наблюдателя творческой и духовной биографий Толстого эволюции от «мирского» отвращения страшным зрелищем и, в любом случае, исключительного и сомнительного в целесообразности действием — к неприятию христианскому, по вере. Разумеется, некоторая эволюция совершалась в эмоциях и убеждениях Толстого и по отношению к войне — но совершенно несхожая с эволюцией отрицания казней.

Военно-патриотические «внушения» детских лет писателя были сильны и многообразны и шли из самых различных источников. Тут сказывались, прежде всего, вековые семейные традиции, уважительное в роду Толстых отношение к предкам. Деда и прадеды писателя были люди военные, служившие «царю и отечеству» преимущественно с оружием в руках. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшему, и не просто дворянскому, а именно военно-дворянскому сословию России. По отцовской и материнской линии его предками были известные своими бранными подвигами, совершёнными в разные времена на многих войнах, представители родовитых русских фамилий: Волконских, Головиных, Трубецких, Горчаковых, Вердеревских, Пушкиных, Чаадаевых, Голицыных, Одоевских...

Как свидетельствует автор наиболее обстоятельных трудов о писателе Н. Н. Гусев, внимательнейшим образом проследивший толстовскую родословную, уже представители начальных ветвей генеалогического древа Толстых, о которых сохранились летописные упоминания, занимали крупные военные должности ещё при Иване Грозном, Фёдоре Ивановиче и других царях XVI – XVIII веков: «Иван Иванович Толстой был при Иване Грозном воеводою в Крапивне. Сын его Василий Иванович... был воеводою в разных городах при царях Фёдоре Иоанновиче и Михаиле Фёдоровиче и дослужился до высокого чина сокольничего. Сын Василия Ивановича Андрей Васильевич был также воеводою в разных городах и также дослужился до чина окольного» (*Гусев Н.Н. А. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. Кн. 1. М., 1954. С. 7*). В 1677 году Андрей Толстой участвовал в походе против турок, по окончании которого получил от царя жалованную грамоту за то, что при обороне города Чигирина от турок «много показал достохвальной опытности, умения и достоинства» (*Там же*). Пётр Адреевич, сын Андрея Васильевича Толстого, первый из рода Толстых получивший титул графа, участник азовских походов, был деятельнейшим сподвижником

Петра I, одним из шести членов «Верховного тайного совета» при Екатерине I и не раз отличался на военном и дипломатическом поприщах. После смерти царя, вследствие дворцовых интриг, он был отправлен в заточение вместе с сыном в Соловецкий монастырь, где умер в 1729 году. Об этом своём прапрапрадеде Л. Н. Толстой собирал данные в начале 1870-х годов, в период работы над романом из эпохи Петра I, о чём он писал Александре Андреевне Толстой 5 июня 1872 года. В том же письме Толстой сообщал о своём намерении съездить в Соловки в надежде «узнать что-нибудь» (61, 291. *Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого (Юбилейное) даются в круглых скобках, с указанием номера тома и страницы в нём. Все наши выделения в тексте особо оговариваются. – Роман Алтухов*).

Прадед писателя со стороны матери, Сергей Фёдорович Волконский (1715 – 1784), первый владелец Ясной Поляны, большую часть своей жизни провёл в армии, был генерал-майором, участвовал в ряде войн екатерининского времени, в том числе в Семилетней войне.



Портрет князя Сергея Фёдоровича Волконского.  
Неизвестный художник. Вторая пол. XVIII в. Холст, масло.  
Музей – усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".



Двоюродный дядя Толстого, Фёдор Иванович Толстой, также провёл не один год на «государевой службе»: учился в Морском кадетском корпусе, служил в гвардейском Преображенском полку, совершил кругосветное плавание на корабле «Надежда», которым командовал капитан Крузенштерн, принимал участие в Отечественной войне 1812 года, отличился в Бородинском сражении, за что был награждён Георгием 4-й степени. Личность Фёдора Толстого-«американца», «необыкновенного, преступного и привлекательного человека», как отмечал писатель (3, 329), дуэлянта, картёжника, редкостного храбрца и непревзойдённого стрелка, друга Дениса Давыдова, послужила прототипом при создании образов Турбина-старшего в «Двух гусарах» и отчасти Долохова в романе «Война и мир».



Фёдор Иванович Толстой

В детстве Толстой не мог не слышать о таких родственниках, как Сергей Григорьевич Волконский (1788 – 1865), участнике войн с наполеоновской Францией (1806 – 1807), русско-турецкой (1806 – 1812), герое войны 1812 года, генерал-майоре в 24 года, отбывшем позднее 30 лет сибирской каторги за принадлежность к Союзу Благоденствия и Южному обществу. Знал Лев Николаевич и о его старшем брате, Николае Григорьевиче Репнине-Волконском (1778 – 1845), командире эскадрона кавалергардского полка, совершившем подвиг, тяжело раненном в Аустерлицком бою и там же представленном Наполеону после участия в блистательной и трагической атаке кавалергардов, описанной в «Войне и мире».

Военная служба занимала не меньшее место и в биографии более близких родичей Толстого, в частности, обоих дедов писателя. *Илья Андреевич Толстой* (1757 – 1820) после окончания Морского кадетского корпуса служил во флоте гардемаринном, потом в лейб-гвардии Преображенском полку, откуда в 1793 году вышел в отставку в чине бригадира. Второй (по материнской линии) дед писателя, Николай Сергеевич Волконский (1753 – 1821), был представителем рода, шедшего от Рюриков и являвшегося одним из самых воинственных древних родов России (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. М. – Пг., 1923. Том 1. С. 7*). Уже в 7-милетнем возрасте он был зачислен на военную службу, в чине капитана гвардии состоял в свите Екатерины II, участвовал в войне против турок, в 36 лет получил чин генерал-майора и затем дослужился до одного из самых высоких чинов того времени — генерал-аншефа, или генерала от инфантерии: чин, предшествовавший чину фельдмаршала. Многими чертами своего характера главные персонажи «Войны и мира» — граф Илья Андреевич Ростов, старый князь Болконский, Николай Ильич Ростов — обязаны дедам, а последний — отцу Толстого.

Отец писателя, *Николай Ильич Толстой* (1794 – 1837), в 1812 году добровольно поступил на службу корнетом в 3-й Украинский казачий полк, позднее переименованный в гусарский, участвовал во многих сражениях заграничной кампании: под Дрезденом, при городе Бауцене, в «битве народов» под Лейпцигом и других, попал в плен, из которого был освобождён после взятия Парижа русскими войсками. В марте 1819 года он уволился в отставку в чине подполковника.

В третьей части «Воспоминаний», над которыми Толстой работал в 1901 – 1906 годах, об отце содержится такая запись: «Начну с того, что я ясно помню, с того места и с тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец... В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13 – 14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером,

был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж» (34, 355).



Николай Ильич Толстой

Николай Ильич был уволен в отставку, как сказано в его формулярном списке, «по болезни» (См. *Записки отдела рукописей Всесоюзной Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. IV. М., 1939. С. 47 – 49*). К прошению об отставке, поданному им 14 ноября 1818 года, было приложено свидетельство главного лекаря Казанского военного госпиталя о том, что он болен «слабостию груди со всеми ясными признаками к чахотке, простудным кашлем, сопряжённым с кровохарканьем, и застарелою простудною ломотью во всех членах» (*Гусев Н. Н. А. Н. Толстой. Материалы к биографии... Кн. 1. С. 42*).

По мнению Н. Н. Гусева, болезнь Николая Ильича, несмотря на перенесённые им тяготы походной жизни и плена, могла быть всё-таки лишь поводом, но не главной причиной для отставки. В тех же «Воспоминаниях» сам писатель называет главную причину: «После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе — это видно по письмам — вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором» (34, 355).

Таким образом, Толстой называет основную причину отставки отца — *разочарование в военной службе*. Остаётся предположить, что утверждение писателя, имевшего за плечами личный опыт и военной службы, и разочарования в ней, и собственных хлопот об отставке, гораздо ближе к истине, нежели предположение Н. Н. Гусева. В тех же «Воспоминаниях» писатель говорит о том, что его отец, «как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов... по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае ...все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство» (34, 356 – 357).

Заметим попутно, что и самому Толстому отставка от военной службы стоила немалых усилий, и он был уволен из армии в ноябре 1856 года лишь после того, как к его вторичному прошению было приложено медицинское свидетельство тульского врача А. Троицкого, в котором, в частности, отмечались «биения сердца, сопровождаемые одышкою», «осложнения в лёгких и на печени вследствие перенесённой крымской лихорадки», «ревматические боли в конечностях» (60, 469), т. е. болезни, в определённой мере напоминающие болезни отца. Как мы покажем ниже, и разочарование Льва Николаевича в военной службе было к тому времени безусловным, и даже значительно более глубоким, нежели у Николая Ильича, а кроме того и убедительно обоснованным.

Что касается писем Н. И. Толстого из действующей армии к родным, то они примечательны не только тем, что подтверждают правоту Л. Н. Толстого в его мнении о причине отставки отца, и не только тем, что по духу своему перекликаются с письмами самого писателя из Крыма и Кавказа, но и своими независимыми, ничего общего не имевшими с тогдашними ура-патриотическими, взглядами на войну, гуманной направленностью, толстовской искренностью, прямоотой и безусловной правдивостью.

Так, в письме из Гродно от 28 декабря 1812 года Н. И. Толстой писал: «Не бывши ещё ни разу в сражении и не имевши надежды в нём скоро быть, я видел всё то, что война имеет ужасное; я видел места, вёрст на десять засеянные телами; вы не можете представить, какое их множество по дороге от Смоленска до местечка Красное; да это ещё ничего, ибо я считаю убитых несомненно щастливее тех плен-

ных и беглых французов, кои находятся в разорённых и пустых местах Польши... Признаюсь вам, мои милые, что есть ли бы я не держался русской пословицы: взявшись за гуж, не говори, что не дюж, я бы, может, оставил военное ремесло... Но что про это говорить? Я всегда любил военную службу, и, вошедши в неё, считая приятною обязанностью исполнять в точности мою должность» (Цит. по кн. Гусев Н.Н. А. Н. Толстой. *Материалы...* 1828 – 1855. Кн. 1. С. 41). «Моё военное настроение очень ослабело, — пишет он в другом письме, 15 февраля 1813 года из польского местечка Добжица, — истребление человеческого рода уже не так занимает меня, и я думаю о счастье жить в безвестности с милой женой и быть окружённым детьми мал мала меньше» (Там же).

Возможно, потом, после демобилизации из армии, у Н. И. Толстого остались нотки сожаления по поводу от ставки вследствие потери тех моральных и материальных выгод и льгот, которые предоставляла военная карьера. В десятой главе «Отрочества» «Что за человек был мой отец?» говорится о том, что на товарищей молодости отец сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии (см. 1, 29). В черновой редакции дальше следует характерное признание: «Но эту слабость никто не мог заметить в нём, исключая такого наблюдателя, как я, который постоянно жил с ним и старался угадывать его» (1, 172).

К сожалению, нам остаётся лишь догадываться, насколько на последующее уважительное отношение Толстого к военным, не исчезнувшее совершенно даже в «религиозный» период его жизни и творчества, повлиял тот факт, что Толстой сам прервал службу, не получив сколько-нибудь значительных наград за безусловную свою храбрость, и в чине всего лишь *поручика артиллерии*.

Следует предположить, что обстоятельство, благодаря которому отец писателя сумел увидеть в войне такую сторону, как «истребление человеческого рода», определённым образом с детских и отроческих лет повлияло на выработку мировоззрения Толстого.

К влияниям, воспитывающим чувства будущего отрицателя войны, следует отнести некоторые поступки с малышом и подростком взрослых — например, пленение в младенчестве, которое, по признанию Толстого в автобиографии «Моя жизнь» (1878), он *помнил (!)* именно в связи с отвратительным ощущением *несвободы*, вызывавшим необходимость плакать, кричать:

«Вот первые мои воспоминания... Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу ещё громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. [...] Это было первое и самое сильное моё впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны» (23, 469).

Столь же ярко-неприятное воспоминание связалось у дитя-Толстого с посещением имения одним из родственников, гусаром Волконским, по рассеянности, как видно, перепутавшего мальчика с очередной шлюхой. «Он хотел приласкать меня, — пишет Толстой, — и посадил на колени и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться» (34, 393).

Наконец, навсегда остался в его памяти и случай, когда в детстве чудесный Львёнок был незаслуженно наказан своим наставником. В замечаниях к рукописи «Биографии», составленной близким другом и духовным единомышленником *Павлом Ивановичем Бирюковым* («Поша», 1860 – 1931), Толстой засвидетельствовал следующее: «Не помню уже, за что, но за что-то самое незаслуживающее наказания St. Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St. Thomas, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною. Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое я испытывал всю свою жизнь» (Там же. С. 396).

Но влияние неприятия войны отцом и осмысления юным Львом собственного опыта детства и отрочества, выработавшего в нём отвращение к принуждениям, наказаниям и любому насилию, обнаружилось позднее, и для осознания этого влияния будущему писателю понадобились огромная внутренняя работа и, главным образом, личный военный опыт. В детстве же и отрочестве эта прозаическая сторона войны в воображении ребёнка заслонялась другими её сторонами — обманно возвышенными и привлекательными. По злому парадоксу нашей лжехристианской жизни, впервые война прокрадывается, а иногда зло вторгается в жизнь именно ребёнка — вместе с рассказами старших о войнах, часто неправдивыми, или же самым страшным: жестокой *правдой* самой войны. Вторгается в ту мирную, уютную, наполненную познанием мира и себя, повседневность настоящей человеческой *живой жизни*, благородной и красивой, какой будет она для всех и по всей Земле в XXV веке, когда, против рожна, люди послушаются всё же Христа. Такая именно жизнь, лишь соприкасающаяся с войной как страничкой родового, семейного и общественного прошлого, изображена у Льва Николаевича в повести «Детство», в знаменитой сцене с очаковским курением», расцветавшим в очах дитя, Николеньки Иртенева, маленьким волшебством в добрых руках ключницы Натальи Савишны:

«Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух, насколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-то занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена её комната, или записывала бельё и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных <домашнего учителя> Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок <брата> Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, ещё очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда ещё привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом» (1, 87).

Как и многое в повести, этот эпизод имеет автобиографические основания. В главе VIII автобиографических «Воспоминаний» Л. Н. Толстого, написанных в 1903 г. по просьбе всё того же биографа и многолетнего друга, Павла Бирюкова, находим следующие подробности из детства самого Льва Николаевича:

«Прасковью Исаевну я довольно верно описал в Детстве. Всё, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено — дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у неё, в её маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в её комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умилённой откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь её, чтобы только поговорить и послушать.

Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал *аншеф* был, — ответит она и, открывая шкаф, достаёт смолку, которую она называла очаковским куреньем. По её словам выходило, что эту смолку дедушка привёз из-под Очакова. Зажжёт бумажку об лампадку у икон и зажжёт смолку, и она дымит приятным запахом» (34, 372 – 373).

М. Е. Салтыков-Щедрин в книге «За рубежом» (1881), вспоминая о Москве своей юности, вспоминает и о таких «смошках», причём с прекрасной, милейшей «русофобской» ностальгией:

«...Так как в то время о ватерклозетах и в помышлении ни у кого не было, то понятно, что весь этот... люд оставлял свой след понемногу везде. Точно то же самое, в большей или меньшей мере, представлялось и на Никитской, и на Арбате, и на Кузнецком мосту. А к Охотному ряду, к Ильинке и к купеческим усадьбам даже приступу не было: благодать видимо почивала на них.

Но тогда этим как-то не отягощались и даже носов не затыкали. Казалось совершенно естественным, что там, где живут люди, и пахнуть должно человечеством. В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек, в крайних же случаях "курили смолкой"» (*Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 тт. Т. 14. М., 1972. С. 136*).

Так насмешкою фатума над всем людским родом в автобиографических «Воспоминаниях» Л. Н. Толстого и в повести, с элементами автобиографического, о детстве Николеньки Иртенева сходятся две



противоположности: наиболее безобидная из слабостей человека как животного — с наиболее ужасной. Конечно же, ни ребёнок в повести Толстого, ни Наталья Савишна, старая нянька, прислуга и ключница в доме не связывают волшебного «курения» смолки на палочке ни с военщиной и военной карьерой, ни с патриотизмом, ни с убийством людей. Мечтаемое Николенькой генеральство — не более, чем игровая роль в его умозрительном добром детском мире. А курящаяся смолка — не менее ценное сокровище, ещё сполна не понимаемое мальчиком; это, по хорошему французскому выражению, любимому Толстым, «питание для мозга костей львят» (41, 426): обозначение связи эпох и поколений, момент воспитательный. Без героики и глупых, гадких, кровавых военных «побед». Просто — благовонное курение, которое могло оказаться в доме Иртеневых и сундуках Натальи Савишны и при менее драматических обстоятельствах, нежели давняя война. Для ребёнка важны не эти обстоятельства, а именно волшебство зрелища, увлекающее его. Когда сделается он старше и разумнее — конечно, станут важны и события в жизни деда и всего рода Иртеневых, но и — опять же, турецкое «курение», воспоминание его запаха как весточка из далёка, от иного народа и иной культуры, которых надо узнавать и любить, чтобы преодолевать обманы правительств и попов и побеждать войны, то есть делать их невозможными.

Воспоминания о «славном прошлом» ближних и дальних родичей свято сохранялись в семье Толстых. Сохранились данные о воспитании старшего сына Николая. В мальчике искоренялись трусость, излишняя жалостливость, распушенность, капризы. От дворянского львёныша начиная с подросткового детства требовалось, чтобы он сделался «со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо послужил отечеству». Хорошее поведение и успехи мальчика вознаграждались тем, что ему разрешали надевать саблю, а в наказание — лишали этого (Гусев Н.Н. *Лев Николаевич Толстой. Материалы... 1828 – 1855. С. 419*).

В детские и отроческие годы Толстой, с живым интересом слушал и воспоминания своего отца о более исторически близкой Отечественной войне 1812 года. А Николай Ильич мог многое рассказать о войне с Наполеоном и о заграничных походах русской армии. От отца же, как предполагает К. Н. Ломунов, Толстой впервые услышал о декабристах (См. *Ломунов К.Н. Чем нам дорог Л. Толстой. М., 1960. С. 14*). Эти воспоминания прочно хранились и в последующие годы.

Не случайно поэтому сам Толстой записывал в дневнике в 1889 году: «Часть нас живёт в прошедшем... я молодым человеком чувствовал в себе инстинкты 12 года» (50, 220).

Но не только отец, а и другие родственники, знакомые, дворовые, крестьяне, бывшие солдаты, воспитатели, изредка навещавшие Ясную Поляну офицеры рассказывали о былых войнах, об армии, о военной службе. Эти рассказы он жадно слушал, и они запоминались. На Николеньку Иртеньева — автобиографическое лицо из трилогии — наибольшее впечатление произвели те рассказы гувернёра Карла Иваныча, в которых речь шла о его военных приключениях. Уже здесь Николенька Иртеньев обращается к своему учителю со знаменательным вопросом: неужели добрый Карл Иваныч мог убивать людей?

Сохранились характерные записи П. И. Бирюкова со слов Толстого: «Приезд Горчакова, Петра Дмитриевича, сибирского генерал-губернатора, и его адъютанта Валериана Петровича, и моё увлечение его красотой и кавалерийскими панталонами... Зима 40-го года. Освящение храма Спасителя. Приезд гвардии в Москву... В этом же году хождение в экзерсис-хауз и любование смотрами» (34, 401 – 402).

Военные «внушения» черпались также из литературных, исторических источников. Значительная часть книг яснополянской библиотеки была представлена произведениями на военно-историческую тему. Мать писателя старалась воспитывать сыновей так, чтобы каждый из них мог достойно продолжить военные традиции своих предков. Бережно и любовно она воспитывала сыновей, отмечая в своём «Педагогическом дневнике» малейшие проявления их характера, темперамента, их детские привычки, ежедневные шалости, забавные детские слова: «14 мая, 1828 года: Николенька был целый день очень умён и послушен... Жаль только, что он трусоват; к вечеру, гуляя со мной, он испугался жука...»; «Николенька с утра был умён, читал очень хорошо; но читая о птичке, которую застрелили, и которая умерла, ему так стало её жаль, что он заплакал...»; «Если он (Николенька) будет привыкать преодолевать свой страх, то он сделается со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо служил отечеству».

Этот многотомный дневник матери Лев Толстой позже читал как увлекательнейшую книгу, психологический труд.

Для воспитывающего влияния на детей подбирались соответствующая литература. Одновременно в детях искоренялись лень, распушенность, прививались правдивость, искренность, мужество. Немалое внимание уделялось их физической закалке, одним из средств которой была охота. Страстным охотником был отец писателя. «Помню его выезд на охоту, — читаем в «Воспоминаниях». — Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в Графе Нулине... Помню, как для охотничьего праздника, 1 сентября, мы все выехали в линейке к отъёмному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли её... Помню особенно ясно садку волка» (34, 357 — 358).

Впечатления об охоте интересны не только тем, что они послужили материалом для изображения сцен охоты в произведениях писателя, но и тем, что они с детских лет воспитывали у Толстых ловкость, находчивость, физическую выносливость, умение обращаться с лошадьми и оружием, т. е. навыки и качества, необходимые на войне. В глубокой старости, в 1909 году, Толстой записал в дневнике: «Мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на молодечество охоты и войны» (57, 18).

Это словцо, «молодечество», явится на страницах нашей книги ещё не раз — но уже только в связи с военной тематикой.

О силе же военно-патриотических внушений, действовавших с раннего возраста на ум и чувства будущего писателя, свидетельствуют детские и ученические сочинения сохранившегося рукописного журнала «Детская библиотека». В этих сочинениях повествуется о военно-исторических событиях: о битве на поле Куликовом, о днях Новгородской вольности, о стенах Московского Кремля, которые видели начало освобождения России от власти поляков во времена Самозванца, а также «стыд и поражение непобедимых полков Наполеоновых», потерявших здесь «всё своё счастье» (90, 101).

В детском сочинении «Рассказы дедушки» говорится о 90-летнем старике-полковнике, который служил под пятью государями, видел более ста сражений, «имел десять орденов, которые он купил своею кровию» (90, 95). О сыне этого полковника сказано так: «Он был мужествен и деятелный когда была опасность но он совсем не охотно трудился целый век ибо он любил и наслаждаться посему зделался учёным сочинил несколько книг но в 1812 видя что отечеству нужны солдаты он решился идти в военную службу получил пять ран слу-

жил храбро получил разные знаки отличия до служился до полковника вышел в отставку он то и будет играть большую роль в произшествии которое его отец начал разказывать» (90, 96). К тексту сделано несколько детских рисунков, изображающих воинов.

В пору ранних лет Толстого непрерывно шла война в Турции и на Кавказе и также непрерывно двигались туда и обратно войска по большой Киевской дороге, расположенной в непосредственной близости от яснополянского имения. Тут можно было наблюдать не только шествие разного рода «мирных» паломников, но и движение маршевых частей, конных и пеших колонн, проезд курьеров и фельдъегерей, больших и малых групп военных.

Бывая в Москве, куда родители с 1837 года возили детей почти ежегодно, будущий писатель мог наблюдать парадную сторону военной службы, военные смотры, учения, церемонию приезда из Петербурга императора Николая с гвардией зимой 1840 года по случаю закладки храма Христа Спасителя и т. п.

Вся сумма подобных «внушений» привела к тому, что уже с отроческих лет Толстого начинает волновать бранная романтика, тревожат мечты военного честолюбия. «Всякий генерал, которого я встречал, — говорится в одном из вариантов «Отрочества», — заставлял меня трепетать от ожидания, что вот-вот он подойдёт ко мне и скажет, что он замечает во мне необыкновенную храбрость и способность к военной службе и верховой езде... и наступит перемена в жизни, которую я с таким нетерпением ожидал» (2, 285).

«Случай к перемене жизни скоро представился. В Ясную Поляну в апреле 1851 года приехал старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, служивший на Кавказе. Он возвращался назад, и Лев Николаевич, особенно любивший его, ухватился за этот случай и весной 1851 года отправился туда вместе с возвращавшимся к месту своего служения братом», — писал П. И. Бирюков в заметках к биографии писателя (34, 399).

Но этой перемене в жизни, приведшей к поступлению Толстого на военную службу, предшествовали годы учёбы в родном имении и в Казанском университете, годы напряжённой, главным образом самостоятельной работы над собой, над изучением русской и зарубежной истории и литературы, идейного наследия европейских и русских просветителей, древних историков и философов (Плутарха, Тацита, Эпиктета, Сенеки и др.), энциклопедистов (Руссо, Монтескье,

Вольтера, Паскаля, Декарта и др.), декабристов, годы непрерывных духовных поисков, размышлений над глубинными проблемами бытия, годы стремлений и практических попыток определить своё место в тогдашней действительности.

Большинство исследователей и биографов Толстого, рассматривая факт поступления его на военную службу, оттеняют случайную сторону этого факта. Так, если Б. И. Бурсов, например, полагает, что на Кавказе Толстой оказался «более или менее случайно», то С. Н. Дорошенко в своём мнении по этому вопросу более категоричен: «Поступление Толстого на военную службу факт в его жизни совершенно случайный» (*Бурсов Б. И. Л. Толстой. Идеи и творческий метод. М., 1960. С. 185; Дорошенко С. Лев Толстой — воин и патриот. М., 1966. С. 9).*



Л. Н. Толстой. 1851 г. Москва  
Фото с дагерротипа К. П. Мазера

Такая категоричность не может не вызвать возражений. Если учесть сумму всех тех военных «внушений», о которых шла речь выше, и прибавить к ним ещё ряд действовавших в этом же направ-

лении субъективных и объективных факторов николаевского времени, знаменитого всевластьем «чиновнизма и капрализма», когда «казарма и канцелярия» (Герцен) заслоняли собой все другие поприща общественной деятельности и «рваться грудью в капитаны» было моральной нормой и практической целью, поощряемой всюду. Не зря с первого детства патриотизмом мозги были, скорее, исключением в сословии, к которому принадлежал Толстой. Как писал современник, «бесперывные войны, ведённые Россией со шведами, турками, поляками, татарами и горцами Кавказа, преобразовали нашу нацию в нацию военную» (*Цит. по кн.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 148*). Если учесть всё это, то можно сделать вывод, что в факте поступления Толстого на военную службу обнаруживается определённая закономерность. Более того: *фатальность*. Действительно, «военно-служилая» судьба подстерегала юного Льва... Среди бумаг троюродной сестры Л. Н. Толстого Екатерины Фёдоровны Толстой (в замужестве Юнге) сохранился листок с бесценной для нас записью воспоминания Л. Н. Толстого в беседе 16 июля 1886 г. с французским писателем Полем Деруледом, навестившим Толстого в Ясной Поляне:

«Когда он поступил в университет и пошёл к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдёт, военную или статскую, то он отвечал: “Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?”» (*Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843 – 1911. М., 2017. С. 437*).

В конце 1840-х годов Толстой, формально числившийся с ноября 1849 года канцелярским служителем Тульского депутатского дворянского собрания и не работавший там ни одного дня, неоднократно задумывается о поступлении на военную службу. К этому времени, по его словам, он убедился в том, что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком» и что не следует строить «испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил. человеческих» (59, 29; 46, 38). Планы по поводу службы в армии кажутся наиболее реальными, если учесть его военно-дворянское происхождение.

Подытоживая, выразимся краткой формулировкой так: в роду Льва Николаевича не было палачей, но военных было довольно, да и личный драматический опыт военной службы был достаточен, для того, чтобы даже в «христианский период» отношение Льва Николаевича к военному сословию, военной службе, войску и войне существенно отличалось от отношения к смертным казням и их исполнителям. Отличия мы будем раскрывать в книге в ходе изложения, а ниже, именно для того, чтобы подчеркнуть их значительность и принципиальность, необходимо повторим ряд наших наблюдений и теоретических положений из упомянутой выше книги 2021 года — «Лев Толстой и Россия убивающая».

---

### ТРИ. Очень важное

Помимо прочего, значительное наше внимание как в предшествовавшем исследовании о казнях, так и в теперешнем будет уделено малоизученному в последующее после смерти Толстого столетие периоду деятельности Толстого как христианского антивоенного публициста, с начала 1880-х по 1910 год. Так как к некоторым ключевым определениям мы будем относиться на протяжении всей книги, важно уже здесь, во вступительной её части, охарактеризовать те духовные позиции, тот мировоззренческий религиозный «фундамент», с которого велись Толстым-публицистом этих лет критика и проповедание.

*Концепция трёх различных религиозных жизнепониманий*, данная Толстым в полном виде впервые в сочинениях «Религия и нравственность» (1893) и «Царство Божие внутри вас...» (1890 – 1893) — недооценённый исследователями по сей день ключ к полноценному осмыслению позиции Толстого 1880 – 1900-х гг., Толстого-христианина, не только по собственно религиозным, но и по ряду общественных проблем, включая проблемы войн и других форм системного насилия.

Проанализировав в «Религии и нравственности» различные определения религии, Лев Николаевич приходит к выводу, что сущность всякой религии состоит в ответе на вопросы: зачем я живу и каково

мое отношение к окружающему меня бесконечному миру и перво-причине его?

На выражения этого отношения в различных вероучениях влияют, конечно, и этнографические, и исторические условия, и перетолкования, т. е. нечаянное и намеренное уродование учения его мнимыми последователями, но в сущности — их не более трёх: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное, или семейно-государственное и 3) христианское, всемирно-божеское. При этом, подчёркивает Толстой, второе, общественно-государственное, жизнепонимание есть «только расширение первого».

Первое, низшее, жизнепонимание – это выражение отношения к жизни детей, нравственно-грубых людей и дикарей: они признают себя самодовлеющими существами, а смыслом своей жизни – благо личное. Такое жизнепонимание находит своё выражение как в языческих религиях, так и в низших формах исповедания буддизма (который Толстой именуется «отрицательным язычеством»), ислама и других т. н. «мировых» религий. Чем же живёт, во что верит человек низшего, наиболее эгоистического жизнепонимания? «Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умилоствлении божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей» (28, 69). Характеризующая черта молитв при этом отношении к жизни – *просительность*: человек молит богов, святых о даровании земных благ и избавлении от страданий, об уничтожении личных врагов, о победах в поединках и т. п.

Второму, *языческому, семейно-государственному или общественному*, жизнепониманию соответствует в индивидуальном развитии человека возраст возмужания.

Человек, пробудившийся к этому, высшему чем первобытно-личное, жизнепониманию, признаёт значение своей жизни уже не в благе одной своей личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, «своей» церкви, «своего» государства, а в пределе – и всего человечества. Он готов жертвовать своим личным благом ради блага этих совокупностей. «Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства» (Там же. С. 70).



Это отношение людей к миру исторически выразилось в общественно-патриархальных религиях: государственной религии Рима, иудаизме (как религии избранного народа), исламе (как религии межплеменного единения), религиях Китая и Японии, а также – и в «исторически сложившихся» церковно-государственных извращениях христианства, включая сюда греко-российское православие.

На этом отношении человека к миру, указывает Толстой, зиждутся «все обряды поклонения предкам в Китае и Японии, поклонения императорам в Риме, вся многосложная еврейская обрядность [...], все семейные, общественные церковно-христианские молебствия за благоденствие государства и за военные успехи» (39, 9).

Наконец, третье, и высшее из открытых человечеству пониманий жизни — соответствующее в индивидуальной жизни человека возрасту опыта и мудрости — признаёт значение жизни человека уже не в достижении целей отдельной личности или совокупности таких (вплоть до человечества), а исключительно в служении человеком «той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли» (*Там же*). Для исполнения в мире воли Бога такой человек радостно жертвует не только своим личным, но и семейным, и общественным благом. «Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего — Богу» (28, 70).

Божий мир — наша общая учебная и творческая Мастерская. Человек – дитя Бога и посланник, работник Божий в мире, сотворец, ученик Мастера; даже тело его – не его, а Божье: инструмент совершенства в мире Божьей работы, а вовсе не получения чувственных удовольствий или обслуживания интересов (экономических, военных и пр.) других людей. Любая такая деятельность в угоду отщепенцам от замысла и воли Отца — преступное соучастие в нарушении учебной и трудовой дисциплины и техники безопасности в великой Мастерской. Соблюсти же их — значит соблюсти в себе любовное отношение к таким же детям Бога, как ты, и доверие к Истине, к учению Христа об истоках и смысле жизни, о назначении человека.

И это высшее, *всемирное, божеское* жизнепонимание «получило своё полное и последнее выражение только в христианстве – в его истинном, неизвращённом значении» (39, 10).

«Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к

жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским» (28, 70).

Перед этим, последним, пониманием жизни — грешны, так или иначе, мы все. Ему не последуют т. н. «преступники», которых мы, в беспомощности нашего безверия, благословляем общественным проклятием на тюремное мнимое «исправление» или на «наказание» смертью: они во многих случаях «скатываются» до первобытно-личного, и общественно-государственное жизнепонимание для них невятно, непостижимо и чуждо. Но так же не постигается и жизнепонимание всемирно-божеское, христианское — головами, не вытрясшими из себя прокисших тараканов «духовного наследства» язычников и евреев, Римского права и Ветхого Завета. Эти-то горячие головы, дорвавшиеся до мирской власти или до средств воздействия на общественное мнение, обманывают людей и ссорят их, провоцируют войны.

Реальная всевременная и всепланетарная общественная практика, при которой на суевериях оправданного насилия, «добра с кулаками» (ядрами, пулями, бомбами...), паразитирует орава мундированных бездельников, равно и тех особ (или особей?) при деньгах и власти, кто использует «право» и его силовую поддержку для расправы с неудобными — подменяется в интеллигентских головах упрощёнными схемами, а в головах простецов — и вовсе схемами примитивными, несущими в себе детерминанту ложных, субъективированных и эмотивно-окрашенных рефлексий: страхов перед агрессией извне, образами «врагов» и т. п. Первые при этом (учёные, журналюжные и иные интеллигенты) с искренним в своей наивности превосходством взирают на вторых, не осознавая, что, пусть и с разной степенью эгоистичности личных мотивов и дисциплинированности ума, подчинённости суевериям и фобиям человека как «общественного животного», но стоят-таки они на одном мировоззренческом фундаменте: языческом, общественно-государственном, и, конечно же, с атавизмами первобытно-личностного, эгоистического.

Для примера, а отчасти и в качестве историографической части нашего исследования (конечно, весьма неполной), рассмотрим несколько не самых старых научных публикаций по теме.

---

## ЧЕТЫРЁ. Немного Историографии

Литература по проблемам войны в сочинениях Льва Николаевича Толстого обширна, особенно в России. Уже в советский период в ней отразилась обозначенная нами сложность оценочного анализа исследователей, допускающих некоторую предвзятость. Чаще же, в силу сложности отношения Толстого к войне, исследователи склонны сосредоточиваться на том, что актуально для них самих или для их времени. Сравните книгу «Молодой Толстой» (1922) блистательного Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886 – 1959), предвосхищающую именно научное, серьёзное советское толстоведение, или же, например, антивоенную статью 1916 г. Леонида Петровича Гроссмана (1888 – 1965), в которой акцент сделан на ужасе войны (см.: Гроссман Л. П. *Стендаль и Толстой. Батализм и психология рас в литературе XIX века // Русская мысль. 1916. Кн. 6. С. 32 – 51*), с популяризацией Мстислава Александровича Цявловского, приветствующей в Толстом патриота и воина, напечатанной, с понятными целями, в «Литературной газете» за 17 ноября 1940 г.

Военная тема у Толстого приобрела в советском литературоведении особую актуальность со вступлением СССР во Вторую мировую войну. Само название «Великой Отечественной войны» устанавливает связь с имперской мифологией «Отечественной войны» 1812 года, а следовательно, и с «Войной и миром», автор которой, из глубоко личных, отчасти интимных побуждений, вполне искренне эту мифологию поддерживал. Обслуживание в СССР мифа в «великих» войне и «победе» породило новые, и преднамеренные, околонучные мифы и о «военном» Толстом. Сравним, в этом отношении, нападки на Толстого В. Б. Шкловского в 1936 г., в массовой популярной публикации (см.: Шкловский В. Б. *О старой русской военной и о советской оборонной прозе // Знамя. 1936. № 1. С. 218 – 227*), писавшего о нём как о «барине», который в своих опубликованных вещах, в «Севастополе в декабре месяце» и «Рубке леса», представил смягчённую

правду о царской армии по сравнению с её изображением в неопубликованных произведениях (таких, как «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера» 1855 г. – 4, 285 – 294), с позицией Лидии Яковлевны Гинзбург (1902 – 1990) (см.: Гинзбург Л. Я. О романе Л. Толстого «Война и мир» // Звезда. 1944. № 1. С. 125 – 138), для которой, как и для ряда участников других дискуссий вокруг Толстого, на первом плане было его мастерство в описании торжества общей, «роевой» жизни обороняющегося народа во время войны. Стоит отметить здесь, что статья Л. Я. Гинзбург была опубликована по окончании блокады Ленинграда, которую Лидия Яковлевна, одна из жертв как гитлеровского, так и сталинского имперства, пережила.

Из более-менее полезных по теме советских же публикаций следует отметить работы, дающие основную информацию о военной службе Толстого. Любопытно проследить, как Юрий Зиновьевич Янковский, например, примиряет те «кричащие противоречия» Толстого, на которые положено было, цитируя В. Ленина, пенять исследователям — возлагая «ответственность» за толстовский пацифизм на несправедливость старого режима и войн, которые при нём велись (см.: Янковский Ю. З. Человек и война в творчестве Л. Н. Толстого. Киев, 1978). В том же ключе, уловив «тренд» брежневской эпохи, пишут о Толстом-военном и «антивоенном» уважаемые авторы, любопытные своим стремлением вырваться за рамки советских идеологем, как Сергей Нестерович Чубаков (см.: Чубаков С. Н. Лев Толстой о войне и милитаризме. Минск, 1973; Его же. Всё дело жизни... Лев Толстой и поиски мира. Минск, 1975) и особенно Сергей Сергеевич Дорошенко (Дорошенко С. С. Лев Толстой — воин и патриот: военная судьба и военная деятельность. М., 1966). Несмотря на давно замеченные ошибки исследователя, последняя монография сохраняет своё не только историографическое, но и научное значение благодаря скрупулёзности исследования автором именно периода военной службы молодого Льва Толстого, формирования и первых манифестаций того отношения к войне, из которого, как внук от родного дедушки, берёт своё начало пресловутый «пацифизм» Л. Н. Толстого 1880 – 1900-х гг.

На характеристической дефиниции «пресловутый» мы настаиваем — имея поддержку в лице ряда предшествующих исследователей,

различающих как иногда диалоговые, но всегда самобытные явления — европейский пацифизм, русское сектантство и христианское, евангельское Слово миру Льва Николаевича Толстого.

Из немногочисленной группы монографических и диссертационных исследований, так или иначе затрагивающих проблему отказов от военной службы по убеждениям, ставшую объектом пристального внимания Л. Н. Толстого со второй половины 1880-х гг., особо выделяются монография Р. М. Илюхиной «Российский пацифизм вчера и сегодня» и диссертационное исследование Е. Ф. Скорика «Концепция ненасилия Л. Н. Толстого: история и современность». В самом конце прошлого столетия появляются уникальные, не утратившие историографического значения и по сей день, сборники статей «Долгий путь российского пацифизма: Идеал международного и внутреннего мира в религиозно-философской и общественно-политической мысли России» и «Пацифизм в истории. Идеи и движения мира», созданные международными коллективами исследователей.

Эти сборники своим появлением ознаменовали признание в отечественной исторической науке актуальности важного и в значительной мере нового направления в исторической науке — изучения теории и практики доктрины миротворчества и ненасилия.

В сборниках исследуются проблемы истории российской мирной идеи в её международном и внутреннем аспектах, становления пацифистской идеи, её развития на заре Нового времени, появления обществ мира в Европе в XIX в., создания пацифистской доктрины в Европе и Азии и воплощения её в жизнь в деятельности антивоенных обществ. Однако авторы этих и других работ, изданных позднее, хотя и базировались на современных подходах к изучению истории, в силу ряда причин (тематики исследований, их объёма и т. п.) кратко отразили лишь отдельные стороны российской истории отказов от военной службы по убеждениям и государственной политики в отношении этих отказов.

На особом месте по значимости довольно давняя (1998 г.), но бесценная публикация Ёкоты Мураками «Лев Толстой и пацифизм со сравнительной и «генеалогической» точки зрения». «Толстой не употреблял термин «пацифизм». Он снова и снова подчёркивал идею «ненасилия», а не «пацифизма» — этим тезисом открывает автор свою статью (Чубарьян А.О. (ред.) *Пацифизм в истории. Сб. статей.* С. 114). Даже знать этот новый для русского языка термин Толстой не мог до 1910-х.

А главное — не мог и быть пацифистом, несмотря на сближение с пацифистами как, по внешности, идейными союзниками. Дело в том, что сама концепция «пацифизма» — вторичное порождение, то есть высерок и ублюдок, идеологии лжехристианского, забывшего истинное учение Христа, а потому, вместе с доверием попам, в конце концов, совершенно утратившего веру, секуляризованного мира. По этой причине он был органически *чужд христианскому миротворчеству* Льва Николаевича Толстого:

«Если “мир” означает в общем смысле ту ситуацию, где не употребляется насилие, а существует покой, “пацифизм” стремится достигнуть такого положения, в котором отсутствует (военный) конфликт между государствами».

Семантика «мира» у Толстого, констатирует Ё. Мураками, ближе к древнееврейскому «шалом» (*ивр.* שָׁלוֹם [ša'lo:m]), нежели к англо-американскому «peace» в современной “оксфордской” дефиниции. А у данной лексемы, именно שָׁלוֹם, в семантическое поле входит такой широкий ряд синонимов, как *мир с Богом*, гармония, целостность, полнота, процветание, благополучие и спокойствие. «Мир с Богом» — важнейшее из значений: это то же, что *вера живая* у Толстого, «слияние своей воли с волей Отца». Для еврея это означает последование Завету, для христианина — Слову евангельскому, Христу. Последователи же Христа, побеждая в себе *верой живой*, доверием Богу, соблазны и страхи человека как зверя, животного в природе — могут лишь мирно жить между собой и с другими, не христианскими, народами, не разделяясь по признакам этносов и, тем более, «наций», а будучи соединены общинами (без государства) и основанной Христом, единой во все века, Церковью. Sapienti sat!

Доктрина же «пацифизма» — вторичный паразит на самообманах лжехристианского мира, который через 1800 – 1900 лет после Христа так и не стал, в повседневности своей, христианским — *светом миру*, примером остальному человечеству!

Отсюда, кстати сказать, и знаменитые споры о значении слова «мир» в названии великого толстовского романа. Узуальная семантика современных русских «мир» и английского «peace» не тождественны глубоким смыслам древнего שָׁלוֹם, «шалом» — пожелания *ближнему*, то есть, первоначально, еврею по вере, удержать себя в Завете, в подчинении ведомой воле Сущего.

На это недоразумение указывает и Ёкота Мураками:

«Толстой не говорил о «пацифизме», которому способствовала современная концепция “peace”.

[...] Концепция «пацифизма» — продукт той современной идеологии, которая считает государство одной из самых важных единиц человеческого общества, т.е. продуктом современной идеологии нации (или, точнее говоря, национального государства), в которой (обманчиво) предполагается единство народа, языка и политической единицы (государства).

[...] «Пацифизм» возникает не в результате усилий разрешения конфликтов среди национальных государств: напротив, пацифизм и есть выражение той идеологии, в которой национальные государства считаются полномочными, независимыми политическими единицами, среди которых возможна и неизбежна (но, пожалуй, не очень желательна) война. Другими словами, в этой идеологии слово «peace» представляет собой лишь антоним «войны» и определяется только как отсутствие войны...

[...] Отсюда проистекает следующий по видимости парадоксальный тезис: международный закон не разрешает конфликтов среди национальных государств, а, будучи выражением парадигмы, включающей internationalism и национализм, он устанавливает и подтверждает конфликт как определённую систему. Это объясняет то, что концепция “права на войну (a right of belligerence)” возникла параллельно с развитием концепции национального государства. Пацифизм и право на войну — взаимодополняющие понятия; «пацифисты» могут представить “peace” только как отрицание или меньшую степень прав на войну. Только такой путь им кажется реальным. Значит, как это ни парадоксально, концепция “peace” в самом деле дополняет концепцию прав на войну.

А Лев Толстой либо стремился уничтожить именно такую парадигму, либо был совсем равнодушен к ней. Этим, наверное, можно объяснить его молчание о “пацифизме” в последних произведениях» (*Там же. С. 115 – 116*).

Добавим от себя: «конфликт как система» и «право» на системное, организованное насилие не могут не быть чуждыми *всякому* христианскому сознанию. Как и вся системная ложь, мешающая номинально христианскому человечеству принять за руководство в жизни расчищенное от праха церковных суеверий, возвращённое миру, спасительное учение Христа — оказавшееся в XX столетии более близким мышлению людей Востока:

«Отрицание Толстым современной парадигмы, которая включала понятия интернационализма и национального государства, было слишком радикально, поэтому его не одобряли и не понимали. Однако Толстой стал чтимым учителем философии ненасилия как в Индии, так и в Японии» (*Там же. С. 117*).

Таким образом, Ёкота Мураками констатирует непримиримое «противоречие между толстовским понятием “ненасилие” и современным понятием “пацифизм”» (*Там же. С. 120*). Эта война между земным и Небесным будет — или до уничтожения «пацифизма» и подобных ему мирских лжей, или до скончания века!

Между тем, большинство авторов повторяют одну и ту же ошибку людей, обманутых учением мира: анализируя эволюцию антивоенного мировоззрения Толстого либо (что легче и потому делается чаще) последние, «еретические», его десятилетия — они либо христианское исповедание Толстого, и не одного Толстого, низводят к этакому «отсталому», не умеющему обойтись без Бога, пацифизму, либо «пацифизм», априори (по их схеме) исповедуемый Толстым и его единоверцами, именуют *христианским*. Дальше многих из таковых авторов зашёл Константин Владимирович Стволыгин в монографии 2010 года «Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи». Религиозное мировоззрение Толстого он именует «радикальным религиозным пацифизмом», причём на довольно шатких основаниях: именно том, что Толстой «призывал следовать христианской истине “не убивай”» без всяких исключений», а «в силу этого он относился отрицательно к идее замены воинской службы другой альтернативной гражданской обязанностью», то есть вредил российскому обществу и призывникам своей эпохи, «поскольку такая замена смягчала бы остроту протеста против войны и насилия» (*Стволыгин К.В. Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи. Минск, 2010. С. 38 – 39*). Рассуждения автора более чем странны, учитывая свидетельства в монографии его глубокого знакомства с историей христианства с первых его веков — которые, как мы увидим, Толстой ставил для современников в образец последовательности и жертвенности отказа. Последование Христу — это не “сопли с сахаром” современных выкормышей буржуазных обществ, не консенсусы со злом, не *любовь плюс толерантность*, а — брань духовная, и нетерпимость, и кровь, и жертва, с пониманием обречённости человеческой жизни, в любом случае,



концу, и пониманием необходимости в краткий земной век пребыть в воле Отца, Бога, познанной из Нового Завета, из учения Иисуса Христа — допреже деяний и посланий апостольских, в которые уже проникают зло и обман мира. А основа евангельского отрицания *всяческого* участия христианина в системном, организованном насилии или угрозе его, составляющих сущность всякого государства — отнюдь не в ветхозаветной, Моисеевой заповеди «не убий», а — в Нагорной проповеди Христа, в притчах его и в примере его земной жизни, от учения к учительству и, наконец, к добровольной (в воле Отца) жертве.

Возникает резонный вопрос: при чём здесь пацифизм, который и появиться-то мог лишь на определённом этапе всё большего и большего отступления христианских народов от повиновения Богу и Христу, всё большего обдуманного, *системного* устройства жизни на началах, чуждых первоначальной Истине? Христианин не может служить разбойничьему гнезду государства не только солдатом, но и, например, врачом, лечащим побитых на войне или поэтом, войну и подвиги, и дрянные «победы» военные воспевающим.

Кроме того, эпоха Толстого ещё не была эпохой «терпимостей», консенсусов и симулякров: в России и ряде других стран в реальности (а Стволыгин предпочитает иметь дело с официальными статистиками) никаких «альтернатив» не предлагали. И не предлагают по сей день: право на АГС (альтернативную гражданскую службу) призывникам 2020-х гг. приходится отстаивать у тётки «родины» в судах — и далеко не всегда успешно!

В целом же книга Стволыгина написана пусть и без понимания христианских основ антивоенных выступлений Л. Н. Толстого, но — с глубокой симпатией как к Л. Н. Толстому, так и к пацифистам и сектантам, о численности и социальном составе которых монография содержит ряд ценных сведений.

Для нас не менее ценно выделение автором из числа мистических (каких было большинство) и духовных (рационалистских) сектантских движений ещё одного направления, представители которого «порвав отношения с сектами, объединяются в особые группы и называют себя “свободными христианами”, “свободомыслящими”, “сынами свободы”» (*Стволыгин К.В. Указ. соч. С. 59*). Если духоборчество до влияния на него Толстого сохраняло признаки вполне догматизированной мистической секты, то само «толстовство», христи-

анское исповедничество Л. Н. Толстого с учениками, помимо мистицизма, соединяло в себе и отщепенчества других сект: искание свободы (от рабства миру) и искания более глубокого понимания Бога и единения с Ним (духовные). Это значительный признак истинности, *тождественности христианству Христа* значительной части воззрений Л. Н. Толстого.

Знакомясь с трудом другого толстоведа, уже XXI столетия, статьёй Коити Итокава «Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого», опубликованной в 2010 г. в Туле, в научном «Яснополянском сборнике», остаётся лишь констатировать своего рода “проседание” в анализе проблемы «пацифизма Льва Толстого» японской толстоведческой мысли — по отношению к блестящим прозрениям Ё. Мураками в 1990-х. По выводам автора:

«После «перелома» в сочинениях Толстого появляется и сотни раз повторяется формула «непротивление злу насилием». Однако антивоенный пафос (иначе говоря, пацифистский дух) и непротивление злу насилием — не совсем разные позиции, они почти тождественны, ибо в них обеих — общий дух, дух Нагорной проповеди, вершины Евангелий. В основе первой — заповедь: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду» (Мтф. 5, 21 – 22). В основе же второй — заповедь: «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мтф. 5, 43 – 44). Следовательно, две эти позиции из одного корня.

Первая и вторая половины жизни и творческого пути Толстого объединены и этими позициями, и этими заповедями. Из сказанного следует, что так называемого *перелома* в жизни и творчестве писателя, по сути дела, не было, не было двух четко разделённых «переломом» половин его жизни и творчества. Кажущийся переход от одного Толстого к иному — только переход от одной евангельской заповеди («не убивай») к другой («любите врагов ваших»)» (Итокава К. *Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого // Яснополянский сборник. 2010. Тула, 2010. С. 99*).

В свете уже сказанного выше — заметим здесь кратко: автор глубоко заблуждается не только о пресловутом «переломе», который всё-

таки был: «не убивай» — это заповедь не Христа, а Моисея для евреев, древнейший Завет, а пацифизм, как и было выше сказано — и вовсе порождение секулярной, гнусной эпохи безверия Нового и Новейшего времени, эпохи «наций» и прочих свидетельств регресса масс людей к древнему, отжитому, языческому религиозному жизнепониманию.

Очень значительны для нас и наблюдения Александра Степановича Кондратьева в статье 2002 г. «Религиозный идеал в творческом сознании раннего Толстого», где, однако, автор так же склонен к пересмотру концепции «духовного переворота» Л. Н. Толстого (*Кондратьев А.С. Религиозный идеал в творческом сознании раннего Толстого // Толстовский ежегодник. 2002. Тула, 2003. С. 341 – 351*). Автор справедливо настаивает, вслед за классиком толстоведения Б. С. Эйхенбаумом, на недопустимости «снисходительного» противопоставления «автора “Детства” и издателя педагогического журнала “Ясная Поляна” признанному всем миром мудрецу и духовному наставнику заблудшего человечества», когда художественно-философская концепция писателя, сложившаяся к концу 70-х гг. XIX столетия изучается «без соотнесения с ранним периодом его духовных исканий» (*Там же. 341*).

В то же время, на наш взгляд, А. С. Кондратьев делает существенную ошибку, предопределённую его принадлежностью к церковно-православному “лагерю” в толстоведении. Желая нивелировать значение именно посткризисных, или постпереломных, с начала 1880-х гг., «еретических» писаний Льва Николаевича Толстого, он ставит под сомнение духовный перелом конца 1870 – начала 1880-х гг. в Толстом, приводя в «доказательство» его же, Толстого, широко известное признание в ответе 1892 г. на письмо французского профессора Жоржа Дюма (Georges Dumas, 1866 – 1946), обратившего внимание на элементы христианской этики из позднейших проповедей Толстого-христианина уже в «Анне Карениной» и даже «Войне и мире». Толстой отвечал профессору так:

«Я думаю, что вы совершенно правы, предполагая, что перемена, о которой я говорю в “Исповеди”, произошла не сразу, но что те же идеи, которые яснее выражены в моих последних произведениях, находятся в зародыше в более ранних. Эта перемена показалась мне неожиданной потому, что я неожиданно её осознал» (*66, 188; оригинал на франц.*).

А. С. Кондратьев в связи с этим настаивает на «преемственности этапов» творческого пути Толстого (*Кондратьев А. С. Указ. соч. С. 341*). Но обратим внимание: Толстой говорит в ответе о «неожиданности осознания» им накопившихся постепенно перемен в жизнепонимании, поставивших водораздел между его сознанием и прежней «верой отцов», а также прежним отношением ко многим реалиям жизни нашего лжехристианского мира, включая войну или смертную казнь. То есть, речь здесь надо вести, действительно, не о некотором «сломе» одного догматического мировоззрения в пользу другого, православного в пользу «еретического», а о динамическом, непрерывном процессе эволюции *системы* толстовского мировоззрения, в которой, именно по широко известному свойству всех открытых, саморазвивающихся систем, неспешные, «чуть-чуточные» изменения доверчивой к мирским лжам и заманкам юности сменились более скорым духовным развитием и неизбежным при этом обособлением в зрелые годы, подведя Толстого именно к той кризисной точке 1877 – 1881 гг., после которой он уже не мог верить ни прежним мирским лжам, ни учению церкви, и сознание его диалектически стало эволюционировать от необходимого прежде обособления — к единению с миром, но уже совершенно, качественно иного порядка: с единой, незримой, сокрытой до времени в мире Церковью, основанной Христом, но до сего времени не торжествующей, и с её адептами, соединёнными высшим, нежели еврейское или православное, религиозным пониманием жизни.

Таким образом, неосновательность противопоставлений юноши и молодого человека Толстого — Толстому же старцу не снимает проблемы «духовного переворота» Л. Н. Толстого указанного периода и не доказывает (к чему стремится православный тульский литературовед), что такового не было.

Зато доказательством, пусть и косвенным, в пользу «перелома» сознания Толстого, поворота в сторону независимого от церковных суеверий и лжи жизнепонимания первоначального христианства, служит, как ни странно, та самая запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 8 марта 1910 г., когда Толстой, размышляя об одном, весьма известном, суждении из давнего своего письма к двоюродной тётке, умнейшей, замечательной графине *Александре Андреевне Толстой* (1817 – 1904), подтверждает, что и «теперь бы ничего не сказал другого». А. С. Кондратьев, для «доказательства» того, что ему хочется доказать, цитирует только этот обрывок, прибегая таким образом к

умолчанию и подлогу. В источнике отзыв Льва-старца на суждение молодого Льва выглядит так:

«Вечер опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне. Одно о том, что жизнь труд, борьба, ошибка — такое, что теперь ничего бы не сказал другого» (58, 23).

Легко догадаться, что речь идёт вот об этом отрывке из письма Толстого к тётке Александре Андреевне Толстой, от 18 или 19 октября 1857 г.:

«Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно всё только хорошее. Смешно! *Нельзя*, бабушка. Всё равно, как *нельзя*, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а *оттуда*» (60, 230 – 231).



Александра Андреевна Толстая.  
Конец 1860-х.

«Рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать и бросать» — ведь это и есть описание крайне неустойчивого, что и характеризует все живые системы, но динамического, диалектически-последовательного и непрерывного духовного развития, когда сознание человека проходит через множество системных состояний: малых «кризисов» освобождения от заблуждений, от мирских соблазнов и лжей. И, подобно тому как время Христа мыслители нередко именуют рубежным, «осевым», то есть важнейшим среди прочих кризисных, поворотных этапов духовного роста человечества, так и в жизни человека Толстого приход к вере Христа, к выраженному в евангелиях новому, прежде неизвестному миру и до сего времени не принятому им, религиозному пониманию жизни так же должен быть признан важнейшим из непрерывных его «метаний» и исканий Истины.

Таким образом, отказавшись от противопоставления «двух Толстых» в эволюции антивоенной позиции писателя и мыслителя, мы не отказываемся от определения «кризиса», «переворота» и подобных, как описания «точки бифуркации» в эволюции воззрений Л. Н. Толстого как сложной открытой самоорганизующейся системы.

В Дневнике молодого Толстого и первых его сочинениях, «кавказского» и «севастьяпольского» периодов, А. С. Кондратьев видит значительную долю «религиозного мышления», устремлений молодого Льва к духовному единению с Высшим началом и освобождения от растлевающих соблазнов и искушений», с опорой на «нравственный закон» Христа (*Кондратьев А.С. Указ. соч. С. 343 – 345*). Бесценно наблюдение А. С. Кондратьева о сопряжении толстовского определения религии как «отношения человека... к целому, которого он чувствует себя частью», с его же суждением в Дневнике ещё 1853 года: «...Разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого... образуй свой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольётся в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя» (46, 4).

С такой позиции остранения от мирской лжи Толстой приучил себя смотреть и на военную службу, и на самые войны. Толстому, по мысли А. С. Кондратьева, было предначертано «в атмосфере атеистического и нигилистического угара» заражённой секуляризмом и безверием имперской России «способствовать укреплению религиозной аксиологии в духовной жизни соотечественников» (С. 344 – 347).

Русский Христос, но одновременно и *спаситель Христа* для нас, *последний евангелист* — не менее того!

«Поздний» Толстой «открывает для себя <учение> Христа как путь достижения гармонии с собой и миром» (*Там же. С. 345*). Но и гораздо раньше, подчёркивает автор статьи, начиная с первых художественных сочинений, творчество Толстого уже пронизано «пафосом доверия к религиозному идеалу, воплощающему эсхатологическую перспективу, интуитивно освоенную в “легенде о Зелёной Палочке”, зарытой на Фанфароновой горе, и в мечте о “муравейном” братстве» (*Там же. С. 348*). Религиозный идеал, таким образом, был путеводным для Толстого на протяжении всего духовного пути.

Труды Нины Эльдаровны Бурнашёвой (1944 – 2020) останутся для поколений исследователей образцом вдумчивой наблюдательности при работе с рукописным наследием Л. Н. Толстого. Для нас важны многие, впервые подмеченные ею, подробности работы писателя над ранними своими рассказами, над повестями «Казачи», «Хаджи-Мурат» и романом «Война и мир», а равно и отмеченные Ниной Эльдаровной особенности «взаимоотношений» писателя со своими персонажами: например, то, что любимые персонажи Толстого, близкие ему, участвуя в войнах, стычках и боях никого *не убивают* (*Бурнашёва Н.И. «...Пройти по трудной дороге открытия». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 225 – 248*). Но, как повелось, в таких трудах, “слабым местом” автора являются некоторые *общие* выводы, тоже значительные для нашей темы. Так, в завершении одной из глав указанной выше книги, читаем у Нины Эльдаровны такой пассаж:

«Он <Толстой> пытался и на восьмом десятке жизни понять и объяснить, “под влиянием какого чувства” люди убивают друг друга, что переживают они в душе, когда “одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жён, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего не сделали” (т. 36, с. 106). Одно перечисление таких разнообразных внешних причин и «влияний» говорило о том, что даже глубокий и тончайший психолог

Лев Толстой, способный в “чужую боль” и в “чужой восторг переселяться”, “испытывал ужас [...] перед сознанием бессилия человеческого разума” (т. 36, с. 108), “перед помрачёнными умом и совестью” и за всю свою долгую жизнь так и не смог ответить на вопрос, с мучительной остротой и ясностью вставший перед ним ещё во времена молодости: “под влиянием какого чувства убил один солдат другого”» (Там же. С. 249).

Конечно же, это не так. Нина Эльдаровна цитирует в начале и конце данного отрывка “вопрос”, вставший перед главным персонажем рассказа «Набег», волонтёром на Кавказской войне. Но его можно, во имя точности, переформулировать и так: «Под влиянием чего люди соглашаются быть убийцами?» *Каких* помыслов и *каких* чувств? И откуда они берутся в них? И Толстой, не в одних перечислениях статьи «Одумайтесь», а и задолго до неё, отвечает на этот вопрос — себе и, через расстояние в десятки лет, своему автобиографическому *alter ego*, волонтёру. Он пишет о принуждении, подкупе как средствах вербовки в войско, а главное — о множестве обманов, оправдывающих и освящающих войну, главный из которых — поповский, религиозный. Как человек XIX столетия, он не мог бы ответить лучше! Он не мог знать о хорошо известном в наше время материальном, биохимическом влиянии на мозг и нервную систему человека как музыки, так и звучащих слов пропагандиста, а при настырном, навязчивом повторении, иногда принуждении к заучиванию — даже и печатных текстов! Он не владел термином *психическое заражение* — хотя, как психолог-литератор, неоднократно описывал его действие. Наконец, уже на Кавказе он самолично мог видеть, как страх солдат, на глазах которых убивают их товарищей, сменяется озверением, ненавистью к военному противнику... Низшая, до Творения, дочеловеческая природа возбуждается в человеке — в интересах тех, кто обманывает его и толкает на войну.

У Толстого был и главный ответ: на вопрос, что с этим делать. Ответ — христианский, религиозный, и основанный на этих же личном опыте и наблюдениях психолога. «Обличение лжи и утверждение истины» — так формулировал Толстой свою деятельность противостояния «заражению» нерв и сознания людей контрпродуктивными эмоциями и лжами. Соединение людей в общем религиозном руководстве жизнью, единой живой вере — это о том же, другими словами. Всякая живая, руководящая человеком, вера чудотворна. Чудо же христианской веры — в обретении сил для утверждения в



себе человеческого и подчинения низшего, первобытного, звериного. Человек стяжает эту благодать в обмен на подлинное доверие Богу, на вручение себя — Ему, безраздельно, а не мирским начальникам и владыкам. Нина Эльдаровна исповедовала православие, которое, к сожалению, не ставит перед адептами своими таких задач — зато лукаво проповедует повиновение мирским начальникам прежде Бога! В этом, думается, причина того, что, даже цитируя толстовский ответ на вопрос об основах в человеческой природе удобопреклонности ко греху насилия, повиновения, она словно бы «не замечает» его, не считает его таковым, то есть ответом!

Паноптикум подпутинских бюджетных уродцев (как в смысле публикаций, так и их авторов) уверенно пополняют Токарев Григорий Валериевич (Тула) и Яхьяиур Марзие (Тегеран) с их статейкой 2017 года (см: *Токарев Г.В., Марзие Я., Пацифистские взгляды Л. Н. Толстого // Исследовательский журнал русского языка и литературы, Vol. 10. 2017 (2), С. 29 – 40*).

В «Севастопольских рассказах» авторы находят «моральное оправдание патриотизма», что, само по себе, предсказуемо. «Если ранний Толстой поддерживал войну народную и освободительную, то поздний считал любую войну проявлением зла, насилия, негативно оценивал деятельность военного, патриотизм» — полагают они (*Токарев Г.В., Марзие Я. Указ. соч. С. 29*). Это упрощённая схема. Кризис мировоззрения, засвидетельствованный «Исповедью», отменить нельзя, но ряд источников именно из молодых лет Толстого, которые мы проанализируем ниже, заставляют предположить, что, ища «политических» или «народно-оборонительных» оправданий для военного насилия, Толстой сам себя «ловил» на недостаточности той неоригинальной, как правило, аргументации — даже при кропотливом её изложении на бумаге.

В «Хаджи-Мурате», с их же точки зрения, русская военная кампания на Кавказе показана с немалой долей цинизма (*Там же. С. 34*). Это неверно, так как «цинизм» в известном, действительно эмотивно окрашенном, описании разорённого аула и ненависти горцев (см. 35, 80) — это лишь попытка (обеспеченная личным опытом общения с горцами) взглянуть на совершившееся глазами не юного волонтера, как в рассказе «Набег», а самих горцев. Это психологический реализм, а не цинизм.

И, наконец — такой вот авторский «перл»:

«Увы, Толстой, как и при жизни, оказывается в оппозиции идеям государства, церкви, светской морали. Но он вместе с обычным человеком. Нужен ему и поддержан им» *(Там же. С. 38)*.

В этом заключении узнаётся один из авторов статьи, именно Гриша Токарев с его говнистым характером. Грише насрать даже на то, что, как сам он признаёт, фундаментом для толстовского «пацифизма» является евангельское учение Христа. Грише на тёпленьком месте в Тульском педагогическом университете кормней, спокойнее и приятней, со всею, как ему фантазируется, интеллектуальной элитой России, поддерживающей «государство, церковь» во всех их мерзостях и лжи, равно и «светскую мораль», подменившую для них, для «умных» религиозную этику, нравственный Христов закон ещё в эпоху Толстого, и даже ранее. Толстого же с его «пацифизмом» Токарев «отдаёт» умозрительному простонародью, «обычному человеку», толпе — как Пилат Понтийский отдал Иисуса Христа с его непонятной и презренной язычнику «истиной»!

Для анализа духовного пути «дохристианского» Толстого значительна публикация 2022 г. в журнале «Вопросы философии» А. К. Куликова «Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ» *(Куликов А. Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ // Вопросы философии. 2022. № 1. С. 122 – 133)*. Автор статьи проводит интересное сопоставление творчества двух великих классиков, у которых находит близость идейного содержания. Он утверждает: «Мир – творческий хаос в духе Гераклита, в котором клокочет жизнь, господствуют судьба и случай. [...] Сегодня реальны две альтернативы. Либо человеческая жизнь бесцельна и поэтому бесценна, [...] либо она бесцельна и поэтому пошла и скучна» *(Куликов А. К. Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ // Вопросы философии. 2022. №1. С. 123)*.

Фатализм и героизм «Севастопольских рассказов», в особенности же эпопеи «Война и мир» противостоит христианскому пониманию истории и европейскому рационализму. Читаем у А. К. Куликова: «Неслучайно судьба и героика часто противопоставляются новоевропейскому рационализму: идеям свободной личности, разумного смысла и цели истории и жизни, которые символизируют как бы период «взросления» европейской культуры» *(Там же. С. 124)*.

Судьба у Лермонтова и Толстого, как и в понимании античных авторов, живших до Сократа, выступает как эстетическая категория. Героизм, хотя и не придаёт жизни смысл, но оправдывает её красотой, благородством. Приводится в пример Хаджи-Мурат. Автор статьи упоминает проявление «бездумной» храбрости молодого Толстого во время Крымской войны. Такую смелость будут демонстрировать его герои: Андрей Болконский и Хаджи-Мурат. Ему близка героика древней трагедии, дионисизм, стихийная энергия. Стихийную энергию Толстой «искал в сближении с роевой жизнью народа и в общении с крестьянскими детьми». Да, именно это, а не ответ на вопрос о смысле жизни, народу, а тем более детям, неизвестный! (*Там же. С. 125*).

А. К. Куликов пишет о родстве героики, утверждаемой писателем, с детским мировосприятием. Имеются в виду жажда жизни, полнота и невинность бытия. Здесь автор отсылает нас к древнейшей стихийной диалектике человечества — к учению Гераклита. Кстати, как отмечал ещё С. Н. Трубецкой, мышление Гераклита было интуитивным, он мыслил образами (*Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 142*). А это свойственно так же гениям и детям. Автор статьи подчёркивает: «Во всем этом Толстой сближается с Лермонтовым, чей юный гений был, вероятно, ещё ближе к этой светлой детскости, единению с вечной природой, героике и вместе с тем детскости греческой лирики и трагедии» (*Куликов А. К. Указ. соч. С. 125*).

Природа у Лермонтова и Толстого олицетворяет идеал вечных свободы, мира и гармонии — тем самым, по мнению А. К. Куликова, выражая антизападный пафос в сознании молодого Толстого. Но отчего же антизападный? Обоснования автора неубедительны. Быть может, точнее его было бы назвать *антиправославным*, но не в сторону труднейшую, постигновения истинного христианства, а, скорее, в «руссоистскую» — первобытной воли и дикости, дарующих счастье без тяжких рефлексий? В этом смысле вся еврейская, авраамическая традиция, а не только принятая в европейских католичестве и протестантизме, подчиняет человека определённому, навязываемому воспитателями, пониманию жизни его самого и референтных для него общностей, да и общества, и человечества в целом.

При этом ни одно из «исторически сложившихся» течений христианства не освобождает человека от роковой детерминации первобытных, бессознательных влечений — поведенческих программ

агрессивного территориального животного, не изученных и, конечно же, неизвестных ни романтикам, ни Л. Н. Толстому. Отсюда близкое Толстому «антивоенное» недоумение и вопрошание героя лермонтовского «Валерика», которого цитирует, в подкрепление своей позиции, и А. К. Куликов и к которому мы неизбежно вернемся в основной части нашей книги.

Итак, в статье А. К. Куликова выявляется связь поэтики природы у Л. Н. Толстого с героикой, судьбой и детством. Героизм и судьба противопоставлены рационалистическому восприятию жизни и истории. Автор неубедительно оспаривает мнение Ю. М. Лотмана о восточном происхождении идеи судьбы у Лермонтова. Он считает, что тут не мусульманский, а античный фатализм. И приводит в пример купца Калашникова как наиболее чистый тип героизма. У других героев постепенно происходит вырождение этого свойства, фатализм подменяется психологизмом, чрезмерной рефлексией, самокопанием, пустословием. Наиболее рельефно в этом смысле выступает Печорин. Искажение, опошление фатализма, считает Куликов, приводит к профанации героизма.

Герой пытается преодолеть историю. «Таков, думается, главный корень колоссального дерева «Войны и мира». Это история, созданная против истории, против включения России в историческую жизнь Западной Европы» — выводит А. К. Куликов (*Там же. С. 127*).

Антиисторическая установка, по мысли автора статьи, направлена Львом Толстым против европейской классической философии. «В записях Софьи Андреевны читаем, как Толстой восхищался Шопенгауэром, считая Гегеля пустым набором фраз» (*Там же*). В истории нет смысла, ею правят случайности.

Но здесь нам стоит заметить, что, во-первых, увлечение Шопенгауэром автора «Войны и мира» не распространилось на последующие периоды жизни, в особенности годы христианского исповедничества, с начала 1880-х. А второе то, что в самом увлечении философией Артура Шопенгауэра в 1860-е Толстой был безусловным европейцем — разделившим «моду» на Шопенгауэра со многими своими ровесниками в Германии, Швейцарии, Франции... Ниже, в основном тексте книги, мы не раз вернёмся к этому оригинальному, озадачивавшему и раздражавшему И. С. Тургенева, парадоксальному европеизму Толстого, проявлявшему себя во многом — от наблюдений за европейской политикой и культурной жизнью, продолжая, в частности, симпатиями к неблизким в целом (продолжим убеждать

читателя и в этом!) антивоенным движениям в Европе, и завершая повседневными бытовыми мелочами.

«На рассуждения Пьера в духе Гердера Андрей Болконский отвечает: «Да, это учение Гердера... но не то, душа моя убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает». «Убеждают в необходимости будущей жизни не доводы» (Толстой, 1938, X, 117), – добавляет он». (Там же. С. 128).

Подобное мы, действительно, встречаем у Лермонтова. В статье приводятся следующие строки из «Маскарада»:

Что ни толкуй Волтер или Декарт –  
Мир для меня – колода карт,  
Жизнь – банк, рок мечет, я играю,  
И правила игры я к людям применяю.

Но беда концепции А. К. Куликова в том, что персонаж «Маскарада», именно Афанасий Павлович Казарин, своей концепцией жизни сближается отнюдь не с возлюбленными Л. Н. Толстым персонажами сочинений, а, например, с самоубийцей Анатолием Нехлюдовым в «Записках маркёра». С *диалектикой души* значительнейших толстовских персонажей сей замысел Лермонтова просто несопоставим. Фатализму и “философии” игрока Афанасия Казарина духовно противостоит не только однофамилец в романе «Воскресение», открывший для себя учение Христа, но и сам князь Андрей Болконский в романе «Война и мир» — поддавшийся *детской* увлечённости нового, неожиданного собеседника и друга, Пьера Безухова, и изменивший свои мрачные тридцатилетние взгляды на жизнь — подчеркнём: отнюдь не в сторону сближения с Гердером, а, хотя и сам не признавал этого, в сближение с рождественской и пасхальной *радостью* христианства, одинаково неведомой в лжехристианском мире, то есть в Европе и России как её части, всем тем, кто обманывает себя, обслуживая указанные выше первобытные атавизмы человеческой психики, вместо жертвенного противостояния им с общедоступным уже теперь 2000 лет духовным оружием христианской веры.

Наконец, в статье А. К. Куликова подчёркивается героический аристократизм персонажей произведений рассматриваемых классиков. С миром эллинской трагедии их роднит наличие страдания и не-

справедливости. У Лермонтова «в «Демоне» и «Маскараде» есть нравоучительное торжество справедливости над злом, но оно туда добавлено по требованию цензоров». «Два брата», «Вадим» – там этого нет.

«Несправедливость – не чья-то личная вина и коварный расчёт, а сама судьба, с которой отчаянно борется трагический герой. Именно так рассуждает приговорённый к смерти Пьер» (*Там же*).

Об этом эпизоде подробнее расскажем ниже, в особенной Главе нашей книги, посвящённой «Войне и миру». Здесь скажем кратко: страшное зрелище казни, с ожиданием собственной смерти, мытарства и духовное обновление Пьера — всё, с позиций христианского понимания жизни, проявления не несправедливости, а, напротив, *милости Божией*, ведущей к просветлённой радости, к новому качественно состоянию сознания, недостижимому для лермонтовских омрачённых, демонических «героев времени».

Н. А. Балаклеец (Вологда, Россия) в статье «Философия войны: Толстой и Клаузевиц» (2017) не просто убеждена в обширном знакомстве Толстого с сочинениями Карла фон Клаузевица, но и находит, что в романе «Война и мир» автор трактата «О войне» предстаёт как эксплицитный персонаж, атакуемый критикой как Толстого-художника, писателя (посредством образов, метафор, диалогов), так и метафизика и историсофа:

«...Война для Толстого бесцельна и бессмысленна не только в плане человеческого интеллекта, но и на метафизическом уровне. Слепая воля философии Шопенгауэра в отличие от гегелевского мирового духа не ведаёт никаких целей. Поэтому столкновение и гибель народов и отдельных индивидов в системе философских взглядов Толстого – это в корне бесцельный процесс, выражающий противоречивость и бессмысленность земного бытия» (*Балаклеец Н.А. Философия войны: Толстой и Клаузевиц // Социодинамика. 2017. № 1. С. 7*).

Современный автор Сэмюэл Мойн (Samuel Moyn), профессор Йельской школы права (Yale Law School) в Нью-Хейвене (Коннектикут, США), опубликовал в 2021 году статью «I Would Not Take Prisoners», содержащую близкий нашему, истинно свежий и оригинальный взгляд на эволюцию и особенности толстовской антивоенной мысли (<https://lithub.com/i-would-not-take-prisoners-tolstoys-case-against->

[making-war-humane/](#) ). Ниже, помимо изложения, даём цитаты из указанной статьи в переводе.

На диалектически предопределённом пути к христианскому религиозному пониманию жизни, к отрицанию безбожного, так называемого «светского» гуманизма либеральной и иной пацифистствующей интеллигентской сволочи, Толстой «оделил» одного из несомненно любимых персонажей «Войны и мира», именно князя Андрея, некоторыми близкими ему в 1860-х годах мыслями. «Не брать пленных», не сохранять жизни сдавшимся в плен — это, по светской моралистике даже XIX-го, уже затронутого секуляризмом, века, безусловно «жестоко». Но всё же логично: сказав «А», «В», неизбежно дойти и до «О», и до «V», и, конечно же, до «Z». «С Богом» или без Оного. Честнее — без! А светское «жаление» солдатшек лишь затягивает войну — которая, при последовательном послушании Богу и Христу хотя бы одной из сторон военного конфликта не могла бы даже начаться!

Толстой работал над романом с 1863 по 1869 гг., то есть размышления кн. Андрея, подчёркивает проф. Мойн, может быть прямым откликом автора на первую Женевскую конвенцию и создание Красного Креста, о котором в своей позднейшей публицистике Лев Николаевич несколько раз выскажется довольно критически, с неприятием, вплоть до вынесения в заглавие статьи 1889 г. своеобразного лозунга: «Не Красный Крест, а крест Христовый!»

«Болконский у Толстого весьма недвусмысленно ссылается на первую робкую попытку империй гуманизировать свои непрерывные стычки: «...убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам», – говорит князь Андрей. И добавляет: «Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!»

Позиция князя есть не что иное, как прямое осуждение идей Анри Дюнанна (Анри Дюнан, фр. Jean Henri Dunant; 8 мая 1828 — 30 октября 1910), создателя Красного Креста. Осуждение, основанное не на императиве мира (к нему Толстой придёт позже), но на неординарной идее о том, что усиление войны будет косвенно способствовать миру».

В этом князь Андрей оказывается парадоксально близок теориям знаменитого и в наши дни Карла фон Клаузевица. Последний «утверждал, что цель сражения – полное и бесповоротное уничтожение», а в классическом труде «О войне» (1832) афористично заявлял: «Ошибки, проистекающие из доброты, самые тяжёлые». Считать бойню на войне грехом, который нужно искупить, или, что ещё

хуже, пятном на самом прекрасном занятии в жизни, есть моральная ошибка. «Тщетно или даже неправильно закрывать глаза на то, что есть война и на явные страдания, которые она причиняет», – объяснял Клаузевиц. «Сам факт, что бойня – ужасающее зрелище, должен заставить относиться к войне со всей серьёзностью, – продолжал он, – но не может служить оправданием постепенному приглушению мечей во имя человечности». И добавил: «Рано или поздно кто-нибудь придёт с острым мечом и отрубит нам руки». Человечность при такой геополитической данности — своего рода “опция”, «добавочная выгода, а не истинная цель». Ученик Клаузевица Франц Либер в начале 1860-х, то есть ещё до написания «Войны и мира» Толстого, обнародовал военный Устав, исходящий из принципа, что «всё, что необходимо для войны, должно быть законным; и, если и имеют место чрезмерное насилие и страдания, то только потому, что того требует победа, а победа приближает мир». То есть, залог мира — в жестокости и интенсивности войны.

«Князь Андрей, по иронии, звучит в унисон с Клаузевицем», когда утверждает, что «предоставленный сам себе, гуманизм будет порождать новые войны и требовать всё новых жертв».

Более того, замечает Андрей, сделайся война более гуманной, её станет гораздо легче начинать: ибо жизнь не поставлена на карту. «Если бы на войне не было такого великодушия, – продолжает он свою страстную проповедь, – мы должны вступать в войну только тогда, когда стоит идти на верную смерть».

Но далее проф. Мойн делает справедливый, на наш взгляд, вывод о том, что аргументы кн. Андрея основаны на спекуляциях:

«Сторонники гуманизации войны привели тот же самый аргумент. Ещё в 1864 году Гюстав Муанье назвал Женевскую конвенцию «пологим спуском, который сходится к единственному логичному завершению – тотальному осуждению войны». Законы войны станут «секретными средствами умиротворения», – предрекал Муанье в один из редких моментов визионерского энтузиазма. «Гуманизация войны может закончиться только её отменой», – пообещал он спонсорам.

[...] Короче говоря, не интенсификация косвенно способствовала бы умиротворению, а гуманизация.

[...] Поздний Толстой отказался от близорукого взгляда князя Андрея. Но Эйлер Мод, его биограф и друг, был абсолютно прав в том,



что эта речь предвосхищала последующую более зрелую атаку Толстого на «гуманизм» по отношению к войне, как молния предвосхищает грозу.

Для князя Андрея главное – не предсказания, но правда и риск промолчать о ней. Облагораживание зла – это уловка, ведущая к компромиссам с совестью» (*Там же*).

А вот ещё одна теоретически бесценная для нашей темы концепция! Систему образов военной повседневности, представленную Толстым в рассказах Кавказского и Крымского циклов современный исследователь Маттиас Фрайзе характеризует значительнейшим определением: «бастионный хронотоп» (*Фрайзе М. Бастионный хронотоп // Лев Толстой и мировая литература. Вып. 20. Тула, 2021. С. 7*). Автор поддерживает точку зрения Б. Эйхенбаума о том, что Толстой преодолевает в своих повествованиях «с войны» лживую романтическую традицию её изображения: он «противопоставляет изображению массовых сцен концентрацию на отдельных персонажах, которых описывает не в исключительной ситуации опасности и проявления героизма, как можно было бы ожидать, а в их очевидной повседневности» (*Там же. С. 5*). Маттиас Фрайзе так же подчёркивает, что, по его выводам, «до Толстого война в литературе была представлена либо как индивидуальное взаимодействие выдающихся героев (Ахилл против Гектора, Давид против Голиафа, Александр против Дария), либо — в батальных сценах и панорамах — как взаимодействие коллективов: как в «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида [...] так и в дальнейшей европейской традиции, восходящей к Иосифу Флавию («Иудейская война»), Вальтеру Скотту («Айвенго») и Виктору Гюго («Собор Парижской Богоматери»), и в русской — к Михаилу Васильевичу Ломоносову («Ода блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года»), Михаилу Матвеевичу Хераскову («Россиада») и Гавриилу Романовичу Державину («На взятие Измаила»). [...] Вместо этого у Толстого появляется новая, ранее не использовавшаяся форма социального взаимодействия в ситуации войны — форма, которая возникает только в совершенно особых условиях — в условиях бастиона», и могущая поэтому, по мысли исследователя, быть поименованной «бахтинским термином — “хронотоп бастиона”». Этот хронотоп создаёт между уровнями массового военного действия и индивидуального военного действия третий

уровень — группового и в определённом смысле более близкого, «родственного», «семейного» военного действия» (Там же. С. 6 – 7).

\* \* \* \* \*

Приведённые выше, с нашим кратким анализом, отрывки из некоторых авторских работ по теме «антивоенного» Л. Н. Толстого не исчерпывают, разумеется, историографических задач, которые мы могли бы реализовать в данном Введении. Но наша задача цитирования, буквально “навскидку”, некоторых авторов и комментирования их была совершенно иной: дать представление о том направлении нашей мысли, по отношению к единомышленникам и оппонентам в предшествующей научной литературе, которое будет сопровождать читателя и на страницах основной книги и, надеемся, доставит ему немало полезных и радостных минут.

---

## ПЯТЬ. Наше видение проблематики

Лев Николаевич Толстой, психологически травмированный несколькими случаями жестокости старших в детстве, в сознательном возрасте практически *всегда* был стихийный, страстным противником *кацапства*, имманентного поганому «русскому миру»: жестокости, принуждений, насилия — включая, разумеется, и злейшие, системно-организованные их формы. Военные убийства и смертные казни никогда не были для него исключением, но *сознательное* отношение к этим формам насилия было у Толстого разное от начала — что связано было с условиями воспитания, формирования личности Толстого. Внушённое в детстве сословное уважение к военным, к военной службе давало себя знать. Палачей в роду Толстых не было — зато всегда были государственные служащие, и чаще всего военные. Обыкновенные же оправдания военной службы риском для жизни, необходимостью храбрости, бывшей для Толстого с юных лет безусловной моральной ценностью, невозможно было экстраполировать на судью и палача, зато (кстати сказать) без особых усилий возможно было — на «воинов» с общественными неправдами, радикальных оппозиционеров правительству. Именно этим, атавистическим,

действием воспитывающего внушения положительного отношения к героизму, к бесстрашию, к жертвованию своей жизнью, следует объяснять странный феномен, когда Толстой-христианин, отрицая методы революционеров 1870 – 1900-х гг., симпатизировал многим из них как жертвующим собой, бесстрашным личностям. Скажем попутно: в этой же «прививке» ложным воспитанием сознанию и воле ребёнка мирской, антихристовой лжи — причина того парадокса наших дней, когда добрые и умные люди, осуждая любых убийц и терроризм, благословляют, в «своём» государстве, наделение полицаев, военщины и самих граждан (для «самообороны») всё новейшими видами летального оружия — того самого, которым и вооружаются впоследствии убийцы и террористы.

Но вернёмся к нашей теме... Значительный перелом в воззрениях Льва Николаевича Толстого на системно организованное насилие был связан с увиденным им в Париже в апреле 1857 г. зрелищем смертной казни.

Незадолго до этого Л. Н. Толстой, как многие гениальные люди, пережил очередной приступ депрессии, «сомнения во всём» (запись в Дневнике от 19 марта; ср. 5 апр.). Приступ был связан, как предполагает биограф его, Н. Н. Гусев, с его тогдашним «рассеянным, малодейственным образом жизни, недостаточной творческой и умственной работой» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1855 – 1869. С. 190*). В облегчённой форме это было то же, что и знаменитая «арзамасская тоска», пережитая писателем гораздо позднее, в ночь на 3 сентября 1869 г., при сходных (рассеянное полубезделие путешественника) условиях.

5 апреля Толстой узнал, что утром на другой день предстоит на площади, перед одной из парижских тюрем, совершение публичной смертной казни посредством гильотины. Он решил поехать посмотреть на казнь.

Преступник, некий Франсуа Ришё, по профессии повар, был осуждён судом присяжных за два убийства с целью ограбления. 6 апреля в семь с половиной часов утра в камеру осуждённого вошли начальник тюрьмы, начальник полиции и священник, в сопровождении которых осуждённый отправился к месту казни, где сам, без посторонней помощи, поднялся по ступенькам на помост гильотины, поцеловал поданное ему священником распятие, — и через минуту всё было кончено.

На Толстого, видевшего, ко времени этого случая, множество смертей на трёх войнах Российской империи, именно вид смертной

казни произвёл потрясающее впечатление. «Больной встал в 7 часов, — записал он в Дневнике, — и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! — Сильное и не даром прошедшее впечатление» (47, 121).

Не даром, ибо Толстой кое-что важнейшее понял в себе:

«Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу» (Там же. С. 121 – 122).

И здесь же — ещё более интимно-личное признание:

«Гильотина не давала спать и заставляла оглядываться» (Там же. С. 122).

Более подробно о впечатлении, произведённом на него зрелищем смертной казни, Толстой в тот же день, 6 апреля 1857 г., писал В. П. Боткину: «Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь... Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная [воля], но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведённое спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного. Наглое, дерзкое желание исполнять справедливость, закон Бога. Справедливость, которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное» (60, 168).

Гениальный художник готов благословить живую жизнь — «человеческое чувство страсти» — даже в казнимом убийце, но не находит её в действиях палача — привычного исполнителя гнусной, утилитарной процедуры.

Толстой уже не верит в то, что посредством судебных приговоров осуществляется пресловутая «справедливость». Понемногу он подступает к тому, чтобы в принципе отринуть эту языческую категорию общественной этики: суеверие о *справедливости*, «которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное». В этом неприятии, подчеркнём, немало *эстетического* и *этико-эстетического*, восходящего как раз к представлениям языческого мира о прекрасном, о красоте, благородстве... Всего этого, как мы покажем ниже, он обнаружил немало на военной службе — которая, впрочем, быстро

разочаровала его: не только чужестью для него большинства её участников из числа служилого, офицерского сословия, но и *ощущением контраста* войны, как якобы определённого Свыше общего дела, красоте, и покою, и радости в природе, в Божьем мире и мудрой, тихой мирной жизни народов, казачьего и горских, которых военачальники волонтёра, позднее юнкера Льва Толстого распоряжались убивать без жалости!

Но были среди служащих, офицеров и солдат, и праведники, и храбрцы, и хорошие друзья... Были храбрость, риск своею жизнью и подвиг. Всего этого он не находит ни в «технологичной» казни гильотиной, ни в глазеющей на неё буржуазной толпе «демократических» французов: «Толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п.» (*Там же*).

И далее, мнение Толстого-воина, возненавидевшего даже военное, не столь мерзкое, как казни, системное насилие, о государственности и законах, задолго до знаменитых его «анархистских» статей:

«Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное для развращения граждан. [...] Я понимаю законы нравственные, *законы морали и религии, не обязательные ни для кого*, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность; я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче» (*Там же. Выделения в тексте наши. – Р. А.*).

И, как приговор самому себе и своей карьере, не только военной, но и в политике или в духовенстве:

«...Никогда не буду служить нигде *никакому* правительству» (*Там же. С. 193. Выделение в тексте – Л. Н. Толстого*).

Обратим внимание: задачей искусства Толстой 1850-х гг. полагает счастье, которое здесь явно синонимично «удовольствию». Этические же законы – *необязательны ни для кого*, хотя и полезны указанием религиозного идеала «гармонической будущности». Сколь значительны и важны эти отличия от христианского мировоззрения «позднего» Толстого!

Таким образом, для Толстого, с его точки зрения, в условиях следования им, с одной стороны, внушённому воспитанием в православной (т. е. чуждой Христу) России общественно-государственному религиозному пониманию жизни, восходящему к язычникам и

евреям Ветхого Завета, с другой же — действия собственных благородных нравственных установок и результатов самовоспитания и личного жизненного опыта, отнюдь не «большее зло» (с мирских позиций) вело за собой отрицание «меньшего» (казней), а напротив: отвлечение к деятельности правительств по «рационализации» гарантированных, без угрозы безопасности палачу или судьям, расправ над преступниками постепенно и логично вело Льва Николаевича Толстого к отрицанию такого же «прогресса» в зарезаловке людей военной: посредством современных вооружений и всеобщей воинской повинности.

Ненависть к «прогрессу», питаемая в молодые годы обожаемым Жан-Жаком Руссо, в возрасте зрелости приобрела у Льва Николаевича не замечаемые многими самостоятельные этико-эстетические основания, в которых соединились чувства аристократа и художника, служителя слова. По существу, это была уже не прежняя, «книжная» по происхождению, неприязнь, а — взвешенный, обдуманный и живой взгляд искателя Истины.

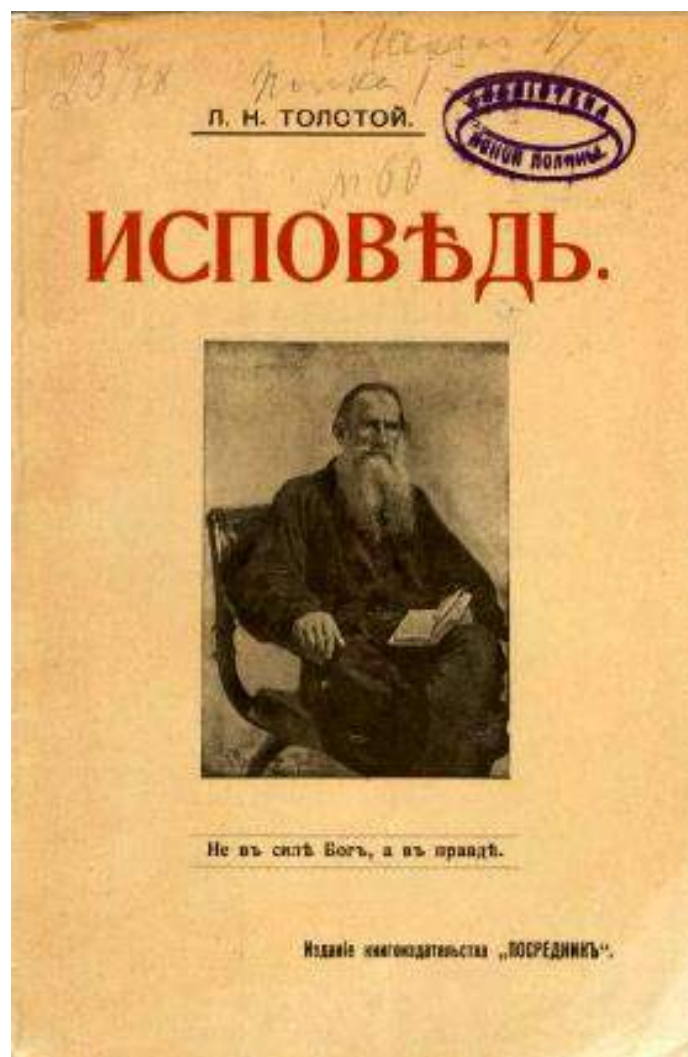
Со всеобщей же воинской повинностью, с «военным рабством» народов, органично соединилась эволюция духовная Толстого — к тому высшему религиозному пониманию жизни, о котором мы вели выше речь, к полюблению Истины и источника её в Боге и Христе.

Финальная, *третья стадия – христианская*, в отношении к феноменам казней и военного насилия, достигается Л. Н. Толстым во второй половине 1870-х гг. Толстой в эти годы немало общается с российскими сектантами, отрицавшими насилие и военную службу, и сам к концу десятилетия становится в эти годы активно и неортодоксально верующим человеком.

Примечательно, как Лев Николаевич уже с этих, новых, христиански-религиозных позиций вспоминает ту же смертную казнь 1857 г. в 3-ей главе «Исповеди» (1882):

«...В бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то,

что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем» (23, 8).



Обложка издания «Исповеди» 1906 г.

Оценка «дурно» имеет здесь уже отчётливо нравственную коннотацию. Что именно *дурно* для Толстого? Дурна, как и прежде, *системная расчётливость* государственного палачества, своего рода проработанная до мелочей *технологичность* «процедуры» над беспомощной жертвой. (Саул Ушеревич соответствующую главу своей книги о смертных казнях в царской России так и назвал: «Техника казней». – см. Ушеревич С. *Смертные казни в царской России*. Харьков, 1933. С. 158).

Примечательно, что в «Исповеди» же Толстой решительно расходится с мирским отношением, как к нравственно допустимому, даже благому — и со многим прочим, случившимся в это жизни, не исключая военной карьеры и участия в войнах, и даже «успешного» в глазах мира писательства:

«Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть - всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тётушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной [...], ещё другого счастья она желала мне, — того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья - того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей да войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже лёгкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысла моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили» (23, 4 – 5).

И вся эта гадость и подлость, которыми юноша и молодой человек обыкновенно “подгибает” себя под требования референтных для него личностей и общностей — всё с оправданием служения обществу, общественного блага!.. вот то, что будет в смертных казнях и в войне, в жизни военщины отвращать Толстого с этих лет и уже до конца дней!

А в социально-обличительном трактате 1884 – 1886 «Так что же нам делать?» читаем почти то же, что в «Исповеди», но с важной прибавкой:

«Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно, но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял — не



умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершён этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нём» (25, 190).



«Так что же нам делать?»  
Издание 1906 г.

Судье, палачу, толпе ничего не грозит. Кто-то получит за это действие жалование, а кто-то – потребные эмоции. Совсем не то на войне... Если бы кто-то из гостей московского дома Толстых, высказавшись, стандартно и грубо, против войн и военных, после того стал бы защищать «необходимость» смертных казней, мнение Толстого, в эти годы и позднее, о таком человеке было бы — как о самом *низком*,

подлом, не близком для него, “тонкокожего” на ощущение людей: Толстого-аристократа и Толстого-художника.

И, наконец, о том же, о парижской казни — в самом знаменитом публицистическом выступлении Льва Николаевича против казней, статье 1908 г. «Не могу молчать»:

«Ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, *на войне*, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчёта, заглушающего чувство» (37, 85. *Выделение наше.* – Р. А.).

Важнейший для автора мотив, выраженный в статье — желание посредством своей печатной манифестации снять с себя груз вины за *безопасное*, пассивное участие, как бы одобряемое «пользование», такими государственными «услугами».

Начиная писанием свой манифест о казнях, Толстой плакал.

Но вот если бы Лев Николаевич известился, что кто-то из его соседей-помещиков защитил себя и семью в жесточайшем, с опасностью для жизни поединке с атаковавшими его дом бандитами — такими же, каких приговаривали к казни при П. А. Столыпине — безусловно, его непосредственные чувства не поддержали бы столь же эмоционально резоны христианской веры, которые он мог бы выдвинуть против такого факта «противления насилием» с очевидными храбростью и риском для жизни атакованной разбойниками жертвы.

Это своеобразное наследие «этико-эстетической» стадии духовной эволюции Толстого, которую Толстой забрал с собой в «последний путь» — на главное своё поприще жизни: христианское проповедание и обличение зол общественного жизнеустройства. Такое наследие предопределило ряд издержек, кажущихся либо подлинных «противоречий» Толстого как проповедника и публициста.

Ниже мы особенно подробно рассмотрим общественную и публицистическую деятельность Льва Николаевича именно на этой стадии эволюции его неприятия системного насилия войны, со всеми интеллектуальными и духовными высотами, но и с противоречиями писателя, мыслителя и публициста, в ней себя проявившими. Однако, исходя из нашего воззрения на *закономерность* смены лишь внешне «противоречивых» высказываний Л. Н. Толстого о войнах и военном насилии в печати, мы и в этом, как прежде в духовно-интеллектуальном, процессе выделим свои, нестрогие по границам, периоды: литературно-художественный, религиозно-философский и

общественно-публицистический. Средний из них приходится на период с середины 1870-х по конец 1880-х годов, то есть от времени религиозных исканий и сомнений Толстого, даровавших ему христианское религиозное основание для его прежнего, эстетического и светски-гуманитарного, неприятия системного насилия, включая военные убийства, до времени замышления и создания, в тяжелейших, но и поучительных, духовно *преображающих* условиях, религиозно-философского и одновременно общественно-политического трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890 – 1893). В этот период Толстой уясняет для себя неизбежные для христианина выводы в отношении войны, но в то же время стремится знакомить читателя не столько собственно с этими выводами, сколько именно с основанием их в религиозной вере. Это важно уяснить себе и помнить читателю, чтобы не склоняться к атрибуции позднейших антивоенных воззрений Л. Н. Толстого как светски-гуманистических или «пацифистских». Для исповедника учения Христа пацифизм избыточен, нелеп.

В названном трактате, «Царство Божие внутри вас...», помимо значительнейшей для нас концепции *религиозных жизнепониманий*, наличествует и обобщение опыта Л. Н. Толстого в дискурсе, устном, эпистолярном и посредством печати, с современниками, включая членов семьи, на тему войны и мира, военной службы, обмана светского и религиозного, оправдывающего и освящающего войну... После этого трактата и вызванного его цензурным запрещением в России, а ещё более нецензурным содержанием общественного резонанса, Толстой, уже до этого вынужденно, с 1881 года, зимовавший, по воле семейства, в Москве, как вполне светский и «публичный» человек, знаменитый литератор и религиозный проповедник, стал публичным авторитетом и в рамках этой тематики, что вызвало необходимость других выступлений и вместе составило третий, важнейший для общества, для человечества, общественно-публицистический период в выражении Толстым антивоенных настроений.

Но прежде всего, в Первой части нашей книги, мы остановимся, конечно же, без претензий на полноту, а тем более на уникальность нашей аналитической картины, на периоде наиболее хронологически длительном и, на самом деле, наиболее противоречивом: первом, относящемся к преимущественно литературно-художественным писаниям Л. Н. Толстого о войне: от кавказских повестей до вершины

«дохристианского» художественного творчества Л. Н. Толстого, романа «Война и мир».

В чём антивоенное содержание этого периода — подробно будет сказано ниже. Коротко же: природный по месту рождения, усадебный по воспитанию и деревенский по народолюбивым пристрастиям крепостника-аристократа, молодой Лев, волонтер, а впоследствии и офицер, участник двух больших и тяжких войн России, взирает на войну как проявление *ужасающей, но неизбежной* дисгармонии в природе и в природосообразной повседневности гибнущих на его глазах солдат — преимущественно бывших крестьян. Он жалеет народ, и даже не обязательно русский народ — находя уже в рассказе «Набег» слова понимания и для горцев, чей мирный уклад в аулах был разрушен войной. Наблюдая сопротивляющихся, «немирных» жителей Кавказа и атакующих их, по чужим приказам, военных рабов имперской тети «родины» в составе российского войска (а в Крыму — и войск французского, английского), Толстой воспринимает *выживание* последних, даже с бравадой и шутками, как ненормальное искажение ценной, мирной и трудовой, их повседневности, в условиях которого нравственно высокие качества, как то солидарность и храбрость, требуются для выживания и убийств, по чужим приказаниям, военного противника, а не для *живой и настоящей*, не для мирной жизни.

Нездорова, ненормальна не оставляемая ими привычками жизнь зрелых мужей, но сколь гибельней, хотя по внешности привлекательней для столь ярко проявляющей себя в юной чувственности первобытной, атавистической животности человека, эта жизнь для юных персонажей Толстого, у которых на пути воспитания и социализации встают страшные задачи: убивать и, наконец, быть самым убитыми!

Чем более захлёстывают молодого Льва патриотические эмоции, «прививку» для которых и в его сознании подготовило воспитание, тем далее он отходит от осознания всей мерзости и лжи такого принуждения людей к убийству друг друга, но *особенность* этой безумной жизни, по отношению к норме для человеческого в человеке — не теряет из виду никогда и описывает в образах и красках поистине ярчайших.

Из размышлений над представленной выше концепцией «бастионного хронотопа» Маттиаса Фрайзе о «родственном» и «семейном» в

отношениях между собой участников боевых действий, у нас рождаются некоторые, вероятно, не предвиденные автором выводы, позволяющие связать даже самые патриотичные, чуждые отрицанию войны описания молодого Толстого — с самыми эмоциональными и глубокими по смыслам выступлениями против военного насилия и подготовок к нему Толстого-христианина 1880-1900-х гг.

Стихийно осиротелый, согнанный в военное рабство крестьянский «мир» складывается, в мельчайшей повседневности своего походного и бастионного выживания, в ту автономную от правительств и военачальников, живущую по своим непостижным законам *общинную агломерацию*, при которой остаются важны лишь общие вера для этического братства в Боге и Христе, язык для коммуникации и честный перед товарищами образ жизни. При должных воспитании и распространении в людях этих морально бесценных слагаемых разумной жизни — государства, правительства, войска, военщина и самые войны сделались бы невозможны! А вот в гениально показанных Толстым именно военных условиях, в мельчайшей повседневности жизни общинников, сделанных падлой тётенькой, сиречь «родиной», солдатами, эта жизнь принимает выморочные, болезненные формы и подталкивает более слабых из солдат и даже офицеров либо к мелким нравственно порицаемым проступкам в отношении товарищей, либо даже к нарушению дисциплины, к трусости, предательству... Среда провоцирует их, и в этом повинны не столько личные их пороки, сколько сама *сущность военной среды* — до понимания чего молодому Льву, добровольцем напросившемуся в 1852 году на военную службу по примеру старшего брата Николая, было, разумеется, ещё очень далеко! Невозможно, однако, понять множественные уникальные именно для личности Толстого интенции в его общественно-публицистическом протесте против войны в 1890 – 1900-е годы, не проследив его трудный путь к этой очевидности. Этим мы теперь и займёмся уже непосредственно.





Часть первая.  
**МОЛОДОЙ ЛЕВ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРЮ...  
И БОЖЬЕЙ ПРАВДЕ ИСТИНЕ**

Глава Первая.  
**ЮНОСТЬ «ПАЦИФИСТА»**

**1. 1. РАННИЙ НАБЕГ НА ТЕМУ ВОЙНЫ**

И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: «Жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?»

*(Пермонтов «Валерик»)*

Война всегда интересовала меня.  
Но война не в смысле [учёных] комбинаций великих полководцев —  
воображение моё отказывалось следить за такими громадными действиями:  
я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство.  
Мне интереснее знать, каким образом и под влиянием какого чувства  
убил один солдат другого, чем расположение войск  
при Аустерлицкой или Бородинской битве.

*(«Набег»)*

**В** разумном дитя Бога, в человеке, военного-армейского зверя будут различными средствами: не только словом пропаганды, устным и письменным, но и звуками, запахами, эмоциями... Не “очаковское курение” при посещении горшка — так любимые книжки, стихи, лошадка и барабан... Так или иначе, а на натоптанные дорожки мирского обмана загоняются, в каждом поколении, почти все.

Вот и молодой, 23-летний Лев, ведомый обманом, внушённым ему лжехристианским миром, весной 1851 года выбирает из нескольких мирских поприщ, вслед старшему брату Николаю — военную службу.

В 1847 году Толстой бросает Казанский университет, недовольный и общими условиями сложившейся в Казани жизни, и ходом преподавания наук. Бросает не совершенно: помимо хозяйства и отношений с крестьянами, юным Львом намечено за два года подготовиться и сдать экзамены. Толстой начинает посещать Тулу и Москву, живёт там подолгу и ведёт светскую жизнь. Конечно же, скоро рождается неудовлетворённость ею, а перспектива службы канцелярской крысой в Дворянском депутатском собрании в Туле буквально отпугивает чудесного львёныша. В том же 1847 году, в поиске нового образа жизни, он чуть не уезжает с зятем в Сибирь. Позже, в 1849 году, будущий писатель внезапно едет в Петербург, где опять возникают мысли о сдаче экзамена за университет.

В этот приезд в Петербург Толстой и задумался впервые о военной службе. В связи с союзнической кампанией России в Венгрии: подавлением, по просьбе австрийского императора, революционного восстания, Толстой в письме к брату Сергею от 1 мая 1849 г. делится замыслом «вступить юнкером в конногвардейский полк» (59, 45). Это не было осуществлено, и, скорее, характеризовало очередное охлаждение Толстого к подготовке экзаменов — на скучную, как петербургские присутственные места, профессию юриста.

В конце декабря 1851 года с Кавказа приехал в отпуск брат Николай, офицер-артиллерист, служивший ещё с 1844 года. Тогда, будучи в Москве, юный Лев посетил брата в лагере под Москвой и здесь впервые столкнулся с военно-армейским бытом и обществом офицеров, о коих вынес для себя самое невыгодное впечатление. В письме к *Татьяне Александровне Ёргольской* (1792 – 1874) (тётка и воспитательница Л. Н. Толстого, троюродная сестра отца Л. Н. Толстого Николая Ильича Толстого) он тогда не без насмешки писал: «Бедный малый, ему плохо в лагере... А товарищи его... Что это за грубые люди! Как посмотришь на эту лагерную жизнь, получишь отвращение к военной службе» (59, 12). Отвращение лишь усилилось,

когда юноша узнал о применении офицерами в отношении солдат телесных наказаний. Несомненно, под этим впечатлением позднее, в повести «Юность» Толстой вывел нелепый образ всё прокутившего и продавшего себя в рекруты студента Семёнова, которого Николенька Иртеньев с товарищами навещает в казармах. Как ни мрачно описана жизнь в казарме, с тяжёлым запахом и храпом на нарах сотен выбритых, однообразно одетых рекрутов, едва освещённых несколькими ночниками, ещё страшнее для морально чистого и гордого юноши размышления Семёнова, который радуется, что он дворянин, а значит его не будут колотить и сечь прутьями по заднице, да ещё, если только начнётся война — можно выслужиться в офицеры!

Иначе говоря, эстетическое отвращение к впечатлениям казарм и порки розгами сочетается в сознании Толстого уже тогда с неприятием этическим: вразрез с внушением воспитателей, юноша видит правду о том, что военная служба способна отнюдь не облагородить, а, скорее и чаще, массовой, развратить человека.

Но охота пуще неволи... Канцелярская, крысья служба страшней! И вот молодой Лев, переговорив с братом и другими близкими людьми, решается ехать на Кавказ, в компанию возвращавшемуся из отпуска брату. Подчеркнём: *добровольцем*, ещё не военнотружущим, а *волонтёром*.

Кавказ считался в те годы своеобразным приютом для некоторого рода «беспутных» людей, преимущественно молодых недотёп — не нашедших ещё своего поприща после 20-ти от роду лет. Главным местом стоянки 4-й батареей батареи 20-й артиллерийской бригады, в которой служил Николай Николаевич Толстой, была станица гребенских казаков Старогладковская Кизлярского округа Терской области, расположенная на левом берегу Терека. 30 мая братья прибыли на место, и в первый же день по приезде в станицу вечером Толстой развернул взятую с собой и начатую тетрадь Дневника и занёс в неё следующее: «Пишу 30 июня [описка — вместо «мая»] в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже» (46, 60).

В письме к Т. А. Ёргольской от 12 ноября 1851 года Толстой называл свой с братом отъезд «внезапно пришедшей в голову фантазией». Но значительно позднее, в вариантах к повести «Казаки», мы находим, по вероятию, вполне автобиографичные «откровения» о куда более весомых причинах отъезда на Кавказ Дмитрия Оленина:

«Он говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтоб искупить трудом и лишениями свои



ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать всё снова, и свою жизнь и своё счастье. А война, слава войны, сила, храбрость, которые есть во мне! А природа, дикая природа! думал он. Да, вот где счастье! решил он и, счастливый будущим счастьем, спешил туда, где его не было» (6, 250).



**Станица Старогладковская.**  
*Рисунок Евгения Лансере. 1928 г.*

И это всё — правда жизни и автора... кроме последних слов: Толстой, в отличие от возлюбленного персонажа «Казачков», не столь увлечён был романтической химерой, и своё счастье на Кавказе он отыщет! Гораздо позднее Толстой признался в своём Дневнике, что, уезжая на Кавказ, он «больше всего надеялся» на роскошную кавказскую природу и, кроме того, на то, что на Кавказе в нём разовьётся «лихость». Хотя позднее, уже в дунайской армии, Толстой, в очередной раз пребывая в настроении самообличения, пишет, что он сам себя «угнал» на Кавказ, «чтобы бежать от долгов и, главное, привычек» (*Запись в Дневнике от 7 июля 1854 года; 47, 8*).

Была и ещё одна причина, на которую исследователи творчества писателя этого периода почти не обращают внимания, и которая, в свете рассмотрения эволюции толстовских взглядов на войну, имеет

особое значение, — это идея присоединения Кавказа к России мирным путём. В черновом варианте повести «Казачи» Оленин обдумывает и составляет «план мирного покорения Кавказа» (6, 253). Об автобиографичности этого замысла свидетельствует дневниковая запись от 29 мая 1852 года: «Мечтал целое утро о покорении Кавказа» (46, 119).

При всей фантастичности этого замысла у него была и реальная основа. Впоследствии, в 1876 – 1878 годах, писатель работал над эпическим полотном, главной, возлюбленной автором мыслью которого должна была стать мирная «завладевающая сила русского народа», представлявшаяся Толстому, по пересказу его жены С. А. Толстой, «в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х т. М., 1978. Т. 1. С. 502 [Запись от 3 марта 1877 г.]*). Именно тогда у него перед глазами могла встать картина заселения русскими Кавказа, к истории которого писатель проявлял живейший интерес в период всего пребывания там.

В исторических же источниках сохранилось немало свидетельств о мирном характере отношений между местными кавказскими племенами, народностями и поселившимися там русскими людьми, преимущественно казаками. Исторические корни этих отношений уходили в давние времена, в XIV — XV века. «Вольные казаки, ходившие в варяжское молодечество на Волгу, рано узнали дорогу к устьям Терека. Здесь находили они превосходные зимние стоянки и обильные уголья для рыболовства и охотничьих промыслов, которыми вольное казачество кормилось в героический период своего существования. Сюда же укрывались они от преследований царских ратей, очищавших Волгу от разбоев. В разветвлениях последнего течения Терека терялась черта, разграничивающая шемхальские и кабардинские владения, и в эту приморскую местность стекались разные выходцы из Нижней и Верхней Кабарды, из кумык, чечкизов (чеченцев), из больших и малых ногаев и даже кубанских адыгов (черкес). Всё это были люди того же пошиба, что и русские вольные казаки, а поэтому последние с ними легко якшались и уживались» (*Попко И. Теркские казаки с стародавних времён. СПб., 1880. Вып. 1. Гребенское войско. С. VI—VII. [Вступительный очерк.]*).

В книге того же автора находим: «Казачи держались в своих гребнях благодаря поддержке князей Нижней или Малой Кабарды, землю которых они прикрывали, и приятельским связям с малоиндивидуальными и немусульманскими тогда соседними чеченскими обществами, из которых брали даже себе жен» (*Там же. С. V*).

От взора Толстого, приехавшего на Кавказ, не укрылся мирный характер отношений между казачеством и местным горским населением. «Живя между чеченцами, — писал он позднее в повести «Казачи», — казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев» (6, 16).

Толстовская мысль о мирном, ненасильственном присоединении Кавказа оказалась — и не могла не оказаться — несбыточной. По справедливому замечанию Бориса Ивановича Бурсова, с такой мыслью в то время «нечего было делать на Кавказе» (Бурсов Б.И. Л. Толстой. *Идейные искания и творческий метод*. М., 1960. С. 350).

Для молодого Льва начался долгий путь к очевидности: к тому, чтобы признать сначала себя человеком *невоенным*, сущностно негодным к «государевой службе» в войске, а впоследствии и самую войну — безумием множества людей, в котором нравственно невозможно участвовать.

Все предпосылки к этому, хотя он того и не сознавал, были при нём и в нём. В черновой рукописи (№ 7, ред. III) к первому своему «кавказскому» рассказу «Набег», о котором мы поведём речь ниже, Толстой устами своего рассказчика, молодого волонтера, признавался в том «невоенном» интересе к войне, который в сильнейшей степени выразит в романе «Война и мир»:

«Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — воображение моё отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве. Для меня давно прошло то время, когда я один, расхаживая по комнате и размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающим за это чин генерала и бессмертную славу. Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что ещё удивительнее, убивать себе подобных? Мне всегда хотелось думать, что это делается под влиянием чувства злости; но нельзя предположить, чтобы все воюющие беспрестанно злились, и <чтобы объяснить постоянство этого неестественного явления> я должен был допустить чувства самосохранения и долга <хотя к несчастью весьма редко встречал его. Я не говорю о чувстве самосохранения, потому что, по моим понятиям, оно должно-бы было заставить каждого прятаться, или бежать, а не драться.>

Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всех веках и во всех народах? Почему это хорошее качество, в противоположность всем другим, встречается иногда у людей порочных? Неужели храбрость есть только физическая способность хладнокровно переносить опасность, и уважается, как большой рост и сильное сложение? Можно ли назвать храбрым коня, который, боясь плети, отважно бросается под кручь, где он разобьётся? ребёнка, который, боясь наказания, смело бежит в лес, где он заблудится, женщину, которая, боясь стыда, убивает своё детище и подвергается уголовному наказанию, человека, который из (страха общественного) тщеславия решается убивать себе подобного и подвергается опасности быть убитым?

В каждой опасности есть выбор. Выбор, сделанный под влиянием благородного или низкого чувства, не есть ли то, что должно называть храбростью или трусостью? — Вот вопросы и сомнения, занимавшие меня и для решения которых [...] я намерен был воспользоваться первым представившимся случаем побывать в деле» и т. д. (3, 228 – 229).

Таким образом, феномен так или иначе рационализируемого выбора в пользу «храброго» поведения, становится для Толстого очевидным уже в очень молодом возрасте — задолго до понимания, что мотивацией такого выбора, предполагающего даже героизм, жертвование собой, может — и должно — быть последование Христу, религиозная вера.

По-видимому, довольно точно описал Толстой своё душевное состояние перед отъездом на Кавказ в одной из черновых рукописей повести «Казачи», где сказано, что Оленин, «говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова — и свою жизнь и своё счастье. “А война, слава войны, сила, храбрость, которые есть во мне! А природа, дикая природа!” — думал он. — “Да, вот где счастье!” — решил он...» (6, 250).

Ощущение нового, счастливого состояния повергло в трепет Толстого (а в повести «Казачи» Оленина), когда он, урождённый житель бесталанной и прозаической «русской равнины», впервые увидел снеговые горы. В повести это состояние передано автором с дотошной биографической и психологической точностью. Рано утром Оленин «вдруг... увидал — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными очертани-

ями и причудливую, отчётливую воздушную линию их вершин и далёкого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон». Когда же Оленин «мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал горы*», «всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор». О чём бы он ни думал, всё возвращалось к одному и тому же: «а горы...» (*Там же. С. 13 – 14*).

Результаты этой поездки окажутся куда более многообразными, не могущими быть предвиденными юным Львом. К личностным результатам можно отнести начало никогда не завершившегося преодоления Толстым «соблазна тщеславия», угождения окружающим внешностью, «комильфо». Кстати, накануне приезда на Кавказ, как вспоминал Толстой, эта «комильфотность» приняла у него формы чрезмерные, иногда просто смешные. Биограф Толстого, личный друг и единоведец во Христе П. И. Бирюков передаёт следующий анекдот, покаянно рассказанный ему самим Львом Николаевичем:

«Настроение Льва Николаевича во время этой поездки продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат его заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгушке, опершись руками *без перчаток* на палку, упёртую в подножку.

— Как видно, что какая-то дрянь этот господин.

— Отчего? — спросил Николай Николаевич.

— А без перчаток.

— Так отчего же дрянь, если без перчаток? — с своей чуть заметной ласковой, умной насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М. – Пг., 1923. Том 1. С. 74*).

Такие рассуждения о перчатках — продукт той же искусственной среды лжехристианской цивилизации, что и оправдывающие, освящающие войну идеи и теории: эволюционная, националистическая, церковно-религиозная... Но стоит бежать из этой среды, и...

Невиданные горы стали первым впечатлением «из другого мира», в котором люди живут *иначе*, не будучи ничем «ниже», глупее, дичее своего наблюдателя. Путешествия дарят ощущение единства мира, как Божьего всеобщего хозяйства, данного человечеству для трудов во славу Его, а не драк, равно как и ощущение *возлюбленной непохожести* людей других культур, верований — непохожести, за фасадом которой один общий смысл «хождения перед Богом», служе-

ния Ему как дети Отцу, как ученики работники, сотворцы — великому Творцу мастеру, хозяину мира, наставнику чад Своих и учеников. Путешественник, если он не безумец и не грубо идеологически ангажированный человек — не может быть поклонником войны!

Экстровертирование сознания Толстого на новые впечатления приведёт его к наблюдениям не только пейзажей, но и окружающих, в условиях бивачных и боевых: «так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат», так питается «мозг костей» интеллектуального и духовного станового хребта Великих Львов мира: так возрастал в начинающем писателе художник-психолог. И выводы этого художника и наблюдателя людей, человека честного перед собой и нравственно, сравнительно со многими даже в его эпохе, чистого, не могли не оказаться нелицеприятны для военщины, для книжной цензуры имперской России и даже для России как таковой — аристократической и казённо-служивой.

Толстой застал на некоторой специфической стадии затяжную агрессию Российской империи по отношению к кавказским народам, начатую ещё в XVII столетии и активизировавшуюся после Георгиевского трактата, поставившего грузинские царства, угрожаемые Турцией и Ираном, под протекторат России. С 1816 по 1826 годы командиром отдельного кавказского корпуса был генерал Алексей Петрович Ермолов (1777 – 1861). Тактика войны, проводившаяся Ермоловым, состояла в том, чтобы последовательно вытеснять горцев вглубь неплодородных скалистых ущелий. Оставленные горцами местности занимались казаками. Именно Ермолов начал применять новый способ борьбы с горцами — систематическую рубку лесов с целью глубокого проникновения в их земли.

Ермолов положил в основу усмирения Чечни крутые методы. По его приказу, если чеченская семья отказывалась выдать какого-то своего члена, совершившего даже не только нападение на русских солдат, но и воровство в русских и казачьих поселениях, то вся семья подлежала аресту. Если жители аула укрывали такую семью или позволяли ей бежать, то обязаны были выдать её родственников. Если и родственники скрывались, то аул подлежал уничтожению. Причём мужчин было велено не брать в плен.

Не в последнюю очередь, именно жестокость Ермолова спровоцировала последующий всплеск фанатизма горцев, религиозное движение мюридизма и явление Шамиля.

В 1834 году горцы избрали предводителем войны против «неверных» (имамом) *Шамиля* (1797, Гимры, Дагестан – 1871, Медина), который мужественно вёл борьбу с имперской Россией в течение 25

лет. Тактика Шамиля состояла в том, чтобы задерживать наступление русских войск, изматывать их в постоянных стычках, а при отступлении их причинять им большие потери неожиданными и непрекращающимися атаками. И вот русские начали часто и по заслугам получать от воинов Шамиля увесистых пиздюлей. Ряд неудач в борьбе с горцами в 1840 – 1842 годах и окончательное упрочение власти Шамиля в Чечне и Дагестане заставили русское военное командование перейти от наступательных действий к оборонительным. В 1842 году Николай I запретил все вообще наступательные действия против горцев. Шамиль между тем усилил вооружённое противостояние и повёл среди верующих мусульман усиленную агитацию за полное изгнание русских с Кавказа. Русские войска перешли к позиционной войне. Начинается систематическая рубка лесов, служивших препятствием к движению войск. Прорубаются широкие (на ружейный, а иногда и на пушечный выстрел) просеки. Захваченные пространства укрепляются. У горцев постепенно отнимаются все их главные точки опоры. Просеки, пролагаемые русскими войсками, всё больше и больше стесняют горцев и заставляют их уходить вглубь бесплодных гор.

В первое время жизни на Кавказе Толстой, повторяя внушённые ему мифологемы войны, выражал уверенность в том, что в войне русских с горцами справедливость на стороне русского агрессора. Этому мнению, однако, не суждено будет пережить относительно короткого времени пребывания молодого Льва на Кавказе: наблюдения над действиями, над жестокостью и над личными моральными качествами некоторых «христианнейших» соотечественничков поколеблют его в доверии лжи, внушённой русским православным воспитанием.

Имперская политика в этом крае в те годы осуществлялась наиболее естественным — насильственным — путём. С первых дней пребывания в действующей армии Толстой стремится самостоятельно, используя личные впечатления, разобраться в сложных и многообразных причинах войны, в том числе в причинах её длительности. Он глубоко интересуется характером, целями, общим смыслом этого события, затянувшегося на многие десятилетия. Такое отношение будущего писателя к войне в решающей мере предопределило реализм его военной прозы.

Толстой, будучи на Кавказе, увидел ещё одну причину, отличную от тех, о которых распространялась официальная историография: русскому самодержцу и его генералитету война нужна была больше, чем победа, нужен был «рассадник» боевых генералов и офицеров и военный полигон, чтобы поддерживать «дух» войск, военный психоз в

империи. По этой не единственной, но значительной причине война сознательно затягивалась «понятливыми» кавказскими наместниками. К тому же под пули горцев в любое время можно было послать лиц, неугодных правительству — «авось их там убьют» (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 166).

В начале 1900-х годов Толстой, в одном из черновиков «Хаджи-Мурата» (рукопись № 51), так писал о войне на Кавказе: «Успех горцев надо было приписать тому, что русские баловались в войну, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случай раздавать и получать кресты и награды» (35, 458). При этом писатель назовёт в повести конкретные имена «баловней», а также конкретные случаи такой «практики». Горцы же «голодные, оборванные, с средневековым оружием и с теми пушками и снарядами, которые они отнимали у русских, из последних сил, с отчаянным религиозным упорством боролись за свои дома, за свои семьи, за свою веру» (Там же).

Уже в первые годы своего пребывания на Кавказе Толстой не мог не заметить странного характера войны. В первой редакции первой кавказской повести Толстого «Набег», над которой молодой писатель работал с мая по декабрь 1852 года, есть примечательный диалог впервые участвующего в сражении добровольца и старого капитана, долго служившего на Кавказе:

«— Как вы предполагаете: куда идёт этот отряд?

— Что предполагать?.. верно, опять на завал, больше идти некуда.

— Какой это завал?

— А вот какой это завал: в четвёртом годе, когда мы его брали, в одном нашем батальоне было 150 человек потери, в третьем годе две сотни казаков занеслись вперёд, да и попали в такую трупобу, что из них вряд ли десятый человек вернулся; да и в прошлом годе опять-же под этим завалом нас пощёлкали-таки порядочно.

— Неужели этот завал так хорошо укреплён, что его никак нельзя взять?

— Какой, нельзя взять, да его каждый год берут. Возьмут да уйдут назад, а они его к будущему году ещё лучше укрепят.

— Отчего же не удержат навсегда это место, не построят крепость?

— А подите спросите, — отвечал мне капитан» (3, 218).

Речь здесь отнюдь не о своеобразных домыслах военнослужащих о начальстве, как можно было бы подумать. Точка зрения Толстого подтверждается и некоторыми историческими документами. «Борьба на Кавказе ознаменовала всё почти царствование императора Николая рядом непрерывных военных действий, которые,



среди всех доблестных подвигов и чудес храбрости, более или менее состояли именно только в борьбе, а не в решительном преоборении», — с грустной иронией писал старший современник Толстого, барон Модест Андреевич Корф (1800 – 1876) (*Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Русская старина. 1900. № 1. С. 25*). Издерживались немалые суммы на “кормушку” для титулованной бездари: «на множество комитетов, комиссий, экспедиций, чиновников и проч.», «сыпались, наконец, щедрые награды, и всё это обращалось, более или менее, в одни результаты личные» (*Там же. С. 26*).

В книге Поля Лакруа «История жизни царствования Николая I» сообщается следующий интересный разговор фельдмаршала Дибича с русским императором по поводу Кавказской войны: «Можно было бы легко окончить это в одну кампанию, если бы это было угодно вашему величеству. Но лучше, чтобы война на Кавказе продолжалась: это лучшая школа как для генералов, так и для русских солдат» (*Цит. по: Сергеенко А. «Хаджи-Мурат»: неизданные тексты // Литературное наследство. М., 1939. Том 35 – 36. Л. Н. Толстой. I. С. 517*).

Полный курс этой «школы» прошёл и Толстой...

Вначале многое на Кавказе разочаровало Толстого. «Природа, на которую я больше всего надеялся... не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернётся во мне здесь, тоже не оказывается», — писал он в Дневнике ночью при свечке, сидя на барабане в палатке (46, 61). Сослуживцы брата показали ему людьми совершенно невоспитанными и необразованными. «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, — пишет он Т. А. Ёргольской, — которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними» (59, 177).

Однако вскоре его мнение о людях и природе края коренным образом изменится. Позднее же не раз он будет высоко отзываться о подполковнике Алексееве, командире батареи, как о прекрасном человеке и добром христианине; о капитане Хилковском как «о старом солдате из уральских казаков, простом, но благородном, храбром и добром», послужившем, как известно, прообразом центральной фигуры его первого военного рассказа «Набег», а также о других офицерах, солдатах и казаках, с кем пришлось ему делить два года бивачной жизни на Кавказе.

Жизнь солдат и офицеров на далёкой окраине, в непосредственной близости от неприятеля, во многом отличалась от условий, в которых находились войска в центральной России. Несмотря на тяготы бое-

вой обстановки, отношения между солдатами и офицерами в воинских частях носили более мягкий, более гуманный характер, отсутствовали бессмысленная вахтпарадная муштра и одуряющая шагистика, столь характерные для армии николаевской эпохи.

Но особенное впечатление на Толстого произвело гребенское казачество — это неповторимое своеобразие военного братства, с издавна «присущим ему духом молодечества» (Попко И. Указ. соч. С. 34). «Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну, для меня самый покойный», — пишет он в Дневнике после полугодового пребывания в казачьей станице (46, 90 – 91).

В свободное от службы время (а его у Толстого было достаточно, ибо командир батареи Алексеев не делал притеснений на этот счёт, а, узнав позднее о литературных успехах молодого автора, вовсе освободил его от служебных тягот) он занимался охотой, чтением книг, изучением языков, истории края и истории России, джигитовкой и, наконец, тем, что начинает доминировать над всеми другими видами деятельности — работой над литературными произведениями. Окружающая действительность давала богатейший материал для его творений. Художественное творчество, в свою очередь, помогает глубже осознать действительность и определить своё отношение к ней. И, прежде всего, отношение к такому явлению этой действительности, как война.

В первые же месяцы нахождения в Старогладковской Толстой проявляет горячий интерес к быту, психологии, образу жизни казаков, а с некоторыми из них, особенно с *Епифаном Сехиным* (Епишка, Япишка; ? – к. 1850-х), поддерживает дружеские отношения до самого отъезда из станицы. «Теперь я снова в одиночестве, и в полном одиночестве», — такую запись в Дневнике Толстого можно найти за это время (59, 92). Характерно, что и Епифан Сехин тоже был «одинец»: «...на станичные сборы не ходил, общественных дел не касался... Знал лишь своё ружьё, охоту, сети, попить да погулять. Никому не услуживал, а любили его все. Про него чудеса рассказывали: славный был джигит, но потом от войны отказался, почему, никто не знал» (Гиляровский В. *Старогладковцы*. – В кн.: *Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 218*). Такие отзывы о Сехине, явившемся прообразом дяди Ерошки — эпической фигуры будущих «Казачков», — услышал Владимир Алексеевич Гиляровский в 1900-х годах от старогладковцев, помнивших Сехина.



Толстой Л.Н. и Сехин Епифан (казак)  
Художник М. В. Нестеров. 1928

О своём твёрдом решении остаться служить на Кавказе пишет Толстой родным из Старого Юрта 24 июня 1851 года (см. 59, 113). Последним толчком к принятию окончательного решения послужила встреча с двоюродным дядей Ильёй Андреевичем Толстым (1813 – 1879), с которым они вместе посетили князя *Александра Ивановича Барятинского* (1815 – 1879), у которого И. А. Толстой служил адъютантом. Барятинский и И. А. Толстой пытались уговорить молодого человека поступить в действующую армию волонтёром. «Многие мне советуют поступить на службу здесь и, в особенности, князь Барятинский, которого протекция всемогуща», — сообщал родным Толстой.

Вскоре назначенный главнокомандующим Кавказской армией князь Александр Иванович Барятинский (1815 – 1879), по отзывам современников, был одним из наиболее способных и энергичных генералов. Начальником штаба у него одно время служил Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 – 1912), ставший впоследствии военным министром. Во многом благодаря решительным действиям Барятинского и его помощников было значительно ускорено ведение войны,

закончившейся в 1859 году пленением Шамиля. Вот как отзывался о Барятинском участник Кавказской войны, бывший офицер, военный историк Арнольд Львович Зиссерман: «Не счастливая звезда князя Барятинского, не слепая благосклонная ему судьба, не одно утомление истощённого неприятеля, не одни лишь большие данные ему средства, как силились утверждать многие, были причиной успеха. Нужен был план, плодотворная мысль, можно сказать, вдохновение, энергия, настойчивость, действия без колебаний, без растерянности, и всё это было принадлежностью князя, его заслугой» (Зиссерман А.А. По поводу записок М.Я. Ольшевского // Русский архив. 1895. № 1. С. 128).

Сохранились свидетельства и о других качествах, характеризующих Барятинского с положительной стороны, с той стороны, которая больше всего могла импонировать Толстому, — о более гуманном, по сравнению с предшественниками, отношении Александра Ивановича к противнику. В воспоминаниях князя Дмитрия Дмитриевича Оболенского содержится хвалебный отзыв современника (тост на обеде в Английском клубе в Санкт-Петербурге) о том, что Барятинский победил непокорных горцев «не силою русского оружия, а, собственно, обаянием своей личности, умом, великодушием и правдою, и что в силу всего этого к нему князя и народности кавказские привязались» (59, 115). Отзыв, безусловно, преувеличен, но наверняка не лишён и значительной доли правды.

В силу определённого «обаяния» личности Барятинского его советы, вероятно, должны были получить для молодого Толстого особую убедительность. Не последнюю роль играет аргумент князя об уже проявленном Толстым спокойном, мужественном хладнокровии во время июньского набега на аулы горцев, в котором Толстой, ещё не планируя участвовать в боевых действиях, участвовал как наблюдатель, даже и одетый не по-военному: в штатском платье и фуражке с козырьком.

Так или иначе, но после убеждений со стороны родни и обаятельного князя Толстой начинает хлопотать об оформлении на военную службу. Фактическое же «употребление» Толстого на службу произошло не сразу. Пришлось пережить долгие месяцы ожидания и потратить немало хлопот, прежде чем коллежскому регистратору 4 класса Тульского губернского правления (к тому же не исполнявшему эту должность ни одного дня!), с мая 1851 по январь 1852 находившемуся в батарее и принимавшему участие в её боевых действиях на положении вольноопределяющегося, было позволено написать прошение о зачислении в артиллерийскую бригаду (с одновременной при этом подпиской о непринадлежности к масонским

ложам и другим тайным обществам). После сдачи соответствующих экзаменов он мог приступить лишь с 1 января 1852 года к исполнению обязанностей уносного фейерверкера IV класса, получив отныне возможность, по его шутливому признанию, иметь удовольствие делать фронт и провожать глазами встречных офицеров и генералов (см. 59, 129).

Военная карьера Толстого, в отличие от карьеры многих его предков и родственников, не была удачной. Уносным фейерверкером пришлось прослужить ему ни мало ни много — почти два года, так как для увольнения с гражданской службы, после чего могло произойти производство в офицеры, нужно было специальное постановление правительствующего Сената, подтверждающее дворянское происхождение вольноопределяющегося. Указ Сената был издан лишь в октябре 1855 года, т. е. тогда, когда были позади годы службы Толстого не только на Кавказе, но и на Дунае, и в Крыму. Только благодаря родственным связям с командующим Дунайской, а позднее Крымской, армиями *Михаилом Дмитриевичем Горчаковым* (1793 – 1861) и его протекции вопрос о производстве был решён без бумаг, подтверждавших графство и дворянство Толстого. И он к тому времени, когда пришли нужные бумаги, служил в действующей армии уже в чине подпоручика. Волокита же с производством в офицеры, немало попортившая крови вольноопределяющемуся, а затем уносному фейерверкеру, дала ему возможность основательно ознакомиться со степенью бюрократической неумолимости в работе военной и государственной машины, характерной для России.

Травматический либо просто глубоко негативный опыт военной службы выразился в творчестве Л. Н. Толстого многообразно. Например, уже тогда «из вполне конкретной ненависти к Наполеону — разрушителю феодальных пережитков и отчасти личных неудач на военной службе у Толстого родилась антиполководческая теория», выразившаяся в «Войне и мире» — заключил в 1935 году замечательный советский литературовед Николай Иванович Замошкин (1896 – 1960) (см. *Замошкин Н. Толстой и война // Знамя. 1935. № 11. С. 169*).

Но, главное для нас: в этот период формируется антивоенная позиция Толстого — как опытное подтверждение уже детского, сердечного отвращения к насилию.

Участвуя впервые в «деле» — в набеге Чеченского отряда в июне 1851 года на аулы Автуры и Герменчук, Толстой, как мы уже сказали, в чём-то подобно Пьеру Безухову в Бородинском сражении, был наблюдателем, ещё не военным человеком, а только волонтером — но смог разглядеть в войне нечто такое, что не могло не привести

его к сомнениям в правомерности своих честолюбивых устремлений. В «Войне и мире», как известно, на вопрос князя Андрея о расположении войск перед Бородинским сражением Пьер ответил, что он, как невоенный человек, может быть, не вполне, но всё-таки понял общее расположение. На это Болконский насмешливо замечает, что в таком случае он, Безухов, знает больше, чем кто бы то ни было (см. 11, 204). Уже устами волонтёра в черновом наброске «Набега», задавшего вопрос бывалому «кавказцу» о завалах, гласит, пожалуй, та истина, что он «знает больше, чем кто. бы то ни было». В этом специфика занятий безумных, которыми занимаются как бы взрослые, обманутые миром, люди, и на которые ребёнок или свежий, менее других ведомый обманом человек способен взглянуть со спасительным и одновременно творчески продуктивным острашением, недоверием...

И отнюдь не один этот счастливый, хотя и не всегда положительный жизненный опыт обрёл Толстой в годы кавказской службы. Главное, что там он – родился как писатель. Именно на Кавказе пишется прелестное «Детство». Там же, и уже на «взрослом» опыте военной службы, параллельно с «Детством», пишет Толстой и первые из цикла военных рассказов — «Набег» и «Рубка леса».

Над «Набегом» автор работал с 22 мая по 26 декабря 1852 г. В основе сюжета рассказа — реальное событие, набег на аул горцев летом 1851 г.: это было первое «дело», в котором участвовал только что приехавший на Кавказ, пока ещё частным лицом, волонтёром Толстой. В набеге он участвовал в качестве добровольца. В рассказе с множественными элементами автобиографии описаны захват и разграбление солдатами опустевшего селения и возвращение отряда, во время которого предстояло столкнуться с засевшими в лесу горцами. В описанной стычке был смертельно ранен юный прапорщик Аланин, впервые участвовавший в военной операции. Не послушав мудрых слов о «настоящей храбрости» от опытного капитана Хлопова, он, увлекая за собой нескольких солдат, поскакал к лесу в надежде разбить неприятеля. Тяжёлое ранение и смерть юноши стали итогом его жизни и финалом рассказа.

Какая же именно ступень на пути к христианскому неприятию войны выразилась в этом рассказе? Самая невысокая. Реальность разочаровывает недавнего, как многие молодые образованные люди тогдашней России, читателя романтических книг о Кавказе — но реальность же грубовато разворачивает сознание молодого мечтателя из сферы индивидуальной неудовлетворённости жизнью и желания романтических подвигов — к жизни, в которой от молодого сначала

гостя в полку, а позднее, по вступлении в военную службу в январе 1852 г., юнкера при артиллерии требуется отнюдь не повседневно героическая, но весьма нужная работа — часть общего дела, в котором находится место не одной лишь своеобразной рутине солдатской и офицерской повседневности, но и настоящей храбрости, содержание и значение которой становится предметом самостоятельных рефлексий молодого Толстого, перенесённых им на страницы своих кавказских рассказов. С разной степенью успешности этот кризис перехода от эгоистического, самого низшего, понимания жизни к общественному, при котором значение и достоинство военной службы государству ощущаются повседневно, а не памятуются лишь, как внушённая воспитателями «высокая» идея — проходят персонажи позднейших писаний Толстого-художника: Севастопольского цикла рассказов, повести «Казачи», и, конечно, «Войны и мира».

К идеалам же высшего, всемирного и божеского, религиозного жизнепонимания как сам он чувствует и записывает в Дневнике 12 июня 1851 года, ещё накануне участия своего в первом набеге на аулы горцев, открыты лишь его помыслы, но не возможности личности в целом:

«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочёл молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался ещё на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное.

Как страшно было мне смотреть на всю мелочную — порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно Своё. Я не чувствовал плоти, я был — один дух. Но нет! Плотская — мелочная

сторона опять взяла своё, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит моё блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог» (46, 62).

Вот ещё значительное для нашей темы самопризнание молодого Льва Николаевича в Дневнике на 2 июня: «В том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьёзные в жизни, взялся я за них, когда ещё не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах ещё ребёнок» (46, 77).

13 октября 1851 г. Лев Николаевич отмечает в Дневнике, что намерен писать «К[авказские] О[черки] для образования слога и денег», а 19 числа там же — приводит и программу задуманной серии очерков. Среди них значится характеристический, по счастью уцелевший, отрывок с самостоятельным заглавием — «Поездка в Мамакай-Юрт». Вот выдержки из него:

«В 1852 году <ошибка Толстого, надо: 1851. – Р. А.> в июне месяце я жил на водах Старого Юрта. — Кавказ так мало был известен мне... Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского, и разумеется с восторгом, читал тоже не с меньшим наслаждением Кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа, и боюсь, чтобы большинство читателей не было в одном положении со мною. Но это было так давно, что я помнил только то <поэтическое> чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар... бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. — Эти образы, украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моём воображении. Я давно уже позабыл поэмы Марлинского и Лермонтова, но в моём воспоминании составились из тех образов другие поэмы, в тысячу раз увлекательнее первых. [...] Кавказ был долго для меня этой поэмой на незнакомом языке; и когда я разобрал настоящий смысл её [?], во многих случаях я пожалел о вымышленной поэме и во многих убедился, что действительность была лучше воображаемого» (3, 215 – 216).

Таким образом, Толстой сделал героем своих военных рассказов *правду* — ещё задолго до широко известной декларации в завершении «Севастополя в мае». Ложное, напыщенное читательское представление о Кавказе и Кавказской войне, насаждаемое литературой



1820 – 1840-х гг., он стремился заменить представлением правдивым. При этом он следует принципу, выраженному ещё в черновой редакции «Детства»: писатель убеждён, что действительная жизнь заключает в себе больше поэтических элементов, чем какие бы то ни были «романтические» вымыслы.

Нам важно это подчеркнуть. Анализируя эволюцию зародившихся уже в юные годы сознательно-антивоенных убеждений Льва Николаевича Толстого, мы должны жёстко разделить *правду духовную*, правду позднейших религиозных прозрений Л. Н. Толстого — от *правды художественной*, в рамках которой молодой писатель стремился не более чем соединить правдивое описание Кавказа с поэтическим его художественным изображением. На неразличении этих «правд», условно: эстетической и религиозной — основаны спекуляции некоторых авторов, подобных проф. Коити Итокаве (Ниигата, Япония), который, отказываясь признавать в творческом пути Толстого-писателя «перелом», тесно связанный с явно неблизкими Итокаве христианскими рефлексиями Толстого, проводит одну линию «правдоискания» и призывов к воюющим народам «одуматься» — от начинающего в писательстве автора «Набега» до тещащего себя обожаемым и в старости художественным творчеством автора «Хаджи-Мурата» и гневного Христовым, праведным гневом, измученного военными новостями, даже пробудившими в нём, в дни поражений в Русско-японской войне, «низкие», давно было позабытые патриотические чувства, автора не менее гениальной статьи «Одумайтесь!». Вот что говорит о Толстом японец в своей статье 2010 года:

«В «Анне Карениной» читаем: “Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одной христианскою церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро?” Это позиция истины, уходящая корнями в финальное признание «Севастополя в мае». Этой позицией продиктованы многие страницы более позднего творчества Толстого, в том числе страницы знаменитого трактата «Одумайтесь!», написанного по случаю начала Русско-японской войны (Итокава, Коити. *Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого // Яснополянский сборник – 2010. Тула, 2010. С. 95*).

Вряд ли сколько-нибудь искущённому читателю нужно доказывать, что «истина» богословская, занимавшая сознание зрелого Констан-

тина Левина в романе — не то же самое, что «правда» художнического отображения действительности, избранная молодым Толстым за четверть века до «Анны».

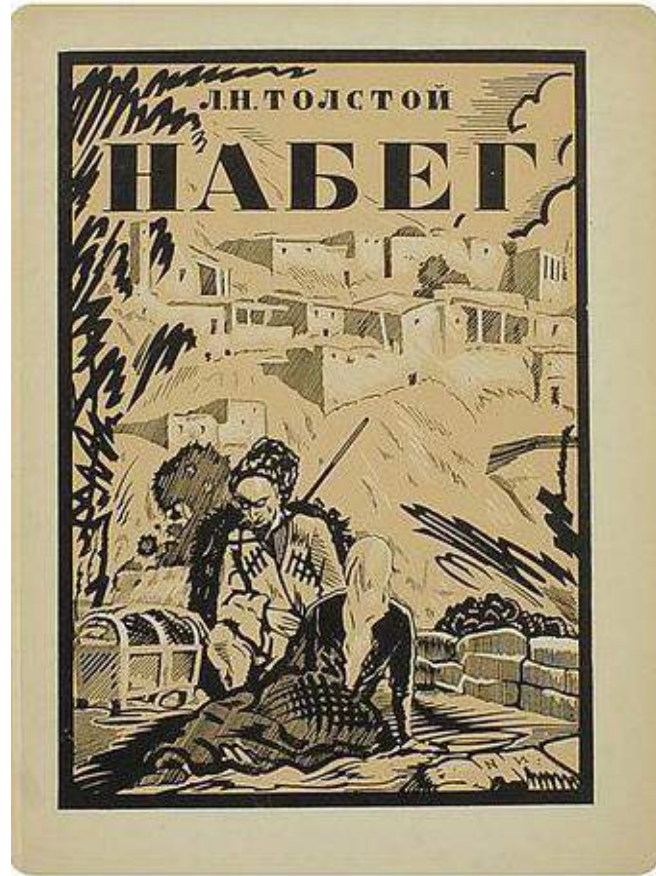
Или ещё:

«<В «Войне и мире»> рождается новый Андрей Болконский, для которого всё прежнее — “ничто, пустое, обман”, кроме “неба, высокого неба, бесконечного неба”. Примечательно, что в эпопее «Война и мир», как и в давнем рассказе «Набег», антивоенный пафос рождается и выражается под впечатлением величия природы. [...] Что касается последующих произведений Толстого, то прежде всего нужно назвать трактат «Одумайтесь!», само название которого прямо перекликается с процитированными выше строками из «Войны и мира» (“Опомнитесь. Что вы делаете?”)» и т. д. (Там же. С. 97 – 98). Такое “неразличение” японским исследователем различных мировоззренческих фундаментов одного писателя в очень различные периоды его жизни — уже следует, вероятно, напрямую связывать с распространённостью и влиятельностью в современной Японии атеизма, пацифизма и светского гуманизма. Как и многие критики Толстого, Коити Итокава узрел в немеркнувшем толстовском “зеркале” собственную азиатскую, и именно японскую, гнусную, безбожную физиономию!

Итак, «Набег» — первая из *реалистических*, но не чуждых и некоторой романтике поэм в прозе молодого Толстого. Персонажи рассказа — молодые и старые офицеры, служащие на Кавказе: старый «кавказец», спокойный и мудрый капитан Хлопов, восемнадцатилетний прапорщик Аланин, недавно прибывший «из корпуса» и рвущийся в свой первый бой, молодцеватый, рисующийся офицер Розенкранц... Многие персонажи имеют прототипов: капитан Хлопов — это капитан Хилковский, Аланин — прапорщик Буюмский, Розенкранц — Пистолькорс, генерал — князь Барятинский...

На Кавказе Толстой впервые увидел войну не со страниц романтических сочинений А. А. Бестужева-Марлинского и М. Ю. Лермонтова, а во всей её реальной неприглядности, несущей кровь, страдания, смерть. Узнал о казённой своей тёте «родине», к которой поступил на службу, и некоторые неприглядные вещи: то, например, что в основе поведения России в Кавказской войне — нападения на мирные селения, грабежи, изнасилования, убийства.

Впервые увидел войну и его волонтёр, от имени которого ведётся рассказ, и впервые, может быть, задумался, зачем вообще люди воюют:



«Набер».

Обложка изд. 1928 г. Худ. Н.[иколай] И.[льин]

«Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщениия или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра» (гл. VI; 3, 29).

Эта медитация в прозе — конечно же, должна напомнить читателю свою стихотворную предшественницу из поэмы М. Ю. Лермонтова «Валерик» (1840):

Уже затихло всё; тела  
Стащили в кучу; кровь текла  
Струёю дымной по камням,  
Её тяжёлым испареньем  
Был полон воздух. Генерал  
Сидел в тени на барабане  
И донесенья принимал.  
Окрестный лес, как бы в тумане,

Синел в дыму пороховом.  
А там вдали грядой нестройной,  
Но вечно гордой и спокойной,  
Тянулись горы — и Казбек  
Сверкал главой остроконечной.

И с грустью тайной и сердечной  
Я думал: «Жалкий человек.  
Чего он хочет!.. Небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?»

Галуб прервал моё мечтанье.  
Ударив по плечу, — он был  
Кунак мой, — я его спросил,  
Как месту этому названье?  
Он отвечал мне: «*Валерик*,  
А перевесть на ваш язык,  
Так будет речка смерти: верно,  
Дано старинными людьми».

Не только гуманистическим пафосом, но и подробностью описаний военной повседневности «Валерик» М. Ю. Лермонтова сближается с «Набегом» Толстого. И не случайно. По биографическим сведениям, Толстой перечитывал Лермонтова в период работы над «Набегом», хотя и не известно точно, какие были прочитаны произведения. Закончив 24 декабря 1852 г. работу над рассказом, он ещё несколько дней запойно перечитывал то, что его вдохновляло, и 26 декабря в Дневнике появляется запись: «Читаю Лермонтова третий день» (46, 154).

Влияние М. Ю. Лермонтова несомненно: недаром очерк, над которым Толстой работал в мае 1852 г. и из которого впоследствии вышел рассказ «Набег», имел рабочее заглавие «Письмо с Кавказа» (3, 289. [Комментарий.]).

Лермонтовский принцип изображения «истории души человеческой», которая «едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Предисловие к Журналу Печорина), также находит новаторское развитие в прозе Толстого. Новаторство в том, что психологический анализ, составивший силу и преимущество лермонтовской прозы, применён в трилогии и военных рассказах в особом качестве — как изображение «диалектики души», её «текучести». Это художественное открытие Толстого генетически связано с психологизмом Лермонтова.

Равным образом колорит, поэтику «кавказских описаний» следует рассматривать не только в контексте пушкинской поэмы и повестей А.А. Бестужева-Марлинского («Аммалат-бек», «Мулла-Нур»), но в большей степени — лермонтовских зарисовок величавых красот экзотического края. Но, как мы покажем, уже в случае описания природы Кавказа и позднее, в произведениях Севастопольского цикла и в романе «Война и мир» в эти описания, как будто иллюстрируя возможный результат рано прервавшегося духовно-нравственного развития поэта, вкладывает собственное протестное, антивоенное содержание.

Восторженное отношение к кавказским сочинениям Лермонтова сказалось в близости некоторых «кавказских» образов Толстого лермонтовским персонажам. В рассказе «Набег» поручик Розенкранц напоминает, с одной стороны, Грушницкого, с другой — обобщённый образ «кавказца», нарисованного Лермонтовым в одноимённом очерке (1841). Капитан Хлопов — вариант лермонтовского Максима Максимыча.

Наконец, как и «Валерик» Лермонтова, «Письмо...» первоначально подразумевало повествование от первого лица; позднее автор заменил эпистолярного рассказчика наблюдателем-волонтёром. Л. Н. Толстому, очевидно, хотелось замаскировать автобиографический характер очерка, чтобы тем свободнее вводить в него автобиографический элемент. Но автобиографический характер «Набега» был удостоверен самим Толстым, который в 1910 году в разговоре со старшим сыном по поводу этого очерка сказал: «Да ведь это я в набег ходил, я тогда не служил ещё» (*Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство [Далее в книге: ЛН]. М., 1979. Т. 90. Кн. 4. С. 227*).

На страницы своего яснополянского дневника, домашний доктор Толстых Душан Маковицкий, заносит свидетельство того, что Толстой и на исходе жизни, в 1910 году, с сожалением вспоминал, как цензура не пропустила в печать некоторых мест в «Набеге»:

«Например, длинное хорошее рассуждение о том, на чьей стороне справедливость: на стороне ли оборванца-чеченца, защищающего свою семью, саклю, скарб, или русского офицера, метящего в адъютанты, или саксонца-офицера.

Л. Н. помнит, что ему было обидно, что это рассуждение было пропущено. Л. Н. сказал, что это удивительно, как эти самые мысли, что теперь, он уже тогда высказал.

— Надо вставить, что пропущено, — сказал Л. Н.» (*Там же*).

Просьбу эту Лев Николаевич отнёс к сыну, Сергею Львовичу, который тогда помогал матери, Софье Андреевне Толстой, в подготовке к переизданию сочинений отца в составе очередного Собрания сочинений.

Конечно же, цензура, со своих позиций, была безусловно права: пускай ещё без главной, духовной опоры во Христе, пускай светско-гуманистические, с претензией на знание политики, пускай «писательские», но всё-таки антивоенные, и с «широким захватом», рассуждения молодого Толстого здесь имеют место. В академических, не для широкого читателя, «Материалах к биографии Л. Н. Толстого» Николай Николаевич Гусев цитирует выдержки из черновой редакции этого злосчастного размышления юного волонтера — оставленной в рукописях и не включённой в 1935 году даже в состав Полного (Юбилейного) собрания сочинений:

«У генерала “есть славное имение, славный чин, славная жена и ещё много прекрасных вещей, которыми он может владеть совершенно спокойно”; он “не имеет никакой личности ни против одного чеченца”, его “ровно ничего не принуждает вынимать свой меч против них”. Далее Толстой характеризует почти теми же словами, что и в последующей редакции, молодого офицера, состоящего в свите генерала, и офицера-немца, о котором замечает: “Немца на Кавказе так же странно видеть, как корову в гостиной”. Или, быть может, говорит далее Толстой, справедливость на стороне этого чисто одетого офицера, который думает о том, сколько получит рационов? Или на стороне адъютанта с глянцевым лицом, который думает: “Вот штука-то будет, как убьют или ранят. Чорт возьми”, — и страшно затягивается папироской? Или на стороне этого солдата, который курит трубку и ни о чём не думает? Или не на стороне ли того, который заставил всех находить пользу и удовольствие в этой войне?»

Что означает эта последняя фраза? Кто тот, который «заставил всех находить пользу и удовольствие» в войне с горцами? Совершенно ясно, что эти слова могут относиться только к царю, и больше ни к кому. В этих словах находим, таким образом, протест Толстого против колониальной политики Николая I» (*Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. С 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 415*).

Последний вывод биографа идеологически принадлежит эпохе создания «Материалов...» и вряд ли справедлив, но сама критическая «отсылка» у Толстого к императору Николаю I, на наш взгляд, вполне очевидна. Ещё во время учёбы в Казанском университете, сравнивая «Наказ» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье, Толстой

начал задумываться о природе государственного деспотизма. На Кавказе он убеждается в том, что между такими понятиями, как война и деспотизм, существует определённая связь.

В последующей редакции отсылка к имп. Николаю I, конечно же, была Толстым вымарана.

А вот этот упоительно “нецензурный” отрывок из черновика Третьей редакции рассказа, более проработанный:

«Я люблю ночь. Никакое самолюбивое волнение не может устоять против успокоительного, чарующего влияния прекрасной и спокойной природы.

Как могли люди среди этой природы не найти мира и счастья? — думал я.

Война? Какое непонятное явление <в роде человеческого>. Когда рассудок задаёт себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым.

Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещённые русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных? Но возьмём два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услышав о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправках, которые он выпустит не даром, побежит навстречу гяурам, который, увидав, что русские всё-таки идут вперёд, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что всё, что только может составить его счастье, всё отнимут у него, — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвёт с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза попаху, запоёт предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ.... так, чтобы показать

свою храбрость. Или на стороне моего знакомого адъютанта, который желает только получить поскорее чин капитана и тёпленькое местечко и по этому случаю сделался врагом горцев? Или на стороне этого молодого немца, который с сильным немецким выговором требует пальник у артиллериста? Каспар Лаврентьич, сколько мне известно, уроженец Саксонии; чего же он не поделил с кавказскими горцами? Какая нелёгкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати саксонец Каспар Лаврентьич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями?» (3, 234 – 235).

На этом черновой отрывок обрывается... чтобы быть изъятым по соображениям цензуры из окончательного варианта рассказа — к нашему большому сожалению! С сожалением же, вслед Н. Н. Гусеву, мы констатируем появление в этом черновике явно искусственной, выпадающей из логики рассуждений и настроений автора, вставки, содержащей оправдание военной политики России на Кавказе. Получается, что, «считая, по указанию “внутреннего голоса”, всякую войну несправедливой и ненужной, Толстой в то же время признаёт справедливой войну, вытекающую из чувства самосохранения. Эту мерку он тут же применяет к войне русских с кавказскими горцами». Так Толстой «отдельывал для печати» опасный отрывок, но увы! никакие ухищрения не помогли: всё рассуждение волонтера было вымарано цензурой (Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 412, 415 – 416).

Конечно же, этот “прогиб” под идеологические и цензурные условия николаевской России был унижителен, крайне неприятен своей фальшью и самому автору. Чувство самосохранения — психологическая реакция индивида или локальной общности на агрессию. Украина, поднявшая в наши дни, в 2022 – 2023 годах, «дубину народной войны» в отношении русского неоимперского агрессора, террористической, преступнейшей путинской России — руководится столь же насущной задачей выживания и обороны беззащитных, как и отдельный человек, вступивший в поединок с хищным зверем или сумасшедшим убийцей. Но по отношению к Кавказской войне Российской империи и её военным и геополитическим причинам ни о каком «самосохранении» со стороны империи не могло быть и речи.

И всё же, даже ушедшее в печать — потрясающе... В разгар войны рождается, прорываясь сквозь мирские, внушённые юному Льву, лжи первый, и самый значительный, самый христианский из трёх «проклятых» вопросов русской литературы и общественной мысли: **«зачем?»**. «Что делать?» и «кто виноват?» появятся позднее... Ко-



нечно же, молодой Толстой не был готов дать на него именно *евангельский* ответ. Его ответ — филиппика храбрости, стойкости в битве до конца — вполне соответствует исканиям и открытиям его в тот период. Ответ светско-этический, эстетический, романтический, языческий, пантеистский — но только ещё не христианский! Нам это также важно подчеркнуть, в связи с отмеченной выше тенденцией литературоведов отрицать для конца 1870-х и начала 1880-х годов существенный, “системный” перелом в мировоззрении Л. Н. Толстого на основании наличия уже в ранних сочинениях писателя, в частности, в рассказе «Набег», якобы “тех же” пацифистских убеждений и того же «правдолюбивого» писательского настроения, что и у «антивоенного» Толстого 1880 – 1900-х гг. Вот что пишет названный выше Коити Итокава:

«В “Набеге” [...] уже звучит тема пацифизма, которая занимает центральное, едва ли не первое место в мировоззрении Толстого после так называемого перелома. [...] Здесь уже присутствует зародыш проповеди непротивления злу насилием, здесь ощущается дух Нагорной проповеди Иисуса Христа» (*Там же*. С. 92 – 93).

Вот с последним-то и нельзя согласиться. Евангельское учение Иисуса Христа не тождественно ни пантеизму, ни светским пацифизму и гуманизму. А сущность сознания “послепереломного” Толстого именно религиозна, и не просто религиозна, а *евангельска, христианска*. Иное дело, что к решающему перелому, к обретению именно христианского жизнепонимания, система воззрений Толстого подвигалась, действительно, с самых юных лет, хотя и под воздействием литераторов таких, как Лермонтов или Жан-Жак Руссо, которые значительно дистрактировали юношу и молодого человека от значительнейшего для него, по чувствам его, пути к Богу, подменяя истинно евангельское — более «вкусным» для юнцов и простецов гуманистическим, языческим, пантеистским.

Как и герою поэмы Лермонтова, молодому волонтеру рассказа «Набег» суждено узнать вскоре *ответ мира и слуг его* на свои вопрошания. Мирскую «правду», благословляющую военную службу и даже самые войны! Поступившие на службу не скрывают от героя рассказа, что сделали это ради карьеры и, как бы мы сейчас сказали: *самореализации* на военной службе (как и начинающий писатель Толстой!), а поехали на Кавказ, не в последнюю степень – ради двойного жалованья. Никакой ненависти при этом выборе к горцам у них не было. Так, один из положительных персонажей рассказа, умный и честный капитан Хлопов, на вопрос юного волонтера, для чего тот служит, отвечает ему: «Надо же служить. А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит» (*гл. 1; 3, 18*). Но

в их и молодого Толстого сознании актуализировано и оправдание совершаемого ими над горскими народами военного насилия — «необходимостью» для империи присоединить и «усмирить» Кавказ.

В черновиках рассказа Толстой наделил капитана Хлопова рядом сатирических черт, так или иначе выделяющих его в офицерских кругах как «правдолюбца» и оттого отщепенца среди офицерства, едва ли не шута. Таким правдолюбцем, кстати сказать, проявит себя на службе в Крымскую войну сам Толстой. Своему биографу Павлу Ивановичу Бирюкову он подтвердил такую подробность:

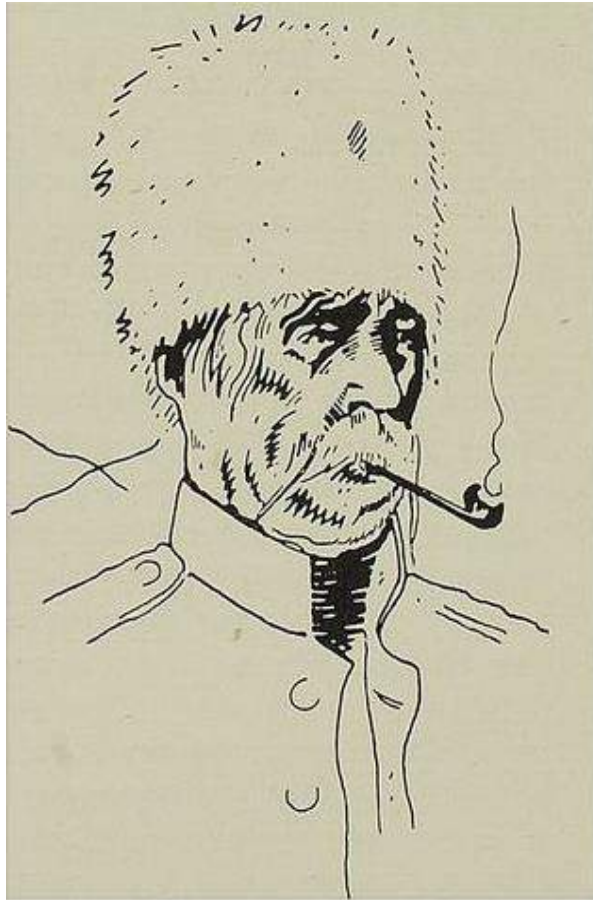
«По обычаю тогдашнего времени, командиры частей, и в том числе командир батареи, получая казённые деньги на содержание батареи, могли оставлять себе всё, что они сэкономят. Это составляло для большинства командиров порядочный доход и, разумеется, вело ко многим злоупотреблениям.

Толстой, заметив остаток казённых денег при сведении счетов, записал его на приход, т. е. отказался от него. Этот поступок вызвал, конечно, неудовольствие других командиров. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. [...] Графа обвиняли в том, что он проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату» (*Бирюков П.И. Указ. соч. М. - Пг., 1923. Том первый. С. 122*).

Учитывая масштабы векового, не изжитого до сего дня на России, ограбления офицерём солдат, такие подробности более радуют, нежели смешат.

В конечном варианте рассказа «Набег» и образ Хлопова уже совершенно не сатиричен, а множество характеризующих его подробностей заменено одной ёмкой деталью: «У него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза» (*Там же. С. 18 – 19*). В творчестве Л. Н. Толстого образ Хлопова играет важную роль. От него идут нити к положительным образам офицеров в «Войне и мире»: не только к созданному творческой фантазией Толстого-художника командиру артиллерийской батареи капитану Тушину, но и к действительным историческим личностям, тоже любимым автором — Кутузову и Багратиону. И Тушин, и Кутузов, каким он подан был в романе — такие же, как капитан Хлопов, живые и добрые по существу, чуждые жестокости войны люди, далёкие от идеологизированных образчиков «военных героев». Но сущностная чуждость мерзостям и жестокости войны не мешает им быть храбрыми! Далёко не последнюю роль в глазах людей общественного жизнепонимания и в рассказе Толстого

играет эта моральная ценность: личная храбрость, о которой Толстой заносит свои размышления и толкования старших офицеров ещё в первые дни на Кавказе, в Дневнике 1851 года.



**Капитан Хлопов.**

Рис. Н.[иколая] И.[льина]. 1928

Сколь огромно отличие этих небогатых, но благородных и честных людей XIX столетия от современных наших, образца 2022 года, подпутинских негодяев, выезжающих мародёрствовать, насиловать, разрушать, убивать в Украине не просто ради наживы и крупной денежной оплаты государством их соучастия в его преступлениях, но и ради утоления чувства ненависти, внушённого этим существам, с одной стороны, средствами казённой русско-фашистской, путинской пропаганды, с другой же — ощущением, а иногда и пониманием собственной несостоятельности перед украинцами, с их прогрессивным европейским и демократическим выбором.

Итак, Лев Николаевич имел право и в те молодые годы, и позднее, выгодно отличать людей на государевой службе — от служителей тюрем и палачей, в повседневность которых не вписан риск для собственной шкуры. Ибо, и вправду, оные — *честь имели!*

У солдат и офицеров, участвующих в набеге — риск очень даже вписан, и именно в повседневную, для многих ставшую привычной, жизнь. Довольно прозаическую — но в которой вдруг вспыхивает яркою звёздочкой личные благородство, героизм сослуживцев...

Анализируя происходящие события, окружающих людей и их поступки, волонтёр, определённо образ автобиографический, постепенно расстаётся с романтическими иллюзиями. Он хотел своими глазами увидеть войну, и всё здесь вызывало у него живой интерес: детали военного быта, ход сражения, поведение солдат и офицеров, пленные — одним словом, всё то, к чему, казалось бы, привыкает опытный воин. Но не теми ли глазами молодого, не оуплётенного, не сильно ещё испорченного мирским развратом взирает позднее на небеса Аустерлица князь Андрей Болконский, готовая к рождению для жизни духа «птица небесная»? Не теми ли очами смотрит на Бородинское сражение и отдых солдат уже совершенно «штатский», вполне мирный да не вполне мирской, ищущий Истину, Пьер Безухов?

Перед нами — эпизод «диалектики души» персонажа, настолько автобиографического, что возможное продолжение этого душевного и нравственного развития за пределами сюжета «Набега» мы могли бы проследить, изучая биографию Льва Николаевича — который относительно скоро, и в невысоком ещё звании поручика, будет, по личной просьбе своей, выключен из военной службы — чтобы *никогда* уже не возвращаться к ней иначе, нежели в литературно-художественных и публицистических своих писаниях!

Конечно же, дело здесь именно в молодости, в *неукоренённости* молодого персонажа в мирской лжи, оправдывающей и освящающей войну. Глазами нравственно чистого персонажа, а значит и через собственные восприятие и опыт, молодой Лев показывает читателю войну *остранённо*, очами чистого человека, остро и непосредственно, как может воспринимать ребёнок, воспринимающего войну во всей её бессмысленности и трагичности. Этот приём (остранение), столь удачно найденный молодым писателем, Толстой будет использовать и в дальнейшем своём творчестве — и одной из несомненных вершин его станут страницы о пребывании Пьера на Бородинском поле в романе «Война и мир».

Несмотря на самоцензуру автора, изъявшего из окончательного текста многие острые и «сатирические» детали и на разрушительную работу над рассказом цензуры, в тексте его сохранилось главное: заражающее читателя, как и должно быть в настоящем произведении искусства, авторское ощущение нелепости всего происходящего

среди этих людей, стремящихся в большинстве своём, кроме романтично-наивного Аланина и подобных ему, накануне грозящей смерти *просто жить*, как жили бы в мирных условиях, в обыкновенном, не военном походе. Нехитрая еда, разговоры, азартная игра в карты... Ожидание жалованья — как будто заработка за настоящий человеческий труд.

Из этой спокойной, хотя и нездоровой, повседневности выделяется своим поведением лишь прапорщик Аланин. Но ведь и недаром он явился первым среди юных героев Толстого, павших в своём первом бою, и погибших напрасно, нелепо. Позднее в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» в первом своём бою погибнет другая жертва общественного «воспитания», точнее же военно-патриотического оболванения, семнадцатилетний прапорщик Володя Козельцов, только что прибывший в осаждённый Севастополь, а в книге «Война и мир» в первом же своём сражении будет убит подражавший взрослым «отцам-героям» храбрый пятнадцатилетний Петя Ростов.

Ряд суждений заставляют читателя сразу вспомнить их позднейшее развитие в «Войне и мире»:

«...Так как мы все имеем склонность по себе судить о других, я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но ни в ком я не мог заметить ни тени малейшего беспокойства. Шуточки, смехи, рассказы, игра, пьянство выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым не суждено уже вернуться назад по этой дороге, как будто все эти люди давно уже покончили свои дела с этим миром. — Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность и равнодушие к жизни? — Или все эти причины вместе и ещё другие неизвестные мне, составляющие один сложный, но могущественный моральный двигатель человеческой природы, называемый *esprit de corps*? [силой спаянности?] Этот неуловимый устав, заключающей в себе общее выражение всех добродетелей и пороков людей, соединённых при каких бы то ни было постоянных условиях, — устав, которому каждый новый член невольно и безропотно подчиняется и который не изменяется вместе с людьми; потому что, какие бы ни были люди, общая сумма наклоностей людских везде и всегда остаётся та же. В настоящем случае он называется *дух войска*» (3, 233 – 234).

Но этот «дух войска» — дух грешный, порочный. В Дневнике Л. Н. Толстого периода работы над «Набегом» и в черновых материалах к рассказу остались множество нелицеприятных для российской ар-

мии образов, сцен и подробностей. Убийства со стороны обороняющихся от российского имперского агрессора горцев вызывают ненависть и среди этих, реалистичных в своей бытовой «приземлённости» и невоинственности людей. Ненависть, смешанную со страхом. И вот — заражающая читателя отвращением сцена того, без чего не обходилась в человеческой истории, вероятно, ни одна война: бессмысленные разрушения и грабёж при захвате аула.

Н. И. Бурнашёва в связи с повестью «Набег» справедливо замечает, что Толстой никогда не «отправляет» на убийство тех своих персонажей, кто ему близок, кого он любит. А из неблизких — первое в сочинениях Толстого убийство совершает безымянный, эпизодический персонаж в данном рассказе (*Бурнашёва Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 225*). И описание этого убийства — значительнее любых велеречивых и наивных пацифистских трактатов той эпохи!

Это поистине отвратительное зрелище: «Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковёр; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку, другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашёл где-то огромный кумган с молоком, пьёт из него и с громким хохотом бросает потом на землю» (3, 34).

В ауле никого нет: все жители попрятались, ушли, только один девяностолетний старик не смог уйти, и его «захватили» в плен.

В сохранившихся рукописных черновиках рассказа сцены разрушений аула и насилий над жителями уже вполне отвратительны:

«Драгуны, казаки и пехота рассыпались по аулу. — Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загораются забор, сакля, стог сена, и дым расстилает по свежему утреннему воздуху; вот казак тащит куль муки, кукурузы, солдат — ковёр и двух куриц, другой — таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика чеченца, который не успел убежать.

[...] Я выехал на гору, откуда весь аул и кипевшее в нём и шумевшее войско и начинавшийся пожар видны были, как на ладонке. Капитан подъехал ко мне, мы спокойно разговаривали и шутили, посматривая на разрушение трудов стольких людей. Вдруг нас поразила крик, похожий на гикание, но более поразительный и звонкий; мы оглянулись. Саженьях в 30 от нас бежала из аула к обрыву женщина

с мешком и ребёнком на руках. Лицо её и голова были закрыты белым платком, но по складкам синей рубашки было заметно, что она ещё молода. Она бежала с неестественной быстротой и, подняв руку над головой, кричала. Вслед за ней ещё быстрее бежало несколько пехотных солдат. Один молодой карабинер в одной рубашке с ружьём в руке обогнал всех и почти догонял её. — Его, должно быть, соблазнял мешок с деньгами, который она несла.

“Ах, канальи, ведь они её убьют”, сказал капитан, ударил плетью по лошади и поскакал к солдату. “Не трогай её!” закричал он. Но в то же самое время прыткий солдат добежал до женщины, схватился за мешок, но она не выпустила его из рук. Солдат схватил ружьё обеими руками и из всех сил ударил женщину в спину. Она упала, на рубашке показалась кровь, и ребёнок закричал. — Капитан бросил на землю папаху, молча схватил солдата за волосы и начал бить его так, что я думал, — он убьёт его; потом подошёл к женщине, повернул её и когда увидал заплаканное лицо гологолового ребёнка и престестное бледное лицо 18-ти летней женщины, изо рта которого текла кровь, бросился бежать к своей лошади, сел верхом и поскакал прочь. Я видел, что на глазах его были слёзы».

И далее в рукописном варианте рассказа следует пространный сентиментальный отрывок, безусловно обречённый быть вымаранным автором в последующей работе, но значительный для нашей темы — указанием на отношение тогдашнего, молодого и воспитанного в православии Л. Н. Толстого к жестокостям военщины:

«Карабинер, зачем ты это сделал? Я видел, как ты глупо улыбался, когда капитан бил тебя по щекам. Ты недоумевал, хорошо ли ты сделал или нет; ты думал, что капитан бьёт тебя так по нраву, ты надеялся на подтверждение твоих товарищей. — Я знаю тебя. — Когда ты вернёшься в Штаб и усядешься в швальню, скрестив ноги, ты самодовольно улыбнёшься, слушая рассказ товарищей о своей удали, и прибавишь, может быть, насмешку над капитаном, который бил тебя. Но вспомни о солдатке Анисье, которая держит постоянный двор в Т. губернии, о мальчишке — солдатском сыне — Алёшке, которого ты оставил на руках Анисьи и прощаясь с которым ты засмеялся, махнув рукою, для того только, чтобы не расплакаться. Что бы ты сказал, ежели бы буяны фабричные, усевшись за прилавком, с пьяна стали бы бранить твою хозяйку и потом бы ударили её и медной кружкой пустили бы в голову Алёшки? — Как бы это понравилось тебе? — Может быть, тебе в голову не может войти такое сравнение; ты говоришь: “бусурмане”. — Пускай бусурмане; но поверь мне, придёт время, когда ты будешь дряхлый, убогий, отстав-

ный солдат, и конец твой уж будет близко. Анисья побежит за батюшкой. Батюшка придёт, а тебе уж под горло подступит, спросит, грешен ли против 6-й заповеди? “Грешен, батюшка”, скажешь ты с глубоким вздохом, в душе твоей вдруг проснётся воспоминание о бусурманке, и в воображении ясно нарисуется ужасная картинка: потухшие глаза, тонкая струйка алой крови и глубокая рана в спине под синей рубахой, мутные глаза с невыразимым отчаянием впялятся в твои, гололобый детёныш с ужасом будет указывать на тебя, и голос совести неслышно, но внятно скажет тебе страшное слово. — Что-то больно, больно ущемит тебя в сердце, последние и первые слёзы потекут по твоему кирпичному израненному лицу. Но уж поздно: не помогут и слёзы раскаяния, холод смерти обнимет [?] тебя. — Мне жалко тебя, карабинер» (3, 222 – 223).

Н. И. Бурнашёва находит, что «отголоски этой проповеди» прозвучали через много лет, в 1887 году, в статье Толстого «Николай Палкин», в начале её, где встреченный автором в пешем его путешествии до Ясной Поляны 95-летний старик, бывший николаевский солдат, перед смертью признался в грехе, рассказав, как участвовал в наказании солдат посредством «прогнания сквозь строй» — что фактически было равно жестокой смертной казни (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч. С. 223*).

Конечно же, здесь на память приходит и близкое по авторскому настроению осуждения описание русской жестокости и естественной ответной ненависти горцев в «Хаджи-Мурате». Но это осуждение, художественно представленное всё тем же гениальным художником, выносилось в 1900-х уже совершенно иным Толстым-человеком, и подробнее мы скажем о нём в соответствующем месте. Здесь же — не лишне будет сослаться на биографа, а при жизни Л. Н. Толстого личного его секретаря, друга и религиозного, во Христе, единомышленника Николая Николаевича Гусева, который находит в отрывке «в первый раз (хотя и не вполне определённо) выраженную Толстым мысль о братстве народов, нарушаемом правительствами, устраивающими войны, о чём он многократно писал впоследствии в своих статьях» (*Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828 – 1855. М., 1954. С. 406*).

Похоже, впрочем, что биограф и знаменитый «толстовец» выдаёт в своих «Материалах» желаемое за факты. Где он находит выражение мысли о братстве народов? В возражении рассуждающего сам с собой волонтёра на распространённую в народе номинацию горцев и вообще азиатов «бусурманами»? Но данная лексема восходит, как общеизвестно, к татарским откупщикам — *бесерменам*, собиравшим дань во времена зависимости Руси от Монгольского ханства.



Вооружённые “налоговики” вызывали, конечно же, в народе, ненависть и страх — перенесённые позднее на “грабителей”, как таковых, а с другой стороны — на азиатов, как таковых, то есть на людей, узнаваемо отличавшихся языком и внешностью, и ещё шире — на всех религиозно и культурно чуждых иностранцев. Слово *басурманин* даже часть учёных в России производит от «мусульманина». Словарь В. И. Даля приводит удивительную народную поговорку, связанную с данной лексемой: «Наши бары за морем басурманятся, а домой воротятся, своё и не любо» (*Даль В.И. Толковый словарь. Часть первая. М., 1863. С. 46*). Эти невежественные ненависть и страх, иногда смешанные и с завистью, перед качеством жизни умных «чужаков» — вековечное, русское-народное, «нутряное», и совершенно непонятно, в чём здесь перед Н. Н. Гусевым провинились некие «правительства». Лев Николаевич Толстой в данном отрывке всего лишь следует своей установке на фактологическую и психологическую достоверность, даже не подступаясь ни к каким развесистым, а тем паче политизированным, проповедям.

(Мимоходом заметим, что не только в документы личного происхождения, как *Дневник Толстого*, но и в художественные тексты его проникало собственное его, особенно в молодые годы, скептическое отношение к некоторым народностям — полякам, евреям, немцам, англичанам... Следствие суеверий, внушённых воспитанием.)

Впрочем, русский мужик сам ни на каких «бусурман», как бы ни ненавидел и ни страшился таковых «по наследству» от предков, войной не пойдёт. Военное насилие — конечно же, в значительной степени спровоцировано не одними суевериями ксенофобского «русского мира», которые по сей день ловко используют правительство и военщина, но и военным непосредственным начальством, и совершается солдатами бездумно, лишь потому, что разрешение на зверства актуализирует в их сознании «наследственные» плоды их невежества и омрачённости и в целом будит худшее, первобытное в их натуре. В черновых рукописях Первой редакции повести сохранились сатирические образы тех, кто затеял всё это и несёт моральный ответ, генерала со свитой:

«В свите Генерала было очень много офицеров; и все офицеры эти были очень довольны находиться в свите генерала. Одни из них были его адъютанты, другие адъютанты его места, третьи находились при нём, четвёртые — кригскомиссары или фельдцех... или квартирмейстеры, пятые командовали артиллерией, кавалерией, пехотой, шестые адъютанты этих командиров, седьмые командовали арьергардом, авангардом, колонной, восьмые адъютанты этих командиров; и ещё очень много офицеров — человек 30. — Все они,

судя по названию должностей, которые они занимали [...] были люди очень нужные. — Никто не сомневался в этом, один спорщик капитан уверял, что всё это шельганы, которые только другим мешают, а сами ничего не делают.

[...] Генерал, полковник и полковница были люди такого высокого света, что они имели полное право смотреть на всех здешних офицеров, как на что-то составляющее середину между людьми и машинами, и их высокое положение в свете заметно уже было по одному их взгляду, про который г-да офицеры говорили: “О! как он посмотрит!” Но капитан говорил, что у генерала был не только не величественный, а какой-то глупый и пьяный взгляд, и что русскому генералу и полковнику прилично быть похожим на русских солдат, а не на английских охотников» (3, 219 – 220).

Генерала со свитой Толстой сатирически сравнивает с охотящимся в «своих» землях русским дворянчиком-англоманом с друзьями, родней и выученными для этого холопами и моськами. И, как собак, он натравливает «своих» солдат на беззащитный аул. Нравственной ответственности за это на солдатах, исполняющих приказ — не многим больше, чем на охотничьих собаках.

В последней части рассказа, где описывается отступление отряда после разорения аула, автор опять переходит в сатирический тон. Полковник характеризуется как «британец совершенный». Доктор, призванный к смертельно раненному офицеру, настолько пьян, что вместо того, чтобы направить зонд в рану на груди, попадает зондом в нос раненому офицеру (Там же. С. 225). Свита, окружающая генерала, поражает своим отвратительным подхалимством. Обступив генерала, эти офицеры «с большим участием смотрели на приготовление для него в спиртовой кастрюльке яичницы и битков; казалось, им очень нравилось, что генерал будет кушать» (Там же. С. 224). Услыхав рассказ генерала о том, как он когда-то давно служил на Кавказе вместе с капитаном, командующим арьергардом в этом набеге, «присутствующие изъявили участие, удивление и любопытство» (Там же).

Здесь так же не следует преувеличивать антивоенных настроений молодого Толстого. Скорее, ему просто было по-человечески противно увиденное, а кроме того, как и положено русскому дворянину, было *за державу обидно*. Поэтому Толстой невольно начал описывать всё то, что так сильно возмущало его в кавказской службе того времени: карьеризм высших чинов армии, их равнодушие к напрасным жертвам солдатских жизней, лесть и подбострастие близких к генералу офицеров, праздность и паразитизм штабных. Всё это Тол-

стой впоследствии ярко изобразил в «Войне и мире» — не догадываясь, конечно же, что и через 200 лет после описанных событий имманентные русской армейщине пороки не только не исчезнут, но примут особенно подлые формы своего проявления.

Сомнительно и предположение Н. Н. Гусева, что отказ от сатиры был связан у Толстого не с серьёзностью избранной темы: героизм и храбрость в условиях смертельного риска войны, и не с «пачкотностью» для осязаемого начинающим писателем в себе большого таланта сатирических приёмов как таковых, доступных множеству мелких умишек и талантов, а с «общим идеалистическим мирозерцанием Толстого, по которому в каждом человеке заложены начала добра, и для того, чтобы быть полезным людям, в том числе литературными работами, нужно воздействовать на эти задатки добра, скрытые в душе каждого человека» (*Гусев Н. Н. Летопись... 1828 – 1855. С. 408*). Такая мотивация, безусловно, могла присутствовать среди причин отказа Толстого от сатирических приёмов, но её сколько-нибудь ощутимую значительность требуется доказать, чего почтенный биограф, к сожалению, не делает.

Николай Николаевич Гусев предполагает, и на этот раз с немалой долей вероятности, что в сатирическом изображении Толстым высшего кавказского офицерства сказалось и некоторое влияние его брата Николая Николаевича, о котором хорошо его знавший в конце 1850-х годов Аф. Аф. Фет писал: «Он так ясно умел отмечать действительную сущность от её эфемерной оболочки, что с одинаковой иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни» (*Фет А. А. Мои воспоминания: В 2-х ч. Часть I. М., 1890. С. 217 – 218*).

Но кончая первую редакцию очерка, Толстой, занятый разрешением нравственных вопросов, почувствовал недовольство тем сатирическим направлением, которое приняло его новое произведение. «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего “Письма с Кавказа”, — записал он 7 июля, — а то сатира не в моём характере» (*46, 132*).

Примечательно, однако, то, что рассказчик, глядящий на военное руководство критическим взглядом молодого Толстого, оправдывается перед читателем, что мог перевернуть имена должностей генеральской свиты, так как сам он человек «не военный». Вероятно, то же почувствовал уже в этот, ранний период, накануне официальной военной службы, и сам Толстой — подобно тому, как позднее, в роковой день парижской казни 1857 года почувствует, что он и «не политический» человек! Впрочем, в этом жизнь распорядится по своему, и Льву Николаевичу придётся ещё неоднократно быть влиятельным голосом в политике...

В связи с анализом сцены разорения аула и насилия над беззащитным населением разум невольно обращается к актуальным сопоставлениям из дней сегодняшних, сентября 2022 года. В современных палачах и извергах рашистской орды в Украине — зло абсолютно, сознательно и недрёманно. Поганый «русский мир» антихристов, палаческ и военен по *сущности*. Они способны на «свою инициативу» в мародёрстве, изнасилованиях женщин, детей, пытках, расстрелах... Если в «Набеге» религиозное табу православного воспитания совести снимается с солдат волею царя, обманщиков попов и офицеров, начальствующих над ними, то у рашистов В. В. Путина этого воспитания, у большинства, нет вовсе. Зато — присутствуют самые низменные побуждения, несовместимые с христианским сознанием как таковым. Налицо гнусный «конкордат» знаний, технологий, опыта с чёрным, «глубинным», достоевским и бесовским, началом в человеке, бывшим в нём от грехопадения. Вот что пишет современный журналист и публицист Леонид Невзлин о развратных мерзавцах, продолжающих ещё орудовать в Украине в дни написания этих строк:

«Никакие деньги, технологии и открытые границы с их прелестями не искоренят эту “раскольническую черту”, это гадкое право вознести топор над тем, кто посмел быть другим.

Украинка медик-волонтер Юлия Паевская ("Тайра"), выступая перед Хельсинской комиссией Конгресса США после трех месяцев плена, рассказала о диалоге со своим мучителем. “Вы знаете, почему мы это делаем с вами”, - спросил он ее. И смелая Юлия ответила: “Потому что можете. Только раб может мучить жертву, зная, что в ответ ему ничего не будет”.

“Тайра” абсолютно права. Люмпенизированная пена знает, что в собственной стране её считают за мусор. За очень короткий век русского солдата, гниющего теперь в землях Украины, никому не приходило в голову наделить его достоинством и самоуважением. Эти качества всегда были вражескими в России. За 30 лет в России выросло поколение ненужных молодых людей — в то время, как их украинские одноклассники знали, что их голос важен, они важны для своей страны.

[...] Россия напала, руководствуясь ощущением безысходности и обиды. С каждым годом россияне всё чётче видели, что соседи рядом становятся всё лучше и всё сильнее, отрываются от совкового прошлого, расправляя плечи в своей национальной идентичности. 5-10 лет и было бы поздно, поэтому война была неизбежна для прикрытия собственной гнили» (<https://t.me/leonidnevzlin/374>).

Здесь — прямое, хотя и не осознаваемое Л. Невзлиным, указание на «осевую» смену век в развитии религиозного сознания человечества: отход от фантазирования о «горних» или «небесных» владыках, царях, «промыслителях», добрых или злых духах, к осознанию мира, живущего в Боге как сущности неличной, по отношению к Которой человек — дитя не по плоти и не по личностным качествам (воление, гнев, милость и под.), а по духу и разумению. И не просто дитя, а ученик, работник, маленький сотворец Творца великого. Долженствующий памятовать, *ощущать* нужность свою не тётке казённой «родине», а Отцу. Но в эру секуляризации и войн с религиями традиционных обществ, начиная с эпохи Просвещения и по наши дни, люди утратили доверие «поповским сказкам» дедовой и отцовой веры, не заменив её для себя ничем другим. Без этой же духовно-нравственной опоры человек не может уважать сам себя, вожделеет такого самоуважения и, неизбежно, оказывается обманываем мирскими обманщиками, «носим по ветру» идеологическими поветриями своего времени. Обманщики же не только не помогают побеждать невежество, омрачённость, ожесточённость и иные следствия массовой ресентиментализации сознания в России, но культивируют в массовом сознании такие контрпродуктивные чувства и эмоции.

Век XIX — й далёк от подобного изощрённого и изгалённого сатанизма. Но обман религиозный, подкрепляемых страхом, а при виде погибающих товарищей — и ненавистью, незримо управляет офицерами и солдатами, заставляя и их совершать многие несовместимые с учением Христа поступки. Толстой в рассказе избегает натуралистических зарисовок; он лишь показывает реакцию и поведение некоторых персонажей. Когда на обратном пути отряд вступил в перелесок и «с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы» и «пули визжали с обеих сторон», капитан Хлопов, не раз бывший в сражениях, «снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же» (гл. X; 3, 36).

Здесь-то и понял волонтёр, что такое храбрость рабов и слуг мира, таких же, как он сам — вопрос, на который он (и автор рассказа!) давно искал ответ и который отчасти был причиной его (и автора!) приезда на Кавказ. «Храбрость» Аланина, молоденького прапорщика, которому от восторга в начале похода «хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми», «прекрасные чёрные глаза его блестя отвагой, рот слегка улыбался», обернулась смертельным ранением. Упоённый жаждой подвига, Аланин не сознаёт бессмысленность своего поступка.

Ещё один персонаж привлёк внимание волонтёра — поручик Розенкранц. «Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму Героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными склонностями, а примером этих образцов» (3, 21). Фигура, внешне очень яркая, колоритная, желающая обратить на себя внимание. Розенкранц резко выделялся среди других офицеров: на нём «чёрный бешмет с галунами», «жёлтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха», на поясе «кинжал в серебряной оправе», «пашка в красных сафьянных ножнах» (*Там же*). Поручик часто ходил «с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет...» (*Там же*. С. 22). Но во время одной из таких экспедиций он ранил чеченца, которого потом взял к себе, «лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его» (*Там же*). Во время захвата аула Розенкранц «без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного» (*Там же*. С. 34).

Для рассказчика-волонтёра поведение Розенкранца едва ли выглядело «храбростью»: этому офицеру всегда необходимо было «перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось» (*Там же*. С. 22 – 23).

Коити Итокава в своём желании доказать «единство в развитии», без духовного религиозного переворота, антивоенных убеждений Толстого, относит Розенкранца к образам «пацифистским», поддерживая вывод Н. Э. Бурнашёвой, о котором мы уже упомянули выше. «Как это ни парадоксально, в многочисленных “военных” произведениях Толстого, будь то короткие рассказы или величайшая книга о войне “Война и мир”, любимые герои Толстого [...], люди военные, участвуют в военных событиях, но... не убивают. Даже когда рассказчик в “Набеге” переживает “воинственный восторг”, чувство, при котором он, “кажется, был [бы] способен из своей руки убить человека” [ГМТ. ОР. “Набег”, оп. 2, л. 3 об.], не поднимается у него рука на себе подобного. То же чувство испытывают на войне юные Володя Козельцов и Петя Ростов; состояние, родственное этому чувству, охватит Михаила Козельцова в день последнего штурма Севастополя и Андрея Болконского во время Аустрелицкого сражения... И хотя Володя командовал двумя “мортирками”, которые стреляли по неприятелю, на его руках нет крови, как не запятнали себя ни

капитан Хлопов, ни волонтер, ни даже Розенкранц, ни солдаты и офицеры из “Рубки леса” и севастопольских рассказов. Ни одного убийства нет на совести Ростова, Андрея Болконского, капитана Тимохина, капитана Тушина, Василия Денисова...» (*Бурнашёва Н.И. «Пройти по трудной дороге открытия...»: Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2003. С. 225 – 226; ср.: Итокава, К. Указ. соч. С.98 – 99).*

Однако, первое, близость гуманистических настроений названных персонажей не делает их религиозными единомышленниками Толстого-христианина 1880 – 1900-х гг. А второе то, что тот же Розенкранц, и по немецкой фамилии своей судя, и по описанию его поведения — явно не может быть отнесён не только к исключительным противникам насилия, как «поздний» Толстой, но и к любимым персонажам Толстого молодого, презиравшего позу и неискренность в людях.

А вот капитан Хлопов, конечно же, к таковым может быть отнесён... Всматриваясь в лица и поведение офицеров, волонтер в «Набеге», за которым автор скрыл себя и скудный пока, но ценный свой военный опыт, замечал в них массу «различных оттенков»: «один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно», и только по лицу капитана Хлопова было заметно, «что он и не понимает, зачем казаться» (3, 37). Поведение и вес образ именно капитана Хлопова ассоциируются у волонтера с истинной храбростью: «В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вот кто истинно храбр“, сказалось мне невольно» (3, 37). Этот незаметный, «невоинственный» человек, выполняющий свой долг, о себе и о своих делах предпочитает не рассказывать, потому что нет здесь ничего героического. Во время стычки с горцами Хлопов остаётся таким же простым, естественным и невоинственным: «Он был точно таким же, каким я всегда видал его: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нём внимание человека, спокойно занятого своим делом» (*Там же*).

Это — преломление в военной среде этико-эстетической «истинного» коминьфо, «гражданскую» версию которой Толстой сообщит позднее, в повести «Юность». «Истинно храбрый» человек вовсе не лишён чувства страха и полагает, что «это не значит храбрый», если «суётся туда, где его не спрашивают». «Храбрый тот, который ведёт себя как следует» — эти слова Хлопова напомнили волонтеру мысль

Платона, и рассказчик откровенно признаётся, что «даже определение капитана вернее определения греческого философа» (гл. I; Там же. С. 16 – 17).

Образ капитана Хлопова — идеал Толстого, «отправная точка», с которой писатель, а позднее публицист Толстой разовьёт по-разному и с разных точек зрения, но всегда животрепещущую для него тему «нравственного повреждения» представителей наиболее близкого и понятного ему — собственного — «служилого» сословия. Неоднократно Толстой вернётся к этой теме и в антивоенной, христианской публицистике поздних лет жизни.

Образ капитана — безусловно антивоенный. Капитан Хлопов спокойно занят повседневным исполнением порученного — и мы понимаем, что точно так же в более разумно устроенном обществе, среди настоящих, чуждых войне, людей христиан, Хлопов *не капитан* мог бы спокойно и строго заниматься мирным, созидательным и разумным, трудом. Представления капитана о храбрости перекликаются с простым народным здравым смыслом.

Но, опять же, тождествен ли этот образ воззрениям Толстого-публициста, а в особенности Толстого-христианина «позднего» периода, ради которого мы и затеяли весь этот предстоящий обзор?

Всё-таки — нет и нет!

Вести себя, «как следует» — значит отвечать ожиданиям окружающих, начальства, делать должное, воздерживаясь от глупостей и гадостей. «Делай то, что должен, а там пусть будет всё так, как решат боги». Памятуя эту античную этическую максиму с юных лет, Толстой, однако, постепенно изменил для себя её смыслы — именно представления о «должном»: не перед людьми уже, а перед Богом. Когда отказ от призыва, от мобилизации, от военной службы и от всякой службы государству — этически ценнее того, чтобы угодить властителям и начальствующим мира сего.

«Набег. Рассказ волонтёра» был опубликован в № 3 журнала «Современник» 1853 г. с подписью «Л. Н.». Цензура чудовищно исказила рассказ. Сам Толстой в майском 1853 г. письме к брату Николаю подвёл грустный итог: «„Набег“ так и пропал от цензуры. Всё, что было хорошего, всё выкинуто или изуродовано» (21, 127).

Но «Набег» не «пропал». Как этап на пути к христианскому отвержению войны Л. Н. Толстым он бесценен для нас — хотя выражает ещё, скорее, языческое, этико-эстетическое светское и «художническое» неприятие убийства, нежели красную, стойкую христианскую веру.



Всё насилие в рассказе «Набег», как и теперешнее в Украине, происходит на фоне прекрасной природы, дивных пейзажей, освещённых солнцем. Вот ещё такая сцена, из эпизода, в котором нашкодившая в чужом ауле русня, поджав хвосты, удрала от ответного огня горцев:

«Тёмные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и весёлые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и исполненные чувства и силы звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху» (гл. XII; 3, 39). Но на душе у автобиографического персонажа «Набега» и, соответственно, у самого Толстого было смутно и тяжело. «Как хорошо жить на свете, как прекрасен этот свет, как гадки люди и как мало умеют ценить его» — думал он. На эти мысли навела его вся окружающая его природа и особенно «звучная беззаботная песнь перепёлки, которая слышалась где-то далеко в высокой траве». «Она, верно, не знает и не думает о том, на чьей земле она поёт: на земле ли русской или на земле непокорных горцев. Ей и в голову не может прийти, что эта земля не общая. Она думает, глупая, что земля одна для всех... Она знает только одну власть, власть природы, и бессознательно, безропотно покоряется ей» (3, 239 – 240).

Этот, безусловно антивоенный, отрывок так же сохранился лишь в черновом рукописном варианте.

Для Толстого-художника эти картины — реальный аргумент против войны, и именно в связи с этим, художническим, но также и животным и языческим, восторгом перед природой, которой будут наполнены и «Казаки», он, по внешности риторически, а на самом деле вполне всерьёз, вопрошает читателя: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщениия или страсти истребления себе подобных?» (Там же. С. 29).

И пока, в далёком 1852-м, не находит для себя вполне удовлетворительного ответа.

Отправляясь в настоящий, первый свой военный поход, Толстой не мог преодолеть сомнений в «необходимости» и справедливости той войны, участником которой он был. Поэтому он старался не думать об этом вопросе и видеть в войне только то, что он видел в ней в годы «очаковских курений», то есть будучи ребёнком: «возможность проявления молодечества и храбрости». Уже находясь в походе, 5 февраля 1852 года, он записывает в Дневнике: «Странно, что мой

детский взгляд – молодечество — на войну для меня самый покойный» (46, 90 – 91).

Как ни определённы были критические в отношении военного насилия мысли и чувства, они не были в Толстом ещё настолько сильны и не проникли так глубоко в его существо, чтобы хотя бы воспрепятствовать его поступлению на военную службу, к которому он стремился и которое было подтверждено приказом в марте 1852 года.

В последующие месяцы 1852 года Толстой работает над повестью «Детства» и ищет себя — в литературе и в жизни. Под 29 марта в Дневнике появляется значительнейшая для темы нашей книги запись:

«С некоторого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. [...] Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рождён не для того, чтобы быть таким, как все. [...] ...Всё меня мучат жажды... не славы — славы я не хочу и презираю её; а принимать большое влияние в счастье и пользе людей» (46, 102).

Оставалось главное: отыскать именно *свои* пути для утоления этих жажд. Он отчуждается от офицерского общества, погружён в размышления... «Неужели я-таки и сгасну с этим безнадежным желанием?» (Там же). О том, что его настоящее призвание есть литературная деятельность, Толстой тогда и не помышлял. Он много читает и заново «открывает» для себя науку историю — которую, по собственному признанию, прежде не любил по причине «дурного воспитания» (запись 14 апреля). Летом 1852 года молодой Лев перечитывает ряд сочинений обожаемого Руссо, и заносит в Дневник ряд размышлений о нравственных и религиозных вопросах, вызванных чтением «Исповедания веры Савойского викария». Например, в записях 29 и 30 июня он пробует распределить людей по группам в зависимости от тех целей, какие они себе ставят в жизни, и приходит к следующим выводам: «Тот человек, которого цель есть собственное счастье, дурен; тот, которого цель есть мнение других, слаб; тот, которого цель есть счастье других, добродетелен; тот, которого цель — Бог, велик» (46, 128).

Конечно же, по такой строгой классификации, со столь возвышенным идеалом, молодой Лев сам оказывался слабее котёнка. Личная мораль для него в это время вполне совместима не только с самой военной службой, но и с исканием похвал начальства и наград за неё — кстати сказать, за подлинные случаи храбрости. 1 января 1853 года дивизион, в который входила артиллерийская батарея № 4, в которой служил Толстой, выдвинулась в поход — и он испытал

тогда то «бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому», которым наделил впоследствии ряд возлюбленных своих персонажей: например, в схожих выражениях он описывает душевное состояние офицера Бутлера, отправившегося со своей ротой в поход против горцев («Хаджи Мурат», гл. XVI; 35, 77). Но, хорошо начатый, поход продолжился длительной стоянкой в крепости Грозной. Командующий отрядом князь Барятинский решил, во-первых, истомить горцев ожиданием и, во-вторых, возбудить против Шамиля и его сторонников недовольство местных жителей, которые должны были снабжать войска Шамиля продовольствием. Для отряда началась праздная, бездеятельная жизнь в крепости. Толстому такой образ жизни был очень неприятен. «Все, особенно брат, пьют, — пишет он 6 января, — и мне это очень неприятно. Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести» (46, 155). Впоследствии Толстой никогда не откажется от этого вывода из практических наблюдений — значительного для его антивоенных убеждений. Однако в те январские деньки у него отнюдь ещё нет полной уверенности в том, что дело, в котором он принимает участие, есть дело дурное. «Хорошо ли я делаю?» — спрашивает он себя и не находит вполне ясного ответа на свой вопрос. И, не будучи в силах разрешить своё сомнение, он заканчивает запись словами: «Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно» (Там же). «Страшно напился в Грозной... я напился... офицеры и б<ляди>... я напился... голова болит... имел глупость проиграть... напился с Ариневским... картёжная страсть сильно шевелится... буду ещё играть... без гроша денег... не хочу больше играть... брат пьёт...» — таков рефрен этих дней в Дневнике молодого Льва (Там же. С. 155 – 157). Гнусный разврат повседневной жизни военщины Толстой испытал на себе: в частности, соблазн карточной игры и невозможность, несмотря на бездеятельность, сосредоточенной и плодотворной творческой работы. 12 января ему вдруг приходит в голову замысел рассказа из «дослужебного» своего опыта, с «говорящим» сам за себя названием: «Бал и бардель» (Там же. С. 156). По счастью, этот сомнительный замысел остался неосуществлённым.

Пьянка «по инерции» продолжилась и по выходе дивизиона в поход. Для Толстого она имела положительное значение, отмеченное им в Дневнике 10 февраля: «Чувствую, что буду переносить лучше опасность, чем прошлого года» (Там же. С. 157). Так вот какова в военных, ненормальных для человека, условиях может быть цена «высокой», в глазах тогдашнего Толстого, моральной ценности — военной

храбрости. Кое-как опохмелившись, уже во время стоянки на Качкальковском хребте, Толстой записывает 20 февраля в Дневник, что с удивлением узнал от сослуживца, что «было 16 числа артиллерийское дело ночью и 17 днём», и что он, Лев Николаевич, представлен за храбрость к Георгиевскому кресту! *(Там же)*. Прочего товарищ, тоже без меры пивший, вспомнить не смог, но, судя по официальному Послужному формулярному списку юнкера Толстого, он ещё с 30 января принимал участие в следующих боевых операциях: «30 января в движении на реку Мичик и к аулу Нети-Су и далее по Гасовинскому ущелью, при рубке леса и возвращении в Куринское укрепление; февраля 1-го в движении в Гасовинское ущелье для сделания просеки и при перестрелке с горцами; 6-го в движении на Хаби-Шавдонские высоты и расположении на оных лагерем; 11-го при рекогносцировке берегов Мичика; 13-го в перестрелке во время рубки леса»; с 18 февраля, стараясь не просыхать, молодой Лев, герой отечества, принял участие в следующих боевых операциях: «18-го — в движении к аулу Мазлагаш, разорении оного и отступлении в лагерь с боем; 25-го при разорении аулов Дадан Юрт и Али Юрт; с 28 февраля по 9 марта в рубке леса» *(Цит. по: Летописи. Гос. литературный музей. 1948. Кн. 12. С. 186)*.

За всё это геройство во хмелю Толстому очень хотелось получить Георгиевский крест — «только для Тулы», как записал он в Дневнике 20 февраля (т. е. имея в виду своих родных и тульских знакомых). Но получение креста расстроилось самым неожиданным образом. Толстой пытался бороться с алкогольной и игровой зависимостью — переключившись на игру в шахматы. И накануне того дня, когда предстояла выдача наград, Толстой, играя в шахматы со знакомым офицером, так увлёкся, что не явился в назначенный час на службу. «Дивизионный начальник Олифер, — рассказывает со слов Толстого его жена, — не найдя его на карауле, страшно рассердился, сделал ему выговор и посадил под арест». На другой день, когда с музыкой и барабанным боем раздавали георгиевские кресты, Толстой «вместо торжества сидел одинокий под арестом и предавался крайнему отчаянию» *(Толстая С.А. Материалы к биографии Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 тт. М., 1978. Т. 1. С. 41)*.

Выйдя из-под ареста, Толстой 10 марта 1853 г., на стоянке у реки Гудермес, подвёл в Дневнике грустный итог похода: «Кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности, дурных знакомств... Надо скорей кончить. Проиграл всё, что было, и остался должен. [...] То, что я не получил креста, очень огорчило меня. Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня.

Я даже жалею, что не отказался от офицерства» (46, 158). Последняя фраза Толстого вызвана была тем, что бригадный командир генерал Левин объявил ему, что за «дело 17 февраля» он представлен к производству в офицерский чин и потому одновременно не может быть представлен к получению Георгиевского креста.

Впоследствии был ещё один случай, когда Толстой мог получить Георгиевский крест, но и в этот раз его постигла неудача. В батарею, в которой он служил, после движения 18 февраля (вероятно, 1853 года) были присланы два Георгиевских креста. Батарейный командир Алексеев обратился к Толстому со словами: «Вы заслужили крест, хотите — я вам его дам, а то тут есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и ждёт креста, как средства к существованию». (В то время Георгиевский крест давал солдату право на пожизненную пенсию в размере жалованья.) И Толстой «с отчаянием в душе» согласился уступить крест этому старому солдату (*Там же. С. 40*).

Толстой утрачивал постепенно прежнее суеверное уважение к военной службе — наблюдая в ней за собой и, кстати, старшим братом, серьёзно его разочаровавшим. И за прочими сослуживцами... В дневниковых размышлениях Толстой выделяет отдельно такое понятие, как «класс военных», и задумывается над его природой. В его Дневнике появляются записи, похожие на афоризмы, проливающие свет на этот вопрос: «Для существования класса военных необходима дисциплина, для существования дисциплины необходим фронт. — Фронт есть средство посредством малых угроз доводить людей до машинального повиновения. От этого жесточайшие казни не произведут той субординации, которую производит привычка к фронту» (46, 205).

Всё же многое ещё пока не ясно Толстому в природе тех сил, которые гонят людей на «истребление человеческого рода», как писал когда-то его отец. В его руках ещё только часть из клубка тех ниток, которые ведут по ложному и запутанному лабиринту войны. Но неутомимый путник, наблюдатель, мыслитель и художник, готов идти дальше!

Подступала для него пора выбраться для этого из военной униформы... Спустя всего полтора года после того, как с нетерпением ждал зачисления своего в юнкера артиллерии, летом и осенью 1853 года Толстой уже с таким же нетерпением ждал своего производства в офицерский чин — чтобы со службы выйти. 20 июля Толстой пишет брату Сергею Николаевичу: «Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь — по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что теперь я уже так привык к счастливой мысли поселиться

скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладковскую и ожидать до бесконечности так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, очень неприятно» (59, 241).

Общество его сослуживцев офицеров, и ранее его не удовлетворявшее, теперь всё более и более становится для него тягостным. 26 ноября 1853 г. он пишет брату Сергею Николаевичу: «Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своём образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры — больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души» (59, 251).

Надеждам на скорую отставку, однако, не суждено было сбыться. 14 июня 1853 года был подписан, а 15 числа того же месяца обнародован Высочайший манифест Николая I о занятии русскими войсками Дунайских княжеств, Валахии и Молдавии, находившихся под протекторатом Турции. В сентябре турецкое правительство предъявило России ультиматум с требованием очистить в 18-тидневный срок занятую русской армией территорию. Ультиматум остался без ответа, начались военные действия. Россия объявила Турции войну. Началась, таким образом, на этот раз очень серьёзная для России Восточная война. Толстой узнаёт, что отпуска и отставки из армии по приказу Николая воспрещены. Вопреки тому «благородному, прекрасному намерению», которое он принял, — отказаться от военной карьеры и с помощью литературы «принимать большое влияние в счастье и пользе людей» — он начинает подумывать об участии в Турецком походе (см. 46, 176). Чтобы вырваться из неприятной ему среды развратных бездельников, Толстой идёт на решительный шаг: подаёт командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, М. Д. Горчакову, докладную записку о своём переводе в действующую армию. Толстой ожидал и перевода, и производства в офицерский чин, — но наиболее охотно предпочёл бы быть выключенным из службы совершенно. 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать её, чего не было прежде» (46, 205). Служба на батарее всё больше не удовлетворяет Толстого. Смотры, парады, учения — всё то, на что мальчиком, обманутым взрослыми, а помимо них и атавизмами собственной животной природы, он любовался в Москве, о чём мечтал в юности, теперь вызывает в нём отвращение.

Благодаря протекции влиятельных Горчаковых просьба Толстого выполняется быстро, ускоряется процесс присвоения Толстому офи-

церского чина и оформления перевода на новое место службы. В середине января 1854 г. Толстой сдаёт экзамен на офицерский чин «по полевой артиллерии» (кстати, на «отлично»: 134 балла из 144 возможных) и отбывает к новому месту. Закончился, таким образом, кавказский период его жизни, длившийся в общей сложности 2 года и 7 с половиной месяцев.

Но вынужденное бездействие осени и декабря 1853 г. стало своеобразной «болдинской осенью» Толстого: в эти дни он регулярно ведёт Дневник, записывая многочисленные для себя установления, касающиеся будущего писательского творчества, а также обозначив своё сочувственное отношение к рабочему народу и к «политическим преступникам», разжалованным и ссыльным — сохранившееся у Толстого на всю жизнь. Одним из новых знакомцев Толстого стал бывший офицер *Александр Матвеевич Стасюлевич* (1830 – 1867) разжалованный в солдаты и сосланный на Кавказ за то, что во время его дежурства из тюрьмы убежало несколько арестантов. Стасюлевича показушно сделали «козлом отпущения», наказанным из-за общего разгильдяйства и недисциплинированности в армии. О несчастливой судьбе А. М. Стасюлевича Толстому суждено будет вспоминать через много лет, в связи с участием его в судьбе другой несчастной жертвы мира и мирских лжи и зла — солдата Василия Шабунина, в 1866 году.

Кроме вопросов художественного творчества, многие другие важные вопросы являлись предметом размышлений Толстого в период его уединённой кавказской жизни. Сама жизнь заставляла его усиленно думать над вопросом об отношении к войне, в которой ему пришлось быть участником. Отношение к народу, к крепостному праву также было тем вопросом, над которым Толстой не мог не думать долго и напряжённо. Он не приходит ещё к принципиальному отрицанию крепостного права, но ему уже ясны моральные преимущества «простого народа» перед привилегированными классами. Вопросы личной нравственности, составление для себя «правил поведения», борьба со своими недостатками характерны для всего кавказского периода жизни Толстого. Основные вопросы философии, религиозной метафизики и религиозного понимания жизни также являлись в то время одним из главных предметов размышлений Толстого. Критическое отношение к учению православной церкви, начавшееся ещё в Казани, теперь усилилось ещё больше. Многое из того, до чего Толстой, живя на Кавказе, додумался в области религии, осталось на всю жизнь его твёрдым убеждением. О своих религиозных исканиях кавказского периода Толстой через пять лет после отъезда с Кавказа, в мае 1859 года, писал А. А. Толстой: «...я был

одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошёл тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда*, как в это время, продолжавшееся два года... Из двух лет умственной работы я нашёл простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, — я нашёл, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашёл мало. Я не нашёл ни Бога, ни покупателя, ни таинств, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины... Так и остался с своей религией...» (60, 293).

В раздумьях писателя того периода одно из первых мест занимали мысли о том, что отделяет людей друг от друга, о таких барьерах между людьми и народами, как насилие, человеконенавистничество, война. Глубокое впечатление на него произвела жизнь казаков и горцев с её простотой, естественностью, отсутствием всякой фальши, близостью к природе. «Всё Бог создал на радость человеку. Ни в чём греха нет, — говорит дядя Ерошка в «Казаках» Оленину. — Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живёт. Куда придёт, там и дом» (6, 56). «Как хорошо жить на свете, как прекрасен этот свет! — сказано в одном из вариантов «Набега». — Эту не новую, но невольную и задушевную мысль вызвала у меня вся окружающая меня природа, но больше всего звучная беззаботная песнь перепёлки, которая слышалась где-то далеко, в высокой траве. Она верно не знает и не думает о том, на чьей земле она поёт, на земле ли русской или на земле непокорных горцев, ей и в голову не может придти, что эта земля не общая. Она думает, глупая, что земля одна для всех» (3, 239).

Биограф и друг П. И. Бирюков, беседовавший в 1905 году с писателем о его пребывании на Кавказе, передаёт нам следующее: «Лев Николаевич с радостью вспоминает это время, считая его одним из лучших периодов его жизни, несмотря на все уклонения от смутно сознаваемого им идеала» (*Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. М. – Пг., 1923. Т. 1. С. 104*).

В то время как напряжённая работа мысли помогала Толстому углублять основы своего мирозерцания, общение с окружающими расширяло его жизненный опыт — борьбы с миром и его заманками,



а равно и с собственным желанием *угождения миру*, тем самым, которое в наши дни, в XXI столетии, даёт возможность халтурным и лживым правительствам собрать тщеславящихся молодых (и не очень) простецов под военные стяги. Та среда, в которую попал Толстой на Кавказе, совершенно не походила на пресловутое *светское общество*, в котором он вращался в Москве. Это были прежде всего его сослуживцы офицеры, большинство которых происходило не из светских кругов. Хотя Толстой не мог не чувствовать своего умственного и нравственного превосходства над этими людьми, общение с ними было для него полезно в том отношении, что помогало ему отрешаться от тех нелепых предрассудков *комильфотности*, в которых он был воспитан.

В черновике одного из своих писем (брату Сергею от 5 декабря 1852 года) Толстой считает время, проведённое на Кавказской войне, школой для себя. Только уроки, полученные в этой школе, во многом оказались, как показало будущее, прямой противоположностью тому, на что рассчитывали царь и его генералитет.

Разочарованием своим в военной среде и службе Толстой “заразит” и персонажей очередных своих сочинений: рассказов «Святочная ночь», «Записки маркёра», «Рубка леса», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», «Два гусара», позднее — «Казачи». И здесь же явятся первые яркие образы носителей «морального повреждения» в дворянской и офицерской среде, о котором Толстой тоже знал уже не понаслышке.

Последние числа декабря 1853-го и особенно весь январь 1854 года, до самого отъезда с Кавказа, прошли у него в напряжённой работе. Толстой одновременно работает над тремя начатыми им произведениями: «Отрочеством», «Романом русского помещика» и «Записками фейерверкера» — впоследствии превратившимися в рассказ «Рубка леса».

---

## 1. 2. ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ

«Школа», начатая на Кавказе, была продолжена на Дунае и в Севастополе. Следующим этапом предназначенного Льву Николаевичу Толстому пути к отвержению войны именно с христианских религиозных позиций стал опыт участия в т.н. Восточной войне России. В марте 1854 года Толстой приезжает в Бухарест, где находился штаб Горчакова.

Михаил Дмитриевич Горчаков, знавший отца писателя, участвовавший, как и Н. И. Толстой, в войне 1812 года (позднее он участвовал в русско-турецкой войне 1828 года и в Польской кампании 1830 – 1831 годов), встретил Толстого по-родственному. «Он меня расцеловал, — писал Толстой родным, — звал к себе обедать каждый день, хочет меня оставить при себе, хотя это ещё не вполне решено» (59, 259). Через месяц «это» решилось вполне, и Толстой, протекцией лично Горчакова, был прикомандирован к горчаковскому штабу в качестве офицера для особых поручений при начальнике артиллерии Дунайской армии генерале Сержпутовском.

В Горчакове Толстому импонировали простота, скромность, отсутствие позы, приветливое обращение с подчинёнными. В письме к Т. А. Ёргольской он называет себя поклонником князя и так описывает его во время осады Силистрии: «Надо видеть эту слегка комичную фигуру — большого роста, с руками за спиной, фуражкой на затылке, в очках и с чем-то от индюка в манере говорить. Видно, что он так погружён в общий ход дела, что ни пули, ни бомбы для него не существуют. Это... человек, который всю свою жизнь посвятил службе отечеству и не из человеколюбия, а по долгу» (59, 274).

Воспоминания о Горчакове помогли Толстому-романисту в создании одного из лучших, ярчайших и одновременно идеальных, измышленных автором образов «Войны и мира», полководца М. И. Кутузова.

На ещё живую плоть слабеющей Османской империи слетались более сильные хищники, среди которых свои претензии высказывала и Россия. Близкие к правительству круги мечтали о значительном расширении русских владений за счёт Турции. Славянофилы мечтали об объединении всех славян под главенством России и о том, чтобы вновь водрузить православный крест над храмом святой Софии в Константинополе, превращённым турками в мечеть. В 1862 году Н. Г. Чернышевский в одной из своих статей, напечатанных в «Современнике», вспоминая первые годы Крымской войны, писал: «При начале Восточной войны из ста так называемых образованных людей девяносто девять ликовали при мысли, что мы скоро овладеем Константинополем» (*Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений, т. X, М., 1951. С. 488*). Впрочем, тот же Чернышевский в другом месте делится наблюдением, что эти самые «мы» пресловутыми «образованными кругами» практически и исчерпывались, в рядах же

самых народов, столкнутых своими правителями в военной драке, не было ни патриотизма, ни религиозного фанатизма: «Из тысяч сражавшихся солдат, турецких или русских, было ли хоть два человека, которые добровольно взялись за оружие? Было ли в каждой тысяче солдат хоть по одному человеку, который с радостью не отложил бы оружие в сторону и не пошёл бы куда-нибудь подальше от войны на работу или хоть на мирную праздность?» (Там же. С. 360). С высокой вероятностью, это наблюдение можно, и то с оговорками, отнести лишь к солдатам с *российской* стороны.

Толстой в Восточную войну не принадлежал ни к патриотам правительственного лагеря, ни к славянофилам, ни к пораженцам. Та война, в которой ему теперь приходилось принимать участие, в его сознании была совершенно не похожа на ту, участником которой он был на Кавказе. Здесь русские войска воевали с турками, которые по традиции считались давнишними врагами России. Ещё больше оправдывалось в сознании Толстого его участие в войне с турками известиями о жестокостях, совершавшихся турками в этой войне. В письме к своей воспитательнице, «тётиньке» Т. А. Ёргольской от 5 июля 1854 года Толстой рассказывает, что по мере того, как русская армия покидала болгарские селения, в них появлялись турки и, «кроме молодых женщин, годных в гаремы, истребляли всех жителей». «Я ездил, — писал Толстой, — из лагеря в одну деревню за молоком и фруктами, и там было вырезано всё население» (59, 275).

Толстой под Силистрией чаще бывал зрителем, чем участником войны. «Столько я видел интересного, поэтического и трогательного, что время, проведённое мною там, никогда не изгладится из моей памяти», — писал Толстой Т. А. Ёргольской уже по снятии осады 5 июля 1854 года. Русский лагерь был расположен на правом берегу Дуная в садах, принадлежавших губернатору Силистрии Мустафепаше. Отсюда был виден Дунай с обоими берегами его и расположенными на нём островами, были видны Силистрия и её форты, в подзорную трубу можно было даже различить турецких солдат; слышна была не прекращавшаяся ни днём, ни ночью пушечная и ружейная стрельба. «По правде сказать, — писал Толстой в том же письме, — странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают, а между тем и утром и вечером я со своей повозки целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было поистине замечательное, и, в особенности, ночью» (Там же. С. 273).

В ночь с 8 на 9 июня был назначен штурм крепости. Днём началась артиллерийская подготовка; около пятисот орудий стреляли по Силистрии. Стрельба продолжалась всю ночь. «Мы все были там, — рассказывает Толстой в том же письме, — и, как всегда, накануне сражения делали вид, что о завтрашнем дне мы думаем не более, чем о всяком другом. Но я уверен, что на самом деле у всех сердце немножко сжималось (и даже не немножко, а очень сильно) при мысли о штурме... К утру с приближением момента действия страх ослабевал, а к трём часам, когда ожидали ракету, как сигнала к атаке, я был в таком хорошем настроении, что ежели бы пришло известие, что штурма не будет, я бы очень огорчился».

Но то, чего Толстой так не желал, и случилось. 4 июня Австрия при поддержке Пруссии потребовала от Николая I вывода войск из дунайских княжеств. Николаю пришлось уступить и тем свести на нет всю дунайскую кампанию, продолжавшуюся больше года. Вскоре войскам было приказано не только снять осаду Силистрии, но и переправиться обратно на левый берег Дуная.

За час до условленного времени начала штурма к Горчакову прискакал курьер с письмом от фельдмаршала Паскевича. Фельдмаршал извещал, что царь «разрешить изволил снять осаду Силистрии, ежели до получения письма Силистрия не будет ещё взята или совершенно нельзя будет определить, когда взята будет». Получив это извещение, Горчаков сейчас же приказал войскам, уже занявшим позиции для штурма, вернуться в лагерь.

«Могу сказать, не боясь ошибиться, — писал Толстой в том же письме, — что это известие было принято всеми — солдатами, офицерами, генералами, как настоящее несчастье. Тем более, что было известно от шпионов, которые часто являлись к нам из Силистрии и с которыми мне самому приходилось говорить, — было известно, что когда овладеют фортом, — а в этом никто не сомневался — Силистрия не сможет продержаться более 2, 3 дней» (*Там же. С. 275*).

Этот рассказ Толстого о настроении русских войск после отмены штурма Силистрии вполне подтверждается свидетельствами других современников. Для молодого же Льва этот опыт стал новой, великолепной школой ненависти — пока ещё не к военщине и разбойничьим гнёздам государств, как таковым, а к порочным практикам одного лишь государства Российского, привыкшего (и не отвыкшего по сей день, в наши дни — осень 2022 года!) класть тысячи жертв своих граждан в угоду изменчивостям политики.

Толстой возвращается к стремительно надоедающей ему штабной работе, переделывает «Записки фейерверкера», а на досуге — читает и перечитывает любимых Пушкина, Лермонтова, Диккенса... Из произведений Пушкина, в частности, Толстого поразили «Цыганы», «которых, странно, — пишет он в Дневнике на 9 июля, — я не понимал до сих пор» (47, 10). Совершенно понятно, почему именно «Цыганы» особенно понравились Толстому: ему близка была идея этой поэмы, противопоставление простых, цельных, живущих естественной общей жизнью людей изломанному, испорченному ложной цивилизацией эгоисту Алеко. У Лермонтова Толстого поразило стихотворение «Умиравший гладиатор»:

И кровь его течёт — последние мгновенья  
Мелькают, — близок час... вот луч воображенья  
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...  
И родина цветёт... свободный жизни край;  
Он видит круг семьи, оставленный для брани,  
Отца, простёршего немеющие длани,  
Зовущего к себе опору дряхлых дней...  
Детей играющих — возлюбленных детей.  
Все ждут его назад с добычею и славой,  
Напрасно — жалкий раб, — он пал, как зверь лесной,  
Бесчувственной толпы минутною забавой...  
Прости, развратный Рим, — прости, о край родной...

«Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша» — записывает он в Дневнике (*Там же. С. 9 – 10*). Судьба будущего христианского публициста, проповедника мира продолжала верно служить Высшему Промыслу.

Заметим кстати, что М. Ю. Лермонтов, пища своего «Гладиатора» в 1836 году, на восходе «золотого века» русской культуры, имел в виду в этом образе «отживший», по его мнению, лучшие годы «европейский мир»:

Стараясь заглушить последние страданья,  
Ты жадно слушаешь и песни старины  
И рыцарских времён волшебные преданья...

Но с куда большей уверенностью этот образ, если изъять из него черты благородства, подходит в наши дни, в 20-е годы XXI века, к так называемому «русскому миру», давно пережившему культурный

свой «век золотой», а «серебряный», в ХХ столетии — выселивший в эмиграцию или уничтоживший, и теперь, как осенняя муха — старающийся перед гибелью побольнее «укусить» всё ещё сильный мир, единой в наши дни, евро-атлантической цивилизации и подлейше навредить «предателям» — осколкам бывшей Российской империи и СССР, таким, как Грузия или Украина, стремящимся примкнуть культурно к этому миру и принять его защиту — зрелого, потрёпанного в боях веков, но всё ещё сильного, не поверженного гладиатора!

Политический шаг российского правительства, снятие осады Силистрии после многочисленных жертв в её ходе, вызвал в Толстом возрастание того особенного, замешанного на сочувствии к народу, к солдатам, патриотического чувства, которое, лишь уютно теплящимся, мы обнаруживаем впервые в рассказе «Набег» и которое позднее, под Севастополем, разгоралось всё мощнее, в яростный пожар неприятия, отрицания, оппозиции — выжигая в своём огне всё наносное, ложное... То, что позорное отступление из-под крепости стало катализатором этих настроений косвенно подтверждают наблюдения Н. Н. Гусева над Дневником Л. Н. Толстого Дунайского периода:

«...Во всём Дневнике, за исключением нескольких незначительных упоминаний, совершенно не находим никаких записей, относящихся к войне. По содержанию Дневника невозможно догадаться, что его ведёт штабной офицер действующей армии. Очевидно, задушевные интересы автора Дневника были совершенно в иных областях жизни, не связанных с его службой» (*Гусев Н.Н. Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого. 1828 – 1855. М., 1954. С. 495*).

Очень скоро, к чести не одного Толстого, но и России, и счастью читающих поклонников Толстого и русской литературы во всём мире, этому состоянию сознания «автора Дневника» предстоят необратимые огромные перемены.

19 июля 1854 года штаб начальника артиллерии, оставляя дунайские княжества, выехал из Бухареста по направлению к русской границе. Переезд продолжался больше месяца. 3 сентября Толстой переехал границу у местечка Скуляны Бессарабской губернии и 9 сентября приехал в Кишинёв, куда была переведена главная квартира армии.



Л. Н. Толстой с братьями Сергеем, Дмитрием и Николаем. 1854 г.

Ко времени пребывания Толстого в Дунайской армии, службы в Кишинёве, относится значительнейший и для нашей темы, и для всей жизни Льва Николаевича эпизод, требующий отдельного и пристального исследовательского внимания.

6 сентября 1854 года Толстой получает чин подпоручика — что важно для нас, довольно значительный в глазах старших и по летам, и по званию офицеров. Как следствие, в Кишинёве, куда молодой обер-офицер добирается к 9 сентября, на него обращают внимание и он обретает новых знакомых в офицерских кругах. На волне тревожных военных известий в среде этих знакомых в начале осени 1854 года выделяется интеллигентный офицерский кружок «выдающихся людей», как именует их Толстой в письме к Т. А. Ёргольской (59, 294), желающий выразить публично своё очень умеренное, даже и благонамеренное, но всё-таки недовольство состоянием солдат и войска, руководства ими. К середине сентября кружок состоял из следующих семи лиц: капитан *Александр Яковлевич Фриде* (1829 – 1894), капитан *Аркадий Дмитриевич Столыпин* (1822 – 1899),

штабс-капитан *Иосиф Карлович Комстадиус* (? – 1854), штабс-капитан *Лев Фёдорович Балюзек* (1822 – 1879), поручик *Шубин* (имя и даты жизни не установлены), поручик Константин Николаевич Боборыкин (1829 – 1904) и, конечно же, поручик граф Лев Николаевич Толстой — последний из присоединившихся, но не последний по значению! Вероятнее всего, именно ему принадлежал первоначальный замысел: основать Общество для содействия просвещению и образованию среди войск. 17 сентября молодой Лев записывает в Дневнике, что план основания общества «сильно занимает» его. На следующий день он уже составляет проект устава общества, который, к сожалению, не сохранился.

Но, задумавшись о конкретной деятельности, в которой должно было выразить им свою просветительскую миссию, друзья пришли к идее издания официального военного журнала. Отчего именно журнал? От идеи Общества, работающего неподконтрольно с солдатами (регулярные занятия, чтения, беседы), пришлось тут же отказаться, по понятным причинам: традиционное у тётки «родины», имперской России, насторожённое отношение к любым «обществам» в условиях войны выросло до маниакально-параноидального фазиса. Кроме того, у самих товарищей по просветительской инициативе не хватило бы личных времени и сил для такой работы. У намечавшегося же изданием журнала были достойные предтечи и современники, как были и помощники, имевшие соответствующий опыт. Например, *Осип Ильич Константинов* (1813 – 1856) с 1846 по 1849 годы был первым редактором газеты «Кавказ». Первоначально это было частное издание, издававшееся по инициативе Кавказского наместника князя Воронцова. «Кавказ» пользовался поддержкой правительства: новая газета способствовала русификации окраин. В 1850 году газета перешла в собственность канцелярии управления наместника кавказского, и к 1856 г. окончательно превратилась в правительственный официоз. Осип Ильич находился в это время в Севастополе, при князе М. Д. Горчакове, пища «по горячим следам» историю Севастопольской обороны — кстати сказать, до сих пор вполне не опубликованную.

Журналу сначала предполагалось дать название «Солдатский вестник», а затем — «Военный листок». Редакторами предполагаемого журнала были выбраны Толстой и всё тот же бывший редактор га-



зеты «Кавказ» О. И. Константинов. Журнал предполагалось выпускать с 1 января 1855 года еженедельно, размером в один печатный лист, и сделать его общедоступным по цене (3 рубля в год).

По Проекту журнала, издание должно было финансироваться средствами подписчиков и всех учредителей. Но позднее ответственность за финансирование была возложена на Л. Н. Толстого и А. Д. Столыпина. Видимо, остальные участники издательского сообщества, не располагая деньгами, пришли к договоренности, что в случае «недостаточности» авансируемых сумм выходить из положения будут «общими» усилиями. Такой, на наш взгляд, смысл извлекается из записи Толстого в «Заметке по поводу Военного журнала»: «Денежные средства находятся у Фриде. В случае же недостаточности – общими силами» (4, 284).

Толстой изыскал средства, предприняв весьма решительный и знаменитый шаг. Ещё летом 1853 года, пребывая на вакации в Пятигорске, на лечении, он поручил зятю своему, *Валериану Петровичу Толстому* (1813 – 1865), продать по доверенности старый усадебный дом в Ясной Поляне. Конечно же, решиться на эту продажу Толстому было нелегко, так как дом был дорог ему по связи с воспоминаниями детства, юности и первой молодости. Но дом ветшал в отсутствие хозяина, остававшегося в те годы ещё холостяком, и, по меткому выражению брата Сергея в письме ко Льву от 18 июля 1852 г., при промедлении с продажей через год-два мог бы согдиться только «как сувенир» (59, 198). Дом был продан осенью 1854 года соседнему помещику П. М. Горохову, который перевёз его в своё имение Долгое, в том же Крапивенском уезде, в восемнадцати верстах от Ясной Поляны. Деньги, вырученные от продажи дома, для сохранности были положены в Приказ общественного призрения на случай экстренных хозяйственных расходов.

Письмо, в котором Толстой просил своего зятя выслать ему деньги, не сохранилось, но сохранилось письмо В. П. Толстого к Т. А. Ёргольской с сообщением об этом письме к нему Льва Николаевича. Лев Николаевич писал В. П. Толстому, что затеял одно важное предприятие, о котором сообщит подробно, когда будет в нём уверен, и просил немедленно выслать ему 1500 рублей серебром, «не огорчая» его «никакими возражениями». Валериан Петрович, скрипя сердцем, исполнил просьбу своего шурина. «Дай бог, — писал он Т. А. Ёргольской, — чтобы это предприятие Лёвы оказалось более удачным, чем

другие, но я сильно побаиваюсь, чтобы деньги эти, последние ресурсы Ясного, не исчезли, не принеся ему ни малейшей пользы» (Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы... 1828 – 1855. М., 1954. С. 501).



Эскиз обложки № 1 журнала «Военный листок»

Разрешение на издание журнала зависело от резолюции царя по докладу военного министра. Коллективно был составлен подробный проспект предполагаемого журнала, черновик которого, переписанный писарем и отредактированный Толстым, сохранился в архиве Толстого и был опубликован только в Полном (юбилейном) Собрании сочинений, т. 4.

По намеченной в этом проспекте программе, задачи журнала определялись следующим образом: «1) распространение между воинами правил военных добродетелей: преданности престолу и отечеству и святого исполнения воинских обязанностей; 2) распространение между офицерами и нижними чинами сведений о современных военных событиях, неведение которых порождает между войсками ложные и даже вредные слухи, о подвигах храбрости и доблестных поступках отрядов и лиц на всех театрах настоящей войны; 3) распространение между военными всех чинов и родов службы познаний о специальных предметах военного искусства; 4) распространение критических сведений о достоинстве военных сочинений, новых изобретений и проектов; 5) доставление занимательного, доступного и полезного чтения всем чинам армии; 6) улучшение поэ-

зии солдата, составляющей его единственную литературу, помещением в журнале песен, писанных языком чистым и звучным, внушающих солдату правильные понятия о вещах и более других исполненных чувствами любви к монарху и отечеству» (4, 281 – 283).

Инициаторы благого дела солдатского просвещения оптимистично намеревались привлечь к участию в журнале некоторых высоких особ, по списку:

«Генерал-адъютанта Коцебу  
Генерал-адъютанта Безака  
Генерал-лейтенанта Соймонова  
Генерал-лейтенанта Липранди  
Генерал-лейтенанта Бриммера  
Генерал-лейтенанта Ковалевского  
Генерал-майора Бутурлина  
Генерал-майора Затлера  
Генерал-майора Баумгартена  
Полковников: Милютина  
— Веймарна  
— Лебедева  
— Шуббе  
— Кулебякина  
— Карлгофа  
— Левина

Преосвященного Инокентия  
и Выс[око]пр[еосвященного] Филарета» (Там же. С. 283).

Предполагалось рассылать издание бесплатно по войсковым частям из контор в Санкт-Петербурге, Москве и ещё нескольких губернских городах (Там же).

Но к этому времени в Петербурге, по «Высочайшему соизволению», в качестве неофициального органа военного министерства уже издавался журнал «Чтение для солдат» (с 1847 г., выходил 6 раз в году; редактор – участник Кавказских походов 1830-х гг. Иван Гаврилович Чекмарёв (1815 – 1887), впоследствии генерал). В Санкт-Петербурге в типографии Артиллерийского Департамента шесть раз в году выходил «Артиллерийский Журнал». Широкой популярностью пользовалась газета «Русский инвалид», история которой убеждала, что даже частная инициатива может иметь успешное продолжение.

Созданная в 1813 г. чиновником-масоном и филантропом, балтийским немцем Павлом Павловичем Пезаровиусом (урожд. Paul Wilhelm von Pomian de Pesarovius; 1776 – 1847) по благотворительным побуждениям (помощь инвалидам 1812 года, вдовам, сиротам), газета приносила доход, а с 1816 г. выходила ежедневно; в годы Крымской войны фактически обрела «официальный» характер (с 1862 г. – официальная газета Военного Министерства; с 1869 г. – орган Генерального штаба). Ещё ближе был убедительный пример журнала «Морской сборник», инициаторами создания которого стала группа морских офицеров во главе с Фёдором Петровичем Литке (урожд. Friedrich Benjamin Graf von Lütke; 1797 – 1882), выдающимся исследователем Арктики.

Безсомненно зная обо всех таковых предтечах, издатели задуманного «Вестника» всё же, надо полагать, разумели какое-то решающее отличие их журнала от уже осуществляемых официозов. Так оно и было! В письме к брату Сергею Николаевичу от 20 ноября 1854 года, то есть уже из Крыма, Толстой более откровенно рассказал о намечавшихся задачах предполагаемого журнала. Он писал, что предполагаемый журнал ставит своей задачей «поддерживать хороший дух в войске». «В журнале, — писал Толстой, — будут помещаться описания сражений — не такие сухие и лживые, как в других журналах, подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из тёмненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д.» (59, 283).

Таким образом, судя по письму Толстого, задачи задуманного журнала сводились к следующему: способствовать усилению патриотических чувств в солдатах и офицерах; сообщать *правдивые* сведения о происходящих сражениях (Толстой к тому времени уже успел убедиться в том, что официальные сообщения о сражениях обычно бывают лживыми); повышать уровень военных знаний солдат и офицеров; рассказывать о подвигах храбрости и мужества преимущественно солдат («тёмненьких»); улучшать качество единственной художественной литературы, доступной в то время русскому солдату, — солдатских песен (здесь сказалось участие Толстого в составлении программы). Об усилении в солдатах «преданности престолу», «любви к монарху», не говорится здесь ни одного слова, из чего можно заключить, что пункт этот был внесён в официальную программу журнала только по необходимости. Нельзя не признать, что военный

журнал, ставивший себе такого рода задачи, был бы прогрессивным явлением в крепостнической России времени царствования Николая I. Но слишком широкий тематический охват замысленного издания, включающий дублирование официальных военных новостей в изданиях, подобных «Русскому инвалиду», могущих поэтому потерять подписантов и доходы — вряд ли мог понравиться царю и прочим протекторам тогдашних военных официозов!

В тот же письме к брату С. Н. Толстому от 20 ноября 1854 г. молодой Лев делится впечатлениями, подробно пересказывает разговоры встреченных в Севастополе солдат, священников, и кстати делится замыслами журнала: «В нашем артиллерийском штабе <в Кишинёве. — Р. А.> [...] родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешёвый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проэкт журнала и представили его Князю» (Там же. С. 282).

Будущие издатели во многом полагались на авторитет всё того же Главнокомандующего Южной армией, генерала от артиллерии, великолепного Михаила Дмитриевича Горчакова, участника Бородинского сражения и русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.



Горчаков Михаил Дмитриевич, князь.  
Под Севастополем во время Крымской войны, 1855.  
Ксилография.

Проспект журнала был представлен на одобрение «князя», и Горчаков отнёсся к нему сочувственно. 16 октября он отослал проект в Петербург на рассмотрение военного министра с последующим докладом царю.

Был составлен также пробный номер журнала, в который Толстой включил небольшое, специально подготовленное своё сочинение.

Точно о содержании этого сочинения ничего не известно. Биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев заключает, что на тот момент это мог быть только патриотический рассказ «Как умирают русские солдаты», сохранившиеся в автографе 1854 года и, в изменённом виде, неполной, более поздней «черновой» копии с утраченного автографа — 1858 года. Надо предполагать, что в 1858 г. Толстой вернулся к работе над рассказом, уже написанным им ранее, в 1854 г. Под 11 апреля 1858 г. в Дневнике отмечено: «Разбирал бумаги и книги» (48, 12). Весьма вероятно, что среди разбиравшихся старых бумаг и книг оказался и написанный в Севастополе рассказ, и Толстой вновь принялся за работу над ним. Показательно, что вариант 1858 года озаглавлен значительно нейтральнее — «Тревога». Автограф же с заглавием «Как умирают русские солдаты» имеет карандашные пометы: в левом верхнем углу — «№ 2», под заглавием — «№ 4». Предположительно, оставленные карандашом №№ обозначали последовательно изменившееся место рассказа в проектированном выпуске журнала. Завершается автограф вот такой приписанной сентенцией: «Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..» (5, 236). Высока вероятность, что этими выспренними словами, намеренно приписанными в завершение очень драматического и реалистичного рассказа, Толстой хотел расположить цензоров нового журнала к разрешению публикации.

Есть и другой, так же по воспоминаниям о Кавказской войне, рассказ «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», относившийся исследователями прежде к числу художественных замыслов Л. Н. Толстого для журнала. Но он, во-первых, не был окончен Толстым, а во-вторых, в известном нам черновом виде — исключительно нецензурен и мрачен. Кроме того, современная датировка его, по сравнению с временем издания Юбилейного собрания сочинений, убедительно скорректирована: по выводам Н. И. Бурнашёвой, оно появилось не ранее марта 1855 г., в атмосфере надежд на перемены в России и

необходимые реформы в армии после смерти Николая I. Поэтому рассказ не может быть отнесён к проектам Л. Н. Толстого для «Военного журнала» 1854 г. (*Бурнашёва Н. А. Раннее творчество Л. Н. Толстого: текст и время. М., 1999. С. 39 – 51*).

Ниже ещё пойдёт речь о «Дядиньке Жданове», здесь же лишь прибавим, что справедливость мнения исследователей, относящих данный рассказ к позднему времени, действительно ощутима уже по несовместимому с настроением рассказа приподнятому настроению Л. Н. Толстого в эти осенние дни, его патриотизму и вере в гражданское, а не рабское будущее для России. 2 ноября 1854 года, под впечатлением от известий о трагических для России Альминском и Инкерманском сражениях, молодой Лев записывает в Дневнике: «Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд... Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьётся в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбуждённый войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 27 – 28).

Здесь же Толстой записывает, что просить о переводе в Севастополь его «более всего» побудило известие о гибели в несчастливом для россиян Инкерманском сражении Соймонова, «одного из немногих честных и мыслящих генералов русской армии», и в особенности одного из членов «общества» и издателей предполагавшегося журнала, Комстадиуса: «Мне как будто стало совестно перед ним» (*Там же*).

В ходе Восточной войны назревал крутой перелом. Англия ставила себе целью вытеснить Россию с Кавказа, Крымского побережья, побережий Балтийского и Белого морей, с Камчатки и из близлежащих районов Средней Азии. Было решено начать решительные действия против России на Чёрном море. Были сформированы союзные корпуса, предназначенные к отправлению в Крым. 2 сентября состоялась высадка союзных войск на морском берегу между Евпаторией и рекой Альмой. 7 сентября союзная армия после четырёхдневной

стоянки на месте высадки двинулась по направлению к Севастополю. На другой день, 8 сентября, произошла первая встреча союзной армии с русскими войсками на реке Альме. Сражение было проиграно вследствие как численного превосходства союзной армии, так и превосходства её вооружения и полного отсутствия руководства со стороны русского командования. Потеряв больше 5600 человек, русские войска отступили по направлению к Севастополю.

Толстой сейчас же по прибытии в Кишинёв отправился в дальнюю (вёрст за 200, по его записи) служебную поездку в город Летичев Подольской губернии. Поездка, во время которой Толстой, как он записал, видел «много нового и интересного», продолжалась неделю. Возвратившись 16 сентября, Толстой в тот же день записывает в дневнике: «Высадка около Севастополя мучит меня». «Дела в Севастополе всё висят на волоске», — с беспокойством добавляет он в свой Дневник 21 октября. У него появляется желание самому принять участие в защите Севастополя. Его возмущало то, что в то время, как армия отступала и в Крыму происходили серьёзные сражения, в Кишинёве давались балы в честь приехавших великих князей Николая и Михаила. На одном из таких балов Толстой заявил о своём желании перевестись в Севастополь.

В письме к брату Сергею Николаевичу от 3 июля 1855 года Толстой сообщал, что просил об этом переводе «отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского», который ему не нравился, «а больше всего, — писал Толстой, — из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашёл на меня» (59, 321). И в командировке, и на кишинёвской квартире Толстого окружало множество людей, поэтому легко понять, что имело место психическое заражение Льва Николаевича эмоциями окружающих, ненавистью к противнику и обыкновенными военными страхами, а для рационализации бессознательного подчинения такому заражению — приятие Львом Николаевичем многих мыслей и выводов, кочевавших из головы в голову в той же толпе.

Так или иначе, а около 1 ноября Толстой выехал из Кишинёва в Крымскую армию — навстречу подвигу не только воинскому, личной храбрости, но и творческому, и, конечно значительной духовной эволюции отрицания войны.



Отослав пробный номер «Военного листка», Толстой продолжал гореть издательским энтузиазмом. Биограф писателя Н. Н. Гусев предполагает, что первоначальную редакцию очерка «Севастополь в декабре» он готовил так же для задуманного военного журнала.

Между тем ещё 21 ноября 1854 г. в главной квартире Южной армии в Кишинёве, из которой Лев Николаевич уже отбыл в Севастополь, был получен ответ военного министра князя Василия Андреевича Долгорукова командующему Крымской армией М. Д. Горчакову на его просьбу о разрешении издания военного журнала, начинавшийся с того, что военный министр «имел счастье всеподданнейше докладывать» царю о проекте издания этого журнала. Далее министр сообщал:

«Его величество, отдавая полную справедливость благонамеренной цели, с каковою предположено было издавать сказанный журнал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, предварительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимствуются в другие периодические издания. Вместе с сим его императорское величество разрешает г. г. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присылать статьи свои для помещения в «Русском инвалиде»» (Цит. по: 59, 289).

Итак, монополия официозного издания была взята под защиту! Здесь стоит подчеркнуть это, так как речь идёт именно о таких мотивах для запрета предполагаемого издания, а не других, и весьма вероятных в те годы — цензурных ограничениях.

Впрочем, такие соображения тоже не ускользали ни из внимания генерала М. Д. Горчакова, который, по предположению Сергея Сергеевича Дорошенко, ещё до представления проекта журнала «по начальству» в устной беседе «приказал изменить название журнала», ни от военного руководства, от внимания которого вряд ли ускользнуло то обстоятельство, что «в проекте журнала шла речь не только о просвещении военных, но и о критике существующих положений, проектов и оружия. Отсюда совсем недалеко до критики не порядков в армии со снабжением, отсталости военной техники, бездарного командования, а там и не порядков в России вообще!

[...] <В проекте> Толстой предполагает отстранение своего органа от конфликтов, в первую очередь политического порядка. [...] <Но> во-

преки заявлениям, содержащимся в проекте журнала, следует считать бесспорным, что в случае выхода в свет “Военного листка” его содержание сразу же вступило бы в противоречие как с официальной прессой, так и с намерением издателей избежать такого конфликта» (*Дорошенко С. Лев Толстой – воин и патриот. М., 1966. С. 134, 136 – 137*).

Толстой был очень и огорчён и возмущён решением царя. В письме к тётиньке Т. А. Ёргольской от 6 января 1855 года причину отказа он сформулировал следующим образом: «так как у нас всюду интрига, нашлись люди, которые опасались конкуренции этого журнала, да кроме того, может быть, и направление его было не во взглядах правительства» (*Там же. С. 294*).

Огорчило Толстого крушение того начинания, которое он считал полезным и в исполнение которого намеревался вложить весь свой талант и всю энергию. Альтернативой неудачному замыслу, которую молодой Лев высказывал тётиньке в этом же письме, было продолжение военной карьеры — поступление в Военную академию в Петербурге (*Там же*). Как видим, настроения Толстого в этот период лишь умеренно, и, в эти последние николаевские дни, *затаённо оппозиционны* по отношению к бедламу в стране и в войске: продолжению военной карьеры не препятствуют ни отвращение собственно к войне, ни религиозные убеждения. Но, подчеркнём: все эти впечатления постепенно формировали сознание будущего убеждённого противника войны, военщины и патриотизма как таковых!

Как писал Толстой Некрасову 11 января 1855 года, ему было «не столько жалко даром пропавших трудов и материалов, сколько мысли этого журнала, которая стоит того, чтобы быть осуществлённой, хотя <бы> отчасти» (*Там же. С. 296*).

Толстого возмутило разрешение царя предполагавшимся участникам задуманного журнала присылать свои статьи в официальную газету военного министерства «Русский инвалид», на что они имели право и без этого разрешения. «На проект мой государь император всемилостивейше изволил разрешить печатать статьи наши в “Инвалиде” – с возмущением сообщал Лев Николаевич Н. А. Некрасову 1 декабря 1854 г (*59, 287, 289 [Примечания]*). Л. А. Орехова и Д. К. Первых обращают внимание на описку Толстого, назвавшего в этом письме свой несостоявшийся «Военный листок» — «солдатским»: это, по мнению авторов, «свидетельствует о сохранявшейся ориентированности Толстого именно на “солдатское” издание» (*Орехова Л. А.,*

*Первых Д. К. От «Солдатского вестника» к «Военному листку»: эволюция идеи издания в условиях Крымской войны // Уч. зап. Крымского федерального ун-та им. В. И. Вернадского. Филологич. науки. Научный журнал. Том 7 (73). № 4. С. 202).* Здесь кстати будет напомнить читателю, что в Севастополе Толстой изучает язык солдат, записывает в книжечку «солдатские разговоры», заинтересовавшие его фразы и отдельные слова, отчасти использованные в рассказе «Севастополь в августе» (4, 297 – 298, 417 [Примечания.]).

В следующем письме к Некрасову, от 11 января года, Толстой, не указывая, что запрещение журнала исходило от царя, писал: «Из военного министерства... ответили нам, что мы можем печатать статьи свои в “Инвалиде”. Но по духу этого предполагавшегося журнала, — с горькой иронией заключает Толстой, — вы поймёте, что статьи, приготовленные для него, скорее могут найти место в “Земледельческой газете” или в какой-нибудь “Арабеске”, чем в “Инвалиде”» (Там же. С. 296). Толстой имеет здесь в виду не только совершенно безвредное для войска и государства содержание своих статей, но и принципиально их простонародный язык, не характерный и даже недопустимый для страниц официальных журналов. Между тем именно эта, живая народная речь, речь простых солдат и составляла, по мысли Толстого достоинство текстов, которые должны были войти в «Солдатский вестник».

Итак, Россия, как обычно, достигла своих целей, традиционно гнусных, запретительно-разрушительных: под благовидным предлогом журнал не был дозволен, деньги, на него Л. Н. Толстым собранные, позднее ушли на уплату личного его карточного долга, а солдаты не получили дружелюбного независимого издания. Зато некрасовский «Современник» не потерял постоянный источник талантливых публикаций о войне. В том же, 11 января, письме к Некрасову Толстой обращается к нему с предложением доставлять в редакцию «Современника» ежемесячно от двух до пяти и более печатных листов статей военного содержания «литературного достоинства никак не ниже статей, печатаемых в вашем журнале», с тем лишь условием, чтобы Некрасов непременно печатал всё, что будет получать от Толстого (Там же. С. 297). Что Толстой обращается с этим предложением именно к Некрасову, а не к какому-либо другому редактору, он объясняет в своём письме тем, что «Современник» — «лучший и пользующийся наибольшим доверием публики журнал» (Там же). Харак-

терно это суждение о «Современнике» Толстого сева­сто­польского пе­риода — в противопоставление официальной военной литературе России, «почему-то не пользующейся доверием публики и потому не могущей ни давать, ни выражать направления нашего военного общества» (*Там же. С. 296*).

Ответ Некрасова можно было предвидеть. Сейчас же по получении письма Толстого Некрасов 27 января ответил, что он «не только готов, но и рад» дать ему «полный простор в «Современнике». «Вкусу и таланту вашему верю больше, чем своему», — со свойственными ему скромностью и художественным чутьём писал Некрасов (*Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 10. С. 219*).

Вероятно, за перепиской Л. Н. Толстого, в связи с его инициативой, был, впервые в жизни писателя и публициста, установлен негласный надзор: это письмо Некрасова он почему-то получил с большим запозданием (*Гусев Н.Н. Материалы... 1828 – 1855. М., 1954. С. 517*).

Фактически те авторы помощники, на которых рассчитывал Толстой, обещая публикации Некрасову, не оправдали его надежд, и единственным корреспондентом, на благо не только журнала, но и всей русской литературы, оказался он сам.

### 1. 3. ПРОЕКТ О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ АРМИИ

**В** своих позднейших, 1890 – 1900-х годов, критиках военно-патриотического обмана, военного сословия и деятельности правительств Толстой «непростительно» опередил человечество на целые эпохи — быть может, не на одну сотню лет. Но и десятилетнее, казалось бы, всего-то десятилетнее опережение, по отношению к военной реформе 1860-х гг., оказалось близко, по ничтожности и негативизму единственно возможной на него реакции в военной среде — неприятию «большим обществом» публицистических выступлений Толстого-христианина позднее, на сретении XIX и XX веков.

18 февраля 1855 года умер Николай I. Разнообразные круги русского общества почувствовали облегчение при этом известии. «Николай умер, — писал в своих «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунов. — Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей». Точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, в ширь, захоте-

лось летать» (Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. А. *Воспоминания: В 2-х т. М., 1967. Том 1. Воспоминания Н. В. Шелгунова. С. 234*).

Даже умеренные либералы чувствовали весь гнёт николаевского режима и, как известный профессор и цензор А. В. Никитенко, испытывали удовлетворение от сознания того, что «длинная и, над таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца» (Никитенко А.В. *Записки и дневник: В 3 т. СПб., 1904. Т. 1. С. 449*).

Вполне понятно, что всей оппозиционной самодержавному строю эмиграцией смерть Николая I была воспринята как самое радостное событие. Александр Иванович Герцен рассказывает:

«Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, развёртываю “Таймс”, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавии телеграфической новости: “The death of the Emperor of Russia” («Смерть русского императора»). Не помня себя, бросился я с “Таймсом” в руке в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал... Мы ещё не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда, и кто-то неистово дёрнул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнэм, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского, — никто не думал о том, что всё это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжёлый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии...

Смерть Николая удесятерила надежды и силы» (Герцен А.И. *Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М. К. Лемке. Госиздат, Пг., 1919. Том 13. С. 615 – 616*).

С началом нового царствования многие ожидали важных реформ во внутреннем управлении. В таком же настроении находился и Толстой. Записав в дневнике 1 марта, что войска принимали присягу новому царю, Толстой прибавляет: «Великие перемены ожидают

Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (47, 37).

Всё более чем понятно: смерти государя Николая Павловича дожидались отнюдь не враги России, а сторонники необходимой её модернизации, в том числе и в армии. Так же и мы в эти осенние дни 2022 года ждём — даже не смерти В. В. Путина, этого слишком мало, а отставки от «кормушки» и власти, осуждения всей его воровской, палаческой и лживой банды.

И вот радостное известие благословляет защитников Крыма. Надо думать, что под влиянием этой радостной новости и связанных с нею надежд у Толстого является мысль написать проект, работой над которым он был занят 2 – 4 марта. В нём впервые получила освещение тема «солдатского рабства», которую продолжит после значительнейшего в жизни религиозного, духовного переворота и Толстой-христианин в своей антивоенной публицистике.

В Юбилейном издании, в томе 4-м, «Проект» опубликован под неудачным заглавием, данным ему редактором: *«Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера»*. Ещё Н. Н. Гусев справедливо полагал, что при публикации должно было быть принято название, данное этому сочинению самим Толстым в Дневнике, в записи от 4 марта 1855 г.: «проект о реформировании армии» (Гусев Н. Н. *Материалы... 1828 – 1855. С. 528; ср.: 47, 37*). Вызвано это недоразумение было тем, что в сохранившихся рукописях Проект не завершён, и представляет собой черновые варианты *записки*, которую предполагалось представить одному из великих князей, сыновей императора. Второй вариант Проекта лаконичней и сдержанней: «автоцензура заставляла искать более лояльные выражения, но общий обличительный пафос Проекта оставался прежним» (Бурнашёва Н. И. *Раннее творчество Л. Н. Толстого. Текст и время. М., 1999. С. 46*).

Вот отрывок из первоначальной наброска «Проекта»:

«Русское войско огромно и было славно, было непобедимо; поэтому то оно самонадеянно и неединодушно; и несмотря на громадность этого войска Россия в опасности.

Многие понимают это положение отечества, сочувствуют ему и готовы для него жертвовать имуществом, трудами и жизнью. Многие, увлечённые страстями и привычкой злоупотребления законов, препятствуют примером и даже властью — людям преданным отечеству

— оказывать ему ту пользу, которую бы они могли. Большинство равнодушно.

Слова: самопожертвование, бескорыстие, трудолюбие потеряли смысл и значение. Правила чести старинного воинства стали барьерами слишком высокими...» (4, 285).

В этих строках немало личного: и помыслов Толстого о «повреждении нравов» части служилого дворянства, выразивших себя в рассмотренных нами выше произведениях писателя, и, конечно же, расстройство чувств, вызванное запретом военного журнала, с которым у молодого Льва было связано столько хлопот и надежд. Поняв, вероятно, что вырвалось из него на страницы «Записки» нечто, пусть и *дельное, но не по делу* — он составляет ещё две редакции одной. Обе, однако, получились не просто эмоциональны, как первый набросок: фактически перед нами манифестация, сопоставимая со знаменитой статьёй-манифестом против смертных казней «Не могу молчать», которую уже старец Толстой напишет более чем через полвека! Судите сами. Вот как начинается первая из сохранившихся двух редакций:

«По долгу присяги, а ещё более по чувству человека, не могу молчать о зле, которое открыто совершается передо мной и очевидно влечёт за собой гибель миллионов людей — гибель силы, достоинства и чести отечества...» (Там же).

Начало второй редакции — своеобразный, и достаточно скрупулёзно расписанный синтез двух первых текстов:

«По долгу совести и чувству справедливости не могу молчать о зле, открыто совершающемся передо мною и влекущем за собою гибель миллионов людей, гибель силы и чести отечества. Считаю себя обязанными по чувству человека противодействовать злу этому по мере власти и способностей своих. Зная истинную любовь вашу *<великих князей. – Р. А.>* к отечеству, я решился обнажить зло это перед вами во всей гнусной правде его и в надежде на разумное содействие ваше указать на те средства, которые одни возможны, ежели не для уничтожения, то для ослабления его.

И скорбны и непостижимы явления нынешней войны! Россия, столь могущественная силой материальною, ещё сильнейшая своим духом, преданностью престолу, вере и отечеству Россия, столько лет крепчавшая и ставшая на столь грозную степень могущества, под мудрою и мирною державою Николая, не только не может силою ору-

жия утвердить свои справедливые требования перед другими державами, не может изгнать дерзкой толпы врагов, вступивших в её пределы. Но русское войско — скажу правду — при всех столкновениях с врагом покрывает срамом великое, славное имя своего отечества.

Причины непонятных явлений этих — пороки, нравственное растление духа нашего войска. Нравственное растление это есть зло не случайное или временное, уничтожающееся постепенным развитием; напротив, это зло, вкравшееся с развитием, неразлучное с ним и увеличивающееся по мере увеличения силы и числа войска.

Не принимая того, что желал бы видеть за то, что есть, но с чувством истинного патриотизма, желающего *быть* лучше но не желающего *казаться* хорошим, постараюсь беспристрастно написать настоящую жалкую моральную картину нашего войска...» (4, 290 – 291).

Заметил ли Толстой, составляя этот документ, в себе то желание сатиры и изобличения, которое сдержал, как мы помним, пища сочинения художественные — «Набег» и «Рубку леса»? Во всяком случае, кажется, здесь он уступил им, как мы покажем из последующего анализа.

Текст, конечно, провокационный — в отношении тех, кто, за счёт здоровья, благополучия, часто жизней людей, стремится в России и в наши дни создавать «хорошую мину при плохой игре». Например, патриотически настроенный публицист Олег Сапожков на сайте Regnum именуется проектом Толстого «образцом пораженческой литературы», не погнушавшись попутно и оболгать его автора, подчёркивая для неисклющённого читателя, что-де Толстой *не имел права* судить о состоянии войска, не мог знать его, так как в Крыму «несколько месяцев провёл за картами и литературными занятиями, не принимал участия ни в одном бою, ни дня не провёл на позициях». И далее, для читателя, который, по невежеству, уже «схавал» ложь предыдущую, а оттого продолжил чтение, бодрый вывод: «У нас нет сомнений, эти “факты”, если они не выдуманы самим Толстым, — повторение подслушанных сплетен и преувеличенных домыслов, так распространённых в тыловой среде и из которых в значительной мере состоит т. н. “страшная правда о войне” в представлении впечатлительных обитателей тыла»

(<https://regnum.ru/news/polit/2408869.html> ).



Лживо, гадко и даже недостойно критического разбора. У самого Толстого от кавказских лет и у членов кишинёвского Общества, передовых интеллектуалов своей эпохи, было *достаточно* знаний о язвах российской армии — в отношении именно *нравов*, взаимоотношений офицеров с солдатами и друг с другом, материального обеспечения, образования офицерского состава и обучения солдат. А Сапожков на откровенно рептильном, подпутинском сайте “старается”, не в последнюю очередь, потому, что язвы эти, к позорищу армии российской, снова налицо в наши дни!

Возвращаемся, впрочем, к тексту Первой редакции.

«Стоя по своему рождению и образованию выше среды, в которую поставила меня служебная деятельность, я имел случай изучить зло это до малейших грязных и ужасных подробностей. — Оно не скрывалось от меня, быв уверено найти во мне сочувствие, — и я способствовал ему своим бездействием и молчанием. Но ныне, когда зло это дошло до последних пределов, последствия его выразились страданиями десятков тысяч несчастных и оно грозит гибелью отечества, я решился, сколько могу, действовать против него пером, словом и силою» (*Там же. С. 286*).

Великолепная, искренняя, остро-нецензурная с первых слов, манифестация!

Автором «Проекта» делается вывод, что это коренное зло — «разврат, пороки и упадок духа» в войске, совершенно необходимые по тем нравам и иным условиям, в которых проходит служба офицеров и солдат:

«В России, столь могущественной своей материальной силой и силой своего духа, нет войска; есть толпы угнетённых рабов, повинующихся вора́м, угнетающим наёмникам и грабителям и в этой толпе нет ни преданности к царю, ни любви к отечеству — слова, которые так часто злоупотребляют, ни рыцарской чести и отваги, <a> есть, с одной стороны, дух терпения и подавленного ропота, с другой дух угнетения и лихоимства». (Во второй редакции добавлено: «дух... жестокости») (*Там же. С. 286; ср. 291*).

И далее молодой бунтарь “проходится” по носителям этого растления в войске, начиная с солдат — неожиданно, в их характеристике, сближаясь со свежей ещё в памяти своей же “классификацией” в рассказе «Рубка леса», о которой мы рассказали выше. Но здесь, в

обращении к молодым князьям, к будущему России, эта классификация принимает вдруг черты эмоционально окрашенных сатиры и памфлета:

«Солдат — бранное поносное слово — в устах нашего народа, солдат существо, движимое одними телесными страданиями, солдат существо грубое, грубеющее ещё более в сфере лишений, трудов и отсутствия оснований образования, знания образа правления, причин войны и всех чувств человека. Солдат имеет по закону только строго необходимое, а в действительности менее того, чтобы не умереть человеку сильного сложения — от голода и холода слабые умирают. Наказание солдата за малейший проступок есть мучительная смерть, высшая награда — отличие, дающее ему право, присущее человеку, — быть не битым по произволу каждого. Вот кто защитники нашего отечества.

У нас есть солдаты 3-х родов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть *угнетённые*, *угнетающие* и *отчаянные*.

*Угнетённые* — люди, сроднившиеся с мыслью, что они рождены для страдания, что одно качество возможное и полезное для него есть терпение, что в общественном быту нет существа ниже и несчастнее его. Угнетённый солдат морщится и ожидает удара, когда при нём кто-нибудь поднимает руку; он боится каждого своего слова и поступка: — каждый солдат — годом старше его, имеет право и истязает его, и он, угнетённый солдат, убеждён, что всё дурно, что только знают другие, хорошо же то, что можно делать скрытно и безнаказанно. Офицер велел дать 100 розог солдату за то, что он курил из длинной трубки, другой наказал его за то, что он хотел жениться; его бьют за то, что он смел заметить, как офицер крадёт у него, за то, что на нём вши — и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него есть лишние штаны; его бьют и гнетут всегда и за всё, потому что он — угнетённый и потому что власть имеют над ним бывшие угнетённые — самые жестокие угнетающие. Угнетённый не получает  $\frac{1}{3}$  того, что ему даёт правительство, знает это и молчит, включая всех начальников в одно безысключительное чувство подавленного презрения и нелюбви — “господ много, всем надо жить”, вот его мнение. Зародыш чувства мщения есть в душе каждого, но оно слишком глубоко подавлено угнетением и мыслью о невозможности осуществить его, чтобы обнаруживаться. Но, Боже! какие ужасы готовит оно отечеству, когда каким-нибудь случаем уничтожится эта невозможность. Теперь же чувство это являет себя в

те минуты, когда мысль о близкой смерти уравнивает состояния и уничтожает боязнь» (4, 286 – 287).

Обратим внимание на глубину психологических скетчей автора-художника! Отнюдь, отнюдь не идеализировал человечью природу этот мнимый поклонник Просвещения и Руссо... И на то ещё обратим внимание, что именно здесь *впервые* Толстой высказал своё предчувствие кровавой революции в России, вызванной унижением народа элитарными общественными стратами. В армии чувство возмущения вызывалось жестоким обхождением с солдатами николаевского офицерства. «Элита» российского общества уже в ту эпоху, одною распущенностью, в армейской среде, своих пороков приближала конец имперской России — и свой собственный.

А вот с каких наивных позиций “отрицает” сообщённое Толстым в критической части проекта названный нами выше публицист Сапожников:

«...Ни в одном из известных воспоминаний участников обороны Севастополя, оставленных фронтовыми офицерами, которые в отличие от Толстого провели осаду, постоянно находясь на бастионах, нет указаний на солдатскую трусость и тем более на убийства и предательства солдатами своих офицеров»

(<https://regnum.ru/news/polit/2408869.html> ).

Допустим даже, что это так. Но отчего фальсификатор указывает именно на мемуарные источники, а не, скажем, легко ему, как жителю Москвы, доступные архивные материалы военно-судных дел? Ответ прост: мемуаристика как исторический источник всегда характеризовалась наличием как авторских непреднамеренных неточностей и фактологических лакун, так равно умолчаний и подтасовок — которые в своих, далёких от исторической науки, целях, с удовольствием используют авторы, подобные О. Сапожникову.

А Лев Николаевич Толстой *знал правду*. И, в праведном гневе, но сперва не без надежд на гласность и реакцию в “верхах” предреформенной России, предал бумаге свои обвинения одной из самых неподатливых реформам махин в государстве Российском:

«В бою, когда сильнее всего должно бы было действовать влияние начальника, солдат столько же, иногда более, ненавидит его, чем врага; ибо видит возможность вредить ему. Посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими пулями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как

смотрят и как говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слове его видна мысль: “не боюсь тебя и ненавижу”. Угнетённый солдат не боится ни физических, ни моральных страданий и оскорблений: первые дошли до такой степени, что хуже ничего не может быть, — смерть же для него есть благо, — последние не существуют для него. Единственное наслаждение его есть забвение — вино, и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие угрозы, — *проздравляет*, т. е. пропивает жалованье. Солдат наш особенно храбр, когда ведут его, — сам идти он не может, потому что не мыслит и не чувствует, — храбр потому, что мысль — авось всё кончится, не оставляет его.

*Угнетающие солдаты* — люди перенёвшие испытания и не упавшие, но ожесточившиеся духом. Их чувство справедливости — заставлять страдать каждого столько же, сколько они страдали. Угнетающий солдат сжился с мыслью, что он солдат, и даже гордится сим званием. Он старается и надеется улучшить своё положение — угнетением и кражей. Он открыто презирает угнетённого солдата и решается выказывать иногда чувство ненависти и ропот начальнику. В нём есть чувство сознания своего достоинства, но нет чувства чести; он не убьёт в сражении своего начальника, но осрамит его. Он не украдёт тулупа у товарища, но украдёт порцию водки. Он так же, как угнетённый, невежествен, но твёрдо убеждён в своих понятиях. Его оскорбит не телесное наказание, а оскорбит сравнение с простым солдатом.

*Отчаянные солдаты* — люди, убеждённые несчастьем, что для них нет ничего незаконного, и ничего не может быть худшего. О будущей жизни они не могут думать, потому что не думают. Для отчаянного солдата нет ничего невозможного, ничего святого; он украдёт у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, перебежит к врагу, убьёт начальника и никогда не раскается.

Угнетённый страдает, терпит и ждёт конца. Угнетающий улучшает свой быт в солдатской сфере, в которой он освоился. Отчаянный презирает всё и наслаждается.

[...] Офицеры, за малыми исключениями, или, *наёмники*, служащие из одних денег, средств к существованию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге — поляки, иностранцы и многие русские, *грабители*, — служащие с одной целью украсть у правительства состояние и выдти в отставку, и *безнравственные невежды*, служащие

потому, что надобно что-нибудь [делать], мундир носить хорошо, а больше по направлению образования они ни на что не чувствуют себя способными.

Генералы — наёмники, честолюбцы и генералы, потому что надо быть когда-нибудь генералом.

Главкомандующие — придворные. Главкомандующие не потому, что они способны, а потому что они царю приятны» (*Там же*. С. 286 – 288).

Во Второй редакции критика командования даже несколько пространней:

«Русский офицер по большинству есть человек неспособный ни на какой род деятельности кроме военной службы. — Главные цели его на службе суть приобретение денег. Средства к достижению её — лихоимство и угнетение.

[...] У нас есть офицеры 3-х родов. *Офицеры по необходимости* из корпусов или из юнкеров, люди попавшие раз в сферу военной службы и не чувствующие себя способными к другому средству поддерживать существование. — Эти люди ко всему равнодушные, ограниченные самым тесным кругом деятельности, усвоившие себе, не обсудив, общий характер угнетения и праздности и лихоимства, и без мысли и желания об общей пользе, бессознательно коснеющие в грубости, невежестве и пороках. — *Офицеры беззаботные*, люди служащие только для мундира или мелочного тщеславия и презирающие сущность военной службы (службу во фронте), люди по большей части праздные, богатые, развратные и не имеющие в себе военного ничего кроме мундира, — и самый большой отдел *Офицеры аферисты*, служащие для одной цели — украсть каким бы то ни было путём состояние в военной службе. — Это люди без мысли о долге и чести, без малейшего желания блага общего, люди составляющие между собой огромную корпорацию грабителей, помогающих друг другу, одних начавших уже поприще воровства, других готовящихся к нему, третьих прошедших его — люди составившие себе в сфере грабежа известные правила и подразделения. — Люди, считающие честность глупостью, понятие долга сумашествием, заражающие молодое и свежее поколение этой правильной и откровенной системой корысти и лихоимства. Люди, возмущающие против себя и вселяющие ненависть в низшем слое войска. Люди, смотрящие на солдата как на предлог, который при угнетении даёт возможность наживать состояние.

Русский генерал по большинству существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и бессознании все необходимые степени унижения, праздности и лихоимства для достижения сего звания — люди без ума, образования и энергии. Есть, правда, кроме большинства *Генералов терпеливых* ещё новое поколение, *Генералов сщастливых* — людей или какой-нибудь случайностью, или образованием, или истинным дарованием, проложивших себе дорогу мимо убивающей среды настоящей военной службы и успешных вынести светлый ум, тёплые чувства любви к родине, энергию, образование и понятие чести; но число их слишком незначительно в сравнении с числом терпеливых генералов, отстраняющих их от высших должностей, появление слишком подлежит случайности, чтобы можно было надеяться на будущее влияние их» (*Там же. С. 292 – 293*).

Кажется, трудно отвратней картину нарисовать?.. Конечно же, Толстой помнил, что в русской армии того времени были не одни отрицательные типы. Он ведь и сам дал в «Набеге» образ капитана Хлопова, в «Рубке леса» — Веленчука и других солдат, которые не подходят под приводимые им в записке характеристики типов солдат и офицеров. Но здесь внимание Толстого сосредоточено на тёмных явлениях в русской армии того времени. Этим же можно объяснить повторение, с негативной коннотацией, “классификации типов русского солдата”, которую читатель может встретить в рассказе «Рубка леса».

Читая толстовский «Проект о переформировании армии», рождается подозрение, что Толстой сознательно мешкал, либо уже передумал подавать такой проект именно великим князьям — что, по последствиям для его карьеры, могло стать не менее губительным, нежели стояние на 4-м бастионе под ядрами и пулями противника — для его жизни. Слишком уж это похоже на черновой набросок для художественного сочинения — нежели на официальный документ! Но и такого художественного сочинения, исполненного сатиры, у Толстого не могло явиться: мы помним его признание о нелюбви к сатире в художественном тексте. Остаётся порадоваться, что «Набег» и «Рубка леса» были убережены чутким автором от того, чем сквозят нам эти черновые листки.

А удивительный документ на этом не оканчивается. Вот уже просто *нечто*, из Второй редакции:

«Ни в одном европейском государстве солдат и офицер не стоит на столь низкой степени матерьяльного благосостояния и морального развития — условий одинаково необходимых для возвышения духа войска. Ни в одном европейском государстве не существует унижающего человеческого достоинство и переходящего в бесчеловечное истязание телесного наказания. Ни в одном государстве, исключая наше отечество, нет возможности приобретения высших степеней военных одним терпением. Ни в одном европейском государстве военное искусство так не отстало, как в нашем. Ни в одном европейском государстве нет по самой организации армий тех злоупотреблений лихоимства, которые существуют в нашем не как исключение, а как правило» (*Там же. С. 294*).

Для сравнения, Первая редакция:

«...Ни в одном европейском войске нет солдату содержания скуднее русского, нет злоупотреблений лихоимства, лишаящих солдата  $1/2$  того, что ему положено; ни в одном войске нет телесного наказания, — а главное, тех злоупотреблений телесного наказания, превышающих не только в 10 крат меру наказания положенного правительством, но даже возможную; ни в одном государстве нет такого невежественного войска, как в русском» (*Там же. С. 238*).

В связи с этим сопоставлением Толстым нравственных язв российского войска с идеальным образом европейских вооружённых сил даже духовно близкий ему биограф Н. Н. Гусев не преминул подчеркнуть ошибочность данной картины: «Так, он утверждает, что ни в одном европейском государстве не существует “унижающего человеческого достоинство и переходящего в бесчеловечное истязание телесного наказания”. Между тем в английской армии и особенно во флоте существовали телесные наказания, и очень жестокие» (*Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 531*).

В дальнейшем тексте Первая редакция значительно полней: вероятно, дописав Вторую до этого места, Толстой начал утрачивать к ней интерес, отлично поняв, что представить такую инвективу, по первоначальному замыслу его, великим князьям так же положительно невозможно, как и явить оную в печати.

Остатний текст приводим по Первой редакции.

«Главные пороки нашего войска:

- 1) Скудность содержания.
- 2) Необразованность.
- 3) Преграды к повышению людям способным.

4) Дух угнетения.

5) Старшинство.

6) Лихоимство.

Разберу вред, который приносит каждый из этих недостатков, и средства против них.

Армейский солдат имеет от правительства только строго необходимое для того, чтобы не умереть от холода и голода. По неправильному же организации нашего войска, дающему возможность всем тем лицам (а их ужасно много), через руки которых проходит его содержание, отклонять оное в свою пользу, солдат получает на деле меньше необходимого и часто умирает от лишений. — Я буду говорить про военное время. Солдат получает у нас от правительства (*de jure*) пищу хорошую и достаточную, одежду плохую, жалованье ничтожное. На деле же он получает плохую пищу, — пища нечиста и неразнообразна (капуста), — одежду плохую и недостаточную, — сукно плохого достоинства, шубы нет, — и никакого жалованья, — жалованья мало на табак, кому есть потребность. Каким образом это происходит, было бы слишком длинно рассказывать. Причина же общая есть злоупотреблённое доверие правительства к начальникам частей в отношении продовольствия. Солдат, не получая необходимого, или чахнет и уничтожается от лишений, или считает себя принужденным и правым делать беззакония. Солдат крадёт, грабит, обманывает без малейшего укора совести; дух молодечества русского солдата состоит в пороке. Солдат презирает, не верит и не любит начальника вообще, видит в нём своего угнетателя, и трудно разубедить его. Солдат презирает и не любит своё звание. Солдат ниже духом, чем бы он мог быть. Человек, у которого ноги мокры и вши ходят по телу, не сделает блестящего подвига. Дайте лучшую пищу, лучшей доброты одежду, лучшую и более достаточную обувь, шубы, табак и жалованье в 5 раз больше, главное устраните частных начальников пользоваться доходами с продовольствия, — солдат будет счастливее, нравственнее и храбрее. Содержание же офицера нашего было бы недостаточно для офицеров таких, какие должны быть, но для таких, какие есть, оно слишком велико. Ежели вполнину убавить жалованье офицера и вполнину прибавить оным жалование солдата, войско наше было бы вдвое лучше.

*Необразованность.* Из солдат наших едва ли 1/100 знает грамоте, но, что важнее ещё, [едва ли] знает религию, правительство, организацию войска, в которых они родились и воспитаны. Солдат стоит



на такой низкой степени образования, что ничто кроме физической боли не ощутительно для него и, не зная ни событий истории, ни образа правления, ни причин войны, он дерётся только под влиянием духа толпы, но не патриотизма. Не понимая религии, он становится безнравственнее. — Офицеры наши большей частью из юнкеров не были никогда более образованы солдат, другая же, меньшая часть, из корпусов, не только не имея средств продолжать начатое образование, но, попадая в сферу грубую и порочную, теряют малое, что приобрели. Военное же образование, приобретающееся в Военной Академии, встречается слишком редко.

Заведите во всех полках школы, дайте солдатам журналы, хороших духовников, офицерам ротные и батарейные библиотеки, учредите экзамены на каждый чин. Учредите отделения военной академии при каждом корпусе, в котором бы на чины командиров частей должны бы были держать экзамены, и у вас будет войско, а не рабские угнетенные толпы.

*Старшинство.* Люди, имевшие одно достоинство терпеливо идти в службе или проискавши доверие начальства, заступают места людям даровитым и образованным. Пускай бы это было зло необходимое в низших чинах, но звание командиров пусть приобретается даровитостью и экзаменом.

*Дух угнетения* до того распространен в нашей войске, что жестокость есть качество, которым хва[с]тают самые молоденькие офицеры. Засекают солдат, бьют всякую минуту, и солдат не уважает себя, ненавидит начальников, а офицер не уважает солдата и наслаждается в присущем каждому человеку чувстве угнетения. Мне скажут: солдат был лучше, когда их больше били, да! Но мы двинулись вперед и воротиться не можем к старому и не можем оставаться в переходном состоянии, мы должны быстро шагнуть вперед, уничтожив телесное наказание.

*Лихоимство.* Солдат не получил  $1/10$  того, что ему следует, знает это и ненавидит офицера. Большинство офицеров имеет одну цель — украсть состояние на службе и, достигая его, бросает службу. Содержать армию подрядом — вот одно средство» (*Там же. С. 288 – 290*).

Ко второй редакции прибавлено заключение, долженствовавшее, надо полагать, завершать и документ:

«Я знаю всю трудность достижения этой многосторонней цели, знаю, что оно возможно вполне только с помощью времени и неусыпного совокупного труда людей единомыслящих. Я изложу

свои мысли на столько, сколько успел развить их, надеясь, что другие разовьют их больше в более правильном труде, дополнят то, что упустил, исправят то, в чём я ошибся» (*Там же. С. 294*).

На этом рукописи обрываются, проект не был дописан... Н. Н. Гусев заключает: «Вероятно, Толстой увидел, что не может быть никакой надежды не только на то, чтобы проект его был в какой бы то ни было части принят, но и на то, чтобы записка его была представлена по назначению. И он решил прекратить эту работу, начатую им с таким страстным увлечением, с таким глубоким чувством возмущения и желанием уничтожить царящее зло». В то же время биограф справедливо определяет значение «Проекта о реформировании армии» в эволюции не только антивоенных настроений Л. Н. Толстого, но и отрицания им насилия как такового:

«В нём Толстой впервые выступает сильным, страстным, гневным обличителем существующего общественно-политического строя, глубоко страдающим при виде царствующего зла и неправды. Эта заметка, начинающаяся словами о том, что автор «не может молчать» при виде творящегося и облечённого властью зла, таит в себе зародыш будущих смелых и гневных обличительных статей Толстого, в том числе и знаменитой статьи о смертных казнях — «Не могу молчать!», написанной в 1908 году.

[...] В смысле эволюции мирозерцания Толстого является новой проводимая им здесь идея о личной ответственности за общественное зло («я способствовал ему [злу] своим бездействием и молчанием») (*Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 531 - 532*).

Читатель нашей книги «Лев Толстой и Россия убивающая» безусловно, вспомнит, что эта же идея стала мощным стимулом и для автора «Не могу молчать».

В своей заключительной части, где предлагаются различные мероприятия по реорганизации армии, записка является так же *первым* опытом обращения Толстого к лицам, имеющим власть, с практическими предложениями. В последний период своей жизни Толстой написал несколько подобных обращений к царям и министрам — на грустном опыте познав неменяемость российской элиты при власти, что лишь утвердило его в антивоенных и религиозных, христианских «анархических» воззрениях.

Помимо названного манифеста против смертных казней «Не могу молчать» 1908 года, здесь припоминается кстати и статья Л. Н. Толстого о неурожае в России 1898 года «Голод или не голод». Выводы

Толстого в этой статье — о том, что крестьянство не столько голодает, сколь пало духом от унижающего к нему отношения властной и иных общественных элит. Автор статьи явно зрит в корень зла имперской России: указывая на поганую «традицию» неуважительного отношения власти к людям. По существу, пафос проекта так же выходит далеко за рамки простого патриотического «за державу обидно», выражая настроения Толстого *антиимперские*, то есть протестные в отношении целого ряда освящённых временем пороков общественного строя в России. Это не собственно протест против войны, но это большее: то выражение сущностного, значительнейшего в характере и умонастроениях уже молодого Льва, которое позднее станет вдохновителем выступлений Толстого-публициста против насилия и лжи, то есть военщины и церковников. Совершенно не случайно в дни составления проекта, а точнее 4 марта 1855 г., в Дневнике Л. Н. Толстого появляется первая манифестация этого грядущего отречения от обслуживающей империю лжи церковников:

«Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (47, 37 – 38).

При этом и с точки зрения безрелигиозной, современного исследователя К. В. Стволыгина, «общая правомерность оценок русской армии, даваемых Л. Н. Толстым в предлагаемом им проекте реформирования армии, подтверждается последующим ходом российской истории, в частности, характером военных реформ 60 – 70-х гг. XIX в.» (Стволыгин К. В. *Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской Империи*. Минск, 2010. С. 87).

По всем вышеуказанным причинам и мы уделили здесь малоизвестному тексту толстовского «Проекта о реформировании армии» столь значительное внимание.

Время написания «Проекта» исследователями первой половины-середины прошлого века неточно и ошибочно определялось лишь его текстом, в котором о вступлении неприятеля на русскую землю говорится, как о событии сравнительно недавнего времени, ещё не принявшем затяжного характера. Союзники, как известно, первую высадку произвели в Евпатории 31 авг./12 сентября 1854 г. небольшим отрядом, всего 3170 человек: через день это число поднялось до 45 000, к 8 сент. превысило 62 000; 8 сент. произошло неудачное для русских Альминское сражение и 9-го отступление армии к Бельбеку. 24 октября состоялось несчастное сражение под Инкерманом, про один из эпизодов которого Толстой писал в Дневнике как про «дело предательское, возмутительное» (47, 27). Толстой был весь захвачен войной: он тяжело, с страданием переживал неудачи, радовался успехам, глубоко вникая в причины того, что совершалось. В записи Дневника 2 ноября 1854 г. он возмущается действиями ген. Данненберга в Инкерманском сражении.

Вообще осень 1854 г. для Толстого — время наивысшего подъёма патриотизма, веры в «великую моральную силу русского народа». «Велика, — писал он, — моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьётся в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбуждённый войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 28). Подобную бячку и сейчас, устно, либо пиша в интернет, выдают люди с неустойчивой психикой, подверженные патриотической заразе.

Но психика Толстого восстанавливалась быстро, сознание очищалось — в особенности под влиянием новейших впечатлений. Влияние психического заражения патриотизмом ослабло, а повседневность войны осветила для него все неприглядные её стороны, и вот уже иные настроения заступили прежнее увлечение, и ему начало казаться странным то, что было естественно, а, главное, стало казаться невозможным чувство патриотизма, которое несомненно сначала было в нём. Уже 5 ноября, в дневнике появилась запись, в

которой впервые звучали горечь и обеспокоенность: «Видел французских и английских военных, но не успел разговориться с ними. Один вид и походка этих людей почему-то [убедили меня в том] внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска. Впрочем, для сравнения у меня были фурштаты, провожавшие их» (47, 29), — успокоил себя Толстой, не погружаясь пока в тревожные раздумья о русском войске.

11 ноября, вскоре после приезда в Севастополь, ознакомившись с его укреплениями, Лев Николаевич ещё радужно смотрел на положение русских и был уверен, что взять Севастополь нет никакой возможности; «в этом, — писал он, — убеждён, кажется, и неприятель — по моему мнению он прикрывает отступление». После недельного пребывания в Севастополе, с 7-го по 15-е ноября, как видно из письма к брату Сергею Николаевичу 20 ноября из местечка Эски-Орды, он ещё радовался тому, что увидел: «Дух в войсках, — писал он, — выше всякого описания; во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!», говорил: «нужно умирать, ребята, умрёте?», и войска кричали: «умрём, Ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастион для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнём читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые, раненые, не вышли из фронта. Чудное время!» (59, 281 – 282). Толстой благодарит Бога, что «видел этих людей и живёт в это славное время». «Только наше войско может стоять и побеждать, — (мы ещё победим, в этом я убеждён) при таких условиях» — уверен он. По существу, под действием патриотического опьянения рассудка Толстой радуется всему тому, что устрасило бы, отвратило любого нормального человека, и его самого, без влияния этой заразы и что ему самому будет глубоко отвратительно с 1880-х, после утверждения в вере Христа.

Примечательно, что о своём проекте военного журнала для поддержания «хорошего духа в войске» Толстой сообщает брату как раз в этом возбуждённом до нездоровости письме.

Но похмелье неотвратимо, и, по мнению С. С. Дорошенко, его прибили контрастные с героизмом и готовностью к самопожертвованию солдат впечатления от штабных служащих — слишком неприятно напомнивших ему оставленный было с облегчением штаб Дунайской армии, о котором очевидец и один из участников убиенного в зародыше «Военного листка», Пётр Кононович Меньков, вспоминал позднее следующее:

«Чтобы успешнее овладеть Калафатом и *прочно сохранить завоевание*, генерал-адъютант князь Горчаков в первых числах января <1854 г.> выехал туда из Букареста со всем своим штабом. [...] Тут был и хотинский провиантский чиновник, и дипломатическая канцелярия, и дежурство, и провиантское и наградное отделения, и генеральный штаб с топографами... И вся эта разнокалиберщина, увенчанная лаврами, спешила назад в Букарест!..

И вот, пройдут года, и бывалый в страхе краснобай-чиновник, увешанный крестами, будет рассказывать юному поколению о своей *лихой* молодости, исполненной отваги и опасностей!

Прибыл штаб в Букарест, и пошла жизнь прежним порядком — *не то по военному, не то по мирному* положению! Пресловутое гулянье на шоссе, невкусные обеды, опера, французский театр, перестрелка на Дунае, женщины и турки, сведения о неприятеле и городские сплетни — составляли вседневный интерес общества!

Били голодных писарей за пропущенную букву...

Заведённым порядком шли дела в дежурстве, устраивались госпитали — больные голодали и умирали, смотрители госпиталей толстели и богатели!

Процветало и интендантство — обзавелись экипажами и лошадьми, шубами и женщинами.

[..] Были какие-то сплетни, неясные слухи о том, что будто бы больные в госпиталях кормятся *очень дурно*, лечатся *ещё хуже*; говорили, что будто бы *корпия*, присылаемая из России для раненых, *продаётся* пудами, что будто бы чиновники интендантства *обворовывают казну*, но всё это, *полагать надо*, ложь, какая ни на есть, злословие!» (Меньков П.К. *Записки: В 3-х тт. Т. 1. СПб., 1898. С. 105 – 108*).

Надо отметить, что цитируемые нами отрывки из «Записок» П.К. Менькова, в томе, изданном уже в конце XIX столетия, красноречиво зияют множественными цензурными изъятиями. *Всю правду о войне знает только Бог*.

Картина штаба Крымского, по наблюдениям Сергея Сергеевича Дорошенко, открылась взору Толстого ничуть не лучшая:

«В самом Севастополе воюет русское войско, возглавляемое истинно русскими, лучшими умами, патриотами. [...] По-другому смотрят на войну на “Бельбеке”, то есть в кругах военного руководства. И Меншиков, и его ближайшие помощники [...] крайне удивлены, как это до сих пор наша армия сопротивляется врагу, каким путём удерживается город-герой и почему враг не овладел ещё всем Крымом. Здесь разговоры о скорейшем заключении мира, здесь грабежи, пьянство, разврат, алчность, погоня за чином или орденом» (Дорошенко С.С. *Лев Толстой – воин и патриот*. М., 1966. С. 153).

Из этого опыта, безусловно, проистекает то отвращение к “штабным”, которое позднее, в «Войне и мире», выразит автор и от своего имени, и от имени любимого персонажа — Николая Ростова.

Как следствие, уже через несколько дней после “хмельного” от патриотизма письма брату, 23 ноября 1854 года, глубже вдумавшись в положение вещей, в непарадную сторону дела, горькую правду действительности, Толстой, полный отчаяния, пишет в Дневнике, что «больше чем прежде убедился, что Россия должна пасть или совершенно преобразоваться. Всё, — читаем дальше, — идёт на выворот: неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлёт Николай Чудотворец, чтоб изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение — и войска и государства.

Я часа два провёл, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя, ибо чувствует себя действительной пружиной [в] войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства.

У нас — бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища, убивают внимание, последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге» (47, 31).

По мнению Н. Н. Гусева, Н. И. Бурнашёвой и ряда других исследователей, эта запись служит определением начального момента, к которому было бы можно приурочить «Проект» Толстого. Негодование, которым дышит запись Дневника, возмущение тем, что происходит в армии, яркая картина пороков, которыми армия страдает — всё это сближает её с Проектом. Весьма возможно, что 23 ноября во время писания Дневника мысль о необходимости борьбы со злом в армии у Толстого ещё не приняла той определённой формы, в которую она вылилась потом; может быть, он тогда ещё и не думал вообще бороться или бороться тем способом, который он выбрал, когда, пользуясь своим несколько привилегированным положением, хотел указать это зло лицам, стоящим на вершинах власти; но тем не менее связь между Дневником и Проектом несомненна. То, о чём неполно и неопределённо говорится в Дневнике, в Проекте получает развитие, находит свою форму, правда, в конце концов не удовлетворившую составителя.

Запись Дневника ясно говорит, что именно в это время у Толстого явилось сознание творящегося зла; это сознание дало толчок к составлению «Проекта о переформировании армии», но написан он был значительно позже: Н. Н. Гусев предполагает, что именно о Проекте говорится в записи, занесённой в Дневник 23 января 1855 года. В этой записи Толстой, как часто он делает в Дневнике, положил себе задание «написать докладную записку». К предположению, что именно о Проекте говорит здесь Толстой, приводит охватившее в это время Толстого увлечение военными вопросами, сильно разросшийся интерес к военному делу, свидания с лицами, близко стоящими к делу обороны. Что касается до момента окончания Проекта, то из слов, в которых о Николае I говорится, как о живом (ум. 18 февраля 1855 г.), неизбежно заключить, что он была составлена не позже конца февраля, когда пришла в Севастополь весть о его смерти. А адресован Проект мог быть или Николаю Николаевичу, или Михаилу Николаевичу, бывшим в Севастополе с октября по декабрь 1854 года и позднее, в январе – феврале 1855 г. Когда Толстой осознал моральную невозможность для себя написать «Проект» достаточно сдержанно и не правдиво, чтобы возможно было представить его великим князьям, а через них и новому царю, он забросил его писание.



Схожую участь постигла выше уже упоминавшееся нами художественное произведение, своеобразную иллюстрацию к тезисам «Проекта» — рассказ Л. Н. Толстого «Дяденька Жданов и кавалер Чернов». Работа Толстого над ним относится не ранее как ко времени прерывания работы над Проектом.

Сергей Сергеевич Дорошенко считает, что в «Дяденьке Жданове...» имеет место «явное отражение настроений взглядов Толстого времён составления проекта реформирования армии. Трудно представить, чтобы Толстой допускал возможность публикации *такого* рассказа в журнале для солдат: к этому времени он был уже достаточно знаком с царской цензурой» (*Дорошенко С. Лев Толстой — воин и патриот. М., 1966. С. 140*).

Для нас вопрос о точной датировке рассказа принципиально важен, так как его обличительное содержание великолепно коррелирует с содержанием «Проекта о реформировании армии», зато разительно противоречит патриотическим настроениям Л. Н. Толстого, выраженным им в записях Дневника сентября — ноября 1854 года, цитированного выше письма к брату, а особенно рассказа «Как умирают русские солдаты» и других материалов, готовившихся Толстым для несостоявшегося журнала, в том числе предложенных позднее, в виде, проектов в письмах к Н. А. Некрасову. Между тем, констатирует Н. И. Бурнашёва, случайность, поместившая неоконченный рассказ в одну архивную папку с материалами, подготовленными Толстым ранее для журнала, привела к ошибкам ряда исследователей, относивших написание Толстым рассказа к осени 1854 года. Это случайная чья-то ошибка, и настоящая датировка рассказа — март 1855 г., то есть, сразу за «Проектом о реформировании армии» (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч. С. 39 – 40, 51*).

\* \* \* \* \*

В те дни, когда писался проект о реформировании армии (конец февраля — начало марта 1855 г.), Толстой получил письмо из Никольского, датированное 18 февраля 1855 г., в котором Н. Н. Толстой, разделяя возмущение брата армейскими мерзостями, рассуждал, чего «стоят» русской деревне и самим помещикам «эти подвиги, которые так глупо и пошло описывают в газетах. С тех пор как я в отставке, — писал Николай Толстой, — я уже поставил 8 рекрутов. Сегодня назначил ещё 4-х, да через месяц надобно поставить 8-х в

милицию. Не знаю, что лучше: видеть, как умирает солдат в деле или как провожают *гожих*, как у нас их называют. Бедный наш добрый русский мужик!

И когда поймёшь, что никак не можешь облегчить его участи, то сделается как-то гадко и досадно за себя. Что такое помещики — *se sont les boucs d'expiations* <фр. козлы отпущения>, на которых падают слёзы и проклятия народа, а за что? За здорово живёшь!» (*Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 181*). Этим размышлением о рекрутах заканчивалось письмо, которое, конечно, не могло не запечатлеться в душе Толстого.

«Проект», как признавался сам Толстой, «подвигался туго», возможно, и потому, что в творческом сознании писателя уже зрела мысль о художественном воплощении «настоящей жалкой моральной картины» состояния российского войска. Побудительной причиной для такого замысла могло стать и письмо Н. Н. Толстого о рекрутах. После 4 марта в Дневнике и в записной книжке Л. Н. Толстого нет ни одного упоминания о «Проекте». Художественная форма оказалась не только привычнее, но и удобнее для Толстого: оставляла больше простора высказываться прямо и честно. Готовившийся рассказ стал, по существу, тоже «не могу молчать!», антивоенным манифестом Толстого, но — в художественной форме, и, если памятовать неизбежность для России и российской армии затронутых в нём проблем — содержит в себе, по сравнению с «Проектом», и значительное именно антивоенное содержание.

Как раз в этом тексте, как мы можем заключить, «прорвались» подлинные, значительно более оппозиционные, нежели у прочих товарищей по кружку, настроения Толстого. Не подлежит сомнению, — пишет Е. Н. Купреянова, — что эти строки представляют собой попытку образного воплощения сказанного об «угнетённом» солдате в «Проекте» (*Купреянова Е.Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 102*).

Начатый рассказ даёт яркую картину тяжёлого солдатского рабства при Николае I. Об этом рабстве достаточно говорят самые обороты речи, принятые в то время и в народе, и в военных кругах и употреблённые Толстым в его рассказе: рекрутов «пригнали»; унтер-офицер «гнал партию»; солдат «выгоняли на ученье», «выгоняли на работу».

Н. И. Бурнашёвой замечено, что автограф писан точно на такой же бумаге, что и вторая редакция «проекта» (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч.*

С. 48). И не случайно! В сохранившемся фрагменте начала «Дяденьки Жданова...» — два главных персонажа, два рекрута, *признанных* на линию в 1828 году. Один из них, Жданов, по классификации Толстого в «проекте», принадлежал к роду солдат «угнетённых». Весь облик Жданова, его поведение словно иллюстрировали характеристику, данную Толстым этому роду солдат в Проекте о перестройке армии. Вспомним, в первой редакции Проекта: «Единственное наслаждение его есть забвение — вино, — и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие угрозы, — *продравляет*, т.е. пропивает жалованье». «Он <Жданов> не мог поить товарищей, — вторило Проекту новое сочинение, — но так же, как и они, старался отуманиться вином и весельем. Веселье его, однако, было как-то неловко, дико и жалко. Раз его напоили, и он тоже пошёл плясать на цыпочках по-солдатски, но вдруг расплакался, бросился на шею к Чернову и начал приговаривать такую дичь, что всем смешно стало. На другой день он поставил косуху и опять плакал» (3, 272).

В «проекте» Толстой писал о том, *как* бьют «угнетённого» и *за что* бьют. Побои — главный и самый распространённый метод обучения новобранцев. «Жданову битья много было», — рассказывает автор, и Жданову «одно оставалось — терпеть». Автор поясняет, что Жданова били не потому, что он был виноват, и не для того, чтобы он исправился: «его били не затем, чтобы он делал лучше, а затем, что он солдат, а солдата нужно бить». И кончилось тем, что Жданов так привык к тому, что его все бьют, что когда, бывало, к нему подходил старший солдат и поднимал руку, чтобы почесать в затылке, Жданов уже «ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился» (Там же. С. 272 – 273).

Толстой отнюдь не преувеличивал разгул насилия в армии. В Дневнике его под 4 – 5 октября 1854 года находим такое свидетельство: «От Херсона до Олешко везли меня на лодке. Лоцман рассказывал про перевоз солдат: как солдат в проливной дождь лёг на мокрое дно лодки и заснул. Как офицер прибил солдата за то, что он почесался, и как солдат на перевозе застрелился от страха, что просрочил <из отпуска> два дня, и как его бросили без похорон» (47, 29).

До боли похожее блядство совершается непрерывно и в современной российской армии, а бросание погибших, убитых без похорон

стало одной из гнуснейших подробностей преступной и позорной агрессии 2022 – 2023 гг. путинской России в Украине.

Кавалер Чернов — как раз “плоть от плоти” поганого, палаческого «русского мира»: точнее, ранний его, в XIX столетии, предтеча. В условиях военной службы разнообразные пороки человека выходят из-под контроля «гражданских» табу и, не будучи в безверном сознании сдерживаемы «автономным», религиозным, нравственным законом, набирают злую силу и мощь.

Первоначальный замысел рассказа предполагал рассказать незатейливую и тяжёлую жизнь Жданова «в солдатстве»; Жданов должен был стать основным героем этой истории, о чём говорило первое заглавие начатого сочинения: «Дяденька Жданов». Но в процессе писания Толстой изменил главное направление рассказа: понадобилась сюжетная линия и для второго персонажа, своеобразного антипода Жданова, — Чернова. Не случайно и сопоставление: Жданов — «дяденька», Чернов — «кавалер».

Имя Чернова также упоминалось в «Рубке леса», причём дважды: в связи с кражей сукна на шинель фельдфебелю, и это — денщик-пьяница; в рассказе Толстой причислял Чернова к «отчаянным развратным» солдатам. Возможно, сюжет нового сочинения о Жданове и Чернове должен был опираться на какой-то неприглядный поступок «кавалера». Тем более, что сама фигура Чернова не была вызвана писательским воображением, а взята из живой солдатской жизни: в батарее служил некий Черных, о котором есть запись в Дневнике Толстого. Это замечание к «Запискам фейерверкера» (будущей «Рубке леса»): «Только бы фoleyтору возжи держать», — сказал Черных перед кабаком, продавая краденую шубу» (46, 222). Факт этот, видимо, прочно врезался в память Толстому, да и сам тип «отчаянного» солдата, увиденный ещё на Кавказе, теперь, в Севастополе, стал предметом для размышления писателя в проекте о реформировании армии. Даже здесь прозвучал отголоском случай с «краденной шубой»: говоря об «угнетающих солдатах», Толстой уверен, что этот солдат «не украдёт тулупа у товарища, но украдёт порцию водки». Для «отчаянного» же солдата «нет ничего невозможного, ничего святого; он украдёт у товарища, ограбит церковь, убежит с поля <боя?>, перебежит к врагу, убьёт начальника и никогда не раскается». Какой из этих сюжетов мог выбрать Толстой для начатого рассказа о «кавалере Чернове»?

«Отчаянного солдата» во второй редакции «проекта» Толстой характеризовал как существо «неверующее, порочное и развратное». «Отчаянный презирает всё и наслаждается в пороке». Упомянув тип «отчаянного развратного» солдата в «Рубке леса», писатель не показал, однако, ни одного такого солдата, хотя обозначил это «подразделение» типа «отчаянных», считая его «ужасно дурным». И далее, говоря об этом «подразделении», Толстой замечал, что, «отчаянные развратные, к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским» (3, 44).

Возможно, именно в таком, нравственно учительном, направлении должен был развиваться сюжет начатого произведения о Жданове и Чернове.

Нравственный антипод воришки Чернова, как будто сбежавшего в середину XIX века из путинской России, дяденька Жданов, тоже имел свой благородный прототип среди знакомцев Толстого. Солдат Жданов служил с ним в одной батарее, и в Дневнике под 6 января 1854 года, в один день с записью о воре Черных, явилась очень тёплая запись о Жданове, о том, что он «даёт бедным рекрутам деньги и рубашки», о помощи Жданова фейерверкеру Рубину, когда тот был рекрутом; обращение «солдатики» к Жданову — «дядинька» — особенно понравилось: Толстой его даже подчеркнул в своём Дневнике (46, 222), а потом взял в заглавие начатой истории.

Замысел рассказа о судьбе солдатской мог быть особенно близок Толстому и потому, что уже полтора года с переменным увлечением и успехом шла работа над «Рубкой леса», где «солдатики» были главными персонажами и где автор хотел показать различные типы русских солдат, живших на Кавказе. «Характеры» и «лица» солдатские, материал, накопленный для «Рубки леса», как нельзя лучше подходили и для нового дела. Совершенно очевидно, что Жданов в «Рубке леса» и в «Дяденьке Жданове...» — это одно и то же лицо. Время, о котором шла речь и в том и в другом произведении, тоже одно.

Но один из двух творческих проектов был приостановлен. Толстой, очевидно, увидел совершенно ясно, что рассказ, рисующий такую правдивую и безрадостную картину солдатской жизни того времени, ни в каком случае не будет пропущен цензурой, и бросил писание «Дяденьки Жданова». «Очевидно, — заключает Е. Н. Купрянова, — что по своему откровенно обличительному характеру этот

отрывок не мог войти и в “Рубку леса”, почему и был отброшен» (*Купреянова Е.Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 102*). Немаловажную роль в судьбе «Дяденьки Жданова» сослужило и начало работы Л. Н. Толстого в марте 1855 года над первой из «Севастопольских повестей», потребовавшей актуализации в сознании молодого писателя серьёзно пошатнувшихся за военную зиму патриотических настроений.

\* \* \* \* \*

Наконец, логическим прибавлением к нецензурнейшим «Проекту о реформировании армии» и родственному ему по идеям рассмотренному выше рассказу служит написанный в феврале 1855 года «Проект о реформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрелками». В данном случае нам важно остановить внимание читателя не столько на самом Проекте, сколько на его *судьбе*.

В двадцатых числах января в Дневнике Л. Н. Толстого появляются записи о поездке в Севастополь за деньгами и о проигрыше их (части суммы, вырученной от продажи усадебного дома в Ясной Поляне) в карточной игре. Не от хорошей жизни воротился Толстой к этому занятию бездарей: после перевода из Эски-Орды, из 11-й артиллерийской батареи, в 14-ю, он попал в бытовые условия непривычно тяжёлые, не только физически, но и морально: оказался среди пустых и неприятных для него людей. От увлечения игрой, от самого унижения своего до уровня новых сослуживцев Толстому сделалось так гадко, что он «желал бы забыть про своё существование» (47, 35). Но и в этом состоянии он не забывает о взятом на себя поприще служения всему военному обществу и России. 23 января и 2 февраля 1855 г. он упоминает здесь же, в Дневнике, о своём «проекте о штуцерных батальонах», который в поездку свою в Севастополь он успел показать начальнику севастопольского гарнизона Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену (1793 – 1881), и преуспешнейше: «Он совершенно со мной согласен» (*Там же*). Это значит, что уже к 15 января проект был написан. Любопытно здесь признание его автора самому себе: «Теперь, когда я подаю проэкт, я ожидаю за него награды. В наказание и в вознаграждение за свой проигрыш, обрекаю себя ра-

боте за деньги» (*Там же*). Ужасное наказание! Но стечение обстоятельств помиловало в этом автора проекта: дальнейшая судьба нового проекта оказалась плачевна. Уже 5 февраля Толстой записывает: «3, 4, 5 февраля. Был в Севастополе. Показывал Кашинскому проект. Он как будто недоволен» (47, 36). Имеется в виду Лаврентий Семёнович Кишинский, генерал-майор, командир 6-й артиллерийской дивизии, дважды контуженный в голову в сражениях на Альме и при Инкермане.

В этот приезд в Севастополь Толстой, по-видимому, и представил свой проект начальнику штаба Крымской армии, генералу от инфантерии Константину Романовичу Семякину. Семякин направил проект для отзыва генерал-адъютанту Алексею Илларионовичу Философову и затем — порочным кругом — исполнявшему должность начальника артиллерии Крымской армии генерал-майору Лаврентию Семёновичу Кишинскому, дважды контуженному в голову. И тот и другой дали отрицательную оценку проекту Толстого, и проект дальнейшего движения не получил.

Следует особо отметить отзыв о проекте Толстого А. И. Философова, известного истории главным образом как воспитатель младших сыновей Николая I. Придворный ментор в своём отзыве выразил точку зрения наиболее консервативных военных кругов. 20 февраля 1855 г. он писал: «Об государственной экономии и об вопросах высшей военной организации, к которым принадлежит проект, возбуждённый графом Толстым, рассуждают обыкновенно высшие сановники, и то не иначе, как с особого указания высочайшей власти. В наше время молодых офицеров за подобные умничания сажали на гауптвахту, приговаривая: “Не ваше дело делить Европу, гг. прапорщики; вы обязаны ум, способности и познания свои устремлять на усовершенствование порученной в командовании вашей части и думать лишь о том, как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из неё больше пользы”» (*Цит. по: 90, 356 – 357*).

Проект о реформировании батарей был сдан в архив, где он и пылился ровно сто лет, и лишь военные специалисты середины XX столетия заслуженно высоко оценили предложения Толстого по реформированию русской артиллерии XIX в. (*См.: Поликарпов В.Д. Неизданная рукопись А.Н. Толстого // Исторический архив. 1956. № 1. С. 196 – 202*).

\* \* \* \* \*

Наконец, не обойдём вниманием значительный рукописный документ, относящийся предположительно к севастопольской общественной инициативе Л. Н. Толстого с товарищами — три листочка, озаглавленные редакторами Полного (юбилейного) собрания сочинений следующим образом: «О <русском> военно-уголовном законодательстве» (5, 237 – 240; ср. 334 [Примечания.]).

Точная датировка рукописей вызывает затруднения. В записи Дневника Толстого от 19 апреля 1856 года говорится: «Привёл в порядок бумаги и хочу приняться за серьёзную работу о военных наказаниях» (47, 67). В это время Толстой ещё состоял на военной службе, хотя уже не занимал строевой должности, будучи с осени 1855 года откомандирован в Петербург. Представляется, однако, не совсем ясным, почему он именно теперь заинтересовался вопросом о русском военно-уголовном законодательстве, когда у него остались с военной службой лишь формальные связи. Судя по приведённой выписке из Дневника, можно думать, что внешним поводом послужил для Толстого пересмотр его старых бумаг, среди которых, вероятно, сохранились какие-либо наброски, относящиеся к данному вопросу. Особенно примечательно, что на первом из листков (т. н. «Рукописи А») исследователями разобрано зачёркнутое первоначальное название: «Из записок артиллерийского офицера». В связи с этим велика вероятность, что эта рукопись относится ещё ко времени пребывания Толстого в Крымской армии и имела первоначальный смысл — статья полноценным исследованием по теме для публикации в предполагавшемся журнале! (5, 334 [Примечания.]). «Рукопись В», то есть третий и последний из уцелевших листков, представляет собой черновой набросок программы широко задуманной работы о русском военно-уголовном законодательстве, сравнительно с законодательством, действующим в других европейских странах. Заключительная часть статьи должна была дать общую оценку русских военно-уголовных законов, причём из самой постановки вопросов ясно выступает резко отрицательное отношение автора к существующей практике русских военных судов.

О том же свидетельствуют вступительный отрывок и план сочинения в первой рукописи:

«Я хочу рассмотреть существующее русское военно-уголовное законодательство.



Военное общество нельзя рассматривать как гражданское общество. Цель гражданского общества, т. е. союза, в себе самом — осуществление идеалов вечной правды, добра и общего счастья; цель военного общества — внешняя. Военное общество есть одно из орудий, которым осуществляется современная правда, цель его есть убийство.

Оно ненормально: то, что есть преступление в гражданском обществе, не таково в военном, и наоборот» (*Там же. С. 237*).

Эти рассуждения о «ненормальности» войска, об убийствах, похожи на достаточно радикальную антивоенную позицию Толстого, сродни позднейшей. Но не тут-то было:

«Я полагаю излишним говорить о законности существования военного общества, несмотря на несправедливость его. Ни одно общество не осуществляет вполне и прямо общих целей вечной справедливости, а путём современной несправедливости все идут к общей и вечной правде» (*Там же. С. 239*).

Это вполне традиционные суждения для выкормышей и воспитанников империй: абстрактная «вечная правда» в умозрительном грядущем требует военных убийств или палачества в настоящем!

Характеристично в этом же отношении и противопоставление Толстым юридически обоснованных прав гражданина в гражданском статусе и на военной службе. На последней он оправданно должен повиноваться особым законам и дисциплине:

«Цель законов гражданского общества — справедливость. Цель военного общества — сила. Силу военного общества составляет единство всех членов в одном целом. Единство всех в одном, дисциплина, отличается от единства всех членов гражданского общества в государстве тем, что в последнем случае, она разумна и не стесняет произвола, в последнем же механически и исключает произвол личный. Дух войска отличается от духа общества тем, что в последнем он только следствие законодательства, в первом же — цель, так как цель военного общества есть сила, а сознание силы есть первое условие силы. (Воен<ные> дела решаются не огнём и мечом, а духом). Во всех веках главным способом достижения дисциплины, механической покорности, была привычка и непоколебимость уголовного закона (не страх, ибо страх смерти больше, чем палки, но 1-е может быть, 2-е верно)» (*Там же. С. 237 – 238*).

Не менее характеристичен даваемый далее план сочинения, со множеством правок и пометок автора:

«Цель уголовных гражданских законов есть общая справедливость, цель военного общества — дисциплина. Кроме того дух войска.

<Далее, по пунктам, Толстой указывает на то, что нецелесообразно, то есть препятствует достижению этих целей. — Р. А.>

1) Перевод в армию. Влияние на дисциплину и дух. Пример аристократического развращения армии.

2) Разжалование — о солдате, составляющем преимущественно дух войска. Взгляд на него, и в продолжении срока. Развращение классами [?] жестоко[e]» (Там же. С. 238).

Высокохудожественный образчик, писанный с живых натур, этого «жестокое развращения» мы рассмотрели выше — говоря о задуманном ещё на Кавказе рассказе Л. Н. Толстого «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».

А дальше — тема телесных наказаний, доходивших в ту эпоху до убийства истязуемого — тема, критическое отношение к которой хорошо известно нашему читателю по книге «Лев Толстой и Россия убивающая». Разница с отношением к собственно войне — снова ощутимая: неприятие сечений, забивания до смерти розгами у Толстого — совершенно однозначное, и даже эмоциональное, страстное:

«3) Прогнание сквозь строй. а) Невозможность, признанная законом. Палачи все. Развращение. Нецелесообразность. Ужас только в зрителях. Кто решил, что мало простой смерти?

4) Наказание розгами. Произвол. Противоположное дисциплине. Недостижение цели. Палачи судьи. Судья и подсудимый, начальник части. Ни исправленья, ни угрозы. Чем заменить, скажут? Да докажете ещё необходимость варварского обычая. — Пример французское лучшее войско. Примеры есть в нашем» (Там же).

Упоминание, с негативной оценкой, о «наказании розгами», возможно, заставит нашего читателя вспомнить подробности о таком наказании из позднейшей, уже Толстого-христианина, статьи «Николай Палкин», равно как и его протест в статье «Стыдно» против применения наказания сечением в отношении крестьян — ибо оно, по унизости своей, несовместимо, как с таковым, с гражданским положением личности. Так постепенно умеренно-оппозиционное отрицание Толстым системного насилия в армии перешло на всё гражданское население России, получив и религиозное подкрепление.

Напряжённая работа над проектом о реформировании армии в первых числах марта 1855 года означала, что тяжёлая полоса, в которую Толстой вступил во второй половине января, уже кончилась. Наступила весна, а с нею вместе, как это всегда бывало у молодого Толстого, настало время нравственного обновления.

Толстого вновь начинают занимать вопросы о цели и смысле жизни. 4 марта, сейчас же вслед за записью о работе над проектом о реформировании армии, Толстой записывает в Дневнике тот замысел свой о «создании новой религии», о котором мы уже упомянули выше. Торжественный, приподнятый, декларационный тон этой записи свидетельствует о том, насколько важна была в глазах Толстого пришедшая ему новая мысль о той цели жизни, которой он может посвятить себя. Вместе с тем запись эта указывает на дальнейшую эволюцию религиозных воззрений Толстого. В то время как на Кавказе молодой Лев писал, что, хотя и «не понимает тайны Троицы и рождения сына Божия», тем не менее он «уважает и не отвергает веру отцов» (дневник, 14 ноября 1852 года), теперь он уже определённо заявляет, что нужна иная религия — религия, «очищенная от веры и таинственности», ставящая своей целью не достижение блаженства в будущей жизни, а устройство счастливой жизни людей здесь, на земле.

Три дня, с 9 по 11 марта, Толстой провёл в Севастополе. Здесь его приятель, офицер А. Д. Столыпин, уговорил его принять участие в вылазке в ночь с 10 на 11 марта. Вылазка эта, в которой участвовало 11 батальонов морской пехоты, была назначена генералом Хрулёвым для уничтожения укреплений неприятеля. Вылазка была очень кровопролитной; русские потеряли 387 человек убитыми и около 1000 человек ранеными.

Толстой участвовал в вылазке без разрешения начальства. И, по-видимому, всё-таки что-то тяжёлое для Толстого было в этой вылазке, так как в Дневнике сейчас же, вслед за этой записью, следует запись совершенно иного характера: «Военная карьера не моя, и чем раньше я из неё выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше».

Находясь в состоянии душевного и умственного подъёма, Толстой 12 марта принимается за продолжение задуманной тетралогии — начинает повесть «Юность».

## 1. 4. «РУБКА ЛЕСА»

Другим осуществлённым в эти грозные дни замыслом писателя был рассказ «Рубка леса», выше уже упоминавшийся. В Дневнике он упоминался под разными названиями: «Дневник кавказского офицера», «Записки кавказского офицера», 28 июня появилось новое «рабочее» название, ставшее потом окончательным: «Рубка леса». Позднее — «Записки фейерверкера», «Записки юнкера», «Рассказ юнкера». Рассказ был задуман Толстым ещё в июне 1853 г., а четвёртая, окончательная редакция его была окончена в Севастополе в июне 1855 г. Работа над сочинением, в котором автор намеревался рассказать о жизни и службе кавказских солдат и офицеров, шла неровно, увлечённость сменялась охлаждением. Параллельно Толстой работал над «Романом русского помещика» и «Отрочеством», написал «Записки маркёра» и продолжал обдумывать «Беглеца» (будущие «Казак»), создал два севастопольских рассказа и задумал «Метель». «Отрочество» и «Записки фейерверкера» продолжались Толстым и по отъезде с Кавказа; что же касается «Романа русского помещика», то Толстой не вернулся больше к продолжению этого произведения.



Рассказ в немалой степени автобиографичен: связан с реальным «делом», в котором участвовал и даже подверг себя опасности Толстой. Через много лет, в день своих именин, 18 февраля 1900 г., в присутствии записавшего меморат Александра Борисовича Гольденвейзера, Толстой с удовольствием вспоминал это время:

«В этот самый день на Кавказе я наводил пушку, а в это время неприятельская граната ударила в обод колеса этой пушки, вогнула колесо, а мы все остались целы. Это было дело, которое у меня описано в рассказе “Рубка леса”. Потом уже вечером, страшно усталые, мы ехали, и опять раздались выстрелы, и как трудно было снова поднять свои уже опустившиеся нервы, чтобы быть бодрым в виду опасности. А потом на ночлеге у казаков был такой вкусный козёнок, какого мы никогда не ели. И спать легли в одной хате восемь человек рядом на полу. А воздух был всё-таки отличный, как козёнок...» (*Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. Л., 1959. С. 61 [Запись от 21 февраля 1900 г.]*).

Рассказ впервые, разумеется, с цензурными изъятиями, опубликован был в журнале «Современник» (1855, № 9) с подписью «Л. Н. Т.». Толстой посвятил свой рассказ Ивану Сергеевичу Тургеневу, поскольку нашёл «много невольного подражания его рассказам», как он сам писал соратнику Некрасову Ивану Ивановичу Панаеву (1812 – 1862). Редакция и читатели восторженно встретили «Рубку леса», а Тургенев, тогда ещё лично не знакомый с Толстым, в письме поблагодарил молодого писателя: «...ничего ещё во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию».

Однако сходство «Рубки леса» с рассказами Тургенева было во многом внешним, на что сразу же обратил внимание умница Некрасов, писавший Толстому 2 сентября 1855 г.: «...формой она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; всё остальное принадлежит Вам и никем, кроме Вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких замечок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доньше ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы всё, что знаете об этом предмете, всё это будет в высшей степени интересно и полезно» (*Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 2. С. 217 – 218*).

Позднее Некрасов отметил ещё одну важную черту рассказа: достоверность. И дело не в том, что почти у каждого героя есть свой прототип, в том числе и у солдат (Максимов — фейерверкер Рубин, Веленчук — Спевак, под своей фамилией выведен Жданов). Толстому важно было показать истинную жизнь солдата, солдатский мир. Так, 6 января 1854 г. он записал в Дневнике, что «солдат Жданов даёт бедным рекрутам деньги и рубашки. Теперешний фейерверкер Рубин, бывши рекрутом и получив от него помощь и наставления, сказал ему: „Когда же я вам отдам, дядинька?“ — “Что ж, коли не умру, отдашь, а умру, всё равно останется», — отвечал он ему”» (46, 222). Такие разговоры, эпизоды солдатской жизни, солдатские характеры, в которых проявляются высокие нравственные качества человека, даже речь солдатская («та дерево», «чудо такая») привлекали внимание Толстого, становились материалом для его рассказа.

Уважительная достоверность к изображению солдатского походного бытия стала для Толстого, ещё неведомо ему самому, шагом в развитии его критического отношения к войне и военщине: невозможно стремиться к художественной правде, не пройдя при этом путь к очевидности: к отвержению мирских лжей о войне и к проклятию войне как таковой.

Интерес писателя вызывали разные типы его героев, которые в полной мере раскрывались в обычных военных ситуациях. Как мы уже упоминали выше, во второй главе рассказа Толстой даже составил классификацию солдатских типов: покорные, начальствующие и отчаянные (внутри каждого типа есть подразделения). Иллюстрируя эту свою классификацию, Толстой прибегает к намеренному контрасту «простых», но нравственно достойнейших людей — людям высокопоставленным, офицерствующим и начальствующим, но которых, в той или иной степени, коснулась нравственная порча (в то время ещё не связываемая молодым, напросившимся на военную службу, юнкером Толстым с самой военной службой, её сущностью).

Нравственно прекрасный человек — Веленчук, один из основных персонажей, «принадлежал к разряду покорных хлопотливых», для которых характерна «ограниченность умственных способностей, соединённая с бесцельным трудолюбием и усердием» (3, 43). Честный до мелочности, он носит в себе именно то христианское отношение к человеческому труду и его результатам, при котором, будь оно в христианском мире всеобщим, не могло бы быть ни денег, ни грабежей, ни войн — первобытный смысл которых именно в стяжании

посредством насилия, умычке, грабеже. У самого Веленчука так и не найденный впоследствии негодяй украд сукно, данное ему, как искусному портному, на пошив начальником, фельдфебелем:

«Начальствующий, политичный <фельдфебель> Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с капитанармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. [...] Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. [...] К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их» (*Там же. С. 45*). Смертельно раненный, он думает не о смерти, а переживает, что не успел сшить шинель поручику, должен вернуть деньги, и просит юнкера передать их (*Там же. С. 60*).

Безусловно, такого праведного человека и все дела его легче представить вне военных условий, в мирной повседневности того любовного добра, которым дышит сердце и живёт разум Веленчука, наивно преданные мирским начальникам, но стихийно, не сознательно — Божьей правде-Истине и Христу.

Иное совершенно — ефрейтор Антонов, тип из «начальствующих суровых», встречающихся обычно в высшей солдатской сфере. Бомбардир Антонов никогда не теряет присутствия духа, спокойно, поделовому отдаёт приказания; он «ещё в тридцать седьмом году, втроём оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его» (*Там же. С. 46*). Но дурно пахнущий, даже издалека и даже чрез века, поганый «русский мир» уже наложил на ефрейтора свою порчу. Получить более высокое звание Антонову мешал «странный» характер: «в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком, не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. [...] Когда он. бывало, под хмельком возьмёт в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет „барыню“ или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдёт по улице, надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в

это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подражаться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем» (Там же. С. 46 – 47).

Кажется, этот «дух войска» намного реалистичнее, нежели выдуманный Толстым позднее, в романе «Война и мир».

Даже в пороках Антонова проявляются достоинства — но сколь специфические! Сволочная тётя «родина», вырастив, выучив и вымуштровав Антонова для военной службы — отобрала у него навсегда моральную «автономию», чувство личного самоуважения, достоинства *просто человека*, как дитя Бога, вне военных званий и заслуг. В нашем лжехристианском мире таких, обуродованных системой, людей немало: обычно они страшатся бессемейного, одинокого положения, а, возрастив детей, боятся возраста выхода в отставку или на пенсию, так как не сумели возвысить своё сознание до непонимания Христа и найти смыслы жизни, независимые от мирских временных, могущих быть отобранными в пользу других, обязанностей. Довольно часто такие люди подвергают себя алкогольной и табачной интоксикации — так как трезвый рассудок подсказывает им «тощесть», неверность и временность их почётного и, до времени, приятного мирского положения.

Не менее, хотя и на свой салтык, поражён мирским тщеславием «начальствующий политичный» — это фейерверкер (унтер-офицер в артиллерии) Максимов. Он немного учился, очень гордился этим, поэтому любил «говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его». Солдатам нравилось его слушать: они ни слова не понимали, но «подозревали» в его речах «глубокий смысл» (Там же. С. 45 – 46). Естественно, такой человек «считает себя несравненно выше простого солдата», но редко сам бывает хорошим солдатом. С сожалением отмечает автор, что люди такого типа начали распространяться в армии, в офицерской среде. Тему такой нравственной порчи в среде военнслужащих Толстой продолжит в рассказе «Два гусара», в романе «Война и мир» — и в ряде последующих публицистических выступлений в печати.

Наконец, в любом взводе есть *забавник* (подразделение «отчаянных»). Например, «милый человек Чикин, как его прозвали солдаты»,



который в любой момент может развлечь товарищей сказкой, изобразить татарина или немца, а главное, найти смешное и неожиданное в привычных вещах, да такое, что «все помирали со смеху». В походе Чикина очередной раз просили рассказать хорошо известную всем историю, и «весь взвод покатывался со смеху»: как не стоит деревня без праведника и не веселится без дурака, так и на войне без забавника не обойтись (*Там же. С. 47*). Тот же, по характеру, рассказчик, и тоже забавник, но значительно старше и серьезнее, уже *прислушивающийся к Небесам*, готовым скоро забрать его — Платон Каратаев в «Войне и мире». Всё образы людей сугубо мирных — либо перемогающих условия войны запасами своей весёлости и народной мудрости, либо, исчерпав с годами весёлость и бодрость, но возросши в мудрости, насколько дали им условия жизни — медленно, как Платон Каратаев, «доходящие» и погибающие от жестокостей войны.

Великолепный Жданов, которым ощутимо любителю автор рассказа — «дяденька» — самый старый солдат в батарее. Это тот же, несмотря на разврат мирского воспитания, стихийный христианин, что и Веленчук — но без контрпродуктивных акцентуаций, имманентных характеру малоросса. Чудесный Жданов старается помочь товарищам, при этом особенно «покровительствует» рекрутам и молодым солдатам. «Дяденька» — это уважительное и доброе обращение к нему: в нём видели старшего, который не оставит в беде. «Белая как лунь голова, нафабранные чёрные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему, на первый взгляд, выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся). что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас» (*Там же. С. 48*). Жданов — фигура по-своему тонкая и поэтическая, и не случайно рассказ заканчивается пением «Берёзушки», любимой песни Жданова, слушая которую старый солдат «ажно плачет» (*Там же. С. 73 – 74; гл. XIV*).

Всё это люди, для которых военный поход и необходимость убийства людей по приказу — явно не подходящее им занятие. Добрых оно мучает, заставляя буквально «выживать», заполняя походную повседневность маленькими добрыми делами, порочных же людей — ещё более развращает... В устах порочных, особенно офицера, их «откровения» о желаемых ими чинах и наградах будто сочатся кровью ещё живых горцев, которых им потребуется убить, а дома

их разорить и сжечь — чтобы получить вожделенные мирские поощрения и награды. Добрые же — и орудие для выстрела разворачивают с тем же чистым сердцем, с каким разворачивали бы в поле на борозде пахущую лошадь или раскрывали книгу, чтобы научиться читать...

Этим бы и заниматься им — так же неспешно и основательно, как вынужденно они заняты войной! Это люди ещё не городской, а — старой, общинной России. Их сознание чуждо всех лжей: патриотизма, национализма, фантазирования о «геополитике» и проч. — которыми оправдывают своё участие в войне теперешние, 2022 года, путинские палачи Украины.

Выделяя в рассказе различные типы солдат, Толстой говорил о некоторых отличительных чертах русского солдата вообще: «Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера» (*Там же. С. 70 – 71; гл. XIII*). Умение и возможность разглядеть и оценить в «русском воине» сущностно чуждое войне разумное дитя Бога, впервые проявившиеся в «Рубке леса», стали прочной основой для создания последующих «военных» сочинений писателя, от севастопольских рассказов до «Войны и мира» и «Хаджи-Мурата», до «Песен на деревне» и до «поздних» антивоенных публицистических статей, в которых автор включал немало художественных иллюстраций.

Моральное противопоставление контрастирующих типов солдат и офицеров — важная, выше уже затронутая нами, проблема рассказа. Мир солдат простой и естественный: здесь нет лжи и патетики. Вот «солдатики» вспоминают кровавые сражения и тех, кто там остался; никто не говорит о своей личной храбрости, зато все

подчёркивают достоинства погибших. О подвигах солдаты не думают, для них навязанная им «служба» — продолжение отнятого у них гадиной «родиной» мирного труда.

Офицеры же в основном люди самолюбивые, мечтающие о наградах, славе. Таков ротный командир Болхов. Ему давно надоела служба, Кавказ его раздражает. Он думал, что здесь испытает новые чувства, избавится от всего надоевшего в свете. Каково же было его разочарование, когда «всё приехало» вместе с ним! Но и вернуться назад он не хочет: без орденов «Анны и Владимира, Анны на шею и майора» (за этим и ехал на Кавказ!) он не будет героем в глазах света. Чтобы всё это получить, необходимо совершить подвиг, а Болхов понимает, что он не храбр: за два года так и не привык к опасностям (*Там же. С. 61 – 62*).

Болхов — своего рода Толстой «навыворот» (или «навыворот» Оленин из толстовских «Казаков» — если памятовать автобиографичность этого образа и этой повести). Но «навыворот» не в плане объективных черт характера молодого Толстого, а, скорее, как его нравственный *антиидеал*, «худшая версия себя». В то же время образ этот — и вполне реалистичен в своём отупелом цинизме, характерном и для современных нам обладателей погон и мундиров в путинской России, готовых, прячась за спины гибнущих своих военных рабов, считать денежки и награды!

Некоторых же честолюбивых офицеров Кавказ вполне устраивает: можно в красках рассказывать о своём героизме, ничего при этом не совершая. Например, капитан Крафт в «Рубке леса» без конца поведствует о своих подвигах в ночь «с двенадцатого на тринадцатое», когда «пятнадцать завалов взяли в один день». Но все знают о нём, что он служит при штабе, т. е. не имеет понятия, как проходят сражения. В его же патетическом рассказе (откровенном вранье!) оказывается, что главнокомандующий лично просит Крафта «взять эти завалы»... и конечно же, все заслуги офицер Крафт приписывает только себе, а солдат неприкрыто презирает («С русским солдатом, знаете, надо просто») (*Там же. С. 67 – 69*).

Но именно солдаты в рассказе проявляют искомую начинающим писателем с первых дней на Кавказе *истинную храбрость*. Если офицеры, желая скрыть волнение и страх, пытаются шутить, говорить на отвлечённые темы, казаться спокойными, то солдатам нечего скрывать. И когда ядро разрывается рядом, в этом нет ничего особенного: «Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас

Антонов, с досадой плюя в сторону. — Трошки по ногам не задела». «Всё моё старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания» — признаётся рассказчик (*Там же. С. 58*).

По биографическим свидетельствам, столь же храбр был и офицер Толстой — и на Кавказе, и в Крыму. Куда большие, чем пули и ядра, протестующие движения благородного сердца вызывали «делишки» таких людей, как описанный в «Рубке леса» фельдфебель — воруемый из солдатских рационов, да ещё и обшиваемый наивным, суевливым Божьим человеком Веленчуком.

Толстой в годы службы проявил не меньшую честность, чем Веленчук. Но столкновения его с воровством и подлостью, конечно же, усилили его критические настроения — подведя в середине 1850-х к потребности высказаться о состоянии николаевской армии на всю Россию.

В «Рубке леса» Толстой впервые попытался соединить два абсолютно разных мира: солдатский и офицерский. Но единосущный мирной деревенской, наполненной трудом, жизни солдатский мир вполне чужд и не интересен офицерам, ищущим в военных убийствах личных своих выгод. Только юнкер-рассказчик часто приходит к своим солдатам, наблюдает за ними, слушает их разговоры, песни. Когда Антонов поёт «Берёзушку», юнкер видит, как действует песня на солдат: разговоры затихают, а Жданов, как кажется рассказчику, плачет. Может быть, потому и тянет юнкера к солдатам, что нет там фальши и пошлости, которые он чувствует в офицерском кружке?

Только капитан Тросенко чем-то близок к солдатам, он один такой же простой и без фальши. Правда, как и ефрейтор Антонов, любитель выпить. Но не столь порчен средой, как Антонов. Он чем-то похож на капитана Хлопова из рассказа «Набег». Похож он и на один из возлюбленных авторских вымыслов: «красноносого» капитана Тимохина, который через полтора десятилетия явится в «Войне и мире».

Рассказ «Рубка леса» стал важным этапом на пути как к великой книге Толстого, так и к идейным публицистическим выступлениям против насилия и войн 1880-х, а преимущественно 1890 – 1900-х годов, о которых, как главной теме нашей книги, мы уже подробнее поговорим ниже.

\* \* \* \* \*

Ещё одно значительное сочинение о кавказской службе, которое мы не можем обойти вниманием — рассказ «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Рассказ этот был задуман Львом Николаевичем в 1853 г. на Кавказе, а написан лишь в 1856 г. в Петербурге. Как следствие, в нём выразились, с одной стороны, лично-биографические мотивы автора: поиск нравственных идеалов и самовоспитание, неприятие пороков в рядах «своего» (дворянского) сословия и полюбление «народа», простых солдат и близких к нему, нравственно чистых, уважаемых солдатами офицеров, с другой же — неприятие пороков военной системы, как таковой, а в частности — нормы военно-уголовного законодательства о разжаловании в солдаты.

Замысел возник под впечатлением встреч Толстого во время службы на Кавказе с А. И. Европеусом и Н. С. Кашкиным, членами кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, отбывавшими наказание в качестве рядовых за участие в политическом кружке, а также с А. М. Стасюлевичем, разжалованным в солдаты и лишённым дворянского звания «за не одобрительное поведение». Толстой вспоминал об этих встречах в старости.

Рассказ был опубликован в 1856 г. в журнале «Библиотека для чтения» (№ XII) под заглавием «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». Первоначальное авторское название «Разжалованный» было снято военной цензурой (восстановлено в Юбилейном издании по рукописи). Рассказ не имел большого успеха, его «приняли холодно». 3 января 1857 г. Боткин писал Тургеневу, что рассказ Толстого в «Библиотеке для чтения» «прошёл почти незаметным», и делал предположения, отчего это случилось с недавно вышедшим в отставку молодым офицером и писателем:

«Всё это мне кажется от того, что при одних *характеристиках* оставаться нельзя, как это до сих пор делает Толстой, а делает это он, кажется мне потому, что у него не сформировалось ещё взгляда на явления жизни. Он до сих пор всё возился с собой. Теперь наступил для него период *Lehrjahre* и он весь исполнен жажды знания и учения, — ты удивился бы сколько цепкости и твёрдости в этом уме и сколько идеальности в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нём и он всё более и более возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены

были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни. Он теперь собирается за границу...» (*Боткин В.П., Тургенев И.С. Неизданная переписка. 1851 – 1869. М. – Л., 1930. С. 112*).

«Разжалованный» примыкает к группе военных рассказов, в которых молодой Толстой передаёт свои впечатления от войны на Кавказе и ищет собственный стиль описания человека в необычных военных условиях. Вместе с тем рассказ выделяется среди ранних произведений Толстого «нетипичностью» главного героя, отчасти напоминающего болезненно изломанных героев Достоевского.

Сюжет «Разжалованного» строится на принципе загадки-разгадки: рассказчик, князь Нехлюдов, вспоминает встречу в военном лагере, на походе, со странным человеком. Человек этот привлёк его внимание своим необычным видом («незнакомый... небольшой человек... в нагольном тулупе и в папахе», в клетчатых панталонах и сапогах с «солдатскими голенищами») и «жалким» поведением (робость, суетливость, нервозность). Видно было, что он объект иронии и насмешек офицеров. Называли его странно и смешно: Гуськантини — это кличка от презрительно искажённой фамилии «Гуськов».

Рассказчику показалось, что он «прежде знал и видел этого человека», да и фамилия Гуськов о чём-то напоминала. Выяснилось, что действительно Гуськов, разжалованный в солдаты и отправленный на Кавказ за какую-то таинственную «несчастную историю», — прежний знакомый Нехлюдова по московскому высшему свету. Встреча с Гуськовым на Кавказе напомнила ему невоенную жизнь — жизнь, в которой «разжалованный» и он, князь Нехлюдов, были людьми одного круга. Но как изменился этот прежде «один из самых образованных и любимых» в свете молодых людей!

Логика повествования предполагает, что разгадкой должна стать исповедь — рассказ Гуськова о себе и о превратностях судьбы (вспомним лермонтовского «Героя нашего времени»). Однако «Разжалованный» явно выбивается из романтической традиции рассказа о *странном человеке*. В рассказе Толстого действительно есть исповедь, но она не раскрывает причины ссылки Гуськова на Кавказ и не объясняет странностей этого человека. Его исповедь, скорее, ставит новые вопросы и оставляет впечатление недосказанности: невозможно понять, как произошла в человеке такая перемена. Повествование строится по лермонтовскому принципу изображения

человека: от внешнего впечатления к внутреннему — самораскрытию.

Однако у Толстого объектом интереса становится не благородный герой (он лишь наблюдатель и повествователь), а его антипод — «разжалованный», смешной и неблагородный. Рассказ представляет собой сплетение двух психологических линий — разжалованного Гуськова и князя Нехлюдова, который не только описывает встреченного человека, но и фиксирует собственную реакцию — понимание и непонимание, сострадание и неприятие, — как бы проецируя познание «другого» на свой опыт. Исповедь Гуськова прерывается комментариями рассказчика, который наблюдает не только за странным знакомцем, но и за собой.

Внутренняя логика появления «Разжалованного» среди других сочинений Толстого 1850-х гг., вероятно, не только в писательском интересе к человеку необычному, выбивающемуся из привычной среды. Тема «пропащего человека» звучит у Толстого и в других произведениях тех лет: в «Записках маркёра», «Святочной ночи», «Альберте»... Эта тема для молодого писателя глубоко личная. По Дневнику видно, как драматично было его становление — в постоянной борьбе с собственными страстями, переживанием неудачи военной карьеры, неумением сойтись с людьми («...я какой-то нелюбимый... не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня»: «я дурен и несчастен»), переходами от неуверенности в себе к уверенности в собственной исключительности и презрению к низменным интересам окружающих («я рождён не для того, чтобы быть таким, как все»). В разжалованном Гуськове, выброшенном из привычного светского круга в «несчастные», Толстой описывает психологию человека самолюбивого, тщеславного, неуверенного в себе, но при этом уверенного в своём превосходстве над другими.

Это сочетание униженности и гордыни напоминает героев Достоевского. У толстовского рассказчика, князя Нехлюдова, такой тип личности вызывает двойственное чувство: сострадания и вместе с тем отталкивания, почти отвращения — как от чего-то неблагородного.

В итоге рассказчик убеждается в непорядочности Гуськова: на деньги, только что с унижением, слезами и жалобами выпрошенные у Нехлюдова, он угощает вином офицеров, похваляясь своим знакомством со «страшно богатым» князем (не была ли его исповедь, с настоящими слезами, только способом получить эти деньги? — ситуация из будущего «Идиота» Достоевского). Источник неблагородства

«разжалованного», таким образом, не в обстоятельствах (социальная несправедливость, удары судьбы), а в пороке тщеславия, уверенности в собственном превосходстве, который уродует сознание человека. Оказавшись в несчастье, он, во что бы то ни стало, желая доказать своё превосходство, перестаёт различать в себе самом самоунижение и самоуверенность, искренность и притворство.

В рассказе есть ещё один персонаж, с кем соотносит себя Гуськов, кому старается услужить и близостью к которому похваляется, — адъютант Павел Дмитриевич. Этот персонаж, в отличие от самого Гуськова, имеет в рассказе не кличку-прозвище, а имя и отчество и уважаемую должность. Но он тоже «пропащий», потерянный — на Кавказе, в рутине офицерского быта становится злосчастным игроком, с которым все отказываются играть, теряет достоинство. При этом вымещает свои неудачи на Гуськове, напоминая ему, что он «нижний чин».

В этой борьбе самолюбий немаловажной становится деталь: Павел Дмитриевич — сын управляющего отца Гуськова, т. е. по социальному положению ниже «разжалованного». Павел Дмитриевич унижает его, но тот и сам готов унижаться. Зато Гуськов презирает солдат, рядом с которыми вынужден находиться: для него оскорбительно «лежать в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты», или «идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т.д.» и думать, что между ним и простым солдатом «нет никакой разницы», что его, Гуськова, убьют или убьют солдата — всё равно.

Жалкому образу и участи «разжалованного» в рассказе словно противопоставлены описания естественной жизни природы и простого быта солдат. Разговоры офицеров, исповедь Гуськова, размышления рассказчика даны на фоне «ясного, тихого и свежего» декабрьского вечера на Кавказе, с типичными для толстовского пейзажа деталями: заход солнца за отроги гор, зарницы в сумерках, мерцание звёзд. Военный лагерный быт, особенно ночной, в часы отдыха, — это жизнь под открытым небом, в «Божьем мире», и Толстой создаёт живописные картины малого человеческого мирка, живущего в большом мире природы: костёр у палатки, блеск меди на батарейном оружии, огонёк свечи, неярко, но тепло просвечивающий сквозь бумагу, которую денщик Никита привязал «от ветру», и выхватывающий в темноте «кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку» —



нехитрые «домашние» вещи, детали офицерского позднего ужина под звёздным кавказским небом.

Военный быт, «низкий» для Гуськова (ведь здесь ему приходится жить среди презираемых им людей), — это и проза (картёжная игра офицеров, грубая мужская среда, соперничество), и поэзия. Поэтическое является в рассказе и в мимолётных зарисовках: это ночная поездка рассказчика через весь лагерь к начальнику артиллерии, это и солдатская палатка, где светится огонь и слышится сказка, которую рассказывает полковой балагур «битком набившимся» вокруг него солдатикам, это и странный внезапный взрыв одинокого ядра, непонятно откуда залетевшего в лагерь. Все эти найденные в военных рассказах приёмы изображения природы и человека позднее получат своё развитие и высшее воплощение в «Войне и мире».

---

## 1. 5. СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

Первый же артиллерийский обстрел  
раскрыл перед нами наше заблуждение,  
и под этим огнём рухнуло то мировоззрение,  
которое они нам прививали. Мы неожиданно очутились  
в ужасающем одиночестве, и выход из этого одиночества  
нам предстояло найти самим.

*(Эрих Мария Ремарк)*

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души,  
которого старался воспроизвести во всей красоте его  
и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.

*(«Севастополь в мае»)*

Значительнейший проект Льва Николаевича в севастопольский период — конечно же, цикл «Севастопольских рассказов». Название это не авторское: так традиционно стали называть три рассказа Тол-

стого: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года», объединённые общей темой обороны Севастополя в 1854 – 1855 гг., во время Крымской кампании. Толстой создавал их как отдельные, самостоятельные произведения, с разными героями, разными проблемами и разной степенью неприятия войны. Эти рассказы выросли из наблюдений писателя и боевого офицера над развитием севастопольской военной кампании, длившейся 349 дней; их объединяет этико-эстетическая установка писателя на «горькую правду» — конечно же, ещё не включающую в себя ни проклятий войне, ни инвектив затевающим войны правительствам именно с христианских позиций.

Более того, по ряду признаков, как мы покажем ниже, Толстой на этом, Свыше ему предопределённом, пути делает своеобразную «уступку» мыслям и эмоциям, характеризующим пресловутый *патриотизм*. Естественно, что он не мог снова не заразиться им в Севастополе, наблюдая отчаянную храбрость военных рабов казённой тётки «родины», которым их руководство внушило, что в грызне за морское владычество и пресловутое «турецкое наследство» нескольких разбойничьих гнёзд, государств с амбициями имперства, хищничества — они, простые «рекруты», отнятые от мирного крестьянского труда, от семей своих, якобы «защищают» убийствами свою ойкумену долготерпенья, свои «отчины и дедины», земли предков и семейства. Не вникая, что и не было возможно в ту эпоху, в психологические нюансы влияния на человеческое сознание такого обмана, актуализирующего низшие, первобытные животные страхи и защитные бессознательные поведенческие программы человека как стайно-территориального животного, Толстой, воспитанный, как мы помним, в преклонении перед военными доблестью и храбростью и изначально искавший их среди солдат и офицеров в годы жизни и службы на Кавказе, не мог не отдаться любованию этой покорности «идущих на смерть» высшей воле — но пока ещё не Бога, Которому нужны человеческие любовь и труд, а не драки, а военачальников и царя!

Итак, находясь на службе при штабе Дунайской армии, Толстой, как и многие под влиянием патриотического заражения, сам выпросился в сражающийся Севастополь. В письме к брату С. Н. Толстому из Севастополя от 20 ноября он сообщал не одни факты, но и настроение многих участников событий в те дни:

«Город осаждён с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошёл к нему. Теперь у нас на этой стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провёл неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3-х недель подошёл в одном месте на 80 сажен и нейдёт вперёд; при малейшем движении его вперёд, его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска вместо: «здорово ребята!», говорил: «нужно умирать, ребята, умрёте?» и войска кричали: «умрём, Ваше Превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взаправду*, и уж 22 000 исполнили это обещание.

Раненный солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат.

Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнём читают молитвы. [...] Чудное время! Теперь, впрочем [...] неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмёт города, и это действительно невозможно. Есть 3 предположения: или он пойдёт на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, чтобы прикрыть отступление, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардированье 5-го числа останется самым блестящим славным подвигом не только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу и не только не заставили сдать его, но не заставили замолчать и 1/20 наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит её выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус), дерёмся с неприятелем многочисленнейшим, имеющим ещё флот, вооружённый 3 000 орудий, отлично вооружённый

штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать (мы ещё победим, в этом я убеждён) при таких условиях» (59, 281 – 282).

Налицо именно «эффект»: психическое заражение масс людей военно-патриотической дурью, апеллирующей к страхам и неосознанным влечениям животной первобытности человека.

Первый набросок рассказа «Севастополь в декабре месяце» был сделан Толстым, видимо, по свежим впечатлениям от пережитого, в ноябре — декабре 1854 г. Как мы помним, в январе 1855 г. Толстой обратился к Н. А. Некрасову с просьбой предоставить в «Современнике» место для публикации материалов, подготовленных для журнала «Военный листок», не разрешённого к изданию Николаем I. Некрасов, заинтересованный в сотрудничестве с Толстым, с радостью на это согласился. 20 марта, в день получения письма от Некрасова. Толстой записал в дневнике: «Напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта». «Севастополь днём и ночью» — таково было первоначальное название замысла, который в процессе работы разделится на «Севастополь в декабре месяце» (Севастополь днём) и «Севастополь в мае» (Севастополь ночью).



«Л.Н. Толстой в Севастополе».  
Художник В. Н. Высоцкий

В начале апреля Толстой был переведён на самый опасный участок обороны города — 4-й бастион, но и здесь продолжалась работа над рассказом: жизнь рядом с солдатами в условиях смертельной опасности дала писателю главный материал. В конце апреля рассказ, названный «Севастополь в декабре месяце», был закончен и отправлен с курьером в Петербург, в редакцию «Современника».

Быстро и благополучно он прошёл цензуру и за подписью «Л. Н. Т.» был напечатан в шестой книжке журнала, вышедшей 1 июня 1855 г. И. И. Панаев, замещавший в качестве редактора Некрасова, восхищённый рассказом, в письме от 19 мая писал автору: «Умоляю Вас присылать в „Современник“ статьи вроде присланной... Они будут читаться с жадностью» (*Цит. по: 59, 318*).

Самые первые страницы «Севастополя в декабре» — это описание осаждённого города, являющего собой «странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака» (4, 5). Да и само описание сильно и странно напоминает современные, публикуемые в интернете, видеозарисовки защитников Украины, снимаемые на камеры телефонов для своих близких и друзей в тылу, повествующие о повседневных, даже сугубо бытовых деталях их героического противостояния государству-агрессору, России, и террористическому режиму международных преступников: Путина, Кадырова, Пригожина... Разница лишь в том, что противниками россиян в Крымской войне не были мародёры, палачи, любящие пытки и расстрелы, насильники над женщинами, стариками, детьми — каковы, в массе своей, сущностно, хотя и скрыто до времени, выкормыши и воспитанники «русского мира», путинской России начала 2020-х! В середине XIX столетия люди ещё жили в религиозной традиции предков, определяющей некоторые безусловные религиозно-нравственные табу. Для России XXI века, декларативно выступающей за «традиции» предков — Бог умер, вероятно, навсегда!

В «Севастополе в декабре» получил развитие собственно толстовский приём, заданный гениально уже в «Набеге». Е. В. Душечкина характеризует его, в контексте литературой преемственности, следующим образом:

«Новатором в изображении войны считается Лермонтов. В стихотворении «Бородино» (1837) сражение, о котором рассказывает его участник, изменило перспективу и стилистику повествования. Бой дан в позиции снизу, с точки зрения его участника...

Не раз отмечалось, что в «Валерике» Лермонтов в изображении войны предвосхищает Толстого. И да, и нет. В «Набеге», написанном Толстым через десять с небольшим лет, действительно используются приёмы, которые уже встречались у Лермонтова. Но к ним добавляются новые. В «Набеге» многое в изображении войны уже намечено из того, что позже отразилось в «Войне и мире». Здесь рассказчик – не участник сражения: он волонтёр, зритель и одновременно – внимательный наблюдатель. [...] Каждый из персонажей видит войну с разных позиций, и эти позиции отмечены рассказчиком, что провоцирует появление не одной точки зрения (хоть и преобладающей), но множественность их» (<https://www.litmir.me/br/?b=762292&p=45>).

Действительно, если многочисленные предтечи Лермонтова и Толстого, не исключая и российских: М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина и др., как будто «зависали», (как в наше время можно — с дроном, оборудованным видеокамерой) близ поля битвы или над ним, представляя читателю всё как бы «со стороны» и не весьма заботясь о достоверности в мелочах, то автор «Севастополя в декабре» демонстрирует нам военную повседневность через хорошие видеокамеру или смартфон, которые, шагая по земле, держит в руках — да так демонстрирует, что ощущаются многие запахи и эмоции давно почивших в Боге людей, а не только слышатся звуки.

По убеждению А. Н. Толстого, новичок, впервые видящий осаждённый город, будет разочарован, не заметив в лицах и поведении севастопольцев показного энтузиазма: «вам даже покажется, что все перепуганы, суеются, не знают, что делать» (4, 5). Новичку, не отравленному ещё общим психическим заражением, даже может «показаться», что разговоры о героизме защитников Севастополя сильно преувеличены. Однако в реальности первобытные программы человека как агрессивного территориального животного делают своё дело, и внешне как будто «мирный» город давно перешёл в психологическое состояние обороны, поддерживаемое страхами, разжигаемыми, в свою очередь, невежеством и пропагандой.

Автор предлагает такому умозрительному *новичку читателю*, пройти с ним, со «смартфоном» его мастерского пера, по городу: посетить госпиталь, поговорить с тяжело ранеными солдатами, побывать на бастионах — главных местах обороны. Конечная цель маршрута — легендарный 4-й бастион.

Обращение: *вы видите, вы слышите...* — удачно найденный худо-

жественный приём, стремительно вовлекающий читателя в атмосферу военной жизни города, бесчисленных трагедий, страданий, мужества и героизма, приём, помогающий, по выражению Толстого, «перенести на себя» его мысли о страданиях людей (*Там же. С. 9*). Он компенсирует невозможность для пригласившего нас на «видеопрогулку» Толстого-воина использовать отдалённые от времени Крымской войны, неизвестные той эпохе кинематограф или цветовую фотографию.

Но «показ» развит именно по логике распространённых в наши дни фото- либо видеопрезентаций, и, с помощью волшебства Толстого-художника, достигает эффекта, наилучшего из возможных для такого повествовательного жанра. Сила эстетического воздействия толстовских описаний такова, что незаметно вы перестаёте слышать рассказчика, а видите *своими глазами*, слышите *своими ушами*, и, наконец... мучительно переживаете то, что происходит «вокруг».

На самом деле это, конечно, *не антивоенный* текст — в простом осмыслении его потенциальной «антивоенности». Ещё Борис Эйхенбаум отмечал, что в «Севастопольских рассказах», как ранее в «Набеге», «знаменитый» толстовский приём *остранения* не несёт на себе задачи манифестации неких антивоенных идей, вообще коннотации религиозной либо этической, а служит пока лишь эстетике молодого художника: преодолению влияния писателей-романтиков, их «романтического ореола»:

«Напрасно стали бы мы толковать слова волонтёра <в «Набеге»> как осуждение или отрицание войны, выраженное здесь Толстым. Резкая генерализация нужна здесь Толстому, но здесь же, как и в «Севастопольских рассказах», картина сражения не раз описывается как «величественное зрелище», а рядом с противопоставлением войны мирной природе есть и моменты слияния воедино этих двух стихий» (*Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Петербург – Берлин, 1922. С. 93*).

Всё верно, и таких «слияний» в «Севастопольских рассказах» даже больше... Но заметим здесь же, что, следуя выраженной ещё в «Поездке в Мамакай-Юрт» установке на правду в противостоянии вымыслу и приукрашенности у романтиков, Толстой не мог не прийти к конфликту с имперской ложью о Крымской войне, как пришёл уже в конфликт с ложью и умолчаниями о состоянии армии. Будучи ещё

сам в середине 1850-х далёким от цели на своём пути к христианскому отвержению системного насилия, войн, армий, оружия, сам не сознавая возможных влияний и значения своих подробных и правдивых зарисовок — Толстой делает всё возможное, чтобы ребёнок, юноша или даже взрослый, не бывший на войне и не сумевший прежде сформулировать для себя своё независимое отношение к войнам и «военному сословию», встал на путь неизбежного (в случае устремления именно к *независимой от мирской лжи* позиции) неприятия их и прошёл на этом пути столько же поприщ, сколько прошёл к тому времени 26-тилетний Лев Николаевич Толстой — молодой ветеран двух военных кампаний и участник уже третьей...

Леденящее душу изображение ужасов войны неизменно соединено в рассказе с трогательно-сердечным сострадательным отношением автора к её жертвам, но одновременно — с восхищением мужеством и терпением защитников Севастополя. И тут, в первом из рассказов, патриотический настрой писателя берёт своё: картины ужасов старательно им «сглаживаются» рассуждениями о мощи и величии «народа-героя»: «Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетённых траншей, мин и орудий [...] но видели её в глазах, речах, приёмах, в том, что называют духом защитников Севастополя» (4, 16). Дефинирующая лексема «отрадное» повторяется в небольшом рассказе «Севастополь в декабре» *четырежды*: так автор, заразившись сам, стремится заразить своими эмоциями и читателя. В последующих рассказах цикла лексема присутствует не более 1 – 2 раз, и в совершенно иных контекстах.

Напомним читателю, что личные симпатии Толстого к людям, рискующим либо жертвующим своей жизнью, даже революционерам, а не только воинам — это «бастион» старого, внушённого воспитанием отношения к жизни, который даже старец Толстой, до конца жизни человек своевольный, не только не сможет, но и не захочет разрушить! Ниже в данной книге будет немало ещё примеров такого отношения писателя и публициста к мужеству и храбрости человека в экзистенциальном, особенно всегда интересном Толстому состоянии — *перед лицом смерти*.

Размышляя о причинах стойкости и мужества этих героев, Толстой со всей определённой заключает: «Из-за креста, из-за названия



<т. е. ради награды или звания. — Р. А.>, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина» (4, 16). В старом Полном (юбилейном) собрании сочинений совершена ошибка: рука редактора тома, Всеволода Измаиловича Срезневского (1867 – 1936), дрогнула, и исключила следующие, завершающие суждение, слова, вошедшие в издание рассказов 1856 г.: «И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине» (Там же. С. 183. Печатные варианты). Аргументация редактора вызвала у позднейших исследователей закономерные возражения:

«Когда Э<йльмер> Моод, издавая перевод Севастопольских рассказов на английский язык, обратился к Толстому “с просьбой разъяснить ему происхождение некоторых фраз, вошедших в рассказы и совершенно не соответствующих ни общему их содержанию, ни отношению самого Льва Николаевича к описанным событиям” (слова П. И. Бирюкова), Толстой ответил ему, что все указанные Моодом места “или изменены или добавлены редактором в угоду цензору и потому лучше исключить их”. [...] Правда, если мы вспомним, что о переводе в Крым из Кишинёв, как Толстой пишет в письме к брату, он просил главным образом «из патриотизма», который в то время «сильно напал» на него, что он «предоставил начальству распоряжаться своей судьбой», что, наконец, как видно из его дневника того времени, его тогда захватывали и война, и военная служба, и боевая жизнь, и опасности, — то можно думать, что и слова, которые так шли в разрез со всеми мыслями его в 1890-ых – 1900-ых гг., были естественны в 1855 г.» (Там же. С. 386).

Это образчик того, как в литературоведение “просачивается” довольно вульгарная толстовщина. Напомним читателю, что, в разной степени, ей симпатизировали и Павел Бирюков, вполне толстовец, и переводчик сочинений Толстого на английский язык, много лет проживший в России, *Эйльмер (Алексей Францевич) Моод* (Aylmer Maude, 1858 – 1938), не толстовец, но хороший приятель “толстовца № 1” Владимира Черткова, приближённого многолетнего друга Толстого, и, кроме того, человек, идейно близкий к европейским «левым», социалистам, то есть к оппозиции по отношению тогдашнему «устройству жизни», в том числе к милитаризму.

Вероятно, несчастный В. И. Срезневский, под влиянием В. Г. Черткова, активно участвовавшего в подготовке большинства томов

данного издания, сделал уступку именно «толстовским» (толстовцев, но не Толстого!) наивным воззрениям на «всегдашнюю ненависть» их «духовного учителя» ко «всякому насилию». Сложнейшая личность Толстого искусственно «упрощена», его мировоззрению «отказано» в праве на эволюцию — несмотря на вторую часть приведённого выше комментария, в которой редактор выразил свои справедливые сомнения в справедливости навязанного ему купирования текстов молодого, ещё патриотически настроенного Льва.

Конечно, сказанное не придаёт «спорному» суждению Л. Н. Толстого в рассказе «Севастополь в декабре» характеристик истины. Зная в наше время, через более чем полтора века, как «работает» человеческая психика под действием бессознательных животных программ, актуализируемых страхами и ложью: как, например, выполняют волю сакрального лидера обманутые им и удерживаемые в неволе члены тоталитарной секты, как отупело идут в наши дни, осени 2022 года, на преступную Украинскую войну, рабы и обманутые прислужники путинского режима в России — мы вправе усомниться в этом красивом рассуждении, безусловно справедливом для человека XIX столетия, получившего, как юный Лев, «классическое» воспитание усадебного аристократа.

Кроме того, несмотря на искреннюю любовь к защитникам города, реалист Толстой с горечью показал: в условиях жестокой войны человек черствеет, попросту привыкая к тому, что ежедневно гибнут товарищи, да и он сам, скорее всего, «временный жилец», живущий «при ста случайностях смерти вместо одной» (*Там же. С. 16*). Так, вопреки требованиям не только цензуры, но и собственного, обманутого эмоциями, рассудка, Толстой возвращается к теме, заданной уже в «Набеге»: ненормальности для разумного существа, для человека, губительного для душевного и нравственного здоровья положения убийцы ближних, людей же, и даже христиан, и убиваемого ими!

Вот тяжело раненного солдата уносят на носилках в госпиталь, он прощается с товарищами, быть может, навсегда, а «в это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно размахивая руками, возвращается к своему оружию. „Это вот каждый день этак человек семь или восемь”, — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свёртывая папиросу из жёлтой бумаги» (*Там же. С. 15*).

Рисуя страшные картины войны, Толстой делал важные для себя выводы нравственно-философского и эстетического характера о том, как следует честному писателю-гуманисту изображать войну: уже в первом севастопольском рассказе писатель-баталист Толстой провозглашал свою программу изображения войны, с завидным постоянством именуемую исследователями «эстетической». «Вы [...] увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем её выражении: в крови, в страданиях, в смерти...» (Там же. С. 9).

Напомним тем, кто не знакомился с прежней книгой нашей «Лев Толстой и Россия убивающая», что, вослед «начитке» по теме смертных казней в студенческой юности, молодой Толстой после зрелища гильотинирования в Париже в апреле 1857 года, утвердился в неприятии смертных казней, которое мы назвали *этико-эстетической* стадией такого неприятия — на пути к религиозной, христианской (Алтухов Р.В. *Лев Толстой и Россия убивающая. Великий яснополянец против смертных казней. Ясная Поляна, 2021. С. 29 – 32*). Позволим и здесь уточнить определение многих наших предшественников и старших коллег: со времени кавказских рассказов мотивация Толстого для безжалостно-реалистического изображения войны была именно *этико-эстетической* — и с приматом именно гуманистического сочувствия к народу, а не художественных, писательских предпочтений. Уже у молодого Льва, таким образом, *правда и красота служат добру*. Не политике и не модному течению в писательстве, а *всечеловеческому*. Как горькое лекарство, могущее, при некоторых настойчивости и мастерстве доктора, вылечить больных в разной стадии запущенности болезни. Таким же принципом *правдивого* до безжалостности к читателю, к его стереотипам и самообманам, сочувствия к павшим и выжившим товарищам, к стране, даже к человечеству в целом, продолжавшего и в веке XX-м быть обременённым войнами, руководился, например, ветеран Второй мировой войны Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001) в своей книге «Прокляты и убиты» или, тоже ветеран той же бойни, поэт Иона Лазаревич Деген (1925 – 2017), в знаменитом своём восьмистишии — всё на ту же, близкую Толстому, тему эмоционального «выгорания», компенсируемого боевым задором:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.  
Дай-ка лучше согрею ладони я  
Над дымящейся кровью твоей.  
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,  
Ты не ранен, ты просто убит.  
Дай, на память сниму с тебя валенки.  
Нам ещё наступать предстоит.

(<http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/DEGEN/stihi.txt> )

Патриотическое послание Толстого было оценено. Из «Современника» текст рассказа перепечатала официозная газета «Русский инвалид», расходившаяся широко по всей России. Тот самый не правдивый официоз, ради поддержки которого, недопущения оттока читателей и подписантов, военное министерство запретило Толстому его, по замыслам независимый, военный журнал! Именно на страницах «Русского инвалида» многие, в том числе и И. С. Тургенев, впервые прочитали «Севастополь в декабре месяце». Почта приносила Толстому всё новые и новые восторженные отзывы о рассказе и о том, что в конце июня его читали новому государю императору Александру II, который приказал перевести «Севастополь в декабре месяце» на французский язык. Это «польстило самолюбию» автора, поверившего, что он «начинает приобретать репутацию в Петербурге». Все русские газеты и журналы словно в один голос не скупилась на похвалы рассказу молодого писателя. На страницах дневника Толстой признавался, что для него «настало время истинных искушений тщеславия» (47, 50).

Значение севастопольских рассказов, и прежде всего первого из них. в творческой судьбе Толстого, да и всей русской литературы, огромно. Великая эпопея «Воина и мир» не могла быть написана без участия Толстого в Севастопольской кампании, без создания севастопольских рассказов. Равно как не было бы известного нам «антивоенного» Толстого без наивной, подогреваемой в те дни патриотизмом, веры писателя, столь знакомой и ветеранам так называемой «Великой отечественной» войны XX столетия в оккупированной большевистской сволочью России, в то, что победа может принести облегчение, улучшения и в мирной жизни народа. Вспомним формулировку этой веры в дневниковой записи ещё 2 ноября 1854 года, последних месяцев николаевской деспотии, времени, когда Толстой был убеждён, что героическая оборона Севастополя явится прологом

не к одной даже отмене крепостного права, а к модернизации России в целом, что «те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы [...] а энтузиазм, возбуждённый войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 27 – 28).

Без разочарования в этой вере и в молодом императоре — не было бы диалектически необходимого шага писателя к более радикальному в 1860-е годы неприятно отошедших в историю военных событий. Впрочем, всё ещё *этическому* — без главного, «одухотворяющего» элемента позднейшего протеста: живой религиозной веры: веры Христа, а не попов и богословов.

Второй севастопольский рассказ Толстого — «Севастополь в мае». Из замысла «Севастополя днём», написанного под обстрелами на 4-м бастионе, получился рассказ «Севастополь в декабре месяце»; замысел другого черновика, под заглавием «Севастополя ночью», на время был оставлен: к нему Толстой вернулся в июне, окрылённый успехом «Севастополя в декабре месяце» и наконец завершив рассказ «Рубка леса». Работа над вторым севастопольским рассказом, будущим «Севастополем в мае», продолжалась всего несколько дней. Под названием «Весенняя ночь 1855 года в Севастополе» в начале июля рукопись была послана в «Современник».

Предвидя осложнения с цензурой. Толстой в некоторых местах рассказа дал более мягкие варианты, разрешая редактору что-то заменить или исключить. 18 июля редактор журнала, знаменитый Иван Иванович Панаев, писал автору: «Благодарю Вас несказанно, Лев Николаевич, за Ваш рассказ „Ночь весною в Севастополе“. Я сейчас получил его и прочёл. Вы правы: рассказ этот несравненно лучше первого, но он меньше понравится, по той причине, что героем его — правда, а правда колет глаза, голой правды не любят, к правде без украшений не привыкли. Сделаю всё, что могу, дабы защитить его от цензуры. Впечатление рассказа тяжело (ах, как мы не привыкли к правде!) — и надобно бы было кое-что прибавить в конце, что дескать *всё-таки Севастополь и русский народ* и проч. для цензуры, хотя это было бы пошловатое; но я кое-что посмягчил и погладил, не портя сущности рассказа и предвидя за него борьбу с цензурой. Это было необходимо» (59, 328 – 329).

Увы! усилий Панаева не достало... В первые дни августа 8-й номер журнала был свёрстан и отпечатан. Сохранилась корректура рассказа, подписанная «в печать» цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета, статским советником Владимиром Николаевичем Бекетовым (1809 –1883), цензором «Современника», вполне дружеским в отношении журнала и в принципе либеральным: хрестоматийно известны случаи допуска им к печати, например, повести И. С. Тургенева «Муму» в 1854 г., а позднее, уже в 1863 году — своего рода «короля» российской литературной нецензурщины той эпохи, романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».

Вероятно, именно случай с Тургеневым, ещё памятный в Комитете, и навредил цензурной судьбе «Севастополя в мае». Внезапно грянул гром: сам председатель цензурного комитета, грозный и печально знаменитый Михаил Николаевич Мусин-Пушкин (1795 – 1862), тайный советник, сенатор и, кстати, ветеран т. н. «Отечественной войны» 1812 года и Войны шестой коалиции, затребовал рассказ для личного ознакомления. Корректура рассказа привела его в ярость. До неузнаваемости исчеркав текст сочинения, он распорядился: «Запретить и оставить корректуру при деле». Запрет “высокого” цензурного начальника вынудил редакцию срочно изъять из готовой книжки «Современника» рассказ Толстого. В письме к И. С. Тургеневу от 18 августа 1855 г. Некрасов делился горькими мыслями: «Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать её печатать, да и на будущие его статьи об Севастополе нельзя рассчитывать, хотя он и будет присылать их: ибо вряд ли он способен (т. е. наверное неспособен) изменить взгляд» (*Некрасов Н.А. Полное собр. соч. и писем: В 15-ти т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1. С. 214*).

Толстому в письме от 2 сентября бедолага отписал, вполне искренно, следующее: «Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то Ваш, конечно, не пропадёт... он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил её. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление Вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, — правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа

всего более эту сторону в Вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы её в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. [...] Вы молоды; идут какие-то перемены, которые — будем надеяться — кончатся добром, и может быть Вам пред-

# СОВРЕМЕНИКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НОЧЬ

ВЕСНОЮ 1855 ГОДА ВЪ СЕВАСТОПОЛѢ.

ИЗДАВАЕМЫЙ СЪ 1847 ГОДА Н. ПИЧКОВЫМЪ И Н. НЕКРАСОВЫМЪ

ТОМЪ LIII



САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ ГЛАВНАГО ШТАБА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЛАДИЧЕСТВА  
ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ

1855

Уже шесть мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ проси-  
гале первое ядро съ бастионовъ Севастополя и верыло землю  
на работахъ непріятеля; и съ тѣхъ поръ тысячи бомбъ, ядереъ  
и пуль не переставали летать съ бастионовъ въ траншеи и  
изъ траншей на бастионы и ангель смерти не переставалъ  
парить надъ ними.

Тысячи людскихъ самолюбій успѣли оскорбиться, тысячи  
успѣли удовлетвориться, тысячи — успокоиться въ объяті-  
яхъ смерти. Сколько розовыхъ гробовъ и полотняныхъ по-  
крововъ! А все тѣ же звуки раздаются съ бастионовъ, все  
также съ невольнымъ трепетомъ и страхомъ смотрятъ въ  
ясный вечеръ французы изъ своего лагеря на желтоватую  
зарытую землю бастионовъ Севастополя, на черныя движу-  
щіяся по нимъ фигуры нашихъ матросовъ и считаютъ амбра-  
зуры, изъ которыхъ сердито торчатъ чугуныя пушки; все  
также, въ трубу разсматриваетъ съ вышки телеграфа, штур-  
манскій унтеръ-офицеръ пестрыя фигуры французовъ, ихъ  
батареи, накладки, колонны движущіяся по Зеленой горѣ и  
дымки вспыхивающіе въ траншеяхъ; и все съ тѣмъ же жа-  
ромъ стремится съ различныхъ сторонъ свѣта разнородныя  
толпы людей, съ еще болѣе разнородными желаніями, къ  
этому роковому мѣсту. А вопросъ нерѣшонный дипломатами  
все еще не рѣшается пороховъ и кровью....

## Первая публикация рассказа «Севастополь в мае»

стоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. [...]

Не буду Вас утешать тем, что и напечатанные обрывки Вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде, — это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно, что статья не была бы напечатана, если б это не было необходимо. Но имени Вашего под нею нет» (Там же. С. 217 – 218).

Редакция не хотела печатать рассказ в изуродованном виде, но все-таки Мусин-Пушкин потребовал его опубликовать в переделанном им виде (59, 330).

9-й номер «Современника» за 1855 г. открывался рассказом «Ночь весною 1855 года в Севастополе» без подписи автора. Примечательно, что среди омерзительных цензорских вставок в публикации современника выделяется завершающая исковерканный текст, до боли знакомая, до тошноты пошлая *патриотическая* ложь — оправдывающая и до наших дней многие военные преступления халтурных правительств (*фрагмент со стр. 30 в номере «Современника»*):

**Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаемъ только родной кровъ, родную землю и будемъ защищать ее до послѣдней капли крови....**

«Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной кров, родную землю и будем защищать её до последней капли крови».

Основой сюжета второго севастопольского рассказа стала вылазка в ночь с 10 на 11 мая 1855 г. и перемирие 12 мая, свидетелем которых был Толстой. Более полугода прошло с начала осады Севастополя, и «с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти» (4, 18). Если главные персонажи в первом севастопольском рассказе в основном солдаты и матросы, в целом собирательный образ русского народа, то в «Севастополе в мае» на первый план Толстой выводит офицеров. Это и пехотные офицеры, и штабные, *аристократы*, которые надменно и с презрением относятся к пехотным, презирая их за то, что те ходят без белых перчаток и не имеют тонкого белья; им трудно поверить, «чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры», — так говорит о них князь Гальцин (*Там же. С. 30*).

Сам Гальцин — трус, за всё время лишь однажды побывавший на опасном 4-м бастионе. Правда, его обвинение было тут же отвергнуто: «Ну что ты говоришь. пустяки! — сердито перебил Калугин, уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десяти дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди» (*Там же*).



Задумывая рассказать об офицерской жизни в военном Севастополе, Толстой намеревался показать «идиллию офицерского быта», каковой поначалу представлялась ему эта жизнь в первые месяцы осады. Майским вечером весёлая компания офицеров-аристократов собирается в уютной квартирке адъютанта Калугина: светские разговоры, шутки, сплетни, чай со сливками и крендельками, пение под фортепьяно... Но идиллию нарушает сообщение о начавшейся вылазке. И настаёт момент истины. Каждый из офицеров по-своему проявляет себя: Калугин отправляется на бастион, Гальцин прохаживается «взад и вперёд» по улице, видит раненых солдат, идущих с бастиона, на носилках и пешком встречавшихся ему, слышит их разговоры и даже, вступая в разговор, укоряет, что «отдали траншею». Его укоры подхватывает вынырнувший из темноты поручик Непшитшетский, симулянт и любитель спрятаться за чужую спину. Он обрушивается на раненых солдат, этот «подлый народ». Сцена до такой степени разоблачающая, что даже «князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшегского и ещё больше за себя» (4, 36). Он «пошёл на перевязочный пункт»; «вошёл в первую комнату, взглянул, и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!» (Там же. С. 37). И далее следует короткая глава с описанием перевязочного пункта — страшная, почти натуралистическая картина является перед читателем...

«Севастополь в мае» вошёл в историю русской и мировой литературы как новаторское произведение, углубившее познание внутреннего мира человека в его противоречивой сложности, «текучести». Основной способ, средство этого художественного познания — «внутренний монолог», раскрытие «диалектики души» (удачный термин, введённый Н. Г. Чернышевским), означающий передачу спонтанных «сцеплений понятий и чувств», «сменяющихся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием». Как замечательный образец «внутреннего монолога» критик приводит течение мыслей и чувств одного из персонажей «Севастополя в мае», ротмистра Праскухина, за несколько секунд до его смерти:

«Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошёлся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: „Маркела!“ — и слова одного из солдат, шедших сзади: „Как раз

на батальон прилетит!»). Бомба «опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос. Михайлов упал на живот.

Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлёпнулась на твёрдую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил: может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял всё существо его. Он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла ещё секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

„Кого убьёт — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову — так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу ещё жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьёт, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли. его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня! [...] Впрочем, может быть, не лопнет", — подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, ещё сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди: он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

„Слава богу! Я только контужен”, — было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: „Один, два, три солдата [...]“ Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, — это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. „Верно, я в кровь разбился, как упал”, — подумал он, и, всё более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо,

раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: „Возьмите меня!“ — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах — а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди» (4, 47 – 49).

Своё уникальное мастерство в умении уловить ход сознания человека, впервые так ярко проявившееся во втором севастопольском рассказе, писатель впоследствии не раз будет использовать в других своих сочинениях.

В конце рассказа со смешанным чувством надежды, тревоги и сомнения Толстой рисует светлую картину перемирия. «...На бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена мёртвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу». Картина ужасов войны, взаимного истребления сменилась сценами дружеского общения солдат и офицеров воюющих армий. Все, «как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются». Все войны, как известно, кончаются миром. Но... «Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку. — пишет Толстой, — который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помощью, с самого начала перемирия вышел за вал и всё ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучей снесённых тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул её ещё раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на своё место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости» (Там же. С. 58).

Эта короткая сцена могла бы стать самостоятельным рассказом: здесь о войне сказано всё.

Завершая рассказ, Толстой признавался, что в его сочинении нет ни «злодеев», ни «героев»: «Все хороши, и все дурны». Он подчёркивал свой главный нравственный и эстетический принцип: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (*Там же. С. 59*). Этому принципу он не изменит на протяжении всего своего творчества.

Прежний молодой, с гуманистических и эстетических позиций, протестант против ужасов войны достигает в этой своей новелле уровня чародея, волшебника слова, уверенно представляющего читателю не просто уникальные, а странные, даже страшноватые своей необычностью вещи — такие, как описание гибели Праскухина *через восприятие погибающего*. «Страшная вещь!» — писал о новом рассказе Толстого И. С. Тургенев сестре писателя М. Н. Толстой (*Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 65*). «Ужас овладевает, волосы становятся дыбом от одного только воображения того, что делается там. Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что тяжело становится читать. Прочти её непременно!» — советовал Алексей Феофилактович Писемский Александру Николаевичу Островскому в письме от 26 июля 1855 г. (*Писемский А. Ф. Материалы и исследования. М.-Л., 1936. С. 82*).

Самое тонкое исследование «Севастополя в мае», не утратившее своего значения и сегодня, было сделано Николаем Гавриловичем Чернышевским в статье «Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», помещённой в «Современнике» (1856, № 12). Определяя особенности таланта Толстого и своеобразие его психологического анализа, критик обращал внимание на умение писателя воспроизвести в своих сочинениях «таинственнейшие движения психической жизни». В этом Чернышевский видел «совершенно оригинальную черту» таланта Толстого, благодаря которой «из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело» (*Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 426*).

Третий севастопольский рассказ, «Севастополь в августе 1855-го», был начат Толстым в Крыму, в действующей армии. Первое упоми-

вание о нём — в Дневнике 19 сентября 1855 г. Самый ранний автограф — запись солдатского разговора — сделан утром 27 августа, перед началом последнего штурма Севастополя.

Во время штурма Толстой командовал пятью батарейными орудиями. Он стал свидетелем несокрушимости духа и одновременно отчаяния, с которыми русские войска покидали пылающий город. В Ясную Поляну Т. А. Ёргольской он писал 4 сентября 1855 г.: «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье или несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как доброволец. [...] Я плакал, когда увидел город в огне и французские знамёна на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный» (59, 335; перевод с фр.).

1 и 2 сентября по поручению начальника штаба артиллерии генерала Николая Андреевича Крыжановского (1818 – 1888) Толстой работал над составлением «Донесения о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками» на основании присланных ему со всех бастионов рапортов артиллерийских офицеров. Этот специфический опыт так же послужил укреплению антивоенных настроений писателя. Позднее, в очерке «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», Толстой вспоминал:

«После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой, военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать. Все испытавшие войну знают, как способны русские делать своё дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, составления реляций и донесений, исполняют большей частью наши инородцы» (16, 11). Желая иронизировать, Толстой, по существу, отдал поклон благодарности “инородцам” на службе русскому императору, исполнявшим не одно столетие в стране рабов и дураков более творческие и интеллектуальные занятия, нежели те, на которые способны, в массе своей, представители “титульного” народца России.

Отсылая документ Крыжановскому, Толстой писал, что опирался не столько на официальные донесения с их противоречивыми и недостаточными сведениями, сколько на рассказы очевидцев. Эти рассказы, как и собственные впечатления и наблюдения, стали главным материалом при создании третьего сева­стопольского рассказа.

16 сентября Толстой получил письмо от Н. А. Некрасова, которое мы уже цитировали выше. Редактор «Современника», возмущаясь «безобразием», в которое был приведён цензурой второй сева­стопольский рассказ, давал высокую оценку таланту молодого писателя, ставя его имя рядом с именем Гоголя. Письмо и расстроило, и воодушевило Толстого: «Я, кажется, сильно на примете у синих. За свои статьи. Желая, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели», — записал он в Дневнике 17 сентября 1855 г. И здесь же: «Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями» (47, 60). Необратимые изменения совершились: Толстой более не связывает мечтаний о славе с военной или иной *государевой* службой. Слава просто честного человека, искателя правды, не говоря о христианине, несовместима с бесславием служения злу.

Решимость не отступать от правды, несмотря на препоны цензуры и возможные преследования, нашла прямое воплощение в третьем рассказе о Севастополе.

23 сентября Толстой составил подробный план рассказа. Частично сохранились первые черновые наброски. В них фамилия главного героя — будущего Козельцова — Чернищев, а Мезенцов — будущий юнкер Вланг.

Фамилия Мезенцов не случайна. В нём — черты сева­стопольского сослуживца Толстого, «добродушнейшего малого», которого он «очень любил». По замыслу писателя, Мезенцов должен был стать свидетелем того, как Володя в блиндаже был заколот зуавом.

19 ноября 1855 г. Толстой прибыл в Петербург, где продолжилась работа над рассказом. А уже через месяц сочинение близилось к завершению и Толстой читал его главы в литературном кругу в доме А. М. Тургенева и на квартире Некрасова. Сохранилась наборная рукопись «Севастополя в августе», подписанная автором. Это первая наборная рукопись, над подготовкой которой к печати Толстой работал вместе с редактором. 9 января 1856 г. вышел первый номер «Современника» с рассказом «Севастополь в августе 1855 года».

Впервые сочинение уже известного и для многих любимого писателя Л. Н. Т. было подписано полным именем автора: «Граф Л. Н. Толстой».

Всего два дня из жизни воюющего Севастополя воссоздал Толстой на страницах рассказа. Его главные персонажи — два брата Козельцовы, случайно встретившиеся по дороге в осаждённый город: старший, Михаил, поручик, возвращался из госпиталя после тяжёлого ранения, а младший, семнадцатилетний Володя, прапорщик, только что выпущенный из Дворянского полка (военно-учебного заведения в Петербурге), ехал вместе с товарищами, такими же юными, «спа-сать отечество».

Михаил Козельцов — человек «недюжинный», талантливый, наделённый «самолюбивой энергией», с развитым чувством офицерской чести, ответственности. Володя — наивный, романтически-восторженный юноша. На вопрос старшего, «отчего меньшей вышел не в гвардию», он, «улыбаясь и краснея», отвечал, что «просился на войну» и «желал поскорей в Севастополь»: «...главное, я затем просился, что всё-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество» (4, 71).

Как мы помним, этими же патриотическими мотивами руководился при переводе из Дунайской армии и Лев Николаевич Толстой. Недаром он откровенно любит Володей, его молодостью. «Козельцов 2-й Владимир был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному, белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались лёгкой влагой. Русый пушок пробивался по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстёгнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотясь на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, — это был такой приятно-хорошенький мальчик, что всё бы так и смотрел на него» (Там же. С. 72).

Дальше братья решили ехать вместе. По пути в Севастополь, а это всего несколько вёрст, они успели и «наговориться почти досыта», и,



«Севастополь в августе 1855 года». Иллюстрация Бориса Зворыкина

чтобы узнать о месте расположения полка Михаила и батареи Володи, заехать к обозному офицеру, нечистоплотному и жуликоватому заведующему «обозом полка и продовольствием лошадей». Доехав до Михайловской батареи, братья оставили повозку и дальше пошли пешком. Постепенно восторженное настроение Володи, его «эстетическое наслаждение и героическое чувство самодовольства», что вот и он в Севастополе, начинало меняться: «он ощущал какую-то тяжесть на сердце». Всё, что он видел, слышал, чувствовал, было как-то несообразно с тем, что он представлял себе прежде. И, словно вторя состоянию Володи, «направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечной ровной чёрной линией от звёздного, светло-сероватого в слиянии горизонта; далеко где-то светились огни на неприятельском флоте [...] Впереди над Севастополем носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе: два солдата, шлёпая ногами по воде, прошли мимо него. [...] Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему всё казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо



в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, — казалось, всё говорило ему, чтобы он не шёл дальше, что не ждёт его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти». Порабощённая безумием человека, прекрасная, но и страдающая, уродующаяся, гибнущая природа контрастирует с юностью Володи, одним видом своим благословляющей Бога и взывающей о мире, о любви, о праве каждого жить и радоваться жизни. И впервые в сознании мальчика явилась мысль о смерти: «„Господи! Неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня!“ — сказал он шёпотом и перекрестился» *(Там же. С. 76, 80 – 82)*.

Узнав о ранении полкового товарища Михаила, Козельцовы пошли на перевязочный пункт. И снова Толстой, как и в первых двух сева-стопольских рассказах, приводит своих героев в госпиталь. Козельцову-старшему госпитальная обстановка знакома; для Володи же — всё впервые. И не случайно в этой короткой главе всё передано через восприятие Володи.

Выйдя с перевязочного пункта, Михаил и Володя расстались: это оказалось последнее прощание братьев. Каждый направился к своему месту назначения. Больше они не увидятся — оба 27 августа будут убиты при последнем штурме Севастополя.

Перед лицом даже неизвестной ещё смерти не испорченный вконец миром, не оцепеневший человек бывает тоскующе одинок. В природе человека заложена Богом потребность исполнения смыслов его жизни: от утилитарных и животных, каковы поддержание тела и репродукция, до высшего, единого, всеобщего: сотворчества Богу ради Царствия Его на Земле. Не служивший этому важнейшему поприщу, растративший себя служению миру либо же очень юный, не поживший человек — всенепременно тоскует перед лицом витальной опасности, в смертельной болезни или в близости от своей гибели. Для святого нет смерти, но для юного человеческого зверька она — обезумляюще и удушающе страшна. Расставшись с братом, Володя почувствовал себя именно так: тоскливо, ужасающе одиноко. «Вся его молодая, впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. „Убьют, буду мучиться, страдать, и никто не заплачет“. И всё это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. [...] „Один,

один! Всем всё равно, есть ли я, или нет меня на свете”, — подумал мальчик, и ему без шуток захотелось плакать». «Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжёлым холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянулся, не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: „Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! Я несчастное, жат кое создание!“» (Там же. С. 85 – 86).

«Но, может, уж поздно, уж решено теперь» — подумал он, содрогаясь частью от этой мысли (Там же. С. 82). Это тоже простая защитная реакция психики животных и человека как животного: перестать бояться и бороться, если «всё равно» уже опоздано спасением. Не выручает она Володю, и страх не сразу отступает от него.

«Истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе» преисполнен Володя Козельцов, явившийся на батарею (Там же. С. 86). И это чувство на время заслонило все остальные мысли и чувства. Ночью, «оставшись наедине со своими мыслями», мальчик прибегает к более действенным в таких ситуациях самообманам: казнит себя, испытывая «тяжёлое чувство презрения, отвращения даже, к самому себе»: «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» «Но вдруг мысль о Боге всемогущем» пришла ему в голову. И он стал молиться: «“Если нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это. Господи, — подумал он, — поскорее сделай это; но если нужна храбрость, нужна твёрдость, которых у меня нет, — дай мне их, избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить Твою волю”». Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидела новые, обширные, светлые горизонты. Много ещё передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стёкол» (Там же. С. 89 – 90).

Воля Бога в том, чтобы люди в Его мире учились и совершенствовались, устремляясь к Нему, а не нарушали во всехней великой его Мастерской технику безопасности и дисциплину. Так что на том поприще, на которое, повинувшись мирскому обману, встал Володя Козельцов, он никак не мог быть в воле Бога, и светлые туманные го-

ризонты, пригрезившиеся ему, не более чем «воспоминания о будущем» — о жизни, которую у него уже отнял обманувший его мир и которую ему не суждено уже прожить. Обманы церковно-православный и военно-патриотический торжествуют над юной своей жертвой — но дарят при этом Володе успокоение, уверенность, храбрость в бою, а перед боем — сонное забвение, подобное смертному сну человека, замерзающего в поле в метель. В дальнейшем, в анализе романа Л. Н. Толстого «Война и мир», мы покажем, как этот же, с участием сна, приём, глубокий, и трагичный, и (в отношении к взрослому миру), обличительный по содержанию, Толстой реализует в эпизодах участия в партизанском набеге и гибели юного Пети Ростова.

В следующих трёх главах Толстой переключил внимание на Михаила Козельцова, на его отношения с полковым командиром, офицерами, солдатами. В конце рассказа ещё одна глава посвящена старшему брату: в день штурма он героически погибает на пятом бастионе. Получив смертельное ранение в грудь, он спрашивает, выбили французов или нет. Из жалости ему говорят, что да, выбили. Он умирает, думая о брате и радуясь, что выполнил свой долг.

Все остальные главы — о Володе: о его знакомстве с офицерами батареи, с Влангом, о том, как он вытянул жребий идти на Малахов курган... Впервые юный прапорщик Козельцов шёл впереди своей «команды», он «не кланялся ядрам» и, казалось, «трусил даже гораздо меньше других», хотя раз двадцать «был на волоске от смерти». Легко и просто он сошёлся с солдатами: ему было хорошо, весело с ними... Наутро он уже командовал «двумя мортирками» (короткоствольными пушками) и «был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, по даже храбр, чувство командования и присутствие 20 человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было». И даже начальник бастиона «не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика, в расстёгнутой шинели, из-под которой видна была красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимися лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего...» (Там же. С. 110).

Не случайно Толстой рисует такой пленительный портрет Володи: в нём красота молодости, сила жизни... Тем разительнее финал этой сцены: на батарее, уже занятой французами, около Володи никого не было, только трусишка Вланг, яростно размахивая хандшпугом и крича: «За мной, Владимир Семёныч! Что вы стоите! Бегите!», бросился прятаться в траншею. «Вскочив в траншею, он снова выскочил из неё, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и всё это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших» (Там же. С. 115 – 116).

Небеса любят насмешничать над великими... «По косточкам» разобрав, очень критично, в 1903 году творчество Шекспира, раскритиковав его на примере пьесы «Король Лир», Толстой через несколько лет сам повторит, во многих чертах, мученический, прерванный смертью, путь несчастного её главного персонажа. В написанном немногим позднее, в начале 1905 года, «Послесловии к рассказу Чехова «Душечка», Толстой настаивал, что, желая «проклясть» Душечку, сделать из неё комического персонажа — Чехов вознёс, благословил её в её смиренной женственности:

«Есть глубокий по смыслу рассказ в «Книге Числ» о том, как Валак, царь Моавитский, пригласил к себе Валаама для того, чтобы проклясть приблизившийся к его пределам народ израильский. Валак обещал Валааму за это много даров, и Валаам, соблазнившись, поехал к Валаку, но на пути был остановлен ангелом, которого видела ослица, но не видал Валаам. Несмотря на эту остановку, Валаам приехал к Валаку и взошёл с ним на гору, где был приготовлен жертвенник с убитыми тельцами и овцами для проклятия. Валак ждал проклятия, но Валаам вместо проклятия благословил народ израильский.

23 гл. (11) «И сказал тогда Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?

(12) И отвечал Валаам и сказал: не должен ли я в полности сказать то, что влагает господь в уста мои?

(13) И сказал ему Валак: пойди со мной на другое место... и прокляни его оттуда».

И взял его на другое место, где тоже были приготовлены жертвы.

Но Валаам опять вместо проклятья благословил.

Так было и на третьем месте.

24 гл. (10) «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь и вот уж третий раз.

(11) Итак, ступай на своё место; я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести».

И так и ушёл Валаам, не получив даров, потому что вместо проклятья благословил врагов Валака.

То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь ли обещаниями Валака — популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его и которого видит ослица, и хочет проклинать, и вот благословляет.

Это самое случилось с настоящим поэтом-художником Чеховым, когда он писал этот прелестный рассказ «Душечка» (41, 374).

Чехов, по мысли Толстого, хотел дать в рассказе сатиру в духе Гоголя, а вышло у него вместо того — трогательное изображение лучших сторон женской природы.

С севастопольским циклом у «настоящего поэта-художника» Льва Николаевича Толстого получилось ровно наоборот, нежели с Валаамом: желая, и вполне искренне, будучи несомым волною патриотический чувств, если не вознести, не облагородить, то как-то оправдать войну — Толстой, именно как настоящий художник, проклял её! И не в первый уже раз...

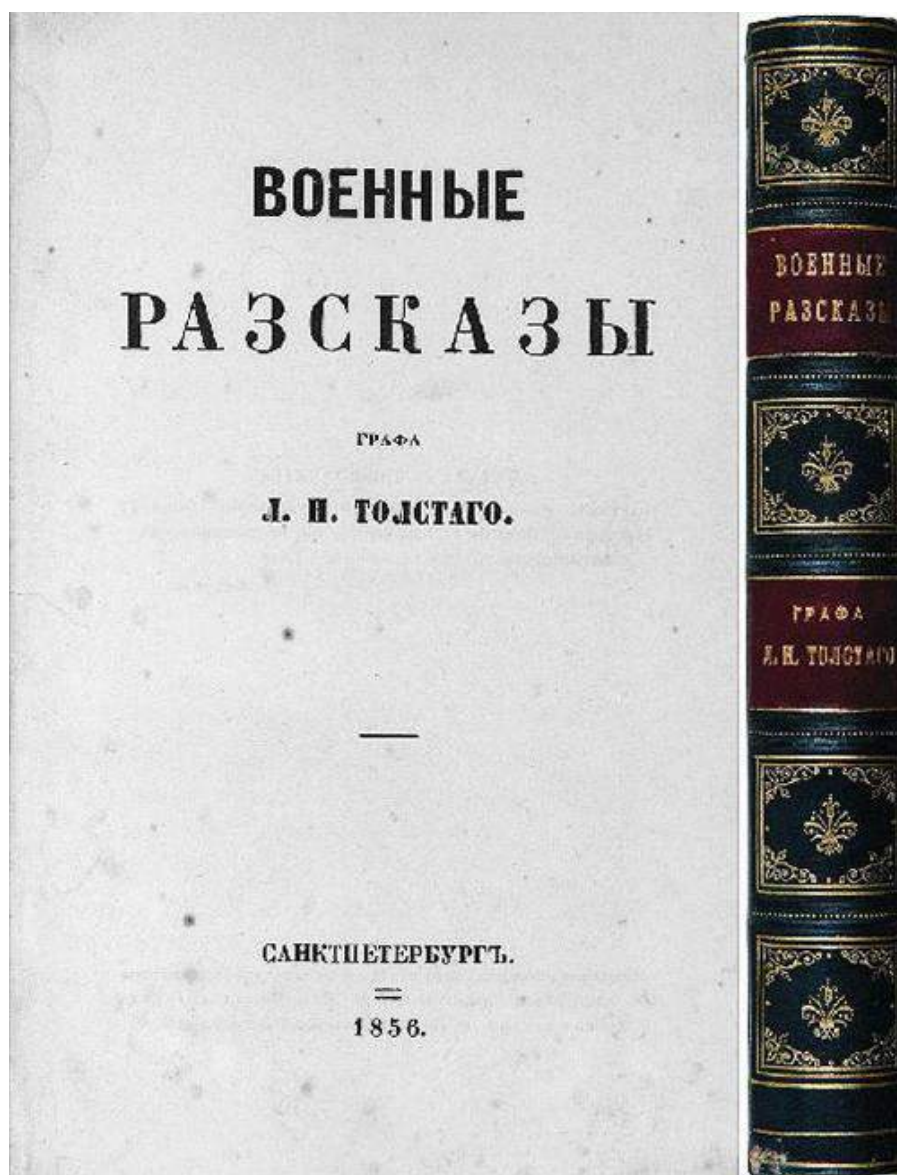
Гибель Володи Козельцова, очень прозаическая, незаметная, — зловещая закономерность войны. Так же прозаически гибнет юный прапорщик Аланин в рассказе «Набег», а в «Войне и мире» — пятнадцатилетний Петя Ростов. У всех у них жизнь только начиналась: по существу, они жили ещё тем, чтобы освоить социальные навыки и роли нормальной, мирной человеческой жизни. За остатки, ничтожные фрагменты которой среди страшной «бастионной» реальности, цеплялись и вверенные Володе солдатики — в большинстве своём прежде, от роду и по воспитанию, добрые, мирные крестьяне, рекрутированные подкупом, обманом или, чаще всего, принуждением в «государеву службу». Но среди этих ролей, подложенная служителями смерти, лукавыми князьями мира, как яблоко праматери Еве или как опасная игрушка малому дитя, самой привлекательной для вчерашних детей оказалась война — к сожалению, не игра, *не понарошку*.



В 1856 г. «Севастополь в августе...» Толстой напечатал в сборнике «Военные рассказы»: здесь появился новый финал рассказа, придавший сочинению эпическое звучание. Все три севастопольских рассказа стали великой школой писателя на пути к роману-эпопее «Война и мир».

Очень высоко оценили современники третий севастопольский рассказ. Все газеты, журналы расточали похвалы молодому автору; рассказ обсуждался в частной переписке: «Как вам нравится „Севастополь“ Толстого (Л. Н. Т.)? Я от этого Толстого жду чего-нибудь необыкновенного. Ему, кажется, Бог дал самородного таланту больше всех наших писателей», — делился впечатлениями о рассказе писатель и публицист И. В. Киреевский.

Три севастопольских рассказа как единое целое рассматривал А. В. Дружинин в статье, напечатанной в «Библиотеке для чтения» (1856. 9). Сопоставляя их с очерками об осаде Севастополя лучших французских и английских корреспондентов, он делал вывод, что ни одна из воюющих держав «не имела у себя хроникёра осады, который мог бы соперничать» с Толстым. «Всякий читатель, одарённый здоровым



Отдельное издание цикла военных рассказов Л. Н. Толстого. 1856 г.

смыслом, видел и знал», что в осаждённом Севастополе «находился настоящий русский военный писатель, одарённый зорким глазом, слогом истинного художника, писатель, готовый делиться с публикою историею всего им виденного и пережитого во время осады Севастополя».

---

## 1. 6. «КАЗАКИ»: ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ МОЛОДОСТИ

Об этой повести Льва Николаевича мы недаром говорим в завершение Первой главы нашей книги. Повесть эта — уникальная по значительности веха на распутье толстовских не только творческих, но и духовных исканий. Уникальна она даже количеством рукописного материала. Оно таково, что активные исследования и замечательные открытия, так или иначе связанные с этой повестью, происходили в научном толстоведении в течение всего XX века, продолжают и сейчас, и их результаты уже настолько значительны, что в научных работах ссылки не только на справочный аппарат, статьи и комментарии, сопровождающие публикацию повести в Полном собрании сочинений писателя, но и на текст самой повести, принято делать не на старое (Юбилейное) издание, точнее том 6-й, из далёкого 1936 года, а на тт. 4 и 4 (21), нового 100-томного Полного собрания сочинений, вышедшие на грани тысячелетий, в 2000 и 2001 гг. и содержащие итоги колоссальных трудов учёных вплоть до конца прошлого столетия.

Выделяется повесть и продолжительностью, с перерывами, её писания Львом Николаевичем: с августа 1853 по 1862 г. Почти десятилетие... И *какие* это годы в жизни Толстого! Сколько передумано и пережито! В 1851 году добровольцем он отправился на Кавказ; ему пришлось прожить 5 месяцев в пятигорской избе, ожидая документы. Значительную часть времени Толстой проводил на охоте, в обществе казака Епифана Сехина («Епишки» или даже «Япишки» в Дневнике Толстого), прототипа дяди Ерочки из будущей повести. Но это лишь подробность внешней биографии, относящейся к повести... Через годы уже после оставления службы, в конце апреля — начале мая 1859 г., Толстой так исповедался о значении «кавказской школы» в своём духовном становлении в письме к А. А. Толстой:

«Ребёнком я верил горячо, сантиментально и необдуманно, потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счёл за заслугу разрушить её. Без неё мне было очень покойно жить лет 10. Всё открывалось перед мной ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что всё стало открыто, тайн в жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это же время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог по-



нять, чтобы человек мог прийти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошёл тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда*, как в это время, продолжавшееся 2 года. И всё, что я нашёл тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 2 лет умственной работы я нашёл простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашёл, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашёл мало. Я не нашёл ни Бога, ни Искупителя, ни *таинств*, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучался, и ничего не желал, кроме истины. ...Редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался с своей религией, и мне хорошо было жить с ней» (50, 293 – 294).

Это воспоминание значительно тем, что под ним практически мог бы «подписаться», как под своим, главный персонаж повести «Казачи», юнкер Дмитрий Андреевич Оленин. Но если юнкер Толстой в 1852-м ещё смело мечтал о мирском успехе на выбранном поприще службы, о славе и любящих женщинах, то через десятилетие Толстой столь же смело подвёл своего литературного «двойника» к некоторому экзистенциальному фиаско.

Молодой Лев безусловно нащупывает верный путь — к Богу и Христу, к недогматическому, первоначальному христианству, то есть к Истине. Но совершенно преждевременно полагает тогда, в первой половине 1850-х, что хотя бы твёрдо встал на этот путь — не говоря уже о том, чтобы пройти по нему довольно, чтобы об Истине и о Боге утверждать что-либо наверняка. Такой поиск себя и Бога в себе же не уберёт молодого писателя, равно как и главного персонажа его будущей повести, от увлечений и соблазнов мира. Как мы показали в предшествующей части завершаемой теперь Главы, воспитанные в ребёнке чтением и воспитателями симпатии к военной службе, романтические представления о Кавказе и Кавказской войне сменились разочарованием и реалистическим видением и горцев, и русской военщины, и самой войны, а по отношению к нравам, царившим в николаевской армии — даже отвращением, которое в условиях Крымской кампании дополнилось сожалением о напрасно погибавших солдатах, состраданием к ним, как военным рабам империи и обманывающих, грабящих их офицеров и желанием Толстого

личного участия в переменах этого положения к лучшему, усилившимся настроениями, последовавшими за смертью императора Николая I.

Что касается второй половины 1850-х, значительной иллюстрацией ступени духовного развития и стадии на пути к отвержению военного насилия тогдашнего Толстого могут послужить сведения из первой заграничной поездки писателя в 1857 году. Выше мы уже останавливались на значительнейшем сюжете этой поездки: когда в состоянии, близком к позднейшей, 1869 года, известной «арзамасской тоске», то есть в депрессии, вызванной навязываемым Парижем путешественникам рассеянным полубезделием, Толстой 6 апреля 1857 года становится очевидцем публичной смертной казни преступника, зрелище которой в одно утро уничтожает в нём прежние симпатии к общественному строю Франции. В Париже ему делается нестерпимо, и уже на следующий день он уезжает в Швейцарию, в Женеву, где в то время живёт его двоюродная тётка Александра Андреевна (Alexandrine) Толстая.

В Женеве Толстой пробыл почти две недели. Здесь он проводил время в том, что любовался природой, наблюдал «здесьшний свободный и милый народ», как писал он тётушке Ёргольской 17 апреля, читал и писал.

Здесь же, как и позднее, в 1870-е годы, Толстой испытывает себя в «вере отцов», в православии. «Видя нас всех говеющими, — рассказывает А. А. Толстая в своих «Воспоминаниях», — Лев тоже собрался говеть» (*Толстая А. А., гр. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом // Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857 – 1903). М., 2011. С. 13*). Но Толстой уже не смотрел, как в детстве, на исповедь, как на «таинство»: отметив в своём Дневнике, что он исповедовался, он счёл нужным для себя самого тут же прибавить оговорку: «хорошее дело во всяком случае» (47, 123).

Вера в церковные догмы в нём к этому времени уже совершенно исчезла, зато из юности вынесена была — и пронесена через всю жизнь — вера в возможность сделаться лучше, руководясь учением и примером земной жизни Христа. А. А. Толстая в своих воспоминаниях пишет об этом следующее:

«Он постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинув прошлое, как изношенное платье, облечься в чистую хламиду. С какою наивностью мы оба верили тогда в возможность сделаться в один день другим человеком — преобразиться совершенно, с ног до головы, по мановению своего желания.

[...] Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для

любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях.

Разговоры наши клонились большею частью к религиозным темам, но едва ли мы друг друга понимали» (*Толстая А. А., гр. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом // Указ. изд. С. 14*).

Действительно, Александра Андреевна и в отношениях своих с Богом оставалась тем же мирским, совращённым миром человеком, что и в придворной службе — в то время в качестве фрейлины великой княгини Марии Николаевны (1819 – 1876), герцогини Лихтенбергской. Ей, как и супруге Толстого, никогда не суждено будет сполна уразуметь этого родственно близкого и искренне любимого ими человека.

Сообщение А. А. Толстой об «отрицательном» настроении Толстого подтверждается записью его в Дневнике, в которой он выражает сожаление об утрате веры. Познакомившись с настоятелем русской церкви в Женеве Петровым, Толстой 11 мая записывает в Дневнике, что это человек «умный, горячий и знающий своё дело», «аскетик» (то есть аскет), и тут же прибавляет: «прошу Бога, чтобы он дал мне эту веру» (47, 127). Но, не имея веры в церковные догматы, Толстой уже тогда принимал нравственное учение христианства, считая его спасительным для человечества. При этом он не придавал никакой цены работам различных несогласных между собой историков, занимавшихся разыскиванием данных о жизни Христа. По этому поводу он делает в записной книжке следующую запись: «Дали людям учение счастья, а они спорят о том, в каком году, в каком месте и кто им дал это учение» (47, 205).

Много времени Толстой посвящал чтению. Кроме художественных произведений, Толстой читал также книги по истории Французской революции (например, труд Токвиля «Старый порядок и революция») и по истории Швейцарии, а также положение о швейцарской конституции.

Историческое чтение навело Толстого на ряд мыслей об исторических событиях, которые он занёс в свою записную книжку.

Питая чувство отвращения ко всякому кровопролитию, в том числе и к кровавым государственным переворотам, Толстой в желательном для него свете понимает и ход исторических событий. Убеждённый в том, что «кровь — зло одно», он объясняет слабость французской Директории 1795 года тем, что в революцию «всех перебили, не осталось людей», а успешность переворота, произведённого Наполеоном в 1799 году, тем, что при этом перевороте «не было крови» (47, 205). С возмущением отмечает Толстой в своём Дневнике звер-

ство Наполеона, по приказанию которого, во время франко-турецкой войны 1799 года, весь сдавшийся французам турецкий гарнизон города Яффы в количестве 4000 человек был истреблен за убийство французского парламентёра.

В целом можно сказать, что, в отличие от веры в догматы и таинства, заповедь «Не убий» и в эти годы не исчезала для православно воспитанного Л. Н. Толстого, не уходила за умозрительные горизонты, хотя, в целом, в системе значимых, влиявших на его поступки мотиваций именно христианская вера по-прежнему отступала, с одной стороны, перед моральным и эстетическим отвращением к убийству, перед светским гуманизмом, с другой же — перед результатами эмоционального заражения патриотизмом, так же хорошо «прилипавшим» к подготовленной воспитателями морально-психологической основе.

Таков был Толстой 1850-х – начала 1860-х годов. Таков и персонаж писанной в эти годы — и главной за эти годы в раскрытии Толстым тематики войны и мира — повести «Казачи», к работе над которой он вернулся в эти дни швейцарской «тёплой ванны» для чувств. Получив достаточно негативные впечатления от чтения романов Бальзака и Дюма и найдя их «мелкими», а Дюма и весьма развратным, Толстой, с не изменившим ему эстетическим и этическим чутьём, делает образцами для своего повествования древнейшие и высочайшие эпические шедевры — «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Вообще писательская работа Толстого периода его швейцарской жизни в 1857 г. определялась его общим душевным состоянием. Один из главнейших для него этических постулатов художественного творчества в той же записной книжке, в записи на 10 апреля 1857 г., он сформулировал следующим образом: «Евангельское слово “не суди” глубоко верно в искусстве: рассказывай, изображай, но не суди» (47, 203).

Примечательно, что сам образ офицера, поселившегося в станице с казаками, появляется в рукописях Льва Николаевича не ранее 1857 года — то есть, по итогам и даже по осмыслению уже всего военного опыта Толстого, вышедшего к этому времени в отставку.

Одна из особенностей повести в том, что феномен военного убийства исследуется Толстым в условиях, в некотором смысле, «лабораторных»: в среде не «русского мира» с его рабами и господами, развратным офицерьём и всетерпеливыми, но готовыми от такой жизни хоть сегодня умереть «за царя и отечество» солдатами, не в бивачных, бастионных или походных условиях, а в мирной повседневности гребенских казаков, свободолюбивого народа, для которого военная служба и периодические стычки с горцами, скорее,

часть их повседневной мирной, и очень нравственной даже (гребенцы были старообрядцами) жизни, а не перерыв в её течении, как для царских рекрут и их военных начальников. Поэтому и мы здесь сосредоточимся именно на этом феномене, убийстве по военной «необходимости», и на отношении к нему Толстого, шагнувшего за годы писания повести из юности в молодость, и даже в первую зрелость.

В повести, как общеизвестно, две значительные сюжетные линии: поиск себя одним из любимых персонажей Толстого, Дмитрием Андреевичем Олениным, ради чего он оставил развративший его и измучивший город, светскую жизнь и, подобно самому Толстому, записался в юнкера, в военную службу и поселился в станице гребенцов Новомлинской (под этим названием, как полагали биографы Толстого П. И. Бирюков и Н. Н. Гусев, представлена станица Староладовская). Другая сюжетная линия связана с казаком Лукашкой и возлюбленной его, дочерью хорунжего, своенравной казачкой Марьяной. Эпизод убийства Лукашкой чеченца, «абрека», стал сюжетобразующим в повести «Казачьи». Молодому казаку, как говорили товарищи, «счастье Бог дал: ничего не видавши, абрека убил». Толстой описывает убитого: «Чеченец был убит в голову. На нём были синие портки, рубаха, черкеска, ружьё и кинжал, привязанные на спину. [...] Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошёл к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. [...] Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль рёбер. Синеватая свежесбрита голова с запёкшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Серия 1. Художественные произведения: В 18 т. Т. 4. С. 36 – 38. Далее ссылка цифры: том, страница). Ничего нет ужасного, нечеловеческого, враждебного в облике мёртвого чеченца. Даже сам Лукашка почувствовал это: «“Тоже человек был!” — проговорил он, видимо любясь мертвецом» (Там же. С. 38).

Убийство не принесло счастья молодому казаку: в конце повести Лукашка сам погибает от пули абрека. Такое «воздаянье», по мысли Толстого, рано или поздно непременно должно настичь пролившего кровь, и не только по личной недоброй воле, но и по «служебной» необходимости — таков неписанный Высший закон. На этом и построена главная сюжетная линия повести.



**Оленин, Лукашка и конь.**

Иллюстрация З. Е. Пичугина к повести Л. Н. Толстого «Казачья жизнь»

Уже в самых ранних рукописях будущих «Казачьих», того периода, когда повесть носила ещё первоначальное, «рабочее» название «Беглец», один из героев, казак Гурка, муж Марьяны, отличился в набеге. Старик «дядя Епишка», будущий дядя Ерошка, говорит о нём, своём крестнике: «...Я радуюсь своему сыну хресному, не то, что он домой пришёл, а то, что он молодец — чеченца срубил и коня привёл» (*Там же. Т. 4 (21). С. 21*). В казацкой станице считают, как говорит в другой ранней рукописи казак Кирка, что до тех пор «не казак, пока чеченца не убьёшь» (*Там же. С. 85*). Но здесь уже совсем иное произносит старый Ерошка, «увидав ясно человеческое тело на отмели»: «Дурак, дурак! — сказал он, — не знаешь кого, а убил. Зачем убил? Дурак, дурак!». Далее Толстой в нескольких словах описывал убитого: «Ясно видно было тело с бритой головой, в синих портках, с

суком и мешком за плечами. Из головы текла кровь». Наконец, и сам Кирка (будущий Лукашка), глядя на дело рук своих, скажет почти то же, что появится в окончательном тексте: «Ведь тоже человек был» (*Там же. С. 95*).

Похожие мысли посещают офицера Ржавского (прообраз Оленина в первой редакции «Казачков»). В письме приятелю он описывал, как «ловили абреков», которые «засели в бурунах», описывал «ужас», который «застлал глаза» ему, когда слышались «выстрелы, крик, стон» и когда он увидел убитых: «Эти чеченцы рыжие, к<оторые> минуты тому назад были чужие, неприступные, лежали тут убитые и раненые. Один был жив. У каждого было своё выражение; все были люди, особенные. Казаки, запыхавшись, растаскивали» (*Там же. С. 135 – 136*). Некоторые формулировки, черты, детали, найденные Толстым на этой ранней стадии работы над будущими «Казачками», почти без изменения пройдут через все редакции и войдут в окончательный текст повести.

Во второй редакции первой части офицер Ржавский во 2-м письме к своему приятелю размышлял о Кирке, который «отличился с месяц тому назад, убил чеченца и с тех пор, как кажется, и загулял. У него уже есть лошадь и новая черкеска. Он иногда приезжает в станицу и держит себя аристократом, гуляет с товарищами и с хорунжим [...], держит себя гораздо самостоятельнее». И далее: «Странное дело, убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А ещё говорят, человек разумное и доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это ещё меньше уродливо, потому что проще» (*Там же. С. 143*).

Но недаром фамилия у этого прообраза красавца Оленина — Ржавский, от ржавчины: минутное прозрение его к мерзостям собственного его «русского мира», преступлениям его родной Российской Империи и всей лжехристианской цивилизации тут же погасает, склоняя Ржавского от судьбоносных в своём потенциале, но бесплодных в его случае антивоенных обобщений к умонастроению обыкновенного «представителя цивилизации» среди туземцев:

«Убийство человека вдруг из мальчишки сделало Кирку человеком. И растолковать ему, что в этом деле нет ничего хорошего, так же трудно, как [зверю] волку доказать, что нехорошо есть овец». Радость и «самодовольная улыбка» Кирки рождают в душе Ржавского недоумение и вопросы: «И чему радуется? — думал я, — а радуется искренно, всем существом своим радуется». Невольно мне представлялась мать, жена убитого, которая теперь где-нибудь в ауле плачет,

бьёт себя по лицу. Глупая штука жизнь, везде и везде» (*Там же. С. 143 – 144*).

А между тем, по мере продвижения работы Льва Николаевича над повестью, в черновиках заметно изменяются характеры героев, мотивация их поведения, их оценка ситуации... И вот уже Лукашка, прежний Кирка, убивший абрека и потому счастливый и возвысившийся в собственных глазах, начинает глубоко внутри себя чувствовать что-то новое, странное: он «не отрывая глаз смотрел на мертвеца, и прекрасные глаза его принимали более и более задумчивое выражение» (*Там же. С. 210*).

Персонажи повести, от более ранних черновых вариантов к позднейшим, всё далее отходят от стереотипов имперских «цивилизаторов» и «усмирителей». Вплоть до того, что способны, не зная этого, к нравственному укору и обличению николаевской военщины. Вот дядя Ерошка — уже, кстати, в окончательном варианте повести — рассказывает Оленину свои мысли, проистекающие из личного его опыта общения с жестоким «русским миром», который сразу напечалит нам страшную сцену в раннем рассказе Л. Н. Толстого «Набег»:

«А то раз сидел я на воде; смотрю — зыбка сверху плывёт. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребёночка убил какой чёрт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружьё, на нашу сторону пошёл грабить. Всё сидишь, думаешь» (*Там же. Т. 4. С. 54*).

И этот взгляд на «русско-мирную» сволочь, по свидетельству Льва Николаевича — взгляд не одного старика Ерошки (за которым, напомним читателю, стоит реальный прототип с теми же убеждениями — Епифан Сехин), но всех терских и гребенских казаков — людей диковатых, но со здоровым нравственным «ядром»:

«Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терекон, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. [...] Ещё до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем



солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами» (*Там же. С. 18*).

Казакам претит преднамеренная планомерность и обязательность «государевой» службы — солдатское рабство с его автоматизмом и безжизненным исполнением, с отвращением более нравственных, чистых из солдат к своему офицерскому начальству. Казаки вовсе не считают «православное воинство» болотного царя за своих товарищей — это стало открытием для Оленина! Даже добрый дядя Ерощка однажды, когда Оленин сопровождал его на охоте и сильно шумел в лесу, не удержался от замечания шёпотом: «Не шуми, тише иди, солдат!» (6, 72).

И, будто для посрамления просвещённости Оленина-Ржавского, косноязычно, но искренне старик сам прибегает к нравственно-метафизическим обобщениям о «законах», по которым живут и люди, и звери, все «твари Божии», закончив вдруг выводом о жизни человеческой вполне в духе помышлений своего слушателя: «Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек!» (*Там же. С. 54*).

Этот ночной разговор Оленина со стариком-казаким завершается короткой сценой: «Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин всё ходил и ходил, о чём-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошёл к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались весёлою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поёт? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

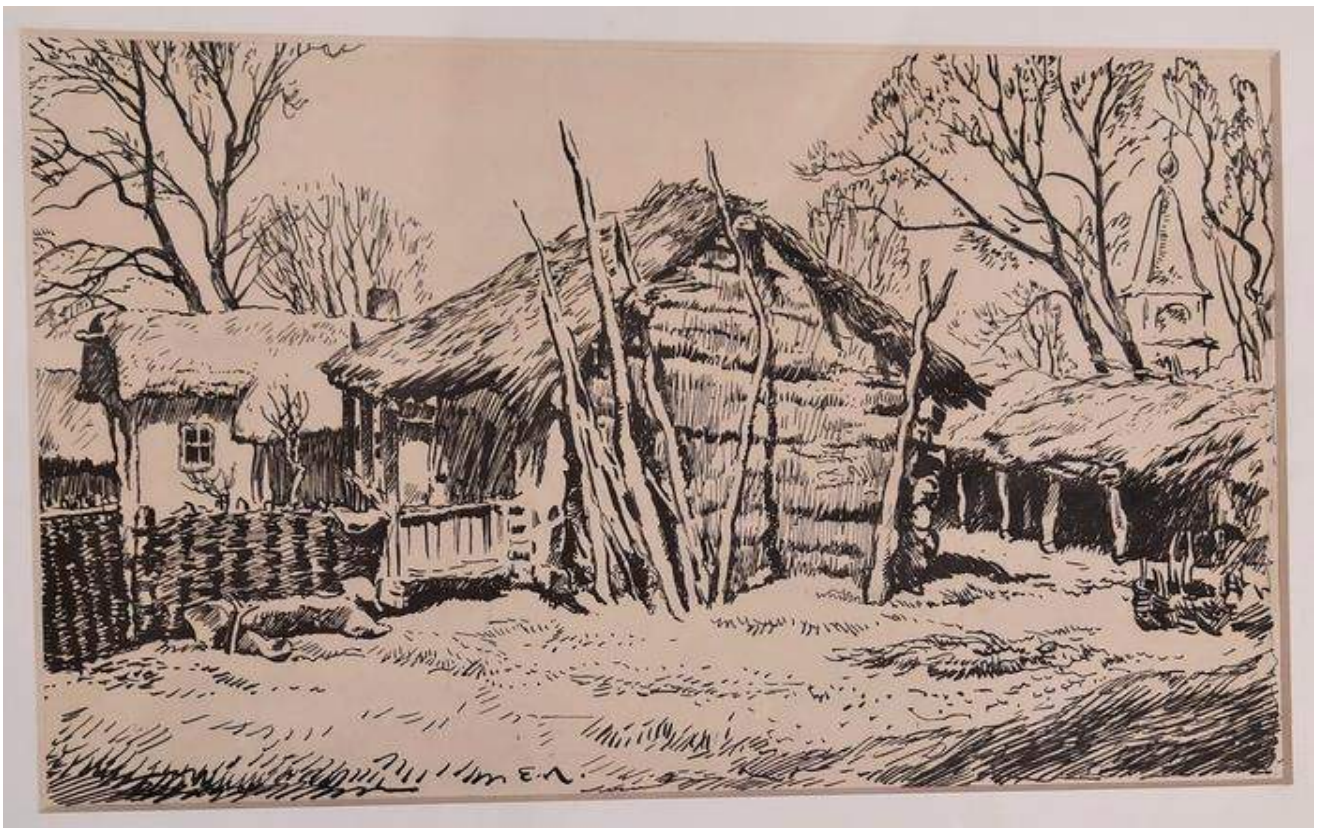
— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул своё лицо к лицу Оленина.

— Чёрт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено!» (*Т. 4. С. 55*).

Уезжая от светского разврата на службу военную, Оленин стремился послужить этим и спасению, очищению своей души. И вот он от близкого к природе, к живой жизни и Богу существа, от бессознательного, но посылно послушливого дитя Его, от простого казака, узнаёт, как откровение, что вся его жизнь, даже самая пассивная,

на военной службе — погубление души, а не очищение, не спасение. Правда, этому «погублению души», как раб внушённой воспитанием мирской лжи, отдал в молодости дань и сам дядя Ерошка, который «был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел» (4, 55 – 56). Много лет спустя, прочитав повесть Толстого, один из кавказских старожилков писал о Сехине: «В станице Старогладковской я нашёл современника дяди Епишки и, читая ему “Казачи”, старался что-нибудь услышать от него, чтобы дополнить образ Епишки – “Ерошки”. Всё, что о нём сказано у Льва Николаевича, изображено с фотографической точностью... Среди жителей станицы о Епишке сохранилась дурная слава: он ходил за Терек и из-за Терека приводил чеченцев. Ему в молодости было одинаково грабить и своих и чеченцев» (Из письма П.А. Цырульниковца 1916 г. // Дневник молодости Л.Н. Толстого. М., 1917. Т. 1. С. 215. – Цит. по: Бурнашёва Н.И. Епифан Сехин // Лев Толстой и его современники. Энциклопедия: 2-е изд. М., 2010. С. 459). Но старость взяла своё, смирила прежнего удальца — и заставила на многое открыть глаза...



Станица Старогладковская. Двор деда Епишки. Худ. Е. Е. Лансере. 1928

Мудрость старого казака, сама личность и жизнь его невольно притягивали Оленина, рождали вопросы, заставляли задуматься. «Что за люди, что за жизнь!» (4, 55) — думал он, вглядываясь и в самого дядю Ерошку, и в быт и обычаи казацкой станицы Новомлинской, и в радости и веселье молодых казаков.

Молодечество Лукашки вызывало противоречивые чувства: в той мере, в какой сам он, Дмитрий Оленин, был с юных лет испорчен мирским обманом, удадь, весёлость Лукашки отзывались в душе его, с одной стороны, восхищением («какой молодец»), с другой же — «цивилизаторским» кичливым сожалением о «его необразовании»: «Что за вздор и путаница? — думал он. — Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?» (4, 74). ««Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке. — Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?» Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял всё, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений». Оленину же многое непонятно в этом юном дитя природы, хотя он и «был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака», по-своему «так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер!», даже подарил ему своего коня и оттого «был счастлив, как двенадцатилетний мальчик», на деле испробовав «свою новую теорию счастья» (Там же. С. 75, 77 – 78). Но в то же время в душе его постоянно свербил вопрос: «Да что, тебе не страшно, что ты человека убил?» — спросил Оленин Лукашку (Там же. С. 76).

Но Лукашке не страшно: как не страшно было Толстому под Севастополем. К поступкам, актуализирующим, под влиянием внушения воспитывающей среды либо витальных стрессов, низшие поведенческие программы человека как агрессивного территориального животного, спонтанные реакции, обеспечивающие выживание и социализацию, индивид привыкает быстро. Это разумное и доброе нуждаются в усилиях человека, в слёзной молитве и помощи Божией.

Но вот настают и для юнкера день и момент жестокой истины. Через несколько дней вместе с казаками Оленин поехал «абреков ловить»: ему «хотелось непременно посмотреть абреков» (4, 126). «Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки»

(Там же). Толстой по-лермонтовски грустно-безжалостен и в своём насмешливом юморе.

Въехав на бугор, откуда всё можно было рассмотреть, Оленин видел и слышал, что происходило у чеченцев: «чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню» (Там же). А вслед за тем Оленин услышал «несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось». Когда он подбежал к казакам, «ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что всё кончилось. Лукашка, бледный, как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: “Не бей его! Живого возьму!” Чеченец был тот самый, красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нём и под ним становилось больше и больше».

И в финале — картина, напоминающая нам о ещё отдалённом по времени написания «Хаджи-Мурате»: «Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздражёнными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь ещё защищаться. Хорунжий подошёл к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал». А потом «казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие», и словно мимоходом Толстой (а может быть, и Оленин) замечает: «Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было своё особенное выражение» (4, 127). Обыкновенное на войне расчеловечение врага не помогло Оленину.

Домой «Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел» (Там же). Марьяна прогоняет его от себя, ощутимо, сильнее скорбя о перебитых казаках и, особенно, о Лукашке: «Никогда ничего тебе от меня не будет. Уйди, постылый!» (Там же. С. 128). Не только отношение реалистичной вполне казацкой красавицы, издевающееся как над преждевременно счастливым Олениным, так и над романтической традицией «горских» повестушек в русской литературе — но и эти убийство абреков и гибель казаков заставило главного персонажа скоро уехать из станицы.



«Уйди, постылый!» Илл. З. Пичугин

Повесть «Казачи» была завершена и напечатана непосредственно перед началом работы Толстого над крупнейшим батальным полотном «Войны и мира», о котором мы поведём речь уже в особенной главе. Судьбы нескольких сотен самых разных персонажей, почти все из которых так или иначе прошли через войну или соприкоснулись с ней, открывали автору широкие возможности, чтобы наконец понять и показать, «под влиянием какого чувства убил один солдат другого». Но едва ли можно считать, что и в этом величайшем произведении о войне Толстой смог наконец *ответить* на свой давний вопрос, ибо прибегнул к прежней особенности сюжетостроения: «толстовские» персонажи «Войны и мира» — *не убивают*. Этот ответ Толстым к началу 1860-х только лишь «нащупан» средствами писателя, художника, а на религиозном незыблемом фундаменте дан лишь через 20 лет.

**ЗДЕСЬ КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ**

Прибавление к Главе Первой

**«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ»  
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО**

**I. Текст песни**

Как четвёртого числа  
Нас нелёгкая несла  
Горы отбирать. *(bis)*

Барон Вревский-генерал  
К Горчакову приставал,  
Когда под-шафе: *(bis)*

«Князь, возьми ты эти горы,  
Не входи со мною в ссору,  
Не то донесу». *(bis)*

Собирались на советы  
Все большие эполеты,  
Даже Плац-Бекок. *(bis)*

Полицмейстер Плац-Бекок  
Никак выдумать не мог,  
Что ему сказать. *(bis)*

Долго думали, гадали,  
Топографы всё писали  
На большом листу. *(bis)*

Чисто вписано в бумаги,  
Да забыли про овраги,  
Как по ним ходить. *(bis)*

Выезжали князья-графы,  
А за ними топографы  
На большой редут. *(bis)*

Князь сказал: «Ступай, Липранди»,  
А Липранди: «Нет-с, атанде,  
Нет, мол, не пойду. *(bis)*

Туда умного не надо,  
Ты пошли туда Реада,  
А я посмотрю». *(bis)*

Вдруг Реад возьми, да спросту,  
И повёл нас прямо к мосту:  
«Ну-ка, на уру». *(bis)*

Мартенау умолял,  
Чтоб резервов обождал, —  
«Нет, уж пусть идут». *(bis)*

Генерал же Ушаков,  
Тот уж вовсе не таков,  
Всё чего-то ждал! *(bis)*

Долго ждал он дожидался,  
Пока с духом он собрался  
Речку перейти. *(bis)*

На уру мы зашумели,  
Да резервы не успели,  
Кто-то переврал. *(bis)*

На Федюхины высоты  
Нас пришло всего три роты,  
А пошли полки. *(bis)*

Наше войско небольшое,  
А француза было втрое  
И секурсу тьма. *(bis)*

Ждали — выйдет с гарнизона  
Нам на выручку колонна,  
Подали сигнал; *(bis)*

А там Сакен-генерал

Всё акафисты читал  
Богородице. *(bis)*

А Белевцев-генерал,  
Он всё знамя потрясал,  
Вовсе не к лицу. *(bis)*

И пришлось нам отступать

.....  
Кто туда водил. *(Bis)*

*(Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. – Художественные произведения: В 18 т. Т. 2. М., 2002. С. 241 – 242).*

## II. Комментарий

«Песня про сражение на реке Чёрной 4 августа 1855 года» — солдатская песня, составленная, частично, на слова Л. Н. Толстого. В 1925 году В. И. Срезневский ввёл собирательный термин «севастопольские песни», который объединяет данную песню и «Как восьмого сентября...» (*Срезневский В. И. К вопросу о принадлежности Л. Н. Толстому севастопольских песен // Литературная мысль. — Л., 1925. Т. III. С. 387 – 392*).

Песня в сатирическом ключе описывает события сражения на Чёрной речке, а также связанные с ним действия российского генералитета. Русская орда неожиданно напала на французов и прорвалась до вершин Федюхиных высот. Но передовые «герои», как это частенько на России и бывает до сего дня, не были поддержаны резервами вследствие «крайней нераспорядительности», как было писано в официозах, а проще сказать — халтурной некомпетентности, бездарности и глупости начальства. Им пришлось несколько раз отступать и возобновлять атаки. Неодновременное вступление в бой разных частей войск повело к полному поражению атаковавших. Результат сражения для россиянцев был убийственным. По официальным данным, их армия потеряла в этом сражении 260 офицеров и 8 010 нижних чинов; по неофициальным, потери доходили до 10 000 (почти половина – убитыми и пропавшими без вести). У союзников выбыло из фронта около 1 800 человек, то есть в 4-5 раз меньше; из них погибли только 172 солдата и 19 офицеров.

Толстой сам был участником этого дела и в тот же день, 4 августа, писал из Севастополя Т. А. Ёргольской в Ясную Поляну: «Сегодня, 4



числа, было большое сражение. Я там был, но мало участвовал. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было проиграно. Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты» (59, 325). На следующий день короткая запись в дневнике: «3 и 4 был в походе и в неудачном, ужасном деле...» (47, 58). Об этом же сражении писал Толстой из Бахчисарая брату С. И. Толстому 7 августа: «...я всё-таки пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; впрочем, я ничего не делал, потому что моей горной артиллерии не пришлось стрелять» (59, 327).



Первая публикация двух «Песен крымских солдат».  
Альманах «Полярная звезда», 1857, № 3

Слова песни «Как четвертого числа...» были сочинены в первой половине августа 1855 года. По замыслу Толстого, текст должен был исполняться на мотив широко известного на тот момент музыкального произведения. Сын писателя, композитор и музыковед С. Л. Толстой утверждал, что автор слов опирался на мелодию цыганской песни «Я цыганка молодая, цыганка не простая, знаю ворожить» (Толстой С.Л. *Очерки былого. Тула, 1975. С. 377*). По позднейшим предположениям исследователей (Е. Бушканец), «Песня...» исполня-

лась на мотив «Под Силистрию ходили...», а непосредственным прообразом текста стало стихотворение «За горами, за долами Бонапарте с плясунами...» — странное сочинение, приписываемое иногда “народному творчеству” аж 1810-х гг. (см. напр.: <http://www.notarhiv.ru/ruskomp/shostakovich/stranizi/Zagoramizadolami.html>), но на самом деле имеющая вполне установленное авторство — *Ильи Михайловича Коваленского* (1790 – 1855), сына рязанского губернатора, и время публикации — «Вестник Европы», 1813 г., № 9 (под заголовком «Народная песня», без имени автора, но с пометкой “с. Чёрная Слобода”; там находилось имение Коваленских).

Примечательно в связи с этим, что, если песня И. М. Коваленского “обслуживает” официальный миф о всенародной победе России в войне с «агрессором» Наполеоном, то песня «Как четвёртого числа...» — сатирически, хлёстко бьёт по “слабым местам” империи и её военщины, одновременно сочувствуя участи простых солдат.

11 сентября 1855 г. подполковник *Порфирий Николаевич Глебов* (1810 – 1866), в то время командир конной батареи, отметил в своих записках: «Говорят, сложена новая песенка на 4-е августа. Между прочим, в ней барон Вревский очень просит князя — взять горы, чтобы не было с французом ссоры, князь посылает Липранди, а он говорит: "Атанде, я не пойду: для этого ума не надо, пошлите генерала Реада, а я посмотрю". И в таком роде написана вся песня» (*Записки Порфирия Николаевича Глебова // Русская старина. 1905. Март. С. 525*). Здесь надо заметить, что сам Порфирий Николаевич был не меньше Толстого честен и правдолюбив, и в феврале 1849 г. был отрешён от командования батареей, а 25 марта предан военному суду за то, что уличил своего (3-й конной артиллерийской дивизии) начальника, генерала Куприянова, в хищениях казённого имущества. Приговор был суров: «содержать под арестом около 6 лет, выдержать его ещё в крепости в каземате 2 месяца и определить на службу, не вверяя ему отдельной части, пока заслугами своими не обратит на себя внимания начальства, и взыскать с него судебных издержек 621 руб. 5¾ коп. серебром». Манифест о восшествии на престол Александра II уменьшил шестилетний срок наполовину, а начавшаяся война дала Порфирию Николаевичу возможность явить «заслуги» для совершенного прощения. Но неприятный осадок остался — как и весьма либеральные убеждения... При этом замечательный человек Глебов долгое время не знал лично Толстого, оттого страницы его записок, с ним связанные, не лишены субъективизма и неточностей.

13 сентября Глебов в записках снова упоминает о графе Толстом: «4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его пистолетиков <т. е. лёгких горных орудий. – Р. А.> в дело, так как занимал позицию батарейными орудиями. [...] Говорят про него также, будто он, от нечего делать, и песенки пописывает, и будто бы на 4-е августа песенка его сочинения» (Там же. С. 528 – 529).

«Песня про сражение на реке Чёрной» очень быстро приобрела широкую популярность, вышедшую далеко за пределы Севастополя. 23 января 1856 года Николай Александрович Добролюбов занёс в дневник слова обеих «севастопольских песен», после чего отметил: «Не знаю, как в Крыму, но в Петербурге эти песни имеют большой успех. Их читают и списывают. Мне случалось встречать офицеров, которые знают их наизусть...» (Добролюбов Н. А. Дневник 1856 года // Собрание сочинений: В 9 т. — М. – Л., 1964. Т. 8. С. 491). Некоторые строчки песни («Гладко вписано в бумаге, // Да забыли про овраги», «Туда умного не надо, // Ты пошли туда Реада») сразу же сделались крылатыми выражениями.

7 ноября 1855 года А. Н. Толстой отметил в дневнике: «В[еликий] К[нязь] знает про песню. Ездил объясняться с “Екиммахом молодцом”» (47, 97). Генерал артиллерии Алексей Абрамович Якиммах (1805 – 1866) провёл в Крыму около трёх месяцев и в это время участвовал в сражении на Чёрной речке и на Федюхиных высотах.

Три дня спустя Толстой отправил письмо брату Сергею Николаевичу, в котором изложил события минувших дней более подробно: «Вел. Князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недоволен особенно тем, что, будто бы, я учил её солдат. Это грустно, я объяснялся по этому случаю с начальником штаба» (60, 107). По мнению В. И. Срезневского, в этом письме «слова “будто бы” [...] написаны только из осторожности, необходимой для сохранения тайны» (4, 419. *Комментарии*). Как были приняты объяснения Толстого, сведений нет, однако 5 декабря писатель сообщил тому же адресату, что обстоятельства, как ему кажется, изменились к лучшему: «На днях узнал, что государь читал вслух своей жене моё “Детство” и плакал. Кроме того, что это мне лестно, я рад, что это исправляет ту клевету <снова “предосторожность” Толстого? – Р. А.>, которую на меня выпустили доброжелатели и довели до величеств и высочеств, что я, сочинив Севастопольскую песню, ходил по полкам и учил солдат её петь» (60, 137).

То есть, к сплетне относится и обучение песне солдат, и полное авторство песни — одного Толстого. Но вот соавторство Толстого в этой песне — практически вне сомнений!

О том, как именно совершилось участие Толстого в сочинительстве песни, существует несколько версий; одна из них, не подтверждаемая в ряде подробностей очевидцами, приведена в книге немецкого писателя Рафаила Лёвенфельда «Гр. А. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и мирозерцание» и «Разговоры о Толстом и с Толстым». Лёвенфельд дважды посещал Ясную Поляну, беседовал с Толстым, и сам Толстой поведал ему историю появления песни, которую «несколько дней спустя» после сражения 4 августа «распевали» «севастопольские воины». В песне «осмеивалось поведение начальников, — пишет Р. Лёвенфельд, — и шёпотом (громко говорить об этом, конечно, боялись) передавали друг другу, что автор песни — Лев Николаевич Толстой. И действительно, эту песню-сатиру написал Толстой. Идея песни возникла в лагере. Батарейные офицеры сидели все вместе у костра и задумали петь круговую песню. Каждый по очереди должен был сочинить строфу. Но дело как-то не шло на лад; то, что приходило в голову, не стоило удерживать в памяти. На следующий день Толстой принёс товарищам своё стихотворение. Песня была восторженно принята товарищами Толстого, и через несколько дней её распевала вся севастопольская армия» (*Лёвенфельд Р. Гр. А. Н. Толстой. Его жизнь, произведения и мирозерцание. СПб., 1896. С. 91 – 92*).

Рассказ самого Толстого о том, как была сочинена песня, Лёвенфельд воспроизвёл в книге «Разговоры о Толстом и с Толстым» (1891): «В нашем разговоре мы дошли до одного юмористического стихотворения, написанного графом под стенами Севастополя.

— Да, автор её <песни> я, — подтвердил граф <...>. — Она написана мною в Севастополе после штурма 4-го августа. Мы все лежали вокруг костра, и кто-то предложил затянуть круговую песню. Каждый офицер должен был экспромтом придумать по одной строчке куплета, но это не удалось. На другой день я прочёл товарищам свою песню и, немного спустя, её распевал весь лагерь» (*перевод А. В. Перельгиной. – Цит. по: Звезда. 1978. № 8. С. 118*).

«Граф А. Н. Толстой был действительно одним из участников в составлении этой песни, но не автором всех куплетов, в неё вошедших. Таким образом не совсем справедливо приписывать ему всё это остроумное произведение» — подтверждает анонимный мемуарист, опубликовавший своё «разоблачение» в феврале 1884 г. в журнале «Русская старина» (с. 455 – 457).

Один из «соавторов» Толстого, поручик В. Ф. Лугинин, впоследствии профессор Московского университета, в меморате, записанном А. В. Цингером, рассказал, как, придя с донесением к коман-

диру полка, застал в палатке «компанию совершенно пьяных офицеров, все хором поют толстовскую солдатскую песню про четвёртое августа, а сам Толстой, тоже пьяный, дирижирует и запекает, при сочиняя новые совершенно непечатные куплеты» (Цингер А.В. Мелочи о Толстом. – Цит. по: Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: В 100 т. М., 2002. Художественные произведения: В 18 т. Т. 2. С. 547).

В данном случае, именование песни «толстовской» следует оставить на совести мемуариста. В любом случае, читателю из сказанного выше должно быть понятно, отчего это сочинение, безусловно коллективного авторства, мы считаем в *наименьшей* степени выражающим именно толстовские воззрения на войну в рассмотренный период и оттого выносим в Приложение к соответствующей Главе нашей книги. Помимо прочего, критике в этой песне, с вполне понятных мирским людям позиций, подвергаются не война и военщина как таковые, а более всего — «традиционная» на России имперская халтура в военном руководстве, немилосердная к тысячам (а в мировых войнах XX столетия — уже миллионам) своих жертв.

В дальнейшем изложении, однако, мы вернёмся к этой песне и сюжету её сочинения.



## Глава Вторая. ЦВЕТУЩАЯ МОЛОДОСТЬ И ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ: 1860 – 1870-е гг.

### 2. 1. ВОЙНА ВОЙНЁ В «ВОЙНЁ И МИРЁ»

Когда с простреленной грудью  
офицер упал под Бородиным и понял, что он умирает,  
не думайте, чтоб он радовался спасению отечества  
и славе русского оружия, и унижению Наполеона.  
Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил,  
о всех радостях и ничтожестве жизни,  
он поверял свои верованья и убеждения:  
он думал о том, что будет *там* и что было здесь.  
А Кутузов, Наполеон, Великая армия и мужество россиян, —  
всё это ему казалось жалко и ничтожно  
в сравнении с теми человеческими интересами жизни,  
которыми мы живём прежде и больше всего  
и которые в последнюю минуту живо предстали ему.

*(Из черновиков начала романа. Рукон. № 49)*

Взгляните на птиц небесных:  
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;  
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?  
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?  
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться,  
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,  
что вы имеете нужду во всём этом.  
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам.

*(Мф. 6, 26 – 27, 31 – 33)*

**Как** ни парадоксально (а, быть может, и вполне предвидимо) покажется это читателю — но данная Глава, при всём нашем желании, может быть сколь угодно обширной, но никак не основной в данной книге — несмотря на то, что «Война и мир», безусловно, вершина русской литературы своей эпохи, равно и жемчужина литературы

всемирной, возведшая молодого, восходящего в писательстве автора на Олимп живых классиков своей эпохи.

Причина к этому проста, и понятна всякому из тех, кто прошёл с нами путь от Первой главы: чудесный Лев, гений художественного слова и т. п. – оставался всё-таки ещё юным львёнком в отношении страшнейшего, для многих и в наши дни безответного в причинах, феномена *убийства на войне*. Сопровождавшая зрелость физическую самая «глупая», позднее раскаянная в «Исповеди» молодость Льва именно как отрицателя войны и военщины совершится в годы писания великого романа, триумфа литературного, и продлится вплоть до «осевого» экзистенциального кризиса личности, то есть истинного, духовного возмужания, ознаменованного «арзамасским ужасом» 1869 года и началом, приблизительно с середины 1870-х, сомнений во внушённых мирскими воспитателями представлениях о жизни и месте в ней религии, семейства, карьеры, войны и проч. То, что прежде казалось незыблемым, и, допреже прочего, вера, религиозная основа жизни — было во второй половине десятилетия проверено на «прочность» и найдено ничтожным по отношению к простым истинам евангелий. И конфликт с «сынами мира» не заставит себя ждать — уже на этапе публикации следующего большого романа.

Но за более чем десятилетие до того, в первой половине 1860-х, грядый «великий писатель земли русской» — лишь великое годами дитя перед Истиной, ведомое мирскими лжами и соблазнами. 17 октября 1863 г. он хвастается в письме к авторитетнейшей для него, сиротки, тётками воспитанного, двоюродной тётке Александре Андреевне Толстой, что задумал новую книгу: «роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени...» (61, 23). Легко понять, что это очередной, после «Декабристов», подступ молодого писателя к будущему роману «Война и мир». И гений тут же кокетливо прибавляет, уже совсем как мальчик, хвастающийся своими успехами во взрослении: «Я теперь писатель *всеми* силами своей души, и пишу и обдумываю, как я ещё никогда не писал и не обдумывал» (Там же. С. 24). И тут же, следом: «Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб всё шло по-прежнему». Святая простота! Семейное счастье, как полагает наивный «молодой» супруг, изменило его необратимо — от идеалов либерально-народнических к «здравомысленному» консерватизму и общественно оправданному эгоизму мужа и

отца. Тётке Лев сознаётся, «что взгляд его на жизнь, на *народ* и на *общество* теперь совсем другой, чем тот, который у него был» при последней встрече с тёткой: «Их можно жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так сильно. Всё-таки я рад, что прошёл через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет» (*Там же*. С. 23 – 24).

А вот похвала волшебника слова самому же себе и разъяснения замыслов его для читателя — в одном из вариантов предполагавшего вступления:

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешёл к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого ещё запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нём спокойно. Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными, полувывмышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое может быть покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и



войска, то характер этот должен был выразиться ещё ярче в эпоху неудач и поражений» (13, 54).

То есть, пока автор собирал материалы к книге, он отошёл от более сильного, с точки зрения милой ему *правды*, замысла о декабристах, с некоторыми из которых он мог пообщаться и лично, а не только через мемуары и архивные документы событий, и запустил в свой, ещё только замышляемый, роман совершенно нелюбезного, но неизбежного персонажа: *вымысел* околонатурный (памятуя, что *история* всё же наука, хотя и атакуемая спекуляциями дилетантов), усадебно-кабинетный, по хотелкам бывшего вояки, ещё продолжавшего героизировать военные подвиги, и аристократа, пристально всматривающегося в дела и дни близких своих, из интересующей эпохи, предков. Вымысел сладкий, былинно-сказочный, с виньетками красот моралистических, бытовых, батальных и проч. – но всё же, увы, в очень многом лжеисторический и историософский, диктуемый психическим заражением характерными для русского интеллигента чувствами *патриотизма*. Откуда? Для этого довольно помнить, с кем общался Лев Николаевич и что читал, готовя себя к реализации действительно грандиозного художнического замысла. Здесь, однако, мы не можем специально останавливаться на этой особенной и обширной теме. Скажем лишь немногое...

Приступая к работе над сочинением о важнейшем событии в истории России начала XIX в., Толстой предвзято, дилетантски, но всё-таки тщательно изучал различные источники: в Ясной Поляне в начале 1860-х гг. стала собираться даже библиотека из материалов об эпохе войн России с Наполеоном, о людях, событиях, о быте и нравах того времени. Толстой просил родственников и знакомых присылать ему всё, что они найдут на интересующую его тему: такими поисками занимались Андрей Евстафьевич Берс, отец С. А. Толстой, её сестра Елизавета Андреевна и другие лица. Стремясь «быть до малейших подробностей верным действительности» (известный принцип Толстого), он штудировал груды официальных русских историков А. И. Михайловского-Данилевского и М. И. Богдановича, многочисленные воспоминания русских и французов... При этом, будучи грубым дилетантом в работе исследователя историка, он не разумел различий между сведениями от очевидцев, которых попросту не застал в живых, и официально «дозволенными» цензурой трудами николаевских служилых и придворных историографов, а уж тем более официально опубликованными мемуарами

— источником, требующем от научного исследователя наиболее осторожного подхода. Показательно, что впервые «почву под ногами», писательскую уверенность в деле творения собственной, именно художественной, «версии» событий и их трактовок, Толстой ощутил при чтении мемуаров, едва ли не самых сомнительных в объективности и правдивости даже в этом специфическом жанре — «Дневника партизанских действий» обласканного славой *Дениса Васильевича Давыдова* (1784 – 1839). При этом известно, что в домашней библиотеке Д. В. Давыдова книг лишь по истории Франции эпохи Наполеона было до полутора тысяч (*Соболев Л. Путеводитель по книге А. Н. Толстого «Война и мир»: В 2-х ч. Ч. 1. М., 2012. С. 85*). Яркое свидетельство о симпатиях этого, по официальной легенде, «гусара-патриота» и лично к персоналии блестящего правителя и полководца, и к самой наполеоновской Франции!

Мемуаристы свидетельствуют, что писатель даже отказывался читать некоторые из предлагавшихся ему материалов — так, Бартенев писал в 1908 году: «Помогая графу А. Н. Толстому в первом издании его “Войны и мира”, мы указывали ему неосновательность в изображении Кутузова (который якобы ничего не делал, читал романы и переваливался грузным старческим телом сбоку набок). Доставлены были графу для прочтения тогдашние письма Кутузова к Д. П. Троицкому, исполненные забот и попечений. Граф Толстой возразил: “В письмах все лгут”» (*Русский архив. 1908. № 4; оборот обложки. С. 2; библиографическое сообщение о выходе двух томов Переписки Пушкина под ред. В.И. Саитова*). Н. П. Петерсон, служивший в 1868 – 1869 годах в Чертковской библиотеке, собрал, по просьбе Толстого, «множество рассказов [...] газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы», о Верещагине, но писатель читать их не захотел, «потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот рассказал ему, как это происходило» (*А.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. Т. 1. М., 1978. С. 125 – 126*).

Пресловутая «мысль народная», которую Толстой в разговоре с женой 3 марта 1877 г. охарактеризовал как основную мысль, позволяющую творцу полюблять свою книгу и работать над ней — это тоже плод увлечённости *легендой*, которую творили о событиях 1805 – 1812 гг. их участники и официально признанные в империи историографы. «Мысль народная» это позиция автора, его точка зрения, с которой он рассматривает всех персонажей и всё, что происходит

в его сочинении, но для чего-то экстраполированная им на «народ», с этой его точки зрения, патриотически неравнодушный к самодержавной России и готовый гвоздить военного противника Империи «дубиной народной войны». По рождению Лев Николаевич принадлежал к не весьма богатым, но безусловно родовитым крепостникам, ощущавшим народ так же, как в архаических, больных сексизмом обществах ощущает развращённый таким обществом мужчина — женщину: как предмет покровительства, заботы, как существо не самостоятельное, сродни глупому дитя... и одновременно предмет влечения, «любви», в лучшем же случае — попыток познания. Толстой, судя по многим записям в дневнике супруги, Софьи Андреевны, не только ей самой отравил домашний быт пережитками внушённого ему патриархальным воспитанием гнусного сексизма, но и самой ей внушил отношение к *свободному* уже народу, как к таким опекаемым чадам. А патриархальные опекуны любят любоваться «успехами» своих чад. У Толстого это, как известно, зашло с годами много далее любования военной храбростью и «победами» в сражениях, приведя его к столь характерному для образованных аристократов его эпохи *чувству вины* перед идеализируемым «народом» — которую, соответственно, нужно «искупать». Однако, именно чувство вины и практики сближения с образом жизни настоящего народа и «выдавили» из Толстого идеалистическое народолюбие. Обгадившись совершенно во второй половине 1850-х годов в устремлении освободить своих крепостных до официального Манифеста, даже и на более выгодных условиях, нежели даровал им февральский 1861 года Манифест, но не встреченных доверием крестьян, корыстно ждавших от царя «совершенной воли» и земельных наделов от помещиков, желательно халявкой, без выкупа; обгадившись даже и в любезной ему педагогике (именно в *практике*, так как *теоретиком* Толстой-педагог остаётся выдающимся), в ведении хозяйства усадьбы и в семейной жизни, воспитании *своих* детей, почувствовав скоро экзистенциальный вакуум, недостаточность такого образа жизни, Толстой неизбежно вернулся к писательству, как служению «народной славе» пером, силою слова. В своём романе он искренне стремился взглянуть на войны Александра I с постреволюционной, наполеоновской Францией и на мир в эпоху этих войн с точки зрения русской деревни, с позиции простого народа, простого русского мужика, крестьянина, солдата — да вот только имел спе-

цифические понятия того, в чём состоит эта позиция. Даже «природная целесообразность» деятельности народа в противостоянии оккупантам, не говоря уже о специфическом образе солдата Платона Каратаева — несёт на себе отпечаток личности аристократа своих эпохи и поколения, народолюбца, но никак не собственно *народной* позиции. Всякое её выражение в источниках, всякое о ней свидетельство Толстой обходил, как нарушающее уже воздвигнутые им установки сословные и патриотические. Например, быть может, попадало ему на глаза сообщение *Дмитрия Павловича Рунича* (1780 – 1860), состоявшего в 1812 – 1816 году почт-директором в Москве, а позднее, с 1821 года, занявшего пост попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, члена Российского библейского общества, который совершенно отрицал для народа патриотизм, неотделимый в цивилизованном мире от представлений о своих политических правах и от возможностей пользоваться ими. Это могли делать элиты России — кстати, совершенно вестернизированные по привычкам, образу жизни и даже языку — но это было невозможно для русского крестьянина, который, по свидетельству Рунича, жил «только для удовлетворения своих физических потребностей и для того, чтобы пользоваться свободой, которую он ищет в растительной жизни» (*Русская старина. 1901. № 3. С. 612*).

К области гипотетического, но довольно вероятного можно отнести неприязнь комплексовавшего из-за своей внешности молодого Толстого к своего рода эталонам мужественности и красоты — среди которых был великий Наполеон. Да и осложнённые отношения Толстого, женившегося только в 34 года, с женщинами, вероятно, связанные с некоторым его сексуальным влечением к мужчинам — тоже могли играть роль в антипатии к мужчинам, не просто эталонно красивым, но и традиционным по своим половым предпочтениям. Современный выдающийся исследователь эпохи Наполеоновских войн Евгений Понасенков стремится на страницах своего труда о войне 1812 года обосновать документально гипотезу о том, что агрессивной политикой императора Александра I, по причине особенностей его внешности, гомосексуальности и трудностей с потенцией, руководила зависть к успешному полководцу и красивому мужчине Наполеону Великому, «усугубившаяся уже в ходе развязанной им против Наполеона войны» (*Понасенков Е.Н. Первая научная история войны 1812 года. 3-е изд. [М.] 2017. С. 72*). В свою очередь,

мы предполагаем (не имея возможности, однако, развивать и аргументировать эту гипотезу в рамках темы этой книги), что разработкой Л. Н. Толстым как образа Наполеона в своём, безусловно великом, романе, так и концепции ничтожества роли полководцев (и, в частности, Наполеона при Бородино) латентно руководила в Толстом та же зависть закомплексованого и сексуально «не простого» человека.

К выводу о таковых именно латентных причинах негативного, в отношении исторических персоналий, субъективизма автора «Войны и мира» приходит и Е. Н. Понасенков:

«О том, что в романе Л. Н. Толстого история преподаётся в его произвольных представлениях, о множестве фактических ошибок (их можно было бы в литературном произведении не выискивать, но автор, указав на использованные им источники, сам подставился под удар критиков) уже написано большое количество работ. Однако гораздо значительнее исторических неточностей — тот интеллектуальный и моральный эффект, который производит его тяжеловесная, неестественная и неорганичная философия. Откуда подобное взялось?»

[...] Автор, как будто бы намеренно, перекраивает на свой манер миропорядок, учительствуя окружающих. Зачем беллетристу выступать в роли обвинителя и занудного нравоучителя? Кроме того, создатель «Войны и мира» не скрывает того, что внешняя красота для него — это всегда холодное, недоброе, неискреннее начало, а красивые люди (Элен Безухова, Анатолий и др.) — это т. н. «люди войны». Как стало возможным, чтобы художник возненавидел красоту?! Вернее, красоту человека: ведь в то же время Л. Н. Толстой способен любоваться природой (зеленеющий дуб Андрея, высокое небо Аустерлица и т. д.), невероятно психологически тонко смотрит глазами юной девушки на первый в её жизни бал.

Подобное тем более странно, что в произведении молодого Л. Н. Толстого «Детство» (вторая редакция) он пишет, к примеру, о Саше Мусине-Пушкине следующее: «Его оригинальная красота меня поразила с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение.

[...] В своём дневнике 23-летний Лев Толстой писал: «Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им было тяжело смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рас судок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним

неприятности, я чувствовал к ним неприязнь, но неприязнь эта была основана на любви.

...Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример, Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из П[ирогова?] и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать».

Мы имеем дело с очень своеобразным и болезненным выражением “приязни”, которое можно было бы назвать “любовью наоборот”. Причём (читаем там же) “красота всегда имела много влияния в выборе...” (подчеркну, речь шла именно о мужчинах). Однако с течением времени подобное отношение к красоте эволюционирует в комплекс: человеческая красота и публичное признание в любви к этой красоте в сознании писателя табуируется. [...] И именно от этого психологического надлома идёт его желание закрыться защитным панцирем им же созданной философии, отсюда его декларирование презрения к человеческой красоте (красивы лишь расплывшиеся старики и вечно беременные жёны-наседки), мучительство женщин (в том числе жены) и т. д. Исходя из вышеперечисленного, можно предполагать, что роман “Война и мир”, действительно значительное произведение мировой литературы, которое, однако, надо читать “наоборот”: то есть, часто подразумевая смысл прямо противоположный написанному. Тогда всё становится на свои места, становятся объяснимыми нападки Л. Н. Толстого на А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, превозносивших Наполеона.

Что же: видимо, не просто так аде́льфо́пое́зис (фактически — церковный брак между мужчинами) был долгие века популярен именно в восточной христианской традиции...» (Там же. С. 147 – 148).

Просто и коротко сказать: лжехристианская и гомофобная гадина по имени Россия, её поганый «русский мир», искалечил и калечит с детства психику некоторого процента людей, с особенностями которых не желает любовно и деликатно считаться. И это деструктивное влияние сказалось в творчестве Льва Николаевича. Мы не можем согласиться с замечательным историком современности лишь по двум вопросам: по поводу «создания» философии (или, как вариант — новой религии) и в вопросе эстетики в восприятии художника. Как контраргумент, мы постулируем тезис о том, что со второй половины 1870-х гг. речь должна идти не о «прогессе заболевания», а как раз о душевном и духовном *излечении* Льва Николаевича — причём в той степени, что уже окружающие, начиная с членов семьи,

начали демонстрировать свои комплексы и уродства, мучая этим Льва Николаевича. «Мучительство» же женщин и жены Толстым — один из чуждых серьёзному толстоведению мифов, задействие которого уважаемым Е. Н. Понасенковым лишь характеризует ограниченность у коллеги некоторых специальных познаний в данной тематике.

А вот что мы можем уточнить о *красоте* у Толстого-художника. Ваш непокорный слуга, автор данной книги, работал над близкой темой на материале трилогии Л. Н. Толстого о детстве, отрочестве и юности. В результате исследований Р. В. Алтухов установил, что уже в начале 1850-х писатель прибегал к антитезе истинного, доброго и красивого (детство) ложному, комильфотному и «красивенькому» (красивость), характеризующему мир юности и взрослых. Это прослеживается в трилогии Л. Н. Толстого на уровне не только идей и образов, но и лексики:

«Описываемая в повестях обстановка светской красоты, подмеченной собою красоту, отражается и на оценочной лексике повести: в главах о московской жизни Толстым используются слова, обычно характеризующие у него именно бессодержательную красоту: *красивый (некрасивый), хорошенькая (дама), хорошенькое (лицо), прилично-величавый, дурен (недурён) собой, недурно, милочка, щёголь* и др.

[...] Контрастом по отношению к бездушной *comme il faut*, к таящей скрытые пороки светской красоты становятся в повести < «Отрочество» > образы простых горничных, обитательниц девичьей. Их душевная чистота, искренность и непосредственность оттеняют эгоизм, развращённость и лицемерие дворянско-светского окружения Николеньки. [...] Простой труженик утверждается в трилогии не только в своём высоком нравственном содержании, но и в качестве достойнейшего предмета *эстетического* изображения. *Трудовую обстановку* девичьей Толстой описывает с большой любовью, как *мир подлинной, пусть и скромной, красоты*.

[...] Первая глава повести < «Юность» > свидетельствует о назревании кризиса в сознании Николеньки: он ещё привычно разглядывает себя в зеркале на предмет соответствия идеалам красоты и *comme il faut*, но уже прислушивается к словам своего друга Дмитрия Нехлюдова, зовущего к «нравственному усовершенствованию». Следующие две главы («Весна» и «Мечты») посвящены описанию едва

не совершившегося духовного переворота. [...] Весеннее возрождение природы, великолепие которого впитывает, стоя у окна, Николенька, и его собственное нравственное возрождение едва не становятся сопряжёнными процессами: такова сила воздействия природной красоты на душу Николеньки. Но – не даром говорит автор о том, что *в городе красоту «меньше видишь»*: городская жизнь с её суетой и ограничениями (и не только визуального характера) отвлекает, уводит от «красоты, счастья и добродетели». [...] Но вот внешняя обстановка – движущая пружина чувств, мыслей и поступков Николеньки Иртеньева – снова изменяется: семья переезжает на лето в родовое поместье. И вновь эстетические впечатления от живой природы подталкивают героя к внутренней перемене. [...] Женитьба отца, осеннее возвращение в Москву, университет знаменовали в жизни Николая Иртеньева торжество уродливого (либо красующегося), ложного и суетного над красотой и истиной. Он не может порвать ложный круг сложившегося бытия, груз аристократических навыков и представлений погребает заживо все его светлые юношеские мечтания. Торжествует «принятый» образ жизни... [...] Неожиданностью для Николая оказывается отсутствие у него преимуществ по сравнению с его новыми товарищами. Простые, небогатые, не «комильфотствующие» и не гордящиеся своим аристократическим происхождением, эти студенты живут в скромной трудовой обстановке, как живёт прислуга в доме Николенькиной бабушки, учатся со всем старанием, ради своего будущего, не обеспеченного богатством родителей, а выглядят при этом, с точки зрения мученика *comme il faut*, просто «непорядочно». [...] Так в душе героя происходит благое соединение летних деревенских эстетически значимых впечатлений и новых, студенческих, революционно меняющих его этические воззрения; естественная красота понемногу начинает одолевать *красивость*. Окончательную победу, впрочем, автор оставляет за рамками сюжета, лишь показав неутешительный итог предыдущего развращения Николеньки: его тяжёлое моральное поражение, понесённое во время университетских экзаменов».

И ещё:

«Обычно положительная эстетическая оценка наружности человека сочетается <в трилогии> с отрицательной этической оценкой его сущности: внешняя красота, по Толстому, лишь пытается маскировать внутреннюю пустоту. [...] *Некрасивой* внешностью наделяются



не только центральный персонаж трилогии, но и ряд других положительные герои повестей Л. Н. Толстого; именно некрасивая внешность героев заставляет внимательно приглядеться и увидеть внутреннее содержание человека, которое, согласно Толстому, гораздо красивее и важнее внешней оболочки. Герои, которые характеризуются Л. Н. Толстым как *некрасивые*, зачастую постоянно ведут душевную работу, самосовершенствуются» (Алтухов Р. *Лексика с семантикой эстетической оценки в трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность»*. Личный архив автора).

Таким образом, восприятие Толстым именно человеческой красоты не сводится к обозначенной Е. Н. Понасенковым схеме. Позднее, уже в «христианский» период, «выздоровевший» Толстой находит место в разуме и сердце и для красоты привлекательных, красивых людей. Вот отрывок из записи Л. Н. Толстого в Дневнике на 1 октября 1892 г.:

«Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель – радость – вполне достойна жизни. – Отречение, крест, отдать жизнь, всё это для радости. – И радость есть и может быть ничем ненарушимая и постоянная. И смерть переходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие: красота природы, животных, людей, никогда не отсутствующая. В тюрьме – красота луча, мухи, звуков. И главный источник: любовь — моя к людям и людей ко мне.

Как бы хорошо было, если бы это была правда!

Неужели мне открывается новое?

*Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная. Я узнал это и бросил. Добро без красоты — мучительно. Только соединение двух, и не соединение, а красота, как венец добра.*

Кажется, что это похоже на правду» (52, 73. *Выделение в тексте наше. – Р.А.*).

«Красота как венец добра», благо и радость как награды Свыше за то, что дитя Бога, человек, последует истине своего Отца... Эту высшую мудрость Птицы Небесной старец-Лев *попытался* донести до современников в своём трактате 1897 г. «Что такое искусство?». Но автор «Войны и мира», как мы покажем ниже, был ещё к этому совершенно не готов...

Вероятно, на такие же выводы об основаниях субъективизма исторических воззрений и отношения к историческим персоналиям автора «Войны и мира» приходили и современные Л. Н. Толстому историки — конечно, не имея в ту эпоху возможности указать на них читателю иначе, как намёками.

Вполне понятно, что молодой, частично (как минимум) женственный и бесславно тщеславный автор готов был ловить, прежде всего, хвалы и хвалы своему новоявленному детищу. Одним из первых именно специалистов военного дела порадовал его военный историк и педагог *Николай Александрович Лачинов* (1834 – 1919), в то время сотрудник (а впоследствии – редактор) военной газеты «Русский инвалид».



В своей рецензии (По поводу последнего романа графа Толстого // Русский инвалид. 1868. № 96. 10 апр.) автор затронул практически только военно-историческую часть повествования, и лишь слегка коснулся изложенных в начале тома философских взглядов писателя на историю, отметив их некоторую узость и односторонность, определив их как «исторический фатализм». Что же касается художественного мастерства Толстого в военных сценах романа, то Лачиновым оно было оценено весьма высоко. Например, описание Шен-

грабенского сражения военный историк оценил, как «верх исторической и художественной правды». С одобрением, в целом, было отмечено и описание Толстым Бородинского сражения.

«Милостивый государь! — обращался Толстой 11 апреля 1868 года к тогдашнему редактору газеты «Русский инвалид» С. П. Зыкову. — Я сейчас прочёл в 96 № вашей газеты статью г-на Н. Л. о 4-м томе моего сочинения. Позвольте вас просить передать автору этой статьи мою глубокую благодарность за радостное чувство, которое доставила мне его статья, и просить его открыть мне своё имя и, как особенную честь, позволить мне вступить с ним в переписку.

Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисходительную критику.

Со многими доводами его (разумеется, где он противного моему мнению) я согласен совершенно, со многими нет. Если бы я во время своей работы мог пользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок.

Автор этой статьи очень обязал бы меня, ежели бы сообщил мне своё имя и адрес...».

Умница автор, Николай Лачинов, не сообщил Толстому ничего, и вообще отказался вступать в полемику с человеком, сперва давшим широчайшие по «захвату», едва ли не «конечные», оценки как исторических событий, так и науки истории, а затем, в отзыве на критику — пеняющем на отсутствие у него, в годы работы над романом, сколько-нибудь системных, полных знаний о затронутых вопросах и на отсутствие в связи с этим военно-исторического консультанта!

Другим рецензентом, о позиции которого мы не можем умолчать, был *Авраам Сергеевич Норов* (1795 – 1869) — известный государственный деятель, действительный тайный советник, учёный, путешественник и писатель, действительный член Санкт-Петербургской академии наук, в 1853 – 1858 годах министр народного просвещения. В войне 1812 года А. С. Норов участвовал с первых дней. Воевал в составе 1-й Западной армии. В Бородинском сражении был прапорщиком 2-й лёгкой роты гвардии артиллерии. Командовал полубатареей из двух пушек, защищавших Семёновские (Багратионовы) флеши. Здесь же был тяжело ранен, лишившись ноги.

Сочинение Норова, посвящённое «Войне и миру», было написано в Павловске в сентябре 1868 года и опубликовано сначала в 11-м Военном сборнике, а затем издано в Петербурге отдельной брошюрой.

Носило оно, вполне в традиции эпохи, длинное название: «Война и мир (1805 – 1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочинения графа Л. Н. Толстого «Война и мир». При чтении романа Толстого, ветерана войны с Наполеоном затронуло, прежде всего, то, «что громкий славою 1812 год, как в военном, так и в гражданском быту, представлен... мыльным пузырь-рём; что целая фаланга наших генералов, которых боевая слава прикована к нашим военным летописям, и которых имена переходят доселе из уст в уста нового военного поколения, составлена была из бездарных, слепых орудий случая, действовавших иногда удачно, и об этих даже их удачах говорится только мельком, и часто с иронией».



Авраам Сергеевич Норов

Гравюра Л.А. Серякова по рисунку К. Брожа с фотографии А. Лушева, 1869

Собственный пересказ военных событий, предпринятый Норовым, дополнял историографию Отечественной войны, но при этом автор не шёл далее того, в чём уличили Толстого другие критики. «Романтический рассказ» Толстого Норов признаёт и «живописным», и «пахнущим порохом». Но с прискорбием говорит, что отличный талант автора принял ложное направление, пропагандируя и утверждая

стихийное, бессознательное начало человеческой жизни, что «в романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи, без ссылки на реальные источники».

Более всего Норов упрекает Толстого за то, что он не просто вставлял в роман вымышленные и или произвольно описанные военные эпизоды, но облакал «их стратегическими рассуждениями, рисуя боевые диспозиции, и даже планы баталий, давая всему этому характер исторический...».

Вслед за Норовым своё отрицательное мнение об исторической достоверности романа выражает очевидец войны 1812 года, авторитетный литератор пушкинской поры П. А. Вяземский. Он отмечает смешение документальной истории и ее художественной интерпретации как неправомерное и неестественное с точки зрения литературного жанра. Образцом подобного соединения, по его мнению, являются романы Вальтера Скотта, где основная сюжетная интрига происходит на историческом фоне. Именно фоновое использование реалий эпохи Вяземский считает достаточным для исторического повествования.

Нарастающий вал вопросов Толстой надеялся остановить своим открытым высказыванием «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», впервые опубликованном в № 3 журнала «Русский архив» за 1868 г. Заявляя, что его сочинение «не роман, ещё менее поэма, ещё менее историческая хроника», писатель отстаивает своё право на собственное видение важного для многих современников периода отечественной истории. Толстой подчёркивает, что его разногласие с историками «не случайное, а неизбежное», и свою задачу он видит не в повторении уже сложившихся стереотипов восприятия известных личностей, как, например, бесконечно смотрящий в подозрительную трубу Кутузов или поджигающий Москву Растопчин, а в попытке постигнуть саму сущность своих героев, даже если она не соответствует сложившейся типажности. «Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом. [...] Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди».

Вопрос различия художественной и исторической правды в данной статье обретает ещё более полемическое звучание, когда речь заходит об исторических источниках, использованных писателем в процессе создания эпического произведения. «Для историка (продолжаем пример сражения) главный источник есть донесения частных начальников и главнокомандующего. Художник из таких источников ничего почерпнуть не может, они для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того, художник отворачивается от них, находя в них необходимую ложь».

Будучи участником Севастопольского сражения, Л. Н. Толстой приводит в пример свой жизненный и военный опыт, отмечая, насколько расходятся описания очевидцев в первое время после события, и какое оказывает влияние на восприятие этих же людей последующая официальная интерпретация. Именно репортажи военных чиновников, по мнению Толстого, превращают живой хаос первых впечатлений в жёсткую схему, где нет места разночтениям и субъективным трактовкам. Такую трансформацию писатель называет ложью, вытекающей «из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких вёрстах, находящихся в самом сильном нравственном раздражении под влиянием страха, позора и смерти. [...] Через месяц и два расспрашивайте человека, участвовавшего в сражении, — уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по репортажи».

Не удивительно, что подобные заявления писателя не могли оставить историков равнодушными. Значительно глубже, профессиональнее и, по заслугам, безжалостнее, чем старенькие свидетели событий, как Норв или Вяземский, обошлись с творцом «Войны и мира» замечательные, выдающиеся военно-исторические специалисты своего времени, теоретики и педагоги — *Александр Николаевич Витмер* (1839 – 1916) и *Михаил Иванович Драгомиров* (1830 – 1905). Здесь приходится сожалеть, что на оценках писаний Толстого такими людьми приходится останавливаться лишь бегло. Более того, мы нашли возможность, дабы не загромождать данную Главу, вынести сведения о книге М. И. Драгомирова «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения» в другую часть и другую Главу книги. Здесь скажем ещё немного лишь о позиции Александра Витмера.

Профессор Николаевской академии Генерального штаба, в недавнем прошлом боевой офицер, а в будущем — предприниматель, меценат и популярный драматург, Александр Николаевич Витмер в 1868 году публикует в журнале «Военный сборник» ряд статей, вошедших позднее в книгу «1812 год в “Войне и мире”». По поводу исторических указаний IV тома «Войны и мира» графа Л.Н. Толстого». Открывается книга таким свидетельством популярности толстовского романа:



А. Н. Витмер

«Смелые парадоксы IV тома “Войны и мира” распространили в большей части нашего общества, столь доверчивого ко всякого рода авторитетам, самые превратные понятия как о военном деле, так и об исторических событиях 1812 года. Мнения, по меньшей мере, странные, не раз слышанные автором даже от людей довольно образованных, послужили поводом к настоящим замечкам...» (Витмер А. 1812 год в «Войне и мире». СПб, 1869. С. I [Вступление]).

Критик принципиально подходит к роману как к историческому сочинению. «IV том «Войны и мира» даёт полное право относиться к нему с тою же строгостью, как и ко всякого рода историческому труду, потому что здесь автор-художник отходит на второй план, уступая место историку, философу и историческому критику» (*Там же. С. II [Вступление]*).

Толстой, по наблюдению Александра Николаевича, в IV томе романа «третирует историков» и историческую науку «с замечательной нетерпимостью, а подчас и с иронией», рассчитывая на то доверчивое большинство публики, которое не видит разницы между Толстым-художником и Толстым-философом и историком:

«А разница между ними — громадная!» (*Там же. С. 2*).

Витмер выражает принципиальное несогласие с Толстым и по поводу его литературного видения событий отечественной войны 1812 года, и по самой постановке вопроса соотношения истории документальной и её художественной интерпретации, как она дана в очерке Толстого «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»:

«Итак, значит, историк „обязан“ взять из собственной головы какую-нибудь идею, „вложить“ её в историческое лицо и затем подводить все его действия под предвзятую идею» (*Там же. С. 2 – 3*).

Автор методично опровергает ряд исторических фактов, представленных в романе, критикует автора за ошибки в изложении хода военных действий, уличая отставного поручика Толстого в незнании основ военного дела. Восхищаясь литературным талантом романиста, Витмер, тем не менее, жестоко и справедливо треплет его и за некритический подход к подбору исторических источников: Толстой называет главными для себя источниками, «единственными памятниками эпохи», сочинения Тьера и Михайловского-Данилевского с их смехотворными нелепостями, которые, «включая сюда и графа Сегюра», следует отнести к «наименее достойным веры» среди авторов-современников событий 1812 года (*Там же. С. 6 – 7*). Витмера удивляло: как это, владея, по собственному признанию в очерке, целой библиотекой материалов, при описании военных сцен романа Толстой воспользовался далеко не самыми лучшими и авторитетными источниками?

Вслед за Лачиновым, как профессиональный военный, Витмер встаёт против фатализма Толстого, его игнорирования того, что бое-



вые операции, как правило, тщательно планируются и такие полководцы как Наполеон, Барклай де Толли, Кутузов сыграли существенную роль в ходе военных действий как стратеги.

«Учение о том, что не отдельные личности руководят мировыми событиями, а что, напротив, они являются не более как орудиями неизбежного порядка вещей — учение не новое и принятое почти всеми новейшими историками-философами; но граф Толстой развивает это учение до самых крайних пределов» (*Там же. С. 8*). Истина не любит таких крайностей, тем более историческая истина. Александр Николаевич Витмер корректирует зарвавшегося самозванца в аналитиках истории, справедливо постулируя антитезис и том, что «передовые люди, хотя и выдвигаются событиями, но, в свою очередь, руководят ими», и приводит ряд убедительных исторических примеров, одним из примеров метко и чувствительно задевая и лично персону, которой адресована критика, бывшего крепостника, помещика, провалившего в 1857 г. свой проект «облагодетельствования» крестьян:

«Необходимость освобождения крестьян сознавалась вполне нашим правительством в самых первых годах настоящего столетия, а между тем это освобождение осуществилось только 60 лет спустя, и могло осуществиться десятью, двадцатью годами позже. Оно совершилось бы непременно; во могло совершиться раньше или позже, и — мирным путём или насильственным. Всё зависело от решимости правительства и целесообразности мер» (*см. Указ соч. С. 10*).

Не стремясь разгадать субъективные причины акцентуированности, крайности выводов Л. Н. Толстого о ничтожестве Наполеона и неопытности русских, противостоявших ему полководцев, А. Н. Витмер лишь констатирует наличие в тексте «Войны и мира» и такого авторского бзика, и тут же приводит возражение — не собственное «своё», по каким-то своим хотелкам, а именно с позиций научно-исторического знания:

«Можно с уверенностью сказать, что в нашей армии не было ни одного человека, который, по способностям мог бы соперничать с гениальным нашим противником; но взамен того, во главе русского войска (вопреки автору) стояли люди с замечательной военной опытностью, приобретённой в непрерывных войнах, которыми отличались царствования Екатерины, Павла и Александра. Таковы были Барклай, Багратион, Бенигсен, наконец Кутузов. Начальники

частей также отличались большим знанием своего дела и замечательную распорядительностью... В числе же корпусных командиров были такие люди как Витгенштейн, Раевский, Ламберт, Пален и др., имена которых, всякому, хотя несколько знакомому с описываемой эпохой, красноречиво говорят сами за себя» (*Витмер А.Н. Указ. соч. С. 20*).

Правнук выходца из Дании на русской службе, Витмер смачно и заслуженно бьёт здесь по выраженной в романе ксенофобии молодого Толстого — в отношении поляков и «всяких там» немцев в руководстве русской армией. Большинство тех, кого он называет и кого имеет в виду — именно иностранцы на русской службе, частью и потомственные, как сам Александр Витмер.

Задолго до активизации у А. Н. Толстого неоднозначной половой ориентации отец поощрял в нём естественное во всяком неиспорченном человеке, в ребёнке уважение к «великому врагу», Наполеону Бонапарту. Известны два рассказа Толстого об одном из воспитательных эпизодов с восьмилетним мальшом Львом. Первый рассказ записан с его слов его женой в 1876 году в её «Материалах к биографии А. Н. Толстого». Здесь читаем: «Не было Льву Николаевичу восьми лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленький Лёвочка с большим увлечением и с интонацией читал стихи Пушкина «На смерть Наполеона». Отца поразила, вероятно, верность интонации и увлечение ребёнка; он сказал: «Каков Лёвка! Как читает! Ну-ка, прочитай ещё раз» и, вызвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича С. И. Языкова, он при нём заставил сына читать стихи Пушкина».

Вторично рассказал Толстой о том же эпизоде в своих «Воспоминаниях»: «Помню, как он [отец] раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю» («Прощай, свободная стихия!») и «Наполеон» («Чудесный жребий совершился: угас великий человек» и т. д.). Его поразило, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моём чтении, и был очень счастлив этим» (*Цит. по: Гусев Н. Н. А. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 93*).

Как и отец А. Н. Толстого и многие просвещённые люди его поколения, А. Н. Витмер справедливо, заслуженно восхищался Наполеоном

и скептически оценивал роль Кутузова в войне 1812 года. Толстой придерживался прямо противоположного мнения. В части Четвёртой IV тома романа, в пятой главе Толстой творит свой миф о Кутузове: тоже мудром, дальновидном, старом и внешне, как мы помним, безобразном — то есть, не привлекательном как мужчина ни для дам, ни для гомосексуалистов. Не могущем вызывать зависти у Толстого, какую с юных лет вызывал великий Наполеон! Может быть, не случайно Толстой, использовавший в своей работе сравнительно небольшое количество источников (всего 47), в значительной степени опирался на весьма спорную работу А. Н. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года». Дело в том, что Михайловский-Данилевский, как и Толстой, отрицательно относился к Наполеону и не видел в нём великого человека, и Витмер, не разделявший таких взглядов, критиковал Толстого за выбор такого недостоверного источника, как Михайловский-Данилевский.

Наполеон изображён в романе Толстого резко сатирически и несправедливо-безобразно: «жёлтый, опухлый, тяжёлый, с мутными глазами, красным носом», «маленький Наполеон, с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом». В 4 томе романа Толстой описывает утренний туалет Наполеона: камердинер растирает одеколоном «толстую спину» и «жирную грудь» императора. Витмера возмутила эта сцена: «Мы воздержимся от каких бы то ни было замечаний по поводу жирной спины, её впрыскивания одеколоном и других интересностей XXVI главы, отвечая на всё это весьма мудрой французской поговоркой: “Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre” [фр. “Для лакея нет великого человека”]» (Витмер А.Н. Указ соч. С. 65).

Такая пощёчина, прямое оскорбление печатным словом, стало ошибкой Витмера и незаслуженным подарком Толстому: он использовал оскорбительный выпад для оправдания своего молчания в ответ на разумные и справедливые, в основном, критические замечания выдающегося военного историка. Но задет был, безусловно, болезненно. Любопытно, что в редакции романа 1873 года появляется следующая сентенция: «Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея своё понятие о величии» (ВМ – 2. С. 667). В контексте романа она связана с характеристикой отношения военных и придворных кругов к кумиру Толстого, М. И. Кутузову. Сама эта фраза, весьма вероятно, связана с воспоминанием об оскорблении

от Витмера и являет неуклюжую, наивную попытку возражения. В последующие годы Толстой как будто вымарал самую личность историка из своей памяти: он не упоминается нигде в 90 томах Полного собрания его сочинений.

Дабы не раздувать очерка, позицию самого А. Н. Витмера охарактеризуем ниже лишь рядом его цитат из книги.

О боевых генералах и Наполеоне — замечательный историк ругает Толстого основательно, и при том снова задорно:

«Нет, мнение, что лучшие генералы — глупые люди, что сам Бонапарте — не более как глупый человек, с самодовольным и ограниченным лицом, подобное мнение могло прийти в голову только князю Болконскому! Не помним, в какую часть тела князь был ранен под Аустерлицем; но, во всяком случае, подобные мнения мы приписываем последствиям его тяжелой раны, и, как с человеком, находящимся не в нормальном состоянии, спорить с ним не будем.

И что за странное смешение понятий: лучшие генералы, и хорошие полководцы, и храбрые полководцы, и Багратион, и Бонапарте?! Можно быть хорошим генералом, прекрасным дивизионным или корпусным командиром и в то же время никуда не годиться в роли главнокомандующего. [...] Здесь необходим обширный ум, непреклонная воля и самые разносторонние способности, и такими способностями, действительно, отличались все великие полководцы: Александр, Аннибал, Цезарь, Фридрих и наконец Наполеон. И каковы же должны были быть современники Наполеона, если он, из безвестного корсиканца сделавшийся императором, был не более как самодовольным глупцом? И отчего же до сих пор, даже люди, вовсе ему не симпатизирующие, но знакомые близко с той эпохой, удивляются ему не только как полководцу, но и как законодателю?»  
(Витмер А. Н. Указ. соч. С. 61 – 62).

О красивом мифе Толстого про «тёплый патриотизм», исключительно и волшебным помогавший русским разгромить французов, А. Н. Витмер не мог в подцензурном издании своей эпохи написать достойных опровержений. Но вот что, тоже справедливое и значительное, сообщает нам по этой теме историк:

«Чувство, на которое указывает Болконский, и которое граф Толстой [...] называет „тёплым патриотизмом“, всего менее оказывает влияния на участь боя, потому что на войне ничего сверхъестественного человек сделать не может, а делает только то, что в его силах.

Всё же возможное хорошо-воспитанный солдат сделает и без патриотизма, в силу чувства долга и дисциплины. Согреты войска патриотизмом — хорошо; но и отсутствие его, или какой бы то ни было воодушевляющей идеи, не заставит войска драться менее храбро.

[...] Солдат регулярной армии (понимаем это слово в широком значении) есть, прежде всего, ремесленник. Таков <в романе> Тимохин, прекрасный, то есть вполне правдивый тип, выведенный автором. Он человек ограниченный; не рассуждает, не кипятится, как Болконский; он даже не понимает, о чём тот говорит; он не ожесточён против врага, не воодушевлён патриотизмом; он просто — ремесленник, но в деле такой ремесленник стоит героя» (*Там же. С. 63 – 64*).

В связи с идеей о такой дисциплине — пожалуй, серьёзно льстящей русской имперской орде, ораве военных рабов — находится и отношение историка к Бородинскому сражению и его результатам, так же резко возражающее автору «Войны и мира»:

«Бородинское сражение вовсе не „было первое, которое не выиграл Наполеон“: под Асперном и Эслингеном, например, он, самым положительным образом, проиграл сражение, то есть принужден был отступить в виду неприятеля, оставив на поле сражения около половины сражавшихся; под Прейсиш-Эйлау мы также продержались целый день на позиции и нанесли французам страшные потери. Мало того: если руководиться справедливостью, а не ложным патриотизмом, то необходимо сознаться, что Бородинское сражение было нами проиграно; оно не было такой решительной победой, к каким привыкли французы и на какую они рассчитывали, но, тем не менее, это была победа: по крайней мере, русские были сбиты на всех пунктах, принуждены ночью же начать отступление, бросая по дороге своих раненых и понесли громадные потери, далеко превосходившие потери неприятеля; наконец, прямым следствием сражения было занятие неприятелем без боя нашей <первопрестольной> столицы» (*Там же. С. 88 – 89*).

В заключительной части своей работы А. Н. Витмер отмечал: «Смеем надеяться, что никто, даже сам автор, не упрекнёт нас в недобросовестности разбора. Быть может, подчас мы слишком горячо оспаривали ложные мысли и выводы автора; но это произошло оттого, что они высказывались писателем, имеющим на нашу публику обаятельное влияние, художником с самым замечательным талантом, далеко

выдающимся из обыкновенного уровня и высказывались с возмущительным апломбом и вызывающей нетерпимостью. Мы принадлежим притом к слишком горячим почитателям этого художника и, вместе с тем, слишком дорожим нашей, бедной дарованиями, отечественной литературой, чтобы равнодушно смотреть, как перво-степенный её представитель тратит свой талант, и силы, и время, на дело совершенно чуждое его блестящему дарованию» (Там же. С. 121 – 122).

\* \* \* \* \*

Выше, конечно — не полноценная историография по заданной теме, а только некоторая общая установка наша для читателя, исходящая из выводов некоторых наших предтеч в её исследовании. Теперь, не претендуя на исчерпанность темы, пролистаем роман — именно уникально, авторски *антивоенные* его страницы, а не «пацифистские», как иногда утверждается, ибо, живи даже Толстой в Швейцарии, где лишь в 1867 году появилась первая в мире пацифистская организация, «Лига мира и свободы», он никак не мог бы быть, в строгой дефиниции термина, именно пацифистом — попросту не проявляя в 1860-е гг. интереса ни к этой организации, ни к политическим, ни даже к её религиозным вдохновителям и предтечам, сектантам квакерам с их «обществами друзей мира», поощряемыми первоначально, в 1810-х годах в Великобритании и Американских Штатах геополитическими противниками и военными врагами Франции и России.

Заметим мимоходом, что в этой теме, именно разграничения светски-гуманистического и православно-религиозного неприятия «закона насилия» персонажами романа «Война и мир», у современных исследователей, чаще всего случайных в научном толстоведении лиц, возникает немало недоразумений. Так, для примера, ходячим недоразумением оказывается украинский баптист и, конечно, миротворец Геннадий Гололоб с его статьёй «Пацифистский смысл романа Льва Толстого "Война и мир"» (<https://christianpacifism.info/2015/paczifistskij-smysl-romana-lva-tolst/>).

По версии автора, «между детскими мечтами о мире без войн и идейным переломом писателя находился долгий период духовного

становления. Это становление имело три последовательных, но плавно переходящих один в другой этапы: милитаризм (1851 – 1866), антимилитаризм (1867 – 1877) и пацифизм (1878 – 1910)» (*Там же*). Все антивоенные образы и высказывания в период от «Набега» до «Казачков» Гололоб «сливает» в общее корыто неких «незрелых форм последующего периода»: то есть, в целом, даже автор «Войны и мира», работая над двумя первыми томами романа, оставался, ни много ни мало, *милитаристом (! – Р. А.)*. Но лишь только заявила о себе в далёкой Швейцарии «Лига мира и свободы», и в текстах Толстого вдруг забрезжил «антимилитаризм»! Само собой, что период институционализации европейского пацифизма для Геннадия Гололоба значительней, нежели 1870-е гг., и поэтому, вопреки всем исследователям и биографам Толстого, он, «большую часть», относит ко времени «перехода» Толстого к антивоенным убеждениям периода писания именно «Войны и мира», а не «Анны Карениной»: «в романе “Война и мир” мы обнаруживаем и антимилитаризм, и пацифизм одновременно, но с плавным смещением в сторону последнего» (*Там же*). Что во внешней либо духовной биографии Толстого в 1866 – 1867 гг. могло послужить такому качественному изменению — автор пояснить избегает. Вероятнее всего, и не в силах...

Минуя совершенно вниманием «чужую» для него, сектанта, веру автора романа и *большинства* персонажей романа, именно православие, Гололоб разделил антивоенные мотивы в романе на более умеренные, антимилитаристские, и на пацифистские:

«Антимилитаризм отличается от пацифизма тем, что допускает лишь справедливые войны, а использует пассивное сопротивление лишь в безысходной ситуации с сильным противником. У Толстого оба эти подхода перемешаны и отнесены к различным персонажам, которые, к тому же, выражают их не всегда или недостаточно последовательно...» (*Там же*).

Ещё бы Гололобу, и «последовательность»! При том, что для христианского сознания, даже церковно-верующего человека, страх возможности войн, ужас перед убийством людей, оплакивание павших, осуждение трусости, подлости, мародёрства — являются не менее, а, пожалуй, и более актуальными этическими константами, нежели для европацифистов. Очищенное же от мирских суеверий, верно понятое христианство, к исповеданию которого Толстой, не осознавая, шёл уже со времени своих усиленных рефлексий и прозрений 1-й

полов. 1850-х гг., выразившихся в Кавказском дневнике, по отношению к пацифизму столь же самодостаточно, как скажем, по отношению к феминизму, защите «прав женщин».

Никак не обосновывая фактами априори признаваемое им знакомство Л. Н. Толстого в 1860-х с едва делающим первые шаги движением пацифизма, Гололоб вещает вот такое:

«...Пацифизм Толстого, появившийся в третьем томе романа, отличаются не стратегические соображения сдерживания врага, а настоящее родство между двумя враждующими лагерями, хотя и показанное на просто народном или солдатском уровне» (*Там же*).

Иначе сказать, *родство*, во всех смыслах слова, в жизни хоть тех же казаков и чеченцев, миролюбие и добродушие части солдат и офицеров, положительных образов в рассказах Кавказского цикла — следует отнести к пацифистским увлечениям Л. Н. Толстого 1850-х годов — то есть времени, когда и пацифизма, как движения, ещё не существовало!

Уже в 1860-е годы, по мнению украинского «знатока» жизни и творчества Л. Н. Толстого, писатель был «ревнивым сторонником равенства всех людей». «Миролюбие и готовность к сотрудничеству простых солдат» враждующих русской и французской армий Гололоб связывает с неким пацифистским замыслом Толстого — хотя, чтобы не выдумывать такой нелепицы, довольно бы было помнить об опасливом *любопытстве* к незнакомцам, а также *альтруистическом инстинкте* по отношению к слабым членам стаи либо к не сопротивляющимся, ослабевшим противникам, выказываемым в живой природе, в поведенческих структурах многих высших животных, не исключая приматов, то есть наличествующих и в человеческой природе, а кроме того — о *культурной близости* двух христианских народов и, конечно же, о потребности автора романа последовать своему кумиру, пресловутой *правде жизни*, и спутнице оной, *исторической правде*.

Особенно значителен для мифотворчества Гололоба образ Николая Ростова — наполненный в романе, что общепризнанно у исследователей, автобиографическими чертами. В пользу «пацифизма» Ростова украинский автор приводит, например, разочарование его в реалиях войны, провозглашение, при австрийцах, здравицы «миру как братству людей, независимо от национальных и классовых различий, жалость, в первой части Третьего тома, к пленному французу «с дырочкой на подбородке»...



«И уж, конечно, чисто христианским пацифизмом исполнены религиозные убеждения княжны Марьи Болконской, которая ещё до эпизода с Николаем Ростовым убеждала своего брата, Андрея: “Мы не имеем права наказывать. И ты поймёшь счастье прощать”» — ляпает, чтоб уж до кучи, Гололоб и такое. Опровергать здесь нечего: европацифист и баптист не мог бы удержаться от таких, предсказуемых, выводов. Между тем образ княжны Марьи, что общеизвестно, имеет прообразом самого дорогого Толстому человека, матушку его, *Марию Николаевну Толстую* (урожд. кн. Волконская; 1790 – 1830). Образ княжны прописан кропотливо и любовно, и никаких сомнений в её *православности*, то есть принадлежности к религии, даже в XXI веке находящей оправдания для войн и последовательно отрицающей пацифизм, не может быть даже у школьника, впервые читающего роман.

«...Всех их – императоров и чиновников, генералов и политиков – следует признать единственными врагами человеческого рода, в целом, и собственного народа, в частности» — приписывает Гололоб автору «Войны и мира» изыски собственного ума, и в «подтверждение» своей подтасовки цитирует следующее место из Четвёртого тома: «Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в тёплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно (ч. 3, гл. 19)». Поистине, смешно! Если бы у цензоров романа в 1860-х возникло подозрение на такой «замах» мысли романиста — вряд ли бы сочинение могло увидеть свет в России.

«Если для его читателей этот роман так и остался данью отечественному патриотизму (в частности русскому народу), то для самого автора, эта книга отличалась не только антимилитаристским, но и пацифистским характером» — такой вывод ляпает Гололоб в завершение статьи, не поясняя, отчего поколения исследователей не обнаружили ни в рукописях, ни в документах личного происхождения писателя в 1860-е гг. никаких признаков интереса ни к «пацифистской» традиции в христианском сектантстве, ни самого слова «пацифизм», ни хотя бы описания близких ему воззрений, подпадающих под узуальную семантику данного термина.

Перед нами, таким образом, безусловный фальсификат: попытка выдавать желаемое за факты, чем-то схожая с писаниной “учёных”

Чеченской республики, которые на гранты от Рамзана Кадырова вещают миру о Льве Толстом... «тайно» (разумеется, тайно!) перешедшим в юности... в ислам. Как в этом мифе фальсификаторы пользуются некоторыми недоразумениями и изустными байками, в основном эпохи СССР, точно так и Гололоб «переводит», посмертно, в «пацифисты» автора романа «Война и мир» — исключительно в расчёте на поддержку *своего* массового (в интернете) читателя, в головах которого сидит колом представление, что Толстой «отрицал войну» именно как пацифист.

Таких же публикаций, склоняющихся к признанию «пацифизма» автора «Войны и мира», немало. Однако, дабы не обращать историографию темы в особый и объёмный очерк, мы остановимся здесь, «от противного» обозначив именно нашу позицию, и, с этой именно позиции, предпримем ниже анализ некоторых ключевых образов и сюжетов великого романа.

\* \* \* \* \*

«Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (*Толстой Л. Н. Война и мир: В 2-х кн. М., 2009. Кн. 2. С. 9 [Далее: ВиМ-1, 2]*). Таким эпическим вступлением начинается в романе описание войны 1812 г. Утверждение, сделавшееся популярной цитатой, при этом более чем спорное как для знатоков человекской психологии, так и для историков. А. Н. Витмер пишет в своём заслуженно-разгромном анализе IV тома романа: «причина всех войн заключается в свойствах человеческой природы»; «природа создала человека <таковым>, что человек — существо несовершенное, что он склонен к насилиям» (*Витмер А. Указ. соч. С. 12 – 13*). Между прочим, Витмер — преподаватель в военно-учебном заведении в стране, где учащимся таких заведений, равно как и простым солдатам попы и военные наставники срали в мозг идеями о сакральном, благословенном Богом значении «защиты отечества», военных «побед» и даже самых войн, якобы «ниспосылаемых» их гневным богом «за грехи» — отчего-то считает подобные утверждения даже слишком банальными для того чтобы быть особо сообщены читателю в историческом сочинении (*Там же*). Оставим это на совести и на усмотрении историка, но здесь же подчеркнём, что именно для художника, для романиста

Толстого и такое, тоже «космического охвата», утверждение, и противоположное, высказанное в начале Третьего тома «Войны и мира», процитированное нами выше — равно вполне допустимы и равно не могут обосновать или опровергнуть ни самих себя, ни что-либо другое. Выбор Толстого в пользу отрицания имманентности человеческой природе характеристик системной деструктивности в реализациях коммуникативных поведенческих структур связан, на самом-то деле, с членствованием его, ещё безо всяких оговорок, в церкви *православных*, то есть, имперских фарисеев, обрядоверов и идолопоклонников, фактически *безверных*. Пустоту, вакуум безверия заполняли уже в те времена различные увлечения и идейные уклонны. Для А. Н. Витмера это, кажется, материализм и атеизм. Для Толстого — отвлечённый, «розовый» гуманизм (известного качества, аппетитно именуемого в народе: *сопли с сахаром*) вкупе с руссоистской склонностью идеализировать природу и человека. Такая идеализация не коррелирует ни с научными знаниями о человеке, располагаемыми наукой уже в середине XIX столетия, на которые опирается, в частности, А. Н. Витмер, ни с церковным учением о «повреждении грехом» человека, о ничтожестве попыток, без воли Бога тайной, соделаться хотя бы немного, но устойчиво человеком лучшим в отношении нравственности. Наконец, не коррелирует такое видение человека даже и с независимой, недогматической верой Толстого-христианина 1880 – 1890-х годов, признающей градацию религиозных «жизнепониманий» человека — по существу, восхождение, руководствуясь идеалом евангельским, учением Христа, но своими усилиями, из глубин страхов, невежества и эгоистической омрачённости, из плена у зверя, из «власти тьмы».

Обратим кстати внимание и на продолжение, а именно на ту часть приведённого выше знаменитого высказывания Л. Н. Толстого о войне, которое обыкновенно опускают любители цитирования:

«Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира, и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления» (*ВиМ – 2. С. 9*).

Писано это, безусловно, красно и талантливо, эмоционально и заразительно своим настроением. Но это — именно светско-гуманисти-

ческие «сопли с сахаром». Ни слова о нравственности живой, религиозной: о нарушении людьми воли общего Отца, Бога, выраженной в первоначальном учении Христа. С позиций общественного жизнепонимания, воспитанного в нём лжехристианством православием, Толстой, как мы покажем в необходимо-пространном анализе ниже, нигде в этой своей книге не достигает до жизнепонимания собственно христианского, и, *если* порицает, то порицает поступки участников войны именно с язычески-еврейских позиций, осуждая общественно вредные эгоизм, вражду и злонамеренность: говоря шире, те или иные нарушения общественной лукавой «морали выживания», частично всегда, во всех общностях людей охраняемой и регулируемой установлениями законодателей, нормами человеческого писанного «права», среди которых во все времена могло оказаться и требование участия в общей полоумной, намеренно организованной и заранее обеспеченной орудиями убийства драке — то есть, войне.

## ТОМ ПЕРВЫЙ

Через испытание войной, *соблазном делания и оправдания насилия* Толстой проводит в романе почти всех своих действующих лиц, как исторических, реальных, так и вымышленных. В центре внимания читателей — сословие, наиболее понятное, близкое автору: судьбы представителей нескольких благородных семейств, служилых людей России: Ростовых, Болконских, Безуховых, Долоховых, Денисовых, Бергов — за каждым представителем которых реальные, и, в основном, значительные для Толстого, в том числе и родственно близкие, прототипы. По отношению к феномену системно организованных насилий человека над человеком, то есть войны, все они прошли в основах своих сходное воспитание, от домашнего для девиц до заграничного университета для Пьера Безухова: выросли на облагороженных преданиях о победах и героях, от времён античных и персонажей Плутарха до Суворовских походов и гения Великого Наполеона. Но, в сочетанном воздействии с прочими мирскими влияниями и с особенностями характеров и темпераментов каждого, такое сословное воспитание дало совершенно неодинаковые результаты.

Действие романа начинается в июле 1805 года, накануне войны, на петербургском светском вечере Анны Павловны Шерер, фрейлины

вдовствующей императрицы. Здесь обсуждаются последние события текущего периода наполеоновских войн — убийство герцога Энгиенского, последние действия Наполеона в отношении итальянских Генуи и Лукки, российское посредничество в заключении им мира с Англией (миссия Новосильцева) — и появляются некоторые главные персонажи романа, в частности, Андрей Болконский и Пьер Безухов, два ярчайших образа, иллюстрирующих два возможных, и при том до крайности различных, пути жизни человека — по отношению к надмирному её смыслу.

Князь Андрей Николаевич Болконский получил “классическое” воспитание своей эпохи — усадебное, похожее на образование и воспитание самого автора, Л. Н. Толстого. И мотивации его к поступлению в военную службу — не менее сходны, не сложны и не оригинальны для заданных эпохи, поколения и сословия, нежели мотивы молодого Льва, наследного графа Толстого. Более того, кн. Андрею в начале романа уже 27 лет, он женат, у милейшей маленькой княгини Болконской скоро должен родиться ребёнок, и нет острой необходимости в армейской службе. На вопрос светских любопытствующих, почему князь едет в армию, он отвечает по-французски, что генералу Кутузову угодно его к себе в адъютанты. Иное через пару часов он говорит Пьеру о своей семейной мирной, пошлой и скучной ему жизни с женой: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!» (*ВиМ – 1. С. 52*). И совсем по-другому молодой Болконский объясняет сам себе стремление в армию: он должен *найти свой Тулон*.

Осада Тулона — боевые действия с 29 августа по 19 декабря 1793 года во время французских революционных войн, во время которых проявил себя и получил известность молодой Наполеон Бонапарт. Слово «Тулон» стало метафорически означать момент блестящего начала карьеры никому не ведомого молодого храбреца и *молодца* на военной службе. То есть, «найти свой Тулон» для князя Андрея значит: оказать *молодечество*, дабы стяжать мирскую славу — высокоценимую рабами и прислужниками мирской лжи, языческого, общественно-государственного религиозного жизнепонимания.

Пьер тоже немало забрал от такого первоначального домашнего воспитания, но главное влияние оказали на него годы учения за границей, неизбежно склонившие его в пользу симпатий к Франции, к «великому делу» революции и — тоже, конечно же, к Наполеону! «Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернёром-аббатом за

границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста» — сообщает только автор, не уточняя места. Но, судя по осведомлённости Пьера позднее в романе, в беседе с капитаном Рамбальем, о парижской жизни, по упоминаниям его о том, что он жил в Париже и в особенности по тому, что гедонист Рамбаль, Парижем сладко совращённый, нашёл в Пьере не просто товарища, а *соотечественника*: убеждённо посчитал за француза — вероятнее всего, Пьер был воспитанником именно свободной, послереволюционной Франции.

С событий в городе Тулоне в 1793 г. началась стремительная карьера достойного кумира обоих молодых людей — и Андрея, и Пьера. С этого счастливого момента всего за 11 лет самый, в своём поколении, выдающийся человек Европы прошёл путь от капрала «Буонапарте» до великого Наполеона, в 35 лет объявив себя императором Франции. Многие современники Наполеона бредили такой головокружительной карьерой, многие, как император Александр I, грязно, озлобленно завидовали успешному полководцу и любимому народом императору, большинство же справедливо боготворило гения человечества, склоняя головы перед его мирским величием: кому-то, как князю Андрею, он представлялся «военным гением», эталоном вождя «пути к славе», а кому-то, как молодому Пьеру — «гением французской революции». Но для обоих это отнюдь не слепой культ личности: князь Андрей ни в коем случае не «обожает» Наполеона, как безусловного кумира, а, скорее, в себе хочет увидеть и раскрыть высокоценимые им в личности Наполеона таланты и способности. Вот почему в 1805 г. он оказывается в штабе Кутузова. Увлечён Наполеоном и Пьер, но это иное увлечение. Для Пьера имя Наполеона связано с французской революцией: «революция была великое дело», благо для народов, и оттого Наполеон — «великий человек» (*ВиМ – 1. С. 42 – 44*). И Пьеру, дитя Франции по воспитанию, в отличие от князя Андрея, вполне понятно, что российское дворянство не имеет разумных оснований быть не на стороне Наполеона, не на стороне разума и прогресса, а поддерживать российского императора в его зависти и вражде к наполеоновской Франции и лично к великолепному императору. Князь же Андрей превосходит Пьера в начале книги — именно *молодечеством*, решимостью храбреца, готовностью *личной жертвы* ради самореализации на выбранном мирском поприще. До такой же решимости, реализованной в движении декабристов, Пьеру предстоит пройти немалый путь, тогда как эволюция личности Андрея Болконского, как

мы покажем — приведёт его, не без влияния Пьера, уже прямо к христианскому отношению к Божьему миру и своей жизни в нём.

Примечателен спор князя Андрея и Пьера о возможностях жить человечеству без войны — кстати, в той же беседе, в которой звучит признание князя о желании сбежать на войну от семейной рутины. Выслушав на вечере у Анны Павловны Шерер проект вечного мира от фаворита сборища, некоего аббата Морио (прототипом которого был *Сципион Пьяттоли*, 1849 – 1909, участник восстания Тадеуша Костюшко и Польского сопротивления российской оккупации), Пьер сообщает другу: «По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим равновесием...» (*Там же. С. 50*). Под этими словами в годы написания романа мог подписаться и автор, не имевший ещё понятий о *христианском* разрешении ложной «проблемы веков». Строгий друг склонен не поддержать идеализма собеседника, предлагая говорить «о деле», о карьере Пьера, но тому важнее донести до собеседника, готового добровольно отправиться на войну, совершенно другое:

«Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... это нехорошо...» (*Там же. С. 51*).

Современники не жили ещё теми патриотико-героическими мифами об «агрессии» Наполеона, о «спасителях отечества» императоре Александре и Кутузове, о «всенародной» обороне, «отечественной» войне и под., к которым привыкло уже поколение Льва Николаевича Толстого и которые использовались для патриотического оглушения детей и малодумающих взрослых даже в XX веке, в эпоху СССР. Поэтому вряд ли может быть, что князь Андрей не понял, к чему клонит Пьер. Для него, как и для Николая Ростова, как даже и для автора в 1860-е, искренне верящего лжи имперских «историков», это были речи «бонапартиста», изменника — повод для разрывания дружбы. И поэтому, не дав Пьеру доболтаться до конца, Толстой прерывает его категоричной репликой друга: «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. [...] Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет». И тут же оба, князь Андрей и автор, попадают на простом, «женском» вопросе Пьера: «Ну, для чего вы идёте на войну?». Недоволен повседневностью... Оказывается, очень даже возможно идти на войну, исходя

даже не из более благородных общественных, политических, а из глубоко личных побуждений!

Кстати. По свидетельствам в дневнике Софьи Андреевны, Лев Николаевич в первый год после брака переживал именно такой экзистенциальный вакуум, которым “одарил” в романе князя Андрея. Из записей на 24 апреля 1862 г.: «Лёва или стар, или несчастлив. Неужели кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных ничего и ничто его не занимает» (*Толстая С. А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 53*). Вряд ли Софью Андреевну, наблюдавшую эти попытки любимого человека “засуетить” себя от осознания недостаточности для него такой жизни, порадовали откровения князя Андрея Пьеру о том, что жизнь его «испорчена» именно семьёй и «связью с женщиной» (*Вим – 1. С. 56 – 57*).

А накануне годовщины свадьбы муж, прелестный муж порадовал беременную жену, а к тому же и маму лучшего, быть может, из сыновей Льва Николаевича — пожеланием отправиться на войну: быть может, не оконченную ещё в те годы Кавказскую — то есть к сладко-памятной и вождеденной воле! Либо на войну с борющейся за независимость от поганого «русского мира» Польшей, в очередной раз восставшей как раз в тот год.

Единственная запись об этой прихоти Л. Н. Толстого у С. А. Толстой — под 22 сентября 1863 г.:

«До сих пор я думала, что шутка; вижу, что почти правда. На войну. Что за странность? Взбалмошный — нет, не верно, а просто непостоянный. Не знаю, вольно или невольно он старается всеми силами устроить жизнь так, чтобы я была совсем несчастна. Поставил в такое положение, что надо жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься с ребёнком, да, пожалуй, ещё не с одним, без мужа. Всё у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребёнка, потому что его я не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули. Я его начинаю меньше уважать за непостоянство и за малодушие. [...] Виновата в том, что люблю его и не желаю его смерти или разлуки с ним. Пусть дуется, я бы желала заранее приготовиться, т. е. перестать любить его... А детей у него больше не



будет. Я не хочу давать ему их для того, чтоб он их бросил. Вот деспотизм-то: “Я хочу, а ты не смей слова сказать”. Войны ещё нет, он ещё тут. Тем хуже. Теперь жди, томись. Один бы конец» (*Толстая С. А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 61 – 62*).

Весьма красноречивая эта запись, наверняка прочитанная Толстым (супруги в те годы давали друг другу на прочтение дневники), конечно же, напомним читателям такие же жалобы на «мужчин» «маленькой княгини», жены князя Болконского, перед отъездом его в действующую армию.

Отправляясь на войну, Андрей Болконский оставляет беременную жену Лизу со своим отцом и сестрой, княжной Марьей, в фамильном имении Лысье Горы, представляющем нам картины и образы неколебимо патриархальных нравов с их омраченностью и суевериями. Его отец, генерал-аншеф князь Николай Андреевич Болконский, сочетающий в характере и привычках своих русские, сущностные для него, деспотизм и сумасбродство с воспитанным в нём же и сохранившимся до старости «петропавловским» западничеством, вот уже несколько лет безвыездно живёт в своём имении. Он отличается прямоотой своих суждений, суровостью и строгостью — которые, впрочем, унаследовал и сын. В споре с крайне консервативным отцом уже и князь Андрей оказывается в глазах того «поклонником Буонапарте» (*Война и мир. Кн. 1. С. 158 – 159*). Прощаясь с сыном, суровый князь хвалит того, что тот спешит к службе, а «не держится за бабью юбку», а княжна Марья вручает, несмотря на скепсис брата, характерный для обрядоверов лжехристианского мира колдовской оберег: образок Христа на цепочке (*Там же. С. 161 – 162, 165*). Кстати, и у самого князя были при себе, в любом походе, в любой поездке семейные реликвии, выражающие собственный его характер, и в их числе — «два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезённый из-под Очакова» (*Там же. С. 158 – 159*). Так читателя “догоняет” в «Войне и мире» аромат полусказочного «очаковского курения», предмет детских воспоминаний и семейно-патриотической гордости Николеньки Иртенева и самого Льва Николаевича Толстого!

Во второй части Первого тома романа князь Андрей сталкивается, как и волонтёр, юнкер, позднее подпоручик Толстой с разочаровывающей прозой военной службы. 1805-й год, война Третьей антифранцузской коалиции... В австрийском Браунау оказываются

князь и другой персонаж книги — Фёдор Долохов, небогатый дворянин, насквозь испорченный мирским воспитанием: амбициозный офицер, самостоятельно прокладывающий себе дорогу в жизни, он за рискованное, со спиртным и медведем, «гуляние» в Петербурге (в котором участвовали также Пьер Безухов и другой порочный персонаж, Анатолий Курагин) пострадал более всех: был разжалован из офицерского чина и отправлен тётей «родиной» рисковать жизнью на войне — уже как простой солдат, принудительно. Кутузов, главнокомандующий армией, устраивает в Браунау смотр, сопровождающийся неразберихой, ради угодливости военных начальников царскому фавориту: солдат передевают то в парадную униформу, то снова в походную... Типичная для страны дураков ситуация с нетипичным финалом: за несоответствие формы установленной генерал грубо ругает «простого солдата» Долохова — и получает от «простого» военного раба неожиданный словесный и, главное, моральный отпор, на который неспособны были обыкновенные солдаты (*ВиМ – 1. С. 173 – 174*). Такое же исключение из массы, но в офицерской среде — капитан Прохор Игнатьевич Тимохин, скромный, иногда и робкий перед начальством старший воин, которому чужды угодливость и карьеризм. Радуюсь за успешно отбытый смотр, генерал-ругатель оправдывается перед Тимохиным в личной беседе... трудностями «царской службы» — чувствуя при этом свою неправоту и нравственное превосходство и солдата Долохова, и маленького, скромнейшего командира роты Тимохина (*Там же. С. 177 – 178*).

Война, в которую ввязались эти люди, при всём внешнем благородстве *некоторых* личностей солдат и офицеров, обстановки, диктуемой эпохой — всё-таки, в существе своём, была тем же разбойничьим делом, пробуждающим в людях низшие свойства рассудка и души, что и новейшая в истории человечества, к несчастью, всё ещё идущая (и сегодня ровно год — 24 февраля 2023 г.) гнусная война бандитской и фашистской, путинской России с Украиной и всем свободным миром. Это была так называемая Война Третьей коалиции европейских монархий против послереволюционной Франции — до 1804 года республиканской, сорвавшейся в имперство, реставрацию монархии, но всё-таки тяжело, понемногу, как и Украина в наши дни, учащейся более разумной и доброй жизни, нежели та, к которой и по сей день только и способен мрачный, жестокий, палаческий и страшный, страшный, страшный «русский мир»! Четырёхмесячная (с 25 сентября по 26 декабря 1805 г.) кампания, в которой

прогрессивная Франция со своими слабыми союзниками (Испания, Бавария и Италия), но, слава Богу, с гениальным полководцем оборонялась от полчищ мощной Третей коалиции, в которой России, привыкшей во все века не щадить «пушечного мяса», помогали главные европейские агрессоры: Австрийская империя, Великобритания и Швеция (к которым примкнуло убудочное, полуфейковое Неаполитанское королевство, справедливо связывавшее надежды на своё выживание с укреплением европейских монархий, включая реставрацию династии Бурбонов во Франции).

Как следствие, в поведении александровской орды в Европе проявились все обыкновенные свойства бандитских вылазок «классического» военного агрессора. Историкам о них известно безмерно больше, чем пожелал «знать» патристически настроенный автор «Войны и мира». Но даже на страницы романа, угрожая автору цензурой, проникли намёки на то, о чём Толстой-романист не мог хотя бы не намекнуть — не отступив уж слишком разительно от законов художественного реализма, от декларативно, со времён «Севастопольских рассказов», любезной ему *правды*. Вот, для примера, отрывок в главе VII – й Второй части, в которой русские вояки, нюхнув пороху от наполеоновского авангарда, единым бараньим стадом, давя друг друга, отступают на, конечно же, «заранее подготовленные позиции» за рекой Энс. Среди них, по несчастью, затесалась на мосту повозка мирных беженцев:

«...Форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вёз немец, привязана была красивая, пёстрая, с огромным выемом, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребёнком, старуха и молодая, багроворумяная, здоровая девушка-немка.

Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь, колбаса-то, тоже убирается!

— Продай матушкѹ, — ударяя на последнем слоге, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шёл широким шагом.

— Эж убралась как! То-то черти!

[...] Несвицкий, как и все, бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали» (*Там же. С. 206 – 207*).

Понятно, что в другой обстановке, нежели спасение руснёю собственных русских задниц, и без свидетелей в лице высшего офицерства, включая адъютанта Кутузова Несвицкого (сослуживца Андрея Болконского), всю семью ждала бы обыкновенная, многожды повторившаяся в 2022 году в Украине, участь безоружных беженцев в лапах жадных и похотливых мародёров и убийц.

Иван Несвицкий, кстати, — один из числа столь же благородного меньшинства офицеров в российской армии. «Был бы я царь, никогда бы не воевал» — произносит он при виде гибнущих от ядер противника отступавших солдат (*Там же. С. 216*).

Реалии войны не щадят чувств князя Андрея не только картинами, подобными этим, столь осторожно описанным автором. Отвратительным контрастом сценам гибели и паники людей стало для него посещение, по долгу службы адъютанта, ставки австрийского военного министерства в Брюнне (в наши дни это город Брно в свободной, счастливой, демократической Чехии). Приехал он с известием о первой военной победе Коалиции 19 (31) октября 1805 г. близ г. Линца — той самой, эпизодом которых было баранье отступление русских. Но в атмосфере военно-придворной, в обществе министра с его «глупой, притворной» улыбкой князь Болконский быстро «почувствовал, что весь интерес и счастье, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился: сражение представилось ему давнишним, далёким воспоминанием» (*Там же. С. 223*).

Князь останавливается в Брюнне у своего знакомого, русского дипломата Билибина. В посольстве сложился кружок членов дипломатического корпуса — своеобразных привилегированных паразитов на крови, пользователей войны, не менее равнодушных до её жертв, чем военный австрийский министр. Для этого кружка актуальны были «свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы» (*Там же. С. 230 – 231*).

Умный Билибин осаживает молодого князя в его надеждах на «Тулон» и предлагает Болконскому остаться на службе австрийского короля, предсказывая поражение армии Кутузова: «или не доедете до

армии и мир будет заключён, или поражение и срам со всею кутузовскою армией». Но князь патриотично отказывается от предложения — рассчитывая, что именно бедственное положение армии, которую он может спасти, приближает его героический триумф, его «Тулон». «Мой милый, вы — герой» — только и отвечает ему насмешливо умница Билибин (*Там же. С. 236, 238 – 239*). Отвечает на французском языке, языке светских салонов — тем самым намекая, что не согласен с князем Болконским, и что его «героизм» для умного, опытного, зрелого человека, *русского европейца* своей эпохи — не более чем мальчишество и глупость.

И хотя заразительнее всего в человеческих практиках именно усладительная ложь, но и грустная, не без доли цинизма, правда умного дипломата об Александровой, в составе коалиции агрессоров, войне с прогрессивной Францией — поимела на князя Андрея своё влияние. Французы наступали, и Наполеон был полон решимости заставить русские полчища «с конца света», перенесённые в Европу посредством «английского золота», испытать позор австрийцев генерала Мака под Ульмом. Эта установка на справедливую, заслуженную победу, данная великим Наполеоном при начале кампании, в князе Болконском пробуждала «удивление к гениальному герою, чувство оскорблённой гордости и надежду славы» (*Там же. С. 240*).

Орда отступала... «Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колёс, громыхание кузовов, телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъёмах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колена в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались постропки и надрывались криками груди. Офицеры, заведывавшие движением, то вперёд, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди

общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Voilà le cher [*фр.* вот оно, милое] *православное воинство*» — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина» (*Там же. С. 240 – 241*).

Он привёл в чувства по пути ошалевшего от обстановки офицера, с бессмысленной жестокостью, с кнутом напавшего на лекарскую кибитку, в которой сидела возбуждающе-беспомощная, испуганная жена полкового лекаря, и, в целом, по внешности с честью перенёс испытание «русским миром», *как он есть*; но душевно князь Андрей был смущён, снедаем «оскорбительными, мучившими его мыслями»: «Это толпа мерзавцев, а не войско. ...Всё мерзко, мерзко и мерзко» (*Там же. С. 242*).

Настояв на своём «пути героя», князь Андрей присоединился к армии Багратиона — как раз накануне его Шёнграбенского торжества 4 (16) ноября 1805 г. Но ещё до самого «дела» к его отрицательным впечатлениям присовокупилось ещё одно, от расправы во взводе гренадёр над раздетым для экзекуции солдатом, обвинённым в воровстве:

«Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнажённой спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нём чести нет; это мерзавец. Ещё, ещё!

И всё слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик. — Ещё, ещё, — приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошёл от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта» (*Там же. С. 253 – 254*).

В этой сцене отвратно не только притворство вора. Мелкое, одного человека, воровство — конечно же, грех человека перед замыслом о нём Всевышнего, так как отбрасывает его личность в глубокую нравственную низость — в первобытное, *до Божьего Творения человека на Земле*, прошлое: к «предковым формам», чьё поведение было близко к известным нам, всегда вороватым, обезьянам. Но ведь ни статус вора в лжехристианском обществе, ни масштабность и системность, ни многовековая долговременность воровства — ничего перед Божьей правдой-Истиной не оправдывают! А государство

Российское возникло в глубокой древности именно как вооружённая *разбойничья кодла*, на хороших конях и с оружием, собиравшая откуп, «дань» с безоружных, мирно трудящихся людей — за право не быть убитыми и ограбленными. Когда впоследствии конкурентов в грабеже стало много (ибо всегда приятнее для поражённой грехом природы человека ограблять чужой труд, нежели отдавать свой), потребовалась институционализация: явились места сбора дани и крепости, где пряталось награбленное от ограбленных и от конкурентов в грабеже, а вооружённые грабители стали защищать «своё» человеческое стадо от таковых, всё более многочисленных век от века, конкурентов. Таким образом, «православное воинство», проще говоря, армия России, а в особенности её руководство всех уровней — как иконы были воры, так и остались ими *по сущности*. Налоги, поглощаемые «оборонкой», идущие, значительной частью, на пропаганду войны и обоснование «необходимости» военщины и государства — разве что-то иное, как не ограбленный у обманутых людей труд? Вот почему, всякое наказание в России, от имени государства, за мелкое воровство обыкновенного «гражданина», то есть не сумевшего наворовать ловчее *лошка*, является поистине гомерическим лицемерием!

И такое же лицемерие наверняка ощутил князь Андрей в речах разжалованного Долохова, встреченного им в цепи, готовой атаковать французов. Цепи сошлись очень близко, и солдаты противных сторон видели лица друг друга, а Долохов, сущностный *кацан*, во весь роман как будто «пахнущий» дрянным «русским миром» — омрачённостью, самомучительством, кровью, смертью... — не преминул *по-французски* подразнить простецов-солдатиков Наполеона:

«— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали! — сказал Долохов.

— Qu'est-ce qu'il chante? [Что он там поёт?] — сказал один француз.

— De l'histoire ancienne, [Древняя история,] — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах» (*Там же. С. 255*).

Но Долохов делает заявку на то, что — «можем повторить». Характерная деталь, не правда ли? И по сей день Россия, даже вляпанная в безусловные преступления против Бога и человечества, основывает свою ложную, языческую самоуверенность орды пошитых в дурни, вещающих о мнимых «правах» на реванш, на ультиматумы в отношении «западных врагов» — как раз на перетолкованных, героизированных событиях прошлого, зачастую не менее преступных, но которые, по косности, дурости и злобе, так хочется «повторить»!

Между прочим, русские солдаты, трудовые рабы тёти «родины», сделанные ею, ради военных авантур, рабами военными, хотя и не понимали перебранки Долохова, отнеслись к ней по заслугам — насмешливо. Долохова стали передразнивать, и от русских солдат весёлым хохотом заразились и французы. И вот что пишет об этом спасительном, отрезвляющем и целебном психическом заражении, автор романа:

«...После этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперёд и так же, как прежде, остались друг против друга обращённые, снятые с передков пушки» (*Там же. С. 255 – 256*).

Обманутые своими правительствами, натравленные друг на друга, но никогда, в нормальных условиях мирной повседневности, не сумевшие бы найти причин для взаимной неприязни, мирные, добрые простые люди все (кроме ретировавшегося от позора Долохова) менее всего желали драться, убивать друг друга — но не могли выйти из того деструктивного *системного состояния*, в которое были вовлечены такими же (и более «высокопоставленными») слугами лжи и смерти, как злосчастный Долохов.

И вот — неизбежный итог. Кстати, после ещё одной неприятной сцены, когда князь Андрей Болконский был вынужден защищать перед Багратионом героического, но кроткого и лично симпатичного князю батарейного командира капитана Тушина:

«Князю Андрею было грустно и тяжело. Всё это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся» (*Там же. С. 287*).

В этом разочаровании в реальной войне чувства князя готов к этому времени разделить ещё один из числа важнейших персонажей книги, Николай Ильич Ростов. Кстати, как мы уже упомянули в начале книги, для этого персонажа существует совершенно определённый прототип — отец Л. Н. Толстого, Николай Ильич Толстой. Как и отец писателя, каким его запомнил сын, герой этот отличается «стремительностью и восторженностью», он весел, открыт, доброжелателен и эмоционален. В начале романа ему было 20 лет, и он студент университета, готовый, однако, бросить учение, чтобы служить в армии и принять участие в борьбе против Наполеона. Юноша искренне считает, что армия является его призванием.



Подруга детства княжны Марьи, глупышка Жюли Карагина, высоко отзываясь в письме о достоинствах личности Николая Ростова, предмета её симпатий, сообщала о его отъезде с сожалением, как о юноше «чистом и полном поэзии» (*ВиМ – 1. С.142*). Княжна Марья утешает подругу в ответном письме, напоминая, что «христианская любовь к ближнему, любовь к врагам достойнее, отраднее и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы» (*Там же. С. 145*).

Мы остановили внимание читателя на этом эпизоде лишь для того, чтобы напомнить степень идиотизма, до которого могут доходить тенденциозные «аналитики» романа: Геннадий Гололоб, статью которого мы представили читателю в начале данной главы, характеризует процитированные выше слова княжны Марьи в утешение подруге, от которой убыл потенциальный жених, как свидетельство её, княжны, *христианского пацифизма*. Удостоив Гололоб вниманием, то есть прочтением, не то, что весь роман, а хотя бы главы о жизни княжны с отцом в Лысых Горах — баптистский идиот убедился бы, что, как ни кротка была милая княжна, а по отношению к «защите отечества» вполне была склонна разделить позицию не сектантов, а отца, брата и родной, возлюбленной своей, духовно её напитавшей Православной российской церкви.

Но движемся далее... В деле у переправы через Энс поэтический и любящий Николай Ростов в первый раз «понюхал пороху» — по выражению своего товарища по Павлоградскому гусарскому полку, замечательного Василия Денисова, одного их самых положительных персонажей романа, жизнелюбивого и гуманного, несмотря на удивительную храбрость, как мы помним, высоко ценимую Львом Толстым ещё в годы собственной военной службы на Кавказе. Образ и характеристика Василия Денисова в романе соответствуют существенно идеализированному, но вызывавшему доверие и симпатии Л. Н. Толстого, историческому портрету знаменитого *Дениса Васильевича Давыдова* (1784 – 1839), гусара, партизана и поэта, не принимавшего, правда, активного участия в действиях Третьей антинаполеоновской коалиции в 1805 – 1806 гг. Умный и опытный Денисов хорошо понимает чувства Ростова: «каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер» (*Там же. С. 218*).

На глазах Николая Ростова смертельно ранит на мосту одного из гусаров:

«Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцовито блестела вода в далёком Дунае! И ещё лучше были далёкие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... “Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Ростов. — Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я побегу с ними, и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня... Мгновение — и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья”...

В эту минуту солнце стало скрываться за тучами... И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни — всё слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

“Господи Боже! Тот, Кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня!” — прошептал про себя Ростов» (*Там же. С. 217 – 218*).

Это недовольство Ростовым собой, своей «трусостью» — на деле более глубокое, нежели тогдашнее отвращение к происходящему князя Андрея, состояние: ощущение бессмысленности и безусловности, абсолютности зла, совершаемого вокруг него людьми. То же остранённое восприятие, в сопряжении с живым прекрасным пейзажем, характеризовало, как мы помним, наблюдения юного волонтера, персонажа «Набега».

Но ощущение это — гасится в зачатке волей героя, опирающейся на внушение воспитателей. В главе VII Третьей части автор сводит Николая с Андреем — и Ростов, приняв князя Болконского за «штабного», неприкрыто гордится своим участием в «деле» под Шёнграбеном и своим лёгким ранением. Князь деликатно отклоняет попытку Ростова оскорбить его — дав почувать ему как своё, опытом жизни, превосходство, так и неосновательность гордости Ростова участием в массовом убийстве (*Там же. С. 348 – 349*). Впрочем, семена антивоенного скепсиса, зароненные князем Андреем, на протяжении романа так и не прорастут в сознании Николая Ростова.

Именно князю Андрею суждено пройти путь к очевидности до конца.

Третья часть Первого тома романа, по заданному Толстым для себя алгоритму, возвращает нас в «мирную» московскую жизнь, именно в семейство Ростовых — к сестре Николая Наташе и младшему брату Пете. Рискующее разорением от желания следовать сословным преданиям семейство по этой же причине: внушённым сыновьям преданию о достоинстве для дворянина и о героизме военной службы — рисковало в эту зиму, 1805 – 1806 гг., и самими детьми: Николая смерть обошла: был «немножко ранен, но произведён в офицеры», но завидующий старшему брату девятилетний Петя уже мечтает сделать кучу из убитых лично им французов. И при этом, совершенно справедливо, на реплику сестры Наташи: «Петя, ты глуп» — отвечает серьёзно: «Не глупее тебя, матушка» (*Там же. С. 335 – 337*). Действительно, Наташа Ростова, как и её прототипы, именно жена А. Н. Толстого вкупе с младшею её сестрой, весьма симпатичной мордашкой, Татьяной Андреевной Берс — при всём их «вольнодумстве», по существу — воспитанницы всё того же патриархального и сословного общества, отводящего членам своим вполне определённые одобряемые им роли. Пете, по сюжету романа, суждено погибнуть от последования учению мира, Наташе же, напротив — жестоко от мирского обмана пострадать и быть сломленной им в своих благороднейших мечтах и чаяниях — вплоть до утешения религией на парочку с княжной Марьей.

До какой степени влияет, как актуализирует себя в психике человеческих индивидов и общностей мирское воспитание, внушение, иллюстрирует следующий большой эпизод Третьей части — смотр кутузовских полков в Ольмюце, с участием императора (Том 1. Часть третья. Глава VIII). Стоя «в первых рядах», Николай Ростов разделил с ордой сослуживцев «чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества» (*Там же. С. 351*). То есть, по существу, заразительный атавистический первобытный психоз обожания стайного боевого самца — в отношении Верховного Обезьяны, вожака стаи: в данном случае, самого императора Александра I. Все «сакральные» авторитеты, по существу, восходят к тому же атавизму, зоологическому пережитку в природе человека как животного: будь то идолопоклонники лжехристианства православия, бросавшиеся во времена Толстого в

ножки «батюшке чудотворному» Иоанну Сергиеву, по кличке «Кронштадтский», или собранные по тюрьмам вооружённые на войну в Украине убийцы, надрачивающие в наши дни при одном имени своих бандитов-вожаков: Путина, Суровикина или Пригожина.

Вчитаемся в это проницательное описание, в котором верный психологической правде Толстой-художник сказал больше, чем смог бы Толстой-публицист в те же 1860-е годы:

«Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней, — ничтожная песчинка) пошла бы в огонь и в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то он не мог не трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и один полк за другим принимал государя звуками генерал-марша; потом “урра!...” генерал-марш и опять “урра!” и “урра!”, которые, всё усиливаясь и прибывая, сливались в оглушительный гул.

Пока не подъезжал ещё государь, каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном, оглушительном звуке этих голосов, посреди масс войска, неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, но симметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержанно-страстное внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конно-гвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, своим приятным лицом и звучным, негромким голосом привлекал всю силу внимания. Ростов стоял недалеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением.

Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов и Николай ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он ещё не испытывал. Всё — всякая черта, всякое движение — казалось ему прелестно в государе.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал ещё сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать.

“Боже мой! что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь! — думал Ростов: — я бы умер от счастья”.

[...] “Только умереть, умереть за него!” – думал Ростов.

Государь ещё сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали: “урра!”

Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю.

[...] Когда смотр кончился, [...] более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.

Все только одного желали: под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под команду самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.

Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений» (Там же. С. 351 – 354).

Послушные инстинктам зверюшки Дарвина из русской орды уже словно умертвлены: обращены в толпу, в *безжизненные тела* одинаковых полков, симметрично составленные и гальванизируемые только самыми примитивными раздражителями. Возрождение к жизни происходит, но так же, как происходит, к примеру, реанимация человека, сильнее отравленного алкоголем: человек уже не тот, и последствия интоксигирующего удара по мозгу, нервной системе и всему организму не заставят ждать себя. Так во времена карательной психиатрии в СССР издевались, под видом лечения, над мозгом и психикой инакомыслящих, протестовавших против политики коммунистических бандитов в самом СССР и странах «соцлагеря». И так же, но обыкновенно меньшими дозами, производится отравление, хотя и не медикаментозное, а именно психическое, заражение детей и малодумающих взрослых в путинской фашистской России 2020-х — через официозные военно-патриотические мероприятия, телевидение и пр. Итог один: люди, в повседневной жизни распинающие ежедневно Христа своим нежеланием

даже в XXI веке, через 2000 лет после Христа, жить по-Божьи, повседневно убивающие Христа своими большими и малыми грехами — не только преднамеренными, но и оформленными в систему греховодничества, участие в которой общественно одобрено, а зачастую и необходимо — готовы «в огонь и в воду, на преступление, на смерть» по выкрикам мирских своих вожаков, лукавых, обманывающих и ограбляющих мирный труд этих же людей и паразитирующих на атавистической, вредной работе животных, обезьяньих, бессознательных поведенческих программ, неотвратимо принуждающих «человека разумного» к самому неразумному повиновению.

Вот по отношению к которому эпизоду должны бы были прозвучать в романе знаменитые слова Толстого о «великих» и «величии» в истории, сопряжённые в его тексте с несправедливыми критикой и очернением Наполеона:

«...Когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

[...] И никому в голову не придёт, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (*ВиМ – 2. С. 643 – 644*).

Ничего не только христианского, но и великого — даже в древнем, ещё языческом смысле этого слова — не было ни в зависти Александра I лично к Наполеону, ни в ненависти и страхах русской и ряда иных европейских монархий в отношении к Франции, ни в Антифранцузских коалициях, в которых разбойничьи участвовала Россия, включая сюда и авантюру т. н. Отечественной войны 1812 года, ни, наконец, в использовании разбойничьим гнездом под названием Российская Империя для своих авантур в Европе военных рабов, то есть солдат, набранных по преимуществу из числа рабов владельческих, крепостных крестьян.

Исходя даже из архаической, дохристианской системы представлений — Наполеон, стремившийся в 1812 году перезаключить мир, избежать войны, и только совершивший роковую ошибку, погнав своё доблестное войско в пустоши русской орды, защищал свою страну так же, как в наши дни защищают себя, и снова от того же разбойника, от России, Украина и весь свободный демократический мир. Даже пресловутое «вторжение» его в Россию — было превентивным ударом по собиравшему силы для похода на Францию агрессору, а в ответном сопротивлении возмущённого грабежами, напуганного, либо просто обманутого и согнанного в орду населения — было не больше великого и «отечественного», чем было в 1940-х — в сопротивлении большевицких колхозных и красноармейских рабов недавнему союзнику СССР по ненависти к европейской цивилизации — реваншистской гитлеровской Германии.

Франция же, якобы пребывавшая «под пятой» Наполеона, не погнушавшегося принять императорский титул — тяжело, через все «кочки и ухабы» человеческих несовершенств, а вышла к состоянию, наиболее близкому к христианскому идеалу для крупных общностей. Идеал: общины и Церковь. Степень осуществления, доступная в наше время многим европейцам, но отринутая Россией — демократическое самоуправление в рамках государств и просвещение человека, вне отжитых церковных догматик, знанием о мире и о себе — включающем в себя и нравственные установления, и историю познания человеческим разумом надмирного, Божественного.

Но историю политическую, преподаваемую простецам лохопыркам в школах и ВУЗах, к сожалению, пишут *победители по войнам, а не по жизни*: мирной, разумной и доброй — в том числе, и ту официальную «историю», которую, как источник сведений своих о войнах России против Наполеона, использовал Лев Николаевич Толстой. Именно те преступники, диктаторы, либо просто халтурщики, кто захватил либо удержал власть, спешат изваять «единый истинный» учебник истории для детей и «единый истинный» набор книжек для взрослых, любопытных до истории, в которых заданы как «мера хорошего и дурного», так и образчики «величия». Толстой как «писатель-исследователь» истории — не более чем доверчивый последователь в русле мифологем, заданных, общепринятых внутри референтных для него социальных групп и, в целом, столь приятно для тщеславия, маркирующей его как «своего», привилегированной, элитарной в Российской Империи социокультурной общности.

Между тем, император российский, а совсем не Наполеон, более всего нелеп в эпизоде 16 ноября 1805 года, предшествующем главной, заслуженно позорной для него Аустерлицкой битве:

«Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно пока не разошёлся ещё пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. [...] В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов ещё раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окружённый свитой военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотре, англазированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленной головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тихе, тихе, разве нельзя тихе? — видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.

Ростов видел слёзы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому:

— Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! *Quelle Au terrible chose que la guerre!*» (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Кн. 1-я. С. 364 – 365).

Немногим позднее, в описании финала Аустерлицкой славной и заслуженной победы гениального, великого Наполеона Бонапарта читатель встретит значительно благороднейшее отношение императора французского по отношению к раненому (которым будет князь Андрей) и мужественное — по отношению к самой войне.

Поведение в армии латентного педераста Александра I не военное, и даже не очень-то мужское. И если простые гусары, офицеры и солдаты опьянены и ослеплены зоологическим обожанием сакрализи-



рованного ложной верой самца-вожака, то у более здравомысленных людей в дни Аустерлица было иное мнение — передать которое, хотя и не напрямую, Толстой не преминул. Эпизод этот, кстати, как и вышеизложенный, подтверждается источниково. В день своего позора император торопит М. И. Кутузова с началом наступления, на что получает отповедь полководца: «Мы не на параде и не на Царицыном лугу!» (то есть, на плацу в Петербурге, именовавшемся позднее Марсово поле, где император принимал парады) (*Там же. С. 395 – 396*). Не имея подцензурных возможностей написать об этом прямо, Толстой описанием последовавшего сражения даёт почувствовать, понять, что присутствие обожаемого императора сыграло в поражении русской орды под Аустерлицем свою роль.

Князь Андрей, между тем, существенно скорректировал свои мечты о «Тулоне», о славе. Накануне Аустерлицкой битвы, в ночь после военного совета, он уже раздумывает о риске жизнью, о возможной гибели своей — как цене всё ещё вожделенного подвига! Бессонными ночными часами он во всех подробностях воображает себе сценарий именно славы, славы... И вдруг слышит, как берейтор во дворе Кутузова дразнит повара:

«Тит, а Тит? – Ну? – отвечал старик. – Тит, ступай молотить» (*Там же. С. 378*).

И эта же неумная шутка берейтора повторяется в другом эпизоде, хронологически — уже после несчастливого сражения:

«— Тит, а Тит! — сказал берейтор.

— Чего? — рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка» (*Там же. С. 411*).

Отчего-то писателю было важно, чтобы читатели обратили внимание на этот незатейливый диалог. Обратим внимание, что повторяется он, словно зеркальное отражение — до и после катастрофической Аустерлицкой битвы, причём вослед за описанием совершенного, опустошённого разочарования и отчаяния Николая Ростова, пережившего опасность гибели и плена, в буквальном смысле «сбежавшего от смерти в кусты», при виде беглого кумира своего Александра I и, в особенности, при виде вот такой ужасающей картины живых и мёртвых на «поле брани»:

«Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. [...] На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять, пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны» (*Там же. С. 408. Выделение наше. – Р. А.*).

Настойчивые упоминания Толстым *пахоты, боронования* (этимологически родственно с “бранью”), и *молотьбы* — совершенно не случайны. А. М. Ранчин и Л. И. Соболев находят в этих образах огромную, даже “многослойную” антивоенную символику. Во-первых, «поддразнивающая, автоматически повторяющаяся реплика кучера, вопрос, не требующий ответа, выражает и подчёркивает абсурдность и ненужность войны». Во-вторых, само «имя Тит символично: Святой Тит, праздник которого приходится на 25 августа старого стиля, в народных представлениях ассоциировался с молотьбой (на это время приходился разгар молотьбы) и с грибами (на 28 августа приходится память преподобного Тита Печерского, бывшего воина). [...] Несомненно, это символическое значение имени Тита поддерживалось для Толстого тем, что праздник святого Тита был кануном Бородинского сражения (26 августа старого стиля) одного из самых кровопролитных в истории войн с Наполеоном. Значимо и то, что в ночь накануне Бородинского сражения князь Андрей вспоминает рассказ Наташи о том, как она ходила в лес за грибами (т. 3, часть вторая, гл. XXV). Урожай грибов ассоциируется с громадными потерями обеих армий в Бородинской битве и со смертельным ранением князя Андрея при Бородине». И, наконец, по версии А. М. Ранчина, в этой “отражённой” через море крови шутке выразилась «ирония писателя по адресу незадачливого полководца Александра I: имя Тит было нарицательным обозначением правителя» (*Цит. по: Соболев Л. И. Путеводитель по книге Л. Н. Толстого “Война и мир”: В 2-х ч. М., 2012. Часть 2-я. С. 63.*

Последнюю версию поддерживают и страшные образы «людей-копен» на «поле брани»:

«Как пишет А. М. Ранчин, “уподобление поля битвы пашне традиционно для народной поэзии; в “Слове о полку Игореве” содержится противопоставление битвы пахоте. У Толстого это контраст под видом сравнения, осквернение земли убийством, зловецкий урожай

смерти» (Там же. С. 68). То есть, Толстой *расподобляет* образ-стереотип «поля брани», ставит вне закона сравнение насущного мирного труда с бессмысленным служением человека зверству!

С «Титом-же полководцем», незадачливым завистником Наполеона и международным интриганом императором Александром образ копен в поле связан гораздо очевиднее: латентно гомосексуальный император ведёт себя ещё накануне битвы, как трус, как *баба* — а сгребание, увязывание и даже погрузка на телеги копен сена почиталось среди русских крестьян традиционно *бабьим* занятием. Незадачливого «Тита» Романова народ зовёт, выражаясь уже фигурально, «пожать то, что посеял».

Кстати, после Аустерлицкого позора реальный, исторический Александр тоже поведёт себя по-бабы: в поражении будет винить союзников, австрийцев, а от Кутузова потребует отставки, означавшей, по существу, опалу и немилость.

Такая непростая символика на нашем пути анализа романа встречается не напрасно. Мы подошли вплотную к одному из самых знаменитых эпизодов «Войны и мира», который бы можно было назвать и ключевым, сложись под пером Толстого иначе судьба его главного участника.

Сцена паники русского войска, глава XVI Третьей части... Залп французов сражает подпрапорщика, нёсшего батальонное знамя. Кутузов в тоске адресуется к своему адъютанту с риторическим вопросом: «Болконский, что ж это?», на который наш герой не преминул тут же приступить пространно ответить действием:

«...Князь Андрей, чувствуя слёзы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперёд! — крикнул он детски-пронзительно.

“Вот оно!” – думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжёлое знамя, и побежал вперёд с несомненною уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком “ура!” побежал вперёд и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же

был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20-ти шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

“Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них: — зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его”.

Действительно, другой француз, с ружьём наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, всё ещё не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

“Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются”, подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нём серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного

неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...”» (*Толстой Л. Н. Война и мир. Указ. изд. Кн. 1-я. С. 400 – 401*).

И ниже, в заключительной в Первом томе, XIX – й, главе Третьей части:

«На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытьё. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

“Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче?” было первою его мыслью. “И страдания этого я не знал также, — подумал он. — Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?”

Он стал прислушиваться... Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с ещё выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность» (*Там же. С. 414*).

Это было бы кощунством не процитировать именно так — пространно и без купюр. Небу не ведомы границы — ни в ширь, ни в глубину. И очень важный шаг к Богу — бессознательно, но сделан был князем Андреем именно под небом Аустерлица! Трудно представить, насколько короче, и короче ли, оказался путь к пробуждению возлюбленного автором персонажа к жизни духовной от мирской — окажись таковым, и на месте князя Болконского, чувствительный и склонный к созерцанию Николай Ростов. Ниже мы увидим, что и князь Андрей был склонен оттолкнуть свой крест: рождение в себе — апеллируя к излюбленным Л. Н. Толстым евангельским образам — *Птицы Небесной*, то есть человека, несущего в себе по жизни Небо: готового слить свою волю с волей Бога, отдать себя в Его волю совершенно, довериться Отцу и сораспяться Сыну...

Жизнь теперь показалась князю Андрею «столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ей теперь» (*Там же. С. 415*).

Иное жизнепонимание!.. Жизнепонимание Христа. Андрей, именно князь, то есть ещё раб Божий, детёныш накануне рождения, совершенно прав, когда подумалось ему, что прежде «страдания этого он не знал». Всю картину можно уподобить родам. Стоны его — как

стоны беременного, готового родить дитя. Или, быть может, крики матери-птицы, готовой к появлению птенца? Боль же в голове — от разрывания “пуповину”, связывающую с прежним — и прежней, полудетской, жизнью, и с прежним жизнепониманием.

Увенчались ли тогда же “схватки” духовными “родами”? Как помнит наш читатель — нет и нет. Великое Небесное было грубо прервано великим же, но земным: над князем Андреем, «лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени», явился, ложным средостением с Небом, сам Наполеон:

«Князь Андрей [...] знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нём облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нём...» *(Там же)*.

Волею Наполеона князь Андрей был поднят и отправлен к личному врачу императора, конгениальному ему — к великолепному, знаменитому Жану Доминику Ларрею (фр. Dominique-Jean Larrey; 1766 – 1842), французскому Пирогову и Войно-Ясенецкому в одном прекрасном лице. И тот отстоял, отобрал у смерти ещё одну, уже было заключённую ею, жертву...

На перевязочном пункте недавний кумир и герой Андрея Болконского обратился к нему лично, но не был удостоен ответом:

«Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему.

[...] Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о ещё большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих» *(Там же. С. 417)*.

Тайна позволила прикоснуться к себе — но не раскрылась тогда же: раб остался рабом, не пробудившись к осознанию своего сыновства в Отце, в Боге. А мир “тащил” уже Андрея Болконского назад, на себя, к себе, в себя: и не только добрые воспоминания о Лысых Горах, о жене, отце и сестре, но и развенчанный перед Высшей Правдой, *почувствованной* в её присутствии в мире князем Андреем — недавний его кумир, теперь просто «маленький Наполеон с своим

безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом» (*Там же. С. 418*). Он символизировал собой *воинскую и полководческую славу, защиту Отечества, победу, мирное обустройство отечества* и всё то, что оставалось значительным для близких, молившихся далеко, в России, о его возвращении. Всё то, что и должно ещё, на определённом этапе развития человечества от зверства к разуму, быть значительным для живущих и живых — как ступеньки на пути непростом, затяжном, но и единственно посильном для грешной природы человека: на пути к исполнению воли Отца, Бога.

Альтернативный путь — взлёт к Небесам Птицы — путь немногих, даже единиц...

На груди своей князь Андрей нашарил образок княжны Марьи, символическое выражение идолопоклонства людей, так и проживающих жизнь, не услышав ни разу шёпот Небес, не поглядев на мир *иными глазами — Птицы Небесной*. Кажется, именно этот грузик на золотом цепочечном аркане “притянул” раба Андрея уже совершенно назад, к земле с её суетами и неправдами. И князю, теперь уже снова *князю Андрею*, осталось лишь сожалеть о неотвеченности ему — то есть, если точнее, неготовности его воспринять ответы, которые всегда наготове у Неба — на вопросы о смысле жизни и её, давшем князю Андрею отсрочку, смертном исходе:

«Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнее!» (*Там же. С. 418*).

Деталь, мимо которой проходят многие исследователи: среди пленных пред Наполеоном предстаёт 19-тилетний подпоручик, граф *Павел Петрович Сухтелен* (нидерл. Paul Graaf van Suchtelen; 1788 – 1833), с его дерзким, знаменитым ответом Наполеону: «Молодость не мешает быть храбрым!». Эта реплика восхитила гениального Человека Мира, и он изрёк в ответ юному храбрецу: «Молодой человек, вы далеко пойдёте!» (*Там же. С. 417*).

Но в Томе четвёртом, как наверняка помнит читатель, споёт свою неединственную песенку храбрости очарованный Петя Ростов, судьбою своею указывая, сколь недолог может быть такой путь юных «героев»: до первой нелепой ямы, куда нелепо свалит тебя нелепая, шальная пуля...

Вопреки “изобличениям” Толстого в едва ли не пожизненном руссоизме, он всегда сохранял вполне христианский антропологический

пессимизм: человек повреждён грехом в земной своей природе, удобопреклонен ко греху, даже и к отвёртыванию от спасения во Христе, в Церкви, и на одного человека, родившегося духовно, приходится в нашем лжехристианском мире очень немало людей, нелепо отдающих жизнь за обманы и соблазны мира!

## ВТОРОЙ ТОМ

Второй Том, несмотря на его репутацию Тома «мирного», на самом деле, не менее любопытен для нашей темы, нежели Первый. Например, эпизод рождения мифа о сражении при Аустерлице, героизирующего русских и винящего за поражение союзников, среди болтунов московского Английского клуба, чествовавших Багратиона (*Толстой А. Н. Война и мир: В 2-х кн. М., 2009. Кн. 1. [Далее: ВиМ – 1] С. 438 – 440*). Там же, как может помнить читатель, произошла ссора бедокура Долохова с Пьером Безуховым, из-за намёков о поведении жены Безухова, бодрой шляхи Элен, завершившаяся дуэлью и ранением Долохова. Пьер, сравнительно недавно обосновывавший в салоне Анны Павловны Шерер право на политическое убийство во имя «общего блага» — вдруг ощутил ложность, фальшь любых оправданий для убийства: «Глупо... глупо! Смерть... ложь...» — твердил он, морщась» (*Там же. С. 450*). Мамаша Долохова, то есть одна из воспитательниц его в ложном мирском предании, в разговоре с Ростовым оправдывающем, освящающем войны, дуэли — винит в случившемся не провокатора сына, а Пьера, отчасти справедливо относя его к «развращённому свету», но, совершенно несправедливо, идеализирует своего Фединьку, считая «слишком благородным и чистым душой» для этого самого «света» и особенно для дружбы с Безуховым (*ВиМ – 1. С. 467*). Между тем «дружок» на прощальной, перед отъездом в армию, пирушке с холодностью именно убийцы, палача, отторгающего душу из плоти, отдающего её во власть сатаны и адской бездны, обыгрывает в карты Ростова, дитя и без того небогатого, клонящегося к разорению отца, на огромную сумму в сорок три тысячи (*Там же. С. 481 — 484*).

Интересен эпизод в Лысых Горах, где князь Андрей, теперь вдовец с малюткой сыном, Николенькой, выздоровевший после ранения и давший себе установку не помышлять о военной службе — при этом,



однако, взволнован военными подробностями, сообщёнными ему в полном безжалостных сарказмов письме от Билибина и расстроен известием из письма отца о «виктории» русских при Прейсиш-Эйлау (7 – 8 февраля 1807 года), в ходе участия России в Четвёртой уже антифранцузской коалиции. Расстроен за то, что не участвовал в деле, по всем соображениям, героическом и победном. «Прививка» мирского обмана делает своё дело: для него вдруг снова делается, ненадолго, приемлемым — военное убийство и риск собственной жизнью. Отрезвляет его вдруг явившийся страх за ребёнка — единственную всего-то, зато субъективно бесценную для родителя, для отца, для князя Андрея жизнь (*Там же. С. 527 – 535*).

Но неизмеримо значительнейший поворот в сознании Андрея Болконского от исповедания «закона насилия» к «закону любви», к истине, к Богу, связан с последующими сценами — встречей его, после двухлетнего перерыва, со старым другом Пьером Безуховым, успевшим за это время вступить в масонское «братство» и начитаться соответствующей «духовной» литературы, катализировавшей и канализировавшей в религиозно-мистическое русло его размышления о жизни, а кроме того, давшей способность, а скоро и опыт красноречия по поводу сомнительных вещей — того самого, которым славятся сектанты, вербующие в свои ряды новых членов.

Итак, Пьер заезжает в гости к князю Андрею, в имение Богучарово, и встречает друга — физически залеченного, но душевно подранка, ходячий продукт не столько возраста, зрелости, сколько именно войны: друга резко постаревшего, бледного, нахмуренного, с мёртвыми улыбкой на лице и взором, сосредоточенным на непрерывном, замкнутом от других внутреннем страдании (*Там же. С. 541*). С безжалостной и зловещей меткостью князь Андрей окрестил внутренне готового на душегубство, пахнущего смертью Долохова, при рассказывании Пьера о дуэли с ним, «злой собакой», которую и убить было бы «даже очень хорошо» (*Там же. С. 543*). Апелляции к религиозной этике у него ассоциируются с грубо суеверной религиозностью сестры, княжны Марьи. Над её верой он привык насмешничать, однако вне её, недоступных искалеченной душе брата, пределов — есть лишь «добро для себя», равно как и правда, которая у каждого своя, и жизнь — тоже для себя. «Угрызение совести и болезнь» — вот несчастья, да и то первое из них легко побеждается самооправдывающей индивида софистикой. Бог умер для души и сознания человека, узревшего едва ли не худшее в ту эпоху, что люди способны

совершать над людьми же. Ему не вдохновительны рассказы давнего друга об учреждаемых им, богатым Пьером, школах и больницах для своих крепостных рабов, а по отношению непосредственно к медицине князь Андрей практически повторил формулу многолетнего скепсиса автора романа: «Что за воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала... Убивать — так!» (Там же. С. 546). Дворянское мирное самоуправление он именуется «озабоченной пошлостью», подходящей для «добродушных» (Там же. С. 546 – 547). Назвав «злой собакой» действительно гнусного в некоторых своих поступках Долохова, князь Андрей не замечает собственной своей озлобленности. Не может замечать — кстати, вместе с автором, переживавшем в годы писания «Войны и мира» период «семейного счастья», о самообманах и пошлости которого расскажет позднее, устами злосчастного Позднышева в «Крейцеровой сонате» — и того, что духовная «яма» первобытного эгоизма, который он защищает, суть антитезис по отношению к его прежнему поклонению военной славе и гению Наполеона. Пространство, отделяющее его низшее, первобытное жизнепонимание от христианского, всемирного, божеского — это разбег, нужный для взлёта Птицы Небесной.

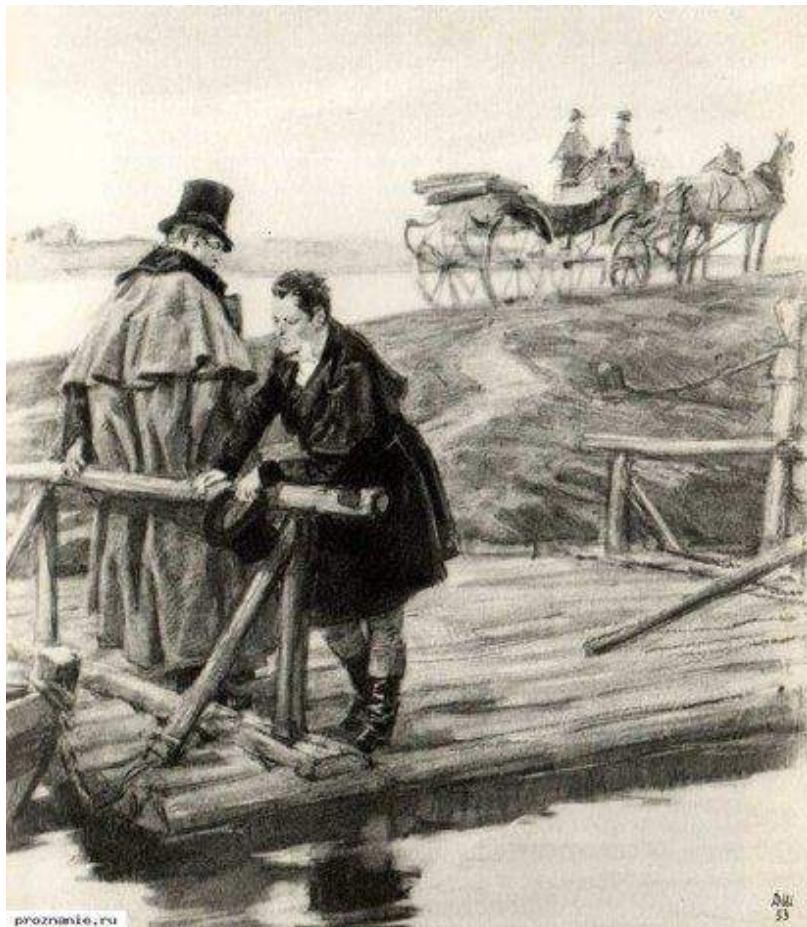
Этот евангельский образ *доверия Богу*, то есть *веры парящей*, живой — ключевой не только для «Войны и мира». Птица — один из любимых образов в творчестве и дневниках Толстого. В одной из записей (записная книжка 1879 года, 28 октября) Толстой противопоставляет «Наполеонов», которых называет «людьми мира, тяжёлыми, без крыл», людям лёгким, «воскрылённым», «идеалистам». Себя он называет человеком «с большими, сильными крыльями», падающим и ломающим крылья, но способным «воспарить высоко», когда они заживут.

Сам себя выдал! Описание великолепно подходит к тому, что совершается в романе с князем Андреем Болконским — как раз от времени разговора с восторженным другом.

Сам ещё не зная, до встречи с Пьером, этого за собой, князь Андрей, однако, как все сдавленно-несчастные люди, был не менее сестры своей уязвим для опиума не только таких отдельных людей, но и целых несчастных народов — то есть, для религии. И тут-то он поймался: Пьер был масон и, конечно, не преминул постучаться в душу друга молоточком «вольных каменщиков»:

«Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства,

братства и любви» (Там же. С. 550). На земле всё зло и неправда, но «во всём» Божьем мире есть «царство правды», а люди — «дети всего мира», каждый из людей суть — «звено, одна ступень от низших существ к высшим» (Там же. С. 500 – 551). На князя Андрея, видевшего гибель на войне многих и потерявшего любимую жену, эта риторика не могла не произвести действия. Птица Небесная в нём вдруг очнулась... почувствовала себя... отверзла очи, и тут же обратила их к единосущному себе самой — к Небесам!



Пьер Безухов и кн. Андрей на пароме.  
Илл. Деметрия Шмаринова

А Пьер, разогнавшись в своей проповеди — уже вовсю убеждал духовное существо Андрея, раба Божия — «встать на крыло», чтобы раб превратился в сознательное дитя:

«— Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, — говорил Пьер, — что живём не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всём (он указал на небо). Князь

Андрей стоял, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синееющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: “правда, верь этому”.

Князь Андрей вздохнул, и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

[...] Выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лёжа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее что было в нём, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нём. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ изд. Кн. 1. С. 552*).

С этого времени князь Андрей возрастает к христианскому религиозному пониманию жизни, к сознательному сыновству Отцу и к последованию Христу — идя по тому же непростому, но верному пути, по которому шёл и сам Лев Николаевич. Разумеется, в романе 1860-х гг. он мог верно описать только ту часть пути, которую успел пройти — например, состояние отторжения, неприятия подлости и лжи на войне, досады за унижения простых солдат: то, которое мы в Первой главе книги описали формулой: «за державу обидно». Да, и за народ тоже... За граждан! Общественное непонимание — побеждающее эгоизм прежнего душевного калеки. Весною 1809 года князь Андрей, после особо памятной в России школярам и недоумкам «встречи с дубом», не просто намерен возвратиться к службе, а «даже теперь не понимал, как мог он когда-то сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни» (*Там же. С. 597*). И, совершенно уже автобиографическая, ещё одна подробность: будучи в немилости у императора за неучастие, после Аустерлица, в военных его гнусных авантюрах против Франции, почуяв себя в некоторой «оппозиции» и ухватившись за сотрудничество со Сперанским, князь Андрей Болконский готовит «записку о военном уставе» — сомневаясь, по её «нецензурности», в возможности представить её

царю (*Там же. С. 599*). Финал у проекта был предсказуемо трагичен: военный министр, печально знаменитый Аракчеев, не одобрил «записки» Болконского, в числе прочего обнаружив в ней влияние французского военного устава (*Там же. С. 600 – 602*).

\* \* \* \* \*

Проследив судьбу идейно глубочайшего, значительнейшего из персонажей романа: того, в связи с которым антивоенная тема «черпается» Толстым-художником, безусловно, на максимуме его возможностей – на уровне метафизическом — возвратимся теперь к более поверхностной, но не менее значительной для нас стороне, именно внешнем выражении писателем антивоенных настроений в романе.

Страшно проиграв сорок три тысячи беспощадному, как сама смерть, как сама Россия, кацапу Долохову, Николай Ростов уже к службе, в Павлоградский гусарский полк возвращается, как домой — ибо дома ему сделалось неуютно, отчасти и по причине денежных отношений с отцом, на которого легла уплата долга. В условиях жизни регламентированной, примитивизированной ему было легче спрятаться от проблем жизни настоящей, «мирной», главное же — от экзистенциальной *бессмыслицы* такой жизни перед лицом смерти. О таком прятании Толстой будет вести речь и позднее, в связи с размышлениями о своей жизни Пьера Безухова в Части 5-й Второго тома (глава I):

«Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытие, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. “Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от неё как умею! — думал Пьер. — Только бы не видеть её, эту страшную её” (*ВМ – 1. С. 755*).

Но если разумное и доброе мирной жизни, действительно, отсекается условиями стойбища или казармы, то пороки людей, как узнал это практикой уже Толстой-волонтер на Кавказе, напротив, выступают в условиях выморочных, неестественных, мучительных для Бо-

жественного в человеке — только разительней. Русская орда, отступая по разорённым ею же немецким землям, оказалась в роли бараньего стада, удерживаемого ставящим жестокий опыт пастухом на участке, где для баранов нет уже питания. В зиму и весной 1807 г. Павлоградский полк, не участвовавший ни в отвратительной мясорубке при Прейсиш-Эйлау, ни в других значительных стычках с французами, «потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей» (*Там же. С. 561*). Решительный Денисов спасает своих солдат, отбив обоз с провиантом, предназначившийся пехотному полку. Дабы, задним числом, уладить дело, Денисов навещает провиантское ведомство, где зажратые лицемеры винят его в «разбое», а в кабинете комиссионера восседает подлец Телянин — прежний сослуживец Денисова и Ростова, персонаж у Толстого более гнусный, чем Гуськов в «Разжалованном», удалённый из Павлоградского полка за подлейшее, нижайшее морально, истинно обезьянье дело: кражу у товарища кошелька. Денисов всласть отходил с кулака ворюгу, сделавшего себе карьеру среди равных по подлости, но за это Денисову грозили уже военно-судная комиссия и разжалование (*Там же. С. 565 – 568*).

Система порочного, поганого «русского мира» взяла за глотку человека, для которого честь была дороже жизни, а не только карьеры... Дабы избежать унижительного судилища, Денисов с лёгким ранением отправляется в госпиталь.

На картинах госпитальной повседневности, которые непременно напомнят читателю описание госпиталя в «Севастопольских рассказах», мы задерживать внимания не станем. Снова, как в «Севастопольских рассказах» — цветущие, но не мирные между людьми дни начала лета... Люди, большие, взрослые люди — не радуются маю, не радуются и лету, а продолжают убивать друг друга. После Фридландского сражения (14 июня 1807 г.) объявлено перемирие — похожее на то, что много лет спустя, в статье «Патриотизм или мир?», описывал Толстой, вспоминая кстати французскую пословицу: «pour mieux sauter, т. е. разбежались для того, чтобы лучше прыгнуть, с большим остервенением броситься друг на друга» (90, 46). Потому что «гладиаторы воспитаны для драки», «и если они разведены, то только на время, и завтра, послезавтра будут драться, может быть, ещё хуже, чем бы подрались нынче» (*Там же. С. 163*). Именно это и означал апофеоз трусости и подлости Александра I, так называемый Тильзитский мир, заключение которого, неизвестно для простых

жертв политиков, готовилось в дни этого перемирия. Разница же с гладиаторами та, что гладиаторы древности рисковали лично собой, своими жизнями, гладиаторы же лжехристианского мира XIX – XXI веков предпочитают смешивать с грязью и кровью жизни других.

Бравый Денисов не только не стал здоровее в госпитале физически, но, как заметил навестивший его Николай Ростов, явно сдавал и морально. Прежнего человека было почти не узнать... Смерть, которой разит до сего дня от всякого мановения тётки «родины», государства Российского, уже отравила его изнутри:

«Рана его, несмотря на свою ничтожность, всё ещё не заживала, хотя уже прошло шесть недель... В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех гошпитальных лицах. [...] Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провиантскими чиновниками» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ. изд. Книга 1-я. С. 574*).

Эпизод в госпитале — более, чем антивоенные: *антиимперские* страницы великого романа! Отравление бытовухой насквозь этактистского, донощического, сутяжнического, поганоподлого «русского мира», не только мешало заживанию небольшой физической раны простецкого, но сущностно благородного, чистого нравственно Васьки Денисова, но всё более уничтожало изнутри этого лучшего товарища и друга Николая Ростова. Однако Ростов сумел спасти его, вызвав на разговор о тяжбе с провиантскими крысами. Выпустив из себя много яду и мало оставшейся энергии жизни, полуживой Денисов вдруг обмяк и, пробормотав известную пословицу о «плети и обухе», с «болезненно-фальшивой улыбкой» отдал Ростову письмо к подлейшему, чем они оба человеку — императору Александру I, «государю»:

«Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании» (*Там же. С. 575*).

Сам Денисов не был настолько чувствителен, а вот для Николая Ростова совершившиеся события явились новым разочарованием — и в военной службе, и в «государе», и в государстве... так и не изменившие, впрочем, и до конца романа его общих установок «служилого человека», военного и «подданного» под присягой. В части Четвёртой Второго тома романа автор представляет нам Ростова в 1809

году: «загрубелым, добрым малым», обладающим «тем здоровым смыслом посредственности, который показывал ему, что было должно» (*Там же. С. 686, 688*). К большому его сожалению, денежные дела семьи всё расстраивались, и, выслужив чин ротмистра, он должен был ехать в отпуск — в ту самую, страшную для него, живую жизнь, мирную, настоящую жизнь человеческую, «где всё было вздор и путаница» (*Там же. С. 688*).

Рассказ в начале Четвёртой части о возвращении Ростова в нищающее, но по-прежнему дружное своё семейство Толстой открывает интереснейшими общими, но, безусловно, основанными на личном опыте, рассуждениями о главной составляющей нравственного разврата человека от военной службы:

«Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность была условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашёл одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы» (*Там же. С. 686*).

От этой точки зрения на «военное сословие» Толстой не откажется и в годы своего христианского исповедничества: напротив, найдя в живой, первоначальной, евангельской вере Христа подтверждение для прежних своих, с молодых лет, критических настроений, основанных на личном опыте военной службы, в статьях «Николай Палкин» (1886), «Стыдно» (1895), «Carthago delenda est» 1896 года он будет сравнивать праздное и «деградирующее» военное сословие с идеальным образом «декабристов 20-х годов», а в романе «Воскресение» сделает условия военной службы роковыми, решающими в нравственном падении главного персонажа книги, молодого Дмитрия Николаевича Нехлюдова.



## ТОМ ТРЕТИЙ

Время снова обратиться к судьбе князя Андрея. Хотя бы потому, что в самом начале Третьего тома из уст князя, а значит, казалось бы, и автора, звучат как будто даже близкие «позднему», христианскому Толстому антивоенные суждения. Это подчёркивает классик советского и российского толстоведения Сергей Нестерович Чубаков, подводя итог эволюции антивоенных воззрений Л. Н. Толстого на материале его самой «долгой», по времени работы над нею, повести «Кавкази»:

«Суждения писателя о войне с годами неуклонно освобождаются от пацифистской абстрактности и приобретают характер всё большей определённости и категоричности. И наконец, эти суждения приобретают свою отчётливо безоговорочную форму: война — не любезность, а самое гадкое дело в жизни, противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Война — безумие, война — преступление» (*Чубаков С.Н. Лев Толстой о войне и милитаризме. М., 1973. С. 72*).

Оставим на совести автора сближение гуманистических (жаление солдат, народа) и либерально-оппозиционных («за державу обидно») настроений Толстого с неведомым ему в 1850-е годы и не одобрявшимся никогда православной ортодоксией пацифизмом: понятно, что в подцензурном советском издании С. Н. Чубакову было безопаснее писать о Толстом как о пацифисте, нежели о его ещё церковной, православной в те годы вере или даже об умеренном, сословном либерализме писателя! Не в этом дело. Для нас важно, что С. Н. Чубаков цитирует здесь и автора, и его персонажа — мировоззрение которых, однако, ошибочно было бы отождествлять.

Выше мы уже сказали своё слово об одной из этих цитат, открывающей Третий том романа: о войне как «противном человеческому разуму и всей человеческой природе событии» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ изд. Кн. 2. С. 9*). Чем больше Толстой избавлялся от пережитков влияния на него в юности Жана-Жака Руссо, тем менее был склонен идеализировать «человеческую природу». Христианству такая идеализация враждебно чужда! Вторая же часть «скрытой», но легко идентифицируемой цитаты С. Н. Чубакова — уже из Второй

части Третьего тома, из беседы князя Андрея с Пьером Безуховым, явившимся под Бородино, чтобы видеть историческое надирание Наполеоном русской орде её, в большинстве, рабских да холопских, сраных или готовых усратся, русских задниц. Патриотично настроенный князь Андрей ругается на французов и немцев с их “теориями” (при том одним из “немцев” является легендарный Клаузевиц, теории которого чётко выразились в суждениях князя Андрея). Он настроен на победу, потому что «сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил его выиграть» (*Там же. С. 241*). Вместе с тем он подчёркивает, что война «страшная необходимость» и осуждает отношение к ней как к «любимой забаве праздных и легкомысленных людей»:

«Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни и надо понимать это и не играть в войну» (*Там же. С. 244*).

«Не играть в войну» — значит, в частности, не брать пленных, а назвать их убийство «казнью» — точно так, как поступают в 2022 – 2023 гг. в Украине путинские агрессоры, мародёры и палачи в отношении не только солдат, но и мирных жителей! Отличие же позиции князя Андрея от военных преступников путинской России — в бесомненном благородстве человека, осуждающего обращение с пленными за рыцарство, и тут же восклицающего: «Не брать пленных, а убивать и *идти на смерть!*» (*Там же. Выделение в тексте наше. – Р. А.*). Российские, путинские бандиты в наши дни предпочитают держать в плену, в заложниках беззащитных мирных жителей, и уж никак не умирать, а возвращаться восвояси, к своим жонкам и выщенкам, с ложной «честью» и с награбленным в Украине!

Пьер чувствует безусловную искренность настроения «разогретого» для большой драки самца вида «гомо сапиенс» — князя Андрея Болконского, снова в узнаваемой роли резонёра, оправдывающего, на этот раз, первобытное военное палачество человечества.

Быть может, Клаузевиц бы одобрил такие помышления... но не одобрил бы их *тот* князь Андрей — под небом Аустерлица, и *тот* — на пароме с Пьером. Разогретый тогда, от большого и горячего Пьера, чувством совсем-совсем иным, человеческим и сложным — любовью к жизни и приугасшим было желанием жить...

На высоте своей воинственности князь Андрей даже произносит, в уши куда более мирного, *сущностно* мирного Пьера, осуждение «традиционной» войне — как будто по тексту позднейших, 1900-х

годов, толстовских сборников мудрой мысли «Круг чтения» и «Путь жизни»:

«Военное сословие самое почётное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение её, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то, это — высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число ещё прибавляют) и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...» (*Там же. С. 244 – 245*).

Молодой, ещё довольно молодой человек считает, что — вкусил. Как-то невразумно любит себя по поводу этой обретенной, якобы, «мудрости». Однако это не мудрость истинно зрелых и мудрых. Особенно — в контексте идеи о том, что крайняя жестокость в отношении пленных и безжалостность воинов к самим себе могут свести к минимуму самые войны. Такое направление военной мысли никогда не поддерживалось Толстым, равно как, позднее, в конце XIX столетия — концепция о возможности прекращения войн в связи с изобретением слишком страшного оружия: самообман в который верили ещё в XX веке многие сторонники распространения, например, ядерного оружия.

Но вот князь Андрей, как видно, переполнившись воспетым Толстым, в описании Бородинского сражения, тем самым «духом войска», проигрывает поединок храбрости взорвавшейся подле него гранате — до последней секунды мешаясь в чувствах: любовь к жизни и мирское тщеславие, желание выглядеть храбрецом (*Там же. С. 292*). «Храбрый тот, который ведёт себя как следует» — здесь нам

самое время снова вспомнить стихийного поклонника Платона, капитана Хлопова из рассказа «Набег». Одно отступление от древней мудрости человечества — и для князя Андрея Болконского качественно, навсегда меняется всё! Настаёт время значительнейших помыслов и поступков. Очнувшись на перевязочном пункте, тяжело раненный, он видит ненавистного ему Анатоля Курагина — соблазнителя его невесты, Наташи Ростовой — и преисполняется не то, что прощения, а «восторженной жалости и любви к этому человеку» (*Там же. С. 297*). А вслед тому — уже и надо всеми людьми мира заплакал Андрей «любовными слезами», «над собой и над их и своими заблуждениями». И вот, впервые в жизни своей, князь, уже не по внешнему, как в беседе с Пьером, влиянию, а по внутренней потребности обретает, и в сильнейшей степени, то состояние разумного сознания человека, которое несовместимо с самой возможностью войны:

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что ещё оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!» (*Там же. С. 297 – 298*).

Не «поздно» быть не может: сам автор, Толстой 1860-х, живёт ещё вполне мирским, и, лишь посредством образного художественного повествования, робко заглядывает *туда*, за пределы земного... туда, где *она*: смерть и главная загадка её.

О моменте смертельного ранения князя Андрея в сражении при Бородино, снова подтолкнувшего к Небу, к Богу в нём духовое существо, Птицу Небесную, Елена Полтавец рассуждает так:

«А может быть, не было у Толстого замысла показать патриотизм и непримиримость? Может быть, и под духом войска герой Толстого понимает в утро Бородина не готовность сражаться, а стойкость и самопожертвование в непротивлении? Если бы князем Андреем владела гордыня, Толстой показал бы его примерно таким же, каким он был в Аустерлицком сражении. Но в том-то и дело, что невероятная духовная сила князя Андрея выразилась в том, что гордыню свою он смирил, показав пример самопожертвования и христианско-буддийского непротивления на поле боя. Только так, нравственным превосходством, враг мог быть побеждён, вернее, уничтожен морально.

Военная, физическая сила всегда побеждалась Наполеоном. Сила же духа оказалась выше его, потому что ненасилие выше насилия. Сила духа не есть гордость. По Толстому, “высшее духовное состояние всегда соединяется с самым полным смирением” (дневник, 5 мая 1909 года). Слова “мир” и “смирение” — родственные. Толстой показывает, что тот, кто смирится, победит войну» (<https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200202904>).

Мы не склонны наделять князя Андрея на Бородинском поле подобными чертами Иисуса Христа или Будды — хотя бы уже потому, что христианское смирение (подлинное, не «православное») означает полёт Птицы, веру живую, а значит — неучастие, *нравственную невозможность* участия человека в том, к чему безверных влекут соблазны, страхи, самообманы (включая соблазн «устроительства», обеспечения жизни). А это, например — стяжательство, торговля, любой «бизнес» с доходом, конкуренция и, разумеется, *война* в целокупности её проявлений и событий.

Ниже мы представляем читателю несколько иное видение символики заключительных эпизодов жизни и кончины князя Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого.

Эпизоды длительной болезни и кончины князя Андрея связаны напрямую с близкой Льву Николаевичу христианской идеей «торжества духа над плотью» — или, в образной системе евангелий, пробуждения Птицы Небесной.

Третья часть Третьего тома, глава XXXII. Драпающая из Москвы, от великого Наполеона русня поджигает в городе дома, не заботясь о массе раненых, свезённых туда после Бородинского сражения. Но «высокопоставленному» в мире князю Андрею повезло: несмотря на безнадежность его ранения, он был вывезен. На остановке в Мытищах он, молча терпя страдание, «оселок» своего духовного пробуждения, просит окружающих достать ему Евангелие: «Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием» (*Там же. С. 439*). Размышляя об открывшемся ему *законе любви*, предписанном евангелиями, он вдруг слышит «тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: “И пити-пити-пити” и потом “и ти-ти” и опять “и пити-пити-пити” и опять “и ти-ти”. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок

или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно всё-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется! тянется! растягивается и всё тянется», говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиванием к шопоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок, князь Андрей видел урывками и красный окружённый свет свечки и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его.

[...] — Довольно, перестань пожалуйста, оставь, — тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенною ясностью и силой.

“Да, любовь (думал он опять с совершенною ясностью), но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь, или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда умирая я увидел своего врага и всё-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. — Любить ближних, любить врагов своих. Всё любить — любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческою любовью; но только врага можно любить любовью божескою. [...] Любя человеческою любовью можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить её. Она есть сущность души...”

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударила муха...»  
(Там же. С. 441 – 442).

Эта звукопись смерти животного, эгоистического существа и рождения Птицы Небесной — попытка писателя-Толстого заглянуть, хотя бы кинуть взор туда, куда не достягает без веры ни один ум.

И только теперь, в новом состоянии сознания, прощает Андрей, уже почти не князь, прощает и полюбляет любовью Христа свою былую невесту, Наташу Ростову. Анатолий Курагин, напомним, прощён ещё на Бородинском поле... Женщина виноватей. Даже для последующего Христу... Так въедливо в человеке внушение лжехристианского, гнусно-патриархального поганого «русского мира»!

Умиравший князь Андрей прозревает к новому пониманию жизни-любви, отрицающему старое, окружавшее его. Узы земных соблазнов и суеверий разорваны, и человек готов сделаться работником в мире Бога и учеником Христа, «клевать зёрна» разумного учения жизни — «хлеба жизни», того, который «един на потребу»... Но, увы! тело его, приданный временно инструмент человеку для работы в мире в воле Отца, безнадежно разрушено, и ему суждено только умереть. В этом самоограничение писателя. «Птицы Небесные» из проповеди Христа (*Мф. 6: 25-26*) — это итог земной духовной эволюции. И Птица возносится к Богу — ибо, по вере православия, которому доверяет пока Лев Николаевич, дело такого человека на земле окончено.

Между тем, в жизни самого Л. Н. Толстого были несколько евангельских «птиц небесных» и, как минимум, три различные отношения к этому образу: наблюдателя, искателя, и... собственно «Птицы Небесной». Первыми были, в религиозном чтении ещё детских лет, евангельский проповедник деятельной любви и братского сожития апостол Иаков и апостол Иоанн, предание о проповеди которого в старости Толстой-христианин особенно ценил.

Это не означает, что указанные образы сводятся именно к состоянию «Птицы Небесной». Они и не являются ими на высотах своей жизни. Они — сопутники учеников Христа, наставники. Но пока человек не созреет для ученичества, то есть пока не пробудится его разумное сознание к сомнению, поиску и возможности высшего, чем общее для его современников, понимания жизни, высота наставничества просто непостижима для такого человека, и всё, что он видит в людях, стоящих на этой ступени, — это их неотмирность, «святость», юродивость, кажущееся безумие...

На следующем этапе — экзистенциальных исканий зрелых лет — Толстой, суммируя опыт своей жизни создал художественные образы, бесспорно принадлежащие к числу самых близких ему образов, воспитующих сами себя *путников* от рабства учению мира: Пьера Безухова и князя Андрея Болконского в романе «Война и мир». Умиравший князь Андрей прозревает к новому пониманию жизни-любви, отрицающему старое, окружавшее его.

Когда к такому отрицанию пришёл в начале 1880-х гг. сам Лев Николаевич и выразил его в сочинениях «Исповедь» и «В чём моя

вера?», его самого поспешили отнести к «нигилистам» и отрицателям едва ли не всей жизни... некоторые — и к сумасшедшим.

Пиши Толстой этот свой роман тремя десятилетиями позже, рискнём предположить, что не «убил» бы своего князя, а сделал бы тем, чем вполне сделался он сам, Лев Николаевич, в последние десятилетия жизни: общественным деятелем и просветлённым наставником-учителем.

Такие земные поприща реализуются как рабами и прислужниками учения мира, так и учениками Бога. Невозможны они — только для срединного поприща и характерного для него переходного состояния сознания индивида: для учащегося послушника Христа, для «Птицы Небесной». Дело такого ученика: смиряться, доверять Богу, созерцать открывающуюся истину... Подниматься, насколько осилишь, по «ступенькам» Нагорной проповеди. Любовь к враждующим, отвечание любовью на вражду — один из тяжелейших уроков. Она предполагает стойкое видение в каждом (и глупом, и злом...) из ближних — Бога, любви к Нему, а уж от Него и к человеку как земному проявлению Божественного.

Анализируя актуализации библейского образа «птицы небесной» в творчестве и жизни Л. Н. Толстого, современный исследователь И. Б. Мардов подчёркивает, что «человек является в земную жизнь непосредственно от Бога, Птицей Небесной, и она-то и действует в его духовной жизни» (*Мардов И.Б. Лев Толстой на вершинах жизни. М., 2003. С. 232*).

Но «крылья» этой Птицы, надо здесь заметить, могут и спутать, и даже подрезать те самые родители и прочие ложные воспитатели, образы которых Толстой выводит и в «Войне и мире». Это и случается с большинством детей в наших лжехристианских обществах.

«Птицы Небесные», достигшие высшей ступени, возможности продуктивных поучения и наставничества словом и примером — это и обожаемые Львом Николаевичем евангельские апостолы, и некоторые его фавориты из числа исторических лиц: такие, например, как святой брат человечеству, птицам и детям Франциск Ассизский, сюжетом из книги «Наставлений» которого, восходящим к Флорентийскому кодексу XIV в., открывает Лев Николаевич первый из сборников своей мудрой мысли — книгу «Мысли мудрых людей на каждый день», чтобы не забыть уже до последнего. К таким же неотмирным Птицам относится для Толстого чех Ян Палечек, в миру юродивый и шут, легенду о котором яснополянец пересказал русскому читателю



(40, 412 – 422). К таковым же, наконец, относится, в финале земной своей жизни, французский мыслитель *Фелисите Робер де Ламеннэ* (Lamennais, или La Mennais, Félicité Robert de; 1782 – 1854), в судьбе которого Толстой проследил проявившиеся в особенно яркой форме эти самые «ступени развития» от рабства и даже прислужничества (честолюбивого и/или корыстолюбивого) учению мира к отрицанию его в свете открывшейся разуму и совести высшей истины (см. очерк Л.Н. Толстого о Ламеннэ в «Круге чтения»; 42, 160 — 165).



**Фелисите Робер де Ламеннэ**  
Портрет Жана-Урбена Герена (1827)

На этапе разрыва человека с прежними единомышленниками, ученичества, его перестают понимать друзья и близкие, остающиеся рабами мира; но тогда они ещё могут сочувствовать ему и беспокоиться о нём. При достижении же полноты просветления разумного сознания человека в новом жизнепонимании, обретения им новых систем психоэмоциональных связей с миром, ценностей, приоритетов — как никогда делается актуальной заповедь о любви к враждующим: ибо прежде не понимавшее духовной эволюции человека и оттого всё ещё сочувственное ему мирское окружение видит некоторый итог такой эволюции, видит новое и зрелое существо, и — вдруг мучительно, неудержимо ненавидит, ненавидит его! Не самоё

существо человека, а ту Истину, то Божье Откровение Свыше, с которым уверовавший в учение Христа человек соединяет свою дальнейшую жизнь. Образец тут — жена Толстого, Софья Андреевна, к 1890-м гг. определённо перешедшая от прежнего беспокойно-непонимающего сочувствия мужу к неприязни к нему именно в его ипостаси зрелого наставника, исповедника Христа, духовного учителя и практика. Он же — не мог, в свою очередь, удовлетворить её психоэмоциональных потребностей рабы и жертвы мирского и лжехристианского церковного учений. Как не может влезть назад в яйцо взрослая Птица. Как не пожелает присосаться к львице уже самостоятельный и взрослый Лев...

«Не думайте, что я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл я принести, но меч,

Ибо я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её.

И враги человеку — домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня;

И кто не берёт креста своего и следует за мною, тот не достоин меня» (*Мф. 10: 34 – 38*).

Таким образом, не умирая, не покидая вверенного сыну и работнику Отцом инструмента трудов Ему, материального тела, Толстой и родился, и “встал на крыло” — прошёл те поприща, которые не мог в 1860-х представить для своего князя!

Как мы помним, прообраз Андрея Болконского в романе — рано умерший брат Толстого Николай. Ему не было суждено прийти к новому, высшему пониманию жизни: слишком тяжёл для разума и души оказался «груз» внушённой светской, научной и богословской лжи. Но сам Толстой оттого и чтит высочайше память именно этого своего брата, что понял порыв его разума и сердца к Истине, неведомой большинству в лжехристианском мире. И понял, что сам-то он отстал от тогдашнего, в канун его смерти, состояния сознания своего брата — придя к нему, по меньшей мере, лет через 15-ть. Вот памятные многим строчки из «Исповеди» Льва Николаевича:

«Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли

ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» (23, 8).

Князь Андрей в «Войне и мире» — это образ такого же прерванного на самом первом взлёте полёта «Птицы Небесной», каким явилась жизнь Николеньки: человека, отринувшего мирской бунт и только-только, ещё в большей степени бессознательно, начавшего своё рождение духом. Он и успел пожить этой жизнью — но лишь на краю земного бытия и лишь в лучшие свои часы... Из-за смертельного ранения это его рождение не могло стать рождением в жизнь — в обновлённую духовно жизнь в прежнем материальном теле.

Четвёртый Том, часть Первая. Княжна Марья умиленно лицезреет освобождённое от мирской порчи духовное дитя: «лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое...» (ВиМ – 2. С. 519). Но это было мудрое дитя:

«Он видимо с трудом понимал всё живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишён силы пониманья, но потому что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего» (Там же. С. 520 – 521).

Когда привели к умирающему для прощания сына — дитя взглянуло на Дитя и незримо, потаённо от мирских взрослых, причастилось тайны жизни, пока невозможной для разумения 7-милетним его сознанием. Княжна Марья расплакалась, и вдруг услышала от брата:

«— Мари, ты знаешь Еван... — но он вдруг замолчал.

— Что ты говоришь?

— Ничего. Не надо плакать здесь...» (Там же. С. 522).

Не время и не место слезам о мирском, ибо — совершается таинство. Пускай Николеньке не суждено удержать, под ударами мирских влияний, духовных результатов этого причащения — памятование о нём будет с ним и спасёт его.

«А князь Андрей, оставшись один, догадался, что сестра «плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой, он постарался вернуться назад в жизнь и перенёсся на их точку зрения.

“Да, им это должно казаться жалко!” подумал он. “А как это просто!”

“Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их”, сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; “но нет, они поймут это

по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать... Мы не можем понимать друг друга"» (*Там же*).

Соединяя нас в Истине, в жизни общин и Церкви, Иисус забирает нас у язык (народов) и даже у прежнего «общества» — начиная с его первоячейки, семьи:

«И всяк, иже оставит дом, или братию, или сёстры, или отца, или мать, или жену, или чада, или сёла, имене моего ради, сторицею примет и живот вечный наследит» (*Мф. 19: 29*).

Тогда только исчезнет самая возможность для войны.

\* \* \* \* \*

В том же Третьем томе, к которому теперь мы возвратимся, немало мыслей и образов, не менее значительных именно для нашей темы, нежели судьба князя Андрея Болконского. Любопытно, как с первых страниц Третьего тома, готовя читателя к «правильному» восприятию Бородинского сражения, Толстой, как некий «конечный вывод мудрости земной», представляет читателю свою теорию «бессознательной, общей, роевой жизни человечества», имеющей непонятные царям и полководцам цели: «Сердце царёво в руке Божией. Царь есть раб истории» (*ВиМ – 2. С. 13*). Кстати сказать, несмотря на закономерный и понятный скепсис историков XIX столетия, историософское рассуждение писателя о «миллиардах причин», приводящих к историческому событию, не только справедливо для современного знания о сложно-системном состоянии и самого общества, и любых отношений внутри него, но и непосредственно для нашей темы. Судите сами, вот отрывок:

«Для нас — потомков не-историков, не увлечённых процессом изыскания, и потому с незатемнённым здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве». И среди них может быть такая, например, как «нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой и третий и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны

не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И следовательно ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных» (*Там же. С. 11*).

Отстранимся от той, сугубо практической, нелепости и утопизма, которые увидел в этих рассуждениях А. Н. Витмер, свято верующий в дисциплину и выучку войска как залог предсказуемого повиновения каждого. Будем исходить из той концепции духовного, именно христианского религиозного противостояния личности системе, которая утвердилась в антивоенных писаниях Толстого-христианина, в полном виде — со времени трактата «Царство Божие внутри вас» (1890 – 1894), о котором речь впереди. В руках такого, сорванного мобилизацией, рекрутским набором с насиженных мест народа — «действительная сила», хотя и бессознательная — вплоть до самоубийства. Направление приложения её может быть различным, но, увы! в реальной жизни обыкновенно предсказуемо и выгодно — правителям и устроителям войн. Ещё нескоро, только в 1904 году, родится у автора статьи «Одумайтесь!» страшный образ «пешей саранчи», которая, движимая инстинктом, «переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние» (36, 138). Но столь же, и даже более впечатляющие образы, в начале Третьего тома «Войны и мира», беспомощно и напрасно затонувших при переправе через Неман вояк Наполеона, по существу, такая же, но художественно оформленная картина апофеоза безумного следования «человеком разумным» бессознательным первобытным животным программам стайности и подчинения вожаку — говорящая сама за себя:

«Человек 40 улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибило назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обмокнувшем со стекающими ручьями платье, они закричали: “Виват!”, восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми» (*ВиМ – 2. С. 18*).

Схожая картина, на переправе через Березину, венчает несчастливый поход Наполеона. Обратимся к сведениям, сообщаемым историком Е. Н. Понасенковым. Гражданские беженцы (от безжалостной руснявой сволочи) и больные, ослабленные солдаты Великой армии превратились в наплавной мост для более сильных:

«Послушаем секретаря Наполеона — барона А. де Фэна: “Всё ещё не перешедшая на другую сторону толпа сгрудилась у мостов, и произошла ужасающая свалка. Под тяжестью сего невероятного скопища людей некоторые сваи лопнули; пришлось употребить силу, чтобы расчистить место, потребное для починки, после которой неудержимый натиск толпы возобновился с новой силой”» (*Понасенков Е.Н. Первая научная история войны 1812 года. Третье издание. М., 2017. С. 536*).

Некоторые из тех, по ком потоптались переправляющиеся через реку, не умерли и мучались ещё много часов:

«Утром после того, как французы ушли, Чичагов поскакал посмотреть на место переправы. Ни он, ни его окружение не могли потом забыть мрачного зрелища. “Первое, что мы увидели, была женщина, упавшая и сдавленная льдом, – вспоминал присутствовавший там капитан инженерных войск А. И. Мартос. – Она рука её была отрублена и висела только на жилах, тогда как в другой она держала малыша, обхватившего ручками шею матери. Женщина была ещё жива и выразительные глаза её сосредоточились на мужчине, упавшем рядом с ней и уже замёрзшем. Между ними на льду лежал мёртвый ребёнок”.

Поручик Луи де Рошешуар, французский офицер в штабе Чичагова, испытал глубочайшее потрясение. “Нет ничего более тягостного и более удручающего! Мы видели кучи тел мёртвых мужчин и женщин и даже детей, солдат самых разных формирований, из любых стран, замёрзших, раздавленных беженцами или расстрелянных русской картечью. Брошенных лошадей, экипажи, пушки, заряд-

ные ящики, повозки. Нельзя даже и представить себе более страшного зрелища, чем те два разбитых моста и замёрзшая река”. Крестьяне и казаки копошились среди обломков и мёртвых тел в поисках добычи. “Я видел несчастную женщину, сидевшую на краю моста, свисавшие вниз ноги её сковал лёд. У груди она держала ребёнка, замёрзшего сутки тому назад. Она просила меня спасти ребёнка, не понимая, что он давно мёртв! Сама она, казалось, не была в состоянии умереть, несмотря на все страдания. Казак оказал ей милость, разрядив пистолет в голову и прекратив её душераздирающую агонию”. Повсюду попадались уцелевшие люди в последней стадии изнеможения, умолявшие взять их в плен. “Monsieur, пожалуйста, возьмите меня, я умею готовить, или, я слуга, или, я парикмахер. Во имя любви к Господу, дайте мне кусок хлеба и лоскут ткани, чтобы прикрыться”» (Там же. С. 539).

Автор «Войны и мира» вряд ли прошёл мимо таких ужасающих подробностей, реалистической прозы войны — и, хотя и не включил их в текст романа, но уже никогда и не забывал.

С этих же страниц романа начинается интенсивное обслуживание Толстым-писателем и Толстым-историософом имперского мифа об «агрессии Наполеона», «Отечественной войне» и патриотическом подвиге народа — поистине, уйма фальшивых нот в той прелестной антивоенной симфонии, которой *могла бы* стать книга по имени «Война и мир», исполни Толстой, к примеру, в 1862 году свой замысел об отъезде, эвакуации из России. Конечно, тем самым писатель отделил бы себя от нахваленных им же самим источников вдохновения, первая из которых Ясная Поляна, и, что более значимо, отрезал бы навсегда себя от ценных источников, выуженных, и без того с немалым трудом, из российских архивов и библиотек — но зато и не был бы скован цензурой, а главное: мог бы взглянуть на событие такого масштаба, как позорная для России кампания Шестой антифранцузской коалиции *извне*, со стороны.

Но, как некогда критики-современники из числа историков, подавив профессиональное отвращение, мы представим читателю, в том же порядке художественного хронотопа, «вехи» антивоенных идей и образов, особенно ярких в этой части романа.

В ночь с 13 на 14 июня 1812 г. Александр Дмитриевич Балашов (1770 – 1837), лицо историческое, советник Александра и, в качестве

министра полиции, «правая рука» его в удушении реформ Сперанского, выехал с «примирительным» письмом на французские аванпосты в Россиенах (в то время — в составе Российской империи; нынче это город Расейняй в свободной, демократической Литве), где был принят Мюратом и Даву, а после переправлен ими в Вильно к Наполеону. Французский император принял парламентёра в том самом кабинете, который неделю назад занимал российский император. Переговоры, основанные на заведомой лжи русского агрессора, готовившего, в составе новой коалиции, нападение на Францию, конечно же, не дали желанного Александру I результата.

Для нас интересны несколько эпизодов этой поездки. Так, отчего-то именно маршала *Луи-Николя Даву* (1770 – 1823) — а не более близких этнически и психологически служек Александра I, что было бы справедливей — выбрал романист, чтобы охарактеризовать тип человека, испорченного титулованиями и властью. Впрочем, сравнение с наиболее одиозным из «сподвижников» плешивого русского императора в характеристике Толстого всё же присутствует:

«Даву был Аракчеев императора Наполеона — Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.

В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства.

[...] Балашёв застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами (он поверял счёты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтоб иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. “Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю”, говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность» (*Там же. С. 28*).

Один из немногих историков Наполеоновских войн и войн Коалиций, писавших в советское время, которым можно, с оговорками, доверять, *Альберт Захарович Манфред* (1906 – 1976), приводил по



поводу такой оценки маршала Даву возражения, вполне обоснованные его глубочайшими, как полноценного учёного, историка познаниями:

«Имя Луи-Николя Даву запечатлелось в памяти поколений таким, как зарисовало его гениальное перо Льва Толстого, — французским Аракчеевым, холодным, злым и мелочным человеком. Толстой был несправедлив к Даву; вернее будет сказать, его ввели в заблуждение односторонне враждебные генералу источники» (*Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1998. С. 379*).

Иначе сказать, куда ближе к исторической правде о личности маршала Даву позднейшая по сюжету романа сцена с допросом им арестованного в горящей Москве Пьера Безухова:

«Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья...» (*ВиМ – 2. С. 499*).

В этой сцене Даву пребывает в кабинете, за столом, тоже в довольно аскетичной обстановке, диктуемой, однако, явно не одними свойствами его характера.

В любом случае, качества маршала Даву были оправданы и востребованы войной, в которой Франция оборонялась от агрессивной коалиции монархий. Иное дело — российская орда, возглавляемая лично бездарным Александром I. К концу июня 1812 г. прославленная армия уже вовсю тикала от Наполеона. К 27 июня, времени недолгого обоснования в Дрисском лагере (укреплённый лагерь русской армии, располагавшийся к северо-западу от г. Дриссы, Витебской губернии) недовольство военной бездарью императора усилилось. Толстой здесь лишь повторяет сведения историков:

«Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний» (*Там же. С. 49*).

Ещё бы им было думать: ведь предполагалась не оборонительная война с Наполеоном, а агрессия, в составе Шестой коалиции евро-

пейских монархий, против Франции! Именно этим, кстати, диктовалась слабость укреплений Дрисского лагеря: ведь они предназначались как плацдарм для *нападения*, а не для обороны!

Но массовое патриотическое недовольство, подчёркивает Толстой, было далеко не всеобщим. Помимо малочисленной всегда в России партии здравого смысла и прогресса, противницы самой идеи войны с постреволюционной Францией, вокруг царя вертелась, к примеру, орава из людей численно «самой большой» партии: «...не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Баркляя, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий». Для этого некоторые не брезговали и «стилем» маршала Даву: стремились «попадаться на глаза государю, отягчённые работой». Но все эти люди равно «ловили рубли, кресты, чины, и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как всё это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую» (*Там же. С. 55 – 56*). Насилу малочисленная партия прагматиков, к которой примкнул князь Андрей, уговорила эту вредную для общего хода дел, зависимую от льстецов и подпевал бабу с мудями, военного импотента, оставить лагерь — «под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице» (*Там же. С. 56 – 57*).



Апсит А. Военный совет в Дриссе (1912)

1 (13) июля в Дриссу прибыл император Александр I. На военном совете, состоявшемся в тот же день, всего лишь через 5 дней после занятия лагеря, было принято решение лагерь оставить. Это был предел разочарования князя Андрея в царе — коронованной девице в обдрисанных лосинах. Но желание лично участвовать в спасении России и армии этим разочарованием только усилилось: «На другой день на смотре государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии» (*Там же. С. 67*). В сценах «организованного отхода» к Витебску александровой орды из Дрисского лагеря снова появляется и образ «идеального» офицера Николая Ростова — на котором, вслед писателю, отдыхает эстетически и морально и читатель. Перед нами — всё тот же, будто сошедший со страниц Кавказских повестей, образчик *правильной храбрости*, идеал юного Льва:

«Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своею душою перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всём, исключая того, что казалось было бы интереснее всего другого — о предстоящей опасности. Сколько он ни старался,

ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою» (*Там же. С. 76*).

Но вот эскадрон Николая Ростова атакует у Островной французских драгун. На прекрасной казацкой лошади Ростов без труда догоняет и спешивает, ради смертельного удара, одного из офицеров-драгун:

«Драгунский французский офицер одною ногой прыгал на земле, другою зацепился в стремя. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Ещё прежде, чем Ростов решил, что́ он с ним будет делать, офицер закричал: *je me rends!* [Сдаюсь!]" (*Там же. С. 79 – 80*).

И Николай Ростов доказывает, что не зря его сделал другом старший боевой товарищ, храбрый, дерзкий, но и добродушный Васька Денисов: он щадит драгуна и позволяет товарищам увести его в плен. Толстому важно показать, что именно этот, *правильно храбрый* гусар, один из возлюбленных его персонажей, *нравственно не способен* к убийству, даже на войне — вплоть до физических мучительных ощущений от одной, едва миновавшей его в пылу боя, опасности сделаться убийцей:

«Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанёс ему.

Граф Остерман-Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест» (*Там же. С. 80*).

Мир, прежде развративший дитя Николая, юного графа Ростова, возвеличением войн и убийств на войне, теперь благодарит его — за глупость и послушание. Но у Ростова *умное сердце*. И даже пустяковое ранение «врага» нравственно мучительно храброму гусару, скромный ум которого, отравленный «прививкой» патриотизма и

почитания военщины, теряется теперь в догадках о том, что подсказывает ему сердце:

«...Лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но всё то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. “Да что бишь меня мучает? – спросил он себя, отъезжая от генерала. – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, всё не то!” Что-то другое мучило его. как раскаяние. “Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял её”.

[...] Весь этот и следующий день, друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один, и о чём-то думал. Ростов всё думал об этом своём блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрёл ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. “Так они ещё больше нашего боятся!”, думал он. “Так только-то и есть всего то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чём он виноват с своею дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!”» (Там же. С. 80 – 81).

Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» уже полтора столетия читают по всему миру, именуя его сам себя «христианским». При этом читатели часто и хвастают, что *сочувствуют* любимым персонажам. Будь это так, однако: воспитывай юные поколения свои чувства, свои сердце и разум, проходя учение жизни вместе с князем Андреем, Пьером Безуховым или Николаем Ростовым — сама угроза «мировых» войн в XX столетии и, тем более, отвратительной бойни наших дней в Украине, оказалась бы невозможной!

И речь следует вести не об одних мужских персонажах романа — даже с теми оговорками, что сам автор был отягощён предрассудками патриархального сексизма, да к тому же, безусловно, отступил бы от правды, выведи он на страницы романа о первой четверти XIX столетия персонажику с характерцем, скажем, Берты фон Зутнер (об этой страстной пацифистке у нас зайдёт разговор позднее).

Но приглядимся к нечаянно до сих пор, по диктату нашей «военной» темы, упускаемому из внимания персонажу, сестре Николая Ростова

Наташе. Гармоничный персонаж, близкий Толстому: благородное воспитание плюс близость деревне и народу. Не ожидая её взрослую к военной службе, дитя Наташу меньше насилует в мозг «мужской», патриархальный мир России. Наверстав в этом безобразным поступком с Наташей Анатоля Курагина... И всё же, и она была заражена оправданием войны — по той же линии, что и княжна Марья: религиозной. 12 июля, в воскресенье, постепенно оправляющаяся после Курагина Наташа посетила к обеду церковь, где старый дьякон быстро привёл её в такое особенное состояние церковной обрядовки, что скоро Наташа уже «радостно» молилась за так сладко обманувшего её врага — Анатоля Курагина. А тут ещё, очень кстати, священник напомнил о предании своего «живота» (жизни) в волю Бога (*Там же. С. 91*). Но вот поп-менеджер всей храмины притащил скамеечку и начал, как везде в то время в России по церквам, по заказу Синода, читать молитву «о спасении России от вражеского нашествия» (*Там же. С. 92*). И тут ум Наташи сдох: прежде он услужливо отыскивал рационализации для иррационального идолослужения, но при озвучении такой молитвы — сперва «вырубился», а опосля вдруг и взбунтовался:

«В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на неё. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедсона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима Твоего, и просила Бога с тою нежностью и размягчённостью, которою было переполнено её сердце; но не понимала хорошенько. о чём она просила Бога в этой молитве. Она всею душой участвовала в прощении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попраии под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас пред наказанием, постигшим людей за их грехи и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтоб Он простил их всех и её, и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни.

И ей казалось, что Бог слышит её молитву» (*Там же. С. 93 – 94*).

Безо всякой богословской подготовки разум и сердце Наташины сумели отделить безусловную ложь, порождение антихристового союза

церкви и государства, от более христианского и исконно Христова, индивидуального и интимного в возлюбленной ею вере.

Масштаб и системность зла не оправдывают для человека отступление от такого состояния сознания и души. Война, угроза семейству, государству, «нации», то есть тому же обществу, которое есть ты, которого ты частица, ничего не должно менять в решении христианина в пользу непротивления и отвечания любовью на вражду — по той причине, что для последователей Христа, от начала соединённых им в Церковь, исчезают во всех их значениях *языческие* общности и смыслы их существования: племена, народы, «нации» и, тем более, «нуклеарная», отделённая от других семья — как общность низшего порядка, поведение в отношении которой индивида в принципе регулируется самыми низшими, животными поведенческими программами, влечениями и эмоциями.

В этом отрывке выражаются и те христианские убеждения Льва Николаевича в благости страданий, открывающих человеку глаза на смысл жизни, которые, как драгоценную истину, Толстой-христианин пронесёт через жизнь до конца дней.

Такое же отношение к страданиям истинным, отделяемым ею от надлома либо деградации в человеке, производимыми военной службой и убийствами на войне — имела княжна Марья, которой предстоит сойтись с Наташей именно в таком, просветлённом религиозным чувством, неприятии жестокости и лжей «мужской», лжехристианской цивилизации:

«О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая её, пред людскою жестокостью, заставлявшею их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что <гувернёр> Десаль, её постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма» (*Там же. С. 125*).

Суеверные лунатики, идолопоклонники лжехристианства «православия», т. н. «божьи странники», как ни близки княжне Марье, всё

же в этот раз *сердцу* её отторгающему жестокость, жалеющему людей, *сердцу матери* — могут открыть не более ценного, нежели патриоты монархии, старая подружка Жюли, а равно и Десаль, хотя и француз, но при том субъект «ограниченно-умный», по характеристике автора, подобранный старым князем, вероятнее всего, по принципу угодливости — умения поддержать, скрыв настоящие убеждения, общий патриотический настрой в доме.

Но это женщины... Сознания детей мужского пола тётя «родина» не жалеет — не исключая самых близких членов семьи. Родители Пети Ростова, хотя, конечно же, и не желают потерять его из-за войны, продолжают, с отупелым бездумьем, с уверенностью палачей и самоубийц до конца, растить военного патриота, почитателя военных и военной службы. Вот дом Ростовых навещает в очередной раз влюблённый уже тайком (то есть явно для женщин) Пьер Безухов — как раз в это время недовольный, как прежде князь Андрей, своей скучной жизнью богача, караулящий свой «Тулон», свой жизненный поворот «к великому подвигу и великому счастью», пытаясь нумерологически свести своё, как грядущего героя-спасителя России, имя с именем «антихриста» Наполеона:

«Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил её, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой, и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он — l' Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему велика и хульна, определено предвечно, и что поэтому ему не должно предпринимать ничего, и ждать того, что должно совершиться» (Там же. С. 94 – 98).

Будто почуяв в тётке товарища по детским фантазиям и грёзам о героизме, к гостю в доме Ростовых привязался Петя:

«Петя был теперь красивый, румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в



университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдёт в гусары.

Петя выскочил к своему тёзке, чтобы переговорить о деле. Он просил его узнать, примут ли его в гусары. Пьер шёл по гостиной, не слушая Петю. Петя дёрнул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

— Ну что моё дело, Пётр Кирилыч, ради Бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

— Ах да, твоё дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу всё».

Далее по сюжету, будто в насмешку над берегущими дитя родителями — чтение царского, возбуждающего патриотизм, манифеста и немедленная, спрограммированная текстом, предсказуемая реакция сопящего носопырккой простеца папаши, графа Ростова:

«Вот это так! Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем. [...] Только скажи он слово, мы все пойдём... Мы не немцы какие-нибудь...» *(Там же. С. 102 – 103).*

Конечно же, глупец родитель тут же раздул и без того курящееся постоянно пламя патриотизма в уже совершенно беззащитном против таких влияний ребёнке:

«В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошёл к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и всё...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу:

— Вот и договорился! — сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

— Ну, ну, — сказал он. — Вот воин ещё! Глупости-то оставь: учиться надо.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идёт, а главное, всё равно, я ничему не могу учиться теперь, когда...

— Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости...

— Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

— Петя! Я тебе говорю, замолчи, — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

— А я вам говорю. Вот и Пётр Кириллович скажет...

— Я тебе говорю — вздор, ещё молоко не обсохло, а в военную службу хочет!» (Там же. С. 103).

Сказал, как отрезал. Но запретный плод — тем слаще... И не напрасно мать, бледная, взирала с ужасом и, вероятно, с самыми дурными предчувствиями на своего «маленького», с потной натугою учащегося проговаривать, повторяя за старшими, формулы сакрализованной «взрослым» миром лжи: ей предстояло тяжелее всего пережить возникшую на горизонте страшнейшую из утрат семьи.

Но совершится это при тех обстоятельствах, когда Пьер будет спасённым мучеником, жертвою, а не палачом! Доброжелательный, тайно любящий Наташу — он, конечно же, выкидывает из головы просьбу юного Пети Ростова. Палачество, даже косвенное — не путь для возлюбленных автором персонажей, фаворитов «Войны и мира»!

\* \* \* \* \*

Но далеко, далеко, далеко не для всех в гнилопоганом «русском мире», далеко не для всех в России, «щедрой душе» на всяческие глупости и гадости — далеко не все столь искренне, далеко не все *сущностно*, во всей полноте личности своей, даже животного её существа, не принимали, с первой юности отвращаясь, с сердечною болью, с тошнотой физической и нравственной, отвращаясь, бежали с ужасом и отвращением — от этого самого *палачества*, какими бы рационализациями оно ни обставлялось, не исключая соображений общественных, юридических, военных, патриотических, утилитарных...

Проницательный, хорошо знающий роман читатель уже наверняка догадался, что удерживает наше внимание пока ещё на Третьем томе. Эпизод жестокой расправы над осуждённым Верещагиным графа *Фёдора Васильевича Ростопчина* (1763 – 1826) – кстати, декларативного патриота и ненавистника *галломании* (естественных симпатий передовых людей в России к Франции и французам), что ещё в 1800-х выразилось в его малоталанливой публицистике.

Но таковым патриотом, врагом послереволюционной Франции, Ростопчин был не всегда. При императоре Павле I, в сентябре 1799

года Ростопчин, к тому моменту кавалер ордена Андрея Первозванного, занял место первоприсутствующего Иностранной коллегии, заполняя вакуум, образовавшийся после смерти князя Безбородко. В этом качестве Ростопчин способствовал сближению России с республиканской Францией и охлаждению отношений с Великобританией. Его меморандум, подтверждённый Павлом 2 октября 1800 года, определил внешнюю политику России в Европе до самой смерти императора. Союз с Францией, по мысли Ростопчина, должен был привести к разделу Османской империи, которую он (как указывает Русский биографический словарь) первым назвал «безнадёжным больным», при участии Австрии и Пруссии. Для осуществления морского эмбарго против Великобритании Ростопчину было поручено заключить военный союз со Швецией и Пруссией (позже, уже после его ухода с поста, к союзу присоединилась Дания).

Накануне убийства императора, лишь осуществлённого российскими дворянскими «патриотами», но подготовленного и оплаченного Англией, в феврале 1801 года Ростопчин попадает в опалу, и, будучи (при содействии графа Палена, одного из организаторов царевубийства) отстранён от должности, удаляется в почётную ссылку в своё подмосковное имение Вороново. Здесь, занимаясь литературой, но желая вернуться и в «государеву службу», Фёдор Васильевич меняет свои политические ориентиры.



Граф Фёдор Васильевич Ростопчин.  
Портреты работы Сальватора Тончи, 1800 и Ореста Кипренского, 1809.

Снискав себе имидж консерватора, безусловного монархиста, Ростопчин накануне уже задуманной Александром I агрессии против Франции, 24 мая 1812 года, был назначен военным губернатором Москвы; 29 мая он был произведён в генералы от инфантерии и назначен главнокомандующим Москвы. На новом месте Ростопчин спешил оправдать с лихвою оказанное доверие. При нём был установлен тайный надзор за московскими масонами и мартинистами, которых он подозревал в подрывной деятельности.

В начале войны московской полицией были обнаружены ходившие по рукам прокламации, содержание которых не отвечало интересам русского правительства. Речь идёт о переведённом из немецкой газеты так называемом «Письме Наполеона к прусскому королю», а также о переводе «Речи, произнесённой Наполеоном к князьям Рейнского союза». В письме от имени Наполеона фигурировало обещание народам Европы избавить их от «древних тиранов», восстановить целостность и государственность Польши, а ещё упоминалось, к примеру, о «недостойном» союзе прусского короля с «потомками Чингизхана», то есть руснёй. В обращении Наполеона к князьям Рейнского союза русские именовались «варварами», презирающими его дружбу, а российский император — одним из «древних тиранов» (*Цит. по: Мещерякова А. О. Предисловие. – В кн. Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце. М., 2014. С. 43).*

По сведениям в мемуарах А. Д. Бестужева-Рюмина, переводчик, знаток трёх иностранных языков *Михаил Николаевич Верещагин* (1789 – 1812) был осуждён в каторжные работы примерно за то самое, что в подпутинской, фашиствующей России 2022 – 2023 гг. именуется «фейками» — то есть, за правдивую информацию о Наполеоне, о мирных намерениях Франции, лишь вынужденной обороняться от коалиции монархий, об агрессии, в составе этой коалиции, Александра I и о подлинном, незавидном положении отступающей с потерями (а лучше сказать: позорно драпающей) русской армии. Заметки из иностранных газет, полученных при вероятном содействии почтмейстера Ключарёва, он самолично перевёл и попытался распространить по Москве (*Бестужев-Рюмин А.Д. Краткое описание происшествиям в Москве в 1812 году // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1859. Кн. II. С. 72).* Как и в путин-

ской России наших дней, все неудачи бандитской политики преступники у власти стремились списать на деятельность таких «предателей отечества» — то есть, их кровавой и преступной политики!

Из воспоминаний К. Павловой, опубликованных впервые в «Русском Архиве» 1875 г.:

«Когда народ московский, успокоенный прокламациями графа Ростопчина, которые постоянно твердили о бессилии и скором уничтожении армии Наполеона, вдруг узнал, что эта армия стоит на Поклонной Горе, готовая вступить беспрепятственно в Москву, вопль отчаяния пронёсся по городу. Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что её обманули, что Москву предают неприятелю. Толпа возрастала, разъярялась всё более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: — „Пусть выйдет к нам! Не то доберёмся до него!“ В этом затруднительном положении граф Ростопчин не потерял присутствия духа. Приказав скорее заложить дрожки, он вышел к народу, который встретил его сердитыми восклицаниями: „Нам солгали! Говорили, бояться нечего, французы разбиты; а французы вступают в Москву!“

„Да, вступают, отвечал громким голосом граф, вступают, потому что между нами есть изменники!“ — „Где они? Кто изменник?“ — закричала неистовая толпа. — „Вот изменник!“ — сказал граф, указывая на стоящего вблизи молодого Верещагина. — Этот последний, поражённый бессовестным обвинением, побледнел и проговорил: „Грех вам, ваше сиятельство!“ — В ту же минуту вся чернь, в остревении, кинулась на него, и между тем как она терзала и убивала несчастного, граф Ростопчин вошёл опять в дом, из которого поспешно выбрался на задний двор, сел на готовые дрожки и переулками выехал из Москвы» (*Павлова К. Воспоминания // Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуарах, документах и художественных произведениях. Сборник. 2-е изд. М., 1913. С. 164 – 165*).

В своих мемуарах граф Ростопчин, желая придать событию видимость казни по суду, указывает, что Верещагин был просто зарублен в глазах толпы двумя унтер-офицерами его конвоя (*Ростопчин Ф.В. Записки о 1812 годе. – В кн. Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на Красном крыльце. Указ. изд. С. 285*). Однако, исторически установлено, что, во-первых, по недоказанным пунктам обвинения сенатский суд приговорил Верещагина только к каторге, а не к убиению, а во-вторых, после ударов, полученных от конвоя и последовавшего за ними бегства Ростопчина (в дом и, через заднее крыльцо — из Москвы)

Верещагин, быть может, ещё живой, был растерзан «подогретой» ложью Ростопчина, наблюдавшей за «исполнением приговора» толпой. Всё совершилось очень, очень по-русски, «мило» и традиционно:

«Ростопчин бежал не как дворянин, не как военный, не как глава города, а подобно бандиту, скрывающемуся от полицейских. Он собрал ценности в шкатулку и готов был к побегу, но во дворе собралась толпа простонародья и пьяного отребья (вспоминается: “агрессивно-послушное большинство”)*»* (Цит. по: Понасенков Е.Н. *Первая научная история войны 1812 года. М., 2017. С. 439*). И осуждённый, быть может, и «за дело» Верещагин был отдан на гнусную расправу пьяной толпе:

«Граф Ростопчин приказал вахмистру Бурдаеву: “Руби!” Тот растерялся и стоял, не двигаясь. Тогда генерал-губернатор повторил приказ командиру эскадрона Гаврилову, пригрозив, что тот ответит своей головой, если не исполнит приказ. Гаврилов скомандовал «Сабли вон!», затем первым нанес Верещагину удар саблей, за ним ударил Верещагина палашом вахмистр Бурдаев. Молодой человек, обливаясь кровью, упал.

...Граф Ростопчин со своей свитой не успел покинуть двор, как опьянённая первой пролитой кровью толпа бросилась на израненного Михаила Верещагина. Его привязали ногами к лошади и поволокли. Толпа хлынула прочь со двора. Ещё живого Михаила Верещагина протащили волоком по Кузнецкому мосту, по Петровке, затем через Столешников переулочек на Тверскую, оттуда в Брюсов переулочек. Здесь несчастного юношу забили до смерти» (Там же. С. 440).

И ещё, из воспоминаний участника событий 1812 года, русского дворянина Николая Тургенева:

«Какой-то чиновник Генерального штаба русской армии, возвращавшийся в город, положил конец этому возмутительному зрелищу, заставив убрать обезображенные останки, которыми натешилась ярость черни.

[...] После отступления французской армии отец жертвы попросил императора предать убийцу суду, изложив событие во всей его отталкивающей наготе. Александр пришёл в ужас от поступка Ростопчина и велел произвести расследование по этой жалобе. Но Сенат, вынужденный обвинять в убийстве генерал-губернатора, наместника императора, оказался в таком затруднительном положении, что делу не дали хода и замяли его» (Цит. по: Понасенков Е.Н. *Указ. соч. С. 441*).

Выдающийся историк наших дней Евгений Понасенков комментирует всё совершившееся так:

«И эти скотства творили “христиане”?! Запомните этот страшный маршрут по московским улицам, когда в следующий раз на “День города” будут вспоминать “славную пору 1812 года”! Не хватает только шизофренического лозунга, так популярного в наши дни: “можем повторить”! Разве Наполеон и его армия могли даже в самых страшных снах вообразить подобную бесчеловечность? Итак, градоначальник убил чужими руками человека и позорно сбежал со шкапулкой.

[...] Один совершил зверское преступление, другие замяли расследование. Поведение российских властей в период сдачи Москвы — это сплошной позор и преступление. Их можно было бы сравнить не с государственными лицами, а с шайкой древних азиатских бандитов, скотски расправлявшимися с невинными людьми, бросавшими без дозволения свои ответственные посты, “святыни” и убегающими, будто бы они не собственники, а всего лишь грабители, трусливо спасающиеся перед лицом законного хозяина. Или подобное и есть тот пресловутый “особый путь”? Не это ли та самая “загадочная” “*ame russe*”? [фр. “русская душа”]» (*Там же. С. 440*).

Теми же источниками, что и современные исследователи, очевидно, воспользовался и Л. Н. Толстой, серьёзно изменив исторический сюжет, зато и раскрасив его дополнительно красками безжалостного психологизма.

Значение эпизода для автора, для Льва Николаевича Толстого, трудно переоценить. В описании бессудной расправы науськанной Ростопчиным толпы над преступником соединились все те «ненависти» Толстого, о которых уже знает читатель: к войне, к смертным казням, ко лжи власть имущих, к трусости и подлости лишь номинально «благородных» офицеров и аристократов.



**«Смерть Верещагина».**

Иллюстрация К. В. Лебедева. Около 1912 г.

Это зло абсолютное, «чистое» — в этом смысле весьма похожее на то, что выродившаяся 200 лет спустя уже вконец русня, бывш. русский народ, вытворяет в Украине — жестоко, с пытками, убивая не только военных пленников Вооружённых сил Украины, истинных защитников отечества, но и безоружных мирных жителей!

Из этого чуда грешно брать цитаты, его надо привести целиком. Вот эпизод расправы с Верещагиным, как его увидел, почувствовал Лев Николаевич Толстой:

«Вечером 1-го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Раstopчин, огорчённый и оскорблённый тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы и удивлённый новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом её настроении оказывался



не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, [...] вернулся в Москву.

[...] Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск, Растопчин в воображении своём составил для себя роль руководителя народного чувства — сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением, посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать.

[...] В Москве оставалось всё то, что именно было поручено ему, всё то казённое, что ему должно было вывезти. Вывезти всё не было возможности.

“Кто же виноват в этом, кто допустил до этого?” думал он. “Разумеется не я. У меня всё было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!” думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

[...] Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближённые никогда не видали графа столь мрачным и раздражённым.

[...] К 9-ти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтоб ехать в Сокольники и, нахмуренный, жёлтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своём кабинете.

[...] — Готов экипаж? — сказал Растопчин, отходя от окна.

— Готов, ваше сиятельство, — сказал адъютант. Растопчин опять подошёл к двери балкона.

— Да чего они хотят? — спросил он у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собралось идти на французов по вашему приказанию, про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. “Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!” думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал ещё для него предмета.

[...] — Готов экипаж? — в другой раз спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчёт Верещагина? Он ждёт у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как поражённый каким-то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята! — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. “Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз... он тебе всю дистанцию развяжет!” — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своём маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно-быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту как он сказал это, он увидел из-за угла дома выходящего между двух драгун молодого человека с длинною тонкою шеей, с головой до половины выбритую

и заросшею. Молодой человек этот был одет в щегольской когда-то, крытый синим сукном, потёртый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. «Поставьте его сюда!» Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придерживая пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинную шей и вздохнув, покорным жестом сложил пред животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающих к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтоб он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

— Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, — этот человек, Верещагин — тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе пред животом и немного согнувшись. Исхудалое с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как верёвка, напряжилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочёл на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, — говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв

руку, закричал почти, обращаясь к народу: — Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только всё теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой заражённой духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного, становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие всё то, что происходило пред ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю! — Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

— Граф!.. — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один Бог над нами..., — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как и Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю. Другая ещё сильнейшая волна взмыла по народу и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и шатая поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившеюся поднятою рукой, стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с искаженным злобой лицом ударил Верещагина тупым палашём по голове.

“А!” коротко и удивлённо вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О Господи!» послышалось чьё-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала ещё толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато,

необходимо было довершить его. Жалобный стон упрёка был заглушён грозным и гневным рёвом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила всё. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которой толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; толпа давила их со всех сторон, колыхалась с ними в середине, как одна масса, из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

“Топором-то бей что ли?... задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живуц... по делом вору мука. Запором-то!.. Али жив?”.

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики её заменились равномерным протяжным хрипением, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упрёком и удивлением теснился назад.

“О господи, народ-то что зверь, где же живому быть!” слышалось в толпе. “И малый-то молодой... должно из купцов, то-то народ!., сказывают не тот... как же не тот... О господи!.. Другого избии, говорят, чуть жив... Эх, народ... Кто греха не боится...”, говорили теперь те же люди, с болезненно-жалостным выражением глядя на мёртвое тело с посиневшим измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длиною, тонкою шейей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взяли за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная измазанная в пыли, мёртвая, бритая голова на длинной шее, подворачиваясь волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа» (*ВиМ – 2. С. 389 – 400*).

Эта бритая голова, не отрубленная, но на разрубленной шее — по времени создания Толстым образа отстоит далеко и от репейника, напомнившего Толстому бритую голову Хаджи-Мурата, так же искаленную, но не склонившуюся перед ордою безбожной, мерзкой русни, и от самой повести, над которой Толстой, с перерывами, работал до последнего года жизни и которая стала, в числе прочего, антивоенным завещанием писателя и христианина. И не случайно именно здесь, в этом эпизоде, ещё молодой и заболваненный патриотизмом и православием писатель сблизился с самим собой, каким станет через 20, 30 и 40 лет — в сцене казни, в которой аккумуляровалось всё, за что Толстой ненавидел с юных лет не только государственное палачество, но всяческие наказания.

Следом за сценой расправы над преступником по суду, уже совершенно по-христиански, Толстой изображает начало наказания Свыше самого палача, Ростопчина:

«В то время как Верещагин упал, и толпа с диким рёвом стеснилась и заколыхалась над ним, Ростопчин вдруг побледнел и, вместо того, чтоб идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошёл по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся как в лихорадке нижнюю челюсть.

— Ваше сиятельство сюда... куда изволите?.., сюда пожалуйста, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Ростопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошёл туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далёкий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Ростопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках.

Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчинёнными. “La populace est terrible, elle est hideuse”, думал он по-французски. “Ils sont comme les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair”. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] «Граф! один Бог над нами!» вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Ростопчин презрительно улыбнулся сам над собою. “J'avais

d'autres devoirs", подумал он. "Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont péri et périssent pour le bien public"; [У меня были другие обязанности. Надо было успокоить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага;] и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе — не как о Фёдоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Фёдор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien public), [общественного блага] но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. "Ежели бы я был только Фёдор Васильевич, [...] но я должен был сохранить и жизнь, и достоинство главнокомандующего".

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этою самою мыслью. Мысль эта есть le bien public [общественное благо], благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чём состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим à propos [удобным случаем] — наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

"Верещагин был судим и приговорен к смертной казни" думал Растопчин (хотя Верещагин Сенатом был только приговорён к каторжной работе). Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups; [я убивал двух зайцев одним выстрелом] я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея".

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ. изд. Книга 2. С. 389 – 401*).

Убийство во имя «общественного блага», ради государственной необходимости, общественного порядка и даже религиозного благонаправия — это то, на что пошла еврейская элита в отношении Иисуса Христа. Используя вражескую, римскую судебную систему, но также и — страсти толпы. Но это же суеверие оправданного насилия, убийства ради «общественного блага» — то самое, чем от начала повествования и как раз до сцены пожара оставленной Москвы был так или иначе одержим Пьер Безухов. Но автор, а значит и «судьба» в произведении благоволили ему: проповедь масонских «братьев» наложилась на его нравственно здоровую натуру, а предстоящее чистилище страдания и учение среди народа, в плену — уничтожат совершенно мечты о возвеличении себя, о спасении многих ценой крови даже одного человека.

Не ему, а Ростопчину, обречённому, как и убиенный им Верещагин, смерти, предстоят годы нравственной пытки от воспоминания чернейших, рафинированных своих жестокости и подлости. Не к одру смерти Пьера, а к Ростопчину перед смертью явится видением убиенный — как явился, во плоти, в образе юродивого нищего, когда граф, успокоив было себя, дерзнул выехать из загородной виллы, через Сокольничье поле, к Яузскому мосту — для объяснений с Кутузовым об оставлении Москвы, то есть, опять же, самоуспокоения. Но не вышло успокоиться:

«Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и жёлтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько таких же людей, которые по одиночке шли по полю, что-то крича и размахивая руками.

Один из них бежал наперерез коляске графа Ростопчина. И сам граф Ростопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели, с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним.

Шатаясь на своих длинных, худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Ростопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтоб он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и жёлто. Чёрные, агатовые зрачки его бежали низко и тревожно по шафранно-жёлтым белкам.



— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то задыхаясь кричал с внушительными интонациями и жестами.

Он поровнялся с коляской и бежал с нею рядом.

— Трижды убили меня, трижды воскресал из мёртвых. Они побили камнями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну. Растерзали моё тело. Царствие Божие разрушится... Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, всё возвышая и возвышая голос.

Граф Растопчин вдруг побледнел, так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верецагина. Он отвернулся.

— Пош... пошёл скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго ещё позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивлённо-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживёт, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце» (*Там же. С. 402 – 403*).

---

## ПЬЕР БЕЗУХОВ

### (Том Четвертый и все-все-все)

Через многие разочарования и несчастья пришлось пройти Пьеру в поисках смысла жизни, в поисках самого себя. По-разному начинаются в книге судьбы князя Андрея и Пьера — по-разному и заканчиваются их жизнь в романе: Андрей погибает для жизни мира, прощая всех, а в Пьере Безухове, напротив, бурлит и словно бы торжествует жизнь. Но стоит приглядеться к обоим образам — конечно, памятуя при том, что сам писатель был в годы создания романа ещё лишь на пути к *христианскому* ответу на те вопросы жизни, которые поставлены перед персонажами романа и очень, очень по-разному отвечены ими.

Князю Андрею, как мы показали выше, отведена автором была роль «подглядывшего» неосвоенное ещё самим Толстым, в большей степени умозрительное сокровище нашей вседневной жизни — в Боге, в Истине и любви. Оставить его с этим познанием в живых было бы писательским самоубийством. Зато, как мы покажем ниже, антивоенный материал Четвёртого тома, так или иначе увязан на личности «долгожителя» среди искателей Истины в романе, Пьера Безухова — идущего, волею писателя, к тем *промежуточным* итогам молодой ещё своей жизни, которые были актуальны и ценны для самого Льва Николаевича Толстого в годы написания романа.

Переживавший в 1860-х самые счастливые годы брака писатель, конечно же, отдаёт предпочтение не триумфу Андрея, уже не князя, искателя славы, но и не «семьянина», не счастливого самца с детёнышами, а Птицы Небесной, не жизни нетленной вне пространства и времени, а — земной и телесной жизни, счастью Пьера и чудесной Наташи. Тому самому земному кругу жизни, в который для большинства и в наши дни вписаны восходящие к животной первобытности человека стереотипы о «необходимой обороне» (себя, самки, детёнышей, средств для выживания семьи...), о «добре с кулаками», и производные из них, экстраполирующие оправданное насилие с «семейной» ячейки на всё большое общество — суеверия государства, отечества и иных фантомов человеческого мозга, атавизмов психики человека как примата, зверюшки Дарвина, как агрессивно-территориального млекопитающего. Суеверия «своих» стаи, рода, народа, «нации», суеверия войска, патриотизма... Круг замкнут — и поколению юного Николеньки Болконского, и детям Пьера и Наташи не избежать, в жизни личной, ошибок отца (и автора в его юности!), а в общественной — новых войн.

Но не будем забегать вперёд! Пройдём теперь несколько поприщ с Пьером — условно, и по внешности, «антивоенных», а по существу... у Толстого всегда и всё глубже, глубже.

\* \* \* \* \*

Таки вернёмся к нашим баранам. То бишь, к светскому обществу в салоне Анны Павловны Шерер. «В начале 1805 года первая европейская коалиция против Буонапарте была уже составлена» —

откровенно сообщает автор в первом же предложении первой главы чернового варианта (рукоп. № 49), «вводящей» читателя в салон Анны Павловны. И только увеличивает свой “грех” в отношении патриотического мифа, который искренне желает поддержать, сделав примечание на полях: «Взгляд высшего общества на Бонапарта, на причину и необходимость войны» (13, 198).

20 июля 1805-го. В числе немногих живых лиц, то есть, не умеющих играть светской роли, на светских посиделках Анны Павловны — Безухов Пьер, приглашённый туда другом, князем Андреем (в этом черновике — ещё Волконским, а не Болконским). А единственное из всего, о чём говорилось на вечере в салоне Шерер и что заинтересовало молодого мечтателя, только что воротившегося из цивилизованного мира, из Европы, где он учился — это мысль интеллектуального гостя-иностранца в салоне, аббата Морио, о *вечном мире*. Собственно, только одного Пьера и интересуется по-настоящему эта мысль. «Здесь только семя упало на плодородную почву» (13, 195).

При некоторой авантюристичности проект аббата, существовавший в действительности, не был лишён и определённых реальных достоинств. Главным из них было искреннее стремление автора проекта к осуществлению позитивного плана всеобщего мира, основанного на идее «эквilibра», т. е. равновесия сил и независимости равных и свободных европейских наций, объединённых в лигу, которая руководствовалась бы новыми принципами международного права, запрещающего агрессию и притеснения. «Это едва ли возможно», — резонно сомневается Пьер. Сам же Толстой, соглашаясь со скепсисом своего персонажа, всё же рисует автора проекта с несомненной симпатией, тем самым отделяя его от других завсегдатаев «прядельной мастерской» Анны Павловны. В черновом варианте названо подлинное имя Морио: это аббат из Флоренции *Сципионе Пьяттоли* (Scipione Piattoli; 1749 – 1809), «изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, который, как сказывали, он уже имел счастье через кн. Адама Чарторыйского представлять молодому императору» (13, 186).



Сципионе Пяттоли

Итальянец Пяттоли был не только автором одного из проектов, которые изобиловали ещё в XVIII веке в Европе и в александровское время в России, и которые нередко современники называли химерическими. Он был к тому же горячим патриотом своей родины, мечтавшим о политическом объединении Италии, стремившимся использовать для этой цели силу и влияние России. Вместе с тем, второй любовью Пяттоли была Польша, и вместе с Адамом Ежи Чарторыйским (Adam Jerzy Czartoryski; 1770 – 1861) он пытался добиваться более снисходительного и дружественного отношения к Польше при русском дворе, но без особого успеха. В проект же свой, каким, в черновике романа, он его представил Пьеру, он включил, ни мало ни много, независимость Польши «в прежних пределах» (*Там же. С. 194*).

Интерес Толстого к незаурядной личности этого человека, послужившего реальным прототипом образа аббата Морио, идеи которого отражали не только его собственные взгляды, но и взгляды французских просветителей и масонов, а также передовых демократов Соединённых Американских Штатов, особенно Джефферсона, свидетельствовал о том, насколько важное значение придавал Толстой во-

просу поисков мира в описываемую им эпоху, а также о чрезвычайной точности в изложении исторических подробностей, хотя здесь, как и в других подобных случаях, писатель не прибегает к прямолинейному отождествлению художественных типов с историческими лицами и не преувеличивает практическую ценность идей итальянца.

В вариантах, не вошедших в окончательный текст романа, Пьер Безухов и Пяттоли рассуждают о важнейших проблемах и событиях первых лет девятнадцатого столетия: о правах и конституции, об идеях справедливости и праве человека, провозглашённых французской революцией и подавленных военным деспотизмом враждующих с Францией монархий (включая Россию), т. е. порядком вещей, «противным всякой свободе». Спорят, в частности, о том, «что признание прав человека во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большому счастью и благоустройству, а повело и Францию, и человечество к величайшему из зол, к войнам, к убийству ближнего и к поражению всех тех прав человека, которые были так торжественно признаны» (13, 193). Постепенно, мастерски применяя сократический метод вопрошания и предлагаемых ответов, аббат приводит Пьера, защитника идей революции и прав человека, к максимально возможному единомыслию. В споре Пьер выступает и бонапартистом, и сторонником принципов французской революции, которым европейские агрессоры не дали «свободно развиваться»: «Деспотизм возник от того, что Франция была поставлена в необходимость защищать свои установления против всей Европы. [...] Даже жестокости Конвента и Директории всё это произвело европейское вмешательство. [...] Оттого, что свобода невыгодна деспотам, оттого что учение революции не проникло ещё во все умы» (*Там же*. С. 192). Наконец, аббатом ставится знаменательный вопрос: «Каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человека были признаваемы одинаково всем образованным миром и чтобы уничтожалась возможность войны между народами?» (*Там же*. С. 193). Пьер предлагает «пропаганду», по типу масонских лож, на что получает резонный ответ, густо пахнувший скепсисом “позднего” Толстого, автора трактата «Царство Божие внутри вас»:

«Но мне кажется, что до тех пор, пока в руках королей и императоров будет власть посылать на войну своих подданных, до тех пор у них будет и власть подавлять всех этих подданных, те идеи, которые невыгодны для власти» (*Там же*).

У Пьера, в отличие от аббата, нет удовлетворительного рецепта для того, чтобы превратить в действительность «возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других — войны» (*Там же*). Аббат же излагает свои задушевные мысли в высказывании, вошедшем в окончательный текст романа почти в неизменённом виде: «Средство — европейское равновесие и *droit des gens*... [*фр.* международное право] — Стоит одному могущественному государству, как Россия — прославленному за варварство — стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесия Европы, и оно спасёт мир!» (*Там же; ср. 9, 16*).

Автор дважды удостоивает «экс-аббата» характеристики «маниака», которого не смущают насмешки (*Там же. С. 194*). На вопрос князя Андрея о том, что же будет делать без войн «военное сословие», «маниак» отвечает по-французски: «Вы будете сажать капусту в деревне вместе с вашей очаровательной супругой» (*Там же. С. 195*). «Маниаку», веселящему общество, прощается такая очевидная бестактность и грубость! Он, кстати, ощутимо задевает князя Волконского, для которого «скучная» мирная жизнь с женой, «маленькой княгиней» — негодная участь в сравнении со стезёй военной славы, эталоном которой для князя является «маленький капрал» (одно из прозвищ Наполеона). Но князь презрительно молчит в ответ — поддерживая общее настроение насмешничанья над столь очевидным «маниаком». Один лишь Пьер, резонно и серьёзно, возражает теоретику: воцарение мира по его «рецепту» невозможно без войны! «Сдерживание» со стороны монархических, феодальных держав невыгодно и унижительно Наполеону, и он, мягко говоря, «не разделит этих мыслей» (*Там же*). Аббат же считает, что коалиция держав в составе России, Пруссии, Австрии достаточно сильна, чтобы заставить Наполеона подчиниться плану политического равновесия. Поэтому война станет невозможна.

Князь Андрей, как только заговорено было о близком ему и любимом, о военном деле, вступил в разговор — оказавшись, со своих позиций, невольным единомышленником Пьера. «Что мы, военные люди, будем делать», — уже этим насмешливым вопросом князь Андрей нанёс аббату, на самом-то деле, неотразимый удар, хотя у князя был и ещё один аргумент в запасе — это военный гений Наполеона, которого князь называет *богом войны и гением*. Австрия уже показала себя слабым и негодным союзником против него (*Там же*).

Наполеон — «самый великий человек древней и новой истории» (*Там же. С. 196*).

Судьба и патриотические внушения детства сулили Пьеру и кн. Андрею стать врагами этого великого человека мира — несмотря на справедливое почитание этого, в недавнем прошлом, «маленького капрала». «Нет портрета, нет бюста Наполеона, которого бы не было у André, — сказала княгиня, — посмотрите у него в кабинете» (*Там же*). Эту реплику «маленькой княгини», жены кн. Андрея, Толстой вымарал уже в черновике, как и последующие слова, реакцию мужа, князя Андрея: «Нет на свете человека, которого я так бы ненавидел и которым бы так восхищался, как им. Вот мой откровенный взгляд на него» (*Там же. С. 197*). Но таких людей, чтивших того, кто уже, в 1805-м году, был достоин всяческих чести и похвал, было немало в среде просвещённого меньшинства тогдашней России — в особенности среди молодёжи.

Из первоначального отрывка в окончательный текст романа вошло лишь немного. Здесь, в окончательном тексте, расширен круг действующих лиц, князь Андрей не вступает с разговор с итальянцем, о проекте аббата упоминается лишь мельком. Основной темой разговора становятся симптомы приближающейся войны, акцент передвинут, таким образом, со стороны «мира», умозрительного, теоретического, в сторону войны, реальной и неизбежной.

Тем не менее главное содержание спора — проблема вечного мира — сохранено и в окончательном тексте романа. В этом смысле показательно, что из всех впечатлений вечера единственное, что осталось в памяти Пьера Безухова и о чём он взволнованно и откровенно заговаривает с Андреем Болконским, — это проект аббата Морио, с которым они на вечере «оживлённо и естественно говорили и слушали», создавая «очаг опасности» для хозяйки салона.

Спустя два года Безухов ещё раз встретится с полувывымышленным аббатом Морио; стремление Пьера активно «противоборствовать злу, царствующему в мире» (10, 76; *ср. 13, 649*), приводит его к поступлению в масонскую ложу, вольным каменщиком которой уже числился аббат.

«Этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело, — говорит Пьер, оставшись наедине с князем Андреем после вечера у Шерер, — по-моему, вечный мир возможен...» — «Бредни... этого никогда не будет», — отвечает ему князь Андрей (9, 31).

Через два года в Лысых Горах происходит подобный диалог Пьера со старым князем Болконским, отцом Андрея. Из этого диалога видно, что Пьер Безухов не разуверился в своей истине:

«Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придёт время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его. “Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабы бредни, бабы бредни”, — проговорил он, но всё-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошёл к столу, у которого князь Андрей, видимо, не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезённые князем из города» (10, 122 — 123).

Отец и сын, без сомнения, были единомысленны в этом эпизоде. В уста Болконских Толстой вложил аргумент, к которому испокон веков людей приучала сама история: война неискоренима, она присуща самой природе человека. Но примечательно, что даже в тот момент, когда «у ворот» стояла очередная война, писатель заставляет своих героев хотя бы мечтать о воцарении на земле всеобщего мира.

Примечательно также и то, что диспут по поводу проекта итальянского аббата, изображённый в черновом отрывке романа Толстого, происходит не в великосветском салоне г-жи Шерер, а в доме князя Андрея Болконского, к которому Пьер питал «страстное обожание» и с которым он подолгу говорил «о войне, о политике, о философии» (13, 185).

В горячих спорах толстовских героев можно найти верное и глубокое отражение тех интенсивных идейных исканий по вопросам мира и войны, которые были характерны на рубеже XVIII — XIX веков для прогрессивных кругов русской дворянской интеллигенции, знакомой с передовыми взглядами и работами русских мыслителей-гуманистов (Р. М. Цебрикова, Я. П. Козельского, С. Е. Десницкого, А. Н. Радищева, В. Ф. Малиновского) и западноевропейских просветителей (Сен-Пьера, Руссо, Мабли, Вольтера, Гердера, Канта и др.), с их, в частности, специальными трудами, содержащими резкую критику войн и предлагавшими позитивные планы установления в Европе постоянного мира.

У Пьера, как и у самого писателя, были достойнейшие предтечи и вдохновители! Самой очевидно, безусловно влиятельной на Толстого следует признать концепцию «вечного мира» Шарля-Ирене Кастеля, аббата де Сен-Пьер (фр. Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre;



1658 — 1743), получившую большую популярность в Европе благодаря изложению её в виде небольшого трактата, написанного Жан-Жаком Руссо.

Задолго до любых пацифистов Сен-Пьер в своём трёхтомном «Проекте вечного мира в Европе» доказывал, что залогом мира может явиться создание союза государств, члены которого должны принять на себя взаимную обязанность отказаться от применения оружия при решении возникающих конфликтов, используя с этой целью специальный межгосударственный арбитражный совет, который все спорные вопросы решал бы лишь путём переговоров.

*Жан-Жак Руссо* (фр. Jean-Jacques Rousseau; 1712, Женева — 2 июля 1778), сохранив аргументы и содержание объёмистой работы Сен-Пьера, состоящей из многих томов, резко сократил её, превратив первоначально научное сочинение в агитку специфических «идей». Одновременно в этом сочинении Руссо выделил и подчеркнул мысль Сен-Пьера о том, что государственное устройство и характер внутренней политики страны являются важнейшим условием для обеспечения как внутреннего, так и внешнего мира.

И великий демагог, развратитель умов целых поколений не просчитался. На базе идей Сен-Пьера, а также предшествующих гуманистов — Гуго Гроция, Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Яна Амоса Коменского, Томмазо Кампанеллы и других о путях к искоренению войн в своё время писали Дидро, Аламбер, Лессинг, Гердер, Пристли, Фихте, Кант и др. Однако изложение Руссо пользовалось наибольшей популярностью.

Не довольствуясь изложением мыслей Сен-Пьера, Руссо написал собственный трактат «Суждение о вечном мире», которое уже в юности так же вряд ли обошёл вниманием будущий автор «Войны и мира». В этом трактате Руссо, подвергая критике утопическую для своего времени мысль Сен-Пьера о создании дружественной лиги европейских государств, утверждал, что план Сен-Пьера был слишком хорош, чтобы быть реальным, ибо войны, завоевания и деспотизм власть имущих взаимосвязывают, поддерживают и обуславливают друг друга. Руссо не верил в добрую волю правивших в то время государей и их министров (исключение делается лишь для погибшего Генриха IV и его министра Сюлли, автора «Великого плана» умиротворения Европы), для которых, по мнению Руссо, войны являются лишь узаконенной формой грабежа, выгодным предложением

для денежных вымогательств, для содержания огромных постоянных армий, держащих народ в повиновении и страхе.

«Все занятия королей или тех, на кого они возлагают обязанность делать то, что они должны делать сами, относятся только к двум целям: распространять их господство за пределы своей страны и делать его как можно более неограниченным внутри неё. Всякая другая цель либо восходит к этим двум, либо служит для них лишь предлогом. Таковы цели: *общественное благо, счастье подданных, слава нации* — слова, навсегда изгнанные из кабинетов министров и употребляемые в публичных эдиктах столь неуклюже, что они постоянно возвещают лишь гибельные приказания, и народ стонет заранее, когда его повелители говорят ему о своих отеческих заботах» (*Руссо Ж.-Ж. Суждение о вечном мире // Трактаты о вечном мире / Сост. И. С. Андреева и А. В. Гулыга. М., 2003. С. 163 – 164*).

В своём месте мы покажем, что, в целом основывая свои антивоенные убеждения на религиозном христианском фундаменте, «поздний» Толстой в своей критической аргументации неоднократно повторяет и эти критические пассажи кумира своей юности.

Известно, какое огромное влияние на формирование взглядов декабристов имели идеи «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо, который упоминается в «Войне и мире». В данном трактате Руссо писал о необходимости применения более действенных мер для установления мира в Европе, нежели простая апелляция к милости просвещённых монархов (*Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 151 – 256*).

В письмах, показаниях следственной комиссии, дневниках декабристов сохранилось немало материалов, свидетельствующих об их огромном внимании к идеям просветителей по вопросам мира, войны, армии и т. п., сыгравшим существенную роль в выработке декабристской идеологии. Характерно, что проблему духовной и экономической свободы отдельных граждан декабристы ставили в зависимость от морального и материального раскрепощения общества в целом, в конкретных условиях России — в зависимости от освобождения крестьян от крепостного права. Само же крепостное право в сознании декабристов ассоциировалось с «рабством, строгим и бесчеловечным правом войны» (*Поленов А.Я. О крепостном состоянии крестьян // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 2. М., 1952. С. 14*).

О том, насколько сильно занимали проблемы мира и войны умы прогрессивно настроенной офицерской молодёжи, из среды которой

вышло большинство декабристов, свидетельствует сохранившийся черновой отрывок Пушкина о вечном мире, написанный им в 1821 году в Кишинёве как раз под впечатлением от чтения «Суждения» Руссо). Он посвящён проблемам разоружения будущего человечества, наказания виновников военных преступлений, ликвидации войн и постоянных армий и установления всеобщего мира.

Небольшая заметка Пушкина, поражающая при этом своими силой и ёмкостью, представляет собой конспектированную запись споров, которые велись у генерала *Михаила Фёдоровича Орлова* (1788 – 1842), виднейшего деятеля Союза Благоденствия, в его доме, бывшем в Кишинёве своеобразным центром, клубом политического вольнодумства, который часто навещали, помимо Пушкина, декабристы Раевский, Липранди и др. (см. об этом подробнее: *Алексеев М. А. Пушкин и проблема «вечного мира» // Русская литература. 1958, № 3*).

«У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др.», — писала в одном из писем жена М. Ф. Орлова Екатерина Николаевна в 1821 году. В другой раз, 12 декабря 1821 года, она сообщала своему брату, Александру Николаевичу Раевскому о визитах поэта (кстати, только что окончившего «оду на Наполеона», которую Раевская нашла «хорошей»): «Мы часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конёк — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убеждён, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия» (Цит. по: *Гершензон М. Семья декабристов. По неизданным материалам // Былое. 1906. № 10. С. 308*).



Михаил Фёдорович Орлов (1810-е) и его супруга  
Екатерина Николаевна Орлова, урожд. Раевская (1820-е)

Можно предположить, что отголоски декабристских споров, ведшихся в доме генерала Михаила Фёдоровича Орлова, дошли и до Л. Н. Толстого ещё в детские и юношеские годы, так как одним из близких друзей его отца, Николая Ильича Толстого, был часто навещавший Ясную Поляну *Александр Михайлович Исленьев* (1794 – 1882), в своё время служивший адъютантом генерала. Он послужил прототипом Иртеньева-отца в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» Л. Н. Толстого.

Пушкин в заметке о мире писал:

«1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д. Они увидят, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

2. Так как конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — вызывая стремления к уменьшению числа войск в государстве, ибо принцип вооружённой силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — то возможно, что менее, чем через 100 лет не будет больше постоянных армий.

3. Что же до великих страстей и великих военных талантов, то на это всегда будет гильотина, так как обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала — имеются

иные дела — и не для того поставили себя под защиту закона» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 тт. М. – Л., 1951. Т. 7. С. 531*).

Набросок Пушкина интересен не только сам по себе, своим высоким гуманистическим пафосом, блеском и оригинальностью мыслей, духовной созвучностью как романтизму пушкинской эпохи, так и, отчасти, будущим временам. Он интересен также и тем, что может служить ещё одним убедительным, хотя и косвенным подтверждением глубокой верности исторической правде толстовского изображения эпохи и среды, в которой «всё рождало споры и к размышлению влекло». А также подтверждением тому, что Толстой, приступая к созданию своего многообъемлющего романа, опирался на богатейшее идейное наследие просветительской и декабристско-пушкинской поры, усвоив и творчески переосмыслив многое из того, что было выработано до него предшествующей гуманистической мыслью по вопросам войны и мира. В данном случае, точно так же как и во всех других, Толстой последователен в исполнении выработанного им эстетического закона: «Усвой, что создали твои предшественники, и иди дальше». В «Войне и мире» художественно и философски реализованы мысли предшественников-гуманистов о нелепой жестокости войн, об истинном назначении человека, а также поставлена проблема ликвидации постоянного войска, которую не оставит вниманием и разовьёт Толстой-публицист — однако, практически до конца жизни, предлагая для неё уже не светски-гуманистическое, а христианское религиозное разрешение.

Идея вечного мира составляет неотъемлемую часть учения Канта, так же мощно повлиявшего на Толстого. Глубоко обоснованная мысль о том, что мир с необходимостью проложит себе дорогу в отношениях между государствами, — вот то новое, что было внесено Кантом. Проблема мира впервые предстала как реальная философская проблема. Этика Канта будет неполной без завершающей её мирной программы, в свою очередь основные положения концепции мира базируются на его этических принципах. Это относится и к философии истории Канта, и к его теории культуры, и к учению о праве. Короче говоря, все части философской системы Канта, касающиеся человека и общества, логично приводят к постановке вопроса о преодолении войн. Идея вечного мира — заключительное звено философской системы Канта. Без этого звена она лишается цельности.

Кант — диалектик, в отличие от просветителей он понимает значение социальных антагонизмов и не сетует по поводу отсутствия согласия между людьми. Антагонизм — источник, а не тормоз прогресса. По мнению Канта, в условиях идиллической жизни аркадских пастухов, взаимной любви и всеобщего довольства человек никогда бы не развил заложенные в нём таланты, люди, мирные как овцы, влачили бы животное существование. Поэтому воздадим хвалу природе за то, что она наделила человека ненасытной страстью и жаждой господства. Люди хотят согласия, но природа лучше знает, что им необходимо, и ведёт их по пути раздора.

К чему приводит этот путь? К неожиданным результатам. Прежде всего к образованию государства, которое устанавливает правовой порядок, ограничивая произвол отдельных индивидов, направляя их предприимчивость в законосообразное русло. Затем возникает другая необходимость — установить правовые отношения между государствами. Как в своё время люди вынуждены были создать государство, так и государства должны объединиться, чтобы предотвратить взаимное истребление. Сама природа (а точнее, историческая закономерность), используя неуживчивость людей и государственных органов, «побуждает сначала к несовершенным попыткам, но в конце концов после многих опустошений, разрушений и даже полного внутреннего истощения сил к тому, что разум мог бы подсказать им и без столь печального опыта, а именно выйти из не знающего законов состояния диких и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое, государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от своих собственных сил или собственного справедливого суждения, а исключительно от такого великого союза народов... от объединённой мощи и от решения в соответствии с законами объединённой воли. Какой бы фантастической ни казалась эта идея и как бы ни высмеивались ратовавшие за неё аббат Сен-Пьер и Руссо (может быть, потому, что они верили в слишком близкое её осуществление), это, однако, неизбежный выход из бедственного положения...» (*Кант И. Собр. соч. Т. 8. М., 1994. С. 21*).

Новое, внесённое Кантом в споры о вечном мире, состояло в обосновании исторической необходимости вечного мира на Земле. Не здравый смысл и добрая воля монарха, не его представления о пользе и счастье подданных, а сам ход истории преодолевает войну, делает её неприемлемой формой межгосударственных отношений.

Вечный мир неизбежен, он наступит на нашей планете, хотя того отдельные люди или не хотят.

От этого направления мысли — прямая дорога к пацифистским теориям «мира посредством права», международных судов и арбитражи. Толстому в христианский период его творчества, с 1880-х гг., была подозрительна светская моралистика таких миротворцев, хотя, по существу, и его критика церкви была частью общей секулярной тенденции. Человечество созревает, обретает силы и берёт в свои руки то, что многие века делегировало «воле богов» или Бога. Кто может ручаться, что не в этом и состоит Всевышний замысел об известном нам мире и человеке в нём?

Роман Толстого, на страницах которого изображалось полувековое историческое прошлое России, период, явившийся эпохой молодости декабристов, во второй половине 1850-х годов возвращавшихся из Сибири, был остро современен, публицистичен и вместе с тем полемически направлен против взглядов и суждений, под тем или иным флагом оправдывавших войну.

Ещё в том году, когда Пушкин наносил на бумаге свои мысли о вечном мире, в Париже вышла книга находившегося при царском дворе в России в качестве посланника-дипломата сардинского короля, католика-иезуита и убеждённого монархиста *Жозефа де Местра* (Joseph de Maistre; 1753 – 1821) «Санкт-Петербургские вечера». Сразу же после выхода из печати эта книга получила широкую известность во Франции и в других странах, в том числе в России, где автора хорошо знали в различных общественных кругах (в 1803 – 1817 гг. де Местр был послом Сардинии в России). В «Санкт-Петербургских вечерах», написанных в форме философских диалогов и посвящённых наиболее актуальным проблемам своего времени, значительное место уделено вопросам мира и войны. Если Пушкин верит в то, что война не вечна, что войны, армии и «победоносные генералы» могут быть со временем устранены волей народов, то де Местр пишет о том, что война, напротив, явление извечное, божественное по своему происхождению, как первородный грех, как промысел Божий, и никогда не может быть устранена волей человека. В войне люди видят то «героическую поэму», то «бич человечества», то историческое явление, которое в давние времена имело оправдание, но не имеет его теперь. С точки зрения де Местра, война ни то, ни другое, ни третье; война «божественна», как

«мировой закон» — по причинам, по которым она возникает, и по своим исходам, не зависящим от её участников; поэтому пролитая кровь питает землю непрестанно, как роса, и на громадном жертвеннике, именуемом Землёю, нет и не будет конца заклятиям (*Де Местр, Жозеф. Санкт-Петербургские вечера. СПб. 1998. С. 367 – 374 и сл.*).

С цинической правдивостью, находя подтверждение своим теориям, де Местр живописует (в частном письме от 22 сентября 1812 г.) роковое для России имперское самоубийственное вожделение Александра I к войне с ненавистным ему Наполеоном и его последствия:

«Польшу отдают шаг за шагом. Отступая. Русские или уничтожают всё, или забирают с собой; они не оставляют ни лошади, ни коровы, ни барана, ни курицы. [...] Все мы уже одной ногой в каретах и ждём лишь, когда г-н Бонапарте возьмёт [...] Москву, после чего направится к новой столице. Война представлялась желанной и неизбежной; её получили. К сегодняшнему дню плоды оной таковы: двенадцать опустошённых провинций, на восстановление которых может уйти двадцать лет; сорок пять миллионов рублей из казны; реки крови, пролитые ради того, чтобы отступить; убийства, пожары, святотатства и насилия на всём пути от Вильны до Смоленска. В ту самую минуту, когда я пишу вам, быть может, решается судьба сей великой Империи. Вот что мы пережили» (*Местр Ж. де. Петербургские письма 1803 – 1817. СПб., 1995. С. 208 – 209, 222*).

Идеи де Местра отнюдь не издохли одновременно с издохновением к чертям их едко-остроумного автора. Спустя сорок лет после появления «Санкт-Петербургских вечеров», в 1861 году, в Париже было опубликовано двухтомное сочинение *Пьера-Жозефа Прудона* (фр. Pierre-Joseph Proudhon; 1809 — 1865) «Война и мир», на страницах которого ожило имя де Местра. «Слава войне! — восклицает Прудон. — Благодаря ей человек, едва вышедши из грязи, где зародился, является великим и доблестным: на труп убитого врага — его первая мечта о славе и бессмертии» (*Прудон П.Ж. Война и мир. Том I. М., 1864. С. 31*). Размышляя над вопросами истории войны и изучая биографии знаменитых полководцев, в особенности Наполеона, Прудон пришёл к выводу, что де Местр прав в своём утверждении о божественности войны, о том, что война — явление чудесное, сакральное, незаменимый спутник во всю историю человеческого су-



ществования, «существенное условие жизни человека и жизни общества». Прудон прибегает к прямым цитатным заимствованиям у де Местра, которого он называет «великим теософом»: «Война божественна сама по себе, говорит де Местр, потому что она есть закон мира. Война божественна по таинственной славе, которая её окружает, и по необъяснимому обаянию, какое она на нас производит. Война божественна по своему покровительству великим полководцам, из которых самые смелые редко погибают в сражениях, и то лишь когда слава их достигает апогея и назначение их исполнено. Война божественна в самом своём возникновении; она возникает не вследствие произвола, а вследствие обстоятельств, которым и подчиняются те, коих считают её виновниками. Война божественна по своим последствиям, коих не может предотвратить ум человеческий» (*Там же. С. 30*).

Цитирует Прудон также и других мыслителей, художников и философов, которыми были когда-либо сказаны хорошие слова о войне. Прудон защищает, в частности, мысль Гегеля о том, что война необходима для нравственного развития: «Она возвышает наше достоинство человеческое; в ней высшее проявление нашей доблести; она воскрешает мужество в народах, изнеженных миром, упрочивает существование государств, династий, служит пробным камнем для народов, раздаёт власть достойнейшим, сообщает всему в обществе движение, жизнь» (*Там же. С. 55*).

В качестве главного тезиса своего сочинения Прудон пытается доказать, что война всегда выступает в виде «требования права силы», что право войны это и есть само право силы, и не только такое же естественное, как право труда, право любви, право разума, но, более того, оно лучшее, самое высокое право на земле и составляет «идеал человеческой добродетели и верх восторга» (*Там же. С. 84, 174 – 175*).

Любое насильственное завоевание, любая агрессия, по мысли Прудона, есть не что иное, как продукт силы и мужества, а покорение слабой страны более сильным государством не может не быть морально оправдано, и, в свою очередь, «подчинение силе не заключает в себе ничего постыдного».

Офетишизирував войну, Прудон отдаёт дань восхищения тем, кто управляет войной, участвует в ней: государственным и военным деятелям, полководцам, среди которых он особенно выделяет Наполеона, воюющим армиям, а также «особой благородной касте» воинов. «Воин более чем человек, — утверждает Прудон, — война всю

силу своего обаяния обнаруживает в превознесении мужчины-воина». В подтверждение этой мысли Прудон прибегает к такому аргументу: «Естественный судья мужчины есть женщина. Но что всего более уважает женщина в своём спутнике? — Работника? — Нет, воина. Женщина может любить работника, промышленника, как слугу, — поэта, артиста, как дорогую игрушку, — учёного как редкость; праведника она уважает, богатый получит от неё предпочтение, сердце же её принадлежит воину. В глазах женщины воин есть идеал мужчины» (*Там же. С. 63 – 64*).

В своём исследовании Прудон затрагивает также вопрос и о коренной причине войны. Вопреки однажды высказанному им доводу о божественном возникновении войны он пишет специальную главу «О первоначальной причине войны», в которой утверждает, что «главной, всеобщей и неизменной, единственной и самой настоящей причиной всякой войны, каким бы образом и по какому случаю она ни возникла, является не что иное, как недостаток продовольствия или, говоря слогом более возвышенным, нарушение экономического равновесия... пауперизм, вот где первоначальная причина войны» (*Там же. Том 2. С. 92*).

Толстой был хорошо знаком с военно-философскими суждениями как де Местра, так и Прудона. В процессе работы над «Войной и миром» им были использованы в качестве источников две книги де Местра: «Санкт-Петербургские вечера» и «Дипломатическая корреспонденция» (1811 — 1817). Имя де Местра упоминается в самом тексте романа: говоря в четвёртом томе о бессмысленности плана пленения Наполеона, Толстой прибавляет, что так думали и самые искусные дипломаты того времени — де Местр и другие.

Сохранилось письмо Толстого к редактору журнала «Русский архив» П. И. Бартеневу, снабжавшего писателя различными материалами во время работы над «Войной и миром», с просьбой прислать книги де Местра (*61, 61*).

Позднее Толстой не раз будет говорить о де Местре в письмах, статьях, в публицистическом трактате «Царство Божие внутри вас» — в связи с суждениями новейших оправдателей войны, которые ему живо напомнят откровения Жозефа де Местра.

С П.-Ж. Прудоном же Толстой был знаком лично. Во время своего пребывания за границей в Брюсселе в 1861 году он посетил Прудона и беседовал с ним, в том числе и о прудоновском сочинении, которое

Толстой в незаконченной статье «О значении народного образования» назвал «О праве войны» (5, 405) и которое вышло из печати в том же году, вскоре после отъезда Толстого из Брюсселя, под заглавием «La guerre et la paix», а в русском переводе появилось в 1864 году. По свидетельству биографа писателя П. И. Бирюкова, на Толстого произвели впечатление энергичность и самостоятельность Прудона как мыслителя, обладающего, по излюбленному Толстым французскому выражению, «le courage de son opinion» [смелостью своего мнения] (*Бирюков П.И. Биография Л. Н. Толстого: В 4-х тт. т. М. - Пг., 1923. Том 1. С. 195*).

После того как в начале 1865 года в «Русском вестнике» были опубликованы первые главы романа под названием «Тысяча восемьсот пятый год», Толстой продолжал работать над следующими частями эпопеи, которую он принял решение в 1867 году озаглавить тем же названием, которое было использовано Прудоном в его трактате.

И тут нельзя не признать правоту Н. Н. Арденса, утверждающего, что вся историческая и мемуарная литература о времени наполеоновских походов подсказывала заглавие, в котором могла отразиться идея соотношения мира и войны и что заглавие трактата Прудона, дававшее в руки Толстого готовые и меткие слова, приковало к себе особое внимание писателя и было им избрано никак не случайно. Толстой сделал свой выбор «с целью», вложив в заглавие своего романа определённый полемический смысл, и что эта полемичность была целиком направлена против Прудона (*Арденс Н.Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., 1962. С. 253*).

К этому утверждению следует добавить, что полемичность Толстого была направлена не только против Прудона и не только против тогдашней активной и многообразной апологетики, которая защищала развязанные после Крымской кампании на Западе и в центре Европы войны конца 1850-х и середины 1860-х годов (войны между Францией и Пьемонтом, между Италией и Францией, Австрией и Пруссией и т. д.). Она была направлена против целой идеологической системы, в течение многих лет создававшейся и Ж. де Местром, и А. Гобино («Опыт о неравенстве человеческих рас»), а несколько позднее — Мольтке, Ницше и многими другими идеологами, той системы, одной из основных целей которой объективно сделалось моральное оправдание готовившихся войн, воспитание и создание «человека войны», равнодушного и, главное, послушного в руках господствующих классов насильника и убийцы.

Взгляды же Прудона, абстрактные, внеисторические и по существу своему антигуманистические, были избраны Толстым в качестве ближайшей мишени. Этим взглядам Толстой противопоставил собственную концепцию войны, построенную на историческом материале войн 1805 – 1814 годов.

Но — «на всякого мудреца довольно простоты». В эпиграф своей работы «Война и мир» Прудон поставил слова о войне: «Разгадай, или я тебя пожру. Сфинкс».

Вот беда-то... Вот предел! Как раз к разгаданию «загадки сфинкса», социального феномена системного, организованного насилия, а в частности войны, автор «Войны и мира» ещё и не был готов! Вот почему, в частности, в сознании безусловного фаворита писателя и поклонника идеи «вечного мира», Пьера Безухова, светский гуманизм оставляет место идейкам «добра с кулаками», причём на уровне политики, где оно уже точно никогда не добро: убийства, по его мнению, вполне заслуживают — то противник Наполеона, а то и он сам, великий Наполеон...

«Моральные оценки, всегда субъективные и спорные, вряд ли должны быть привносимы в историческую науку» — пишет популярнейший в СССР исследователь эпохи Наполеона Альберт Захарович Манфред. И следом даёт значительнейшую для нашей темы установку:

«...Важно обратить внимание прежде всего на одну лишь сторону. Переворот 18 брюмера закреплял созданное революцией буржуазное общество во Франции и призван был в дальнейшем силой оружия сломить казавшиеся неприступными бастионы феодально-абсолютистского строя в Европе и проложить пути распространению буржуазных отношений на континенте. Л. Н. Толстой был верен исторической правде, когда, начиная свой знаменитый роман сценой политической беседы в салоне фрейлины русской императрицы Анны Павловны Шерер в июле 1805 года, вкладывал в уста Анны Павловны негодующие речи против “гидры революции”, которая стала “теперь ещё ужаснее в лице этого убийцы и злодея”. Под “этим убийцей и злодеем” фрейлина русской императрицы подразумевала предпочтительно произносимое имя Наполеона Буонапарте» (*Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. Указ. изд. С. 221 – 222*).

Если, опираясь на эту установку, с сожалением отрешиться от 2000-летнего христианского идеала ненасилия, от Нагорной проповеди —

в пользу точки зрения традиционного «историзма», то, без сомнения, воспитанный в Европе Пьер был «прогрессором» своей эпохи и, тем более, референтной для него социокультурной общности.

И в то же время он — сторонник «целесообразного» убийства...

В 1803 году, после возобновления войны с Соединённым Королевством, власть Наполеона Бонапарта оставалась всё ещё слишком хрупкой, подвергалась слишком большому количеству внешних и внутренних угроз, в частности, покушений, совершённых роялистами. В конце 1803 года британцы и роялисты решили организовать переворот, чтобы свергнуть наполеоновский режим. 29 февраля 1804 года против первого консула Франции был раскрыт т. н. «заговор Пишегрю». На допросах участников заговора всплыло имя герцога Энгиенского, особы «королевской крови», на которого делали ставку сторонники воссоздания монархии Бурбонов. По донесениям, герцог, проживавший тогда в Эттенхайме, всего в нескольких километрах от французской границы, общался с агентом из Англии. В середине марта принц был похищен и доставлен во Францию. 19 марта 1804 года спешно собранный трибунал в замке Венсен на основании обвинительного документа, без присутствия защитников и не выслушивая свидетелей, подписал смертный приговор герцогу Энгиенскому. В ночь на 20-е приговор был приведён в исполнение. Многие, многие подробности этого дела вызывали сомнения уже у современников.

В своей книге «Жизнь Наполеона» (1818 г.) Стендаль рассказывал, что Вильгельм Варден (William Warden, 1777 – 1849), который надзирал за Наполеоном на острове Святой Елены и часто с ним беседовал, говорил, что он видел своими глазами копию письма Наполеону, написанного герцогом Энгиенским перед его смертью, в котором герцог заявлял, что он больше не верит в возвращение Бурбонов и что он стремится служить Франции. Наполеон, в свою очередь, утверждал, что никогда не получал от герцога никаких писем. А. З. Манфред настаивает, что письмо было написано:

«Принц, все ещё не веря, что дело принимает серьёзный оборот, всё же написал письмо первому консулу; он просил свидания с ним. Бонапарт, получив письмо, дал распоряжение Реалю <Пьер-Франсуа Реаль (1757 – 1834), в то время префект полиции. – Р. А.> направиться в Венсени и самому разобраться в деле. Реаль выполнил при-

каз, но он в то утро проспал чуть дольше (нет надобности разъяснять, что вряд ли случайно). Когда он приехал в Венсенн, принц был уже расстрелян.

[...] Взрыв негодования, вызванный расстрелом герцога Энгиенского, объяснялся прежде всего тем, что он был принцем королевского дома и феодальная монархическая Европа почувствовала в этой казни удар, нанесённый по её лицу. Политический резонанс этой казни или этого преступления, как угодно, был во многом усилен тем, что принц был молод (он погиб тридцати двух лет), красив, отважен; больше всех негодовали женщины — они определяли общественное мнение в столицах монархий. Лев Толстой и в этой детали обнаружил удивительное историческое чутьё: в салоне Анны Павловны Шерер более всего возмущались убийством “праведника” — герцога Энгиенского — высокопоставленные дамы» (*Там же. С. 333*).

Здесь же А. З. Манфред приводит пикантную подробность: когда, через месяц после казни герцога, Убри, поверенный имп. Александра I в Париже потребовал объяснений, Наполеон составил письмо в адрес самого императора, в котором красиво и вежливо “опустил” его:

«Жалоба, предъявляемая ныне Россией, побуждает задать вопрос: если бы стало известным, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть?». Это был намёк на обстоятельства убийства отца Александра I, императора Павла, организованного на английские деньги, к которому позорно, но исторически вполне доказанно, был причастен сынок...

И вот «объективное», из атеистических 1960-х, общее по данной теме заключение А. З. Манфреда:

«Казнь герцога Энгиенского от начала до конца была политическим актом. Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата. [...] Лев Толстой с его замечательным даром постижения далёких событий истории заставляет Пьера Безухова горячо одобрять казнь герцога Энгиенского. Он находит и вкладывает в его уста точное определение: “Это была государственная необходимость”. Это было верно, и так говорили в начале девятнадцатого столетия, в 1804 году. Вероятно, десятью годами раньше, в эпоху Конвента, та же мысль была бы выражена иными словами: “революционная необходимость”» (*Там же. С. 336*).

Но мы уже знаем, что заражение, в одно время с семейством Ростовых, патриотическими настроениями Пьера вместе с известиями о преследовании Наполеоном удиравшей орды Александра I, подававшимся пропагандой как «агрессивное вторжение», привело Пьера к отделению «великого дела революции» от личности «антихриста», виновника гибели множества людей. И уже убийство «антихриста» Наполеона представляется этому доброму человеку столь же целесообразным, каким прежде представлялось убийство в Венсенском замке злосчастного герцога Энгиенского.

И если вскоре после вступления в 1806-м в орден масонства Пьер идеалистически воспринимает новых «братьев» как организацию вполне христианскую, сполна неприемлющую войны, и в таком духе представляет масонов в беседе с временно разочарованным жизнью князем Андреем, то, постояв с простыми солдатами под ядрами противника на Бородинском поле и отведав с уцелевшими символического блюда *кавардачку* — причастившись *народного дела*, по мифотворчеству Толстого — один из богатейших аристократов России решает для себя: «Солдатом быть, просто солдатом!» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ. изд. Книга вторая. [ВиМ – 2] С. 336*). Наконец, утомлённый Пьер засыпает в стане русских воинов и слышит во сне голос своего, уже к тому времени покойного, «благодетеля» Баздеева, мастерски завербовавшего его в масоны, который «сообщает» ему уже совершенно другое, весьма далёкое от Нагорной проповеди:

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдёшь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится её, тому принадлежит всё. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер), состоит в том, чтоб уметь соединять в душе своей значение всего. Всё соединить?» сказал себе Пьер. — «Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а *сопрягать* все эти мысли, вот что нужно! Да, *сопрягать надо, сопрягать надо!*» с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучающий его вопрос.

— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...

Это был голос берейтора, будившего Пьера» (*Там же*. С. 337 – 338).

Пьер досадовал на берейтора и на себя, что не понял “услышанных” во сне слов. Но стоило ли?.. То же умиление аристократа о *народе* — без сопряжения со своим значением в глазах того же «народа». А для этих военных рабов крепостник Пьер, возомнивший себя ещё в том же 1806-м благодетелем своих рабов — один из земных богов, решающих их судьбы. Отправляющих в рекруты, в солдаты за провинность. Решающих, в лице более высокопоставленных в Империи, быть ли войне или миру... Им, простецам, действительно остаётся только делать. Да вот только — не Божье и не Христово дело в мире, а то, которое их принудили совершать земные боги. Такие, как «барин» Пьер Безухов. Да и для них, для аристократов — разве значат что-то евангельские проповеди, притчи, поучения Христа, когда и над ними властвует земной божок — их возлюбленный «государь»?

Простота, действительно, есть покорность Богу. Но простота невежественного пейзажа и простота питомца парижской, или немецкой, или российской даже академии — две различные простоты, между которыми есть, как минимум, две большие разницы. Простота человека, как Пьер, свободно, на нескольких языках могущего прочесть не только Новый Завет, но и многосложные богословские сочинения и простота крепостного крестьянина, обречённого верить во всё то, что расскажет ему о Боге сельский поп — не одно и то же! И если подчинение невежественного человека, как и животного, не может идти далее подчинения воле другого человека, то просвещённый человек знает, благодаря евангелиям, в чём, в отношении «венца Творения», человека, воля Отца, Бога. Как нужно жить, чтобы быть христианином. «Подчинение свободы человека законам Бога» для такого человека состоит «в победе над слепым зверством и необузданными вожделениями человека-зверя» (41, 572). И ещё: «Таким образом, я вижу всегда один и тот же закон: возрастающее освобождение личности, приближение людей к благу, к справедливости, к мудрости» (*Там же*). Эти слова, впоследствии включённые Толстым в «Круг чтения» (откуда мы и приводим их), ещё не родились тогда под пером женевского мыслителя Анри Фредерика Амиеля (*фр.* Henri Frédéric Amiel, 1821 – 1881). Он запишет их в свой «Задумшев-



ный дневник» только 9 августа 1877 г. – размышляя о несовместимости с этикой справедливости «возрастающего в торжестве» дарвинизма: «Высший человеческий закон не может быть заимствован у животности» (*Из дневника Амиеля. СПб, 1894. С. 83*).

Между тем, в отличие от подчинения соблазнов, страстей и страхов, влекущих человека к действиям грабежа, насилия либо, наоборот, «обеспечения» себя от оных подготовкою способов ответного насилия, подчинение самим этим соблазнам в себе либо в принуждающих тебя к повиновению государственных и религиозных вожаках — не есть подчинение Богу и Христу, а только подчинение низшим, первобытным (то есть господствовавшим в животной природе до человека — до начала его *творения* Богом, то есть до запуска Высшим Разумением процесса *эволюции*) поведенческим программам, срабатывающим помимо сознания и воли человека и, соответственно, долженствующим быть побеждёнными чудотворным действием *живой веры* — доверия Богу, моления Ему, упований на Него, вкупе с собственными усилиями последования Истине в учении того, последователями кого именуют себя христиане.

Мешают этой победе в человеке жизни духа — именно пресловутые *витальные* страхи: голода, жажды, утраты возможности добывания себе корма, утраты возможности половой репродукции, утраты крова, самки, детёнышей... Коротко сказать: страхов *смерти* и любых страданий и утрат, которые приближают к ней. Стремление *обеспечить* себя от мучительности страхов предполагает ограбление жизненных ресурсов других. Война искони — некоторая стадия в системной организации такого грабежа. Христианство же всё — именно в отрицании таких страхов и стремлений человека как животного, в указании пути победы над ними — в стремлении к *слиянию своей воли с волей Бога*. Именно подчинения своей свободы, обрётённой грехопадением первых людей — законам Разумения для чад Его во всей Вселенной.

Свидетельство же доверия Отцу, право же на упование, молитвы же Ему и содержание собственных усилий предполагают, *как минимум*, неучастие человека в прямо обратном: в системных, намеренно организованных актах насилия — к каковым и относится всякая война. И, конечно, осуществление такого неучастия в условиях сословного *лжехристианского* общества неизмеримо легче достижимо «привилегированному» богатею и аристократу, нежели владельческому рабу, забритому в солдаты! Это безусловно понимал в

конце 1870-х автор «Анны Карениной», но, увы! ещё не осознавал во второй половине 1860-х автор «Войны и мира». Вот почему Пьеру в романе суждено было проснуться прежде, чем прояснилось для него содержание того, что голос, звучавший ему, поименовал *сопряжением*.

Скоро, однако, Пьеру начнут открываться смыслы жизни человека, выходящие за пределы суетных мечтаний *общественных*.

После Бородинского сражения Пьер остаётся в горящей Москве, переодевается в крестьянское платье, достаёт пистолет, чтобы... убить Наполеона — назначив себя «рукой провидения» для совершения казни над «зверем» (обыкновенное расчеловечение войны!) и тем «прекратить несчастье всей Европы» (*ВиМ – 2. С. 411, 413*). 3 сентября 1812 года Пьер просыпается с готовностью исполнить своё намерение. Да вот незадача: *сущностно* мирный, добродушный, незлобивый человек так и не научился обращаться с орудиями, преднамеренно устроенными человеком для человекоубийства.

«Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. “Всё равно кинжал”, сказал себе Пьер, хотя он не раз, обдумывая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтоб исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает всё для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зелёных ножнах и спрятал его под жилет» (*Там же. С. 444 – 445*).

Не правда ли, похоже на описание поступков ребёнка, удравшего ради пригрезившегося ему героического деяния от нянек и родителей? Но, в отличие от трагически уплывшего, в тех же грёзах о подвиге, от матери и отца *насовсем* Пети Ростова, судьба авторского фаворита в романе хранила Пьера. «Все страшные мысли и намерения Пьера заканчиваются спасением из огня маленькой девочки» — с пасхальной радостью констатирует Нина Эльдаровна Бурнашёва в подтверждение своего наблюдения, что «толстовские» персонажи

«Войны и мира» — не убивают» (Бурнашёва Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 239 – 240). Пьер объявляет её своей дочерью, но в тот момент он именно в том состоянии сознания: благодатном, просветлённом, Христовом, когда «свои» для человека — даже Наполеон или Александр, а тем более обыкновенный француз или татарин...

Незадолго перед этим палач и подлец, полоумный Ростопчин, участник сожжения отступавшей руснёю Москвы, пытался говорить с Пьером, как с равным по подлости: максимально развязно, грубо он «посоветовал», а по существу, потребовал от Пьера, кстати и в связи с его *масонством*, оставить Москву. И вот ответ негодяю Свыше: посреди всеобщей вакханалии насилия, смерти, в горящей Москве, в Пьере, первоначально оставшемся в Москве, чтобы стать тем, чем было стать для него невозможно, убийцей, происходит то *воскрешение праведника*, о котором возвестил удирающему от своей совести негодяю сумасшедший — юродивый!

Недолго, однако, ему суждено было остаться чистым: нравственная необходимость потребовала от него поступка, пусть и ситуативно оправданного: заступиться за девушку армянку, которой угрожало изнасилование мародёра — но, безусловно, греховного:

«Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил, и в котором силы его удесятерились. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нём кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы и в то же время из-за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-то, его били, и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье» (Там же. С. 454).



Пожар Москвы. Худ. А. Ф. Смирнов. 1813 г.

Краткий восторг Птицы Небесной, *освобождения от обмана*, и, тут же, в минуты — неизбежное в земной юдоли, а в особенности в поганом и проклятом «русском мире», отягощение грехом... Переданная, ради драки, в чужие руки спасённая Пьером девочка — символ упущенного очищения и спасения.

Арестом Пьера и началом для него искупления, чистилища и преобразования заканчивает Лев Николаевич Толстой Третий том своего великого романа.

Том Четвёртый в начале своём, в первых главах воспроизводит принцип *de profundis*: от низких людей и обстоятельств — к более высоким. Из столичного салона Анны Павловны Шерер, для завсегдаев которых в условиях войны «те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги», от патриотической лжи императора Александра I, звучавшей в подобных салонах, от нелепой истории Элен, нелепой жены Пьера Безухова, грешно жившей и умершей — писатель возводит нас допреже до нравственной высоты честного служаки Николая Ростова, который «без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества»; до добрейших, чуждых военному палачеству, но суетных Сони и Наташи Ростовской; одновременно, ещё нравственно выше — до княжны Марьи, в это

время познавшей земную любовь в отношениях с Ростовым (то есть, по логике писателя — тоже “павшей” по отношению к прежней её любви к Богу в мире и всех людях), а затем уже вводит в круг людей солдатского братства, для которого такое самопожертвование сделалось повседневностью, пусть и навязанной им земными богами, распорядителями чужих судеб, и в среде которого, именно пленных солдат и иных пленников, предстояло пройти Пьеру Безухову его очищение страданием (см. Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга вторая. С. 459 – 493, 504 – 505 и сл.).

Начинается чистилище Пьера с наиболее мучительной, чудовищной его части, в то же время и наиболее отвратительной, как мы знаем, Толстому-человеку: безвинного осуждения Пьера и страшной процедуры смертной казни.

8 сентября, в день Рождества Богородицы, под благовест, Пьера повели на судилище. В роли Пилата Понтийского, как мы упоминали уже выше, выступил маршал Даву — не исторический Луи-Николя Даву, а та гнусь, которую угодно было сотворить из наполеоновского соратника русскому романисту:

«Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу. Пьер близко подошёл к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какою-то бумагой, лежавшею пред ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил: *Qui êtes vous?* [фр. Кто вы?]

Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своею жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть своё звание и положение было и опасно и стыдно.

[...] Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба. они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву

застрелил бы его; но теперь уже он видел в нём человека» (*Там же. С. 498 – 499*).

Но вошедший в комнату адъютант напомнил Даву о его мирской, жестокой и глупой, роли. Не сообщив своего решения Пьеру, Даву, вероятнее всего, распорядился пощадить его — но жесточайше провести через всю процедуру расстрела, наблюдения за казнью. И Пьера уводят на казнь:

«Пьер не помнил, как, долго ли он шёл и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и оупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами, вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился.

Одна мысль за всё это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же наконец приговорил его к казни? Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и очевидно не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Ещё бы одна минута и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошёл. И адъютант этот очевидно не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это наконец казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был *никто*.

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его» (*Там же. С. 500*).

Значительно позднее, в статье «Единое на потребу» (1905), Толстой назовёт прямо этот порочный «порядок» — само устройство разбойничьего гнезда, именуемого государством.

Две гнусные системы соединились, поддерживая и оправдывая одна другую: смертные казни — условиями «военного времени», а война, в глазах многих, мысливших близко Толстому — своим более благородным характером в сравнении с технологичной «машиной» гарантированного и безопасного для палачей убийства.

На огородах, близ Девичьего поля, Пьера поставили шестым — то есть, первым из тех, кто был помилован, чего Пьер не знал. И грянула любимая «музыка» военщины и палачей, уже давно примеченная Толстым в её свойстве одурения и расчеловечения людей:



В покорённой Москве (Расстрел поджигателей).  
Худ. В. Верещагин. 1897—1898 гг. ГИМ

«Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него, желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано» (*Там же*. С. 501). Под одуряющим влиянием этого грохота изменилось поведение людей: «заметно было, что все торопились, и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтоб окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело» (*Там же*). Двое приготовленных на казнь, перед самыми залпами даже, не верили в своё убийство: «Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять её» (*Там же*. С. 502). Пятый из обречённых, молодой фабричный, бился и кричал, а затем вдруг замолк: «То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтоб его убили люди...» (*Там же*. С. 503). Взирая на эти ужасы глазами своего персонажа, Толстой бесспорно вспоминает свои впечатления от парижской казни в 1857 году, мельчайшие подробности... «Не политический человек» платит

нелёгкую, морально нелёгкую художническую дань Тому, Кому уже в 1860-х бессознательно служил своим словом, творчеством:

«Должно быть послышалась команда, должно быть после команды раздались выстрелы 8-ми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на верёвках фабричный, как показалась кровь в двух местах, и как самые верёвки, от тяжести повисшего тела, распустились, и фабричный, неестественно опустив голову, и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал верёвки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все очевидно-несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленями кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на всё тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул, на Пьера...

[...] Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мёртво-бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружьё, всё ещё стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он как пьяный шатался, делая то вперёд, то назад несколько шагов, чтобы поддержать своё падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча с опущенными головами.

— Ça leur apprendra à incendier, [Это научит их поджигать,] — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошёл прочь» (*Там же. С. 503 – 504*).

Это описание убийства только одного человека, т. н. «преступника по закону». В наши дни (начало марта 2023 г.) путинская гадина



вербует по тюрьмам тысячи ею же испорченных, а затем ошельмованных и осуждённых людей — подталкивая самое дешёвое в России мясо, пушечное, на верную смерть, под пули украинских воинов-героев, защищающих своё Отечество.

Но гнусные воспитанники Совка-СССР и пост-Совка, выходцы из посткоммуняцкого мордора с самоназванием «россия», обрядоверы лжехристианства православия по традиции и безбожники по сущности своей — уже совсем не столь чувствительны, как французские солдаты Великой армии Наполеона, люди из цивилизованной Европы, рабы военной необходимости и подневольные вершители отвратительной казни. Большинство из мародёров, насильников над женщинами и детьми, добровольных палачей украинцев в 2022 – 2023 гг., если, после победы Украины и свободного мира, после краха фашиствующего путинизма их не постигнет наказание по мирским законам — сами вряд ли будут, вспоминая свои «подвиги», переживать так же остро, как Пьер и как молодой солдат-француз переживали увиденное:

«С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершённое людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нём хотя он и не отдавал себе отчёта, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души, Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти» (*Там же. С. 505*).

Тяжелейший из экзаменов *чистилища*, с большим поранением души, с испытанием страшным веры — был, однако, для Пьера уже позади. В подавленном до мучительности настроении он попал в руки хорошего «лекаря» — нового, в солдатских арестантских бараках знакомого, Платона Каратаева.

Образ этот, хотя и солдатский, настолько памятен любому из читателей романа, что мы позволим себе не останавливаться на нём пристально. Отметим лишь, что Платон разведает поприще Пьера перед Богом едва ли не сразу: узрел духовными очами, очами любви, что Пьер — страдалец в мире за свои грехи и грехи мира, Птица, за грехи, до времени влачащая по праху свои крыла... В Платоне арестантский люд также чувствовал Птицу Небесную — и называли его недаром *соколиком*, и так же, *соколиком*, назвал уже в первой беседе старый солдат Пьера. Соколиком, но тут же, сперва — *барином*. Обращаясь на «вы». Но тут же, скоро — по-человечески: соколик, «ты». По-христиански, оставляя *свободу выбора*. «Ты» или «вы». Бог, который один, или бесы, которых легион. Обращающийся на «вы» — или сам предпочитает бесов (это чаще всего — у всех *людей мира*, развращённых и обманутых мирским), или подозревает в собеседнике его одоление бесами и служение им. Тогда как обращение «ты» — единственно допустимое среди христиан, на всех уровнях коммуникации, от межличностного, в семье и общинах, до межобщинного. «Ты» — это, как и в молитвах, обращение к Богу, живущему в каждом человеке.

И Пьеру — новое испытание. Встать с Господом — пусть не на крыло ещё — рано! Но хоть на ноги... или — остаться с мирскими чертями, с *обманом*, которым обманывали себя Даву, Александр I, Кутузов, Наполеон...

Таким же страдальцем, но более смиренным от младых лет, *доверчивым Богу*, был и сам Платон Каратаев. Рассказывая о семье своей, он сообщает Пьеру кратко и многозначительно: «Жили хорошо. Христьяне настоящие были» (*Там же. С. 509. Выделение наше. – Р. А.*). Христьяне! Здесь любое понимание верно: «хорошая» жизнь для верующего мужика — это и благочестие, и дружество в семье, и честный перед «миром» (общиной) труд, дарующий жизнь «хорошую» и в смысле зажиточности... Случился с Платоном грех — так и то на пользу и семье, и душе Платоновой:

«...И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Чтò ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. <По рекрутскому набору. – Р. А.> А у брата меньшого сам-пят ребят, а у меня, гляди, одна солдатка осталась.

[...] Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то» (*Там же. С. 509*).



Это — всё о том же, о евангельском: птицы небесные и лилии полевые... Довольно на каждый день своей заботы. А человек, страшась и желая обеспечить себя от страшного в умозрительном грядущем — портит жизнь свою настоящую и, в настоящем же, делает зло многим, и самому Божьему миру. И страшнейшее из зол, стяжаемых в погоне за счастьем «обеспечения» от страшного — война, война!

Платон перед сном молится обо всём этом мире, страдающем за грехи людей: не забывая не только себе подобных, но и зверяток. «Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра». «Фрола и Лавра» — православные «местоблюстители» языческих «скотьих» богов: ибо, по убеждению Платона Каратаева: «И скота жалеть надо» (*Там же. С. 510*).

И вот результат слова и примера, духовного влияния на Пьера христианина Платона:

«Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своём месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе» (*Там же*).

Недаром наш лжехристианский мир атакует образ Платона Каратаева жестокой критикой, ещё со времени первых публикаций романа. Этот персонаж — попытка Толстого ответить себе на вопросы: как не умереть, как умер князь Андрей, а *жить в миру* Птице Небесной? И не в достоинстве обеспеченного аристократа, а — простым солдатом или крестьянином. «Да всё так же...» — отвечает тихо Платон Каратаев. Отвечает не столько словами, сколько примером своей жизни:

«Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и простоте.

[...] Стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он всё умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пёк, варил, шил, строгал, точал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьёзно» (*Там же. С. 511*).

Молитва и медитация — диалог человека с Богом. Таково и медитативное пение старого солдата, без расчёта на человеческого слушателя — в этом очевидна противоположность, как Небеса аду, треску барабанов: гипнотизирующему человека, намеренно отупляющему, толкающему на злые поступки, и на худший для христианина грех — повиновение миру большее, нежели Богу!

А то, что отвечал ему в разуме и сердце Господь — Платон сообщал ближним. Как мог. Поговорками. Самыми краткими, афористическими, понятными указаниями на то, как жить разумному дитя и работнику в мире для Бога:

«Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большею частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати. [...] Каждое слово его

и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь» (*Там же. С. 512 – 513*).

Как жить, если ты знаешь, что ты дитя Отца, что ты — не плоть, а душа Божья во плоти, что ты — Птица? Как жить в неволе, в тяжелейших условиях войны, в солдатчине?..

«Да всё так же, как до солдатчины — так и надо жить: настоящим, человеческим...» — как будто внушает Пьеру бесценный товарищ по несчастью. И Толстому. И читателям Толстого... Словом и личным примером. Вослед за солдатами «Севастопольских повестей» и Кавказского цикла... За Веленчуком, тем самым солдатом-праведником из «Рубки леса», который не мог простить себе украденного у него кем-то другим отреза материи.

Не напрасно Лев Николаевич не только настроением, поведением сближает своего Платона с честным бедолагой из «Рубки леса», но и вводит схожий эпизод, с пошивом рубахи французскому солдату, и в текст романа. Солдат поступает нехорошо, желая уличить Платона в совсем уже ничтожной «краже» оставшихся от пошива обрезков:

«— Чтò ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьёшь, — говорил Платон, кругло улыбаясь и видимо сам радуясь на свою работу.

[...] Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.

— На чтò же ему остатки-то? — сказал Каратаев. — Нам подвёрточки-то важные бы вышли. Ну, да Бог с ним. — И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи свёрточек обрезков, и не глядя на него, подал французцу. — Эх ма! — проговорил Каратаев и пошёл назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что-то сказал ему:

— *Platoche, dites donc, Platoche*, — вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. — *Gardez pour vous*, [Платош, а Платош. Возьми себе.] — сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушёл.

— Вот поди ты, — сказал Каратаев, покачивая головой. Говорят нехристи, а тоже душа есть. — То-то старички говаривали: потная рука таровата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же» (*Там же. С. 564*).

В Божьем мире всё — Божье и всехнее. Ничто, и ты сам, не «твое». Называть «своим» что-то, кроме поступков — такой же грех, как обращение к бесам, обращение к легиону: «вы». Ты работник, Он — Хозяин. Смысл жизни — исполнить Его волю, научиться быть со-творцом и учить других тому — в пространстве и времени. Условие для успеха в этом — дисциплина в Божьей «швальне», в общей, всехней учебной и творческой Мастерской. Это, в числе прочего, и любовь нелицеприятная. Каратаевская:

«Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним» (*Там же. С. 512*).

Потому что смерти нет. Разлучение смертью — временная иллюзия. Навсегда разлучают поступки греха, нелюбовь. Любовь же даёт смысла и радость. Награду за самодисциплину в великой Мастерской. Но не одна любовь... а и — бескорыстное, в краткий, всегда могущий быть пресечённым Богом, наш век — бескорыстное служение друг другу: как можно больше успеть *уступить, а не продать*. Не разбоить чужой труд и уступать свой. Без «эквивалента» ценности. Без счётов и пересчётов того, что *не твоё*. Божье.

Победа христианского отношения к труду и его результатам разумных обитателей Земной планеты — навсегда победит, убьёт на Земле и войну!

Наконец, особенно интересно для нашей темы образ Платона Каратаева пересекается с одним неявным образом в самом раннем из рассказов Л. Н. Толстого — «Набег». Читатель догадался верно! Речь о *греческом философе Платоне* и платоновской этической максиме в рассказе: о том, что «храбр тот, кто ведёт себя, как следует».

Соотнесённость этой идеи с «Войной и миром» безусловна для исследователей, но, похоже, ещё никто до нас не задумывался именно о *христианском этическом значении* в романе имени Каратаева: *Платон*. Между тем — всё достаточно очевидно. Современный исследователь Виталий Борисович Ремизов делится такими наблюдениями о «Набеге»:

«Ключом к идейному пониманию повествования стали слова из диалога Платона: “Храбрость есть наука того, чего нужно и не нужно бояться”. Их художник сначала хотел поставить эпиграфом к рассказу, но затем отказался от этого замысла и ввёл в сам текст произведения. Факт примечательный, свидетельствующий о том, что только отчасти мысль, высказанная Никием и развитая Сократом, соответствовала концепции самого Толстого. И действительно, если вчитаться в рассказ, то станет ясно, насколько позиция автора глубже и разнообразнее, нежели то, что утверждалось в афоризме древнегреческого мыслителя. Важно, что и в самом диалоге “Лакес” проблема истинного и мнимого мужества остаётся открытой. Сократа не удовлетворило его собственное заключение о храбрости, и он предложил участникам спора продолжить в дальнейшем начатый разговор.

Рассказ Толстого “Набег” — своеобразное продолжение этого разговора.

Воссоздавая трагическую ситуацию набега на аул, ситуацию смерти, военной опасности, автор предложил читателю художественный “опыт в лаборатории”. На поверку оказалось, что мотивов истинной храбрости значительно больше, нежели казалось участникам древнего спора. Здесь и установка на интеллект человека (знание того, “чего нужно и чего не нужно бояться”), и мысль рассказчика-волонтёра о преобладающем значении чувства долга, и утверждение капитана Хлопова о храбрости как понятии, связанном с осмысленным или неосмысленным страхом.

Для самого Толстого подлинно храброе действие предполагало единство чувства и разума, соединение нравственных качеств личности с жизненным опытом, с целесообразностью поведения на войне. Именно такой подход к сущности храбрости стал ядром позиции автора, воплощённой прежде всего в самой логике сюжета рассказа. Эта позиция автора дала о себе знать и в романе “Война и мир” при описании неопытности и необдуманного поступка Пети Ростова, обернувшегося для него гибелью» (*Ремизов В.Б. Неформатный Толстой. М., 2022. С. 473 – 474*).

Безвременно покинувший нас в 2022 году исследователь досадно близко подводит нас к ответу о двух Платонах, в «Набеге» и романе «Война и мир» — да так, ляпа-растяпа, и не даёт его, “перескакивая” через Каратаева — сразу к гибели Пети Ростова.

Разумное знание и нравственное руководство (веры) в сопряжении. Преодоление страха и примат «чувства долга», должного. О чём это всё напоминает нашему читателю? Конечно же, о *концепции жизнепониманий*, фундаментальной теории «зрелого» Толстого-христианина конца 1880 – нач. 1890-х гг., с которой мы недаром познакомили его в начале книги.

Читатель может помнить, что Толстой наполнил христианским содержанием древнюю, ещё языческую максиму индивидуальной этики, возводимую к Марку Аврелию: «делай то, что должен». Для этого и христианину необходимо знать то, что должен делать он — последуя Христу. А в частности — любить, побеждая в себе атаквизмы животности, эгоизм и страхи. Лучше всего, когда это нравственное делание становится привычкой. Именно такую «привычку добра», и добра бесстрашного, мужественного, *храброго* — демонстрирует Платон Каратаев. Его образ — ранняя у Толстого иллюстрация возможности христианского наполнения понятий «храбрости» и «долга», «должного», делающихся несовместимыми не только с системным, преднамеренно организованным злом смертных казней или войн, любым поддерживающим участием христианина в них, но и с любой жестокостью. Хотя, безусловно, смирение Платона Каратаева перед всегда стерегущей каждого из нас смертью может, в некоторых его проявлениях, показаться свидетельством равнодушия, чёрствости, морального «отупения» старого солдата. Но, кстати, читатели-современники романа, воспитанные в преданиях православия о святых и аскетической жизни, глядевшие в суровые лики русских икон — ошибались в таких оценках значительно реже, нежели теперешняя, обрядоверческая или честно атеистическая, подпутинская бюджетная мелюзга, выходцы из атеистического поганого Совка-СССР или, не менее гнусные, выкормыши и воспитанники этих выходцев.

Таково, в рамках нашей темы, духовное учительное значение образа Каратаева в романе. В анализе дальнейшего «крестного пути» Пьера мы так же будем сосредоточивать внимание не столько на самом персонаже, сколько на его значении по отношению к *вере*, побеждающей насилие и обман.

Месяц в повседневных страданиях плена и в общении с народным праведником сильнейше, и положительно, изменил Пьера:



«Именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении — он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в героическом подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путём мысли, и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что всё это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всём этом. [...] Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны.

...Впоследствии и во всю свою жизнь, Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время» *(Там же. С. 565 – 567).*

Пусть и в нездоровых для человека, неестественных условиях военной угрозы, тюрьмы, люди эти жили той доброй, мирной жизнью, в общении, в трудах самообеспечения и взаимного служения, условия которой и должны бы составлять повседневность разумного дитя Бога. Эта атмосфера действовала и на французов, так что накануне начала отступления от Москвы, 6 октября, Пьер по-человечески запросто мог обсуждать слухи с распорядившимся охранявшими его солдатами французским капралом, «по-домашнему расстёгнутом, в колпаке, с коротенькой трубкой в зубах» *(Там же. С. 562).* В частности, Пьер договорился, как ему показалось, с капралом о судьбе одного из солдат, Соколова, тяжело заболевшего:

«...И потом, господин Кирил, вам стоит сказать слово капитану, вы знаете... Это такой... ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход: он всё для вас сделает.

Капитан, про которого говорил капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения» *(Там же)*.

Но вот война ворвалась в эту общую живую жизнь — напомнив о своих требованиях этим людям — подобно тому, как вместе играющим детям обманывающие их взрослые напоминают об их «неравенстве», якобы установленном самим Богом. Пьер отыскал такого накануне простодушного, дружелюбного капрала:

«И капрал, и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застёгнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.

Капрал шёл к двери с тем, чтобы по приказанию начальства затворить её. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.

— *Caporal, que fera-t-on du malade?*... [Капрал, что с больным делать?] — начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.

“Вот оно!.. Опять оно!” сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В изменённом лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями её, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошёл больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.

Когда двери балагана отворились, и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперёд их и подошёл к тому самому капитану, который, по уверению капрала, готов был всё сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже “оно”, которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.

[...] Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить ещё что-нибудь было бесполезно» (Там же. С. 568 – 570).

После прихода к вере Христа, в начале 1880-х гг., в трактате «В чём моя вера?», и ещё позднее, в статье-«катехизисе» «Христианское учение» (1894 – 1896) и, конечно же, в «Крейцеровой сонате» (1889) Толстой уверенно характеризует музыку, как одно из средств одурманивания и греховного, влекущего ко злу самоодурманивания человека. И в ряде духовных писаний, начиная с «В чём моя вера?», он укажет на униформу и звания, должности, набор обязанностей человека (а точнее: внушённых ему представлений об обязанностях перед государством и обществом) — как средства обращения человека в исполнителя приказов, в автомат. В живого «идола» и одновременно идолопоклонника, как, под влиянием христианских писаний Льва Николаевича, характеризовал это подчиняющее человека себе влияние один из ранних его духовных единомышленников, т. н. толстовцев, Александр Иванович Архангельский (псевдоним «Бука»; 1857 – 1906), автор давно забытой, хорошей книги «Кому служить?»: «Царь — это главный идол — человек, стоящий во главе мирского обмана. За ним тянутся три ряда идолов людей, числом поболее, ценою подешевле: военные, гражданские и духовные, а промеж них помещаются идолы особого рода: дворяне, богатеи, образованные и учёные; все они, будучи обыкновенными людьми, считаются особенными, необыкновенными, и по особенному наряжаются, по особенному, сословно, разговаривают.

Идолы — люди военные обрядились в свои особые выдумки: дисциплина, уставы, знамёна, чины, мундиры, медали и сверх того ещё удивительная выдумка: какая-то честь мундира. Нацепляют на себя большущие ножи, самострельные пистолеты, наряжаются в удивительные колпаки, в золотые позументы, в разноцветные лоскутки, и пуще всех гордятся, выступают и кричат по-петушиному эти мундирные петухи. Они гордятся тем, что будто бы они защищают отечество, на самом же деле они убивают собою отечество и ремесло ихнее — убийство человека.

[...] Один мой приятель (он был, между прочим, когда-то становым приставом) рассказал мне, что мундир делает человека другим; в самом деле от него делается какая-то прибавка, какое-то особенное наваждение: шевелишь, говорит, плечами туда-сюда, смотришь —

делаешься, говорит, более развязным в обращении с людьми, смелым, нахальным, так что чего бы, не говоря, что стыдно, а просто невозможно было бы сделать в обыкновенном, простом виде, то в мундире делаешь шутя и совершенно удачно. Есть, говорят, в мундире какая-то особенная сила. Особенная сила эта есть сила дьявольская, обманная, сила идола, сила истукана» (*Архангельский А.И. Кому служить? М., 1920. С. 35, 40*).

Музыку Толстой-христианин многократно приводит в веренице «гипнотических» средств либо одурманивающих предметов роскоши и в одном перечислении с вином и табаком. А в главе XXXIX трактата «Так что же нам делать?» (1884 – 1886) есть прекрасное суждение, которое могло бы украсить и страницы «Войны и мира»:

«Ведь всякое величайшее дело делается именно в условиях незаметности, скромности, простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при освещении, гrome пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятие о важности занятия, напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дела.

Великие, истинные дела всегда просты и скромны» (25, 396).

Или, ещё образец — в Дневнике 1889 года:

«Пошёл к солдатам. У них шёл обман принятых осенью. Их заставляли присягать перед знаменем. Попы в ризах пели с певчими в нарядных стихарях, носили иконы, били в барабаны, и играла музыка. Проходя назад, слышал разговор вахмистра: “не полагается”.

Какое страшное слово. Ведь не про Божеский закон оно говорится, а про безумную, жестокую чепуху военного устава» (50, 76).

Началось искупление Пьера, очищение страданием: разумеет его поединок с роковой силой омраченности, зла, владевшей всеми и стремившейся завладеть и им. Страшное предвестие: вымазанный сажей труп у ограды церкви в Хамовниках (*Там же. С 571*). Не на него глазами мертвеца взглянула тогда смерть, а на праведного Платона Каратаева, его обрекла — но Пьер не мог знать об этом. Вид покойника не потряс его, как многих других:

«С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно... как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить её» (*Там же. С. 573*).

«Удавка» болезненного, ненормального состояния войны и плена незримо душила Пьера сильнее и сильнее по мере озлобления отступавших из Москвы французов. «Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердитыми и недовольными. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. [...] Велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от неё сила жизни» (Там же. С. 574).

И вот итог этого возрастания, духовный эпицентр книги:

«Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряжённой повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захотел своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно-одинокий смех.

— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами. Какой-то человек встал и подошёл посмотреть, о чём один смеётся этот странный, большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошёл подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И ещё дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звёзд. «И всё это моё, и всё это во мне, и всё это я!» думал Пьер. «И всё это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся...» (Там же. С. 575 – 576).

В «Соединении евангелий» Льва Николаевича, книге, написанной значительно позднее, на рубеже 1870 – 1800-х годов, есть схожий

эпизод: не по сюжету, а по значению. Это «победа духа над плотью» страждущего и размышлявшего о жизни Христа в пустыне:

«Иисусу было тогда 30 лет. Он пришёл на Иордан к Иоанну и слушал проповедь его о том, что Бог идёт, что надо обновиться, что теперь люди очищаются водой, но что должны очиститься духом, и тогда Бог придёт. Иисус не знал своего отца плотского и считал отцом своим Бога. Он поверил проповеди Иоанна и сказал себе: если правда, что мой отец Бог и я сын Бога, и правда то, что говорит Иоанн, то мне надо только очиститься духом, чтобы Бог пришёл ко мне.

И Иисус ушёл в пустыню, чтобы испытать правду того, что он сын Бога, и что Бог придёт к нему. Он ушёл в пустыню и без пищи и питья жил там долго и, наконец, отоцал. И нашло на него сомнение, и он сказал себе: Говоришь, что ты дух, сын Бога, и что Бог придёт к тебе, а мучаешься тем, что у тебя нет хлеба, и Бог не приходит к тебе: стало быть, ты не дух, не сын Бога. Но он сказал себе: Плоть моя желает хлеба, но хлеб нужен мне для жизни; человек жив не хлебом, а духом, — тем, что от Бога.

Но голод всё-таки мучил его. И нашло на него другое сомнение, он сказал себе: Говоришь, что ты сын Бога и что Бог придёт к тебе, а страдаешь и не можешь прекратить своих страданий. И ему представилось, что он стоит на крыше храма, и ему пришла мысль: Если я дух, сын Бога, то, если я брошусь с храма, не убьюсь, а невидимая сила сохранит меня, поддержит и избавит от всякого зла. Отчего же мне не броситься, чтобы перестать страдать голодом? Но он сказал себе: Зачем мне испытывать Бога в том, что он со мной или нет. Если я испытываю его, я не верю в него, и его нет со мною. Бог дух даёт мне жизнь, и потому в жизни дух всегда во мне. И я не могу испытывать его. Я могу не есть, но убить себя я не могу, потому что чувствую в себе дух.

Но голод всё мучил его. И ему ещё пришла мысль: Если я не должен испытывать Бога в том, чтобы не броситься с храма, то я не должен также испытывать Бога в том, чтобы голодать, когда мне хочется есть. Я не должен лишать себя всех похотей плоти. Они вложены в меня и во всех людей. И ему представились все царства земные и все люди, как они живут и трудятся для плоти, ожидая от неё награды. И он подумал: Они работают плоти, и она даёт им всё то, что они имеют. Если я буду работать ей, и мне то же будет. Но он

сказал себе: Бог мой есть не плоть, а дух; им живу, его знаю в себе всегда, его одного почитаю, и ему одному тружусь, от него ожидаю награды.

Тогда искушение оставило его, и дух обновил его, и он познал то, что Бог уже пришёл к нему и всегда в нём; и, познав это, он в силе духа вернулся в Галилею.

И с той поры, познав силу духа, он стал возвещать присутствие Бога. Он говорил: Пришло время, обновитесь, верьте возвещению блага» (24, 95 – 96).

Как и в этой евангельской истории, в эпизоде с Пьером Птица Небесная, духовный человек — воспрянул, расправил крылья и закричал радостным, диким криком закричал — свободного, даром Свыше свободного существа! Радостные крики Христа тогда никто не услышал, но читатели «Войны и мира», чудесные львята Льва Николаевича, знают, что эти выстраданные восторг и радость — без сомнения, были, были!!

Духовный, христианский восторг Пьера можно рассматривать и как неудержимую, от сердца, манифестацию *антиимперства*, не «головного», не «идейного», как у политических оппозиционеров Империи, а *сущностного*, когда не можешь иначе — особенно близкую Толстому-человеку, выразившуюся в разные годы отвращением к наказаниям и принуждению воспитателей, к университетской учебной системе, к статской, а наконец и к военной службе, к смертной казни... А самый-самый первый свой протест о несвободе Лев Николаевич вспомнил нескоро, рассказав о нём в автобиографических воспоминаниях «Моя жизнь» (1878). Напомним читателю это чудо:

«Вот первые мои воспоминания... Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу ещё громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. [...] Это было

первое и самое сильное моё впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны» (23, 469).

«Я слаб, а они сильны» — это формула противостояния с миром всякой живой души, которой с первого детства стремятся сломать еле пробившиеся крылья. Отчаяние обречённости, неотделимое от осознания, чувствования своего права на протест, данного Свыше, от Бога — это и декабристы на площади, и молодой Достоевский на страшной имитации смертной казни, устроенной ему тётёй «родиной», православной Империей... Это и неумелая, детская и обречённая речь молодого Льва Толстого в 1866 г., на суде, в защиту солдата Шабунина, обречённого той же падлой тётенькой на расстрел. Это и антивоенные пикеты, рисунки, любые протесты безоружных людей и детей в современной, фашиствующей путинской России — с которыми развращённая большевизмом изуверка тётенька расправляется с жестокостью и подлостью, неуместными даже по отношению к противнику на войнах времён Льва Николаевича Толстого.

Самое тяжёлое — это одновременно и противостояние, удары врага и подножки ложных, прежних «друзей», и боль, боль, боль — от сломанных крыл... Хочется остановить противостояние, получить обезболивающую прививку обмана... Так рождаются в мир люди мира — не хорошие, а *хорошенькие*, милые и... и бесполезные для Божьего в мире дела. Как Ростовы — Николай и Петя. Последний, почти на глазах старшего своего тёзки, отбитого у французов вместе с другими пленными, воюет и нелепо гибнет в партизанском отряде.

Остановимся подробнее на этом трагическом эпизоде, переполненном гуманистическими и религиозными символами и смыслами.

24 августа Денисов собрал первый партизанский отряд. Таких отрядов вскоре стало около сотни. В составе отряда оказывается и Петя Ростов. До этого он уже участвует в Вяземском сражении и ждёт случая, чтобы отличиться. Петю отправляют в отряд Денисова, но генерал запрещает ему участвовать в любых стычках. «Петя находился в постоянно счастливо-возбуждённом состоянии радости на то, что он большой» (ВиМ – 2. С. 610).

Денисов вместе с Долоховым намеревался атаковать и взять французский транспорт с русскими пленными и грузом кавалерийских



вещей. Желая захватить «языка», они отправляют к французам лазутчика — Тихона Щербатого, добровольца из крестьян и человека специфической «нравственности»: генетического холопа, угодливого до «господ», до начальства и «барина», в том числе в военной форме, да при том и кацапа, неумно-хитрого и жестокого, вплоть до спокойного, заискивающего перед *хозяином* рассказывания о совершенных им убийствах. Одно из самых страшных, безобразных и при том массовидных порождений «русского мира»:

«Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. *Миродёров* точно десятка два побили, а то мы худого не делали...

[...] Тихон, сначала исправлявший чёрную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне.

[...] Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости» (*Там же. С. 605 – 606*).

При этом сам Васька Денисов, по внешности безупречно храбрый «человек войны», гордится тем, что без крайности не убил ни одного французского — и никогда, никогда не убил ни одного пленного!

Когда гармонично недоразвитый урод, с улыбочкой, рассказывает Денисову, как «не довёл» живым, убил очередного пленного, посчитав недостаточно «справным» для «господ», Пете от его речей делается нехорошо, «неловко»:

«Он оглянулся на пленного барабанщика и что-то кольнуло его в сердце» (*Там же. С. 609*).

Юный Винсент, пленный барабанщик — мальчик, ровесник Пети Ростова и естественный друг, которого тётя «родина», дрянь и гадина Россия, навязала ему во *враги*. «Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел» (*Там же. С. 613*).

Но в сознании Пети тут же актуализировались внушённые ему воспитателями с первого детства лжи о героизме и достоинстве военной службы, о храбрости и подобном прочем:

«...Неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и распросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился»  
(Там же)

Именно в эту «компанию» угодил Петя Ростов, за которым Денисов взялся «присмотреть», чтобы возвратить юного «героя» живым и с честью к генералу, отправившему его к Денисову лишь с поручением, а не для драк. Но Петя, чтобы остаться при отряде, скрыл от Денисова запрет генерала на участие в любых вылазках партизан:

«До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой и эсаул герой, и Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту»  
(Там же. С. 610).

Отряд Денисова готовил нападение на обоз и депо французов, которому предшествовала дерзкая вылазка Денисова и Пети, в ходе которой французы приняли их за «своих». Успех вылазки ещё более раззадорил Петю Ростова.

Когда Петя напрашивался в вылазку, проявил себя второй палач в отряде Давыдова — всё тот же, кровью пахнувший, Фёдор Долохов:

«— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Петя.

— Совсем тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — отчего же мне не ехать?..

— Да оттого, что не зачем.

— Ну уж вы меня извините, потому что... потому что... я поеду, вот и всё. Вы возьмёте меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж?.. — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика» (Там же. С. 614).

Где равнодушие — там и закоренелое зло. Равнодушно «благословляя» одного ребёнка на смертельную опасность, Долохов не с добром

взирает на другого, тут же заводя с Денисовым разговор, клонящийся к тому, что пленных при вылазках отряда не нужно «брать» — то есть, оставлять живыми... И опять Пете Ростову неловко при речах уже не мужика, а «благородного», но сущностно — такого же русского изверга, кацапа, палача.



**Петя Ростов в ночь перед убоем.**

*Илл. Дементий Шмаринов, 1955*

Накануне вылазки Петя хвастает Денисову, что «привык не спать перед сражением», но, конечно же, засыпает — и видит последний в жизни сказочный сон... продолжение грёз наяву, в которых удерживал его мирской обман.

«Храбр тот, кто ведёт себя, как следует». На следующий день *нелепая* храбрость Пети подставит его под пули... Ещё во сне он *слышит*

смерть: вступительную *фугу смерти, гимн смерти*, а затем и *хор погребальный* о себе:

«<Звуки инструментов> сливались то в торжественно-церковное, то в ярко блестящее и победное» (*Там же. С. 623*).

Обман церковный, освящающий войну — и тут же соблазн для ребёнка, подростка юноши: “блестящие” образы войны. И снова — музыка, музыка... Всё вместе — страшная заманка в смерть.

«Ах, это прелесть что такое!» — думает во сне ребёнок о сладком и разноцветном, светло-радующем гимне (*Там же*). Вот именно, что *прелесть*. То, чем по сей день, уверенно и настырно, промышляет наш *лжехристианский* мир: обман детей и малодумающих взрослых, введение целых поколений в грех и гибель. Прелесть «одного из малых сих», доверчивых детей, о которой, как о смертном грехе, предупреждал Иисус:

«С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него» (*Там же. С. 624*).

Околдование, подобное сну, обречённого продолжается и вне пределов соматического состояния сна: ещё в полутьме рассвета прозвучал сигнал к атаке, и Петя, не слушая Денисова, поскакал вперёд, и ему *показалось* «что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел» (*Там же. С. 625*). В детских грёзах о сказочной, *идеальной войне* не может быть ни тьмы, ни полутьмы, а всегда погожий день и яркое солнышко, как при прогулке на детской площадке: ведь иначе кто из *взрослых* увидит в темноте твои геройские поступки, чтобы похвалить тебя?

Петя доскакал до подходящего места подвига, именно моста, где увидел не вчерашних, в вылазке, отдыхающих на привале, нестрашных французов, а *всамделишных*, возбуждённых и приятно возбуждающих *врагов*.

Наступило системное состояние необратимости: Денисов уже не мог догнать Петю. Смерть сдавила капкан, но в боевом задоре ребёнку ещё не сделалось больно...

И теперь, именно теперь, *когда поздно спастись*, Петя Ростов *увидел смерть*, увидел страшное, увидел одно из *лиц войны*. Лицо без жалости убиваемого в бою человека:

«У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе и первое,

что он увидал, было бледное с трясущеюся нижнею челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

[...] Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы» (Там же. С. 625).

Француз в этом эпизоде — *молодцеватый*, то есть храбрый *молодец*: такой именно храбрец, который *ведёт себя, как следует*. Дисциплинированный и преданный солдат великого Наполеона, отбивающийся от проникнувшей тем самым патриотическим «духом войска», разбойной и всласть разбойничающей русни. Всё же не даром и не дёшево отдаёт презренным варварам свою жизнь.

А вот русский, среди «своих», мальчик Петя...

То, что отшатнуло бы трезвого, в спокойном состоянии сознания человека — Петю, в его наваждении, привело в недостижимый в нормальном состоянии человеческого сознания экстаз самоубийства. В этом экстазе, последним в земной жизни из знакомых лиц, он вдруг видит палача Долохова — «с бледным, зеленоватым лицом».

Этого страшного цвета не было в сладком разноцветии музыки, приснившейся Пете!

Это настоящее. Это зло. Смерть!

Лик смерти — в этот раз непосредственно её!

И Смерть, то есть пассивный палач Долохов, кричит *правильную*, соответственную ситуации команду: «В объезд! Пехоту подождать!». Но не кидается к Пете, как сделал бы Денисов, не вытаскивает его из боя, как из пожара, не закрывает собой...

«— Подождать?.. Ураааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлёпнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду...

[...] Долохов слез с лошади и подошёл к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он нахмурившись и пошёл в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав ещё издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошёл к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову» (Там же. С. 626 – 627).

И ещё немного этого имперского кацапа, в эпилоге всей истории: «Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем произошедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. [...] Встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском» (Там же. С 638).

Не завлекающее сияние, а только страшный блеск в очах Смерти — для тех, кто не одурманен, не обезболен, кто страдает, кому суждено ещё чуть-чуть пожить в страдании трезвого и мучимого человека — вплоть до заготовленной Долоховым расправы.

Сказочного боя из детских грёз не случилось. Случилось — как обыкновенно в «русском мире»: торжество Смерти. Тётя Россия заполучила ещё один «героический» сюжет — дабы им болванить новые поколения (новых жертв, таких, как Петя) сказками про «подвиги славных партизан в победную Отечественную войну». А Долохов заполучил своё, вожделенное: ту самую установку *оправданной войной жестокости*, «пленных не брать!», которая опьянила приятно, до восторга, огромного взрослого ребёнка Пьера Безухова в беседе, накануне Аустерлица, с князем Андреем. Как будто под надзором ходившего неподалёку великого теоретика жестокой войны фон Клаузевица.

Потому что слово звучащее, писанное, образы, звуки, запахи — всё имеет своё материальное воздействие на человека, *сотворчески* (Творцу, Богу) или же, чаще — в служении мирской лжи — деструктивно управляющее его помыслами и поведением.

Токсичная для мозга всякого человека, установка оправдания убийства противника, т. н. «врагов», на войне опьянила смертной дозой маленького Петю Ростова.

И Петя *услышал* смерть. *Увидел* смерть: она глянула ему в очи, когда изловила... И *вкусил*, наконец, смерти.

Петя Ростов погиб.

Его мучительно жалко всем, а Денисову — так, как будто он утратил родного сына. Но не такие ли, как Васька Денисов, любя и заботясь, внушали прежде Пете Ростову те самые сказочные представления о войне, которые убили его? И, будь Петя Ростов постарше — не то же ли, со смесью досады и презрения, сказал бы о его смерти Денисов, что говорит старый солдат в «Набеге» о прапорщике Аланине: «Известно, жалко! Ничего не боится: как же этак можно! Глуп ещё — вот и поплатился» (3, 38).

«Глуп ещё». А когда им делаться умнее? В осьмнадцать лет — в военное «срочное» рабство. Добровольно-принудительно: в Афганистан, в Чечню, в Украину...

Сбитый миром с толку, со спутанными крыльшками Петя Ростов *умертил* себя. Труп его — с пробитой головой и *раскинутыми руками*. Символ крыл Птицы, которые теперь могли бы расправиться. Если бы только жить... Потому что ему успело стать *и больно, и страшно, и понятно*. В последнее мгновение в несказочном, настоящем свете вошедшего в силу утра осветилось для Пети *всё*.

Стало понятно! Как обманывали его, как заманили в смерть взрослые.

Но светящийся ярче хмурого утра бледно-зелёный призрак с рожею Долохова без сожаления погасил этот свет.

Зато, воззрим: се, Пьер Безухов, на своём верном, на тот момент, пути — воскрес, воскрес! Искуплен, чист и свободен. Освобождён отрядом Денисова... Жив! Мертвы — те, кто выкупили его собой у Смерти: Платон Каратаев, не выдержавший пути, и околдованный Петя. Оба приуготовлены Божьему Раю, сонму праведных: Петя не успел нагрешить убийством — даже и увидеть его, настоящее, едва успел. Платон же Каратаев, смущая Пьера своей, ощущаемой им связью своей кончины с его, Пьера очищением, воскрешением ко

Птице, настаивал, что погибает за свои грехи — как и купец, безвинный каторжник, к которому поздно пришло царёво помилование, о котором товарищам по плену рассказывает перед смертью Платон (*ВиМ – 2. С. 632 – 633*).

Вот сцена умертвления праведного, на следующий день после его последнего рассказа:

«Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к берёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось ещё выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подёрнутыми теперь слезою и видимо подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошёл.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у берёзы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шёл, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услышал его, Пьер вспомнил, что он не кончил ещё начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружьё, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны и в выражении их лиц — один из них робко взглянул на Пьера — было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжёг, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завывала сзади, с того места, где сидел Каратаев. “Экая дура, о чём она воет?” подумал Пьер. <Вспомним: «Не надо плакать здесь», слова князя Андрея сестре. – Р. А.>

Солдаты товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались так же, как и он на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах» (*Там же. С. 634 – 635*).

Собака — друг человека мирского, гордящего грех на грех. Продолжающего не уметь обходиться без этих «друзей», бывших необхо-



димыми задолго до Христа — в первобытной жизни, в делах убийства, в делах стяжания и охранения отнятого у природы или — войною — у себе подобных. И собака привязана к личности хозяина: *пахучей* для собачьего носа, животной личности. А не следует: и потому, что не стоит того большинство людей, и потому ещё, что смерть забирает такую личность. Животная личность ничтожна в деле Божьем в мире... Символы Христа другие. Агнец. Не одною своею проповедью, но и безвинностью, покорностью своей смерти в страданиях Иисус открыл путь к единению в Истине и в любви. Продолжающие последовать влечениям животности: ограбляющие чужой труд, убивающие, воюющие — распинают снова и снова Христа. Праведные же — не гибнут, а рождаются к жизни духа и разума, к жизни Птиц Небесных, и со Христом пребудут, и со Христом явятся, воротятся в этот мир — восславив Учителя и Господа во славе их, в мирном грядущем Царствии их на Земле.

Мир живёт в Боге, всё Божье и всехнее, и все мы Божьи, когда любим друг друга: точнее, любим в каждом не животное, а Бога.

Об этом — сон, явленный Пьеру по кончине дитя Божия и Птицы, в миру Каратаева Платона, и накануне освобождения:

«Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

“Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Всё перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий”.

— “Каратаев!” вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. — «Постой», сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие,

стремясь к тому же, сжимали её, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель.

“Как это просто и ясно”, подумал Пьер. “Как я мог не знать этого прежде”.

— В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растёт, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он Каратаев, вот разлился и исчез» (*Там же. С. 636*).

Из этого отрывка мы “случайно”, мимоходом узнаём, что, помимо предполагаемого Парижа, Пьер жил и учился в Швейцарии. Стране свобод, разума и философии. Родине обожаемого Толстым Жан-Жака Руссо и целого ряда идеологов гуманизма и раннего пацифизма.

Париж, уже в том столетии — едва ли не символ мирского соблазна и греха. Центр государства Наполеона. И мирная Швейцария... Наука, философия и вера. Разум и знание, позволяющее побеждать соблазн.

Ох, как *не случайны* все подобные “случайности” у Толстого!..

Сон Пьера ощутимо раскрашен ярче злого предсмертного наваждения Пети Ростова — и это при том, что в нём нет главной, страшной силы: голоса обмана, *музыки*, создающей забирающие с собой ощущения, запахи и цвета. Музыка требовательной, от которой не сбежать... Вместо неё — Слово Истины от учителя. Христос в земной жизни — Учитель и Слово, божественный Логос. Не старенький учитель географии, а с Пьером говорит Спаситель — в те же часы той же ночи, в которую Губитель, Мир нашёптывает своё Пете Ростову... и скоро забирает его у Денисова.

Поэт и учёный XX столетия Николай Кедров тоже почувствовал в описании это бесконечно разноцветное, радостное сияние. Вот некоторые его рассуждения — та их часть, которая ближе к нашей теме:

«Готторпский глобус, привезённый Петром I в Россию, ставший прообразом нынешних планетариев, напоминает мне чрево кита, проглотившего вместе с Ионой всё человечество.

Мы говорим: вот как устроена вселенная — вы, люди, ничтожнейшие пылинки в бесконечном мироздании. Но это ложь, хотя и непреднамеренная.

Готторпский купол не может показать, как весь человек на уровне микрочастиц [...] связан, согласован со всей бесконечностью. Называется такая согласованность *антропным принципом*. Он открыт и сформулирован недавно в космологии, но для литературы эта истина была аксиомой.

Никогда Достоевский и Лев Толстой не принимали готторпский, механистический образ мира. Они всегда ощущали тончайшую диалектическую связь между конечной человеческой жизнью и бесконечным бытием космоса. Внутренний мир человека — его душа. Внешний мир — вся вселенная. Таков противостоящий тёмному готторпскому глобусу сияющий глобус Пьера.

[...] Сфера Паскаля, или глобус Пьера, есть ещё одно художественное воплощение всё той же мысли. Капли, стремящиеся к слиянию с центром, и центр, устремлённый во всё, — это очень похоже на монады Лейбница, центры Николая Кузанского или “точку Алеф” Борхеса. Это похоже на миры Джордано Бруно, за которые он был сожжён, похоже на трансформированные эйдосы Платона или пифагорейские праструктуры, блистательно запечатлённые в философии неоплатоников и Парменида.

Но у Толстого это не точки, не монады, не эйдосы, а люди, вернее их души...

[...] Стремление капель к всемирному слиянию, их готовность вместить весь мир — это любовь, сострадание друг к другу. Любовь как полное понимание всего живого перешла от Платона Каратаева к Пьеру, а от Пьера должна распространиться на всех людей. Он стал одним из бесчисленных центров мира, то есть стал миром.

[...] Всё, что сопрягает, есть мир; центры — капли, не стремящиеся к сопряжению, — это состояние войны, вражды. Вражда и отчуждённость среди людей. Достаточно вспомнить, с каким сарказмом смотрел на звёзды Печорин, чтобы понять, что представляет собою чувство, противоположное “сопряжению”.

Война и мир, сопряжение и распад, притяжение и отталкивание — вот две силы, вернее, два состояния одной космической силы, периодически захлёстывающие души героев Толстого.

Пьер “увидел” хрустальный глобус со стороны, то есть вышел за пределы видимого, зримого космоса ещё при жизни. С ним произошёл коперниковский переворот. До Коперника люди пребывали в центре мира...

В романе “Война и мир” Толстому удалось достичь не пошлой “золотой середины”, а великого “золотого сечения”, то есть правильного соотношения в той великой дроби, предложенной им самим, где в числителе единицы — весь мир, все люди, а в знаменателе — личность. Это отношение единицы к единому включает и личную любовь, и всё человечество.

В хрустальном глобусе Пьера капли и центр соотнесены именно таким образом, по-тютчевски: “Всё во мне, и я во всём”»

([https://medeyko.com/wikisource/Poeticheskiy\\_kosmos\\_-Kedrov-.pdf](https://medeyko.com/wikisource/Poeticheskiy_kosmos_-Kedrov-.pdf)).

Это взгляд на мир Птицы Небесной — то самое жизнепонимание, которое много позднее Лев Николаевич назовёт (кажется, немного беспомощно, не сполна характеристично) — «всемирным», «божеским».

*Христианское прозрение.*

В последующей за проанализированным нами большим эпизодом историософской части есть значительное для нашей темы рассуждение писателя о смысле и содержании истории с позиций этого, христианского, воззрения на жизнь. В частности — на великих и величие в истории:

«Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

[...] И никому в голову не придёт, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга вторая. С. 643 – 644).

Велик Наполеон на своём мирском поприще, стремящийся в 1812 году, как и ранее, сбросить от войны возлюбленную свою Францию: перезаключить мир с Россией, нанести удар по «мировому пирату», Англии и по разбойничьей Шестой коалиции европейских феодалов. И ничтожен в своих зависти и ненависти к «Буонапарте» русский

царь, латентный пидор и импотент Шурка Первый, заливший кровью своих рабов ошибочное наступление в России французского политического и военного гения и тут же, «изгнав» его, готовящего вторжение и большую европейскую войну:

«Когда на другой день <12. 12. 1812 г. – Р. А.> утром государь сказал собравшимся у него офицерам — “Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу” — все уже тогда поняли, что война не кончена» (Там же. С. 686).

Завистливое ничтожество решило судьбу ещё тысяч своих рабов...

И, с этих же позиций, именно *велико* всё, совершающееся в жизни Пьера после освобождения, в отношениях его с любимыми близкими. И, главное, с самим собой:

«Радостное чувство свободы, — той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления.

[...] То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цель жизни, — теперь для него не существовала. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него, не в настоящую только минуту, но он чувствовал, что её нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал Его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в своём плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством, то, что ему давно уж говорила нянюшка: что Бог вот Он, тут, везде» (Там же. С. 688 – 689).

Изменилась вся система отношений Пьера с миром и ближними. «...С чуть заметною, как будто насмешливою, улыбкой, он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям, — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны» и т. д.

«Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани... морально из бани» — коротко, образно и точно охарактеризовала Пьера Наташа Ростова в разговоре с княжной Марьей, которая, взглянув именно христианским, верующим оком — нашла обновлённого Пьера «прекрасным» (*Там же. С. 710*).

А вот как Безухов распорядился этим своим воскресением, этою чистотой — Толстой рассказывает в Эпизоде. Пьер навещает в Петербурге «одно общество», оппозиционное нелепому укладу жизни в России, сооснователем которого был (*Там же. С. 761*). Воротившись, в гостях у самых близких людей, в обновившемся, как и он сам, ожившем после смерти старого князя лысогорском доме, в присутствии незамеченного старшими Николеньки Болконского, для которого Пьер нравственный образец, он пытается обосновать значительность своей общественной инициативы в глазах приятелей, Николая Ростова и Денисова:

«— Чтò ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай — чтò же можно сделать? [...]

— Вот чтò, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как говорил. — Вот чтò. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во чтò не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди *sans foi ni loi*, [*фр.* без совести и чести,] которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев, и *tutti quanti*... [и тому подобные...] [...] В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Чтò молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как всегда, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, говорят люди с тех пор, как существует правительство). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер значительно взглядывая исподлобья: князю Фёдору и им всем. — Соревновать просвещению и благотворительности, всё это хорошо, разумеется. Цель прекрасная

и всё; но в настоящих обстоятельствах надо другое. [...] Когда вы стоите и ждёте, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Всё молодое, сильное притягивается туда и разворачивается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остаётся. Я говорю: расширьте круг общества: Mot d'ordre [Лозунг] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и всё больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачёв не пришёл зарезать и моих и твоих детей, и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого берёмся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу [...], произвёл что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели: это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедывал Христос...

Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало её, потому что ей казалось, что всё это было чрезвычайно просто, и что она всё это давно знала (ей казалось это потому, что она знала всё то, из чего это выходило — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживлённую, восторженную фигуру. Ещё более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходявшею из отложных воротничков.

Всякое слово Пьера жгло его сердце и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, — попадавшие ему в руки сургучи и перья на столе дяди» (*Там же. С. 775 – 777*).

Решительный противник «бунта», Николай Ростов, доказывает в разговоре Наташе и Пьеру, что «переворота не предвидится, и что вся опасность, о которой он <Пьер> говорит, находится только в его воображении». Пьер оказывается ловчее в споре, но Николай понимает свою правоту — «не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение» (*Там же. С. 778*).

Конечно же, это вера! «Простой» государев служилый человек Николай Ростов вдруг оказывается чутче ко Христу, к Истине и нравственно выше «разгулявшегося» перед женой и восторженным ребёнком Пьера. Царство Божие берётся ведь *духовным* усилием. Не быстро. Желание преподнести результаты поскорее, уже своим самке и детёнышам — соблазн греховный, унижающий человека, тоже признак маловерия или безверия. Метод при этом, слишком часто — насилие, оправдываемое общим, общественным, государственным благом.

Пьер, между тем, разоткровенничался в другом разговоре — где был уже с женой наедине:

«...Моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмитесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель» (*Там же. С. 786*).

Наташе вдруг удалось смутить Пьера, задав «детский» вопрос: одобрил бы его Платон Каратаев? Пьеру пришлось признать, что — нет, не одобрил бы...

Но смущение было недолгим, и скоро уже отягощённая мирским тщеславием, несостоявшаяся Птица Небесная вошёл в раж в своих речах перед любящей, слепой от любви женой:

«Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.

— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто» (*Там же. С. 787 – 788*).



«Просто», таки да-а! Но за этим «простым», его подлинными, не внушающими оптимизма смыслами — грустная сатира Десятой главы пушкинского «Евгения Онегина». А ещё — столетняя трагедия истории России и злой, бездарный и гнусный фарс наших дней — в полоумных попытках выродившейся московитской кацапни что-то из неё ещё и «повторить»!

\* \* \* \* \*

Эпилог. Часть Первая. Глава XVI, завершающая часть:



«...Внизу, в отделении Николиньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампада (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). <Гувернёръ> Десаль спал высоко на своих четырёх подушках и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николинька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко-раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, какие были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых, косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл *le fil de la Vierge*. [нитьями Богородицы.] Впереди была слава, такая же, как

и эти нити, но только несколько плотнее. — Они — он и Пьер — неслись легко и радостно всё ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. [...] Николинька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и видя его, Николинька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. [...]

«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николинька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. — Чтò бы он ни говорил — я сделаю это. Муций Сцевола сжèг свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтоб я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, чтò было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят, все восхитятся мною». И вдруг Николинька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.

— Etes-vous indisposé? [Вы нездоровы?] — послышался голос Десаля.

— Non, [Нет,] — отвечал Николинька и лёг на подушку. “Он добрый и хороший, я люблю его”, думал он о Десале. “А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен...”» (Там же. С. 788 – 789).

\* \* \* \* \*

Итак, адский круг замкнут!

Пьер, пока всё ещё тот же хороший и чистый, незаметно для себя возвращается к суеверию «хороших» убийств, исповеданному им в начале романа — но не военных, а «бунташных», всё с тем же оправданием — общего, народного блага!

Подтолкнув вдохновенными словами князя Андрея к Небесам и пережив подтверждение жизнью правоты своих прозрений в лучшие минуты — сам Пьер не находит *срединного пути* между жизнью вне тела для Бога и в Боге и жизнью для мира, мирскими любовью и радованию той жизнью, которая увлекла ко грехопадению ещё дальнюю предтечу Наташи — прародительницу человечества Еву, а за нею и любящего, мягкого, наивного, доверчивого Адама, в чьей роли

и выступает в грустном финале романа так тяжело и так ненадолго очистившийся морально Пьер.

Религиозные прозрения пока далеки от ведомого дорогою своей судьбы писателя — не пережившего ещё и «арзамасской тоски». Не знающего, как много раз сделают ему больно, оскорбив в самом драгоценном, супруга и дети — и оттого любящегося самкою Наташей, её материнством и её покорностью любимому «хозяину семейства», уже встрявшего в назревающий политический заговор, обещающей России новое насилие имперской военщины и палачей.

До «мирского» уровня низведена и тема жертвы в её реализации для Ростовых – Безуховых. Живущая у Ростовых воспитанница Соня жертвует тем, что ею же воспитателями внушено как самое дорогое: мирским личным счастьем. Толстой в Эпilogue передаёт один из разговоров Наташи с княжной, к тому времени графиней, Марьей, когда Наташа вспоминает Евангелие: «там есть одно место прямо о Соне». «Имущему дастся, а у неимущего отнимется. Она — неимущий». «Иногда мне её жалко, — говорит Наташа, — а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы». В свою очередь, мирская жертва предстояла, по замыслу автора, и самой Наташе: сопровождать мужа, Пьера, на каторге и в ссылке, где он должен был оказаться, но замыслу автора, после восстания декабристов.

И только для самой графини, прежней княжны Марьи, остаётся актуальным высший, в те годы лишь чаемый автором, умозрительный, не могущий быть показанным в романе идеал: жить с нравственно чистейшим, хотя и «вписанным» всем сознанием в язычество православной империи, Николаем Ростовым — с миром, и даже, во всём неизбежном, жизнью мира, но — уже навсегда, после мытарств и чистилища Лысых Гор — с постоянным памятованием о Божьей Истине, о евангелиях, о Христе... Не может быть сомнения, что сам Николай Ростов — куда более благодатная почва для духовного воздействия, могущего увести сознание спутника жизни от внушённых ему в первом детстве и ещё владеющих им в завершении романа оправданий и возвеличения «государевой службы», войны и убийства ради отчизны и чести, нежели Безухов, вышедший из горнила своих страданий морально «будто бы из бани», но успевший, по безжалостности авторского реализма, вляпыванием своим в политику опачкать пелёнки своего духовного младенчества так, что к этой,

радостной было для княжны чистоте ему уже не воротиться — с *самкою* Наташей, без княжны, без духовного терпеливого воздействия. Его речи слушает подросток Николенька — и уже *бессознательно*, ведомый, как и погубленный Петя Ростов, сладостью мирского обмана, совершает разрушение: пускай пока лишь на письменном столе, а не в стране и не в судьбах людских... Перья, изломанные им на столе — символизируют перья Птицы Небесной в нём самом, калечимой мирским лжеучением и ломаемые самим дитя — перед которым восстал идеал незнаемого отца — славы, подвига, «Тулона». И вместо этих бесценных крыл Николеньке, как прежде убитому миром Пете Ростову, грезятся уже перья на шлемах героев из книжек Плутарха.

\* \* \* \* \*

Но не столь всё мрачно. Дважды расправлявшая в Пьере кривышки Птица — дважды не смогла взлететь. Но мы помним: в грязное сознание растаптывателя жизней чужих и своей, «идейного» имперского кацапа, душегуба Ростопчина влились слова юродивого о *трёх* воскрешениях. Новое чистилище — это каторга и ссылка после восстания, предполагавшаяся для Пьера, и, как следствие — решающее, третье воскрешение к Истине и любви, к вере живой, к тому христианскому состоянию сознания, в котором и доживали век, уже современниками автора «Войны и мира», некоторые знаемые им декабристы.

Здесь мы приоткрываем читателю тайну ненаписанного Л. Н. Толстым романа о декабристах. Выступить в отношении столь близких ему благородных людей простым историческим романистом, описателем деяний, Толстой не мог. Хватить же пером по их жизни каторжной и ссылкой, по страданиям и постепенному преобразению сознания и просветлению духа — то есть тому, что сам Толстой не переживал никогда — означало бы для художника слова такую же фальшь, какие, Харибдой и Скиллой творческого океана, грозили ему позднее, при работе над описаниями «пути жизни» во Христе Константина Левина (роман «Анна Каренина») или Дмитрия Нехлюдова («Воскресение»). Последнего Толстой даже лишил весьма вероятного брака с Катюшей Масловой, ибо — фальшь, фальшь! Чтобы нефальшиво описать крестный путь декабристов со своими жёнами, либо даже Нехлюдова с Масловой — нужно было судьбой своей быть

тем же, чем был Фёдор Михайлович Достоевский, прошедший своё чистилище так же, в мирском смысле, безвинно, как и Пьер Безухов, и так же, как и Пьер, в смыслах христианских — отнюдь не безгрешно. Восхищаясь до конца жизни «Записками из Мёртвого дома» Достоевского, Лев Николаевич Толстой вовремя, и спасительно для писательства, тормозил швыдкое перо — понимая своё не только художническое бессилие, но и *моральное бесправие* писать о том, чего не выстрадал сам.

По этой же причине, недостатка пережитого автором личного опыта, в сохранившемся черновом отрывке романа «Декабристы», описывающем возвращение в 1856 г. декабриста Петра Ивановича Лабазова в Москву из иркутской ссылки — дан образ человека, хотя и неглупого и добродушного, но не спокойного, по-прежнему увлечённого политикой и прочим мирским — и, что символично, сразу по приезде желающего посетить *баню*. Ту, которая для тела... Ссылка для Лабазова не становится очищающим страданием.

\* \* \* \* \*

Зато, взглянув в очи смерти на трёх войнах, бывший юнкер артиллерии и офицер в отставке Толстой, живущий рядом с народом, крестьянами, которых любил — хотел, мог и чувствовал себя вправе писать о солдатах. Об их жизни, повторим ещё раз: мельчайшими деталями повседневности подчёркивающей зло и нелепость войны. В завершение этой части Второй Главы нашего исследования — пусть, после многих прозаических слов, прозвучит из уст этих солдат, этого народа слова бессознательного отрицания войны, проклятия войне. Не пацифистского, а Христова, и при этом бессознательного, как бессознательно отрицает войну тот мальчишка, из рассказа «Севастополь в мае», любующийся майскими цветами рядом с погибшими.

«Аминь глаголю вам, аще не обратитесь и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное» (*Мф. 18: 3*).

Маленькие воробушки... они самой жизнью своей, не сознавая — против войны.

Восьмое ноября 1812 года, вечер. Том Четвёртый, четвёртая часть, главы VII – IX:

«Весь день был тихий, морозный, с падающим лёгким, редким снегом; к вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось чёрно-лиловое звёздное небо, и мороз стал усиливаться.

Мушкатёрский полк, вышедший из Тарутина в числе 3000, теперь, в числе 900 человек, пришёл одним из первых на назначенное место ночлега, в деревню на большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты...

Как огромное, многочисленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи... Человек пятнадцать солдат за избами, с края деревни, с весёлым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша.

— Ну, ну, разом, налегни! — кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и наконец плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий грубо-радостный крик и хохот. [...]

...Негромкий, бархатно-приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, в раз с окончанием последнего звука, двадцать голосов дружно вскрикнули: “уууу! Идёт! Разом! Навались, детки!..” но несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся и в установившемся молчании, слышалось тяжёлое пыхтенье.

— Эй вы, шестой роты! Черти, дьяволы! Подсоби... тоже мы пригодимся.

[...] Весёлые, безобразные ругательства не замолкали.

— Вы чего? — вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.

— Господа тут; в избе сам анарал, а вы, черти, дьяволы, матершинники. Я вас! — крикнул фельдфебель...

[...] Притащенный осьмою ротой плетень поставлен полукругом со стороны севера, подпёрт сошками и перед ним разложен костёр. Пробили зарю, сделали расчёт, поужинали и разместились на ночь у костров, — кто чиня обувь, кто куря трубку, кто до нага раздетый, выпаривая вшей.

[...] Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. [...]

— Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, — начал один из солдат новый разговор.

— Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, — сказал плясун. — Разворочали их; так живой один, веришь ли, лопочет что-то, по-своему.

— А чистый народ, ребята, — сказал первый. — Белый, вот как берёза белый, и бравые есть, скажи, благородные.

— А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.

— А ничего не знают по нашему, — с улыбкой недоумения сказал плясун. — Я ему говорю: “чьей короны?” а он своё лопочет. Чудесный народ!

[...] — Сказывали, самого Полиона-то Платов два раза брал. Слова не знает. — Возьмёт-возьмёт: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит да и улетит. И убить тоже нет положенья.

— Эка врать здоров ты, Киселёв; посмотрю я на тебя.

— Какое врать, правда истинная.

— А кабы на мой обычай, я бы его изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

— Всё одно конец сделаем, не будет ходить, — зевая сказал старый солдат.

Разговор замолк, солдаты стали укладываться.

— Вишь звёзды-то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, — сказал солдат, любуясь на млечный путь.

— Это, ребята, к урожайному году» (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга вторая. С. 670 – 676).



В это время к солдатам прибились не сказочные, как злодей, птица-оборотень Наполеон, а настоящие французы: ранее встреченный, спасённый от гибели Пьером в Москве, теперь потерявший весь свой парижский лоск, весь гонор, умственное дитя капитан Рамбаль и его, тоже обессиленный и голодный, денщик Морель:

«Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал, не переставая, говорить что-то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер, и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмёт ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалью передали, чтоб он шёл. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.

— Чтò? Не будешь? — насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалью.

— Э, дурак! Что врешь нескладно! То-то мужик, право мужик, — слышались с разных сторон упрёки пошутившему солдату. Рамбалью окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и когда его понесли, жалобно заговорил:

— Oh, mes braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voilà des hommes! oh mes braves, mes bons amis! [*фр.* О, молодцы! О, мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья!] — и как ребёнок, головой склонился на плечо одному солдату» (*Там же. С. 677 – 678*).

Братание и культурный диалог жалостливых, мало испорченных «русским миром» солдат, выходцев из *христианского*, здорового, трудового мира-общины, продолжился уже с участием одного Мореля — цепкого до жизни, бойкого и неглупого денщика. Не умея сказать русским, такому же простонародью, как он сам, ни слова, он сумел и без русских слов запустить живые корешки в почву их доверчивых сердец:

«Морель, маленький, коренастый француз, с воспалёнными, слезившимися глазами, обвязанный по-бабьи платком сверх фуражки, был



одет в женскую шубёнку. Он, видимо захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.

— Ну-ка, ну-ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. — говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.

Vive Henri quatre,  
Vive ce roi vaillant!  
[Да здравствует Генрих IV,  
Да здравствует храбрый король!]

— Виварика! Виф серувару! сидяблякà... — повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

— Вишь ловко! Го-го-го-го-го!.. — поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

— Ну, валяй ещё, ещё!

Qui eut le triple talent,  
De boire, de battre  
Et d'être un vert galant...  
[У которого всего три таланта:  
Пить, сражаться,  
Да быть галантным повесой!]

— А ведь тоже складно. — Ну, ну, Залетаев!..

— Кю... — с усилием выговорил Залетаев. — Кю-ю-ю... — вытянул он, старательно оттопырив губы, — летриптала, де бу де ба и детравагала, — пропел он.

— Ай, важно! Вот так хрэнцуз! ой... го-го-го-го! — Чтò ж, ещё есть хочешь?

— Дай ему каши-то; ведь не скоро наестся с голоду-то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

— Тоже люди, — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. — И полынь на своём кореню растёт.

— Оо! Господи, Господи! Как звёздно, страсть! К морозу... — И всё затихло.

Звёзды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в чёрном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чём-то радостном, но таинственном, перешёптывались между собой» (*Там же. С. 678 – 679*).

Природа, наконец-то, порадовалась, что люди слушаются Бога: вопреки воле тех, кто обманул их, кто принудил к войне — исполняют закон любви, отрицая ненависть и насилие. Как дети, о которых говорил Иисус и от которых все участники эпизода совсем-совсем недалеко...

Научные комментаторы этого эпичного и одновременно поэтического, глубокого смыслами эпизода едины в его оценке, как гениально, пронзительно *антивоенного*. Песня, которую напевает Морель и, как умеют, подхватывают солдаты — с более чем четырёхсотлетней историей! Она была написана в конце XVI века (около 1590 г.), в честь короля Франции Генриха (Анри) IV Наваррского (*фр.* Henri IV, Henri de Navarre; 1553 – 1610), сумевшего остановить войну между католиками и гугенотами. Авторство музыки приписывают композитору Франсуа-Эсташу Дю Корруа (François-Eustache du Courroy, 1549 – 1609). С 1595 г. Дю Корруа был назначен придворным композитором — не исключено, что именно благодаря этой хвалебной песне королю-миротворцу. Одна из поздних версий этой песни звучит в опере Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс, или Гостиница золотой лилии», написанной в 1824 году в честь коронации Карла X.

Как и многие песни, «ушедшие в народ» (как, кстати, и та «севастопольская песня», в сочинении которой участвовал Лев Николаевич), она «обросла» прибавлениями и вариантами. Только первый куплет её современен королю. С годами и веками добавлялись другие, так как Генрих IV стал одной из легенд в истории Франции (<https://www.histoire-en-citations.fr/citations/vive-henri-iv>). Песня была неофициальным гимном Франции до 1790 года, несмотря на откровенные антивоенную «крамолу» и «опрощённый» образ в ней легендарного Генриха. Вот один из поздних вариантов её, застольная шуточная песенка, которую и напевал Морель (в переводе):

«Да здравствует Генрих IV!  
Да здравствует этот великий король!  
Этот четырежды чёрт,  
у которого всего три таланта:  
Пить да сражаться  
Да быть великим повесой!  
Пить да сражаться  
Да быть великим повесой!

К чёрту войны,  
Обиды и партии!  
Как наши отцы,  
Споём с верными друзьями,  
Чокаясь бокалами  
Среди роз и лилий,  
Чокаясь бокалами  
Среди роз и лилий.

Споём же гимн,  
Который будут петь ещё тысячу лет,  
И пусть спасает Бог  
Всех его потомков  
До тех пор, пока  
Луну не надкусят зубами.  
До тех пор, пока  
Луну не надкусят зубами.

Да здравствует Франция!  
Да здравствует король Генрих!  
Будем танцевать в Реймсе,  
Говоря, как в Париже:  
Да здравствует Франция!  
Да здравствует король Генрих!».

Комментарий епископа РПАЦ Григория Лурье:

«Французская монархия, та, которая пала в 1789 г., начиналась с Генриха IV, когда страна успокоилась, и началось то блестящее развитие, которым будет [отмечен] для Франции весь XVII век. При нём

был сложен этот гимн — вроде бы, в шутку и чуть ли не издевательский, но, по сути, очень серьёзный и благодарный. Он стал гимном Франции и гимном роялистов. Гимн много раз переписывался и дописывался...» (<https://m-kontrrrr.livejournal.com/3795.html> ).

Русские войска, по возвращении из заграничного похода 1813 – 1814 гг., распевали эту песенку наравне с «родными» — о чём нам сохранил свидетельство сам Александр Сергеевич Пушкин в повести «Метель»: «Музыка играла завоёванные песни: Vive Henri-Quatre, тирольские вальсы и арии из Жоконда»

([http://pushkintut.ru/pushkin\\_povesti\\_belkina.php?page=11](http://pushkintut.ru/pushkin_povesti_belkina.php?page=11) ). Если точнее, это песни европейцев и сама Европа завоевала сердца рабов — как «государевых служилых», так и частновладельческих — волею тётки «родины» оказавшихся в горниле нелепой войны Шестой коалиции с послереволюционной Францией, с прогрессивной Францией великого Наполеона. Нельзя было не петь... Уж такова была «заразительность» народного гимна Франции и, в особенности, его идейное значение для людей русского народа, истерзанных «дома», в России не только войной, но и нищетой, тяжким трудом и унижительной несвободой — на которые после картин европейской жизни они могли протестно реагировать уже сознательнее, нежели позднее, через полтора-два десятилетия, глупо спелёнутый, или глупо удерживаемый на руках деспотичного взрослого, чудесный маленький Львёнок, из которого вырос автор «Войны и мира».

**«К чёрту войны, обиды и партии!».**

Счастлив народ, в гимне которого *проклинаются*, а не славятся войны, военные вожди, победы и оружие, патриотизм и религиозный фанатизм! Который не только стремится, но и имеет возможность устраивать свою мирную жизнь, и не лезет убивать, насиловать, грабить и разрушать всё к соседям...

Век XX-й был истерзан войнами не менее, а более прежних — уже в первую его половину — и вот, в знаменитой советской экранизации романа, хипповского 1967 года, волею режиссёра Сергея Бондарчука эту песню, как *гимн жизни и проклятие войне*, подхватывают все солдаты: пленные французы подхватывают и поют хором свой, известный с детства, гимн, а русские солдаты — жадно вслушиваются, не зная языка, но *понимая сердцем* самое близкое и дорогое им и каждому живущему в Божьем мире. И, как прежде, под равно светящими на всех морозными звёздами, у равно греющих и

светящих всем костров не стало «врагов», так под звуки этой гениальной музыки, на несколько божественных минут — не стало «чужих» и «своих», и все, поющие и прислушивающиеся, стянулись в общий дружный кружок.

Этим гимном завершим и мы наш, безусловно неполный, обзор антивоенного, религиозного и гуманистического идейного и образного содержания романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир».

\* \* \* \* \*

Итак, страницы романа Л. Н. Толстого «Война и мир» неизбежно представляют нам автора тем же последовательным отрицателем жестокостей войны и убийства, каким был автор повести «Казачи», а в значительнейшем, в фундаментальном — всё таким же, не имеющим пока для своей ненависти к убийству религиозной, *христианской в сердце и разуме опоры*, юным Львом, что и Толстой-автор первого своего, не религиозно, а, скорее, романтически и отчасти сентиментально, *сердечно* антивоенного художественного шедевра, рассказа «Набег». Значительнейшие шаги к более глубокому и полнейшему, христианскому религиозному отрицанию войны и его, этого отрицания, обоснованию были сделаны писателем в следующем десятилетии, в годах 1870-х, совпав с временем окончания им писанием другого великого романа своего, «Анны Карениной», мимо которого мы по этой причине не можем пройти, хотя говорить о нём будем уже значительно меньше, короче, нежели о «Войне и мире».

---

## 2. 2. КОГДА ПОЕЗД УШЕЛ

(Роман «Анна Каренина»

и антивоенные настроения Л. Н. Толстого в период его создания)

Достоевский за 25 лет до отлучения Толстого от церкви написал в своём "Дневнике писателя" о последней части "Анны Карениной":

"Как подействовало на меня отпадение такого автора от русского всеобщего и великого дела".

...Достоевский предвидел отлучение Толстого от церкви, ставя церковь на одну чашу с "всеобщим и великим делом".

То есть... события на Балканах для России, помимо всего прочего, ещё и удобный случай прикрыть "всеобщим и великим делом" множащуюся всеобщую и великую ложь.

Достоевский наотрез отказывался понимать Толстого же, убедительно показавшего в романе, как разлагается общество...

Не понимает, отказывается понимать Толстого, не пошедшего на поводу у всех, высказавшегося открыто против бойни, какие бы идеи, мотивы ни стояли за пролитой кровью.

(Мамедов А. Обнуление Толстого / В кн.: Толстой. Новый век. Вып. 2. Тула, 2006. С. 25).

Есть один храм Божий, это — сердце людей,  
когда они любят друг друга.

(Л. Н. Толстой «Соединение и перевод четырёх Евангелий»)

**Как** известно, в Восьмой части «Анны Карениной» Толстой запечатлел довольно нестандартное, для времени её написания, отношение к Балканской войне. Редактор «Русского Вестника», в котором печатался роман, Михаил Никифорович Катков отказался опубликовать Восьмую часть в своём «Русском вестнике», мотивируя отказ словами: «Не лучше ли оборвать музыку диссонансом, чем оканчивать приделанными мотивами, не имеющими связи с темой? Роман остался без конца и при “восьмой и последней” части. Идея целого не выработалась. [...] Лучше, кажется, было прервать роман на смерти героини, чем заключить его толками о добровольцах, которые ничем неповинны в событиях романа. Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель» (*Русский вестник*. 1877. № 7. С. 462). Действительная причина отказа была — именно в этих,

выраженных в «Анне Карениной», авторском скепсисе и даже сатире в отношении панславистских настроений 1860-х годов, и, в частности, в отношении движения добровольцев в пользу военной помощи славянам и готовящейся в связи с ним войне с Турцией.

Суждение Каткова о «приделанности» мотивов, о несовершенстве и дисгармоничности сюжетно-композиционного строения романа не было единичным среди читателей-современников (и патриотов!). «В лице Левина автор во многом выражает свои собственные суждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть ли не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью», — утверждал Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881), ярый сторонник добровольческого движения (*Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 194*).

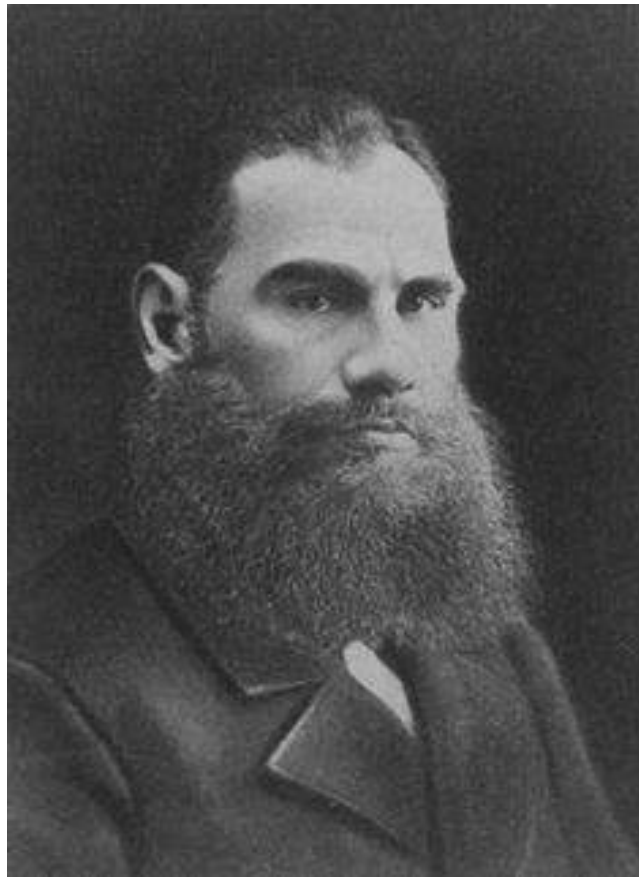
Однако сам Толстой насчёт структуры своего шедевра был обратного мнения. В ответ на упрёк благожелательно настроенного к писателю критика Сергея Александровича Рачинского (1833 – 1902) в коренном недостатке в построении всего романа из-за Восьмой части, в отличие от других глав производящей, по мнению критика, «впечатление охлаждающее», Толстой писал: «Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок... Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи... боюсь, что, пробежав роман, вы не заметили его внутреннего содержания... если вы уже хотите говорить о недостатке связи, то я не могу не сказать — верно вы её не там ищите, или мы иначе понимаем связь» (62, 377 – 378).

Ныне общепризнано, что архитектоника «Анны Карениной» не менее совершенна, чем в «Войне и мире» (*Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1963. С. 469*).

Часть Восьмая в отдельном издании 1878 г., а первоначально Эпилог — естественное завершение идейно-художественного строения. Не будь Эпилога, пропорции были бы нарушены. По мнению многих исследователей, Эпилог понадобился автору для того, чтобы выказать линию обрётшего Христову веру — не церковную, а живую — Левина, более оптимистичную, нежели линия Анны. «Самое главное, — пишет духовный единомышленник, многолетний друг и биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев, роман не мог закончиться описанием того, как навсегда потухла свеча, при свете которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла» книгу жизни. Так

закончить роман — значило бы внести в художественное произведение крайний пессимизм, не свойственный Толстому. Нужно было, чтобы другой герой романа начал читать другую книгу, где наряду с делами зла и обмана в людском мире были бы описаны также дела добра и правды» (*Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 364*).

Нам хотелось бы показать, как, в контексте самого романа антивоенная тема в нём так же выглядит вполне продуманной и обладает большой художественной убедительностью.



**Лев Толстой.**

Фото Конст. Шапиро. 1877 г.

Снова на земле совершается «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» — война. На этот раз сербско-турецкая война.

Речь идёт о национально-освободительном движении славянских народов Балканского полуострова против господства Османской империи (мусульманской Турции). События развивались в следующей хронологии. В 1875 г. (а это год начала публикации романа «Анна Каренина» в журнале «Русский вестник») произошло восстание



славян в Боснии и Герцеговине. Годом позже была сделана попытка восстания в Болгарии. В том же году войну Турции объявили Сербия и Черногория. В России сопротивление славян турецкому гнёту было поддержано Славянскими благотворительными комитетами, которые собирали пожертвования и организовывали отправку добровольцев в Сербию.

Герои романа «Анна Каренина» являются участниками этих событий. Организацию добровольческой кампании поддерживают представители высшего света графиня Лидия Ивановна и мадам Шталь. В составе добровольческой армии на Балканы отправляется Алексей Вронский и его друг Яшвин. «Место члена от комитета» получает Стива Облонский. Одним из идеологов добровольческого движения выступает Сергей Иванович Кознышев. Наконец, непосредственно перед завершением Эпилога и всего романа между ним и Константином Левиным при участии князя Щербацкого и профессора Катавасова разгорается спор о Славянских комитетах и добровольцах.

Вопреки позиции Каткова, такая тематика, выбивающаяся из общего «семейного» сюжета романа, неслучайна. Как известно, Толстой долго размышлял над последней частью «Анны Карениной», долго не мог взяться за перо, и именно Балканская война и размышления над «славянским вопросом» дали ему ключ к развязке всего романа (*Жданов В. Творческая история «Анны Карениной»: Материалы и наблюдения. М., 1957. С. 111*).

Восьмая часть «Анны Карениной» начинается страницами, посвящёнными Сергею Ивановичу Кознышеву и неудаче его долго писавшейся книги: «Сергей Иванович был умён, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени; но он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве; оставалось ещё много досуга и умственных сил.

На его счастье, в это самое тяжёлое для него по причине неудачи его книги время на смену вопросов иноверцев, Американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос, прежде только тлевший в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбuditелей этого вопроса, весь отдался ему.

В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чём другом не говорили и не писали, как о Славянском вопросе и Сербской войне. Всё то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — всё свидетельствовало о сочувствии к славянам» (19, 352).

Далее этот повествовательный мотив: изображение досужего человека, радостно бросающегося в «сербскую войну», чтобы чем-то себя занять, повторяется в восьмой части «Анны Карениной» не раз. И в эпизоде с Катавасовым и несколькими добровольцами, из которых один оказывается богатым молодым купцом, «промотавшим большое состояние», другой «человеком, попробовавшим всего», а третий уже немолодым «юнкером в отставке», не выдержавшим экзамен на артиллериста. И через сознание старичка-военного, жителя уездного городка, которому «хотелось рассказать, как из его города пошёл только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники» и который «по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев» не говорит того, что думает (Там же. С. 358).

Наконец, формирующееся христианское антивоенное настроение Толстого представлено и в образе Вронского, о котором сама его мать вначале простодушно, а затем, с православной кочки зрения, даже и вполне кощунственно — при этом (стоит подчеркнуть такую реалистическую деталь) нисколько *не сознавая* этой кощунственности — замечает: «— Да после его несчастья что ж ему было делать? [...] Это Бог нам помог — эта сербская война» (Там же. С. 359, 360). При этом, не замечая у себя во рту, мамаша, ругает безответную, покойную уже Анну, именуя её «гадкой женщиной без религии» (Там же. С. 360). Переживая за сына, мамка считает для него, исповедника (как и она сама), церковного лжехристианства православия, лучшим исходом, после гибели любовницы сына, участие его в массовом убийстве людей!

Как метко подмечено В. В. Ермиловым, в эпилоге трагизм переживаний Вронского иронически скомпрометирован его физическим состоянием. «В. Шкловский заметил, что Толстой даже не дал Вронскому красивого страдания после смерти Анны. [...] Одной из наиболее часто повторяемых деталей внешнего облика Вронского, — пи-

шет Ермилов, — является то, что он “открывает свои сплошные белые зубы” — знак его спокойствия, уверенности, гладкости, незыблемости, непроницаемости устоев его жизни. И вот в финале зубы разболелись...» (*Ермилов В.В. Толстой-романист. М., 1965. С. 378*).

Здесь же промелькивает подающий пожертвования и дающий обеды отъезжающим Стива Облонский, как раз назначенный в связи с Балканской войной членом какой-то комиссии с непомерно высоким жалованьем и неопределёнными обязанностями.

Одним словом, люди нашего лжехристианского мира остаются именно людьми, с детства порченными этим миром, и ведут их по жизни, в первую очередь, их собственные интересы, но, поддаваясь психическому заражению от пропагандистской машины, они забывают об этих реальных мотивах и облачают недотёп и бездельников «добровольцев» в мантии героев, жертвующих своей жизнью ради «славянских братьев».

Всему этому противопоставлена скептическая позиция старого князя Щербацкого и Левина, отказывающихся принять официально-патриотическую и славянофильскую позиции по этому вопросу.

Левин — герой автобиографичный, поэтому его мнение можно считать выражением, в основном, взглядов самого Л. Н. Толстого.

В отличие от Сергея Ивановича Кознышева, Константин Левин не одобряет действия Славянских комитетов и добровольцев, потому что считает их провоцированием войны с Турцией. А убийство и война, предпринимаемые даже в случаях защиты и освобождения от гнёта, по мнению героя, не могут привести к «общему благу». Это знание Левин описывает как общее для всех людей знание о добре и зле. «Он видел, что брата убедить нельзя, и ещё менее видел возможности самому согласиться с ним, — пишет автор. — [...] Он не мог согласиться, главное, потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чём состоит общее благо, но твёрдо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедывать для каких бы то ни было общих целей» (19, 392).

Природу этого знания помогает понять анализ духовного состояния Левина, описание которого предваряет обсуждение героями Славянского вопроса и Сербской войны.

К концу романа (как и автор ко времени его завершения), Константин Левин достиг всего, о чём мечтал: у него есть любимая жена, ребёнок, имение и большое хозяйство. Однако в душе своей герой не находит покоя — он мучается тем, что не понимает смысла жизни. В поисках выхода из душевного кризиса Левин обращается, прежде всего, к научному знанию, но понимает, что «путём мысли» невозможно ответить на вопросы о том, «откуда, для чего, зачем и что такое» человеческая жизнь (*Там же. С. 367*).

Из состояния мучительных поисков и отчаяния Левина вывели слова мужика подавальщика (снопов, на молотье зерна) Фёдора о том, что надо «не драть шкуру с человека», не жить «для брюха», как другой мужик, Кириллов, а надо жить «для Бога», «для души», «по правде, по Божью», как мужик Платон, как и сам Левин. «Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека», — говорит Фёдор. При этих словах мужика «неясные, но значительные мысли толпою [...] закружились в его голове, ослепляя его своим светом» (*Там же. С. 376*).

Левина удивило то, что «бессмысленные слова» мужика («Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога?» — спрашивает Левин сам себя) он «понял», и совершенно так, как он (мужик) их понимает, а поняв, «не усомнился в них» (*Там же. С. 377*). Это наблюдение привело его к заключению о том, что человек имеет в своей душе (в своём сердце) знание о смысле жизни, которое ему «дано» свыше, от Бога и благодаря которому он может жить, что религия лишь фиксирует это знание в определённых символах и понятиях.

«Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, — она несоизмерима с вопросом, — рассуждает Левин. — Ответ мне дала сама жизнь, в моём знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрёл ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его.

Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошёл я до того, что надо любить ближнего и не душировать его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе [...] Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верю в то главное, что исповедует церковь» (*Там же. С. 379, 381*).

Попытки человека с помощью собственного разума оправдать ту обыкновенную жизнь, с «борьбой за существование» и душением других, Левин называет «гордостью ума» или «мошеничеством ума»,

«плутовством», отмечая, что человеческий разум подстраивает ответы, совершенно противоположные тому знанию, которое человек имеет в своей душе. «Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы души всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума, — говорит Левин. — А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно» (*Там же. С. 422*).

Таким образом, уверенность Левина в том, что убийство, а значит и война, не могут привести к «благу», описывается в романе как знание, которое дано от Бога и существует в душе каждого человека. Логическим следствием этой уверенности является убеждение в том, что Христос не мог допускать убийство и войну.

Исследователи не раз, и справедливо, отмечали, что в приверженности Левина добру и в его отказе от оправдания военного похода и убийств даже во имя «спасения» кого-то уже ощущается предвестие «не противьтесь злему» — святой христианской проповеди Льва Николаевича (*Кириченко О. Славянский вопрос в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» // Русская филология. 18. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту, 2007. С.58*). Фёдор Михайлович Достоевский, Константин Николаевич Леонтьев, Михаил Степанович Громека и некоторые другие критики-современники так же безошибочно связали настроения Константина Левина с авторскими.

В то же время, как и сам автор в период написания «Анны Карениной», Левин не отрицает учения «своей» церкви, в котором вырос.

"Церковь? Церковь!" — повторил себе Левин. "Но могу ли я верить во всё, что исповедует церковь? — думал он, испытывая себя и придумывая всё то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. — Творение? А я чем же объяснял существование? Существованием? Ничем? — Дьявол и грех? — А чем я объясняю зло?.. Искупитель?..

Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми.

И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное, — веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека.

Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное,

постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков — со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим» (Там же. С. 381).

Левин смешивает единение в Истине и любви людей — с земным единением в исповедании догматического закона «своей» церкви. И дело даже не в очевидном самообмане: подставлении «под учение» своих возбуждённых фантазий. «Верование в служение», в своём эмоциональном подъёме, Левину подставить под учение легко. Но как быть с образом жизни общественных «элит» — наживающихся, властвующих, воюющих?.. Ведь понятно, что речь не об уступании греховной слабости личности, продолжающей веровать, а — о преднамеренном и системном устроении целыми поколениями влиятельных людей общества всей общественной жизни — как будто назло Христу!

Именно такой консенсус с православной верой — но уже со своеобразными личными «коррективами» — характеризует религиозное сознание Льва Николаевича второй половины – конца 1870-х годов.

И как быть с такими же горячими поклонниками иных верований?.. Это стало и для автора «Анны Карениной» проблемным вопросом на годы — разрешённым посредством утверждения «равной основы» всех вер в их ответствии на главные вопросы жизни человека: «как жить?», «что я должен делать?».

Но для Левина и для Толстого “образца” 1876 – 1877 гг. такое сопряжение основ пока — «знание, непостижимое разумом» (Там же. С. 398).

Лёжа на спине — но не на поле боя, как князь Андрей, а в лесной тени, и не раненый, а приятно возбуждённый — Левин тоже взирает на небо — «высокое, безоблачное». Небесный свод, про который память Левина знает, что он, на самом деле — «бесконечное пространство» (Там же. С. 381 – 382). Но ни память и рассудок, ни взбудораженные чувства не дают Константину Левину того пробуждения к новому пониманию жизни и к самой жизни духа и разума, которого коснулся мысленной дланью истекающий кровью, страдающий на Аустерлицком поле князь Андрей Болконский.

И вот итоговое различие: скептик князь Андрей, насмешник над верою сестры — как будто подтолкнут был Свыше к совершенству в

этом скепсисе и — к «устам младенца» Пьера Безухова, подвигшим в беседе друга к диалектически высшему состоянию, к первому, робкому пробуждению Птицы Небесной. Оставшейся ею даже в суете мирской.

А Константин Левин, напротив, движется от прежней прочной «веры отцов» — к тем колебаниям и самообманам, которые суждено было, уже по окончании работы над романом, пережить и Льву Николаевичу. Суета разговоров, споров и чувственность домашних, семейных уз — отвлекают и засучивают его. Небо смеётся над автобиографическим персонажем Толстого, возжелавшим (из-за неопытности в жизни духа “обыкновенного” адепта церковного учения), «чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью» (*Там же. С. 383*). В тот же день — тоже автобиографический эпизод! — разразилась гроза, и Левин не на шутку перепугался за жену и ребёнка. Слишком тесны и многочисленны уже путы, связывающие, именно посредством той же чувственности, с миром и мирским — не порвать! Сам того не зная, автор «Анны Карениной» характеризует собственную, предстоящую ему, драму семейной жизни.

Но вот в гости являются сводный (старший) брат и приятель, Сергей Иванович Кознышев с Фёдором Васильевичем Катавасовым.

«Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией; и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним.

И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его.

“Нет, уж спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду”, подумал он» (*Там же*). И тут же нарушил зарок!

А брат Левина — сразу почувствовал перемену в настроениях и в сознании Константина, причём по поводу самого, на тот момент, драгоценного Сергею Ивановичу:

«...Глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нём желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать.

Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о Сербской войне и Славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича.

— Ну что, были рецензии о твоей книге? — спросил он.

Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса.

— Никто не занят этим, и я менее других, — сказал он. — Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик, — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушами осин белые тучки.

И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями» (*Там же. С. 384*).

Оно дало себя знать в последовавшем разговоре — и яростном споре — в пчельнике, который выявил, что Константин Левин (а значит, и Толстой в ту пору) не полностью отрицает и необходимость участия России в назревавшей войне. Спор в пчельнике происходит ещё до манифеста Александра II об объявлении войны, когда инициатива помощи и участия в войне против турок исходила от частных лиц. Старый князь Щербацкий иронизирует лишь по поводу отдельных резонёров, взывающих к войне: «Да кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?». А Левин не выдвигает ни христианской, ни даже светско-пацифистской позиции, однако настаивает на возможности участия «в таком жестоком, ужасном деле» отдельного человека и тем более христианина лишь при том условии, если ответственность начать войну берёт на себя «правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно», а «граждане отрекаются от своей личной воли» (*19, 387*).

От подобной позиции, скорее, головокружительно, одуряюще благоухает ещё громадой «Войны и мира» с её историософией деятельных масс и «царя — раба истории», нежели тонко пахнет антивоенной прозой «постисповедального» Толстого-христианина.

Отъезд на войну Вронского вызывает сочувствие со стороны нескольких героев... не исключая и Левина! Правда, и здесь не обошлось без сатирического намёка, когда о Вронском, едущем в Сербию с эскадромом, собранным им за свой счёт, Левин замечает кратко и насмешливо: «Это ему идёт» (*19, 386*). Авторское отношение в связи с этим к Левину ощутимо сочувственно.

Ясно, что Вронский, как и многие другие, едет на войну просто потому, что это лучшее, что он может сделать после гибели Анны. Он и сам не пытается представить свои мотивы как-то иначе, прямо объясняя свой отъезд в Сербию отчаянием («Я рад тому, что есть за что



отдать мою жизнь, которая мне не то, что не нужна, но постыла» — 19, 361).

На фоне фразёра Кознышева Вронский, с грустной иронией отказывающийся от рекомендательного письма к лидерам сербской армии, явно обрисован в более выгодном свете: «Нет, благодарю вас; для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к туркам... — сказал он, улыбнувшись одним ртом» (19, 361). Глядя на рельсы, невольно напомнившие ему об ужасной смерти Анны, Вронский не может сдержать рыданий. Хотя то, что он погибнет в Сербии, вовсе не факт. Важнее то, что он уже мёртв для живой жизни, для счастья, и движется отнюдь не по уникальной, а по натоптанной многими до него дорожке.

Бескрылая ничтожность...

Но гарантированно лишили его крыл, самой возможности пробуждения ко Христу, к Истине — не покойная Анна, а такие болтуны «за войну», как Кознышев. Ходячие мирские лукавство и ложь. Возвратимся к диалогу заклятых друзей, начиная с той же реплики отца Кити, старого князя Александра Дмитриевича:

«— Да кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?»

— Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, — сказал Сергей Иванович» (Там же. С. 387).

Первая огромная, «концептуальная» ложь таких, как Кознышев. Ближние, по христианскому учению — это, во-первых, повседневные спутники, твоя община, во-вторых — прочая Церковь, единоверные других общин, в-третьих же — те, с кем свела судьба, на кого могут быть распространены поступки и чувства личные, непосредственные. Те иноверные, то есть заблуждающиеся, кому может понадобиться духовная или иная помощь — не связанная для христианина с нарушением запрета на убийство. Но в возражениях Константина Левина звучит (быть может, актуальная и для «тогдашнего» Льва Толстого) оговорка:

«— Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступаясь за тестя, — а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства» (Там же).

Не до Бога князю Щербацкому — как, впрочем, и Левину, ещё движущемуся (как и сам автор романа) к новому, христианскому пониманию жизни. Главное, чтоб «разрешил» убивать очередной фюрербатюшка. (То есть, царь, конечно.) Да правительство б утвердило...

Но Левин недаром Левин и недаром Константин. Автор наградил его значительнейшим своим качеством: постоянства в стремлении к добру и Истине. Тяжелыше всего на этом пути — с мирскими «попутчиками», не исключая т. н. «близких», иногда словно стремящихся сделаться ходячими, воплощёнными антонимами к «ближним».

Среди летающих пчёл в это время обнаруживается на пчельнике оса — дрянь дрянная, архизловредная и для человека, а для пчёл могущая быть смертельной. Символ *бесплодности* всяких споров с Кознышевым и одновременно *чужести, враждебности* «единоутробного» брата, сидящего рядом с трудовой, солнечной, Львиной, росяной, земляной и янтарной пчёлкой Константином Левиным, гармоничным и постоянным, хотя ещё и тёмным о Христе, лишь начавшим пробуждение в себе Птицы. Тот готов уже, в отместку за напоминание о провальной его книге, болезненно «укусить» брата:

«— Ну-с, ну-с, какая ваша теория? — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор. — Почему частные люди не имеют права?

— Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли» (*Там же*).

Удивительный диалог!.. Как и вся книга, впрочем — наслаждение для поклонников экзистенциалистских кризисов, переходных состояний сознания человека. Левин в этом диалоге ещё, по привычке, «поёт с чужого голоса» — повторяет взгляды отца Кити, старого князя Щербацкого, противника войны отчасти с либеральных, но более с житейских позиций. При этом, как мы видели, именно *в тот день, накануне разговора* в сознании Левина происходит духовный, религиозный «подъём с переворотом» — хотя и не такой радикальный, как позднее (8-я часть писалась в 1877 г.) в Л. Н. Толстом.

*Ещё, пока ещё* не до Бога Константину Левину: обретенное им только-только духовное открытие не усвоено, не укоренено в сознании... Вышеприведенное его суждение — конечно же, не христианина суждение, а, скорее, «гуманного» безбожника, человека мира, начитавшегося модных в его эпоху книжек. Что-то типа современного нам, в 2020-х, писателя Павла Басинского, «выдавшего» недавно, на рубеже десятилетий, свою книжку о романе Толстого... Левин — под чужим, и довольно распространённым, влиянием. Оттого на доводы его легко, дружно, даже не раздумывая находят возражения и Катавасов, и Кознышев:

«Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.

— В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое» (*Там же*).

Патриотичному пропагандону войны, Кознышеву, конечно же, не понравилась такая, откровенно «либеральная» реплика Катавасова, разящая не одними только просвещенчеством и оправданием революции... Для означенного в романе момента была весомая причина отвращения Кознышева к реплике легкомысленного Катавасова: любой пропагандон знает, что людей легче обмануть высокопарными словесами, нежели напрямую назвать им страшную цену войны: моральную, общественную, экономическую, политическую, генетическую... Мало кто в путинской России 2022 года поддержал бы «специальную операцию», то есть, гнусную, преступную войну в Украине — знай эта несчастная страна злых дураков, не говоря о прочем, хотя бы лишь моральную цену массового активного поддержания в XXI веке *любой* агрессивной, полномасштабной войны. «Воля граждан», кроме мазохистов и самоубийц — *избежать* уплаты такой цены! Смысл правительств — *беречь* граждан от её уплаты. В русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг. Россию, государство, ждал триумф, барабаны и фанфары которого заглушили тихий ропот тысячей жертв. (А позднее, в «победном» 1945 году, гнусный наследник Империи, коммунистический Совок-СССР, заглушил так же голоса миллионов!).

Так что, воля всякого *здорового* общества — априори антивоенна. Да, для этого могут быть, как у протестующих в теперешней, 2023

года, России, так и в годы писания «Анны Карениной», отнюдь не уважительные мотивы, «шкурные»: по преимуществу — трусливый страх, семейный эгоизм, фантазии о значительности в мирной жизни своей личности и иные псевдо-основания для выраженного нежелания попасть на войну; либо же, ещё проще и хуже: безрелигиозные, беспочвенные пацифизм и гуманизм. Но и они страшны халтурному правительству — как правило, ещё глупейшему и грубейшему, нежели такие протестующие!

Так что Катавасов, сам того не осознавая, на довольно либеральные выкладки Константина Левина, не одобряющего, кажется, только «низовой», общественной, инициативы в подготовке к войне — брякнул вдруг едва ли не самое радикально-антивоенное, что только могло прозвучать в тогдашней России. Константин Левин не прислушался к словам приятеля — именно потому, что *не созрел* для понимания их очевидных смыслов.

Вот же что возразил брату Сергей Иванович Кознышев:

«— Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шёл по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребёнка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него защитил бы обижаемого.

— Но не убил бы, — сказал Левин.

— Нет, ты бы убил.

— Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперёд сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.

— Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, — недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. — В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услышал о страданиях своих братьев и заговорил.

— Может быть, — уклончиво сказал Левин, — но я не вижу; я сам народ, я и не чувствую этого» (*Там же. С. 387 – 388*).

Кознышев нахмурился и, видимо, сбился с мысли — ибо «понёс» далее поносом обыкновенных пропагандистских клише. И не случайно сбился: умница Левин сумел дать отпор «аргументу» в пользу войны,

рассчитанному на невежество и глупость собеседника — но так часто, и по сей день, «срабатывающего» в пользу распространителей заразы военного патриотизма! Одноутробный братец Левина намеренно смешивает *различные системные состояния* в общественных отношениях. В системе «личность — личность» степень необходимой организации насильственного отпора неустранима: речь о *первичной* защите, иногда витально необходимой. Можно лишь уменьшать, в каждом поколении, такое зло. Как меры пожарной защиты должны блюстись до пожара, так и по отношению к таким людям должно до их агрессивного акта «работать» христианское воспитание, которого нет. И речь не только о подчинении страстей самовоспитанию. С этим не рождаются, но христианин может научить себя *заботиться более о душе нападающего, нежели о жертве*, будь таковой ты сам, другой член твоей стаи, даже твои самка и детёныши... Это залог того, что человек, защищая от греха, от дурного поступка именно того, кто совершает оный, агрессора, насильника, не расторгнет убийством соединённые Богом тело и душу. И не отторгнет себя от Бога — предпочтением закона насилия, животного, человеческому закону любви. Между применением силы и деструктивным насилием никогда не стоял знак равенства!

Иное дело — масштабы и объёмы системной организации войны. Даже малая война имеет свой период подготовки, так что, как и заметил верно Левин, о «непосредственных чувствах» в случае войн разговор не ведётся. За таковые обыкновенно выдаются воспроизводимые пропагандой в обитателях государства деструктивные помыслы и эмоции в отношении «врага». Самые масштаб и системная организация войн подразумевают всегдашнюю возможность остановиться, не доводить до них дело. Соединение людей в христианском религиозном отношении к жизни открывает путь к миру.

В анализируемом нами диалоге ещё много от прежнего Толстого — и гуманизм, жаление погибающих на войне, и либеральное *народничество*, приобретшее в это время для писателя «окрашенность» симпатий к «народной вере», то есть к православию.

С этих позиций, *крестьянского* народа, чуждого патриотической шумихе и не желающего для себя *никакой* войны (т. к. на любой войне народ — это военные рабы, солдаты) и строит свои возражения Кознышеву Константин Левин. Своё же отношение к войне с точки зрения *только что*, в *тот день*, открывшейся ему в новом

свете этики христианства он *ещё не успел* просто выработать! Кознышев же возражает Левину — с позиций анти-, или *лженарода*: населения городского, в 1870-е гг. — малого, но уже и самого развратного, меньшинства. Беда только, что опыт Константина Левина, хотя и живущего к этому моменту «среди народа» (однако, стоит подчеркнуть: барином в усадьбе!), назади, в прожитом его — тот же, преимущественно, городской и барский разврат. От имени народа ему высказываться сложно, религиозного же, христианского фундамента для более подготовленного антивоенного дискурса — ещё не выработано ни персонажем, ни автором романа!

И Кознышев, чуя “донце” в аргументации собеседника, продолжает всё наглее нести своё:

«— Личные мнения тут ничего не значат, — сказал Сергей Иваныч, — нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, — сказал князь <Щербацкий>.

[...] — Народ не может не знать: сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника.

Красивый старик с чёрной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с мёдом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать. [...]

— ...Мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают всё, чтобы послужить правому делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем.

[...] Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубеждённого человека; взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несёт в одном направлении» (*Там же. С. 388 – 390*).

Вот именно, что *«несёт»*... Толстой — мастер иронии, и здесь он на высоте. «Мир интеллигенции», «люди мысли» и газетного слова «выражают общественное мнение», и «заслуга прессы», в частности, в том, вещает Кознышев, что «русский народ», в лице такой же городской сволочи, как сами Кознышев и Катавасов, «готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетённых братьев» (*Там же. С. 391*).

Князь Щербацкий, которому не отказать было в остроумии, сравнил военно-патриотическое «единодушие», управляемое пропагандонами и прессой, с кваканьем лягушек перед грозой: «Из-за них и не слышать ничего» (*Там же. С. 390*). То есть: *заквакивают* всякую более разумную, сдержанную позицию. И, очень кстати, вспоминает Александр Дмитриевич то, с чем, по внутренней мотивации деятельности, можно сравнить такое предвоенное единомыслие в среде журналюжьи и интеллигентской городской нечисти и дряни:

«Вот у меня зятёк, Степан Аркадьич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и ещё что-то, я не помню. Только делать там нечего — что ж, Долли, это не секрет! — а 8000 жалованья. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба, — он вам докажет, что самая нужная. И он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч. [...] Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян... и всё это?» (*Там же*).

Эрудированный читатель тут же вспомнит, где у «позднего», христианского Толстого мы найдём схожие суждения: в статье 1894 г. «Христианство и патриотизм», описывая *психопатическую эпидемию* патриотизма в связи с франко-русским военным союзом и апрельскими торжествами в Санкт-Петербурге и Тулоне, Толстой выражает уверенность, что этот мирный, якобы, союз — предвестие новой и страшной войны, при которой, по обыкновению:

«Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей

различные высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды...» и т. д. (39, 47).

Более того, хохма старого князя о Стиве Облонском, которому «нельзя не верить в пользу восьми тысяч», быть может, приведёт на память читателю ещё более позднее публицистическое сочинение Толстого, «О государстве», датированное аж 26-м февраля 1909 г. Сравним:

«В первый раз ясно понял, что такое государство. А как, кажется, просто и легко было бы понять это.

Не боясь быть смешным, признаюсь о том поводе, который раскрыл мне всё дело. Я возвращался нынче утром с прогулки, меня догнал едущий на санях живущий у нас стражник. Я устал, присел к нему, и мы разговорились. Я спросил, зачем он служит в своей гадкой должности. Он очень просто сказал мне, что чувствует и знает, что должность скверная, да где же он получит те 35 рублей в месяц: которые он получает.

И вдруг мне все стало ясно. Ведь всё в этом. Всё это великое устройство государства основано только на том, что стражник получает 35 рублей, тогда как не будь он стражником, цена ему 8.

[...] Люди вооружённые, грубые, жестокие, грабят трудолюбивых, безобидных оседлых людей. Иногда грабят набегами — ограбят и уйдут, — иногда поселяются среди трудящихся и устраивают постоянный грабёж, т. е. отнимают часть их труда и пользуются им, ограждая себя оружием. Для более широкого распространения своего грабежа и упрочения его они угрозами, а главное подкупом, а то и тем и другим вместе, из ограбляемых подбирают себе помощников в ограблении.

На этом, только на одном этом основано все государственное устройство, различные отечества, включающие в себя народы одной или разных пород; на этом основаны всевозможные государственные учреждения: разные сенаты, советы, парламенты, императоры, короли.

[...] Ведь всё, что делается в этом признаваемом столь возвышенным и торжественном учреждении, называемом государством, всё это делается только во имя тех мотивов, во имя которых служит стражник, и ведь все эти цари, министры, архиереи, генералы делают то же самое, что делает стражник. Разница только в том, и в пользу стражника, та, что стражник, лишившись своей должности,



всё-таки заработает хотя бы 8 рублей в месяц, цари же, митрополиты, сенаторы, выйдя из своих должностей, не сумеют заработать даже на хлеб. Другая разница и огромная и тоже в пользу стражника та, что он, бедняга, наивно говорил мне, что знает, что, служа в этой должности, поступает дурно, но что же делать... Министры же и разные генералы, митрополиты, поступая дурно, только и делая, что дурное, стараются уверить себя, что они поступают не только не дурно, но совершают великие дела» (38, 291 – 292).

Восемь рублей стражника или восемь тысяч Стивы... Всё одно: путь добровольных паразитов к соучастию в ограблении чужого труда — того, что с первобытной древности составляло истинное, шкурное («материальное») основание для войн. Пассивность участия и завуалированность грабежа ничего решительно не меняют для участников его и в нашем, 2023-м году. Весьма часто, что особенно смешно, заявляющих о своих антивоенных воззрениях, пацифизме и под.

Сравнив, воротимся теперь к ответам Кознышеву Левина и князя. Князь явно выразил позицию автора романа, дополнив своё сравнение патриотичных агитаторов с паразитами и лягушками:

«— Я только бы одно условие поставил, — продолжал князь. — Alphonse Carré прекрасно это писал перед войной с Пруссией. “Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну, — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!”

— Хороши будут редакторы, — громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе.

— Да что ж, они убегут, — сказала Долли, — только помешают.

— А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетью поставить, — сказал князь» (19, 391).

Константин Левин сделал ошибку, решив встать на свои, ещё сонные, неокрепшие ещё духовные крылья, перевести разговор в русло животрепещущих, актуальных для него, но ещё не обдуманых прозрений:

«— Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин. — Народ жертвует и готов жертвовать для своей души, а не для убийства, — прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали.

— Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? — улыбаясь сказал Катавасов.

— Ах, вы знаете!

— Вот, ей Богу, ни малейшего понятия не имею! — с громким смехом сказал Катавасов.

— “Я не мир, а меч принёс”, говорит Христос, — с своей стороны возразил Сергей Иваныч, просто, как будто самую понятную вещь приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина.

[...] — Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем разбиты! — весело прокричал Катавасов.

Левин покраснел от досады, не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить.

“Нет, мне нельзя спорить с ними, — подумал он, — на них непроницаемая броня, а я голый”.

Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и ещё менее видел возможности самому согласиться с ними. То, что они проповедывали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его» (*Там же. С. 391 – 392*).

Буквально через несколько лет у Льва Николаевича, чьими устами говорит в этих главах романа Константин Левин, исследовавшего евангелия и даже составившего «соединение и перевод» канонических евангелий, *будет* ответ и о мече, и о жизни, которую, якобы на войне, требуется христианину отдать за други своя... Но это уже совсем другая история.

\* \* \* \* \*

Вообще у этих настроений, выразившихся в романе — немалая и значительная для нашей темы предыстория, а равно и послестория — во внешней биографии Толстого. Значительна она тем, что ко времени, последовавшем сразу за окончанием (в основном) работы над романом, именно весной 1877 г., относится и первая, неудачная как «первый блин», попытка Льва Николаевича выразить свои лишь формирующиеся новые общественно-значимые воззрения в *публицистическом* сочинении.

Толстой не был аполитичным никогда. Избрав в «Войне и мире» «тёмное царство» военщины в качестве одной из главных мишеней обличения, писатель отнюдь не ошибся в социальной значимости обличаемого зла. Начавшаяся в 1870 году франко-прусская война не только глубоко вскрыла роль и место милитаризма в политико-экономической жизни Европы, но и одновременно чрезвычайно усилила позиции милитаристов.

Для многих современников Толстого франко-прусская война явилась неожиданностью. Однако для тех людей, которые стояли во главе сил, готовивших войну и вызвавших её, военное столкновение между державами-соседями было вполне запрограммированным актом. Один из главных вдохновителей и организаторов этого конфликта, выдающийся германский политик, дипломат, общественный деятель, первый и величайший рейхсканцлер Германской империи, великолепный *Отто фон Бисмарк* (нем. Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen, Herzog zu Lauenburg; 1815 – 1898) писал позднее в своих воспоминаниях: «Войну, если бы она казалась нам вообще желательной и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент» (*Бисмарк, Отто фон. Мысли и воспоминания: В 3-х тт. М., 1940. С. 54*). Эти слова не были лишь хвастливой бравадой бывшего бранденбургского юнкера, ставшего с 1862 года у кормила государственной власти Германии и имевшего привычку откровенно высказывать то, что тщательно умалчивалось другими политиками и дипломатами. С полным правом Бисмарк мог заявить на изломе своей политической карьеры, в 1877 году (как раз тогда, когда в России расцвело панславистское движение, имевшее выраженную антигерманскую направленность), что на его совести лежат три войны (с Данией в 1864 году, с Австрией в 1866 году и с Францией в 1870 – 1871 годах), и десятки тысяч жизней, скрепивших своею кровью фундамент воссоединённой Германской империи. Сделал он, правда, это с редким для его склада характера покаянием:

«Известна сцена, разыгравшаяся в 1877 году в имении Бисмарка Варцине, куда он заехал провести несколько дней после лечения в Гаштейне. Туда же съехались его друзья и приверженцы, которым он любил повествовать о событиях, в которых ему довелось принимать участие. И вот, однажды утром эти друзья собрались в зале вокруг камина, на котором на золотом поле был изображён герб новой,

созданной Бисмарком империи, и, по обыкновению, ожидали хозяина. Он явился хмурый, унылый и, видя общее недоумение, плаксиво сказал:

— Сегодня у меня тяжело на душе. За всю свою долгую жизнь я никого не сделал счастливым, напротив, я причинил людям много зла. Я явился виновником трёх больших войн. Из-за меня погибли более восьмидесяти тысяч человек, которых и теперь ещё продолжают оплакивать их матери, сёстры, вдовы. Всё это никогда не доставляло мне радости, и сегодня моя душа смущена и огорчена» (*Последние дни Бисмарка // Исторический вестник. – 1916. – № 2 [Т. 143]. – С. 597*).

Великое дитя Пруссии, человек мира, так же, как и великий Наполеон, вознёсшийся от простого солдата до вершин земной власти, Бисмарк против решительного и самоуверенного коронованного противника с Сены действовал не менее решительно и дерзко, и сумел не только с помощью фальсификации известной эмской депеши спровоцировать Наполеона III на объявление 19 июля 1870 г. войны Пруссии, но и выставить в глазах европейской общественности германскую сторону в качестве жертвы агрессивных устремлений наполеоновской Франции.

Ещё большей неожиданностью, нежели сама война, для большинства современников (кроме блистательного Бисмарка и приближённой к нему военной верхушки) явились быстрый, по сути дела, молниеносный разгром и капитуляция всей французской армии во главе с самим её главнокомандующим. После того как были разгромлены военные силы Франции, в январе 1871 года в Версальском дворце, в парадном зале Людовика XIV, по настоянию самого Бисмарка, на глазах у поверженного противника король Пруссии был триумфально провозглашён германским императором. Месяц спустя был подписан прелиминарный мирный договор, предусматривавший аннексию Германией французских провинций — Эльзаса и Лотарингии, уплату ей контрибуции в размере 5 миллиардов марок, а также оккупацию немецкими войсками некоторых французских департаментов.

Толстой с пристальным вниманием следил за франко-прусской войной. Сохранившиеся среди дневниковых записей, в воспоминаниях современников, в художественных произведениях его отзывы об этой войне свидетельствуют о том, что писатель глубоко заинтересо-

вался как ходом войны, так и её последствиями, в частности Парижской коммуной, её характером и целями. О чём, между прочим, свидетельствует спор между Константином Левиным и Катавасовым в эпилоге «Анны Карениной»):

«Ему <Левину. – Р. А.> хотелось ещё сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?» (19, 392).

Интересовался писатель также историческими личностями, явившимися, согласно своеобразной толстовской терминологии, «ярлыками», «наименованиями» самого события — войны: Наполеоном III, германскими императорами Вильгельмом I, Вильгельмом II и особенно Бисмарком.

С самого начала войны симпатии Толстого были на стороне французского народа. Как свидетельствует сын писателя Илья Львович, Толстой «был на стороне французов и верил, что они победят» (*Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 36*). Другой сын писателя, Сергей Львович, вспоминал в своих «Очерках былого»: «Помню, как в 1871 году мы рассматривали иллюстрации, изображавшие расстрел французов немцами, и как отец и все мы сочувствовали французам» (*Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1968. С. 25*).

Где-то в эти дни, запомнившиеся старшим сыновьям Толстого, состоялся и спор его с давним приятелем, орловским помещиком и убеждённым сторонником Бисмарка и пруссаков, Иваном Петровичем Борисовым (1832 – 1871), родственником (мужем сестры) друга семьи Толстых, великого поэта Аф. Аф. Фета и прообразом капитана Тушина в «Войне и мире». Ему полушутливо писал Тургенев в письме от 12 (24) августа 1870 года:

«Вы могли бы уже теперь истребовать с Л. Н. Толстого выигранную Вами бутылку, любезнейший Иван Петрович, — ибо последние удары, нанесённые пруссаками, в сущности, кажется, уже решили дело... Я очень хорошо понимаю, почему Толстой держит сторону французов, — французская фраза ему противна — но он ещё больше ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом — немцев» (*Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Письма. Т. 18. М. – Л., 1964. С. 270*).

Примечательно, что «прусский милитарист» в 1870 году Борисов, почти десятилетием ранее, в 1861 году, оказал себя настоящим «пацифистом», в исконном значении этого слова: он отказался передать

ошибочно попавшее к нему письмо И. С. Тургенева с вызовом Толстого на дуэль и помог формальному примирению нелепо поссорившихся писателей.

Иван Сергеевич, продолжавший в эти годы быть в ссоре с Толстым, конечно же, отчасти лукавил: не от одной ненависти к немцам Толстой желал победы прогрессивной Франции, детищу великой Революции и великого Наполеона!

Оккупационный режим, установленный немцами на занятой территории, был действительно жестоким. В черновом отрывке из «Анны Карениной» Толстой устами своего героя Николая Левина, брата Константина, насмешливо отозвался о контрибуции, которую правительство Франции оказалось обязанным выплатить победителям, как о всегдашнем «законе», который «руководит всем миром и всеми людьми, пока будут люди»: «Ограбить одного нельзя <т. е. преступно, запрещено. — Р. А.>, а целый народ, как немцы французов, можно» (20, 171). Ещё более противны были писателю шовинистические самодовольство и самовозвеличение немцев: «Все они довольны, — иронически говорит старый князь Щербацкий в «Анне Карениной», наблюдая послевоенную Германию, — как медные гроши; всех победили» (18, 246).

«Доволен, как медный грош» — одна из любимых пословиц Льва Николаевича, с заметной коннотацией насмешки и осуждения.

«Немцы победили так же, как потеряли от войны, — говорил Толстой позднее, в 1886 году, — они стали самодовольны, нахальны. Впечатление от войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией, — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало» (Из бесед Толстого с Полем Деруледом // Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 538).

Толстой не только сочувствовал французам, но и верил в их победу — именно как автор эпопеи об изгнании из России французской армии. Нечто подобное встретили немецкие оккупанты на завоёванной французской земле в 1870 году после того, как ими были разбиты основные силы регулярной армии противника. Известно, что после краха наполеоновского режима во Франции пришло к власти правительство Тьера. Бисмарк и немецкий генералитет, вступив в переговоры с Тьером, неожиданно увидели перед собой нового противника. Ими были сперва франтиреры, французские партизаны, которых в Париже поддержали коммунары 1871 года. Заключённый 10 мая 1871 года во Франкфурте-на-Майне между правительствами

Германии и Франции мирный договор — позорный, грешный пакт на крови коммунаров — конечно же, не принёс и не мог принести «спокойствия и тишины» Европе.

Толстой запомнил подробности раскрутки в эти годы в Европе военно-милитаристского маховика, и именно события 1870 – 1871 гг. имел в виду, когда позднее, в начале 1880-х, в трактате «В чём моя вера?» осуждал происходящее от безверия желание народов «обеспечить» себя гонкой вооружений: «...Мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. [...] Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь...» (23, 426).

Франко-прусская война ускорила реорганизацию и техническое перевооружение, которые начали производиться в армиях большинства европейских государств, в том числе и России, ещё со времени Крымской кампании. К середине 70-х годов коренные военные преобразования в ряде государств были в основном завершены. В 1872 году, по примеру Германии, всеобщая воинская повинность была введена во Франции. 1 января 1874 года был издан Устав о воинской повинности в России, создававший условия для превращения русских вооружённых сил в массовую армию буржуазного типа.

Толстой не остался безучастным к готовившейся и обсуждавшейся в печати реорганизации русской армии. Весной 1871 года в письме к бывшему севастопольскому сослуживцу Сергею Семёновичу Урусову (1827 – 1897) писатель сообщал, что он написал целую статью о военной реформе. «Вопрос военной реформы, — писал Толстой, — суть которого есть вопрос о том, каким образом с наименьшими расходами иметь наисильнейшее войско, разрешается просто и совершенно противоположно Прусскому решению... надо только ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неизвестного» (61, 254).

Толстой полагает, что незачем всё мужское население обязывать идти в солдаты, ибо простое увеличение количества войска не может означать прямо пропорционального увеличения его боеспособности.

В своей статье, которую писатель называет *отчасти математической* (как и С. С. Урусов, Толстой имел способности и любовь к математике), он высказывает предположение, что сила войска «не увеличивается и не уменьшается просто по времени, которое люди проводят в военном упражнении, а увеличивается и уменьшается в какой-то прогрессии» (61, 253).

Судя по содержанию письма, Толстого не удовлетворили ни собственные предположения, ни сама готовящаяся реформа. Он пишет, что статью разорвал и что ему совестно стало заниматься такими глупостями. Однако уничтожение статьи не устранило в Толстом интереса к проблеме воинской повинности. В последующие годы к этому вопросу он будет возвращаться неоднократно. Можно сделать вывод, что война в 1870-е годы интересуется Толстого уже не только как художника, но и как мыслителя и публициста.

Итак, доминирующая в романе «мысль семейная» отнюдь не устранила «мысль военную». Более того, в общей идейно-художественной структуре произведения изображению военного быта, образам представителей военной среды, а в последней части и показу самой войны, хотя и не прямому, а опосредствованному, отводится роль, без уяснения которой вряд ли возможно проникнуть в истоки авторского замысла и разобраться в сложнейшей социальной и психологической проблематике романа.

В работе над «Анной Карениной» был продолжен художнический процесс, начатый ещё на Кавказе и в Севастополе, по созданию типов военных людей.

Индивидуальные характеристики офицеров в романе несут в себе изрядную долю сатирического заряда. Вот как пишет Толстой об одном из «приятелей и любимых товарищей» Вронского — Петрицком: «Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные, и смешные и грязные, истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством» (18, 119).

В романе показан выразительный внутренний и внешний портрет другого сослуживца Вронского, ротмистра Яшвина: «Игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, — Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его необычайную физическую силу, которую он



большею частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и быть всё таким же, и за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вёл на десятки тысяч... Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого» (18, 186).

Рисуя образ Вронского, Толстой как бы сохраняет позицию внешней бесстрастности, холодности описаний. Однако за кажущейся бесстрастностью и холодностью описаний спрятана беспощадная авторская ирония, увеличивающая разоблачительную силу толстовского реализма. К примеру, можно ли быть, по Толстому, флигель-адъютантом и одновременно добрым малым? В поисках ответа на этот вопрос нельзя не учитывать весь предшествующий личный военный и сопряжённый с ним художественный опыт писателя.

В одной из черновых редакций рассказа «Набег» носители адъютантских должностей названы «шельганами». Эта диалектологическая дефинирующая лексема, независимо от точной семантики, вложена автором рассказа в уста правдоруба капитана Хлопова, и несёт безусловно негативную коннотацию осуждения, даже «шельмования». «Но можно ли верить этому, — иронически спрашивает автор, — когда... эти-то шельганы и получают лучшие награды?» (3, 219). В «Войне и мире» Борис Друбецкой, мечтая добраться до высших ступенек военной иерархии, утверждает: «...уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру... Желал бы и очень попасть в адъютанты». На это Николай Ростов прямодушно бросает ему в ответ: «Лакейская должность!» (9, 294). В одном из частных писем (В. В. Арсеньевой от 23 августа 1856 г.) Толстой заметил: «Насчёт флигель-адъютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки» (60, 82).

Знакомство с Вронским, представленном в доме Щербацких, оставляет в читателе впечатление о нём вроде того, какое оставляют за-всегдашние великосветских салонов в «Войне и мире» — Курагины, Берги, Друбецкие. Не лучшее впечатление вызывает в читателе он и в ряде других эпизодов романа. Его начинания после ухода в отставку в сфере общественной, хозяйственной деятельности, в живописи и т. д. оборачиваются плоским дилетантством, а в сцене со скачками обнаруживается, что Вронский, как и Александр I в

«Войне и мире» — «плохой ездок». Несомненно, тема «деградации» в военном сословии, заданная ещё в «Рубке леса», «Двух гусарах», «Разжалованном», продолжена Толстым и в «Анне Карениной». Ниже читатель увидит, что она была, уже вполне со страстью давнего публициста и верующего христианина, раскрыта Л. Н. Толстым и в другом «невоенном» романе — «Воскресение».

Любопытно, что большим поклонником Вронского как великолепного художественного образа военного был, среди критиков Толстого, *Константин Николаевич Леонтьев* (1831 – 1891) — как и сам Толстой, воспитанник усадьбы, литератор и участник Крымской войны, хотя и в должности военного врача. В годы сербско-турецкой войны он, между прочим, выступил против добровольческого движения в пользу *неверных*, нестойких в вере (православии) болгар, и со своих оригинальных консервативных позиций — как против вредного имперским интересам и просто ненужного ортодоксальной России «болгаробесия». С этих же позиций: нецелесообразности помощи *неверным* по вере, поклонникам секулярности и *прогресса*, К. Н. Леонтьев, между прочим, осудил бы и современных нам, путинских «освободителей» Украины от мифического «нацизма». Не стоят помощи в глазах православного консерватора те, кто духовно уродует, кто убивает сам себя в главном: в отношениях с Богом и Церковью! Но именно по отношению к Толстому Леонтьев, как консервативный публицист 1870 – начала 1890-х гг., печально знаменит концепцией «нового», или «розового христианства», в рамках которой, в особой брошюре 1882 года «Наши новые христиане», «изобличил», по преимуществу, безответного уже Фёдора Михайловича Достоевского (в связи с его Пушкинской речью), и в меньшей степени — Льва Толстого, в связи с рассказом «Чем люди живы» (1881). Не только сюжет, но и этика данного рассказа основаны были на записанном Толстым изустном народном предании — чего Леонтьев, разумеется, не знал, осуждая автора за отступления в рассказе от догматических воззрений православия. «Истинное» христианство, с точки зрения убеждённого консерватора, это «религия страха» и преклонения: не только перед Богом, но и (для простого народа) перед священниками, иконами, и перед любыми представителями мирской силы и власти, от чиновника до богача. Христианство же *любви*, постулированное двумя великими писателями — измышленное ими и ложное, названное Леонтьевым так же «односторонним», «сентиментальным» и «розовым»:

«Этот оттенок Христианства очень многим знаком; эта своего рода как бы “ересь”, не формулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе.

Об одном *умалчивать*, другое *игнорировать*, третье *отвергать* совершенно; иного *стыдиться* и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского *утилитарного прогресса* — вот черты того Христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился на склоне лет своих и генитальный автор “Войны и Мира”!..» (Леонтьев К.Н. *Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и граф Лев Толстой // Полное собрание сочинений: В 12 тт. Т. 9. СПб., 2014. С. 166; ср. 378 – 379).*

Здесь, к сожалению, не место подробному анализу ошибок и натяжек этой концепции. Для нас важно замечание Константина Николаевича в Предисловии к отдельному изданию «Новых христиан»:

«Нечто подобное проповедывал и Левин в последней части “Анны Карениной”... Но мы не имеем права решительно отождествлять Левина с самим графом Толстым. Все мнения героя романа, хотя бы и с некоторою любовью изображённого, мы не имеем основания приписывать автору этого романа. Однако, если обратить внимание на то, что в “Войне и мире” и других прежних произведениях гр. Толстого эта черта была гораздо менее заметна, чем в рассуждениях Левина, и стала совершенно ясна уже по одному выбору эпиграфов в том последнем рассказе его, который я разбираю, то я думаю, мы имеем повод заняться им, так сказать, — специально...» (Там же. С. 377).

Итак, Толстой был “на подозрении” у Леонтьева ещё со времени знакомства его с последней частью «Анны Карениной». Подозрение “подтвердилось”, и в очерке 1888 года «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» Леонтьев уже решительно заявляет себя противником «розовой ереси» Толстого, оказавшейся в 1880-х вовсе не такой уж “беззубой”, безобидной, а сумевшей увести тысячи людей от церковного обрядоверия и идолопоклонства к живой вере Христа — к «безбожию», с точки зрения православного публициста:

«...Я различаю прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца “Войны” и “Анны” от его же теперешней тени... Тот Лев — живой и могучий; а этот, этот — что такое?.. Что он — искусный притворщик

или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить...

[...] ...Какая же это любовь — отнимать у людей шатких *ту веру, которая облегчала им жестокие скорби земного бытия?* Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и всё-таки ненасытного тщеславия своего?

Что-нибудь одно из двух: если *новый* Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных, или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни даровит был Толстой прежний — этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из своего ума! Или же если он и тут не совсем опутался в мыслях, а *придумал* только, чем бы ещё неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать — я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что название будет слишком нецензурно — и умолкаю» (*Леонтьев К.Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К.Н. Указ. изд. Т. 8. Кн. 1. СПб., 2007. С. 305*).

Эта эмоциональная критика Толстого-христианина некоторым из наших читателей, с цепкой памятью, напомним очень схожую — в дневниках жены писателя, Софьи Андреевны Толстой. Всё то же на месте: и поползновения на резкость слов, и “уличения” проповедника любви в раздутом тщеславии и в нелюбви к тем, у кого “отнимает” прежнюю веру, а так же и (по версии Софьи Толстой) прежний образ жизни (у семьи: её и детей), с богатством и барскими развлечениями. Сближение не случайно, как не случайна и проповедь Леонтьевым «религии страха» в «Новых христианах»: юного Костю Леонтьева религиозно, православно воспитала в родном поместье мать, женщина *очень* крутого нрава, вызывавшая страх у всего семейства, у крепостных и даже у соседей-помещиков. Отсюда тот *взгляд норовистой женщины*, рабы, но и верной слуги мира, который чувствуется в отношении К. Н. Леонтьева к христианской проповеди яснополянца.

Кому сытая и веселящаяся семья, а кому ближе — военщина. Константин Николаевич с первой страницы своего очерка о Вронском с чувством глубокого удовлетворения, смачно накидывает камушки в толстовский «огород», противопоставив знаменитой к 1888 году «Исповеди» Толстого свою исповедь раскаявшегося и уверовавшего с возрастом «безбожника»:

«Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго! ...

[...] Романтику нравилась *война*; нигилисту претили *военные*.

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?  
<Намёк на “нового” Льва Толстого. – Р. А.>

[...] Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их... Военственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил» (*Там же. С. 297 – 298*).

Если у старшего по возрасту Толстого кризис возраста пришёлся на предреформенные годы, примерно с 1857-го, то Константин Николаевич свой консервативный надлом связывает со «смутной эпохой польского восстания», то есть 1863 – 1864 годами. «Мятеж» поляков, стремящихся к свободе от «русского мира», к единству своей нации и государства, стойко заразил в России известные головы самым неизлечимым патриотизмом:

«Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова с Муравьёвым-Виленским...

Государство, монархию, "воинов" я понял раньше и оценил скорее; Церковь, православие, "жрецов" — так сказать - я постиг и полюбил позднее; но всё-таки постиг...

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти "жрецы и воины" (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствует "софист и ритор" (профессор и адвокат)...

С той поры я готов чтить и любить так называемую "науку" только тогда, когда она свободно и охотно служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице...» (*Там же. С. 299 – 300*).

Браво, Константин Николаевич! Но не во всём, однако, «браво»...

Совершенно не ведая, насколько в своём отношении к учёным и науке, к военным даже его воззрения были близки Льву Николаевичу (и не только Толстому 1877 года, но и позднеjšíму), при том пред-рассудочно враждебно настроившись к «еретику», Леонтьев таким же «христианским», на деле всеискажающим, оком воззрелся и на Толстого, и на персонажа его:

«Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю всё-таки, он же — Лев Толстой — и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта — Алексея Кирилловича Вронского.

...Нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.

Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживём и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации» (*Там же. С. 306 – 307*).

Напрашивается возражение: если от «самобытной» личности потребен обществу духовный, творческий либо, хотя бы, повседневный утилитарный плод, то чем, как не *гением* и *словом* его миру оправдывает себя «нация»? Если для личности важно, не *сколько* прожито, а *как* — не то ли и для общностей, не исключая «национальных»? Длительная жизнь некоторых совершенно не оправдала нескольких лет боевой и (или) творчески активной юности.

Впрочем, и это уже — не в тему нашего исследования. Остановимся на сказанном.

В году 1876-м Лев Николаевич внимательно следил за агитацией консервативных и славянофильских газет в пользу добровольческого движения на помощь восставшим сербам, имевшей целью вовлечь Россию в войну с Турцией, и не упустил момента, когда в воздухе ощутимо запахло войною.

Как известно, русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов предшествовало национально-освободительное движение, вспыхнувшее весной 1875 года в Герцеговине и Боснии, перекинувшееся затем в Болгарию и поддержанное Сербией, Черногорией и Румынией.

Толстого интересует уже начальный этап этого движения — герцеговинское восстание. В июне 1876 года, узнав от Аф. Аф. Фета о том, что брат поэта Пётр Афанасьевич возвратился из Герцеговины, куда он в середине лета 1875 года отправился в качестве добровольца,

Толстой пишет Фету: «Желал бы послушать его рассказы о Герцеговине, в существование которой я не верю» (62, 280).

12 ноября 1876 года Толстой писал Страхову: «Был я на днях в Москве только затем, чтобы узнать новости о войне. Всё это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей, прошедшим, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление» (62, 291). Одновременно пишется письмо Фету, в котором Толстой очень непатриотично даёт волю своей иронии:

«Хорошо тем, которым всё это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределённому, оказывается нужным винтиком во всей машине» (62, 288). Это вполне актуально для наших 2022 – 2023 гг., когда мелкобюджетная сволочь и дрянь — школьная, университетская, музейная, библиотечная и т. д. — бездарная и ничтожная сама по себе, лично, но генетически рабья и в холуйстве, в подлости воспитанная «русским миром», услужливая «кормильцу» государству, вдруг «нашла себя» в военно-патриотических инициативах, в «гуманитарной» помощи военным убийцам и их жертвам, в доносах на инакомыслящих коллег, противников войны и прочем подобном — в фашиствующей, палачествующей, уничтожающей соседнее государство путинской России.

В целом отношение писателя-Толстого к самой войне и в особенности к тем, кого он считал её виновниками, было резко отрицательным. В эпилоге «Анны Карениной» это проявилось вполне.

Как раз во время подготовки к печати заключительной части «Анны Карениной», 12 апреля 1877 года был подписан манифест о войне с Турцией. В манифесте было сказано, что царь Александр II будто бы всегда принимал «живое участие в судьбе угнетённого христианского населения Турции», а теперь, по его мнению, и весь русский народ выражает «готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова». «Ввиду печальных событий, совершившихся в Герцеговине, Боснии и Болгарии», халтурное русское правительство пыталось «достигнуть улучшения в положе-

нии восточных христиан путём мирных переговоров», но успеха, конечно же, не имело, и теперь войскам отдан приказ вступить в пределы Турции.

Действительными мотивами войны с Турцией было стремление правительства Александра II восстановить своё политическое влияние на Балканах, подорванное в результате Крымской войны, а также надежда путём новой победоносной войны поднять свой престиж на международной арене и разрядить напряжённую политическую обстановку внутри страны.

Любопытна реакция Толстого-писателя на известие о начале войны: в нём постепенно разрастались патриотические настроения, не повлиявшие, однако, существенным образом на скепсис в отношении предвоенного патриотического движения в России, выразившийся в Восьмой части «Анны Карениной».

По этой причине дальнейшие биографические подробности следует отнести уже, скорее, не к предыстории, а к *послестории* романа.

«Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня», — писал Лев Николаевич двоюродной тётке, А. А. Толстой, 15 апреля 1877 года (62, 322).

Около того же времени жена писателя, С. А. Толстая, писала сестре, Т. А. Кузминской: «У нас теперь везде только и мыслей, только и интересов у всех, что война и война... Лёвочка странно относился к сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а с своей, личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его» (*Цит. по: 17, 727*).

Первые месяцы войны с Турцией были, как известно, неудачны для русской армии; на Толстого неудачи и моральное состояние «спасителей» братьев-славян действовали удручающе. 10 августа 1877 г. он писал Страхову: «И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застигает для меня всё. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне всё становятся яснее и яснее».

Нынче Стёпа <Степан Андреевич Берс (1855 – 1910) — шурин Толстого, брат его жены, Софьи Андреевны. – Р. А.> разговаривал с Сергеем <Сергей Петрович Арбузов (1849 – 1904), старший лакей в доме



Толстого. – Р. А.> о войне, и Сергей сказал, что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчёт турчанок. И когда Стёпа сказал, что это нехорошо, он сказал: да что ж, ведь ей ничего не убудет. Чёрт с ней.

Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам и которого нам приводят в доказательство народного сочувствия. А задуманная мысль его в войне только турчанка, т. е. разнузданность животных инстинктов.

Когда Стёпа рассказал, что дела идут плохо, он сказал, что ж не возьмут Михаила Григорьевича Черняева <Михаил Григорьевич Черняев (1828 – 1898) — генерал, участник Крымской кампании 1855 – 1856 гг. и военных действий на Кавказе; завоеватель Ташкента. — Р. А.> (он знает имя отчество) — он бы их *размайорил*. Турчанка и слепое доверие к имени, новому, народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота.

[...] Нынешняя почта хотя и ничего не принесла нового, однако успокоила меня. В особенности взгляд французов в “Revue des deux Mondes”. Видно, что неудачи кончились, и скрывать больше нечего» (62, 334).

В 1877-м Толстой по-прежнему сочувствует французам...

В том же письме Толстой обратился к Страхову с просьбой прислать ему книгу, которая бы содержала «описание нынешнего царствования», или газеты за последние двадцать лет, «или нет ли журнала, в котором бы были обзоры внутренней политики». Ему нужны такие материалы, по которым можно бы было «проследить внутреннюю историю действий правительства и настроений общества за эти двадцать лет» (62, 334 – 335).

Толстой не объяснил Страхову, для чего были нужны ему эти материалы. Они были нужны ему не для художественной работы, а для публицистической. Настроение его в этот год, уже так недалеко от христианского духовного пробуждения, было всё ещё тем же — настроением умеренно оппозиционного скептика, которому, однако, «обидно за державу». Он мучительно переживал неудачи русской армии в начавшейся войне с турками. Перед ним вставал вопрос: как могло случиться, что Россия, в 1854 – 1855 годах так стойко отражавшая нападение трёх могущественных держав, теперь не могла справиться с одной слабеющей Турцией? Он полагал,

что ответ на этот вопрос нужно искать в общем направлении внутренней политики Александра II с самого начала его царствования. С этой целью он и просил Страхова прислать нужные ему материалы.

Не дожидаясь получения книг от Страхова, Толстой 24 августа 1877 года начал статью, в которой ставил своей задачей дать ответ на волновавший его вопрос. Об этом мы узнаём из следующей записи в дневнике С. А. Толстой от 25 августа того же года: «Его очень волнует неудача в турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал всё утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю. Пусть напишет, но форма рискованна и посылать нельзя» (*Толстая С. А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 503*).

Толстой начал свою статью с указания того факта, что только с начала царствования Александра II в России образовалось так называемое общественное мнение. В предыдущее царствование Николая I и в разговорах и ещё более в литературе не допускалось и наказывалось всякое выражение мнений частных лиц о правительственных мероприятиях. Толстой вспоминает, как в самые первые годы царствования Александра II «в разговорах, речах и печати» осуждались действия правительства Николая I в Восточную войну. «Все признали и все говорили, что эта война была грубая и жалкая ошибка деспотического одуревшего правительства». Указывали на то, что мы начали войну без дорог, без лазаретов, без обеспечения продовольствием, что в интендантстве царило воровство и т. д. Все эти упрёки Толстой признаёт справедливыми, но вместе с тем указывает на то, что теперь, в 1877 году, после осады и взятия Парижа немцами, на пятом месяце войны с Турцией, после 21 года мирной жизни и общественных приготовлений, «мы чувствуем себя несравненно слабее, чем мы были тогда. Тогда мы боролись почти со всей Европой и отдали уголок Крыма и часть Севастополя и взяли Карс, а теперь мы отдали часть Кавказа одним туркам и ничего прочно не взяли». Так что теперь Восточная война, «считавшаяся тогда несчастною и позорною, восстаёт перед нами совсем в другом свете».

Перейдя далее к вопросам внутренней политики, Толстой прежде всего останавливается на отмене крепостного права. Так как крепостное право, говорит он, представляло «бесчисленные примеры жестокости и злоупотреблений», то отмена крепостного права была «нравственно справедлива». Лучшие представители «образованной

толпы», состоявшей преимущественно из дворян, несмотря на то, что уничтожение крепостного права наносило им огромный материальный ущерб, «с самоотвержением вследствие одних доводов нравственной справедливости» встали в этом вопросе на сторону правительства, и в их лице правительство «приобрело сильнейшего союзника, без которого оно не могло бы спокойно привести в исполнение эту меру».

Всё это начало новой статьи было написано Толстым в один присест, но на этом статья была прервана. Сохранившееся начало данной статьи напечатано в т. 17 Полного (Юбилейного) собрания сочинений, стр. 360 – 362.

Не приступая к продолжению статьи, Толстой обдумывал её дальнейшее содержание.

В конце августа он купил в Москве рекомендованную ему Страховым книгу А. А. Головачёва «Десять лет реформ» и в письме к Страхову просил указать другие книги по интересующему его вопросу.

Толстой был убеждён в том, что «причины нашей несостоятельности» в войне с Турцией кроются в направлении политики Александра II, но ему по-прежнему было неясно, в чём состояли эти причины. И хотя Страхов в ответном письме от 8 сентября и предлагал прислать Толстому книгу профессора Яснова «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах», которая, по его словам, «наводит ужас», и Толстой в письме от 23 сентября просил Страхова прислать ему эту книгу, но, по-видимому, книга Яснова заинтересовала его более не как материал для начатой работы, а сама по себе, так как касалась очень близкого ему предмета — положения русских крестьян.

К продолжению начатой статьи Толстой так и не приступил, но война с Турцией продолжала беспокоить и волновать его. 16 августа он писал Страхову:

«В войне мы остановились на третьем дне битвы на Шипке, и я чувствую, что теперь решается или решена уже участь кампании, или первого её периода. Господи помилуй» (62, 337).

В середине августа Толстой ездил в Тулу смотреть пленных турок. Об этом Софья Андреевна 22 августа писала Т. А. Кузминской: «Ездила я с Стёпой, Сухотиным, Лёвочкой и Илюшей в Тулу смотреть пленных турок. Живут они в бывшем сахарном заводе, почти за городом, устроено у них очень хорошо. У всякого постель с белой про-

стынёй и подушкой, пищей они тоже, по-видимому, довольны. Лёвочка спросил, есть ли у них Коран и кто мулла, и тогда они нас окружили, и оказалось, что у всякого есть Коран в сумочке. Но когда они нас обступили и стеснили, был один момент, когда стало страшно, и мы скорей ушли. На вид они все почти молодцы и как все люди, есть из них страшные и неприятные, а у иных славные лица» (Цит. по: Л. Н. Толстой – Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Том 1. С. 411).

2 сентября Толстой писал Страхову:

«Сейчас получил письмо о раненых, которые должны поместиться у нас. Совершенно впечатление пожара в городе, в котором вы живёте; хотя и далеко, но жить спокойно нельзя» (62, 339). План размещения раненых по деревням осуществлён не был.

Теперь Толстой уже не думал, что благодаря войне «мы находимся на краю большого переворота», но в том же письме к Страхову он писал:

«Чувство моё по отношению к войне перешло уже много фазисов, и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения — и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, — не может иметь последствий» (Там же).

В начале сентября Толстой писал Н. М. Нагорнову: «Война тревожит меня и мучает ужасно. Вы, верно, очень заняты, и это легче. А мы ждём и ничего не можем делать и даже ничего не знаем» (Там же. С. 341). В конце сентября Толстой пишет А. М. Кузминскому: «...По газетам, как всегда, ничего понять нельзя, но чувствуется, что что-то нехорошо, так как очень старательно умалчивается многое» (Там же. С. 345). Н. Н. Страхову Толстой писал 19 октября: «Сведения, сообщаемые вами о войне, очень интересны и приятны. Обручев, по всему, что я слышал про него, очень симпатичен» (Там же. С. 345 – 346). Наконец, Фету Толстой писал 12 ноября: «Слава богу, что Карс взяли. Перестало быть совестно» (Там же. С. 349).

Это было последнее упоминание в письмах Толстого о русско-турецкой войне. После этого он как будто утратил к ней всякий интерес и не отозвался даже на заключение Сан-Стефанского мира с Турцией 19 февраля (3 марта) 1878 г.

Разочарование наступило — и значительно ранее Сан-Стефано. Оно и нашло выражение в Эпизоде (Части Восьмой) «Анны Карениной». Вся шумиха вокруг славянского вопроса, деятельность Славянского

комитета по сбору пожертвований, формирование добровольческих отрядов — всё это в романе подвергнуто суровой критике. Толстой не допускает мысли, что в подобной деятельности, главной целью которой выступает «мщение и убийство», выражалась бы воля русского народа.

Притом Толстой зорко подмечает, что за войну ратуют больше всех те, кто не собирается проливать собственную кровь на поле брани, кому, наоборот, война приносит вдвое больше дохода. Ни деятели Славянского комитета, которые «отбирали копейки под предлогом божьего дела у голодных русских людей», ни публицисты, с их «гордостью и мошенничеством ума», толкующие о святых местах, о проливах и о прелестном климате Константинополя, ни редакторы тех многочисленных газет, которые заквакали о войне, «словно лягушки перед грозой» (19, 390), — никто из них лично не собирается следовать тому, к чему они так пламенно призывают. Наоборот, под неприятельские пули должны были идти как раз те, которые вынуждены отдавать последние копейки на «душеспасительное дело» — «худые и голодные русские мужики» (20, 555), которых уже мобилизуют согласно новому Уставу о воинской повинности.

Помимо критиков консервативного лагеря, против взглядов Толстого, изложенных в эпилоге «Анны Карениной», выступил, как мы упомянули выше, и сам Фёдор Михайлович Достоевский, доказывавший, что Балканская война необходима для «объединения и возрождения славян» и что, по выражению автора «Дневников писателя», «чистый сердцем Левин ударился в обособление и разошёлся с огромным большинством русских людей» (*Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Указ. изд. Т. 25. С. 194*). «Угрюмое отъединение» это Фёдор Михайлович не отождествляет с автором, от которого, буквально в унисон с позднейшими сожалениями Константина Леонтьева, по собственному признанию, «не того ожидал» (*Там же*). Ждал, следует понимать — поддержки: о патриотизме, о новой «дубине народной войны», наперевес с которой руснявая орда двинулась в очередной, не первый уже, раз освободить Европу... То есть, как позднее и Леонтьев, не общаясь с яснополянцем, его конгениальный современник не заметил, что, *хотя и только что, но всё равно неправомерно* — как говорят в народе, «поезд ушёл», и того Толстого, угождавшего мирскому толку своими рассуждениями и образами в героико-патриотическом ключе, больше попросту *нет!*

Воззрения Ф. М. Достоевского на войну не были, разумеется, секретом для Толстого. Литератор, мемуарист и духовный единомышленник Толстого-христианина *Гавриил Андреевич Русанов* (1845 – 1907), в 1883 году, во время прогулки и купания с Львом Николаевичем записал его отзыв об этой стороне мировоззрения Фёдора Михайловича: «Вообще Достоевский говорит, говорит и, в конце концов, остаётся какой-то туман над тем, что он хотел доказать. У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедыванием войны и преклонением перед государством, правительством и попами» (*Русанов Г.А. Поездка в Ясную Поляну 24 – 25 августа 1883 г. // Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 60*).

Позднее, в статье «Христианство и патриотизм», написанной в 1894 году, Толстой поставил в прямую вину «раздувавшим возбуждение» Аксакову и Каткову бессмысленную гибель тысяч людей на войне. Отмечая русско-французское сближение как признак усиления подготовки войны против Германии, Толстой писал в статье: «Ведь точно так же, как и теперь, так и перед турецкой войной будто бы возгорелась вдруг внезапная любовь наших русских к каким-то братьям славянам... И начались такие же восторги, приёмы и торжества, раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми, которых поминают уже теперь в Париже, как образцы патриотизма... Сначала точно так же, как теперь в Париже, тогда в Москве пили, ели, говорили друг другу глупости, умилялись на свои возвышенные чувства, говорили об единении и мире и умалчивали о главном, о замыслах против Турции. Газеты раздували возбуждение; в игру понемногу вступало правительство. Поднялась Сербия. Начались дипломатические ноты, полуофициальные статьи; газеты всё более и более лгали, выдумывали, горячились, и кончилось тем, что Александр II, действительно не желавший войны, не мог не согласиться на неё, и совершилось то, что мы знаем: погибель сотен тысяч невинных людей и озверение и одурение, миллионов» (39, 45 – 46). Механика подготовки общества к войне описана здесь с беспощадными точностью и пронизательностью.

В то время, когда Ф. М. Достоевским с единомышленниками и славянофилами искусственно раздувалась кампания ненависти к «нечестивым агарянам», писатель не находил смысла в том, что для того, чтобы спасти одних, нужно убивать других, что ради спасения славян необходимо резать и уничтожать турок. Для Толстого и в данном случае война не что иное, как «животное, жестокое и ужасное

дело» (19, 387). Конечный вывод, к которому приходит Левин и под которым подписался бы автор «Анны Карениной», состоит в том, что достижение общего блага, к которому инстинктивно стремятся все люди, возможно не на путях войн, взаимной вражды и убийства, но «только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку» (Там же. С. 322).

\* \* \* \* \*

«...Эта война, кроме обличения — и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, — не может иметь последствий» (62, 330) — вот конечный вывод Льва Николаевича и обо всей русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., максимально сближающий его с последующими антивоенными настроениями. Психическое заражение патриотизмом, вообще характерное для ситуации начала любой войны, было побеждено Толстым, а скепсис развился в убеждение, подкреплённое, что нам необходимо подчеркнуть, не одними общественно-политическими убеждениями, но и религиозными. Ибо в духовной его биографии совершились значительные события — и, вопреки предшествовавшему настроению возмущённого патриотизма, именно они, а не события политические, повлияли на отмеченный нами конечный вывод.

В своих тщетных для разумного человека попытках соединиться с «верой предков и народа», в июле 1877 г. Толстой совершает паломничество в монастырь Введенскую Оптину пустынь (Калужской губернии Козельского уезда), где бывали Гоголь и Достоевский и даже чего-то, как им показалось, там для себя нашли. В нарушение желаемого молитвенного настроения, он пересёкся в монастырской гостинице с давним светским знакомым. Это был Дмитрий Александрович Оболенский (1822 – 1881), в то время уже член Государственного совета (печальная, «почётная», но и посмертная должность в России для отставленных от государственной жизни титулованных стариков) и хозяин имения в десяти верстах от Оптиной Пустыни. Конечно же, не обошлось без ответного «визита вежливости». У Оболенского Толстой застал много молодёжи, а с нею вместе почётного гостя — знаменитого пианиста Николая Григорьевича Рубинштейна (1835 – 1881). За обедом зашёл разговор о добровольческом движении в пользу восставших сербов. И Толстой повторил мнение, уже

высказанное им к тому времени в последней части «Анны Карениной», что «всё это сочиняют газеты. Неправда, что народ наш хочет воевать. Народ ничего и не знает про славян» (*Оболенский А.Д. Две встречи с Л. Н. Толстым // Толстой. Памятники творчества к жизни. Вып. 3. М., 1923. С. 33*). Мемуарист добавляет: «Но для нас всё это добровольческое движение казалось весьма простым и естественным: турки учиняют зверства над христианами и мучают их, как же не сочувствовать тем, кто идёт на их защиту?» (*Там же*). Вот иллюстрация того, как в промытых пропагандой головах срабатывает «барьер невосприятия» доводимой до них Божьей правды-Истины.

Вечером Толстой слушал игру Рубинштейна, а потом разговаривал наедине со старшим сыном хозяина, студентом Александром Дмитриевичем Оболенским (1847 – 1917), который оказался сторонником очень распространённой в то время среди русской интеллигенции позитивной философии Огюста Конта. Это было раннее столкновение Толстого с чуждой ему философской теорией, для которой характерно рассмотрение процесса познания в отрыве от этических установок и противопоставление религиозного и научного мировоззрений. Неготовность к спору писателя компенсировалась, однако, невежеством молодого собеседника, воспринимавшего идеи Конта как привлекательную возможность для нападок на религию. Возражая Оболенскому-младшему, Толстой говорил, что весь русский народ думает о том, как жить по-Божьему, и он, Толстой, думает о том же и, указывая на Евангелие, сказал, что в этой книге сказано всё, «что надо человеку» (*Там же. С. 37*).

Конечно же, хозяин дома «скормил» неудачливого паломника веселящимся гостям как безобидного чудака: «От <С. А.> Берса мы узнали, что Толстой человек действительно религиозный и не только верует в Бога, но и ходит в церковь, а также и посты соблюдает. Последнее нас немного удивляло и казалось даже некоторым с его стороны чудачеством, но мы понимали это как стремление приблизиться к простому народу, в те времена ещё весьма строго державшемуся постов» (*Там же. С. 28*). Усердное соблюдение Толстым постов вызывало добродушные насмешки родных его жены. 13 октября 1878 г. дядя С. А. Толстой, Владимир Александрович Иславин, писал ей: «Обнимаю его [Льва Николаевича] сердечно, но только



лишь в том разе, если он перестал питаться горохом, толокном и овсянкой на лампадном масле» (*Цит. по: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1870 – 1881. М., 1963. С. 442*).

Это прекрасная характеристика чуждости христианства и всяческих честных, искренних порывов любого человека ко Христу — если не для всего поганого «русского мира», не для всей православной России, то уж, определённо, для самой порченной, сволочной, самовлюблённой и подлой, именно *интеллигентской* её части!

Своё понимание Евангелия, и пока ещё именно для себя одного, Толстой берётся изложить в своеобразном «катехизисе». Это предтеча великой книги «В чём моя вера?» и позднейших духовных писаний Толстого, таких как трактат «О жизни» или статья «Христианское учение», необходимый к ним подступ.

6 ноября 1877 г. Толстой пишет Страхову письмо, в котором жалуется на «самое унылое, грустное, убитое состояние духа». Из дальнейшего видно, что причины «убитого» состояния духа, в котором находился тогда Толстой, были весьма сложны. Он перечисляет эти причины: болезненная беременность жены и предстоящие роды; его «праздность, постыдная и совершенная»; «менее важный предлог — это мучительная эта война». «Праздность» Толстого состояла в том, что, закончив большой роман, он не был занят никакой литературной работой. «Мучительно и унижительно жить в совершенной праздности, — писал Толстой далее, — и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Всё это пошло и ничтожно» (62, 347).

Но к перечисленным здесь причинам «убитого» состояния духа присоединялась у Толстого ещё одна, ещё более серьёзная, на которую он далее только намекнул Страхову в следующих словах: «Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда» (*Там же. С. 347*).

Смысл этих слов совершенно ясен. То, что человек приобретает наибольшую силу и свободу в том случае, если он «не дорожит ничем в жизни», это Толстой понял ещё тогда, когда, находясь на высотах поэтического прозрения, писал «Войну и мир». Вспомним, как, бродя по опустелой, оставленной жителями Москве, Пьер Безухов с особенной силой почувствовал, что «и богатство, и власть, и жизнь, всё то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, — всё это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым всё

это можно бросить» (*«Война и мир», т. III, часть третья, гл. XXVII*). Суждение это осталось столь значительным и для Толстого-христианина, что он включил его в «Круг чтения» (см. 42, 256).

Но у Пьера Безухова, как мы и показали это выше, было преходящее настроение — от которого он, обломав сам себе духовные крылья, воротился, как боров на блевоту, к помыслам общественным и тщеславным. Толстой же теперь постоянно находился в таком душевном состоянии, что не дорожил тем, что ранее привязывало его к жизни: литературная слава и материальное благополучие. Он переживал глубокое недовольство условиями своей жизни — жизни богатого помещика. Условия эти тяготили его, но избавиться от них он не мог, потому что был *не один*. Его душевное состояние того времени можно было бы выразить буддийским изречением: «Тесна жизнь в доме. Свобода — вне дома».

Но и это была не последняя причина мучительного душевного состояния, которое в то время переживал Толстой. Далее в том же письме он рассказывал Страхову:

«На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Всё это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов...» (62, 347).

Эти же уроки Толстой вспоминает в первой редакции «Исповеди», где он пишет: «К экзамену надо было учить моих детей закону божию. Мы взяли священника, и он учил их катехизису. Это было то самое учение, которому меня учили и которое я отбросил и не мог не отбросить. Я слушал это учение... Бессмысленность и наглость положений, которые требовалось заучить, явно противуречила тому смыслу, который я нашёл в вере» (23, 507).

«...Мне захотелось, — писал Толстой в письме к Страхову, — попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно» (62, 347).

Эта первая сделанная Толстым попытка систематического изложения своих религиозных взглядов сохранилась, и напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 363 – 368. Изложение озаглавлено «Христианский катехизис» и начинается словами: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле и выражающуюся в знании добра моего и всех людей и в жизни людской» (17, 363). Как видно из этого введения, сущность своей веры Толстой видел не в догматах церковной религии,

отличающих её от других исповеданий, а в *вере в добро*, живущей «в сердцах всех людей и на всей земле».

Манифест сродственного своим настроениям юродства Лев Николаевич отыскал гораздо позднее, в 1892 году, читая «Задушевный дневник» Анри Амиеля (Fragments d'un journal intime, by Amiel, Henri Frédéric). Вот, в переводе дочери писателя Марии Львовны, запись в этом дневнике от 6 апреля 1869 года:

«Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. Пусть будет уничтожение или бессмертие! То, что должно быть, — будет. То, что будет, будет благом. Чтобы совершить путь жизни, может быть, *ничего более не нужно для человека, кроме веры в добро*.

Но нужно быть на стороне Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона в борьбе против материализма, против религии случая и против пессимизма. Может быть, даже надо отвергнуть буддийский нигилизм, потому что поведение будет диаметрально противоположно, смотря по тому, что мы будем трудиться для увеличения своей жизни или для уничтожения её; будем ли развивать свои способности или методически атрофировать их. Прилагать свои индивидуальные силы к увеличению добра в мире — этого скромного идеала достаточно. Участвовать в торжестве добра — это общая цель святых и мудрецов. «Socii Dei sumus» <лат. «Мы – участники Божьего дела»>, — повторял Сенека после Клеанта» (*Из дневника Анри Амиеля. СПб., 1894. С. 55 – 56. Выделение наше. – Р. А.*).

Это суждение сразу полюбилось Толстому, и, со своими редакциями, он включил его в сборники мудрой мысли, которые готовил в 1900-е гг. В «Круге чтения» смысл отредактированного отрывка – всё та же драгоценная для Толстого-христианина идея слияния воли человека-сына с волей небесного Отца как сущность веры. Вот отчего предложение: «Пусть будет уничтожение или бессмертие!» — лишено в редакции Льва Николаевича излишней в этом смысловом контексте восклицательной экспрессии. Предположительное «может быть» в заключительном предложении, так же в «Круге чтения», изъято: вера в добро необходима, ведь слияние с волей Бога и есть соединение с Ним в истине и добре (*см. 41, 34*).

Редакция же отрывка в книге «На каждый день» значительней (что подтверждает и подпись под ним: «По Амиелю» — то есть перед нами изложение, пересказ, а не точная цитата):

«Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. То, что должно быть, — будет. То, что будет, — будет благом. Чтобы совершить путь жизни, ничего не нужно для человека, кроме знания того, что добро — добро, и что его надо делать» (43, 306).

Как видим, Толстой здесь особо подчёркивает, что вера человека и условие его блага, его счастья — в исполнении закона любви, в делах деятельного добра, а критерии того, что есть добро — не в мирских установлениях или учениях церквей, а только и непосредственно в слове Бога, обращённом непосредственно же к разуму и к сердцу каждого человека.

Совершенно не зная об Амиеле, ещё живом тогда современнике, за 15 лет до того, как в руки его попали «Fragments d'un journal intime» этого мыслителя, Толстой усилием своей зрелой мысли сближался с христианским жизнепониманием женева!

«Православный катехизис, — пишет Толстой в «Христианском катехизисе» 1877 года, — есть наставление в истинной вере, для передачи каждому человеку вообще и православному христианину в частности, для спасения души — т. е. для жизни, соответственной не одним потребностям тела, но и потребностям души» (17, 363). Потребности души, по мнению Толстого, отличаются от потребностей тела тем, что потребности тела «имеют целью личное благо», а потребности души «имеют целью благо вообще — не только часто, но почти всегда противоположное благу личному» (Там же).

Далее ставится вопрос: «Что есть вера?» и даётся ответ: «Вера есть несомненное знание вещей, непостижимых разуму». На вопрос: «Какая разница между знанием веры и знанием разума?» — следует ответ: «Всякое знание разума основано на предшествующем знании. Знание же веры имеет основание само в себе». Даётся следующее определение «знания веры»: «Знание веры есть то несомненное знание смысла окружающих нас явлений, которым мы руководствуемся всякую минуту жизни» (Там же. С. 364).

На вопрос, «существует ли одно истинное знание веры», даётся ответ: «Существует это знание в сердце людей. То знание, которое обще всем людям, есть истинное знание веры» (Там же. С. 366).

Все выражения веры, в том числе вер буддийской, еврейской, христианской, магометанской, «истинны в том, в чём они сходятся.

Внешние же признаки вер суть только особенности, зависящие от исторических, географических условий...» (Там же).

И далее, самый важный для Толстого того времени вопрос: как относиться к учению христианства там, где оно противоположно разуму? На этот вопрос даётся ответ: если оно «не противоположно учению вселенской церкви и сердцу, то смирать ум перед непонятным учением»; если же оно «противоположно знанию сердца», то «отвергать его, чтобы оставаться членом вселенской церкви» (Там же. С. 367 – 368).

Далее автор намеревался дать понятие о «первой передаче откровения христианского», заключающейся в «священных книгах ветхого завета». По-видимому, он предполагал дать краткую характеристику если не всех, то наиболее значительных из книг, составляющих Библию. Он начал с первой книги, входящей в состав Библии и носящей название «Книга бытия». Относительно этой книги Толстой ставит вопрос: почему она священна? Но в ответе пишется только одно слово: «Сотворение», на котором и прервалась эта работа (Там же. С. 368).

Так автор начал расхождение с собственным своим, только что изваянным, народолюбивым персонажем, Константином Левиным. Очевидно, как ни старался Толстой отгонять от себя всякое сомнение, чтобы не разделяться «с церковью и с многомиллионным русским народом», верившим в церковное учение, он всё-таки, стараясь быть правдивым перед самим собою, никак не мог найти те признаки, по которым можно было бы признать древнюю книгу еврейской мифологии «священной».

И когда Толстой с грустью писал Страхову о том, что изложение основ своей веры для него не только трудно, но, как он опасался, даже совершенно невозможно, он разумел не трудность самого изложения, вполне преодолимую, но невозможность для него в то время принять, «смирив ум», противоречия церковного учения, приверженцем которого ему так хотелось считать себя.

Что касается религиозных верований Толстого, изложенных в его начатой статье, то они, конечно, были весьма далеки от православия и всякого другого церковно-догматического вероисповедания. В то время как православная церковь преследовала старообрядцев, считала еретиками католиков и протестантов, для Толстого «вселенская церковь» в его представлении составлялась из всех верующих в

«добро», к каким бы вероисповеданиям они ни принадлежали. Впоследствии, уточнив дефиниции, он обратит «добро» в «благо», придя к верному пониманию учения Христа как учения о *благе жизни*, нарушаемом соблазнами мира и ложными верами.

Таким образом, когда Достоевский, Леонтьев и ряд других консервативных критиков апеллировали, со второй половины 1877 года, к автору Восьмой части «Анны Карениной» как к человеку не только известных им по «Войне и миру» военно-патриотических деклараций и образов, но и как к адепту общей с ними веры — они не знали ещё, *насколько* они ошибались. Толстой пока неуверенно, но становился уже на Христов и евангельский, а отнюдь не на *общий* с ними, не православный, религиозный фундамент. Для того, чтобы «одёргивать» зрелого искателя веры, переубеждать, а тем более переманить носителя выдающегося, уже международно известного имени под консервативные знамёна монархизма, православия и военного патриотизма — время ушло, или, как говорят в народе, «ушёл поезд».

Не догнать!

**ЗДЕСЬ КОНЕЦ И ВТОРОЙ ГЛАВЕ**





## ПРИХОД КО ХРИСТУ И ПЕРВЫЕ ПРОПОВЕДАНИЯ

Глава Третья.  
**РОЖДЕНИЕ,  
ЮНОСТЬ И ВОЗМУЖАНИЕ ВО ХРИСТЕ:  
ОТ ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ  
ДО КНИГИ «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»**  
*(Конец 1870-х - начало 1890-х гг.)*

### 3. 1. «В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?»

В это время случилась война в России.  
И русские стали во имя христианской любви  
убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было.  
Не видеть, что убийство есть зло, противное  
самым первым основам всякой веры, нельзя было.  
А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия,  
и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры.

*(«Исповедь»)*

Антивоенные настроения Л. Н. Толстого по поводу Балканской кампании, выразившиеся в «Анне Карениной» и вызвавшие отпор многих современников, были только «надводной частью айсберга» — нескольких лет сомнений, метаний и нарастающего критического настроения автора романа, лишь частично выразившихся в беседах, устных и эпистолярных, с близкими людьми либо в интимно-личных записях в Дневнике. Так, например, 20 января 1878 года давний друг, философ и литературный критик Николай Николаевич Страхов писал Толстому, что, по рекомендации старца Амвросия, он начал читать творения Исаака Сирина и убедился, что один перевод сделан на «несуществующий язык, подобие славянского», а другой переводчик «очень старался о пышности выражений». По этому поводу Страхов замечал: «Мне становятся противны всякие сделки с своею мыслью», а «для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием. Они в бессмыслицах плавают, как рыба в воде, и скорее им противно всё ясное и определённое» (*Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Т. 1. С. 394*).

Это письмо Страхова задело Толстого за живое, — ведь и он считал себя верующим, — и он решил изложить неверующему другу основы своей веры. Около 27 января он пишет Страхову длинное письмо с целью убедить его, что то, что ему «кажется странным», на самом деле «вовсе не странно». Основания его веры сводятся к тому, что «разум мне ничего не говорит и не может сказать» на вопросы, «что я могу знать, что я должен делать, чего я могу надеяться». «Ответы на эти вопросы даёт мне в глубине сознания какое-то чувство» (62, 380). «Миллиарды смутных ответов однозначных дали определённую ответам. Ответы эти — религия» (*Там же*). Существует «целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца». Проверке разума это предание не подлежит; единственная проверка, которой подвергается это предание, состоит в том, согласны ли ответы, даваемые преданием, «с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания» (*Там же. С. 381*).

И Толстой приводит пример такого «ложного» предания: «...Когда мне предание... говорит: „будемте все молиться, чтобы побить побольше турок“ ... тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, — я говорю: это предание ложное» (*Там же*).



Итак, первоначально Толстой отступает от учения церкви, именно отрицая её нравственное и социальное учение, а точнее — как раз в *вопросе о войне*. Что касается обрядовой стороны учения православной церкви, Толстой в то время, в начале 1878 года, ещё не отрицал её. То же подтверждает, например, такая запись, от 28 мая 1878 года, вскоре после возобновления Толстым прерванного в 1873 г. Дневника: «Был у обедни в воскресенье. Подо всё в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многая лета и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против них» (48, 70). Примечательно, что при суждении этом на страничке Дневника зачёркнута начатая было фраза: «Врагов у христианина нет...» — как очевидно неточная: врагов нет *для христианина*, но всегда могут оказаться заблудшие, ошибающиеся люди, с ним *враждующие*: христианин может терпеть вражду к себе, даже любимых и близких людей, что показательнейше проиллюстрирует в последующие годы драма семейной жизни самого Толстого-христианина.

Так в сознании Льва Николаевича рождалось, с Всевышней, Божьей помощью верное понимание Нагорной проповеди и всего учения Христа, несовместимого с враждой стран и народов и оправданием военного насилия. И здесь же, в записи 22 мая, в связи с осуждением каких-то поступков сына Сергея, значительнейший мотив будущей толстовской «Исповеди»: «Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мне сердце» (Там же. С. 69).

Сама «Исповедь» (1882) — сочинение достаточно известное широкому читателю. В последней части «Анны Карениной», над которой Толстой работал в начале 1877 г., даётся описание того душевного кризиса, который переживал в то время автор. Как и Левин, Толстой испытывал мучительные сомнения в основах своего мирозерцания. Он искал ответов на тревожившие его вопросы о смысле и цели жизни. Как Левин, «неволью, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их... Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели» (19, 368 – 369).

Хорошо известно, в частности, и отношение Толстого к собственному прошлому, именно годам военной службы и начала писательства, выразившемуся в «Исповеди»:

«Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей да войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал» (23, 5).

«Думал о том, что если служить людям писанием, то одно, на что я имею право, что должен делать, это — обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат» — это уже из Дневника 1900 года, из записей на 28 октября. Совершенно иные мотивации для творчества, к которым Толстой повернул как раз в период подготовки и писания «Исповеди», примерно с 1874 – 1875 по 1881 годы. Идеал, по внешности, общественный, но по существу — религиозный, христианский: обличение религиозного, прежде всего, обмана и служение Истине. Ради этого дела даже писательская слава превращается лишь в полезный инструмент:

«Мне сделали какую-то несвойственную мне славу важного, «великого» писателя, человека. И это моё положение обязывает. Чувствую, что мне дан рупор, который мог бы быть в руках других, более достойных пользоваться им, но он *volens nolens* у меня, и я буду виноват, если не буду пользоваться им хорошо» (4 февраля 1900 г.).

Но ещё не столько с этой, не осознанной пока, в начале 1880-х, целью, сколько с желанием *для себя* системно изложить открывшееся ему, Толстой и начинает на рубеже десятилетий большое духовное сочинение, первой частью которого должна была стать исповедь, а продолжением — исследование догматического богословия, соединение и перевод евангелий и трактат «*В чём моя вера?*» (1882 – 1884).

Если «Соединение и перевод четырёх евангелий» и «Исследование догматического богословия» были значительнейшим именно религиозно-богословским вкладом Толстого-евангелиста, Льва-спасителя Иисуса для нашего времени и грядущих веков, то трактат, или, что справедливей, искреннее и любящее Истину духовное слово «В чём

моя вера?» подвело под эти результаты общения Льва Николаевича с Богом, с Иисусом Христом и (неприятного) с православными богословами — фундамент собственно философский, то есть метафизический, этический и общественно-политический. Для нас из названных выше ранних духовных писаний Льва Николаевича наиболее значителен именно трактат «В чём моя вера?», содержащий вероисповедание не одного Льва-учителя, но всех духовно близких ему людей, либо отыскавших для себя давно известное, возлюбленное, истинное, либо (преимущественно молодёжь) открывшие это истинное для себя при чтении запретной в России, с трудом, в нелегальных копиях, добытой книги.

Начав с малого, и именно с несогласия с позицией «родной» церкви в отношении системного насилия войн и смертных казней, Толстой, исследовав самостоятельно евангелия — закончил свой путь, при неожиданных обстоятельствах, тем же, но уже уверенным, отторжением лжи, освящающей насилие. В главе XI трактата он рассказывает, как это случилось. В руки его попало очередное переиздание весьма популярного в народе т. н. «Толкового молитвенника», за авторством Д. И. Протопопова, наполненного, по преимуществу, суеверной и обрядовой церковно-православной чепухой. Прочтя одно место, Толстой, по собственному признанию, «не поверил своим глазам»:

«На странице 163-й этой книжки сказано:

"Какая шестая заповедь Божия? — Не убий. Не убий — не убивай. — Что Бог запрещает этой заповедью? — Запрещает убивать, то есть лишать жизни человека. — Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? — Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество".

И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь Бога» (23, 433 – 434).

Причём не поверил глазам писатель не *несмотря* на немалый уже опыт общения с церковной литературой, а как раз *благодаря* такому опыту. Толстой припомнил, что в его юные годы, когда ему пришлось штудировать т. н. «закон Божий», «во всех старых русских катехизисах» не было ни слова о том, что «убивать *не грех*» (Там же. С.

434): «Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Белякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису». Толстой имеет в виду т. н. «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной церкви», составленный в реакционные, гиблые для России 1822 – 1823 гг. архиеп. Филаретом (1783 – 1867). Талмудина сия была настолько тупа, настолько отдалённа от Христа и его учения, что в 64-м (!) её издании в 1880-м году, через почти 20 лет после отмены крепостного состояния крестьян, была стереотипно воспроизведена «заповедь» о почитании «господ» крестьянами, «которыми они владеют» (*Там же. С. 435*).

И именно в этой книжице «по случаю 6-й заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать» (*Там же*).

По этому-то катехизису вводили в буржуазной имперской России от Христа, от Истины поколения детей и простецов. Толстой остроумно подчёркивает:

«Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь Бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: *по должности, за государя и отечество*, и что не должно учить этому людей.

[...] И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам» (*Там же. С. 436*).

Далее Толстой подробно рассматривает истоки и развитие искажений церковным учением первоначального учения Христа, и приходит к выводу, что, благодаря, с одной стороны церковной канонизации «священных» текстов, а с другой — сектантам и вольнодумцам, трактующим их вне церковной догматики, основное в наследии Христа, именно учение о жизни — не было утрачено, а, пройдя сквозь века, «эмансипировалось от церкви и установилось независимо от неё», в том числе и в вопросе государственного насилия (*Там же. С. 440*).

В трактате Толстой провозглашает наконец не понятое многими по сей день: «Всё живое независимо от церкви» (23, 440 – 441). Разумея

при этом именно «исторических» паразиток, а не эту, незримо выживающую в мире уже 2000 лет, первоначальную Церковь. Замкнутая на себя система, как догматическая церковь, секта или, скажем, как российское общество в XXI веке, чуждое не то, что христианству Христа, а даже ошибочной, церковно-православной, но *искренней* вере предков, как и вся путинская Россия и всякое иное государство, топчущееся на месте, не развивающееся в сторону демократического самоуправления — системы мёртвые и мертвящие, чуждые Богу и зловредно опасные для мира. От них и из них, пока гнильё не рухнуло на головы, всё живое и разумное должно выйти, не признавать в них *жизни*. В этом смысл афористической фразы. Вот каков её контекст:

«Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У неё было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. [...]

Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освящённым церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живёт без неё. Факт этот совершился, — и скрывать его уже невозможно. Всё, что точно живёт, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живёт своей жизнью независимо от церкви.

И пусть не говорят, что это — так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы.

Всё живое независимо от церкви» (23, 440 – 441).

Но прежнее влияние церкви Толстой уподобляет кормицику, который хоть не без греха, а правил лодкой. Люди XIX столетия плывут легче без стеснения церковников, однако они плывут, «не зная куда» — по-прежнему отдаваясь первобытным грехам и не умея рационально, без самообманов, дать прямой ответ на такие, к примеру, отнюдь не риторические, а судьбоносные вопросы: «зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы

людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, [...] зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь?» (Там же. С. 442). По церковной вере, «солдатчина, войны, суды, казни» совершались по воле Бога. Но в это не может верить современный цивилизованный человек, просвещённый как научным, так и религиозным знанием (Там же. С. 442 – 445). Но рабство людей военному идолу не уничтожилось с этим просвещением, а лишь усугубляется, потому что «религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, то есть, короче, религия повиновения существующей власти» (Там же. С. 445).

Описание Льва Николаевича поистине точно подходит не только к безверным его современникам, но и к России наших дней, застывающей в беспомощном страхе перед мобилизацией на преступную войну:

«Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению — законам, которые пишут чиновники [...] или законодательные собрания и приводит в исполнение — полиция. Это — единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от Неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но всё-таки признают это учение и повинуются исполнителям его — полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях её. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть изменённым.

Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, [...] утрачено в нашем обществе...», а нормальным считается повиновение «городовому с пистолетом» (Там же. С. 446).

По счастью, среди сектантов и вольнодумцев достаточно людей, у которых «вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа» (Там же. С. 447).

\* \* \* \* \*

Это минимум отрывков из важнейшего для 1880-х духовного писания Льва Николаевича Толстого, соприкасающихся с нашей темой, которые необходимо было привести именно *в предварение* изложения главной, христианской части — и некоторых наших мыслей по ней. Анализ начнём, что называется, «от противного»: с главной ошибки критиков этого трактата, восходящих к юности веры в те годы самого Льва Николаевича. Ведь рождению к вере Христа сопутствует то же, следующее за ним, становление, рост и укрепление христианина, как рост и воспитание человека после физического рождения.

Ошибка — в отождествлении христианства и «исторически сложившихся» церковью с христианством Христа и единой, основанной им из числа избранных учеников, первоначальной Церковью.

Толстой побеждал внушённый ему учителями и книжным знанием просвещенческий рационализм. Вопреки спекуляциям в путинской России таких современных авторов, представителей Церкви, как Г. Л. Ореханов (см. книгу его 2016 г. «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы»), более серьёзные современные российские исследователи приходят к выводу о *преодолении* Толстым деструктивных тенденций просвещенческой мысли. Так, по логике суждений С. М. Климовой, Толстой лишь начинает в молодости свой самостоятельный духовный путь с опоры на просветительское мировоззрение, а продолжает созданием на христианском, евангельском идейном «фундаменте», религиозно-философского учения, характерного именно для начала XX столетия, времени расцвета европейской «философии жизни», к последованию и разработке которой не понявший, отторгнувший Фридриха Ницше Толстой и не узнавший полноценно классика, И. Г. Фихте, и совершенно не знавший современника, Анри Бергсона, «философия жизни» которого лишь проходила этап становления в последний период жизни Толстого, приходит в значительной степени самостоятельно, как философский дилетант, «усадебный» мыслитель. На такой итог повлияло как затронутое нами выше искание веры Толстым в сер. 1870 – начале 1880-х гг., так и предшествовавшее и сопутствовавшее ему литературное художественное творчество Толстого-писателя. Природа творческого мышления человека как «работника Бога» в мире, преобразу-

ющего творчески мир и, направленной эволюцией, самого себя, первоначально была описана Толстым именно «через метод сцепления, обнаруженный им в литературном творчестве». Если для множества питомцев Просвещения «образ мышления напрямую связан с природой человека, представленный как единство *natura naturans* и *natura naturata*, то для Толстого важнее всего некое априорное чувство жизни, пропитанное верой в Бога и инстинктом самоотдачи – любви к Высшему и другим людям». Это уводит Толстого от европейских руссоизма и Спинозизма, от поклонения разуму к признанию значительности «творческой интуиции», «от рационального восприятия жизни к её религиозным и экзистенциальным основаниям», «от идеи природного человека к идее человека, живущего по заповедям Христа» (Климова С.М. *Л.Н. Толстой: просветитель, преодолевший Просвещение // Философские науки. 2019. Т. 62. № 2. С. 109 – 110*).

А такое повиновение Богу Евангелий, Отцу человека Иисуса и всех верующих людей, сознательных Его детей, разрушает доверие богословам, так или иначе оправдывающим удержание мнимыми, церковными «христианами» в мире государств, вооружений, войск...

В заключительной главе трактата Л. Н. Толстой пишет:

«Я верю в учение Христа и вот в чём моя вера.

Я верю, что благо моё возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне всё-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашёл дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа даёт мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.

[...] Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором рождаются дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.



Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня во зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишавших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю своё благо, а потому я и не могу делать того, что губит моё благо. В этом и в этом одном вся моя вера» (23, 453 – 454).

И далее Лев учитель, исповедник Христа, перечисляет те соблазны: гнева, похоти, клятвы, противления и враждования — которые мешают человеку удержаться в этой благодати, а мир Божий — в необходимом ему покое от вражды, драк и войн человеческих.

Присмотримся же к самым этим «малым заповедям», которым разбойничьи гнёзда воюющих и палачествующих государств, таких, как нынешняя, 2022 – 2023 годов, путинская Россия, норовят противопоставить, как чему-то якобы неполноценному, свои спекулятивные, нравственно гнусные законы.

В главе Пятой духовного слова к современникам и потомкам, книге «В чём моя вера?» Лев Николаевич доносит до нас:

«Христос говорит: я не пришёл нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришёл научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом Бога ваши учителя-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению» (Там же. С. 336).

Для христианского сознания важнее всего следование познанной воле Отца, Бога. Не во внешних поступках, как войны, революции, казни, а — прежде всего, в сознании. Удержание тех смирения и страха Божия (то есть страха перед *своими* грехами, *своим* нарушением воли Бога), того *состояния сознания*, которое обозначено известными *блаженствами*, открывающими Нагорную проповедь Иисуса Христа (Мф. 5: 1 – 12). Это состояние **доверия Богу, смирения и блюдения себя** — основа основ: оно открывает для личности христианина и для общности его единоверцев (Церкви) возможность исполнить «малейшие заповеди», которые, на основании евангелия,

изложены в книге Л. Н. Толстого — применительно к помехам-соблазнам. Сама их последовательность неслучайна, обратим внимание:

**Первая, Мф. 5: 21 – 26.**

<sup>21</sup> Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьёт, подлежит суду».

<sup>22</sup> А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.

<sup>23</sup> Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

<sup>24</sup> оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдй прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

<sup>25</sup> Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

<sup>26</sup> истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».

Уже эта «малая заповедь» выводит нас к теме войны, хотя она касается преимущественно личных отношений двух и более человек и мотивирует христианское сознание личности к тому, чтобы никого, ни одного человека, не считать «ниже», ничтожней себя, человеком «пустым» («рака») или сумасшедшим («безумным»). Действительный сумасшедший, с позиций христианского понимания жизни, достоин увещания, а неменяемый — сожаления, бережения от зла в нём самом, но никак не расправы. Их грехи, их порочность, их слабости — это их и общая (Церкви) беда, но никак не повод к осуждениям, к обвинениям и расправам.

Первая заповедь открыто, из уст самого Христа, запрещает уже первым, ранним христианам, жившим в еврейском или языческом мире, пользоваться военными либо судебными структурами государства, а предписывает всякому, кто в общинах Церкви Христа, *мириться лично*, для своего блага восстанавливая, прежде всего, в своём сознании «блаженства» милости, кротости и миротворства. Недостаёт своего слова и влияния — помочь может Церковь, но *никогда* не языческое судилище и не приставы, не полицаи, эта казённая орава мундированных раскормленных уродов!

Все попытки возражать на очевидный вывод о несоотнесимости этой Заповеди с деятельностью судебных систем в России и других

государствах — это попытки людей, не вытряхнувших из своей головы пережитки языческого и еврейского жизнепониманий, обмануть себя и других. Это попытки умозрительно изъять личность осуждающего из социальных контекстов, представить в теории **не-системно** то, что, по сущности своей, всегда сложно-системно.

Правильное же суждение просто: если христианин и общность христиан (Церковь) исключают для себя, как грех, возможность в помышлениях своих, «в головах», *каждый лично*, осуждать, ничтожить человека, желать для него расправы, наказания — они *тем более* не станут, да и просто не смогут, выносить осуждение, греховные помыслы о «наказании», о принуждении кого-то на *системно организованный уровень*, то есть, на практике: пользоваться судами, полицией, охранниками, тюрьмами, военщиной... а вместо этого доверятся воле Бога, *от себя* требуя только смирения и страха (включая осуждение) *своих* грехов (страха Божия). То, что недопустимо и невозможно для каждого отдельного члена общности — тем более недопустимо и не может быть оправдано для всей общности в целом.

Таким образом, невозможны в отношениях истинных последователей Христа даже армии, приготовления к войнам и вооружение для солдатни и полицаев, а не только стычки, и тем более агрессивные нападения.

Недопустимы и неоправданны гнев и деяния его... но при этом, к сожалению — возможны, исходя из особых характеристик сложных систем, а также знаниевой ограниченности и личных свойств их человеческих распорядителей. Но и это было ведомо Богу и Христу Его — и ради этого разрешён учением Христа *праведный гнев*: гнев пророка и обличителя лжи и зла общественного устройства. В обществе христиан, где торжествует авторитет не силы, а именно знания (эпистемос) — этого было бы достаточно для прохождения общественной системой своих кризисов мирно и бескровно: так, как старец Толстой и представлял себе в 1900-х «настоящую» революцию.

По таким идеалам, однако, до невозможности тяжело жить одному человеку христианину — когда нет, как таковой, истинной Церкви. Жить среди хищников, одержимых фобиями и страстями, похотями, характерными для язычников, евреев и безверных. Вот почему Иисус основал Церковь и заповедал ученикам своим сохранить её — конечно, не внешнюю структуру, не иерархию, справедливо изобличённые и проклятые Л. Н. Толстым, а именно *состояние сознания*, убеждения и психический строй, которые должны отличать

их от язычников и евреев. К несчастью, исторически очень быстро (уже во II – III веках) совершилась в Церкви Христа подмена христианского жизнепонимания языческим и еврейским, которая привела к той гибели христианства, о которой писал Толстой в трактате «В чём моя вера»:

«Христианская церковь со времён Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и осветила всё то, что было в языческом мире. Она признала и осветила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.

Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.

Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всём противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа» (23, 439).

**Вторая** малая заповедь (Мф. 5: 27 – 32).

<sup>27</sup> Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй».

<sup>28</sup> А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём.

<sup>29</sup> Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.

<sup>30</sup> И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.

<sup>31</sup> Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную.

<sup>32</sup> А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.

Это малое правило разумной повседневности — так же о межличностном уровне отношений: мужчины и женщины. Для христианского сознания не могут существовать крайности «патриархальности» или «феминизма», а есть только равенство женщины и мужчины, как работников Божьих в мире.

К сожалению, именно в этой заповеди, делающей невозможными похоть и блуд, в сильнейшей степени выразилась реакция еврейского и языческого сознания тех, кто, через века после Христа сперва составлял «канонические» евангелия, а потом толковал их. Перетолковали так, что в христианских странах (не исключая буржуазной России эпохи Толстого) оказались возможны и блядство (проституция), и даже его *системный уровень организации* — знаменитые «билеты» для блядей и публичные дома.

Половая похоть, в сочетании с гордостью своей животной силой, умом, красотой, привлекательностью и пр. — тяжёлый крест. Но если удерживаешь в себе состояние сознания *блаженств, слияния своей воли с волей Бога* и памятуешь Первую Заповедь — то победишь и это, и целомудрие половое станет частью твоей жизни. *Если.*

### **Третья** малая заповедь (Мф. 5: 33 – 37).

<sup>33</sup> Ещё слышали вы, что сказано древним: «не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои».

<sup>34</sup> А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;

<sup>35</sup> ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;

<sup>36</sup> ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным.

<sup>37</sup> Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Заповедь сия предостерегает христианина от того, чтобы выходить из воли Отца уже в отношениях не личности с личностью, а — с общностями *нехристиан*, среди которых приняты обещания и клятвы (включая официальные: клятвы на суде, военные присяги и пр.).

Христианин ни в чём не должен обещаться, делая себя манипулируемым рабом этих людей.

Нельзя, например, у банкира или ростовщика (еврея, православного или любого иного нехристя) брать деньги с обещанием как-то вернуть: кредиты, ипотеки и пр. И этого тоже — не исполнить без предания себя во власть Бога, без доверия Ему, без смирения и страха Божия (страха согрешить). Не будет этого — и завладеют христианином первобытные соблазны и страхи, и повлекут его под длань богачей: дабы купить себе деньгами эфемерное «обеспечение» своей жизни. Повлекут под власть языческого меча и дубинки отправителей государственной власти — ради эфемерной же «безопасности» от других таких же носителей мечей и дубин...

В общинах соединённых в Церковь христиан, не должно быть вовсе счётов, обязательств и денег. Христианское отношение к труду как деятельности не для себя и не для общества, а во славу Божию и к собственности как результату такого труда (всехнего, общего владения общины как материального, утилитарного, хозяйственно-повседневного выражения способа бытия единой Церкви, единого Тела Христова, единого Бога — альтернативного языческой государственности) исключило бы такое самопорабощение.

Не жалея просящему ни рубашки, ни верхней одежды... Но антихристов мир любит *не просить, а грабить* от чужих трудов. Оттоль есть пошло и государство Российское. «Полюдые» древних князей или современная налоговая служба путинской России — всё только формы узаконенного, введённого в *систему* грабежа. Что делать? Только положиться на волю Бога, на спасение от Него. Как может «случай» (?) увести от человека дикого зверя, изготовившегося убить его, отвлечь его внимание — так в мире зла, в мире животной жизни могут таким же Божьим промыслом явиться симпатанты и защитники будущих христианских общин, которые отведут от них внимание системно организованных грабителей (правительств) и сэберегут от грабителей-одиночек, не успевших расстаться с воровскими замашками своих первобытных животных предков. Не важно, как это *будет*. «Может быть и то, что и нас не будет» — ответил бы Толстой. Важно одно: не нарушить страхами своего единения с Богом. Не уступать соблазну в себе и обману внешнему, его разжигающему:

«Обман же состоит в том, что люди вперёд обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме Бога. Я знаю теперь, что самое

страшное по своим последствиям зло мира — убийства на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, — я вижу теперь, что всё оно было вызвано присягой — признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: всё, что сверх простого утверждения или отрицания — да и нет, всё, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперёд, — есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо моё и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, — всё это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не могу уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие» (23, 458 – 459).

Эта христианская трактовка Льва Николаевича в духовном слове «В чём моя вера?» весьма значительна для нашей темы: к ней, наряду с евангельским текстом, уже в 1880-е и начале 1890-х годов апеллировали идейные отказники от участия в военной службе и в войне.

Обратившись к исполнению первых трёх, честно стараясь для этого, легко христианину исполнить и **четвёртую** малую заповедь (Мф. 5: 38 – 42):

<sup>38</sup> Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб».

<sup>39</sup> А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую;

<sup>40</sup> и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;

<sup>41</sup> и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

<sup>42</sup> Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Заповедь эта касается уже отношений *крупных общностей* людей, подразумевающую (как и проповедал Толстой) сперва исключение *насилия* как способа *временно необходимого* в мирской жизни противления всему тому, что субъективно атрибутируется личностями и общностями таковых как «злое». А в перспективе же знаниевого и нравственного совершенствования в Боге членов Церкви Его, в перспективе всемирного торжества христианского жизнепонимания — и совершенное непротивление, как идеал, разумеющий, вероятно, могущество человечества отдалённого будущего *сполна предвидеть и предотвращать* то, с чем приходится пока бороться нам, в крайней нужде обращаясь к силе.

Вот что в книге «В чём моя вера?» пишет об этой, значительнейшей в борьбе с войной, заповеди Лев Николаевич:

«Христос открыл мне, что четвёртый соблазн, лишаящий меня моего блага, есть противление злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилием отбирают труд других. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал себе и людям, и всё зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рождён не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо моё и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отставивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен.



И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким — богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права, — всё это стало теперь дурно и низко; всё же, что казалось мне дурным и низким — работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав, — стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребёнка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьёй, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах» (23, 459 – 460).

Как ни пространны эти великолепные отрывки, а их нужно здесь привести. Потому что вот этот, в частности, великолепно изобличает сторонников теперешней разбойничьей войны путинской России в Украине — в массе своей наивно, но агрессивно высмеивающих процитированную Христову заповедь, именуя её, для удобства отрицания, *выдумкой Толстого*, его еретическим «учением непротивления». Собственно сказать, из тех же позиций исходят не одни дилетанты, но, много утончённей по внешности, и казённо дипломированные подпутинские гуманитарии: научные, музейные работники, в кошмарном 2022-м году доказавшие, в массе своей, свои подлость и рептильность, своё *нехристианское отношение к труду* и результатам его. Именно бюджетная подпутинская сволочь в наши дни — основные доносчики, использующие, под личиной патриотизма, полицаев и судилища разбойничавшей России для утоления корысти или личной мести.

Ибо, обратим внимание, Толстой связывает соблазн нарушения заповеди «не противьтесь злему» именно с *отношениями людей в процессе производства и распределения жизненных благ*.

И исторически он совершенно прав! Государства начались с «городов» — в этимологическом исконном значении данной лексемы: ого-

рожденных и укрепленных мест, крепостей. А строились даже древнейшие такие укрепления — не для добра: для укрытия с награбленным вооруженных грабителей и для обороны от ограбленных и от конкурентов в грабеже! Тем нелепее и смехотворней в современной, насквозь разбойничьей и милитаристской России всякий критик Толстого, уверенно судящий о христианском исповедничестве яснополянца, но при этом комфортно проживающий в центрах старого и современного кровавого грабежа: скажем, в Туле, в Москве или Санкт-Петербурге.

Наконец, для отказавшегося от всех системных уровней суда над ближними, всякого ничтожения их; от всякого пользования человеком как средством достижения своих целей (включая половой грех); для победившего похоти и прихоти, а главное страхи, влекущие к князям и толстосумам мира сего, заставляющие обещаться им в данях или служении; для отвергнувшего насилие как негодящий путь борьбы со злом — открывается возможность исполнения и **пятой** малой заповеди (*Мф. 5: 43 – 48*):

<sup>43</sup> Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

<sup>44</sup> А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

<sup>45</sup> да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

<sup>46</sup> Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

<sup>47</sup> И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

<sup>48</sup> Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Это заповедь об *ответании любовью на вражду*. Именно так её исполнение в мирских условиях и нужно понимать — а не так, как трактуют её те, кто желают выставить её неисполнимой: как «заповедь любви к врагам». Для христианского сознания не может быть врагов.

В главе VI книги «В чём моя вера?» Лев Николаевич рассказывает, как пришёл к верному, истинно христианскому пониманию этого малого правила Нагорной проповеди — неразрывно связав её с осуждением Христом войн и военщины. Слово «враг» употребляется

в евангелиях в единственном числе, как и в Ветхом Завете — по той причине, что речь не о враге личном того или иного человека, а о «совокупности вражеского народа»:

«Христос... говорит: вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат.

[...] Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано: «люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов», Христос говорит о том, что все люди причислены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем — врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для Бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; Бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как *язычники*, разделяющие себя на разные народы» (23, 364 – 365).

Актуальное, повседневное практическое приложение этого малого правила очевидно: необходимо «не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим» (Там же. С. 355 – 356).

Дальнейшие комментарии Толстого — для тех уже, кому не свято евангельское слово и кто убеждён, что перетолкование попами и богословами первоначальной Истины в угоду мирскому устройению жизни вернее, нежели прямое значение слов Иисуса Христа:

«Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Ещё труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным — любовь к отечеству, защита, возвеличение

его, борьба с врагом и т.п., — суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, — догадаться, что это так, — ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли всё то, что он сказал нам о нашей жизни, — о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щёку, что надо любить врагов, — что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству, — христоролюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращённые ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, — без ножа, — это осрамлённый человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее. Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев» *(Там же. С. 366).*

Доброю же весточкой для уверовавших Толстой сообщает сведения из сочинения древнего христианского учителя Оригена (Ориген Адаманти; др.-греч. Ὠριγὲνης Ἀδαμάντιος, лат. Origenes Adamantius; ок. 185, Александрия — ок. 254, Тир), указывавшие на отрицательное отношение к военной службе первых христиан *(Там же. С. 367).*

Но не то в веке XIX-м, через 1800 лет после Христа, в православной Российской Империи:

«Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашёлся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учителя церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрёкся от Христа» *(Там же. С. 367 – 368).*

Открытие это перевернуло сознание Льва-учителя, позволив ему уверовать в близость Царства Божьего на Земле, в победу над си-

стемным насилием войн. По открывшемуся ему пониманию, «установление царства Бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, устанавливало это Царство Божие. Царство Бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось царство Бога всем пророкам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому» (*Там же. С. 370*).

А вот что Лев-учитель, Толстой-христианин постановил для нас о «пятом соблазне» в завершающей, XII-й, главе слова «В чём моя вера?»:

«Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишаящий меня моего блага, — есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделение моё с другими народами есть зло, губящее моё благо, — я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо моё связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство моё с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья.

Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая своё воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите

добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного Отца, и будьте так же, как и Отец, то есть не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения.

Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким — любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служением им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей, — всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным — отречение от отечества, космополитизм, — показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств — ни в таможенных или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это» (23, 460 – 461).

Мимоходом заметим, что в этом тексте содержится, в числе прочего, и ответ тем рашистским, путинским спекуляторам, которые уловляют Л. Н. Толстого на «непоследовательности в пацифизме» (глубже пацифизма они не способны ничего понимать) на основании его сочувствия к солдатам, например, русско-японской войны и сожаления о сдаче, в ходе этой войны, крепости Порт-Артура. Отчасти это было у Толстого «в минуту забвения», духовной слабости, характерной для *живой* веры, отчасти же — по соболезованию народу, главной жертве преступной войны. Думается, в наши дни, совершенно не в ущерб христианской вере своей, Толстой, кроме такого сочувствия, желал бы скорейшей победы маленькой Украине, обороняющейся от огромного соседа, бандита и террориста — совсем как маленький библейский Давид от великана Голиафа.

А вот что, как христианский идеал, постановлено в книге «В чём моя вера?», по отношению даже к оборонительной войне:

«Придёт войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь всё, смущавшее меня прежде, показалось радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все — люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им, и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину только для того, чтобы показать её тем, которые не знают её. Показать же её им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.

Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе всё то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком или дикарём. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают её. Свидетельствовать же он может не иначе как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи — христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдётся такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклухо-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких, и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро. Если же хри-

стианин живёт среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилем, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать её другим и — более всего — близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая все другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли Бога, и ничего не страшно, кроме отступления от неё.

Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию — ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий её, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими её. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабёж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми, заблудшими и лишёнными знания истины. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном всё дело жизни христианина и весь смысл её, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплочённую массу. Сплочённость этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана» (23, 462 – 464).

То есть и ложь, прикрывающая и оправдывающая насильнический строй общественной жизни, тоже образует в лжехристианском мире



свои «сцепления», системные формы, отравляя общественное сознание.

Велики в наши дни эти «сцепления обмана» в головах и в поведении людей, поддерживающих в России и ряде стран, не расставшихся с имперским ресентиментом и традиционалистской архаикой — по отношению к деятельности путинской России как международного преступника: агрессора, палача, террориста, вандала.... Но велико и слово Бога, Иисуса и Льва, служащее разрушению «сцепления обмана»!

Как не может быть «рака́», предназначенных для казней, тюрем, телесных расправ, так для христианского религиозного понимания жизни нет и не может быть и «врагов» для военного нападения. Есть только люди, в той или иной степени невежественные и омрачённые. Соответственно, и путь исправления для большинства — учение, наставление, просвещение. Пресловутых же «неисправимых» в подлинно христианском обществе было бы *слишком* видно, чтобы можно было бояться их поступков. Так как весь мир Божий, вся вверенная Свыше человечеству планета Земля — одна всехняя, общая мастерская нашего труда во славу Отца, то в ней всегда найдутся места, где в *достойных человека* условиях, пусть и под контролем опекунов, могли бы жить самые «неизлечимые», непригодные для общего труда Всевышнему. В сказке Н. Носова о страшном антимире жителей Луны (в котором можно опознать много черт буржуазной России) был т. н. Дурацкий остров, куда, отлавливая на улицах, отправляли социально слабых, неблагополучных (а заодно и оппозиционно настроенных к режиму) обитателей лунных городов. Остров, находясь на котором, они деградировали в сытом безделье и погибали. Значит, не в злом антимире (в котором, повторим, читатели легко опознают многие черты сходства с современной путинской Россией), а в *мире Божьем* может быть и *человечный* остров, остров торжества христианского милосердия и заботливой любви к таким людям.

Потому что нет вообще ничего «неизлечимого» или «неисправимого», а есть — *неумение* людей, созданное ими же: тем, что люди, миллиарды людей, считавшие и считающие себя «хорошими», не преступными и здоровыми, *две тысячи лет после Христа*, не исполняя его учения, тратили основное время жизни, основные силы и средства

не на познание и совершенствование мира и самих себя, а на обслуживание страстей и фобий — своих и чужих. На глупости и гадости, такие, как скопление богатств, торговля, война... Оттого и нет ни у интеллектуальной, ни у властной элиты любого общества, не говоря о простецах, умения одолеть заблуждения и страсти в других, но досаду за это, катализируемую ненавистью и страхами — неверно переносить с себя на «врагов», расчеловечивать их в своих «хороших» головах, чтобы оправдать траты украденных у трудящегося народа средств на свою «обеспеченную безопасность», а заодно на военный разбой.

Каждая из «малейших заповедей» Христовых, по существу своему, *отменяет* некоторое правило из древнего Моисеева закона. И самая первая — как раз отменяет осуждение и приговоры посредством судов: «не убивай, кто же убьёт, подлежит суду» (Исх. 20: 13). Не только нельзя христианину приговорить человека к казни, к смерти, но нельзя и того, как мы сказали, что между язычниками, рабами зверя (звериных, животных атавизмов своей психики) приводит к внесудебным расправам, дракам... даже просто к осуждению согрешившего человека.

Осуждать можно и нужно — сам порок, грех. В этом праведный, разрешённый Христом гнев: гнев учителя и пророка. Тем более осуждать, бороться ненасильственно, словом, можно и нужно с *системными формами*, которые в общностях мнимых «христиан», адептов «исторически сложившихся» церковью лжехристианского обрядоверческого идолопоклонства, принимают их грехи и пороки. Драка в усложнении, в системе и организации — это война. Война в латентной, системно-вариативной форме — это торговля и всякая конкурентная борьба в обществе. Наконец, бытует и желание индивидов мстить, осуждать и наказывать, но подло, не подвергая себя, своей лично жопы, опасности на поле военного ристалища. Будучи возведено в состояние системы, организации, оно множит суды, тюрьмы, казни... Любители возражать на это обличают себя уже тем, что допускают в своих общностях, *помимо* официоза, ещё и периодически совершающиеся самосуды, избиения пойманных «преступников», пытки в полицейских и тюремных узилищах... А в условиях путинского террора в Украине судилища невинных, протестующих против войны, равно и пытки и казни, в том числе бандитские, во все без суда, стали обыденным явлением как на территории разбой-

ничьего гнезда с самоназванием «Россия», так и на временно оккупированных этим государством территориях Украины. Всё это красноречиво подтверждает правоту Л. Н. Толстого в его обличении *суеверия насилия* с позиций христианского понимания жизни.

Человечество XX – XXI веков своим потенциалом разрушения и самоуничтожения уже настолько вышло из юного возраста, что держаться за отжитое, древнее, языческое и еврейское, общественно-государственное жизнепонимание — не только вредно, но и опасно для всех. Яснополянский Лев поэтому, Толстой-христианин — не менее Луки евангелист и не менее Христа спаситель мира.

Уже одной Нагорной проповеди достаточно, чтобы понять, за что возненавидели Христа книжники и фарисеи еврейские. За что его приговорили к смерти. (И за что выжили из дома в осенний холод, в погибель «добрые» жена и детки старца Льва Толстого, а потомки выживают самый дух Толстого своей деятельностью в Ясной Поляне-музее.) Он именно, что *отменял*, на словах и на деле, древний еврейский закон, закон Моисея — но не оставляя своих учеников без руководства, а давая закон новый, более соответственный вечному, Божьему закону для разумных существ разных миров. Тому же учил и учеников своих, апостолов.

Эти обстоятельства косвенным образом указывают и на живой, практически применимый характер учения Христа. Толстой посвящает доказательствам трудности, но исполнимости его особую, Десятую главу трактата.

В начале главы — критика ложной веры нашего мира, веры доверия попам и богословам, потакающим и даже льстящим порокам человека:

«Мы составили себе ни на чём, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни» (23, 411).

Пилатово вопрошание ко Христу: «что есть истина?» — это и вопрошание секуляризованного современного общества, в которой многие уже давно не имеют религиозного руководства жизнью, «единого на

потребу». Человеку мира остаётся только «признать освящённую религией беззаконность жизни», а учение Христа — слишком трудным и даже неисполнимым (*Там же. С. 412 – 413*).

Но Бог не фраер, и учение Христа призывает не к мучительству в монашестве, бегстве от мира, но и не к самообманам мирских людей — настаивает Толстой. Ученики Христа будут в мире радоваться более соблазнённых миром — даже если их и будут гнать злые люди (*Там же. С. 415 – 416*).

Рабы же и прислужники мира — мученики учения мира и таких же, как они. Пространно сопоставляя их положение с теми, кто выбрали бы путь Христа, Толстой наглядно, осязаемо даёт понять всё благо последования религии высшего, актуального понимания жизни:

«Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжёлые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенёс и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил все эти несчастья: во имя учения мира или Христа?

Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа...

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесённых мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжёлые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — всё это есть мученичество во имя учения мира.

[...] Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что всё, что мы переносим для него, необходимо.

Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо» (*Там же. С. 416*).

Для рабов и прислужников мира, констатирует Лев Николаевич, часто ограничены либо недоступны «главные условия земного счастья»: общение с природой, «любимый и свободный», здоровый труд, семья — с детьми, общение с людьми — без границ статусов и сословий и, наконец, «здоровье и безболезненная смерть» (*Там же. С. 418 – 422*).

А такая картина общей жизни непременно выводит автора к теме антивоенной. Это, кстати, и о том, что происходит в нашем 2023-м году в России:

«Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной — Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идёт. [...] Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполетах, которому это взбрѣдет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружьѣ и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут.

Побросав семьи, родителей, жѣн, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом — зачем? и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно» (Там же. С. 422).

Внушаемое с детства, лживое в своих корнях и всех плодах «учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа» — перед таким выводом ставит яснополянец своего читателя. Мучеников за веру Христа традиция насчитывает за 1800 лет до 380 тысяч — то есть, как минимум, «на одного мученика Христа придётся тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее» (Там же. С. 423). И если цивилизованный мир уже не склонен делать мучеников из христиан, то число современных мучеников мира отнюдь не убывает:

«Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти. Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, — отказаться от того, чтобы идти на войну, — и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне» (*Там же*).

Учение Христа первоначальное, возвращённое миру Львом Николаевичем Толстым, приводит принявшего его сердцем, полюбившего Христа, неизбежно к «тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира» (*Там же*). Люди, совращённые вляпанной в мирскую жизнь и грязь самозванкой во Христе, церковью, никогда и не пробовали жить по учению Христа. Корень зла — в их безверии, ставящим их в незащитное положение перед соблазнами и страхами, вызывающими на борьбу с другими людьми:

«...Человек, живущий по его <Христа. – Р. А.> учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живёт всякий человек.

Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, всё наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьёзно обеспечивающим нашу жизнь.

Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь.

Ведь всё, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видеть, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем

мы всё — всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остаётся.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что *жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена*» (Там же. С. 425 – 426. Выделение наше. – Р. А.).

Этот самообман характеризует поведение не только личностей, но и крупных общностей людей, целых народов, и становится причиной войн:

«Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы» (Там же. С. 426).

Наконец, Толстой называет и характеризует, в завершение Десятой главы великой книги своей, *важнейшее* то, что несомненно установило бы между людьми мир: христианское отношение к труду и распределению его результатов, основанное на евангельском постулате, что «трудящийся достоин пропитания»:

«Быть бедным, быть нищим, быть бродягой (*πλοχος* значит бродяга) – это то самое, чему учил Христос; то самое, без чего нельзя войти в Царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле.

“Но никто не будет кормить тебя. и ты умрёшь с голоду”, говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрёт с голоду, Христос ответил одним коротким изречением (тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства) (Матф., X, 10; Луки, X, 7).

Он сказал: "Не берите: ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха; ибо *трудящийся достоин* пропитания". "В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо *трудящийся достоин* награды за труды свои".

*Трудящийся достоин* (*ἐξεδι*) слово в слово значит: может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение; но для того, кто поймёт его так, как понимал Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеющий собственности, умрёт с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо

прежде всего отрешиться совершенно от сделавшегося, вследствие догмата искупления, столь привычным нам представления о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, то есть казённое место, или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своём представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека, неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает. И потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берёт себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть речи.

Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде — в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа; по учению же Христа: работа — труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу — это вечный круг: одно — следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него, будет кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, то есть будет содействовать тому самому, что составляет благо человека.

"Сын человеческий не для того пришёл, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих". По учению Христа, каждый отдельный человек, независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймёт своё призвание — не



требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, то есть не может не получить его. Словами: человек не затем живёт, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других, Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека, а словами: трудящийся достоин пропитания, Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди неисполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает своё пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование.

При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, не трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, то есть трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллионы людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим.

Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно, он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут; как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен?

Но больной человек, человек с семейством, с детьми не нужен, не может работать, — и его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажут это, они и говорят это, и сами не видят того, что они сами, говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа, — исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболевает. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу; они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы; так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболевает, и как же не найдут сильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?

Они не только будут делать это, но они это самое и делают. Девять десятых людей - чёрный народ - выкармливаются одной десятой не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живёт эта одна десятая, как ни презирает она остальных 9/10 людей, эта одна десятая сильных никогда не отнимает у 9/10 нужного пропитания, хотя и может это сделать. Она не отнимает у чёрного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта 1/10 сознательно работает на то, чтобы 9/10 кормились правильно, то есть могли бы выставлять как можно больше работы, и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи — и те плодят и воспитывают своих дойных коровок; так как же людям не делать того же: плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны. И те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились.

Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретённое, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны; но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без призрения.

*Человек не затем живёт, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить.*

Это — истины, подтверждаемые жизнью всего мира.

До сих пор, всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал трудящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного — избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать

как можно больше и получить как можно меньше? И насколько ещё будет счастливее его положение, когда вокруг него ещё будет хоть несколько, а может быть, и много таких же, как он, людей, которые будут служить и ему.

Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потратить всё каждый для себя, но когда они будут делать как научил их Христос на берегу моря.

Надо было накормить тысячи людей. Ученик Христа сказал ему, что видел у одного человека несколько рыб; у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, пришедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. (То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех четырёх Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле.) Если бы Христос не сделал того, что он сделал, то есть чудо насыщения тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были запасы, съели бы то, что у них было, съели бы всё через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на ядущих, а может быть, некоторые из них утащили бы у запасливых, и произошли бы ссоры и драки, и одни пошли бы домой пресыщенные, другие — голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходит в нашей жизни.

Но Христос знал, что он хотел сделать (как и сказано в Евангелии), он велел всем сесть кругом и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда вышло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, то есть своё предлагали другим, то все ели в меру, и когда обошли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось ещё много хлеба, так много, что собрали 12 корзин.

Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека. И труд же даёт благо че-

ловеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека.

"Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду", — говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть.

Ведь всякий человек, как бы он ни жил, — по учению ли Христа, или по учению мира, — он жив только трудом других людей. Другие люди и уберегли его, и вспоили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира, человек насилием и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же бережён, вскормлен и вспоен другими людьми; но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем, и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека, насилием заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его, как ненужного. Но всегда все люди, как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них» *(Там же. С. 427 – 432).*

\* \* \* \* \*

Слово духовное, христианское Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «В чём моя вера?» имело долговременные и бессчётные последствия не только для миллионов обитателей нашего лжехристианского мира, жертв, рабов и корыстных прислужников садо-некрофильской цивилизации, не только для целых стран, первая же из которых Россия — но и лично для Льва Николаевича и членов его семьи. Со времени нелегального распространения в 1882 – 1884 гг. этого сочинения в среде тех, для кого запретный плод особенно сладок, то есть юных и учащихся, Толстой стал превращаться в персону «публичную», начиная от Москвы, куда «вытянула» его, как мужа и отца, Софья Андреевна в 1881-м и где он проводил обыкновенно с семейством зимние месяцы, и до международной славы — к несчастью, уже не только писательской, а и скандальной «еретиче-

ской», проповеднической. Это заблуждение не побеждено по отношению к Толстому-христианину и до нашего времени: например, когда устроенные, в пропитанной коррупцией сверху донизу России, по благу и за взятки в толстовских музеях в Москве и Ясной Поляне, экскурсоводы (или иные такие же казённо-бюджетные подпутинские шлюхи) презентуют Толстого посетителям, как «чудака, выдумавшего собственную религию». Эта неправда восходит именно к первой половине 1880-х, когда такая же легкомысленная, пропитанная мирским развратом городская сволочь каковы теперешние бюджетные, дешёвые дряни-шалашовки в музеях Москвы, Тулы и Ясной Поляны, не только чесали о нём языки, но и, самые наглые, специально наведывалась в хамовническую усадьбу Толстых, чтобы поспорить со «свихнувшимся чудаком», а то и намеренно подразнить его.

Но были среди читателей, адресатов писем, посетителей и настоящие Львята яснополянского исповедника Христа. Неумелость первых общинников и позорная недолговечность аграрных общин, основывавшихся в 1880-е, а в Европе и Штатах и в 1890-е годы преимущественно развращёнными городским и лжехристианским воспитанием, неспособными к коммунитарной жизни и к крестьянскому, сообща, труду молодыми интеллигентами ставится обыкновенно в позор и вину и им, и самому Л. Н. Толстому — и напрасно! Позднейшие общины, в которые, помимо порченных интеллигентов, вливались, словно специально для примера им и для перевоспитания, и опытные, запойные в труде крестьяне, были настолько жизнеспособны, что продержались в России, под ударами ненависти от большевистского режима и завистливой злобы от колхозных рабов, до 2-й половины 1930-х гг. В Европе и США общины, восходящие своей историей к «толстовскому» христианскому движению, сохранились до сего дня. Общей же внутренней причиной их развала либо буржуазного вырождения было забвение потомками первых общинников и новыми членами *основания* их общего приятного сожительства — необходимого последования первоначальной, евангельской, *вере Христа!*

Значительно более устойчивым в свободном мире XX столетия, а в XXI-м даже и в России, оказалось апеллирующее к «В чём моя вера?» и другим, в том числе сугубо антивоенным, манифестам Толстого движение *отказников от военной службы*. Оно и понятно: для того,

чтобы осуществить общинный идеал Толстого, молодым людям требуется основательно изменить и себя, свои предпочтения, и внешний образ жизни — в любом случае, даже не покидая города, распрощаться с его греховными прелестями и заманками, выбрав, теоретически *на всю жизнь*, аскезу и физический труд, да кроме того, главное — *именно христианское* отношение к труду и его результатам, то есть нестяжание и, как следствие, конфликт с мирскими стяжателями власти и богатств, то есть с алчными хозяевами чужих жизней и элитами *любого* государства. Непризнание же частнособственничества расширит круг враждующих с тобой и до большинства простецов — с детства обманутых и развращённых мирской ложью и собственными греховными влечениями. В случае же с отрицанием «обязанности убивать» лукавцы пользуются наличествующим, принятым, что называется, «из рук» этих же самых элит, законодательством, имеющим подходящие для них установления даже в современной фашистской, рашистской, путинской России. Но как только возраст и собственное мирское положение обеспечат им хотя бы относительную безопасность от призыва и службы армии, весь «пацифизм» и происходящие отчего-то с этих, якобы пацифистских, позиций, симпатии их к исповедничеству и проповеди Льва Николаевича, пацифистом никогда не бывшего, у этих путёнышей, часто даже атеистов, и почти всегда наглых и хитрожопых выщенок — осыпется в трусы, как ни бывало! «Как рукой снимет» — именно так!

Совершенно не та ситуация была в имперской, православно-традиционалистской России, где, в отличие от России бандюжьей и изуверской, путинской, ещё искренне верили многие, от генералов до простого призывного солдата, в сакральность царской власти, при которой обязанность «государевой службы» была сродни обязанности по отношению к Богу. С отказниками, уверовавшими Христу и Льву, в отличие от более знакомых сектантов духовно-рационалистического толка, как молокане или духоборы — просто не знали, что делать. Законодательство не предусматривало индивидуального, заданного именно христианским исповедничеством, отказа — не от имени «своих» церкви или секты! Как следствие, «упорных в заблуждении» тётя родина неизбежно превращала в мучеников.

Тема общения Л. Н. Толстого с отказниками именно из его Львят, то есть отказавшихся идти по призыву в войско именно в связи с влиянием его сочинений и главнейшим, по влиянию в интеллигентных кругах, духовным словом «В чём моя вера?» — отдельная огромная

тема, для отдельной книги. Предупредим читателя, что на страницах именно этой книги он может не найти множества известных ему сюжетов, ибо посвящена она, по преимуществу, художественным и духовным писаниям, а также публицистическим антивоенным выступлениям Толстого — публичным. А далеко не все письма Учителя Льва ученикам своим во Христе становились не только «открытыми», то есть, согласно с автором, опубликованными в печати, но и сколько-нибудь известными в исследуемую эпоху.

Но на одном сюжете здесь же, ниже, нас принуждает остановиться сама логика разработки заданной темы, по причине, значительности данного события для Льва Николаевича, как *первого отказа* от участия в военной службе именно *его* искреннего, убеждённого духовного ученика.

Случай этот, из 1885 года — скорее, семейная история: Толстой ещё не сделался публичным нравственным авторитетом в той степени, чтобы надеяться (как, скажем, через десятилетие в деле эвакуации из России сектантов духоборов) на быструю мобилизацию «команды поддержки» в России или за рубежом.

Случилось вот что. В этом же 1885 году чрезвычайно энергичная супруга писателя, Софья Андреевна Толстая, начинает огромное по значению не только семейному (ради необходимых семейству доходов), но и культурному, издательское предприятие. Как следствие, она расширяет круг полезных знакомств и актуализирует необходимые поведенческие приёмы — необходимые для всякого делового успеха. Попросту сказать, становится смелее и наглей. Это было в её характере — по наследству от лютеран немцев, её предков через отца, обрусевшего немца Андрея Берса. Не раз в будущем, начиная с этого же 1885 года, это поможет её аристократичному воспитанием и слабому в деловой «хватке» супругу!

Вот пример, как вдруг проявился полезный в бизнесе характер верной спутницы Льва. 19 ноября 1885 г. С. А. Толстая приезжает из Москвы в Петербург, где останавливается у своей сестры, Татьяны Андреевны Кузминской. Главная, деловая цель поездки была: получить цензурное разрешение на издание заключительного, 12-го, тома Полного собрания сочинений Льва Николаевича — с уже набранными в печать текстами «Так что же нам делать?», «В чём моя вера?» и других новейших на ту пору сочинений, которые должны были усилить интерес публики ко всему изданию и повисить его

продажность. С этой целью Софья Андреевна намеревалась посетить тогдашнего начальника Главного управления по делам печати Евгения Михайловича Феоктистова, а если понадобится — то и министра внутренних дел гр. Дмитрия Андреевича Толстого. Предприятие было почти наверняка обречено: на эти сочинения Толстого действовал цензурный запрет. Но попробовать-то стоило!

В мемуарах «Моя жизнь» Софья Толстая не без удовольствия вспоминает:

«20-го ноября я отправилась к Феоктистову и повезла набранный корректурный экземпляр XII тома Полного собрания сочинений. Он взял его и приехал ко мне на другой день сам с ответом, что он XII том посылает в духовную цензуру, что всё зависит от Победоносцева, что мне незачем обращаться к министру, а что сам Феоктисов, посоветовавшись с своим главным цензором и прочитав XII том, будет лично хлопотать в духовной цензуре. При этом он мне рассказал следующее:

“На наше горе, в Киеве задержали целую шайку революционеров, нашли все запрещённые сочинения Толстого и тайную типографию”» (МЖ – 1. С. 493).

Сколько тут правды — трудно сказать. По всем вероятностям, какие-то оппозиционно настроенные пропагандисты действительно уже в то время стали использовать духовные, христианские писания Толстого для своих политических задач. Сами радикалы не уважали и не признавали веры отче Льва — и надеялись, что жертвы их пропаганды, под их влиянием, так же будут воспринимать религиозные писания Толстого как «социалистические», критические в отношении наличествующих правительства и общественного строя. К сожалению, такая тенденция станет позднее постоянной в обезбожившей России и вызовет ряд недоразумений в осмыслении духовного наследия Толстого-христианина в научной и публицистической мысли, отчасти не преодоленных и до сего дня.

Конечно, несмотря на внешне сочувственный тон, Феоктистов всей своей беседой, и особенно последним рассказом о поимке якобы «толстовствующих» революционеров намекал Софье Андреевне, что правящий режим не только не намерен, в подобных обстоятельствах, давать цензурные поблажки Толстому, но и недоволен её участием в судьбе запрещённых к печати сочинений её супруга. Более ярко, не завуалировано, это было дано понять ей во второй беседе с Феоктистовым уже 27 ноября.



Вот какие характеристические подробности рассказывает в мемуарах Софья Андреевна Толстая о личной встрече с верховным цензором:

«Швейцару я солгала, что мне в этот час назначено свидание... Делать нечего, отправился докладывать. Феоктистов принял меня довольно любезно, сказал, что не может разрешить “Исповедь” и “В чём моя вера?” и что надо обратиться в духовную цензуру. «Ну, а статья “Так что же нам делать?” и “Сказка об Иване-дураке”?» — спросила я его. «Я этого не читал», — сказал Феоктистов. «Неужели? — удивилась я. — Вы не считаете нужным прочесть Толстого, так как же вы относитесь к простым смертным?» Горячо говорила я и, помолчав, прибавила: «Где вы, Евгений Михайлович? Тот Евгений Михайлович, которого я знала в Москве весёлым, убеждённым либералом, на всё открытый, всем интересующийся?» — «Что ж, испортился я, графиня?» — спросил он меня с какой-то болезненной улыбкой на его неподвижном лице. «Разумеется, испортились, и как это жаль!» (МЖ – 1. С. 495).

Одногодок Л. Н. Толстого, давний знакомый Софьи Андреевны, Евгений Михайлович Феоктистов помягчел при этом напоминании о молодых годах, и... согласился прочесть и дать решение по тем сочинениям Толстого, которые *не* нужно было отсылать к Победоносцеву. По трактату Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?» решение было паритетным: чиновник «отметил довольно нелепо и смешно места в статье <которые подлежали цензуре. – Р. А.> и прислал книгу на другой день, с письмом, что в таком виде её можно печатать» (МЖ – 1. С. 495).

Но отправка прежде запрещённых сочинений в духовную цензуру всё же была равносильна отказу. Подтверждение запрета становилось формальностью. К. П. Победоносцев, безусловно и общеизвестно, был в отправлении служебных обязанностей неколебим и перед женскими чарами. И всё же...

Соня в тот же день, 27 ноября, нанесла визит и к Победоносцеву!

И отобрала у главного «духовного» цензора *моральную* победу — примерно, как Украина у путинской России осенью 2022 года!

Вот подробности из книги «Моя жизнь»:

«В тот же день, когда я была у Феоктистова, в 4 часа мне назначил приём и Победоносцев. Поехала я к нему. Встретил меня у двери, ввёл в огромный тёмный кабинет и пригласил сесть в огромное ко-

жаное кресло. Сам он не сел, а высокая, сухая фигура его с серьёзным, недобрим и совсем выбритым лицом остановилась передо мной.

Он выслушал мои просьбы и аргументы по поводу запрещённых статей и начал быстро ходить из угла в угол, доказывая о невозможности разрешить религиозные сочинения Толстого. Я упомянула о сделанных священником Иванцовым-Платоновым комментариях и объяснениях на статьи Толстого, и, по-видимому, это ещё более озлило Победоносцева. Он сказал визгливым, недовольным голосом, что замечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют, а увеличивают силу впечатления.

Между прочим Победоносцев мне сказал, остановившись передо мною и глядя мне в упор в глаза:

— Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женою такого человека.

— Вот это для меня ново, — ответила я. — Не только я считаю себя счастливой, но все мне завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека.

— Должен вам сказать, — говорил Победоносцев, — что я в супруге вашем и ума не признаю. Ум есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и углы.

— Может быть, — отвечала я. — Но Шопенгауэр сказал, что ум есть фонарь, который человек несёт перед собой, а *гений* есть солнце, затмевающее всё.

На это он ничего мне не сказал, а мне это так понравилось, что я это и в письме ему потом написала» (*МЖ – 1. С. 495 – 496*).

Высокий в миру чиновник был морально побеждён, хотя на книгу «В чём моя вера?» и был подтверждён им безусловный запрет.

«Разогревшись», Соничка уже не хотела тормозить! Дожидаясь официальной бумажки с уже неинтересным ей «приговором» от Победоносцева, она помогла в решении дел ещё несколькими лицам: например, «пробила» для сестры Татьяны публикацию в журнале «Вестник Европы» рассказа собственного её сочинения — «Бешеный волк».

А очередным «клиентом», о деле которого пришлось срочно хлопотать в эту же поездку — был, очень привычно для супруги, драгоценный Лев Николаевич. Он «достал» Софью Андреевну в Питере, написав из Москвы 20 ноября письмо (*см.: 83, 529 – 530*) с изложением возникшей проблемы.

Жили-были на свете два брата-дворянина, из рода Залюбовских, именами Анатолий и Алексей. Старший, Анатолий — умный был дедина (в мирском понимании), и сделал блестящую карьеру военного, став офицером в Артиллерийской академии. Младший же, Алёша, человек Божий, успев на заре туманной юности прочитать запрещённое, сладко-притягательное сочинение Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» — уверовал, благодаря Льву Николаевичу, в учение Христа и, на основании известного текста Евангелия, в январе 1885 г. *отказался от воинской присяги* (как разновидности запрещённой Христом клятвы). Будучи за то к злодеям причтён, юноша мученик Алексей был отправлен с гауптвахты, вместе с прочими ослушниками военно-армейских установлений, в том числе с уголовниками, в дисциплинарный батальон. В Закаспийскую область, находившуюся в те годы «в исключительном положении» по отношению даже к военным законам Российской Империи. То есть, в отличие, скажем, от печально известного солдата Василия Шабунина, которого Л. Н. Толстому не удалось спасти от военного суда и расстрела в 1866 году, Алёшеньку, Божьего человека, могли за неповиновение просто-напросто расстрелять без суда — на месте.

Для Толстого это был первый случай мученичества единомышленника во Христе, связанный именно с его влиянием. И — один из немногих случаев в тогдашней России... Понимая всю опасность положения, он посылает ближайшему другу В. Г. Черткову, его тётке, влиятельной графине Шуваловой, П. И. Бирюкову, В. В. Стасову, и, конечно, «дежурной» в таких случаях Софье Андреевне письма с одной и той же мольбой: *спасти юношу Залюбовского*. Главное — нужно было *поднять шум*, дабы тётя «родина», буржуазная и антихристова гадина Россия, не могла прикончить юношу-христианина так, как она всегда любила и любит — подло, трусливо, втихаря:

«Нужно непременно попросить за него; главное затем, чтобы начальствующие знали, что положение этого человека и поступки с ним известны в обществе.

Боюсь, что у тебя много дела, и что ты задосадуешь на меня за то, что я тебе наваливаю это дело. Здесь я не знаю, к кому обратиться» (83, 530).

Откликнулись, так или иначе, все, к кому Толстой обратился в письмах (кроме, кажется, графини Шуваловой). Но только Соне удалось эта, самая настоящая, «операция по спасению»! Первое, что ей нужно было сделать — *успокоить напуганного ребёнка*, сиречь

мужа. 23 ноября, в субботу, она как раз получила передышку в хлопотах и пишет Л. Н. Толстому о Залюбовском следующее:

«Сейчас только встала, и хочу ответить тебе, милый Лёвочка, по поводу твоего письма Залюбовского. Вчера я его получила, и Бирюков тоже получил и пришёл ко мне немедленно. Я нисколько не досаую, и мне времени очень много, так как я теперь жду, пока читают мой том. [...] Мы решили с Бирюковым розыскать брата, артиллериста-академика. Сегодня в час они ко мне придут. От брата мы узнаем, что было сделано, и что ещё осталось — какие ходы. Единственное, что я могу — и что сделаю, поеду просительницей к военному министру, а Бирюков поедет к великому князю Сергею Александровичу, будет его просить».

И, как хорошая, строгая мама, Соня тут же добавляет к сладкому угощению капельку воспитательно-полезного рыбьего жира:

«Мудрёно и мне, твоей жене, хлопочущей о пропуске сочинений, хлопотать о человеке, принявшем это ученье. Когда я думаю, что я скажу министру или тому, кого я буду просить, то единственное, что я придумываю, это что я прошу потому, что меня просили, и что мне больно, что убеждения этого молодого человека, вероятно, истекающие из проповедуемого тобой учения Христа, послужили не к добру, т. е. не к той цели, которую *ты* имел, а к гибели юноши, и потому я прошу смягчить его участь. — Это единственное, что я придумала, а там видно будет» (Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. 1862 – 1910. [М., - Л., ] 1936. С. 339 – 340).

На следующий день, 24-го — Соня добавляет и новостей, и «воспитания»:

«Милый Лёвочка, мы все с таким усердием принялись за дело Залюбовского, что все средства пустили в ход. Не знаю, что выйдет из этого. Вчера у Иславиных барон Гюне обещал [...] узнать для меня ходы к начальнику штаба, Обручеву...

Вчера Бирюков приводил этого брата Залюбовского; но брат тихий, не энергичный и вялый, хотя симпатичный. Бирюков тоже ничего не может.

Гласность этому я придам страшную. Сегодня у Шостак вечер, я еду с этой целью, узнаю ещё кое-что: там пропасть народу будет. Я буду действовать в том духе, чтобы поняли так: “la pauvre comtesse est au désespoir que les idées de son mari ont eu une si triste influence sur le sort d’un jeune homme”, [*фр.* «бедная графиня в отчаянии, что

идеи её мужа имели такое грустное влияние на судьбу молодого человека] и что я хлопочу за этого “jeune homme”.

Таня сестра тоже приняла участие и поедет к одному генералу Бобрикову, которого она знает, начальнику Гвардейского Петербургского штаба.

Вот тебе о твоём деле, милый Лёвочка; мне оно очень больно и неприятно, но я буду действовать с большей энергией, чем о своём, о котором ни слуху ни духу пока» (ПСТ. С. 343 - 344).

Обратим внимание, что дело Залюбовского в письме мужу она именует — его, Льва Толстого, делом. На его совести... Своим делом она продолжала считать цензурные хлопоты о вожделенном 12-м томе.

Лев Николаевич очень дипломатично ответил жене в письме от 25 ноября:

«Очень тебе благодарен за хлопоты о Залюбовском. Разумеется, я не так смотрю, как ты, на всё дело, но ты смотришь так, как оно у тебя отразилось в сердце, и иначе нельзя» (83, 536).

Между тем Соничка, живя в столице, уже очень тосковала по семье и уютному московскому дому, и писала мужу в письме от 26 ноября: «...Чаша моего нетерпения ехать домой переполняется, и я прихожу в нервную и минутами страшно тоскливую тревогу» (ПСТ. С. 347).

Или, в письме от 27-го, последнем в эту поездку:

«Львы мои, большой и малый, как-то ваше здоровье?» (ПСТ. С. 348).

«Малый Лев» — это, конечно, младший в то время сын, Лев Львович, не отличавшийся крепостью здоровья.

Наконец, профессор Академии генштаба Александр Казимирович Пузыревский (1845 — 1904), прежде знавший и любивший только сочинения Мужа (Льва Толстого), был покорён при встрече красотой и манерами Жены, и — «пробил» таки для неё встречу с Николаем Николаевичем Обручевым (1830 – 1904), начальником Главного штаба. Соня не успела описать этот визит в своей переписке. Если же верить мемуарам, и в беседе с Обручевым, встретившим было её с иронией — «дама в военном штабе!» — она снова выказала себя как человек выдающегося ума, психологического чутья, немалых решительности и житейской сноровки:

«Я изложила ему свою просьбу о смягчении судьбы Залюбовского, отказавшегося от военной повинности и находящегося в дисциплинарном батальоне.



Николай Николаевич Обручев. Фото 1898 г.

— Дайте мне честное слово, что вы его не убьёте там, — просила я Обручева.

— В этом я могу вам дать слово, но освободить его — невозможно. Ведь если все будут отказываться, то и войска не будет.

— Этого бояться нечего; религиозных людей очень мало. Я прошу вас смягчить его участь, назначив или писарем, или в больницу. Мне очень тяжело, что вследствие учения моего мужа страдают люди, и вот я и хлопочу по этой причине.

Тут Обручев остроумно и бойко начал говорить об убеждениях, жизни и работе Льва Николаевича.

— Вы, верно, студент Московского университета? — вдруг прервала я его.

— Да, я кончил курс в Московском университете. Почему вы догадались, графиня, ведь я военный? — спросил он.

— Чтоб я не узнала своего, московского, студента! Да я выросла почти в среде Московского университета, люблю его, сама там экзаменовалась и везде узнаю московского студента!

Это рассмешило Обручева. И вдруг — всё официальное исчезло, и мы начали дружескую беседу, окончившуюся обещанием сделать всё, что можно, для Залюбовского, что и было исполнено.

После того, побывав и у родственников и окончив все дела, я отправилась с восторгом домой» (*МЖ – 1. С. 497*).

Кажется, сложно отразить картину нарисовать, не так ли?.. Для справедливости стоит заметить, что Алексей Залюбовский успел “хлебнуть” издевательств в дисциплинарном батальоне до того, пока был переведён в нестроевую службу, и лишь в марте 1887 г. был совершенно выключен из военной службы.

---

### 3. 2. АНТИВОЕННЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ НАРОДА (1885 – 1887)

Ещё допреже утверждения антивоенных настроений Льва Николаевича на христианском религиозном фундаменте, то есть до начала 1880-х годов, Толстой как писатель, педагог и общественный деятель был «народником», симпатизирующим жизни и трудам народа, крестьян. Подобно тому, как всемирная вера христианства адресовывалась самим Учителем Христом прежде всего евреям, своему народу, а уж после — язычникам и всем, кому суждено было спастись, так и Толстой стремился выразить христианское сознание в наидоступнейшем простецам, художественном слове — в серии переработанных им изустных народных легенд, притч и сказок. Недаром едва ли не первой острой критике с позиций церковной ортодоксии — и, кстати сказать, чрезвычайно остроумной, глубокой и талантливой — удостоился рассказ-притча Л. Н. Толстого для народного чтения «Чем люди живы?» (1881). Как мы уже упоминали выше, консервативный публицист и мыслитель Константин Николаевич Леонтьев пришёл к убедительно аргументированному им заключению, что в рассказе выразилось отнюдь не учение ортодоксального православия, а своего рода «розовое» христианство: в котором розовая водица — вместо крови Христа.

Между тем, в изустном варианте, в котором Толстой слышал и записал смутившую Леонтьева легенду со слов заонежского сказителя В. П. Щеголёнка, она значительно сентиментальней, а кроме того “сдобрена” откровенно сказочным элементом. Рассказ же о жизни семьи деревенского сапожника-труженика в изложении Л. Н. Тол-

стого отличается бытовой и психологической правдой. Лишь в заключительных главах правда реального соединяется с правдой условного, фантастического, идеального: выясняется, что спасённый Семёном голый на морозе человек — это Ангел, наказанный Богом за ослушание и посланный им на землю познать Божью мудрость.

В 1885 – 1886 гг. году Толстой создаёт сразу три сказки, затрагивающие уже, в разной степени, военную тему.



Обложка и титульный лист отдельного издания «Посредником» Сказки Л.Н. Толстого «Работник Емельян и пустой барабан». 1906 г.

Тема сказки «Работник Емельян и пустой барабан» (не позднее весны 1886 г.) взята из известного сказочного сюжета, по которому лягушка красавица-девица выходит замуж за молодца, и этим возбуждает зависть в царе; чтобы избавиться от молодца-бедняка, царь задаёт ему трудные задачи, и под конец самую трудную — «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В исполнении этих задач ему помогает жена его. Толстой же добавил жене помощницу — старушку *солдатку*, то есть одинокую мать, вероятно, погибшего



или без вести пропавшего на войне сына, которой — как в наши дни, в путинской России, сотням матерей угнанных в «мобилизацию», то есть в военное рабство, погибших или покалеченных рабов и жертв преступной войны в Украине — *было, за что* ненавидеть злого царя и желать отомстить ему. К ней-то и посылает Емельяна мудрая жена.

Выйдя за город, Емельян встретил учащих солдат:

«Подошёл к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда, — не знай куда, и как принести того, — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто, — говорят, — тебя послал искать?

— Царь, — говорит.

Мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда, не знай куда, да не можем дойти, и ищем того, — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить» (25, 166).

Но вот добрался Емельян до *лесной избушки* безутешной старухи-солдатки, «*мужицкой, солдатской матери*», с явными чертами бабы-яги, вот только — «*кудельку прядёт, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит*» (Там же. С. 167). Показал ей Емельян веретёнце жены, для опознания, и рассказал об издевательствах и домогательствах царя:

«Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно, — говорит, — садись сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот, тебе, — говорит, — клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придёшь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесёшь к царю, он тебе скажет, что не то ты принёс, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо», да ударь по штуке по этой, а потом снеси её к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернёшь, и мои слёзы осушишь» (Там же).

Дошёл Емельян до города, заночевал в доме на окраине, а утро вдруг принесло ему разрешение чудесной задачи:

«Слышит, отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын:

— Рано ещё, — говорит, — успею.

Слышит, — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьёт по ней палками. Она-то и гремит; её-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовётся.

— Барабан, — говорят.

— А что же он, — пустой?

— Пустой, — говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лёг спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришёл домой в свой город. Думал жену повидать, а её уж нет. На другой день её к царю увели.

Пошёл Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришёл, мол, тот, что ходил туда, — не знай куда, принёс того, — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра придти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я, — говорит, — нынче пришёл, принёс, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где, — говорит, — ты был?

Он сказал.

— Не там, — говорит. — А что принёс?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то, — говорит.

— А не то, — говорит, — так разбить её надо, и чёрт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нём. Как ударил, собралось всё войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на своё войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошёл Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку, — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повёл к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить» (*Там же. С. 167 – 169*).

Конечно, такая сказочка сразу, при попытках опубликования, встретила неблагосклонность цензуры. Первоначально главным персонажем тоже был солдат, и сказка в черновике именовалась «Солдат и пустой барабан». По цензурным требованиям солдат был заменён «мужиком», «царь» «воеводой», «солдаты» превратились в «стрельцов», а волшебная и зловеющая *солдаткина мать* — в простую мать «мужицкую». Впервые в России сказку удалось опубликовать в неурожайный 1892 год, в благотворительном сборнике «Помощь голодающим». Имени автора при названии сказки не было, да и на месте самого заглавия стояло одно лишь слово: «Сказка», и лишь к заключению, для пущего обмана цензуры, составители сборника прибавили: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдалённые от нас времена, восстановил Лев Толстой» (*см.: Помощь голодающим. Научно-литературный сборник. М., 1892. С. 587 – 593*).

В сказке «Зерно с куриное яйцо» (1885) разоблачаются те жадность и зависть людей, хищничество до чужих трудов, которые с первобытных времён занимали значительнейшее место среди причин войны. В найденной случайно «штучке» размером с куриное яйцо сперва даже царские мудрецы не могли опознать простого ржаного зёрнышка. Дряхлые старики, и те не могли упомнить такого... Но вот пригласил царь ещё старейшего по летам старожила, не из его придворных мудрецов, а *отца* старейшего из них, передвигавшегося уже с костылём. И явилось вдруг — чудо, с утопической, но, конечно же, очень-очень нравоучительной сказкой о крестьянском «золотом веке»:

«Вошёл старик к царю без костылей; вошёл легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду. Поглядел дед, повертел.

— Давно, — говорит, — не видал я старинного хлебushка.

Откусил дед зерна, пожевал крупинку,

— Оно самое, — говорит.

— Скажи же мне, дедушка, где такое зерно родилось? На своём поле не севал ли ты такой хлеб? Или на своём веку где у людей не покупывал ли?

И сказал старик:

— Хлеб такой на моём веку везде раживался. Этим хлебом, говорит, я век свой кормился и людей кормил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, покупал ли ты где такое зерно, или сам на своём поле сеял?

Усмехнулся старик.

— В моё время, — говорит, — и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать. А про деньги и не знали: хлеба у всех своего вволю было. Я сам такой хлеб сеял, и жал, и молотил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твоё поле было?

И сказал дед:

— Моё поле было земля Божья. Где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли.

— Скажи же, говорит царь, мне ещё два дела: одно дело отчего прежде такое зерно рожалось, а нынче не родится? А другое дело отчего твой внук шёл на двух костылях, сын твой пришёл на одном костыле, а ты вот пришёл и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная? Отчего, скажи, дедушка, эти два дела сталися?

И сказал старик:

— Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить, на чужое стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-Божьи; своим владали, чужим не корыстовались» (25, 65 – 66).

Что это перед нами? Воплощённый в ярких, запоминающихся образах идеал христианского отношения к труду и его результатам — дарующего радостный покой народам и мир земле!

Наконец, в том же 1885 году Толстой создаёт остроненцензурную сказочку, полное именование которой таково: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семёне-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трёх чертенятах». Как явствует из такого названия, Толстой задействовал обычный, простой и изблюбленный мотив народных сказок про трёх братьев — двух хитрых и третьего — простака, а кроме того “подключил” к сюжету и мир inferнальный. Но, пожалуй, этим и ограничивается сходство сказки об Иване дураке Толстого с народной.



Взяв основой своего рассказа трёх братьев народной сказки, Толстой по этой канве даёт в простой, общепонятной форме резкую политическую сатиру. По его собственным словам, приводимым П. И. Бирюковым, в старшем брате, Семёне-Воине, он хотел изобразить идею милитаризма, получившую такое сильное развитие при Николае I, в Тарасе-Брюхане (в некоторых рукописях — Кулаке) дать картину капиталистического строя. «А единый закон Иванова царства:

“у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет мозолей — тому объедки со свиньями”, будет служить вечным обличением паразитизма привилегированных классов» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. Т. 3. М. 1923. С. 23*). Ирония Толстого, по свидетельству биографа, разобидела в особенности людей с мозолями на языке и жопе, именно интеллигентов: они «от большого ума обиделись на эту сказку, видя в ней оскорбление всего мыслящего человечества», зато в народе она «имела большой успех» (*Там же*).

Сюжет сказочки остроумно-затейлив. Было у отца три сына, Семён-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, да дочь Маланья, немая.

Ушёл Семён в город, военным стал. Ушёл Тарас в город, купцом стал. Иван всё на поле работает.

Вот захотелось Семёну половину хозяйства у отца забрать. Иван не стал рядиться, отдал Семёну его долю. Так же и Тарас поступил.

Узнал о том старый чёрт, расстроился. Захотел братьев поссорить и велел этим делом чертенятам заняться.

Первый чертёнок сделал Семёна хвастливым. Похвастал Семён, что кого хочешь победит, и послал его царь на индийского царя войной. Но разбил Семёна индийский царь.

Второй чертёнок сделал богатого Тараса жадным. Стал Тарас всё подряд скупать, в долги залез и разорился.

Третий чертёнок решил Ивану пахать не давать, больным его сделал. Но Иван пашет, на больной живот внимания не обращает. А потом взял и поймал чертёнка. Пришлось чертёнку дать Ивану корешков от всех болезней. Выздоровел Иван, отпустил чертёнка с богом, тот под землю и провалился.

А Семён с Тарасом пришли к Ивану жить. Их чертенята тоже стали Ивана пытаться, косить не давать, да рубить не давать. Но поймал их Иван и получил способности солдат из сена делать, а деньги из листьев.

Наделал он солдат Семёну, а денег Тарасу. Уехали братья, царства себе заполучили.

А Иван вылечил царскую дочь и тоже царём стал. Да только привычку работать не бросил. Да и жена его царевна решила от мужа не отставать и тоже работать стала. Цари да умные из Иванова царства разбежались, а дураки остались мирно, свободно и радостно сообща трудиться.

Узнал про то старый чёрт. Решил известить братьев. Сделал так, что Семён опять войну проиграл, а Тарас разорился. К Ивану чёрт явился, стал ему предлагать народ в армию собрать. Иван не возражает, да вот дураки в армию не идут.

Стал чёрт всем золото предлагать, а дураки взяли немного, и детям, как красивые камушки, для игр раздали.

Подбил чёрт соседнего царя войной на Ивана пойти, а дураки не сопротивляются, только плачут да усовещивают «врага». Плюнули на такую войну соседские солдаты, да и разбежались.

Стал чёрт учить дураков головой работать. Залез на каланчу и стал объяснять, как головой работать. А дураки всё ждали, когда он сам головой работать станет.

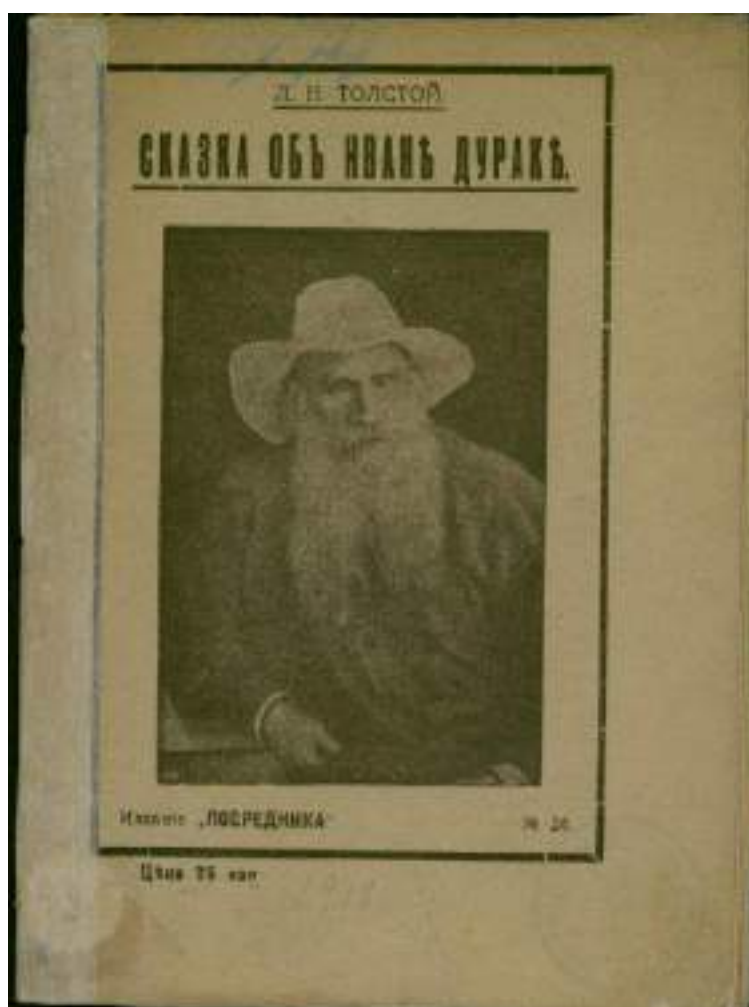
Оголодал чёрт, стал головой о колонны биться, а потом и по ступенькам скатился. Увидел это Иван и сказал, что такая работа головой ему не нужна. Принял братьев обратно и всего у них было вдоволь.

Писание сказки, в начале имевшей короткое название «Иван Дурак», было начато в августе или сентябре 1885 г. С. А. Толстая, обыкновенно сообщавшая своей сестре Т. А. Кузминской все связанные с Л. Н. Толстым интересные и животрепещущие новости, в сентябре 1885 г. в своём письме к ней пишет, что им написана «чудесная сказка»; он «прочёл нам и мы все пришли в восторг». Это была первая редакция сказки. «Теперь, — прибавляет Софья Андреевна, — он её старательно переделывает» (*Цит. по: 25, 715. [Комментарии.]*).

В ноябре 1885 г. С. А. Толстая, приступив к издательскому бизнесу, начала самостоятельно готовить к изданию 5-ое собрание «Сочинений графа Л. Н. Толстого», но сразу столкнулась с цензурой из-за 12-й части, заключающей в себе произведения последних лет. Как мы помним, она решила сама ехать в Петербург с хлопотами перед высшими чиновниками. И хлопотала она, помимо трактатов супруга «В чём моя вера?» и «Так что же нам делать?», и над разрешением для «Ивана Дурака». Добиться такого разрешения удалось лишь к апрелю 1886 года. Тогда же, 22 апреля 1886 г. было разрешено и отдельное издание сказки для народного книгоиздательства Л. Н. Толстого «Посредник». Но на это издание, как народное, цензура наложила свою руку, оберегая будущих его читателей от фраз и слов, могущих внушить им неуважение к царской власти и государственному устройству, говорящих против воинской повинности и военной службы, против податей и иных финансовых обложений

населения — против всего того, что Толстой юмористически называет в сказке «порядками хорошими». Через год, в феврале 1887 года, второе издание сказки в «Посреднике» было целиком арестовано. А в 1892 г. экземпляры первого издания были запрещены к любому распространению — примерно, как в современной России, в 2023 году, антивоенная и иная «экстремистская» литература.

Интересен отзыв о сказке духовного цензора, члена комитета духовной цензуры архимандрита Тихона в 1887 году. «Сказка об Иване Дураке, — говорит он, — проводит, можно сказать принципиально мысли о возможности быть царству без войны, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика — мысли о единственно полезном и законном труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо осмеиваются современные условия жизни: политические (необходимость содержать войска), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)» (Там же. С. 717).





«Досталось» от этой замечательной сказки Льва Николаевича всем, но самой жаркой неприязнью и в наши дни пылают к ней именно «умственники», учёные и прочие казённо дипломированные городские бляди обоих полов, любящие запродать свою, нагруженную знаниями, верхнюю головку очередному халтурному правительству — и разнообразной прозой, а часто и стишками, послужить лживой его пропаганде! С тоскою горбатых, которых исправит лишь могила, узнают они себя в образе побеждённого в сказке народным героем «господина хорошего», обманщика лукавого — чёрта.

---

### 3. 3. «НИКОЛАЙ ПАЛКИН» (1886)

Статья Л. Н. Толстого «Николай Палкин» уникальна своей тесной связью одновременно и с темой смертных казней у Толстого-публициста, и с темой военщины и военного насилия. В этом сочинении, как и в проанализированном нами выше «Проекте о реформировании армии», Лев Николаевич снова, через более чем 30-ть лет, поднимает тему насилия *армейского*, то есть нравов и взаимоотношений людей в процессе производства говна, трупов, сирот, вдов и несчастных матерей. А начальные сцены и образ 95-летнего старика восходит к черновикам первого из Кавказской серии рассказов Льва Николаевича — к «Набегу» и, в значительной степени, к неоконченному «Дяденьке Жданову».

Одно неотторжимо от другого. Верша свои поганые делишки, сволочная тётя «родина», палаческая гадина Россия не жалеет не только военного противника, но и *своих* — всех, кто служит ей, быть может, и полезнейшую службу, но в позиции «невысокой», недобровольной и подчинённой. Это состояние любого общества не развивающегося, архаичного — близкого к первобытному состоянию человека как агрессивного стайного животного.

Наконец, для нас эта статья значительна тем, что она — первое не религиозно-философское, как «В чём моя вера?», а именно общественно-политическое публицистическое сочинение Л. Н. Толстого, в котором выразилась обрётённая им несколькими годами ранее

христианская вера, то есть неприятие войн и казней получило незыблемое религиозное основание.

В апреле 1886 г. измученный московской зимой Лев Николаевич вырвался по первому теплу на несколько дней своеобразной мужской, «холостяцкой» вольницы: он решил дойти из первопрестольной до Ясной Поляны пешком — захватив в дорогу двоих молодых помощников и просто добрых попутчиков: 25-тилетнего близкого друга семьи Михаила Александровича Стаховича (1861 – 1923) и 28-летнего Николая Ге-младшего (1857 – 1938), сына художника и близкого друга.

3 апреля, Толстой сообщил о предстоящем походе и смыслах его в письме к В. Г. Черткову: «Не знаю, что буду делать дорогой и в деревне, но надеюсь, что буду чем-нибудь служить за корм. Иду же главное затем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей» (85, 332).

И Толстой действительно уходит на следующий день из гадкой во все времена, ненавистной уму и сердцу Москвы, как писала Черткову уже Софья Андреевна: «с мешком на спине, весёлый и здоровый» (*Там же. С. 335*).

Рассказывает жена писателя, Софья Андреевна Толстая:

«4-го апреля 1886 года вечером, после обеда, запрягли большую коляску, наняли извозчика и выехали на заставу, на Киевское шоссе, одетые по-дорожному и в лаптях Лев Николаевич и его спутники... Я поехала провожать их и с грустью ссадила их, проехав заставу, за городом. Долго провожала я их глазами, и чувство грусти, и особенно беспокойства, мучило меня. Вернулась я домой одна, в свою семью, опять почувствовав себя и одинокой, и несчастной». Этому настроению помогла и погода: тёплая весна вдруг обратилась в весну раннюю, «наступили холодные дни с ветром и даже снегом. Путешественникам приходилось часто останавливаться, сушиться и греться» (*Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х кн. М, 2014. Кн. 1. С. 515*). Хорошим в этом было разве то, что Толстой на этих вынужденных остановках имел достаточно времени для наблюдений, бесед с народом и, по вдохновению, некоторых черновых набросков.

В письме к жене от 9 апреля 1886 г. Толстой, в числе прочего, общал:

«Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно. Я засыпал поздно, но зато мы выходили не так рано. [...] Благодарю m-me Seuron за книжечку и карандаш, я воспользовался ими немножко

по случаю рассказов старого, 95-тилетнего солдата, у которого мы ночевали. Мне пришли разные мысли, которые я записал» (83, 561).



«Николай Палкин».  
Обложка бесцензурного английского издания.  
1902 г.

В скупых строчках о ночёвке в ночь на 7 или 8 апреля у бывшего солдата — прекрасная история рождения одного из безусловных шедевров христианской публицистики Льва Николаевича, статьи «Николай Палкин». 95-тилетний старец рассказал путникам, как истязали, прогоняя сквозь строй, солдат во времена царя Николая I, прозванного в народе Палкиным. Там же, в избе старика, в новенькой записной книжке, подарке гувернантки детей Толстых мадам Сейрон, Лев Николаевич начал набрасывать черновик будущей статьи. Сам Толстой, как мы помним, знал о телесных наказаниях в армии с юности, но не видел своими глазами подобных истязаний, и рассказ старика потряс его. Л. Д. Опульская справедливо замечает, что, судя по резкости статьи, Толстой «печатать её, во всяком случае в России, не собирался» (*Опульская Л.Д. Материалы к биографии Л.Н. Толстого с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 33*). Не собирался её

печатать Толстой, очевидно, и за пределами России, в свободной прессе: судя по тому, что статья осталась даже не незавершённой. Однако, в нелегальную печать она всё же попала (ниже мы расскажем, при каких обстоятельствах), и вскоре получила огромную известность и распространение, несмотря на жесточайший запрет цензуры (а отчасти и благодаря ему). Именно в связи с распространением «Палкина» в 1887 г. в отношении Л. Н. Толстого была открыта особая папка в цензурном ведомстве и заведено дело в Департаменте полиции.

Одна из тем статьи — *скрытые казни в России*, замаскированные под жестокие «наказания», фактически истязания и убийства, военнослужащих в армии.

Николаем Палкиным прозвали солдаты царя Николая Павловича за особо строгие телесные наказания: «Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали [...] хуже аду всякого». Старый солдат рассказал о том, как «водят несчастного взад и вперёд между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, [...] как сначала ещё кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор [...] подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли ещё бить человека, или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживёт, чтобы можно было начать мученье сначала и добавить то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему»:

«Унтер-офицерá до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрёт. И никогда взыску не было. Помрёт от убоя, а начальство пишет: “властию Божиею помре”. — И крышка» (26, 556).

Антивоенная тема раскрыта в статье мощно и идейно глубоко. На вопрос Толстого старому солдату, не мучает ли его совесть, тот лишь удивился: «Это на войне, по закону, за царя и отечество». И это самое страшное для Толстого: человек не видит зла, которое совершает, потому что оно прикрито пеленой языческой, антихристовой «законности», суевериями патриотизма, оправданного насилия, даже гражданского долга. Людям внушали и внушают по сей день, что убийства на войне, телесные расправы в армии, жестокие наказания и пытки в тюрьмах — необходимость, а участие в них «государевых служилых людей» указывает на их служебное усердие, даже доблесть. В этом Лев Николаевич видел болезнь невежественного и

омрачённого общества, одурманивание его. Потрясённый воспоминаниями старого служаки, Толстой призывает задуматься над причинами того, что «люди, рождённые добрыми, кроткими, люди, с вложенной в их сердце любовью, жалостью к людям, совершают – люди над людьми – ужасающие жестокости, сами не зная, зачем и для чего» (Там же. С. 558).

В статье Толстой ставит десятилетиями буржуазно прогрессирующей на его глазах России грозный, но заслуженный диагноз: прогрессирующее безверие и ожесточение, регресс от христианства к древнему языческому жизнепониманию со всеми его низостями. Прогресс нравственный отстал безнадежно от материального. Среди низостей неизбывных дрянного «русского мира» – не только жестокость власти, но и рабья покорность ей со стороны граждан, готовность дешево продаться и бесстыдно служить ей в её обманах и насилиях.

И все ужаснейшие имперские «традиции», во всём их «цвете», обслуживаемые самым слепым, рептильным этатизмом простых граждан — отнюдь не выдумка Толстого и не «дела давно минувших дней». Особенно актуально звучат в наши дни слова Льва Николаевича о том, что недопустимо ни замалчивать, ни исказить, ни забывать ужасные, преступные или просто неприятные страницы отечественной истории. В той мере, в которой к преступлениям власти причастны люди трудящегося народа, то есть, иначе говоря, пороки большого общества используются его интеллектуальной, властной и финансовой элитами, всем, всему такому обществу необходимо не пенять только на «личные недостатки» правителей, а — признать *свой* (и себя, и своих отцов и дедов) грех, назвать зло своим именем, а не скрывать за витиеватыми идеологическими масками.

Безбожна и обречена та страна (будь то Российская империя времён «позднего» Толстого или современная путинская Россия), которая в ответ на призыв к честности перед самой собой, общему смирению и покаянию за преступления в прошлом царей и вождей, в которых участвовал народ — злобно огрызается, агрессивно, напористо лжёт, переписывает в угоду лжи исторические учебники, вводит табу на честные обсуждения тех или иных исторических тем, жжёт тайком архивы и растит таким образом во лжи и имперской гордыне поколения таких же самоуверенных гордецов, способных, как показал нам нынешний, уходящий 2022-й год, не только повторить преступления, не признанные и не названные таковыми, но и совершить новые, ещё худшие.

Вот что пишет об этом Толстой в статье:

«Солдат старый провёл всю свою жизнь в мучительстве и убийстве других людей. Мы говорим: зачем поминать? Солдат не считает себя виноватым, и те страшные дела: палки, сквозь строй и другие — прошли уже; зачем поминать старое? Теперь уж этого нет больше. Был Николай Палкин. Зачем это вспоминать? Только старый солдат перед смертью помянул. Зачем раздражать народ? Так же говорили при Николае про Александра. То же говорили при Александре про павловские дела. Так же говорили при Павле про Екатерину. Так же при Екатерине про Петра и т.п.

Зачем поминать?

Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и всё так же болею, ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем только оттого, что мы знаем, что мы больны всё так же, и нам хочется обмануть себя.

Зачем огорчать старика и раздражать народ? Палки и сквозь строй — всё это уж прошло.

Прошло? Изменило форму, но не прошло. [...] Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется и наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себе глаза выдуманнными государственными пользами и благами и посмотрим на то, что одно важно: добро и зло жизни людей, нам всё станет ясно. Если мы назовём настоящими именами костры, пытки, плахи, клейма, рекрутские наборы, то мы найдём и настоящее имя для тюрем, острогов, войск с общею воинскою повинностью, прокуроров, жандармов.

[...] Если мы только перестанем закрывать глаза на прошедшее и говорить: зачем поминать старое, нам ясно станет, в чём наши точно такие же ужасы, только в новых формах.

[...] Не нужно иметь особой проницательности, чтобы видеть, что в наше время всё то же, и что наше время полно теми же ужасами, теми же пытками, которые для следующих поколений будут так же удивительны по своей жестокости и нелепости.

Болезнь всё та же, и болезнь не столько тех, которые пользуются этими ужасами, сколько тех, которые приводят их в исполнение. [...] Ужасная болезнь эта — болезнь обмана о том, что для человека может быть какой-нибудь закон выше закона любви и жалости к ближним» (*Там же. С. 558 – 561*).

Лев Николаевич выражает убеждение в том, что «если бы была у людей в наше время хоть слабая вера в учение Христа, то они считали бы должным Богу хоть то, чему не только словами учил Бог человека, сказав: «не убий»; сказав «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали»; сказав: «люби ближнего, как самого себя», – но то, что Бог неизгладимыми чертами написал в сердце каждого человека: любовь к ближнему, жалость к нему, ужас перед убийством и мучительством братьев».

Но в буржуазно-православной, то есть лжехристианской и антихристовой, имперской России — этого нет и не может быть. Нет и быть не может исполнения христового правила: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье — только Богу» (*Там же. С. 561*).

Это очень важная для Льва Николаевича мысль из евангельской притчи о динарии (*Мф. 22: 15 – 22*); к ней он будет возвращаться в ряде последующих публицистических выступлений — в том числе, антивоенных и против смертной казни. Притча устанавливает важный признак христианского сознания: свободу от обязательств, кроме откупа от прямого грабежа, перед разбойничьим, грабительским гнездом того или иного государства. Откупаться же можно всем, кроме *поступков* или обещания их (кстати, для этого в Нагорной проповеди и запрещается клятва). Вот как характеризует это благое состояние сам Толстой:

«Если бы люди верили Богу, то они не могли бы не признавать этой первой обязанности к нему, исполнять то, что он написал в их сердце, то есть жалеть, любить, не убивать, не мучать своих братьев. И тогда слова: кесарево кесарю, а Божье Богу имели бы для них значение.

Царю или кому ещё всё, что хочешь, но только не Божие. Нужны кесарю мои деньги — бери; мой дом, мои труды — бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь бери; всё это не Божие. Но нужно кесарю, чтоб я поднял и опустил прут на спину ближнего; нужно ему, чтоб я держал человека, пока его будут бить, чтобы я связал человека или с угрозой убийства, с оружием в руке стоял над человеком, когда ему делают зло, чтобы я запер дверь тюрьмы за человеком, чтобы я отнял у человека его корову, хлеб, чтобы я написал бумагу, по которой запрут человека или отнимут у него то, что ему дорого, — всего этого я не могу, потому что тут требуются поступки мои, а они-то и есть Божие. Мои поступки — это то, из чего слагается моя жизнь, жизнь,

которую я получил от Бога, я отдам Ему одному. И потому верующий не может отдать Кесарю то, что Божие. Идти через строй, идти в тюрьму, на смерть, отдавать подати кесарю, — всё это я могу, но бить в строю, сажать в тюрьму, водить на смерть, собирать подати — всего этого я не могу для кесаря, потому что тут кесарь требует от меня Божие.

Но мы дошли до того, что слова: «Богу Божие» — для нас означают то, что Богу отдавать копеечные свечи, молебны, слова — вообще всё, что никому, тем более Богу, не нужно, а всё остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, отдавать Кесарю!» (Там же. С. 561 – 562).

Всё, что изменилось с той поры в России: стало меньше прямого, грубого, открытого насилия, но прикрытого юридической казуистикой (как «показательная», с судом, расправа над русским солдатом Шабуниним), припрятанного в местах недобровольного пребывания людей (детдома, казармы, тюрьмы...) равно как угроз и в особенности навязчивой лжи (насилия над массовым сознанием, или, проще выражаясь, ебли людям мозгов) — гораздо больше.

Чрезвычайно интересны и актуальны по сей день и взгляд Толстого на русскую историю, выразившийся здесь (в черновых вариантах статьи), и психологическая зарисовка состояния сознания массы его — и наших — соотечественников, и, конечно, автобиографические страницы статьи, на которых Лев Николаевич выразил кредо уже вполне осознанного им нового пути в литературе и в жизни — не просто антивоенного, а *антиимперского* и *христианского*:

«И стал я вспоминать всё, что знаю из истории о жестокостях человека в Русской истории. О жестокости этого христианского, кроткого, доброго, Русского человека, к счастью или несчастью, я знаю много.

[...] Иоанн Грозный топит, жжёт, казнит как зверь. Это страшно; но отчего-то дела Иоанна Грозного для меня что-то далёкое, вроде басни. Я не мог видеть всего этого. То же и с временами междуцарствия Михаила, Алексея, но с Петра так называемого Великого <т. е. с начала имперского периода российской истории. – Р. А.> начиналось для меня что-то новое, живое. Я чувствовал, читая ужасы этого беснующегося, пьяного, распутного зверя, что это касается меня, что все его дела к чему-то обязывают меня.



Только очень недавно я понял, наконец, что́ мне было нужно в этих ужасах, почему они притягивали меня. Почему я чувствовал себя ответственным в них, и что́ мне нужно сделать по отношению их. Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, которая скрывает от них их человеческие обязанности и призывает их к служению дьяволу; не захотят они видеть, пересилит меня дьявол, они, большинство из них, будут продолжать служить дьяволу и губить свои души и души братьев своих, но хоть кто-нибудь увидит: семя будет брошено. И оно вырастет, потому что оно семя Божье» (26, 563 – 564).

«Семя Божье» — в обличении, с позиций христианского понимания жизни, суеверий оправданного насилия, обманов государства и церкви, ведущих людей к вражде, убийствам, войнам. В обличении первобытного, животного *имперства* в психологии и этике масс, политическим, на уровне крупных общностей людей, выражением которого явились в истории и являются авторитарные, полицейские и фашистские режимы — и которое только потому и непобедимо по сию пору, что *нет веры* в христианском мире: не церковных догм и обрядоверческого храмового идолопоклонства, а разумного смысла жизни всех и живого руководства каждому человеку в его помыслах и поступках.

В строках этой, к несчастью малоизвестной даже в России, статьи Л. Н. Толстого — ключ к пониманию того, почему, начатый в начале 1870-х гг. роман о Петре I и его эпохе Толстой так и не написал, оставив проект романа в 1879-м, когда уже значительно оформились его новые убеждения. Чем больше Толстой знакомился с фактами и *подлинными* документами петровской эпохи — тем больше совесть его настаивала на необходимости *не хвалы, а обличения* политического имперства России — в его истоках и «петровском» развитии. Но именно *обличить* эти, несовместимые с верой Христа, образ жизни и состояние сознания масс было невозможно с тех прогрессистских, этатистских, частью и либеральных, светско-гуманистических и наивно-народнических позиций, на которых в те годы стоял автор сохранившихся набросков романа. Чтобы проклясть зло — надо было в своём сознании стать *вовне* его: на позиции Христа и первых христиан, а не осудителей и убийц Христа, не Пилата и не Каиафы.

Заканчивалась в черновике статья призывом-восклицанием писателя помнить волю Бога, выраженную в словах Христа об отдаче кесарю кесарева:

«Царю или кому ещё всё, что хочешь, сказал бы верующий человек, но не то, что противно воле Бога, а мучительство и убийство противно воле Бога.

Опомнитесь, люди! Ведь можно было отговариваться незнанием и попадаться в обман, пока неизвестна была воля Бога, пока непонятен был обман, но как только она выражена ясно, нельзя уж отговариваться. После этого ваши поступки уже получают другое, страшное значение. Нельзя человеку, не хотящему быть животным, носить мундир, орудия убийства; нельзя ходить в суд, нельзя набирать солдат, устраивать суды, тюрьмы.

Опомнитесь, люди!» (Там же. С. 567).

С таким же эмоциональным накалом читатель может быть знаком как по рассмотренному нами выше неоконченному «Проекту о реформировании армии», так и по позднему знаменитому памфлету Л. Н. Толстого против насилия и казней — статье 1908 г. «Не могу молчать» (1908), а «Опомнитесь, люди!» — это, конечно же, перифразированное «Одумайтесь!» в одноименной статье 1904 года, имеющей, как мы покажем в соответственном месте, столь же ярко выраженный христианский проповеднический, а не просто антивоенный, смысл.

\* \* \* \* \*

У статьи «Николай Палкин» своеобразная судьба. Как мы сказали выше, статья формально не является оконченной. В 1887 году, когда Лев Николаевич ещё работал над нею, текст её, без ведома автора, был скопирован и распространён Михаилом Александровичем Новосёловым (1864 – 1938), в то время студентом-филологом Московского университета. Как многие юные и самоуверенные олухи всех времён, сей грядый, в отдалённом будущем, православный мученик и святой принюхивался тогда к столичному воздуху, ища примкнуть к какой-либо «оппозиции» вере и строю жизни отцов и дедов. На краткий период ему показалось подходящим для этого своеобразно понятое им «толстовство». Окончив учёбу, он с осени 1887 года занялся переписыванием и распространением «нецензурного» Толстого. И не удержался — утыпал текстик и попытался распространить его... из-за чего Льву Николаевичу пришлось заступиться за молодого дурня, попавшего за свою глупость под арест (См. подробнее комментарии к статье Толстого «О социализме» в томе 38 Полного

*собрания сочинений; также см.: Переписка Л. Н. Толстого с М. А. Новосёловым. // Минувшее. Исторический альманах. – СПб, 1994).*

Распространённый Новосёловым, черновой, не отредактированный Толстым, и потому слишком эмоциональный текст вызвал большой скандальный шум, что охладило писателя и публициста к окончанию работы над статьёй. В 1888 году в письме другу, единомышленнику, будущему своему биографу и издателю П. И. Бирюкову Лев Николаевич подтвердил, что не намерен публиковать ни в каком виде злосчастного «Николая Палкина».



М.А. Новосёлов  
в студенческие годы

Судьба, однако, распорядилась этим текстом Толстого по-своему. Несмотря на отказ автора от публикации статьи, с 1887 года состоялось несколько нелегальных её изданий в России и за границей (в издательствах Элпидина в Женеве, Дейбнера в Берлине, Гуго Штейница в Берлине же, в изданиях В. Г. Черткова в Англии). Первое печатное издание статьи состоялось в Женеве в изд. М. Элпидина в 1891 г. В России статью впервые пытались опубликовать в годы Первой российской революции, в журнале «Всемирный вестник» в

№ 10 за 1906 г. (весь тираж номера за это был конфискован и уничтожен). Эффект «запретного плода» лишь усилился... Статья ходила по рукам, от руки переписывалась, перепечатывалась на машинке или гектографе, всячески распространялась в России нелегально, а опубликована была лишь в победном, революционном 1917 году, уничтожившем Империю — но, к несчастью для отечества Льва Николаевича, *не* имперство в поведении и мышлении её бывших обитателей, и *не* безверие, как питательную почву для него.

«Николай Палкин» — значительный и показательный этап на пути Льва Николаевича к его широкоизвестным «антивоенным» воззрениям. Это *первая его встреча с самим собой* прежним, с отжитым прошлым своим — из трёх важнейших таких встреч, предстоящих ему до конца 1880-х. И это первая *публичная и рассчитанная на публичность* именно антивоенная статья Толстого-христианина, в которой сразу выразилось неприязненное его отношение к деградирующим в буржуазной России служилой военной среде, военному «сословию» как таковому, а равно и к некоторым имперским «традициям» проникнутых взаимным недоверием, неуважением во взаимоотношениях простых солдат с тётёй «родиной». К этой теме Толстой вернётся неоднократно, и всегда она будет причиной для ненависти к нему разнообразной мундированной сволочи, для запрета и нелегальности его публицистического выступления в печати.

---

### 3. 4. КРУГ ОБЩЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО 1880-х гг. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АНТИВОЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Как было отмечено выше, переезд с семьёй для повременного (преимущественно осенью и зимой) проживания в Москву способствовал приумножению знакомств Толстого и «публичности» его персоны. Важнейшие в нашей теме из знакомств Толстого — это его прибли-

жённые друзья, такие как В. Г. Чертков, кн. Д. А. Хилков, И. И. Горбунов-Посадов, П. И. Бирюков и ряд других, отношения с которыми сложились у Льва Николаевича именно в 1880-х.

*Владимир Григорьевич Чертков* (1854 – 1936) – безусловно, ключевая фигура даже среди ближайших его помощников. Толстой и Чертков познакомились в Москве в 1883 г., и через полгода Толстой записал в дневнике: «Он удивительно одноцентричен со мною» (запись от 6 апреля 1884 г.; 49, 78). Спустя четверть века, словно продолжая начатую тогда мысль, Толстой писал Черткову: «И сближаемся не потому, что хотим этого, но потому что стремимся к одному центру — Богу, высшему совершенству, доступному пониманию человека. И эта встреча на пути приближения к центру великая радость» (24 июля 1909 г.).



Владимир Григорьевич Чертков.  
Худ. А.Д. Кившенко. Бумага, акварель. 1879 г.

Владимир Чертков родился в Санкт-Петербурге, в придворно-аристократической семье, но именно в семье усвоил демократические и просветительские традиции, впитал понятие о жизни как о высоком

служении. Отец его, Григорий Иванович Чертков (1828 – 1884), близкий родственник Александра Дмитриевича Черткова (1789 – 1858), известного историка и археолога, основателя первой публичной библиотеки в Москве, был флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II. Мать Черткова, урождённая графиня Елизавета Ивановна Чернышёва-Кругликова (1832 – 1922), племянница декабриста Захара Григорьевича Чернышёва, славилась своей красотой и смелым, независимым характером. пользовалась особой благосклонностью императрицы Марии Фёдоровны (1847 – 1928), и занималась распространением Евангелия в петербургских гостиных. В 1884 году она пригласила английского проповедника лорда Гренвилла Редстока в Петербург, познакомила его со своими родственниками и друзьями. В романе «Анна Каренина» ярко описан этот период, когда великосветские салоны превратились в места «духовных» бесед великосветского сектантского собрания.

В 19 лет, получив хорошее домашнее образование, Чертков поступил в конногвардейский полк. Крышесносительно красивый, образованный, остроумный и, главное, пьербезуховско богатый, он пользовался успехом в свете и, до поры, благосклонностью императора.



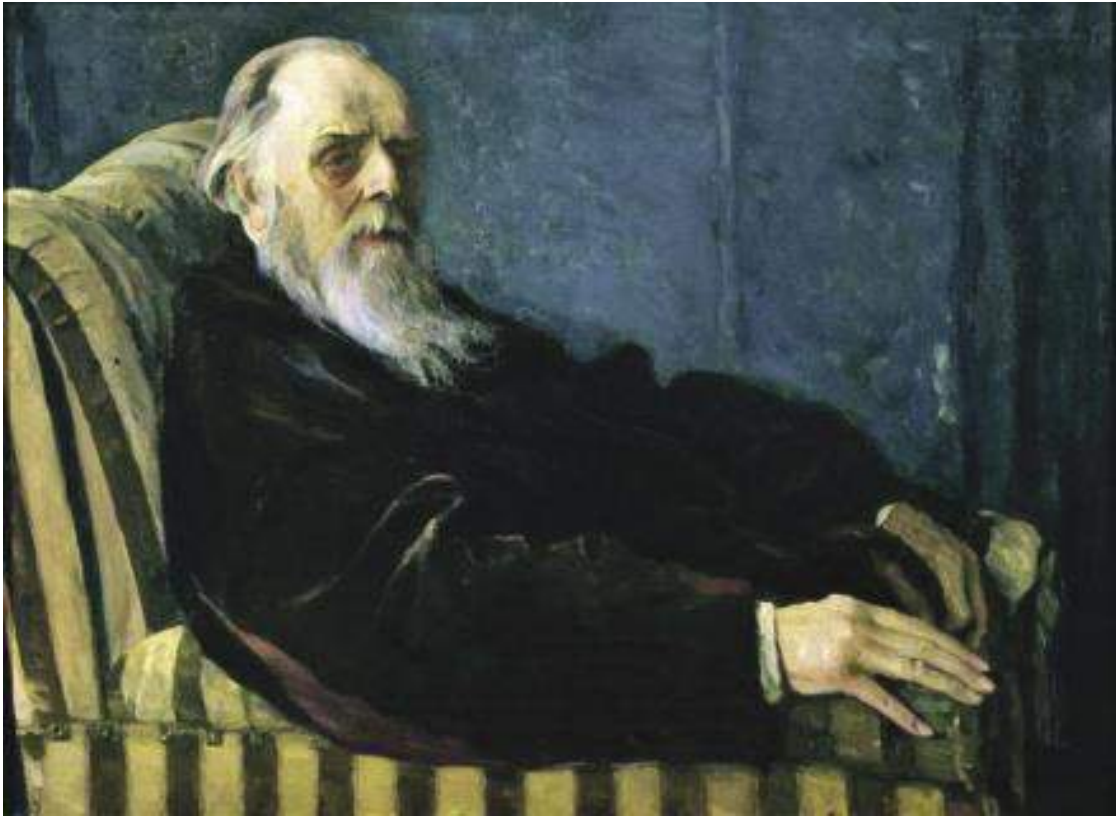
Офицер В.Г. Чертков в военном мундире...  
(Худ. И.Н. Крамской. 1881 год.)



...и — христианин Владимир,  
в нормальном человеческом одеянии.  
(Фото А.Ф. Эйхенвальда. Москва, 1883 год.)

Его ожидала блестящая карьера военного или государственного деятеля, но он отказался идти этой проторённой для него дорогой. В 1909 г. Чертков написал небольшую книжечку «Дежурство в военных госпиталях. Страница из воспоминаний» (М., 1914), где «исповедально» (безусловно, в подражание толстовской «Исповеди») рассказал о своей молодости: «Это было в середине 70-х годов. Двадцатилетним офицером я тогда прожигал свою жизнь “во все нелёгкие”. Всем трём классическим порокам — вину, картам и женщинам — я предавался без удержу, живя как в чад, с редкими промежутками душевного отрезвления. В эти периоды внутреннего просветления я чувствовал отвращение к своему беспутному поведению и мучительно тяготился своим положением. Ища из него выхода, я напряжённо задавался основными вопросами жизни и религии. Одним из обстоятельств, имевших на меня нравственно-благотворное влияние, были повторявшиеся от времени до времени мои дежурства в военных госпиталях» (с. 3). С детства приученный матерью к серьёзному и вдумчивому чтению Евангелия, он читал его вслух больным и всё чаще сам обращался к этой книге в поисках ответов на мучив-

шие его вопросы. У себя в полку Чертков организовал кружок молодёжи для религиозных бесед. Размышляя над страницами философских книг, над произведениями Достоевского, он искал ответы на вопросы о цели и смысле жизни, искал свой путь к Богу.



Старый преданный ученик...  
Художник М.В. Нестеров. 1935 г.

Пережив духовный переворот, постепенно углубляясь в евангельские истины, Чертков приходит к убеждению, что исповедание Христа несовместимо с тем образом жизни, который он вёл. Несовместимо, конечно же, и с военной службой. Отслужив 8 лет в конногвардейском полку, Чертков оставил военную службу и поселился в Лизиновке — родительском поместье близ Россоши. Переселился из усадебного дома в тесную комнату ремесленной школы, стал ездить только в вагонах третьего класса, вместе с простым народом, в разговорах осуждал барскую жизнь. Владельцы соседних поместий сочли Черткова сумасшедшим. Слухи о странном поведении отпрыска известной фамилии дошли до Александра III, и тот приказал учредить негласный надзор за «опростившимся» барином.

Дальнейшие поиски привели его к Толстому. Познакомившись с первыми философско-религиозными сочинениями писателя, он



«признал в нём лучшее и более последовательное понимание того», как «следует в жизни применять учение Христа» (дневник Черткова, 21 янв. 1884 г.). Это стало основой дружбы Толстого и Черткова.

Примерно через год после знакомства, в 1884 году, Владимир Григорьевич Чертков в сотрудничестве с издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным организовал, по совету Толстого, издательство «Посредник», целью которого было издание дешёвых, доступных простому народу книг. Там публиковалась беллетристика и публицистика морально-этического характера, в первую очередь, назидательные статьи и рассказы для народа самого Льва Толстого.

Впоследствии именно благодаря грамотной и упорной организаторской, редакторской и издательской деятельности Владимира Григорьевича многие антивоенные тексты Толстого, наталкивавшиеся на цензурный запрет, всё-таки находили дорогу к читателю.

Неизбежно уже многожды упомянутый нами выше *Павел Иванович Бирюков* («Поша»; 1860 – 1831), как и Владимир Григорьевич, сделался не только личным секретарём и доверенным лицом Толстого-писателя, но и духовным единомышленником во Христе, и близким другом.



Павел Иванович Бирюков.  
Любительский снимок. Кострома, около 1889 – 1890 гг.

Родился Павел Иванович в Костромской губ. в семье военного, дворянина. Надеясь, что сын продолжит семейную традицию, отец отдал его учиться в Пажеский корпус. Но юноша мечтал о море и перешёл в Морское училище. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате, а в 1884 г. окончил Морскую академию. Не желая нести строевую службу, Бирюков поступил на службу в главную физическую обсерваторию в Петербурге, где ничто не мешало ему размышлять над вечными вопросами о Боге, о цели и смысле жизни. Он зачитывался философской литературой, сочинениями Достоевского, и всё сильнее его задевало противоречие между военной службой и христианским учением. В поисках единомышленников он стал посещать благотворительное «Общество христианской помощи», где собирались представители разных сословий, чтобы вместе читать и обсуждать Евангелие. Там он встретил В. Г. Черткова, который познакомил его с сочинениями Толстого «Исповедь» и «В чём моя вера?». В то время, когда многих молодых людей увлёк путь революционной борьбы, Бирюков и Чертков встали на путь исповедания чистого, первоначального христианства Христа, возвращённого миру Львом Николаевичем, и обрели в Толстом безусловного духовного лидера.

В 1884 г. Чертков привёл Бирюкова в дом Толстого, и с этого момента, как писал Павел Иванович, его «внутреннее развитие пошло параллельно с дальнейшим развитием взглядов Л. Н. Толстого». Бирюков особенно дорожил личным общением с писателем, а Толстой ценил искренность и подлинную доброту молодого друга. После одной из встреч с Бирюковым Толстой написал в своём Дневнике: «Он очень хорош, ясен, открыт, правдив, чист...» (запись от 15 декабря 1890 г.). Но возможность личного общения бывала не всегда. Между ними вскоре началась переписка (сохранилось около 180 писем Толстого Бирюкову), запечатлевшая глубину человеческой и духовной близости. Писателя особенно привлекали люди, сумевшие соединить свои убеждения с делом, осуществлявшие то, к чему так стремился он сам. Бирюков был именно таким человеком.

В конце 1885 г. Бирюков вышел в отставку и посвятил себя изданию и распространению литературы для народа, став наряду с Чертковым одним из основателей и руководителей издательства «Посредник».

В 1892 – 1893 гг. среди ближайших помощников Толстого в работе на голоде в Рязанской губ. был и Павел Иванович Бирюков.

Ещё один из ближайших друзей с тех же лет — *Иван Иванович Горбунов-Посадов* (наст. фамилия: Горбунов; 1864 — 1940) — посредственный писатель и поэт, неплохой литературный критик и замечательный редактор в толстовском народно-просветительском книгоиздательстве «Посредник».



Иван Иванович Горбунов-Посадов.  
Со снимков 1884 и 1886 г.

В 1884 г. Горбунов случайно прочитал «Краткое изложение Евангелия» Толстого. Эта книга помогла ему найти выход из личного нравственного кризиса. Он пришёл в издательство «Посредник», которым в то время руководили В. Г. Чертков (редактор) и П. И. Бирюков, и предложил свои услуги в качестве разносчика печатной продукции: затем начал писать рассказы и статьи, такие как «Видимое и невидимое», «Старец и прокажённый», «Покаяние старца Даниила» и др., которые печатались без подписи в книжках «Посредника».

В декабре 1887 г. стихотворение Горбунова «В Христову ночь» Бирюков послал Толстому, сопроводив такими словами: «Автор их молодой, чистый душою и искренний человек. Я познакомился с ним год тому назад. Всё время, когда встречались мы, он высказывал и

делом подкреплял участие к «Посреднику» и нашим взглядам» (*цит. по: Горбунов-Посадов И.И. Воспоминания. Ч. 1. М., 1995. С. 21*).

После высылки Бирюкова в 1887 г. Горбунов-Посадов занял его место в «Посреднике». В 1889 г. по инициативе Черткова он познакомился с Толстым. В дневнике Толстой записал о нём: «Очень умён и даровит. И чист. Легко полюбить его» (50, 38).

В 1892 г. издательство переехало в Москву и Горбунов-Посадов принял на себя отдел народных изданий. Бирюков руководил отделом «для интеллигентных читателей» и осуществлял общее руководство делом.

В 1897 г. после высылки по делу духоборов Черткова и Бирюкова Горбунов-Посадов возглавил всё издательское дело «Посредника». С 1900-1901 гг. деятельность издательства чрезвычайно расширилась, охватывая и педагогические, и сельскохозяйственные вопросы, и вопросы борьбы с алкоголизмом, и вегетарианство... Горбунов не раз привлекался к суду за печатание книг Толстого и Генри Джорджа, любимого Толстым американского «религиозного экономиста» (т. е. утописта), но от тюрьмы его спасла амнистия. Остроумнейший Владимир Алексеевич Гиляровский посвятил ему такую эпиграмму:

Репутация богатая,  
И слава в том твоя:  
Ты — сто двадцать девятая  
Ходячая статья.

Такой же «ходячей статьёй», и не одной, был князь *Дмитрий Александрович Хилков* (1857 – 1914). Уроженец Полтавской губернии, богатый помещик, князь Хилков, закончив Пажеский корпус, поступил на военную службу, участвовал в Русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. Во время сражения Хилков убил турка и, испытав отвращение к убийству, уже более не стрелял, хотя оставался в продолжение трёх лет на военной службе. В 1884 г. поселился на принадлежавшей ему земле в Сумском уезде Харьковской губ. Во второй половине 1880-х гг. оказался в числе единомышленников Толстого. Под влиянием прочитанного во французском переводе трактата Толстого «В чём моя вера?» отказался от своих имений и дворянских привилегий, продал за незначительную плату 430 десятин земли и

занялся земледельческим трудом на семи десятинах. Общие положения толстовского учения Хилков перевёл в сферу практического опыта.

Толстой узнал о Хилкове от его двоюродного брата Н. Ф. Джунковского, который в ноябре 1886 г. был в Ясной Поляне. «Людей братьев по вере всё прибывает, — тогда же писал Толстой Н. Н. Ге-отцу. — Ныне уехал один лейб-уланский блестящий офицер Джунковский, едет к Хилкову; Хилков же ещё более блестящий богатый князь 22 лет, полковник, который бросил всё и живёт на крестьянском наделе, работая с мужиками. Человек большого ума и образования и большой силы добра по всему, что я о нём знаю» (63, 403). Через несколько дней Толстой признавался В. Г. Черткову: «Радовали меня за это время Джунковский и его рассказы про Хилкова. Какой слуга Божий!» (85, 411).



Князь Дмитрий Александрович Хилков

Лично Толстой и Хилков познакомились в 1887 г. Толстой был искренне заинтересован в продолжении дружеских отношений с молодым единомышленником: «Я пожалел, полюбил вас, и мне захотелось быть полезным, помочь вам, облегчить вашу жизнь. Не думайте,

чтоб я хотел научить вас — учитель у нас один — истина, а мне хочется сделать для вас то, чего мне так часто хотелось и теперь и всегда хочется, чтобы другой человек со мной вместе нёс мои радости и горести, просто жалел и любил меня» (64, 133). В конце 1880-х - начале 1890-х гг. Толстой активно переписывался с Хилковым, высказывая важные для себя мысли: «Если же понимать меня, как слабого человека, то несогласие слов с поступками — признак слабости, а не лжи и лицемерия. И тогда я представляюсь людям тем, что я точно есть: плохой, но точно всей душой всегда желавший и теперь желающий быть вполне хорошим, т.е. хорошим слугою Бога» (66, 149).

Тематика писем к Хилкову разнообразна, но тон изложения всегда предельно откровенен: чувствуется, что в нём Лев Николаевич обрёл столь же ценного не только религиозной верой, но и чертами характера человека, как и Владимир Григорьевич Чертков.

Среди иностранных непосредственных знакомств с приятными и близкими Толстому людьми, повлиявшими на его отношение к государственному насилию, следует назвать, в числе первых, журналиста Джорджа Кеннана.

В 1865 г. в Русско-американскую телеграфную экспедицию поступает на работу телеграфистом молодой человек — *Джордж Кеннан* (George Kennan; 1845 – 1924). Он провёл два года путешествуя по Чукотке и Камчатке, после чего вернулся в Америку через Петербург. Опубликовав свои путевые записки, Кеннан почувствовал в себе литературный талант, но применение ему нашёл не сразу. С 1878 г. он сотрудничает с «Associated Press», в связи с чем снова отправляется в Россию — на этот раз для знакомства с системой каторги и ссылки. Исполняя журналистское задание, Кеннан общается с некоторыми из политических заключённых, таких как Екатерина Брешко-Брешковская, Егор Лазарев, Феликс Волховский — и, без сомнения, подвергается с их стороны «идейной обработке». Кеннан имел репутацию не только крупного знатока России, но и страстного апологета российской политики и общественного строя. Из поездки же в Сибирь публицист возвращается непримиримым антагонистом царского правительства. Вернувшись в США, в 1887 – 1889 гг. Кеннан опубликовал в журнале «Century» (американский аналог российского «Вокруг света» той же эпохи) ряд статей, в которых резко критиковал царское правительство и романтизировал революционеров.

Этим он не мог не сойтись с настроениями Л. Н. Толстого, чьей влиятельной поддержкой желали заручиться работодатели Кеннана. Кто-то указал ему на эту возможность, и в июне 1886 года, явившись снова в Россию, на этот раз для работы над очерком о российских тюрьмах, он заявляется в гости к великому яснополянцу. В письме к В. Г. Черткову от 28 – 29 июня 1886 г. Толстой писал о Кеннана: «Да, ещё посетитель у меня был, американец, путешественник [...] — очень милый – приятный и искренний человек, хотя с разделённой перегородками душой и головой – перегородками, о которых мы, русские, не имеем понятия, и я всегда недоумеваю, встречая их» (85, 363 – 364).



Джордж Кеннан

Замечание Толстого о ощущаемых «перегородках» в психологическом устройстве Джорджа Кеннана — справедливо и глубоко, хотя и недостаточно. Тип явно был из породы «себе на уме», и, как иностранный журналист, исполняющий в России специфические функции соглядатая, агента — подготовился к встрече с яснополянским «идеалистом» вполне основательно.

По воспоминаниям И. И. Янжула, заявился Кеннан в Ясную Поляну 17 июня 1886 г. с такой историей: он-де объездил в 1885 – 1886 гг.

всю Сибирь и, беседуя там с политическими ссыльными, услышал их «горячую и настойчивую просьбу» посетить Ясную Поляну и рассказать Толстому о тех «страданиях и лишениях, которые они выносят». Кеннан услышал «от политических», что «Толстой есть единственный человек в России, который может безопасно для себя вступить за ссыльных перед высшим правительством» (*Цит. по: Бабаев Э. Г. Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1. М., 1975. С. 416 – 417*).

Неясно, сколько в этой истории правды и поверил ли Толстой ей, но можно быть совершенно уверенным, что, по отношению к тогдашним, именно 1885 года, сложившимся уже религиозным и производным из них общественно-политическим убеждениям Л. Н. Толстого, это был «выстрел» Кеннана мимо цели. Судя, однако, по дальнейшему изложению, господин журналист даже не «обломался», а был жёстко, смачно и по заслугам, *обломан* Львом Николаевичем:

«Когда Кеннан [...] обратился по поручению политических ссыльных с их просьбой к Льву Николаевичу, то он долго во время его печальных описаний молчал, а затем, когда Кеннан категорически стал спрашивать, окажет ли он им свою защиту, то граф Толстой отвечал отрицательно, что он-де ничего не может сделать для них, ибо они сами силою зла боролись с такою же другою силою и сами виноваты в происходящем» (*Там же. С. 417*).

Статья Кеннана «A Visit to Count Tolstoi» («В гостях у гр. Толстого») была опубликована в журнале «Century» (*Century Magazine. 1887, 34. P. 253 – 265*). Судя по её содержанию, Толстой “выстоял” до конца. Описывая ужасы, творившиеся в сибирской ссылке и каторге, Кеннан спросил Толстого, смог бы он устоять на своём принципе непротivления злу насилieм при виде грубых насилieй, совершаемых над беззащитными женщинами. Толстой с глазами, полными слез, продолжал доказывать, что насилie в ответ на насилie не могло бы достигнуть никакой благой цели.

«Наконец я спросил его, — пишет Кеннан, — не считает ли он, что сопротивление такому притеснению оправданно.

— Это зависит, — отвечал он, — от того, что понимать под сопротивлением. Если вы имеете в виду убеждение, спор, протест, я отвечаю — да. Если вы имеете в виду насилie — нет. Я не думаю, что насильственное сопротивление злу насилieм оправдано при любых обстоятельствах» (*Цит. по: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 368*).



Кеннан привёз и показал рукопись Е. И. Россиковой о «голодной забастовке», длившейся 16 дней, — протесте четырёх женщин, политических ссыльных, против жестокого обращения. Толстой «прочитал три или четыре страницы рукописи и помрачнел... «Я не сомневаюсь, — сказал он, — что мужество и сила этих людей поистине героические, но методы их неразумные, и я не могу сочувствовать им» (Там же. С. 372).

Ещё Толстой сказал, что для уничтожения «системы ссылки» нужно, чтобы все отказались от солдатской службы и уплаты налогов. «Мой метод — по сути своей революционный... Истинный путь противиться злу — это полный отказ делать зло — как ради себя, так и ради других». На все возражения Кеннана Толстой «продолжал утверждать, что единственный путь уничтожить угнетение и насилие состоит в том, чтобы полностью отказаться вершить насилие, что бы к этому ни побуждало. Он сказал, что политика непротивления злу, которую он проповедует как революционный метод, находится в полном соответствии с характером русского крестьянина» (Там же. С. 372 – 374).

Конечно же, Кеннан был ошеломлён такой стройной, жёстко противостоящей всем его заготовленным заранее фактам и доводам, системой воззрений. При начале общения Толстой упреждающе спросил его, читал ли он его *позднейшие* (1880-х) годов сочинения, и, получив отрицательный ответ, не без иронии заметил:

«— Так вы меня не знаете, но мы скоро познакомимся» (Цит. по: Бабаев Э. Г. *Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1. М., 1975. С. 417*).

И Кеннан, действительно, *познакомился* практически “с нуля” – с обновлённым Толстым, с Толстым христианином! Именно таким он представил яснополянца и своим читателям в «Century». Статья, конечно же, имела широкий резонанс. В свою очередь, вошёл в «резонанс» Кеннан и со взглядами Толстого. 26 ноября 1888 г. Толстой писал в Дневнике: «Суждения о русском правительстве Kennan’a поучительны: мне стыдно бы было быть царём в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как сослать в Сибирь тысячи и в том числе 16-летних девушек» (50, 5). Будучи в гостях, Кеннан предложил Толстому некоторые свои публикации, и, прочтя работу «Political exiles and Common Convicts in Tomsk» («Политические ссыльные и обычные осуждённые в Томске»), Толстой записы-

вает 5 января следующее: «Дома читал Кеннана, и — страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости» (50, 20). 11 ноября 1889 г. он дочитал статью о Петропавловской крепости и сибирской ссылке. Впоследствии материалы этой статьи писатель использовал в романе «Воскресение» и в повести «Божеское и человеческое». В комментариях Н. Н. Гусева к роману «Воскресение» говорится о некоторых совпадениях романа с книгой Кеннана «Siberia and Exsile System» («Сибирь и ссылка») (1891). 8 августа 1890 г. Толстой писал Кеннану: «С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в “Century”...» (65, 138).

Откуда же такой «резонанс»? Без сомнения, его подготовило общение Толстого с сектантами и радикалами в предшествующие годы. Один из них, бывший революционер «чайковец», впоследствии сектант, *Василий Иванович Алексеев* (1848 – 1919), в 1877 – 1881 гг. был даже домашним учителем в семье Толстого, а по «совместительству» и своего рода «наставником» самого Льва Николаевича в годы его духовного кризиса. Как и Алексеев, Джордж Кеннан без труда «прощупал» в беседе ничего не заподозрившего яснополянца, выяснил его пристрастия и, вероятно, разработал меры влияния на Толстого — с перспективами вовлечения его, через религию и благотворительность, в деятельность международной политической оппозиции российскому режиму, газетным «голосом» которой он к тому времени сделался. Вряд ли Толстой поспешил с выводом о *духовной близости* его с Кеннаном, если бы знал, *как* использовал тот собранный в России материал и *какой* стремился вызвать резонанс у себя на родине!

Именно революционным эмигрантам, стоит здесь отметить, принадлежит дело особенно нехорошее: они «подготовили» общественное сознание англичан и, шире, европейцев к восприятию едва ли не всякого критического выступления автора из России или в России как «оппозиционного» по отношению к монархии, к российскому режиму в целом, и, так или иначе, клонящегося к оправданию революции. При этом крикливые выступления такого деятеля революционной эмиграции, как небезызвестный Сергей Степняк-Кравчинский в журнале «Свободная Россия», а тем более сообщения из России соотечественников, в частности Джорджа Кеннана, Джейсма Стевени, Эмиля Диллона — воспринимались с большим доверием, нежели «бунтарские» сочинения Л. Н. Толстого 1880-х гг., в которых

для секуляризованного британского мозга было везде «не то» — и этим «не то» была живая вера Христа, исповедовавшаяся Львом Николаевичем Толстым!

Эмигранты не просто манипулировали настроениями британского обывателя, но создали ряд мифологем о Л. Н. Толстом. Не без поддержки «генерала в толстовстве» В. Г. Черткова, высланного в 1897 г. российским правительством в Англию и там быстро нашедшего общий язык с «подпольщиками», сотрудничавшего с ними и за это обласканного красной большевицкой сволочью впоследствии, после прихода её к власти в России, в т. н. советскую эпоху, в литературе, даже научной, эти мифологемы получили развитие и удержали влияние надо многими совкорождёнными и совкоголовыми представителями научного мира. Из их книжек и статей по сей день кочует по умам миф о Толстом «пацифисте», «бунтаре» и едва ли не социалисте.

Но в тот период Толстому было лестно внимание к себе иностранных гостей и корреспондентов. 18 июня 1887 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Сегодня получено много писем из Америки, статья Кеннана в “Century” о посещении его Ясной Поляны и о разговорах Льва Николаевича и ещё печатный отзыв о переведённых произведениях Л. Н. Всё очень лестное и симпатизирующее. Ужасно странно и приятно в такой дали находить такое верное понимание и сочувствие... Его радует его успех или, скорее, сочувствие в Америке, но успех и слава вообще влияют на него мало» (*Толстая С. А. Дневник: В 2-х тт. Т. 1. С. 118 – 119*).

В числе прочего, Кеннан оценил специфику восприятия Л. Н. Толстым деятельности другого своего знакомого этих лет, к сожалению (в отличие от Кеннана!) не встреченного Львом Николаевичем при жизни лично. После посещения Толстого Кеннан прислал в Ясную Поляну книгу выдающегося общественного деятеля Америки Уильяма Ллойда Гаррисона (*William Lloyd Garrison, 1805 – 1879*), аболициониста, высокопочтительного Львом Николаевичем Толстым — но, стоит подчеркнуть, вовсе не за аболиционизм, даже и не за политическую деятельность, как таковую.

Именно с книг Уильяма Ллойда Гаррисона для Толстого началось общение с писателями и общественными деятелями Североамериканских Штатов. Весной 1886 г. Вендель Гаррисон, сын Уильяма Ллойда, прислал вышедшие к тому времени в Нью-Йорке два тома биографии отца.



Уильям Ллойд Гаррисон.  
Дагерротипия Southworth & Hawes, Бостон. Ок. 1850 г.

Уильям Ллойд Гаррисон основал в 1833 г. Американское общество против рабства («аболиционистов») в Филадельфии и был его президентом с 1843 г. до самой отмены рабства (1865). Он написал «Декларацию чувств» — провозглашение основ для установления между людьми всеобщего мира, в 1831 – 1865 гг. издавал еженедельную газету «Освободитель» («Liberator»). В 1838 году Уильям Ллойд Гаррисон составил декларацию под названием «Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира». Документ был воспринят яснополянцем как декларация христианского «непротивления злу насилием». Знакомство с «Декларацией» У. Л. Гаррисона стало одним из важнейших импульсов к началу работы Толстого над фундаментальным религиозным сочинением — трактатом «Царство Божие внутри вас», которому, по его колоссальной значительности в нашей теме, мы посвятим ниже особенную главу. В первой главе трактата Толстой приводит этот документ, и, конечно, в самых положительных выражениях, не без доли романтизации этой исторической персоналии, рассказывает об авторе и о его сыне:

«Сын Вильяма Ллойда Гаррисона, знаменитого борца за свободу негров, писал мне, что, прочтя мою книгу <«В чём моя вера?»>, в которой он нашёл мысли, сходные с теми, которые были выражены его отцом в 1838 году, он, полагая, что мне будет интересно узнать это, присылает мне составленную его отцом почти 50 лет тому назад декларацию или провозглашение непротивления — «Non resistance» (28, 3 – 4).

Толстой ответил Венделю Гаррисону: «Узнать про существование такой чистой христианской личности, какою был ваш отец, было для меня большою радостью... Декларация непротивления, по моему мнению, действительно есть эра в истории человечества» (63, 343 – 344. *Черновик*). Толстой попросил прислать ему краткую биографию Гаррисона: «Мне бы хотелось поскорее узнать всю его судьбу» (*Там же*. С. 344).

5 мая 1886 г. (нов. ст.) Вендель Гаррисон послал фотографии отца, краткую биографию, составленную вскоре после смерти Гаррисона его другом и сподвижником Оливером Джонсоном (63, 346).

В яснополянском кабинете Толстого до сих пор висит большой портрет Уильяма Ллойда Гаррисона.

Вендель Гаррисон сообщал также, что в Хопдэйле (штат Массачусетс) существовала непротивленческая коммуна, основатель которой, *Адин Баллу* (Adin Ballou; 1803 – 1890), живёт до сих пор в Хопдэйле. Летом 1889 г. единомышленник Баллу Вильсон прислал в Ясную Поляну книгу «Христианское непротивление» этого пастора, также выступавшего против рабства негров в США. По Дневнику Толстого можно установить, что он познакомился с книгой уже 19 – 22 июня 1889 г.: «Дал <сыну> Лёве переводить. Превосходно» (50, 98. *Запись 20 июня*).

Толстой не во всём согласился с мыслями Баллу, но в общей позиции и, главное, деятельности американских «непротивленцев» увидел претворение в жизнь своих идей о возможности бороться с насилием государства и лжамы церкви, с войнами и рабством — словом обличения и делом пассивного сопротивления, ненасильственного гражданского неповиновения. В 1890 г., в конце июня, Толстой выправил сделанный Н. Н. Страховым перевод «Декларации чувств» Гаррисона и «Катехизиса непротивления» Баллу. 30 июня 1890 г. Лев Николаевич отправил в Америку самому старичку Баллу прочувствованное письмо, а 8 июля написал «Предисловие к катехизису»

Балу». Это предисловие и явилось началом вышеупомянутой большой работы — книги «Царство Божие внутри вас», законченной Толстым лишь в 1893 г.



Адин Баллу

Весной 1888 года, именно 19 апреля, как раз когда Лев Николаевич был в очередном, уже втором, из знаменитых своих пеших путешествий из Москвы в Ясную Поляну, жена писателя, Софья Андреевна Толстая, вдогонку мужу послала письмо с таким, в числе прочего, известием:

«Читала статью Вогюэ о тебе и о “Власти тьмы”. Начало очень хорошо, он понял всё правильно, но потом расплылся на разные примеры и сравнения, щеголяя своим образованием, и что-то не вышло» (Толстая С. А. *Письма к Л. Н. Толстому*. М., 1936. С. 413).

Умнейший, блистательнейший, многоталантливый *Эжен Мельхиор, виконт де Вогюэ* (Eugène-Melchior vicomte de Vogüé, 1848 – 1910) оставил яркий след в истории науки, искусства, политики, философии и общественной мысли как историк литературы, критик, секретарь Французского посольства (1877 – 1882), почётный член Общества любителей российской словесности и член Академии наук, а так же, с 1888 г., член Французской академии. Около семи лет, и

пять из них непрерывно (1877 – 1882) виконт прожил в России, отлично выучив русский язык и влюбившись в русское искусство и литературу.



Эжен Мельхиор, виконт де Вогюэ

В 1884 г. во влиятельном, многолетне любимом Толстым французском журнале «Revue des Deux Mondes» (15 juillet) появилась первая статья Вогюэ о Толстом «Les écrivains russes contemporains. Le comte Leon Tolstoi» («Современные русские писатели. Граф Лев Толстой»). Она была подробно разобрана близким другом Толстого, философом Н. Н. Страховым в работе «Французская статья об Л. Н. Толстом» (Русь. 1885. № 2), которую читал и «очень одобрил» сам Лев Николаевич.

Под редакцией Вогюэ в 1879 г. в издательстве Hachette вышел первый французский перевод «Войны и мира», выполненный И. И. Паскевич.

В книге Вогюэ «Русский роман» (Paris, 1886) была дана высокая оценка в целом русской литературе, особенно Тургеневу и Толстому. Статья принесла автору широкую известность. А в 1888 г. в «Revue des Deux Mondes» (15 mars) вышла та самая статья Вогюэ о Толстом,

о которой писала супругу Софья Андреевна — «La Puissance des ténèbres de Léon Tolstoi. Réflexions d'un spectateur» («Власть тьмы» Льва Толстого. Размышления зрителя). Н. Н. Страхов, как и жена Толстого, в письме к Льву Николаевичу от 6 апреля 1888 г. констатировал, что статья слаба, что критик «не справился с задачей». «Но важно здесь, — добавлял он тут же каплю мёда, — выражение того впечатления, которое Вы производите у французов; они как будто в потёмках вдруг увидели свет с востока» (*Донсков А.А. (ред). Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Том II. С. 773 – 774*).

В 1889 г. Вогюэ обратился к писателю и переводчику, баронессе Елисавете Ивановне фон Менгден, а она через С. А. Толстую — к Льву Николаевичу, с просьбой разрешить сделать перевод на французский язык «Крейцеровой сонаты». Толстой благоразумно отказался. В 1890 г. в «Русском обозрении» (№ 12) вышла статья Вогюэ «По поводу “Крейцеровой сонаты”». Страхов 2 января 1891 г. написал Толстому, что «статья Вогюэ умна и здесь её усердно читают; между тем, он вовсе не знает, что такое христианство, а потому не может и Вас понимать». Но статья эта понравилась, между прочим, Софье Андреевне Толстой: «удивительно тонко и умно» (*Толстая С.А. Дневник: В 2-х тт. М, 1979. Т. 1. С. 161*).

Наконец, в том же 1889 г. Толстой прочёл в «Revue des Deux Mondes» (novembre) статью Вогюэ о военном отделе на 8-й Всемирной выставке в Париже, перевёл из неё большой отрывок и процитировал его в 6-й главе трактата «Царство Божие внутри вас», дополнив знаменитым заключением: «...люди, которые как Вогюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью» (28, 129). В связи именно с общественно-политическими воззрениями Вогюэ имя его упоминается Толстым в антимилитаристских статьях «Христианство и патриотизм» и «Carthago delenda est» (см. 39, 41 и 216).

Следует сказать здесь же и о личном визите к Толстому в 1886 году, оказавшемся весьма обоюдодобрым для участников общения, хотя отнюдь не сблизившим их идейно. Речь о французском поэте, драматурге, писателе и политическом деятеле яро милитаристских и реваншистских настроений *Поле Деруледе* (Paul Déroulède; 1846 – 1914). В молодости он стал известен как участник значительнейшей



в франко-прусской войне битвы при Седане, катастрофической для французов — на которой, вероятно, и “съехал” слегка верхней боеголовкой. В следующем, 1871-м году Поль Дерулед — уже яркий патриот, вынашивающий идеи военного реванша с Пруссией, участник подавления Парижской коммуны, а немногим позднее — автор сборников патриотических стихотворений, проникнутых воспоминанием о тяжёлой борьбе и мыслью о реванше: «Les chants du soldat» (1872) и «Les nouveaux chants du soldat» (1875). В № 2 «Отечественных записок», в переводе некоего «М. Российского» (очевидно, псевдоним) явилась, например, вот такая развесистая клюква от «Жана Ребея» (это, в свою очередь, псевдоним Деруледа-стихоплёта):

Он был отрок пылкий, русский, синеокий,  
Полный жизни, юношеских сил.  
Он не знал ни горя, ни тоски глубокой,  
Ни кипучей злобы, мощной и жестокой —  
Все его любили — всех и он любил...

Он был отрок пылкий, русский, синеокий,  
Полный жизни, юношеских сил.  
И благословила мать его, рыдая,  
И поцеловал он, плача, мать свою...

Он расстался с школой и с родными, зная,  
Что с врагами бьётся сторона родная,  
Что разбиты братья в роковом бою.

И благословила мать его, рыдая,  
И поцеловал он, плача, мать свою...» и т. д.

( [http://az.lib.ru/d/deruled\\_p/text\\_1872\\_malenkiy\\_turkos-oldorfo.shtml](http://az.lib.ru/d/deruled_p/text_1872_malenkiy_turkos-oldorfo.shtml) )

Чем-то напоминает дрянной, тошнотный «шансон» (блатняк) поганого «русского мира», не так ли? В 1886 году Дерулед пишет столь же, откровенно, пропагандистские стишата, среди которых можно выделить поэму «Капитан», прославляющую военную службу и войско, как безальтернативную «семью и школу» для неотёсанного и трусливого крестьянина:

«РЕКРУТ

...Но в битвах этих неужели

Не обошлись бы без нас?  
Отец мой бродит еле-еле,  
В хозяйстве нужен глаз да глаз.  
Зачем я рослый, в самом деле?  
Других-то разве нет у вас?  
И в битвах этих неужели  
Не обошлись бы без нас?

#### КАПИТАН

К служенью родине избранный,  
Пойми, мужик, что это — честь,  
Ты призван быть её охраной  
И долг бойца со славой несть.  
Пусть час придёт, давно желанный,  
И мы свершим святую месть!  
К служенью родине избранный —  
Пойми, мужик, что это — честь.

#### РЕКРУТ

Прощенья просим, не взыщите,  
Коль я неладное сказал.  
У нас болтали так, подите!  
Спроста я то же повторял.  
А слов о чести да защите  
Я отродясь и не слышал...  
Прощенья просим, не взыщите,  
Коль я неладное сказал.

#### КАПИТАН

Ты видишь крест перед собою,  
Прочти, на нём лишь пара слов:  
Отчизна, честь! — для нас с тобою  
В них — долг, обязанность, любовь!  
Вот знамя наше, над странною  
Оно — священнейший покров.  
Ты видишь крест перед собою,  
Не забывай же этих слов.

#### РЕКРУТ

Сознаюсь прямо: грамотеем  
И не бывал я никогда.

Читать мы дома не умеем —  
Вот в этом, видно, и беда:  
Поняв "отчизну", мы успеем  
И "честь" осилить без труда;  
А я, признаться, грамотеем  
И не считался никогда.

#### КАПИТАН

Сознайся ты без замедленья —  
Я б извинил тебя тотчас, —  
Душой ты ищешь просвещенья,  
И ты найдёшь его у нас.  
Невежество — не преступленье,  
За дело! Твой настанет час!  
Сознайся ты без замедленья —  
Тебя я понял бы тотчас».

( [http://az.lib.ru/d/deruled\\_p/text\\_1887\\_3\\_stihacoderzhaniya.shtml](http://az.lib.ru/d/deruled_p/text_1887_3_stihacoderzhaniya.shtml) )

С такими стишками люди и народы не живут. С такими стишками — готовят зарезаловку себе и своим детям. Ощутимо в наши дни (январь 2023 г.), что эта военно-патриархальная идиллия — идеал военщины и в путинской России, возжаждавшей уже давненько реванша с западными «обидчиками!» Вместо школ и особенно университетов с их вековой склонностью к научно-академической и студенческой автономии...

Впрочем, мы отвлеклись — к делу!

В 1880-х, зрелых лет Дерулед, окунулся, конечно же, с маковкой, в политическую деятельность. С целью подготовки реванша Дерулед образовал в 1882 г. «Лигу патриотов», в которой призывались участвовать все граждане, без различия партий. Лига имела успех, и вскоре по всей Франции распространились её разветвления. С появлением на политическом поприще генерала Жоржа Буланже (1837 – 1891) деятельность Лиги приняла иной характер. Дерулед сделался одним из наиболее ревностных сторонников генерала, в котором он видел героя будущей войны с Германией.

Дерулед был одним из главных вдохновителей и пропагандистов раскритикованного Л. Н. Толстым немногим позднее, в статье «Хри-

стианство и патриотизм», франко-русского союза (подготовка к которому шла с 1891 г. по январь 1894 г.), направленного против Германии.



Поль Дерулед.

Парадный портрет 1877 г. (Jean-François Portaels, Musée de l'Armée)  
и карикатура, около 1884 г. (Coll-Toc, «Les Hommes d'aujourd'hui»)

Дерулед пытался перенести свою деятельность и за пределы Франции. Летом 1886 г. он приехал в Россию для переговоров с виднейшими представителями правящих кругов, стараясь убедить их в необходимости политической и военной коалиции. Имя Толстого начинало в это время пользоваться широкой известностью во Франции и других зарубежных странах. Возможно, Деруледу стали известны и симпатии писателя к французской литературе и французской прессе — правда, отнюдь не патриотической! Поэтому 16 июля 1886 г. Дерулед заехал в Ясную Поляну, чтобы по возможности заручиться поддержкой влиятельного писателя.

По-видимому, Дерулед не имел сколько-нибудь верного представления о взглядах своего собеседника, в частности, о его отношении к войне. Художественное же творчество автора «Анны Карениной» он оценил высоко и предрёк в беседе с ним, что Толстой будет оказывать сильное влияние на французскую литературу.

17 июля 1886 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Вчера у меня провёл день французский писатель Déroulède и очень меня заинтересовал.

Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне, revanche против немцев. Он глава воинственной Лиги и только бредит о войне. И я его полюбил. И мне он кажется близким по душе человеком, который не виноват в том, что он жил и живёт среди людей-язычников» (85, 376).

Свидетелями посещения Подем Деруледом Толстого были его жена и сын, Лев Львович, домашняя учительница и гувернантка детей Анна Сейрон (1845 – ?), а непосредственно беседу писателей слышала и даже частью зафиксировала приехавшая с сыном погостить к родне (кстати, вместе с Деруледом), троюродная сестра Толстого, художница, дочь гениального живописца Ф. П. Толстого, умнейшая и многоталантливая графиня *Екатерина Фёдоровна Толстая* (1843 – 1913; в замужестве, с 1863 г., *Юнге*).

Вот что вспоминает о визите Анна Сейрон:

«Никто не мог угадать, что это за человек высокого роста, в сером, доверху застёгнутом сюртуке, с военной осанкой, которого привезла с собою в Ясную Поляну одна из родственниц графа. Дерулед! Звук этого имени был чужим для нас, так как газеты читались редко. [...] Благодаря своей ловкости в разговоре и свободе обращения, он скорее других освоился с новой обстановкой. Но война, реванш, соби- рание подписей за и против того или другого, всё это были пред- меты, не представлявшие ни малейшего интереса в глазах графа. С другой стороны, одного движения в углах губ графа и одного взгляда его стальных глаз было довольно, чтоб побудить Деруледи придать совершенно иной характер цели своего посещения, а именно в смысле желания, разумеется, „познакомиться с литературным светилом России“. Эта почва сделала возможным для Деруледи пребы- вание в Ясной Поляне...

Были минуты, когда, казалось, он был близок к цели, но едва только в речи появлялись отзвуки боевой трубы, граф становился холоден, как мрамор. Один только раз он, в свою очередь, коснулся в разговоре темы о войне и её невыразимых бедствиях. Он видел своими глазами всё это — ночное кровавое небо, опустившееся над полем битвы, и когда Дерулед вслед затем снова заговорил о том, что „Рейн должен принадлежать французам“, граф улыбнулся добро- душно и сказал: „Границы между государствами должны опреде- ляться не пролитой кровью, а разумным соглашением народов, при- чём должна быть оказана справедливость каждому и взвешены все права и выгоды той и другой стороны“. На замечание гостя, что

война есть явление, свойственное природе, граф ответил, что, тем не менее, её должно и можно избежать, и если наступят опять дни, когда брат встанет на брата и будут убивать друг друга, — пусть это будет сила рокового сцепления вещей. Но, главное, никто не должен ни вызывать, ни требовать войны. С этими словами граф встал и быстро вышел из залы». (Цит. по русскому переводу: Сейрон, Анна. *Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого: записки Анны Сейрон*. СПб., 1895. С. 59 – 61).



**Екатерина Фёдоровна Юнге.**  
*Портрет Г. Г. Мясоедова, 1901.*

А ниже — несколько записей с листочков немногословной Е. Ф. Юнге, слышавшей разговор писателей. Всё это, очевидно, возражения Толстого Деруледу:

«Бог — закон природы; разум — совесть».

«Понятие об родине, государстве, собственности есть метафизика, — а то, что я говорю, — это математика».

«Когда один человек слушает и ничего не понимает, а другой говорит и сам уже не понимает, что он говорит, — это метафизика».

«Борьба за существование есть не закон природы, а тот материал, над которым должна работать цивилизация. Чем больше цивилизации, тем менее проявляется борьба за существование, истинная цивилизация должна уничтожить её».

«Эльзас и Лотарингия теперь именно ваши своею любовью к вам, своим духовным сопротивлением немцам; не всё ли равно, какое над ними насилие, какая власть». («Взгляды Толстого эгоистичны, — отмечает здесь же Юнге, — чтоб своя совесть была спокойна, чтобы самому можно было жить — рассказ об ребёнке, которого кто-нибудь бьёт; не имеем права помочь ему насилем же». — *Примеч. Е. Ф. Юнге.*)

«Самоотвержение, желание жертвы так сильно в человеке, что он создал себе теории, чтоб только жертвовать собой идее».

«Немцы победили так же, как потеряли от войны: они стали самодовольны, нахальны». (Имеется в виду (здесь и ниже) франко-прусская война 1870 – 1871 гг.— *Примеч. ред.*).

«Впечатление войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало» (*Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843 – 1911. М., 2017. С. 436 – 437.*)

Уникальны по значительности для нашей темы воспоминания Л. Н. Толстого о своей молодости в разговоре с Полем Деруледом, услышанные любопытной художницей и умницей. Например:

«Когда он поступил в университет и пошёл к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдёт, военную или статскую, то он отвечал: “Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?”» (*Там же. С. 437.*)

А вот — ценнейшая подробность о скандально знаменитой «севастопольской песне», как мы помним, сочинённой Толстым в соавторстве с офицерами-сослуживцами в 1855 году, на «пике» обиды за жизни солдат и поражение в битве 4 (16) августа 1855 г. при Чёрной речке, вызванное, по преимуществу, халтурным командованием и стоившее множества солдатских жизней:

«Этой песне я много обязан: если бы не она, моя вся жизнь пошла бы иначе. Меня хотели послать адъютантом к государю, но между тем вышло как-то наружу, что это я написал, ну и неловко было назначить» (*Там же*).

На этих же листках Юнге сделала следующие заметки: «В Т<олстом> что-то добродушное, приветливое, весёлое, ласковое доброе, напомнило мне отца, — такая же ласковая улыбка» и «Толстой вообще сделал на меня более добродушное и спокойное впечатление, чем прошлый раз» (*Цит. по: Ланской Л. Р. Из бесед Толстого с Полем Деруледом. Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Литературное наследство. 1965. Т. 75. Кн. 1. С. 539*).

Четверть века спустя, уже после смерти Толстого, Екатерина Фёдоровна Юнге писала его вдове (1 октября 1911 г.): «Дерулед был у Льва Николаевича, по моим точным соображениям, в 1886 году. Пусть только Бирюков не повторяет глупостей, которые писались в газетах по этому поводу, будто Лев Николаевич сердился, хлопал дверями и пр. Я всё время была с ними, и ничего подобного не было; они спорили горячо, но дружественно, и часто прения прерывались шутками, например:

*Л[ев] Н[иколаевич]*. Я не понимаю, как люди могли дойти до мысли, что земля может быть чьей-нибудь собственностью.

*Дерулед*. Ну, знаете, эта теория растяжима. Таким образом можно сказать, что и мой сюртук — не моя собственность.

*Л. Н.* Конечно, и не только сюртук, но ваши руки, ваша голова — не ваша собственность.

*Дерулед*. Ah, mais non! Ah, mais non! <*фр.* Ну, уж нет! Нет!> Я не хочу оставаться без головы, я буду защищаться.

*Л. Н.* (смеясь). Ну, если это вам неприятно, я скажу, что мои руки, моя голова мне не принадлежат...

*Дерулед*. Вот если б мне да вашу голову! Хоть на один месяц бы!

*Л[ев] Н[иколаевич]* хохочет.

Перед отъездом, в отсутствие Деруледа, Лев Николаевич сказал мне:



— Ведь я вполне этого человека понимаю: я сам когда-то точно так же думал. Но теперь я выше этого. А когда мы выехали, Дерулед сказал мне: “Ведь я вполне этого человека понимаю, я благоговею перед ним, но сам я не могу отрешиться от того, что было крепче моей жизни. *Я не могу подняться на его высоту*” (Юнге Е. Ф. Указ. изд. С. 439 – 440; ср.: Ланской Л. Р. *Из бесед Толстого с Полем Деруледом. Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Указ. изд. Кн. 1. С. 539 – 540*).

Итак, воинственные доводы автора «Песен солдата», разумеется, не встретили сочувствия в Толстом. Ветеран понял и полюбил ветерана, но миссия агитатора завершилась полным фиаско, хотя он не мог пожаловаться на оказанный ему приём. «Никто в этом доме не сходится со мною во взглядах, однако мне здесь нравится, очень нравится», — говорил он С. А. Толстой (Цит. по: Ланской Л. Р. *Из бесед Толстого с Полем Деруледом. Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Указ. изд. Кн. 1. С. 535*).

Книжку с текстом драмы Поля Деруледа «Моавитянка», подаренную автором Толстому в ходе визита, яснополянец почти не разрезал (Там же. С. 535 – 536).

Толстой мощно впечатался Полю Деруледу в память. Но если француз остался совершенно при тех же своих реваншистских и милитаристских убеждениях, то антивоенные настроения яснополянца получили после той беседы «пищу для размышлений» и существенно углубились. Ниже, через одну главу, при анализе антивоенной публицистики Льва Николаевича в 1890-е гг., нам доведётся вернуться к этому сюжету — взглянув на визит Поля Деруледа, на самую эту личность, буквально «другими глазами». Причина в том, что Толстой-публицист подробно рассказал читателям об этом посещении (не называя фамилии гостя) в статье «Христианство и патриотизм» (1894 – 1894), направленной, помимо прочего, против франко-русского “сближения”, чреватого новой большой войною в Европе.

Через год, в начале лета 1887 г., а точнее 6 июня, состоялось ещё одно, значительнейшее именно для нашей темы, знакомство Толстого — с выдающимся юристом своей эпохи, судебным следователем, интеллектуально и нравственно благоухающим человеком со смешной лошадиной фамилией — *Анатолием Фёдоровичем Кони* (1844 – 1927).



Анатолий Фёдорович Кони.  
Худ. И. В. Репин. 1898

Впервые Анатолий Фёдорович увидел Толстого, будучи студентом юридического факультета Московского университета, в 1863 г., в гимнастическом зале на Большой Дмитровке. А сдружил Кони и Льва его коллега по службе А. М. Кузминский — муж сестры С. А. Толстой. 6 июня 1887 г. они прибыли в Ясную Поляну — в тот самый Флигель — где Анатолий Фёдорович и прогостил несколько дней. Сенатор-писатель и писатель-мыслитель провели многие часы в беседах о религиозных и нравственных вопросах; гость не раз обращался к судебным воспоминаниям и рассказывал Толстому многое из своей профессиональной практики. Одному из его рассказов суждено было стать шедевром мировой литературы. В 1889 г. он начал писать произведение, первоначально названное им «Коневская повесть», над которым работал 10 лет. История финской девушки Розалии Онни под пером писателя преобразилась в роман «Воскресе-

ние», знаменитый своим критическим по отношению к церкви и государству, религиозным, а в числе прочего, хотя и не на первом месте — и антивоенным пафосом.

Между ними завязалась переписка. С 1888 по 1910 гг. Кони получил от Толстого 36 писем. Главной темой писем была просьба оказать содействие людям, попавшим в трудную ситуацию, требовавшую вмешательства юриста и, главное, доброго, отзывчивого человека. Среди таковых были и «отказники» от военной службы по религиозным убеждениям.

Наконец, уже к 1891 году, но как «эхо 1880-х», возросших в эти годы известности и популярности Толстого за рубежом, относится весьма значительное знакомство Льва Николаевича «по переписке», с австрийской писательницей, пацифисткой, баронессой *Бертой фон Зуттнер* (Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner, урож. гр. Kinsky; 1843 – 1914).



Берта Фон Зуттнер. Рисунок Google. 2019 г.

Берта фон Зуттнер родилась 9 июня 1843 г. в Праге (в то время Австро-Венгрия), в семье австрийского фельдмаршала графа Франса Йозефа Кински фон Шиник унд Теттау. Отец скончался незадолго до рождения дочери, и её воспитанием занималась мать София Вильгемина, а также опекун, оба входившие в австрийские

придворные круги. Так получилось, что Берта Кински была воспитана в милитаристских традициях австрийского аристократического общества — тех самых традициях, с которыми она вела беспощадную борьбу всю вторую, бóльшую и лучшую, половину своей сознательной жизни.

По счастью, к тому времени, когда Берте исполнилось 30 лет, её мать промотала наследное состояние. Берта нанялась гувернанткой к четырём дочерям венского семейства Зуттнер и вскоре влюбилась в одного из трёх сыновей — барона Артура Гундаккара фон Зуттнера. Поженившись без согласия родителей Артура, Зуттнеры вынуждены были уехать в Россию, в Грузию, воспользовавшись приглашением семьи князя Дадияни. Когда между Россией и Турцией в 1877 г. началась война, Артур фон Зуттнер стал писать репортажи с театра военных действий в венские периодические издания. Популярность статей мужа вдохновила взяться за перо и Берту. Она сочиняла рассказы, эссе, вместе с Артуром — под влиянием Э. Золя, идей Ч. Дарвина и Г. Спенсера — написала четыре романа.



Берта фон Зуттнер в молодости

В 1886 – 1887 гг. Зуттнеры живут в Париже, встречаются с Альфредом Нобелем и Эрнестом Ренаном, знакомятся с деятельностью Ассоциации мира и международного арбитража в Лондоне и аналогичных организаций в странах континентальной Европы. Загоревшись идеями арбитража, Берта фон Зуттнер пишет книгу «Эпоха машин» (1889), где выступает с критикой пропаганды национализма и милитаризма в европейских странах. Это произведение вызвало широкое обсуждение как в обществе, так и в кругах литературных критиков.

В 1889 году Берта опубликовала малоталантливый, но получивший скандальную известность роман «Долой оружие!» («Die Waffen nieder! Eine Lebensgeschichte»). Его перевод на русском языке появился в 1891 г. под названием «Против войны: Роман из жизни» (СПб., 1891).

Роман должен был показать всю нелепость войны, её безумие и ужас и побудить читателей стать противниками милитаризма. Героиня романа Марта — дочь боевого генерала, выросшая в атмосфере культа военных подвигов. Первый её муж, гусар, погибает во время итало-австрийской войны 1859 года. Второй муж, барон Тиллинг, — участник австро-прусской войны 1866 года. Не получая от него долгое время известий, Марта отправляется на театр войны, видит бездну страданий, убитых и изувеченных. Это, пожалуй, самые сильные страницы романа. Двое старших её братьев погибли в сражениях; во время эпидемии, последовавшей за военными опустошениями, умирают другие её близкие. Барон Тиллинг после войны уходит в отставку, супруги посвящают свою жизнь изучению причин военных конфликтов, прослеживают зарождение и развитие идеи мира, ищут аргументы против войны в трудах и высказываниях великих людей, делают выписки, которые называют «Протоколом мира». Роман завершается трагически: Марта с мужем в Париже, начинается франко-прусская война, по нелепому подозрению в шпионаже барон Тиллинг расстрелян французскими властями.

Автор русского перевода сочинения, Фёдор Ильич Булгаков (1852 – 1908), очевидно, по договорённости с Зуттнер, прислал экземпляр книги — особо заготовленный, без цензурных изъятов — в Ясную Поляну. Известен отзыв о романе Л. Н. Толстого в Дневнике: «Хорошо собрано. Видно горячее убеждение, но бездарно» (52, 56). Но даже по выводам Санкт-Петербургского цензурного комитета, которые можно отыскать в очерке Николая Сергеевича Травушкина,

едва ли не единственного советского исследователя отношений Берты фон Зуттнер и Льва Толстого, можно видеть, что русское издание, едва прорвавшееся сквозь цензуру, не могло не порадовать Толстого таким, например, суждением:

«Война есть легализованный правительством разбой, грабёж и насилие, ведущие к полному одичанию... Войны необходимы не народу, а правительствам для поддержания династических интересов, а высшим классам — для сохранения сословных перегородок... Распространённое в христианском мире убеждение о божественной будто бы санкции ведения войны — ложно; поэтому всё, касающееся религиозной обрядности в военной сфере, как, например, присяга, увещевания духовных лиц перед битвой, обещание воинам царствия небесного — обман...» (Цит. по: Травушкин Н.С. *Берта Зуттнер – корреспондент Л. Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 144*).

А не порадовали Толстого не только слабая художническая способность романистки, но и настроение книжки — те эмоции осуждения и тот задор «обличать и ниспровергать», на котором, как нежелательном даже в христианской публицистике, ловил себя Толстой. По наблюдениям Н. С. Травушкина, «это было сильное обличительное произведение, которое, быть может, больше, чем того хотела писательница, критиковало самые основы государственной жизни, построенной па насилии и милитаризме. Недаром книга Зуттнер скоро стала популярной в среде революционно настроенных рабочих и оппозиционной интеллигенции» (Там же). К счастью для Толстого, и к сожалению для пацифистов и прочих «горячих обличителей», в числе такой читательской аудитории его невозможно было увидеть.

Вместе с книгой к Толстому прибыло и первое письмо от Берты фон Зуттнер, от 4 (16 н. ст.) октября 1891 г., в котором она выражала надежду, что «г. Булгаков из «Нового времени» послал Толстому перевод её романа «Долой оружие!». Кроме того, напоминая, что в скором времени в Риме соберётся международный конгресс мира с парламентскими представителями, а в Вене одновременно формируется австрийская секция всемирной лиги мира, Зуттнер, как организатор пацифистского движения в Вене, просила Толстого написать ей несколько слов поддержки её стремлений:

«Вы, учитель, один из тех, к чьему слову прислушивается вся Европа. Вот почему я, зачинательница движения мира в Вене, прошу

Вас прислать нам одну-две строки в подтверждение того, что вы одобряете цели Лиги и верите в осуществление её надежд» (66, 59).

В ответе своём Зуттнер Толстой был снисходителен, но и твёрд в отстаивании убеждений, к тому времени уже выраженных им в трактате «Царство Божие внутри вас», над которой работал:

«Милостивая государыня,

Я читал ваш роман, который мне прислал г. Булгаков, в то время, как получил ваше письмо.

Я очень ценю ваше произведение, и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзнаменованием.

Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины, г-жи Бичер-Стоу; дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны.

Я не верю, чтобы третейский суд был действенным средством для уничтожения войны. Я заканчиваю одно писание по этому предмету, в котором говорю об единственном средстве, которое, по моему мнению, может сделать войны невозможными. Между тем все усилия, подсказанные искренней любовью к человечеству, принесут свои плоды, и конгресс в Риме, я в этом уверен, будет много содействовать, как и прошлогодний конгресс в Лондоне, популяризации идеи о явном противоречии, в котором находится Европа, между военным положением народов и нравственными правилами христианства и гуманности, которые они исповедуют.

Примите, милостивая государыня, уверение в моих чувствах истинного уважения и симпатии.

*Лев Толстой» (66, 58 – 59. Черновое. Оригинал на франц.).*

Это самое «противоречие» станет одной из ключевых идей трактата, о котором мы расскажем достаточно подробно в следующей главе.

Очевидно, что фрау пацифистка несколько припозднилась для того, чтобы успеть заручиться безоговорочной поддержкой яснополянца: к 1891 году Толстой уже разобрался в безрелигиозном характере европацифизма и как раз успел в своей книге бодро «прокатить» Второй конгресс мира, состоявшийся в июне 1890 г. в Лондоне. В гл. VI «Царства Божия» он пишет: «Вот результаты конгресса: собрав с разных концов света от учёных лично или письменно их мнения, конгресс, начав молебствием в соборе и кончив обедом со спичем, в

продолжение 5 дней выслушал много речей и пришёл к следующим решениям». И далее Толстой излагает 19 пунктов решения этого конгресса, нигде не сбавляя “градуса” своей иронии (см. 28, 107 – 112).

Зуттнер ответила Толстому письмом от 6 января нов. ст. 1892 г. (ошибочно помеченным «1891 г.»). Н. С. Травушкин опубликовал полный его текст в своём очерке:

«Дорогой великий учитель!

Я ещё не поблагодарила вас за оказанную мне честь — за письмо, которое вы по моей просьбе написали и которым принесли — мне и делу, которому я служу, — огромную пользу.

Я очень польщена тем, что вы прочитали мой роман, посланный г. Булгаковым, и что вы нашли его достойным внимания. Для вас также, как я надеюсь, будет представлять интерес, что многочисленное „общество мира“ — по образцу лондонского — создаётся в Вене под моим руководством: оно насчитывает среди своих участников немало политических деятелей, литераторов, учёных. Один издатель — энтузиаст дела мира — основывает ежемесячник для пропаганды пацифистского движения, он назвал этот журнал „Долой оружие!“. Журнал предназначен служить центром для всех выступающих против духа войны. Я прошу вас, мэтр, если труд, который вы упомянули в вашем письме и в котором заключена ваша мысль о средстве установления мира, если труд этот близок к завершению и если вы пожелаете передать нашему журналу „Die Waffen nieder!“ право публикации его или хотя бы части его в немецком переводе, то это было бы прекрасным для открытия журнала подарком, который мы могли бы преподнести нашим читателям. Объявление о такой удачной находке привлекло бы легион подписчиков, и дело мира, которому посвящается наш журнал, приобрело бы новых приверженцев.

Примите, мэтр, уверения в моем глубоком уважении и глубокой признательности.

Баронесса Берта фон Зуттнер.

Австрия, замок Харманнсдорф, близ Эггенбурга» (Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. // Русская литература. 1972. № 2. С. 145 – 146).



На письме помета Толстого: «Б[ез] о[твета]». И дело здесь не только в скептическом отношении Толстого к деятельности европейских пацифистов. Сочинение, которое Зуттнер наивно выпрашивала у Толстого для “своего” журнала, ей суждено было увидеть нескоро: это был тот самый трактат «Царство Божие...», в котором (чего не могла, конечно же, знать Зуттнер), пацифисты и их Конгрессы мира остроумно высмеивались Толстым. К тому же автор был в эти первые дни 1882 года безмерно далёк от завершения книги и обременён не менее значительными хлопотами: спасением от голодной смерти тысяч крестьян у себя на родине.

Видные, влиятельные пацифисты, такие как Берта фон Зуттнер, навсегда останутся дружественными попутчиками Льва Николаевича в его антивоенном протесте, но вряд ли по-настоящему близким единомышленником Толстого могла быть именно эта дама, которая «искала опору в позитивистской философии Бокля и Спенсера, а также в этическом учении Толстого» (*Травушкин Н.С. Указ. соч. // Русская литература. 1972. № 2. С. 142*). Между позитивистами и Толстым неизбежно и необходимо делать выбор.

Будучи изящно, аристократически посланы Львом Николаевичем нахуй, корреспонденты Толстого обычно не прерывали переписки, а настырно повторяли попытку диалога. Вот и Берта фон Зуттнер, которой нужно было наверняка обратить внимание Толстого на новый антивоенный журнал — столь лестно названный, как и скандальный её роман, «Долой оружие!» — написала 10 июля 1892 г. ещё и третье письмо Толстому, так же оставленное им без ответа. В письме неутомимая фрау повторила просьбу о присылке статьи или отрывка из неё: предстоял конгресс мира в Берне, и она готовила специальный номер журнала «Долой оружие!» с высказываниями известных лиц. Несмотря на наступивший после этого послания перерыв в переписке, цели своей фрау Берта отчасти добилась: Толстой уже не смог позабыть о разрекламированном для него журнале. Тем более, что издательница подсуежилась и в том, чтобы Толстому высылались бесплатно его номера. В письме к жене, С. А. Толстой, от 30 октября 1893 года Лев Николаевич дал журналу такую оценку: «Ещё интересен № *Die Waffen nieder*, к<оторый> посылаю... Это преинтересный и прекрасно ведомый журнал, к<оторый> надо выписать и к<оторым> надо пользоваться» (84, 202). Об этом же он писал тогда В. Г. Черткову: «Хороший журнал. Я нынче получил один № ...» (87, 232).

Через год в Дневнике (6 сентября 1894 года) появляется запись: «читал... статьи в *Waffen Nieder*» (52, 137).

С. А. Толстая, не принимавшая, как известно, чистой евангельской, христианской веры супруга, но нескрывая симпатизировавшая именно безрелигиозным общественным движениям, как пацифизм или феминизм, в письме от 23 октября 1893 года советовала Льву Николаевичу послать в журнал Берты фон Зуттнер статью «Христианство и патриотизм»: «О статье твоей тулонской я думала потому поместить у Сутнер, что тогда она будет иметь характер протеста войне, а не личного задора; не будет причины русским и французам обижаться, а это всегда лучше» (*Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., 1936. С. 578*). Лев Николаевич находил, что это «очень хорошая мысль» (66, 408). О намерении послать статью в журнал Берты Зуттнер Л. Н. Толстой писал в те дни В. Г. Черткову (87, 232). По счастью, намерение это осуществлено не было.

В не меньшей степени, нежели соблазны городской жизни, публичности и популярности Толстого способствовали многочисленные издания собраний сочинений писателя в России, предпринятые с 1885 г. Софьей Андреевной Толстой, а также и переводы сочинений писателя на европейские языки. Переводчики, с которыми держал связь Толстой, уже совсем скоро окажут помощь ему значительнейшую, поворотную для судьбы его публицистических сочинений, в том числе антивоенных. В России весной и летом 1886 года 12-я часть изданного под руководством Софьи Андреевны Толстой Собрания сочинений мужа, вызвала бурную газетно-журнальную полемику (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 гг. М., 1979. С. 43*). Помимо гениальнейшей «Смерти Ивана Ильича», том содержал прорвавшиеся через цензуру отрывки из трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?», объединённые заглавием «Мысли, вызванные переписью». Таким образом, «всемирной славе» Толстого как «нравственного учителя» Софья Толстая, впоследствии в своём дневнике и мемуарах зло пенявшая мужу на эту славу, способствовала сама, и не бескорыстно, в середине – второй половине 1880-х!

Когда точно Толстой почувствовал возможность своего влияния, даже международного, на решение вопросов войны и мира — трудно сказать. Во всяком случае, это должно было совершиться

позднее написания Толстым основного текста статьи «Николай Палкин» в 1886 году, когда писатель даже не стремился к публикации (конечно, неподцензурной, «нелегальной») этого вполне «антивоенного» текста, но определённо до начала 1889 года, когда, по просьбе Андрея Ивановича Ершова, старого севастопольского сослуживца, Толстой пишет Предисловие к его военным мемуарам — не менее нецензурное, но уже первоначально предполагаемое автором для публикации.

О том, что ощущение самим Толстым неизбежности, при городской жизни и нарастающей популярности, нравственном авторитете, общественной, и при том критической в отношении существующего строя жизни, активности, безусловно захватило писателя и публициста к концу 1880-х, свидетельствуют некоторые его записи в Дневнике начала 1889 года. Например, вот эта, от 4 января 1889 г.: «...Читал *Advance Thought* и думал. Кажется, уяснил себе, что должен я написать “пришествие Царствия”» (50, 20).

А 10 февраля — снова то же побуждение, под впечатлением от книги Э. Рода:

«Читал *Le sens de la vie* [«Смысл жизни»]. Там страницы о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание и роман, т. е. высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни» (Там же. С. 35).

Или эта запись, уже под 19 апреля 1889 г., тоже ещё живя в Москве: «Созревает в мире новое миросозерцание и движение и как будто от меня требует[ся] участие, провозглашение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией — сделан колоколом. Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать. Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать» (50, 69).

Но кажущаяся в этом отрывке неколебимая решимость встать на такое поприще утвердилась в сознании Толстого, вероятно, ещё несколько позднее — под влияниями, как мы видим, ряда читательских знакомств Толстого и внешних событий. А в Дневнике того же 1889 года, под 12 мая, Толстой ещё расстроен рассказом своей христианской единомышленницы Марии Александровны Шмидт о том, как другой толстовец «страдал за меня, за то, что я не поступаю, как должен общественный деятель» (50, 80). От него уже этого ждали, а он — мудро избегал, не хотел...

Любопытно, в связи с этим, сравнить ситуацию с *первым* отказником, именно единомышленником Толстого, Алексеем Залюбовским,

о котором мы рассказали выше, с историей *второго*, ставшего известным Толстому, отказа, так же именно по «толстовским» убеждениям, который случился только через, без малого, четыре года (!) после казуса с Залюбовским. На этот раз на духовный подвиг пошёл *Ефим Николаевич Любич* (1865 (1867?) – 1923). Ефим Николаевич был сыном механика-самоучки, проживавшего в селе Вишеньки Кролевецкого уезда Черниговской губернии. В 1880-е гг. году он добровольно вышел из студентов Университета св. Владимира в Киеве и занялся земледелием. Но тётя «родина» не оставила в покое — потянув на военную службу. За отказом Любича в ноябре 1886 года последовали арест, содержание под следствием и, наконец, уже весной 1889-го, принудительная отправка на два года на «нестроевую», как сейчас бы сказали, службу в сводном лазарете военного поста Зайсана Семипалатинской области.

С Толстым лично Ефим Николаевич не виделся. Узнав из письма князя-толстовца Хилкова о том, что Любич по дороге в ссылку будет проезжать через Тулу, Толстой поехал повидаться с ним. Он искал его по всем тюрьмам, но не нашёл, так как Любич находился в военной пересыльной тюрьме. Льву Николаевичу пришлось удовлетвориться отсылкой Любичу, через могущественного, всюду влиятельного князя Хилкова, «тюремного» письма, писанного около 23 июня 1889 г., такого содержания:

«Ефим Николаевич!

Пожалуйста, напишите мне, когда получите вы это письмо и прилагаемое письмо Хилкова, из которого вы узнаете о своей семье. Я думаю, что мне не нужно говорить вам, как вы мне близки и как мне радостно будет служить вам, чем могу. Помогай вам Бог. Я тотчас же поехал в Тулу, получив письмо Хилкова (я получил 13-го), но нигде не нашёл вас. Если вы не проходили, то известите меня, и Бог даст свидимся; если же вы прошли, то, пожалуйста, пишите, и если вам может быть приятно знать, в чём, я думаю, вы не сомневаетесь, что я люблю вас всей душой, то знайте это. Мало ли, что может быть нужно в глуши и дали — книги, известия, вещи. — Я рад за вашу дружбу с Хилковым и за то, что ваша жена <Федосья Павловна Любич. – Р. А.> с ним. Если бы я был в вашем положении, я бы был совершенно спокоен за судьбу её. Обнимаю вас братски.

Лев Толстой» (64, 276).

Впоследствии Е. Н. Любич служил корректором в одной из одесских газет, а нелегально работал переписчиком духовных писаний Л. Н. Толстого, включая огромный трактат «Царство Божие внутри вас» (*Чисников В. Лев Толстой и его последователи по сведениям департамента полиции // Нева. 2020. № 11. С. 201 – 207*). Был известен как писатель и журналист, в том числе автор неопубликованных воспоминаний о своих мытарствах. Писал рассказы, печатавшиеся в «Ниве», «Журнале для всех» и других периодических изданиях. Его рассказ «Затосковал» был издан толстовским народным книгоиздательством «Посредник». Рассказы Любича о жизни политических ссыльных Толстой оценил высоко уже в 1891 году, в письме 21 июня к тому же кн. Д. А. Хилкову. Занявшись распространением своих, подлежащих в России цензуре, сочинений за границей, Толстой в 1894 г. предполагал послать «дневник или записки Любича» в Англию, книгоиздателю и толстовцу Джону Кенворти (67, 255). Он в то время взялся представлять в Англии Толстого как издатель, переводчик и духовный единомышленник.

Мы видим, что если в случае начала 1885 года с Залюбовским дело было «семейное» — которое, впрочем, решительная Софья Андреевна сама, отчаянным порывом, вынесла на «министерский» уровень — то в случае с Любичем Толстой действует уже сам, и довольно решительно, уверенно, с опорой на влиятельного (одного, как минимум) помощника. Таким образом, год 1889-й можно считать не только годом творческого подъёма у Толстого, но и первым годом его как религиозного противника войны, действующего публично и активно, от своего имени.

---

### 3. 5. НЕ КРАСНЫЙ КРЕСТ, А КРЕСТ ХРИСТОВЫЙ («Предисловие к книге “Севастопольские воспоминания” артиллерийского офицера Л. И. Ершова». 1889)

Стоит надеть на человека мундир,  
отдалить его от семейства и ударить в барабан,  
чтобы сделать из него зверя.

(Из записной книжки на 1857 г.)

Нет тут никакой фатальности,  
есть одно невежество дикости.  
Дикость поступков на войне  
и хитрость дикаря во время мира  
при суждениях о войне.

(Из черновиков «Предисловия» к Ершову)

Обстоятельства подготовки Л. Н. Толстым названного выше, в заглавии, Предисловия исключительно интересны — не менее, чем оно само: они знаменуют первую, хронологически, в веренице связанных с антивоенным протестом *встреч* старца христианина Толстого «с самим собой» в прошлом, в воспоминаниях о молодости...

12 января 1889 г. Толстого в его московском доме в Хамовниках навел замечательный, значительнейший для него самый гость. Им был сослуживец молодого Льва, знакомый по Крымской войне, прапорщик *Андрей Иванович Ершов* (1834 или 1835 – 1907). Воспитанник Михайловского артиллерийского училища, Ершов оказался по собственному желанию на войне. В Севастопольском гарнизоне состоял с 31 декабря 1854 г. по 27 августа 1855 г. В течение более двух месяцев он командовал 4-мя полевыми орудиями и был ранен и контужен в голову. За отличия и ранения свои представлен был к награждению орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В 1858 Андрей Иванович году вышел в отставку и поселился в Петербурге. Известно, что одно время он заведовал метахромотипией (цех печатания с декалькоманий литографированных изображений); кроме того, уезжал за границу, где участвовал в походах Гарибальди на Рим; позднее жил литературным трудом и частными уроками.

За год до выхода в отставку, в 1857 году, он опубликовал первым изданием воспоминания, высоко оценённые и Л. Н. Толстым (Дневник, 30 октября 1857 г.; 47, 161).

Судя по оценкам прочитанного в этой дневниковой записи, этико-эстетически для Толстого по-прежнему ценно, благородно в его глазах — *бесстрашие*: и не на одной войне, а повседневное христианское смирение перед волей Бога. Свидетельство тому — высокая оценка Толстым в этой же записи от 30 октября «Заволжских очерков», о трудовой и бытовой повседневности крестьян, русских и марийцев, писанных троюродным его братом, Николаем Сергеевичем Толстым (1812 – 1875). Толстой *любуется* этнографическими описаниями дальнего родственника — не только в отношении к языку и стилю этих зарисовок, но и к чистой, нравственной жизни народа. Контрастом для писателя стали в то же время прочитанная, безусловно не менее талантливая комедия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина» — о рафинированных гадостях купеческого быта. «Невозможная мерзость» — отзывается Толстой в Дневнике (*Там же*). Вероятнее всего — именно о *содержании*, а не о художественных достоинствах сочинения. О безжалостных, салтыковских картинах жизни погани «русского мира» — грубо суеверной, но при этом фактически безверной ко Христу, к Богу: опасющейся, даже трусливой, стяжательной до барышей, готовой ради наживы даже на нарушение моральных табу, связанных с умирающим и усопшим (сюжет пьесы напомним читателю её или зрителю эпизоды вокруг смерти и завещания отца Пьера Безухова в «Войне и мире», созданные Толстым значительно позднее).

Особенно интересно, что здесь же, в этой записи, мы находим свидетельство внутренней установки Толстого на безоглядную *правду* в презентовании читающей публике собственного жизненного, и, в частности, военного опыта — безусловно, отчасти связанной и с впечатлениями от книги Ершова, (как и прочих, прочитанных в эту же осень):

«...Теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть, что сказать, и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно положить все свои силы, тогда пусть плюёт на алтарь» (*Там же*).

Как тут не вспомнить жертвенный алтарь, на котором отдаёт себя на мучительную смерть и поругание великий лев Аслан, творец мира Нарнии? В сказке пламеневшего ко Христу Клайва С. Льюиса это —

образ сотворческой Творцу, Богу *жертвы, по примеру Христа*, на которую должны быть готовы, отменяя мирские соображения и выгоды, и все его истинные последователи: все, кто доверяется Богу и учению, то есть истинно *верует*.

Судя по великолепной нецензурности располагаемого нами текста Предисловия, именно так и поступил Лев Николаевич по отношению к сочинению старого сослуживца и товарища.

Более чем через 30 лет после описанных выше событий, 12 января 1889 г., Андрей Иванович Ершов приехал к Толстому, в московский хамовнический дом, с просьбой написать предисловие к готовящемуся у А. С. Суворина новому изданию его воспоминаний. В тот же день, Толстой записывает в Дневнике: «Ершов с книгой». Запись указывает на то, что в этот день у Толстого был автор «Севастопольских воспоминаний» А. И. Ершов и просил его написать предисловие к новому изданию у А. С. Суворина его книги. Толстой принимается за перечитывание книги Ершова, о чём свидетельствует запись в Дневнике 13 января: «Читал Ершова», и другая того же числа: «Дома dokonчил Ершова». На другой день, 14 января Толстой уже записывает: «Хочу писать предисловие Ершову». Более поздняя запись того же числа говорит: «Писал очень усердно. Но слабо. И не выйдет так» (50, 22 – 23).

30 января А. С. Суворин пишет Толстому следующее письмо: «Лев Николаевич, я обращаюсь к вам с большой просьбой такого рода. Не знаете ли вы, где г. Ершов, автор «Севастопольских воспоминаний»? Я взялся напечатать его книжку, а он говорил мне, что вы обещали дать ему предисловие к ней. Возвращаясь около двух недель тому назад из Москвы, я встретил его на железной дороге. Он тоже ехал в Петербург и говорил, что у вас предисловие почти окончено. С того времени я не видал его, он не заходил ни ко мне, ни в типографию, и не присылал своего адреса. Между тем книга окончена набором и стоит без движения, а часть её отпечатана. Будьте добры, Лев Николаевич, уведомить меня, где автор и будет ли ваше предисловие или нет?» (Цит. по: 27, 729 – 730).

Толстой отвечает Суворину 31 января 1889 г.: «Об Ершове ничего не знаю. Предисловие к его книге я написал было, но оно не годится; желаю переделать или написать вновь и поскорее прислать вам» (Там же. С. 730).



Дело в том, что, в отличие от первого чтения в годы, когда сам Лев Николаевич разделял с миром множество его обманов, теперь, при перечитывании, текст, напомнивший Толстому драматические события его военной молодости, “наложил” на его христианское сознание. Как следствие, черновые варианты Предисловия делались, от одного к другому, всё нецензурней.

Вот характерные отрывки из Первой редакции — о том, как и почему вообще пишутся очевидцами «правдивые» военные мемуары:

«Одно из самых странных, вместе самых значительных явлений человеческой жизни, явлений, от которых зависит большая доля того зла, от которого страдает человечество, состоит в, назову это, в перекувыркании человеческой природы. Перекувыркание это состоит в том, что человек вместо того, чтобы руководиться в своей практической деятельности, в своих поступках, деятельностью своей духовной природы, человек, не обдумав прежде, отдаётся весь известной практической деятельности и, потратив часть своей жизни, духовную деятельность свою устремляет на оправдание этой практической деятельности, и обсудив их <т. е. обдумав. – Р. А.> под влиянием воспитания (пример жизненного гипнотизма), совершает известные поступки. Человек усилиями воспитания натолкнут на книжную, учебную деятельность. Не успев одуматься и потратив лучшие года жизни на заучивание того, что в книгах, он близоруким, безмускульным, с разбитыми нервами, убогим человеком очунается в 30 лет и задаёт себе вопрос о том, какое высшее призвание человека и какая цена той деятельности, в жертву которой он уже принёс себя. Из 1000 таких людей едва ли у одного из таких людей достанет искренности оценить своё положение, остальные же признают то, во имя чего они принесли себя в жертву, бесспорно заслуживающим этих жертв, и вся духовная деятельность их направляется на доказательство того, что они, не выбирая, выбрали то самое, что было нужно.

Это явление повторяется во всех проявлениях жизни человеческой.

Мальчик воспитывается в понятиях о том, что высшая доблесть — военная, не успеет он очнуться, опомниться, как он уже в красивом мундире, в эполетах; миллион солдат, все, встречаясь с ним, вытягиваются и все должны покоряться ему, женщины заглядываются на его мундир, сабля гремит по тротуару. Но к этому ещё можно отнестись критически. Но вот выдают рационы золотом, комплектуются батальоны, и полки с музыкой идут в поход, с готовностью ран и

смерти. Идут в поход, начинается война, и мальчику отрывают обе ноги. Фельдмаршал навешивает крест, все восхваляют героя, и выдают пенсию. И вот герой задаёт себе вопрос: хорошо ли быть героем? Ответ несомненен, тем более, если война ещё кончается так, как кончилась война <18>12 и <18>15 годов, или война немцев с французами. Мир усмирён, всему этому обязан он нам. Отечество усилено и прославлено, и всему этому обязаны нам. Даже и если ноги не оторваны, или хоть одна, или глаз выбит, и человек повязан чёрным платком. Если даже и ничего не попорчено в человеке, но знак отличия на груди или сабле, то всё-таки не может быть сомнения в пользе, разумности всей прошедшей деятельности, и из 10 000 едва ли не все будут направлять всю свою духовную деятельность не на то, чтобы определить свои будущие поступки, а на то, чтобы оправдать прошедшие. Так это было всегда, так это было в Севастопольскую войну, но с некоторой особенностью: <события?> производили именно то сложное трогательное и очень поучительное душевное состояние, которое испытывал автор воспоминаний и которое испытывал и я, когда читал книгу.

Мальчик <зачёркнуто в рукописи: 20 лет едва вылупившийся – *Ред.*> прямо из военно-учебного заведения, где всё внушало ему, что настоящее, истинное дело есть одно военное — остальное все случайности — мальчик выходит и попадает в Севастополь. Происходит это при Николае Павловиче, когда действительно совестно было быть штатским и ни у какого смельчака не поднималась рука не только на генерала, но на офицера, когда военное сословие было нечто священное. Мальчик, настроенный на то, что высшая доблесть есть доблесть военная, попадает в севастопольскую бойню. Подвиг с его стороны совершается — он отдаёт свою жизнь, ставится в условие, где больше шансов быть убитым, чем остаться живым, и чувствует, что он сделал то, что должно было с этой стороны

И у него после возвращения его оттуда начинает действовать его духовная сторона — мысль, соображая и то, что он сделал, и во имя чего он сделал. И вот тут является именно в Севастопольскую войну целый ряд обстоятельств, которые мешают убедительности доказательств о том, что то, что было сделано им, этим офицером, и было то самое лучшее, что он и должен был делать. Делает возможным сомнение, во 1-х, то, что не искалечен человек, не испорчен безнадежно, ему только 20 лет, и потому не дано вполне таких залогов,

при которых нет возврата и надо уже как никак оправдывать заплаченную цену. Во 2-х, особенное свойство самой войны севастопольской — подвигов деятельных никаких не было, да и быть не могло. Никого нельзя было спасать, защищать, никого даже нельзя было наказывать, никого удивлять нельзя было. Все подвиги сводились к тому, чтобы быть пушечным мясом, и если делать что, то делать дурное, т. е. стараться делать вид, что не замечаешь страданий других, не помогать им, вырабатывать в себе холодность к чужим страданиям. И если что и делать, то или посылать людей на смерть, или вызывать их на опасность. В 3-х, единственный мотив всей войны, всей гибели сотен тысяч был Севастополь с флотом. И этот Севастополь был отдан, и флот потоплен, и потому простое неизбежное рассуждение: зачем же было губить столько жизней? невольно приходило в голову. В 4-х, в это самое время умер Николай, и те глухо ходившие толки о неустройстве не только войска, но и всего в России, о ложном величии этого царствования, разоблачённом Севастоподем, после смерти Николая стали всеобщим говором, и рассуждение о том, что если не было сил, то не надо было и начинать войны, невольно напрашивалось каждому.

[...] Ошибаюсь я или нет, но Севастопольская война положила в русском обществе заметное начало сознанию бессмысленности войн» (*Там же. С. 527 – 529*).

А вот мысль из позднейших черновых вариантов завершающей части Предисловия, о мнимой неизбежности, «фатальности» войн:

«Нет тут никакой фатальности, есть одно невежество дикости. Дикость поступков на войне и хитрость дикаря во время мира при суждениях о войне» (*Там же. С. 733*).

Не удовлетворяясь этим, безусловно резким, заключением, Толстой зачёркивает и его и даёт новое:

«Пора нам знать, что разрешения этого нет, и фатальности нет никакой, и что в войне нет и не может быть ничего иного, кроме проявления самых низких животных свойств человека и что...» (фраза в черновике обрывается) (*Там же*).

Толстой как будто и не думает о цензуре. Некогда, как художник, он уже послужил правде в «Севастопольских рассказах», — беззаветно, но отнюдь не безоглядно на цензуру, на возможность публикации. Здесь же, скорее, звучит то же «не могу молчать!», что и в «Проекте о реформировании армии»: пронзительное и, теперь уже, вполне безжалостное и к самому себе, к своему военному прошлому,

к своим заблуждениям молодости. Толстым пройден немалый духовный путь — к неблизкому ещё по времени, знаменитому «Не могу молчать!» 1908 года.

10 февраля Лев Николаевич вновь принимается за статью, о чём говорит запись в Дневнике этого дня: «Сел за работу. Написал предисловие начерно». Затем опять следует перерыв, и только 18 февраля Толстой опять записывает: «Несмотря на то, что мало спал, поправил всё предисловие. Предисловие разрастается». О работе над Предисловием говорят ещё записи Дневника от 22 февраля 1889 г.: «Предисловие поправлял», и от 11 марта: «Вчера писал предисловие порядочно».

Но кроме общения (уже заочного, через текст) со старым ветераном, сослуживцем по Крыму, Толстой в эти дни, тоже заочно, общается с человеком, быть может, более значительным в своей, как антивоенного мыслителя, судьбе: французским писателем Эдуардом Родом. О нём здесь, по хронологии и логике нашей работы, следует сказать особенное слово. Тем более что, с высоким вероятно, именно чтение Эдуарда Рода сподвигло бесстрашного слугу Божьей правды, Аслана Яснополянского, на превращение и без того резкого, безусловно антивоенного, Предисловия своего к книжечке А. И. Ершова в совершенно уже нецензурное сочинение.

\* \* \* \* \*

*Эдуард Род* (Rod, Edouard; 1857 – 1910) — швейцарский, французский писатель-моралист и литературный критик. Родился в Нионе, получил образование в Лозанне, написав диссертацию о царе Эдипе. Долгое время преподавал литературу в Женевском университете. С 1878 г. жил в Париже. Писал романы, вдохновляясь идеями Эмиля Золя. С 1884 г. — главный редактор и издатель журнала «Revue contemporaine», сотрудничал в газетах «Figaro», «Journal des Debats», а также в журнале «Revue des Deux Mondes» — как мы помним, многолетне любимом журнале Льва Николаевича.

На мировоззрение Эдуарда Рода, по собственному его признанию, оказали сильное влияние Артур Шопенгауэр и... Толстой. Это характерно для европейца его поколения — и в этом смысле сам Лев Николаевич Толстой был таким же, лишь старшим по возрасту, «рус-

ским европейцем», пережившим в конце 1860-х гг. сильное увлечение философией Артура Шопенгауэра. Преодолев позднее его влияние (как и влияние в юности Жан-Жака Руссо), Толстой сохранил внимательное и уважительное отношение к этому мыслителю на всю жизнь. Эдуард Род, к сожалению, не преодолел влияние романтиков-пессимистов: ни философских, ни художественных, таких, как Джакомо Леопарди — о котором, так же как и о Руссо и Стендале, обожаемом Толстым его учителе в писательстве, у Эдуарда Рода выходили книги: "Études sur le XIXe siècle. Giacomo Leopardi", Paris, 1894; "Stendhal" Paris, 1892; "L'affaire J.J. Rousseau" Paris, 1906 и др.



*Эдуард Род (1893)*

В 1888 г. Род пережил творческий кризис, в результате которого распрощался с натурализмом ради исследования нравственных категорий. В 1890 – 1891 гг. он печатал статьи в парижском журнале «Revue Bleue» под общим заглавием «Нравственные идеи нынешнего времени» («Les idées morales du temps present»). Одно из самых известных произведений Рода, роман «Поток» («L'Eau courante», 1902), по инициативе Толстого было издано «Посредником» (1903) в переводе П. В. Безобразова. В романе изображена жизнь швейцарского крестьянина 1870-х гг.

В конце XIX в. началось широкое знакомство французов с русской литературой. В 1870 – 1880 гг. во Франции появились статьи об историческом прошлом России, о её культуре и литературе. Об одном из выдающихся просветителей Франции на этой ниве, многоталантливом, благородном и блистательном Эжене Мельхиоре де Вогюэ, мы уже сказали выше. Одно за другим выходили во французском переводе произведения Толстого. Французские критики отмечали факт мощного влияния Толстого на французскую литературу, в т. ч. на Эдуарда Рода.

В 1889 г. французский литератор Эмиль Пажес прислал Эдуарду Роду переведённый им на французский язык трактат «Так что же нам делать?» (Париж, 1889). Протест Толстого против социальной несправедливости привёл Рода в восхищение. И он послал Толстому один из самых своих известных романов «Смысл жизни» («Le Sens de la vie», 1889), являющийся своего рода продолжением романа «La Course de la mort» («Бег к смерти», 1888). Эта книга сохранилась в Яснополянской библиотеке с многочисленными пометами Льва Николаевича Толстого.

Основные темы романа «Смысл жизни»: борьба между страстью и долгом, совесть, достоинство самоотречения. Толстой нашёл в романе Рода то, что его волновало в это время: «Читал Le Sens de la vie. Там страницы о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание и роман, т. е. высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни» (дневник 10 февраля 1889 г. — 50, 35). На следующий день появилась ещё одна запись: «Читал прелестного Rod. Есть места: о войне, о дилетантизме, удивительные» (50, 35).

22 февраля 1889 г. в ответном письме к Роду писатель назвал его «дорогой брат» («Cher confrère») и выразил свои впечатления от чтения книги «Смысл жизни». Прежде всего его поразила «искренность и сила выражения», «захватила» «важность самой темы»: «...я прочёл и перечёл книгу, в особенности некоторые её места. [...] То, что вы говорите о войне, — это место замечательно, я прочёл его несколько раз вслух, а также о биче нашей цивилизации, называемой вами дилетантизмом, — писал Толстой. — Я редко читал, что-либо более сильное в смысле анализа умственного состояния большинства нашего общества» (64, 230 — 231).

Одновременно Толстой жёстко, смачно, остроумно раскритиковал автора за шопенгауэровский пессимизм:

«Пессимизм, в особенности, например, Шопенгауэра, всегда казался мне не только софизмом, но глупостью, и вдобавок глупостью дурного тона. Пессимизм, высказывающий своё мнение о мире и проповедующий своё учение среди людей, отлично чувствующих себя в жизни, напоминает человека, который, будучи принят в хорошем обществе, имеет бестактность портить удовольствие других выражением своей скуки, доказывая этим лишь то, что он просто не на уровне того круга, в котором находится. Мне всегда хочется сказать пессимисту: "если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим"» (*Там же. С. 231*).

Но всё-таки в конце письма Толстой признался, что «нашёл себе неожиданного единомышленника, бодро идущего по тому пути», по которому он сам следует:

«Что бы вы ни говорили или ни писали о Леопарди, молодом или старом, богатом или бедном, очень крепком или слабым телом, я убеждён, что вы найдёте, если уже не нашли, настоящий ответ на заглавие вашей книги» (*Там же*).

Война и революция, по мнению Толстого-христианина, суть события, знаменующие кульминацию и кризис определённого исторического периода на неизбежном пути нашего мира ко Христу, к христианскому пониманию жизни — периода, в котором тёмная сторона повседневности начинает брать верх. Именно в этом контексте в трактате «Царство Божие внутри вас» (1890 – 1893) Толстой цитирует обширный фрагмент из романа Рода «Смысл жизни», подводя к нему читателя (28, 122 — 124). О самом этом отрывке, и, ещё немного, об Эдуарде Роде, мы скажем ниже, в соответствующем месте.

У Толстого, участника Кавказской, Восточной и Крымской войн Российской империи, был личный опыт, который помогал ему ценить в произведениях таких французских писателей, как Ги де Мопассан или Эдуард Род, их отношение к войне как к явлению жестокому, но неизбежному в нашем лжехристианском, безверном мире. Эти писатели, по мысли Льва Николаевича, «ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать» (28, 129). Слабость же Э. Рода и подобных ему — в вялом пессимизме, в неверии в возможности торжества в мире Истины, которая сделает невозможными и войны.

Из дневника Толстого от 29 октября 1890 г. известно, что он «переводил [...] Рода [...] о войне» (51, 98), именно из книги «Le Sens de la

vie». Эти толстовские переводы вошли в шестую главу трактата «Царство Божие внутри вас». Но для «Круга чтения» несколько фрагментов из произведений Эдуарда Рода были взяты писателем уже не из того, собственного, перевода, а из перевода, выполненного с пятого (!) французского издания известной детской писательницей и переводчицей *Ольгой Неоновной Хмелёвой* (псевд.; наст. фамилия: Качулкова; ок. 1850 — не ранее 1908) специально для толстовского книгоиздательства «Посредник». Перевод выходил в 1890 г. и, с очевидной правкой, в 1894 г. (см. иллюстрации).



*Роман Эдуарда Рода Le Sens de la vie» в русских изданиях 1890 и 1894 гг.*

Это, например, следующие цитаты:

«Уничтожь один порок, а десять исчезнут» (41, 240);

«Есть много традиционных истин, которые кажутся нам вероятными только потому, что мы никогда серьёзно не подумали о них» (41, 557).

И, конечно, та же самая обширная антимилитаристская цитата, использованная Л. Н. Толстым в тексте трактата: «Царство Божие



внутри вас...», но только в переводе Хмелёвой (41, 472 – 473; ср.: Rod E. *Le sens de la vie*. Paris, Perrin. 1910. P. 208 – 214; 28, 122 — 124).

Если Толстой цитировал Эдуарда Рода в своих произведениях, то и Род писал о Толстом в ряде критических работ о русской литературе, например, в биографической статье «Le comte Leon Tolstoy», которую издал в «Revue bleue» (1891. Т. 47. № 13. С. 383 — 384). А личная переписка и взаимодействие идейно-художественных традиций рождали личные симпатии и творческие предпочтения. В библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне сохранились, помимо «Смысла жизни», ещё три книги Эдуарда Рода: «L'Eau courante» и «Les Trois cœurs» («Три сердца», 1890), обе с дарственными надписями, и «La Course a la mort».

\* \* \* \* \*

К середине марта 1889 г., даже и переделав для А. И. Ершова Предисловие, Толстой снова не был доволен написанным, что видно из записи 14 марта 1889 г.: «Прочёл вчера своё предисловие Суворину. Оно совсем не хорошо». После этого ни в письмах, ни в Дневнике нет никаких упоминаний о работе над этой статьёй.

Грустно прошелестев, остатки бесстрашия писателя и публициста осыпались ему в панталоны. Понимая, что опубликовать Предисловие вместе с мемуарами Ершова не удастся, Толстой даже не стал оканчивать его. Книга Ершова была в 1891 г. переиздана без толстовского предварения, грозившего преследованием и автору, и издателю. А Предисловие, как особая антивоенная статья Толстого, было напечатано впервые лишь в 1902 г. в издании основанного В. Г. Чертковым в Англии «Свободного слова» (Christchurch, Hants, England) в брошюре под заглавием: «Л. Н. Толстой. “Против войны”». Только в 1906 году, на волне Первой российской революции, Предисловие, под названием «О войне», увидело свет в России — в издании толстовского народного книгоиздательства «Посредник». А в 1909 году эту брошюру уже конфисковывали имперские полицаи.

Ниже, как *Прибавление* к этому небольшому параграфу, мы приводим *весь* текст Предисловия, в позднейшей его редакции — небольшого по объёму, но значительнейшего, как иллюстрация воззрений Толстого-христианина на события войны, в которой, даже и не

без патриотического вдохновения, участвовал некогда он сам. Предисловие *великолепно* данным в нём образом попавшего на войну молодого человека, имеющим не только автобиографическую, но и художественную наполненность — сближаясь с образами Николая и Пети Ростовых из романа «Война и мир», а в особенности младшего брата Козельцова, Володи, из рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года».



Отдельное издание предисловия Л.Н. Толстого к книге А.И. Ершова. 1906 г.

Прибавление.

**ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. И. ЕРШОВА  
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ  
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРА»**

А. И. Ершов прислал мне свою книгу: «Севастопольские воспоминания» и просил прочесть и высказать произведённое этим чтением

впечатление.

Я прочёл книгу, и высказать произведённое на меня этим чтением впечатление мне очень хочется, потому что впечатление это очень сильное. Я переживал с автором пережитое и мною 34 года тому назад. Пережитое это было и то, что описывает автор, — ужасы войны, но и то, чего почти не описывает автор, то душевное состояние, которое при этом испытал автор.

Мальчик, только что выпущенный из корпуса, попадает в Севастополь. Несколько месяцев тому назад мальчик этот был радостен, счастлив, как бывают счастливы девушки на другой день после свадьбы. Только вчера, кажется, это было, когда он обновил офицерский мундирчик, в который опытный портной подложил, как надо, ваты под лацканы, распустил толстое сукно и погоны, чтобы скрыть юношескую, не сложившуюся ещё детскую грудь и придать ей вид мужества; вчера только он обновил этот мундир и поехал к парикмахеру, подвил, на помадил волосы, подчеркнул фиксауаром пробивающиеся усики и, гремя по ступенькам шашкой на золотой портупее, с фуражкой на бочку прошёл по улице. Уже не сам он оглядывается, как бы не пропустить, не отдав чести офицеру, а его издали видят нижние чины, и он небрежно прикасается к козырьку или командует: «вольно!» Вчера только генерал, начальник, говорил с ним серьёзно, как с равным, и ему так несомненно представлялась блестящая военная карьера. Вчера, кажется, только няня удивлялась на него, и мать умилялась и плакала от радости, целуя и лаская его, и ему было и хорошо, и стыдно. Вчера только он встретился с прелестной девушкой; они говорили о пустяках, и у обоих морщились губы от сдержанной улыбки; и он знал, что она, да и не она одна, а сотни и ещё в 1000 раз лучше её могли, да и должны были, полюбить его. Всё это, казалось, было вчера. Всё это, может быть, было и мелочно, и смешно, и тщеславно, но всё это было невинно и потому мило.

И вот он в Севастополе. И вдруг он видит, что что-то не то, что что-то делается не то, совсем не то. Начальник спокойно говорит ему, чтобы он, тот самый человек, которого так любит мать, от которого не она одна, но и все так много ожидали хорошего, он со всей своей телесной и душевной, единственной, несравненной красотой, чтобы он шёл туда, где убивают и калечат людей. Начальник не отрицает того, что он — тот самый юноша, которого все любят и которого нельзя не любить, жизнь которого для него важнее всего на свете, он

не отрицает этого, но спокойно говорит: «Идите, и пусть вас убьют». Сердце сжимается от двойного страха, страха смерти и страха стыда, и делая вид, что ему совершенно всё равно, идти ли на смерть или оставаться, он собирается, притворяясь, что ему интересно то, зачем он идёт и его вещи и постель.

Он идёт в то место, где убивают, идёт и надеется, что это только говорят, что там убивают, но что, в сущности, этого нет, а как-нибудь иначе это делается. Но стоит пробыть на бастионах полчаса, чтобы увидеть, что это, в сущности, ещё ужаснее, невыносимее, чем он ожидал. На его глазах человек сиял радостью, цвёл бодростью. И вот шлёпнуло что-то, и этот же человек падает в испражнения других людей, — одно ужасное страдание, раскаяние и обличение всего того, что тут делается.

Это ужасно, но не надо смотреть, не надо думать. Но нельзя не думать. То был он, а сейчас буду я. Как же это? Зачем это? Как же я, я, тот самый я, который так хорош, так мил, так дорог был там не одной няне, не одной матери, не одной ей, но стольким, почти всем людям? Дорогой ещё, на станции, как они полюбили меня, и как мы смеялись, как они радовались на меня и подарили мне кисет. И вдруг здесь не то, что кисет, но никому не интересно знать, как, когда искалечат моё всё это тело, эти ноги, эти руки, убьют, как убили вон того. Буду ли я нынче одним из этой тысячи, — никому не интересно; напротив, даже желательно как будто.

<Сравн.: Володя Козельцов в рассказе “Севастополь в августе 1855 г.”: «Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему всё казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, казалось, всё говорило ему, чтоб он не шёл дальше, [...] чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. “Но, может, уж поздно, уж решено теперь”, подумал он, содрогаясь...

[...] “Один, один! всем всё равно, есть ли я, или нет меня на свете”, подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

[...] Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжёлым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посередине площади, оглянулся, не видит ли его кто-

нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: “Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус. Неужели за отечество, за царя, за которого я с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!”» (**Глава X**; 4, 82, 85 – 86).

Николай Ростов в "Войне и мире": «“Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?” Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. [...] Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бежал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая своё бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробежал по его спине. “Нет, лучше не смотреть”, — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся ещё раз. — **Том Первый. Часть Вторая. Глава XIX.** - P. A.>

Да, я, именно я никому здесь не нужен. А если я не нужен, так зачем я здесь? — задаёт он себе вопрос и не находит ответа. Добро бы кто-нибудь объяснил, зачем всё это, или если хоть не объяснил, то сказал бы что-нибудь возбуждающее. Но никто никогда не говорит ничего такого. Да, кажется, и нельзя этого говорить. Было бы слишком совестно, если бы кто-нибудь сказал такое. И от того никто не говорит. Так зачем же, зачем же я здесь? — вскрикивает мальчик сам с собою, и ему хочется плакать. И нет ответа, кроме болезненного замирания сердца.

Но входит фельдфебель, и он притворяется, что [1 неразобр.]. Время идёт. Другие смотрят, или ему кажется, что на него смотрят, и он делает все усилия, чтобы не осрамиться. А чтобы не осрамиться, надо делать, как другие: не думать, курить, пить, шутить и скрывать. И вот проходит день, другой, третий, неделя... И мальчик привыкает скрывать страх и заглушать мысль. Ужаснее всего ему то, что он один находится в таком неведении о том, зачем он здесь, в этом ужасном положении; другие, ему кажется, что-то знают, и ему хочется вызвать других на откровенность. Он думает, что легче бы было сознаться в том, что все в том же ужасном положении. Но вызвать других на откровенность в этом отношении оказывается невозможным; другие как будто боятся говорить про это, так же, как

и он. Говорить нельзя про это. Надо говорить об эскарпах, контрэскарпах <оборонительные укрепления. – Р. А.>, о портере, о чинах, о порционных, о штоссе — это можно. И так идёт день за днём, юноша привыкает не думать, не спрашивать и не говорить о том, что он делает, и не переставая чувствует однако то, что он делает что-то совсем противное всему существу своему.

Так это продолжается семь месяцев, и юношу не убило и не искалечило, и война кончилась.

Страшная нравственная пытка кончилась. Никто не узнал, как он боялся, хотел уйти и не понимал, зачем он здесь оставался. Наконец, можно вздохнуть, опомниться и обдумать то, что было. Что ж было? Было то, что в продолжение семи месяцев я боялся и мучался, скрывая от всех своё мучение. Подвига, т. е. поступка, которым бы я мог не то что гордиться, но хоть такого, который бы приятно вспомнить, не было никакого. Все подвиги сводились к тому, что я был пушечным мясом, находился долго в таком месте, где убивало много людей и в головы, и в грудь, и в спину, и во все части тела.

Но это моё личное дело. Оно могло быть не выдающимся, но я был участником общего дела.

Общее дело? Но в чём оно? Погубили десятки тысяч людей. Ну, и что же? Севастополь, тот Севастополь, который защищали, отдан, и флот потоплен, и ключи от Иерусалимского храма остались, у кого были, и Россия уменьшилась.

Так что ж? Неужели только тот вывод, что я по глупости и молодости попал в то ужасное, безвыходное положение, в котором был семь месяцев, и по молодости своей не мог выйти из него? Неужели только это?

Юноша находится в самом выгодном положении для того, чтобы сделать этот неизбежный логический вывод: во-первых, война кончилась постыдно и ничем не может быть оправдана (нет ни освобождения Европы или болгар или т. п.); во-вторых, юноша не заплатил такую дань войне, как калечество на всю жизнь, при котором уже трудно признать ошибкой то, что было причиной его. Юноша не получал особенных почестей, отречение от которых связывалось бы с отречением от войны; юноша мог бы сказать правду, состоящую в том, что он случайно попал в безвыходное положение и, не зная, как выйти из него, продолжал находиться в нём до тех пор, пока оно само развязалось.

И юноше хочется сказать это, и он непременно прямо сказал бы это. Но вот сначала с удивлением юноша слышит вокруг себя толки о бывшей войне не как о чём-то постыдном, какую она ему представляется, а как о чём-то не только весьма хорошем, но необыкновенном; слышит, что защита, в которой он участвовал, было великое историческое событие, что это была неслыханная в мире защита, что те, кто были в Севастополе, следовательно, и он — герои из героев, и что то, что он не убежал оттуда, так же как и артиллерийская лошадь, которая не оборвала недоуздка и не ушла, что в этом великий подвиг, что он герой.

И вот сначала с удивлением, потом с любопытством мальчик прислушивается и теряет силу сказать всю правду — не может сказать против товарищей, выдать их; но всё-таки ему хочется сказать хоть часть правды, и он составляет описание того, что он пережил, в котором юноша старается, не выдавая товарищей, высказать всё то, что он пережил. Он описывает своё положение на войне, вокруг него убивают, он убивает людей, ему страшно, гадко и жалко. На самый первый вопрос, приходящий в голову каждому: зачем он это делает? зачем он не перестанет и не уйдёт? — автор не отвечает. Он не говорит, как говорили в старину, когда ненавидели своих врагов, как евреи филистимлян, что он ненавидит союзников; напротив, он кое-где показывает своё сочувствие к ним, как к людям-братьям. Он не говорит тоже о своём страстном желании добиться того, чтобы ключи Иерусалимского храма были бы в наших руках, или даже, чтобы флот наш был или не был. Вы чувствуете, читая, что вопросы жизни и смерти людей для него несоизмеримы с вопросами политическими. И читатель чувствует, что на вопрос: зачем автор делал то, что делал? — ответ один: затем, что меня смолodu или перед войной забрали, или я случайно, по неопытности, сам попал в такое положение, из которого я без больших лишений не мог вырваться. Я попал в это положение; и тогда, когда меня заставили делать самые противоестественные дела в мире, убивать ничем не обидевших меня братьев, я предпочёл это делать, чем подвергнуться наказаниям и стыду. И несмотря на то, что в книге делаются краткие намёки на любовь к царю, к отечеству, чувствуется, что это только дань условиям, в которых находится автор. Несмотря на то, что подразумевается то, что так как жертвовать своею целостью и жизнью хорошо, то все те страдания и смерти, которые встречаются, служат в похвалу тем, которые их переносят, чувствуется, что автор знает,

что это неправда, потому что он свободно не жертвует жизнью, а при убийстве других невольно подвергает свою жизнь опасности. Чувствуется, что автор знает, что есть закон Божий: люби ближнего и потому не убий, который не может быть отменён никакими человеческими ухищрениями. И в этом достоинство книги.

Жалко только, что это только чувствуется, а не сказано прямо и ясно. Описываются страдания и смерти людей, но не говорится о том, что производит их. 35 лет тому назад и то хорошо было, но теперь уже нужно другое. Нужно описывать то, что производит страдания и смерти войн для того, чтобы узнать, понять и уничтожить эти причины.

«Война! Как ужасна война со своими ранами, кровью и смертями!» говорят люди. «Красный крест надо устроить, чтобы облегчить раны, страдания и смерть». Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. Людям всем, вечно страдавшим и умиравшим, пора бы привыкнуть к страданиям и смерти и не ужасаться перед ними. И без войны мрут от голода, наводнений, болезней повальных. Страшны не страдания и смерть, а то, что позволяет людям производить их. Одно словечко человека, просящего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: «хорошо, пожалуйста, повесьте», — одно словечко это полно смертями и страданиями людей. Такое словечко, напечатанное и прочитанное, несёт в себе смерти и страдания миллионов. Не страдания, и увечья, и смерть телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не Красный крест нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана.

Я дописывал это предисловие, когда ко мне пришёл юноша из юнкерского училища. Он сказал мне, что его мучают религиозные сомнения, он прочёл «Великого инквизитора» Достоевского, и его мучает сомнение: почему Христос проповедывал учение, столь трудно исполнимое. Он ничего не читал моего. Я осторожно говорил с ним о том, что надо читать Евангелие и в нём находить ответы на вопросы жизни. Он слушал и соглашался. Перед концом беседы я заговорил о вине и советовал ему не пить. Он сказал: «но в военной службе бывает иногда необходимо». Я думал — для здоровья, силы, и ждал победоносно опровергнуть его доводами опыта и науки, но он сказал:

«Вот, например, в Геок-Тепе, когда Скобелеву надо было перерезать население, солдаты не хотели, и он напоил их, и тогда...»



Вот где все ужасы войны: в этом мальчике с свежим молодым лицом и с погончиками, под которыми аккуратно просунуты концы башлыка, с вычищенными чисто сапогами и его наивными глазами и столь погубленным мирозерцанием!

Вот где ужас войны!

Какие миллионы работников Красного креста залечат те раны, которые кишат в этом слове — произведении целого воспитания!

10 марта 1889 г.» (27, 520 – 529).



12 января 1881:

Новая славная 9-часовая полная победа генерала Скобелева над текинцами и взятие Геок-тепе и Денгел-тепе.

Типография А. Милюкова и К°. [Москва.] Тверская ул., дом Резанова. -15 с.: портр. 1881 г.

### 3. 6. «[CARTHAGO DELENDA EST]» и ВОЗЗВАНИЕ (1889).

Ниже мы ненадолго поведём речь не о собственно антивоенных выступлениях Л. Н. Толстого как публициста либо как художника, а о своеобразном «идейном фундаменте» для одновременных и позднейших выступлений. О значительнейших вехах в формировании религиозного именно неприятия Толстым военщины, военного солдатского рабства и самых войн было уже сказано выше: это духовное слово и манифест «В чём моя вера?» с предшествующей ему на несколько лет попыткой катехизиса «своей веры»; и это концепция трёх различных религиозных пониманий жизни, в зрелом своём выражении лучше всего изложенная Толстым в статье «Религия и нравственность» (1893) и трактате «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890 – 1893). Одно из этих сочинений по этой причине уже не будет подробно анализируемо в дальнейшей нашей работе, ибо не имеет антивоенного содержания, а вот о трактате, ставшем судьбоносным для многих пацифистов и отказников той эпохи, напротив, потребуются достаточно подробный рассказ.

Сейчас же речь — о статье 1889 г. с говорящим за себя названием: «Carthago delenda est» (лат. «Карфаген должен быть разрушен»).

Всего в наследии Льва Николаевича — *три* самостоятельных текста с таким заглавием, и иногда их путают даже специалисты. Но если первый из них (неоконченный набросок), как и связанное с ним тематически «Воззвание» Толстого от 25 мая 1889 г., — это ранний подступ Толстого-публициста к теме неизбежного и необходимого разрушения лжехристианской цивилизации, то позднейшие два «Карфагена», 1896 и 1898 годов — уже непосредственные удары по оплоту её: власти правительств и военщины.

Над самым ранним из одноимённых текстов, именно статьёй-воззванием 1889 года, Толстой начал работать, изучая литературу о социализме и постепенно разочаровываясь в нём. Профессор Московского университета Иван Иванович Янжул (1846 – 1914), хороший знакомый Льва Николаевича со времён Московской переписи 1882 года, надёжный помощник, «дал и сообщил» ему о книгах «об анархистах и социалистах». Толстой читает работу бельгийского профессора политической экономии Эмиля де Лавелэ (Emile de Laveleye,

1822 – 1892) «Современный социализм» (СПб, 1882, под ред. М. А. Антоновича). В Дневнике 12 января (как раз, когда заявился Ершов со своей книгой) запись: «Читал и вчера и нынче книгу об американском социализме: о двух партиях – интернациональной и социалистической. Анархисты во всём правы, только не в насилии. Удивительное затмение. Впрочем, об этом предмете мне думается, как думалось, бывало, о вопросах религии, т. е. представляется необходимым и возможным решить, но решения ещё нет» (50, 22).

Позже Толстой познакомился с сочинением Эмиля де Лавелэ «Le luxe» («Роскошь») и 30 октября 1890 г. написал автору: «Я только что прочёл обе статьи вашей книги и был счастлив найти там мысли, особенно для меня дорогие, — об ошибочных представлениях, составляемых людьми о ценности потребностей и о первостепенном значении нравственности в вопросах политической экономии. Вы совершенно правы, говоря в вашем письме, что массы прибегают к насилию для достижения лучшего социального строя, не будучи достаточно к нему подготовленными. Это большой вопрос. Одно влечёт за собой другое. Лучшая организация требует умственного развития и в особенности нравственного состояния масс, готовых её принять, и только христианские принципы могут достичь того и другого. Это те вопросы, которые наиболее занимают меня в настоящее время» (65, 179 – 180).

А вот запись от 22 апреля о чтении книги Ноеса о коммунах: «Везде одно – освобождение себя от суеверий религии, правительства и семьи. [...] Думал: удаление в общину, образование общины, поддержание её в чистоте – всё это грех – ошибка. Нельзя очиститься одному или одним; чиститься, так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота, вроде дамской чистоты, добываемой трудами других. Это всё равно, как чистить или копать с края, где уж чисто. Нет, кто хочет работать, тот залезет в самую середину, где грязь, если не залезет, то, по крайней мере, не уйдёт из середины, если попал туда» (50, 71).

Собственные мысли Толстого, возникавшие под впечатлениями от избранного чтения, весьма характеристично подводят нас к идейному содержанию огромного религиозного и антивоенного трактата, о котором речь пойдёт ниже. Вот, например, нечто из записей на 24 мая 1889 года:

«Читал “World Advance Thought”. Много риторики; а нужно дело. Не Soul communion [общение душ] нужно 27 числа, а во всякое число

нужно сходитья в одном, в исполнении учения Христа, в непризнании Церкви, Государства, Собственности. Хотелось написать. Ещё хотелось написать: не конгрессы мирные нужны, а непокорение солдату каждого» (50, 85).

И он напишет обо всём этом довольно скоро — и очень яростно и ярко!

На следующий день, 25 мая, запись ещё интереснее:

«Во сне видел, что я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь, и тут же думаю, что должен отказаться и от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть» (Там же).

Утром того же 25 мая 1889 года Толстым было начато «Воззвание», иначе именуемое обращение «К людям-братьям». К этой работе относится следующая запись в Дневнике от 25 мая 1889 г.: «С утра взялся писать в книжечке воззвание. Чувствую, что жить недолго, а сказать ещё, кажется, многое нужно. Но здоровья нет. Нет умственной энергии. Помоги, Отец.

Вздор! Только бы служить Богу до конца теми силами, которые остались. В этом вся сила» (Там же).

И позднее в тот же день: «Написал несколько страничек в маленькой книжечке. По крайней мере не испортил — можно продолжать» (Там же).

Важно заметить, что в это же время Толстой уже обдумывал программный религиозно-философский и антивоенный общественно-политический трактат «Царство Божие внутри вас...» и приступил к работе над ним.

Начало воззвания стремительное, энергичное:

«Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать. Жизнь не дожидается. Жизнь моя уже на исходе и всякую минуту может оборваться. А если могу я чем послужить людям, если могу чем загладить все мои грехи, всю мою праздную, похотливую жизнь, то только тем, чтобы сказать людям-братьям то, что мне дано понять яснее других людей, то, что вот уж 10 лет мучает меня и раздирает мне сердце» (27, 530).

Следует тезис, или постановка проблемы:

«Не мне одному, но всем людям ясно и понятно, что жизнь людская идёт не так, как она должна идти, что люди мучают себя и других. Всякий человек знает, что для его блага, для блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя, и если не можешь делать ему того,

что себе хочешь, не делать ему, чего себе не хочешь; и учение веры всех народов, и разум, и совесть говорят то же всякому человеку. Смерть плотская, которая стоит перед каждым из нас, напоминает нам, что не дано нам вкушать плода ни от какого из дел наших, что смерть всякую минуту может оборвать нашу жизнь, и что потому одно, что мы можем делать, и что может дать нам радость и спокойствие, это то, чтобы всякую минуту, всегда делать то, что велит нам наш разум и наша совесть, если мы не верим откровению, в откровение Христа, если мы верим ему, то есть, если уж мы не можем делать ближнему того, что нам хочется, не делать ему, по крайней мере, того, чего мы себе не хотим. — И как давно, и как всем одинаково известно это, и несмотря на то не делают люди другим, чего себе желают, а убивают, грабят, обворовывают, мучат друг друга люди и вместо того, чтобы жить в любви, радости и спокойствии, живут в мучениях, горести, страхе и злобе. И везде одно и то же: люди страдают, мучаются, стараясь не видеть той безумной жизни, стараются забыться, заглушить свои страдания и не могут, и с каждым годом всё больше и больше людей сходит с ума и убивает себя, не будучи в силах переносить жизнь, противную всему существу человеческому» (*Там же. С. 530 – 531*).

И следом, вполне ожидаемо — антитезис публициста, риторические «возражения» от умозрительных «оппонентов»:

«Но, может быть, такова и должна быть жизнь людей. Так, как живут теперь люди с своими императорами, королями и правительствами, с своими палатами, парламентами, с своими миллионами солдат, ружей и пушек, всякую минуту готовых наброситься друг на друга. Может быть, так и должны жить люди с своими фабриками и заводами ненужных или вредных вещей, на которых, работая 10, 12, 15 часов в сутки, гибнут миллионы людей, мужчин, женщин и детей, превращённых в машины. Может быть, так и должно быть, чтобы всё больше и больше пустели деревни и наполнялись людьми города с их трактирами, борделями, ночлежными домами, больницами и воспитательными домами. [...] Может быть, так и надо, чтобы та вера Христа, которая учит смирению, терпению, перенесению обид, деланию ближнему того, чего себе хочешь, любви к нему, любви к врагам, совокуплению всех во едино, может быть, так нужно, чтоб вера Христа, учащая этому, передавалась бы людям учителями разных сотен враждующих между собою сект в виде уче-

ния нелепых и безнравственных басен о сотворении мира и человека, о наказании и искуплении его Христом, об установлении таких или таких таинств и обрядов.

[...] Так и говорят некоторые. Но сердце человеческое не верить этому; и как всегда, оно громко вопияло против ложной жизни, призывало людей к той жизни, которую требуют откровение, разум и совесть, так ещё сильнее, сильнее, чем когда-нибудь, оно вопиет в наше время» (*Там же. С. 531 – 532*).

И, как синтез — мощное протестующее крещендо Толстого, троекратно повторённый призыв: «Одумайтесь!». Именно с этого возгласа он и предполагал даже начать своё воззвание. А много позже, в 1904 году, Толстой так и озаглавит свою антивоенную статью-шедевр 1904 г. — «Одумайтесь!»

«Прошли века, тысячелетия — вечность времени, и нас не было. И вдруг мы живём, радуемся, думаем, любим. — Мы живём, и срок этой жизни нашей, по Давиду 70 крошечных лет, пройдут они, и мы исчезнем, и этот 70-летний предел закроет опять вечность времени, и нас не будет такими, какими мы теперь, уж никогда. И вот, нам дано прожить эти в лучшем случае 70 лет, а то может быть только часы даже, прожить или в тоске и злобе или в радости и любви, прожить их с сознанием того, что всё то, что мы делаем, не то и не так, или с сознанием того, что мы сделали, хотя и несовершенно и слабо, но то, именно то, что должно и можно было сделать в этой жизни.

“Одумайтесь, Одумайтесь, Одумайтесь!” — кричал ещё Иоанн Креститель; “одумайтесь” — провозглашал Христос; “одумайтесь” — провозглашает голос Бога, голос совести и разума. Прежде всего остановимся каждый в своей работе или своей забаве, остановимся и подумаем о том, что мы делаем. Делаем ли то, что должно, или так, даром, ни за что прожигаем ту жизнь, которая среди двух вечностей смерти дана нам.

Знаю я, что со всех сторон на тебя налегают люди и не дают тебе минуты покоя и что тебе, как лошади на колесе, кажется, что тебе никак нельзя остановиться; знаю я, что сотни голосов закричат на тебя, как только ты попытаешься остановиться, чтобы одуматься.

— “Некогда думать и рассуждать, надо делать”, — закричит один голос.

— “Не следует рассуждать о себе и своих желаниях, когда дело, которому ты служишь, есть дело общее, дело семьи, дело торговли, искусства, науки, государства. Ты должен служить общим”, закричит другой голос.

— “Всё это уж пробовано обдумывать, и никто ничего не обдумал, живи, вот и всё”, — закричит третий голос. — “Думай или не думай, всё будет одно: поживёшь недолго и умрёшь; и потому живи в своё удовольствие”.

— “Не думай! Если станешь думать, увидишь, что эта жизнь хуже, чем не жизнь, и убьёшь себя. Живи как попало, но не думай”, закричит четвёртый голос.

Как в сказке рассказывают, что когда уже в виду искателя клада было то, что он искал, тысяча страшных и соблазнительных голосов закричали вокруг него, чтобы помешать ему взять то, что давало ему счастье. Так и голоса слуг мира сбивают искателя истины, когда он уже в виду её.

Не слушай этих голосов. И в ответ на всё, что они могут сказать тебе, скажи себе одно: Позади своей жизни я вижу бесконечность времени, в котором меня не было. Впереди меня такая же бесконечная тьма, в которую вот-вот придёт смерть и погрузит меня. Теперь я в жизни и могу — знаю, что могу — могу закрыть глаза и, не видя ничего, попасть в самую злую и мучительную жизнь, и могу не только открыть глаза, посмотреть, но могу видеть и оглядывать всё вокруг себя и избрать самую лучшую и радостную жизнь. И потому, что бы мне ни говорили голоса и как бы ни тянули меня соблазны, как бы ни тянула меня уже начатая мною и как бы ни поощряла меня текущая вокруг меня жизнь, я останавлиюсь, оглянусь вокруг себя и одумаюсь.

И стоит человеку сказать себе это, как он увидит, что не он один одумывается, а что и прежде его, и при нём много и много людей так же, как он, одумывались и избирали тот лучший путь жизни, который один даёт благо и ведёт к нему» (*Там же. С. 532 – 533*).

В России у призыва, с христианских позиций, «одуматься» — давняя и добрая история. Первый диссидент России, митрополит Филипп II (в миру Фёдор Степанович Колычёв; 1507 – 1569), отказавший Ивану Грозному в благословении и изложивший всё о его зверствах в письмах — «грамотах», призывавших Ивана IV-го, эту марионетку антихриста на троне, очнуться, *одуматься*. Царский кацап Малюта

Скуратов его умертвил, естественно, а в благодарном русском народе укоренилось выражение «филькина грамота».

Именно так, как к «филькиным грамотам», относились и относятся в чуждой, враждебной Христу России к духовным посланиям Льва Николаевича Толстого — и его современники, и коммунистическая нечисть со всеми её марионетками, и современные её, подпутинские, наследники в сатане дьяволе, не исключая современных оккупантов Ясной Поляны (руководства и большинства сотрудников Музея).

Впервые под названием «Обращение к людям-братьям» воззвание появилось в 10 томе «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещённых в России» под редакцией В. Г. Черткова (Christchurch, «Свободное слово», 1904). В России впервые опубликовано в журнале «Новая пашня» (1907, № 3). В Полном собрании сочинений (Юбилейном) опубл. в т. 27, с. 530 – 533.

В течение 1889 г. Толстой дважды принимался писать «Воззвание», или «Манифест», где звучат пророческие слова:

«Господи, благослови!

Garthago delenda est. Жизнь, та форма жизни, которой живём теперь мы, христианские народы, – delenda est, должна быть разрушена, говорил я и буду твердить до тех пор, пока она не будет разрушена. Я умру, может быть, пока она не будет ещё разрушена, но я не один, со мной стоят сотни тысяч людей, со мной стоит истина. И она будет разрушена, и очень скоро. Она будет разрушена не потому, что её разрушат революционеры, анархисты, рабочие, государственные социалисты, японцы или китайцы, а она будет разрушена потому, что она уже разрушена на главную половину – она разрушена в сознании людей» (27, 534).

Собственно, в этих набросках Толстой и описывает утверждение искателя истины, искателя веры живой, в том высшем, «всемирном», актуальном религиозном жизнепонимании, которое своё высшее и лучшее выражение нашло в первоначальном, евангельском, без церковных перетолкований, учении человека Иисуса Христа и которое поэтому может сделаться для противника военной службы, милита-



ризма, любых войн и всякого, своего и каждого человека, в них участия единственным прочным духовным основанием для духовного противостояния слугам мира, слугам смерти и лжи.

Начинающая рукопись фраза «Carthago delenda est» стала заглавием особой статьи. Позднее Толстой ещё трижды – в 1891, 1896 и 1898 гг. – начинал особые сочинения с этого заглавия статьи-воззвания, но, к сожалению, только вариант 1898 г. был завершён. "К сожалению" потому, что статья эта во многом повторит идейное содержание и образный строй к тому времени давно уже написанного и опубликованного Л. Н. Толстым фундаментального трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», о котором и поговорим в следующей, особенной Главе уже непосредственно.

## **ЗДЕСЬ КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ**



Глава Четвертая.  
**ЗРЕЛОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ.  
«ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»**

Хочется писать с эпитафией:

Я пришёл огонь свести на землю  
и как желал бы, чтоб он возгорелся.

*(Дневник. 15 сентября 1890 г.)*

**Вступление**

Итак, к концу 1880-х совершились в жизни Льва Николаевича два значительнейших и бесповоротных дела. Первое дело то, что анти-военные воззрения, десятилетием ранее получившие необходимое для их незыблемости религиозное основание в христианской вере писателя, созрели теперь до той системы, с которой он вошёл в историю всемирной религиозной и общественно-политической мысли, ничего радикально уже не изменяя. Классическое воспитание в уважении к храбрости и героизму на войне и патриотизм не были изжиты совершенно, и Толстой не отвращался от военных, от военной истории человечества, от политики с той же решимостью, с какой за много лет до того возненавидел телесные наказания и палачество, разрушение человека по «суду» и «праву».

Вторым же значительнейшим поворотом в жизни Льва Николаевича то, что городская, навязанная ему семейством, жизнь ускорила становление самого писателя и публициста как персоны публичной, всемирного значения. Он сам хорошо почувствовал эти перемены: если в 1886 году ещё не желал статью «Николай Палкин» делать публичной из-за невозможности ей преодолеть цензуру в России и опасности возможных репрессий от правительства, то к 1889 году вещал против войны уже как Право Имеющий и знающий, что будет услышан. Если в том же 1886-м визит к нему в Ясную Поляну Поля Деруледа не вызвал в Толстом желания немедленного публичного отклика, то посещение в начале 1889-го довольно ограниченным Ершовым вызвало к жизни Предисловие к ершовской книге, много

лучшее, чем она сама — страстный памфлет против лжей и самообманов людей мира, загоняющих себя и своих детей в армейское рабство, в военную душегубку.

Изменения в самосознании Толстого-христианина проявились и в отношениях с «отказниками», среди которых Алексей Залюбовский и Ефим Любич, о которых мы рассказали выше, были первыми, но не последними, и даже не самыми значительными для Льва Николаевича из числа отказников. В письме 10 ноября 1889 г. единомышленник и помощник Толстого в деле народного просвещения, доверенный секретарь и будущий его биограф Павел Иванович Бирюков сообщал о предстоящем призыве толстовца Хохлова к отбыванию воинской повинности и его намерении отказаться от службы.

*Пётр Галактионович Хохлов* (1863 – после 1905), сын московского богатого купца и биржевого маклера, студент Высшего технического училища, против воли отца стал, под влиянием духовных писаний Льва Николаевича, последователем Христа. Осенью 1889 г. решил бросить училище и жить своим трудом на земле. Отец написал Толстому письмо с упрёками в “гибели” своего сына. «Мы, его родители, я, отец, старый и больной человек, и мать его, жена моя, слабая, болезненная женщина, и он у нас единственная опора» (64, 319). <Сиделок бы нанял на свои торговые биржевые денежки, старина! – Р. А.>

Толстой ответил на это своим письмом, конечно же, обречённым быть не понятым таким человеком, каким был 47-летний (род. В 1842 г.) Галактион Хохлов:

«Учение Христа есть учение о благе и потому, если последствие учения Христа нарушает благо людей, то надо предполагать, что в понимании учения Христа есть ошибка и надо искать эту ошибку до тех пор, пока не будет найден такой путь, при котором не нарушается ничьё истинное благо.

Позвольте дать вам совет... Совет мой вот в чём: постарайтесь не сердиться на вашего сына, подавить в себе чувство оскорбления, если вы его испытываете, вызовите в себе самые лучшие чувства ваши к сыну и только в таком миролюбивом и любовном настроении говорите с ним. Вы покорите его любовью. Ведь всё, что он делает и хочет делать, он делает только из желания исполнить волю Бога, главная заповедь [которого] есть любовь. Если вы будете руководиться тем же, то не может быть, чтобы вы вместе не нашли того, что следует сделать, и не согласились бы. Пожалуйста, примите эти

слова не за фразу, а сделайте так, или ещё лучше, как сказано в Ев[ангелии] М[атфея], XVIII, 15, 16, 17» (64, 319).

Конечно же, можно догадаться, что отношения сына, чистого евангельского христианина и папаша, порченного с детства «русским миром» и купеческой «воспитательной» средой, после этой мудрой, доброй проповеди испортились окончательно. Возможно, не в последнюю очередь и потому, что об отказе Хохлова от училища (и, вероятно, от военной службы: ведь разрыв с училищем автоматически ставил юношу в ряды призывников) учитель духовный, Лев Николаевич, узнал от Петра Галактионовича раньше, чем отец: уже 21 марта 1889 г. Толстой записал в дневнике: «Хохлов покидает техническое училище, дом и идёт в деревню. Жутко, знаю, что не выйдет то, чего он жаждет, но стремление к чистоте, отречение — хороши и должны принести плоды» (50, 55).

Хохлов бросил училище, оставил родителей и последовал за Толстым в буквальном, евангельском и апостольском, смысле. Он появлялся в Ясной Поляне и Бегичевке, совершая с учителем путешествия по другим толстовцам, занимавшимся сельским хозяйством. «Христообразный», как определил его Валентин Булгаков, он скорее смущал Толстого. По поведению своей жены в отношении большинства «тёмных», как она окрестила толстовцев, он понимал, что в мире наивного юношу с праведными устремлениями ждут жестокие гонения.

Действительно, воспитанница той же мещанской Москвы, дитя мира и измученная раба враждебной Христу мирской лжи, Софья Андреевна даже среди «тёмных» выделила Петю Хохлова, как объект своей особой ненависти. 17 декабря 1890 г. С. А. Толстая записала в дневнике, что «приехали тёмные», среди них «глупый толстый Хохлов из купцов». «И это последователи великого человека! Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования» (ДСАТ. 1. С. 133). С. А. Толстую Хохлов «раздражал своей молчаливостью и бесцветностью» (Там же). Раздражал ещё и по другой причине. 2 января 1895 г. она записала в дневнике: «Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду, — опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов, один из последователей Лёвочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободраный, во вшах, тёмный, везде за ней гоняется. Это люди, которых ввёл теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь, — и мне приходится их выгонять» (Толстая С.А. Дневники. М., 1978. Т.

1. С. 224). Иногда настроение С. А. Толстой менялось: «Стало мне болезненно жалко сошедшего с ума Хохлова...» (*Запись 21 февраля 1895 г.; там же. С. 237*).

Вероятно, Хохлов стихийно, интуитивно чувствовал Ясную Поляну (где предпочитал жить сам Лев Николаевич) именно как первый на Земле духовного возрождения человечества — христианского, то есть общинного и церковного. Оттого и надеялся стать супругом дочери Льва-учителя, Татьяны Львовны — подходившей ему и по возрасту, и по духовной близости к отцу. Это дало бы ему и соответствующую устремлениям, буквальную, материальную — крышу над головой: ибо в своё богатое и развратное купеческое семейство он возвращаться не хотел. Увы! Толстой видел в дочерях Тане и Маше своего рода “личных” союзниц и помощниц — и, даже помимо страха перед нервными состояниями жены, не спешил отдать дочерей замуж.

В воспоминаниях Андрея Гавриловича Русанова (1874 – 1949), сына хорошего друга и единове́рца Льва Николаевича, Гавриила Андреевича Русанова, приводится размышление Л. Н. Толстого о Хохлове: «Ужасно мне жаль Хохлова, — сказал Лев Николаевич, — мучается он оттого, что задался высокими целями, которые трудно достижимы; трудно, приходится бороться, ну и терпи и не мучай других из-за этого, и главное — не превращайся в человека, нарушающего из-за этого простые правила общежития. И что тут думать, что сказать и как поступить? Если искренне хочешь на деле осуществлять свои убеждения, помни слова евангелия: в то время Дух Святой будет говорить за вас. Иначе это придуманные, не свежие, не искренние и речь и поступок» (*Русанов Г.А., Русанов А.Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972. С. 125*).

К концу ноября, по всей видимости, отказ Хохлова состоялся. Уже 20 ноября Толстой знал о нём, когда, прочитав в газете о праздновании юбилея германским императором, записал в Дневнике о новом замысле: «сопоставить — отказ от воинской службы замарашки Хохлова, которого признают сумасшедшим, и праздник — артиллерия, речь императора, манёвры и т.д.». Писатель хотел, чтобы эта «тема писания» не «закисла», и молил Бога, чтобы тема «о войне и отказе созрела» и чтоб он её написал (*50, 180 – 181*).

И в письме Толстого от 27 ноября 1889 г. к Н. Н. Ге — о том же: «<П. Г. Хохлов> должен был отбывать воинскую повинность и отказался. Его отвели в сумасшедший дом и заперли, и все притворяются,

что верят, что он сумасшедший. Помоги ему Бог. Он уже недели две сидит, и никого к нему не пускают. Читаю газеты, празднество 500-летия русской артиллерии <состоялось 8 ноября 1889 г. – Р. А.>, молебствия, речи, пальба, величие торжества... Всё так важно, импозантно. Или дипломатические речи — быть или не быть войне и кому с кем. Всё тоже как глубокомысленно, серьёзно, и с другой стороны, какой-то мещанин трясётся, волнуется и заикаясь говорит, что он присягать и служить не будет по закону Христа – и все говорят: да, сумасшедший, ведите следующего и следующего, а потом поедим обедать, играть в винт. И *sesi tuera sela* [фр. Это убьёт то]. Это так же верно, что когда забрезжится только свет утра, что взойдёт солнце и *tuera* [убьёт] темноту» (64, 338).

Упомянутый в письме *Гельмут-Карл-Бернгардт фон Мольтке* (1800 – 1891), германский фельдмаршал и военный писатель, играл одну из главных ролей в деле милитаризации Германии. Толстой прочёл телеграмму в «Новом времени» 1889, № 4931 от 19 ноября о праздновании пятидесятилетия получения Мольтке почётного ордена «*Pour le mérite*» («За заслугу»).

Бог услышал верного своего дитя и работника Льва, и тема эта, как увидит ниже читатель, была подробно раскрыта яснополянцем в сочинении «Царство Божия внутри вас», к анализу которого мы теперь приступаем.

К сожалению, в деле личного противостояния Империи за право не участвовать в обучении убийству Пётр Галактионович Хохлов проявил пороки его воспитателей. В письме от 9 марта 1894 г. к толстовцу Б. Н. Леонтьеву Лев Николаевич сожалеет об этом: «Он всё это время продолжал быть в том же тяжёлом неопределённом и нерешительном положении. На его несчастье с его воинской повинностью случилось какое-то недоразумение, ему дали паспорт с надписью, что он зачислен в ополчение, и до сих пор не требовали его. Я думаю, что для него было бы гораздо легче, если бы его призвали. А то эта неопределённость дурно влияла на него. Вчера ещё я долго беседовал с ним, уговаривая его жить пока с отцом, и он, казалось, соглашался; нынче же он утром зашёл проститься, сказав, что идёт на юг, сам не зная куда. Что с ним будет?» (67, 75).

Жене Толстой писал о похудевшем, но всё таком же ленивом, нерешительном бродяге Хохлове: «У него нет воли, — инициативы никакой» (84, 229). В этой правде была примесь лжи. Под страхом семейных ссор и от нежелания выдавать замуж Татьяну Львовну, Толстой

подталкивал своего же духовного лъвѣнка к возвращению к отцу. Вероятно, позднее Пётр Галактионович исполнил это — разочаровавшись в своём мудром, искреннем, но уже слишком повязанном мирскими связями и соблазнами, а оттого непоследовательном, учителе.

## Христианское и антивоенное слово «Царство Божіе внутри вас». 1890 – 1893 гг.



Итак, внутренняя, духовная потребность Льва Николаевича в исповедании открывшейся ему во всей первоначальной, евангельской чистоте веры Христа, не замутнённой церковными лжеучениями, имела одним из следствий рождение в его сознании импульса к антивоенному протесту. Переезд в 1881 году семейства Толстых в Москву, с принудительным, первоначально с огромными для него страданиями, поселением там и отца, послужил вторым импульсом к тому же. Не меньшую потребность публичной реакции, нежели церковные богослужения, вызвал у писателя вид военных церемоний, маршей и учений, которые он наблюдал неоднократно на площадях Москвы, в казармах и на Хамовническом плаце, расположенном как раз недалеко от московского дома Толстых. Лев Николаевич справедливо полагал эти игрища стайно-территориальных агрессивных зверушек неизбежным дополнением к церковным проповедям.

Ещё мощнее на сознание Толстого действовали сцены рекрутского набора, и 14 ноября Толстой ездил в Тулу именно с целью наблюдения над этим процессом. В книге «Царство Божие внутри вас» он расскажет об этом так:

«...Проезжая по Туле, я увидал опять у дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жён. Это был рекрутский набор. Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошёл в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города» (28, 241). И дальше несколько страниц отдано описанию новобранцев, их отцов и матерей, комнаты «присутствия» и пр.

«— Ну, а если арестант — твой отец и бежит? — спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком, — отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом. — А если “удаляется”, *должен* стрелять, — прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведён до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия» (Там же. С. 244 – 245).

15 ноября 1892 г. Толстой в письме к жене сообщает: «Вчера я опять был в Туле... Тянет меня туда набор, который мне нужно было видеть.

[...] У нас возили в солдаты Курносенкова и Жарова, *<яснополянские крестьяне. – Р. А.>* и *<оба>* пьяны, — как и должно быть — они подрались, и один рекрут пырнул ножом Ефима Жарова, — кажется, не опасно. А Курносенкова приняли, несмотря на то, что он ездил к женщине, которая умеет отчитывать от солдатства, и он заплатил ей деньги» (84, 173).

Третий импульс поступал вместе с газетами, брошюрами, с которыми знакомился Толстой и в которых отразился всплеск милитаристских настроений, наблюдавшийся в Европе в последней четверти XIX века. В условиях активации военных приготовлений среди рабов и прислужников господствующей лжехристианской ци-



визации распространялись, как чумная зараза, искусно подновлённые теории, выискивавшие «великий общенациональный смысл» войны, её «божественное происхождение», её якобы благодетельное влияние на исторический прогресс и даже... на нравственность человека.

Ответом Л. Н. Толстого на такие идеологические инвазии в массовое сознание и стал написанный в период с июня 1890 по май 1893 г. трактат «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Значение этого сочинения на духовном пути Толстого-христианина невозможно переоценить. Достаточно будет сказать, что Толстой продолжал хотя бы обдумывать сочинение, а, по возможности, и не прерывать его писания даже в период с ноября 1891 года по лето 1892-го, когда активно и напряжённо участвовал в деле практического христианского служения: помощи крестьянам нескольких пострадавших от неурожая губерний. Отметим от себя, что такое сочетание не только не навредило содержанию трактата а, напротив — одухотворило его тем страданием голодавших детей и взрослых, с которых тётя «родина» требовала, помимо её, падаы, прокормления, ещё и военной «повинности», солдатчины, службы в войске.

Трактат задумывался как статья о непротивлении. Началом работы стало написанное Толстым предисловие к публикации на русском языке «Катехизиса непротивления» уже упоминавшегося нами в этой книге американского священника и аболициониста Адина Балу, с которым Толстой успел до его кончины пообщаться в переписке. Предисловие разрослось в обширный трактат, который уже 8 октября 1891 г., в письме хорошему воронежскому знакомому и духовному единомышленнику Гавриле Андреевичу Русанову Толстой впервые называет «*книгой о воинской повинности и христианстве*» (66, 53 – 54. *Выделение наше.* – Р. А.).

Трактат составил самый большой рукописный фонд из всех сочинений Толстого – 13 374 листа.

Из полного названия этого вразумляющего слова Толстого к современникам становится ясно, что *антивоенный* пафос — не единственный и даже не главный в сочинении. Речь в сочинении — именно о старом, отжитом, и новом религиозных жизнепониманиях и о массовой военной повинности в лжехристианском мире именно как следствии влияния отжитой, архаической веры на массовое сознание.

Трактат явился в полной мере итогом напряжённых духовных исканий писателя в 1870 – 1880-е годы. В этот исторический период в России появилась и приобрела отлаженный, уже привычный характер обязательная всеобщая воинская повинность. К 1890 г. машина обязательного призыва была отлажена и стала привычной многим. Но совершенно не привычными, неожиданными для лжехристианской, православной Империи стали отказы свободных, недогматических христиан *по совести* от участия в призывной солдатчине, равно и критика её с позиций евангельской этики.

Работа Льва Николаевича над трактатом шла очень сложно и продолжалась, с небольшими перерывами, около трёх лет (июнь 1890 – май 1893 г.). Структура его необычна: в нём 11 основных глав, небольшое введение и обширнейшее заключение, имеющее собственное внутреннее деление на 6 глав. Такая структура отражает сложность и долговременность неоднократно прерывавшейся работы писателя над трактатом, влияний, оказываемых на него событиями различного масштаба — от мировых до уездных. Чем-то она напоминает такую же асимметричность великого романа писателя «Война и мир».

В **Первой главе** трактата автор показывает, как, почти самостоятельно придя к выводам о непротивлении злу, он, благодаря распространению трактата «В чём моя вера» и вызванному им диалогу, даже международному, с современниками, постепенно стал знакомиться с основными источниками христианской традиции ненасилия и лично встречаться либо переписываться с некоторыми её представителями. Перечитать эту главу значит представить краткую историю христианского антимилитаризма.

В древности отказ от войны впервые встречается у некоторых христианских мучеников в эпоху, непосредственно предшествовавшую правлению Константина — это отказ, мотивированный прежде всего нежеланием подчиняться какой-либо политико-религиозной власти посредством принесения клятвы. Толстой лишь кратко упоминает об этом первом этапе, ссылаясь прежде всего на “отцов Церкви” — Оригена, Тертуллиана и других.

Следующий этап представлен евангелическими движениями накануне Реформации. Толстой особо выделяет свидетельство чеха Петра Хельчицкого (первая половина XV в.), который родился в Хельчице, в Богемии, и был одним из представителей движения "богемских

братьев", автором книги «Сеть веры». «При всём том многие люди из всех сословий охотно читают и эту книгу Петра Хельчицкого и другие его сочинения, невзирая на то, что он был мирянином и в латыни не учёным, потому что, хотя он и не был мастером семи искусств, но поистине был исполнителем девяти блаженств и всех заповедей Божиих и был, таким образом, настоящим доктором чешским.

В этой книге Хельчицкий касается всех сословий, начиная с императоров, королей, князей, панов, рыцарей, мещан, ремесленников и кончая сельским сословием; но особенное внимание обращает он на духовенство: на пап, кардиналов, епископов, архиепископов, аббатов и всех орденских монахов, деканов, настоятелей приходов, викариев. В первой части этой книги излагается, каким путём и способом страшное развращение проникло в святую церковь, и доказывается, что только удалением из церкви всех человеческих измышлений можно добраться до истинного основания её — Иисуса Христа; во второй говорится о возникновении и размножении в церкви разных сословий, которые только препятствуют истинному познанию Христа, ибо они преисполнены духа гордости и всеми силами противятся смиренному и кроткому Христу" (Цит. по: 42, 47).

К третьему этапу относятся некоторые радикальные течения Реформации, такие, как меннониты и в особенности квакеры, которые представляют собой самый значительный прецедент в истории идей религиозного, именно христианского ненасилия. «Общество друзей» возникло в английской религиозной среде ещё в середине XVII в. Его основатель, Джордж Фокс, настаивал на непосредственном характере учения Иисуса, постигаемого через дух и «внутренний свет». Квакеры получили своё наименование (в начале с оскорбительным смыслом) из-за сильной дрожи волнения у тех, кто поднимались, чтобы взять слово во время их молчаливых собраний: действительно, их культ не предполагал и не предполагает ни рукоположенных служителей, ни таинств, ни чтения Писания, ни проповедей, но лишь вольные выступления, продиктованные сиюминутным вдохновением. Их отказ приносить клятву, брать в руки оружие, платить церковную десятину, снимать шляпу перед кем бы то ни было (они ко всем обращались на "ты") привёл к гонениям при Кромвеле и во время Реставрации (1660). Лишь "Акт о веротерпимости" 1687 г. положил конец преследованиям (после того, как около 450 квакеров погибли в заточении). Уильям Пенн основал в 1682 г. в северной Америке колонию квакеров.

Знакомство Толстого с квакерами происходит прежде всего через книгу Джонатана Даймонда (1796 – 1828) «О войне». Следует отметить, что в наиболее радикальных евангелических течениях — у квакеров, а до них у меннонитов — отрицание войны приобретает черты позиции, основанной на убеждении, которое связано не только с отказом от принесения присяги, но и с обострённым чувством индивидуальности, неотчуждаемости и незаменимости любой жизни, в которой присутствует Бог. Это то же самое убеждение, которое приводит к отмене смертной казни. Без сомнения, для Толстого духовная помощь общения с такими людьми была бесценной: мы помним, сколь резко первоначально разделены были в его, воспитанника аристократической среды, сознании война и смертная казнь: представления о храбрости и героизме на войне, о «необходимой обороне» стран и народов — от безусловного, во многом тоже аристократического, отвращения перед «ремеслом» судьи и палача.

Толстой приводит выдержки из письма от американских сектантов – квакеров, поддержавших идею неупотребления насилия в сопротивлении злumu, а также два исторических документа: «Провозглашение основ мира» Уильяма Ллойда Гаррисона (1805 – 1879) и «Катехизис непротивления» Адина Балу (Ballou, 1803 – 1890) – старших современников Льва Николаевича, чьи взгляды он во многом разделял.

Вот, цитируемое Толстым в Первой главе, начало составленной Гаррисоном Бостонской "декларации" 1838 г.:

«Мы не признаём никакого человеческого правительства. Мы признаём только одного Царя и Законодателя, только одного Судью и Правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаём весь мир, соотечественниками своими признаём всё человечество. Мы любим свою родину столько же, сколько мы любим и другие страны. Интересы, права наших сограждан нам не дороже интересов и прав всего человечества. Поэтому мы не допускаем того, чтобы чувство патриотизма могло оправдывать мщение за обиду или за вред, нанесённый нашему народу...

Мы признаём, что народ не имеет права ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Мы признаём также, что отдельные лица в своих личных отношениях не могут иметь этого права. Единица не может иметь большего значения, чем совокупность их. Если правительство не должно оказывать сопротивление чужестранным

завоевателям, имеющим целью опустошать наше отечество и избивать наших сограждан, то точно так же не должно быть оказываемо сопротивление силою отдельным лицам, нарушающим общественное спокойствие и грозящим частной безопасности. Проповедуемое церквями положение о том, что все государства на земле установлены и одобряемы Богом и что все власти, существующие в Соединённых Штатах, в России, в Турции соответствуют воле Бога, столь же нелепо, как и кощунственно» (28, 4 – 5).

Но особенное значение придаёт Толстой не этим маститым, в его эпоху уже хорошо защищённым при жизни от жестоких правительственных преследований, теоретикам христианского ненасилия, а — *практикам*, зачастую одиночкам либо членам незащищённых, стоящих в России вне закона, христианских сект:

«...Каждый год у нас в России несколько призываемых людей отказываются от военной службы на основании своих религиозных убеждений. Как же поступает правительство? Отпускает их? — Нет. — Заставляет их идти и, в случае несогласия, наказывает их? — Нет. В 1818 году правительство поступило следующим образом. Вот никому почти в России не известная выписка из дневника Ник. Ник. Муравьёва-Карского, не пропущенная цензурой:

*2-го октября 1818 г. Тифлис.*

Поутру комендант сказал мне, что недавно прислано в Грузию пять крестьян помещичьих Тамбовской губернии. Сии люди были в солдаты сданы, но не хотят служить; их уже несколько раз кнутом секли и сквозь строй гнали, но они отдают себя охотно на самые жестокие мучения и на смерть, дабы не служить. "Отпустите нас, — говорят они, — и не троньте нас, мы никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем ему подати платить, зачем я буду подвергать свою жизнь опасности, чтобы убить на войне человека, мне не сделавшего никакого зла? Вы можете нас по кускам резать, а мы не переменим своих мыслей, не наденем шинели и не будем пайка есть. Тот, который над нами сжадется, даст нам милостыню, а казнённого мы ничего не имели и иметь не хотим". Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России. Их четыре раза водили в Комитет министров и, наконец, решились о том представить государю, который

приказал для поправления отправить их в Грузию и предписал главнокомандующему доносить ему ежемесячно о постепенных успехах для приведения сих крестьян к настоящим мыслям".

Чем кончилось это поправление — неизвестно, так как неизвестен и весь эпизод, содержащийся в глубокой тайне.

Так поступало правительство 75 лет тому назад, — так поступало оно в большом количестве случаев, всегда старательно скрывааемых от народа. Так же поступает оно и теперь...

Сначала прилагают все употребляемые в наше время меры насилия для "поправления" отказывающихся и приведения их "к настоящим мыслям" и держат производство этих дел в величайшей тайне. Я знаю, что про одного из отказавшихся в 1884 году в Москве через два месяца после его отказа составилось огромное, толстое дело, хранившееся в министерстве под величайшим секретом.

Начинается обыкновенно с того, что отказывающегося посылают к священникам и, к стыду их, они всегда увещивают отказывающихся. — Но так как увещание во имя Христа — отречься от Христа бывает большей частью безуспешным, то отказавшегося после увещания духовных лиц посылают к жандармам.

Жандармы обыкновенно, не находя ничего политического, возвращают его назад и тогда отказавшегося посылают к учёным, к врачам и в сумасшедший дом. Во всех этих пересылках отказывающийся, лишённый свободы, терпит всякого рода унижения и страдания, как приговорённый преступник. (Это повторялось в четырёх случаях.) Из сумасшедшего дома доктора выпускают отказавшегося, и тогда начинаются всякие тайные, хитрые меры, чтобы и не отпустить отказавшегося, поощрив тем других отказываться так же, как и он, и вместе с тем не оставить его среди солдат, чтобы и солдаты не узнали от него того, что призвание их к военной службе совершается совсем не по закону Бога, как их уверяют, а против него. Самое удобное для правительства было бы казнить отказавшегося: засечь палками или каким-нибудь иным способом, как это делалось прежде. Но казнить открыто человека за то, что он верен учению, которое мы сами исповедуем, — нельзя. Оставить же человека, отказывающегося от повиновения, — тоже нельзя. И вот правительство старается или страданиями заставить этого человека отречься от Христа, или как-нибудь незаметно избавиться от него, не казня его открыто, скрыть как-нибудь и поступок этого человека и его самого от других людей. И начинаются всякого рода уловки и хитрости

и мучения этого человека. Или ссылают этого человека на окраины, или вызывают на непослушание и тогда судят за нарушение дисциплины и запирают в тюрьму, дисциплинарный батальон, где уже тайно от всех свободно мучают его, или признают сумасшедшим и запирают в дом умалишённых. Так, одного сослали в Ташкент, т. е. как будто перевели в Ташкентское войско, другого в Омск, третьего судили за непослушание и заперли в тюрьму, четвёртого в дом умалишённых.

Везде повторяется одно и то же. Не только правительство, но и большинство либеральных, свободно мыслящих людей, как бы сговорившись, старательно отворачиваются от всего того, что говорилось, писалось, делалось и делается людьми для обличения несовместимости насилия в самой ужасной, грубой и яркой его форме — в форме солдатства, т. е. готовности убийства кого бы то ни было, — с учением не только христианства, но хотя бы гуманности, которое общество будто бы исповедует» (28, 22 – 24).

Пространная цитата из Первой главы трактата понадобилась нам в качестве подтверждающей иллюстрации значительнейшего обстоятельства: для автора сочинения на первом месте — именно христианская вера, учение Христа, а отнюдь не светская “гуманность”, исходя из этических аксиом которой, *помимо* православных обрядоведения и догматики, он сам отрицал «жестокости войны» ещё недавно, в длительный период своего творчества, начиная от повести «Набег» 1853 г. и заканчивая романом «Анна Каренина». Тем более автору «Царства Божия» не близки те *пацифизм* и *анархизм*, с которыми его до сего дня отождествляют. Повторим: для *христианского жизнепонимания*, каким даёт его Толстой-учитель в «Соединении евангелий» и каким описывает в трактате «В чём моя вера?», статье «Религия и нравственность» и анализируемом данном сочинении — светские умственные течения, такие как анархизм, феминизм, пацифизм и под., совершенно *избыточны* и, в таковом их отношении к вере Христа — *вредны* в той степени, в которой порождены безверным, нехристианским состоянием обществ!

Толстой-публицист не ограничивается знакомством читателя со своими единомышленниками, приводя (и даже классифицируя) множественные критические отзывы на своё сочинение 1882 – 1884 гг. «В чём моя вера?». Главы Третья и Четвёртая трактата посвящены детальному разбору причин невозможности верного понимания учения Христа с церковной либо научной точек зрения. **Четвёртая**

**глава** — смысловой центр *христианской* части трактата: в ней Толстой излагает свою концепцию «трёх жизнепониманий», из которых наивысшим признаёт «всемирное, или божеское», выраженное в Нагорной проповеди, в примере земной жизни и в мученической смерти Христа (28, 69 – 70).

Современные же, часто и дружащие с пацифизмом, «просвещённые» головы — склонны отрицать истину нового жизнепонимания в христианском учении, «поправлять» Христа. О них Лев Николаевич говорит с заслуженной иронией:

«Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределённое, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьёзного значения для нашего времени, и всё значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

[...] Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено, — что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. "А то учение, требующее слишком многого, неисполнимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам", — думают и утверждают учёные толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то учителя, — евреи.

Оказывается, что перед судом учёных нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око, — закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, — более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

[...] Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Хри-



стос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по неразвитости своей говорил в Нагорной проповеди и других местах. [...] Христос и рад бы сказать хорошо, но он не умел выражаться так точно и ясно, как мы в духе критицизма, и потому поправим его. Всё, что он наговорил о смирении, жертве, нищете, незаботе о завтрашнем дне, всё это он говорил нечаянно, по неумению научно выражаться» (Там же. С. 71 – 73).

И здесь Лев Николаевич Толстой, много работавший сам над соединением и переводом евангелий и знакомившийся, в ходе работы, с трактовками богословов и библеистов, наносит по значительной части их — *еврейской* не по этносу, а по вере: по отношению к жизни и Началу её в Боге — меткий и нетразимый удар:

«Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает; а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент, судить о колокольне» (Там же. С. 75).

А вот то, что уже совершенно уходит за “барьер восприятия” — отнюдь не догматических верующих, которые хотя бы из почтения ко Христу и ко всякому, судящему о Евангелиях, способны выслушать и понять, хотя и не принять идею веры как нового руководства, а — в основном именно буржуазных просвещённых гуманистов, анархистов и пацифистов:

«Недоразумение <их> именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонимания руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководит людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца Небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы ступени несовершенства он ни находился.

[...] Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства — направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдёт по направлению, указанному Христом, всё равно, что полагать, что лодочник, переплывая

быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывёт по этому направлению.

[...] Христос говорит только о силе божеской, призывая человека к наибольшему сознанию её, к наибольшему освобождению её от того, что задерживает её, и к доведению её до высшей степени напряжения.

[...] Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы <плывая в лодке против течения> пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше. <Одно из любимых сравнений Толстого, но здесь, в контексте приведённых выше рассуждений — не вполне точное. — Р. А.>

[...] Исполнение учения — в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определённых законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

[...] В Нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет **первую заповедь**.

Идеал — полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, — чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет **вторую заповедь**.

Идеал — не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться — не клясться, вперёд не обещать ничего людям. И это — **третья заповедь**.

Идеал — никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это — **четвёртая заповедь**.

Идеал — любить врагов, ненавидящих нас; **<пятая> заповедь**, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать, — того, над чем мы должны работать теперь, — того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству» (*Там же. С. 76 – 80. Выделение в тексте наше. – Р. А.*).

За громадой этого суждения даже от более дотошных сокрылось другое, «попутное» отрицание Толстым-христианином ещё одного, по сей день приписываемого ему, - *изма*, а именно *любви к человечеству*. Вот что пишет он о фикции этой любви:

«Ошибка рассуждения в том, что жизнепонимание общественное, на котором основана любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта любовь, переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, всё слабеет и слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого она идти не может.

[...] Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, государству общественное жизнепонимание привело людей к сознанию необходимости любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающимся со всем существующим, — к чему-то, не вызывающему в человеке никакого чувства, — привело к противоречию, которое не может быть разрешено общественным жизнепониманием.

Только христианское учение во всём его значении, давая новый смысл жизни, разрешает его. Христианство признаёт любовь и к

себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему существующему, признаёт необходимость бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в семье, роде, государстве, человечестве, во всём внешнем мире, но в себе же, в своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей погибельности.

Различие христианского учения от прежних — то, что прежние учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну животную природу), подчиняй её внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняй её ничему, — ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняй внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя — животного, а себя — Бога, искры Божьей, себя — сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключённого в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божьим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведён человек общественного непонимания. Так, при всё большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, а есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего — Бога, которого он сознаёт в себе любовью, и потому будет любить всех и всё» (*Там же. С. 84 – 85*).

Настоящему христианству Христа нет дела до «сожигания человечества, как одной семьи», для которой к тому же трудны, неудобноисполнимы «правила» христианской веры (*Там же*). Нет такой семьи

для Толстого-христианина, для *всякого* истинного христианина, и *нет* таких правил!

Именно в этом непонимание людьми рассудка *способа общения с человечеством* высшей по отношению к прежним верованиям, христианской религии — причина того, что их светский гуманизм, их пацифизм, их безрелигиозная нравственность не только не разрешили для христианской Европы XIX столетия дилеммы несоответствия нарастающего милитаризма номинально исповедуемому учению Христа, но довели её до системно сложнейшего состояния, анализу которого Толстой посвящает следующие главы трактата.

«Противоречия нашей жизни с нашим христианским сознанием» — так в черновиках называет Толстой **главу Пятую** своего христианского слова к современникам и потомкам, и поясняет в кратком плане Главы:

«Люди считают, что можно принять христианство, не изменяя своей жизни. Языческое жизнепонимание не соответствует уже тому возрасту, в котором находится человечество и которому может удовлетворить только христианское жизнепонимание. Христианское жизнепонимание не понято ещё людьми, но сама жизнь приводит к необходимости принятия его. Требования нового жизнепонимания всегда кажутся непонятными, мистическими и сверхъестественными. Таковы для большинства людей и требования христианского жизнепонимания. Усвоение христианского жизнепонимания неизбежно совершится вследствие и материальных и духовных причин. Вследствие того, что люди, зная требования высшего жизнепонимания, продолжают держаться низших форм жизни, возникают противоречия и страдания, отравляющие жизнь и требующие её изменения» (28, 296 – 297).

Войны, огромные траты на них и распространение в христианском мире всеобщей воинской повинности, по Толстому — апофеоз накопившихся подобных противоречий.

Бесспорно, приводимые в этой и следующей главах аргументы пацифистов, вещавших на своих сборищах, между прочим, о разорении наций на военных приготовлениях, Толстой так же рассматривает, как дружественные, то есть склоняющие общественное мнение против войн и военщины.

Но дружественность христианина к симпатичным ему интеллигентным людям не тождественна единомыслию с ними и не гарантирует

ответных симпатий. Задумаемся над фактом: за два десятилетия активной публичной антивоенной позиции Льва-учителя, Толстого-христианина он не выступил, по разным причинам, ни на одном из пацифистских Конгрессов мира! И если, ещё не сполна — до появления «Царства Божия» — разобравшись в особенностях этой позиции, они *приглашали* яснополянца стать не просто участником, а вице-президентом II («всеобщего») Лондонского конгресса в 1890 году, то в году 1909-м, когда Лев Николаевич уже и не смог приехать, по своему желанию, на Конгресс в Стокгольме, а только отослал им текст своего выступления для прочтения Конгрессу — текст был замолчан, не прочитан!

Но вернёмся к анализируемому сочинению. Не став участником Лондонского конгресса 1890 года, Толстой тем не менее был хорошо знаком с его материалами. Разбирая их, цитируя выдающихся писателей и общественных деятелей эпохи, он для начала говорит о безусловно правильном в позиции участников лондонского собрания. Например, очень глубокой, серьёзной и злободневной является, на его (и наш!) взгляд, идея трактата о необоснованности и неразумности колоссальнейших *денежных и людских трат* человечества на армии, вооружения и войны. Вот пассаж из речи на Конгрессе итальянского журналиста, политика и пацифиста *Эрнесто Теодоро Монета* (итал. Ernesto Teodoro Moneta, 1833 – 1918):

«Для того, чтобы содержать столько солдат и делать такие огромные приготовления к убийству, расходуются ежегодно сотни миллионов, т. е. такие суммы, которые были бы достаточны для воспитания народа и совершения самых огромных работ для общественной пользы и которые дали бы возможность миролюбиво разрешить социальный вопрос» (*Там же. С. 103*).

«Мы разоряемся, — цитирует Толстой лондонскую речь другого пацифиста, экономиста и политика *Фредерика Пасси* (Frédéric Passy, 1822 – 1912), — мы разоряемся для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голода для того, чтобы иметь возможность убивать.

[...] Мы верим в то, что <через> 100 лет после обнародования прав человека и гражданина пришло время признать права народов и отречься раз навсегда от всех этих предприятий обмана и насилия, которые под названием завоеваний суть истинные преступления

против человечества и которые, что бы ни думали о них честолюбие монархов и гордость народов, ослабляют и тех, которые торжествуют» (Там же. С. 99).

Не в этом ли истинное «непротивление злу насилием», противостоящее пассивному «подставлению щеки»? Действительно, разве не хватило бы денежных сумм и человеческих ресурсов, истраченных правительствами стран «цивилизованного» мира хотя бы только в XIX и XX вв. на военное насилие, огромные армии, их вооружение, боевые действия и устранение их последствий, — разве не хватило бы их на такое преобразование мира, которое позволило бы XX-му, и теперь уже XXI-му векам не страдать от зол фанатизма, невежества, неравенства, преступности, терроризма?

Те же самые террористы — не верные ли, и понятливые, выученики насильнических правительств? Ведь и оружие, которое они используют — адаптированные именно для человекоубийства орудия, изобретённые и сконструированные продавшейся правительствам интеллигентской сволочью. И условия, в которых производят террористы свои теракты — условия искусственной городской жизни, в которую люди были поставлены правительствами путём насилий (разорения традиционной крестьянской жизни) и подкупа (соблазна "благами" городской роскошной жизни) *с умыслом*: иметь всегда покорное стадо "граждан", что называется, "под рукой", в скученном состоянии, где легче "стричь" стадо налогами и мобилизовать, при надобности, для кровопускания войны, легче болванить "патриотическим воспитанием" детей лошинных и простеческих родителей (элитарным деткам, воспитывающимся и в наши дни за рубежом, правды перепадает больше). И террористы лишь *используют* всё это неблагополучное, несогласное с законами природы и Бога, положение "гражданских" сообществ людей, подобно тому как паразиты (глисты, блохи, вши...) используют уязвимость и всякое неблагополучие материального тела человека. И надо бы бороться с развратом, преступностью, терроризмом не так, как "борется" лицемерное, обманывающее и насильническое государство: отлавливая делателей зла по одному и группами, а надо — очиститься всему общественному организму от греха, привести его в природосообразное состояние. Для этого и денег космических, которые тратятся на насилия, не нужно, а нужно — только *не врать самим себе, друг другу и не растить в лжи всё новые поколения!*

Современная путинская Россия — ярчайший пример, когда общество-самоубийца, ведомое государством-агрессором, движется противоположным путём. «Крышуемые» бандитским режимом В. В. Путина в России частные военные компании (ЧВК), «Вагнера» и под., а в мире — террористические международные группировки, подобные ХАМАС — отвратительный образчик “обратное связи”: когда государство, декларативно осуждающее наёмничество и борющееся, декларативно же, с терроризмом, на деле осваивает самые жестокие приёмы “работы” международных организованных преступников, мафии и террористических банд. В результате в дни написания этих строк, в начале декабря 2022 года, не только указанная ЧВК справедливо была признана террористической организацией, участвующей, в числе прочих мерзостей, в геноциде украинского народа в ходе преступной российской агрессии, полномасштабной войны против этой мирной европейской страны, но и сама Россия наконец-то признана свободным демократическим миром государством-террористом, подлежащим самому решительному силовому обузданию.

Однако, стоит здесь же заметить, что для самого Л. Н. Толстого значительно важнее указания пацифистов, и в особенности людей религии, духовенства, на неизбежность религиозной и нравственной деградации в обществах, допускающих, при номинальном исповедании учения Христа, милитаризацию жизни и сознания, в особенности детского. Вот, например, горькие и справедливые слова из речи сэра Уилфрида Лоусона (Sir Wilfrid Lawson, 2nd Baronet, of Brayton; 1829 – 1906), горького трезвенника, антиимпериалиста, либерала, члена английских Либерального клуба, Лиги реформ и, конечно же, старейшего (с 1816 г.) лондонского Международного общества мира (International Peace Society), на том же Конгрессе мира 1890 г.:





Сэр Уилфрид Лоусон. Фото 1884 г.

«Мальчик ходит в воскресную школу, и его учат: милый мальчик, ты должен любить врагов. Если товарищ ударит тебя, ты не должен отплачивать ему, а стараться любовью исправить его. Хорошо. Мальчик ходит в воскресную школу до 14 – 15 лет, а потом друзья его определяют его в военную службу. Что он будет делать в военной службе? Ведь не любить врага, а напротив, если он только доберётся до него, — проткнуть его штыком. Таково всё религиозное обучение в этой стране. Я не думаю, чтобы это был лучший способ исполнения предписаний религии. Я думаю, что если мальчику хорошо любить врага, то также это хорошо и взрослому человеку» (Там же. С. 100).



Сэр Лоусон на карикатуре  
в журнале «Vanity Fair».  
Худ. Адриано Чечиони, 1872.

И уж совершенно согласен Толстой с выводами одного из наиболее красноречивых болтунов Конгресса, католического аббата де Фурнье (иначе: Дефурни; L'abbé M. P. Defourny), проводящего параллель между всеобщей военной повинностью и «классическим» рабством. Описываемое им состояние родной Франции значительно подходит для современной, конца 2022 года, путинской России:

«Те, которые принимают участие в войнах, и не думают уже спрашивать себя, имеют ли какое-либо оправдание эти бесчисленные смертоубийства; справедливы ли они, или нет, законны или незаконны, невинны или преступны, нарушают ли они, или нет главный закон, запрещающий убивать... Совесть их молчит... Война перестала быть делом, зависящим от нравственности.

[...] Особенность раба в том, что он в руках своего хозяина есть вещь, орудие, а не человек. Таковы солдаты, офицеры, генералы, идущие на убиение и на убийство по произволу правителя или правителей. Рабство военное существует, и это худшее из рабств, особенно теперь, когда оно посредством обязательной службы надевает цепи на шеи всех свободных и сильных людей нации, чтобы сделать

из них орудия убийства, палачей, мясников человеческого мяса, потому что только для этого их набирают и вышколивают...

Правители, в числе двух, трёх, сойдясь в кабинетах, тайно стовариваются без протоколов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на бойню» (Там же. С. 101 – 102).

В завершение Главы уже сам Лев Николаевич Толстой характеризует обрисованное с помощью множества идейно близких ему противников войны противоречие христианского сознания языческому образу жизни — как вопиющее и даже губительное для людей, не могущих совершенно одурманить своё сознание:

«Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении.

[...] Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живём одной общей жизнью, одними ударами бьётся пульс нашей жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, всё больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении — смысла всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдалённая случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться. И это самое и случается, и даже особенно часто между военными. Стоит только на минуту опомниться, чтобы прийти к необходимости такого конца. Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманиванию себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьёзные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени. Все люди

нашего времени живут в постоянном вопиющем противоречии сознания и жизни. Противоречия эти выражаются и в экономических и государственных отношениях, но резче всего это противоречие в сознании людьми христианского закона братства людей и необходимости, в которую ставит всех людей общая воинская повинность, каждому быть готовым к вражде, к убийству, — каждому быть в одно и то же время христианином и гладиатором» (*Там же. С. 104 – 105*).

Для следующей, **Шестой главы** трактата, Толстой даёт в черновике заглавие: «Отношение людей нашего мира к войне», излагая главное её идейное содержание следующим образом:

«Люди не стараются уничтожить противоречие между жизнью и сознанием изменением жизни, а образованные, передовые из них употребляют все силы для того, чтобы скрыть требования сознания и оправдать свою жизнь, и этим влекут общество к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости» (*Там же. С. 297*).

Цитируя здесь ряд авторов, выступивших на пацифистских Конгрессах мира 1890 – 1891 гг., Толстой разоблачает демагогию правительств, разглагольствующих о мире и одновременно, якобы для «обеспечения» этого мира, увеличивающих вооружения. Эта идея правительственного обмана также сохранила свою актуальность: по сей день любая мощная держава — это хищник, заботящийся более всего о длине и остроте своих зубов и когтей (вдруг у «врага» уже длиннее?). Этот инстинкт стайно-территориального животного, обезьяны, которой с палкой уютнее, чем без палки и приводил (и по сей день приводит) малые и большие сообщества людей к взаимному недоверию и неизбежным конфликтам за раздел и передел того, что хищнически отобрано ими у природы.

«Не бери с собой палки и не строй ему рожи, а просто — улыбнись...». Миру "взрослых" *по пояс человек*, одержимых влечениями биологического империализма, не понять этой простой мудрости. А непонимание прикрывается у одних — циническим отрицанием самой возможности мира и утверждением вечности войн не только в истории, но и в грядущем человечества, у других — позой трагической «беспомощности», у третьих же, пацифистов — обильной болтологией, подкрепляемой в конце обильным же банкетом. «Конгресс выразил твёрдую и непоколебимую веру в окончательное торжество

мира и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях» (Там же. С. 112). Толстой иронически выделяет в тексте слово «мир» — так же, как чуть позднее сделает в статье «Христианство и патриотизм», описывая франко-русские торжества по случаю военного союза. Тем самым он намекает, что у участников обоих мероприятий, мирного и... довольно-таки военного, одинаково не имелось ответа на главный вопрос: что есть настоящий, устойчивый мир в смысле отсутствия системного, организованного военного насилия либо подготовки к нему держав, и каковы настоящие пути к нему.

Дети, взрослея, портятся от взрослых, а взрослые неисправимы в своей порче — от религиозного безверия. Демагогия и лицедейство правят бал в политике — и, ярче прочих кругов, именно в среде христиански безверной пацифистской интеллигентской сволочи. Именно в этой, в Шестой главе «Царства Божия...» Толстой анализирует и признаёт малоэффективными и даже вредными такие, постулируемые либералами, «антивоенные» меры, как создание различных обществ, созыв конгрессов мира, конференций, выпуск заявлений, деклараций, своей пацифистской фразеологией отвлекающих внимание общественности от тёмных делишек властных «верхушек». Детальное, по пунктам, изложение резолюций Лондонского 1890 и Женевского 1891 гг. конгрессов мира — своеобразный приём публициста, служащий цели демонстрации всей тщеты и даже глупости подобных «миротворческих» потуг. С явной иронией отнёсся Толстой, например, к идее «проповедовать людям зло войны и благо мира» аккуратно «в 3-е воскресенье декабря». Возражение Толстого, повторяющее приведённое нами выше его же суждение в Дневнике, весьма резонно: «Христианин не может не проповедовать этого всегда, во все дни своей жизни» (Там же).

Уникальными по наивности Толстой считает и пацифистские «советы правительствам, чтобы они распустили войска и заменили их международными судилищами» (Там же. С. 112 – 113). В частности — предложения о введении общенародных голосований о вступлении в войну, а также третейского суда и «арбитрации» для решения державами спорных вопросов мирным путём.

"Не может быть начата война... должны... и т. д". Да кто же делает то, чтобы не могла быть начата война? Кто сделает то, чтобы должны были люди делать то-то и то-то? Кто заставит державу дожидаться назначения срока? Все другие. Но все другие суть точно такие же державы, которых надо умерять и поставлять в границы и

*заставить*. Кто же будет заставлять? и как? Общественное мнение. Да если есть общественное мнение, которое может заставить державу дожидаться назначенного срока, то то же общественное мнение может заставить державу и вовсе не начинать войны» (Там же. С. 114 – 115).

Здесь Лев Николаевич подводит читателя к теме решающего влияния на решение проблем войны и мира «охристианившегося», то есть утвердившегося (в скором, как хотелось ему верить, будущем) в христианском религиозном жизнепонимании *общественного мнения*, в силу которого как, в первую голову, религиозный, а не «антивоенный», публицист он верил до конца жизни.

Насладимся ещё толстовскими иронией и сарказмом в отношении тех (европейских либералов и пацифистов), кого до сего дня многие напрасно полагают совершенными единомышленниками Толстого-христианина (попутно приписывая Толстому и их, по-мужицки, бодро высмеянную им, наивность):

«Третейский суд, арбитрация заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом... Швейцария, и Бельгия, и Дания, и Голландия — все подали заявление, что они предпочитают решения третейского суда войне. Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же.

Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя.

Правительства согласятся решать свои несогласия третейским судом и потому распустят войска. Недоразумения России и Польши, Англии и Ирландии, Австрии и Чехии, Турции и славян, недоразумения между Францией и Германией разрешатся добровольным согласием.

Ведь это всё равно, как если бы предложить купцам и банкирам ничего не продавать дороже цены покупки, а заниматься распределением богатств без барышей и уничтожить вследствие этого ставшие ненужными деньги.

Но ведь торговля и банковое дело и состоят только в том, чтобы продавать дороже, чем покупать, и потому предложение о том, чтобы не продавать дороже покупной цены и уничтожить деньги, равняется предложению уничтожиться. То же самое и с правительствами. Предложение правительствам не употреблять насилия, а по справедливости решать недоразумения, есть предложение уничтожиться

как правительство; а на это-то никакое правительство не может согласиться.

Учёные люди собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят спичи, издают журналы, посвящённые этой цели, и во всех доказывалось, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет» *(Там же. С. 115 – 116)*.

«Когда я был маленький, — вспоминает тут же Л. Н. Толстой, — меня уверили, что для того, чтобы поймать птицу, надо насыпать ей соли на хвост. Я вышел с солью к птицам, но тотчас же убедился, что если бы я мог насыпать соли на хвост, то мог бы и поймать, и понял, что надо мной смеялись» *(Там же. С. 116)*.

Над кем же хотят посмеяться авторы идеи о подчинении правительств могучих, уверенных в своём могуществе держав решению независимых судей и арбитров? Свойство птицы — улетать, не давая себя изловить. Свойство государственной власти — гордость и самостоятельность, несовместимые с подчинением. И любой государственной власти, как справедливо указывает Толстой, имманентна вооружённая сила, «стоящая над справедливостью и неизбежно нарушающая её» по собственному усмотрению. А потому предложение правительствам не пользоваться вооружённой силой и не нарушать справедливости, подчиняясь решениям посторонних арбитров, есть предложение уничтожиться как правительства, «а на это-то никакое правительство не может согласиться» *(Там же)*.

Пацифистствующая интеллигентская сволочь обманывает и других, и самих себя:

«Ошибка зиждется на том, что учёные юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть, — собрание одних людей, насилующих других, а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Учёные так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьёзно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого, и Бисмарка

правительство есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей - солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение.

[...] Скажите этим людям, что вопрос только в личном отношении каждого человека к поставленному перед каждым теперь нравственному религиозному вопросу законности или незаконности участия в общей воинской повинности, и эти учёные только пожмут плечами и даже не удостоят вас ответа или внимания» *(Там же. С. 116 – 117)*.

При этом Толстой-христианин не преминул подчеркнуть, что именно такое, чуждое христианству, евро-либеросно-пацифистское отношение к войне «самое выгодное для правительств и потому поощряемое всеми умными правительствами» *(Там же. С. 118)*. Надо ли подчёркивать, что российское правительство, судя по преследованиям путинизмом в 2022 году пацифистов-отказников от военной службы и противников гнусной бойни в Украине, выступивших с девизом «Нет войне!», по сей день, очевидно, не дозрело даже и до такого *умного* состояния европейских правительств позапрошлого столетия?!

Сказанное не означает безусловного неприятия Толстым деятельности “законников” от пацифизма. 23 ноября н. ст. 1893 г. к Толстому, от имени и по просьбе членов основанного 7 апреля 1887 г. в Ниме, на юге Франции, общества «Молодых друзей мира» («Jeunes amis de la paix»), обратился один из них, Феликс Шрёдер (Félix Schröder), уже хорошо известный Толстому, ранее ему писавший, автор изданной в 1893 г. в Париже книги «Le Tolstoïsme» («Толстовство»). Он рассказал яснополянцу, что названное общество с 1890 г. печатало для своих членов маленький журнал «La paix par le droit» («К миру через право»), международный орган активной антивоенной молодёжи. Надеясь, что мир установится путём распространения третейских судов, которые они проповедовали в своём журнале, и желая привлечь внимание публики к своему органу, эти молодые люди просили Шрёдера передать Толстому их просьбу предоставить что-нибудь из его писаний в январский номер журнала.



10 декабря Толстой самым вежливым образом ответил Шрёдеру следующим образом:

«Хотя я и не разделяю надежды молодых людей, находящихся во главе “*La paix par le droit*”, достигнуть цели, которую они себе ставят, с помощью третейского суда, но я люблю смелостью мысли этих юношей, которые, в противоположность тому, что им проповедуют их старшие и их учителя, имеют смелость верить, что война не есть нормальное состояние человечества, но только один из моментов его эволюции. Идея между народности этого органа мне чрезвычайно симпатична. Я думаю, что подобный журнал было бы полезно печатать на трёх или четырёх языках параллельно. Я очень хотел бы служить этому прекрасному делу». Лев Николаевич пообещал дать в журнал находившуюся в работе статью «Христианство и патриотизм», «как только она будет готова», а кроме того, попросил Шрёдера составить «краткое изложение всего, что касается войны» по тексту законченного к тому времени и отправленного к переводчикам трактата «Царство Божие внутри вас» (66, 444. *Оригинал на французском*).

В январском номере «*La paix par le droit*» появилось изложение мыслей Толстого из трактата «Царство Божие внутри вас», а вот Толстой обещания своего исполнить не сумел. Главное же то, что письмо Феликсу Шрёдеру стало своеобразным «манифестом отторжения» Льва Николаевича от европацифизма — конечно же, в пользу живой веры и любви ко Христу.

Другое, выявленное Л. Н. Толстым, отношение к войне, людей поумнее, «большой частью чутких, даровитых» — «это отношение трагическое, людей, утверждающих, что противоречие стремления и любви к миру людей и необходимости войны ужасно, но что такова судьба человека». Такие люди, тоже преимущественно интеллигенты, но уже яркие личности, далеко не ничтожная сволочь, как либералы и пацифисты, «по какому-то странному повороту мысли не видят и не ищут никакого выхода из этого положения, а, как бы расчёсывая свою рану, любят отчаянностью положения человечества» (*Там же*).

Вереницу примеров Толстой открывает с самого близкого ему в те годы и удобного — с писателя *Gu de Monassana* (фр. Henry-René-Albert-Guy de Maupassant, 1850 – 1893), безусловный талант кото-

рого, в числе *немногих* писателей-современников во Франции, Толстой признавал. Кроме того, Мопассан-публицист вступает в отрывке в полемику со своими оппонентами, тем самым полезнейше презентуя читателю и их.



Ги де Мопассан

Вот эмотивно насыщенные строки Мопассана — безусловно, проклинающего войну, и столь же решительно, как проклял её некогда автор «Севастопольских повестей» и «Войны и мира» — но в своём, *очень французском*, стиле:

«Война! Стоит подумать об этом слове, и на меня находит какое-то чувство ужаса и одурения, как если бы мне говорили про колдовство, инквизицию, как будто мне говорят про дело далёкое, поконченное, отвратительное, уродливое, противоестественное.

Когда говорят нам про людоедов, мы с гордостью улыбаемся, чувствуя своё превосходство над этими дикарями. Но кто дикари? Кто настоящие дикари? Те ли, которые убивают для того, чтобы съесть побеждённых, или те, которые убивают, чтобы убивать, только чтобы убивать?» (Там же. С. 119).

Это сущая правда. Уже не первый век животные Земли, поколения хищников, охотящихся ради выживания, наблюдая в юном и неопытном возрасте поведение людей, задают старшим одни и те же вопросы: *для чего* необходимы эти убийства столь умным творениям единого Бога, каковы люди? Ведь они могут устроить свой рацион так, чтобы в него вовсе не входили плоды неволи, страданий и гибели существ! «А если это добровольный выбор, предпочтение человека для еды, — безуспешно расспрашивают львята и старых львов, и старших товарищей, авторитетных, уже охотящихся со взрослыми, — тогда отчего даже лучшие, успешнейшие из человеческих охотников, не съедая, бросают на своей охотничьей территории тех, кого убили?»

Надо бы, как минимум, *заставлять* военных убийц съесть всех убитых ими на войне. И пусть самые обильные, пахучие и жирные куски достанутся поджигателям войны!

Далее Мопассан прибегает к уже совсем близкому Льву Николаевичу приёму: соединению мастерства художника с пером публициста, то есть к созданию наглядных образов:

«Вот на поляне егеря по команде бегают и стреляют; все они предназначены на смерть, как стадо баранов, которых мясник гонит по дороге. Упадут они где-нибудь на поляне с рассечённой головой или с пробитой пулей грудью. И всё это молодые люди, которые могли бы работать, производить, быть полезными.

Их отцы старые, бедные их матери, которые в продолжение 20 лет любили, обожали их, как умеют обожать только матери, узнают через шесть месяцев или через год, может быть, что сына, большого сына, воспитанного с таким трудом, с такими расходами, с такой любовью, что сына этого, разорванного ядром, растоптанного конницей, проехавшей через него, бросили в яму, как дохлую собаку.

И она спросит: зачем убили дорогого мальчика — её надежду, гордость, жизнь? Никто не знает. Да, зачем?» *(Там же)*.

Далее, по законам жанра — эмоциональное крещендо:

«Война! Драться! Резаться! Убивать людей! Да, в наше время, с нашим просвещением, с нашей наукой, с нашей философией, существует учреждение особых училищ, в которых учат убивать, убивать издалека, с совершенством, убивать много людей сразу, убивать несчастных, жалких людей, ни в чём не виноватых людей, поддерживающих семьи, и убивать их без всякого суда» *(Там же)*.

Здесь впору напомнить читателю, что Л. Н. Толстой намного раньше стал безусловным отрицателем именно убийств и жестоких наказаний по суду, в частности, смертной казни, нежели противником военного сословия и войн, военных подвигов, в уважении к которым был воспитан.

И, конечно же, далее у Мопассана — эмотивно сниженная антитеза: *«И самое удивительное — это то, что народ не поднимается против правительств, — всё равно, в монархии или республике. Самое удивительное то, что всё общество не взбунтуется при одном слове война.»*

Да, видно, мы всегда будем жить старыми, ужасными обычаями, преступными суевериями, кровожадными понятиями наших предков. Видно, как мы были зверями, так и останемся зверями, руководимыми только инстинктом» *(Там же)*. <Курсивы в этом удивительном тексте, подчёркивающие самое значительное — Льва Николаевича. — Р. А.>

Далее Ги де Мопассан в своей речи перед пацифистами вспоминает старшего собрата по перу, Виктора Гюго — высокочтимого и Львом Николаевичем Толстым:

«Едва ли кто-нибудь, кроме Виктора Гюго, мог бы безнаказанно кликнуть клич освобождения и истины.

“Силу уже начинают называть насилием и судить её, — сказал он. Война призывается на суд. Просвещение по жалобе рода человеческого ведёт судебное дело и представляет обвинительный акт против всех завоевателей и полководцев.

Люди начинают понимать то, что увеличение преступления не может быть его уменьшением; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что если стыдно красть, то захват никак не может быть предметом прославления.

Провозгласим же эту несомненную истину, обесчестим войну» *(Там же. С. 119 – 120)*.

Само понятие «обесчещения» по отношению к войне и военщине, вкупе с апелляцией к «эпохе Разума», к Просвещению — безусловно архаичны и смешны для Толстого. И жалок Мопассан, кажется, не замечающий этой архаики — и по-прежнему блукающий своей нормандской рожицей мимо Бога и Христа... Толстой цитирует далее эту речь собрата по писательству достаточно подробно — но именно

для того, чтобы нагляднее показать *своему* читателю, что в ней не так.

А Мопассан между тем снова пускает в ход те же приёмы художнического, публицистического и ораторского своего мастерства. На публицистических “верхах” достаётся от него выдающемуся прусскому военачальнику, умнейшему, блестящему теоретику имперства и войны, графу Хельмуту фон Мольтке (*Helmuth Karl Bernhard, Graf von Moltke*; 1800 – 1891), идейному наследнику другого умницы, Карла фон Клаузевица (*Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz*; 1780 – 1831), между прочим, одного из “учителей” автора «Войны и мира»: «Напрасный гнев, — продолжает Мопассан, — негодование поэта. Война уважаема, почитаема теперь более, чем когда-либо. Искусный артист по этой части, гениальный убийца, г-н фон Мольтке отвечал однажды депутатам общества мира следующими страшными словами: "Война свята и божественного установления, война есть один из священных законов мира, она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость. Только вследствие войны люди не впадают в самый грубый материализм".

Собираться стадами в 400 тысяч человек, ходить без отдыха день и ночь, ни о чём не думая, ничего не изучая, ничему не учась, ничего не читая, никому не принося пользы, валяясь в нечистотах, ночуя в грязи, живя как скот, в постоянном одурении, грабя города, сжигая деревни, разоряя народы, потом, встречаясь с такими же скоплениями человеческого мяса, наброситься на него, пролить реки крови, устлать поля разможжёнными, смешанными с грязью и кровяной землёй телами, лишиться рук, ног, с разможжённой головой и без всякой пользы для кого бы то ни было издохнуть где-нибудь на меже, в то время как ваши старики родители, ваша жена и ваши дети умирают с голоду — это называется не впадать в самый грубый материализм» (*Там же. С. 120*).

Мопассан далее бьёт напрямую по мундированным прихвостням и подлым служкам халтурных (не умеющих без войны) правительств — по военщине, что называется, «оптом» — причём в таких речевых оборотах, под которыми вряд ли бы подписался не только молодой севастопольский офицер Толстой, но даже автор «Анны Карениной» всего лишь годков за 10 – 12 до времени написания трактата «Царство Божие внутри вас»:

«Военные люди — главное бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наше жалкое существование. Учёные посвящают труду всю жизнь для того, чтобы найти средства помочь, облегчить судьбу своих братьев. И, упорно трудясь и делая открытие за открытием, они обогащают ум человеческий, расширяют науку, каждый день дают новые знания, каждый день увеличивая благосостояние, достаток, силу народа.

И вот наступает война. В шесть месяцев генералы разрушают всё то, что творилось в продолжение 20 лет усилия, терпения, гениальности. И это всё называется не впадать в самый грубый материализм.

Мы её видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для молодечества, для похвальбы. Мы видели, как, освободившись от понятий закона и права, они расстреливали невинных, застигнутых на дороге и показавшихся подозрительными только потому, что они испугались. Мы видели, как убивали привязанных у дверей хозяев собак, только чтобы попробовать новый револьвер. Мы видели, как расстреливали лежавших в поле коров без всякой надобности, только чтобы пострелять для потехи. И это называется не впадать в самый безобразный материализм.

Вступить в страну, зарезать человека, который защищает свой дом, потому что он одет в блузу и у него нет на голове военной фуражки; сжигать дома бедняков, которым есть нечего, разбивать, красть мебель, выпивать вино из чужих погребов, насиловать женщин на улицах, сжигать порошу на миллионы франков и оставить после себя разорение, болезни, — это называется не впадать в самый грубый материализм.

Что же, наконец, они сделали, военные люди, какие их подвиги? Ничего. Что они выдумали? Пушки и ружья. Вот и всё.

Что оставила нам Греция? Книги, мраморы. Оттого ли она велика, что побеждала, или оттого, что произвела? Не нападения персов помешали грекам впасть в самый грубый материализм. Не нападения же варваров на Рим спасли и возродили его! Что, Наполеон I продолжал разве великое умственное движение, начатое философами конца прошлого века?» *(Там же. С. 120 – 121).*

Конечно же, страстный вития, со своей калокольни, со своих позиций — прав и прав! И, безусловно, особенно просто ему доказать

свою правоту перед очкастыми, очковыми, мокрогубыми интеллигентскими пацифистствующими соплежухами, которым он и адресовал свою филиппику — «глядя с своей яхты на ученье и стрельбу французских солдат», подчёркивает Толстой (*Там же. С. 118*). С яхты, то есть, *со стороны*, быть может, и виднее, да только вот пользователи яхт могут иметь их лишь благодаря повседневному пользованию *системно организованным насилием* в обществе — не исключая полицейских, солдатни и той сановной мундированной военщины, которую искренне, да слепо порицает Мопассан!

Не столь просто, однако, ему убедить Льва Николаевича Толстого, который тоже *видел войну!*

Прав вития, прав! Более того, описываемое им как раз и подпадает под категорию грубого материализма — это уж “конёк” французской изящной словесности эпохи Толстого и, кстати, одна из причин, почему старик Толстой, в отличие, скажем, от Стендаля и его эпохи, французской *современной* литературы не любил. Некоторые подробности заставляют сразу вспомнить новости весны и лета 2022 года из Украины — о зверствах оккупантов из России в украинских городах. Но можно вспоминать и не столь близкую к нам по времени историю. «Женщин в пламень, младенцев о камень, пленных на дно...» — это вековая установка войны, соответствующая первобытной сущности человека, его природе как агрессивного стайно-территориального животного.

Мопассан-публицист не замечает, что именно «всегдашность» для всех эпох и многосложность поставленной им проблемы подводит его к необходимости указать решение не социально-гуманистическое, а именно религиозное, христианское. И Мопассан проходит мимо Христа, предпочитая исключительное решение *разума*, даже насильническое и революционное, странно для конца XIX столетия отягощённое романтизмом. Часть нижеследующего текста Толстой отчеркнул, дабы показать “предел” антивоенных рефлексий для интеллектуалов и людей творчества, подобных Ги де Мопассану:

«Нет, уж если правительства берут на себя право посылать на смерть народы, то нет ничего удивительного, что и народы берут на себя иногда право посылать на смерть свои правительства.

Они защищаются, и они правы. Никто не имеет права управлять другими. Управлять другими можно только для блага того, кем управляешь. И тот, кто управляет, обязан избегать войны; так же как и капитан корабля — избегать крушения.

Когда капитан виноват в крушении своего корабля, его судят и приговаривают, если он окажется виноватым в небрежности и даже в неспособности.

Отчего же бы не судить и правительство после каждой объявленной войны? Если бы только народ понял это, *если бы они судили власти, ведущие их к убийству, если бы они отказывались идти на смерть без надобности, если бы они употребляли данное им оружие против тех, которые им дали его, — если бы это случилось когда-либо, война бы умерла.*

Но это никогда не случится» (Там же. С. 120 – 122).

Таковы выводы Ги де Мопассана о современном ему лжехристианском мире.

А вот выводы Льва Николаевича Толстого о Мопассане:

«Автор... даровитый, искренний, одарённый тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара, писатель. Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признаёт как бы то, что это противоречие должно быть и что в нём поэтический трагизм жизни» (Там же. С. 122).

Другой интеллектуал, швейцарский писатель и литературовед Эдуард Род, о котором у нас уже шла речь выше, с разницею с Толстым в десятилетие, в конце 1880-х, и в ослабленной форме, пережил идейный и творческий кризис, отказавшись, в частности, от натурализма при анализе нравственных мотивов. На дальнейшее его художественное творчество всё сильнее влияет философия Артура Шопенгауэра и Льва Николаевича Толстого.

Но вот его трагическая, пафосная сентенция о войне, вызвавшая отторжение Толстого, однако показательная, и именно поэтому включённая Толстым в трактат:

«И для чего что-либо делать и затевать? И разве можно любить людей в теперешние смутные времена, когда завтрашний день одна угроза? Всё, что мы начали, все наши зреющие мысли, все наши предполагаемые дела, всё то хотя малое добро, которое мы можем сделать, — разве всё это не будет снесено готовящейся бурей?

Земля дрожит повсюду под ногами, и собирающаяся туча не минует нас.





Ещё раз Эдуард Род

Да, если бы страшна была одна революция, которая нас пугает. Так как я не могу придумать общества, более отвратительно устроенного, чем наше, то я не боюсь того нового устройства, которое заменит наше. Если бы мне стало хуже от перемены, я бы утешался тем, что сегодняшние палачи были жертвами вчера. Я бы переносил худшее, ожидая лучшего. Но не эта отдалённая опасность пугает меня, — я вижу другую, более близкую, более жестокую, потому что ей нет никакого оправдания, потому что из неё не может выйти никакого добра. Каждый день люди взвешивают случайности войны на завтра. И каждый день эти случайности становятся неизбежнее.

Мысль отказывается верить возможности катастрофы, которая представляется на конце века как последствие всего прогресса нашей эры, а надо привыкать верить.

[...] Все мы знаем, что лучшие из нас будут подкошены и что дела наши будут разрушены в зародыше.

*Мы знаем это, содрогаясь от злости и ничего не можем.* Мы пойманы в сеть разных присутственных мест и бумаг с заголовками, разорвать которую слишком трудно.

Мы во власти тех законов, которые мы сами понаделали, чтобы защитить себя, и которые угнетают нас» (Там же. С. 122 – 124).

Толстой христианин и Толстой боевой офицер, вероятно, тихо матерился и сплёвывал под стул, читая это. Совершенно то впечатление, что серится, соплит, скулит и ноет не человек XIX столетия, а кто-то

из российской пригламуренной, хипстерствующей, городской интеллигентской сволочи и дряни, впавшей в депрессию после начала военной агрессии в Украине, устроенной хорошо раскормившей их, а точнее *прикормившей* до того путинской тётёй «родиной».

Но, задав себе задачу находить в суждениях *любых* противников войны самое близкое ему и ценное, Толстой находит таковое «лучшее в худшем» и у этого швейцарского хипстера XIX века:

«В продолжение 20 лет все силы знания истощаются на изобретение орудий истребления, и скоро несколько пушечных выстрелов будет достаточно для того, чтобы уничтожить целое войско.

< Книга эта издана год тому назад; за этот год выдумали ещё десятки новых орудий истребления - новый, бездымный порох. – *Примеч. А. Н. Толстого.* >

Вооружаются не как прежде несколько тысяч бедняков, кровь которых покупали за деньги, но теперь вооружены поголовно целые народы, собирающиеся резать горло друг другу.

У людей этих сначала крадут их время (забирая их в солдаты) для того, чтобы потом вернее украсть их жизнь. Чтобы приготовить их к резне, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы. И кроткие, добрые люди попадают на эту удочку, и вот-вот бросятся с жестокостью диких зверей друг на друга толпы мирных граждан, повинувшись нелепому приказанию. И всё бог знает из-за какого-нибудь смешного столкновения на границе или из-за торговых колониальных расчётов.

И пойдут они, как бараны на бойню, не зная, куда они идут, зная, что они бросают своих жён, что дети их будут голодать, и пойдут они с робостью, но опьянённые звучными словами, которые им будут трубить в уши. *И пойдут они беспрекословно, покорные и смиренные, не зная и не понимая того, что они сила, что власть была бы в их руках, если бы они только захотели, если бы только могли и умели сговориться и установить здравый смысл и братство, вместо диких плутень дипломатов.*

И пойдут они до такой степени обманутые, что будут верить, что резня, убийство людей есть обязанность, и будут просить Бога, чтобы он благословил их кровожадные желания. И пойдут, топча поля, которые сами они засевали, сжигая города, которые они сами строили, пойдут с криками восторга, с радостью, с праздничной музыкой. А сыновья будут воздвигать памятники тем, которые лучше всех других убивали их отцов.

Судьба целого поколения зависит от того часа, в который какой-нибудь мрачный политик даст тот знак, по которому они бросятся друг на друга» (Там же. С. 123).

У людей той эпохи при словах: «мрачный политик» мог возникнуть в сознании образ Бисмарка или русского царя, а в наших 2020-х безусловным лидером (то есть нравственным аутсайдером, “лузером”) в глазах большинства населения Земли стал кремлёвский фюрер Владимир Путин.

Безусловно, пронзительные в своей правоте и отчасти пророческие строки! Но Толстой недаром отчёркивает в них то, что обозначает духовную “планку”, выше которой мелкие крылышки не могли вознести и этого, довольно мелкого даже в своей эпохе, автора:

*«Мы перестали быть людьми и сделали вещи — собственностью вымышленного чего-то, что мы называем государством, которое поработывает каждого во имя воли всех, тогда как все, взятые отдельно, хотят как раз противное тому, что их заставляют делать...»*

И хорошо, если бы дело шло только об одном поколении. Но дело гораздо важнее. Все эти крикуны на жалованье, все честолюбцы, пользующиеся дурными страстями толпы, все нищие духом, обманутые звучностью слов, так разожгли народные ненависти, что дело завтрашней войны решит судьбу целого народа. Побеждённый должен будет исчезнуть, и образуется новая Европа на основах столь грубых, кровожадных и опозоренных такими преступлениями, что она и не может не быть ещё хуже, ещё злее, ещё диче и насильственнее.

Так и чувствуешь, что над каждым висит ужасная безнадежность. Мы мечемся в тупом переулке с направленными на нас ружьями со всех сторон. Мы работаем, как матросы на корабле, который тонет. Наше удовольствие — это удовольствие приговорённого к смерти, которому дают выбрать для себя любое кушанье за четверть часа до казни. Ужас притупляет нам мысль, и высшее её проявление в том, чтобы рассчитать, соображая неясные речи министров, слова, сказанные царём, выворачивая изречения дипломатов, которыми наполняют газеты, рассчитать, когда это именно — нынешний или на будущий год нас будут резать.

Едва ли можно найти в истории время, в которое жизнь была бы менее обеспечена и более полна тягостного ужаса» (Там же. С. 124).

Блестяще! И многим, как автору данной книги, захочется добавить: *актуально*. Да вот только — *не должно* быть актуально, как возможная угроза, ни в XIX-ом, ни в XX-ом, ни, тем более, в XXI-ом веках — по крайней мере, для христианского мира, через 1800 – 1900 лет после Христа! Толстой понимает это, и вот почему ниже, в той же главе трактата, следует его, с лихвой заслуженный безверным трусишкой Э. Родом, вердикт:

«Указано на то, что сила в руках тех, которые сами губят себя, в руках отдельных людей, составляющих массы; указано на то, что источник зла в государстве. Казалось бы, ясно то, что противоречие сознания и жизни дошло до того предела, дальше которого идти нельзя и после которого должно наступить разрешение его. <То есть приход массового сознания к *вере живой*, к христианскому религиозному пониманию жизни. – Р. А.>

Но автор думает не так. Он видит в этом трагизм жизни человеческой и, показав весь ужас положения, заключает тем, что в этом ужасе и должна происходить жизнь человеческая» (*Там же*. С. 124 – 125).

И, наконец, Толстой цитирует интеллектуалов третьего, по отношению к феномену войны, фундаментального уклона, сторонников идеи о неизбежности и даже «пользе» войны: таких, как известный в свою эпоху драматург, академик Камиль Дусэ (Charles-Camille Doucet, 1812 – 1895), или другой французский же академик, журналист, публицист, драматург и беллетрист Жюль Кларети (Jules Claretie, 1840 – 1913). На запрос журнала «Revue des Revue», много лет любимого Толстым, умница Кларети ответил весьма характеристическим посланием:

«Милостивый государь!

Для человека разумного может существовать лишь одно мнение по вопросу о мире и войне.

Человечество создано для того, чтобы жить, и жить со свободой усовершенствования и улучшения своей судьбы, своего состояния путём мирного труда. Всеобщее согласие, которого добивается и которое проповедует всемирный конгресс мира, представляет из себя, быть может, только прекрасную мечту, но, во всяком случае, мечту, самую прекрасную из всех. Человек всегда имеет перед глазами обетованную землю будущего, жатва будет поспевать, не опасаясь вреда от гранат и пушечных колёс.

Только... Да — только!.. Так как миром не управляют философы и благодетели, то счастье, что наши солдаты оберегают наши границы и наши очаги и что их оружия, верно нацеленные, являются нам, быть может, самым лучшим ручательством этого мира, столь горячо нами всеми любимого.

Мир даруется лишь сильным и решительным» (Там же. С. 126).

Изящное такое, очень даже французское, благословение военной бойни, конечно же, тем отвратительнейшее Льву Николаевичу и тут же, в тексте «Царства Божьего», разоблачённое им — сперва выделениями в тексте цитируемого письма, а в конце — таким комментарием:

«Смысл тот, что разговаривать не мешает о том самом, чего никто не намерен и чего никак не должно делать. Но когда дело доходит до дела, то нужно драться» (Там же).

Точка зрения ещё одного писателя, знаменитого Эмиля Золя (1840 – 1902), выражена в его письме-ответе журналу значительно прямолинейней, в унисон с натурализмом, характерным для автора. Это прямое *развитие наоборот* (то есть деградация) по отношению к позиции Мопассана:

«Я считаю войну роковой необходимостью, которая является для нас неизбежной ввиду её тесной связи с человеческой природой и всем мирозданием. Мне бы хотелось, чтобы войну можно было отдалить, на возможно долгое время. Тем не менее наступит момент, когда мы будем вынуждены воевать. Я становлюсь в данную минуту на общечеловеческую точку зрения... Я говорю, что война необходима и полезна, так как она является для человечества одним из условий существования. Мы всюду встречаем войну, не только между различными племенами и народами, но также в семейной и частной жизни. Она является одним из главнейших элементов прогресса, и каждый шаг вперёд, который делало до сих пор человечество, сопровождался кровопролитием.

Воинственная нация всегда пользовалась цветущими силами. Военное искусство влекло за собою развитие всех других искусств. Об этом свидетельствует история. Так, в Афинах и в Риме торговля, промышленность и литература никогда не достигали такого развития, как в то время, когда эти города господствовали над известным тогда миром силою оружия. Чтобы взять пример из более близких нам времён, вспомним век Людовика XIV. Войны великого короля

не только не задержали прогресса искусств и наук, но даже, напротив того, как будто помогали и благоприятствовали их преуспеянию» (Там же. С. 126 – 127).

«Самым даровитым из писателей этого настроения» (то есть благословителей войны) Лев Николаевич признаёт действительно блестящего остроумца, Эжена Мельхиора, виконта де Вогюэ, тоже академика, к этому времени уже хорошего друга семейства Толстых и поклонника русской литературы — в особенности Ф. М. Достоевского. О нём мы так же упоминали в этом томе выше.



Виконт Эжен де Вогюэ

Но взаимные симпатии к превосходному, «пахнущему» интеллектом и талантами, умеющему красиво жить, говорить и писать французу Толстой не распространил на воззрения Вогюэ, выраженные не только в насмешку над глупышами европацифистами (которая, сама по себе, была понятна и отчасти приятна Толстому), но и в благословение всем войнам будущих веков, да ещё с опорой на научные и философские познания.

В ноябре 1889 г. Толстой читает в свежем номере «Revue des deux mondes» статью де Вогюэ о 8-й всемирной выставке в Париже: «A travers l'exposition. IX. Dernières remarques» [фр. «Последние замечания о выставке»] (<https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article->

[revue/ix-dernieres-remarques/](#) ). Помимо известий о милитаристских игрищах правительств, и одновременно — о злополучном отказнике от военной службы Петре Хохлове, эта статья повлияла на ход мыслей будущего автора «Царства Божия», судя по записи его в Дневнике под 22 ноября:

«...Статья Вогюе о выставке и о войне — надо выписать: оставим, мол, болтунов толковать о том, что благо человечество достигнет наукой, трудом, общением и наступит золотой век, который, если бы наступил, то был бы мерзостью. Нужна кровь и т. д. Очень хотелось писать об этом» (50, 181 – 182).

Умница Вогюэ, хотя и своеобразно, но практически повторил убеждение, выраженное Эмилем Золя, в том, что человечество имеет выбор лишь между кровью войны и грязью нравственной деградации в случае торжества «вечного мира», и вот что ещё, помимо, отписал прекрасный виконт в очерке для возлюбленного Толстым французского журнала:

«Вся история учит нас... что нужна кровь, чтобы ускорить и закрепить единение народов. Естественные науки в наше время скрепили таинственный закон, открывшийся Жозефу де Мэстру вдохновением его гения и обдумыванием первобытных догматов; он видел, как мир искупляет свои наследственные падения жертвою; науки показывают нам, как мир совершенствуется борьбой и насильственным подбором; это утверждение с двух сторон одного и того же декрета, редактированного в различных выражениях. Утверждение, конечно, неприятное; но законы мира установлены не для нашего удовольствия, они установлены для нашего совершенствования. Взойдёмте же в этот неизбежный, необходимый дворец войны, и мы будем иметь случай наблюдать, каким образом самый упорный из наших инстинктов, не теряя ничего из своей силы, преобразовывается, подчиняясь различным требованиям исторических моментов.

[...] Я верю так же, как и Дарвин, что насильственная борьба есть закон природы, управляющий всеми существами. Так же как и Иосиф Мэстр <т. е. Жозеф де Мэстр. – Р. А.>, я верю, что это закон божественный: два различных названия для одной и той же вещи. Если бы, паче чаяния, какой-нибудь частице человечества, положим хоть всему цивилизованному Западу, удалось остановить действие этого закона, то другие народы, более первобытные, применили бы его против нас. В этих народах голос природы взял бы верх над голосом человеческого разума. И они бы действовали успешно, так как

уверенность в мире, я не говорю сам "мир", а "полная уверенность в мире", вызвала бы в людях развращённость и упадок, более разрушительно действующие, чем самая страшная война. Я нахожу, что для войны, этого уголовного закона, нужно делать то же, что и для остальных уголовных законов: смягчить их, стараться, чтобы они оказались ненужными, и применять их как можно реже. Но вся история учит нас тому, что нельзя упразднить этих законов до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги и между ними женщина.

Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога» (28, 128 – 129).

К сожалению, как и в житейских встречах с такими напористыми, уверенными в себе и своей мысли собеседниками, так и в трактате своём Лев Николаевич, что называется, "не выдержал удара" такого остроумнейшего оппонента. Быть может, "подкосила" его откровенность симпатий гениального сына своего века одновременно к де Местру и Чарльзу Дарвину, особенно для Толстого не симпатичного. От мощного ума — и удар жесток! И вот, как и прежде, слегка насмешливый, даже саркастический, но при этом и ощутимо ворчливый ответ яснополянца:

«Смысл тот, что история, природа человека и Бог показывают нам, что, пока будут два человека и между ними хлеб, деньги и женщина, — будет война. То есть, что никакой прогресс не приведёт людей к тому, чтобы они сдвинулись с дикого понимания жизни, при котором без драки невозможно разделить хлеб, деньги (очень хороши тут деньги) и женщину.

[...] Все толки о возможности установить мир вместо вечной войны — вредное сантиментальничанье болтунов. Есть закон эволюции, по которому выходит, что я должен жить и действовать дурно. Что же делать? Я образованный человек и знаю закон эволюции и потому буду поступать дурно» (Там же. С. 129).

Подведём итог. Цитируя строки из антивоенных произведений Мопассана, Э. Рода, В. Гюго, Толстой не приемлет свойственного этим авторам «модного пессимизма», противопоставляя им бодрые (хотя и не добрые), самоуверенные высказывания Э. Золя, трёх французских академиков изящной словесности и фельдмаршала Гельмута фон Мольтке в пользу неизбежности и даже блага войны. Но, ко-



нечно, меньшая наивность и большее мастерство в выражениях отнюдь не подкупают писателя, который даже в личной переписке любил читать, прежде прочих, письма от простых, даже малограмотных, людей. Напротив, Толстому отвратительно такое посвящение этими людьми своего гения — служению *змию*, мировому хаосу и источнику смерти, небытия. Они безусловно вреднее и страшней как слюняво-сопливых пацифистов, так и «трагиков»:

«Странны люди, собирающиеся в конгрессы, говорящие речи о том, как ловить птиц, посыпая им соли на хвост, хотя они не могут не знать, что этого нельзя делать; удивительны те, которые, как Мопассан, Род и мн. др., ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать, оплакивают при этом трагизм жизни и не видят того, что весь трагизм этот прекратится тотчас же, как только люди перестанут рассуждать о том, о чём им не нужно рассуждать, начнут не делать того, что им больно, неприятно и противно делать. Эти люди удивительны, но люди, которые, как Воюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью. Те хоть говорят, что ненавидят зло и любят добро, но эти прямо признают то, что добра и зла нет» (*Там же*). Их влияние в мире — влияние самого Начала погибели и лжи, то есть сатаны, дьявола.

Для писателя эти «потерявшие совесть, и потому и здравый смысл, и человеческое чувство» представители искусства, науки и военных кругов (т.е. служилой и интеллигентской сволочи — сфер общественного бытия, самых замкнутых и далёких от жизни и от народа) «страшны, ужасны своей нравственной извращённостью»: «Вместо того, чтобы изменить жизнь соответственно сознанию, они стараются всеми средствами затемнить, заглушить сознание» своё и других, доверяющих им людей. «Но свет и в темноте светит, и так он начинает светить в наше время» (*Там же. С. 130*) — этим суждением Толстой завершает Шестую главу своего сочинения, выражая таким образом убеждённость в торжестве над языческим — христианского религиозного понимания жизни.

Удивительно, как люди умеют «не увидеть» то, чего видеть не хочется. **Главу Седьмую** Толстой начинает с повторения ключевого

своего тезиса, соединяющего «религиозную» часть трактата с «анти-военной»:

«Общая воинская повинность есть только доведённое до своих последних пределов и ставшее очевидным, при известной степени материального развития, внутреннее противоречие, вкравшееся в общественное жизнепонимание» (28, 130).

Но исследователи Толстого обыкновенно, как в зеркале собака, в известной притче, узревают здесь «ниспровергательную» критику, доходящую, *horrible dictu*, «аж» до анархизма! Прочитаем и эту главу трактата — столь же трудоёмко и не спеша, как она писалась — и поглядим, чего в ней больше: анархизма или же христианской чистой, живой евангельской веры!

Подобно тому, как в наши дни в теориях власти нередко разделяется авторитет силы, насилия, принуждения и авторитет знания, мастерства, так и Толстой отделяет насилие как способ регулирования обществом от авторитета, или «влияния» неизмеримо благороднейшего, «духовного»:

«Влияние духовное есть такое воздействие на человека, вследствие которого изменяются самые желания человека и совпадают с тем, что от него требуют. Человек, подчиняющийся влиянию духовному, действует соответственно своим желаниям. Власть же, как обыкновенно понимают это слово, есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть. Заставить же человека делать не то, что он хочет, а то, чего он не хочет, может только физическое насилие или угроза им, т. е. лишение свободы, побои, увечья или легко исполнимые угрозы совершения этих действий. В этом состоит и всегда состояла власть.

Несмотря на неперестающие усилия находящихся во власти людей скрыть это и придать власти другое значение, власть есть приложение к человеку верёвки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову, приложение этих средств или угроза ими. И так это было при Нероне и Чингис-Хане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и французской республике. Если люди подчиняются власти, то только потому, что они боятся того, что, в случае неподчинения их, к ним будут приложены эти действия. Все правительственные требования

уплаты податей, исполнения общественных дел, подчинения себя накладываемым наказаниям, изгнания, штрафы и т. п., которым люди как будто подчиняются добровольно, в основе всегда имеют телесное насилие или угрозу его.

Основа власти есть телесное насилие.

[...] Сколько ни придумывали люди средств для того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, или для того, чтобы передавать власть только людям непогрешимым, до сих пор не найдено средств для достижения ни того, ни другого. Все знают, что ни один из этих приёмов не достигает ни цели вручения власти только непогрешимым людям, ни препятствования злоупотреблениям её. Все знают, что, напротив, люди, находящиеся у власти — будь они императоры, министры, полицеймейстеры, городовые, — всегда, вследствие того, что они имеют власть, делаются более склонными к безнравственности, т. е. подчинению общих интересов личным, чем люди, не имеющие власти, как это и не может быть иначе» (*Там же. 131 – 133*).

«Первородный грех» такой власти — её происхождение от *завоевания*, то есть подчинения и ограбления мирных тружеников. Чем больше освобождается человек или общность людей от страхов и страстей, влекущих к такому ограблению и подчинению чужих трудов и жизней, то есть чем более человек или люди утверждают в *вере живой*, в доверии Отцу, Богу, то есть в христианском религиозном понимании жизни, тем дальше такой человек или такая общность людей отходят от мнимой «необходимости» насилия — в пользу разумного убеждения и согласия. В лжехристианских же обществах люди, живой веры не обретшие, неизбежно скатываются в тупик разнообразных проявлений в политике первобытной зверскости человека — включая милитаризм и войны. К этому-то выводу и подводит читателя Толстой.

«Духовный авторитет» (добавим от себя: вкупе со многими знаниями из общенаучной картины действительности) создают мудрость и мастерство управляющего другими. Позднее, в 1900-х, в свой «Круг чтения» Толстой включит одну из мыслей «Сократических диалогов» Ксенофонта, в таком своём изложении:

«Принуждающий нас силой как бы лишает нас наших прав, и мы потому ненавидим его. Как благодетелей наших, мы любим тех, кто умеет убедить нас. Не мудрый, а грубый, непросвещённый человек

прибегает к насилию. Чтобы употребить силу, надо многих соучастников; чтобы убедить, не надо никаких. Тот, кто чувствует достаточно силы в самом себе, чтобы владеть умами, не станет прибегать к насилию: к чему ему устранять человека других взглядов, когда в его же интересе дружеским убеждением привлечь его на свою сторону» (14 сентября; 42, 43).

Утвердившиеся у власти безверные к Богу и Христу люди неизбежно будут верить в «необходимость» системно организованных принуждения и насилия и опираться в отправлениях своей власти на организованную вооружённую силу — армию, войско. Да и сам ресурс власти по сей день, в той же самой России, ценится порочными людьми как средство предаться безнаказанно своим порокам: «Если и было время, что при известном низком уровне нравственности и при всеобщем расположении людей к насилию друг над другом существование власти, ограничивающей эти насилия, было выгодно, т. е. что насилие государственное было меньше насилия личностей друг над другом, то нельзя не видеть того, что такое преимущество государственности над отсутствием ее не могло быть постоянно. Чем более уменьшалось стремление к насилию личностей, чем более смягчались нравы и чем более развращалась власть вследствие своей неестественности, тем преимущество это становилось всё меньше и меньше» (28, 133). Современный историк решительно поправит Толстого: такого времени не было, ибо эпизодическое насилие личностей всегда уступает своим деструктивным потенциалом системно организованному насилию разбойничьих гнёзд, возросших в города и государства. «Насилие внутренней борьбы, уничтожаемое властью, зарождается в самой власти» — уже вполне справедливо выводит ниже Толстой (Там же. С. 134). Но это и означает, что общественное непонимание не находит выхода из состояния человека как зверя, а освящает системную организацию такого состояния, направленную на менее деструктивные, хотя и многочисленные, повседневные случаи несправедливостей и насилий «простых» членов рода, племени, граждан государства.

И это тоже верно: «Государственная власть, если она и уничтожает внутренние насилия, вносит всегда в жизнь людей новые насилия и всегда всё большие и большие, по мере своей продолжительности и усиления» (Там же). Таким образом, «коэффициент полезного действия» насильнического либо *принудительного*, грозящего насилием

авторитета у власти становится близким к нулевому. Толстой не дождался до эпохи ядерного оружия и современного нам (декабрь 2022 г.) террористического режима преступника В. В. Путина с его поганым чемоданчиком, чтобы убедиться, что данный коэффициент может быть даже *отрицательным*.

«И потому насилие над насилуемым всегда растёт до того последнего предела, до которого оно может дойти, не убивая курицу, несущую золотые яйца. Если же курица эта не несётся, как американские индейцы, фиджиане, негры, то убиваются, несмотря на искренние протесты филантропов против такого образа действий» (*Там же. С. 135*).

Развращающее, то есть воздействующее на пороки и атавистические влечения людей, влияние примера властвующих, последования их низшему, отжитому жизнепониманию, проявляется всегда, и демократическое устройство, утверждает Толстой, не меняет ничего существенно: «при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между бóльшим количеством насилующих и формы её выражения менее резки» (*Там же. С. 135*).

Правительства даже традиционных обществ, как Россия XIX столетия — не чужды обывательских психологических познаний, и активно используют страхи безверных людей перед внешним «врагом», потенциальным агрессором, военным противником. Между тем войско им нужно для совершенно другого:

«Обыкновенно думают, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства от других государств, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведённых в рабство подданных.

[...] <Вот> почему в России старательно перетасовывают рекрут так, чтобы полки, стоящие в центрах, комплектовались рекрутами с окраин, а полки на окраинах — людьми из центра России.

[...] Войска нужны всякому правительству прежде всего для содержания в покорности своих подданных и для пользования их трудами» (*Там же. С. 136 – 138*).

Всё это в природе человека как агрессивного территориального животного, не могущей быть побеждённой никаким насилием личности над собой или другими, а только *религиозно*. И Толстой завершает повествование о том, как народы нашего лжехристианского мира

загнали себя в ловушку всеобщего военного рабства, изначально просто-напросто не поверив Христу и кротким его ученикам:

«Но правительство не одно: рядом с ним другое правительство, точно так же насилием пользующееся своими подданными и всегда готовое отнять у другого правительства труды его уже приведённых в рабство подданных. И потому каждое правительство нуждается в войске не только для внутреннего употребления, но и для ограждения своей добычи от соседних хищников. Каждое государство вследствие этого невольно приведено к необходимости друг перед другом увеличивать войска. Увеличение же войск заразительно, как это ещё 150 лет тому назад заметил Монтескье.

Всякое увеличение войска в одном государстве, направленное против своих подданных, становится опасным для соседа и вызывает увеличение и в соседних государствах.

[...] Одно обуславливает другое. Деспотизм правительства всегда увеличивается по мере увеличения и усиления войск и успехов внешних, и агрессивность правительств увеличивается по мере усиления внутреннего деспотизма.

Вследствие этого-то европейские правительства одно перед другим, всё усиливая и усиливая войска, пришли к неизбежной необходимости — общей воинской повинности, так как общая воинская повинность была средством получить наибольшее количество войска во время войны при наименьших расходах. Германия первая догадалась сделать это. И как скоро это сделало одно государство, другие должны были сделать то же. А как скоро это сделалось, сделалось то, что все граждане стали под ружьё для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя.

Общая воинская повинность была неизбежная логическая необходимость, к которой нельзя было не прийти, но вместе с тем она же есть последнее выражение внутреннего противоречия общественного жизнепонимания, возникшего тогда, когда для поддержания его понадобилось насилие.

[...] Правительства должны были избавить людей от жестокости борьбы личностей и дать им уверенность в ненарушимости порядка жизни государственной, а вместо этого они накладывают на личность необходимость той же борьбы, только отодвинув её от борьбы

с ближайшими личностями к борьбе с личностями других государств, и оставляют ту же опасность уничтожения и личности и государства.

[...] Общая воинская повинность разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить» (Там же. С. 138 – 139).

Далее Толстой называет эти особенные бедствия, приобретённые людьми лжехристианского мира в безверном желании обезопасить себя от прежних. И снова приходит на ум современное (декабрь 2022 г.) состояние агрессора, разбойничьей, путинской России по отношению к Украине:

«Выгоды общественной жизни состоят в обеспечении собственности, труда и содействии совокупному усовершенствованию жизни — общая воинская повинность уничтожает всё это.

Подати, собираемые с народа для приготовления к войне, поглощают большую долю произведений труда, которые должно охранять войско.

Отрывание всех мужчин от обычного течения жизни нарушает возможность самого труда.

Угрозы войны, готовой всякую минуту разразиться, делают бесполезными и тщетными все усовершенствования общественной жизни».

Но даже не это всё главные бедствия войны:

«Но не в этом одном роковое значение общей воинской повинности как проявления того противоречия, которое заключается в общественном жизнепонимании. Главное проявление этого противоречия заключается в том, что при общей воинской повинности всякий гражданин, делаясь солдатом, становится поддерживателем государственного устройства и участником всего того, что делает государство и законность чего он не признаёт» (Там же. С. 140).

Пусть и противу рожна, а через 2000 лет после Христа человечество развитием знаний о мире и самом себе, просвещением и новейшими, зачастую им самим созданными угрозами приводится к необходимости христианского жизнепонимания. Охристианение общественного сознания неизбежно ведёт к тому, что люди, множество людей, совершенно не желают участвовать в бойне, к которой принуждает их суеверно удерживаемое ими «для общих благ» правительство. Толстой описывает буквально то, что явило в наши дни себя в

России с началом массовой мобилизации её обитателей на преступную войну в Украине:

«Отбывающий воинскую повинность становится участником [...] дел в некоторых случаях сомнительных для него, но во многих случаях прямо противных его совести. Люди не хотят уйти с той земли, которую они обрабатывали поколениями; люди не хотят разойтись, как того требует правительство; люди не хотят платить подати, которые с них требуют; люди не хотят признать для себя обязательности законов, которые не они делали; люди не хотят лишиться своей национальности, — и я, исполняя воинскую повинность, должен прийти и бить этих людей. Не могу я, будучи участником этих дел, не спросить себя, хороши ли эти дела? И следует ли мне содействовать исполнению их?» *(Там же. С. 141).*

Для человека, понявшего отличие «всемирного, божеского», выразившегося лучше всего в учении Христа, передового жизнепонимания от жизнепонимания архаического, отжитого, языческого, общественно-государственного, и понявшего спасительное его значение для обществ людей, для человечества в целом в наших XX – XXI веках — не может быть сомнения в ответе на эти вопросы. Быть пацифистом или анархистом для этого избыточно: достаточно приучить себя слушаться Христа!

Итак, «общая воинская повинность есть для правительств последняя степень насилия, необходимая для поддержания всего здания; для подданных же она есть последний предел возможности повиновения. Это есть тот камень замка в своде, который держит стены и извлечение которого рушит всё здание» *(Там же)*. И нет ничего страшного в том, чтобы обрушить это здание, всё значение которого — фикция, иллюзия человеческого сознания, не изжившего до конца отжитого, даже опасного в наши дни, жизнепонимания язычников и евреев.

Далее Толстой опровергает доводы, обыкновенно приводимые носителями этого заблуждения в пользу государства. Писатель убеждён, что преимущество государственного обуздания язычников и варваров в древности и в средние века было сведено на нет распространением христианства. Оно смягчило нравы простых людей, но не правителей, всегда сочетавших ум с безнравственностью и жестокостью. Так граждане попали в зависимость от своих же правителей, а не от внешнего "врага", которым пугают их эти правители. Вот основные, данные с христианских позиций, опровержения:



«Без государства, — говорят нам, — мы бы были подвержены насилиям и нападениям злых людей в нашем же отечестве».

Но кто же эти среди нас злые люди, от насилия и нападения которых спасает нас государство и его войско? Если три, четыре века тому назад, когда люди гордились своим военным искусством, вооружением, когда убивать людей считалось доблестью, были такие люди, то [...] теперь уже нет особенных насильников, от которых государство могло защищать нас. Если же под людьми, от нападения которых спасает нас государство, разуметь тех людей, которые совершают преступления, то [...] мы знаем теперь, что угрозы и наказания не могут уменьшить количества таких людей, а уменьшает его только изменение среды и нравственное воздействие на людей. [...] Теперь скорее можно сказать обратное: именно то, что деятельность правительств с своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приёмами наказаний, тюрьм, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников.

"Без государства, — говорят ещё, — не было бы всех тех учреждений воспитательных, образовательных, религиозных, путесообщительных и других. Без государства люди не умели бы учредить общественных нужных для всех дел". Но этот довод мог иметь основание тоже только несколько веков тому назад. [...] Широко развившиеся средства общения и передачи мыслей сделали то, что для образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов, учёных, экономических, политических учреждений люди нашего времени не только вполне могут обходиться без правительств, но что правительства в большей части случаев скорее мешают, чем содействуют достижению этих целей. <А в лучшем случае — покупают услуги тех же профессионалов, которыми могли бы, без посредничества государства, пользоваться и безгосударственные общины. — Р. А.>

С конца прошлого столетия едва ли не всякий шаг вперёд человечества не только не поощрялся, но всегда задерживался правительством. Так это было с уничтожением телесного наказания, пыток, рабства, с установлением свободы печати и собраний. В наше же время государственная власть и правительства не только не содействуют, но прямо препятствуют всей той деятельности, посредством которой люди вырабатывают себе новые формы жизни. Решения вопросов рабочего, земельного, политического, религиозного не

только не поощряются, но прямо задерживаются государственной властью.

"Без государства и правительства народы были бы порабощаемы соседями".

Едва ли нужно ещё возражать на этот последний довод. Возражение находится в нём самом.

Правительства, как это говорят нам, необходимы со своими войсками для защиты от могущих поработить нас соседних государств. Но ведь это говорят все правительства друг про друга, и вместе с тем мы знаем, что все европейские народы исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга. Если же говорить о защите от варваров, то для этого достаточно 0,001 тех войск, которые стоят теперь под ружьём. Так что выходит обратное тому, что говорится: государственная власть не только не спасает от опасности нападения соседей, а напротив, она то и производит опасность нападения» *(Там же. С. 142 – 143)*.

В самом деле, все формы государственного устройства, от Чингисхана до Чемберлена, от Гелиогабала до Владимира Кроваво Солнышко Путина, всегда сохраняли и не могли не сохранять свою преступную против жизни и разума, против Божьих законов, не имеющую рационального истолкования сущность убийцы и насильника подлинного, идеологически порабощающего послушных обитателей гостерриторий жупелом торжества, при анархическом устройстве жизни, насильника вымышленного.

Более того, в своей повседневной жизни отдельная просвещённая личность, даже применительно к личным своим выгодам, может справедливо заключить, что неподчинение антихристианским требованиям государства не только нравственно спасительно, но и выгодно по сравнению с суеверным повиновением:

«Если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод и невыгод, а потому, что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются тем требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли; для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение

подчинения и неподчинения, сообразовываться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинения.

Кто бы я ни был, человек ли, принадлежащий к достаточным, угнетающим классам или к рабочим, угнетённым, и в том и в другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения, и выгоды неподчинения больше выгод подчинения.

Если я принадлежу к меньшинству угнетателей, невыгоды неподчинения требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования правительства, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или, как поступают у нас с менонитами, — заставят отбывать срок службы на невоенной работе; в худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на два, три года (я говорю по примерам, бывшим в России), или, может быть, и на более долгое заключение, может быть, и на казнь, хотя вероятность такого наказания очень мало.

Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем: в лучшем случае меня не пошлют на убийства людей и самого не подвергнут большим вероятностям искалечения и смерти, а только зачислят в военное рабство: я буду наряжен в шутовской наряд, мною будет помыкать всякий человек, выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на десять лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел. В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня ещё пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит и где могу попасть в такое место, как это бывало в Севастополе и как бывает во всякой войне, где люди посылаются на верную смерть, и, что мучительнее всего, могу быть послан против своих же соотечественников и должен буду убивать своих братьев для династических или совершенно чуждых мне правительственных интересов. Таковы сравнительные невыгоды.

Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие.

Для неотказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения

красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд, может в лучшем случае распорядиться над сотнями тысяч таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег.

Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит своё человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет несомненно знать, что он делает дело Божье, и потому несомненное добро людям.

Таковы выгоды и невыгоды с обеих сторон для человека из богатых классов, для угнетателя; для человека же бедного рабочего класса выгоды и невыгоды будут те же, но с важным прибавлением невыгод. Невыгоды для человека из рабочего класса, не отказавшегося от военной службы, будут ещё состоять в том, что, поступая в военную службу, он своим участием и как бы согласием закрепляет то угнетение, в котором находится он сам» *(Там же. С. 144 – 145)*.

Нам, повторим, необходимы при анализе “ядра” трактата, значительнейшего в антивоенных выступлениях Толстого-публициста, столь пространные цитаты — для демонстрирования читателю значительнейшей, более чем столетней ошибки большинства из числа и без того немногих его критиков. Только что процитирована была та самая часть, из-за которой трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» поклонники языческого же понимания жизни считают не только радикально-антивоенным, но и анархическим. Между тем, в завершении своих опровержений мнимой пользы и необходимости государств и в завершении данной, Седьмой главы Толстой «вдруг» бьёт их без жалости, выводя следующее:

«Но не соображения о том, насколько нужно и полезно для людей то государство, которое они призываются поддерживать своим участием в военной службе, ещё менее соображения о выгодах и невыгодах для каждого его подчинения или неподчинения требованиям правительства решают вопрос о необходимости существования или уничтожения государства. Решает этот вопрос бесповоротно и безапелляционно религиозное сознание или совесть каждого отдельного человека, перед которым невольно с общей воинской повинностью становится вопрос о существовании или несуществовании государства» *(Там же. С. 145 – 146)*.

Удивительно, с каким согласием и в наши дни мнимые единомышленники Толстого, либералы и пацифисты, проходят мимо этих,

главнейших выводов Толстого-христианина, отыскивая в евангельском, христианском сочинении некое пацифистское содержание! Как же вы, сволочь, после этого удивляетесь, что из вас ваши же правительства успешно и без труда создают разбойничьи коды для агрессивной войны?

Пожалуй, о пресловутом «анархическом пафосе» слова «Царство Божие внутри вас» Льва Николаевича следует всё-таки говорить, хотя с осторожностью. Вот краткая и ёмкая формулировка того, что сам он именовал анархией, из Дневника 1899 г.: «Анархия не есть отсутствие учреждений, а только отсутствие таких учреждений, которые людей заставляют подчиняться насильно, а — такие учреждения, которым люди подчиняются свободно, по разуму. Казалось, иначе не могло и не должно бы быть устроено общество существ, одарённых разумом» (53, 228). Иначе говоря, Лев Николаевич не отрицал ни власти Бога над людьми, ни даже земной власти человека над человеком, основанной на качестве и полноте социально-ценных знаний, на авторитете *эпистемос*, вкуче с духовным, приобретённым заслугами и добрым, любовным отношением к подвластным как к ближним и равным. Ударам его критики справедливо подвергалась только государственная власть, сущность которой во все века была и остаётся неизменной: авторитет силовой санкции, принуждения, совершаемого с помощью послушных вооружённых прислужников «верхушки», и в основном – в отношении собственных граждан, угнетённых и ропщущих.

Вот тезисы Льва Николаевича Толстого, кратко раскрывающие содержание **Восьмой главы** и помогающие проследить за авторской мыслью:

«Христианство не есть законодательство, а новое понимание жизни, и потому оно не было обязательно и не было принято всеми людьми во всём его значении, а лишь немногими, остальные же приняли его в извращённом виде. Христианство, кроме того, есть пророчество о погибельности языческой жизни и потому необходимости принятия христианского учения.

Непротивление злу насилием есть одна из сторон христианского учения, которая в наше время неизбежно должна быть принята людьми.

<Есть> два способа разрешения всякой борьбы. Первый способ состоит в том, чтобы найти общие определения зла, обязательные для

всех, и бороться с этим злом насиллием. Второй способ — христианский — состоит в том, чтобы вовсе не бороться со злом насиллием. Хотя безуспешность первого способа уже сознавалась в первые века христианства, но он продолжал прилагаться, и только по мере движения человечества становилось всё очевиднее, что общего определения зла нет и не может быть. Теперь же это очевидно для всех, и если существует насиллие, предназначенное для борьбы со злом, то не потому, что оно продолжает считаться нужным, а потому, что люди не умеют от него избавиться. Трудность избавления зависит от хитрости и сложности государственного насиллия.

Насиллие это поддерживается 4-мя средствами: устрашением, подкупом, гипнотизацией и применением военной силы.

Избавление от государственного насиллия не может произойти вследствие свержения государственной власти. Люди бедственно-стью языческой жизни приведены к необходимости признания обойдённого ими учения Христа с его непротивлением злу. К той же необходимости принятия христианского учения приводит и сознание его истинности, распространённое в нашем мире.

Сознание это находится в полном противоречии с нашей жизнью, что особенно очевидно на общей воинской повинности, но люди, вследствие привычки и воздействия 4-х средств государственного насиллия, не видят этого противоречия христианства с обязанностями солдата. Люди не видят этого даже и тогда, когда им с полной очевидностью сами власти представляют всю безнравственность обязанностей солдата. Призыв к воинской повинности есть крайнее испытание для каждого человека, предложение выбора между принятием христианского учения непротивления или рабской покорности существующему государственному устройству.

Люди обыкновенно, отрекаясь от всего святого, покоряются требованиям государственного устройства и как будто не видят иного выхода. Для людей языческого жизнепонимания и нет иного выхода и не будет, несмотря на всё более ужасные бедствия войны. Общество из таких людей должно погибнуть, и никакие общественные переустройства не спасут его. Языческая жизнь дошла до последних пределов — она уничтожает самую себя» (28, 298 – 299).

Тезис о «добровольном рабстве» людей отжитого, вредного им самим жизнепонимания Толстой развивает в основном тексте Главы следующим образом:

«<Император Вильгельм> высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители. Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат *ему* и *его* выгоде и должны быть готовы для его выгоды убивать своих братьев и отцов.

[...] Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет всё, что может быть святого для человека нашего времени, и люди — христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все, не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его.

[...] Все молодые люди всей Европы год за год подвергаются этому испытанию и за самыми малыми исключениями все отрекаются от всего, что есть и может быть святого для человека, все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов по приказанию первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным и золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А они готовы.

Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят: иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придётся убивать даже отца родного, и он, очень часто учёный, прошедший все науки в университете, покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать — он всё покорно делает. И когда его выпускают, он как встрёпанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве и братстве.

"Да, но что же делать, — часто с искренним недоумением спрашивают люди. — Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы".

И правда, человеку общественного непонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни — благо его личности. Для его личности ему лучше покориться, и он покоряется.

Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться, потому что один он ничего не может сделать, у него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну; война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избиения людей, так

можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного непонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части, — они всё-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом; другие будут идти потому, что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим.

И тут-то, с составом людей, одурённых до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели — консерваторы, либералы, социалисты, анархисты — толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревён, как ни перекладывай их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» (28, 163 – 165).

Иллюстрацией, доказывающей справедливость тезиса о современном «добровольном рабстве» цивилизованного и даже образованного стада, стало для Л. Н. Толстого событие, описанное в главе 1-й обширного **Заключения** к трактату. Быть может, совершилось событие раньше, Толстой включил бы их анализ, вполне логически, в тексты Восьмой и последующих глав. Но всё произошло тогда, когда главы уже были написаны, оставалось писанием лишь Заключение, и значительный, даже недостающий Толстому импульс чуть-чуть не запоздал...

Итак, 9-го сентября 1892 года совершилось событие историческое — в истории русской и мировой общественно-публицистической и религиозной мысли. На станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под личным руководством тульского губернатора, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес, вероятно, вполне законно приобретённый им «на извод», но который сами эти дети природы, чуждые буржуазного «правосознания», считали своим.

В это время Лев Николаевич Толстой уже без малого год участвует, вместе со многими совестливыми аристократами и богатыми людьми России и мира, в тяжелейшем деле христианского служения, помощи крестьянам, пострадавшим в России от неурожаев 1890 – 1892 гг. На границе Тульской и Рязанской губерний, в удобном для



дела месте, именно в Бегичевке, имении старого своего друга Ивана Ивановича Раевского, к тому времени уже погибшего, заморившего себя до смерти на этом деле, был организован осенью 1891 года штаб помощи, в который, в очередной раз, Толстому нужно было нанести тогда инспекционный, «деловой» визит. И вот в письме к жене от 10 сентября, уже из Бегичевки, первом после сентябрьского приезда туда (если же точнее, это пространная *приписка* к письму дочери Тани), Толстой сообщает некоторые новости, среди которых вдруг — эти краткие, без пояснений, слова:

«Впечатление Узловой ужасно» (84, 160).

Толстой посчитал необходимым заехать по пути с ответным «визитом вежливости» в Молодёнки Епифанского уезда, имение Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901), за 18 вёрст от Бегичевки. В тот же день он проезжал станцию Узловая, что в Тульской губернии, где был свидетелем ужаснувшей его сцены, которую или не захотел, или не нашёл в себе силы тогда же подробно описать в письме к жене. Это сделала верная и любящая дочь, Татьяна Львовна, в письме к маме 10 сентября (к которому Л. Н. Толстой сделал обширную *приписку*):

«В одном поезде с нами ехали вчера Давыдовы — тоже в Молодёнки, — и Зиновьев с Львовым, чтобы усмирять бунт в Бобрिकाх, где крестьяне не дают Бобринскому рубить лес, который они считают своим. В Узловой мы нагнали поезд с 400 солдат, которых туда гонят с ружьями, готовыми зарядами и музыкой. Это произвело на нас всех и особенно на папá ужасно неприятное впечатление. Зиновьев казался очень сконфуженным и жалким» (Там же. С. 160 – 161).

Ещё бы тульскому губернатору Николаю Алексеевичу Зиновьеву (1839 – после 1917) не быть сконфуженным. К тому времени, когда Лев Николаевич взялся, миновав период сомнений, за дело благоотворения голодавшему народу, Зиновьев успел познакомиться с Толстым, стать гостем его семейства и вполне поддерживал инициативу Ивана Ивановича Раевского со столовыми, продолженную Толстым после смерти этого старого, доброго друга молодости. Тульский прокурор Николай Васильевич Давыдов, давний общий знакомый Толстого и Зиновьева, особенно подчёркивает в своих мемуарах, что Николай Алексеевич относился к Толстому-благоотворителю «с большим уважением», не как «представитель наблюдающей власти, а в качестве знакомого» (Давыдов Н.В. Из прошлого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 15). Ещё 28 августа

он нанёс Толстому в Ясной Поляне неофициальный, вполне дружеский визит, чтобы поздравить с днём рождения...

И вдруг — такие обосратушки. Аж кучкой!

В черновых рукописях двенадцатой главы «Царства Божия...» сохранился такой портрет Зиновьева в стадии «извините, обосрались» — из окончательного текста сочинения убранный, но, без сомнения, нарисованный Толстым по свежим воспоминаниям «с натуры»:

«Следующее, что я увидал, — это начальника всей этой экспедиции, седого человека, у которого, я знаю, дочь выходит замуж и маленькая 5-летняя дочка, невинный ребёнок, которую он любит и крестит, старушка мать, у которой он целует руку и тоже крестит. Лицо этого человека несчастно. Он знает всю мерзость того дела, которое он совершает, но старается притвориться спокойным. И бегающие глаза, и неестественная развязность тона выдают его» (*«Царство Божие внутри вас». Из рукописей двенадцатой главы // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. М., 1961. С. 454*).

Нехорошо, конечно же, было и Льву Николаевичу. В третьем томе «Биографии Л. Н. Толстого» Павел Иванович Бирюков, ставший с лета 1892 года ответственным заместителем Л. Н. Толстого в Беги-чевке и, после перерыва и посещения в Ясной Поляне Толстого, уехавший снова туда не позднее 22 августа, вспоминает: «Я жил в это время в Бегичевке, заведую столовыми Льва Николаевича. Мы ждали его приезда для составления отчёта за прошлый год, и в назначенный день, 9 сентября, он приехал. Я встретил его на крыльце дома, когда он выходил из экипажа. Радостная улыбка встречи остановилась на моих губах, когда я увидел взволнованное, расстроенное, мрачное лицо Л. Н-ча. Я понял, что что-нибудь случилось дорогой. И только что Л. Н-ч взошёл в дом, как, не садясь, с волнением и слезами в голосе начал рассказывать о том, что с ним произошло...» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М., 1923. Том третий. С. 202 – 203*).

Эти «волнение и слёзы в голосе» ощущаются и при чтении Главы 1-й Заключения трактата.

Конечно же, Толстой-публицист не преминул со своих позиций описать и охарактеризовать виденное им. Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, поднятая Львом Николаевичем ещё в трактате «Так что же нам делать?», развитая им позднее в гениаль-

ных работах «Неужели это так надо?», «Стыдно» и «Голод или не голод?», нашла весьма многословное и эмоциональное выражение в главе XII трактата «Царство Божие внутри вас», в котором эта, заключительная, глава — самая пространная, могущая быть прочтённой даже отдельно от предшествующих ей, как особенное публицистическое выступление Л. Н. Толстого. Конечно же, после публикации этой главы и прочтения её Н. А. Зиновьевым отношения его с Толстым были разорваны взаимно.

Тема, заявленная в трактате, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность для России.

Толстого возмутила не столько жестокость самого наказания, сколько та лёгкость, то нравственное безразличие, с которыми чиновники, офицеры и солдаты готовились совершить истязание «голодных и незащищённых, тех самых людей, которые кормят их» (28, 230).

Вошь и гнида ополчились на бабушку Степаниду, которую и без того грызут... Не апофеоз ли это того «стиля взаимоотношений» власти и общества в России, который господствовал и при царях, и при Сталине, и торжествует и в наши дни, в современной (начало 2023 г.), гопническо-бандюжье-сволочной, полицейской и фашистской путинской России?

И вот тут-то, в этой части трактата, особенно уместна была бы та характеристика, которая попала в его Восьмую главу. О том, что, «как из гнилых и кривых брёвен, как ни перекалывай их, нельзя построить дом, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» (28, 165).

Пока «мирные народы» покойно «пасутся», не помышляя о своём праве на свободу, честь, достоинство, до тех пор послушное стадо можно «стричь» (налогами, штрафами и иными поборами), «резать» (войнами), да ещё и обманывать тем, что иначе нельзя и прожить стаду. Но как только традиционные неуважение, насилие и обман встречают отпор, как только стадо становится обществом людей, знающих о своих человеческих правах, о естественности своего равенства с самозванными распорядителями их судеб, все эти люди обречены становиться жертвами насилий и обмана. А убивать их будут такие же, в прошлом, простые люди, но загнанные уже в военное рабство.

Не апофеоз ли это того имперского садюжьего стиля взаимоотношений власти и общества в России, который царил и при царях, и при Сталине, и царит в современной путинской России? Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность. И совершенно не напрасно, не случайно это патетическое и эмоциональное место в трактате перекликается с пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный...»: как и это стихотворение одного из немногочисленных поэтов, признанных Толстым, многие главы «Царства Божия...» писались в период не только ужасной хронической усталости, которую Толстой до лета 1892 г. не мог до конца снять как по причине необходимости и в периоды кратких отпусков удалённо руководить бегичевскими и иными делами, так и из-за домашнего, связанного с поведением жены, покоя. Сказывался и процесс утраты автором некоторых, известных по его высказываниям о крестьянах и достаточно наивных, «демократических» иллюзий — конечно же, связанных с длительным ежедневным наблюдением *реальной* жизни этих самых крестьян. В том тяжёлом состоянии души, которое, от случая к случаю, преследовало гения периодически всю жизнь. Кроме того, пушкинские образы, настроения, понятие свободы и чести всегда были близки Толстому, хотя в понятие «свобода» Толстой-публицист вложил своё, очень своеобразное содержание, отражающее его высшее, чем пушкинское, истинно-христианское жизнепонимание.

По мнению П. И. Бирюкова, встреча с карательным отрядом произвела на Толстого такое же сильное впечатление, какое в прежние эпохи земного бытия произвели на него «смерть его отца и бабушки; столкновение с гувернёром-французом, затем его внезапная поездка на Кавказ, перенёсшая его из московских ресторанов с картами и цыганами на лоно дикой кавказской природы. Таковы были для него севастопольские ужасы, смертная казнь в Париже, смерть любимого брата и проч. Московская перепись и знакомство с городской нищетой» (Бирюков П.И. *Биография Л.Н. Толстого. Том третий. М., 1923. С. 202*).

Возвратимся теперь к основным главам сочинения в их логике изложения, замысленной и осуществлённой Толстым до встречи с карательным отрядом.

В начале **Восьмой главы** обращает на себя внимание утверждение Л. Н. Толстого, что христианскому учению должно было быть извращённо мирскими перетолкованиями, и Иисус знал об этой неизбежности — убеждён Толстой. Иначе бы люди древности отшатнулись от столь требовательной к ним Истины — и учение бы было забыто, заглохло, как семена без почвы.

«Приняв же его в извращённом виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному воздействию его и длинным, опытным путём ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в его истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращённом виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно возшло, посеянное зерно было на время скрыто землёй.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

[...] И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности гибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению» (28, 146 – 147).

Люди с древности, многие века принимали христианство лишь номинально, не слушаясь Христа, в частности и главное: «продолжали для себя держаться правила противления насилем тому, что ими считалось злом» (Там же. С. 149). При этом для простецов, для властной и иных элит общества и для «людей, облечённых святостью», то, что следует полагать добром и то, что злом, против которого первые и вторые соблазнялись употреблять насилие, было не одно и то же. И до сего дня «нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми» (Там же. С. 150).

И вот, на пути к военному, солдатскому рабству, «дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться» *(Там же)*.

Для точного и яркого описания существующего устройства жизни, в котором «насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно существует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под неё», Толстой прибегает к заимствованной у Александра Ивановича Герцена метафоре «Чингис-Хана с телеграфом»:



Титульный лист и иллюстрация к запрещённой в России до 1917 г. статье Л. Н. Толстого «Время пришло» (1909)

«Правительства в наше время — все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, — сделались тем, что так метко называл Герцен Чингис-ханом с телеграфами, т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами,

которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей» (*Там же. С. 152*).

В Заключении трактата, рассказывая об одном из случаев сопротивления крестьян имперской «власти» (в случае, когда помещик залил крестьянские луга, подняв воду на своей плотине), когда аресты производились по крестьянским дворам «с свойственным русской власти неуважением к людям», и народ смог (как не умеют современные пригламуренные хомячки в российских городах) отбиться от уездного исправника и его «шестёрок» (аналог теперешних жирных, словно созданных на заклятие вилами, путинских полицаев и «приставов»):

«Явилось новое страшное преступление: сопротивление власти, и об этом новом преступлении донесено в город. И вот губернатор, [...] с батальоном солдат с ружьями и розгами, пользуясь и телеграфами, и телефонами, и железными дорогами, на экстренном поезде, с учёным доктором, который должен был следить за гигиеничностью сечения, олицетворяя вполне предсказанного Герценом Чингис-хана с телеграфами, приехал на место действия». Крестьян подвергли унижительной порке, тем самым «закрепив уже навсегда решение власти» (*Там же. С. 222 – 223, 225*).

Отношения писателей были давнишние, хотя, по преимуществу, опосредованы расстояниями. Ещё до встречи и личного общения в 1861 году Толстому и Герцену было известно друг о друге: во второй книжке «Полярной звезды» (1856) Александр Иванович отмечал «пластическую искренность» повести Толстого «Детство», а в переписке этих лет неоднократно писал о Толстом как о новом «очень талантливом авторе». И именно Герцен в третьей книжке «Полярной звезды» на 1857 г. напечатал задорную сатирическую песенку времён Крымской кампании «Как четвёртого числа...», автором которой, как мы помним, был Толстой. Севастопольские рассказы Толстого в 1858 г. Герцен рекомендовал Мальвиде фон Мейзенбург (1816 – 1903), немецкой писательнице и домашнему учителю его дочери Ольги, для перевода на немецкий язык.

Знакомство Толстого с Герценом-писателем, с запретными лондонскими изданиями по-настоящему произошло после его возвращения из Севастополя. 4 ноября 1856 г. Толстой в дневнике отметил интересное содержание прочитанной им второй книжки «Полярной

звезды» включавшей в себя отрывки из «Былого и дум» Герцена. Во время первого заграничного путешествия в 1857 г. Толстой собирался побывать в Англии и повидаться с Герценом, но свидание состоялось лишь в позднейшую заграничную поездку Толстого, 4 марта 1861 г. в Лондоне, в доме Герцена. Толстой вспоминал о собеседнике как о «живом, отзывчивом, умном, интересном» собеседнике, сочетавшем в себе «глубину и блеск мыслей» (*Сергеенко П. Толстой и его современники. М., 1911. С. 13*). С 4 по 16 марта 1861 г., встречаясь почти ежедневно, Толстой и Герцен говорили о России и Западе, об освобождении крестьян и о путях этого процесса. Эпистолярный, следовавший за личными встречами, диалог писателей утрачен для нас: от него сохранились письма только Льва Николаевича.

Вернувшись в Россию, на протяжении почти 20 лет публично Толстой практически никак не проявлял себя по отношению к Герцену. Более того, внешне могло показаться, что Герцен становится ему чуждым и далёким, с его социальной пропагандой на страницах изданий Вольной русской типографии. Двоюродной тётке своей, Александре Андреевне Толстой 7 августа 1862 г. писал: «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе» (60, 436). Между прочим, это было время, когда Толстой, оскорблённый обысками, по доносу, в Ясной Поляне, предполагал, по его выражению в том же письме тётке и по примеру Герцена — «экспатриироваться» из России: «Я и прятаться не стану, я громко объявляю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперёд, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду» (*Там же*). К восторгу патриотов нескольких поколений и к сожалению людей добрых и разумных, мыслящих независимо, то есть, абсолютного, во все времена, меньшинства в России — Толстой не исполнил этого своего намерения.

Наметившийся в 1861 г. диалог между писателями несомненно сказался в художественном творчестве Толстого и в его социально-нравственных исканиях. Мучительные поиски путей решения злободневных проблем российской жизни, дружеские связи с почитателями «лондонского изгнанника» — Н. Н. Страховым, Н. Н. Ге, В. Г. Чертковым, В. В. Стасовым — способствовали возрождению интереса Толстого к наследию Герцена, к его идеям. Последние 30 лет жизни Толстого отмечены повышенным вниманием к сочинениям



Герцена. Многочисленные упоминания о Герцене встречаются на страницах его дневников, в письмах, частных беседах.

Уже в конце 1880-х Толстой перечитывал книгу А. И. Герцена «С того берега». По прочтении он пишет своеобразное письмо-исповедь близкому другу, Владимиру Григорьевичу Черткову, в котором впервые высказал мысль о пагубности для России запрета сочинений Герцена, который последовательно отстаивал преимущества мирных преобразований по сравнению с революционным исходом: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошёл в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас было бы революционных нигилистов, [...] не было бы динамита, и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь. И хороший искренний человек» (86, 121 – 122). Это письмо – первое обстоятельное суждение Толстого о Герцене как писателе, как значительном явлении русской общественной мысли, политическом деятеле. Упомянутый выше П. А. Сергеенко передаёт следующие слова Толстого, относящиеся к концу марта 1893 года:

«Ведь если бы выразить значение русских писателей процентно, в цифрах, то Пушкину надо бы отвести 30 %, Гоголю — 20 %, Тургеневу — 10 %, Григоровичу и всем остальным — около 20 %. Всё же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубокий, блестящий и пронизывающий. И будь он доступен русской молодёжи, не было бы первого марта» (Лакшин В. *Интервью и беседы с Львом Толстым*. М., 1987. С. 336).

Теперь уже Толстой в своих сочинениях и письмах охотно цитирует то или другое место или отдельное выражение Герцена. Так, в своём Дневнике под 11 июля 1890 г. он записывает: «Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингис-хан уже не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий, всё это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и т. п. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России» (51, 61 – 62). Это суждение ощутимо не утратило своей актуальности и для современной нам путинской, варварской и фашиствующей, России.

А в письме Л. Н. Толстого к другу молодости Борису Николаевичу Чичерину (1828 – 1904) от 31 июля того же года находим такое суждение:

«Недаром Герцен говорил о том, как ужасен бы был Чингис-Хан с телеграфами, с железными дорогами, журналистикой. У нас это самое совершилось теперь» (65, 133).

Толстой здесь имеет в виду статью Герцена «Письмо к императору Александру II» (По поводу книги барона Корфа), напечатанную в «Колоколе» 1857 г., с таким известным суждением о судьбах России: «Распущенную, рыхлую Русь Пётр I суровой рукой стянул в сильное европейское государство; косневшему в своём отчуждении народу он привил брожение западной гражданственности.

[...] Общество, развившееся на европейских основаниях, должно было сделать своё, иначе дело Петра I было бы вполовину успешно и привело бы к страшной нелепости.

Каждая степень образования, развития, даже силы государственной, требует соответственный себе цикл государственных учреждений. С каждым шагом вперёд ему нужно больше простора, больше воли, больше определённости в своих отношениях к власти; слонем, больше независимой, самобытной и разумной жизни. Или государство её достигает [...], тогда оно идёт далее в истории; или — нет, и тогда оно останавливается, разлагивается, распадается и обмирает таким образом до какого-нибудь решительного события (например, Крымской войны), которое снова раскрывает ему путь развития или окончательно убивает его как деятельное, развивающееся государство. Вступив в западное образование, Россия должна была идти тем же путём. Если б у нас весь прогресс совершался *только* в правительстве, мы дали бы миру ещё небывалый пример самовластья, вооружённого всем, что выработала свобода, рабства и насилия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто вроде Чингис-Хана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с Карно и Монжем в штабе, с ружьями Минье и с конгревовыми ракетами, под начальством Батыя» (Герцен А. И. *Собрание сочинений: В 30 т. Том. 13. М., 1958. С. 37 – 38*).

С. А. Толстой вспоминает: «Отец разделял с Герценом его ненависть к Николаю I и крепостному праву. Он нередко повторял следующее мнение Герцена о Николае I, применяя его вообще к деспотическому правительству: Чингис-Хан был, конечно, очень страшен, и бороться

с ним было трудно. Но ещё страшнее Чингис-Хан, когда к его услугам находятся пушки, железные дороги, телеграфы и вообще все приобретения современной техники. С таким Чингис-Ханом почти невозможно бороться» (Толстой С.А. *Очерки былого. Тула, 1965. С. 118*).

Высказанные Толстым мысли станут основой его отношения к Герцену, которое он сохранит до конца жизни. О том же 13 февраля 1888 г. Толстой писал художнику Ге, ещё раз подчёркивая, что запрещением сочинений Герцена «из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (64, 150).

Перечтя «С того берега» в 1905 году, Толстой оставил в Дневнике на 12 октября восхищённый отзыв об авторе: «Наша интеллигенция так опустила, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передаёт свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их» (55, 165).

Наконец, в начале 1910 г. к Толстому обратился в письме Кельсий Порфирьевич Славнин, редактор ежедневной газеты «Новая Русь», издававшейся в Петербурге. Кельсий Порфирьевич сообщал, что его привлекают по 73 ст. Уголовного уложения за опубликование в газете в № 20 от 21 января из книги «На каждый день» мыслей Толстого «об обучении под названием закона Бога самым явным бессмыслицам». Славнин просил Толстого разъяснить ему, «имеется ли наличность преступления» в этих словах.

В ответе Кельсию Порфирьевичу от 27 февраля 1910 г. Толстой высказался довольно эмоционально:

«Извините, если, может быть, неточно отвечаю на ваш вопрос, но не затихающее негодование и ужас перед деятельностью царствующего в наше время Чингис-Хана с телефонами и аэропланами, облакающего свои злодеяния в форму законности, негодование это при всяком таком случае, как ваш, просится наружу» (81, 117).

По существу же поставленного вопроса Толстой ответил К. П. Славнину таким образом:

«Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать, что вы понимаете под словом “преступление”. Если вы понимаете то, что признаётся таковым нашим правительством, то я не знаю и не хочу знать той глупой, грязной и преступной чепухи, которая называется этим правительством законами и неподчинение которой называется преступлением. Если же вы спрашиваете, заключается ли перед со-

вестью и здравым смыслом всех мыслящих людей “наличность преступления” в напечатанных вами моих словах, определяющих сущность деятельности всех церковных богословов, не только русских, но и всемирных, то отвечаю, что преступление совершено не мною и не вами, а готовится к совершению всей той продажной ордой чиновников, которые из-за получаемого ими жалования готовы не только вас посадить в тюрьму вместе с тысячами томящихся там людей, но всегда готовы мучить, убивать, вешать кого попало, только бы получать аккуратно своё награбленное с народа месячное жалованье» (*Там же. С. 116 – 117*).

Ознакомившись с таким ответом Льва Николаевича, Кельсий Порфирьевич смекнул, что из Россиюшки надо сваливать — и не прогадал, успев благоразумно эвакуировался за границу. Заочно суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения. В мае 1910 г. осиротевшая редакция «Новой Руси» была разгромлена полицией, а сама газета закрыта.

Самый, пожалуй, выдающийся образец использования Л. Н. Толстым герценовой метафоры — статья «Пора понять», написанная в сентябре — начале октября 1909 г. в Крёкшино и имевшая в ходе написания “рабочее” название — «Чингиз-Хан с телеграфами». А в тексте статьи, спустя почти 20 лет, Толстой повторит мысли, близкие слову и духу книги его начала 1890-х, «Царству Божию внутри вас»: «...Правительство, не встречая более препятствий, с полной бесцеремонностью и наглостью давит, душит, убивает, запирает, ссылает всех, дерзающих не то что противиться, но поднимать против него протестующий голос; с другой же стороны, особенно живо чувствуют русские люди жестокость, грубость и безудержный деспотизм правительства ещё и потому, что в последнее время, поняв возможность более свободной, чем прежняя, жизни, русские люди сознали, хотя отчасти, себя разумными существами, имеющими право руководиться, каждое, в своей жизни своим разумом и совестью, а не волею случайно попавшего на место властвующего того или другого неизвестного ему человека. Насколько становилась жесточе, грубее и бесконтрольнее власть правительства, настолько усиливалось и уяснялось в народе сознание безумия, невозможности продолжения такого состояния. И оба явления: и безудержный деспотизм власти, и сознание незаконности этой власти, усиливаясь с каждым днём и часом, дошли в последнее время до высшей степени. Но несмотря на ясность сознания большинством народа ненужности и

зловредности правительства, народ не может освободиться от него силою вследствие тех практических приспособлений: железных дорог, телеграфов, скоропечатных машин и др., владея которыми правительство может всегда подавлять всякие попытки освобождения, делаемые народом. Так что в настоящее время русское правительство находится вполне в том положении, о котором с ужасом говорил Герцен. Оно теперь тот самый Чингис Хан с телеграфами, возможность которого так ужасала его. И Чингис Хан не только с телеграфами, но с конституцией, с двумя палатами, прессой, политическими партиями *et tout le tremblement* [фр. и со всем шумом].

— “Деспотизм! Помилуйте, какой же деспотизм, когда у нас две палаты, блоки, партии, фракции, запросы, президиум, премьер, кулуары, — всё, как должно. Какой же деспотизм, когда есть и Хомяков и Маклаков, и ответственный министр. Есть свод законов, и суды и гражданские, и уголовные, и военные, есть цензура, есть церковь, митрополиты, архиереи, есть академии, университеты. Какой же деспотизм?”

То, что всё это есть только подобие того подобия, которым в Европе обманывают людей и в России уже никого — кроме участников — не обманывает в настоящую минуту, не важно для Чингис Хана, так как у него есть другие средства. И он продолжает спокойно делать своё дело, надеясь, что, как это произошло и происходит во всех, так называемых, христианских странах, народ привыкнет, сам втянется и запутается в эти дела, и Чингис Хан останется Чингис Ханом — только не с ордой диких убийц, а с благовоспитанными, учтивыми, чистоплотными убийцами, которые так сумеют устроить разделение труда, что грабёж и убийство людей будет одно удовольствие и доступно самому утончённо чувствительному человеку» (38, 161 – 162).

Далее в Восьмой главе Толстой подробно описывает приёмы, которыми Чингис-Хан вербует себе рабов и прихвостней и делает общее заключение:

«Устрашение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него *силой* нет никакой возможности» (28, 155).

Лев Николаевич в одном из тяжелейших, с кровью сердца выстрадавших своих сочинений предлагает выход религиозный, ненасильственный, христианский — и человечество, в массе своей, включая злосчастную отчизну яснополянца и весь поганый «русский мир», проходит мимо этого ответа, находя слово к современникам и потомкам Толстого-христианина то сугубо «антимилитаристским», антивоенным сочинением, а то и просто «утопией»!

Помимо отсылок к текстам евангелий, традиционно приумножающихся к завершению религиозного сочинения, следующая, **Девятая глава** живого Слова отче Льва значительна появлением метафорического образа весны, который впоследствии будет повторяться, с теми же христианскими смыслами, в разных текстах Толстого знаменитейший из которых — начало романа «Воскресение». Как и свой роман через несколько лет, Толстой начинает главу именно с этой пасхальной, дарующей радость и надежду, метафоры:

«Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; здесь же, весной, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни» (28, 166).

В основном глава Девятая сочинения логически продолжает то, чем оканчивается Восьмая: осуществилось пророчество Христа над выслушавшими, но не воспринявшими учения: «внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперёд только увеличивает это противоречие» (28, 166).

В предыдущих главах Львом Николаевичем раскрыта коренная, религиозная причина общественных бедствий, включая войны. Показано, что давно уже есть выход, и что он — в принятии современными людьми, как важнейшего руководства в жизни, выраженного в лучшем, полнейшем виде в учении Христа актуального, соединяю-

щего в истине и любви («всемирного», «божеского»), религиозного понимания жизни. Показано, как владыки мира обманом, подкупом либо устрашением отманивают свои жертвы от этого пути, а попавших в солдатчину подвергают ещё особенному средству дисциплины, муштры. Логично в связи с этим указать на пути, которым общество «снизу», в лице уже пробудившихся к христианскому жизнепониманию людей, может противостоять архаике сознания, прикрывающей и оправдывающей для правительств их халтурное неумение прожить без драк, не втягивая в них и своих граждан.

И это способ, сперва поразивший Льва Николаевича на примере Залюбовского, Любича, Дрожжина и сектантских, по вере, отказников от военной службы. Этому способу освобождения посвящены заключительные главы замечательного *живого слова* Льва Николаевича Толстого, книги «Царство Божие внутри вас». Они писаны *сердцем*, и их бессмысленно, даже сколько-нибудь подробно, цитировать, а тем более пересказывать. Но к ним, как к источнику воды живой, и в наши дни следует припадать тем, кто ни в мирное, ни в военное время не желает связывать себя с рабьей сворой правительственных или околоправительственных (наёмники) вооружённых убийц: не только учиться убийству, но и, скажем, в современной путинской России подвергать своё сознание загрязнению популярными идеологемами, так или иначе оправдывающими вооружённое «добро с кулаками».

Стоит заметить, что Толстой ставит вопрос шире, напоминая, что идеалом последователей Христа должна бы быть совершенная независимость от насильнического общественного строя жизни, от государства, то есть Церковь на уровне незримом, сакральном, духовом, а на уровне материально-хозяйственном — общинное самоуправление.

В окончательной редакции Толстой не озаглавливал главы трактата, но в опубликованных в Полном собрании сочинений черновиках, помимо конспективного изложения содержания, стоит и желавшееся Толстым, не использованное в окончательной редакции, заглавие Главы Девятой: «Принятие христианского жизнепонимания освобождает людей от бедственности нашей языческой жизни». Вчитаемся для начала в этот черновой авторский конспект содержания Главы:

«Внешняя жизнь христианских народов остаётся языческой, но они уже проникнуты христианским сознанием. Выход из этого противоречия в принятии христианского жизнепонимания. В нём только каждый человек свободен, и оно только освобождает его от всякой человеческой власти.

Освобождение это совершается не изменением внешних условий, а только изменением понимания своей жизни. Христианское жизнепонимание требует отречения от насилия и, освобождая человека, принявшего его, освобождает и мир от всякой внешней власти. Выход из теперешнего, кажущегося безвыходным, положения в том, чтобы каждый человек, способный усвоить христианское жизнепонимание, принял его и жил сообразно с ним.

Но люди считают этот путь слишком медленным и видят спасение во внешних изменениях жизни при участии государственной власти. Это ни к чему не приведёт, потому что люди сами производят то зло, от которого страдают. Это особенно очевидно на покорном исполнении воинской повинности, от которой выгоднее всякому отказаться, чем покориться.

Освобождение людей произойдёт только через освобождение себя каждым отдельным человеком, и проявляющиеся уже случаи такого освобождения угрожают разрушением государственного устройства. Отречение людей от нехристианских требований правительств подрывает власть правительств и освобождает людей. И потому случаи такого отречения страшнее для государственной власти, чем всякие заговоры и насилия.

Отказы в России от присяги, уплаты податей, от паспортов, от полицейских должностей, от участия в суде, от воинской повинности. Подробности одного из отказов от воинской повинности. Случаи таких отказов в других государствах.

Правительства не знают, что делать с людьми, отказывающимися на основании христианского учения от их требований, обличающими их и обходящимися без них. Люди эти, не борясь, изнутри разрушают основы правительств. Наказывать таких людей значит самим отречься от христианства и способствовать распространению того самого сознания, во имя которого совершаются эти отказы. Поэтому положение правительств отчаянное, и люди, проповедующие бесполезность личного освобождения, только задерживают разрушение существующего насильнического государственного устройства» (28, 299 – 300).



Таких людей, в повседневной жизни стремящихся «придумывать общие средства улучшения своего положения, которые будут приложены властью, самим же продолжать подчиняться власти», исполнять требования правительства: уплаты пошлин, налогов, участия в присяжных судилищах, и особенно — участия в войске, Лев Николаевич, продолжая в Девятой главе тему «добровольного рабства», уподобляет людям, соглашающимся высечь товарищей и даже самих себя:

«Мне рассказывали случай, происшедший с храбрым становым, который, приехав в деревню, где бунтовали крестьяне и куда были вызваны войска, взялся усмирить бунт в духе Николая I, один, своим личным влиянием. Он велел привезти несколько возов розог и, собрав всех мужиков в ригу, с ними вместе вошёл туда, заперся и так напугал сначала мужиков своим криком, что они, повинувшись ему, стали по его приказанию сечь друг друга. И так они секли друг друга до тех пор, пока не нашёлся один дурачок, который не дался сам и закричал товарищам, чтобы они не секли друг друга. Только тогда прекратилось сечение, и становой убежал из риги. Вот этому-то совету дурачка никак не могут последовать общественные люди, которые, не переставая, секут сами себя и этому самосечению учат людей как последнему слову мудрости человеческой» (*Там же. С. 171 – 172*).

Конечно же, здесь у Толстого прямая и, быть может, намеренная отсылка к его же, наверняка вспомненной им, пища эти строки, антивоенной «Сказке об Иване-дураке», где жители Иванова царства признают не нужными для себя ни деньги, ни правительство, ни войско и побеждают желающих воевать с ними, враждующих похристиански: ответными на вражду и угрозы «дурацким» любовным доверием и ненасилием.

Писатель убеждён в том, что «если говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может не быть свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать её христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а Тому, Кто послал его в жизнь,

понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшёл, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

[...] Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспресловенно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти» (28, 166 – 167, 169).

С теоретической “подводкой” здесь всё понятно. Значительно интереснее для нас “иллюстративный материал”, на котором Толстой демонстрирует осуществимость своих умопостроений и действительное духовное благо отказов — конечно же, для людей, подготовивших сознание, принявших веру Христа. Но здесь Толстой дважды осторожен: во-первых, тем, что не называет имён отказников в России, многим из которых помогал лично, а во-вторых тем, что подробно описывает множество возможных для отказника страданий, тем самым давая понять читателю всю сложность и ответственность такого шага (см.: 28, 178 – 181). Перечисляет автор и известные ему случаи отказов от службы за рубежом — тоже сопровождаемые репрессиями, хотя, во многих случаях, не такими ожесточёнными, как в России:

«...В Сербии люди из так называемой секты назаренов постоянно отказываются от военной службы и австрийское правительство уже несколько лет тщетно борется с ними, подвергая их тюремному заключению. В 1885 году отказов таких было 130. В Швейцарии, я знаю, что в 1890-х годах в Шильонском замке сидели люди за отказ от исполнения воинской повинности, не изменившие вследствие наказания своего решения. Такие же отказы были в Швеции, и точно так же отказывающиеся были заключены в тюрьмы, и правительство старательно скрывало эти случаи от народа. Были такие отказы и в Пруссии. Я знаю про унтер-офицера гвардии, который в 1891 году в Берлине объявил начальству, что он, как христианин, не будет продолжать службу и, несмотря на все увещания, угрозы и

наказания, остался при своём решении. Во Франции, на юге её, возникла в последнее время община людей, носящих название гинчистов, Hinschist (сведения эти взяты из "Peace Herald", 1891 г., июль), члены которой отказываются на основании христианского исповедания от исполнения воинской повинности и сначала зачислялись в госпитали, но теперь, по мере увеличения их, подвергаются наказаниям за неповиновение, но всё-таки не берут в руки оружия» (Там же. С. 181 – 182).

При современных средствах коммуникации, огласке каждого случая *христианского* отказа, апелляциях к общественному мнению — халтурным правительствам в конце концов придётся учиться решать свои раздоры без войны, да и вовсе оставить жизнь соединённых между собой духовным и общинным союзом христиан в покое. На таких людей не может действовать тот самый арсенал приёмов порабощения, о которых говорит Лев Николаевич в трактате выше: «...Что делать с людьми, которые не проповедают ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы, от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя, потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами ещё менее можно, потому что лишения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания и в их законе прямо сказано, что надо повиноваться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу. Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смиренных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти

христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей и что всем уже надо бы делать то же.

[...] Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он затушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания, — загорается с двух концов и это здание. Загорания эти ещё редки, но загораются они огнём, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжёт всего.

[...] "Огонь принёс я на землю, — сказал Христос, — и как томлюсь, когда он возгорится".

И огонь этот начинает возгораться» (*Там же. С. 183 – 186*).

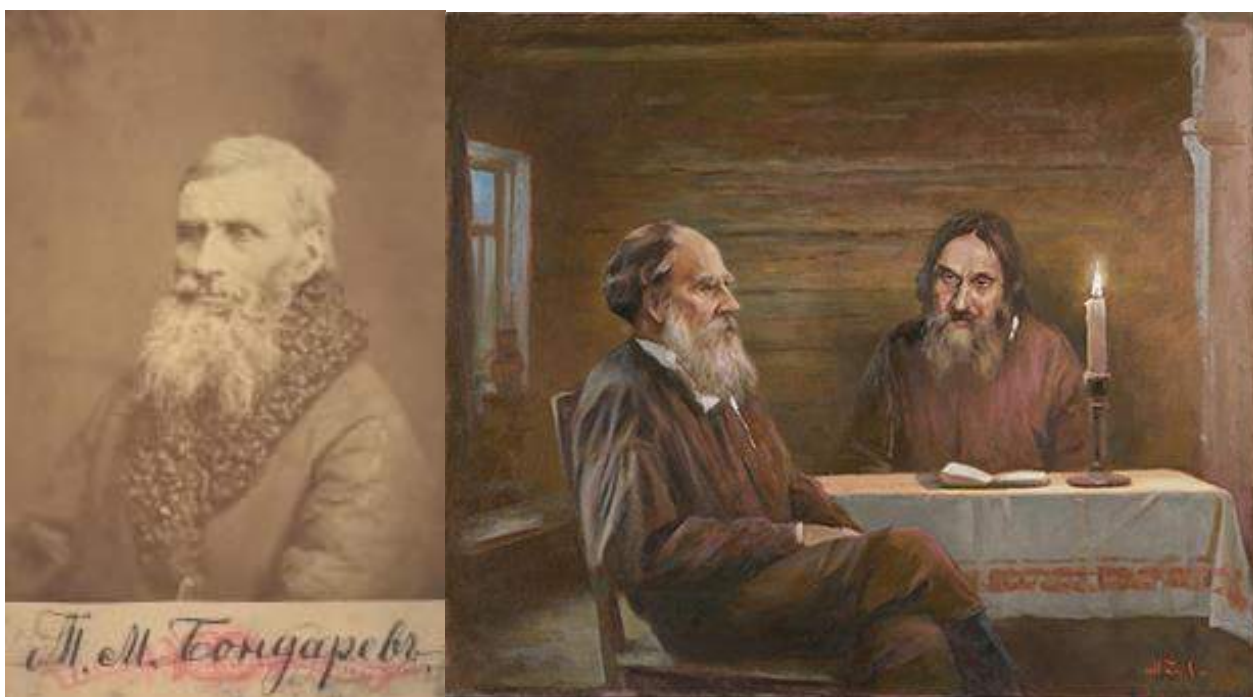
**Десятая глава** слова Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» заостряет внимание на охристианивающимся от поколения к поколению, по мере просвещения, общественном мнении людей, как орудии противостояния, в числе других общественных зол, и милитаризму. Она имеет в черновике Толстого такое заглавие: «Бесполезность государственного насилия для уничтожения зла. Нравственное движение человечества совершается не только через познание истины, но и через установление общественного мнения» (28, 300). На этот процесс положительно влияет опыт участия народов во власти, обличающий достаточность для руководства многими разумных действий и слов и ненужность, вред насилия. Насильническая же власть — по существу, власть всегда «наиболее злых» «над более добрыми» (*Там же. С. 301*). При торжестве христианского религиозного жизнепонимания она исторически обречена, потому что «люди, насилием достигая власти и познавая тщету её и плодов её, становятся более добрыми и неспособными употреблять насилие. Через этот процесс проходят отдельные люди и целые народы. Этим путём христианство проникает в сознание людей и не только несмотря на употребляемое властью насилие, но посредством него» (*Там же*). Великий яснополянец верит, что, по доверию к общественным авторитетам, вслед им может скоро и массово прийти к живой (руководящей помыслами и поступками) вере Христа и основная масса людей, и «отречение от насилия всех людей может совершиться очень скоро,

именно тогда, когда установится христианское общественное мнение» (*Там же*). Можно и нужно верить в этот прогресс нравственный, и не грех служить ему — побеждая насилие, не исключая, разумеется, самых злостных, организованных его форм, каковы войско и военщина, и оправдывающую его ложь, как военный патриотизм, идеи «нации», «гражданства» и подобные им, чуждые настоящему, чистому учению Христа. Это важно потому, что одно помогает другому: христианское жизнепонимание уничтожит правительства и армии, но, пока оно не окрепло, не восторжествовало — ему вредит распространяемое в обществах людей, паразитирующее на их атавистических, как общественных животных, слабостях и страхах, суеверие оправданного насилия, «добра с кулаками»:

«Признание необходимости насилия, мешает установлению христианского общественного мнения и извращает его. Насилие заставляет людей не верить той духовной силе, которая одна движет людьми. [...] Насилие, извращая общественное мнение, только мешает общественному устройству быть тем, чем оно должно быть, и при устранении насилия христианское общественное мнение получит распространение. Что бы ни было при устранении насилия, это неизвестное будущее не может быть хуже теперешнего положения, и потому бояться его нечего. Познание неизвестного и движение в него есть сущность жизни» (*Там же. С. 301 – 302*).

Кстати. Вот почему необходимость признания закона непротивления — не выдумка Л. Н. Толстого, а необходимость для человечества XIX – XXI веков. Точно так же, как отречение от денежной системы как средства манипулирования людей людьми, принуждения, и как физический труд, в котором упражнял себя Толстой с начала 1880-х — начиная с «религии горшка», то есть самообслуживания без эксплуатации слуг, и кончая верой в гармоничную с природой, аграрную волю охристианившихся народов в будущем. Вопреки позднейшим крайностям духовного монизма, Толстой 1880 – 1890-х годов признавал, что тело может быть наставником души, и забранные телесной жизнью себе права (в т. ч. пресловутая «самооборона») вкупе с переваленными на других обязанностями, а в особенности *системная ложь*, оправдывающая такой образ жизни — душе могут сильно повредить. За горизонтом нашего исследования, ограниченного тематикой именно антивоенных писаний Льва Николаевича, осталась его педагогическая и просветительская деятельность, книгоизда-

тельство «Посредник», в изданиях которого Толстой в 1880-е знакомил и народные массы, и «интеллигентного читателя» с мудростью народных притч, сказок и легенд, с концепциями нравственных «хлебного труда», семейной и всей жизни самобытных мыслителей из народа, с которыми Толстой познакомился лично — Василия Кирилловича Сютаева (1824 – 1892) и Тимофея Михайловича Бондарева (1820 – 1898). И анонимная «народная», и «авторская», писателей из народа, мудрость всё сводила к той же «религии горшка» и тем же метафорам *первой пчелы* или *первой ласточки*, которые были близки автору «Царства Божия». Не следует дожидать других: христианин сам живёт, перед Отцом, Богом, как может ближе к познанному им идеалу. Не ищет, к кому примкнуть, а сам, словом и примером, научает других.



1. Тимофей Бондарев. Фото 1880-х (?) гг.

2. Л.Н. Толстой у В.К. Сютаева. Худ. Н.Н. Чувахин, 2020.

(Художник сохранил портретное сходство с известными изображениями В. Сютаева)

Конечно, столь яркая убеждённость Льва Николаевича Толстого в скором торжестве в мире Истины актуального, спасительного религиозного непонимания Христа и настоящих его учеников, не могло не “заразить” верой и читателей, вызвав массовые отказы от солдатчины и других форм сотрудничества с разбойничьим гнездом государства.

Наконец, в **Главе Одиннадцатой**, завершающей основную часть трактата, Толстой иллюстрирует работу охристианенного общественного мнения в мире и в России. Черновой заголовок главы: «Христианское общественное мнение уже зародилось в нашем обществе и неизбежно разрушит насильническое устройство нашей жизни. Когда это будет» (28, 302).

Когда же это будет? Быть может, и никогда, если прогресс знаний и техники так вооружит современных наших, XXI столетия, «чингисханов с интернетами», что сама возможность людям соединиться в Истине спасительного, актуального религиозного понимания жизни и в христианском общественном мнении будет уничтожена. Но из своей эпохи пара и электричества Лев Николаевич выражает уверенность, что для нашего, пока лжехристианского, мира ещё не всё потеряно. Он видит для такого заключения множество благих свидетельств. Например:

«Военные люди высших чинов, вместо того чтобы поощрять грубость и жестокость воинов, необходимые для их дела, сами распространяют между военным сословием образование, проповедуют гуманность и часто сами даже разделяют социалистические убеждения масс и отрицают войну. В последних заговорах против русского правительства многие из замешанных были военные. И таких военных заговорщиков становится всё больше и больше. И очень часто случается, как это было на днях, что призванные для усмирения жителей военные отказываются стрелять по ним. *Военное молодецтво* прямо осуждается самими военными и часто служит предметом насмешек» (28, 212 – 213; *Курсив наш. – Р. А.*)

И Толстой приводит ещё множество примеров того, как охристианение общественного мнения проникает в сознание элит лжехристианских обществ. Логично можно сомневаться в совершенной победе христианского жизнепонимания уже потому, что, во-первых, волчьи места «охристианившихся» занимают по сей день другие: в России в только что отошедшем 2022 году не было отбоя от желающих поехать по контракту убивать для Путина стариков и детей в Украине. Не иссякает поток желающих и на самые подлые должности: полицейев, судей, приставов, сборщиков налогов и пошлин...

Но именно процитированный выше отрывок, для нашей темы, показателен тем, как изменилось отношение Толстого-христианина к военным *молодцам* и *молодецтву* как таковым. Об окказиональ-

ной семантике этих лексем в художественном творчестве Л. Н. Толстого есть хорошая статья Донны Орвин (Donna Tussing Orwin, Toronto; b. 1947), в которой исследуются те психологические и культурные причины, которые побуждают солдат к участию в войне (Орвин, Донна. Лев Толстой — пацифист, патриот и молодец // Лев Толстой и мировая литература: Материалы VII Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 10-15 августа 2010 г. Тула: Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2012. С. 17 – 40). Значительная среди этих причин — внушённые воспитанием представления о храбрости, решительности в бою, *молодечестве*. Как мы помним, отправляясь волонтером на Кавказ, с планами вступить в военную службу, Толстой и сам отдал дань этому преданию. Донна Орвин пишет об этом:

«Когда Толстой впервые оказался в армии, его прежде всего беспокоило, как он сумеет проявить себя. *Автор цитирует Дневник Л. Н. Толстого. – Р. А.*» “5 февраля 1852 (Николаевка — еду в отряде). Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить её; поэтому не боюсь смерти. — Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти. — Я не совершенно спокоен; и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда на многие положения к другому. Странно, что мой детский взгляд — *молодечество* *курсив автора. — Р. А.* — на войну, для меня самый покойный. — Во многом я возвращаюсь к детскому взгляду на вещи” (46, 90 – 91).

5 февраля юнкер, новичок, предполагал принять участие в сражении. Но на второй день столкновений с силами врага он чуть не погиб, когда пушечное ядро ударило в лафет, возле которого он находился. Тот факт, что это случилось в день его именин, усилило для него значение этого события и стало основой для художественного изображения опыта не проверенного в бою солдата.

[...] Толстой не удовлетворён собой, своим поведением. Впредь он не упустит возможности испытать собственную решительность, поскольку только закаляет душу для сражения.

Увлекательно следовать за Толстым от фантазий к опыту в этих его военных дневниковых записях. Тем не менее следует иметь в виду, что одни фантазии имели в толстовской реальности более глубокие корни, нежели другие. В ней русский, подражающий кавказскому джигиту, всегда выглядит глупо, тогда как молодой офицер, с его юношеским энтузиазмом по отношению к войне, всегда несёт в себе



позитивный заряд. Юношеский высокий настрой может причиной его гибели, что и происходит с Аланиным («Набег»), с Володей Козельцовым («Севастополь в августе 1855 года») и Петей Ростовым («Война и мир»), но карьеристы, как Альфонс Берг и Борис Друбецкой в «Войне и мире», совершенно лишённые этого настроения, всегда вызывают презрение. С одной стороны, Толстой хотел положить конец опасным, ложным романтическим иллюзиям относительно войны, с другой — ему были дороги спонтанность и уверенность, присутствующие в том, что в записи от 5 февраля он назвал *молодечеством*.

[...] Молодѣц (мóлодец) — юноша, прекрасный телом и духом. В слове молодечество с обобщающим суффиксом *-ство* синтезирована суть подобных молодых людей, то есть это качество должно быть положительным, и оно таковым является. Хотя данный концепт достаточно часто используется в более широком контексте, в фольклорной поэтической традиции он прежде всего связан с войной: герои русской эпической поэзии — это *мóлодцы*, как правило с эпитетом *добрые* (Орвин, Д. Указ соч. С. 18 – 20).

И здесь же автор цитирует запись из Дневника уже Толстого «позднего», Толстого-христианина, свидетельствующую о преодолении Толстым внушённого им ложного предания и о формировании религиозного христианского, то есть негативного, отношения к «добрым» *молодцам* и к *молодечеству*:

«Нынче, гуляя, думал о двух: Детская мудрость и о воспитании, о том, что как мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на *молодечество* <курсив наш. — Р. А.> охоты и войны, возможно внушить детям всю энергию направлять на борьбу с собой, на увеличение любви» (57, 18).

Своеобразный «переходный период», однако, мы находим уже в «Казачах», законченных Толстым, как известно, лишь в 1863 году, где «молодечество» Лукашки никак нельзя признать однозначно положительной характеристикой: к ней примешивается семантика «дикарской» ограниченности, почти глупости:

«...Лукашка прозван Урваном за *молодечество*, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*» (6, 21).

И в то же время: «Дядя Ерошка [...] хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый *молодец* в станице. Его все знали по полку за его старинное *молодечество*. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел» (Там же. С. 59).

Напомним читателю, что истинно возлюбленные автором, близкие ему персонажи *не убивают людей* даже на войне, в бою, и тем более не способны хвастать убийством!

Или ещё, из «Казачков» же: «— Поехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было замечное для казаков *молодечество*.)» (Там же. С. 133).

В томе втором «Войны и мира» герой, безусловно любимый автором, Пьер Безухов, взирает на безусловно нелюбимого Долохова, подстреленного только что на дуэли:

«И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким-то *молодечеством* отвечая на моё раскаяние!» (10, 29).

Донна Орвин:

«“Севастополь в августе 1855 года” — это «идиллия» *молодечества*, в которой оба брата Козельцовы представляют воюющего на передовой русского офицера, каким его увидел Толстой во время Крымской войны» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 25).

«Васька Денисов в «Войне и мире» показан истинным *молодцом*, когда мы видим его танцующим мазурку или верхом на коне (10, 50), и много раз в романе *молодцами* восхищённо названы русские солдаты. Хаджи-Мурат помнит «выражение *молодечества* и гордости», с которым его сын Юсуф обещает отцу заботиться о матери и бабушке (35, 106). Но *молодечество* может быть безрассудным, как в случае Аланина или Пети Ростова. Оно может быть и просто традицией, обычаем: в «Анне Карениной» Вронский испытывает отвращение, будучи обязан развлекать иностранного принца медвежьей охотой как представлением русского *молодечества* (18, 374)» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 22).

А в 1886 году автор статьи «Николай Палкин» уже смотрит на дряхлого адепта религии *молодечества*, встреченного им в пути 95-летнего солдата николаевской армии, уже совершенно извне по отношению к его суеверию, и безусловно не одобряя его:

«Говорил он и с отвращением, и с ужасом и не без гордости о прежнем *молодечестве*» (26, 555).

Очень мило в «Крейцеровой сонате» (1887 – 1889) лексема появляется в контексте осуждающего повествования о посещении юношей Позднышевым проституток: «...Я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слы-

шал, что в этом есть некоторая заслуга, *молодечество*» (27, 18). По неволе вспоминаются изложенные Толстым аргументы мессира де Вогюэ в защиту войны — о затруднении самцам поганого «царя природы», человека, обойтись без драк, без войны в делёжке золота, хлеба и *женщин*.

Наконец, в самом трактате мы встречаем лексему *молодечество* в отрывке из Мопассана, переведённом Толстым, в безусловно, ярко, эмоционально-негативной коннотации:

«Мы её видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для *молодечества*, для похвальбы...» (28, 120. *Курсив наш.* – Р. А.).

И ещё, без эмоций, но столь же негативно: «Если люди перестанут драться на дуэлях и черкесы воровать, то не из страха перед казнями (страх казни прибавляет прелести *молодечества*), а потому, что общественное мнение изменится» (Там же. С. 203. *Курсив наш.* – Р. А.).

Но не всё так однозначно. В год 1891-й, то есть в период работы над трактатом, Толстой пишет небольшой некролог в память хорошего друга молодости Ивана Ивановича Раевского, погибшего осенью этого года от тяжёлой простуды в ходе поездок по делам помощи голодавшим крестьянам. И там, на страницах, пища которые, Толстой вспоминал 1850-е и общее с другом молодое и радостное прошедшее, появляется такая характеристика Раевского:

«В нём было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровьем, свежесть, *молодечество*, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование» (29, 262. *Курсив наш.* – Р. А.).

Как видим, автор «Царства Божия» действительно верил в скорейшие, уже на его веку и на его глазах перемены *охристианения* в обществе. Поэтому и относил *молодечество* как достоинство — к юности даже не молодого, современного ему на рубеже 1880-1890-х годов, а старших поколений, включая собственное.

По наблюдениям Донны Орвин, не только молодым человеком «Толстой считал военную службу почётной профессией», но и «даже в поздние годы порой упоминал о благородных побуждениях офицеров прежних времён» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 21). Помимо выпадающей из нашей темы статьи о сечении, телесных наказаниях «Стыдно!», открывающейся апелляцией Толстого к нравам декабристов, вспоминается неоконченная статья «Carthago delenda est» 1896

года (о которой подробнее скажем в соответственном месте), где есть такие строки:

«В прежнее время военный человек 30-х, 40-х, 50-х, даже 60-х годов, составлял нераздельную и необходимую часть тогдашнего общества, не представлял из себя не только ничего неприятного, но, как это было у нас, да и везде, я полагаю, представлял из себя, особенно в гвардии, цвет тогдашнего образованного сословия. Таковы были декабристы 20-х годов. [...] Тогдашние военные не только не сомневались в справедливости своего звания, но гордились им, часто избирая это звание из чувства самоотвержения» (39, 219. *Курсив наш.* – Р. А.). Самоотвержение здесь — окказиональный синоним для «молодечества».

Помимо «диких народов», положительная семантика в употреблении данной концептуальной лексемы сохранилась у Л. Н. Толстого и по отношению к революционерам — чью *храбрость* от отделял от чуждых ему социально-политических устремлений. В Предисловии к книге В. Г. Черткова «О революции», написанном в 1905 году, лексемы «молодечество» и «самоотвержение» уже стоят рядом, то есть, вероятно, имеют в глазах автора некоторое, не значительное, семантическое различие — связанное ощутимо с большим не личным, для самих героев, а *общественным* значением их «молодечества»:

«Нельзя не признавать *молодечества* и *самоотвержения* людей, как Халтурин, Рысаков, Михайлов и теперь убийц Бобрикова и Плеве, которые прямо жертвовали своими жизнями для достижения недостижимой цели; так же как и тех, которые с величайшими лишениями, рискуя, свободой и часто жизнью, идут в народ, чтобы бунтовать его, или печатают и развозят революционные брошюры; но нельзя не видеть того, что деятельность этих людей не могла и не может привести ни к чему иному, как к гибели их самих и к ухудшению общего положения» (36, 150. *Курсив наш.* – Р. А.).

Очень характерное — в письме Толстого В. Г. Черткову от 20 мая 1904 г.:

«Невольно любишься *молодечеством* Жерара, охотника на львов, точно так же невольно любишься, независимо от последствий их деятельности, и *молодечеством, самоотвержением* русских революционеров, ходивших в народ, так же как и отчаянной деятельностью Халтуриных, Рысаковых, Михайловых и др., но нельзя не видеть, что главный двигатель деятельности этих людей был тот же, как и тот, который руководил Жераром. Как Жерар не мог не видеть того, что

убийством десятка львов он не избавит жителей Африки от львиной опасности, так же и люди, ходившие в народ или устраивающие шествия по улицам с флагами или убивающие отдельных правительственных лиц, не могли не видеть, что они этими средствами никогда не победят русского правительства. Так что главным двигателем и тех и других, очевидно, был не достижение известной цели, а избыток сил, борьба с опасностями, игра своей жизнью.

Когда я был охотником, я помню, что, несмотря на то, что я был в полном обладании своих умственных способностей, все рассуждения о безумии того, чтобы скакать сломя голову за ненужным мне зайцем или волком или ездить за сотни верст, чтобы, увязая в болотах или снегу, убить несколько ненужных мне птичек или столь же ненужного медведя, все эти рассуждения я пропускал мимо ушей и был не только уверен в важности своей деятельности, но гордился ею. То же и с революционерами.

Только тем, что революционная деятельность есть спорт, и можно объяснить то, что люди здравомыслящие предаются такой явно бесполезной деятельности, и то, что никакие доводы, доказывающие тщету и даже вред их деятельности, не действуют на них. Жалко видеть, когда энергия людей тратится на то, чтобы убивать животных, пробегать на велосипедах большие пространства, скакать через канавы, бороться и т. п., и ещё более жалко, когда эта энергия тратится на то, чтобы тревожить людей, вовлекать их в опасную деятельность, разрушающую их жизнь, или ещё хуже: делать динамит, взрывать или просто убивать какое-нибудь почитаемое вредным правительственное лицо, на место которого готовы тысячи ещё более вредных» (88, 332).

И ещё, в записной книжке, 27 марта 1909 г.: «Мотив революционеров едва ли не главный — *молодечество*, потом тщеславие — повышение своего значения на общественно общественной лестнице, потом фарисейское исповедание любви к народу» (57, 206).

Любопытно наблюдать, как воспитанный в почитании самоотвержения и храбрости писатель борется с собой, стремясь доказать, и не одному себе, что эти морально ценные всегда в его глазах качества, будучи проявленными в войне или революции, в терроре — ничем не лучше того «молодечества» бесполезных на войне, напрасно жертвующих собой храбрецов, или охотников, или даже посетителей бардака, порицание которого он с годами вполне «осилил».

Сам Толстой в те годы считал “настоящей”, ожидавшейся им, “революцией” — как раз массовое пробуждение общественного сознания к христианскому религиозному пониманию жизни, охристианение общественного мнения и, как следствие, ненасильственный слом старого строя жизни. Революционеры же, считавшие сами себя, передовыми людьми, в глазах яснополянца, напротив того, люди отсталые, которым надлежит, противу рожна, быть увлекаемыми влиянием извне, наиболее духовно активных и нравственно чутких людей общества.

Так, даже и на уровне словоупотребления, выявляется искренняя вера Толстого в будущее христианской веры, его надежды на скорое торжество в мире истинного, первоначального учения Иисуса Христа.

Но не утопия ли эти ожидания, эта вера Льва-учителя, Толстого-христианина в *торжество Христа в мире*? Есть в рассуждениях, наполняющих заключительную (в основной части) Главу трактата, “зацепки”, радостные для Льва Николаевича в конце XIX столетия, но сомнительные для нашей, печально опытной, эпохи. Например: «Учёные юристы, обязанные оправдывать насилие власти, всё более и более отрицают право наказания и вводят на место его теории невменяемости и даже не исправления, а лечения тех, которых называют преступниками» (28, 213). Если памятовать *карательную психиатрию* эпохи СССР, втихаря возрождаемую в современной фашистской, путинской России — радость Льва Николаевича разделить не получится: убивая без качественных лекарств настоящих больных, здоровых (но не угодных преступному режиму!) «лечить» в психушках, так же, как и «исправлять» в тюрьмах, у нас умеют, как не умели никогда в православной Российской Империи: вплоть до тяжёлой инвалидности или гибели жертвы!

Или — вот этот отрывок:

«Палачи отказываются от исполнения своих обязанностей, так что в России смертные приговоры часто не могут приводиться в исполнение за отсутствием палачей, так как охотников поступать в палачи, несмотря на все выгоды, представляемые этим людям, выбираемым из каторжников, становится всё меньше и меньше» (*Там же*).

Это оптимистическое утверждение жизнь опровергла Толстому ещё при его жизни — о чём он в 1908 году эмоционально посетовал в

знаменитой своей статье-памфлете против смертных казней «Не могу молчать».

И всё же, всё же... Даже в отдалённом будущем, в более счастливых странах — возможно ли?.. Прийти к вот такой картине, напоминающей снова блестящую толстовскую «Сказку об Иване Дураке»:

«Те же генералы, и офицеры, и солдаты, и пушки, и крепости, и смотры, и манёвры, но войны нет год, десять, двадцать лет, и кроме того всё менее и менее можно надеяться на военных для усмирения бунтов, и всё яснее и яснее становится, что поэтому генералы, и офицеры, и солдаты суть только члены торжественных процессий — предметы забавы правителей, большие, слишком дорогостоящие кордебалеты.

[...] Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, торпедами, тюрьмами, виселицами, церквями, фабриками, таможнями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможни не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а всё делают это люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

А люди уже начинают понимать это. Если ещё не все понимают это, то всё понимают передовые люди, те, за которыми идут остальные.

[...] Так что предсказание о том, что придёт время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, т. е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления, — уже не мечта, а определённая, новая форма жизни, к которой с всё увеличивающейся быстротой приближается человечество» (28, 215, 218 – 219).

Но это и подразумевает соединение хотя бы большинства в одной Истине. А у людей новейшего, нашего времени отобрано стремление к таковому единству, атрофировано само ощущение *необходимости живой веры*. Кто откликнется, явись в наше время проповедать даже сам Иисус? Хотя бы сегодня, 1 января 2023 года — года из старой фантастической книжки, ставшего настоящим, но не оправдавшего упований этих, из прошлого века, писателей-фантастов: светских гуманистов, как братья Стругацкие, или даже верующих христиан, как Рэй Бредбери?

Между тем, Толстой уповаает именно на эту, «старомодную» в наше интересное время, нравственную чуткость и на религиозный голод, *алкание ко Христу* миллионов умов и сердец:

«Но когда же это будет?»

1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т. е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т. е. возможность нового, ненасильнического устройства жизни, будет проповедана по всей земле (*Мф. XXIV, 3 – 28*).

"О дне же и часе том никто не знает, только Отец Мой один (*Мф. XXIV, 36*)", — тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту, и тогда, когда мы не ожидаем его.

На вопрос о том, когда наступит этот час, Христос говорит, что знать этого мы не можем; но именно потому, что мы не можем знать времени наступления этого часа, мы не только должны быть всегда готовы к встрече его, как должен быть всегда готов хозяин, стерегущий дом, как должны быть готовы девы с светильниками, встречающие жениха, но и должны работать из всех данных нам сил для наступления этого часа, как должны были работать работники на данные им таланты (*Мф. XXIV, 43; XXV, 1 – 30*).

[...] И другого ответа не может быть. Знать то, когда наступит день и час Царства Божия, люди никак не могут, потому что наступление этого часа ни от кого другого не зависит, как от самих людей.

Ответ тот же, как ответ того мудреца, который, на вопрос прохожего: далеко ли до города? ответил: "Иди".

Как мы можем знать, далеко ли до той цели, к которой приближается человечество, когда мы не знаем, как будет подвигаться к этой цели человечество, от которого зависит — идти или не идти, остановиться, умерить своё движение или усилить его.

Всё, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем тем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечётся сердце каждого человека» (*Там же. С. 219 – 220*).



Для наших предшественников, анализировавших слово Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» с позиций, скорее, общественно-политических, как трактат «протестный», антивоенный и под. — самым значительным в Заклучении (то есть в **Главе Двенадцатой**) конечно же, является сюжет о встрече Толстого на узловой железнодорожной станции с губернаторским военным отрядом. Между тем не напрасно, не случайно в черновиках, до которых добираются уже совсем немногие, даже из числа читателей этого пространного и непростого сочинения Толстого, заключительная Глава поименована вот так вот, очень вдохновительно: «Покайтесь, потому что Царствие Божие близко, при дверях» (28, 303).

Мы намеренно сыскали возможность историю про карательный отряд, выплеснувшуюся из возмущённого сознания Льва Николаевича на первые страницы этой Главы (см. 28, 220 – 245), изложить в другом месте — чтобы не нарушать логической стройности именно религиозной *христианской проповеди* Льва Николаевича, по отношению к которой рассказ про вояк в карательном поезде — лишь иллюстрация тех тезисов о неразумии и бедственности нехристианского устройства жизни, которые Толстым изложены в предшествующих главах книги.

Двенадцатая глава, или Заклучение — текст пространный, имеющий своё внутреннее подразделение на главки. Вторую из них Толстой открывает последними штрихами в изложенной в начале заключительной главы истории с карательным поездом, а завершает — блестящей картиною *набора призывников* в России, соблазняющей нас вынести её текст, как образец талантливой работы художника и публициста, в особенное Приложение к данной главе.

Толстой стремится донести здесь до читателя своё прозрение о *корне зла*: о причине, отчего добрые люди, губернатор и солдаты, сами недавние крестьяне в массе своей, в голодный год, соглашались участвовать в вооружённом бандитском нападении (по сущности своей) на таких же добрых, и трудящихся, и голодающих людей. Ответ яснополянца предсказуем: корень зла — в религиозном обмане, в котором воспитываются дети и муштруются взрослые солдаты. В обмане, оправдывающем, освящающем именем Христа, самим Богом, существование государства, войска, вооружений... По существу, обман этот может торжествовать и вовсе «автономно» —

когда, как в современной нам, фашиствующей путинской России языческое, принадлежащее давно отжитому пониманию жизни, представление о «долге» перед обществом или государством не опирается ни на какие сакральные обоснования, а заражённые этим самообманом люди даже бравируют своим «атеизмом». Вариант «атеизма» — церковные, православные обрядоверие и идолопоклонство, при которых в мельчайшей повседневности человек не помнит Христа, не ощущает себя *обязанным* послушанием известному по евангелиям учению, то есть самим Истине и Богу — хотя бы в той же степени, в какой повинуетя мундированной сволочи и законам разбойничьего гнезда, изображающего из себя государство, в котором обитает современный россиянец.

И воспроизводится ситуация, о которой Лев Николаевич делает вывод в начале третьей главки Заключения, при которой не обманутому общим обманом человеку остаётся лишь удивляться «на то, как могут проповедники религии христианства, нравственности, воспитатели юношества, просто добрые, разумные родители, которые всегда есть в каждом обществе, проповедовать какое бы то ни было учение нравственности среди общества, в котором открыто признаётся всеми церквами и правительствами, что истязания и убийства составляют необходимое условие жизни всех людей, и что среди всех людей всегда должны находиться особенные люди, готовые убить братьев, и что каждый из нас может быть таким же» (28, 245).

И следующие за этим слова Толстого-христианина было бы полезно прочитать, осмыслить тем, кто в только что закончившемся разбойном, бандитском, палаческом в России 2022-м году вожделем оравой ринулись из дрянной, зажатой российской провинции, а некоторые даже и из Москвы и других полноценных мест населённых полноценными, казалось бы (разумными, нравственными и материально зажиточными) людьми — грабить, истязать, насиловать и убивать украинцев под прикрытием пропагандистской лжи о «борьбе с украинским нацизмом», а потом и — с якобы враждебным «коллективным Западом»:

«Учение око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь оттого и отменено христианством, что это учение есть только оправдание безнравственности, есть только подобие справедливости и не имеет никакого смысла. Жизнь есть величина, не имеющая ни веса, ни меры и не могущая быть приравнена никакой другой, и потому уничтоже-

ние жизни за жизнь не имеет смысла. Кроме того, всякий закон общественный есть закон, имеющий целью улучшение жизни людей. Каким же образом может уничтожение жизни некоторых людей улучшить жизнь людей? Уничтожение жизни не есть акт улучшения жизни, но акт самоубийства» (Там же. С. 246).

Мародёрам, насильникам, палачам — будь то кодла под самоназванием «Вооружённые силы России» или вспомогательная им такая же кодла ЧВК (частная военная компания) «Вагнера» и подобные ей — нет и не может быть тех оправданий, к которым они прибегают, будучи уверены — к сожалению, не без оснований — что обманываемые ими подпутинские лошата практически поголовно заражены в головках своих тем же обманом, теми же заблуждениями давно отжитого, опасного для человечества в XXI веке, языческого и еврейского, общественно-государственного понимания жизни.

Кстати, это же христианское суждение яснополянца уничтожает оправдания не только для путинской сволочной «СВО», Специальной Военной Операции, то есть преступной террористической агрессии и полномасштабной войны в отношении Украины, но и для смертной казни, возвращения которой в стране рабов и дураков вожделяют, хотя и по разным причинам, как палачи у власти, так и будущие их жертвы из числа простых обитателей оккупированной, ограбленной и обманутой Кремлём России.

Для людей, не поднявшихся выше учения общественного эгоизма, служения (и не бескорыстного!) государству, то есть действующему режиму, не многое изменится, даже если, например, через год-два «Вооружённые силы» и «Вагнер» поменяются местами, и во главе России запрезидентствует распорядитель «Вагнера», *кацан*, мрачный садист и дегенерат, палач Пригожин.

«Самая жестокая, ужасная шайка разбойников не так страшна, как страшна такая государственная организация. Всякий атаман разбойников всё-таки ограничен тем, что люди, составляющие его шайку, удерживают хотя долю человеческой свободы и могут воспротивиться совершению противных своей совести дел. Но для людей, составляющих часть правильно организованного правительства с войском, при той дисциплине, до которой оно доведено теперь, для таких людей нет никаких преград. Нет тех ужасающих преступлений, которые не совершили бы люди, составляющие часть правительства, и войска по воле того, кто случайно [...] может стать во главе их» (Там же. С. 246 – 247).

Потому что у атеизма или близкого к нему по нравственной беспомощности церковного эрзаца, лжехристианства православия, нет силы, избавляющей поклонника общественного жизнепонимания от поклонения и ещё одному идолу, очень древнему — Золотому Тельцу. Поганцы ищут наживы: богатый выродок человечества Пригожин — прибавления своим разбойным миллиардам, военщина путинская «кадровая» — повышений в званиях, жалованьях и прочих подачках от батюшки фюрера, а мелкий лошарик из Тулы или Саратова, законтрактовавший себя в войско — тупо помародёрствовать в Украине...

Все эти бюджетные подхуйлёныши и хуйлобляди, от грозного «спецназовца» до тётиньки «божий одуванчик» на окладике в каком-нибудь «Музее оружия, обороны и патриотизма» — в глазах великого яснополянца, воскресни он в наше время, таки были бы все одним гоҀвнищём мазаны:

«...Для этих людей риск пострадать оттого, что во главе правительства или войска станет безумный или жестокий человек, всегда меньше тех невыгод, которым они подвергнутся в случае уничтожения самой организации.

Судья, полицейский, губернатор, офицер будет занимать своё положение безразлично при Буланже или республике, при Пугачёве или Екатерине. Потеряет же он своё положение наверное, если распадётся существующий порядок, который обеспечивает ему его выгодное положение. И потому все эти люди не боятся того, кто станет во главе организации насилия, они подделаются ко всякому, но боятся только уничтожения самой организации и потому всегда, часто даже бессознательно, поддерживают её» (Там же. С. 248).

Именно бессознательно, то есть, следуя не разуму, Божьему дару, а инстинкту пресловутого «общественного животного», зверюшки Дарвина (с его теорией, остроненавистной Толстому), только лишь *рационализируемому* «патриотизмом»:

«Часто удивляешься на то, зачем свободные люди, ничем к этому не принужденные, так называемый цвет общества, поступают в военную службу в России, в Англии, Германии, Австрии, даже Франции и ищут случая стать убийцами?! Зачем родители, нравственные люди, отдают детей в заведения, приготовляющие к военному делу? Зачем матери, как любимые игрушки, покупают детям кивера, ружья, шашки? (Дети крестьян никогда не играют в солдаты.) Зачем

добрые мужчины и даже женщины, ничем не причастные к военному делу, восторгаются разными подвигами Скобелевых и других и старательно расхваливают их; зачем люди, ничем к этому не принужденные, не получающие за это жалованья, как в России предводители, посвящают целые месяцы усидчивого труда на совершение физически тяжёлого и нравственно мучительнейшего дела — приёма рекрут? [...] Зачем люди — историки, романисты, поэты, ничего уже не могущие получить за свою лесть, расписывают героями давно умерших императоров, королей или военачальников?

Зачем люди, называющие себя учёными, посвящают целые жизни на составление теорий, по которым выходило бы, что насилие, совершаемое властью над народом, не есть насилие, а какое-то особенное право?

[...] Но удивляешься всему этому только до тех пор, пока не поймёшь, что делается это только потому, что все люди правящих классов всегда инстинктивно чувствуют, что поддерживает и что разрушает ту организацию, при которой они могут пользоваться теми преимуществами, которыми они пользуются.

Светская барыня и не делала рассуждения о том, что если не будет капиталистов и не будет войск, которые защищают их, то у мужа не будет денег, а у неё не будет её салона и нарядов; и художник не делал такого же рассуждения о том, что капиталисты, защищаемые войсками, нужны ему для того, чтобы было кому покупать его картину; но инстинкт, заменяющий в этом случае рассуждение, безошибочно руководит ими. И точно тот же инстинкт руководит, за малыми исключениями, всеми людьми, поддерживающими все те политические, религиозные, экономические учреждения, которые выгодны для них» *(Там же. С. 248 – 249)*.

И государство, в согласии с попами церковного лжехристианства, спешит снять с соучастников его «специальных операций» и иных преступлений не только юридическую, но и моральную ответственность за них:

«...При совершении каждого из таких дел в нём бывает столько подстрекателей, пособников, попустителей, что ни один из участвующих в деле не чувствует себя в нём нравственно ответственным.

[...] Убийцы заставляют всех присутствующих при убийстве ударить уже убитую жертву, с тем чтобы ответственность распределилась между наибольшим количеством людей. Это самое, сложившись в определённые формы, установилось и в государственном устройстве

при совершении всех тех преступлений, без постоянного совершения которых немислимо никакое государственное устройство. Государственные правители всегда стремятся привлечь наибольшее количество граждан к наибольшему участию во всех совершаемых ими и необходимых для них преступлениях.

Одни потребовали, другие решили, третьи подтвердили, четвёртые предложили, пятые доложили, шестые предписали, седьмые исполнили. ...И никто не виноват» (*Там же. С. 249 – 251*).

Это описание, как по образному строю, так и по идейной сущности своей, великолепно подходит и для современной, 2022 – 2023 гг., бесстыжей путинской России, только что (январь 2023-го) утвердившей амнистию для своих вооружённых преступников, орудующих в Украине «в интересах России». Между тем для христианского сознания очевидно, что масштабы и системная организованность, от имени государства, совершаемых подпутинским отребьем глупостей и гадостей — не только ничего не оправдывают, но именно системно обустроенное, организованное, преднамеренное зло — наиболее преступно против Бога и Христа Его.

Другая причина существования деструктивных систем войска, полиции, судилищ, самой государственности — вожделение человека, не просветлённого и не освобождённого христианской верой, к тому, чтобы доминировать, властвовать над кем-либо и одновременно повинаться кому-то «вышестоящему». Толстой именует это состояние *опьянением* «воображаемым величием», властью и «подобострастием» (*Там же. С. 253*). И доходно, и похоть древнюю, обезьянью потешить можно — к доминированию и подчинению. И вот уже «вполне душевно здоровый и старый уже человек, только оттого, что на него надета какая-нибудь побрякушка или шутовской наряд, ключи на заднице или голубая лента, приличная только для наряжающейся девочки, и ему внушено при этом, что он генерал, камергер, андреевский кавалер или тому подобная глупость, вдруг делается от этого самоуверен, горд и даже счастлив, или, наоборот оттого, что лишается или не получает ожидаемой побрякушки и клички, становится печальным и несчастным, так что даже заболевает» (*Там же. С. 255*).

А игра-то жестокая, неприемлемая по лукавым и подлым своим правилам даже для здравомыслящего атеиста, а не только для незасратого ложью церковников сознания религиозного человека. Толстой возвращается к тому, с чего начал:

«Так, например, в настоящем случае люди едут на убийство и истязание голодных людей и признают, что в споре крестьян с помещиком — крестьяне правы (это говорили мне все начальствующие), знают, что крестьяне несчастны, бедны, голодны; помещик богат и не внушает сочувствия, и все эти люди всё-таки едут убивать крестьян для того, чтобы приобрести этим помещику 3000 рублей, только потому, что эти люди воображают себя в эту минуту не людьми, а — кто губернатором, кто чиновником, кто жандармским генералом, кто офицером, кто солдатом, и считают для себя обязательными не вечные требования совести человека, а случайные, временные требования своих офицерских, солдатских положений» (*Там же. С. 256*).

Толстой уподобляет это состояние гипнотическому сну, от которого уже начинает очунаться передовые люди человечества — под воздействием открывшейся просвещённым людям истины первоначального, евангельского христианства Христа:

«Все люди, едущие в этом поезде, когда приступят к совершению того дела, на которое едут, будут в том же положении, в котором был бы загипнотизированный человек, которому внушено разрубить бревно, и он, подойдя уже к тому, что ему указано как бревно, и уже взмахнув топором, сам увидал бы или ему указали бы, что это не бревно, а его спящий брат» (*Там же. С. 263*).

Толстой приписал позднее, что так и случилось с этими губернатором, чиновниками и солдатами. В пути выявилось несколько «отказников» (быть может, увидевших Льва Николаевича там, на станции Узловой, и вспомнивших его христианские писания), которых «тут же на станции» поддержали пассажиры, и даже один из полковых командиров, руководившийся отнюдь не христианством, всё же возроптал о том, что «военные не могут быть палачами» (*Там же. С. 263 – 264*). И истязание не состоялось, хотя, под угрозой его, лес и был срублен и передан помещику.

Лев Николаевич Толстой справедливо видит в этом влияние не столько своего лично присутствия на станции, своего авторитета, а именно христианской Истины, им исповедуемой, и наконец признанной губернатором, его помощниками и солдатами:

«Будь это сознание ещё сильнее и потому количество этих воздействий больше, чем то, какое было, очень может быть, что губернатор с войсками не решился бы даже и срубить леса, отдавая его помещику. Будь это сознание ещё сильнее и воздействий этих ещё

больше, очень может быть, что губернатор не решился бы даже ехать на место действия. Будь сознание ещё сильнее и воздействий ещё больше, очень может быть, что не решился бы и министр предписывать и государь утверждать такое решение.

Всё зависит, следовательно, от силы сознания каждым отдельным человеком христианской истины.

И потому, казалось бы, на усиление в себе и других ясности требований христианской истины и должна бы была быть направлена деятельность всех людей нашего времени, утверждающих, что они желают содействовать благу человечества» *(Там же. С 264).*

Так завершается третья глава Заключения всей книги, а вот что читаем в конспекте четвёртой:

«Всё зависит от силы сознания каждым отдельным человеком христианской истины. Но передовые люди нашего времени не считают нужным уяснение христианской истины и исповедание её, а для улучшения жизни человеческой считают достаточным изменение внешних условий жизни в пределах, дозволенных властями. На этой научной теории лицемерия, заменившей лицемерие религиозное, основываются оправдания своего положения людьми богатых классов. Благодаря этому лицемерию они, пользуясь насилием, ложью для своих исключительно выгодных положений, могут притворяться друг перед другом христианами и успокаиваться. Это же лицемерие позволяет людям, проповедующим христианство, участвовать в учреждениях насилия.

Никакие внешние улучшения жизни не сделают её менее бедственной. Бедствия происходят от разъединения, разъединение происходит от следования не истине, а лжам. Единение возможно только в истине. Лицемерие препятствует этому единению, так как, лицемеря, люди скрывают от себя и других ту истину, которую знают. Лицемерие обращает все улучшения жизни во зло. Лицемерие извращает понятие о добре и зле и потому стоит на пути совершенствования людей. Открытые злодеи и преступники делают меньше зла людям, чем те, которые живут узаконенным насилием, прикрываясь лицемерием.

Все сознают незаконность нашей жизни и давно бы изменили её, если бы она не была прикрыта лицемерием. Но мы, кажется, дошли до пределов лицемерия, и нам нужно сделать только усилие сознания, чтобы, как человеку под кошмаром, проснуться к иной действительности» *(Там же. С. 304 – 305).*



Интеллигентский гуманизм и пацифизм в христианских (номинально) странах — тоже такое же лицемерие: попытка, и не всегда искренняя, отыскивать те пути, которые не приводят к уничтожению войн и их оправданий — при общеизвестности пути религиозного, христианского, предлагаемого чистым, евангельским учением Христа. Впрочем, и в евангелиях плоды этого лицемерия общественных «элит» предсказаны: войны и самые огромные бедствия *простых* людей до скончания света! Сбудется ли на планете Земля именно этот, негативный сценарий? Или для разумного единственного на ней вида всё-таки возможно усилие, ведущее к торжеству разумной природы над природой зверя?

Для этого тоже нужно мужество, которое требуют от военных рабов правители и согласно с ними пишущие интеллигенты, то есть зачинатели и пропагандёры войн. Для отказа быть таким рабом. Вот, так же в конспективном уже изложении, рассуждения Л. Н. Толстого из Пятой части Двенадцатой, заключительной, главы:

«По существующей теории лицемерия, человек не свободен изменить свою жизнь. Человек не свободен в своих поступках, но он свободен в признании или непризнании известной уже ему истины. Признание истины есть причина поступков.

[...] Свобода человека только в признании открывающейся ему истины, иной свободы нет. Признание истины даёт свободу и указывает путь, по которому добровольно или невольно должен идти человек. Признание истины и действительной свободы даёт человеку возможность быть участником Божьего дела и не рабом, а творцом жизни.

Стоит только людям сделать усилие отречения от заботы об улучшении внешних условий жизни и все силы употребить на признание и исповедание известной им истины, и тотчас же разрушился бы мучительный существующий строй жизни и наступила бы доступная уже людям ступень Царства Божия. Для этого только нужно перестать лгать и притворяться.

Но что тогда нас ждёт впереди?

Мучительность вопросов о том, что будет с человечеством, если люди станут исполнять веления своей совести, и как жить без привычных нам условий нашей культурной жизни, устраняется тем соображением, что от осуществления истины ничто истинное и благое не может исчезнуть, а может только освободиться от примеси лжи и усилиться» (*Там же. С. 305*).

По убеждениям Л. Н. Толстого жизнь человечества уже тогда, в 1890-е, в эпоху написания книги, дошла «до последних пределов бедственности и неразумия», из которых есть лишь один, именно религиозный, выход. Нужно **одуматься**:

«Одумайтесь, люди, и веруйте в Евангелие, в учение о благе. Если не одумаетесь, все так же погибнете, как погибли люди, убитые Пилатом, как погибли те, которых задавила башня Силоамская, как погибли миллионы и миллионы людей, убивавших и убитых, казнивших и казнённых, мучащих и мучимых, и как глупо погиб тот человек, засыпавший житницы и сбравшийся долго жить и умерший в ту же ночь, с которой он хотел начинать жизнь» (28, 286).

Безверие множит страхи и заботы об «обеспечении» жизни, о смешной «безопасности» человека, самым безверием своим, то есть недоверием Богу и Истине учения Христа, увеличивающего главную опасность своей жизни: погубить не плоть, а душу, и не исполнить общего человеческого назначения на Земле — как дитя и работника Отца Бога. Перенесённые на уровень общества, эти фантомы изверских головёшек, эти страхи плодят общественных паразитов: разнообразных охранников, надзирателей, полицаев и прочих бездарей, жертв аборта, вовремя у их мамок *не* случившегося. Производители оружия для «самообороны», камер для слежения друг за другом людей, заборов и запоров — такие же паразиты, ощутимо избыточные на перенаселённой поганым «царём природы» планете Земля. Но гнуснейшие из таких паразитов — это халтурные (не умеющие без войн и казней) правительства, военщина и идеологически обслуживающие их попы и интеллигенты. В современной России эта погань, идеологическая обслуга, уже завралась, и не знает, как ещё врать, оправдывая международных преступников Чекистской Моли Обнулившейся, Владимира Путина, и войну гнуснейшую в новейшей истории, одну из гнуснейших войн в истории всемирной — агрессию России в отношении Украины.

«Фундамент» для их лжей — именно обдумывание совращёнными ими людьми умозрительного «будущего» вымышленной, несуществующей общности под названием *нация*. Идолопоклонство *нации*, обеспеченное технологиями XXI века, включая информационные, но не уравновешенное, как на Западе, элементами и практиками демократии — это неизбежные диктатура и фашизм, а главное — расплата Свыше: то есть множество бедствий, в перспективе, для самих обманутых своим халтурным правительством агрессоров.

Между тем всякая человеческая жизнь, а тем более бытие вымышленной общности, не могут ничем быть «обеспечены» в Божьем мире, а *изуверские* (то есть обличающие христианское безверие в делаателях) усилия обезопасить, всячески «обеспечить» жизнь «вносят только новые опасности в жизнь и личную и общественную, но никак не обеспечивают её» (*Там же. С. 287*).

Понимание бессмысленности всех личных и общественных суев перед лицом конца жизни и конца мира, именно как слагаемая христианской веры, то есть, усиливаемое смирением, желание дитя, человека, не выходить из воли Отца — вот что может обесмыслить насилие на разных общественных уровнях и разной уровни системности, организации, от драки за выпивку, деньги или самку до мирового побоища:

«Ведь, как бы мы ни назывались, какие бы мы ни надевали на себя наряды, чем бы и при каких священниках ни мазали себя, сколько бы ни имели миллионов, сколько бы охраны ни стояло по нашему пути, сколько бы полицейских ни ограждали наше богатство, сколько бы мы ни казнили так называемых злодеев, революционеров и анархистов, какие бы мы сами ни совершали подвиги, какие бы ни основывали государства и ни воздвигали крепости и башни от Вавилонской до Эйфелевой, — перед всеми нами всегда стоят два неотвратимые условия нашей жизни, уничтожающие весь смысл её: 1) смерть, всякую минуту могущая постигнуть каждого из нас, и 2) непрочность всех совершаемых нами дел, очень быстро, бесследно уничтожающихся. Что бы мы ни делали: основывали государства, строили дворцы и памятники, сочиняли поэмы и песни, — всё это не надолго и всё проходит, не оставляя следа. И потому, как бы мы ни скрывали это от себя, мы не можем не видеть, что смысл жизни нашей не может быть ни в нашем личном плотском существовании, подверженном неотвратимым страданиям и неизбежной смерти, ни в каком-либо мирском учреждении или устройстве» (*Там же*).

«То ли ты делаешь, что требует от тебя Тот, Кто послал тебя в мир и к которому ты очень скоро вернёшься? То ли ты делаешь, что Он хочет от тебя?» — обращается Толстой к читателю, увлечённому своим общественным статусом «землевладельца, купца, судьи, императора, президента, министра, священника, солдата», ложная значительность которого подпитывается в его голове, в его психике

фантомами неизжитых атавизмов общественной животности, продуцирующими идеи и смыслы давно отжитого человечеством, вредного и опасного жизнепонимания язычников и евреев:

«То ли ты делаешь, когда, будучи землевладельцем, фабрикантом, ты отбираешь произведения труда бедных, строя свою жизнь на этом ограблении, или, будучи правителем, судьёй, насилуешь, приговариваешь людей к казням, или, будучи военным, готовишься к войнам, воюешь, грабишь, убиваешь?» (28, 288).

Надо и делать, и практически сразу прилагать напрашивающиеся выводы из раздумий над разительным противоречием: когда просвещённый и научным, и религиозным знанием человек помнит с юных лет, «что только при признании равенства всех людей, при служении их друг другу возможно осуществление наибольшего блага, доступного людям», чувствует в сердце своём, расположенном к любви, что это правда, но, при объявлении войны, общего призыва «должен идти в военные и, отрекаясь от своей воли и от всех человеческих чувств, обещаться по воле чуждых тебе людей убивать всех тех, кого они ему прикажут», при этом не только осознавая, но, опять же, и ощущая, что «существующий строй жизни отжил своё время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах и что потому нет никакой нужды, жертвуя человеческими чувствами, поддерживать его» (Там же. С. 288 – 289).

Начинать думать и *действовать*, без жалости разрушать существующее устройство жизни, вырывать ложные опоры у обманутых миром людей, необходимо уже во времена «мирные», не дожидаясь войны — как о мерах против пожара думают не тогда, когда уж загорелось. Мир и без того «горит» — он обречён грехами человечества. Да вот только — **нет права** ни у кого из как бы разумных *обитателей* этого мира уничтожать не ими, своеволами, а Богом созданное и сознательными сотворцами Божьими поддержанное тысячи лет — да ещё и утягивать в гибель другие виды живой природы, с человеком равноправные перед Богом в праве на жизнь! Поганцев вида homo sapiens не только числом слишком уже много на Земле, но их «слишком много» и той экспансионистской агрессией, которую проявляют эти миллиарды жертв обезьяньей похоти своих родителей и несостоявшегося вовремя аборта по отношению к планете, ко всему живому и всем ресурсам жизни в известном нам Божьем мире. А по нехватке ресурсов — неизбежна перманентная крысья грызня их и между собой.

Что можно сделать наблюдателю из числа более нравственного, религиозно чуткого меньшинства? Конечно, не участвовать в этой крысиной возне: не искать себе «обеспечения» и выгод:

«Кто тебя приставил нянькой этого разрушающегося строя? Ни общество, ни государство, ни все люди никогда не просили тебя о том, чтобы ты поддерживал этот строй, занимая то место землевладельца, купца, императора, священника, солдата, которое ты занимаешь; и ты знаешь очень хорошо, что ты занял, принял своё положение вовсе не с самоотверженной целью поддерживать необходимый для блага людей порядок жизни, а для себя: для своей корысти, славолюбия, честолюбия, своей лени, трусости. Если бы ты не желал этого положения, ты не делал бы всего того, что постоянно нужно делать, чтобы удерживать твоё положение. Попробуй только перестать делать те сложные, жестокие, коварные и подлые дела, которые ты, не переставая, делаешь, чтобы удерживать своё положение, и ты сейчас же лишишься его. Попробуй только перестать, будучи правителем или чиновником, лгать, подличать, участвовать в насилиях, казнях; будучи священником, перестать обманывать; будучи военным, перестать убивать; будучи землевладельцем, фабрикантом, перестать защищать свою собственность судами и насилиями, и ты тотчас лишишься того положения, которое, ты говоришь, навязано тебе и которым ты будто бы тяготишься» (*Там же. С. 289 – 290*).

Эти строки, запомнившиеся в конце XIX столетия многим, прочитавшим слово Льва Николаевича в нелегальной копии или в заграничном неподцензурном издании, сразу пополнили в мире число духовных единомышленников Толстого! Не так были испорчены люди, как в наши дни, и не так засраты, информационно замусорены ихние мозги. Была эта самая *нравственная, религиозная чуткость*: ощущение *истинности и спасительности Слова Истины, единого Слова Бога, Иисуса и Льва*.

Ошибочны не только лично-эгоистические, но и общественные оправдания борьбы и насилия: будь то для своей «ячейки общества», семейства и детёнышей, совершенно не нужных на перенаселённой человеком Земле ни Богу, ни природе, или для общества, «нации», даже для человечества в целом (вспомним здесь, что Толстой и «человечество» по отношению к закону любви признавал фиктивным!). Победивший в своём сознании остатки общественного, языческого и еврейского, отжитого жизнепонимания — увидит, что всё это,

либо ничтожное (как твои, твоего чрева и семени, детёныши, из которых, по наибольшему вероятно, вырастут своеволы, а не сознательные дети и работники Бога и которым лучше предпочесть заботу об уже живущих), либо вовсе иллюзорное, фантом и фикция, как «нация» или человечество. Перед лицом всегда близкой смерти важнее лишь твоё, и каждого по отдельности человека, состояние сознания, именно благорасположение к единению, к любви и отвержение ошибки, греха:

«...Когда ты знаешь наверное, что ты всякую секунду можешь исчезнуть без малейшей возможности ни для себя, ни для тех, кого ты вовлечёшь в свою ошибку, поправить её, и знаешь, кроме того, что, что бы ты ни сделал во внешнем устройстве мира, всё это очень скоро и так же наверно, как и ты сам, исчезнет, не оставив следа, то очевидно, что не из-за чего тебе рисковать такой страшной ошибкой» (*Там же. С. 290*).

Сам процент *преднамеренности* в ошибочном, в пользу вражды, в пользу насилия суждений или поступке — залог возможности для человека избежать, удержаться от такого выбора. Ведь истинный всегда памятен, не может во времена общего просвещения не быть известен:

«"Делись тем, что у тебя есть, с другими, не собирай богатств, не величайся, не грабь, не мучай, не убивай никого, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали", — сказано не 1800, а 5000 лет тому назад, и сомнения в истине этого закона не могло бы быть, если бы не было лицемерия» (*Там же*).

Выраженные в различных, с глубокой древности, нравственные законы, данные людям Свыше и многократно, с древности, подтверждённые пророками и учителями жизни, «соблюдают благо мира», и поэтому обязанности перед обществом, государством «не могут не быть подчинены высшей вечной обязанности», вытекающей из принадлежности единосущной человека к Богу, а к миру, живущему в Боге — как дитя и работника единого Отца. И высшие обязанности противоречат низшим: перед самкой, детёнышами (семейством), перед референтными общественными группами, перед государством:

«И как твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к известной семье, обществу, всегда подчиняются высшим обязанностям, вытекающим из принадлежности к государству, так и твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к государству,

необходимо должны быть подчинены обязанностям, вытекающим из твоей принадлежности к жизни мира, к Богу.

...Как это и сказали 1800 лет тому назад ученики Христа (Деян. Ап. IV, 19): "Судите, справедливо ли слушать вас более, чем Бога" и (V, 29): "Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам" (Там же. С. 290 – 291).

Человек, связавший себя мирским обманом, может выдвигать один самообман в поддержку другого: например, оправдывать своё ма-родёрство в Украине, даже самую свою военную службу тем, что желает получше «обеспечить» своих подпутинских, ожидающих «героя» в России, самку и детёнышей. То же касается прочих греховных поприщ. Лев Николаевич Толстой и не ждёт от стандартных аборигенов страны рабов и дураков немедленных шагов к Истине, к Богу и Христу, но стремится побудить таковых хотя бы к *искренности перед самими собой*, к называнию вещей *своими* именами:

«Я не говорю, что, если ты землевладелец, чтобы ты сейчас же отдал свою землю бедным, если капиталист, сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр, служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения, если солдат (т. е. занимаешь то положение, на котором стоят все насилия), то, несмотря на все опасности отказа в повиновении, тотчас бы отказался от своего положения.

Если ты сделаешь это, ты сделаешь самое лучшее, но может случиться — и самое вероятное — то, что ты не в силах будешь сделать этого: у тебя связи, семья, подчинённые, начальники, ты можешь быть под таким сильным влиянием соблазнов, что будешь не в силах сделать это, — но признать истину истиной и не лгать ты всегда можешь. Не утверждать того, что ты остаёшься землевладельцем, фабрикантом, купцом, художником, писателем потому, что это полезно для людей, что ты служишь губернатором, прокурором, царём не потому, что тебе это приятно, привычно, а для блага людей; что ты продолжаешь быть солдатом не потому, что боишься наказания, а потому, что считаешь войско необходимым для обеспечения жизни людей; не лгать так перед собой и людьми ты всегда можешь, и не только можешь, но и должен, потому что в этом одном, в освобождении себя от лжи и исповедании истины состоит единственное благо твоей жизни.

И стоит тебе сделать только это и само собой неизбежно изменится и твоё положение.

Одно, только одно дело, в котором ты свободен и всемогущ, дано тебе в жизни, все остальные вне твоей власти. Дело это в том, чтобы познавать истину и исповедовать её» (Там же. С. 291 – 292).

Поганцы и поганки с засратыми с детства мамкой, папкой и прочими горе-воспитателями мозгами смеются над Толстым-христианином и его «утопией», его «наивностями» — а жизнь смеётся потом над ними, в особенности же казённая тётя «родина», «родное» государство, извечное разбойничье гнездо, именующее себя Россией, всегда умеющее дать почувствовать и понять, на какой оси оно тебя повертело, обманув и использовав, как соучастника своих преступлений.

Между рабством у людей и соработничеством, сотворчеством Богу человека как дитя Отцу — не очевиден ли, не прост выбор?

К пониманию единственности, очевидности этого выбора подводит читателя Лев Николаевич, завершая и Заключение, и уже всю книгу евангельскими словами Христа:

«Ищите царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установлению царства Божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание её каждым отдельным человеком.

"И не придет царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: царствие Божие внутри вас есть"» (Там же. С. 293).

\* \* \* \* \*

Трактат стал первой крупной работой, написанной уже не тем человеком-христианином, который, если бы не подстерёг его сатана в виде вожделеющего переезда в Москву семейства, мог бы, живя тихо, по своим идеалам, в Ясной Поляне, оставаться Толстой-христианин. Написано же «Царство Божие...» тою самой, выстряпанной общественным мнением, «глыбой» не улыбой, монстром всемирной *нравственной авторитетности*, великим-развеликим... увы! уже не художником, об имманентности коему вопило к разуму Толстого его окружение и всё, что было в его личности более приземлённого, начиная со старого тщеславия; и коим мог бы он остаться, избавив Ивана Сергеевича Тургенева от известного предсмертного моления к «великому писателю земли русской», если бы не ощутительная



необходимость Толстого, возлюбив сердцем Христа и Истину первоначального, открывшегося ему, учения — проповедать о нём миру, исходя из актуальных задач спасения надвигавшейся эпохи больших войн и иных мучительнейших бедствий, обрушенных на себя нашим лжехристианским миром.

Книга всё нудилась, всё не давалась окончанием — а её давно ждали издатели и переводчики. Редактор журнала «Вопросы философии и психологии» Николай Яковлевич Грот в феврале 1892 г. передал через сына писателя, Льва Львовича, своё предложение. Ещё раньше, в декабре 1890 г., работая над первыми главами, Толстой пообещал рукопись для перевода знакомому лично англичанину Эмилию Диллону, а в сентябре 1891 г. — датчанину Петеру Ганзену. Шла переписка и с немецким издателем Иосифом Кюршнером, для которого перевод должен был подготовить Рафаил Лёвенфельд. Тот летом 1890 г. приезжал в Ясную Поляну и провёл здесь три дня: он готовился писать биографию Толстого. В Берлине в этом же году вышло собрание сочинений Толстого под редакцией Лёвенфельда. Биография, корректуры которой прочёл сам Толстой, доведённая до 1860-х годов («Войны и мира»), была издана в 1892 г.: R. Löwenfeld. Graf Leo Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung.

Летом 1892 г. Толстой, Чертков и Татьяна Львовна переписывались и о Лёвенфельде, и о преподавателе английской литературы в Александровском лицее Карле Ивановиче Тёрнере (Turner). Впрочем, в последнем сомневался Чертков — из-за религиозных убеждений Тёрнера; Толстой в трёх кратких тезисах изложил тогда в письме к возможному переводчику «главные мысли» своей книги (см. 66, 235 – 236).

Религиозные предрассудки повредили кониакиам по поводу «Царства Божьего» не с одним Тёрнером. 17 марта 1893 г. из Москвы, куда он приехал 27 февраля, Толстой написал В. Г. Черткову: «Янжул профессор едет в Америку. Я с ним посылаю Гапгуд <переводчице *Изабеле Флоренс Хэпгуд*, 1851 – 1928. – Р. А.> мою рукопись всю. Он едет в субботу. И я кончил, могу допустить, что кончил. Сказать, что кончил, я никогда не дождусь. Но уж дошёл до того, что стал портить ... Удобно то, что Янжул поможет Гапгуд в трудных местах и, в случае отказа Гапгуд, даст другому» (87, 182). 13 марта в сопроводительном письме к переводчице Толстой заметил, что «очень завидует» супругам Янжулам, едущим в Америку.

Изабела Хэпгуд была хорошо знакома Толстым и лично, и как переводчица. В голодные годы она организовала Толстовский фонд для спасения русских крестьян, собрала и передала в Россию, немалые средства, и семья Толстых (Лев Николаевич, Софья Андреевна, Мария Львовна, Татьяна Львовна) в 1892 – 1893 гг. находились с нею в постоянной, энергичной переписке. Незадолго до того Хэпгуд перевела и напечатала в Америке статью Льва Николаевича «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Толстой даже хотел весной 1892 г. писать особую статью про «последние выводы и впечатления о голоде и борьбе с ним». В письме к Хэпгуд от 16 (28) марта 1892 г. он признавался: «Очень, очень хотелось бы написать статью и напечатать у вас в Америке, хотя бы как выражение благодарности за братское сочувствие к нашему бедствию, выказанное вашим народом» (*Неизвестный Толстой в архивах России и США. М., 1994. С. 237*).

14 (26) апреля 1892 г. Янжул известил Толстого из Нью-Йорка, что рукопись «Царства Божьего» отдана переводчице. Далее случилось то, что совершенно не предвидел Толстой. «Спустя несколько дней, — вспоминал Янжул, — фигура огромной г-жи Хэпгуд опять появилась на пороге нашего скромного жилища. Мы, разумеется, её приветствовали очень любезно, но на этот раз нашли её в самом дурном настроении духа. С большим раздражением, можно сказать, гневом, она бросила мне на стол огромный свёрток рукописи, ей врученный ранее, и быстро заговорила:

— Я удивляюсь, как мне подобная рукопись могла быть прислана для перевода! Я хорошая христианка и не могу сочувствовать распространению этого анархического сочинения! Знаете ли, что в нём заключается? Читали ли вы его?» (Воспоминания И.И. Янжула о пережитом и виденном в 1864 – 1909 годах. СПб., 1911. Вып. 2. С. 13: [http://az.lib.ru/j/janzhul\\_i\\_i/text\\_1911\\_vospominania\\_o\\_perezhitom-2-oldorfo.shtml](http://az.lib.ru/j/janzhul_i_i/text_1911_vospominania_o_perezhitom-2-oldorfo.shtml) ).

16 (28) апреля 1893 г. Хэпгуд отправила письмо Толстому, где благодарила за доверие к ней как переводчице, но подтвердила отказ («мои убеждения не позволяют мне переводить эту книгу») и обещала указать другое лицо (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 41*). Но, вероятно, после этого послала мысленно нахуй оптом всех — и тупо-натупо позабыла своё обещание. Янжул сам нашёл перевод-

чицу. Ею оказалась *Алина Делано* (Alin Delano, урожд. Шурка Кузмищева; 1845 – после 1908), русская по происхождению, жившая в Бостоне.

Около 22 апреля Толстой передал со своим знакомым, художником Н. А. Касаткиным, уезжавшим за границу, одиннадцать глав книги — для Рафаила Лёвенфельда в Берлин и Гальперина-Каминского в Париж. В заключительную, XII-ю главу, ещё вносились поправки...

Переводчице Алине Делано, слава Богу, было всё равно. Она без ропота выполнила свою работу, при этом учтя изменённый и присланный автором только в мае 1893-го новый вариант XII-й главы.

Но не одной старой деве мисс Хэпгуд отругнулось от резко обличительной и проповеднической книги Толстого. В августе Алина Делано известила Толстого, что предлагала перевод трём издателям, все отказываются либо сомневаются. При этом она приложила письмо с прямым отказом сотрудника издательства «Houghton and Mifflin — между прочим, сына кумира Толстого, о котором он написал много хорошего в трактате, Уильяма Ллойда Гаррисона. Английский перевод «Царства Божия внутри вас», сделанный Делано, появился в начале 1894 г. в Лондоне (изд. Walter Scott). В мае 1894-го Делано послала Толстому это издание, сообщив, что фирма Вильяма Гейнемана выпустила перевод великолепной Констанции Гарнет, и обе книги уже продаются в США.

Всё это было уже после того, как в Париже появился французский перевод И. Д. Гальперина-Каминского, в Риме итальянский Софии Бер, в Штутгарте немецкий Рафаила Лёвенфельда. При этом в Германии печатался и русский текст — для нелегального распространения в России. 13 (25) января 1894 г. Лёвенфельд извещал, что экземпляр русского издания (Август Дейбнер, Берлин) уже послан Толстому, а немецкий будет отправлен немного позднее. Это письмо — ответ на запрос Толстого: «Я предполагаю, что издатель сомневается выпустить её, чтобы не подвергнуться обвинению. Если это так, пожалуйста, сообщите мне всё это. Может быть, я могу устранить предстоящие затруднения. Выпускать же книгу с пропусками мне очень нежелательно, но, я думаю, и неудобно, так как она в целости вышла в Париже и, должно быть, теперь уже вышла и в Лондоне» (67, 16).

Однако русское издание вышло в Берлине с цензурными пропусками: в VIII главе опущены две страницы о Вильгельме II, в двух последующих главах изъяты или смягчены характеристики немецких правителей, Петра I и Екатерины II.

Как и позднее, с некоторыми антивоенными статьями или с романом «Воскресение», орава переводчиков доставила автору специфические неприятности. Один из них, Вильгельм Генкель, решил выпустить сокращённый вариант книги. Рафаил Лёвенфельд выазил протест, заявив о своих эксклюзивных правах. Толстой написал Генкелю сочувственное письмо, сожалея о «неприятностях», которым тот подвергся «вследствие несправедливых нападок г-на Лёвенфельда»: «Мысль ваша о составлении сокращённой и дешёвой книги из “Царства Божия...” мне очень нравится» (*Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 44*). Напомним читателю, что так было поступлено с другим огромным и тяжёлым для многих читателей сочинением Толстого: на основе «Соединения и перевода четырёх Евангелий» было составлено поправленное и авторизованное Толстым «Краткое изложение». Но тогда, в 1880-х, Толстой как учительствующий проповедник и как публицист ещё не был, как сказали бы в наше время, дорогим «всемирным брендом».

По одному из английских текстов прочитал новую работу Толстого 25-тилетний *Мохандас Карамчанд Ганди* (Mohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi, 1869 – 1948), живший тогда в Южной Африке. В 1928 г. он сам вспоминал об этом: «Сорок лет тому назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого “Царство Божие внутри вас”, и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убеждённым сторонником ахимсы <гармоничных теории и практики ненасилия. – Р. А.>. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шёл на любые жертвы ради истины» (*Ганди М.К. Мой Толстой. – Цит. по: Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон. СПб., 1996. С. 325*).

В России, как водится, препонами цензуры был вызва эффект «запретного плода». Книгу разыскивали и жадно читали те, кто, при свободном к ней доступе в библиотеках или у книгопродавцев, могли бы и не обратить на неё внимания. Помимо нелегального ввоза, книга читалась по гектографическим и рукописным (!) копиям. Благодаря доступу к рукописям трактата ряда лиц, близких к В. Г. Черткову, первые отзывы на сочинение читателей появились задолго до официальной публикации. Так, второстепенный, но глубоко уважавшийся Толстым писатель Александр Иванович Эртель писал фило-

софу Павлу Александровичу Бакунину 24 декабря 1892 г.: «Л. Толстой кончил большое сочинение о войне или, вернее сказать, о государственности. Я читал семь глав из двенадцати. Есть места, поразительные по верности мысли и силе лиризма, но в общем мне не понравилось; однако же недавно я слышал от человека, прочитавшего последние *пять* глав, что ещё никогда Толстой не доходил до такой энергии и красоты выражений и что общая основная его мысль развита здесь в размерах едва ли не революционных. Сочинение, конечно, не может появиться в России» (*Письма А.И. Эртеля. М., 1909. С. 292 – 293*).

В июле 1893 г. литератор, близкий знакомый и единомышленник Толстого Александр Модестович Хирьяков, молодой журналист, сотрудничавший некоторое время в «Посреднике», привёз в Меррекуль, где проводил лето Лесков, свой рукописный экземпляр. Как вспоминала Лидия Ивановна Веселитская (как писательница известная так же под псевдонимом Веры Микулич), чтение продолжалось несколько вечеров. В письме к Толстому Лесков ограничился краткими замечаниями: «...сочинение Ваше мудро и прекрасно сделано. Надо жить так, как у Вас сказано, а всякий понеси из этого сколько можешь... Всё то, что Вы думаете и выражаете в этом сочинении, — мне сродно по вере и по разумению, и я рад, что Вы это сочинение написали и что оно теперь пошло в люди» (*Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Т. 2. С. 274 – 275*). Татьяне Львовне Лесков пояснил: «О впечатлении теперь не буду говорить, так как оно *огромно* и ещё не утряслось. Может быть, нам и не следует писать своих впечатлений, так как всё, что нам кажется, — вероятно, было у Льва Николаевича на уме и им отвергнуто по достаточным причинам» (*Вопросы литературы. 1964. № 10. С. 253*).

Любопытен отзыв писателя, публициста, будущего консервативного гонителя и ругателя Толстого, а в те годы ещё вполне толстовца, Михаила Осиповича Меньшикова (1859 – 1918), писавшего Толстому 20 июля 1893 г. следующее:

«Не могу отделаться от душевной тревоги и раздумья, навеянного этою мужественною, прекрасною книгой, — писал Меньшиков. — Вся она, а в особенности её выводы и заключения, производят захватывающее, могучее впечатление, будят стыд и совесть и желание быть лучшим... Нет сомнения, что эта книга вызовет против Вас новые взрывы ненависти, но она же вызовет и искренние слёзы раскаяния, сердечного возмущения, чувство глубокой признательности

к единственному человеку, самоотверженно ставшему на защиту общечеловеческой, божеской правды» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 45 – 46). Толстой 3 августа ответил, что был рад: «Я давно знаю вас и люблю ваши писанья. И потому мне очень дорог был ваш отзыв» (66, 375).

Находившийся с Толстым в переписке с 1887 г. писатель и сектант-молоканин Фёдор Алексеевич Желтов сетовал на чрезмерный критицизм книги и ждал изложения положительных взглядов: «Необходимо удерживать читателя у того окна, из которого Вы смотрите на мир» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 46).

По какому-то гектографированному списку читал «Царство Божие...» и выдающийся критик Владимир Васильевич Стасов. 25 августа 1894 г. он писал Толстому, что «не помнил себя от восторга, читая эту *первую* книгу нашего века». «...У меня была только одна печаль и беда: зачем так скоро кончилась книга, зачем она не продолжается ещё 200 – 300 страниц, зачем она не поворачивает гигантской львиной лапой ещё сто других вещей» (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878 – 1906. Л., 1929. С. 139).

Немного раньше, в письме из Парижа к Татьяне Львовне от 19 апреля, один из давнейших и самых любящих, преданных друзей и единомышленников во Христе Льва Николаевича, великий художник Илья Ефимович Репин назвал «Царство Божие...» «вещью ужащающей силы» и рассказывал, что видел её в витринах итальянских книжных магазинов (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 46).

Цензура российская (специальная – «для иностранных изданий») и зарубежная, конечно, работала... на рекламу книги! В письме к Толстому от 29 октября 1893 г. Николай Николаевич Страхов сообщал: «Ваша книга “Царствие Божие” встречена тихо, но очень враждебно, как и следовало ожидать. Цензура объявила, что это самая вредная книга из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать. О, Вы делаете чудеса, бесценный Лев Николаевич! Вы будите спящий дух, Вы один говорите *живые* слова, и они неотразимо действуют. [...] Наполовину отзывы мне понравились, — не содержанием, а своим очень почтительным тоном; этот тон всё еще непривычная новость» (Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Стрехова (1870—1896): В 2 т. СПб., 2023. Том 2. Кн. 2. С. 372).

В подобных похвалах близких друзей, кстати — ключик к пониманию важной причины недовольства Толстого многими своими вы-

ступлениями в печати — включая и такие художественные сенсации, как «Крейцерова соната» или роман «Воскресение». Как и все мы, он помнил — и не только по стиху Пушкина, но и по религиозному православному воспитанию — что «глаголом», то есть словом своим, нужно сердца *зажигать*, но никогда не пусто будоражить и не тем более не выпускать из них яд злобы... А тут — и отзывов *половина*, мало того, что написана с непониманием, отторжением слова «Царство Божие», так ещё и непочтительным тоном! Слово-то живое... А сердца тогда — отчего не зажгло? Или сердца так сильно подмочены, или всё-таки...

Так или иначе, но, несмотря на препоны цензуры, Россию проникали как немецкое издание на русском языке, так и переводы. 18 мая 1894 г. Главное управление по делам печати распространило секретный циркуляр начальника главного управления по делам печати Министерства внутренних дел (главного цензора России) Евгения Михайловича Феоктистова: «До министерства внутренних дел дошли сведения, что сочинение графа Л. Толстого “Царство Божие внутри вас есть”, напечатанное за границею и безусловно запрещённое к обращению, в настоящее время в значительном количестве экземпляров тайно проникло в пределы империи и распространяется между прочим путём перепечатывания на пишущих машинах, в особенности в южных губерниях». Предписывался бдительный негласный надзор за всеми типографиями, литографиями и даже частными лицами, имеющими пишущие машинки (*Апостолов Н. Л. Н. Толстой под ударами цензуры // Красный архив. Т. 35. М., 1929. С. 230*).

«Царством Божиим» персонально огорчён был, вкуче с окружением, император Александр III любивший Толстого как художника, а жену его — платонической любовью безнадежного, уже предсмертного старика к энергической, умнейшей, многоталантливой и прекрасной женщине. В те дни Татьяна Львовна, умница в маму, но частая, в юности, сторонница папы, рассказала в Ясной Поляне «придворный анекдот»: «Профессор Ключевский явился давать урок великой княжне Ксении, дочери Александра III. “Я не буду сегодня заниматься, — сказала та, — я расстроена, потому что папа расстроен. Он читал последнее произведение Толстого “Царство Божие” и говорит: “Его давно пора засадить”. А ваше — профессоров — каково мнение об этом?”. Неизвестно, что отвечал Ключевский». Другой вариант этой истории, тоже со слов Татьяны Львовны, привёл Д.

П. Маковицкий, бывший в Ясной Поляне в августе 1894 г.: Александр III пришёл с книгой «Царство Божие внутри вас» в кабинет одного из своих сыновей, которому в это время профессор В. О. Ключевский преподавал историю. «Это ужасно, что Толстой пишет, — сказал царь, — следовало бы его наказать. Вы, господа, — обратился он к профессору, — не дадите мне его выслать». Ещё раньше, когда царю советовали употребить репрессии против Толстого, он ответил: «Je ne veux ajouter à sa gloire la couronne de martyr» <фр. «Я не желаю увеличивать его славу короной мученика»>. «Мы, — прибавляла Т. Л. Толстая, — ожидаем, что нас всё-таки куда-нибудь вышлют. Но правительство знает, что если бы оно выслало отца за границу, это лишь увеличило бы его влияние». И, в своём дневнике: «Папа часто говорит, что был бы рад гонениям, но я думаю, что и ему это было бы тяжело» (Цит. по: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 112).

Между тем, пресса охотно помещала критические разборы формально запрещённой в России книги. Консервативно настроенный поэт Яков Петрович Полонский (1819 – 1898) опубликовал в журнале «Русское обозрение» (1894, № 3 – 4) пространную статью «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого», а два года спустя выпустил её отдельной брошюрой. Здесь говорилось: «Я возражаю графу вовсе не ради себялюбия или ради того, чтоб как-нибудь повредить ему. Мы никогда не были врагами, и я до сих пор люблю его, как доброго старого знакомого, и поклоняюсь ему, как гениальному художнику. Но виноват ли я, если моё *разумение жизни* иное, что я иначе понимаю, как идти к нравственному совершенству» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 47). Полонский был против толстовской критики государства и церкви. «В сущности же любовь, проповедуемая Толстым, таит в себе такие семена ненависти, и затем братоубийственного кровопролития, что становится страшно» (Там же). Это по сей день частый, ничем не доказуемый, выпад противников Христа и Толстого, отчего-то убеждённых, что возвещённый Иисусом Христом «не мир, но меч» будет в руках именно свободного, не dogматического христианина — лишь потому, что он не разделяет с душевной толпой её душевных, чуждых первоначальному христианству суеверий...

Статья Полонского «По поводу одного заграничного издания новых идей гр. Л. Н. Толстого» после публикации в «Русском обозрении» вызвала совершенно неожиданный резонанс: в правительственных



кругах её восприняли как голос в их поддержку и одобрили, хотя Полонский на это и не рассчитывал. Писателя посетил товарищ министра народного просвещения. «От последнего узнал я, - признавался Полонский, - что и министр граф Делянов читал ее и даже выразил желание разослать статью по учебным заведениям, если она будет издана в виде брошюры. Издать, конечно, не долго, да это и не будет дорого стоить, но... Тотчас же пойдёт молва, что я писал по заказу, писал, чтоб угодить нашему правительству... Заподозрится искренность моих убеждений...»

Быть неискренним Полонский не мог, но в то же время он не предполагал, что его статья так заинтересует министра народного просвещения.

С. С. Тхоржевский опубликовал выписки из дневника Полонского за 1896 год:

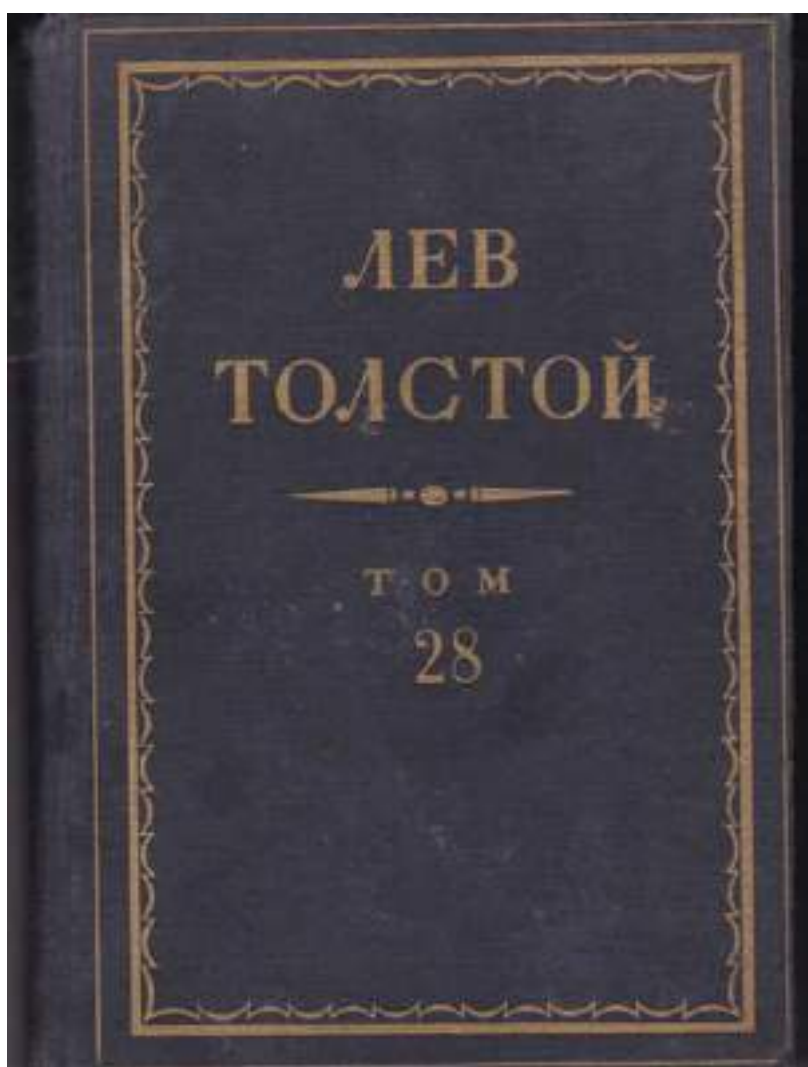
*«2 января.* Вечером был у меня А. Н. Майков. Говорил о том, что нет ни одного лица, способного быть министром народного просвещения... Поневоле Делянов держится ещё на его министерском месте.

*30 января.* ...В синодальную типографию послан последний лист моих заметок о графе Л.Н. Толстом».

Именно благодаря министру Делянову заметки Полонского были изданы отдельной брошюрой и разошлись в течение двух дней, чего сам автор никак не ожидал.

В письме к Толстому Полонский поделился своими мыслями о совершенствовании человеческих отношений: «Проповедуй Вы реформы, я примкнул бы к Вам, как к реформатору, преследующему более или менее усовершенствование того, что... искажено... невежеством и человеческими пороками». Всё ту же мысль о связи общественных учреждений с «прогрессом» Полонский выразил в неопубликованной статье «В каком смысле я монархист и республиканец», хранящейся в Пушкинском доме Российской академии наук. П. А. Орлов, изучивший рукопись, писал: «Основные мысли этой статьи сводятся к следующим положениям. Политический строй любого государства обусловлен, по мысли автора, степенью культуры населяющего его народа. В силу этого форма правления зависит «от статистических данных, а не от теорий и прокламаций»... Полонский даже делает попытку определить примерные условия для той или иной формы государственного строя... Само существование монархии объясняется автором статьи исключительно невежеством подданных. Россия, по мысли писателя, ещё нуждается в монархе, ибо

народ (имеется в виду прежде всего крестьянство) не уяснил себе «никаких понятий о том, что такое государство и общество», потому без царя «всё превратится в хаос, из которого нам не дадут и выйти враги наши, а воспользуются им, чтобы... покорить своему влиянию». Иными словами, Полонский считает себя монархистом не потому, что ему вообще нравится эта форма правления, а только потому, что вынужден признать временную её необходимость для России» (<http://jakovpolonsky.ru/print/936> ). Самое удручающее и одновременно грустно-комичное здесь то, что и в современной, 2023 года, России у Я. П. Полонского нашлись бы единомышленники со списком «врагов России» и поклонением, как батюшке царю, действующему президенту.



Волшебный 28-й том юбилейного Полного собрания сочинений...  
Единственное издание, в котором узники коммунацкого Совка-СССР могли прочесть  
полный текст «Царства Божьего». 1957 г. Тираж 5 тысяч экз.

Без цензурных пропусков и на русском языке книга «Царство Божие внутри вас» была напечатана в 1896 г. в Женеве издателем из России, эмигрантом Михаилом Константиновичем Элпидиным. Под текстом стояла дата и подпись. «14 мая 1893 г. Ясная Поляна. Л. Толстой».

Это был день, когда Толстой с удовлетворением отметил в Дневнике завершение трёхлетнего труда: «Я свободен» (52, 78).

\* \* \* \* \*

Освободив наконец, очень кстати, цветущими майскими днями, себя от радостно-мучительного, исключительного по трудоёмкости дела служения Божьей Истине учения Христа, Толстой «озадачил» не одних переводчиков. По существу, книга дала «руководство к действию» прежде немногочисленным отказникам от военной службы, значительно подробнейшее, нежели «программный» трактат Льва учителя, Толстого-христианина начала 1880-х «В чём моя вера?»

Одним из частных следствий распространения сладко-запретного сочинения Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас» стал рост числа отказов от военной службы, и не только в России. Год 1895-й стал годом своеобразного «парада отказников», с частью из которых у Толстого установились личные близкие отношения.

Яркий пример такого отказника в России — *Пётр Васильевич Ольховик* (1875 – ?) – крестьянин Сульского уезда, Харьковской губ., последователь Толстого, его корреспондент и адресат. В 1895 г. он отказался от воинской службы, за что был арестован и отправлен из Одессы пароходом во Владивосток. Толстой обращался ко многим влиятельным лицам, в т. ч. к судье Временного морского суда порта Владивостока, с просьбой помочь Ольховику и его духовному ученику, солдату Серёде облегчить их положение. Это «спасло их от телесного наказания и уменьшило их срок содержания» (71, 342). Ниже мы ещё вернёмся к этому яркому сюжету.

Пример единомышленника 1890-х гг. за рубежом — молодой французский художник *Эдуард Синэ* (Sinet; годы жизни не установлены), посетитель, корреспондент и адресат Льва Николаевича. Живя во Франции, Синэ по религиозным мотивам отказался от военной службы, за что был осуждён и отправлен в дисциплинарный батальон в Алжир, откуда бежал. 25 декабря 1898 г. из Парижа Синэ отправил Толстому большое письмо, в котором поведал о себе и

своих сомнениях. Начато оно обращением «Grand Homme! [Великий человек] [...] Брошенный с детства в жизнь, полную приключений, я жадно искал истины, когда наконец один искренний человек указал мне на вас. С тех пор я твердо уверен, что вышел из тёмного и бесконечного лабиринта заблуждений. Итак, я хочу немедленно направить свою жизнь, и мне необходимо выбрать тот или иной путь. [...] Отец мой, направьте меня на верный путь!» (72, 4 – 5). В ответ 2/14 января 1899 г. Толстой писал: «Дорогой брат [...]. Моисей не вошёл в обетованную землю, а наиболее возвышенный и богатый последствиями пример в жизни Иисуса – это его смерть. Покинутый всеми друзьями, один среди врагов, он сам одну минуту усомнился в пользе своей жертвы. 100 лет спустя после его смерти учение и жертва его были менее известны цивилизованному миру того времени, чем страдания последнего русского, немецкого, шведского солдата, который отбывает свой срок в тюрьме за отказ от службы. И вот теперь это забытое учение воскресает, перерождает весь мир и изменяет его в корне» (72, 4).

Синэ приехал к Толстому в Хамовники в феврале 1899 г. 27 февраля жена писателя, Софья Андреевна Толстая записала в дневнике: «Живёт у нас художник, ничтожный французик, совершенно бесполезный; пустили его жить без меня. Фамилия его Sinet» (*Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 449*). Толстой воспринимал гостя иначе: «Живёт интересный и живой француз Sinet. Первый религиозный француз» (дневник, 21 февраля 1899 г.; 53, 219). В. Г. Черткову он писал: «У меня живёт француз Sinet — живописец, первый француз радикальный христианин. Я с ним пошёл на выставку Ярошенки...» (88, 157). В том же году стараниями Толстого Синэ с четвёртой партией духоборов (карских) из Батуми отправился в Канаду. Они поселились на равнине Деад-Хорс-Крик и в провинции принца Альберта. У духоборов сохранились воспоминания о Синэ: «Приезжал к нам молодой парнишка, Эдуард звали, француз; рассказывает, хочет жить с нами. Но только ему было трудно. Пробовал они пахать, и косить – всё нейдёт. Наконец попробовал носилки носить с женщинами, сено, например, и тут не мог. “Видимо, говорит, мои руки только для письменности годятся”. Взял и уехал домой» (*Цит. по: Тан В.Г. Духоборы в Канаде. М., 1911. С. 231*). Через два года после отъезда из России в Канаду Синэ получил амнистию и вернулся во Францию.

В хамовническом доме Толстых, в комнате камердинера, что рядом с кабинетом Толстого, над кроватью висит выполненный художником Синэ карандашный портрет жившего в этой комнате слуги И. В. Сидоркова.

Но, пожалуй, наиболее выдающимся из «отказников» этих лет был словак, доктор *Альберт Альбертович Шкарван* (Skarvan, 1869 – 1926) — словацкий врач и литератор; единомышленник, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого, автор статей и воспоминаний о нём. В 1895 г., буквально за шесть недель до завершения срока службы, под влиянием христианских писаний Льва Николаевича и общения с его духовными львятами — в числе которых был соотечественник Шкарвана, Душан Маковицкий — Альберт Альбертович «дозрел» до отказа от военной службы. Показательно, что последовательного толстовца, то есть свободного христианина, доброжелатели убеждали «дослужить», а затем уже, в отставке, использовать мирской авторитет свой и дар печатного слова — на общественно-политическую, пацифистскую деятельность. Но Шкарван, как сам Христос, предпочёл мирскому влиянию Бога и Истину... Благодаря имени Толстого, с которым он связал себя, он не прогадал: все его пацифистские выступления уже в XX веке были бы забыты, а «Записки военного врача» и дневниковые записи находят своего читателя до сего дня: тем более, что Лев Николаевич включил отрывки из «Записок» в свой «Круг чтения».

За этот отказ накануне отставки Шкарван был помещен в психиатрическую больницу, а затем лишён диплома врача и приговорён к тюремному заключению. Из тюрьмы тётя «родина» не раз пытается принудить А. А. Шкарвана к возвращению к медицинской службе — в качестве уже разжалованного, солдата санитарной роты. В ожидании очередной попытки мобилизации Шкарван уезжает в Россию — к единомышленникам и к Толстому...

Среди суждений Толстого об Альберте Шкарване затерялось упоминание о нём, как «высокообразованном, совершенно свободомыслящем, военном враче» (39, 85). Затерялось потому, что это упоминание о Христовом единовеце своём Лев Николаевич оставил в тексте своего сочинения, написанного в январе-феврале 1895 года и посвящённого совершенно другой персоналии, с весьма трагической судьбой — народному учителю *Евдокиму Никитичу Дрожжину*. Помимо стараний Толстого и его помощников в общем служении, об

этом отказнике и его страданиях тётя «родина» постаралась замолчать и забыть ещё при жизни писателя. Именно поэтому, не представляя читателю, в том же формате краткости, всей плеяды исторически известных духовных отказников от военщины — как правило, благоговейных читателей «Царства Божия» и «В чём моя вера?», — и, завершая наконец значительнейшую не одними объёмами Главу, в следующей мы подробнее остановимся на судьбе именно этого, надолго забытого, человека, показательной именно подробностями жестокости, и по сей день применяемой в российской армии исподтишка (а в оккупированной части Украины, с начала 2023 года — даже и по законам, спешно принятым подпутинскими шлюхами в Думе!), типичной и ярко характеризующей нравы и «традиции» взаимоотношений государства и личности, характерные для гнусных отщепенцев всемирной цивилизации III тысячелетия, именующих себя Россией и «русским миром».

## ЗДЕСЬ КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ



### Прибавление 1.

#### Из Двенадцатой главы трактата Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас»

В начале ноября, проезжая по Туле, я увидел опять у ворот дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жён. Это был рекрутский набор.

Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошёл в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города.

Как и все прежние года, во всех сёлах и деревнях 100-миллионной России к 1-му ноября старосты отобрали по спискам назначенных ребят, часто своих сыновей, и повезли их в город.

Дорогой шло безудержное пьянство, в котором старшие не мешали рекрутам, чувствуя, что идти на такое безумное дело, на которое они шли, бросая жён, матерей, отрекаясь от всего святого только для того, чтобы сделаться чьими-то бессмысленными орудиями убийства, слишком мучительно, если не одурманить себя вином.

И вот они ехали, пьянствовали, ругались, пели, дрались, уродовали себя. Ночь они провели на постоянных дворах. Утром опять опохмелились и собрались у земской управы.

Одна часть их в новых полушубках, в вязаных шарфах на шеях, с влажными пьяными глазами или с дикими подбадривающими себя криками, или тихие и унылые толкуются около ворот между заплаканными матерями и жёнами, дожидаясь очереди (я застал тот день, в который шёл самый приём, т. е. осмотр назначенных в ставку); другая часть в это время толпится в прихожей присутствия.

В присутствии же идет спешная работа. Отворяется дверь, и сторож вызывает Петра Сидорова. Пётр Сидоров вздрагивает, крестится и входит в маленькую комнатку с стеклянною дверью. В этой комнатке раздеваются призываемые. Только что принятый и вышедший голым из присутствия рекрут, товарищ Петра Сидорова, с дрожащей челюстью торопливо одевается. Пётр Сидоров уже слышал и по лицу видит, что тот принят. Пётр Сидоров хочет спросить, но его торопят и велят скорее раздеваться. Он скидывает полушубок, нога об ногу сапоги, снимает жилет, перетягивает через голову рубаху и с выступающими рёбрами, голый, дрожа телом и издавая запах вина, табаку и пота, босыми ногами входит в присутствие, не зная, куда деть обнажённые жилистые руки.

В присутствии висит прямо на виду в большой золотой раме портрет государя в мундире с лентой и в углу маленький портрет Христа в рубахе и терновом венке. По середине комнаты стоит покрытый зелёным сукном стол, на котором разложены бумаги и стоит треугольная штучка с орлом, называемая зеркало. Вокруг стола сидят с

уверенным, спокойным видом начальники. Один курит, другой перелистывает бумаги. Как только Сидоров вошёл, к нему подходит сторож, и его ставят под мерку, толкают под подбородок, поправляют его ноги. Подходит один с папироской — это доктор, и, не глядя в лицо рекрута, а куда-то мимо, гадливо дотрагивается до его тела и меряет, щупает и велит сторожу разевать ему рот, велит дышать, что-то говорить. Кто-то что-то записывает. Наконец, ни разу не взглянув ему в глаза, доктор говорит: "Годен! Следующего!" и с усталым видом садится опять к столу. Опять солдаты толкают малого, торопят его. Он кое-как, поспешая, натягивает рубаху, не попадая в рукава, кое-как завёртывает штаны, портянки, надевает сапоги, ищет шарф, шапку, подхватывает в охапку полушубок, и его выводят в залу, отгораживая его скамьей. За этой скамьей ждут принятые. Такой же, как он, молодой малый из деревни, но из дальней губернии, уже готовый солдат с ружьём, с примкнутым острым штыком караулит его, готовый заколоть его, если бы он вздумал бежать.

Между тем толпа отцов, матерей, жен, толкаемая городскими, жметя у ворот, узнавая, чей принят, чей нет. Выходит один забракованный и объявляет, что Петруху приняли, и раздаётся взвизг Петрухиной молодайки, для которой это слово: "принят", значит разлука на 4 – 5 лет, жизнь солдатки в кухарках, в распутстве.

Но вот по улице проехал человек с длинными волосами и в особенном, отличающемся от всех наряде и, сойдя с дрожжек, подходит к дому земской управы. Городовые расчищают ему дорогу между толпою. Приехал "батюшка" приводить к присяге. И вот этот батюшка, которого уверили, что он особенный, исключительный служитель Христа, большей частью не видящий сам того обмана, под которым он находится, входит в комнату, где ждут принятые, надевает занавеску парчовую, выпростывая из-за неё длинные волосы, открывает то самое Евангелие, в котором запрещена клятва, берёт крест, тот самый крест, на котором был распят Христос за то, что он не делал того, что велит делать этот мнимый его служитель, кладёт их на аналой, и все эти несчастные, беззащитные и обманутые ребята повторяют за ним ту ложь, которую он смело и привычно произносит. Он читает, а они повторяют: обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред святым его Евангелием... и т. д. защищать, т. е. убивать всех тех, кого мне велят, и делать всё то, что мне велят те люди, которых я не знаю и которым я нужен только на то, чтобы совершать те злодеяния, которыми они держатся в своём положении и которыми



угнетают моих братьев. Все принятые ребята бессмысленно повторяют эти дикие слова, и так называемый "батюшка" уезжает с сознанием того, что он правильно и добросовестно исполнил свой долг, а все эти обманутые ребята считают, что те нелепые, не понятные им слова, которые они только что произнесли, теперь, на всё время их солдатства, освободили их от их человеческих обязанностей и связали их новыми, более обязательными солдатскими обязанностями.

И дело это совершается публично, и никто не крикнет обманывающим и обманутым: опомнитесь и разойдитесь, ведь это всё самая гнусная и коварная ложь, которая губит не только ваши тела, но и души.

Никто не делает этого; напротив, когда всех приняли и надо выпускать их, как бы в насмешку им, воинский начальник с самоуверенными, величественными приёмами входит в залу, где заперты обманутые, пьяные ребята, и смело по-военному кричит им: Здорово ребята! Поздравляю с *"царской службой"*. И они бедные (уже кто-то научил их) лопочат что-то непривычным, полупьяным языком, вроде того, что они этому рады.

Между тем толпа отцов, матерей, жен стоит у дверей и ждет. Женщины заплаканными, остановившимися глазами смотрят на дверь. И вот она отворяется, и выходят, шатаясь и кружась, принятые рекрута: и Петруха, и Ванюха, и Макар, стараясь не смотреть на своих и не видеть их. Раздаётся вой матерей и жен. Одни обнимаются и плачут, другие храбрятся, третьи утешают. Матери, жёны зная, что они теперь на три, четыре, пять лет остались сиротами без кормильца, воют и наголос причитают. Отцы мало говорят, а только с сожалением чмокают языками и вздыхают, зная, что теперь уж не видать им выхоженных ими и выученных помощников, а вернуться к ним уж не те смирные, работающие земледельцы, какими они были, а большей частью уже развращённые, отвыкшие от простой жизни щёголи-солдаты.

И вот вся толпа рассаживается по саням и трогается вниз по улице к постоянным дворам и трактирам, и ещё громче раздаются вместе, перебивая друг друга, песни, рыдания, пьяные крики, причитания матерей и жён, звуки гармонии и ругательства. Все отправляются в кабаки, трактиры, доход с которых поступает правительству, и идёт пьянство, заглушающее в них чувствуемое сознание незаконности того, что делается над ними.

Две-три недели они живут дома и большею частью “гуляют”, т. е. пьянствуют.

В назначенный срок их собирают, стоняют, как скотину, в одно место и начинают обучать солдатским приёмам и учениям. Обучают их этому такие же, как они, но только раньше, года два-три назад, обманутые и одичалые люди. Средства обучения: обманы, одурение, пинки, водка. И не проходит года, как душевно здоровые, умные, добрые ребята становятся такими же дикими существами, как и их учителя.

— Ну, а если арестант — твой отец и бежит? — спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком, — отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом. — А если “удаляется”, *должен* стрелять, — прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведён до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия.

И всё это совершается каждый год, каждую осень везде, по всей России, среди бела дня и большого города, на виду у всех, и обман так искусен, так хитёр, что все видят его, знают в глубине души всю гнусность его, все страшные последствия его и не могут освободиться от него.

(28, 241 – 245)

## Прибавление 2.

### **ДВА ОТРЫВКА ИЗ КНИГИ А. А. ШКАРВАНА «МОЙ ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ВРАЧА»**

#### **(1.) Глава IV. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЛУЖИТЬ ВОЕННЫМ ВРАЧОМ**

Многих поражает то обстоятельство, что я отказался продолжать военную службу в качестве *врача*. Многие допускают, что отказ от

строевой службы ещё понятен, так как назначение строевого солдата несомненно состоит в том, чтобы обучаться убийству и, если начальство того потребует, то и совершать убийства.

„Но, — спрашивают люди, — как может отказаться от своей службы военный врач, знание и обязанность которого состоят совсем не в убийстве людей, а, наоборот, в том, чтобы подавать помощь больным, страдающим, и, следовательно — творить дела гуманные, дела милосердия?“

„Деятельность врача, — добавляют еще такие люди, — есть сама по себе христианская деятельность, и потому тот, кто бросает эту деятельность, заслуживает даже с нравственной точки зрения скорее осуждения, чем сочувствия.“

И люди, при общей, свойственной им склонности не разбирать настоящего положения вещей, охотно принимают такого рода рассуждение, считая вопрос решённым, и кладут его в сторону, чтобы больше не думать о нём. Такие возражения мне пришлось слышать не только от военных, но равно и от гражданских людей, не только материалистов, но даже и от людей несомненно религиозных. Это самое мне выражали даже некоторые назарены, люди понявшие греховность военной службы, отказывающиеся от неё, и за это убеждение всю свою молодость просидевшие в тюрьмах и умирающие там.

Является вопрос, как может мнение назарен быть согласно с мнением людей совсем других взглядов на войну? И другой вопрос: справедливо ли это мнение? Для меня несомненно то, что назарены пошли на более тонкий, но в сущности тот же самый самообман, когда они между собой решили поступать, — если потребуют власти, — в санитарные роты, как они теперь и делают. В этом и всё объяснение.

Утверждать же, что служба военного врача, а с ней и служба санитарного солдата, не противны духу Христа, что такая служба составляет как бы добродетель, — очень грубая ошибка. Ошибка заключается в том, что из всякого дела и занятия можно сделать дело дьявола (как это и доказывает практика многих врачей), всё зависит лишь от того, как делающий известное дело относится к нему. Поэтому и не верно утверждение, что вообще занятие врача само по себе есть занятие благородное. Кроме того путает этот вопрос ещё и то обстоятельство, что громадное большинство людей относится к медицинской науке суеверно, даже не подозревая того, насколько

справедливо изречение Фауста: Der Sinn der Medizin ist leicht zu fassen, du durchstudirst die grosse und die kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie's Gott gefaellt. \*)

---

\*) Сущность медицины легко усвоить: изучаешь великий и малый мир только затем, чтобы в конце концов оставить всё на Божью волю.

Но главное, что делает преступным службу военного врача, это та тесная связь, которая существует между его деятельностью и убийством людей — настоящим назначением армии. Связь эта лицемерно прикрыта плащом гуманности и потому не так очевидна людям. Тем не менее она существует, и всякий, желающий видеть, может её видеть, ибо очень легко поднять этот плащ, под которым скрывается тот же разбойник.

Военный врач свидетельствует солдат, т. е. решает, кто из людей годится для пушечного мяса, кто нет; осматривает тех солдат, которых наказывает начальство, т. е. решает, кого можно затворить в темницу, на кого можно надеть кандалы, кого можно лишить еды и т. п.; следовательно, постоянно содействует бесчеловечному, зверскому насилию над людьми.

Но предположим даже, что он всего этого не будет вынужден делать, и что кроме добросовестного лечения больных солдат, не будет ничем другим заниматься, — даже это ничуть не уничтожило бы греховности его деятельности, *ибо нельзя не спросить себя, нельзя не видеть того, какая цель преследуется этим лечением. Военный врач во всяком случае представляет наемника за деньги, нанятого организованной шайкой убийц единственно для того, чтобы наблюдать за здоровьем людей, предназначенных, на убой и на совершение убийства.*

И нельзя в этом случае не сознавать того, что всем известно, — того, что быть пособником в каком бы то ни было виде безнравственному, дикому учреждению, — постыдно и унижительно, какое бы хорошее название ни давали этому делу, какой бы красивый мундир за это ни надевали, сколько бы золотых крестиков ни дарили за такую службу. Ведь, наверное, ни одна честная женщина ни за какие деньги не согласится поступить в кухарки в шайку разбойников, хотя приготовление кушанья не только не составляет греха само по себе, но нужное и необходимое для людей условие жизни. А в чём же

разница между разбойниками и армиями? Единственно лишь в размерах грабежа.

Пора бы нам всем понять, что постыдно и унижительно продавать свои знания тем, кто нуждается в них, для более лёгкого достижения своих злых намерений!

Пора бы понять, что всякое малейшее содействие в основанных на насилии делах правительств, составляет для человека, желающего себе и другим блага, — унижение собственного достоинства и великое преступление против самых элементарных требований любви и даже простой гуманности!

## (2.) ИЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

Как всякая лож держится главным образом тем, что, скрываясь перед светом, она живёт в потёмках, так и все правительства, — это грандиозное воплощение лжи и бесправия, — ничего так не боятся как света, могущего обнаружить всю ту нечестную махинацию, на которой они построены, и которую они так тщательно скрывают перед людьми. В этом отношении, для государственной власти никто не является столь опасным элементом, как люди, решительно и открыто, не смотря ни на какие внешние препятствия, заявляющие свой протест против государства тем, что они нападают на самый его корень, отказываясь от исполнения требуемой от них военной службы. Власти чувствуют, что такие люди обладают единственным средством, помимо которого неизбежно и очень просто им будет положен конец; и потому-то им и остается только одно: стараться, чтобы средство это не стало общеизвестным.

Власти утверждают, — и многие люди верят этому, — что они существуют для общего блага людей; и этим утверждением они получают в глазах наивного общества нравственный престиж. Но как только являются люди, ни в чём другом перед государством не виновные, как в том, что они отказываются подчиняться таким требованиям правительства, которые противны истине и любви, — напр. отказываются обучаться военному ремеслу, т. е. убийству людей, — так тотчас власти преследуют их за это, сажая в тюрьму и т. п., так как не наказывать таких людей правительства не могут. Одним уже этим власти выдают себя, показывая очень наглядно даже для самого близорукого человека, что, кроме грубого насилия, они не имеют никакой опоры для своего существования. Продолжать же

своё существование правительства могут единственно благодаря тому, что им ещё удаётся отводить глаза общества от их разбоя и насилия.

Но против разрастающейся в людях силы божеского жизнепонимания, — правительства устоять не могут.

Правительства не имеют и не могут иметь никакого средства спасения от людей, проникнутых этим жизнепониманием. Всё то, что они против них предпринимают: сажание в тюрьмы, в сумасшедшие дома, мучения их голодом, и все физические и нравственные пытки, до самой смертной казни включительно — всё это — средства, не могущие остановить в людях сознания того, чего следует избегать и что следует делать. Поэтому правительствам не остаётся ничего иного, как скрывать наносимые им раны перед теми, кто ещё верят в непоколебимость их власти, боятся её и потому подчиняются их требованиям.

Думая про запутанность нашей жизни и про распутывание её, — про то, как необходимо избавиться человечеству от рабства государственного, на котором держится всякое другое бесправие, — я вспоминаю как я в первый раз пробовал колоть дрова. Был у меня и хороший топор, была и охота работать; а результат напряжённого труда был всё-таки крайне жалкий. Я размахивался во всю, натер себе мозоли на руках, а иное полено так вовсе и не мог расколот. Выходило это у меня потому, что поленья эти были очень сучковатые, и я избегал попадать в сук, рассуждая, что, если трудно мне справиться с поленом, когда рублю его в том месте, где оно гладкое и мягкое, то должно быть несравненно труднее, если рубить прямо в жёсткий, как камень, сук. Случилось однажды, что я нечаянно попал топором как раз в самую середину большого сука и, к моему удивлению, всё большое полено, как бы под влиянием волшебной силы, раскололось на двое. Этим открылся для меня весь секрет рубки сучистых поленьев.

Так и с государством. Люди, сознавшие вред государства, стараются уничтожить этот вред. Одни хотят достичь этого бросанием бомб; другие мечтают о постепенном переустройстве государственных форм; третьи устраивают лиги мира, и т. д. Но из всех этих усилий ничего не выходит, ибо все эти попытки представляют в лучшем случае ни что иное, как удар по гладкому месту; между тем, как в самый сук избегают попадать. Сук этот, плотно связывающий во едино государственную власть, есть *милитаризм*. И точно так, как

для того, чтобы разрубить полено, надо попадать топором прямо в сук, так и для того, чтобы разрушить государство, надо, разрушить милитаризм, на котором оно всё построено. А разрушается милитаризм единственно тем кажущимся незначительным и маловажным средством, которое заключается в единичных отказах от военной службы. Всё равно, малое или большое это средство, но оно единственно действительное.

Отказы же эти приводятся в исполнение не в силу каких-либо соображений о том, что надо уничтожить государство, и, вообще, не ради каких-либо внешних целей; но из-за старания направлять свою собственную жизнь туда, куда этого требует от нас голос совести, голос Бога. При таком старании неизбежно выходит то, что люди, постепенно или же разом переставая быть участниками разных видов зла и несправедливости, этим самым, часто даже бессознательно, содействуют прекращению самого крупного зла государственного. Единственное, что во власти человека, это — управлять самим собою, т. е. идти, или не идти туда, куда всегда стремился и будет стремиться человек — к Богу.

При таком старании непременно будут разрушаться внешние и внутренние препятствия, мешающие людям жить хорошо, непременно будут являться формы жизни лучшей, более счастливой, чем теперешняя, будет осуществляться всеми нами страстно желаемое и ожидаемое царство мира и любви. Но для этого прежде всего необходимо, чтобы человек знал и ценил свое человеческое достоинство, — чтобы он знал, что он призван быть свободным сыном Бога. Люди должны понять, что для них унижительно и пагубно продолжать быть безвольными слепыми орудиями других людей, именующих себя корпоралами, генералами или императорами.

Croydon. Лето 1897 г.

## КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ КНИГИ





## АНТИВОЕННОЕ БЛАГОВЕСТИЕ МИРУ

Мне в руки дан рупор,  
и я обязан владеть им, пользоваться им.

*(Лев Николаевич Толстой)*

### Глава Пятая. УЧИТЕЛЬ ДРОЖЖИН (1893 - 1895 гг.)

...Меня неотступно после смерти Дрожжина  
нудит мысль последовать его примеру и сделать то, что он.  
Будем желать этого не переставая, готовиться, не забывать, не ослабевать  
и, может быть, и нам придётся так же ярко сгореть, как он,  
а не придётся — сотлеем всё тем же огнём.

*(Л. Н. Толстой)*

4 марта 1895 г. Толстым было закончено Предисловие к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина». *Евгений Иванович Попов* (1864 – 1938) был одним из единомышленников



Льва Николаевича во Христе. По поручению Льва Николаевича Толстого, для публикации в бесцензурных изданиях за рубежом, он



Евгений Иванович Попов

написал хорошую книгу об отказнике, замученном тётёй «родиной» до смерти — Евдокиме Никитиче Дрожжине.



Заграничные (бесцензурные) издания книги Евгения Попова.  
Раннее берлинское изд. 1895 г. и два издания (2-е и 3-е) В.Г. Черткова в Англии:  
1898 и 1903 гг.

От главного персонажа книги, в отличие от автора и от инициаторов её писания и издания, не осталось никакого изображения. Только светлая память. *Евдоким Никитич Дрожжин* (1866 – 1894) был крестьянином, уроженцем деревни Толстый Луг Суджанского уезда, Курской губернии. Характер у молодого человека был бунтарский, что проявилось особенно в годы учения в Белгороде, в учительской семинарии: «Он не мог выносить начальнического обращения с собою кого бы то ни было, и в подобных случаях приходил в раздражение и чем-нибудь выражал свою непокорность». При этом единственным его подлинным другом — на всю недолгую жизнь — сделался простой крестьянин из соседней с Толстым лугом деревни, Николай Трофимович Изюмченко, с которым Дрожжин познакомился в 1885 г., во время каникул. Прочие же «друзья» не сделали ему добра, затянув на сходки некоего пропагандёра-социалиста. Из-за участия Дрожжина в этих сходках, а более всего — в отместку за живой, непокорный характер семинарское начальство не допустило его весной 1886 г. до выпускных экзаменов. Только через год Дрожжин сумел сдать независимый экзамен на звание народного учителя и получил место в глухой деревушке Черничина. Попытки его «поделиться» там с учащимися некоторыми глупостями и гадостями, узнанными на «революционных» сходках, предсказуемо привели к доносу местного попа в адрес инспектора народных училищ. С издевательской характеристикой инспектор перевёл Дрожжина на работу в другое село (*Попов Е.И. Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина. – 2-е изд. Purleigh, Essex, England. 1898. С. 6 – 13*).

Видимо, на почве естественной для неиспорченного русского человека неприязни к попу-доносчику духовный поиск привёл Дрожжина летом 1889 г. к роковому в его судьбе знакомству — с «аристократом в толстовстве», уже знакомом нашему читателю, князем Дмитрием Александровичем Хилковым, к этому времени вышедшем в отставку и поселившимся в имении Павловка в Сумском уезде Харьковской губернии. В 1885 году, под влиянием проповеди сектантов «штундистов», он продал землю в триста восемьдесят десятин (415 га) по низкой цене крестьянам, а сам, оставив себе надел в семь десятин (7,6 га), стал жить личным земледельческим трудом. В 1887 году Хилков вступил в переписку с Львом Толстым и стал его духовным единомышленником во Христе и учеником. Его дом превратился в центр собраний сектантов, то есть людей, не равнодушных к живой вере и к исканию истины.

Дальше в судьбе Евдокима Никитича всё было очень традиционно:

«Сближение с Хилковым и с его, часто гостившими у него, единомышленниками, знакомство с религиозно-нравственными сочинениями Л. Н. Толстого совершили в это время в душе Дрожжина тот внутренний переворот, который имел своим последствием всё то, что случилось с ним. [...] Вместо обеспеченного положения сельского учителя, пользующегося исключительным положением среди народа, он стал мечтать о простой крестьянской трудовой жизни, в которой бы можно было, не отнимая ничего у народа, служить ему своею жизнью. Вместо деятельности революционера — насильнической и потаённой, он стал искать деятельности христианской — терпения, прощения, миролюбия. Употребление вина, распущенная жизнь, ругательства были оставлены, началась борьба с курением табаку, раздражительностью и другими слабостями» *(Там же. С. 13)*.

Самым «страшным», конечно, было то, что этой же праведной христианской жизни осенью 1889 г. Дрожжин попытался учить и детишек села Князева, куда был отправлен к службе. Начальство, настроенное доносами на противостояние «революционеру» — конечно, опешило: придраться было, казалось, не к чему, так как Дрожжин учил теперь разумной и доброй христианской жизни, а не лжи социалистов. Так «добрая» тётя родина Россия подарила Дрожжину нечаянно целый год нормальной человеческой жизни: общение с любящими и благодарными детьми, с их родителями крестьянами, тоже потянувшимися, подальше от лживых попов, в веру живой и к религиозной Божьей правде-Истине, с девушкой (имени биограф не называет), с друзьями и родными в летние каникулы 1890 года...

Но тут подвёл Евдокима Никитича друг Изюмченко, ступавший буквально по тем же «граблям», от которых уже делалось больно Дрожжину. Изюмченка осенью 1889 г. забрали в солдаты. Жил он в Курске, где, для самоутверждения среди сверстников, стал пропагандировать завлекательное «революционерство», узнанное им прежде из рассказов Дрожжина. В начале лета младшему братишке Изюмченки Семёну, наслышанному об успехах пропаганды старшего брата, тоже захотелось попроповедовать чего-нибудь такого, запретного и «революционного». Тот стал выпрашивать у Евдокима Никитича «настоящую» революционную литературу. Но у того, бывшего уже «толстовцем», конечно же её не оказалось... кроме единственной завалявшейся брошюры — популярной и жестоко-запретной «Легенды о четырёх братьях». И Дрожжин совершил ошибку: отдал книжицу ребёнку. Стёпке немедленно захотелось похвастаться в училище со старшим, 16-тилетним, мальчиком. У того загорелись глаза, он отобрал у Стёпки «революцию» и решил переписать для себя. (Для взрослых за такое переписывание следовала уголовная

статья по Уложению тех лет, чего оба мальчика не знали.) За этим занятием его и застал всегда и везде в казённых школах России имеющийся пай-мальчик — любимец учителей и, по совместительству, осведомитель начальства...

Стёпкин старший приятель был, без дальнейших последствий, из училища исключён — мужественно не выдав товарища и предоставив имперским полицаям самостоятельно «выйти» на Изюмченко-младшего.

А дальше — всё ещё досадно-нелепее...

Год 1890-й был в Российской Империи годом Великого Запрета: на публикацию скандальнейшей толстовской «Крейцеровой сонаты». В юных, неумных и горячих головах, помимо страстного желания добыть для прочтения «запретный плод», возникли, под влиянием слухов, едва ли не порнографические вольные осмысления повести. Возмущённая молодая учительница К., знакомая Евдокима Никитича, наслушавшись всякого, отругала Толстого и его повесть в письме к Дрожжину — и тот, зная не больше её, конечно, вступил в диспут... забыв, что в России переписку читают не одни прямые её участники.

На Дрожжина обратили неблагосклонное внимание в «органах»; впрочем и тогда, конечно, не тронули бы, но... Он сам, вдруг спохватившись, выдал себя, написав Стёпке Изюмченко, за которым уже следили, письмо с предупреждением: мол, брошюру могут отобрать «с последствиями», и её лучше уничтожить. Письмо, конечно, тоже прочли полицаи... Ранним утром 28 сентября, во главе с ротмистром Деболи, они ворвались — *весьма* традиционный в России метод! — в дом насмерть перепуганной матери Дрожжина в селе Толстый Луг. Погромив и перерыв всю хату... конечно, не сыскали ничего «крамольного». Им, однако, помог местночтимый поп, не любивший «слишком умного» Дрожжина. Он предоставил в распоряжение полицаев собственноручно составленный донос о «вольных трактовках» сельским учителем евангельских текстов. Это было правдой... Итого: статьи 252 и 318 в действующем Уложении. Дрожжин был отправлен в тюрьму в Курске: в камеру одиночную, но просторную, сухую, светлую, из которой он через низкое окно мог свободно выходить погулять по городу и вдоволь общался с роднёй. Между тем полицаи искали на него в Толстом Луге и Князеве компромат, и — таки нашли: брошюру «какого-то» Эпиктета, совершенно подозрительного («заумного» для полицаев) содержания. (Это было издание толстовского народно-просветительского книгоиздательства «Посредник»).

Результата было два: первый тот, что сельчане, прежде недолюбливавшие «умника» Дрожжина — теперь расположились всем сердцем в его пользу. Второй же тот, что в апреле 1891 г. ротмистр Деболи, получив за Эпиктета нагоняй «сверху», сам повинулся перед Дрожжиным, что дело его было искусственно «раздуто», и пообещал «скорое» освобождение. Но так как речь до того уже шла об освобождении *под залог*, ротмистру хотелось заполучить денежки... Лишь прикарманив с трудом собранные отцом Дрожжина 400 руб. залога, в июне 1891 г. Деболи исполнил обещание (*Там же. С. 14 – 24*).

Всё это было бы только смешно, но... Учительская карьера была для Дрожжина закрыта, и он подлежал теперь призыву на военную службу. Лев Николаевич в таких случаях рекомендовал в письмах молодым призывникам *идти служить*, если нет мужества и совершенной, необходимой духовной потребности поступить по христианской совести. Но Дрожжин *по характеру* не мог смириться с идеей мелочного, хоть на один день, подчинения муштре и глупейшим, чем сам он, мелким военным начальникам. И тут ему опять «помог» Изюмченко-старший, такой же духовный бунтарь. Дрожжин со скуки писал ему из тюрьмы в казарму часто, и в числе прочего, конечно — о религии и о Толстом. В результате, после очередной ссоры с ротным командиром (из-за чтения книг) Изюмченко сбежал в «самоволку», дезертировал — сперва к только что вышедшему из тюрьмы Дрожжину, а после, от палева подальше — на хутор князя Хилкова. Но там наиболее радикальные толстовцы убедили Изюмченку не прятаться от ареста у Хилкова (как, между прочим, делали сами), а вернуться в часть, чтобы заявить свой отказ от службы и принять добровольно «благие страдания» от гауптвахты и штрафного батальона. Тот так и поступил... и Евдоким, которому предстояло в августе 1891-го призыв, решил идти тем же путём: «лобового» отказа и мученичества (*Там же. С. 25*).

Во всём этом тоже трудно усмотреть что-либо, кроме молодой дури. Но тогдашняя имперская Россия (как и её политические наследницы, вплоть до наших дней) была подозрительна и деструктивно-неуклюжа в своей тупой жестокости... в особенности в случаях, мало отмеченных в ту эпоху в юридических анналах. Империя в те годы просто *не знала*, что делать с духовными, *по вере*, отказниками от военной службы: нельзя было заставить служить, но нельзя было и отпустить, чтобы не создать прецедент для массовых отказов.



Д. А. Хилков

Именно общавшиеся с Дрожжиным друзья и духовные единомышленники Льва Николаевича Толстого могли рассказать ему историю с первым из «толстовствующих» отказников, Алексеем Залюбовским, настроив на такой же — тяжёлый, но приемлемый — исход. И, конечно же, не учли, что как *личные отношения* супругов Толстых изменились после публикации «Крейцеровой сонаты» не в лучшую сторону, и муж больше не мог надеяться на специфические «парламентаристские» таланты жены в переговорах об отказниках, так и *отношения* с тётёй «родиной», с *империей* у самого Толстого крепко с середины 1880-х испортились... По этим причинам, у Евдокима Дрожжина, попади он в дисциплинарный, могло не оказаться такого влиятельного и умнейшего ходатая, какой стала в 1885-м Соня Толстая для юноши-дворянина Залюбовского — из любви, однако, не к Залюбовскому, а к супругу.

Так или иначе, Дрожжина ошибочно, как оказалось, настроили на то, чтобы он, как Залюбовский, не принимал присяги: такие отказники приговаривались, как Залюбовский, к ссылке в Восточную Сибирь и нестроевой службе. Так уже отбыл ссылку хорошо знакомый толстовцам отказник Любич и был «очень доволен». У Дрожжина, оставленного без учительского места, сохранялось *звание* народного учителя, дававшее не только «привилегию» свободы от телесного наказания в ходе отбывания дисциплинарного и ссылки, но и перспективы вернуться к профессии после окончания её срока:

«...Ещё будучи учителем и постоянно терпя стеснения от начальства, он хотел перевестись на должность учителя в Уссурийский край, думая, что там можно пользоваться большей свободой в действиях, и уже наводил справки о формальностях перевода туда» (Попов Е.И. Указ. соч. С. 32).

И несчастный Дрожжин захлопнул за собой ловушку — отказавшись от присяги. Е. И. Попов поясняет в книге:

«Мечтая о ссылке на Амур и готовясь к ней, Дрожжин, очевидно, думал, что есть специальный закон относительно отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям; на самом же деле, такого закона не было. Во всех этих случаях отказов от присяги и ношения оружия ближайшие власти относились к отказывающимся различно и неопределённо, и или отпускали их под каким-либо благовидным предлогом, или, держа их под секретом, подвергали различным, назначаемым высшими властями, наказаниям. Но есть одна общая черта, присущая всем начальникам, к которым попадались эти всегда секретные дела, — это желание отделаться от такого странного и беспокойного человека, желание удалить его от себя, снять с своей совести ответственность за те страдания, которым будет неизбежно подвергнут этот смиренный, безобидный человек, виноватый только в том, что он считает для себя обязательным исполнение самых низших требований христианства — неубивания своих братьев» (Там же. С. 32 – 33).

Но с понятливостью и совестью сперва тюремщиков в харьковской тюрьме, а позднее, и в особенности, офицера в Воронежском дисциплинарном батальоне, куда он был отправлен 26 сентября 1892 г. и где пробыл долгих и мучительных 14 месяцев, Дрожжину не повезло. Как минимум двое из начальников, полковник Алексей Васильевич Буров, возглавлявший батальон, и поручик Николай Сергеевич Астафьев, командир 5-й роты, задались целью успеть, до отправки Дрожжина в Окружной военный суд и решения о ссылке, любой ценой сломить непокорного «солдата» — юридически солдатом не бывшего, так как присяги Дрожжин так и не принял. Они не сумели принудить его к занятиям с другими штрафованными: помешала сама система дисбата, по которой продолжающий «не покорствоваться» арестант переправлялся в отдельный карцер и в общих занятиях не участвовал. Но Бурову необходимо было встречаться с Дрожжиным и при посещении карцера, и при прогулках арестанта. Тот же, за более чем год смертного карцера, не только не был сломлен, но, уже чувствуя начинающееся заболевание, продолжал отказывать Бурову и другим офицерам в отдании чести:

«Дисциплина с её грубостью, которую он начал на себе испытывать, попав в военную среду в качестве низшего чина, возбудила в нём два совершенно противоположные друг другу чувства, которые он не успел ещё разделить рассудком: одно — оскорблённое самолюбие, которое вообще было развито у Дрожжина и составляло его порок и источник страданий; другое же чувство — совершенно законное — сознание своего человеческого достоинства, попираемого грубой, неразумной силой, и нежелание подчиниться этой силе, действующей во имя каких-то непризнаваемых им прав и законов, нежелание признавать её власть над собой. [...] Он чутьём пришёл к [...] признанию необходимости одновременно и непротivления властям, и неподчинения им» (Там же. С. 35).

Это был психологически верный ход: офицерье, обслуживающее дисбат, было настолько деморализовано, что на втором году пребывания в нём Евдокима Дрожжина уже *пряталось* от него, не желая встретиться — и быть «униженным» неотдачею им чести. И это в страшном Воронежском дисбате, который один из его узников назвал позднее «лобным местом», то есть местом казни, убийства (<http://www.antimilitary.narod.ru/antology/droszhin/disbat.htm>).

От Дрожжина отступились все его мучители, не исключая жесточайшего Алексея Бурова, которого, по сведениям Е. И. Попова, боялась мучимая им жена и ненавидели дети (Там же. С. 62 – 63). Все... кроме поручика Астафьева, отличившегося исключительными, по сей день, увы, столь полезнейшими в казармах и тюрьмах России, садистскими наклонностями. Единственно он продолжал, напротив, пытаться «дисциплинировать» уже больного туберкулёзом, истощённого и полуживого Евдокима Дрожжина. Возможностей же у него было для того немеряно: Буров *трижды* отправлял Евдокима Никитича на военный суд — для добавления «солдату», не бывшему по закону солдатом, дисциплинарного срока за неповиновение начальству. При этом Дрожжина приходилось волочь или нести до самого суда и обратно, ибо он по-христиански справедливо полагал, что «глупо идти добровольно на суд, если его не признаёшь. Если мы, уклоняясь от судов, и подаём повод отдельным лицам увеличивать против нас греховные меры, то, с другой стороны, не поддерживаем общественного мнения, что суд есть торжественный акт» (Там же. С. 36).

Впрочем, и Буров вносил свою палаческую лепту в погубление Евдокима Дрожжина: именно его распоряжением мученика почти непрерывно держали в карцере и лишали горячей пищи — несмотря на развивающийся туберкулёз.



Но Евдоким Никитич как будто и не помышлял не то, что о капитуляции, но хотя бы о каких-то уступках своим палачам. Вот ещё некоторые наблюдения и размышления народного учителя и Христова праведника, сделанные в «дисбатовский» его период и взятые в книгу биографом его Поповым из письма его к Н. Т. Изюмченко:

«Человек по существу своему должен быть разумным, свободным и безгрешным. То есть он тогда только человек, когда стремится к человеческим идеалам. Это одинаково подтверждается и наукой, и религией: разумом он отличается от животных и владычествует над природой. Поэтому он свободен от подчинения существам физической природы и подчиняется только тому, что выше его самого: совести, Богу. Будучи свободен, имея Божий дар — совесть, человек этим самым так высок, что уподобляется Творцу и имеет в себе зачаток Его святого духа.

Существует мнение, что разум, свобода и совесть не есть высшие дары, а более низшие, даже настолько низкие, что служат только средством для физической жизни человечества. Про эти дары говорят, что они культивируются сообразно развитию вообще, и так как условие развития есть борьба человека не только с природой, но и с человеком, то проявление их и видели во все времена в непрерывной вражде народов. Всё это, действительно, было и есть, и быть не могло иначе. Но нехорошо то, что это дало повод думать и уверять других, что так и должно быть.

Всем очевидно, что мир лежит во зле. Но почему же ни в один момент истории человечество не переставало чтить Бога и добродетель? Почему каждый из нас, будучи в известной мере хорошим или дурным, в душе предпочитает хорошее и, в противность дурному, старается даже и показать его людям? Возьмите, для примера, отъявленного негодяя, и тот не похвалится тем, что, по его убеждению, скверно, и, наоборот, не прочь похвастаться такими добродетелями, каких ему и не снилось совершать. Из этого ясно, что не всё то, что есть, есть то, что должно быть; и, во-вторых, побуждение отличать добро от зла и стремиться к добру составляет неотъемлемое достоинство человека. (Всякий, имеющий это побуждение, верит в Бога).

Впрочем, это убеждение, будь оно и не моим одним, никого не обязывает выражать его, потому что всякое обязательство лишает человека свободы и т. д. Но всё-таки не лишне разбудить то чувство, которое в дремлющем состоянии приводит к ошибкам. Совесть, этот высший судья, всегда заявляет свои права, наказывая за ошибки раскаянием.

[...] Что такое солдат? В военном учебнике есть ответ: слуга государя и отечества. И это для меня совершенно непонятно. Ещё будет непонятнее, если прибавить, что он в то же время и человек. Несколько лет тому назад я как будто бы понимал, что означает слово „слуга" и т. д., но и тогда слуги, рабы представлялись мне ниже, чем должны бы быть (вероятно, вследствие логической ассоциации контраста, ибо господин раба представлялся не выше, чем должен бы быть), и вообще несчастными, вызывавшими к себе жалость. Теперь я слово „слуга" понимаю так: он служит людям, помогает им жить, как было во времена рабства или крепостничества, т. е. главная обязанность их состоит в том, чтобы питать и покоить господ. Это ещё я понимаю; но никак не могу понять, как солдат может служить государю, не видя его, и служить отечеству которое даже представить себе не в состоянии. Солдат видит, что служит своим ближайшим начальникам.

Ещё мне приходилось слышать от образованных военных, каков должен быть идеальный солдат. Такой, который слепо исполняет волю начальника и никогда не рассуждает: так или не так, хорошо ли или нехорошо то будет. Это ещё раз подтверждает, что солдаты суть машина, рычаг от которой находится в руках начальников, но менее всего человек.

Меня как-то раз начальство назвало *сумасшедшим* на том основании, что я составляю исключение из миллионов, которые уважают службу. Ещё офицер назвал *дураком* за то, что не слушаюсь начальства.

Слова первого заслуживают того, чтобы на них остановиться. Правда ли, например, что миллионы „уважают"? Начать хоть с низших. Солдат служит по грубому принуждению, освящённому законом. Офицер служит по принуждению более тонкому, удостоверившись предварительно в своей непригодности к более разумной службе и часто оставаясь довольным собой за мундир и 50 руб. жалованья. Высшие лица военного звания, производя свой род от таких предков, которые более всего пользовались славой и властью, соблазнённые уже одним этим, не желают умалять эту славу, тяготеют к Петербургу и часто сами достигают высшего положения, богатеют и блестят...

Таким образом, все, от солдата до генерала, служат поневоле, и, может быть, самое незначительное меньшинство по убеждению. И, несмотря на это, военное начальство, служа своим похотям, уверяет, что оно служит государю, отечеству и защищает... веру.

Последняя выдумка так незамысловата и ей так все мало верят, что скоро перестанут печатать, а говорить даже и перестали.

Конечно, будущего знать нельзя, хотя и история прямо подсказывает это. Я только припомню то, что с течением времени воинственный дух падает: все племена в кочевой период своего развития любили войну более всего в жизни, весь мужской и даже отчасти женский пол были искусными головорезами. С оседлостью же народ не только неохотно идёт в сражение, но даже по объявлении всеобщей воинской повинности начинает смотреть на это, как на насилие, и оплакивает новобранца с причитаниями. Взамен старых идеалов счастья, выражавшихся в торжестве победителя, возвращавшегося с золотом, оружием, пленниками и воспеваемого за это, как героя, теперь стали иные идеалы, идеалы семейной жизни и труда.

Ко всему этому я мог бы обратить внимание на учение Христа, но слова его для меня так святы, что считаю грехом применять их там, где ложь так очевидна, что разоблачение её достигается при помощи обыкновенных человеческих усилий.

И вот, мне, глубоко убеждённому во всём сказанном, предлагают стать солдатом, и даже не предлагают, а просто арестовывают и именуют солдатом. Хотя я много ожидал, однако многое показалось мне диким, а многого и совсем не предвидел; например, я радикально изменил мнение об офицерах. Может быть, это оттого, что во всё время я более всего терпел от ихней грубости и несправедливости, — не знаю, но знаю только и убеждён, что эта золотая молодёжь есть самый вредный элемент в государстве (как в семье). Их отношения укрепили во мне решимость и сделали из меня бесповоротного врага всякой военщины. Не стану приводить бесчисленные и все, похожие друг на друга примеры их безобразий.

Чаще всего приходилось слышать слово „заставят”. Это слово наиглупейшее, противнейшее и злокачественнейшее из всего русского словаря. Слово это меня всегда возмущало, потому что я нисколько не верил этому, а доказать не мог, потому что всех других обстоятельства действительно заставляют, в ходячем смысле этого слова. Не знаю, имелось ли в виду заставить меня или нет, но я перетерпел всё то, что должен бы был перетерпеть в том случае, если бы меня решились *заставить*» (Там же. С. 82 – 86).

\* \* \* \* \*

Наконец срок Дрожжина в дисциплинарном батальоне был продлён до... 1903 года. И это при том, что более двух лет мало кому в пыточных условиях Воронежского дисциплинарного удавалось выжить без болезни или увечья (Там же. С. 92). Дрожжина, как бывшего учи-

теля, хотя бы не избивали и не секли розгами. Другим, за ту же провинность, суд назначал не карцер и не дополнительные годы дисбата, а *сотни* ударов розгой (обычно 200 или 300). Секли в ту эпоху ещё *умеючи*, и с 200 ударов даже более крепкие (каким поначалу был и Дрожжин) либо делались калеками, либо погибали. От 300 же ударов «только самые крепкие натуры оставались в живых» (*Там же. С. 64 – 65*).

В этом, однако, садисты в погонах не отступали от российских законов: Дрожжина не секли. Находились иные, подлейшие, методы влияния... Дождавшись очередной встречи с Дрожжиным и очередной неотдачи ему чести, Астафьев, холодной осенью уже 1893 г., заметив, что несчастный учитель уже очень болен и падает в карцере с табурета, «ходатайствовал» об отобрании у больного из карцера единственного тюфяка (унизительно именовавшегося в этом заведении «подстилкой»). Так как койка в дневное время укреплялась на стене, больному, теряя сознание, приходилось ложиться на пол — теперь без всякой «подстилки». Невольное лежание на холодном полу вызвало тяжёлое воспаление лёгких... и вот тогда-то полуживого Дрожжина отправили — но уже не на Окружной суд, а на медкомиссию. Та безусловно и единогласно (как будто по чьей-то команде) выключила его из военной службы. Но решения суда: тюрьма? ссылка? свобода? — нужно было ещё дождаться: разумеется, в гражданской тюрьме.

И вот тут, как будто «нечаянно», Дрожжина добились:

«5-го января <1894 г.> дежурным офицером по батальону был капитан Астафьев, тот самый Астафьев, благодаря которому у Дрожжина была отнята в карцере подстилка и ему пришлось валяться на полу. Теперь Астафьеву пришлось отправлять умирающего Дрожжина в тюрьму, куда отправляют из батальона всех безнадежно больных, большею частью для того, чтобы они там умирали. [...] День был сильно морозный и ветренный. Отправляемых одели в тулупы, валенки и тёплые шапки и под охраной конвойных повезли к воинскому начальнику.

Управление воинского начальника находится в Воронеже, верстах в четырёх от батальона. У воинского начальника совершили формальность перечисления арестантов из военного ведомства в гражданское. Затем их обоих повезли в Губернское правление. Здесь конвойные сдали их в руки полиции. Всю тёплую одежду, данную им в батальоне, с них сняли...» (*Там же. С. 118*).

В этой подробности особенно узнаётся «Россия — щедрая душа», гадина во все времена равнодушно и безжалостно жестокая к слабым, к беззащитным перед ней. Как и в последующей детали, когда

Дрожжина с другими арестантами «по-быстрому» прогнали по морозу три версты... лишь для того, чтобы у «полицейской части» тюремного замка «традиционно» ни к чему не готовая охрана, а следом и застигнутое врасплох тюремное начальство задержали арестантов перед входом — для уяснения и выяснения... Наконец, пропустили, но отнюдь не к лучшей жизни:

«Дрожжин препровождался в тюрьму как очень важный политический преступник, и потому, по приезде туда, его заперли в отдельную камеру при больнице. К вечеру у него сделался сильный жар и кашель. Одиночная палата, где помещался Дрожжин, была сырая и холодная...» (Там же. С. 119).

Многочисленные подробности мучений Дрожжина, собранные Поповым в книге, которые мы уже не будем здесь пересказывать, — свидетельства актуальных по сей день, ни в какое "прошлое", увы, не отошедших, стилия и методов взаимоотношения России и её правительства, а в особенности любых местных начальничков, шишек на ровном месте, с «простым» народом: неуважение, обманы, мелочные унижения, навязывания, принуждение к повиновению, насилие «в законе» и, гораздо большее и жесточайшее, циничнейшее насилие *под прикрытием* закона и в обстановке безнаказанности мучителей и беззащитности жертвы... Повторимся. С Евдокимом Никитичем Дрожжиным, строптивым интеллектуалом из народа, высказавшим христианские и антивоенные убеждения, *просто не знали, что делать*: всё имперское законодательство и вся репрессивная машина Империи 1890-х были архаично сориентированы на невежественного и послушного раба, бездумно верящего в патристическую и религиозную ложь и повинующегося попам и начальству. Возможность отказа от присяги, от военных учений принудительно призванного в солдаты «презренного мужика» и даже «бывшего учителяшки» — просто не была «запрограммирована».

Отсюда — вся затяжная по времени и неуклюжая ожесточённость, годы издевательств в «штрафниках» (при том, что Дрожжин не присягал и формально не мог даже считаться солдатом), и отсюда — длительный тюремный срок, к которому приговорили уже больного туберкулёзом лёгких Дрожжина, и который он наверняка бы не перенёс. Отсюда — рискнём предположить — и тёмное дело со «случайным» раздеванием Дрожжина и оставлением его полицейскими без тёплой одежды на морозе: чтобы убить наверняка, и не исключено, что по чьему-то тайному распоряжению... в условиях, когда, уже в начале 1894 года, стараниями Л. Н. Толстого и В. Г. Черткова, дело Дрожжина стало уже публичным, вызвав резонанс за границей,

а в России — всеобщие симпатии к мученику, вплоть до придворных сфер.

*Втихаря*, где-то в «высоких» военно-министерских кабинетах, было решено *Дрожжина убить*. И осуществлено это было тоже «традиционным» в Империи методом (заимствованным позднее палачами большевизма и фашизма и сохранившимся до наших дней): замораживанием ослабленного, больного человека без одежды на улице.

Несчастный, запуганный Попов, подвергшийся летом 1894 г., когда писал о Дрожжине книгу, налёту полиции и обыску, сообщает об этом убийстве в Предисловии к книге кратко и изящно, ничем не намекая на то, о чём говорилось между приближёнными Толстого устно, шёпотом:

«...Когда у него от непрерывных страданий и лишений развилась чахотка и он был признан негодным к военной службе, его решили перевести в гражданскую тюрьму, где он должен был отсиживать ещё 9 лет заключения. Но при доставлении его из батальона в тюрьму в сильный морозный день полицейские служители по небрежности своей повезли его без тёплой одежды, долго стояли на улице у полицейского дома и поэтому так простудили его, что у него сделалось воспаление легких, от которого он и умер через 22 дня» (*Там же. С. 3 – 4*).

Всё списано на ошибки и «небрежность» мелкой мундированной сволочи... Проклятая, проклятая, проклятая гадина по имени «государство Российское» по сей день *умеет* не только заметать следы собственных преступлений, но и затыкать рты живым свидетелям!

Владимир Григорьевич Чертков, ближайший друг Л. Н. Толстого, так же навещал Дрожжина в тюрьме и добился допуска к нему полноценного, платного врача «с воли» — но и тот уже ничем не мог помочь Дрожжину... и ушёл, крепко озадаченный и сконфуженный попыткой «жалостливой» беседы с умирающим о его страданиях в дисциплинарном батальоне:

«— Вам там очень тяжело было?»

— Нет, мне там было хорошо, - ответил Евдоким Никитич тихим нежным голосом.

— Как же хорошо, когда человек лишён наибольшего блага — свободы?»

— Нет, я был свободен.

— Как свободен? — переспросил доктор.

— Я думал, что хотел, — сказал Евдоким Никитич» (*Там же. С. 126*).

Прекрасен и эпизод с тюремным фельдшером, который единственным «лечением» мог предложить Дрожжину... тюремного же *попа* для исповеди. Мученик Христов, собрав остатки сил, спровадил обоих: «Я те дам священника. Я сам себе священник» (*Там же. С. 122*).

Запоздало, лишь 12 января 1894 г., пришло и решение о пересмотре дела в суде — бывшее откликом на письмо В. Г. Черткова царю, о котором мы подробнее скажем ниже. Дрожжин уже не чаял дожить до нового суда, да и в целом не связывал с пересмотром дела никаких надежд. В одной из последних записей его «тюремного дневника» читаем:

«...Надо мной учинили суд. Суд этот более чем странен. Непринятием присяги и отказом исполнить малейшее приказание военного начальства я показал полнейшее отклонение от военной службы вообще, но меня судили только за неисполнение приказания и так, как и тех солдат, которые в течении нескольких лет службы всегда были послушны, а потом почему-либо один раз ослушались. О присяге же даже как будто забыли. Из этого ясно, что в нашем писанном законе моё преступление является не предусмотренным, а так как преступление весьма очевидно, то суд действует „применительно“. Но вот меня ещё судили и также несерьёзно. Наконец, будут судить окружным судом, который, я это предвижу, отличится не хуже полковых. Конечно мне дадут наказание самое строгое, но дело в том, что это произойдёт от совершенной новизны дела, и потому, не умея обойтись с ним по закону, и машинально судьи будут озабочены одним: как бы не оказаться снисходительными» (*Там же. С. 132*).

Дрожжин не дожил до этого очередного акта его медленного убийства. 25 января присланному Чертковым доктору удалось в последний раз поговорить с больным:

«Он застал его в очень плохом состоянии. Евдоким Никитич сидел скорчившись, дыхание стеснённое, со свистом, губы, концы пальцев — синие. В разговоре он сказал доктору: „Жил я хотя не долго, но умираю с сознанием, что поступил по своим убеждениям, согласно с своей совестью. Конечно, об этом лучше могут судить другие. Может быть... нет, я думаю, что я прав“, — сказал он утвердительно» (*Там же. С. 127*).

А в ночь с 26 на 27 января 1894 г. два других отказника, Судаков и Середа, ухаживавшие за умирающим в общей камере Евдокимом Никитичем, стали свидетелями его кончины:

«...Отсидев свой срок до полночи, в четыре часа утра Середа разбудил его со словами: „Судаков, Дрожжин помирает“. Судаков вскочил. Они подошли к койке, на которой сидел Евдоким Никитич. Он стал чуть слышным голосом просить, чтобы они положили его, что ему так трудно. Они, боясь, чтобы он не умер тотчас же, если ляжет, уговаривали не ложиться. Но он жалобным голосом сказал: „Что же, вы мне и помочь не хотите?“ Они его положили. Он полежал тихо немного времени, потом стал махать руками, подзывая Судакова. Судаков подошёл. Евдоким Никитич хотел что-то говорить, но уже не мог. Потом у него на глазах показались слёзы, он вздохнул раза два, потянулся и умер» *(Там же. С. 128)*.

\* \* \* \* \*

Остановимся теперь подробнее на позиции по делу Дрожжина Льва Николаевича Толстого и ближайшего друга его, «толстовца № 1» Владимира Григорьевича Черткова — в эти годы уже не простого помощника и единомышленника, а человека, активно влиявшего на мысли и поступки Толстого.

Первые сведения о подвиге Дрожжина Лев Николаевич получил из январского, 1892 года, письма «князя-толстовца» Д. А. Хилкова. Конечно, эти сведения, при всей суровости условий, в которых в дисциплинарном батальоне был помещён Евдоким Никитич, не могли произвести первоначально на Толстого большого впечатления — на фоне наблюдаемых им месяцами страданий голодавших в России в то время крестьян, для которых Толстой с членами семьи и друзьями собирал тогда еду и деньги и открывал столовые, и на фоне поведения самого кн. Хилкова, приговорённого в то же время к ссылке за христианские проповеди среди крестьян и пример собственной доброй жизни для них. Да и Хилков вряд ли в своих письмах (одно из которых не сохранилось, а второе не опубликовано) отзывался о Дрожжине особенно лестно. Не забудем, что в его судьбе, как и в судьбе друга его, Н. Т. Изюмченко, «князь-толстовец» со товарищи сыграл довольно мутную роль — подбив пропагандой обоих молодых людей на роль мучеников. Судя по одному из ранних отрывков, цитируемых Е. И. Поповым, оказавшись в неволе, Дрожжин, как некогда и сам Иисус, пережил «момент слабости», сомнений в правильности совершившегося — не столько с ним, сколько с его единственным на тот момент настоящим другом:





В. Г. Чертков в 1890 г. Худ. М. В. Нестеров.

«Припоминаю слова Хилкова и мои, с одной стороны, и М. с другой и нахожу что М. была права говоря: Зачем Изюмченку добровольно возвращаться в Курск с тем, чтобы подставить своё тело под удары? Я не проповедую избегания наказаний, но говорю против проповеди подставления тела под розги. Раз Изюмченко ушёл, ему должно заканчивать побег. Я старался опровергнуть её и, как сейчас помню, был блистательно разбит» (Цит. по: Попов Е.И. Указ. соч. С. 129).

Очевидно, столь же «блистательно» выставил Дрожжина в дурном свете юродивый князюшка перед Толстым — ибо тот 31 января отвечая Хилкову из Бегичевки («штаба» благотворительной помощи крестьянам), пропел о Дрожжине явно с хилковского голоса:

«Помогай вам Бог <в связи с предстоящей ссылкой. – Р. А.>. Трудно, как бедному Дрожжину. Я говорю: «бедному», потому что он сердится и ненавидит, страдает и ненавидит. Это очень тяжело» (66, 147).

Любопытно, что одновременно с посылкой Толстому писем Дрожжина в начале 1892 г. князь — быть может, и безо всякой задней мысли — наводит Льва Николаевича на разговор о буддизме, который известен отношением к страданию как к имманентной данности бытия и поисками «просветления» как пути выхода из страданий. Под влиянием размышлений о буддизме, об иллюзорно-

сти бытия, Толстой снова упрекает Дрожжина в недостаточном умиротворении и смирении в страданиях: «Ужасно жаль его. Думается, что ему бы надо быть радостнее» (*Там же. С. 157*).

Но на следующий год Толстому *придётся* начать уважать народного учителя, а не унижать жалостью... Летом этого же года в дело Дрожжина «впрягся» уже не князюшка, а *генерал от толстовства* — так издавна учёные толстоведы именуют В. Г. Черткова. Тот навещал Евдокима Дрожжина в карцере дисбата 9 июля 1893 г. и беседовал с ним наедине целый час — как уверяет Попов, только «благодаря счастливой случайности» (*Попов Е.И. Указ соч. С. 94*).

«От этого посещения, — уверяет Чертков, — я вынес глубоко поучительное впечатление. Я думал, что мне придётся его утешать и ободрять, но что сам я увижу грустное и мучительное зрелище. Ожидания эти не оправдались. Он, правда, был очень обрадован и тронут моим неожиданным для него посещением, и мы, раньше знавшие друг друга только понаслышке, бросились в объятия, как родные братья после долгой разлуки. Но в духовном отношении я ничего не мог дать, потому что он ни в чём не нуждался от меня. Он в своём заточении был независимее меня, пользовавшегося свободой» (*Там же. С. 96*).

Помимо решения ходатайствовать за полюбившегося ему страдальца, Чертков своим визитом облегчил его участь: «Начальство увидало, что судьба его известна посторонним, что за его жизнью следят, интересуются им, и к нему стали менее жестоки: разрешили чтение книг, переписку. Кроме того, Черткову удалось установить переписку с Дрожжиным, минуя руки начальства, которая не прекращалась во всё время пребывания его в батальоне» (*Там же*).

Конечно, Владимир Григорьевич передал свои лестные впечатления от Дрожжина Льву Николаевичу — а доверял тот ему куда больше, чем Хилкову! От Черткова Толстой узнал и о состоявшемся ещё в сентябре 1892 г. переводе Дрожжина из тюрьмы в Харькове в Воронежский дисциплинарный, и о явленных им там уме и мужестве, «спокойствии и твёрдости» (66, 375). К 1893 г. относятся ряд писем Л. Н. Толстого, помимо Черткова, другим толстовцам (М. В. Алёхину, М. А. Новосёлову, Б. Н. Леонтьеву), в которых он с глубокой почтительностью характеризует поведение Дрожжина.

Особняком стоит переписка этого года Толстого с В. Г. Чертковым, в связи с его деятельностью помощи Дрожжину. В июле 1893-го, ещё находясь в Бегичевке по делам закрытия спасавших в голодные месяцы крестьян столовых, Лев Николаевич получил от Черткова письмо с подробностями об условиях содержания Е. Н. Дрожжина и своих планов помощи ему:

«Держат Дрожжина так строго, что он почти из камеры не выходит. Доступ к нему невозможен. Он приговорён к 6 л. дисциплинарного батальона, но там больше 2-х не сохраняют здоровья; следовательно, это равносильно медленной казни. Я решился сделать всё, что могу, для облегчения его участи. Хочу написать о нем записку и попросить Воронцова показать ее государю. Для получения самых точных сведений завтра [...] в Воронеже наведу справки. Врач дисциплинарного батальона, оказывается, мой старый знакомый. <Вероятно, этим врачом был Сергей Михайлович Клобуцкий (1846 – ?), статский советник. См. Рос. медицинский список, 1902 г. С. 159. Он числится в списках офицерского состава Батальона на 1899 год. См.: [www.ria1914.info/index.php/Воронежский дисциплинарный батальон](http://www.ria1914.info/index.php/Воронежский_дисциплинарный_батальон) – Р. А.> Когда окончу свою записку, то пришлю вам для просмотра. Хочу написать, как можно короче, яснее и убедительнее, главным образом ходатайствую об этом частном случае, но попутно касаясь жестокости таких преследований вообще» (Цит. по: 87, 212).

Об этом письме Черткова Толстой писал С. А. Толстой в письме от 15 июля: «Поразительно письмо Попова и Черткова о Дрожжине. Не будет таких людей, никогда узел не развяжется, а когда есть эти люди, становится страшно, особенно за мучителей» (84, 190).

Конечно, как и самого Черткова, Дрожжина в «чертковской сервировке» Толстой идеализировал. Это проявилось, например, в том, что, начав было в октябре 1893 г. писать Евдокиму Никитичу письмо, Толстой, по признанию в письме Черткову, вдруг раздумал писать его — дабы «не повредить» чем-нибудь святому настроению мученика и праведника (87, 227).

Чертков между тем начал составлять (не ранее 8 сентября, точная дата не установлена) самое значительное в судьбе не одного Дрожжина, а всех тогдашних отказников, письмо — царю. Ниже мы приводим частично его текст по публикации в томе писем Л. Н. Толстого. Изложив в начале письма сущность дела Дрожжина и сообщив о мучительных наказаниях, которым Дрожжин подвергался в то время в Воронежском дисциплинарном батальоне, Владимир Григорьевич просил не только облегчить его положение, но и обратить внимание на несправедливость и жестокость мер, которые применяются в России по отношению к людям, отказывающимся от военной службы по религиозным убеждениям:

«Не только несправедливо, но и в высшей степени жестоко помещать в военные исправительные учреждения и военные тюрьмы людей, не могущих по чистой совести исполнять военные обязанности.

Это жестоко потому, что в сущности такую меру этим людям предлагается на выбор только один из двух исходов: или, пожертвовав своей совестью, стать обманщиками; или же, жертвуя своею жизнью, быть мучениками за то, что они не согласны стать обманщиками. Мера эта, сверх того, и не благоразумна с правительственной точки зрения. Как секретно ни содержали бы таких людей за стенами военных тюрем и карцеров, существование их всё же останется известным их страже и её начальству, т. е. целому кругу людей, в которых человеческая душа никогда не бывает вполне заглушена. А между тем каждый, в ком ещё хоть сколько-нибудь сохранилась простая человечность, не может не испытывать самого глубокого сострадания к человеку, хотя бы и заблуждающемуся, но живо губимому единственно из-за его несогласия изменить требованиям своей совести. Всякое мученичество, хотя бы и из ошибочных побуждений, в настоящее время внушает свидетелям его неотразимое уважение к мужеству и самоотречению мученика, и невольное внутреннее осуждение того начала, вследствие которого подобные мучения становятся необходимыми. Таким путём незаметно, но неизбежно изнутри, в самом корне подтачивается та самая преданность к государственному началу, ради поддержания которой и предпринимаются подобные меры.

Такое положение дела, разумеется, не может быть желательным для правительства и вероятно существует единственно вследствие невыясненности ещё наиболее целесообразного со стороны правительства отношения к подобным до сих пор лишь изредка встречающимся случаям. А между тем удовлетворительное для всех разрешение этого вопроса, казалось бы, самое лёгкое и простое. С точки зрения справедливости человек не может считаться виновным в том, что он родился в таком, а не другом месте. И если, возмужав, он убеждается в том, что не может по совести исполнять государственные требования, господствующие там, где он родился, то, казалось бы, самая простая справедливость требует того, чтобы такому человеку была предоставлена возможность удалиться из пределов своей родины. Если правительству не желательно, чтобы примеру людей, не могущих по своим религиозным убеждениям поступать в военную службу, следовали такие, которые, единственно ради личной своей выгоды, хотели бы уклониться от этой службы, то совершенно достаточно для этой цели, лишив отказывающихся от воинской повинности решительно всех гражданских прав, предоставить им на выбор: или выехать из пределов государства, или же быть переселёнными в такую местность России, в которой их влияние сочтётся

наименее опасным. Всякому человеку мучительно тяжело быть изгнанным из своей родины, и потому такая мера оказалась бы более, чем достаточной, для устранения малейшей привлекательности для кого бы то ни было отказа от военной службы. Если же было бы признано необходимым подвергать таких людей тюремному заключению, то по крайней мере следовало бы заключать их в *гражданские* тюрьмы, в которых срок заключения не мог бы постепенно увеличиваться; но отнюдь не в *военные* учреждения, где, в силу неизбежных недоразумений, заключение даже на самый короткий срок легко может обратиться в пожизненное одиночное заключение» (Цит. по: 87, 222 – 223).

Письмо своё к царю Чертков подписал оригинально: «В. И. В., покорный подданный». Почему «покорный», Чертков особо пояснил в письме 5 ноября 1893 г. хорошо понявшему его в этом моменте Толстому:

«Подписать «*верноподданный*» и «*имею счастье*» я не в силах, так как это слишком диаметрально противоположно тому, что я чувствую. Но я подпишусь так: «вашего императорского величества покорный подданный», что будет и правда, и вполне почтительно в особенности после предшествующих слов об уважении и доверии к его личности» (Там же. С. 231).

Без сомнения, «толстовец № 1» был хорошим учеником «друга и учителя» из Ясной Поляны. И ученик оказался успешнее своего учителя: по личным воспоминаниям старца В. Г. Черткова, записанным уже в 1930-е годы подготовителями Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, выше процитированное письмо было с пониманием встречено и с толковыми комментариями прочитано Александру III умным балтийским немцем — и таким же, как Чертков, ловким, хитрым и прагматичным до мозга костей — начальником «Канцелярии по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых» генералом Отто фон Рихтером (Otto Demetrius Karl Peter von Richter; 1830—1908). И, с таким содержанием и в такой подаче, оно встретило благоприятное отношение и способствовало замене для отказывающихся по религиозным убеждениям от военной службы заключения в дисциплинарном батальоне ссылкой в Восточную Сибирь на срок нахождения на военной службе и в запасе армии (Там же. С. 223).

К несчастью, Евдокима Никитича Дрожжина все принятые меры уже не успевали спасти.

Первоначальный вариант этого письма, с пометками Толстого, который Толстой имеет в виду в комментируемом письме, в архиве Черткова не разыскан. С вкрадчивостью хитрого лиса «послушный ученик» поверг его — уже 12 октября, что говорит о длительности не одной эпистолярной, но всей, к подаче письма, подготовительной работы — к очам Льва Николаевича. В письме-сопроводилке (которое уцелело) Чертков писал:

«Посылаю вам, дорогой Лев Николаевич, с этою же почтою заказным на Тулу черновое моего письма о Дрожжине. Раньше чем списать его набело и отослать, мне очень хотелось бы знать ваше мнение о нём, так как вы со стороны можете лучше судить о впечатлении, которое оно производит. Пожалуйста отметьте в нём неудовлетворительные места, если таковые окажутся; и вообще, если по вашему что не так, то скажите. Хотелось бы по возможности скорее отправить это письмо, так как если оно будет иметь какое-нибудь влияние, то желательно, чтобы это влияние сказалось раньше окончания нынешнего набора, в течение которого какой-нибудь неизвестный нам брат наш может оказаться в таком же положении, как Дрожжин» (Там же. С. 229).

В эти же дни Чертков переправляет Толстому письма Е. Н. Дрожжина и записки Н. Т. Изюмченко об условиях их пребывания в Воронежском дисциплинарном батальоне. Вероятно, уже тогда Толстой обдумывал свои формы отклика на то, что он оттуда узнал. Примечательно, что в то время он как раз работал над статьёй «Религия и нравственность» (той самой, в которой изложил своё учение о Трёх Религиозных Жизнепониманиях), а также, параллельно, над статьёй «Христианство и патриотизм» и (немного ранее) над трактатом «Царство Божие внутри вас», в которых получила развитие тема несовместимости исповедуемого в России *на словах* христианства с реальной *милитаризацией* политической жизни и общественных дискурсов и, конечно, с *призывной армией*, с обязательной службой в войске.

Черновое письмо к царю было возвращено Толстым, и Чертков было переписал его набело, когда узнал через Толстого о драматических событиях — изъятии 21 октября 1893 г. детей у «еретиков», мужа и жены Хилковых. Мать князя, Ю. П. Хилкова, через Победоносцева добилась у имп. Александра III «повеления» передать ей детей сына для «воспитания в православном духе». Впоследствии В. Г. Чертков соберёт об этом, тоже вполне «типовом», преступлении российского режима обличительный материал и опубликует за границей... тогда же, в ноябре 1893-го, он решил ещё раз отредактировать своё письмо царю о Дрожжине, убрав выражения о «доверии» (см. 87,

244). Толстой не мог контролировать своего подлайного писорчука, а сам Чертков, кажется, *не спешил*, как бы уже приговорив Дрожжина к смерти — в пользу собственных амбиций...

Этот момент тем досадней, что внимание Толстого, кроме текущих работ, переключилось на событие с детьми Хилковых. За Дрожжина, ещё живого, он, как ни желал, больше не успел вступить ни чем и никак. О Хилковых же, по примеру ближайшего друга, он подготовит особенное письмо царю (см.: 67, 4 – 9), но... совершенно «провальное» по результатам.

Наконец, Дрожжин погибает. Кажется, первым оповестил о его смерти Черткова и Толстого Е. И. Попов, тут же «застолбивший» себе место биографа (или агиографа?) Евдокима Никитича:

«Дрожжин умер. Нам здесь всем кажется, что следует, как можно скорей, издать его дневники, письма, его биографию, из которой бы ясно было значение его жизни, подвига, смерти. [...] Книга эта была бы разъяснением значения его поступка, а его жизнь была бы прекрасной иллюстрацией к ней, указывающей то, что следует делать, или, по крайней мере, к чему должно готовиться всякому искреннему человеку. [...] Я писал об этом Льву Николаевичу и жду от него ответа или совета» (Цит. по: 87, 256).

Желая угодить «другу и учителю Льву Николаевичу», Чертков, затычка в каждую бочку, сперва набивался к Попову в соавторы задуманной книги, но охладел к ней из-за отговаривания его от писания самим Толстым, а уж после полицейского налёта и ареста рукописей Попова летом 1894 г. совершенно потерял к «опасной» биографии всякий интерес.

В письме от 7 февраля Е. И. Попову Толстой по поводу задуманного Поповым писания биографии народного учителя высказывается, конечно, положительно. А 8 февраля Толстой упоминает, уже как об известном факте, о смерти Е. Н. Дрожжина в письмах ряду лиц.

Из письма В. Г. Черткову:

«Как много важных значительных для нас событий: насилие над детьми Хилкова, смерть Дрожжина. Непременно надо написать его житие. [...] Пусть Евгений Иванович пишет, так как он вызывается» (87, 254).

Тема *духовного значения* смерти Дрожжина, казнённого Россией посредством создания пыточных условий (на которые она так истинно щедра во все времена, дрянная душонка!) продолжается Толстым в письме этого же дня толстовцу-пахарю Б. Н. Леонтьеву:

«Смерть Дрожжина очень поразила меня. Что-то очень значительное совершается вокруг нас. Такое моё чувство. И смерть Дрожжина

особенно усилила во мне сознание важности переживаемой минуты. Всякая минута всегда важна, но не всегда сознаёшь это, как я сознаю теперь. Мысль, выраженная вами о том, чтобы составить биографию Дрожжина, пришла всем нам...» (67, 35).

Наконец, весьма интересен, и, что особо ценно, практичен и здрав ответ Василию Кондратьеву, рабочему-печатнику из г. Николаева Херсонской губ., поведавшему Толстому в письме от 31 января 1894 г. о готовящемся призыве на военную службу и желании отказаться: «Вы, вероятно, уже знаете <откуда?? – Р. А.> о судьбе сельского учителя крестьянина Дрожжина, который года два тому назад отказался, будучи призван к военной службе, от присяги и ношения оружия и был за то приговорён в дисциплинарный батальон в Воронеже, где его замучили, так что он на днях умер от чахотки. Совет мой во всех такого рода делах такой: не загадывать вперёд, не возбуждать в себе желание отказаться; напротив, возбуждайте в себе желание покориться, что для вас вполне естественно, так как своим отказом вы повергнете в отчаяние своих близких, любящих вас; откажитесь же только в том случае, если вы будете не в силах поступить иначе. При этом, главное, постарайтесь отрешиться от мнения людей, чтобы оно не влияло на вас, а поступайте так, как бы вы поступили перед Богом, если бы никто никогда не узнал про то, что вы сделали» (67, 35).

Смерть Дрожжина, кажется, вернула к нему запоздалое внимание Л. Н. Толстого. Теперь, в феврале и весной 1894 г., она стоит для него по значительности на равных с отображением детей у сектантов Хилковых, что видно, например, из письма молодому Ивану Алексеевичу Бунину, в то время, по горячности юности, возжелавшему последовать Христу и Льву:

«Смерть Дрожжина и отнятие детей Хилкова суть два важные события, которые призывают всех нас к большей нравственной требовательности к самим себе и к всё большему и большему освобождению себя от всякой солидарности с той силой, которая творит такие дела» (67, 48).

Это, наверное, лучшая формулировка Толстым христианского значения мученичества и гибели народного учителя. Но важное, не столь «корпоративное», даже отчасти интимно-личное, прибавление к сказанному мы находим в письме Толстого от 6 марта 1894 г. толстовцу М. В. Алёхину:

«Вы спрашиваете — понимаю ли я вас? Совершенно. С радостью чувствую, как одним пульсом с вами бьётся моё духовное сердце. Так же, как и вас, меня неотступно после смерти Дрожжина нудит



мысль последовать его примеру и сделать то, что он. Будем желать этого не переставая, готовиться, не забывать, не ослабевать и, может быть, и нам придётся так же ярко сгореть, как он, а не придётся — сотлеем всё тем же огнём» (67, 72 – 73).

Толстого, как известно, «не трогали» волей самого императора Александра III, «карая» его при этом самым изгальённо-обдуманым, типично российским, сволочным и антихристовым образом: зло преследуя и без того немногих его искренних учеников. Поэтому желание «присоединиться» к мученикам Толстой высказывал уже и в эти годы, и будет высказывать позднее, в 1900-е.

Вероятно, пища Алёхину цитированные нами строки, Толстой вспоминал и имел в виду строки куда более знаменитые, обожаемого им Ф. И. Тютчева, сполна выражающие его многолетнее настроение:

Как над горячею золой  
Дымится свиток и стораёт,  
И огонь, сокрытый и глухой,  
Слова и строки пожирает —

Так грустно тлится жизнь моя  
И с каждым днём уходит дымом,  
Так постепенно гасну я  
В однообразье нестерпимом!..

О Небо, если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле —  
И, не томясь, не мучась доле,  
Я просиял бы — и погас!

«Просиял — и погас» — так кратко мог бы выразиться Толстой о судьбе Дрожжина, в отличие от Черткова, завидной ему *искренне*, до всей глубины благородного сердца.

Из письма Б. Н. Леонтьеву, 9 марта 1894 г.:

«Тут совершается то, что говорил Христос про себя и что верно и относительно учеников его. Чем выше духом и жизнью поднимется кто-нибудь из них, тем сильнее он привлечёт к себе и к тому, во имя чего он поднялся, всех остальных. И это сделал с особенною силою Дрожжин» (67, 75).

Особняком в «дрожжинской» переписке Л. Н. Толстого этих дней стоит своеобразный его ранний подступ к обличающему зло казённых смертных расправ памфлету 1908 г. «Не могу молчать». Это

письмо одному из двоих мучителей и убийц Евдокима Дрожжина, начальнику (с 1892 г.) Воронежского дисциплинарного батальона Алексею Васильевичу Бурову. Сохранился только черновик письма, датируемый приблизительно 23 – 25 февраля 1894 г. По некоторым сведениям, Толстой не отредактировал и не отправил адресату это письмо (87, 259; комм. с. 262). Так или иначе, но, по причине значимости в нашей теме, мы приводим здесь полный его текст.

«Милостивый государь,

Вам, вероятно, известно уже, что мучимый в продолжение 2-х лет в том ужасном заведении, которого вы состоите начальником, Дрожжин умер от этих мучений. Причиной его страданий и смерти многие, но преимущественно вы, так как от вас исходили приказания о его мучениях. Знаю, как целым рядом обманов и заблуждений люди, находящиеся в одном положении с вами, приводятся незаметно к совершению самых ужасных злодейств, с убеждением, что они делают хотя тяжёлое, но необходимое и потому полезное дело, поэтому не упрекаю и не осуждаю вас. Я не имею на это никакого права, так как, вероятно, совершал и совершаю, не видя их значения, такие же, как и те ваши поступки, которые были причиной смерти Дрожжина, но пишу, потому что считаю это своею обязанностью перед Богом. Будучи случайно поставлен в такие условия, в которых мне со стороны видно всё значение совершившегося дела, я считаю своею братскою обязанностью перед вами указать вам на значение вашей деятельности.

Поступок, совершённый вами (и поступков таких, сколько мне известно, совершено вами сотни, и такие дела постоянно совершаются в вашем ужасном заведении), поступок ваш по отношению к Дрожжину один из самых ужасных грехов, которые только могут совершать люди. — Вы в страшных физических страданиях убили не только невинного, но святого человека, страдавшего за истину, за учение того, кого ваши же начальники и вы сами признаёте Богом. Вы думаете в своей душе и скажете, вероятно, что, делая то, что вы делали, вы исполняли закон службы и присяги, приказания высшего начальства, государя, которому вы не могли не повиноваться. Вы скажете это, но в глубине души, перед Богом, вы знаете, что это неправда. Есть закон выше всех законов гражданских и военных, закон, незнанием которого действительно никто не может отговариваться, и есть начальство гораздо более высшее, чем все императоры в мире и от власти которого и обязанности повиноваться которому мы никогда не можем освободиться. И по этому закону вы не

могли участвовать, а тем более руководить истязаниями и убийством невинного человека, поставленного виновным только за то, что он не хотел убивать и готовится к убийству. Истязая и убивая этого человека, вы поступали прямо противно воли известного вам закона и против высшего начальства. И это вы в глубине души знали.

Простите меня, пожалуйста, если письмо это огорчит вас. Я повторяю, что в мыслях не имею осуждать вас, а пишу только потому, что боюсь — молчание будет нарушением того самого высшего закона, которому мы все одинаково подлежим. Если я ясно и несомненно вижу ваше ужасное заблуждение, позволяющее вам продолжать служить вообще в военной службе и в особенности в том зверском учреждении, в котором вы состоите начальником, то я не имею права молчать об этом перед вами и другими людьми, находящимися в таком же заблуждении, как и вы. От вас зависит сказать себе: с какого права он лезет учить меня, в таком духе осветить и продолжать свою вредную деятельность или подавить в себе то неприятное чувство, которое вызовет в вас это письмо, подумать перед Богом, заглянуть в свою совесть и бросить то ужасное дело, которым вы заняты, каких бы это ни стоило вам лишений.

Братски любящий. А. Т.» (67, 53-54).

Как видим, манифест христианского обличителя присутствует и в этом частном письме Л. Н. Толстого, писанном более чем за десятилетие до манифеста «Не могу молчать». И не важно, если даже письмо не отправилось к адресату и не задело его совести: оно сохраняет свою содержательную актуальность и по отношению к сотням и тысячам позднейших палачей при казённой, военной или полицейской, должности (сталинских, гитлеровских, путинских... всё сорта одного говна!), прикрывающих ею свои личные ущербность и садизм.

Сказанное можно отнести и к Предисловию к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина», над которым Толстой работал с конца января по начало марта 1895 г. — уже имея на руках многострадальную рукопись книги Попова, которую ему пришлось писать фактически дважды: до обыска 18 июня 1894 г. и после него, частично восстанавливая отнятое по памяти, частично же — по копиям, спрятанным в тайниках «не ленившимися на переписывание толстовцами» (*Опультская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 124*).

Позднее Толстой решил публиковать этот текст как Послесловие — по совету В. Г. Черткова в письме от 20 марта 1895 г.:

«...Ваше предисловие к этой жизни не есть предисловие, а *послесловие*. Это, во-первых, фактически верно, так как оно в вас было вызвано жизнью Дрожжина и после неё. А во-вторых, в интересах убедительности для читателя оно гораздо уместнее именно как послесловие, ибо для того, чтобы понять и почувствовать то, что вы пишете под впечатлением Дрожжина, так же ясно и сильно, как вы это понимали и чувствовали, необходимо сначала самому быть под впечатлением Дрожжина, что для читателя достижимо только путем прочтения сначала его жизни, а потом вашего послесловия» (*Цит. по: 87, 324*).

Мы тоже следуем разумному совету Владимира Григорьевича, помещая текст Послесловия Льва Николаевича Толстого к книге о Евдокиме Никитиче Дрожжине — в заключение к данной главе нашей книги. Разумеется, *не* целиком, а в рамках иллюстраций нашего краткого анализа. Для нас особенно интересен этот текст тем, что его, как и ряд позднейших публицистических работ Льва Николаевича, направленных на обличение мирской лжи и утверждение христианской истины, представители различных политических лагерей и связанные с ними пишущие критики, подкупаемые эмоциональностью толстовских текстов, полюбили считать манифестацией «социального обличения», идейной поддержкой либеральной и радикальной оппозиции в России. Консерваторы ненавидели за это Толстого, радикалы, до и после большевицкого переворота — славословили, либеральная сволочь — считала *вроде как* своим, но ставя (как и безбожники социалисты) «барьер невосприятости» по отношению к основе всех подобных публицистических писаний Толстого-христианина — к религиозной проповеди. Тем важнее нам сосредоточить внимание *нашего* читателя именно на этой идейной основе христианских писаний Льва Николаевича против войн, военщины, казарменной жестокости и смертных казней — как открытых убийств, совершавшихся Россией, так и завуалированных, особенно подлых, совершаемых по сей день.

В начале Послесловия Толстой, как и в недавно оконченном им трактате «Царство Божие внутри вас...», подчёркивает всю несуразицу, нелепость «обязательной» военной службы в христианской стране: обязательства для массы *якобы* последователей Христа Иисуса связывать себя с системой, созданной для организованных преступлений российского правительства, для военных убийств,

учиться убийствам, повиноваться начальственным приказам, требующим убивать... Снова, как и в статье «Николай Палкин», Толстой критикует лживые переосмысления и восстанавливает первоначальный христианский смысл евангельской притчи об отдаче «кесарю кесарева, а Божьего — только Богу». Отдавать же «Богу богово» в отношениях с разбойничьим гнездом «государства Российского» — означает ничем, ни словом ни поступком, не участвовать в его безбожных и преступных делах, не искать в службе этой машине смерти личных денежных или статусных выгод. А для этого — возвысить в себе высшую, духовную, природу, подлинно человеческое, и помогать только ему, а не зверино-атавистическому: «отдаваться своей природе, быть добрым и правдивым перед Богом и собою» (39, 86). Кто не лукавит перед собой, ища приложения собственным гнусным влечениям корысти, честолюбия или властолюбия, а в перспективе — лёгкости и приятности жизни для своего животного, эгоистического «я», тот не выберет должности полицая, шпиона, палача, военного, сборщика налогов и под.

Людам легче было обманывать себя, оправдывая своё участие во власти, повинование ей, в традиционалистских обществах, с их массой невежественных или полуневежественных людей, суеверно наделявших политических, военных и «духовных» (попы) вожаков теми или иными идеальными качествами. Но в обществах современных, обществах неотделимой от массового просвещения машинной эры, конца XIX столетия (а тем более нашей эры информационной — конца XX и XXI столетий!) «повиновение власти — не из страха, но по совести — стало невозможно потому, что вследствие всеобщего распространения просвещения власть, как нечто достойное уважения, высокое и, главное, нечто определённое и цельное, совершенно уничтожилась», и все люди, кроме изнасиловавших сами свой же мозг казённой или поповской ложью, понимают, что правители и их прислужники суть «не только не особенные, святые, великие, мудрые люди, занятые благом своих народов, но, напротив, большею частью очень дурно воспитанные, невежественные, тщеславные, порочные, часто очень глупые и злые люди, всегда развращённые роскошью и лестью, занятые вовсе не благом своих подданных, а своими личными интересами, а, главное, неустанной заботой о том, чтобы поддержать свою шатающуюся, только хитростью и обманом поддерживаемую власть» (Там же. С. 89 – 90).

В тексте толстовского «Послесловия...» нет ни ненависти к кому-то лично, ни того задорного «обличения церкви и государства», которое стремятся увидеть поклонники меча и силы, верящие в то, что Иисус стегал кнутом в храме скотину и людей без разбору, а перед арестом

— желал от учеников защиты посредством меча и насилия. Гнев Толстого здесь, как и в иных публицистических работах, адресован не на лиц (даже таких непривлекательных, как Буров) и не на сами общественные институты, а на *ложь* и *зло*, связанные с их (и лиц, и институтов) общественным бытием. Практически до самого последнего своего публицистического текста (статьи 1910 г. «О социализме») Лев Николаевич подчёркивал *неважность* для людей христианского понимания жизни того, сохранится ли тот или другой из общественных институтов: если ложь вытесняется Божьей правдой-Истиной, то и старое устройство жизни крупных общностей людей может замениться только *лучшим*, более близким к этой Истине. Ложный, насильнический мировой строй враждующих государств — мирным безгосударственным сожителем и самоуправлением общинников. Церкви разделявших, ссоривших веками людей *анти*религий — единой Церковью Христа первоначального и единой религией Истины, при которой само слово «религия» будет соответствовать своим этимологическим истокам. И так далее... И неважно, *так* ли точно будет: для христианина важно удержать слияние своей воли с волей Бога, а значит — не обдумывать вперёд последствий, а делать для Бога, в Его воле: дорога всегда явится под стопой идущего.

В воле Бога, а не человеческой... Вот почему неправы те, кто при жизни Толстого винил *его*, что он «создаёт мучеников», таких, как Залюбовский или Дрожжин. Человек христианского жизнепонимания не творит кумира и из того, от кого познал Божью Истину — будь то Христос или Лев Толстой. Он следует не авторитетному слову, распоряжению вожака (как делают адепты церквей и сект *анти*религии), а именно воле Бога, выразившейся в этом слове учения, проповеди. Воля же Бога не может быть различна или быть злом. Зло — в самообманах и своеволии людей, поклоняющихся Богу и даже учителям Божьей Истины (как Иисус), но *не слушающихся* их, губя на таком пути жизни и других, и себя, свою душу:

«...Если мы даже сумеем поставить разумных и добрых людей во главу других, то не перестанут ли эти разумные и добрые люди быть таковыми, если они будут насиловать и казнить неразумных и недобрых? И самое главное: вы говорите, что для того, чтобы помешать некоторым вора́м, грабителям и убийцам насиловать и убивать людей, вы учредите суды, полицию, войско, которые будут постоянно насиловать и убивать людей, обязанность которых будет состоять только в этом, и в эти учреждения привлечёте всех людей. Но ведь таким образом вы наверное заменяете небольшое и предполагаемое зло большим, всеобщим и уже наверно совершающимся злом. Для

того, чтобы противостоять некоторым воображаемым вами убийцам, вы заставляете всех наверное быть убийцами. И потому я повторяю, что для осуществления братского общежития людей не нужно никаких особенных усилий, ни умственных, ни телесных, а нужно только быть тем, чем нас сделал Бог: разумными и добрыми существами и поступать сообразно этим свойствам» (*Там же. С. 95*).

А вот как в «Послесловии...» Толстого к книге Е. И. Попова выразилось всё то же его откровение о Трёх Жизнепониманиях:

«Было время, когда человечество жило, как дикие звери, и каждый брал себе в жизни всё, что мог, отнимая у другого то, что ему хотелось, избивая и убивая своих ближних. Потом пришло время, когда люди сложились в общества, государства, и стали устраиваться народами, защищаясь от других народов. Люди стали менее звероподобны, но всё-таки считали не только возможным, но необходимым и потому достойным убивать своих врагов внутренних и внешних. Теперь же приходит время и пришло уже, когда люди, по словам Христа, вступают в новое состояние братства всех людей, в то новое состояние, давно уже предсказанное пророками, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, и наступит царство Божие, царство единения и мира. Состояние это было предсказано пророками, но учение Христа указало, как и чем оно может осуществиться, а именно братским единением, одним из первых проявлений которого должно быть уничтожение насилия. И необходимость уничтожения насилия уже сознаётся людьми, и потому состояние это наступит так же неизбежно, как прежде после дикого состояния наступило состояние государственное.

Человечество в наше время находится в муках родов этого устанавливающегося царства божия, и муки эти неизбежно кончатся родами. Но наступление этой новой жизни не делается само собой, наступление это зависит от нас. Мы должны сделать его. Царство Божие внутри нас» (*Там же. С. 94*).

Возвещение Царства Божия на Земле, как на Небе — подлинный мотив публицистических писаний Толстого-христианина, которым люди различных политических, научных или религиозных сбродов, выставившие против Божьей правды-Истины удобный «барьер невосприятя», приписывают значение антиправительственной, революционной или какой-то иной оппозиционной, либо же, например, «пацифистской» пропаганды.

Вообще подвиг Дрожжина настроил Толстого очень серьёзно, строго к себе и к своему слову — что выразилось в «Послесловии...» во всём,

включая особенную проповедь необходимой строгости каждого к тому, как он влияет словом на общественное мнение, в особенности же — на сознание тех, кто берётся участвовать в мире в деле Божиим, приближении Царства Его:

«Все люди, которые двигают вперёд человечество и первые и одинокие выступают на тот путь, по которому скоро пойдут все, выступают на этот путь не легко и всегда со страданием и внутренней борьбою. Внутренний голос влечёт по новому пути, все привязанности, предания, слабости, всё тянет назад. И в эти минуты неустойчивого равновесия всякое слово поддержки или, напротив, задержки имеет огромное значение. Самого сильного человека перетянет ребёнок, когда этот человек напрягает все свои силы, чтобы сдвинуть непосильную тяжесть.

...Как бы далеко ни стояли от событий, мы участвуем в них нашим мнением и суждением. И неосторожное, легкомысленно сказанное слово может быть источником величайших страданий для самых лучших людей мира. Нельзя быть достаточно внимательным в употреблении этого орудия: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Там же. С. 97).

Кто же выпутает себя из паутины мирской словесной лжи, оправдывающей существующее устройство жизни — сумеет выпутать себя и из участия в том зле, которое оправдывает и освящает мирская ложь:

«...Я говорю про участников этих угнетений, начиная от государя, министров, судей, прокуроров, до сторожей и тюремщиков, мучащих этих мучеников. Ведь все вы, участники этих мучительств, знаете, что человек этот, которого вы мучите, не только не злодей, но исключительно добрый человек, что мучится он за то, что хочет всеми силами души быть хорошим; знаете, просто, что он молод, что у него есть друзья, мать, что он любит вас и прощает вам. И его-то вы будете сажать в карцер, раздевать, морить холодом, не давать пить, есть, спать, лишать его общения с близкими, с друзьями?..

Как же вам, императору, подписавшему такой приказ, министру, прокурору, начальнику тюрьмы, тюремщику, сесть обедать, зная, что он лежит на холодном полу и, измучившись, плачет о вашей злобе; как вам приласкать своего ребёнка; как вам подумать о Боге, о смерти, которая вас приведёт к нему?

Ведь сколько вы ни притворяйтесь исполнителями каких-то неизменных законов, вы просто люди, и добрые люди, и вас жалко, и вам жалко, и только в этой жалости и любви друг к другу и жизнь наша.

Вы говорите: нужда заставляет вас служить в этой должности. Ведь вы знаете, что это неправда. Вы знаете, что нужды нет, что нужда



— слово условное, что то, что для вас нужда, для другого роскошь; вы знаете, что вы можете найти другую службу, такую, в которой вам не придётся мучить людей, да ещё каких людей. Ведь как мучили пророков, потом Христа, потом его учеников, так всегда мучили и мучают тех, которые, любя их, ведут людей вперёд к их благу. Так как бы не быть вам участниками этих мучений?

Ужасно замучить невинную птичку, животное. Насколько же ужаснее замучить юношу, доброго, чистого, любящего людей и желающего им блага. Ужасно быть участником в этом деле. И, главное, быть участником напрасно — погубить его тело, себя, свою душу, и вместе с тем не только не остановить совершающегося дела установления царства Божия, но, напротив, против воли своей содействовать торжеству его.

Оно приходит и пришло уже» (Там же. С. 98).

Этим провозвешением заканчивает Толстой своё «Послесловие» к многострадальной книге о житии и об убиении народного учителя Дрожжина. В дальнейшем Л. Н. Толстой упоминал Дрожжина в таких своих антивоенных статьях, как «Две войны» (1898), «Одумайтесь!» (1904), «Закон насилия и закон любви» (1908) и др., признавая его одним из самых святых, чистых и правдивых людей, какие бывают в жизни, в ряду великих человеческих героев и мучеников за Истину (см.: 31, 99 – 100; 36, 128 – 129; 37, 187; 39, 102). Отрывок из книги Попова Лев Николаевич включил в свой «Круг чтения» (42, 404 – 405).

Закончим на этом и мы, оставив *современных* служителей смерти наедине со своим разумом и совестью, для осмысления прочитанного — в особенности в странах таких, как нынешняя страна палач и военный агрессор, государство-террорист 2020-х, гнусная фашистская Россия.

---

### Прибавление.

**Иван Иванович Горбун-Посадов.  
ПАМЯТИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ  
ЄВДОКИМА НИКИТИЧА ДРОЖЖИНА,  
ЗАМУЧЕННОГО В 1895 ГОДУ**

На далёком острожном кладбище  
В безымянной могиле глухой

Спит, замученный властью кровавой,  
Человечества светлый герой.

Меж убийц и воров он схоронен,  
В безымянной могиле зарыт.  
Но душа его светлой звездой  
Над могильною тьмою горит.

Он был призван. Но твёрдо он власти,  
Весь пылая душевным огнём,  
Заявил: "Я не буду убийцей.  
Я не стану солдатом-рабом!

Никогда не прольют эти руки  
Человеческой крови родной.  
Никогда в эти руки оружие  
Не вложить вам кровавой рукой.

И ничем вы не сломите духа  
Исповедника братства людей —  
Всею силой, всей пыткой и мукой  
Ваших тюрем, штыков и цепей!"

Где великим убийцам народы  
Лижут ноги, как светлым богам,  
Там героев любви и свободы  
На убой предадут палачам.

И с тех пор его жизнь стала мукой,  
Бесконечным распятием одним.  
Он был бит, и поруган, и заперт  
За решёткой по тюрьмам глухим.

И, среди ада военных острогов.  
Средь солдатских засеченных тел.  
Средь солдатских затравленных жизней,  
Он, как факел пылавший, сгорел.

И в недуге был брошен смертельном,  
Он, страдалец за свет и любовь,  
На камнях, как собака, темничных,  
И из горла текла его кровь.

Эта кровь, за любовь пролитая,  
За великое братство людей,  
Из далекой острожной могилы  
Светит силой нам дивной своей.

И зовёт эта сила страданья,  
Сила жертвы великой его  
Человечество вольной душою  
Цепи рабства порвать своего.

О, не даром страдал он. Настанет  
Час сознанья, и сломят штыки  
Миллионы очнувшихся братьев  
По лицу всей свободной земли.

И исчезнет солдатская доля  
И позорное званье солдат —  
Этих диких убийц поневоле.  
Человек станет друг лишь и брат.

И когда ночь безумья и рабства  
Дрогнет в мире, тонущем в крови,  
Перед тенью апостола братства  
Мир преклонит колени свои.

А пока, на острожном кладбище,  
В безымянной могиле немой  
Спит, народу слепому неведом,  
Человечества лучший герой.

(Горбунов-Посадов И.И. *Песни братства и свободы. Том 1. 1882 – 1913.* [http://az.lib.ru/g/gorbunowposadow\\_i\\_i/text\\_0020.shtml](http://az.lib.ru/g/gorbunowposadow_i_i/text_0020.shtml) )

**ЗДЕСЬ КОНЕЦ ПЯТОЙ ГЛАВЫ**



**Глава Шестая.**  
**ОТ ТРАКТАТА «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»**  
**ДО РОМАНА «ВОСКРЕСЕНИЕ»**

Христианин не участвует в деятельности правительства  
и не подчиняется ему, не платит подати,  
не участвует в управлении, в судах,  
в государственной религии, в войске  
не потому, что он хочет разрушить что-либо  
и установить какой-либо новый порядок,  
а только потому, что он следует тому, что ему повелено  
от Того, Кто послал его в жизнь,  
твёрдо веруя в то,  
что ничего кроме блага себе и всему миру  
от этого следования быть не может.

*(Лев Николаевич Толстой)*

Тысячелетия уже идёт эта борьба  
между законами Божьими и человеческими,  
между любовью и ненавистью,  
и безостановочно, с каждым веком,  
с каждым годом, каждым днём и часом, свет побеждает тьму  
и люди всё более и более приближаются к идеалу,  
указанному всеми пророками, Христом и нашим сердцем,  
и исход борьбы несомненен.

*(Лев Николаевич Толстой)*

**6. 1. «ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ»**  
**(окт. 1893 – март 1894)**

Самая дешёвая гордость — это гордость национальная.  
Она обнаруживает в заражённом ею субъекте  
недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться;  
ведь иначе он не стал бы обращаться к тому,  
что разделяется кроме него ещё многими миллионами людей.  
Кто обладает крупными личными достоинствами,

тот, постоянно наблюдая свой народ,  
прежде всего подметит его недостатки.  
Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться,  
хватается за единственно возможное и гордится народностью,  
к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления  
защищать все её недостатки и глупости.

(Артур Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости»)

"Мир оставляю вам, мир мой даю вам:  
да не смущается сердце ваше и да не устрашается",  
— сказал Христос.  
И мир этот действительно уже есть среди нас,  
и от нас зависит приобрести его.

(«Христианство и патриотизм»)

«Франко-русские празднества, происходившие в октябре месяце  
прошлого года во Франции, вызвали во мне, вероятно так же как и  
во многих людях, сначала чувство комизма, потом недоумения, по-  
том негодования, которые я и хотел выразить в короткой журналь-  
ной статье...» (39, 27) — с этих слов начинается осенью 1893 г. Лев  
Николаевич Толстой новую свою публицистическую работу, сразу  
определяя для читателя степень своей близости к его, читателя, либо  
патриотическим, либо всё же более адекватным и разумным, убеж-  
дениям.

Действительно, статья «Христианство и патриотизм» была написана  
под впечатлением от франко-русских демонстраций, проходивших  
в октябре 1893 г. по случаю заключения франко-русского союза и  
прибытия в Тулон эскадры русских военных кораблей.

Сохранилось письмо религиозного единомышленника и помощника  
(в частности, переписчика) Е. И. Попова к Т. Л. Толстой от 5 сен-  
тября 1893 г., где он сообщает, что Толстой, привыкший в предыду-  
щие годы, работая над «Царствием Божиим», к огромной творческой  
загрузке, теперь «в писании своём разбросался» сразу на несколько  
работ, среди которых — «Тулон» (Цит. по: Гусев Н.Н. *Летопись жизни  
и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С.  
106*). Таково было «рабочее» заглавие новой антивоенной статьи.

Толстой приступил к работе над статьёй по свежим впечатлениям  
от газетных известий, 8 октября 1893 г. Первую редакцию статьи,  
подписанную этим числом, Толстой, начал непосредственно с изло-  
жения одной из опубликованных в газетах телеграмм из Парижа от

5 октября с описанием торжеств по случаю заключения союза. И вдруг, в черновом варианте — здесь же, в начале статьи, Толстой прибегает к сравнению воистину безжалостному к участникам военно-патриотического психоза. Он сравнивает сведения из телеграмм с содержанием прочитанной им незадолго до того статьи «учёного психиатра» (И. А. Сикорского) о психопатической эпидемии малёванщины, напечатанной в «Киевских университетских известиях». Сравнивая эту эпидемию с эпидемией, «появившейся в Париже», Толстой находит вторую несравненно опаснее первой, потому что последствиями её будут «неисчислимы бедствия». Если распространителями эпидемии малёванщины являются совсем ничтожные и безвредные люди, то распространители парижской эпидемии — могущественные люди, «обладающие и властью и громадными средствами». Эти люди, как пишет Толстой в первой черновой рукописи, «не их Паскали, Руссо, Дидероты, Вольтеры... а самые пошлые и жалкие представители правительственного патриотизма» (Цит. по: 39, 229).

Начав обработку статьи, Толстой постепенно расширил первую часть, посвящённую описанию празднеств в Тулоне и Париже, введя в неё в качестве иллюстраций ряд цитат из газет наподобие «Сельского вестника», и отодвинул изложение статьи Сикорского. В окончательном печатном тексте этой статье посвящена глава III.

Вся статья была начата в резко обличительных тонах, описание торжеств даётся в столь саркастическом тоне, что местами мы как будто слышим живой голос автора, с насмешкой акцентуирующего внимание нас, «слушателей», на особенно досадно-лживых, но и смехотворных местах газетных очерков. Вот, для примера, позорящая род людской цитата одного из корреспондентов «Нового времени», живая иллюстрация лёгкости *ментального и психического заражения человека*, сродни тому, которое и приводит к войнам:

«Правду говорят — событие всемирное, изумительное, трогательное до слёз, поднимающее душу, заставляющее её трепетать *той любовью, которая видит в людях братьев и которая ненавидит кровь и насильственные присоединения, отторжение родных детей от любимой матери*. Я в каком-то чаду в течение нескольких часов. [...] Где я? что такое случилось? какая волшебная струя соединила всё это в одно чувство, в один разум? Разве не чувствуется тут присутствие Бога любви и братства, присутствие чего-то высшего, идеального, сходящего на людей только в высокие минуты? [...] Это лучше восторга. Живописнее, глубже, радостнее, разнообразнее. [...] Тут слова ничего не скажут. Во время молебна, когда певчие пели в церкви "Спаси, Господи, люди твоя", в открытые двери врывались

торжественные звуки "Марсельезы" духового оркестра, который играл на улице. Что-то изумительное по впечатлению, непередаваемое» (Там же. С. 30).



Адмирал **Фёдор Карлович Авелан**  
на борту броненосца "Император Николай I".  
С гравюры Henry Meyer. Октябрь 1893 г.

О том же эмоциональном заражении толпы излился журналюжный писорчук из «Сельского вестника» — но, кстати сказать, сдержанней, более как наблюдатель массового психоза:

«При встрече судов русских и французских те и другие, кроме пушечных выстрелов, приветствовали друг друга горячими, восторженными криками "ура", "да здравствует Россия", "да здравствует Франция!"

К этому присоединились хоры музыки (бывшие на многих частных пароходах), исполнявшие гимны — русский "Боже, царя храни" и французский "Марсельезу"; публика на частных судах махала шляпами, флагами, платками и букетами цветов; на многих барках были одни крестьяне и крестьянки со своими детьми, и у всех в руках

были букеты цветов, и даже ребята, махая букетами, кричали что было мочи: "вив ля Рюсси". Наши моряки, видя такой восторг народный, не могли удержаться от слёз.

[...] Согласно морскому уставу, адмирал <Фёдор Карлович> Авелан с офицерами своего штаба высадился на берег, чтобы приветствовать местных властей. На пристани русских моряков встретили французский главный морской штаб и старшие офицеры тулонского порта. Последовали общие дружеские рукопожатия при громе пушек и звоне колоколов. Хор морской музыки исполнил гимн "Боже, царя храни", покрытый громовыми кликами публики: "да здравствует царь!", "да здравствует Россия!" Эти клики слились в один могучий гул, покрывший и музыку и пушечную пальбу.

Очевидцы сообщают, что в эту минуту восторг несметной массы народа достиг высочайшей степени и словами невозможно передать...» и так далее, в том же духе (39, 28 – 29).

Из официальных газет можно было почерпнуть сведения о съеденных на празднестве кушаньях и произнесённых речах: «такая-то "вудка", такое-то Bourgogne vieux, Grand Moet... В английской газете было перечисление всех тех пьяных напитков, которые были поглощены во время этих празднеств. Количество это так огромно, что едва ли все пьяницы России и Франции могли бы выпить столько в такое короткое время» (Там же. С. 31 – 32).

Л. Н. Толстой, к тому времени уже автор великолепной статьи «Первая ступень» (1891), осудившей обжорство, ряда статей о пьянстве и знаменитого «Согласия против пьянства» (1887), с сарказмом подчёркивает, что меню было явно разнообразнее речей:

«Речи состояли неизменно из одних и тех же слов в различных сочетаниях и перемещениях. Смысл этих слов был всегда один и тот же: мы нежно любим друг друга, мы в восторге, что мы вдруг так нежно полюбили друг друга. Цель наша не война и не *revanche* и не возвращение отнятых провинций, а цель наша только *мир*, благодеяние *мира*, обеспечение *мира*, спокойствие и *мир* Европы. Да здравствует русский император и императрица, мы любим их и любим *мир*. Да здравствует президент республики и его супруга, мы тоже любим их и любим *мир*. Да здравствует Франция, Россия, их флот и их армия. Мы любим и армию, и *мир*, и начальника эскадры. Речи большей частью заканчивались, как в куплетах словами: Тулон, Кронштадт или Кронштадт, Тулон. И наименование этих мест, где было так много съедено разных кушаний и выпито разного вина, произносились как слова, напоминающие самые высокие, доблестные поступки представителей обоих народов, такие слова, после произнесения которых уже говорить нечего, потому что



всё понятно. Мы любим друг друга и любим *мир*, Кронштадт, Тулон! Что ещё можно прибавить к этому?! особенно под звуки торжественной музыки, играющей одновременно два гимна: один — прославляющий царя и просящий у Бога для него всяких благ, другой — проклинающий всех царей и обещающий им всем погибель» (*Там же*. С. 32).

К такой же акцентуации слова *мир*, подчёркивающей неискренность, выморочность и отчасти лживость самого вербального и ситуативного контекста его употребления, прибёг Толстой, как может помнить читатель, в трактате «Царство Божие внутри вас», не менее иронически характеризуя болтовню пацифистов на Конгрессе мира в Лондоне:

«Конгресс выразил твёрдую и непоколебимую веру в окончательное торжество *мира* и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях» (28, 112).

Материальным символом глупости и фальши пьяного действия стала «соха из алюминия, покрытая цветами», преподнесённая Авелану в качестве подарка от французской стороны (39, 33).

А где царит раздроченная правительствами и военщиной дурость пьяная и военно-патриотическая — туда, как дурная кровь к опухоли, приливает за мирскими наградами и услужливое духовенство. Неизмеримо более счастливая, чем Россия, Франция, к тому времени уже давным-давно передувившая избыток попов кишками не менее избыточных и вредных для развития страны королей и феодалов, вдруг, ни с того ни с сего, стала массово набожной:

«Едва ли со времен Конкордата <Конкордат Наполеона с папой Пием VII, 15 июля 1801 г., определивший новое положение католической церкви во Франции. — Р. А.> было совершено столько общественных молитв, сколько в это короткое время. Все французы стали вдруг необыкновенно набожны и заботливо развешивали в комнатах русских моряков те самые образа, которые они только недавно так же старательно, как вредное орудие суеверия, выносили из своих школ, и не переставая молились. Кардиналы и епископы везде предписывали молитвы и сами молились самыми странными молитвами, Так, епископ в Тулоне, при спуске броненосца "Жоригибери", молился Богу мира, давая чувствовать при этом однако, что если что, то он может обратиться и к богу войны» (*Там же*).

«...Мы твёрдо уповаем, что "Жоригибери" пойдёт на врага рука об руку с могучими судами, экипажи коих вступили ныне в столь близкое братское единение с нашими» (*Там же*). Сие высрал из башки отнюдь не начальник эскадры, а всё тот же «христианнейший» епископ на торжестве *спуска*.

Газеты и телеграф делали своё дело, и психоз «дружбы наций» распространился по миру: «Французские женщины приветствовали русских женщин. Русские женщины выражали свою благодарность французским женщинам. [...] Русские дети писали приветственные стихи французским детям, французские дети отвечали стихами и прозой; русский министр просвещения свидетельствовал министру французского просвещения о чувствах внезапной любви к французам всех подведомственных ему русских детей, учёных и писателей; члены общества покровительства животным свидетельствовали свою горячую привязанность французам...» и т. д. (*Там же*. С. 33 – 34).

Как и в теперешней 2023 года, фашиствующей, путинской России, в России царской (и, вероятно, во Франции тоже) звучали в этом общем дурдоме одиночные протестующие голоса — тем более значительные и ценные для Толстого. Толстой приводит текст открытого письма московских студентов, переданной ему частным порядком, а до того боязливо не принятой в печать *ни одной* российской газетой:

«Открытое письмо к французским студентам.

Недавно кучка московских студентов юристов, с инспекцией во главе, взяла на себя смелость говорить от лица всего московского студенчества по поводу тулонских празднеств.

Мы, представители союза землячеств, самым решительным образом протестуем как против самозванства этой кучки, так и по существу против происшедшего между нею и французскими студентами обмена приветствий. Мы тоже смотрим с горячей любовью и глубоким уважением на Францию, но смотрим так на неё потому, что видим в ней великую нацию, которая прежде постоянно являлась для всего мира глашатаем и провозвестником великих идеалов свободы, равенства и братства, которая была первою и в деле отважных попыток воплощения в жизнь этих великих идеалов. и лучшая часть русской молодёжи всегда была готова приветствовать Францию как передового воина за лучшее будущее человечества. Но мы не считаем такие празднества, как кронштадтские и тулонские, подходящим поводом для подобных приветствий.

Напротив, эти празднества знаменуют собой печальное, но, надемся, кратковременное явление, — измену Франции своей прежней великой исторической роли: страна, призывавшая когда-то весь мир разбить оковы деспотизма и предлагавшая свою братскую помощь всякому народу, восставшему за своё освобождение, теперь воскуряет фимиамы перед русским правительством, которое систе-

матично тормозит нормальный, органический и живой рост народной жизни и беспощадно подавляет, не останавливаясь ни перед чем, все стремления русского общества к свету, к свободе и к самостоятельности. Тулонские манифестации — есть один из актов той драмы, которую представляет созданный Наполеоном III и Бисмарком антагонизм между двумя великими нациями — Францией и Германией. Этот антагонизм держит всю Европу под ружьём и делает вершителем политических судеб мира русский абсолютизм, всегда бывший опорой произвола и деспотизма против свободы, эксплуататоров против эксплуатируемых. Чувство боли за свою страну, сожаление о слепоте значительной части французского общества — вот какие чувства вызывают в нас эти празднества. Мы вполне убеждены, что молодое поколение Франции не увлекается национальным шовинизмом и, готовое бороться за тот лучший социальный строй, к которому идёт человечество, сумеет отдать себе отчёт в настоящих событиях и отнестись к ним надлежащим образом; мы надеемся, что наш горячий протест найдёт себе сочувственный отклик в сердцах французской молодёжи.

Союзный совет 24-х объединённых московских землячеств» (39, 34 – 35).

Но «ветхий Адам» верен сам себе во всякой стране и всяком поколении, и этот «занудный» тихий голос разума не был услышан, кроме Толстого, тогда практически никем.

На апофеозе празднеств сумасшествие проявило себя открыто: «...Задавлено было до смерти несколько десятков людей, и никто не находил нужным упоминать об этом. [...] Появлялись случаи и ясно выраженного бешенства. Так одна женщина, одевшись в платье из цветов французско-русского флагов, дождалась моряков, воскликнула "Vive la Russie!" и с моста пригнула в реку и потонула. [...] Казавшийся совершенно здоровым русский матрос, после двухнедельного созерцания всего совершавшегося вокруг него, — в середине дня спрыгнул с корабля в море и поплыл, крича: "виф ля Франс!" Когда его вытащили и спросили, зачем это он сделал, он отвечал, что дал зарок в честь Франции оплыть кругом корабля» (Там же. С. 35, 36).

«Женщины вообще в этих торжествах играли выдающуюся роль и даже руководили мужчинами» — отмечает автор «Крейцеровой сонаты»: «Кроме бросания цветов и разных ленточек и поднесения подарков и адресов, французские женщины на улицах бросались на русских моряков и целовали их, некоторые для чего-то подносили им детей, предлагая целовать их; когда русские моряки исполняли

это желание, то все присутствующие приходили в восторг и плакали» *(Там же)*.

Наконец, и сам Лев Николаевич, начитавшись эмоциональных описаний в прессе, «вдруг неожиданно почувствовал сообщившееся чувство, подобное умилению, даже готовность к слезам, так что должен был сделать усилие, чтобы побороть это чувство» *(Там же)*.

Так действует на человека психическое заражение, собирающее жертв своих не только в войско, но и в секты. И Толстой прибегает в Третьей главе статьи к упомянутому уже сравнению франко-русского психоза с описанной выдающимся психиатром Иваном Алексеевичем Сикорским (1842 – 1919) психопатической эпидемией, наблюдавшейся им среди сектантов «малеванцев»:

«Сходство между тою и другою болезнью полное. То же необыкновенное благодушие, переходящее в беспричинную и радостную экзальтацию, та же сентиментальность, утрированная учтивость, говорливость, те же беспрестанные слёзы умиления, приходящие и проходящие без причины, то же праздничное настроение, то же гуляние и посещение друг друга, то же наряжание себя в самые нарядные платья, то же пристрастие к сладкой еде, те же бессмысленные речи, та же праздность, то же пение и музыка, то же руководство женщин и [...] те различные ненатуральные позы, которые принимают люди во время торжественных встреч, приёмов и произнесения речей во время обедов» *(Там же. С. 37 – 38)*.

А различие в том, что ложь официальных особ, в которую они, видимо, уверовали сами, шовинистический дурман, привели к массовой «психопатической эпидемии», охватившей не десятки человек, как «малеванцы», а сотни тысяч рядовых участников торжеств и манифестаций. Самое страшное, подчёркивал писатель, то, что среди помешанных есть люди, имеющие деньги и власть для распространения своего помешательства по миру *(Там же. С. 38 – 39)*.

Вся болтовня военщины, попов и журналюг о мире, по убеждению Толстого, подобна хитрости сумасшедшего, замышляющего свою злейшую выходку *(Там же. С. 29)*.

Или ребёнка:

«Так дети иногда так рады, что они скрыли свою шалость, что самая радость эта выдаёт их» *(Там же. С. 41)*.

Между тем, продолжает Толстой уже в Пятой главе, самый союз с Россией, что понятно поодиночке, в спокойной обстановке, очень многим, означает подготовку реваншистской Франции к войне. Военные приготовления идут, деньги на вооружения и пропаганду, начиная с обмана детей специально созданными для того учебниками, тратятся миллиардами, и миллионы людей уже находятся под

ружьём и в России, и во Франции. Так действует на сознание масс сочетание принуждения и лжи — намеренно состряпанной, системной и навязчивой:

«...Ничем не оправдываемая, злая ложь. Ложь — эта внезапно возникшая, исключительная любовь русских к французам и французам к русским; и ложь — наша подразумеваемая под этим нелюбовь к немцам, недоверие к ним. И ещё большая ложь — то, что цель всех этих неприличных и безумных оргий есть будто бы соблюдение европейского мира.

[...] Нам говорят, что Германия имеет замыслы против России, что тройственный союз <военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году. — Р. А.> угрожает миру Европы и нам и что наш союз с Францией уравнивает силы и потому обеспечивает мир. Но ведь [...] для того, чтобы это было так, [...] нужно, чтобы силы были математически равны. Если же перевес теперь на стороне франко-русского союза, то опасность всё та же. Ещё большая: потому что, если было опасно, что Вильгельм, стоящий во главе европейского союза, нарушит мир, то гораздо более опасно, что Франция, та, которая не может помириться с потерей своих провинций, сделает это. Ведь Тройственный союз назывался лигой мира, для нас же он был лигой войны. Точно так же и теперь франко-русский союз не может не представляться иначе, чем он и есть на самом деле — лигой войны.

[...] *Дьявол — человекоубийца и отец лжи.* И ложь всегда ведёт к человекоубийству. И в этом случае очевиднее, чем когда-нибудь» (Там же. С. 44 – 45).

Такой же ложью и игрой (вспоминает в Шестой главе Толстой времена писания им «Анны Карениной») была «внезапная любовь» в России к «братьям славянам», «тогда как немцы, французы, англичане всегда были и продолжают быть нам несравненно ближе и роднее, чем какие-то черногорцы, сербы, болгары. И начались такие же восторги, приёмы и торжества, раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми...». И так же, промеж речей и жрания, «умалчивали о главном, о замыслах против Турции». Наконец, кончилось тем, что Александр II, действительно не желавший войны, не мог не согласиться на неё» (Там же. С. 45 – 46).

По глубокому убеждению Толстого, и эта, с Францией, игра в *мир* и любовь рано или поздно окончится новым правительственным призывом к войне:

«Божьей милостью, мы, самодержавнейший, великий государь всея России, царь польский, великий князь финляндский и проч. и проч., объявляем всем нашим верным подданным, что для блага

этих, вверенных нам Богом, любезных наших подданных, мы сочли своей обязанностью перед Богом послать их на убийство. С нами Бог” и т. п.» *(Там же. С. 46).*

И тогда только, лишь этот решающий их судьбы призыв, разоблачит для обманутых простецов весь фатальный для них обман:

«Обманутый этот, всё тот же вечно обманутый, глупый рабочий народ, тот самый, который своими мозолистыми руками строил все эти и корабли, и крепости, и арсеналы, и казармы, и пушки, и пароходы, и пристани, и молы, и все эти дворцы, залы и эстрады, и триумфальные арки, и набирал и печатал все эти газеты и книжки, и добыл и привёз всех тех фазанов и ортоланов, и устриц, и вина, которые едят и пьют все эти им же вскормленные, воспитанные и содержимые люди, которые, обманывая его, готовят ему самые страшные бедствия; всё тот же добрый, глупый народ, который, оскаливая свои здоровые белые зубы, зевал, по-детски наивно радуясь на всяких наряженных адмиралов и президентов, на развевающие над ними флаги и на фейерверки, гремящую музыку, и который не успеет оглянуться, как уже не будет ни адмиралов, ни президентов, ни флагов, ни музыки, а будет только мокрое пустынное поле, холод, голод, тоска, спереди убивающий неприятель, сзади неотпускающее начальство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и бессмысленная, напрасная смерть.

А люди, такие же, как те, которые теперь празднуют на празднествах в Тулоне и Париже, будут сидеть после доброго обеда, с недопитыми стаканами доброго вина, с сигарою в зубах, в тёмной суконной палатке и булавками отмечать по карте те места, где надо оставить ещё столько-то и столько-то составленного из этого народа пушечного мяса для завладения тем-то и тем-то укреплением и для приобретения такой или другой ленточки или чина *(Там же. С. 41 – 44).*

И следом, завершая Шестую главу, Толстой, вновь прибегая к гениальному соединению художественного и публицистического начал, набрасывает поистине жуткую (но и пророческую!) картину:

«Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнётся опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма, к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно, засуетятся военные началь-

ства, получающие двойное жалование и рационы, и надеющиеся получить за убийство людей высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперёд записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жён, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного» *(Там же. С. 46 – 47).*

Миллионы, каждый против своей разумной воли, будут втянуты скопом в новую бойню ради сомнительных, а то и вымышленных, военных задач своего лживого и халтурного правительства:

«И когда, наберётся столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно делается даже и начальству, тогда останутся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароят, посыпав их извёсткой, и опять поведут всю толпу обманутых ещё дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно» *(Там же. С. 47).*

А духовный итог один, и он-то — самый страшный итог всякой войны: «...Опять одичают, остервенеют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их» *(Там же).*

Люди, помогающие властям, делятся, как пишет об этом Лев Николаевич, на бессознательных и сознательных распространителей заразы лжепатриотизма *(Там же. С. 67).* Занятые повседневным нелёгким трудом, многие люди истинного народа просто не приучены к анализу обрушивающегося на них информационного потока и, не поспевая или не умея проанализировать, безропотно поддаются обману. На тех же, кто дерзает думать сам, хорошо действуют «гипнозизация», завуалированные угрозы и откровенный подкуп — обещания карьеры, власти, материальных приобретений: они с успехом

рекрутируются в ряды сознательных идеологов и исполнителей воли правительств (*Там же. С. 68*).

Уступившие же такому воздействию для заглушения голоса совести внушают себе и «коллегам» идею полезности для народа распространения среди него патриотизма. Восторг и уважение одурённой толпы делают их только агрессивнее и наглее (*Там же. С. 69 – 70*).

Об одном из сознательных слуг милитаристского и реваншистского обмана, писателе Поле Деруледе, о визите его летом 1886 года в Ясную Поляну, Толстой вспоминает, не называя его имени, в статье на материале личной встречи с ним в июле 1886 г., когда Дерулед побывал в Ясной Поляне.

Дерулед воевал в Франко-прусской войне, побывал в немецком плену и поклялся агитировать за реванш, пока не добьётся желаемого, войны Франции с Германией. Толстой занимался делом, возился на покосе с мужиками, а в обед пришёл домой — и застал там этого свежего, лощёного болтуна, «первую ласточку тулонской весны» (39, 49).

Здесь надо сказать, что, не разделяя с мужем его евангельской веры, а кроме того боясь для себя и семьи каких-то последствий от распространения нецензурных, «ругающих» правительство и церковь, писаний Л. Н. Толстого, супруга писателя, Софья Андреевна, вместе с тем вполне симпатизировала, с сугубо светских позиций, европейским гуманизму и пацифизму и, конечно, не могла поддержать Поля Деруледа. Вот почему в Восьмой главе статьи «Христианство и патриотизм», описывая уважительный, но холодный приём в яснополянском доме французского агитатора, Толстой прибегает к местоимению «мы»:

«На доводы его о том, что Франция не может успокоиться до тех пор, пока не вернёт отнятых провинций, мы отвечали, что [...] если revanche французов теперь будет удачная, немцам надо будет опять оплачивать, и так без конца.

На доводы его, что французы обязаны спасти оторванных от себя братьев, мы отвечали, что положение жителей, большинства жителей, рабочих жителей Эльзас-Лотарингии под властью Германии едва ли в чём-нибудь стало хуже того, в котором они были под властью Франции, и что из-за того, что некоторым эльзасцам приятнее числиться за Францией, чем за Германией, и из-за того, что ему, нашему гостю, желательно восстановить славу французского оружия, никак не стоит не только начинать тех страшных бедствий, которые произойдут от войны, но нельзя пожертвовать даже и одной человеческой жизнью» (*Там же. С. 49*).



Так что точка зрения «национально-патриотическая» — мёртвая, и мертвящая, и вредная ложь, в чём был и остался убеждён Толстой. С точки же зрения прагматически-государственной, отторжение земель создаёт экономию на расходах, которые эти земли могли бы требовать. Наконец, с христианской точки зрения «мы ни в каком случае не можем допустить войны, так как война требует убийства людей, а христианство не только запрещает всякое убийство, но требует благотворения всем людям, считая всех братьями без различия народностей» (*Там же. С. 49 – 50*).

И Толстой в этой беседе скажет то, что утверждал со времён трактата «В чём моя вера?» и что позднее повторит в ряде своих публицистических выступлений: христианство и государство несовместимы, надо выбирать одно *или* другое. Люди, подобные Деруледу, вольны, конечно, выбрать государство, отказавшись от христианства:

«До тех же пор, пока не будет уничтожено христианство, привлекать людей к войне можно будет только хитростью и обманом, как это и делается теперь. Мы же видим эту хитрость и обман и потому не можем поддаться им» (*Там же. С. 50*).

Удовлетворив гостя приёмом и кушаньями, но отнюдь не согласием с его аргументами, Толстой после обеда отправился назад, к мужикам на покос. Дерулед увязался за ним, быть может, вправду «надеясь найти в народе больше сочувствия своим мыслям» (*Там же*).



Л.Н. Толстой и крестьянин П. Власов на косье.  
*Ясная Поляна. Фотография Адамсона. 1890 г.*

«Жертвой» своей агитации политик и писатель выбрал мужика, распорядителя трудом крестьянок (сбор скошенного сена считался у крестьян лёгким трудом — «для баб»), Прокофия Власова.

Неудачно — для себя — выбрал... *Прокофий Власевич Власов* (1839 – 1912) был учеником Льва Николаевича в его школе и остался добрым другом, безмерно преданным учителю всю жизнь.

Власов был человеком деликатным в отношениях с людьми, оптимистом, нравственно здоровым человеком. Рассуждал обстоятельно и трезво, за что Лев Николаевич полюбил его ещё школьником, был справедлив и добр, отзывчив на чужую беду; стойко переносил бесконечные удары судьбы. Конечно же, в условиях России жизнь у такого человека выдалась нелёгкая: трижды горел, лет 15 кормил слепого отца, рано похоронил двух жён, и, наконец, уже в 1900-х сына-кормильца поганая тётя «родина» отобрала в солдаты... В рассказе Льва Николаевича Толстого о проводах новобранцев в октябре 1909 г. «Песни на деревне» показан убитый горем Прокофий, у которого взяли единственного кормильца. По воспоминаниям крестьянки Аксиньи Шураевой, Толстой с Прокофием провожал несчастного в слезах, «и так и шёл с Прокофием вместе, не переставая плакать до самого конца деревни»

(<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/vospominaniya/shuraeva-aksinya-vospominaniya-o-tolstom.htm> ).

Отец после этого быстро превратился в больного и нищего старика — которому помогал, чем мог, старик учитель, Лев Николаевич. И именно с Прокофием Власевичем Толстой о чём-то долго шептался в роковую осень 1910 года, перед уходом из Ясной Поляны.

После смерти Толстого этот одинокий, сторбленный старик благоговейно сторожил могилу, поливая слезами, до самой своей смерти.

Итак, Дерулед присунулся было к «простонародью» со снисходительным, как раз для простецов «селян», объяснением смысла и значения военного союза России и Франции, изложив «свой план воздействия на немцев, состоящий в том, чтобы с двух сторон сжать находящегося в середине между русскими и французами немца. француз в лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Прокофия» (39, 50).

Ответ крестьянина мог бы составить честь знаменитому персонажу едва лишь появившегося в те годы на свет Ярослава Гашека и достойно обескуражил француза:

«— Что же, как мы его с обеих сторон зажмём, — сказал он, отвечая шуткой, как он думал, на шутку, — ему и податься некуда будет, надо ему тоже простор дать» (Там же).

Узнав, по какому «делу» заявился ко Льву-учителю месье Дерулед, «Прокофий, очевидно, остался вполне недоволен и, обратившись к бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, невольно выражавшим чувства, вызванные в нём этим разговором, крикнул на них, чтобы они заходили сгребать в копны недогребённое сено.

— Ну, вы, вороны, задремали. Заходи. Пора тут немца жать. Вон ещё покос не убрали, а похоже, что с середины жать пойдут, — сказал он» (*Там же. С. 51*).

Французу же он попросил учителя перевести следующее:

«— Приходи лучше с нами работать, да и немца присылай. А отработаемся — гулять будем. И немца возьмём. Такие же люди» (*Там же*).

«Такие же люди» — это краткая, и на «мужицком», простеческом уровне формула христианского отношения уровня малой общности: «я и другой», «я и другие», априори отказывающаяся от конфликтной составляющей отношений. Толстой демонстрирует, что эта повседневная, бытовая «мудрость» крестьянина и христианина может актуализироваться и на уровне взаимоотношений крупных общностей — и, при должном старании людей о последовании Христу, сделает не только нелепыми, но и невозможными любые войны.

Проваливший сполна свою «дипломатическую миссию к русскому народу» Поль Дерулед только и мог воскликнуть на это: «Oh, le brave homme!» [*фр.* О, славный человек!] (*Там же*). И, как помнит наш читатель, в тот же день отвалил от Ясной Поляны. Оставив Льву Николаевичу несколько всё же приятных о себе воспоминаний, совершенно иначе, в негативном ключе, представленных им в статье «Христианство и патриотизм», в сопряжении с известиями об истерии тулонских торжеств:

«Вид этих двух столь противоположных друг другу людей — сияющего свежестью, бодростью, элегантностью, хорошо упитанного француза в цилиндре и длинном, тогда самом модном пальто, своими нерабочими белыми руками энергически показывающего в лицах, как надо сжать немца, — и вид шершавого, с трухой в волосах, высохшего от работы, загорелого, всегда усталого и, несмотря на свою огромную грыжу, всегда работающего Прокофия с своими распухшими от работы пальцами, в его спущенных домашних портках, разбитых лаптях, шагающего с огромной навалиной сена на плече той не ленивой, но экономной на движения походкой, которой движется всегда рабочий человек, — вид этих двух столь противоположных друг другу людей очень многое уяснил мне тогда и живо вспомнился мне теперь, после тулоно-парижских празднеств. Один из них олицетворял собой всех тех вскормленных и обеспеченных

трудами народа людей, которые употребляют потом этот народ как пушечное мясо; Прокофий же — то самое пушечное мясо, которое вскармливает и обеспечивает тех людей, которые им распоряжаются» (*Там же. С. 51 – 52*).

Дерулед не мог не узнать себя в самодовольной фигуре «сияющего свежестью, элегантностью, хорошо упитанного француза», живого олицетворения процветающего буржуа. Мало лестный для его самолюбия эпизод он, по всей видимости, решил предать полному забвению и, насколько нам известно, нигде не упомянул о своём визите в Ясную Поляну.

Повествование о визите Поля Деруледа в главах Восьмой и Девятой — своеобразная логическая и тематическая «ось» толстовской статьи — талантливой даже по своей компоновке. Второе её «крыло», с Десятой по заключительную, Восемнадцатую, главу, в свою очередь, делится на две тематические части: первая — обличение Толстым-христианином лжи патриотизма, паразитирующей на безверии и самообманах толпы нашего лжехристианского мира, и вторая, логически вытекающая из первой — тема победы над этой ложью утверждением истины всяким человеком, познавшим её. Эта тема, в связи с концепцией разных жизнепониманий, хорошо известна нашему читателю по трактату Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», о котором уже шла речь.

В главе Десятой опровергается лживое смешение чувства естественного, расположения человека к тому родному краю, той самой «малой родине», которой от людей нужна не кровь, а только мирный труд и гармонические отношения с природой и друг с другом, и эмоций по отношению к воображаемым фикциям нации и государства — фантомам отнюдь ещё не массового, во времена Толстого, сознания. Их «реальность» легко опровергало поведение трудового и православного крестьянского населения, хоть бы в той же России, для которого не только не существовало государства и нации, но даже любимый родной край многие из них готовы были променять на края, где плодороднее земля и подалее все выблядки и выблевки казённой тётки «родины»: военщина, полицейщина, чиновная, а в особенности поповская и учёная, самая продажная и брехливая, интеллигентская сволочь. По существу, это, в зачаточном состоянии, тот единый Божий народ, духовно и экономически свободный и соединённый одним религиозным пониманием жизни, который в родной еврейской ойкумене мечтал видеть Спаситель, мессия Иисус, а по всей Земле — великий яснополянец:

«...Русский рабочий человек — сто миллионов русского народа, несмотря на ту незаслуженную репутацию, которую ему сделали, народа особенно преданного своей вере, царю и отечеству, есть народ самый свободный от обмана патриотизма и от преданности вере, царю и отечеству. Веры своей, той православной, государственной, которой он будто бы так предан, он большей частью не знает, а как только узнаёт, бросает её и становится рационалистом, т. е. принимает такую веру, на которую нападать и которую защищать нельзя; к царю своему, несмотря на непрестанные, усиленные внушения в этом направлении, он относится, как ко всем насильственным властям, если не с осуждением, то с совершенным равнодушием; отечества же своего, если не разумеет под этим свою деревню, волость, он или совершенно не знает, или, если знает, то не делает между ним и другими государствами никакого различия. Так что, как прежде русские переселенцы шли в Австрию, в Турцию, так и теперь они селятся совершенно безразлично в России, вне России, в Турции или в Китае» (39, 54).

А это уже из Одиннадцатой главы, в продолжение темы:

«Говорят о любви русского народа к своей вере, царю и отечеству, а между тем не найдётся в России ни одного общества крестьян, которое бы на минуту задумалось о том, что ему выбрать из двух предстоящих мест поселения: одно в России с русским батюшкой-царём, как это пишется в книжках, и святой верой православной в своём обожаемом отечестве, но с меньшей и худшей землёй, или без батюшки белого царя и без православной веры где-либо вне России, в Пруссии, Китае, Турции, Австрии, но с несколько большими и лучшими угодьями, что мы и видели прежде и видим и теперь. Для всякого русского крестьянина вопрос о том, под чьим они будут правительством (так как он знает, что, под чьим бы он ни был, одинаково будут обирать его), имеет несравненно меньше значения, чем вопрос — не скажу уже: хороша ли вода, но — мягка ли глина и хорошо ли родится капуста». Так же, по наблюдению Толстого, ведут себя и европейские народы, головы которых ещё не засраты влиянием распространяемой правительствами идеологии патриотизма (Там же. С. 55).

В доказательство же миролюбия и нравственности таких, лишь ограбляемых распространителями патриотизма, честных тружеников Толстой приводит разговор одного из своих давних и близких друзей с сельским старостой по поводу возможного восстания поляков (которое и произошло вскоре после разговора, в 1863 – 1864 годах) на оккупированных Россией польских областях бывшей Речи Посполитой.

Современный исследователь С. А. Фролова предполагает, что под литерой Д., которой обозначил Толстой в статье фамилию приятеля, «скрывается» *Дмитрий Алексеевич Дьяков* (1823 – 1891), друг юности Льва Николаевича, владелец имения Черемошня в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне это Мценский район Орловской обл.) (Фролова С. А. *Дмитрий Алексеевич Дьяков // Л. Н. Толстой. Энциклопедия. М., 2009. С. 264*).



Дмитрий Алексеевич Дьяков.  
*Акварель неизвестного художника, 1840-е гг.*

Это тот самый прекрасный Димочка Дьяков, который, по признанию Льва Николаевича в Дневнике от 29 ноября 1851 года, вызывал в нём, вместе с рядом других красивых мужчин, понятное и естественное гомосексуальное половое влечение и желание плотской интимной связи: «...Я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие...». Среди других любовников названы Сабуров, виолончелист Зыбин, Оболенский, Блюмсфельд, Иславин..., но Толстой тут же признаётся: «Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова» (46, 237 – 238). Их соединение, к несчастью, оказалось невозможным в России, одержимой суевериями патриархальности и гомофобии, но самая тёплая

дружба, с периодическими взаимно радостными свиданиями, продолжалась до смерти Дьякова в 1891 г.

Франция тогда, в начале 1860-х, вмешалась в дела России с поляками, поддержав их естественное желание освободиться от России, в связи с чем предполагалась новая война с нею России. Приятель Толстого — безусловный франкофил, и уж, во всяком случае, как все умнейшие люди России, «русский европеец» — до известий о войне рассказывал мужику-старосте хорошие, правильные вещи «о преимуществах французского государственного порядка перед нашим», но, начитавшись отечественных газет, вдруг, как одурманенный, заговорил о «revanche французам... за Севастополь», о том, что, если государь объявит войну, «он пойдёт на службу и будет воевать с Францией» (*Там же. С. 54*). Но староста возьми, да и прерви бред хозяина простейшим вопросом: «Зачем же нам воевать?». Приятель Толстого не нашёл ничего лучшего, как брякнуть стереотипное: «Да как же позволить Франции распоряжаться у нас?» На что староста со святою простотою, без раздумий, парировал: «Да ведь вы сами говорите, что у них лучше нашего устроено. Пускай бы они так у нас устроили» (*Там же. С. 54 – 55*).

И человек сразу пришёл в себя... По собственным воспоминаниям, доверенным Толстому, приятель его «решительно не знал, что ответить, и только засмеялся, как смеются люди, проснувшись от обманчивого сна» (*Там же. С. 55*).

Очнулся от обмана один — можно очунать и других, и очнуть, наконец, всех. К этому решению и подводит Толстой читателя в главах статьи, посвящённых разоблачению обмана патриотизма.

Патриотизм, служащий оправданием военного насилия — не естественное явление, заключает Толстой в Двенадцатой главе своего сочинения, и именно поэтому множественными способами насаждается, навязывается массовому сознанию, как навязывается всякая ментальная отравка, всякий культурный эрзац, то есть ценности и смыслы, не помогающие человечеству в движении к Богу а, напротив, вредящие и этому главному смыслу жизни, и всякому общему делу:

«То, что называется патриотизмом в наше время, есть только, с одной стороны, известное настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народах школой, религией, подкупной прессой в нужном для правительства направлении, с другой — временное, производимое исключительными средствами правящими классами, возбуждение низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое выдаётся потом за постоянное выражение воли всего народа. Патриотизм угнетённых народностей не

составляет из этого исключения» (*Там же. С. 60*). Разница между сортами говна лишь в том, что патриотизм угнетённых прививается народу, конечно же, не угнетающим правительством, а теми, кого обобщённо именует Толстой «высшими классами» — всё той же городской чистенькой, бездельной сволочью, зачинателями восстаний и революционных переворотов. Всё бы хорошо, но сволочь эта потом, победив прежних угнетателей кровью распропагандированных ими простецов, сама делается новой общественной элитой, новыми угнетателями, желающими кормиться интеллигентским легкотрудничеством, как писательство, а то и вовсе «бюджетным» паразитизмом от чужих трудов.

В главе Тринадцатой Лев Николаевич ловко развенчивает тезис о том, что патриотизм «воспитывается» правительствами на благо самих «воспитанников». Опровергается это простыми доказательствами того, что для жертв патриотической обработки мозгов патриотизм был и остаётся отнюдь не благом:

«Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротив, очень глупое и очень безнравственное; глупое потому, что если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы, и безнравственно потому, что оно неизбежно влечёт всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, — влечение прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали.

[...] ...Как мы ни старались в продолжение 1800 лет скрыть смысл христианства, оно всё-таки проточилось в нашу жизнь и до такой степени руководит ею, что люди, самые грубые и глупые, не могут уже не видеть теперь совершенной несовместимости патриотизма с теми нравственными правилами, которыми они живут» (*Там же. С. 61, 63*).

И даже элитарная, паразитная, «обеспеченная» через ограбление народных трудов, общественная сволочь и дрянь не может, не выключив совершенно разума и совести, с комфортом повторять увещания пропаганды о патриотической ненависти к неким внешним врагам, «потому что очень часто все главные интересы их жизни, иногда семейные — он женат на женщине другого народа; экономические — капиталы его за границей; духовные, научные или художественные — все не в своём отечестве, а вне его, в том государстве,



к которому возбуждается его патриотическая ненависть» (*Там же. С. 63*).

В этом плане пропагандоны путинской фашиствующей России в наши дни, развлекающиеся на «вражеском» Западе и туда же отправляющие учиться и лечиться свою родню — конечно же, исключительно, даже чуждо для ещё религиозной, совестливой толстовской эпохи, бесстыжи и нравственно тупы.

Четырнадцатая глава открывается очень глубоким суждением, подводящим, что традиционно для Толстого выводы вышесказанному. Как религии низшего, нежели выраженное в христианстве, обществено-государственного жизнепонимания, такие как иудейство, ислам или церковное, извращённое христианство были нужны для социальной консолидации в крупных, военизированных государственных образованиях, противостоящих враждебному окружению, так и имманентный таким образованиям патриотизм, дитя невежества, ненависти и страхов людских, так же «был нужен для образования объединённых из разных народностей и защищённых от варваров сильных государств». Но с победой над этим, родственным безверию, архаизмом, с открытием нового жизнепонимания миллионам просвещённых людей мира, то есть, к концу XIX столетия, уже для значительной части человечества «патриотизм стал уже не только не нужен, но стал единственным препятствием для того единения между народами, к которому они готовы по своему христианскому сознанию» (*39, 63*).

Патриотизм в новое время удерживается халтурными правительствами ради собственных выгод, как «жестокое предание», необходимое властным элитам для оправдания самого их существования через 1800 лет после Христа: «потому что если не единственное, то главное оправдание существования правительств в том, чтобы умиротворять народы, улаживать их враждебные отношения. И вот правительства вызывают эти враждебные отношения под видом патриотизма и потом делают вид, что умиротворяют народы между собой. Вроде того, как цыган, который, насыпав своей лошади перца под хвост, нахлестав её в стойле, выводит её, повиснув на поводу, и притворяется, что он насилу может удержать разгорячившуюся лошадь» (*Там же. С. 63 – 64*). С этой целью и вызывается ими в подданных искусственная вражда с соседями. «Самый ребяческий приём самонаказания, только бы поставить на своём и насолить противнику» — так именует Толстой таможенную войну России с Германией (*Там же. С. 64*). Но этим деструктивным инфантилизмом страдает и по сей день, 28 января 2023 года, Россия под властью вора и палача Путина, пополнив русский язык даже своеобразным

обобщающим насмешливым эвфемизмом — «бомбить Воронеж» (или, на языке классики толстовского века — «высечь самих себя», но так, чтобы быть уверенным, что и у «другого», у чужака, у «немца», хоть самую малость, жопа заболела).

Следует заключение Льва Николаевича к всему сказанному, довольно популярное даже у тех читателей, кто никогда не прочитывал статьи «Патриотизм и правительство» в полном объёме:

«Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам. Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет своё существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. И, таким образом, для народов подтверждаются уверения правительств об опасности от нападения со стороны других народов.

*Divide et impera* (Разделяй и властвуй.).

Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

«Патриотизм есть рабство» (39, 65).

Доведя изложение до этого места, множество даже самых серьёзных исследователей, анализирующих статью, скурвливаются, прибегая к довольно однотипному «уточнению» Толстого, подобному тому, какое мы находим у Л. Д. Опульской в «Материалах к биографии» Толстого 1998 года:

«Конечно, речь тут идёт не о любви к своей родине, нации, её характеру, языку и пр., но о чувстве, которое Толстой назвал «правительственным патриотизмом», умело организуемым, а мы теперь — шовинизмом, то есть о предпочтении своей нации или группы наций — остальным» (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. М., 1998. С. 70*).

Материал для опровержения такого “уточнения” содержится в самой фразочке Л. Д. Опульской. В статье Толстого достаточно подробно описаны примеры свободы не только отдельных личностей, но и крупных общностей, каково было в России крестьянство, от любого патриотизма — не только от «предпочтения», но от самого понятия *нации*. Сам этот термин чужд христианскому пониманию жизни. Уж как-то так сложилось, что для оперирующих им пропагандистов и их жертв и родиной оказываются не природа, культура и язык, а — пресловутое «национальное» или даже «многонациональное» государство. В новейшее время, в мире, где Бог для многих умер, явились такие убудки, как «арийская нация», «советский народ», «многонациональная общность» в Российской Федерации... И это через 2000 лет после Христа — навсегда забравшего *своих* у «народнического», языческого разделения — соединив в Истине Отца, в общинах и в Церкви!

Нет, не «шовинист», а именно человек, не освободивший себя живою верой от атавизмов «своих» стада и территории, вкупе с невежеством и страхами, соблазнами, как похоть или зависть — то есть от всего того, на чём паразитируют правительственные обманщики, распространители заразы патриотизма — безусловно в рабстве! Кроме того, рабство это держится и на удобопреклонности людей и целых народов к грехам господства и повиновения, так же коренящейся в первобытной природе человека как животного: на вере в возможность «добра с кулаками» и суеверной убеждённости в благе и необходимости власти над народами тех, кто грозит кулачьем на более дальнее расстояние, даже всему миру... Все эти грехи побеждаются чудом Христовой веры, которая может утвердиться в людях только обличением их самообманов и утверждением Божьей правды-Истины.

Вот почему глава Пятнадцатая метко задевает тех, кто думает, что их скромное положенье на той или иной бюджетной подачке: на зарплате государственного брехуши-учителя, вековечного исполнителя идеологического госзаказа, на окладе сотрудника музея, научного бюджетного заведения, на военной пенсии и проч. — «ничего не меняет» в общем строе жизни и не связано с палачеством «родной» их кормилицы, казённой тётки «родины». В «Царствии Божиим» эта тема присутствует, но упор делается на самый подлый, корыстный, и, конечно, фундаментальный (сесть на шею настоящим тружеников!) из интересов всей этой услужливой и угодливой дряни. Но в этой, позднейшей статье Толстой ниспровергает и некоторые сопут-

ствующие вавилоны мотиваций и самооправданий в бюджетных головках. По существу, это возвращение к теме «Чингис-Хана с телеграфами», но с учётом той новейшей специфики, при которой слугами зла, прислужниками Чингис-Хана стремятся стать не одни элиты прежнего, сословно-классового, общества, но и самолюбивые, самоуверенные выскочки «из низов», всё так же гнусно, но при этом искренне *идейно*, продающие государству свои таланты и знания:

«За 100 лет тому назад безграмотный народ, не имевший никакого понятия о том, из кого состоит его правительство, и о том, какие народы окружают его, слепо повиновался тем местным чиновникам и дворянам, у которых он находился в рабстве. И достаточно было правительству держать подкупами и наградами в своей власти этих чиновников и дворян, чтобы народ покорно исполнял то, что от него требовалось. Теперь же [...] благодаря распространению печати, грамотности и лёгкости сообщений, правительства, везде имея своих агентов, через указы, церковные проповеди, школы, газеты внушают народу самые дикие и превратные понятия об его выгодах, об отношениях народов между собой, об их свойствах и намерениях, и народ, настолько задавленный трудом, что не имеет ни времени, ни возможности понять значение и проверить справедливость тех понятий, которые внушаются ему, и тех требований, которые во имя его блага предъявляются ему, безропотно покорятся им.

Люди же из народа, освобождающиеся от неустанного труда и образующиеся и потому, казалось бы, могущие понять обман, производимый над ними, [...] почти без исключения тотчас переходят на сторону правительств и, поступая в выгодные и хорошо оплачиваемые должности учителей, священников, офицеров, чиновников, становятся участниками распространения того обмана, который губит их собратий. Как будто в дверях образования стоят тётки, в которые неизбежно попадают все те, которые теми или другими способами выходят из массы поглощённого трудом народа.

Сначала, когда поймёшь всю жестокость этого обмана, невольно поднимается негодование против тех, которые из-за своих личных, корыстолюбивых, тщеславных выгод, производят этот жестокий, губящий не только тело, но и душу людей, обман, хочется обличить этих жестоких обманщиков. Но дело в том, что обманывающие обманывают не потому, что они хотят обманывать, но потому, что они почти не могут поступать иначе. И обманывают они не макиавеллически, не с сознанием производимого ими обмана, но большей частью с наивной уверенностью, что они делают что-то доброе и возвышенное, в чём их постоянно поддерживает сочувствие и одобрение всех окружающих их.

[...] Толпа видит, например, что ставятся триумфальные арки, люди наряжаются в короны, мундиры, ризы, сжигаются фейерверки, палят из пушек, звонят в колокола, ходят с музыкой полки, летают бумаги, и телеграммы, и курьеры с места на место, и странно наряженные люди непрерывно, озабоченно переезжают с места на место, что-то говорят и пишут и т.п., и толпа, не будучи в состоянии проверить, что всё это делается (как оно есть в действительности) без малейшей надобности, приписывает всему этому особенное, таинственное для себя и важное значение, и криками восторга или молчаливым уважением встречает все эти проявления. А между тем эти выражения иногда восторга и всегда уважения толпы ещё более усиливают уверенность тех людей, которые производят все эти глупости» (*Там же. С. 68 – 70*).

Остальные, с Шестнадцатой по Восемнадцатую, главы этой пространной, но и великолепной толстовской статьи в значительной мере повторяют сказанное им в «Царствии Божиим» — в отношении общественного мнения, его *охристианения*, в немалой степени под влиянием открывшегося противоречия сознания и жизни, а также влияния на это качественное преобразование бесстрашного, даже одиночками, исповедания, в словах и поступках, открывшейся уже передовым людям истины актуального, спасительного религиозного понимания жизни:

«Отпала бы раздуваемая правительствами ненависть и вражда государств к государствам и народностей к народностям, отпали бы восхваления военных подвигов, т. е. убийства, отпали бы, главное, уважение к властям, отдачи им своих трудов и подчинение им, для которых помимо патриотизма нет никаких оснований.

А только бы сделалось это, и мгновенно вся та огромная масса слабых, всегда извне руководимых людей, мгновенно перевалит на сторону нового общественного мнения. И новое общественное мнение станет царствующим на место старого.

Пускай обладают правительства школой, церковью, печатью, миллиардами людей и миллионами дисциплинированных, обращённых в машины людей, — вся эта кажущаяся страшной организация грубой силы ничто перед сознанием истины, возникающим в душе знающего силу истины одного человека, и от этого человека сообщится другому, третьему, как одна свеча зажигает бесконечное количество других. Стоит только загореться этому свету, и, как воск от лица огня, распадётся, растает вся эта кажущаяся столь могущественной организация.

Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающем истину. Только бы не продавали люди своё

старшинство за чечевичную похлёбку. Только бы пользовались люди этой своей властью, и не только не посмели бы властители, как теперь, угрожать людям всеобщей бойней, в которую они по своему произволу ввергнут или не ввергнут людей, не смели бы на глазах мирных жителей делать своих смотров и манёвров дисциплинированным убийцам, не смели бы правительства для своих расчётов, для выгод своих пособников устраивать и расстраивать таможенные договоры, не смели бы собирать с народа и те миллионы рублей, которые они раздают своим пособникам и на которые готовятся к убийству.

Итак, изменение не только возможно, но невозможно, чтобы оно не сделалось, так же невозможно, как невозможно, чтобы не сошло и не развалилось отжившее, мёртвое дерево и не выросло молодое.

*"Мир оставляю вам, мир мой даю вам: да не смущается сердце ваше и да не устрашается"*, — сказал Христос. И мир этот действительно уже есть среди нас, и от нас зависит приобрести его.

Только бы не смущалось сердце отдельных людей теми соблазнами, которыми ежечасно соблазняют их, и не устрашалось бы теми воображаемыми страхами, которыми пугают их. Только бы знали люди, в чём их могущественная, всепобеждающая сила, и мир, которого всегда желали люди, который приобретается свободным исповеданием истины каждым отдельным человеком, уже давно наступил бы среди нас» (*Там же. С. 79 – 80*).

Анализируя это заключение статьи, в сопоставлении с трактатом «Царство Божие внутри нас», Лидия Дмитриевна Опульская оставила историографам образец исследовательского недоразумения. В уже упоминавшейся нами книге 1998 г. она пишет:

«В конце статьи найдена новая идея, ранее с такой силой и основательностью никогда не формулированная Толстым: о роли и силе общественного мнения. Начался этот разговор ещё в книге «Царство Божие внутри вас» (гл. X и XI), однако заключительная, XII-я глава трактата была построена как призыв к уму и совести отдельного человека, с постоянным обращением «ты», «ты». Теперь Толстой уповает на *новое общественное мнение*, на убеждения и поступки многих людей, к каким бы сословиям, нациям они ни принадлежали, и от перемен в общественном мнении ждёт появления новых форм жизни» (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Мат-лы к биографии. М., 1998. С. 70 – 71*). Духовное «революционерство» передовых людей, чьё сознание уже пробуждено к христианскому религиозному пониманию жизни — как будто ускользает из внимания исследователя. А между тем, мы помним, что на таких людей, равно и на тех, кто, быть может, прочтя его книгу, пополнит их число, Толстой и

уповал, как на духовных «прогресоров», движителей общественного мнения, и к ним обращался в трактате. К ним относится и образ пчелиного улья, в котором пчёлы вылетают за своим делом по внутреннему влечению, не дожидаясь других. Ничего не меняется и в статье «Христианство и патриотизм», к идейному и образному строю которого, без сомнения, относится вот это размышление Толстого в Дневнике 5 октября 1893 г.:

«Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет» (52, 102). <Но птичку всё-таки жалко, Лев Николаевич! – Р. А.>

В записной книжке Толстого 1893 г. — более краткое, но то же суждение о ласточке, а вместе с ним это:

«Каждый поступок ничто, в сравнении с бесконечностью пространства и времени, а вместе с тем действие его бесконечно в пространстве и времени» (Там же. С. 248).

И ещё, в тот же день в Дневнике:

«Когда колешь жёсткую плаху, первый удар отскакивает, как от стали, и думаешь, что ничего не сделал и напрасно бить. И беда, если заробеешь. Но бей ещё, и скоро услышишь глухие удары. Это значит, что тронулось. И ещё несколько ударов, и плаха расколется. В таком положении мир по отношению к христианской истине. А как я помню то время, когда удары отскакивали, и я думал, что это безнадежно. То же и с людьми. Надо, как тот человек, который стал вычерпывать море. Если он отдаст свою жизнь на дело, то, какое бы ни было дело, оно сделается, а тем более дело Божье» (Там же. С. 101).

Прелестное суждение о ласточке, лишь по случайности не появилось в статье, но зато позднее, в 1900-х, вошло в «Круг чтения» и другие сборники мудрой мысли, которым Лев Николаевич придавал исключительное значение.

Как видим, в статье «Христианство и патриотизм», как прежде в книге «Царство Божие внутри вас», Толстой актуализирует ряд библейских, евангельских образов и прибегает к скрытому, но легко опознающемуся цитированию. Образ наступающего «конца века сего», вероятно, самый значительный: он войдёт ещё в целый ряд писаний Толстого, включая одноимённую статью «Конец века» 1905 г. На его смысл, а равно и на значение статьи, над которой работал, Толстой указывает в письме к Н. Н. Ге 24 декабря 1893 г.:

«Мне всё кажется, что время конца *века сего* близится и наступает новый; в связи с тем, что и мой век здесь кончается и наступает новый, всё хочется поторопить это наступление, сделать, по крайней мере, всё от меня зависящее для этого наступления. И всем нам, всем людям на земле только это и есть настоящее дело» (66, 452).

Снова, как ранее в «Царстве Божиим», появляется у Толстого и метафора *весны* — обновления жизни:

«И потому переход людей от прежнего, отжитого общественного мнения к новому неизбежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен, как отпадение весной последних сухих листьев и разветывание молодых и надувшихся почек» (39, 73). «Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающим истину» (Там же. С. 79). Образ весны, возрождения будет повторяться во всех работах Льва Николаевича 1890-х годов, пока не воплотится, наконец, со всею художественной силой в романе «Воскресение».

\* \* \* \* \*

Толстой знал, что напечатать такую статью по тогдашним цензурным условиям в России, конечно же, будет невозможно. Более того, изначально, в марте 1894 г. закончив статью, он решил, судя по записи в Дневнике под 23 марта, не отправлять её к переводчикам — то есть, задержать печатание — испытав при этом нравственное облегчение (52, 112).

Лишь спустя месяц возникло новое решение: «Тулон решил послать переводчикам. Все одобряют» (52, 115). Французский перевод Жюль Легра был опубликован в мае 1894 г. («Journal des Débats»), английский В. Г. Черткова в июне того же года («Daily Chronicle»), немецкий В. Е. Генкеля в августе (изд. Г. Мюллера).

О немецкой публикации Толстой сообщил бывшей у него в начале октября 1893 г. писательнице Л. И. Веселитской, которая в свою очередь по приезде в Петербург передала об этом Н. С. Лескову. Лесков живо откликнулся на это сообщение и в письме от 16 октября писал Толстому: «“Океан глупости” [так Лесков назвал франко-русские торжества], говорят, вывел Вас из терпения, и Вы хотите противопоставить этому отрезвление в немецком издании. Правда ли это? “Океан глупости” противен чрезвычайно, но благоразумно ли ставить свою ладонь против обезумевшего быка? Я ничего опасного не чувствовал в “Царстве Божиим” и теперь уверен, что сочинение это не может вызвать никаких нежелательных последствий; но писать протест и помещать его в немецком издании — это значит сделать



вызов, и не одному лицу, а всей орде... Я не отрицаю пользы и славы такого поступка, но я думаю, что тут есть опасность, которой, может быть, следует пренебречь, но которую непременно надо считать вероятною, и даже почти неизбежною. [...] А ожидать, по-моему, следует того, что всякое мстительство Вам может быть произведено не только в согласии с "обществом", но, так сказать, как бы в удовлетворение его желаний... К тому, что в "Царстве Божиим", прежние читатели Ваши были подготовлены и освоены сочинениями, которые выходили ранее; но удар, направляемый в нынешнюю мету, произведёт совсем новое и сильное впечатление. [...] В каком фасоне это будет написано и в какое немецкое издание будет направлено? И почему именно в немецкое, а не в английское? Немецкое приводит целую ассоциацию идей, которые совсем неудобны у нас теперь...» (Лесков Н.С. *Собрание сочинений: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 561 – 562*).

20 октября Толстой ответил Н. С. Лескову: «Вы правы, что если посылать, то в английские газеты. Я так и сделаю, если пошлю, и в английские и в немецкие. Говорю: если пошлю, потому что всё не кончил ещё. Я не умею написать сразу, а всё поправляю. Теперь и опоздал. И сам не знаю, что сделаю... если следует послать, то это напишется хорошо. До сих пор этого нет, поэтому ещё медлю» (66, 405 – 406). А 22 октября Лев Николаевич писал дочери Татьяне: «Мама подала очень хорошую мысль послать Тулон, если посылать, к Сутнер» (66, 408).

«Сутнер» — это, конечно, та самая Берта фон Зуттнер, о которой мы рассказали читателю выше — немецкая писательница, пацифистка, издательница журнала «Die Waffen nieder» («Долой оружие»).

Толстой хотел прислушаться к советам и Лескова, и жены — чтобы избежать на родине скандала с политизированной «окраской». Но, как видим, в итоге живая вера (доверие Богу) и независимость характера взяли верх!

Между тем в те дни Толстой ещё продолжал работать над статьёй, расширяя и дополняя её новыми материалами. Например, 29 октября И. И. Горбунов-Посадов прислал Толстому вырезку из газеты «Русские ведомости» (1893, № 291 от 22 октября) со статьёй «Русская эскадра в Тулоне (От нашего корреспондента)», прося обратить внимание на приведённую в статье речь тулонского епископа при спуске броненосца «Жоригибери». 31 октября Толстой, сообщая дочери Татьяне Львовне о получении от Горбунова этой вырезки, писал, что она ему «пригодилась» (66, 416). Речь тулонского епископа, как мы видели, была почти целиком помещена в гл. II статьи.

По-видимому, к началу ноября 1893 г. статья в черновом виде была закончена. 30 октября Толстой писал Д. А. Хилкову: «Написал статью Протест против франко-русских празднеств... Эту статью пошлю в английские газеты» (66, 415); и в тот же день сообщил В. Г. Черткову: «Я кончил, кажется, о религии [статью «Религия и нравственность»] и теперь хочу кончить о франко-русских празднествах и пошлю в «Daily Chronicle» и к Suttner в её журнал «Die Waffen nieder» (87, 232).

Этой редакцией статьи Лев Николаевич остался недоволен. Работа продолжалась интенсивно весь ноябрь, и 1 декабря Толстой подписал статью, что обычно означало окончание какой-то редакции статьи. 3 декабря он сообщил Г. А. Русанову: «Теперь пишу о Тулоне, гипнотизации патриотизма, кажется, кончил» (66, 436); однако М. Л. Толстая в тот же день уведомила В. Г. Черткова: «Тулон всё это время усиленно работает. Сегодня отец подписался под ним и говорит, что кончил, но я не верю, так как он давно уже говорит это, и сейчас буду очищать ему для его работы завтра» (87, 237).

Так это в действительности и было. И декабрь 1893 г., и январь, и почти весь февраль 1894 г. Толстой продолжает исправлять статью и уже ни разу не упоминает об окончании её. Лишь 17 марта 1894 г., после внесения всех исправлений, Толстой подписал рукопись № 37 и пометил: «Совсем, совсем, совсем кончено».

В России статья сразу оказалась под жесточайшим цензурным запретом и распространялась в подпольных гектографированных изданиях. Кроме того, печатные экземпляры ввозились контрабандно из-за границы. Особенно большое распространение статья получила в прибалтийских губерниях и Польше. 31 мая 1901 г. лифляндское жандармское управление в связи с этим запросило письмом за № 1753 Главное управление по делам печати, что делать с этими изданиями. 18 июня 1901 г. Главное управление известило, что ввоз означенных изданий запрещён, и предложило «неукоснительно следить о прекращении всякого доступа им из-за границы» (*Архив Петербургского цензурного комитета*, дело 78, ч. IV. - По кн.: Апостолов Н. Н. Лев Толстой и русское самодержавие. М.-Л., 1930. С. 121 – 122).

Впервые в России статья в числе других запрещённых статей Толстого («Не убий», «Письмо к либералам», «Письмо к фельдфебелю» и пр.) была напечатана лишь в революционном 1906 г. отдельной брошюрой в изд. «Обновление». Издатель Н. Е. Фельтен был привлечён за эти публикации к судебной ответственности.

В 1911 г. статья была включена С. А. Толстой в т. XVIII Собрания сочинений Л. Н. Толстого с большими цензурными искажениями и пропусками. И в той же редакции в 1913 г. была напечатана в т.

XVIII Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого под ред. П. И. Бирюкова, издание товарищества И. Д. Сытина. Фактически первая бесцензурная и точная публикация статьи состоялась лишь в Полном (юбилейном) собрании сочинений Л.Н. Толстого в 90 тт., в томе 29-м.

Российская дурацкая «традиция», заведённая ещё с времени запрета «Исповеди» и «В чём моя вера?», не изменила Толстому и в этот раз: «запретный плод» привлёк к себе, вероятно, больше внимания, нежели в ситуации бесцензурной публикации. Читателю не трудно будет угадать, что основная масса ругателей выполнила осторожно предсказанное Толстому другом-писателем Н. С. Лесковым, поспешив зачислить яснополянца в «прихвостни» немецких, английских или каких-то иных врагов России. Среди более интеллектуальной критики интересен отзыв знаменитого журналиста, писателя, публициста, издателя и театрального критика *Алексея Сергеевича Суворина* (1834 – 1912), «отыскавшего» в статье «Христианство и патриотизм» признаки своеобразного и, конечно же, трагического, «раздвоения души» великого писателя:

«Нападая на патриотизм, Толстой как бы мстит себе за “Войну и мир”: этот роман вечно останется не только великим произведением, но и свидетельством о патриотических чувствах самого Толстого, и эти благородные чувства ещё долго будет внушать этот роман своим читателям. Брошюру же автора его о патриотизме все забудут» (*Суворин А.С. В ожидании века XX-го / Цит. по: Титов К. В. Суворин Алексей Сергеевич // Л.Н. Толстой. Энциклопедия. М., 2009. С. 649*).

По счастью, как мы знаем, случилось не совсем так, и христианские антивоенные писания Льва Николаевича не забыты совершенно, несмотря на десятки лет их замалчивания в СССР и на спекуляции выкормышей и воспитанников, «духовных» наследников этого атеистического и преступного государства, таких, как Пётр Олегович Толстой (р. 1969), позорящий славное имя праправнук писателя, видный член партии жуликов и воров «Единая Россия», занимающийся ныне, в 2022 – 2023 гг., в фашиствующей путинской России, поддержкой лживой пропаганды и прочей деятельностью, оправдывающей и освящающей военные и обыкновенные уголовные преступления России в Украине.

В качестве образца положительного, сочувствующего и одновременно, что особенно ценно, *понимающего* отзыва приведём диалог Л. Н. Толстого со своим давним и преданным и приятелем, читателем, и критиком *Владимиром Васильевичем Стасовым* (1824 –

1906). В. В. Стасов, прочитав «Христианство и патриотизм» в французском журнале, не соглашался с тем, что русские никогда не испытывали чувства особой приязни к французам, оспаривал толстовские мысли о внутреннем пробуждении людей, как главной надежде, но критическим пафосом статьи восторгался: «Да это — продолжение той XII-й главы <трактата «Царство Божие внутри вас»>, те же слова и мысли великого реформатора, и моей радости не было ни конца, ни меры» (*Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878 – 1906. Л., 1929. С. 139. [Письмо к Толстому 26 августа 1894 г.]*). Н. Н. Страхову Стасов 9 сентября 1894 г. написал: «На днях читал «Patriotisme» того же, «Льва». Это одного калибра (особливо с X главы) с XII главой его «Царства Божия», т. е. гениально и поразительно до невозможности!!!... Ведь я считаю «Царство Божие» и «Patriotisme» — *первыми* книгами всего XIX века, наравне с Герценом!!» (*Русская литература. 1960. № 4. С. 182. [Публикация Р. Заборовской.]*). Стасову Толстой ответил: «Вы так неумеренно хвалите меня за Тулон, что я мог бы возгордиться, если бы я не получал постоянно ругательных за него и за «Царство Божие» статей и писем. Вчера вместе с вашим письмом пришла целая французская книга «L'anarchie passive, par Marie de Manasséine» <Вышедшая в Париже книга М. М. Манасеиной «Пассивная анархия и граф Лев Толстой (Царство Божие внутри вас)». – Р. А.>. Вероятно, она либералка с оттенком революционерства. И меня всегда радует вид горящих шапок как на консерваторах православных, так и на вольнодумных либералах» (67, 216).

Приведём образец и диалога с зарубежными читателями. Пространственный ответ Толстого Ч. Н. Фойстеру (Ch. N. Foyster), в письме 17 – 26 октября — как раз такой “поджог шапки” на ложном, хотя и неглупом, союзнике. Ч. Н. Фойстер обратился к Толстому с письмом из Лондона от 9 сентября н. ст. 1894 г., в котором писал, что прочитанная им в газете «Daily Chronicle» статья Толстого «Христианство и патриотизм» вызвала в нем «настоящий энтузиазм», и он старается следовать выраженным в ней мыслям, но не понимает только того, как можно обойтись без правительства, и потому просит Толстого объяснить ему этот пункт своего учения. Письмо не было отправлено адресату, а было переработано в статью под названием «Об отношении к государству» и послано для напечатания в лондонскую газету. Его интереснейшим текстом мы завершаем первую часть большой Главы об антивоенной публицистике Л. Н. Толстого 1890-х гг.

«Милостивый государь,

Вы пишете мне, что, прочтя мою статью: Христианство и Патр[иотизм], вы совершенно согласились с первой частью статьи, в которой излагалось всё то зло, которое происходит от патриотизма и войн, но что вы не согласны с моими доводами о том, что для избавления себя от этих зол люди не должны участвовать в правительствах. И на вопрос этот отвечаете признанием того, что часто приходится слышать в разговорах и читать, ч[то] это невозможно. По вашему мнению, нужно не отказываться от участия в правительстве, а, напротив, участвовать в нём, избирать таких представителей, к[оторые] были бы друзьями народа и врагами всякой несправедливости и войны. Тогда, по вашему мнению, зло существующего порядка искоренится и люди, жизнь людей станет лучше. Но как же быть без правительств? спрашиваете вы. На этот вопрос я не берусь отвечать вам.

Всё это очень хорошо, говорят мне. Деспотизм, насилие правительств, войны и вооружение всей Европы действительно ужасны, и вы правы, осуждая всё это. Но как можно быть без правительств? Чем заменить их? How can we do without government? Имеем ли мы, ограниченные умом и знанием люди, право, только потому, что нам это кажется лучше, уничтожать то, чем много веков жили наши предки, чем живём мы и благодаря чему мы достигли современной цивилизации и её благ, и, не имея ничего определённого, которое мы могли бы поставить на месте уничтоженного, рисковать всеми теми бедствиями и ужасами, которые постигнут нас при уничтожении правительств?

Ответ на вопрос, так поставленный, слишком ясен. Но дело в том, что вопрос поставлен неправильно. Перед людьми, исповедующими христианство, как жизненную веру, — вопрос стоит совсем не в той форме. Христианское учение в его истинном смысле никогда не предлагает ничего разрушать и не предлагает никакого нового своего устройства, которое будто бы должно заменить прежнее. Христианское учение тем отличается от всех других и религиозных и общественных учений, что оно даёт благо людям не посредством общих законов для жизни всех людей, но уяснением каждому отдельному человеку смысла его жизни: того, в чём заключается зло его жизни и в чём его истинное благо. И этот смысл жизни, открываемый христианским учением человеку, до такой степени ясен, убедителен и несомненен, что раз человек понял его и потому познал то, в чём зло и в чём благо его жизни, он уже никак не может сознательно делать то, в чём он видит зло своей жизни, и не делать того, в чём он видит истинное благо её. Не может воздержаться от этого точно

так же, как не может растение не стремиться к свету или вода к низу.

Единственный смысл, который может иметь твоя жизнь в этом мире, состоит в том, чтобы исполнять то, что от тебя требует тот, кто послал тебя в эту жизнь, тот, от кого ты пришёл и к кому придёшь, выходя из этой жизни. Зло твоей жизни состоит в отступлении от требований того, кто послал тебя, благо — в наиточнейшем исполнении этих требований. Требуется же от тебя тот, кто послал тебя в этот мир, того самого, чего желает твоё сердце, что указывает тебе твой разум, чему учили люди и величайшие мудрецы человечества, чего требует от тебя тот учитель, которого, если не ты, то большинство твоих соотечественников признают Богом. И требование это не туманно и неопределённо, а очень ясно и точно и просто. «Если ты не можешь делать другому того, чего хочешь, чтоб тебе делали, то по крайней мере не делай другому, чего ты не хочешь, чтобы тебе делали: не хочешь, чтобы тебя заставляли работать на фабрике или в рудниках 10 часов сряду, не хочешь, чтобы дети твои были голодные, холодные, невежественные, не хочешь, чтоб у тебя отняли землю, на которой ты мог бы кормиться, не хочешь, чтобы тебя заперли в тюрьму, вешали за то, что ты по страсти, соблазну или невежеству совершил дурной поступок, не хочешь, чтоб тебя ранили, убивали на войне, — не делай этого другим. Всё это так просто, ясно и несомненно, что не понять этого нельзя; но кроме того, для того чтобы люди не могли придумать такие отговорки, по которым можно было бы не всегда исполнять эти требования, над людьми повешен ещё на волоске Дамоклов меч, т. е. смерть, которая всякую минуту может постигнуть каждого человека и, если смерть есть полное уничтожение, лишит его возможности поправить сделанную ошибку, если же смерть есть возвращение к Богу, то заставить его возвратиться к Богу, не исполнив того несомненного закона, который он дал нам, посылая нас в жизнь. Всё это так ясно и просто и неопровержимо, что каждый ребёнок поймёт и никакой мудрец не опровергнет.

Представим себе, что работник приставлен хозяином к понятной ему работе и любимому им делу. Кроме того, работник знает, что он весь находится во власти хозяина, всякую минуту хозяин может его взять и призвать к другому делу. И вдруг к этому работнику приходят люди, которые, он знает, находятся в той же зависимости от хозяина, как и он, и которым поручено такое же дело, и люди эти требуют от него, чтобы он делал прямо обратное тому, что ему несомненно и ясно, без всяких исключений, предписано хозяином, и уверяют его, что, если он не сделает этого, произойдут ужасные беды, и

что, исполняя волю хозяина, он поступает легкомысленно, неразумно, жестоко и безбожно.

Но это сравнение далеко не выражает того, что должен испытывать христианин, к которому обращаются с требованием участия в угнетении, отнятии земли, казнях, войнах и т. п., с которыми обращается к нам государственная власть, потому что, как ни внушительны могли быть для работника приказания хозяина, они никогда не сравнятся с тем несомненным знанием каждого, неизвращённого ложными учениями человека о том, что он не может и не должен участвовать в насилиях, поборах, казнях, убийствах своего ближнего: это говорит ему и разум, и сердце, и всё существо его.

Так что вопрос для христианина не в том, как его неумышленно, а иногда и умышленно ставят противники христианства: имеет ли человек право разрушить существующий порядок и заменить его новым, — христианин и не думает об общем порядке, предоставляя ведение этого порядка Богу, твёрдо уверенный в том, что Бог вложил в наш разум и сердце свой закон не для беспорядка, а для порядка, и что от следования открытому мне несомненно закону Бога ничего худого выдти не может, — вопрос не в замене одного порядка другим, а в том, следует ли человеку, пришедшему от Бога и всякую минуту могущему возвратиться к нему, повиноваться вложенному в его сердце и разуме закону Бога, или следует повиноваться закону людскому, прямо противоположному закону Бога? И на этот вопрос может быть только один ответ. Люди боятся, что разрушится существующий порядок. Но до тех пор, пока только некоторые люди следуют закону Бога, большинство же держится существующего порядка, то большинство это всегда подавит то меньшинство, которое противодействует существующему порядку, как это и было до сих пор, и существующий порядок не разрушится, и бояться за него нечего — пострадают только люди, противящиеся этому порядку, порядок же будет продолжаться. Если же при этом разрушается существующий порядок, не доказывает ли это только то, что порядок этот ложный, противен воле Бога и потому подлежит уничтожению. Если же все люди, как сказано у пророка, будут научены Богом и потому будут следовать закону его, то существующий порядок разрушится и наступит новый, лучший порядок, при котором копья перекуют на серпы и мечи на орала. Несогласие между волею Бога и существующим порядком доказывает только то, что между волею Бога и существующим порядком полное несогласие и происходит борьба. Тысячелетия уже идёт эта борьба между законами Божьими и человеческими, между любовью и ненавистью, и безостановочно, с каждым веком, с каждым годом, каждым днём и часом, свет побеждает тьму

и люди всё более и более приближаются к идеалу, указанному всеми пророками, Христом и нашим сердцем, и исход борьбы несомненен.

Но как ни очевидно в наше время приближение торжества истины, не внешние цели руководят деятельностью христианина: христианин не участвует в деятельности правительства и не подчиняется ему, не платит подати, не участвует в управлении, в судах, в государственной религии, в войске не потому, что он хочет разрушить что-либо и установить какой-либо новый порядок, а только п[отому], ч[то] он следует тому, что ему повелено от Того, кто послал его в жизнь, твёрдо веруя в то, что [ничего] кроме блага себе и всему миру от этого следования быть не может.

Л. Т.» (67, 256 – 260).

## **6. 2. ЗНАКОМСТВА, ВСТРЕЧИ, ПЕРЕПИСКИ В ИХ ВЛИЯНИИ НА РАЗВИТИЕ АНТИВОЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ И АНТИВОЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО в 1894 – 1896 гг.**

Идёт борьба между слабыми десятками людей  
и миллионами сильных;  
но на стороне слабых Бог,  
и потому знаю, что они победят.

*(Лев Николаевич Толстой)*

Год 1893-й прошёл для Толстого под знаком «великих завершений»: завершалась Бегичевская эпопея помощи бедствующим в неурожайные годы крестьянам; завершилась писанием и книга «Царство Божие внутри вас». Году же следующему, 1894-му, в фундаментальной научной Биографии Льва Николаевича Толстого её автор, Л. Д. Опульская посвящает главу с характерным именованим: «Статья “Неделание” и многообразная деятельность 1894 года». В этой разнообразной деятельности нашлось, конечно же, место знакомствам, писаниям, высказываниям, связанным с антивоенной позицией Льва Николаевича.

Толстой весь год много читает — однако новинки литературы в основном не приветственны ему, и последним значительным литературным открытием остаётся для него «Дневник» умершего более десяти лет до того Анри Амиеля, который он с неослабным удовольствием перечитывает в июле. Принимает славный яснополянец и



массу гостей — но большинство, как и прежде, разочаровывают его. Уже с немалым скепсисом встречает он около 12 мая в Ясной Поляне очередного обожателя, американца *Эрнеста Ховарда Кросби* (1856 - 1907), и неожиданно обретает в нём многолетнего друга и помощника — в частности, в популяризации в Американских Штатах экономической теории Генри Джорджа, которой, через десятилетие после писания трактата «Так что же нам делать?» (в ходе работы над которым он и познакомился с утопическими построениями Джорджа) Толстой снова забил тогда себе голову.

Кстати сказать, Кросби был в то время уже толстовцем, и тоже своего рода отказником: уверовав в Истину христианского учения, он отказался от государственной службы и карьеры, от многих мирских

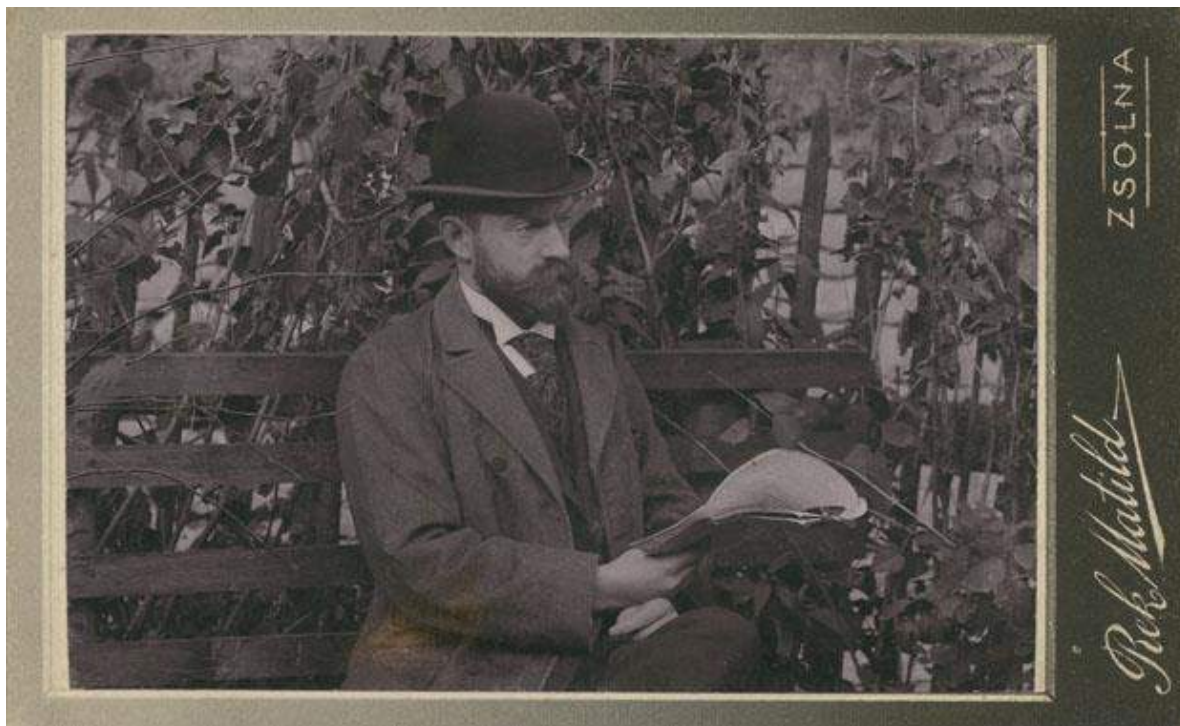


Эрнест Ховард Кросби.  
Фото 1904 г.

благ, и на этой почве, как и сам Лев Николаевич, разошёлся во взглядах с семьёй.

21 августа 1894 г. состоялось ещё одно эпохальное знакомство. Доктор словак *Душан Петрович Маковицкий* (1866 – 1921) страстно полюбил сначала Истину христианского учения, открывшуюся ему через духовные писания Льва Николаевича, а после первой встречи в Ясной Поляне, состоявшейся 21 августа 1894 года — и его самого. В качестве домашнего доктора ему суждено будет пробыть с Толстым

с осени 1904 года до последних мгновений его земного бытия. «Погостил он тогда недолго и уехал 27-го августа, — вспоминает в “Моей жизни” С. А. Толстая, — Не думали мы, что так долго потом проживём с ним» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Кн. 2. С. 367*).



Душан Петрович Маковицкий

Ниже мы приводим несколько «исторических» писем и фрагментов переписки, значительных, как вехи эволюции христианского мирозерцания Льва Николаевича Толстого, к различным авторам.

### 6. 2. 1. «Существующий строй жизни подлежит разрушению...» Письмо Э. Шмитту 26 февраля 1895 г.

Одним из полезнейших Толстому «знакомцев по переписке» делается в 1894 году *Эуген Генрих Шмитт* (Schmitt Eugen Heinrich; 1851 – 1916) — писатель, публицист, журналист из Австро-Венгрии, венгерского происхождения, представитель т. н. *религиозного анархизма*, основатель союза «Religion des Geistes» («Религия духа»). В 1894 – 1895 гг. Шмитт издавал в Будапеште журнал с таким же названием. Шмитт никогда не встречался с Толстым, но долгие годы (1894 – 1910) состоял с ним в переписке, присылал номера своего журнала, которые Толстой прочитывал с «величайшим интересом и удовольствием» (68, 114). Особенно понравилась ему статья об анар-

хизме «Anarchie». В ней автор излагал идеал такого строя, при котором будет уничтожен всякий эгоизм, а вместе с ним и всякое принуждение — государство и закон.

Дневники и письма Толстого содержат многочисленные отзывы о венгерском публицисте. Известно более 30 писем писателя, адресованных ему. Письма Шмитта, его статьи и книги радовали Толстого, так как в них он находил созвучие своим идеям. Уже в 1909 году он высоко оценит сочинение Шмитта «Religionslehre für die Jugend» («Религиозное учение для юношества»), которое представляет собой переложение Евангелия, адресованное молодому поколению. Идея подобного произведения была близка устремлениям самого Льва Николаевича, составившего за год перед этим свою версию Евангелия для детей. Толстому нравились в писаниях Шмитта «искренность и огненность» (68, 190). Он назвал прекрасной брошюру «Mammon und Belial» («Маммон и Велиал»), в которой венгерский анархист отрицал присягу и богатство, подчинение гос. власти.

В 1895 г. Толстой-публицист продолжает энергичную деятельность в защиту преследуемых христиан, отказывающихся по религиозным убеждениям от военной службы. Он организует широкую публикацию материалов, статей, книг, ибо, как он пишет Э. Шмитту в середине сентября 1895 г., убеждён, что «наше единственное и могущественнейшее оружие — это слово, т. е. ясно и сильно выраженная истина» (68, 179). Понимая огромное значение деятельности и своих единомышленников-журналистов, обсуждает способы и формы подачи публикуемых материалов и их распространения.

Толстой отвечает на присланный Шмиттом «Проект манифеста “Ко всем благородно мыслящим людям”» с выражением протеста против преследования доктора Альберта Шкарвана за отказ от воинской повинности.

Толстой писал: «Идея манифеста хороша, но форма мне не очень понравилась. Он должен быть проще и понятнее для литературно необразованных людей.

Также и ваше намерение собирать подписи под манифестом считаю нецелесообразным. [...] Число подписей лиц, настроение и взгляды которых нам не известны, не имеет никакого значения. Напишите ваш манифест так сильно и убедительно, как вы только можете, и опубликуйте его. Это единственное и лучшее, что мы можем сделать» (Там же).

Толстой сообщает, что подобный манифест или воззвание написал его друг Е. И. Попов – «Открытое письмо к обществу по поводу правительственных гонений на лиц, отказавшихся от воинской повин-

ности», что вскоре появится книга о преследовании христиан. «Сейчас от одного из моих друзей, съездившего на Кавказ, чтобы обстоятельно ознакомиться с положением дела, мною получена ещё одна рукопись о преследовании духоборов, и я пишу к этой статье предисловие. Эту статью мне очень бы хотелось поместить в самых распространённых немецких газетах. Как это сделать?» – спрашивает Толстой и предлагает: «Для вашего журнала, я думаю, было бы хорошо дать перевести предисловие к одной появившейся в Берлине книге “Жизнь и смерть Дрожжина”, и у вас напечатать. Книгу с предисловием <Предисловие Л. Н. Толстого к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина. 1866 – 1894». Берлин, 1895. – Ред.> вы можете выписать из Берлина или от нашего друга и друга Шкарвана — д-ра Душана Маковицкого, в Жилине» (Там же).

Толстой, как видим, создаёт себе команду международной поддержки — убедившись в мощи и огромнейшей полезности мировой поддержки сперва в деле кормления голодавших крестьян в начале 1890-х.

В одном из писем Эугену Шмитту Толстой анализирует публикации его журнала; даёт не только свою оценку им, но и очень важные для журналиста (и деликатные) советы.

«Я получил ваше письмо и номер 5 вашего журнала и прочитал вашу статью об Эгиди <Статья Шмитта «Zum Staatschristentum Egidy's» («О государственном христианстве Эгиди») // Religion des Geistes. 1895. № 5. – Ред.>. Как и все другие ваши писания, эта статья мне в целом очень понравилась. Вообще мне нравится в ваших писаниях ваша искренность (sincerite) и огненность (не знаю, можно ли так сказать по-немецки), но упоминание, которое вы при этом делаете о вашем мировоззрении, я не мог одобрить.

Никогда нельзя правильно оценить важность своих собственных мыслей. Это надо предоставить другим. Кроме того, ваше мировоззрение не ваше, а христианское, которое следует из Евангелия, если читать его без предвзятого намерения. Ваша заслуга заключается только в том, что вы осветили это мировоззрение с новых сторон. Простите, милый друг, что я позволяю себе сделать вам эти замечания. Делаю это потому, что люблю вас и высоко ценю вашу деятельность и многого от вас ожидаю.

Надеюсь, что мой друг Маковицкий уже послал вам предисловие, которое, если хотите, можете напечатать в вашем журнале. Теперь посылаю вам ещё одну корреспонденцию, написанную одним из моих друзей, о преследовании духоборов, с маленькой моей статьёй

об этих событиях. Корреспонденция слишком длинна для помещения в вашем журнале, но если она вам понравится, сделайте из неё извлечение и напечатайте с моей статьёй в виде послесловия.

Я очень желал бы, чтобы эта корреспонденция с моим коротким письмом или с послесловием появилась в наиболее распространённых немецких, австрийских и русских газетах» (69, 144 – 145).

Подробнее о деятельности Льва Николаевича с помощниками по эвакуации из России членов преследуемой правительством секты духоборов мы, по значительности темы, поговорим в особенной Главе.

### 6. 2. 2. Письма Берте фон Зуттнер о конгрессах мира

К 1895 – 1896 гг. относится продолжение эпистолярного общения Льва Николаевича с Бертой фон Зуттнер. Будучи, как может помнить читатель, дважды мысленно послана Львом Николаевичем нахуй, она прекратила на время письма к кумиру, но, конечно, продолжала пристально следить за всем тем в его деятельности, что было ей близко. Публикацию статьи «Христианство и патриотизм» неугомимая пацифистка встретила с восторгом. В своём журнале «Die Waffen nieder!» она оценивает эту публикацию, как «событие», а о тексте статьи говорит, что он «захватывает дух», «потрясает»: «То, что говорится у Толстого о франко-русских торжествах, не что иное, как беспощадное срывание масок (ein schonungsloses Maskenherunterreiflen)» (Цит. по: Травушкин Н. С. Берта Зуттнер – корреспондент Льва Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 146). Рискаю и в третий раз быть посланной нахуй, фрау Берта, в конце концов, решается 8 декабря 1895 г. написать «единомышленнику» письмецо с новостями её «движения» и, конечно же, непрерывной лестью:

«Я не перестаю следить за проявлениями вашего духа и счастлива наслаждаться теми могучими писаниями, которыми вы наносите удары по нашему общему врагу — войне» (Там же. С. 147). В письме Зуттнер также сообщала Толстому о предстоящем 18 декабря годовом собрании основанного ею Общества друзей мира и «заклинала» его прислать на это собрание телеграмму.

Несмотря на откровенные примазывание и лесть, Толстой ответил Зуттнер 19 декабря кратким, вежливым письмом (см. 68, 285).

В следующем письме Берты Зуттнер, от 19 июля 1896 года, как и в прежних, содержалась информация о деятельности сторонников мира и просьбы прислать хотя бы несколько слов для оглашения на

встречах пацифистов, для публикации в их печатном органе. Толстой поручил на этот раз ответить настойчивой адресатке своему не менее фанатичному, чем фрау Берта, и трудолюбивому помощнику и другу, Владимиру Григорьевичу Черткову. Текст ответа неизвестен.

Через полтора года, 20 января (2 февраля) 1898 г. Берта фон Зуттнер обратилась к отче Льву всё с прежним, сугубо пацифистским:

«Дорогой и уважаемый учитель. У пацифистов, организованных во всех странах, годовой праздник. Как рабочие празднуют 1 мая, так мы празднуем 22 февраля. Во всех городах будут происходить собрания и обмен мнениями. Я была бы счастлива при этом случае иметь возможность прочитывать на собраниях и сообщить в журнале несколько строк Толстого. Убедительно прошу вас оказать, мне эту милость» (*Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. М., 1939. С. 605 – 606*).

Просьба такая старцу и христианину могла бы показаться примерно тем же, чем взрослому домохозяину показалась бы просьба малых детей выдать им, ради Рождества, из укладки или чердака старые маскарадные костюмы — похватать перед старшими, *поиграть*. Если бы не тематика всех таких сборищ-игрищ... И в этот раз, настроившись серьёзно, Толстой и ответил максимально серьёзно и значительно, письмом, датируемым приблизительно: не ранее 24 января и не позднее 6 февраля — на основании даты письма Зуттнер, на которое отвечает Толстой, и даты пацифистского международного дня 9 (22) февраля, к которому назначался ответ Толстого.

Февральский ответ Толстого не дошёл до нас полностью. В собрании сочинений писателя он печатается по сокращённой публикации в газете «Неделя» (№ 16 от 19 апреля, стр. 525), а та в свою очередь перепечатала его из корреспонденции, помещённой в «Санкт-Петербургских ведомостях» 8 (20) апреля 1898 года. В заметке рассказывается о Гамбургском конгрессе мира 1897 года, в котором Берта Зуттнер, конечно, участвовала. Здесь же хорошо осведомлённый корреспондент сообщает:

«Баронесса Сутнер прислала Л. Н. Толстому свою последнюю книгу „Schach der Qual“ и получила от него письмо, в котором, поблагодарив за присылку, граф говорит...» Далее приводится отрывок из письма русского писателя с проповедью религиозно-нравственного очищения людей как условия уничтожения войн и милитаризма:

«Одно только я хотел бы сообщить друзьям мира, следовательно нашим друзьям, что единственное средство достигнуть цели, которую мы преследуем, состоит в том, чтобы не принимать никакого участия, даже самого отдалённого, во всём, имеющем какое бы то ни было отношение к войне, и что самое действительное средство продолжать настоящий порядок вещей состоит в компромиссах с своей совестью и в уверенности, что наши речи и наши писания могут произвести какое-либо действие, если наши поступки им не соответствуют. Освобождение людей от военного рабства не может исходить ни от коронованных особ, ни от писателей, а от духовенства, которое должно привести всю жизнь в соответствие со своею совестью. Но это будет только тогда, когда люди сознают своё человеческое достоинство, что возможно только при верном понимании религиозной жизни. Милитаризм — только симптом болезни. Если болезнь (отсутствие религии или ложная религия) исчезнет, вместе с другим злом исчезнет и милитаризм» (71, 272).

Письмо значительно указанием на признание Толстым значения в будущем обновлённой, возрождённой к первоистокам, ко Христу Церкви и её духовенства — которое может показаться странным части читателей, привыкших понимать Толстого как «отрицателя» церковности, якобы, в её истоках. Но такое понимание неверно.

По существу, благожелательное «мы» Толстого — и здесь, и в прочих обращениях Толстого к либералам и пацифистам — указывает никак не на желательность или иллюзию Толстого сближения с ними, а только на значительность тех общественных проблем, которые они поднимали в медийном и других публичных пространствах. Не отвечать, не высказать своего мнения в ответ на прямую просьбу, с обещанием всегда полезной огласки, Толстой, конечно же, не мог.

Не дожидаясь ответа, 2 (14) февраля 1898 года Берта фон Зуттнер, действительно, отправила русскому писателю ещё и свою новую книгу «Страданиям — шах» («Schach der Qual»). Как отмечает Н. С. Травушкин, «всё произведение написано под несомненным влиянием этического учения Толстого» (*Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 148*).

В сопроводительном к книге письме Берта фон Зуттнер просила обратить внимание на отмеченные места. Книга эта сохранилась в Яснополянской библиотеке, на шмуцтитуле её надпись: «Величайшему из величайших всех времён — Толстому — преподносит автор. Харманнсдорф, 1898», а на стр. 12 красным карандашом отчёркнуто для Льва Николаевича наивно-хвалебное суждение, в котором говорится, что «Толстой подарил миру “Царство Божие внутри вас”,

книгу, которая должна была бы переделать мир, но царство сатаны всё ещё процветает» (*Там же*).

По мнению Н. С. Травушкина, в не дошедшей до нас части этого письма содержится оценка присланного Бертой Зутнер романа «Schach der Qual». Исследователь обратил внимание, что «на рекламных страницах в конце книг Б. Зутнер среди отзывов о её произведениях не однажды печатались неизвестные у нас строки Толстого: «Я прочитал книгу с удовольствием и пользой; это очень убедительная (suggestives) книга, она содержит много прекрасных мыслей»» (*Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 148*).

В этом ещё более, чем «Долой оружие», до смешного бездарном романе Берта фон Зуттнер сделала, однако, Толстому ценный подарок: рассказала читателям о страданиях в России сектантов-духоборов, отказывающихся носить оружие и идти по призыву в военную службу, сосланных властями на Кавказ. Одна из глав, повествующих об этом, называется «Толстой обвиняет» («Tolstois Klageruf»). Писательница целиком солидаризируется с великим яснополянцем: нельзя пренебречь его призывом, надо спешить туда, где страдают, где нуждаются в помощи. Главный персонаж книги, князь Роланд, спешит на помощь духоборам, едет в Россию, где сталкивается с бессердечием правительства (*Там же. С. 149*).

Наконец, на цитированное выше письмо Толстого Берта Зуттнер ответила Толстому письмом от 27 февраля:

«Дорогой и почитаемый учитель.

Горячо благодарю вас за ваше драгоценное письмо, которым вы меня почтили. Урок, содержащийся в нём, принесёт плоды. Ужасное дело удушения правосудия к вящей славе божества «Милитаризм», которое происходит сейчас во Франции, ещё раз доказывает, насколько вы правы, бичуя этот так называемый «патриотизм», во имя которого совершаются и оправдываются все насилия, вся ложь и все убийства» (*Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. М., 1939. Т. 37 – 38. С. 606*).

Убогая лесь... Однако поборница всеобщего мира в своём письме тут же сделала ещё большую ошибку: не утерпела, чтобы не задеть ненавистную Францию, намекая, по-видимому, на разбиравшееся в то время дело Дрейфуса и усматривая именно во Франции главный очаг всех ужасов милитаризма. Толстой, как мы помним, не позднее чем с начала 1870-х гг. Франции симпатизировал, хотя, действительно, не оправдывал милитаристских и реваншистских настроений, бытовавших в этой стране, равно как гонки вооружений и обязательной военной службы ни в одной из европейских стран.



6. 2. 3. Письмо М. Э. Здзеховскому  
(О «польском вопросе» и патриотизме). 1895

Знакомство и общение, в том числе личное, Толстого с поляком Мараном Эдмундовичем Здзеховским, знаменует появление в «антивоенной» эпопее Льва Николаевича Толстого одной из самых непростых для анализа его мировоззрения проблем. В предшествующих главах нашей книги мы проследили достаточно специфику его формирования. С одной стороны, Толстой с юных лет безусловно одобряет «молодечество», храбрость и самопожертвование. В зрелые годы, с рубежа 1870 – 1880-х гг. — писателем одобряется жертвование собой не столько солдат и офицеров, сколько революционеров. Кроме того, для сознания Толстого безусловны ценности свободы и человеческого достоинства, по отношению к которым уже молодой Лев воспринимал имперскую тётю «родину», пресловутое «отечество» как несчастную страну деспотизма, бесправия и «власти тьмы». С симпатиями в отношении героев «революционной» оппозиции это имеет связь — хотя не ту именно, о которой можно подумать прежде всего: всегда, когда дело до Толстого, речь следует вести об одобрении моральных достоинств и выдержки конкретных личностей, но не их заблуждений о действительности в обществах «революционных» методов борьбы.

Приведём кстати довольно известный отрывок из письма молодого Л. Н. Толстого к троюродной тётке Александре Андреевне Толстой, от 18 августа 1857 г.:

«В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни. Я знаю, что вы не одобрите этого, но что ж делать — большой друг Платон, но ещё бóльший друг правда, говорит пословица. Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-тилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что кроме побой послал его босого по жневью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все

ноги были в ранах, — вот, ежели бы это всё видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне не мешают, сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слёзы умиления, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю» (60, 222).

Но, повторим: в то же время, такое неприятие насилия государственного и симпатии к борцам с ним, включая народы, борющиеся за отделение от России, от Империи и от поганого, хотя ещё только становящегося во всём своём поганстве, «русского мира» — не означало симпатии к *методам* борцов, именно насилию или подготовке к нему, которые, например, для поляков были ключевыми. Недаром в истории XX столетия наиболее близкими политическими движениями за свободу, за равенство прав, считается ненасильственная *сатьяграха* Мохандаса Карамчанда (Махатмы) Ганди, считавшего себя учеником Толстого, в рамках более широкого движения освобождения Индии от британского колониализма, и, немногим позднее — движение Мартина Лютера Кинга в США, заимствовавшее (быть может, продуманно) у «толстовства», то есть от чистых, евангельских истоков идущего неприятия насилий и лжи, главное: религиозные этические основания для непростого воздержания борцов за права чернокожих от ответного насилия.

Беда тех современников великого яснополянца, кто, до самой его кончины и позднее, искал в нём единомышленника для того, чтобы его громким именем поддержать готовящееся насилие (под именем ли революции или *национального восстания* — не важно!) в том, что означенный в письме 1857 г. *эстетический* барьер от ударов по чувствам, от картин окружающей действительности — Толстой уже к концу 1880-х в основном «разобрал по брёвнышку», сублимировав в образах своего художественного творчества. *Христианскому* же его неприятию ужасов и мерзостей повседневной жизни тогдашней буржуазно-капиталистической России имманентны были любовь и сочувствие отнюдь не к городской интеллигентской сволочи, среди которой и гуляли ветерочки заранее оправданных антиправительственных мятежей, даже не к друзьям — или среди творческих горожан, или в своём сословии — как было в том же 1857-м, а к *наиболее страдающим* людям, как правило, из народа. Не этический ретретизм, не бегство *от* страдающих, а путь *к* ним.

Кстати же. Удивительным образом строки из письма Льва Николаевича августа 1857 г. А. А. Толстой некоторые современные уже нам авторы преподносят как свидетельство «русофобии» молодого Льва Толстого — сближающей его с «разрушителями России». Обычно с этой целью к приведённому нами отрывку добавляют обманом слова: «Противна Россия. Просто её не люблю» — которые в Дневнике Толстого от 6 и 8 августа 1857 г., на который ссылаются подтасовщики, действительно есть, но связаны именно с впечатлениями от нравов, от "власти тьмы" в государстве Российском (см.: 47, 150), и которых в письме нет совершенно (пример такой лживой публикации в интернете: [http://buggybugler.info/articles/lev\\_tolstoj\\_o\\_rossii-3.html](http://buggybugler.info/articles/lev_tolstoj_o_rossii-3.html) ). Дело в том, что Толстой протестовал исключительно с гуманистических позиций — против жестокости и неустроенности жизни родины (т.е. *родного края* — в семантических категориях эпохи), не заявляя о “нелюбви” к России как таковой и в целом.

Молодой духовный воин, Толстой в критической картине, приведённой в письме 1857 г., гуманистически сближается с позицией старшего собрата, чтимого им всегда воина и патриота России, поэта Дениса Давыдова, выразившейся в сатире ещё 1836 г. «Современная песня» — на “букашек”, городских и усадебных «просвещённых» паразитов на народной шее:

Был век бурный, дивный век,  
Громкий, величавый;  
Был огромный человек,  
Расточитель славы:

То был век богатырей!  
Но смешались шашки,  
И полезли из щелей  
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,  
Всякий обирала,  
Модных бредней дурачок,  
Корчит либерала.

Деспотизма супостат,  
Равенства оратор, –  
Вздулся, слеп и бородат,  
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо  
Он на память знает  
И, как ярый Мирабо,

Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо  
Старого Гаврило  
За измятое жабо  
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафайёт,  
Брут или Фабриций  
Мужиков под пресс кладёт  
Вместе с свекловицей...

И так далее. Но критика Толстого 1880 – 1890-х гг., Толстого-христианина показалась для фарисейской “общественности” буржуазной России много болезненней, нежели в 1830-х критика Дениса Давыдова — оставшаяся на уровне социальной и политической сатиры (ведущей свою традицию ещё из языческого мира, из Античности) и гуманистических деклараций.

*Фарисейство*, лицемерие — вот «фундамент» пресловутых «освободительных движений», который был очевиден христианскому сознанию Толстого, и в особенности — при взгляде из деревни. Выблядки усадебного «Брута», дворянчика – крепостника, вырастая на лоночке природы, в холе и сытости с трудов порабождённого народа, где-нибудь на возрасте студенчества выдумывали, в потайном «кружке», фронду ради «народной свободы». Вместо того, чтобы *просто* не обременять народ изначально: не рожаться в дворянском, крепостническом семействе, не лезть вон из брюшка своей мамки! Отдалённые потомки и «духовные» поганые наследники этих выблядков и выщенок — теперешняя, с московской да питерской прописочкой, зажиточная сволота, всё так же корчащая из себя «оппозицию» и заступников «народа».

Толстой видел это массовое фарисейство «умеренных», сволочи либеральной. Именно потому ему, как воину, воспитаннику на героической и патриотической литературе, симпатичнее оказались те, кто жертвовал собой лично — не исключая «революционных» террористов. Однако коренные причины такой симпатии, связанные с дворянским воспитанием, с представлениями о чести, о ценности свободы — позорно сокрыты даже для многих исследователей нашего времени, XXI столетия, берущихся писать о Толстом. Непонятны они были и самим современникам Толстого, обижавшимся или разочаровывавшимся на его отповеди к ним: например, финнам или полякам, борющимся за свободу от России, равно и революционерам в России либо эмигрантам — по этой самой причине не оставлявших

в 1880 – 1900-е гг. попыток заручиться громким, влиятельным толстовским словом, личной поддержкой писателя и публициста.

Помимо переписки с Здзеховским, ниже мы рассмотрим ещё несколько эпизодов диалога Толстого с теми, кто лично объявляли войну имперской России либо поддерживали таковых.

Теперь — о персоналии адресата.



Мариан Эдмундович Здзеховский

*Мариан Эдмундович Здзеховский* (Marian Zdziechowski; 1861 – 1938) — профессор Краковского университета; посетитель, корреспондент и адресат Толстого. Писатель был знаком с его работами о религиозных идеалах польского общества.

Имя Толстого с юных лет вошло в жизнь Здзеховского; позднее он писал: «Первый раз я читал “Войну и мир”, будучи учеником 7 класса гимназии. Один образ особенно поразил моё воображение и, войдя в душу, остался в ней, неразрывно связавшись с теми её настроениями и побуждениями, которыми я более всего дорожу; это образ раненного под Аустерлицем кн. Андрея Болконского, когда, лёжа на поле сражения и не видя того, что происходит вокруг, он смотрит в небо, “неизмеримо высокое небо с тихо ползущими по нём серыми облаками”, и чувствует, “как всё пусто, всё обман, кроме этого бес-

конечного неба; ничего, ничего нет, кроме него...». В 1883 году, продолжал Здзеховский, «я прочёл “Исповедь” жадно, но не нашёл в ней желанного удовлетворения. Л. Н. смело устремлялся в новый мир, оставляя за собой развалины церковного христианства, между тем как для меня понятия религии и церкви были неразделимы. Привязанность к римско-католической вере, к её обрядам и таинствам слишком глубоко внедрилась в мою душу, чтобы я был в состоянии от неё отрешиться; я искал синтеза католицизма с лучшими стремлениями века [...]. Но это вовсе не ослабило моего влечения к Л. Н. Толстому; [...] я в нём чтит учителя, которого в эпоху торжества материалистического эгоизма в философии и в жизни Провидение призвало для того, чтобы обнажить суету чувственности и безобразия греха» (*Здзеховский М. Голос из Польши // Международный толстовский альманах: О Толстом. М., 1909. С. 64 – 65*).

В 1895 г. Здзеховский написал «очерк, в котором, изложив ход польской политической мысли с 1831 г., старался указать на её глубоко христианскую подкладку». Вот преамбула статьи:

«Размышляя о несчастной судьбе родины и о средствах к её спасению, лучшие люди польского народа стремились с замечательной последовательностью согласовать с учением Христа итоги своих размышлений. Они считали долгом освободить их от примеси человеческих страстей, и поднять таким путём до значения религиозных заповедей. Отсюда нравственная возвышенность их идеалов. Их политическая оболочка неотделима от религиозной сердцевины. Отсюда невозможность говорить о политических идеалах польского общества иначе, как в совокупности с его религиозными стремлениями» (*Северный вестник. 1895. № 7. [Июль]. СПб., 1895. С. 36*).

Статья странна своей тенденцией немножко — скрещенья свинтуса с бульдожкой: католическую религию (априори полагаемую её адептом Здзеховским «истинным христианством») соединить с не то, что человеческим, а даже и *слишком* человеческим: идеей национальности, свободы, «прав» и даже мессианизма поляков. Например, в поэме Адама Мицкевича (Adam Bernard Mickiewicz; 1798 – 1855) «Конрад Валленрод», что для Здзеховского особенно дорого, в классическом выборе между религиозной совестью и патриотизмом побеждает последний: потому что Мицкевич уже в 1820-м, после Венского конгресса, но задолго до «освободительных» кровопролитий 1830-х, а тем более 1860-х гг. «признавал положение своей родины настолько безвыходным, что спасти её оказывалось возможным не иначе, как прибегая к чрезвычайным средствам, против которых возмущалось нравственное чувство». Эти средства были неприемлемы для Валленрода как христианина. Но соблазнительны, как для

поляка... «Зародыши будущего мессианизма таились в неизмеримых глубинах страстной любви к отечеству, которой дышал Валленрод. [...] Такое понимание вело прямым путём к мечте о божественном призвании польского народа, которую поэты и мыслители стали пытаться обосновать исторически и философски» (Там же. С. 37 – 38). Окончательно концепция мессианизма, религиозного избранничества польского народа, сложилась в сочинениях другого кумира Здзеховского — мистика Андрея Товянского (Andrzej Towiański; 1799 – 1878): «его учение пролило благодатный свет в чуткие души, искавшие примирения христианской любви к ближнему с патриотизмом» (Там же. С. 43). Здзеховский с отрадой видит в мазохистских фантазированиях Товянского сближение с учением возлюбленной им католической церкви: «Поляки — говоря мистическим слогом Товянского — не умели подчиниться сладкому игу Христа, поэтому Господь испытует их, наказав более тяжёлым, земным, материальным игом, от которого они освободятся именно силою духовного ига Христа. Иными словами, поляки, вместо того, чтобы мечтать о политической свободе, должны всеми силами стремиться к свободе нравственной. [...] ...В виду ниспосланной Богом на Польшу страшной кары, первым признаком покаяния должно быть христианское отношение к орудиям этой кары» (Там же. С. 42 – 43). Но Здзеховский признаёт, что «христианский и аскетический идеал, который Товянский пытался применить к политическим стремлениям поляков, не мог иметь успеха среди массы общества», тогда как идеи мессианизма и политической борьбы находили отклик. Отрезвление пришло лишь «после 63 года», то есть трагического по последствиям восстания против Российской Империи (Там же. С. 44). У одного из популярных мыслителей этого периода, графа Ежи (Юрия) Мошинского (Moszyński; 1847 – 1924), Здзеховский находит признаки сближения и с христианским проповеданием Толстого:

«Кто смотрит на политическую независимость, как на возвышеннейшую из народных стремлений, тот противоречит Божьей воле, обязывающей нас считать всякое политическое устройство только средством к труду, одеждой, которая изветшает, а не высочайшей целью» (Там же. С. 49). И ещё: «...Осудив не только козни и заговоры, что уже было сделано мессианистами, не только восстания [...], но даже самую мысль о чисто политической борьбе, Мошинский тем страстнее верует в “польскую жизнь”, т. е. в неистощимые духовные силы польского народа. Эти силы и следует развивать, чтобы польская жизнь оказала благотворное и сильное влияние на те народы, в

сообществе которых Бог заставил поляков трудиться над бессмертным делом водворения христианской правды на земле, — делом, составляющим обязанность каждого народа» (Там же. С. 54).



Граф Ежи Мошинский

По существу, «миролюбивый» посол Мошинского верен и благ, и действительно сближает польского мыслителя, патриота и ревностного католика Ежи Мошинского с Толстым. Поляки имеют право заявить миру о своём существовании, но не внешней силой, которой они бесповоротно лишились (забрал Господь!), а своими духовными качествами; они обязаны развивать свою духовную индивидуальность, чтобы этим принести пользу всему человечеству. Пойди поляки к своему освобождению не через восстания, а через культурное и духовное развитие, обновление (как сумели, скажем, чехи) — желаемый результат был бы достигнут куда меньшей кровью. Но куда-то «теряют» оба, и Здзеховский тоже — понятие основанной Христом Церкви, в которой (а не «в сообществе народов») должны соединяться последователи Христа так, чтобы не было «ни иудея, ни елина»: не делясь, как древние язычники, ни языки (народы) и сброды, на однопартийцев и «врагов» твоей политической игры.

По цензурным соображениям эта странная статья была напечатана в сокращённом виде в июльской книжке «Северного вестника» под псевдонимом «М. Урсин». Желая опубликовать её за границей полностью, но справедливо считая своё имя недостаточно известным,



чтобы рассчитывать на успех издания, Здзеховский 12 августа 1895 г. обратился к Толстому с письмом, в котором просил его «о помощи в виде краткого предисловия, хотя бы в полемическом тоне», против его взглядов. Эти взгляды по поводу прочитанной им статьи Толстого «Христианство и патриотизм» он излагал в том же письме. На письмо Здзеховского Толстой ответил 10 сентября 1895 г. Здесь он горячо размышляет о «польском вопросе», о патриотизме угнетаемых и угнетателей, и пытается убедить своего собеседника в том, что всякий «патриотизм есть свойство недоброе».

В письме Толстой, по его словам, «вновь обдумывает» и высказывает свои мысли о патриотизме — конечно же, с благодарностью адресату за такую возможность.

Письмо Толстого было напечатано М. Э. Здзеховским в вышедшей (под его псевдонимом *М. Урсин*) брошюре «Религиозно-политические идеалы польского общества» (Лейпциг, 1896), а кроме того напечатано в польских газетах и перепечатано в различных изданиях.

28 августа 1896 г. М. Э. Здзеховский лично посетил Ясную Поляну. 2 июня 1899 г. он послал письмо с описанием празднования 100-летней годовщины Пушкина в Кракове. Толстой ответил письмом 26 июня 1899 г.: «Мои отношения с вами мне очень памяты и оставили во мне самые хорошие воспоминания. Вашей статьёй и разговорами вы помогли мне сознательно сблизиться душевно с поляками — то, к чему я всегда чувствовал несознательное влечение» (72, 152).

Понятно, что такие попытки польских «друзей» политизировать христианское неприятие Толстым патриотизма были обречены на провал. Итогом «духовного сближения», устанавливающим, вместе с тем, и его границы, можно считать, помимо вежливого ответа Здзеховскому, появившуюся через несколько лет, в революционном 1905 году, повесть Толстого «Божеское и человеческое», безусловно осудившую насильственные методы борьбы поляков с Россией и выставившую, контрастом с этими мирскими «героями», образ христиански пробудившегося, обречённого в миру на гибель человека — безусловно, ещё одной Птицы Небесной. Современный исследователь Е. Ю. Полтавец пишет в этой связи:

«В творчестве Л. Н. Толстого есть два деифицированных (обожествлённых) персонажа, причём оба — князь Андрей, герой «Войны и мира», и Анатолий Светлогуб, герой «Божеского и человеческого», — умирают, как мученики, за веру. С точки зрения христианской ортодоксии их, пожалуй, можно было бы назвать лишь страстотерпцами [...], но суть не в этом. Для Толстого как автора Болконский и Светлогуб не только герои, пришедшие к индивидуальной святости,

но и образы сотериального значения. Причём по своей, так сказать, формальной профессиональной принадлежности эти персонажи отстоят от автора, адепта идей ненасилия, дальше, чем кто бы то ни было. Андрей Болконский — профессиональный военный, Анатолий Светлогуб — профессиональный революционер, террорист. Конечно, ни тот, ни другой не повинны ни в малейшем насилии: наполеоновские и другие войны князь Андрей проходит, не участвуя не только в убийстве противника, но и в военном противостоянии (даже во время Бородинского сражения его полк стоит в резерве), а Светлогуб не успевает осуществить никакие террористические действия. Толстого интересует не “житие великого грешника”, а возвышение человеческого духа над обыденным сознанием» (*Полтавец Е.Ю. «Божеское» и «человеческое» в танатопэтике Л. Н. Толстого: Андрей Болконский и Анатолий Светлогуб // Материалы Толстовских чтений 2014 г. в Государственном музее Л. Н. Толстого / отв. ред. Л. В. Гладкова; сост. Л. Г. Гладких, Ю. В. Прокопчук. — М., 2015. С. 156 – 164*).

Итак, образом князя Болконского Лев Николаевич Толстой указал юному Мариану Здзеховскому *настоящий путь*. Тоже требующий и самопожертвования, даже отвращения от своей личности, и мужества, и стойкости... но не требующего крови, убийства других, разрушения жизни. Не пошёл Мариан Здзеховский этим путём. Пеняй, Мариан, на себя...

В завершение темы приводим ниже, с незначительными сокращениями, сперва письмо Мариана Эдмундовича Здзеховского, на которое отвечает Толстой, а затем и самый ответ Льва Николаевича.

«Глубоко чтимый Лев Николаевич!

На днях вышла моя брошюра, о польском патриотизме с Вашим письмом, помещённым мною в предисловии к ней. Вскоре я Вам её вышлю [...].

Лев Николаевич! Вы были так добры в отношении ко мне, что я не в состоянии воздержаться себя от желания высказать Вам откровенно те мысли, которые Ваши сочинения возбуждали во мне и которым Ваше последнее письмо о патриотизме дало особенно сильный толчок. Конечно, не скажу ничего нового, и Вы вероятно не один раз слышали возражения подобные моим — всё же, смею думать: они Вас несколько заинтересуют, так как происходят не от холодного

критика с окончательно установленным мировоззрением, но от человека ищущего истины, на которого Ваши слова производили сильное, нередко потрясающее впечатление.

С юных лет я тяготился своей материальной обеспеченностью, заключающейся в том, что мои родители были в состоянии издерживать на моё воспитание 600 – 800 руб. в год. Это чувство развивалось во мне и усиливалось под впечатлением того, что и в гимназии, и в университете я был обыкновенно окружён товарищами, которые были гораздо беднее меня и часто нуждались даже в необходимом. Я чувствовал себя как бы виновным перед ними и ещё в настоящее время я испытываю это тяжёлое настроение каждый раз, когда имею дело с бедными. Благодаря тому я живо интересовался вопросами нравственности, читал Евангелие и сильнее всего волновался советом Христа раздать нищим имущество и словами Его о богаче, которому войти в Царство Небесное труднее, чем верблюду пройти через... В сопоставлении с учением Христа учение мира казалось мне постыдным фарисейством. Я сочувствовал социалистическому учению, иначе, даже увлекался им, но слабо, так как материализм последователей этого учения производил отталкивающее впечатление на моё религиозное чувство, которое выражалось у меня главным образом в сильном стремлении утвердить себя в католицизме: в религии мой ум страстно требовал строгой определённости; меня мучили сомнения, но я с ними боролся, напрягая все умственные силы к тому, чтобы доставить победу католическому чувству.

Я уже кончал университет в то время, когда Вы издавали Вашу «Исповедь»; с тех пор я внимательно следил за Вашими сочинениями. Всё, что Вы писали об учении мира, потрясало меня до глубины; в Ваших словах я находил свои собственные чувства, выраженные с той пламенной силой, которой мне недоставало. Но Ваше учение удовлетворяло меня не во всём, оно требовало и слишком много и слишком мало: не имея силы радикально переменить свой образ жизни, с другой же стороны довольствоваться только сознанием того, что я дурно живу (Царство Божие в вас) я находил слишком малым, тем более, что это сознание мучило меня с самых юных лет.

Но главным образом меня приводило в недоумение то, что Вы мирили две, по-моему мнению, совершенно противоположные вещи: глубокое знание человеческой души, и именно мрака её, и веру в торжество светлых сил в человеке; ведь эта вера довела Вас до проповеди анархизма, хотя это анархизм христианский, совершенно отличный от динамитного анархизма. — Мне же коренная испорченность человеческой природы (грех первородный) казалась всегда истиной очевидной, не требующей доказательств:

«Je ne connais pas la conscience d'un scelerat, mais je connais celle d'un honnête homme et c'est quelque nature d'affreux». (de Maistre) < «Я не знаю сознания злодея, но знаю сознание честного человека, и это нечто отвратительное по природе» (де Местр). — *Ред.*>

«L'humanité est une immense assemblée de pécheurs; quiconque se regarde s'épouvante de ce qu'il voit étrecule devant l'objet qui se montre. Plus l'homme connaît l'homme, plus l'abîme grandit à ses yeux. C'est un spectacle effrayant que de regarder n'importe où car partout où l'homme a passé, il a laissé sa marque et la marque est épouvantable». (Ernst Hello) < «Человечество — бескрайнее собрание грешников, и всякий, кто на него смотрит, ужасается тому, что видит, и отшатывается от выказывающего себя предмета. Чем больше человек знает человека, тем большая пропасть разверзается перед его глазами. Куда ни помотришь — ужасающее зрелище, ибо человек повсюду, где проходит, оставляет свою печать и печать эта ужасающа» (Эрнст Элло). *Эрнст Элло (1828 – 1885) — французский религиозный философ, последователь Жозефа де Местра.* — *Ред.*>

Одним словом, гармонии в душе моей не было: я исполнял обряды католической церкви, но многое в католицизме возмущало меня; для успокоения совести я принимал участие в благотворительных обществах в лучшем их виде (Conferences de St. Vincent de Paul), но не только не удовлетворялся этим, но нередко напротив, когда мне, человеку, одетому в тёплое пальто, приходилось проповедовать нравственность беднякам, я этим мучился как ханжеством.

В литературной деятельности я последовательно избличал материализм во многих его проявлениях и, не поступая в ряды клерикалов, я, однако, высказывал своё сочувствие католической церкви и сотрудничал в журналах с католическим направлением. Итоги своих размышлений я сформулировал следующим образом: люди злы по природе и, следовательно, лишены возможности пользоваться благами свободы; для порядка необходима власть; две силы борются между собой за обладание миром — Церковь и Государство; из двух зол надо выбирать меньшее, в данном случае — Церковь. Конечно, я этого публично не высказывал, находя неуместным, даже безнравственным, чтобы защитник Церкви выражался о ней таким образом.

Этот взгляд на Церковь я основывал на внешней, весьма часто эгоистической деятельности официальной церкви, т. е. пап и епископов, но я понимал, что это не давало мне права осуждать Церковь вообще, так как во всяком случае Церковь представляла в сравнении с Государством высший, хотя и неудовлетворительно исполняемый принцип отрешения от плоти во имя духа — затем она обладала

и обладает тем, что названо в Катехизисе внутренней святостью, т. е. силой производить святых. Святые же, особенно святые Зап[адной] Церкви, по моему глубокому убеждению, представляют высший идеал достижимый для человека, идеал совершенства. Это факелы человечества и это не вылитые по одному типу отшельники как на Востоке, но люди живые, непохожие один на другого, олицетворяющие самые разнообразные стороны человеческого духа в их лучшем проявлении, — правда, их всех соединяет одна общая черта, это *folie de l'amour* [фр. увлечённость любовью] как выразился Lacordaire <Жан-Батист-Анри (Генри) Лакордер (*Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, 1802 – 1861*), французский проповедник, журналист, политик и религиозный проповедник. — *Ред.*>, но несмотря на это в их душевном складе более разнообразия, чем в представляемых романистами характерах последователей мира; жизнью своей и подвигами святые искупают грехи как официальной церкви, так вообще всех живущих в мире католиков. Мне кажется, что Св. Франциск и нищенствующие ордена, которые он основал, представляют цвет католицизма и отраднейшее явление в истории мира и эти ордена выдают до сих пор людей, поражающих своей возвышенностью. Например можно нередко встретить даже в аристократических гостиных Кракова старика во францисканской рясе из грубого серого сукна, из которого выделяются мужицкие сермяги; это брат Альберт Хмельёвский, в мире он был художником живописцем, но он ушёл от мира, чтобы проповедовать Евангелие бездомным бродягам, пьяницам, вора́м и вообще людям сошедшим до последней ступени нищеты и разврата, он почувствовал к ним влечение как художник, ибо люди эти, по его выражению, “это художественные натуры неспособные к солидной жизни”; он устроил в Кракове и Льво́ве ночлежные приюты; можно в них проночевать и уйти, можно и остаться, но с условием участия в общей работе; и очень многие остаются и с их помощью брат Альберт устроил фабрику какой-то особого рода им изобретённой мебели; работе этой учит он сам вместе с другими братьями, и там же он ночует; таким образом слова любви царят теперь в заведении, в котором прежде действовали только палки полицейских чинов.

Между тем, страдая над своей виновностью в отношении к человечеству, я забывал о своей личной жизни, о обязанностях в отношении к людям, с которыми я находился в постоянном общении. И только недавно неожиданное обстоятельство открыло передо мною бездну моего эгоизма. Внезапная смерть человека искренно меня любившего, к которому однако я всю жизнь относился несправедливо, пробудила во мне горестное сознание моей виновности перед

ним и мне удалось проникнуть в глубину совести и первый раз увидеть ясно всё то зло, которое я в своей частной жизни сеял вокруг себя, предаваясь при этом возвышенным размышлениям об осчастливливании человечества. Случайно в то же время я познакомился с сочинениями писателя, о котором я до тех пор ничего не знал. Это Ernest Hello (ум[ер] в 1885 г.). Он первый католический писатель, произведший на меня глубокое впечатление. Совершенно свободный от слащавой елейности свойственной большинству католических писателей, он вознёсся на высочайшие вершины религиозного созерцания и, проникнутый живым чувством бесконечности и Бога, он тем сильнее возненавидел мир и вооружился против учения мира с силой и воодушевлением напоминающими Ваши сочинения. Ненависть к греху, жажда идеала, экстаз души, сокрушённым сознанием своего ничтожества перед Богом, страстная и пламенная вера в Церковь, как единую силу водворяющую правду на земле — вот пафос (говоря языком Белинского) его религиозного творчества; творчеством же можно смело назвать его литературную деятельность, представляющую как бы ряд вдохновений свыше. Его сочинения утверждают меня теперь в католицизме. Конечно, они меня не успокоили, меня всё терзает тяжёлое чувство противоречия между моей жизнью и тем высоким идеалом, которого красоты я чувствую, не будучи в силах воплотить его в своей душе. Но меня утешает то, что я член Церкви, т.е. Всемирного Собрания (Katholikos Ecclesia), которое, воздвигнув идеал отрешения от плоти, т.е. от эгоизма, т.е. от мира, шествует к нему и исполняет его в лице своих лучших сынов и при том не лишает участия в таинствах тех, которые живя в мире, подвержены постоянным падениям под ударами власти греха.

Простите мне, глубокочтимый Лев Николаевич, моё дерзкое и глупое желание говорить пред Вами о себе, но поверьте мне, что ободрённый Вашей добротой, я не в силах был превозмочь это желание: я хотел высказаться перед Учителем, сильно и благотворно повлиявшим на моё духовное развитие, — и я хотел выразить то обаяние, которое всегда производили на меня святые (внутренняя святость Церкви), многое в Церкви возмущало меня, но никакие сомнения не поколебали того убеждения, что только на почве Церкви могут расти и развиваться великие и святые души, составляющие лучшее украшение человечества.

Примите уверение в благоговении и глубокой преданности

Мариан Здзеховский (*см. Новая Польша. 2003. № 7 – 8*).

Ответ Л. Н. Толстого:

«10 сентября 1895 г. Ясная Поляна

Мариан Эдмундович,

Письмо ваше я получил и поспешил прочесть статью вашу в «Северном Вестнике». Очень благодарен за то, что вы указали мне на неё. Статья прекрасная, и я узнал из неё много для себя нового и радостного. Я знал про Мицкевича и Товянского. Но я приписывал их религиозное настроение исключительным свойствам этих двух одиночных людей. Из вашей же статьи я узнал, что они были только родоначальниками вызванного патриотизмом, глубоко трогательного по своей возвышенности и искренности, истинно христианского движения, продолжающегося до сих пор.

<Зачёркнуто в первой редакции: что это было и есть глубоко трогательное религиозное течение, приведшее этих людей к тому самому отрицанию патриотизма или, скорее, поглощению патриотизма христианством, с которым вы выражаете своё несогласие по поводу моей статьи Патриотизм и Христианство. – Ред.>

Статья моя «Патриотизм и христианство» вызвала очень много возражений. Возражали мне и философы, и публицисты, и русские, и французские, и немецкие, и австрийские; возражаете и вы; и все возражения, так же как и ваше, сводятся к тому, что мои осуждения патриотизма справедливы по отношению к *дурному* патриотизму, но не имеют никакого основания, если относятся к *хорошему* и полезному патриотизму; о том же, в чём состоит этот хороший и полезный патриотизм и чем он отличается от дурного, — никто до сих пор не потрудился объяснить.

Вы пишете в вашем письме, что, «кроме завоевательного, человеконенавистнического патриотизма могущественных народов, существует ещё совершенно противоположный патриотизм народов порабощённых, стремящихся единственно к защите родной веры и языка от врагов». И этим положением угнетённости определяете хороший патриотизм.

<Зачёркнуто в первой редакции: Мне кажется, что, говоря это, вы противоречите той мысли вашей статьи, что польские мыслители всегда старались, как вы выражаетесь, всегда согласовать национальные идеалы с законом Христа. Если закон Христа становится законом жизни, а не пустым словом, то он неизбежно поглощает и растворяет в себе всякий патриотизм. Насилия, совершаемые над польскими панами и народом, возмущают меня, наверно, не менее,

чем кого бы то ни было — поляка патриота, и точно так же возмущают меня насилия над евреями и финляндцами и остзейцами. Одно, что, мне кажется, может и должен испытывать поляк при насилиях, совершаемых над ним, это сознание того, что его патриотизм такой же. – *Ред.*>

Но угнетённость или могущественность народов не делает различия в сущности того, что называется патриотизмом. Огонь будет всё такой же жгучий и опасный огонь, будет ли он пылать костром или теплиться спичкой.

Под патриотизмом разумеется обыкновенно предпочтительная перед другими народами любовь к своему народу, точно так же как под эгоизмом разумеется предпочтительная любовь перед другими людьми к одной своей личности. И трудно представить себе, каким образом такая предпочтительность одного народа перед другим может считаться добрым и потому желательным свойством. Если вы скажете, что патриотизм извинительнее в угнетаемом, чем в угнетателе, так же как извинительнее проявление эгоизма в человеке, которого душат, чем в человеке, никем не тревожимом, то нельзя будет не согласиться с вами, но изменить своего свойства патриотизм не может от того, что он будет проявляем угнетаемым или угнетателем. И свойство это: предпочтение одного народа перед всеми другими, так же как и эгоизм, никак не может быть доброе.

Но мало того, что патриотизм есть свойство недоброе, оно есть и неразумное учение. Под словом патриотизм подразумевается ведь не только непосредственная, невольная любовь к своему народу и предпочтение его перед другими, но ещё и учение о том, что такая любовь и предпочтение хороши и полезны. И это-то учение особенно неразумно среди христианских народов. Неразумно оно не только потому, что оно противоречит и основному смыслу учения Христа, но ещё и потому, что христианство, достигая своим путём всего того, к чему стремится патриотизм, делает патриотизм излишним и ненужным и мешающим, как лампа при дневном свете.

Человек, верующий, как Красинский, <Сигизмунд Красинский (1812 – 1859), польский поэт, автор «Небожественной комедии», «Иридиона» и др., испытавший на себе, так же как и Мицкевич, сильное влияние идей Товянского. – *Ред.*> в то, что *«церковь Божья — не то или другое место, не тот или другой обряд, но вся планета и все, какие только могут существовать отношения личностей и народов между собой»*, — не может уже быть патриотом, потому что он во имя христианства совершит все те дела, которые может требовать от него патриотизм. Патриотизм требует, например, от своего ученика жертвы своей жизнью для блага своих единокровцев,



христианство же требует такой же жертвы для блага всех людей, и потому тем более и естественнее такая жертва для людей своего народа.

Вы пишете о тех страшных насилиях, которые совершаются дикими, глупыми и жестокими русскими властями над верою и языком поляков, и выставляете это как бы поводом для патриотической деятельности. Но я не вижу этого. Для того, чтобы быть возмущённым этими насилиями, а всеми силами противодействовать им, не нужно быть ни поляком, ни патриотом, нужно только быть христианином.

В данном случае, например, я, не будучи поляком, поспорю с каждым поляком в степени отвращения, негодования к тем диким и глупым мерам русских правительственных лиц, которые употребляются против веры и языка поляков; поспорю и в желании противодействовать этим мерам, и не потому, что я люблю католичество больше, чем другие веры, или польский язык больше, чем другие языки, а потому, что я стараюсь быть христианином. И потому, для того чтобы ничего подобного не было ни в Польше, ни в Эльзасе, ни в Чехии, нужно не распространение патриотизма, а распространение истинного христианства.

Можно сказать, что мы не хотим знать христианства, и тогда возможно восхвалять патриотизм; но как скоро мы признали христианство, или хоть вытекающее из него сознание равенства людей и уважение к человеческому достоинству, то никакому патриотизму уже нет места. Меня удивляет при этом, главное, то, каким образом защитники патриотизма угнетённых народов (каким бы усовершенствованным и утончённым они его ни представляли) не видят того, как вреден патриотизм именно для их целей.

Во имя чего совершались и совершаются все насилия над языком и верою в Польше, Остзейском краю, в Эльзасе, Чехии, над евреями в России — везде, где совершались и совершаются такие насилия? Только во имя того самого патриотизма, который вы защищаете.

*<Зачёркнуто в третьей редакции: Француз говорит: вы насилуете эльзасца, делая из него немца, а немец говорит: вы насильно сделали его французом, и потому я освобождаю его. То же в нашей Польше и в деле унии. — Ред.>*

Спросите у наших диких руссификаторов Польши, Остзейского края, у гонителей евреев, зачем они делают то, что делают? Они скажут вам, что это делается для защиты родной веры и языка, скажут, что если они не будут делать то, что делают, то пострадают родная вера и язык. Русские ополячатся, онемчатся, объевреятся.

Если бы не было учения о том, что патриотизм есть нечто хорошее, никогда не нашлось бы людей столь гнусных, которые в конце XIX века решились бы делать те мерзости, которые они делают теперь.

Теперь же учёные — у нас самый дикий гонитель веры бывший профессор — имеют точку опоры в патриотизме. <Толстой имеет здесь в виду обер-прокурора синода К. П. Победоносцева, который в 1860 – 1865 гг. занимал кафедру гражданского права в Московском университете. – *Ред.*> Они знают историю, знают про все бесполезные ужасы гонений языка и веры; но благодаря учению патриотизма у них есть оправдание. Патриотизм даёт им точку опоры, христианство же вынимает у них её из-под ног. И потому народам покорённым, страдающим от угнетения, надо уничтожать патриотизм, разрушать теоретические основы его, осмеивать его, а не восхвалять.

Защищая патриотизм, говорят ещё об индивидуальности народностей, о том, что патриотизм имеет целью спасти индивидуальность народа; индивидуальность же народов предполагается необходимым условием прогресса.

Но во-1-х, кто сказал, что индивидуальность есть необходимое условие прогресса? Это ничем не доказано, и мы не имеем права принимать это произвольное положение за аксиому.

Во-2-х, если даже и допустить, что это так, то и тогда средство для народа проявить свою индивидуальность никак не будет состоять в том, чтобы стараться проявить её, а в том, напротив, чтобы, забыв о своей индивидуальности, всеми своими силами делать то, к чему народ чувствует себя наиболее способным и потому призванным, точно так же, как отдельный человек проявит свою индивидуальность не тогда, когда он будет заботиться о ней, а тогда, когда он, забыв о ней, будет по мере своих сил и способностей делать то, к чему его влечёт его природа (\*).

---

(\*) Это всё равно, что забота о том, чтобы люди, работающие для содержания своей общины, работали бы разнообразную работу и в различных местах. Пусть только каждый делает по мере своих сил и способностей самое нужное для общины, и делает из всех своих сил, и они все будут невольно работать различное разными орудиями и в разных местах. (*Сноска Толстого.*)

Один из самых обыкновенных софизмов, употребляемых для защиты безнравственного, состоит в том, чтобы нарочно смешивать то, что есть, с тем, что должно быть, и, начав говорить об одном, подставлять другое. И этот самый софизм употребляется чаще всего и по отношению к патриотизму. Есть то, что всякому поляку ближе и дороже — поляк, немцу — немец, еврею — еврей, русскому — рус-

ский. Есть даже и то, что вследствие исторических причин и дурного воспитания люди одного народа испытывают бессознательное отвращение и недоброжелательство к людям другого народа. Всё это есть, но признание того, что это есть, так же как и признание того, что каждый человек любит свою особу больше других людей, никак не может доказывать, что это должно быть. Напротив: всё дело всего человечества и всякого отдельного человека состоит только в том, чтобы подавлять эти предпочтения и недоброжелательства, бороться с ними и сознательно поступать по отношению к другим народам и людям других народов совершенно так же, как поступишь по отношению к своему народу и своим соотечественникам.

*<Зачёркнуто в четвёртой редакции: Потому что в том, чтобы делать из того, что есть, то, что должно быть, состоит единственный смысл и задача человеческой жизни. – Ред.>*

Заботиться о патриотизме, как о чувстве, которое желательно воспитать в каждом человеке, совершенно излишне. Бог или природа уже без нас так позаботились об этом чувстве, что оно присуще всякому человеку и народу, так что нам нечего заботиться о воспитании его в себе и других. Заботиться нам надо не о патриотизме, а о том, чтобы, внося в жизнь тот свет, который есть в нас, изменять её и приближать к тому идеалу, который стоит перед нами. Идеал же, стоящий в наше время перед каждым человеком, просвещённым истинным светом Христа, состоит не в восстановлении Польши, Богемии, Ирландии, Армении и не в сохранении единства и величия России, Англии, Германии, Австрии, а, напротив, в уничтожении этого единства и величия России, Англии, Германии и других, в уничтожении этих насильнических, антихристианских соединений, называемых государствами и стоящих на пути всякого истинного прогресса и порождающих страдания угнетённых и покорённых народов, — всё то зло, от которого страдает современное человечество.

*<Зачёркнуто в четвёртой редакции: Для освобождения от угнетения покорённых народов нужно не восстановление государственного устройства этих народов, а, напротив, уничтожение государственного устройства тех народов, которые порабащают их. – Ред.>*

Уничтожение же это возможно только истинным просвещением: признанием того, что мы прежде, чем русские, поляки, немцы — люди, ученики одного учителя <т. е. Христа. – Р. А.>, сыны одного Отца, братья между собою. И это понимали и понимают лучшие представители польского народа, как вы это прекрасно рассказали в своей статье. И это же с каждым днём понимает всё большее и большее количество людей во всём мире. Так что дни государственного насилия уже сочтены, и освобождение не только покорённых

народов, но и задавленных рабочих, уже близко, если мы только сами не будем отдалять времени этого освобождения тем, что будем делом и словом участвовать в насильнических делах правительств. Признание же патриотизма, какого бы то ни было, добрым свойством и возбуждение к нему народа есть одно из главных препятствий для достижения стоящих перед нами идеалов.

Очень благодарю вас ещё раз за ваше хорошее письмо, за прекрасную статью и за случай, который вы мне этим подали ещё раз проверить, обдумать и высказать мои мысли о патриотизме.

Примите уверение моего уважения

Л. Толстой.

10 сент. 1895» (68, 165 – 170).

Значительные комментарии, полагаем, здесь не требуются. Как ни умён поляк Здзеховский, а перед лицом фундаментальных экзистенциальных страхов человечества, начиная со Смерти — “припал”, как принято выражаться, к унавоженному тысячью поколений “лону” того же самого, с первобытной древности, вертепа обрядоверия и идолопоклонства, которое суеверные адепты принятых в вертепе лжей отождествляют с религией и с основанной Христом Церковью и столь же ложно считают необходимым основанием для духовного подвижничества монахов и «святых». Но от мирской жизни в монастыре не уйти — уж слишком сладко намазано... А в миру принято чтить «добро с кулаками»: оборонительное, устроительное и т. п. насилие, включая военное. И делиться на воюющие, часто ненавидящие друг друга сброды (народы, «нации») — тем самым уже вглухую и вглупую отделяя себя от Христа и его единой Церкви. Но в статье его, вполне патриотической, и даже, как мы показали, опирающейся на патриотизм и мессианство предтеч, начиная с Мицкевича — ко всей этой патриотике, как к хвостик хемуля, прикрепляются милые бантики христианства... Хочется Здзеховскому, как в русском народе говорится — «и рыбку сладку съесть, и на хуй жопкой сесть». И патриотизм, и христианство. А Толстой такого ох, как не любил!.. Буквально в следующем эпизоде Шестой главы нашей книги читатель узнает, сколь честно и неумолимо (как раз под влиянием таких адресатов и собеседников, как Мариан Здзеховский) Толстой указывает на стоящий перед нашим лжехристианским миром выбор: христианство и мир *или* патриотизм и войны, подавления восстаний и под.

В качестве же эпилога ко всей истории прилагаем свидетельство публициста, драматурга и театрального критика *Николая Осиповича Ракшанина* (псевдоним – Н. Рок; 1858 – 1903), в начале 1896 г. опубликовавшего, не первое уже, своё интервью с Толстым в издании «Новости и Биржевая газета». Речь о скандале, тоже уже не первом, который подняла консервативная газета «Московские ведомости», вокруг намеренно ложно трактуемых газетой общественно-политических выступлений Толстого:

«Разговор [...] коснулся, между прочим, недавно помещённой в "Московских Ведомостях" корреспонденции из Варшавы, в которой говорится об одном письме Льва Николаевича.

— Я не читал ещё этой статьи — мне лишь говорили о ней... Помещена она, кажется, была в номере от второго января. Говорят, что в ней обвиняют меня чуть ли не в государственной измене!.. — Лев Николаевич рассмеялся, и глаза его заблестели. — Это, разумеется, только смешно, и мне не раз уже случалось выносить на своих плечах подобные, ни с чем не сообразные обвинения...

Лев Николаевич пожал плечами и махнул рукой.

Лицо его теперь не носило следов оживления. Глаза точно потухли. Он показался мне утомлённым» (*Ракшанин Н. Беседа с графом Л. Н. Толстым. (Впечатления.) // Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1987. С. 94 – 95).*

Первая «атака» клеветы, которую, вероятно, вспомнил в этой ситуации Толстой, политический донос и травля были предприняты «Московскими ведомостями» ещё в 1891 – 1892 гг. в связи с его заграничной публикацией статьи с правдивыми сведениями о голоде в России. Тогда, между прочим, Толстой проявил себя и как безупречный патриот — воин с бедствием, затронувшим миллионы людей. И, в любом случае — и в деле помощи народу, и в осуждении патриотизма оставался христианином, на непонимании которого в нашем лжехристианском мире и паразитировали фельетонисты консервативных «Московских ведомостей».

#### 6. 2. 4.

#### **Эталонный отказник Пётр Васильевич Ольховик**

После действительно страшной истории, в предыдущей главе, с пределом мученичества и гибелью народного учителя Евдокима Никитича Дрожжина, мы рады предложить читателю уже не трагедию, а простую драму, и даже с хорошим концом — историю отказа и мытарств ещё двух духовных, во Христе, единомышленников Льва Николаевича Толстого. Историю довольно известную не только в то

время, когда свежи были в обществе и воспоминания о гибели Дрожжина, но и в наши дни — например, читателям толстовского свода мудрых мыслей «Круг чтения» и поздней публицистики.

Да, это история отказа от военной службы Ольховика и Середы. И мы не напрасно именовали этот отказ «эталонным»: он таков и по личностям обоих отказников, расположившим к себе даже многих из тех, кого тётя «родина» назначила принуждать и мучить таких, как они, и по безусловности, «чистоте» влияния на этих отказников именно христианской проповеди Льва Николаевича, и по обстоятельствам отказа, не связанным ни с особенным мучительством и гибелью духовных львят Льва Николаевича, ни, напротив, с слишком быстрым (для того, чтобы вся история была показательной, эталонной) избавлением. Наконец, главные, достаточные для нашей темы факты без труда доступны в источниках, опубликованных усилиями Льва Николаевича и его помощников. А среди них — воспоминания и личные письма Ольховика и Середы, оказавшихся, как и бедолага Дрожжин, отнюдь не косноязычными или малограмотными новобранцами, вполне обыкновенными для той эпохи.

Однако, начнём, блюдя порядок, с начала...

*Пётр Васильевич Ольховик* (1875 – ?) – крестьянин Сульского уезда Харьковской губ. (Толстой в переписке ошибочно называет Курскую), который в 1895 г. отказался от воинской службы и присяги. Несмотря на отказ делаться солдатом, он именно как нарушитель воинской дисциплины, как непокорный солдат был арестован и отправлен из Одессы пароходом во Владивосток для зачисления в полк. В виду отказа брать в руки оружие, Пётр Васильевич был предан суду и 1 июля присуждён к заключению в Иркутской дисциплинарной роте, с последующей ссылкой в Сибирь.

Подробности своего отказа Пётр Васильевич хорошо изложил в кратких воспоминаниях и ряде личных писем — источниках, стараниями сподвижников Льва Николаевича сразу же опубликованных и, вероятно, уже при публикации в бесцензурном издании В. Г. Черткова, за границей (Письма Петра Васильевича Ольховика. Изд. В. Черткова, № 5, Лондон, 1897) прошедших дополнительную литературную обработку, сгладившую до минимума особенности языка и стиля автора — судя по тому, что в «Круге чтения» текст приводится в больших сокращениях, но уже без обыкновенных для Толстого, до неузнаваемости, переделок.

По малости брошюры с воспоминаниями и письмами П. В. Ольховика, мы приводим ниже большую часть её текста. Поклонникам

«Круга чтения» некоторая часть его будет *очень* знакомой, но, по специфике темы нашей книги, мы взяли на себя дополнить рассказ многим из числа того, что Лев Николаевич с сожалением должен был изъять из рукописей «Круга чтения».

## ПИСЬМА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ОЛЬХОВИКА

### 1.

1895 года, октября 15 дня, я был призван в городе Белополье (Харьковской губернии, Сумского уезда) к отбыванию воинской повинности. Когда пришла очередь мне тянуть жеребий, я отказался и сказал, что я жеребья тянуть не буду. Чиновники все посмотрели на меня, потом поговорили друг с другом и спросили меня, почему я не буду тянуть?

Я отвечал, что это потому, что я ни присягать, ни ружья брать не буду.

Они сказали, что это дело будет после, а жеребий тянуть надо.

Я опять отказался. Тогда они велели тянуть старосте жеребий. Староста вытянул, — оказался № 674. Записали.

[...] Я вышел из присутствия, пошёл на квартиру, побыл ещё два дня, пока пришла очередь идти в приём. Я подумал: не идти, силой поведут, разденут, разозлятся, и будет хуже.

Когда смерили рост, меня похвалили за хорошее сложение тела и записали в гвардию.

Воинский начальник пошёл туда, где записывают, и сказал: смотри, если что, без зачёта отдадим.

Стали презывать и ставить всех в ряды, а меня поставили отдельно. Вышел воинский начальник и велел весть в церковь. Поставили опять в ряды, а меня впереди. Пришёл поп, принёс лист, на котором была списана присяга. Велел поднять руки. Все подняли, я не поднял.

Воинский подошёл и сказал: нужно поднять руку. Я отказался. Он сказал: нужно присягать. Я тоже отказался. Он грозил Сибирью, но я сказал, что лучше идти в Сибирь, и я пойду, но присягать не буду. Он разодрал отпускной билет, и меня опять повели в присутствие.

Вечером велели идти домой. Я пошёл, зашёл на квартиру; но тут староста побоялся, чтобы я не убежал куда-нибудь, арестовал меня и повели меня на Речки (в слободу), а потом по волостям на Сумы, к воинскому начальнику.

2.

Сумы.

В Сумы меня привели 21 октября. Когда привели меня в канцелярию к воинскому начальнику, там были какие-то люди молодые. Спросили: зачем пришли? Сотский подал пакет. Один взял, прочитал, потом сказал: погодите, сейчас придёт. Потом обращается ко мне и говорит: значит ты не присягал?

— Да, говорю, не присягал.

Другой подходит: так и не присягал? Плохо, говорит, тебе будет, — замучают.

Я сказал: сам знаю, что плохо.

— Что же, говорит, не боишься?

Я сказал: плотская смерть для меня не страшна.

Входит делопроизводитель. Ему говорят: вот человек — не присягал.

Он говорит: вот дурак, — пропадёт. Потом подходит ко мне и говорит: разве можно не присягать? ведь это дело законное, нельзя нарушать закона.

Я на это ничего не ответил. Он ушёл.

Входит воинский начальник, вызывает меня в канцелярию и спрашивает: кто тебя всему этому научил, что ты не хочешь присягать?

Я ответил: сам научился, читая Евангелие.

Он говорит: не думаю, чтобы ты сам понял так Евангелие, ведь там всё непонятно: чтобы понимать, для этого надо много учиться.

На это я сказал, что Христос учил не мудрости, потому что самые простые неграмотные люди и те понимали его учение.

— А с каких пор ты начал понимать Евангелие?

Я сказал: с тех пор как начал читать — ещё в школе, с тех пор перестал клясться.

Он спросил: а какой же ты веры?

Я сказал: веры Христа.

Он говорит: да ведь и я веры Христа, а всё-таки этого не делаю.

Я помолчал. Потом он спросил: а какого ты вероисповедания?

Я сказал: христианин.

Он спрашивает: православного?

Я отвечаю: нет, не православного.

— А почему же ты не православный?

— Потому что я не признаю православных обрядов.

Он опять говорит: а какой же ты христианин, когда не православный?

Я сказал: христианин веры Христа.



Тут стоял делопроизводитель. Он обратился ко мне и сказал: клясться грех в неправде.

А я на это сказал, что правда и без клятвы хороша.

Воинский на него глянул и сказал: нет, это не то.

Потом обратился и сказал: вас наверно научил этому князь Хилков?

Я сказал, что князя Хилкова я не видел, но знаю, где он жил, и я от него не учился.

Он спрашивает: далеко ли от вас он жил?

Я сказал: вёрст двенадцать.

Он опять сказал: всё-таки кто-нибудь да навёл вас на это, сами вы бы ничего не узнали.

Я сказал: читая Евангелие, мы сами всё это узнали.

Он опять спросил: так значит присягать не будешь?

Я сказал, что не буду.

Тогда он сказал солдату, чтобы отправил меня в команду. С солдатом мы пошли в кухню, там один солдат обедал. Я попросил обедать.

Он сказал: милости просим; насыпал ещё борщу, а потом каши. Пообедали.

После обеда начали спрашивать меня, почему не присягал?

Я сказал: потому что в Евангелии сказано: не клянись вовсе.

Они удивились; потом спросили: да разве это есть в Евангелии? А ну найди.

Я нашёл, прочитал, они послушали.

— Хотя и есть, а всё-таки нельзя не присягать, потому что замучат.

Я сказал на это: кто погубит земную жизнь, тот наследует жизнь вечную, а кто сбережёт земную жизнь, тот потеряет жизнь вечную.

Они посмотрели на меня и сказали: смотри-ка, мужик, хохол, а какой разумный. Ты всё говоришь правильно, а присягать надо, а то убьют или замучат. Нам тебя жаль, хороший ты парень. Ты этим, говорят, ничего не оставишь доброго, если не присягнёшь, а если присягнёшь, то лучше сделаешь: выслужишься, пойдёшь домой и опять будешь так жить» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Лондон, 1897. С. 3 – 6*).

Очень похоже на аргументы о необходимости «прежде дослужить», которые были адресованы в том же 1895 году, в далёкой Австро-Венгрии, доктору Альберту Шкарвану. Его, впрочем, высокообразованного гражданина, отнюдь не «мужицкого» социального статуса, соблазняли возможностью общественного лицемерного, пацифистского активизма — но в почётной военной отставке!

В казарме после того повторились те же уговоры Ольховика покориться общему порядку. Но двое верующих, тоже читавших Евангелия солдат (сами, впрочем, подчинившиеся присяге и прочему) неожиданно поддержали отказника:

«Говорят они мне часто: смотри, Пётр, не унывай, не робей, пускай и на самый расстрел ведут, то не бойся, терпи всё. Это ты задумал великое дело.

Я им отвечаю: да, надо всё терпеть за учение Христа, всякие гонения, лишения и страдания и даже самую смерть.

И много, много разговоров здесь бывает, и все жалеют меня и говорят: жаль мне тебя, Пётр, замучают, — хорош парень.

Я думаю, что уже приближается Царствие Божие на землю, потому что видно перемену людей.

Здесь мне хорошо, утром чай дают, в обед борщ и каша, вечером кандер. <Жидкая пшённая похлёбка. – Р. А.> Сплю на кровати, мягко и тёпло. Духом бодр и телом здоров» (Там же. С. 6 – 7).

Снова, как и в случае с писаниями доктора Шкарвана, остаётся порадоваться тем относительно «вегетарианским» временам, в которые эти, безусловно искренние, ребята совершали свои отречения от солдатчины. Трудно представить такую лояльность к отказникам от службы со стороны большевиков в период Гражданской войны или режима Сталина. В наши дни, дни преступной и позорной, страшной войны фашиствующей России с маленькой, юной, набирающей силы европейской Украиной — людей, отказывающихся, по принудительной мобилизации, от участия в преступлениях рашистского режима, держат в подвалах без пищи и воды, без связи с родными и адвокатами, запугивают, избивают — вплоть до жесточайших убийств.

Имперская тётя «родина», как и прежде, в страшной истории с Евдокимом Дрожжиным, не знала, что делать с Петром Ольховиком. Вопреки тому, что Пётр Васильевич не принимал присяги, не касался оружия, а вместо военной солдатской формы, ему всё-таки выданной, продолжал носить свою «гражданскую» свитку, его отравили для прохождения службы, на которую он ни словом не соглашался, в третью роту 122-го Тамбовского полка, дислоцировавшегося в Харькове. Там ему предстояло ждать весны, отправки на Амур. Скоро, в письме родным от 26 ноября 1895 года, Пётр Васильевич сообщил, что уже переведён в полковую гауптвахту:

«Причина этому следующая. 20 числа меня поставили в ряд с другими молодыми солдатами и рассказали нам солдатские правила.

Я им сказал, что я ничего этого не буду делать. Они спросили: почему?

Я сказал: потому что, как христианин, не буду носить оружия и защищаться от врагов, потому что Христос велел любить и врагов.

Унтер-офицер сказал: хорошо, я доложу ротному командиру.

22 ноября пришёл ротный командир и полуротный. Позвали меня в ротную канцелярию, которая в этой же казарме.

Когда я вошёл, ротный командир [...] обратился ко мне с криком и спросил: ты почему заниматься не хочешь?

Я сказал: потому что я оружия не буду носить, поэтому и заниматься не буду.

— А оружие почему ты не будешь носить?

Я сказал: оружия не буду носить потому, что я христианин, а по учению Христа надо и врагов любить, а не бить, поэтому оно и не нужно для меня.

Он опять сказал: да разве только ты один христианин? ведь мы же все христиане, а этого не делаем.

Я сказал: про других я ничего не знаю, знаю только про себя, что Христос говорил делать то, что я делаю.

Он опять сказал: если ты не будешь заниматься, то я тебя стною в нарах.

На это я сказал: что хотите, то и делайте со мной, а служить я не буду.

Он обратился к полуротному командиру: что с ним делать?

Тот сказал: надо к священнику, пусть приведёт к православию, а так с ним ничего не сделаешь.

После этого ротный сказал: ступай. Я пошёл, а он фельдфебелю говорит: заниматься нужно с ним получше, пороть как пса, тогда он и будет заниматься» *(Там же. С. 8)*.

За этой беседой последовали вторая и третья, уже с угрозами порки розгами, а следом, конечно же, и прямое принуждение — которое, однако, не получается назвать уж очень жестоким:

«...Ефрейтор сказал: иди за мною. Я пошёл за ним в другой конец казармы; потом говорит: стой; и когда я стал и оглянулся назад, то увидел я, что за мной ведут ещё солдата, поставили вблизи от меня и велют мне поставить ноги вместе.

Я сказал: для меня так стоять удобнее.

Унтер-офицер взял меня за плечи и начал толкать своими ногами об мои ноги и говорил: поставь ноги так, чтобы каблуки были вместе, а носки врозь; но я этого не делал, как велели, и сказал: что хотите, делайте со мной, но я заниматься не буду.

Тут стояли ротный командир и полуротный и смотрели, как толкал меня унтер-офицер.

Я повернулся к ним и сказал: вот как делают христиане, насилием хотят заставить.

Ротный сказал: я тебя, ебать твою мамку, ещё розгами буду заставлять...

[...] Вечером меня унтер-офицер водил к полковому попу. Поп признал меня неисправимым.

Поп спрашивал, какого я вероисповедания? Я сказал: христианин.

Он спросил: православный? Я сказал: нет не православный.

Он опять спросил: а какой же? Я сказал: христианин веры Христа.

Он сказал: да такой веры нет, христиан есть много, и все они имеют название: то православные, то лютеране, то католики; есть христиане духоборы, молокане и много других, и вот ты скажи нам, какую ты религию исповедуешь?

Я сказал: я никакой религии не признаю, кроме учения Христа.

Он опять спросил: а на чём же ты основываешь свою веру? Я сказал: на любви Отца небесного.

Потом он сказал: вот в России есть две секты, которые не хотят служить, одна взята из неметчины, а другая русская: это — толстовщина. Так вот, скажи нам: к какой из них ты принадлежишь?

Я сказал: я не сектант, а христианин, потому и не могу принадлежать к секте.

И так после всех этих разговоров офицер записал, что я ничего не признаю из православия.

От попа он повёл меня на гауптвахту, где я и сейчас нахожусь арестован. Карцер просторный, светлый и тёплый, лампа горит целую ночь, дверь заперта, и стоит солдат с ружьём и смотрит в дыру, прорезанную в двери, через каждые пять минут. К ветру водят два солдата с ружьями утром и вечером. Обедать дают борщ и кашу, а в ужине суп.

Здесь я буду находиться до распоряжения командира полка. Наверное будут судить и накажут; но я в этом нисколько не смущаюсь. Апостол Пётр говорит об этом: „и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь." (I пос. Петр. гл. 3, ст: 13 – 14.) „Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь." (I пос. Петр. гл. 4, ст. 14, 15, 16).

В карцер ко мне входят каждый день офицеры, спрашивают: за что арестован? Я им отвечаю: служить не желаю.

Спрашивают: почему? Я отвечаю им: хочу выполнить заповедь Христа о любви к врагам. [...]

С тем прощайте, остаюсь жив, здоров. Душевное состояние хорошее. Письма мои, как только буду писать, будут все прочитаны каким-нибудь офицером. Писать без ведома начальства нельзя» (Там же. С. 7 – 10).

Вегетарианские, сравнительно, времена... Времена ещё верующих людей, включая офицеров — с внутренним, у многих, нравственным табу на подлость, жестокость... В коммунацком Совке-СССР или те-перешнем выблядке, поганом «наследии» этого Совка, путинской гадине эРэФии, Ольховик, вполне вероятно, был бы заперт в сумасшедший дом или просто какой-нибудь подвал, и при этом многажды избит, оскорблён, а при худшем стечении обстоятельств — и убит.

Только 7 февраля уже следующего, 1896-го, года Петра Ольховика отправили на врачебную комиссию, 11 февраля, отбиравшую годных ехать на Амур. Отделаться бы от него тогда тёте родине... и самого не мучать. Но нет, пала тётенька вела до конца свою дрянную игру:

«Смотрели меня, признали годным. Генерал говорит офицерам: какие убеждения находит этот молокосос, что отказывается от службы? Какие-нибудь миллионы служат, а он один отказывается, его выпороть хорошо розгами, тогда он оставит свои убеждения!

А полковник сказал на это: сначала нужно посмотреть на его кротость и поведение, а тогда видны будут и убеждения, он не может изменить того, во что верит. [...]

<Редкий и для современной нам России случай адекватного отношения к убеждениям и самой личности отказника! – Р. А.>

...Генерал всё гомонил и не хотел согласиться с полковником.

Доктора тоже говорили: поедем на Амур, там хорошо служить. Я сказал: везде хорошо.

И так долго меня крутили во время смотра и угрожали сечь на пароходе, на что я согласился. Еду в своей одежде, а казённую все-таки представляют до места. [...] Еду без конвойных и даже без призора. [...] Ехать придётся водой полтора месяца, если погода хорошая будет, а если плохая, то больше.

Прощайте, живите с Богом, любите друг друга» (Там же. С. 11 – 12).

7.

*Из письма о Петре Васильевиче Ольховике одного из его друзей.*

[...] От солдат на гауптвахте, от фельдфебеля и от начальства я узнал о нём много хорошего. Самое хорошее было то, что он как-то никого не раздражал ни солдат, ни начальства, и умел соединять в себе стойкость с мягкостью. Солдаты относятся к нему весьма сочувственно, начальство же поражается его стойкостью.

За неделю до отправки его пробовали ещё раз заставить учиться, но безуспешно. Он решительно заявил командиру, что „переменять свои слова не станет“ и прибавил: „Вы ведите своё дело, а я своё буду вести“.

По словам солдат, он всё время на гауптвахте был бодр и весел. Но находясь постоянно взаперти, он изменился на вид: из цветущего юноши стал желтоватым.

Перед самой же отправкой, передавал фельдфебель, он был скучный. [...] Из Одессы он будет отправлен во Владивосток и в Хабаровск в полное распоряжение Амурского генерал-губернатора и воинского начальства. Словом, он в том же неопределённом положении.

М<итрофан> Д<удченко>» (Там же. С. 12 – 13).

Далее — ещё более светлые, радостные, несмотря на моменты жестокости, грубости начальства, истинно христианские страницы воспоминаний самого Петра Васильевича Ольховика. Приводим, с сокращениями, для начала уже другой источник: письмо П. В. Ольховика к брату, домой, написанное «по пути во Владивосток» и датированное 7 апреля 1896 г. (получено было 26 июня). В числе прочего, Ольховик сообщает брату:

«На пароходе я нашёл в себе новые силы духа; тут нашёлся человек, единомыслящий, с которым я делюсь тем, что для меня дорого и свято» (Там же. С. 13).

По пути Ольховик был одарен Свыше едва ли не самым ценным в человечестве даром: в лице солдата по фамилии Середа он обрёл сразу и преданного друга, и глубоко верующего ученика.

*Кирилл Середа* (1875 – ?) - крестьянин Сумского уезда Харьковской губ., призванный на военную службу в 1895 г. Иначе сказать, его положение было хуже, чем у Ольховика. И влияние последнего на солдата здесь несомненно: Середа ведь не пошёл на отказ до присяги — сделался солдатом, то есть военным рабом тёти «родины», которая

за отказ от службы вольна была измучить и даже «нечаянно», как Евдокима Дрожжина, умертвить его — и, кстати, с большим формально-юридическим правом, нежели Дрожжина, который, как мы помним, тоже не принимал присягу. Как солдат, судя по сведениям в письме Ольховика, он некоторое время колебался, продолжая соблюдать православную обрядность.

Кирилл Середа, как будет ясно из нижеизложенного, готовил свой отказ от службы ранее того времени, когда появляется в воспоминаниях Петра Ольховика, и *отчасти* даже независимо, размышляя над Евангелиями, и наконец мог уже, цитируя их, рассуждать о религии.

Встречающееся у комментаторов указание на то, Середа как солдат исполнял при Ольховике функции конвойного, по всей видимости, неверны: выше в своём письме домой Пётр Васильевич упоминает, что был отправлен на пароходе «без конвойных и даже без примотра». Справедливо, однако, что во время долгого пути на пароходе из Одессы во Владивосток Кирилл Середа, как солдат на службе, должен был сторониться арестанта Ольховика, но специфика атмосферы длительного путешествия из назначенных падлой тётенькой, то бишь «родиной», Россией, Ольховику врагов — быстро сделала молодых ребят, полудетей как умишком, так и годами, себе-седниками, спорщиками, и почти друзьями. А Кирилла Середу — учеником Петра Ольховика в познании истинных смыслов и значения учения Христа.

Вот что об этом рассказывает, в том же письме к брату, сам Пётр Васильевич Ольховик:

«1 апреля пришёл ко мне солдат из третьего трюма во второй, родом он из Киева, грамотный.

Сначала он спросил меня: „можно ли спросить тебя кое о чём?“ Я сказал: а собственно о чём? [...] <О том, что> ты отказываешься от службы и не признаёшь себя православным, — мы говели, а ты не говел?

Он начал спрашивать, а я отвечать. Разговор продолжался долго.

В наш разговор вмешался Кирилл Середа. Он раскрыл Евангелие и начал читать 5-ю главу Матвея. Прочитавши, начал говорить: вот Христос запрещает клятву, суды и войну, а у нас всё это делается и считается за законное дело.

Тут стояли, столпившись кучей, солдаты и заметили, что у Середы нет на шее креста. Его спросили: а где твой крест?

Он говорит: в сундуке.

Они опять спрашивали: почему же ты его не носишь на шее?

Он говорит: потому что я люблю Христа, а потому и не могу носить того орудия, на котором распят Христос.

Потом вошли два ефрейтора, стали говорить с Середой. Они сказали ему: почему же ты говел недавно, а теперь сбросил крест?

Он отвечал так: потому что я тогда был тёмный, не видел света, а теперь начал читать Евангелие и узнал, что всё это не нужно делать по-христиански.

Они опять спросили: значит и ты служить не будешь, как и Ольховик?

Он сказал, что не будет.

Они спросили: почему? Он сказал: потому что я христианин, а христиане не должны вооружаться против людей.

Узнал об этом дежурный, вошёл в трюм и начал кричать: где здесь тот, который говорит, что нет Бога и начальства на свете?

Все молчали. Он обратился ко мне и говорит: это ты тут распространяешь?

Я сказал, что я ничего не говорил об этом, что нет Бога и начальства на свете.

Он спросил: кто тут ещё другой такой?

Ему показали на Середу.

Он начал кричать с ругательствами: это ты, сукин сын, дурак, тут нашёлся такой разумный, узнал как много: нельзя носить крестов и не признавать начальства? Вот я доложу об этом ротному, он тебя, дурака, в кандалы отдаст.

Середа отвечал на это так: меня это не стесняет, что вы доложите ротному, потому что я делаю это не в тайне, а явно, а хотя вы и не доложите, то после сам он узнает, — в кандалы тоже я готов за учение Христа.

Дежурный вышел из трюма и пошёл доложить фельдфебелю.

Фельдфебель позвал к себе Середу и спросил: это ты, Середа, отвергаешь крест?

Он сказал: я.

Фельдфебель опять спросил: а как же ты его признаёшь?

Он опять сказал: за орудие пытки и казни.

Тогда тут же стоявший ефрейтор спросил Середу, показывая на фельдфебеля: а это кто? Он сказал: человек.

Тогда ефрейтор говорит: а по воинской дисциплине как его назвать?

Середа сказал: я воинской дисциплины не признаю.

Они спросили: почему?

Он сказал: потому что она не имеет ничего общего с учением Христа.



Потом фельдфебель начал ругаться и стал говорить: значит ты не признаёшь начальства?

Он сказал: „тот власть от Бога, кто слуга всем.“

После этого фельдфебель велел дежурному поставить Середу вверху на скарде (около трубы). Тот поставил. А солдаты указывали пальцем и смеялись над ним. Стоял он часа два, а потом пустили и сейчас же опять потребовали.

Другой раз спрашивал фельдфебель тихо, поил чаем.

На другой день фельдфебель приходил к нам в трюм. Мы лежали вместе. Он когда вошёл, то сказал: вы оба вместе? Мне он ничего не говорил, а с Середой долго разговаривал и советовал Середу не читать Евангелие, а какие-нибудь другие книги.

После этого пришёл к Середу один матрос и говорит: у тебя, говорят, есть какая-то книга? Он говорит: есть Библия. (Он купил Библию ещё в Порт-Саиде и читал её всё время.) Матрос попросил почитать. Середу вынес на палубу, присели и начал матрос читать.

Прочитавши немного он говорит: да, книга хорошая. А потом рассмотрел и говорит: да она не пропущенная цензурой? <Издание Лондонского библейского общества. – Р. А.> Потом начал советовать Середу, чтобы спалил или выбросил за борт Библию, а то, говорит, её у тебя отберут, и ты можешь попасть под суд.

Середу сказал, что палить и закидать не будет, а если отберут, то пусть, — пропал рубль.

[...] Потом другой матрос и фельдфебель начали говорить, что вот есть люди много учёные, а этого не выдумывают.

Я им ответил, что Христос, когда ходил и учил, то его учение понимали самые простые, неграмотные люди, а учёные — ненавидели и гнали.

Потом ещё рассказал им из Павлова учения, что „Бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное“. И ещё я много говорил им из Евангелия. Они очень интересовались и говорили: вот видно, что работает головой, — его убеждений нельзя изменить никаким наказанием, а Середу если выпороть, то он всё это бросит. Потом Середу позвали на другую палубу, говорили, чтобы не читал Евангелия, а какие-нибудь священные книги: а то, говорят, тебя Ольховик научает, ты читаешь Евангелие и тебе кажется, что оно так и должно быть.

Он отвечал, что других нельзя слушать, а нужно самому хорошо подумать.

Потом фельдфебель отнёс Библию ротному и рассказал, что Середу выбросил крест и ничего не признаёт.

Поздно вечером вошли в трюм ротный и фельдфебель, позвали Середу.

Ротный начал кричать на него: ты что тут, болван, начал говорить, что нет начальства?

Он ответил: зачем нет начальства, начальство есть, но между истинными христианами не должно быть.

Ротный сказал: поставь ноги вместе. Он поставил.

— Я тебя за это в кандалы отдам.

Он отвечал: что хотите, делайте.

Ротный опять сказал: ты знаешь, что за это под суд пойдёшь?

Середа говорит: для меня всё равно, куда хотите, отдавайте.

Ротный начал бить Середу книжкой по щекам, растрепал книжку. <Имеется в виду служебное пособие командира с программой обучения солдат. – Р. А.> Потом обратился к фельдфебелю с словами: поставить его, дурака, пусть стоит всю ночь, я его, болвана, буду держать в вонючем месте, пока до места доедем.

Фельдфебель стоит, приложивши руку к голове, повторяя: слушаю, ваше благородие.

При выходе ротный сказал: вместо того, чтобы быть хорошим и честным солдатом, делается с жиру каким-нибудь арестантом.

Мне же ничего не говорили.

Середу поставили вверху возле трубы. К нему приходил туда священник три раза. Первый раз, когда пришёл, то сказал: это ты не хочешь признавать начальства?

Он на это начал говорить так: а вот в Евангелии сказано, что цари земные господствуют над народами, и вельможи их властвуют над ними; но между вами, моими учениками, да не будет так, а кто хочет быть большим, будь как меньший, и начальствующей — как служащий.

И не успел ещё Середа договорить, как вдруг священник начал на него грозиться: ты с кем разговариваешь? Замолчи!

Он замолчал и не стал отвечать ни на какие вопросы. Священник покричал, покричал и ушёл.

Когда пришёл в другой раз, [...] начал говорить, что если не вооружаться, то не будет у нас ничего, другие государства придут и начнут нас бить и грабить, не оставят нам ничего.

Он на это отвечал: христианам нужно переносить всё, потому что Христос сказал: „любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.“

Поп ушёл опять, походил и опять пришёл и начал говорить: покайся, тебе ничего не будет, а если не покаешься, то плохо будет.

Середа ответил: за учение Христа я на всё готов, да на это сам Христос сказал: „верующие в меня гонимы будут”.

Священник сказал: это сказано о неверующих, что они гнать будут христиан, а мы сами христиане.

Середа на это сказал: христианам не следует гнать друг друга.

И ещё много говорил священник и ушёл.

Потом подошли матросы и фельдфебель, начали опять говорить: покайся, тебе ничего не будет, а если не покаешься, тебе в три раза будет больше, чем Ольховику, потому что ты уже присягал и служил хоть немного.

Он отвечал: о наказании нечего и думать, если делать дело Божие» *(Там же. С. 13 – 18).*

Немало для «Круга чтения» заимствовал Толстой и из следующего опубликованного письма к родителям Петра Васильевича Ольховика, уже из Владивостока, от 8 июля 1896 г.:

«1 июля меня судили бригадным судом, — осудили на три года в дисциплинарный батальон, с переводом в разряд штрафованных, — поэтому отсюда отправят меня в Иркутск, так как дисциплинарный батальон находится в Иркутске.

Разом со мной судили и Кирилла Середу, — осудили так же, как и меня. Находимся ещё до сих пор на гауптвахте, — отправлять неизвестно когда будут. [...] Больше месяца нас выводили на прогулку — каждый день на два часа. Во время прогулки разговаривать нам запрещали.

Судили нас не за отказ от военной службы, а за умышленное неповиновение начальству.

На вопрос председателя: признаёшь ли ты себя виновным в неповиновении начальнику? я отвечал: смотря в каком деле.

Он сказал: да вот в обстоятельстве требования от тебя начальником сделать повороты из пешего строя.

Я сказал на это: в этом я не признаю себя виновным, так как я этого не мог делать, потому что я этому не учился, да и учиться не стал бы, потому что по учению Христа нельзя учиться военному делу.

Середа сказал, что он перед военным законом виноват, но перед законом Христа не виноват.

Над нами офицер производил два раза дознание: он спрашивал меня [...], знаком ли я с Толстым?

Я сказал, что не знаком.

Он спросил: а знает ли он о тебе?

Я сказал: может быть, и знает.

Тогда он спросил: откуда он может узнать о тебе?

Я сказал, что через друзей.

Тогда он сказал: вот он просил одного офицера, который имеет переписку с ним, чтобы он похлопотал о том, нельзя ли устроить так, чтобы назначить тебя куда-нибудь не в строевую должность. И это, говорит, можно бы было сделать, если бы ты вёл себя иначе.

Середа тоже спрашивал о том, что говорили на пароходе, давно ли знакомы...

[...] <Середа теперь> сидит один в карцере. На пароходе он всё время читал Евангелие и говорил мне: я читаю и не могу никак начитаться, потому что оно даёт мне много радости и спокойствия, — недаром сказал Христос: „прийдите ко Мне все труждающиеся и обременённые и Я успокою вас”. С Божией помощью и я когда-нибудь приду к Нему, — Он и меня успокоит. Я, смотря на его решительность и стойкость, почувствовал себя веселее и бодрее» (*Там же. С. 19 – 20*).

В повествовании П. В. Ольховика упоминается какое-то письмо Л. Н. Толстого, прошение к знакомому офицеру об облегчении его участи. Трудно сказать, что это, в первой половине 1896 года, могло быть за письмо. В списке неизвестных текстом, затерявшихся писем Л. Н. Толстого в его Полном собрании сочинений — на 1896 год имеется целых 26 пунктов, но и такие списки давным-давно признаны специалистами неполными. В нашем распоряжении есть лишь письмо Толстого во Владивосток от 16 февраля 1896 г. к подполковнику Ивану Романовичу Баженову (1855 – 1926), судье Временного военно-морского суда Владивостокского порта. В письме Толстой общал Баженову, что «в Владивосток отправляется крестьянин Курской губернии Пётр Васильевич Ольховик, призванный в нынешний набор к исполнению воинской повинности и отказавшийся как от присяги, так и от ношения оружия, на основании своих христианских убеждений» (69, 39 – 40). Толстой просил «помочь ему, утешить его, облегчить его участь, когда он прибудет в Владивосток»: «не для меня, не для него, не для себя даже, а для Бога» (*Там же. С. 40*).

Ответного письма Баженова не имеется. Комментатор Полного собрания сочинений предполагает, что письмо Толстого не застало адресата на месте службы: якобы именно весной 1896 г. Баженов вышел в отставку (*Там же*). Это не вполне точно: Баженов получил отставку как «полковник по адмиралтейству» (т. е. с повышением в звании) официально лишь 25 ноября 1896 г., так что в феврале этого года он ещё вполне мог быть при должности и отреагировать на письмо Льва Николаевича. Косвенным доказательством получения

Толстым ответа (к сожалению, вероятно, не сохранившегося) от Ивана Романовича может служить такое упоминание Толстым о переписке с Баженовым в одном из писем к В. Г. Черткову, от 17 мая 1897 г.: «Теперь вспоминаю письмо Баженова и копию с следствия об Ольховике и Середе. Ещё письма духоборов посылаю вам» (88, 27). О письме Баженова, ответе его Толстому, с приложенной к нему копией следственного дела отказников, упоминается как об одном из реально существовавших документов!

К личным воспоминаниям и письмам П. В. Ольховика в опубликованном сборнике прилагается следующая выписка из военно-судного дела «Бригадного суда 1-ой Восточно – Сибирской артиллерийской бригады о молодых солдатах Петре Ольховике и Кирилле Середе» (мы сохранили все особенности орфографии документа, не препятствующие пониманию):

«Поводом к начатию дела послужил рапорт командира 1-й Мартирной батареи, которым доносилось:

„Прибывшие 15-го апреля <1896 г.> в составе партии на укомплектование вверенной мне батареи молодые солдаты: Пётр Ольховик и Кирилл Середя, уроженцы Харьковской губернии Сумского уезда, будучи в числе прочих молодых солдат поставлены в строй, ослушались приказания заведывающих обучением новобранцев капитана П. и подпоручика Т. стать в строй и исполнять команды. Когда те же требования им были подтверждены мною, то Середя, хотя весьма неохотно и небрежно, но всё же исполнял команды, Ольховик же заявил, что ни в каком случае не станет в строй, а что работы, какие прикажут, исполнять будет, основывая мотивы своего отказа на текстах Библии и Евангелия. По расспросам оказалось, что Ольховик ещё не принимал присяги, Середя присягу принял на пароходе. Находя присутствие Ольховика и Середы среди прочих низших чинов батареи крайне вредным, я вместе с сим подверг их предварительному аресту при бригадной гауптвахте, впредь до особого распоряжения Вашего Превосходительства.“ (Рап. от 17 Апреля 1896 г.)

Рапорт подписан командиром батареи, подполковником Д.

На основании этого рапорта было произведено дознание. (Следует изложение дознания, содержание которого есть повторение вышесказанного.)

„При сем названные новобранцы основывали свой отказ на тексте Библии и Св. Евангелия, в коих, по их словам, запрещается кому бы то ни было учить других, кроме И. Христа, и употреблять оружие

против своих ближних. [...] Вместе с тем я отнёсся к местному благочинному, прося его обратить их, путём убеждения, на путь истинный, что и было священником М. исполнено, но безуспешно."

Капитан 1-ой мартирной батареи П. показал: „На второй день по прибытии новобранцев в Батарю, мною было приказано выстроить их в одну шеренгу для узнания степени их подготовки. При команде: „на право" два молодых солдата, Ольховик и Середа, не повернулись, говоря, что не желают обучаться военному делу. Ольховик прибавил, что он за это уже сидел 2½ месяца в карцере. Подойдя к Середе, я приказал ему повернуться. Он повернулся, но сказал: а всё-таки обучаться не буду. Ольховик же и личных приказаний моих не исполнял. О всём этом мною было доложено командиру батареи”.

Дознание производил Подпоручик П.

На основании произведённого выше дознания, всё дело о молодых солдатах Ольховике и Середе было направлено к военному следователю по Никольскому участку для производства следствия... Военный следователь, не усматривая в поступках этих нижних чинов нарушения ст. 196 Ул<ожения> о нак<азаниях> <уголовных> и исп<равительных>, дела к своему производству не принял. Почему, для установления виновности Ольховика в нарушении ст. 196 Ул. о нак., дело было передано подпоручику П. для производства дополнительного дознания, при надписи такого содержания: „Препровождая настоящую переписку командиру 2-й батареи, предлагаю Его Высокоблагородию поручить подпоручику П. в произведённом им дознании выяснить допросом молодого солдата Середы кем и когда именно этот последний был убеждён сделаться „христианином", т. е. отпасть от православия...”.

Дополнительное дознание:

Молодой солдат Кирилл Середа показал: „Веру Христа я принял на пароходе по собственному убеждению и по Евангелию. Раньше я был тёмный человек. В Харькове и в Одессе же я подучился грамоте от солдат 9-ой роты 122 пехотн<ого> Тамбовского полка, где нам раздавали книжки. Раньше я был малограмотным и потому читать Евангелия не мог. В Порт-Саиде я купил Библию, а в Библии было и Евангелие. О прочитанном я разговаривал и с Ольховиком в числе прочих новобранцев. Сперва я читал Ветхий Завет, а потом и Новый. Когда Ольховик отказывался от разных повинностей, то его ответы запали мне в голову. Когда же я читал Евангелие, то нашёл, что он прав. Тогда я усумнился в Евангелии, п<отому> ч<то> оно было без цензуры, а купил другое у молодого солдата Яковенко, под цен-

зурой св. Синода, и разницы никакой в Евангелии не оказалось. Тогда я стал отказываться от всего, от чего отказывался и Ольховик, потому что он всё делал по Евангелию. Когда я стал делать то же, что делал Ольховик, то нас хотели разлучить, а когда заметили, что я к нему не подхожу, то оставили на своих местах. Когда я читал Евангелие, то молодые солдаты говорили, чтобы я не читал, а то сойду с ума, но я имел непреодолимое желание читать Евангелие. Раз ротный командир стал меня срамить и говорить, что из меня мог выйти хороший солдат, а я отступил от православия. На вопросы, какие он мне задавал, я ему отвечал. Тогда он стал меня ругать и даже матерными словами. Тогда я ему сказал: „Вот у вас, православных, первейшему человеку разве подобает ругаться дьявольскими словами?“ Тогда ротный командир выхватил переплетённую программу нашего обучения и бил меня по щекам. Я молчал. Тогда ротный командир поставил меня стоять на спардеке <Место наказания на военных кораблях. – Р. А.>, где я и простоял с вечера и до 12 ч. ночи. Туда три раза приходил священник разговаривать со мной и задавал разные вопросы. Я сказал священнику, что если я какой ответ Вам не ясно дал, то я покажу в Евангелии. Тогда священник сказал, что он позовёт меня читать Евангелие и будет его мне объяснять. Но меня к священнику не позвали, и я с ним Евангелия не читал. Библию у меня отнял фельдфебель и за мою веру поставил меня на 3 часа. В мортирной батарее у нас отобрали все книги для подписи командиром батареи и до сей поры мне Евангелия не вернули. Ольховик говорил мне, что ему в Одессе говорил священник: „Пусть поможет тебе Бог в том деле, которое ты задумал выполнить.“ Когда я жил в деревне Максимовщине, всего в 3 верстах от с. Речек, и мне было лет 17 – 18, я слышал, что вся семья Ольховика не ходит в церковь, но отличается хорошими делами. [...]

Молодой солдат Пётр Ольховик показал: „С Середой на пароходе в числе прочих я разговаривал о разных вещах, а об вере разговаривал уже после Порт-Саида, когда все говели, а я отказался. Тогда Середа спросил меня, почему я не хочу говеть; я ему ответил, что я не православный, а веры Христа, а что 4 года тому назад я был православным. Он просил меня рассказать ему, какая это вера, когда и как я перешёл в неё. Я рассказал ему одновременно всё с самого начала, а именно вот что: я учился в сельской школе в с. Речки три года, отчего я хорошо грамотный. В школе священник говорил, что самая лучшая вера — православная. Я этому радовался и в этом не сомневался. Но лет 17-ти я как-то прочитал один рассказ о еврее и православном. Они жили рядом и дети их были так дружны, что не

только играли, но и спали вместе. Но вот стали они учиться в школах и узнали, что вера каждого из них — самая лучшая. Из-за этого они стали браниться, драться и дружба их перешла во вражду. Тогда я стал раздумывать о вере и углубился в чтение Евангелия и заметил, что православные отступают от учения Христа. В это время мой брат познакомился с князем Хилковым, который жил вполне по Евангелию и часто спорил со священниками, за что, должно быть, и был сослан на Кавказ. Брат мой тоже углубился в это время в Евангелие. Лет 18-ти я отказался от православия и стал стараться жить по Евангелию. В это время я познакомился с М<итрофаном> Д<удченко>, который меня поддерживал в моих верованиях. Д<удченко> этот учился в гимназии, но не захотел держать экзаменов и вернулся к крестьянству. Он сослан в Полтаву....

Когда меня взяли в солдаты, я отказывался от военного обучения, не стал принимать присягу, т. к. это противно моей вере; за что меня из м. Белополя отправили к воинскому начальнику в г. Сумы, где я сидел в карцере 1 месяц. В Харькове нас стали обучать. Я учиться не стал и за это сидел под арестом 2½ месяца. Затем нас отправили в Одессу, куда приехал мой брат и поддерживал меня в моих убеждениях. На пароходе о вере я старался не говорить ни с кем. Когда Середа читал Евангелие и, чего не понимал, спрашивал меня, я ему объяснял. Я никогда не хотел склонять его к моей вере, но он мне сам говорил, что радуется, что узнал правую по Евангелию веру и никогда не изменит ей”.

Дознание производил годпоручик П.

На основании вышеприведённого дознания, Ольховик и Середа приказом по 1 Восточной сибирской Артиллерийской бригаде были преданы Бригадному суду за нарушение 105 ст. XXII кн. Св<ода> в<оенных> п<остановлений> 1869 г. На суде Ольховик и Середа виновными себя не признали. Ольховик показал: „Я не исполнил приказаний офицера, п<отому> ч<то> не умел делать повороты, но если бы я их и умел делать, то не стал бы исполнять, т. к. вера моя не позволяет мне обучаться военному делу, и я сознательно не желаю оному учиться. Пётр Ольховик”.

То же самое показал и Середа.

В 12 час. дня 1-го июля 1896 года председателем суда был прочитан краткий приговор, по которому Ольховик и Середа признаны виновными: I) в неоказании должного уважения начальнику при исполнении последним обязанностей службы и II) в умышленном неисполнении приказаний начальника, т. е. в неповиновении: ст. 105-й часть II ст. 96 XXII кн. Св. в. п. 1869 года изд. 2-е, а потому суд



постановил: по лишении некоторых преимуществ по службе Ольховика и Середу отдать в дисциплинарный батальон на 3 года с переводом в разряд штрафованных, с последствиями, указанными в ст. 52 XXII кн. Того же свода Военных Постановлений» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Лондон, 1897. С. 21 – 24*).

О восприятии отказов Ольховика, Середы и других единоверцев Толстым в этот год свидетельствует такой отрывок из его письма к Тимофею Бондареву, от 12 ноября 1896 г.:

«Начинают люди понимать этот обман и отказываться от солдатства, когда их вербуют, и вот правительства, видя в этих отказах свою беду, страшно мучают этих людей. Такие отказы происходят теперь везде: и в Австрии — там каждый год отказываются десятки и сотни людей из славян и венгров, по вере христиан, называемых назаренами, и их держат в тюрьмах по 10 лет; недавно отказался такой один человек в Голландии (посылаю об нём статью) и его послали в тюрьму. Но самое страшное то, что делается у нас на Кавказе. Там более 200 человек сидят по тюрьмам за отказ служить, 30 человек сидят в дисциплинарном батальоне. Одного засекали насмерть и семьи их выслали из места жительства и разорили, и они, более 2000 душ, бедствуют и мрут по татарским деревням, куда их выслали. Ещё два человека: Ольховик и Серeda, харьковские крестьяне, за отказ от солдатства сидят теперь в Иркутском дисциплинарном батальоне.

Идёт борьба между слабыми десятками людей и миллионами сильных; но на стороне слабых Бог, и потому знаю, что они победят. А всё-таки страшно и больно за них и за то, что страдают они, а не я» (69, 204).

Быть может, самый значительный в нашей теме документ из времени, когда Ольховик и Серeda уже были на пути в Иркутск для отбытия своего наказания в Иркутской дисциплинарной роте (Толстой ошибочно именуется её батальоном) — письмо Льва Николаевича Толстого к начальнику этой дисциплинарной роты, датированное 22 октября 1896 года. Начальником был подполковник Георгий Фёдорович Козьмин (1851 – ?), отличавшийся гуманным, мягким отношением к арестантам. Ревизор роты, помощник главного военного прокурора генерал-майор П. Ф. Лузанов отмечал в отчёте по проверке роты в 1899 г.:

«Подполковник Козьмин относится к службе с полным усердием и любовью, но обращает более внимания на хозяйственную часть, находящуюся в прекрасном состоянии, а не на дело исправления арестантов, вследствие чего многие существенные постановления

Положения о дисциплинарных частях или не применяются вовсе, или же применяются не надлежащим образом. Так, например, [...] сокращение срока пребывания в дисциплинарной части, допускаемое § 44-м для заключённых, отличающихся особенно хорошим поведением, обратилось в милость ко всем заключённым, ибо в Иркутской роте с сокращением срока выпускаются поголовно все заключённые» (Цит. по: Авилов Р.С. *Иркутская дисциплинарная рота в 1899 г.* // *Известия Лаборатории древних технологий.* 2022. Т. 18. № 1. С. 167). Формальностью были и строевые занятия штрафovaných, для которых в роте, как оказалось при проверке... даже не было выделено помещения! Зато, например, хорошо организовано было дело мелких сторонних заработков заключённых, которые при завершении штрафного срока могли получить 50 % от заработанного на руки. На казённый же счёт арестанты, именно нижних чинов, довольно хорошо питались: «Они получали два раза в день горячую пищу: на обед суп или щи с ½ фунтом мяса и кашу (ячневую, гречневую или просыаную), на ужин производилась отдельная варка — гречневая или ячневая крупа с картофелем и салом. Два раза в день нижние чины получали чай с чёрным хлебом, но без сахара; в праздничные дни — сахар и булку, причём чай получали по желанию без ограничений». (Там же. С. 165 – 167).

Всего этого, и даже имени начальника роты, Толстой, конечно же, не знал и не мог справиться в интернете. Писал он, с доброй надеждою, наугад — по человечески — и, как мы теперь знаем, не прогадал:

«Милостивый государь,

Не зная Вашего имени и отчества, не зная даже Вашей фамилии, не могу обратиться к Вам иначе, как этой холодной и несколько неприятной, отдаляющей людей друг от друга формулой: Милостивый Государь, а между тем я обращаюсь к Вам по делу самому задушевному и желал бы обойти все те внешние формы, которые разделяют людей, а напротив, вызвать в Вас к себе, если не братское отношение, которое свойственно людям иметь друг к другу, то по крайней мере уничтожить всё предвзятое, которое может быть вызвано в Вас моим именем. Я желал бы, чтобы Вы отнеслись ко мне и к моей просьбе, как к человеку, о котором Вы ничего не знаете ни хорошего, ни дурного, и обращение которого к Вам Вы готовы выслушать с доброжелательным вниманием.

Дело, о котором я хочу просить Вас — в следующем:

В Ваш дисциплинарный батальон поступили, или должны в скором времени поступить, два человека, присуждённые бригадным Владивостокским судом к трём годам заключения. Один из них — крестьянин Пётр Ольховик, отказавшийся исполнять военную службу, потому что он считает её противною закону Бога, другой — Кирилл Середа, рядовой, сблизившийся с Ольховиком на пароходе и, узнав от него причину его ссылки, пришедший к тем же убеждениям, как и Ольховик, и отказавшийся от продолжения службы. Я очень хорошо понимаю, что правительство, не выработав ещё соответственного особенностям таких случаев закона, не может поступать иначе, как так, как оно поступило, хотя я и знаю, что в последнее время высшее правительство, внимание которого было обращено на жестокость и несправедливость наказания таких людей наравне с прочими военными чинами, озабочено тем, чтобы найти более справедливые и мягкие средства противодействия таким отказам. Я знаю также очень хорошо, что Вы, занимая Ваш пост и не разделяя убеждения Ольховика и Середы, не можете поступать иначе, как строго исполняя то, что Вам предписывает закон; но всё-таки я прошу Вас, как христианина и доброго человека, пожалеть этих людей, виновных только в том, что они исполняют то, что они считают законом Божиим, предпочтительно перед законом человеческим. Не скрою от Вас того, что я лично верю не только в то, что люди эти делают то, что должно, но что, и очень скоро, все люди поймут, что эти люди делали великое и святое дело. Но очень может быть, что такое мнение Вам кажется безумием, и Вы твёрдо уверены в противном. Я не позволю себе убеждать Вас, зная, что люди серьёзные и Вашего возраста приходят к известным убеждениям не с чужих слов, а своей внутренней работой мысли. Одно, о чём я умоляю вас, как христианина, доброго человека и брата моего, и Ольховика, и Середы — как человека, ходящего под одним с нами Богом и имеющего прийти после смерти туда же, куда пойдём и все мы, умоляю Вас не скрывать от себя того, чем отличаются эти люди (Ольх[овик] и Сер[еда]), от других преступников, не требовать от них исполнения того, от чего они отказались раз навсегда, не искушать их, вводя их этим в новые и новые преступления и накладывая на них новые и новые наказания, как поступали с несчастным, возбудившим всеобщее сочувствие и в высших сферах, *Дрожжиным*, до смерти замученным в Воронежском дисциплинарном батальоне. Не отступая от закона и от добросовестного исполнения своих обязанностей, Вы можете сделать заключение этих людей адом и погубить их, можете и смягчить

в значительной степени их страдания. Об этом я умоляю Вас, надеясь, что Вы найдёте эту просьбу излишней и что ваше внутреннее чувство, прежде меня, уже склонит Вас к тому же.

Судя по тому месту, которое Вы занимаете, я полагаю, что Ваши взгляды на жизнь и на обязанности человека совершенно противоположны моим. Не могу скрыть от вас, что я считаю Вашу обязанность несовместимую с христианством и желаю Вам, как я желаю всякому человеку, освобождение от участия в таких делах. Но, зная все свои грехи и прежние и теперешние и все свои слабости и дела, сделанные мною, я не только не позволяю себе осуждать вас за Вашу должность, но питаю к Вам, как ко всякому брату по Христу, совершенное уважение и любовь.

Адрес: Льву Николаевичу Толстому. Москва, Хамовники.  
Очень буду благодарен Вам, если Вы ответите мне

*Лев Толстой.*

Москва, Хамовнический пер. № 21» (69, 184 – 185).

Письмо осталось без ответа, но хлопоты Толстого, как он сам был уверен, сыграли свою роль. Позднее, в письме к П. А. Буланже от 29 марта 1898 г. он сообщал: «...начальник дисциплинарного батальона в Иркутске прямо сказал Ольховику и Серее, что моё ходатайство о них спасло их от телесного наказания и уменьшило их срок содержания» (71, 342). Бог знает, от кого Толстой получил эти известия: Козьмин и так избегал всяких муштры и наказаний, и сократить срок содержания стремился каждому из штрафованных — подставляя себя под гнев высшего начальства.

Опять же, напрашиваются сопоставления с веком XX-м, когда, после захвата власти большевиками влиятельнейшим в революционных кругах старым приятелем-толстовцем, Черткову и Бонч-Бруевичу, приходилось, несмотря на всё к ним доверие красной революционаристской сволочи, с немалым трудом «отмаливать» духовных львят Льва Николаевича от безусловно страшнейших испытаний.

Впрочем, всякие испытания — испытания и всякие мытарства мучительны. Судя по следующему из опубликованных писем П. В. Ольховика родителям, от 1 сентября 1896 г., написанном на пароходе на реке Амур, этою же осенью, после осуждения в дисциплинарную роту, жизнь мучеников во Христе, действительно, сделалась тяжелее

— но не столько от приложенного к ним наказания, сколько от повседневной неустроенной жизни, тяготы которой несли с ними и не осуждённые, обыкновенные солдаты и офицеры, послушливые военные рабы тѣти родины. А сам Пётр Васильевич, справляясь с тяготами путевой, извечной непутёвой российской повседневности, тянулся сердцем не только к родственно близким, переживавшим о нём людям, но и к единоверцам, как бывшим рядом, так и тем, о которых узнавал с тем же радостным трепетом, что и Лев Николаевич Толстой:

«...Вы сильно опечалились. Но печалиться не о чем; стоит только припомнить слова Христа: „Вы печальны будете, но печаль ваша в радость вам будет.“ После того, как я расстался с вами и своими друзьями, и когда меня перевезли на другой бок земного шара, я думал, что я здесь буду жить одиноким, но мне Бог даровал друга, с которым я прожил уже полгода — мне показалось, как один месяц. Я очень рад такому великому дару Божьему.

Когда мы сидели в Никольском на гауптвахте, нам рассказывал один новобранец, который сидел за побег, что когда они обучались в Казани, то один новобранец из Пермской губ. не захотел заниматься (обучаться военному делу), за что сидел на гауптвахте до отправки на Амур, а при отправке не взял казѣнной одежды. Другой новобранец приходил мыть пол и тот говорил, что с ними ехал новобранец, который не занимался в Казани, а в Одессе и Владивостоке не становился в строй и с офицерами разговаривал, как с товарищами. Офицера приказывали не пускать к нему новобранцев. Больше от этих новобранцев мы ничего не могли узнать о нём, так как их привезли в Никольское, а он оставался ещё во Владивостоке. Когда мы сидели в Благовещенской тюрьме, то один солдат говорил нам, что во 2-м батальоне один новобранец не хотел заниматься с ружьём, и его командир взял в писаря, и мы думаем, что это он.

В эту тюрьму привели при нас старика из России, бежавшего из каторги. Он рассказывал, что в их партии вели солдата, который служил в Оренбургской губ. за то, что не захотел присягать Николаю Александровичу, и его за это перевели дослужить на Амур...

Теперь мы идѣм в Иркутск, в дисциплинарный батальон. Уже пошел другой месяц, как поехали из Никольского. До Иркутска придѣтся ещё идти месяца три. Теперь едем на пароходе по реке Амуру в село Сретенск. Из Сретенска пойдѣм пешком. От Сретенска до Иркутска больше 2000 вѣрст. Может быть на пароходе придѣтся ещё переехать Забайкал, если успеем дойти, пока не замѣрзнет... Нам теперь выдают кормовых по 15 коп. в сутки. Раньше мы думали, что дорогой придѣтся поголодать, и не за что будет послать письма, потому что

хлеб здесь от 6 до 8 коп. фунт, а денег с собой не дали. Но всё это вышло не так. Нас конвоиры стали пускать нагружать дрова на пароходе, когда он пристаёт к станции; за сажень платят по 50 коп. и мы за два часа выносим по 3 и по 4 саж.; хлеба тоже пришлось купить дёшево в Благовещенской тюрьме у арестантов по 2 коп. фунт, из которого насушили сумку сухарей.

Дорогой купили два Евангелия, а те, что были в батарее, начальство не хотело отдать, чтобы не читали дорогой...

Если будете писать друзьям, то скажите, пусть пишут мне в Иркутск, я очень рад буду получить от них письмо. От вас я не получал, или вы и не писали, а может не дошли. От друзей тоже не получал. Я рад, что гонят ближе к родине, — скорей письма можно получать. Напишите мне о моих друзьях: кого куда привела судьба? Пишите так, чтобы начальство допустило. Пишите обо всём подробно: как хлеба? dokonчили ли вы избу?

Шлю вам свой задушевный привет. Остаюсь с истинной любовью ваш Пётр.

Передайте мой привет всем моим друзьям и знакомым. Одежда ещё вся целая...» (*Письма Петра Васильевича Ольховика. Указ. изд. С. 27 – 29*).

Из этих, от первого лица, жизнеописаний «эталонного отказника» не хочется вырывать цитат: именно во всех своих подробностях, от духовных до бытовых, они создают картину, достойную художественной интерпретации: поучительной книги или киноленты. Наскученным приведёнными документами читателям мы советуем пролистать данную часть Шестой Главы нашей книги к последним абзацам, а для прочих — приведём ещё всего лишь два письма Петра Васильевича, дополняющих картину его мытарств истинно драматическими подробностями.

Из письма Петра Васильевича к родителям, от 20 ноября 1896 г:

«Вам уже известно, что я иду в Иркутск в дисциплинарный батальон вместе с Кириллом Середой за наше дело. Теперь мы идём пешком через Забайкальскую область этапным порядком в партии, которая состоит из числа 45 арестантов. В день проходим по станку — от этапа до этапа. Станки бывают от 25 и до 40 вёрст. Через два дня бывает дневка, а в некоторых местах живём по неделе — ожидаем партий, которых гонят в каторгу и на поселение. Одних из них оставляют по Зайбайкальской области, других по Амуру, третьих гонят на остров Сахалин. Все они в кандалах, — у каторжан головы с правого бока бриты, а которые идут на поселение с лишением всех

прав состояния, — у тех головы бриты с левого бока. В этих партиях идут жёны и дети, есть старики до 75 лет, закованные в кандалы...

...Бедные они люди. Зачем они теряют человеческое достоинство и затемняют человеческий разум? Продают всё, что есть: покупают водки, напиваются, теряют совесть, начинают играть в карты и проигрывают что только есть, не думая о том, что придётся после голодом жить, так как им выдают кормовых по 10 копеек в сутки, а хлеб здесь по 4 и 5 копеек фунт. Во время картёжной игры заводят ссоры и доходят до драки и бою. Услыша это, солдаты из караульного помещения прибегают с ружьями и начинают их бить прикладами и надевают наручники. Люди думают, что их можно исправить наказанием, т. е. тюрьмами и каторгой. Нет. Не исправить их этим. В таком положении они хуже портятся; всякий недавно попавшийся арестант сначала ведёт себя скромно, смиренно и боязливо: каждому уступает, занимает последнее место где-нибудь в уголке или под нарами, а когда поживёт да познакомится с жизнью развратных арестантов, становится и сам таким же. [...]

Все солдаты [...], не замечают за собой ничего, а делают как обычное дело: веселы, разговаривают, смеются и гордятся тем, что им в руки дано оружие и власть владеть этим оружием. Как жалко смотреть на такое положение людей, разумных существ Божиих.

Часто является мысль: зачем люди мучат друг друга? На эту мысль ответ такой: потому что нет между людьми любви Христовой; если бы имели между собой любовь Христову, то не было бы никогда насилий между людьми, разумными тварями Бога.

С нами в партии из Нерчинска в Читу шёл отбывший срок в каторге за политическое преступление один нижегородский дворянин, довольно учёный, окончивший курс в университете. Видно, что человек сочувствующий и стремящийся к достижению высшего блага. Он прибыл в Нерчинскую пересыльную тюрьму после нас. Узнав о нас от других арестантов, которые шли с нами, стал нас спрашивать о нашем отказе от военной службы. Мы рассказали.

После нашего рассказа, он подружился с нами, всякий раз приглашал нас к себе пить чай и старался всегда поговорить с нами. Много рассказывал и спрашивал... Он остался на время в Чите. К нему товарищ приходил в пересыльную тюрьму. Их смотритель сводил за воротами. Он рассказывал товарищу про нас. Слышал это и смотритель, заинтересовался и спрашивал его про нас. Товарищ его хотел тоже повидаться с нами, но не пришлось.

Ему товарищ прислал гостинца: булок, рыбы, колбасы, голландского сыру, варенья и конфект. Всем этим он нас угощал весь вечер и на

другой день утром перед нашим выходом. На дорогу он дал нам все, что осталось от гостинца, и 4 рубля денег.

Теперь я познакомился с Сибирью и Амуром. Хочу и вам описать. Вся местность здесь горная и лесистая. Грунт земли почти скрозь каменистый. Есть много земли удобной для хлебопашества, которая лежит не распахана. Крестьянство здешнее далеко отстало от русского. Всё у них делается небрежно и неосторожно. Всё поразбросано. Уход за скотом плохой. Нет никаких тёплых сараев, хотя и есть из чего построить. Обросают брёвнами загон, да так и мучится по загонам скот, перенося голод и непогоду. Корм бросают под ноги. Всё это у них делается потому, что они разбаловались по тюрьмам да по приискам, добывая золото, где зарабатывают большие деньги, которые тотчас же прогуливают. Работнику здесь жить легче, чем в России, потому что здесь труд ценится дороже.

[...] Одежду я до сих пор ношу домашнюю, всё ещё целая. Сапоги тоже ещё добрые, пропали было подмётки и подковы, и я подбил новые. Теперь нам выдают кормовых по 12 коп. в сутки, раньше выдавали по 15 коп. Между арестантами мы живём богато. Они у нас занимают хлеба, соли, картошки, чаю, сахару, крупы, денег, иголок, ниток, ножниц, шильев, чернила, бумагу, словом всего, что нужно в походе.

[...] Если нас будут сечь в дисциплинарном батальоне и не будут дозволить писать в письмах о том, что секут, то для того, чтобы вы знали, что секут, я буду писать чёрточки в уголке. Каждая чёрточка будет означать 10 ударов.

Сомнений нет ни в чём. Теперь я узнал, что мысли двоятся, пока войдёшь в положение; а когда войдёшь в положение, то нет ничего страшного, и мысль всегда живая. Теперь я так много увидел перемен и событий в жизни, что и описать всего нельзя.

Прощайте, остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Упадков духа не бывает: всегда чувствую себя весело и бодро. Желаю вам любви и мира.

Любящий вас ваш Пётр.

*P. S.* Ссылки в Сибирь не бойтесь: в Сибири лучше жить. Мне рассказывали солдаты из Томской губернии, что земля там не разделена, пахут кто сколько хочет; сено тоже косят, кто сколько хочет. Для скота вольно. Там скота много разводят. Хлеб родит хорош, сеют больше пшеницу. Там всё дёшево. В Тобольской губернии тоже говорят хорошо.



И, в завершение, приводим письмо Петра Васильевича к брату и единомышленнику — от 3 апреля 1897 года, из тюрьмы в Иркутске. Ответ на ранее полученное из дома письмо:

«Дорогой мой брат!

Письмо твоё я получил, и содержание его мне очень понравилось. Как хорошо ты говоришь о том, как мы должны относиться к каждому отдельному человеку, т. е. „искать в нём то, что составляет его человеческое достоинство, и на этой почве поддерживать с ним отношения”.

Мне приходилось много раз вызывать в людях чувства, которые составляют человеческое достоинство. В своём положении приходилось мне встречаться с людьми добрыми и злыми, и эти злые люди, встретившись со мной первый раз, кричали на меня, ругались и грозили наказанием. Но когда я стану им говорить, что по-человечески так поступать неразумно, — тогда они начинают относиться ко мне иначе.

Спрашиваешь о том, как мне живётся на новом месте? — Жизнь моя, можно сказать, кочующая. Не успеешь освоиться на одном месте, а тут посылают в другое. Осенью находился в дороге. Зимовал в Верхнеудинском тюремном замке, а весной опять стал переходить с места на место. 1-го марта вышел из Верхнеудинска, а в Иркутск прибыл 19 марта.

Сначала повели в дисциплинарную роту. Там я, по прибытии, заявил начальнику роты, что учиться военному делу не буду. Ему раньше было известно из бумаг, что со мной разом осуждён и Кирилл за одно дело, и он вызвал нас из партии солдат, прибывших разом с нами. Повёл нас в другое помещение и там по одному вызвал в канцелярию и советовал нам оставить свои убеждения. На что мы сказали, что ни под каким видом не можем оставить. Он советовал и угрожал: всё не помогло. Тогда он отправил нас в одиночные заключения, где мы сидели 10 суток. Туда приходил к нам один раз священник и посещало начальство. Со мной говорили меньше, чем с Кириллом. На него больше настаивали за то, что он сначала учился, а потом отказался.

Начальник роты говорил ему так: пусть тот закоренённый, а ты недавно стал такого мнения. Он тебя научил, а ты послушался, — ты лучше послушай меня. Я тебе говорю не как начальник, а как брат по Христу и советую тебе оставить свои убеждения, а делать то, что тебе будут приказывать.

Он отвечал так: слушать и делать я могу только то, что согласно с моей совестью и непротивно учению Христа.

После тихого совета начальник переходил к грозному требованию, но всё это не подействовало нисколько. Кирилл остался твёрд и спокоен при своём убеждении....

После обеда нас повели сначала к воинскому начальнику, а потом отправили в полицейское управление, где мы были двое суток. Оттуда перевели в тюремный замок, где и теперь находимся в том отделении, где пересыльные содержатся. Долго ли придётся здесь сидеть, этого не знаем. Узнавши, напишу. Пишите в тюремный замок, может быть здесь придётся долго сидеть. Спрашиваешь: не нужно ли денег? — Не нужно, у нас есть ещё 27 рублей. Расход наш небольшой, хватит на долго.

Тягости и скуки не бывает никогда, всегда легко и весело; только когда вспоминаю о домашних и друзьях, то является чувство жалости и мысль говорит: придётся ли когда-нибудь увидаться?

Всем друзьям шлю свой сердечный привет. Кирилл посылает тебе поклон и жалеет, что не познакомился, будучи дома.

Любящий тебя Пётр» *(Там же. С. 36 – 37).*

Такова, по документальным известиям, эпопея отказничества от военного рабства у тёти «родины» Петра Ольховика, им самим очень хорошо рассказанная. Чем не приключенческий роман в письмах или не основа для сценария кинофильма, и с непростым сюжетом?

Близкие друзья и единоверцы — Чертков, Бирюков, Трегубов — не только обратили внимание Льва Николаевича на Ольховика и Середу, но и передавали ему копии писем Ольховика, скоро (хотя и ограниченно) ставших достоянием общественности. Вмешательство Толстого и заграничная публикация вышеприведённых эпистолярных документов означали для обоих — облегчение участи, спасение.

И в годы мытарств святой двоицы, и после оставления их тётёй родиной в покое, Толстой не забывал счастливо отмучившихся отказников. Например, в статье «Две войны» Толстой писал: «Середа, поняв то, что сказал Ольховик о грехе военной службы, пришёл к начальству и сказал, как говорили это древние мученики: “Не хочу быть с мучителями, присоедините меня к мученикам”, и его стали мучить, послали в дисциплинарный батальон, а потом в Якутскую область» (31, 100). О поступке Середы Толстой писал и в статье «Одумайтесь!», уже в 1904 году — в виде пространных эпиграфов к Главе

IX статьи. И следом, рассказав кратко о поступках Ольховика, Середы и Дрожжина, третьим эпитафией — слова ап. Павла из послания к Эфессянам:

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противустать в день злый и, всё преодолевши, устоять.

И так станьте, препоясавшие чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности» (36, 129).

Наконец, имя Середы упомянуто и в статье «Закон насилия и закон любви» 1909 года — «духовном завещании» Толстого-христианина — в числе мучеников за веру:

«...В самое последнее время всё больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они понимают его.

Мне случайно известны несколько десятков человек в России, отчасти выстрадавших тяжёлые мучительства за веру, отчасти теперь ещё сидящих по тюрьмам. Вот имена некоторых из пострадавших: Залюбовский <не забыл о нём за столько лет! – Р. А.>, Любич, Мокеев, Дрожжин, Изюмченко, Ольховик, Серeda, Фарафонов, Егоров, Ганжа, Акулов, Чага, Шевчук, Буров, Гончаренко, Захаров, Тригубов, Волков, Кошевой; из сидящих теперь по тюрьмам мне известны: Иконников, Куртыш, Варнавский, Орлов, Мокрый, Молосай, Кудрин, Панчиков, Сиксне, Дерябин, Калачёв, Баннов, Маркин.

Знаю про таких же людей в Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии. В Болгарии их особенно много. Мало этого: отказы эти в последнее время стали происходить, и на тех же основаниях, и в магометанском мире: в Персии среди бабидов, в России в секте Божьего полка, основанной в самое последнее время в Казани Ваисовым» (37, 187).

Писатель использовал в этих статьях, как и в «Круге чтения», книжечку «Письма Петра Васильевича Ольховика...». Он продолжал следить за судьбой Ольховика, осуждённого на 18 лет ссылки в Якутию. В письме к крестьянину-баптисту Сидору Осиповичу Красовскому от 25 февраля 1898 года он сообщает о судьбе обоих по выходе из дисциплинарной роты (несмотря на неповиновение — досрочном, слава доброму Козьмину!): «Про Середу и Ольховика я знаю, что они сосланы в Якутскую область на Алдан, на реке Ноторе, где они соединились с Егоровым, Псковской губ., который за христианский

отказ также сослан, и с духоборами, 34 человека, которые сосланы за то же исповедание Христова закона» (71, 291).

В 1905 г. Ольховик счастливо бежал с места ссылки и эвакуировался из России в свободный мир — в Америку, к духоборам... Биографические сведения о судьбе Кирилла Середы после отбытия им наказания, к сожалению, затерялись во времени.

---

### 6. 3. «ПАТРИОТИЗМ ИЛИ МИР?» (1895 – 1896 гг.)

На вопрос одного царька: сколько и как прибавить войска, чтобы победить один южный не покорявшийся ему народец, — Конфуций отвечал: «уничтожь всё твоё войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия, и южный народец прогонит своего царька и без войны покорится твоей власти».

**К** началу 90-х годов имя Л. Н. Толстого приобретает мировое значение и славу, не только как имя гениального художника, но и как «учителя жизни». Его публицистические выступления по вопросам религии и морали, с острой, с религиозных позиций, критикой современных ему социальных отношений, науки, искусства, получают широкий политический резонанс в Европе и вызывают новое оживление интереса к личности русского писателя.

В 1890-е годы произведения Толстого усиленно переводятся на все европейские языки. Толстого приглашают к сотрудничеству в периодической европейской прессе, резко увеличивается количество писем к нему из-за границы, среди которых значительное число составляют письма-запросы, связанные с различными событиями социальной и политической жизни. И Толстой, всё более и более отходя от художественного творчества, включается в шумный поток международной жизни, горячо отзываясь на текущие политические события. Можно констатировать, что в начале 1890-х в публицистическом творчестве Льва Николаевича появился, а к середине десятилетия вполне утвердился новый жанр: своего рода «открытые

письма», в виде полноценных статей, вызванные запросами к нему представителей организаций, прессы и частных лиц.

Основной проблемой, волновавшей европейское общество конца 1890-х годов, напуганное новым призраком войны со всеми её губительными последствиями, была проблема всеобщего мира. Эта проблема вызывала в Толстом живой интерес, определявшийся всей его прежней художественной и публицистической деятельностью. С другой стороны, вместе с текстами трактата «Царство Божие внутри вас», переведённого на основные европейские языки, другими книгами писателя и публициста, а также публикуемыми, с разрешения автора и без него, письмами его разным лицам за рубежом, авторитетность толстовского мнения по военно-политическим известиям и проблематике антивоенного движения шагнула далеко за российские границы, вызывая Толстого на повседневный *эпистолярный диалог с Россией и миром*.

Именно к такому жанру следует отнести статью Л. Н. Толстого «Патриотизм или мир?». Она была написана в ответ на несохранившееся письмо от 24 декабря н. с. 1895 г. английского журналиста Джона Мансона, в котором Мансон просил Толстого высказаться по поводу происшедшего тогда столкновения между Северо-Американскими Соединёнными Штатами и Англией из-за границ Венесуэлы.

Это типичный случай, когда правительства использовали внушённый с детства своим военным рабам (солдатам) патриотизм для совершения того, что является истинной сущностью всякого правительства: захвата и грабежа того, что им не принадлежит. В Венесуэле, в районе границы с Британской Гвианой, были открыты богатейшие месторождения нефти и золота. Пограничные стычки англичан с венесуэльцами в январе 1895 года обратили на себя внимание Соединённых Штатов. В июне президент Кливленд напомнил лорду Солсбери, английскому премьеру, о так называемой доктрине Монро, запрещавшей европейским державам силовые захваты территорий на американском континенте. Лорд опротестовал эту трактовку доктрины Монро. Тогда, уже в декабре 1895 г., Кливленд представил ноту Солсбери на рассмотрение американского конгресса — но одновременно со своим посланием конгрессу, в котором настаивал, что американская нация неизбежно потеряет «национальную честь и самоуважение, под охраной которой только мыслимы народная безопасность и величие», если конгресс не ассигнует немедленно ста миллионов долларов на военную операцию.

Народ — не английский лорд. Трудовые и военные рабы Англии и Америки покорно ожидали войны... И лишь паника на английской

и американской биржах и последовавшее за нею лобби со стороны заинтересованных спекулянтов заставило правительства пойти на мирное урегулирование венесуэльской «проблемы».

Важно заметить, что статья была полностью написана Львом Николаевичем уже к 5 января 1896 года, но опубликована — имея в виду её актуальность в отношении политических событий, на которые она служила откликом — непоправимо поздно: только 17 марта 1896 года (в газете «Daily Chronicle»). Причина задержки — стычка! Только уже не между Англией и Америкой, а между английскими издателями. Статью караулил, прежде всего, «прямой заказчик», Джон Мансон. Но Лев Николаевич не переводил её на английский язык сам, а поручил это дело ближайшему и доверенному другу, замечательному Владимиру Григорьевичу Черткову. Чертков, в свою очередь, первоначально, осваиваясь в деле, взял себе «местного» английского помощника, журналиста, идейно близкого к Толстому, — писателя и *издателя* Джона Колеманна Кенворти (*John Kolemenn Kenworthy, 1861 – 1948*). Кенворти до своего толстовства был пастором сектантской же Братской церкви в Лондоне и поклонником социальных теорий Джона Рёскина. Но на момент знакомства с Чертковым у него было издательское дело, частью которого была, оформленная единственным письменным разрешением из рук Л. Н. Толстого, практика перевода и издания его сочинений — включая новейшие. При этом Кенворти, британец до мозга костей, был трудолюбив (родом он был из бедной семьи моряка в Ливерпуле), умён, но предан «общему делу» и наивен ко всем спецификам подлого «русского мира». Идеальная жертва для Черткова и подобных ему... Впрочем, трагическая судьба пастора Джона — не тема этой нашей книги.

Ознакомившись со статьёй, Кенворти решил опубликовать её сам, от своего имени. Мансон в ответ, конечно же, сослался на то, что статья-таки является ответом Толстого *ему*. Но Мансон, в отличие от Кенворти, не был близок Льву Николаевичу идейно, и Толстой в конфликте принял сперва сторону Черткова и Кенворти. Всё же Мансон своё право первенства отстоял, но время для *актуальной* публикации было упущено. Впрочем, для публицистики Л. Н. Толстого эти проволочки не катастрофичны: их главное идейное содержание не устареет, быть может, ещё *века!*

Судьба статьи в России была не легче: из-за цензурных условий первая русскоязычная публикация её состоялась только за границей, в женевском издании Н. К. Элпидина, под заглавием «Патриотизм или мир? Письмо к англичанину Л. Н. Толстого».

\* \* \* \* \*

Основная идея статьи Л. Н. Толстого «Патриотизм или мир?» — необходимость для каждого человека и человечества в целом сделать выбор: *или* свободное, как сейчас, отдавание себя атавистическим влечениям агрессии, стяжания, насилия и войны и рационализация этих вполне иррациональных влечений военно-патриотическим суевением, *или* — мирная жизнь, развитие, но без патриотизма, вооружений и войск, без разделения на враждующие стаи, метящие и обороняющие свои государственные, родовые, племенные, хозяйственные и прочие территории. Жизнь спонтанно-чувственных полуживотных, вразумлённых Богом, но часто не умеющих, окромя как себе же во зло, употребить свой разум, или — жизнь истинных сынов единого Отца Бога, живущих в Его воле, по Его закону, единому для всех разумных существ в мироздании. (А воля Его — единение и благо всего живущего и мыслящего, исполнение всеми разумными существами закона деятельной и созидающей любви.)

Надо *выбирать!*



Обложка бесцензурного издания «Патриотизм или мир?»  
М. К. Элпидиным. 1896

Но современный человек часто подобен избалованному ребёнку, у которого няня спрашивает: что ему хочется, идти на прогулку или

дома остаться играть, и он отвечает: «И ехать кататься и дома играть» (90, 45).

Ему хочется две несовместимые вещи:

1) ложный, внушаемый правительствами детям через обманщиков-воспитателей и обманутых ранее (выращенных в обмане) родителей, казённый военно-государственный патриотизм, паразитирующий на бессознательных, низших, атавистических, грубо-звериных, не человеческих качествах человеческой природы,

Или:

2) мир, мирная братская трудовая жизнь, даже просто — выживание человечества...

Но люди хотят — "того и другого!": и жить, и патриотизм...

И последствия своих слабости и невежества: неумения жить разумно, не поддаваясь атавистическим влечениям животности и не рационализируя их стереотипными самообманами, — прикрывают внешней бравадой и агрессией, системами насилия и лжи, служащей его оправданию.

А не миновать-таки — *придётся* делать выбор!

Потому что, констатирует Толстой, «причины, которые привели к столкновению между Англией и Америкой, остались те же», государства эти не примирились, а как будто «разбежались для того, чтобы лучше прыгнуть, с большим остервенением броситься друг на друга», а если и не эти двое сгрызутся, то «неизбежно завтра, послезавтра явятся другие столкновения между Англией и Америкой, и Англией и Германией, и Англией и Россией, и Англией и Турцией во всех возможных перемещениях, как они и возникают ежедневно, и какое-нибудь из них неизбежно приведёт к войне» (Там же. С. 46).

А ещё потому, что, в то время как эгоизм частных лиц казнится и законом, и общественным мнением, «иное с государствами: все они вооружены, власти над ними нет никакой, кроме комических попыток поймать птицу, посыпав ей соли на хвост, попыток учреждения международных конгрессов» (Там же. С. 47).

Узнаваемое сравнение! Здесь, конечно, Толстой вспомнил то же приятное и смешное пацифистское чтиво, материалы которого привёл и иронически, местами и едко, прокомментировал в великом слове «Царство Божие внутри вас». Но эта книга, как мы помним, выражает надежды на «охристианивающееся» общественное мнение. В связи с этим весьма значительно прибавление Толстого, указывающее на несвободу и этого общественного регулятора:

«Общественное мнение, которое карает всякое насилие частного человека, восхваляет, возводит в добродетель патриотизма всякое



присвоение чужого для увеличения могущества своего отечества» *(Там же)*.

И халтурные (не умеющие без драки) правительства гнусно паразитируют на таком, ими же, их пропагандой извращённом общественном мнении, и военные кампании к концу XIX столетия истязают Землю уже почти без перерыва:

«За какое хотите время откройте газеты и всегда, всякую минуту вы увидите чёрную точку, причину возможной войны: то это будет Корея, то Памиры, то Африканские земли, то Абиссиния, то Армения, то Турция, то Венецуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту не прекращается, и то здесь, то там не переставая идёт маленькая война, как перестрелка в цепи, и настоящая, большая война всякую минуту может и должна начаться» *(Там же)*.

При этом люди не желают «свой» патриотизм признавать вредным пережитком стайно-территориальной, зоологической первобытности (то есть актуальной ещё до Творения Божьего, до начатой на Земле Богом Эволюции от животного к человеку). Между тем патриотизм «мирных» стран, «не завоевательный, а удержательный», как выражается Толстой, так же обеспечен вооружённым войском: потому что «нет такой страны, которая основалась бы не завоеванием, а удержать завоёванное нельзя иными средствами, как только теми же, которыми что-либо завоёвывается, то есть насилием, убийством» *(Там же. С. 48)*. Худший же из патриотизмов — «восстановительный», патриотизм «армян, поляков, чехов, ирландцев» и других покорённых народов, мечтающих о «суверенитете» *(Там же)*.

Общий вывод публициста таков:

«Патриотизм не может быть хороший» Для него нету того даже оправдания, которое имеется для первобытного человеческого эгоизма: «Отчего люди не говорят, что эгоизм может быть хороший, хотя это скорее можно бы было утверждать, потому что эгоизм есть естественное чувство, с которым человек рождается, патриотизм же чувство неестественное, искусственно привитое ему» *(Там же)*.

Великий яснополянец сетует на тот «барьер невосприятя», который люди, одержимые древним обманом, ставят на пути к ним его слова: при всякой попытке его указать на несовместимость идей «родины», «нации» и сопутствующих им, в частности военных, с учением Христа ему пеняли на то, что высказанные им мысли «суть утопические выражения мистицизма, анархизма и космополитизма»: «...Как будто это слово “космополитизм” бесповоротно опровергало все мои доводы» *(90, 49)*.

«...И большинство людей, с детства обманутое и заражённое патриотизмом, принимает это высокомерное молчание за самый убедительный довод и продолжает коснеть в своём невежестве» (*Там же. С. 50. Выделение наше. – Р. А.*).

Обратим внимание на весьма точное указание Толстым на материальное действие слова на электрику и биохимию человеческого мозга и всего организма: речь даже не о «гипнотизации» (тоже излюбленное Толстым определение), а именно о *заражении*, либо *отравлении* человека: ибо патриотическое «воспитывающее» влияние чаще всего производится уже над ребёнком, либо навязчивым внушением тех, кто даёт человеческому детёнышу укрытие и корм, то есть «авторитетов» безусловных, либо в ситуации массированного воздействия обманщиков на все чувства беспомощной жертвы.

Остановить эту махину лжи — затруднительно даже для прежних её жертв, очистивших сознание от обмана, привитого к низшим, животным инстинктам «своих» стаи и территории. А уж элитам общества, мнимым радетелям о мире и благе — сие и невыгодно. Остаётся лицемерно играть с прежними и новыми жертвами:

«Вся наша жизнь с исповеданием христианства, учения смирения и любви, соединённая с жизнью вооружённого разбойничьего стана, не может быть ни чем иным, как сплошным, ужасным лицемерием. Оно очень удобно — исповедывать такое учение, в котором: на одном конце христианская святость и потому непогрешимость, а другом — языческий меч и виселица, так что, когда можно импонировать и обманывать святостью, пускается в ход святость, когда же обман не удаётся, пускается в ход меч и виселица» (*Там же*).

Но, как и в трактате «Царство Божие внутри вас», как и в позднейшей публицистике, Толстой выражает уверенность, что христианское понимание жизни уже в достаточно значительной степени актуализировано в массовом сознании и жёстко ставит для всех нас вопрос: «*каким образом может тот патриотизм, от которого происходят неисчислимы как физические, так и нравственные страдания людей, — быть нужным и быть добродетелью?*» (*Там же. Выделение автора. – Р. А.*). Честный ответ себе, каждым человеком, на этот вопрос, развенчивает обман и даёт уже всю силу над волею и разумом человека Истине Бога и Христа, возвращённой миру Львом Николаевичем Толстым:

«Если христианство истина и мы хотим жить в мире, то не только нельзя сочувствовать могуществу своего отечества, но надо радоваться ослаблению его и содействовать этому. Надо радоваться, когда от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения... И так и воспитывать молодые поколения» (*Там же. С. 51*).

Чтобы уже юному человеку были стыдны любые проявления атактистического, животного имперства в своей психике, в помыслах и поступках, и не вызывали доверия любые восхваления народа или, упаси Боже, «нации».

За почти десятилетие до статьи «Конец века», где, под впечатлением от русско-японской войны, эта тема будет раскрыта Толстым скрупулёзнейше, публицист предсказывает поражение России и всего лжехристианского мира от «страшных бойцов Дальнего Востока», из Китая и Японии, которым липовые «христиане», при контакте цивилизаций, явили только дурной пример «патриотизма и войны» (*Там же. С. 51 – 52*).

Пропагандируя «неизбежную» войну с Востоком, германский император и прусский король Вильгельм II (1859 – 1941) намалевал аллегорическую картину, на которой архангел Михаил указывает правительствам европейских народов, вооружённых мечами, на сидящих вдали Будду и Конфуция, грядущих военных «врагов». Но Толстой в насмешку даёт иное толкование этого полотна:

«Архангел Михаил указывает всем правительствам Европы, изображённым в виде увешанных оружием разбойников, то, что погубит и уничтожит их, а именно: кротость Будды и разумность Конфуция» (*Там же. С. 52*). И кстати приводит любимую свою конфуцианскую притчу:

«На вопрос одного царька: сколько и как прибавить войска, чтобы победить один южный не покорявшийся ему народец, — Конфуций отвечал: “уничтожь всё твоё войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия, и южный народец прогонит своего царька и без войны покорится твоей власти”» (*Там же*).

Мы видим справедливость пророчества Льва Николаевича: не только цивилизации Дальнего Востока, но и мир Ислама в веках XX, XXI-м могут по заслугам, жесточайше отомстить двухтысячелетним лицемерам «христианского мира» за развращение дурными примерами патриотизма и насилия, а заодно — за века порабощения миллионов людей других, слабейших в сопротивлении, народов: они, как и предсказывал Л. Н. Толстой в далёком 1896 году, «будучи бесстрашны, ловки, сильны и многочисленны, неизбежно очень скоро сделают из стран Европы [...] то, что страны Европы делают из Африки» (*Там же*).

И потому, завершает Толстой статью, снова, как будто напрямую, обращаясь и к нам, к наследникам духовных сокровищ его живого слова, его христианского проповедания, «спасение Европы и вообще

христианского мира не в том, чтобы, как разбойники, обвешавшись мечами, как их изобразил Вильгельм, бросаться убивать своих братьев за морем, а, напротив, в том, чтобы отказаться от пережитка варварских времён — патриотизма и, отказавшись от него, снять оружие и показать восточным народам не пример дикого патриотизма и зверства, а пример братской жизни, которой мы научены Христом» (Там же. С. 53).

---

#### 6. 4. «К ИТАЛЬЯНЦАМ» (1896)

...Да идите вы,  
безжалостные и безбожные цари,  
микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы,  
редакторы, аферисты, и как там вас называют,  
идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдём.  
Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить,  
кормить вас же, дармоедов.

(Лев Николаевич Толстой)

Судя по единственной дневниковой записи Толстого об этой работе, 6 марта 1896 года, она была задумана им как обращение, адресованное к народу Италии.

Поводом для написания статьи явилась итало-абиссинская война 1895 – 1896 годов, за ходом которой Толстой внимательно следил, закончившаяся, конечно же, разгромом итальянских войск и победой Абиссинии (Эфиопии).

Италия, опоздавшая к разделу мира, рассчитывала захватить сохранявшую независимость Эфиопию и сделать её основой своих колониальных владений. Древняя же, прекрасная страна Эфиопия была разобщена, армия вооружена луками, в лучшем же случае — чудовищно устарелыми кремнёвыми ружьями. Поэтому итальянцы невысоко оценивали противника и представляли себе эту войну лёгкой военной прогулкой (точно как и путинские мародёры, вторгшиеся в Украину в феврале 2022-го!). Но за многовековую историю Эфиопия не теряла своих государственных традиций, и колонизаторы внезапно для себя столкнулись с гораздо более организованной и, главное, *мотивированной к защите родины*, армией.

В 1893 г. Эфиопия установила дружественные отношения с Российской империей, прорвав тем самым дипломатическую блокаду, устанавливавшуюся навязанным эфиопам Уччальским договором 1893 г. Россия оказала помощь в модернизации Абиссинии, в вооружениях, боеприпасах. В страну отправились тысячи русских добровольцев.

1 марта 1896 г. уже довольно хорошо вооружённые войска нгусэ нэгэста («царя царей») Абиссинии разгромили под Адуа итальянскую армию, руководимую генералом Орестом Баратьери. Оставшиеся в живых итальянские солдаты и офицеры в панике бежали с поля сражения, разнообразно и бодро подгоняемые по пути местным населением. Катастрофа, постигшая итальянскую армию под Адуа, послужила причиной падения правительства Франческо Криспи и отказа Италии на многие годы от своих захватнических планов по отношению к Абиссинии. Вообще Первая Абиссинская война 1895 – 1896 гг. стала одним из редких случаев успешного вооружённого африканского сопротивления европейским колонизаторам в XIX веке, в результате которого независимость Эфиопии была признана сначала Италией, а затем и другими европейскими державами. А итальянцы, пообсирившись ещё так же в войнах XX столетия — наконец, забыли об имперском прошлом своих земель и мирно пополнили в наши дни дружную семью народов благородной евро-атлантической цивилизационной общности.

Без сомнения, патриотизм, против которого выступает Толстой в статье, сыграл в исходе войны свою роль. Опять же, налицо тот случай, когда архаическое и недоброе, восходящее к зоологической первобытности и дурно культивируемое обманщиками при власти, свойство людей помогло победе, пусть и не безусловного, но добра — над уже определёнными, безусловными, злом и агрессивной глупостью. Ход и результаты войны во многом сходны с предстоящим позорным разгромом путинской России в её полномасштабной агрессии 2022 – 2023 гг. по отношению к Украине.

\* \* \* \* \*

При жизни Л. Н. Толстой не окончил и не опубликовал эту статью. Первая публикация «К итальянцам» состоялась в 1935 году, в газете "Известия" за 4 октября. Конечно же, это была пропагандистская со стороны большевиков, конъюнктурная публикация, с обязательными указаниями на «обличение империализма» Толстым и на «слабость», с цитатой из Ульянова (Ленина), его позиции «непротивления»

(Лев Толстой об Итало-Абиссинской войне 1894 – 1896 гг. // Известия. 1935. – 4 октября. – № 232 (5785). С. 2). Она была связана с начатой в 1935 году фашистским режимом Бенито Муссолини второй войной с Эфиопией. Мечта высмеянной Л. Н. Толстым пацифистствующей интеллигентской сволочи, Лига наций, членами которой были тогда и Италия, и Эфиопия, показала в ситуации фашистской агрессии свою несостоятельность в «мирном улаживании» конфликтов. Оккупанты захватили Эфиопию, но к концу 1941 г., то есть ещё за полтора года до краха режима Муссолини, были выбиты из неё британскими войсками.

**СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:**

Выполнить обязательства... **НАСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК**... **ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБ ИТАЛО-АБИССИНСКОЙ ВОЙНЕ 1894—1896 ГГ.**... **ОНИ ДЕЛ МАСТЕРА**... **ФРАНЦИЙКА БЕЛЫХ И ЧЕРНЫХ**

**ИЗВЕСТИЯ**

Число выходящих номеров в год: 12. Цена выходящего номера: 1 рубль. Цена годового подписки: 12 рублей. Адрес: Москва, Коммунальный дворик, д. 10. Телефон: 2-10-10.

**НАСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК**

**ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБ ИТАЛО-АБИССИНСКОЙ ВОЙНЕ 1894—1896 ГГ.**

**ОНИ ДЕЛ МАСТЕРА**

**ФРАНЦИЙКА БЕЛЫХ И ЧЕРНЫХ**



Номер газ. «Известия» от 4 октября 1935 г. с текстом первой публикации статьи Л. Н. Толстого «К итальянцам»

Большевицкая сволочь, выпускавшая с 1928 г., по «заветам» всё того же своего лидера Ульянова (Ленина), Полное собрание сочинений Льва Николаевича, долгое время не решалась поместить эту

вещь даже туда. Том 31 – й, где, по хронологии, должна была поместиться, без цензурных изъятий, статья «К итальянцам», был напечатан «для специалистов», для закрытых библиотек и хранилищ, в 1954 году тиражом в 5 000 экземпляров.

Причина затаённого страха издателей проста: основным пафосом этой статьи Льва Николаевича было отнюдь не «обличение империализма» или «военщины», а — обличение проистекающего от отсутствия религиозной веры самообмана т. н. «мирных, трудящихся» людей и народов, состоящего в вере в военное и революционное насилие как способ обеспечения этой желанной им мирной трудовой жизни, в «великие державы», империи, которым потребны колонии, в «сильную» правительственную власть как гарант стабильности такой жизни.

Толстой призывал итальянцев к обратному: осознать, что рост военного могущества держав чреват обращением этой убийственной мощи как раз против таких наивных обывателей: не только от враждующих иноземцев, но и от «своего» правительства, всегда следующего не общенародным интересам, но интересам элитарного вольчьем, эксплуататорском и насильническом обществе меньшинства. Уже поэтому «великие державы» надлежит *разрушать*, и именно начиная со «своей» (или соседей), но не насилем и не убийством, а — религиозным христианским преображением сознания.

«Неужели никогда не опомнятся народы от того ужасного обмана, в котором их поддерживают для своих выгод правительства и правящие классы? — ставит в статье вопрос писатель. — Неужели нужны ещё ужасные братоубийственные войны, к которым готовят теперь правительства и правящие классы все европейские и американские народы? Ведь придёт же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий, изнурённые, искалеченные, измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или к богу, к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в покое» (31, 194 – 195).

Для сравнения, немного забегаая вперёд, приведём здесь отрывок из позднейшей, и знаменитой, статьи Льва Николаевича по поводу событий русско-японской войны — «Одумайтесь!» (1904 – 1905):

«Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: “да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы

не хотим и не пойдём. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов» (36, 143).

В этих словах Толстого отчётливо выражена его позиция писателя и публициста, призывающего народы мира «опомниться» и не допустить братоубийственных войн. По Толстому, «стыдно не бежать с поля сражения», а идти в солдатчину, «в самое ужасное рабство, военное» (Там же. С. 196).

Люди, отмечает Толстой, бессознательно попадают в тенёта обманов, оттого и служат «добровольно» преступному делу войны лично или посредством денег. Важнейший из обманов, «самый употребительный» в традиционных обществах и самый древний — религиозный: «духовенство всех народов поощряет войну, благословляет её, приводит к присяге солдат на Евангелии, на том самом Евангелии, которое велит любить и подставлять щёку». На втором месте — «страшный обман патриотизма», превосходства и «прав» одной из «наций» в ущерб таким же общностям, проживающим на территориях других государств. Как правило, внушается детям и малодумным людям — особенно в ситуации затруднений для размышления, «в толпе». Третий обман — актуализация правительственной пропагандой в массовом сознании «образа врага» и связанных с ним ненависти и страхов; состоит в том, чтобы «внушать людям, что им грозят величайшие опасности от соседних, имеющих коварные против них замыслы народов, тех самых народов, которым со стороны их правительств внушается то же самое по отношению других народов». Обман четвёртый, по свидетельству Толстого, самый распространённый в его время: «состоит в том, чтобы поставить людей в такое положение, чтобы существующее воинственное устройство, основанное на войске, было выгодно для них так, чтобы люди сами придумывали доводы в пользу существующего порядка. В этом обмане находится большинство всех людей, не живущих прямо работой, но пользующихся работой других людей» (Там же. С. 196 – 197).

Здесь стоит добавить, что враг рода людского, самообман, с той поры значительно изоцирился в таком порабощении людей. «Жить прямо работой» для Толстого — значит жить на земле, в стороне от городских соблазнов, земледельческим трудом. В России 2022 – 2023 гг. большинство живёт в «оазисах» крупных городов, либо, как минимум, зависит от них, и, по всем опросам, поддерживает военные преступления путинского режима в Украине. Но если бы опросы провели не среди обитателей и рабов городской цивилизации, а людей обеспеченных и свободных, не связывающих себя даже границами государств, часть из которых давным-давно живёт за пределами крупных городов, а некоторые, по влечению разума и сердца,



занимаются работами в поле, саду или огороде — ответы и результаты были бы совершенно иными!

Наконец, называет Толстой и пятый, вытекающий из названных выше — то есть самый страшный, самый *вяжущий* людей по рукам и ногам, системно и технологично (технологии информационные действуют в этом отношении не хуже веревок) поработавший их обман:

«...Тот самый, который выдуман и поддерживаем этими самыми <людьми>, находящими свою выгоду в существующем порядке вещей, состоит в том, чтобы, признавая неправильность, жестокость, бессмысленность существующего порядка вещей, предлагать всякие отдалённые способы уничтожения этого зла, кроме первого и самого простейшего, состоящего в том, чтобы не участвовать в том, что считаешь злом, — не давать деньги на войну, если считаешь её злом, не участвовать в организации войска, не служить в нём» (*Там же. С. 197*).

Это самообман всей той сволоты в путинской России, которая в 2022-м году вождеюще ринулась, по зову своего кремлёвского фюрера, на разорение Украины, на мародёрства и убийства, а в последующие за крахом путинизма годы будет желать себе льгот и общественного уважения, либо уж, как минимум, находить оправдания в духе того, что, мол, ей, сволоте, «выбирать не приходилось»!

А выбор, на самом-то деле, есть у человека всегда. Космос нигде не заколочен досками... Отдельным личностям и народам надо очень далеко зайти по пути самопорабощения, поддерживая то или иное зло лжехристианского мира, чтобы оказаться в фатальном, безальтернативном состоянии. Влечёт же их в это состояние религиозное безверие и детища его: страхи, ненависть, корысть...

«Разговорами, газетами, книгами, брошюрами, театральными представлениями» люди-обманщики прикрывают личный свой интерес, в прошлом либо настоящем. Любые возражения с позиций христианского религиозного понимания жизни обличают их, и оттого они, не возражая Богу и Христу (проповедникам Истины) по существу — чаще всего реагируют посредством выделения контрпродуктивных эмоций: облака ненависти, в котором растворены частицы обмана, привитого им либо принятого ими на веру и постепенно материализовавшегося в биохимии их мозга, в нервной системе, в жидкостях и мягких тканях тела...

Те, кто поддаются от них эмоциональному заражению, в особенности в среде семейной, или иных замкнутых пространствах, в особенности в местах недобровольного пребывания (семья и школа для детей, сумасшедший дом, тюрьма, казарма и под.) становятся часто

их единомышленниками, быстро забывая, «что власть в руках правительств, и правительства допускают разговоры, газеты, книги, театральные представления, которые не могут повредить ему»:

«Правительства никогда не ошибаются в том, что для них вредно, не ошибаются, как не ошибается животное, защищая свою жизнь. Что вредно, они тотчас же прекращают штрафом, судом, высылкой, казнью, а что безвредно, они тому покровительствуют, зная, что ничто твёрже не обеспечивается нашим правительством, как либеральная болтовня в палатах, газетах и собраниях. Вот от этих-то всех обманов надо освободиться и прямо взглянуть правде в лицо и, поняв правду, поступить согласно с нею» *(Там же. С. 198)*.

И далее Толстой отвечает прямо на главное сомнение патриотично заражённых, любящих Италию, которая с той поры, по их наивности или продажности, злонамеренности, уже пережила свой фашистский период, а равно и любящих Россию, переживающую таковой период в наши дни:

«Но если итальянцы поступят так, то Италия не будет великая держава.

Да, Италия не будет более великая держава, если большинство итальянцев откажется от военной службы. Но дело в том, что задача человечества состоит теперь не в том, чтобы образовать великие державы, а в том, чтобы уничтожить великие державы, те самые, от которых происходят все бедствия народов, а соединить все народы в одну семью без разделения на державы и вражды, вытекающей из такого деления.

Если итальянцы, большинство, [...] откажутся повиноваться и уйдут из армии, то правда, что итальянцы перестанут быть великой державой, но станут великим народом, стоящим, как они всегда стояли, впереди цивилизации. Сама судьба призывает теперь итальянцев к тому, чтобы сделать первый шаг на ту высшую ступень цивилизации, перед которой вот уже сколько веков топчутся христианские народы, не решаясь подняться на неё» *(Там же)*.

Конечно, обращение Льва Николаевича, даже будучи широко опубликовано, не вызвало бы такого шага достаточно крупной, мировоззренчески «рыхлой» и информационно не объединённой в ту эпоху общности. Толстой не мог не понимать этого — быть может, вспомнив, пища вышеприведённые строки, что и сам в 1854 – 1855 гг. возмущался не войной, как таковой, с религиозных позиций, а — с позиций гуманистических и радеющих за «державу» — нищетой и бесправием солдат, воровством офицеров, телесными наказаниями, дурными вооружением и управлением войсками, и всем тем, что

сделалось “слагаемыми” российского поражения в Крымской войне. Таков был протест и итальянцев: о том, что *не победили*, опозорились, а не по поводу несоответствия военных действий христианским идеалам! Что же касается победителей, древней христианской общности в Африке, они, как в наши дни украинцы, были правы не перед Христовой, недостижимой в условиях гибельных, условиях выживания, но перед древнейшей, *ветхозаветной библейской* Божьей правдой: той, которая в поединке Давида с Голиафом отдала победу смиренному и праведному любимцу, избраннику Бога.

Христианская традиция рассматривает битву Давида с Голиафом как символ победы Божьего царя над врагами Бога и как прообраз будущей победы Иисуса над повреждением ветхого человека грехом и Церкви над Сатаной. В наши дни церковь российского православия открыто поддерживает запрещённые ещё Ветхим Заветом, ещё Моисеевым законом для евреев, совершенно недопустимые для учеников Христа, убийства людей в Украине, равно как жестокость по отношению к слабым, к неудобным в России: начиная с женщин и детей в семьях и кончая оппозиционными воро-палаческому режиму В. В. Путина политическими персонами. Поэтому даже эта, выражающая еврейское, дохристианское жизнепонимание легенда в наши дни обращается против агрессоров из болот Московии — в поддержку поставленного в условия выживания, убиваемого озверелыми негодьями народа Украины.

Божий мир един, одно хозяйство, предоставленное Отцом всем Его детям — всехняя учебная и творческая Мастерская. Условие продуктивного сотворчества в ней — повиновение Хозяину, дисциплина и согласие. Условия согласия — вера живая, руководящая помыслами и поступкам человека, Церковь и общинность. Путь же к такому самоуправлению и согласию — тот демократический, пока в государственных рамках, строй, которого стараются держаться наиболее прогрессивные страны и народы. Таким образом, и Абиссиния (Эфиопия) перед милитаристской Италией 1890-х и 1930-х, и ориентирующаяся на европейские демократические ценности Украина 2020-х перед воровским паханатом с самоназванием Российская Федерация, безотносительно к разному отношению к вере в этих странах — так же правы и благословенны Богом, как благословен был маленький еврейский пастух Давид.



И. Е. Репин. Давид и Голиаф. 1915 г.

Сказанное не отменяет христианского идеала, заявленного уже в «Войне и мире», в той сцене (Т. 3, ч. 1, гл. XVIII), где Наташу Ростову смутили моления в церкви о победе оружием над Наполеоном — уподобленной в состряпанной угодливым Синодом молитве победе Давида над Голиафом. И через много лет, в письме к переводчику (впоследствии так же биографу и помощнику в деле переселения из России духоборов) Эйльмеру Мооду от 27 января 1900 г. Толстой убежденно аттестует себя как противника «добра с кулаками» (камнями, пулями и проч.):

«Я не могу сочувствовать никаким военным подвигам, хотя бы это был Давид против десятка Голиафов, а сочувствую только тем людям, которые уничтожают причины: престиж золота, богатства, престиж военной славы и главную причину всего зла — престиж патриотизма и ложных религий, оправдывающих братоубийство» (72, 289 – 290).

\* \* \* \* \*

Итак, заявленные Львом Николаевичем христианские идеалы не могли быть расслышаны в 1896-м ни одной из сторон — как не слышит их, к несчастью, и современный мир, секуляризованный и склонный к скептицизму и атеизму. Вероятно, именно понимая эти

особенности состояния сознания *большинства* из тех, к кому адресовался, Лев Николаевич Толстой отказался от публикации за границей статьи, нелегальное распространение которой в России могло бы вызвать лишь преследования полицией и напрасные страдания его христианских единоверцев и помощников.

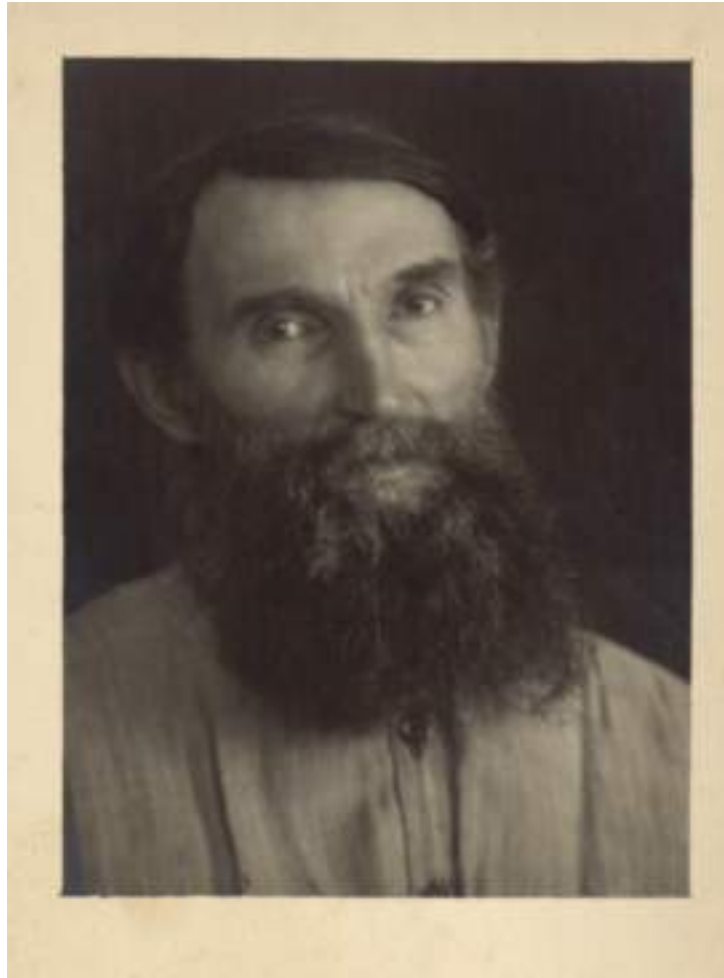
\* \* \* \* \*

Помимо вышеупомянутой публикации в 1935 году в большевицких «Известиях», её идейное содержание — и духовное наследие Льва Николаевича в целом — находили в ту эпоху великих насилий и более соответствующее мировоззрению Льва-учителя применение. *Почти в один день* с публикацией «коммунистов», прочитанной миллионами, но лживой, служившей выставлению сталинского Совка-СССР «мирной» овечкой, хотя и с волчьей шкурой («бронепоезд на запасном пути»), 6 октября 1935 г. было написано в СССР нигде не опубликованное и чудом дошедшее до нашего времени письмо к *Бенито Муссолини* (1883 – 1945). Автором его был один из чудесных льяв Льва Николаевича — *Митрофан Семёнович Дудченко* (1867 – 1946), общинник и создатель толстовских общин-коммун с 1889 г., а в то время хуторянин Сумского уезда Харьковской губ. (с 1932 г. – Харьковская обл.), занимавшийся земледелием. В 1926 – 1930 гг. Дудченко переписывался с Роменом Ролланом, получил 5 писем [хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва)]. Переписывался также с Максимом Горьким, Стефаном Цвейгом, с руководителем национально-освободительного движения в Индии Махатмой Ганди и, конечно, с рядом старых друзей толстовцев, включая жившего тогда в Праге (Чехия) последнего секретаря Толстого *Валентина Фёдоровича Булгакова* (1886 – 1966). В конце 1920-х гг. Валентин Булгаков стал членом «Интернационала противников войны» и приобрёл множество связей с деятелями антивоенного и ненасильственного протеста, переписывался с Роменом Ролланом, Альбертом Эйнштейном, Николаем Рерихом, Стефаном Цвейгом и др.

В октябре 1935 года Митрофан Семёнович отправил старому другу и духовному собрату-единоверцу во Христе письмо, приложением к которому было другое послание, датированное 6 октября, к Бенито Муссолини, на французском языке (в надежде, что не прочтут коммунацкие перлюстраторы), которое Дудченко просил, сделав нужный перевод, через влиятельных лиц, довести до «его светлости» (РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 644;

цит. по: <https://pandia.ru/text/77/497/5379.php> ).

Вот полный текст приложенного письма (пропущенное в публикации слово восстановлено по смыслу. – Р. А.):



Митрофан Семёнович Дудченко

«Уважаемый брат.

С этим открытым письмом к вам обращается один из горячих сторонников мира, часто выступавший с протестом против насилия и убийства — житель Украины, около 50 лет занимающийся земледелием и в то же время являющийся активным членом Интернационала противников войны.

Я обращаюсь к вам не для того, чтобы осудить Вас, как одного из вдохновителей и виновников тех бессмысленных массовых убийств, происходящих сейчас в Абиссинии, а для того лишь, чтобы не остаться равнодушным к тому ужасному делу, называемому войной, которое как пожар готово вспыхнуть и среди всех других непрерывно вооружающихся народов.

И мне хочется прежде всего спросить Вас как человека, которому не чуждо всё человеческое: — Для чего нужно Вам всё то, что вы делаете? — Для чего нужна Вам кровь Ваших братьев, сестёр и их детей, проливаемая при столь постыдных условиях, — при условиях, когда итальянцы, называя себя цивилизованными и вооружённые по последнему слову продажной науки нападают на сравнительно безоружных людей — абиссинцев, которым приходится рассчитывать лишь на свою храбрость, свою самоотверженность?

Если вы не под влиянием пустого тщеславия, а искренно думаете таким образом служить своему народу, то ведь Вы должны же знать, что истинное добро для всякого человека есть то, что становится добром и для всех людей и *не может быть того, чтобы счастье какого-либо народа было бы построено на несчастьи других народов*. В этих словах для всякого просвещённого человека заключается такая же непреложная истина, как истинно то, что *нужно с другими поступать так, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди...*

Какими же великими [злодеями] оказываются те, которые наперекор естественному в человеке чувству доброжелательности воспитывают в людях такие страсти, возбуждаемые войной, как международная ненависть, жажда победы или мщенья и пр. — страсти, превращающие высшие общественные инстинкты в низменное безрассудное самолюбие, называемое патриотизмом.

И таким виновником, несущим на себе тяжкую ответственность за преступление многих являетесь Вы в большей мере, чем кто-либо другой...

Мне неизвестно, какого жизнепонимания держитесь Вы, но я ни сколько не сомневаюсь, что Вы не социалист, по сколько Вы отрицаете на деле братство всех людей и народов, и не считаетесь с тем, что рабочие то и крестьяне (— этот предмет особого почитания среди социалистов), составляя собой ряды армии, преимущественно и страдают от войны.

Нечего уж говорить о том, что Вы и не христианин. Ибо Христианство кладёт конец тому неустройству жизни, при котором народы принадлежат одному или многим господам, как стада принадлежат своему хозяину. Оно учит тому, что будучи равны перед Богом, люди свободны друг перед другом, что никто не может сам по себе иметь власти над своими братьями и что власть не может быть правом, а в общественном устройстве она есть только должность, служение...

Итак, в настоящем смысле этих слов Вы не социалист и не христианин. — Так кто же вы? — Пусть совесть Ваша подскажет Вам свой искренний ответ.

Практически же, как представитель власти, Вы являетесь типичным сообщником известного круга тех правительственных воротил, которые в перегонку военизируют каждый свой народ, якобы для оберегания его от неприятелей, а на самом деле — для более прочного удержания власти над ним.

Знайτε же, что такого рода Ваша заботливость об интересах народа уже не нужна людям. Она слишком дорого обходится и в материальном, а особенно в нравственном отношении. А помимо того люди всех обществ в мире, не смотря на свою сравнительную дикость, достигли уже того уровня, при котором всякие свои конфликты они научились разрешать судебным порядком, а не при помощи кровопусканий.

Отчего бы таким же способом не разрешать им и своих международных конфликтов??..

Но к сожалению подобным Вам управителям трудно стать на этот мирный путь. С ног до головы вооружённые, — прежде всего для защиты своей власти и привилегированного положения как своего так и всего господствующего класса в каждой стране они тянут под гору, (а может быть в пропасть) тот с тяжелой нагрузкой воз милитаризма, который, толкая их, не позволяет им ни на минуту остановиться и одуматься.

Аппетиты же и буржуазные потребности этих, строго говоря, всегда тиранических организаций склонны так бесконечно расширяться, что они неизбежно входят в столкновения с другими, такого же рода иноземными организациями.

И настоящий выход из такого кошмарного положения — только в том, чтобы во имя требований правды и своего человеческого достоинства отказываться от всяких видов насилия, отказываясь в то же время и от тех благоприобретённых привычек к роскоши, которые больше всего побуждают людей к насилию над братьями своими.

Нечего говорить о том, что тот же путь чистоплотной жизни со включением трудовой взаимопомощи вместо конкуренции и борьбы стоит и перед всеми гражданами всех стран, кто бы они ни были по своему положению для достижения всеобщего мира.

И к счастью по этому пути давно идут лучшие люди всех времён и народов, мужественно отказываясь от военной и государственной службы и согласуя свои поступки только с требованиями своей совести.

Много или мало людей, идущих в таком направлении и найдутся ли дипломаты, способные проникнуться такими идеями — не в этом дело! И нам нечего дожидаться их, как незачем ласточке откладывать свой весенний перелёт, в ожидании других ласточек.



А важно и радостно то, чтобы каждый из нас, доверившись силе объединяющей всё родственное в мире, был готов идти вперед и самоотверженно выполнять свой долг, сознавая, что единственное и могущественное средство для того чтобы всем стало хорошо, заключается только в том, чтобы самому сделаться лучше, т. е. добрее, благороднее.

Подумайте же, брат, ради всего святого обо всём том, что с чувством искренней доброжелательности я высказал Вам и перестаньте проливать братскую кровь! От Ваших решений зависит многое.

М. Дудченко

6 окт. 35 г.» *(Там же. Выделения наши. – Р. А.)*.

В отличие от знаменитого письма 1902 г. из Крыма тяжело болевшего Л. Н. Толстого к «любезному брату» императору Николаю II, судьба этого послания неизвестна: сохранился только черновой его текст в архиве Дудченко, в России.

Как и Митрофан Семёнович Дудченко, Валентин Булгаков не мог, как христианин, ненавидеть возродителей имперства — ни сталинских, ни гитлеровских. Но он ненавидел грех и зло, творимые в сталинском СССР и в гитлеровской Германии под благовидными лозунгами и посулами. По этой же причине оба духовных ученика Льва учителя, Толстого-христианина, доживи они до нашего времени, прокляли бы зло и ложь путинской России. Таким образом, идейное содержание публицистического послания Л. Н. Толстого «К итальянцам» сохраняет свою актуальность, и не утратит её, пока человечество не обезопасит себя от подобных Гитлеру, Путину, Сталину палачей у власти и не приблизится к христианскому идеалу единения в Истине и в Боге, проповеданному Львом Николаевичем и в этой статье.

---

## 6. 5. «ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА». 1896

...Если военная служба, как вы говорите, очень нужна, то устройте её так, чтобы она не была в таком противоречии с моею и вашею совестью. Пока же вы не устроили этого, а требуете от меня того, что прямо противно ей, я никак не могу повиноваться.

*(Лев Николаевич Толстой)*

6 сентября 1896 года Ясную Поляну в очередной раз навесил известный музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель, хороший друг Толстого и всего семейства, *Владимир Васильевич Стасов* (1824 – 1906). В один из трёх дней безмятежного гощевания он предложил Толстому помощь в переписывании черновиков — чем в то время занимались дочери Льва Николаевича Татьяна и Мария. В мучительно шокировавших его неразборчивостью «бесчисленных, миллион раз перечёркнутых каракулях» он наконец разобрал, по собственному выражению, «знатную вещь»: то была «рацея по поводу письма к Толстому, из Амстердама, некоего Вандервера, молодого социалиста, который отказался от “военного призыва”. Какое это письмо! Но тоже, какой к нему десерт и соус самого Льва!!!» (*Цит. по: Опульская Л. Д. Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого. 1892 – 1899. М., 1998. С. 219*). Характерен такой отзыв Толстого Стасову о тогдашней другой своей, столь же “нецензурной”, работе, «Письме к либералам»: «Покуда это не будет напечатано за границей, до тех пор никому этого не читать в России» (*Там же*). Стасов был в восторге от обеих «чудных» вещиц, и даже назвал Толстого, весьма для него лестно, «воскресшим Герценом» (*Там же. С. 220*). Но то, что порадовало Владимира Васильевича, совершенно не радовало жену писателя, Софью Андреевну, опасавшуюся преследований мужа по закону, которые негативно отразились бы и на судьбе семьи. Стасов свидетельствовал в письме к брату: «Она собиралась мешать ему печатать обе его новые чудные статьи [...] а я доказывал ей, что она не имеет права вмешиваться в его творческие дела и что она там не судья» (*Там же*).

Стасов при этом напрасно не обозначил, что испугал Софью Андреевну сам: по её воспоминаниям, он, «по своему обыкновению громко

крича» сгустил краски, вызвав у Софьи Андреевны впечатление, что «эти письма-статьи были всё смелые, вызывающие, протестующие и, конечно, противоправительственные». Софья Андреевна написала супругу «довольно резкое письмо», но в следующем письме, уяснив дело, просила мужа её простить. Он и простил, но не преминул подчеркнуть, «что не может руководиться её желаниями и советами и рассуждать о том, опасно или не опасно, а всегда будет писать то, что считает нужным по совести и своим убеждениям» (*Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Книга вторая. С. 454 – 455*).

Характеристическая отповедь! Желала того Соня Толстая, или нет, а переездом с семьёй в начале 1880-х в Москву, изданием, ради доходов для семьи, но в огромных объёмах, сочинений мужа и столь же огромной рекламой его и книг, и благотворительной деятельности в 1891 – 1893 гг., годы неурожая, голода и эпидемий в ряде российских губерний — она посеяла ветер огромных перемен в жизни и своей, и семьи, и Льва Николаевича, и тысяч других людей. Неизвестно, появился бы и вовсе рассчитанный на общественный резонанс, даже своего рода «переворот» в сознании читателей, трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», если бы не московские знакомства 1-й половины 1880-х, не всё нараставшее во второй половине десятилетия внимание к Толстому журналистов и переводчиков из разных стран, не обращение Софьи Андреевны осенью 1891 года за помощью благотворительной инициативе Льва Николаевича в газеты — неожиданно для обоих супругов вызвавшее резонанс во всём мире... Перевод же на европейские языки и нелегальное распространение в России указанного трактата, вместе с сочинениями «В чём моя вера?», «Исповедь» и «Краткое изложение евангелия», вызвали волну христианских отказов молодых призывников от военной службы.

Например, в России Льва Николаевича встревожил и порадовал своим отказом талантливый сподвижник Станиславского, в будущем выдающийся театральный режиссёр, не менее талантливый художник, очень даже и внешне красивый, гармонично с умом и благородством души, молодой человек, единомышленник во Христе, *Леопольд Антонович Сулержицкий («Суллер»); 1872 – 1916*.

В 1889 – 1894 гг. Сулержицкий учился в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился со старшей дочерью Толстого, Татьяной Львовной. Он часто бывал в доме Толстых. Не будучи, как все умные единомышленники Толстого «слепым», бездумным последователем, «Суллер» принял разумом и любящим сердцем учение Христа именно через Льва Николаевича. В середине ноября 1895 года состоялся отказ Леопольда Антоновича от военной

службы. За это он был причтён сперва к злодеям, арестован и заперт, для устрашения, в одиночную камеру, а затем — к безумцам, и отправлен в отделение для душевнобольных при военном госпитале в Москве.



Леопольд Антонович Сулержицкий

Об этих событиях есть упоминание в дневнике Толстого 7 декабря 1895 г.: «Суллер отказался от военной службы. Я посетил его» (53, 72). Своему последователю Евгению Ивановичу Попову 30 ноября 1895 г. Толстой писал из Москвы: «Жаль, что вы не посетили сейчас страдающего Сулержицкого. Я на днях был у него и был тронут и поражён его простотой, спокойствием и благодушием. У него настоящий внутренний переворот, ему хорошо везде» (68, 268). Об этом Толстой писал и другому своему львёнку во Христе, Петру Николаевичу Гастеву 7 декабря 1895 г. В этом письме писатель не просто рассказал новости об отказнике, но и дал свою характеристику Сулержицкому: «Он сидит в отделении душевнобольных в военном госпитале на испытании в умственных способностях. Он очень живой, общительный и искренний человек и очень твёрд в своём решении. Мы посещаем его. Нынче была Софья Андреевна и всё своё красноречие употребляла на то, чтобы отговорить его. И я был очень рад этому. Опаснее всего для души обмануться в своих силах и начать строить башню, не имея средств достроить» (Там же. С. 274).

Именно в таком настроении, под впечатлением отказа милейшего Леопольда, а кроме того известий о другом отказнике, *Петре Васильевиче Ольховике* (1875 – ?) (тот был арестован и отправлен из

Одессы пароходом во Владивосток, а по пути умудрился «заразить» своими взглядами конвойного солдата Середу), Толстой 17 ноября получил *второе* письмо от голландского писателя и журналиста, пацифиста Ж. Ф. Ван Дейля (Van Dÿyl; 1857 – ?), в котором тот рассказывал о своих лекциях для молодёжи, посвящённых, в частности, и проблематике отказа от призыва и солдатчины. На следующий день, 18 ноября, совершенно заинтересовавшись, Лев Николаевич ответил Ван Дейлю письмом (оригинал на французском языке), в котором интересовался его профессией и религиозными убеждениями, а кроме того излагал свою позицию в отношении всех «колеблющихся» религиозных отказников. Приводим ниже эту часть письма в полном виде.

«Затруднение, которое вы встретили в ответе молодого человека, который хотел бы следовать требованиям своей совести и в то же время чувствует невозможность покинуть и огорчить свою мать, это затруднение я знаю, и мне приходилось несколько раз отвечать на это.

Учение Христа не есть учение, которое требует известных поступков, соблюдения или воздержания от известных поступков, учение Христа ничего не требует от тех, кто хочет следовать ему; оно состоит, как говорит само слово “евангелие”, в познании истинного блага человека. Раз человек понял и проникся идеей, что его истинное благо, благо его вечной жизни, той, которая не ограничивается этим миром, состоит в исполнении воли Бога, и что совершать убийство или готовиться к убийству, как это делают те, кто становятся военными, что это противно этой воле, тогда никакое соображение не может заставить этого человека действовать противно своему истинному благу. Если есть внутренняя борьба и если, как в том случае, о котором вы говорите, семейные соображения берут верх, это служит лишь доказательством того, что учение Христа не понято и не принято тем, кто не может ему следовать, это доказывает только, что он хотел бы казаться христианином, но не таков на самом деле.

И вот почему я нахожу бесполезным и часто даже вредным проповедовать известные поступки или воздержание от поступков, как отказ от военной службы и другие поступки того же рода. Нужно, чтобы все действия происходили не из желания следовать известным правилам, но из совершенной невозможности действовать иначе. И потому, когда я нахожусь в положении, в котором вы очутились перед этим молодым человеком, я всегда советую делать всё то, что от них требуют: поступать на службу, служить, присягать и

т. д. — если только это им нравственно возможно, ни от чего не воздерживаться, пока это не станет столь же нравственно невозможным, как невозможно человеку поднять гору или подняться на воздух. Я всегда говорю им: если вы хотите отказаться от военной службы и перенести все последствия этого отказа, старайтесь дойти до той степени уверенности и ясности в христианской истине, чтобы вам стало столь же невозможным присягать и делать ружейные приёмы, как невозможно для вас задушить ребёнка или сделать что-нибудь подобное.

Но если это для вас возможно, то делайте это, потому что лучше доставить лишнего солдата, чем лишнего лицемера или отступника учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил. Вот почему я убеждён, что христианская истина не может распространяться проповедью известных внешних поступков, как это делается в мнимо христианских религиях, но только разрушением и обличением соблазнов и обманов и, особенно, убеждением, что единое истинное благо человека заключается в исполнении воли Бога, которая есть не что иное, как закон и назначение человека.

В ту минуту, как я вам пишу, два молодых человека из моих друзей заключены один в тюрьму, другой в сумасшедший дом за отказ от военной службы. Один из них <Сулержицкий. — Р. А.> — молодой живописец в Москве. И вот я стараюсь как можно меньше влиять на него в деле его отказа, потому что я знаю, что для того, чтобы перенести все испытания, которые ему предстоят, ему нужна сила, которая не может прийти извне, нужно твёрдое убеждение, что его жизнь не имеет другого смысла, как только в исполнении воли Того, Кто его сюда послал. А это убеждение складывается внутри. Я могу помочь образованию его, но не могу его ему дать, я боюсь больше всего заставить его поверить в то, что у него есть убеждение, когда его у него нет» (68, 259 – 260).

Диалог с голландским журналистом и пацифистом на этом не прервался. 12/24 августа следующего, 1896 года, поздравив Толстого с днём рождения, голландец прислал писателю копию письма к нему *Джона К. Ван-дер-Веера* (Van der Veer; 1867 – 1925), рабочего-наборщика и социалиста из Миддельбурга (Голландия). Тот несколько раз отбывал тюремное заключение за пропаганду социализма среди рабочих, а с 1891 по 1896 гг. был постоянным сотрудником социалистической газеты. Позднее, не без влияния Толстого, Джон Ван-дер-Веер увлёкся анархизмом и редактировал журнал «Vrede» («Мир»).

Осенью 1896 г. Ван-дер-Веер выступил на конгрессе социалистов в Амстердаме с докладом «Непротивление», прочитанным Толстым с

радостью. В отличие от Толстого, избегавшего публичных выступлений, Ван-дер-Веер показал себя талантливым оратором. По наблюдениям присутствовавшего на его выступлениях Альберта Шкарвана, Ван-дер-Веер «воистину оратор того калибра, какие умели поднимать революции. Он и поднимает её, хотя и не ту, которую принято подразумевать под этим словом» (*Цит. по: Шкарван А. [Из частного письма] // Листки «Свободного слова». 1898. № 1. С. 49*). А. Шкарван имеет в виду, конечно же, «толстовскую», ожидавшуюся духовным учителем, революцию: пробуждение сознания масс к христианскому религиозному пониманию жизни.

Копия письма, доставленная Ван Дейлю и переведённая им с голландского языка на французский, была послана Толстому. Послание содержало текст вот такого заявления, написанного Ван-дер-Веером командиру национальной гвардии Миддельбургского округа Герману Снейдерсу:

«НЕ УБИЙ»

Милостивый государь!

Прошлую неделю я получил бумагу, в которой мне было приказано явиться в городскую думу для того, чтобы согласно закону быть зачисленным в национальную гвардию. Как Вы, вероятно, заметили, я не явился; и настоящее письмо имеет целью довести до Вашего сведения откровенно и без обходов, что я не намерен явиться перед комиссией; я хорошо знаю, что подвергаю себя тяжёлой ответственности, что Вы можете меня наказать и не преминете воспользоваться этим Вашим правом. Но меня это не страшит. Причины, побуждающие меня проявить этот пассивный отпор, представляют для меня достаточно значительный противовес этой ответственности.

Лучше, чем большинство христиан, я, будучи, если угодно, не христианином, понимаю заповедь, стоящую во главе этого письма, — заповедь, присущую человеческой природе и разуму. Будучи ещё ребёнком, я позволял обучать себя солдатскому ремеслу, — искусству убивать; но теперь я отказываюсь! В особенности я не желаю убивать по команде, что является убийством против совести, без всякого личного побуждения или какого-либо основания. Можете ли Вы мне назвать что-либо более унижительное для человеческого существа, нежели совершение подобных убийств или резни? Я не могу ни убить, ни видеть убийства какого-либо животного, и для того, чтобы

не убивать животных, я сделался вегетарианцем. А в настоящем случае мне могли бы "приказать" стрелять по людям, никогда не сделавшим мне никакого зла: ведь не для того же, я полагаю, обучаются солдаты ружейным приёмам, чтобы попадать в листья или ветки деревьев.

Но Вы, быть может, скажете мне, что национальная гвардия должна также и прежде всего содействовать поддержанию внутреннего порядка.

Господин командир, если бы действительно порядок царствовал в нашем обществе, если бы общественный организм был на самом деле здоров, другими словами: если бы не было таких вопиющих злоупотреблений в общественных отношениях, если бы не было дозволено, чтобы один умирал с голода в то время, как другой может позволить себе все прихоти роскоши, — тогда Вы увидели бы меня в первых рядах защитников этого порядка; но я безусловно отказываюсь содействовать поддержанию теперешнего так называемого порядка. К чему, господин командир, пускаться друг другу пыль в глаза? Ведь оба мы отлично знаем, что означает поддержание этого порядка: поддержку богачей против нищих тружеников, начинающих сознавать свои права. Разве мы не видели роли, которую, во время последней стачки в Роттердаме, сыграла Ваша национальная гвардия: без всякого основания эта гвардия должна была целыми часами находиться на службе для того, чтобы защищать имущество угрожаемых торговых фирм. И можете ли Вы на одну минуту предположить, что я поддамся участию в защите людей, которые, по моему искреннему убеждению, поддерживают войну между капиталом и трудом, — что я буду стрелять в рабочих, действующих всецело в пределах своего права. Вы не можете быть настолько слепы! Зачем же усложнять дело? Не могу же я, на самом деле, позволить вылепить из себя послушного национального гвардейца, такого, какого Вы желаете и какой Вам нужен.

На основании всех этих причин, но в особенности потому, что я ненавижу убийство по команде, я и отказываюсь от службы в качестве национального гвардейца, прося Вас не присылать мне ни мундира, ни оружия, так как я имею непреклонное намерение не употреблять их.

Приветствую Вас, господин командир.

И. К. Ван-дер-Вер» (31, 78 – 80).



Любопытные детали, наверняка восхитившие Толстого: заповедь «Не убий» вегетарианец Ван-дер-Веер назвал «заповедью, присущей человеческой природе и разуму» и поставил её эпиграфом к своему заявлению. Особенное же отвращение у голландского антимилитариста вызывали, по его словам, убийства по приказу — то есть повиновение власти нравственно низших, худших людей. Он указывает на их бессмысленность, жестокость и на малодушие тех, кто их исполняет.

А вот неубедительные попытки объяснения неизбежности убийств необходимостью поддержания внутреннего порядка в стране Ван-дер-Веер опровергает уже, скорее, в духе социалистических теорий, очевидно, как и прежде, увлекавших его. Например, в утверждении, что гвардию используют для защиты богачей от нищих.

Льву Николаевичу, конечно же, оказались близкими не социалистические взгляды голландца, а именно те движения его в сторону близких ему религиозных убеждений, о которых тот сообщал в письме к Ван Дейлю. Текст этого письма Толстой включит позднее в статью «Приближение конца».

«Cher ami! [*фр.* Дорогой друг!] ...Вы мне ближе, чем многие лица, живущие около меня», — с такой интимности начал Толстой письмо к Ван-дер-Вееру от 23 августа 1896 г. (69, 126. *Оригинал на франц.*). По особенностям своей психологии, о которой хорошо знала жена писателя Толстой, успевший, по одному письму, составить о Джоне Ван-дер-Веере самое положительное заочное представление, старался и диссонирующие с этим образом детали из того же письма «подогнать» под этот идеальный образ. Вот в основном текст его письма голландцу:

«Вы говорите в вашем письме, что вы не христианин; но вы не можете не быть таковым, так как поступок ваш мог вытечь только из христианского начала, заключающегося в признании цели своего существования не в благе своей личности, но в осуществлении истины и общего блага, иначе говоря — в осуществлении воли Божьей и установлении Его Царства на земле.

Мне в особенности понравилось в вашем письме то, что вы указали на бессмысленность, жестокость и малодушие убийства по команде. Я понимаю, что для человека, никогда не задумывавшегося над тем, что он делает, поступая в солдаты и обещаясь повиноваться первому встречному, который окажется его начальником, и убивать всех тех, кого он прикажет убить, положение солдата может и не казаться преступным, но я никогда не мог понять, как человек, раз понявший всё значение того, что он делает, обещаясь вообще повиноваться, а тем более в деле убийства, своим начальникам, — может согласиться

быть солдатом. Для того, чтобы образованный человек нашего времени отказался от военной службы, нужно только, чтобы он был честен [...].

Пусть Бог, — тот Бог, Который руководит вашей совестью и внушил вам ваш поступок, — поддержит вас в ожидающих вас испытаниях.

Если сознание того, что есть люди, высоко ценящие ваш поступок и любящие вас, может доставить вам некоторое удовлетворение, то знайте, что все мои друзья, которым я отчасти уже сообщил и ещё сообщу ваше письмо, находятся и будут находиться с вами в сердечном и душевном единении. Не говоря о том, что делается вне России, есть в настоящее время между нами несколько лиц из разных слоёв — крестьян, учителей, студентов, которые так же, как и вы, отказались от военной службы и с твёрдостью переносят последствия своего поступка.

Борьба завязывается со всех сторон, и ваш отказ, мотивированный с такой искренностью, разумностью и убеждением, с вашей особенной, совершенно независимой точки зрения, имеет, по моему мнению, большое значение» (69, 126 – 127).

В статье «Приближение конца» (1896) Толстой, в связи с заявлением Джона Ван-дер-Веера, подчёркивает значимость подобных отказов: нужно не столько следовать религиозной догме, (которая может ведь богословски перевираться и *в пользу* воинской службы), сколько воздерживаться от участия в делах, противных здравому рассудку и достоинству человека: «...причины, выставляемые Ван-дер-Вером, так просты, ясны и так общи всем людям, что невозможно не применить их к себе» (31, 81).

Даже настаивание Ван-дер-Веера на том, что он не христианин, Толстой обращает в поддержку своих выводов о предстоящем в мире перевороте:

«От этого-то и особенно важен отказ Ван-дер-Вера. Отказ этот показывает, что христианство не есть какая-либо секта или исповедание, которого могут держаться одни люди и не держаться другие, но что христианство есть не что иное, как следование в жизни тому свету разумения, который просвещает всех людей. Значение христианства не в том, что оно предписывало людям такие или иные поступки, а в том, что предвидело и указывало тот путь, по которому должно было идти и пошло всё человечество.

Люди, поступающие теперь добро и разумно, поступают так не потому, что следуют предписаниям Христа, а потому, что то, что 1800 лет назад высказывалось как направление деятельности, теперь стало сознанием людей» (Там же. С. 83).

Старый мир, по великолепному образному сравнению Льва Николаевича, обречён сгореть в уже тлеющем огне Истины, сделавшей невозможным в настоящем рабство, а в будущем — и войну:

«Как пущенный по степи или по лесу огонь до тех пор не потухает, пока не выжигает всего сухого, мёртвого, и потому подлежащего горению, так и раз выраженная словом истина до тех пор не перестанет действовать, пока не уничтожит всю ту ложь, подлежащую уничтожению, которая со всех сторон окружает и скрывает истину. Огонь долго тлеет, но как скоро он вспыхнул, он сжигает всё сгорающее очень скоро. Так же и мысль долго просится наружу, не находя выражения; но стоит ей найти ясное выражение в слове, и ложь и зло уничтожаются очень скоро.

[...] ...Не только древние язычники — Платон и Аристотель, но люди близкие к нам по времени и христиане не могли себе представить человеческого общества без рабства. Томас Мур не мог себе представить и Утопию без рабства. Точно так же и люди начала нынешнего столетия не могли себе представить жизни человечества без войны. Только после наполеоновских войн была ясно выражена мысль о том, что человечество может жить без войны. И вот прошло сто лет с тех пор, как ясно была выражена мысль о том, что человечество может жить без рабства, и среди христиан уже нет рабства; и не пройдёт ста лет после того, что ясно была выражена мысль о возможности человечеству жить без войны, и войны не будет. Очень может быть, что уничтожится война не совершенно, как не совершенно уничтожено рабство. Очень может быть, что военное насилие ещё останется, как остался наёмный труд после уничтожения рабства, но во всяком случае будут уничтожены война и войско в той противной и разуму и нравственному чувству грубой форме, в которой они существуют теперь» *(Там же. С. 84).*

И, конечно же, Толстой снова выразил надежду на то, что «вся жестокая и безнравственная организация убийства», кажущаяся столь могущественной, безвозвратно рухнет, а отказы Ван-дер-Веера и таких же, сперва одиночных, его единомышленников могут сыграть роль тех капель воды, которые, просочившись сквозь плотину, повлекут за собой прорыв и всего потока (31, 86).

\* \* \* \* \*

Автор послал статью постоянным своим в эти годы партнёрам по распространению «запрещёнки» — Эугену Шмитту, Джону Кенворти и Шарлю Саломону для перевода и публикации в иностранной пе-

чати. Впервые она была опубликована в октябре 1896 г. в парижской газете «Journal des Debats» под названием «Les temps son proches», в переводе Шарля Саломона и Поля Буайе.

В августе 1898 г. Ван-дер-Веера посетили словацкий отказник Альберт Шкарван и Христиан Абрикосов, оба последователи Толстого. Он жил к тому времени в Гааге и владел небольшой типографией, где печатал журнал «Vrede» и произведения Толстого. Его пригласили в Англию в толстовскую колонию Перлей (Perley) для руководства типографией. Ван-дер-Веер принял приглашение в надежде встретить проповедуемую Толстым идеальную братскую любовь, но застал колонию уже в стадии внутреннего разложения — кстати, под влиянием пропаганды его прежних единомышленников социалистов — и был глубоко разочарован и очень тяготился жизнью в новых условиях.

Приводим ещё некоторые подробности из статьи А. Шкарвана о Ван-дер-Веере, датированной 31 октября 1897 г. и впервые опубликованной в том же году в газетах "Ohne Staat" в Венгрии и в "New Order" в Англии, а оттуда перепечатанной бесцензурным лондонским изданием В. Г. Черткова «Листки "Свободного слова"».

«В Голландии нет, как во всех других государствах Европы, общей воинской повинности; там до сих пор действует старинная наполеоновская конскрипция, что вероятно и могло быть причиной того, что подобный непредвиденный "проступок" не мог быть подведён военным судом ни под какой другой параграф, как только под §§ "неповиновения начальству", за что, как самое большое наказание, полагается 14 дней одиночного заключения.

Но так как такого человека, который способствует распадению власти, этой связывающей силы государства, нельзя отпустить с таким лёгким наказанием, — и предполагая, что этим можно устрашить людей, которые захотели бы последовать подобному опасному примеру, а также потому что власти не могут обойти существующий закон, то потому, по истечении срока этого первого штрафа, различные военные власти послали Ван-дер-Вэру 16 приказов один за другим принять оружие, предполагая, что в 16 раз умноженный штраф должен сделать своё. На эти 16 приказов, к ещё большему посрамлению Устава о воинской дисциплине, Ван-дер-Вэр ответил 16 отказами повиноваться, последствием которых было назначено ему 3-х месячное заключение.

После этого известия долгое время мы не слышали более никаких подробностей о случае с Ван-дер-Вэром и это обстоятельство укрепило нас в предположении, что он находится ещё в Мидельбургской крепости.

В августе месяце 1897 года пришлось мне проезжать через Голландию, и я решил, если только мне это не будет воспрещено, повидать и побеседовать с Ван-дер-Вэром, с которым я чувствовал себя заодно, стремясь к одной и той же цели и идя по схожей с ним дороге.

К моему радостному удивлению, однако, я не нашёл его, как ожидал, в тюрьме, но уже бывшего давно на свободе, занятого изданием газеты "Vrede" — "Мир", в которой он энергично и смело указывает людям-братьям, выход из тины на дорогу, ведущую к лучшей жизни — к свободной жизни духа.

На мои вопросы, относящиеся к этому, Ван-дер-Вэр рассказал мне, что срок его наказания не был продолжен до конца, но что его, после 4-х недельного ареста выпустили на свободу по неизвестной причине.

Очевидно, однако, откуда происходило такое необычное великодушное правительства. Власти отлично знают, как невыгодно для их собственных интересов карать человека за то только, что он отказывается от употребления оружия и воздерживается от убийства; они знают, что столкновение с подобными людьми неизбежно покажет людям воочию всю гнилость, подлость и жестокость правительства и — тем яснее, чем энергичнее они будут карать его; во-вторых, они знают и то, что этим они не залечат нанесённой им раны, и что отпавший член уже не прирастёт. Что же остаётся делать правительству, попавшему в такую ловушку, из которой нет выхода, что остаётся им другого, как только избавиться по возможности скорее от такого опасного человека и на сколько возможно замолчать этот случай и вместе с тем собственное поражение?» (*Шкарван А. Листки Свободного слова, Лондон, 1898, № 1. С. 45 – 46*).

Чувствуется в этих строках наивность человека, хотя и испытавшего тоже неприятные гонения за отказ от участия в военном палачестве, но совершенно не знающего той ожесточённости, на которые способен сволоблядский «русский мир», православная Рассеюшка: мученический исход судьбы Евдокима Никитича Дрожжина был хотя и хорошо знаком словаку, но... как-то “не помещался” массивностью своих подлости и жестокости в голове человека из Европы, представителя значительно более доброго нравом, религиозного, культурного и цивилизованного народа. С этой скидкой на наивность следует воспринимать и последующие за сведениями о Ван-дер-Веере оценочные суждения Альберта Шкарвана, из той же

статьи, по поводу отказов как Ван-дер-Веера, так и, оптом до кучи, многих других в те же годы:

«Однако и этот образ действия также не приносит правительству никакой помощи перед угрожающей опасностью, не доставляет ему никакой защиты перед надвигающимся концом. Распространение Истины прокладывает себе новую дорогу и ничто более не может затруднить её мощного течения.

Поступок Ван-дер-Вэра был как сигнальный призыв, на который откликнулись все те, которые желают принять участие в той же борьбе.

Я нашёл в Голландии группу людей, которые все совокупно не только убедились в современной государственной и общественной лжи, но также знают, где надо искать лечебного средства против недуга всего человечества, и видят истину там, где она есть на самом деле, т. е. в неискажённом христианстве.

[...] Часто можно слышать следующее мнение относительно военных отказов: "хотя этот поступок и происходит из хорошего намерения, но он всё же бесполезен, так как тот, кто поступает так — погибает, а военщина, вместе с государством и всем пагубным общественным порядком, продолжает существовать".

Но подобные соображения оказывают только то, что у этих людей нет верного понимания христианской жизни и её значения, — ибо на деле всякий отказ, совершенный на почве разума и совести есть непоправимое повреждение в государственном организме, есть отставший и выпавший кирпич из свода, покрывающего и посредством своей тяжести скрепляющего всё здание настоящего общественного строя. Сначала из громадного множества кирпичей, составляющих свод, отстаёт один, затем отстаёт второй, третий... десятый. Но так как при этом явлении здание по-прежнему продолжает стоять, то поверхностный наблюдатель думает, что выпадение из свода одиночных кирпичей не важно и не имеет значения. Но не так думает тот, кто знает, какие условия нужны для того, чтобы свод держался; такой человек каждый раз содрогается внутри, когда новый кирпич свода отстаёт от своего места, зная, что, при известных обстоятельствах, выпадение хотя бы ещё одного кирпича на должном месте — может заставить рухнуть целое здание.

Перемена к новой лучшей жизни человечества немислима без прекращения государства; а прекращение государства немислимо без прекращения милитаризма, который скрепляет государство; прекращение же милитаризма немислимо, пока люди не перестанут быть солдатами. Все люди сразу не могут перестать быть военными, сначала только отдельные единицы могут на это решиться, как это

сделал Ван-дер-Вэр и делают духоборы в России и назарены в Австро-Венгрии.

[...] Многие уже созрели к тому, чтобы исполнить нужное дело, надо только людям указывать на него» (*Там же. С. 46 – 47*).

Из глубины века XXI-го, как из ловчей ямы, и мило, и досадно взи- рать на этот своеобразный духовный романтизм. Мы знаем, что ев- ропейские толстовские движения, находившиеся на взлёте именно во второй половине 1890-х гг., уже в 1900-х “захлебнулись” в пото- ках более завлекательной для бунтарских сердец пропаганды соци- алистов — в некоторых, особенно несчастливых странах измудрив- шихся дорваться до власти... но лишь для того, чтобы, в конце кон- цов, поскользнуться на пролитой ими же крови и обрушить «здание государства» на себя.

\* \* \* \* \*

История же с отказом Леопольда Сулержицкого закончилась до- стойно этого умного, доброго, талантливого человека. Он послушал Льва Николаевича, пожалел родителей, в особенности отца, который слёзно уговаривал его согласиться принять присягу. Будто в от- местку за живые разум и сердце, за независимость убеждений, тётя «родина» загнала его на службу в Закаспийскую область, на погра- ничные персидские кордоны — «надеясь уморить его», ворчал Лев Николаевич в Дневнике (53, 96).

Но *такого* разве уморишь! Отмаявшись, в начале 1897 года чудес- ный этот человек уже помогал Льву Николаевичу, а особенно Софье Андреевне, в переписывании черновых рукописей. С той поры до конца своей жизни Леопольд Антонович делается другом семьи, в которой звать его будут коротким прозвищем — «Суллер». Особую помощь окажет он Толстому в многосложном деле эвакуации из Рос- сии духоборов — о чём, впрочем, речь будет ниже, в особенной главе.

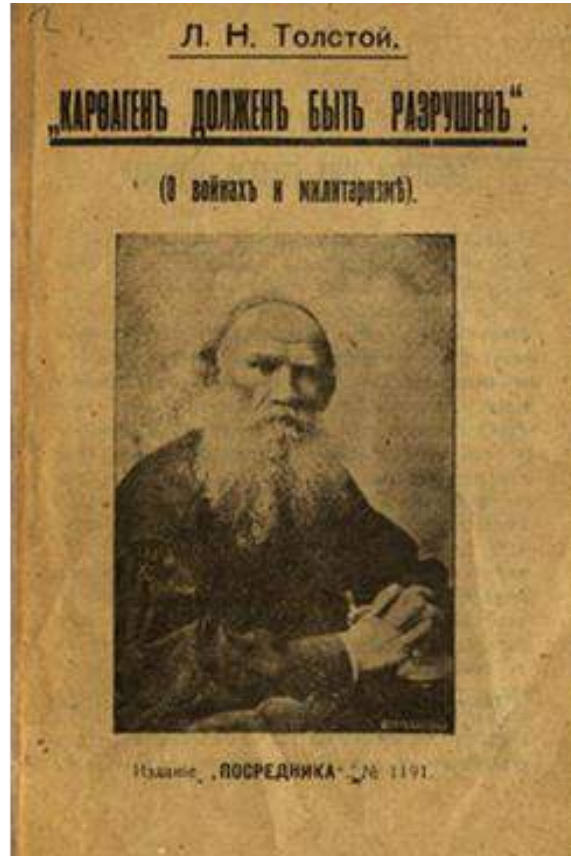
---

## 6. 6. «CARTHAGO DELENDА EST» (Ещё о войне). 1896

*...Средство есть только одно:  
уничтожение той атмосферы уважения,  
восхваления своего сословия, своего мундира, своих знамён и т. д.,  
за которыми скрываются эти люди  
от действия истины.*

*(Лев Николаевич Толстой)*

Это, пожалуй, самая остро-нецензурная и политически и социально-актуальная из цикла трёх одноимённых статей Льва Николаевича (1889, 1896 и 1898 гг.). Сведениями о работе над нею Толстого мы почти никакими не располагаем. Есть только одна запись в его Дневнике от 16 ноября 1896 г., относящаяся к этой работе: «3-го дня целое утро усердно писал опять о войне. Что-то выйдет?» (53, 118). Толстой не решился попытаться опубликовать статью и даже не кончил работы над нею. Черновик статьи и часть рукописей окончательного варианта утрачены.





Несомненно то, что вторая «Carthago gelenda est» Толстого была начата им в связи с чтением статьи выдающегося военачальника и публициста своего времени, военного теоретика и педагога генерала *Михаила Ивановича Драгомирова* (1830 – 1905), напечатанной в журнале «Разведчик» — кстати, первом в России частном военном журнале, издававшемся с 1889 г., но, несмотря на частную инициативу, вполне патриотически-пропагандистском — в отличие от просветительского и слишком либерального замысла молодых товарищей Толстого по службе в 1854 г. Из «Разведчика», уже в выдержках, речь была перепечатана в консервативной газете «Новое время», в № 7434 от 6 ноября 1896 г. В статье этой Драгомиров пытался доказать неизбежность и законность войн. Толстой цитирует отдельные места статьи Драгомирова, не называя его фамилии. Статья эта так возмутила Толстого, что он 13 – 15 ноября 1896 г. писал А. М. Кузминскому: «Что бы вы уговорили Драгомирова, чтобы он не писал таких гадких глупостей, и, главное, тон этот: «Ах, господа, господа» и т. д. Ужасно думать, что во власти этого пьяного идиота столько людей» (69, 206). М. И. Драгомиров был в то время командующим Киевским военным округом, а А. М. Кузминский — председателем Киевской судебной палаты.



Генерал М. И. Драгомиров.  
Гравюра с портрета И.Е. Репина, 1889 г.

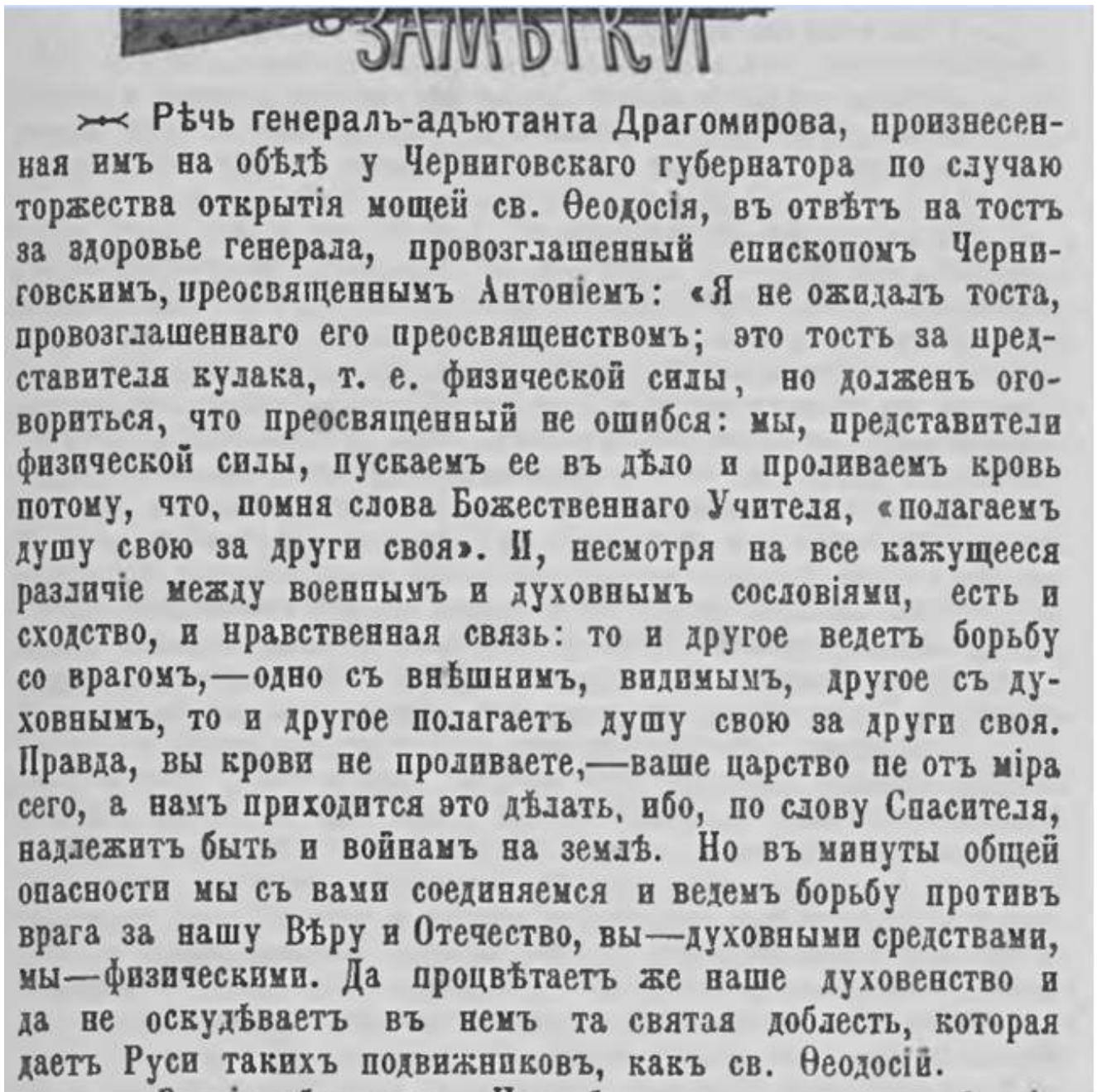
Так же и в уцелевшем черновике статьи, явно на всплеске эмоций, «пьяным» и неумным человеком Лев Николаевич квалифицирует, на самом-то деле, человека умнейшего, при этом высоких нравственных достоинств и талантливого генерала, истинно выдающегося человека своей эпохи. В оправдание Толстому-публицисту можно лишь подчеркнуть, что, на этапе редактирования, он обыкновенно убирал из текста даже более справедливые грубости, а также часто и имена тех, к кому они относились.

В «Новом времени» был опубликован только отрывок с цитатами из статьи М. И. Драгомирова в «Разведчике». Полный же текст представляет собой решительные, тоже с эмоциями и с насмешкой, возражения генерала на аргументы против войны, высказанные человеком так же безусловно выдающимся, экономистом, банкиром и железнодорожным концессионером *Иваном Станиславовичем (урожд. Яном Соломоновичем) Блюхом* (1836 – 1902) в Томе Пятом его шеститомного труда «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношении». Опубликован труд был в 1898 году, и тогда же, 7 августа, прислан автором Толстому, ответившему И. С. Блюху 20 августа благодарственным письмом (71, 430).



Иван Станиславович Блюх

Это пример того, когда остроумные критики для человека науки и творчества неизмеримо полезнее заведомых хвалителей: *рукопись* ещё не опубликованной книги Иван Станиславович швырнул на растерзание Драгомирову, как щенка голодному бульдогу — чтобы острием критики этого не только практика, но и умного теоретика военного палачества выправить и наострить свои аргументы. Толстому же достались только готовые книжки...



Православно-патриотическая речь М. И. Драгомирова.  
Заметка в газ. «Разведчик» за 1896 г., № 314, стр. 939.

Здесь не место делать подробный разбор бодрых кавалерийских атак Драгомирова на рассуждения и доводы Блюха. Довольно заметить, что генерал обыкновенно любил выставлять себя перед современниками, в особенности солдатской массой, ревностным христианином. Апелляциями к Богу наполнена его знаменитая в последней четверти XIX-го и начале XX-го столетий «Солдатская памятка», которая, по сведениям газеты «Разведчик», в 1893 году была опубликована уже 19-м (!) изданием, огромным тиражом в 190 тысяч экз., и ценой за экземпляр 4 коп. (*Разведчик. 1896. Год издания IX. № 312. С. 887*). Всего же «Солдатская памятка» издавалась в царской России 26 раз.

Но И. С. Блюху Михаил Иванович возражает, скорее, как материалист. «Признаёте ли вы верность положения, что истина для порядочного человека и порядочного народа должна быть дороже жизни? — вопрошает Блюха умнейший, хитрый и лукавый оппонент. — Если признаёте, то вместе с тем должны признать и неминуемость таких совпадений, при которых Вы за свою истину должны быть готовы пожертвовать своею жизнью» (*Разведчик. 1896. Год издания IX. № 316. С. 976*). Это, конечно же, намёк на Христа и одновременно — на известнейшие слова Христа о жертве христианином души своей «за други своя» (*Ин. 15: 13*), которые не один М. И. Драгомиров, но множество пропагандистов «добра с кулаками» во все времена выдают за оправдание системно организованного душегубства, а иногда даже искренно считают таковым. Но «истина» для Драгомирова — не в Нагорной проповеди, ничтожной для еврея Блюха, воспитанного папой Соломоном в польском местечке Лезно, а в аргументации к логике и «законам природы». Именно эта аргументация понравилась обозревателю «Нового времени», и с него он начал цитирование генеральской статьи (явно преднамеренно опустив как имя оппонента, Блюха, так и название его не оконченной тогда ещё писанием книги). Цитируем по более полному тексту в «Разведчике»:

«В «Историческом очерке <развития> идеи разрешения мирным путём международных столкновений», Вы усиливаетесь доказать, будто протест против милитаризма мало по малу доведёт до полного устранения боевых столкновений; я же полагаю, что такое устранение немислимо, ибо противоречит основному закону природы, которой равно дорого (и равно безразлично) разрушение, как и созидание; ведь ничего не разрушать и ничего не созидать — одно и то же.



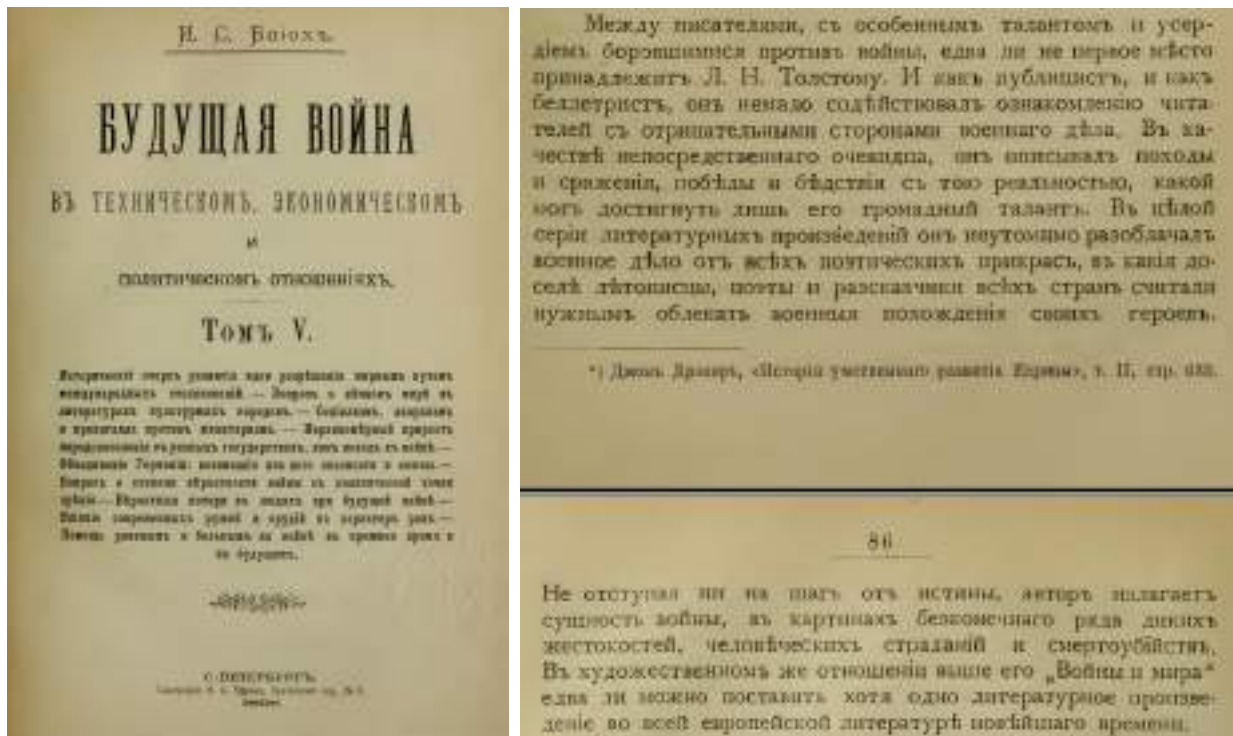
Что бы вы ни созидали, вы неминуемо должны нечто и разрушать. Например, для того, чтобы создать Ваш труд, Вы истребили (или разрушили): 1) значительное количество Вашей нервной энергии, 2) массу перьев, бумаги, скорописных и типографских чернил; 3) потратили (т. е. в отношении к себе истребили) порядочную сумму денег. И так во всём: созидание неминуемо предполагает разрушение; и без разрушения созидание немислимо в какой бы то ни было области. Вся разница в предмете созидаемом и в материале, разрушаемом для его создания.

[...] Вся беда рассуждающих подобным образом в том, что при рассуждении они делают логический скачок: отправляются они от совершенно верного положения, что война дело скверное; а приходят к заключению, что придёт время, когда войны не будет, которое вовсе не вытекает из того, что война дело скверное.

Дело вовсе не в том, скверное или хорошее дело война, а в том, *устранимое ли?» (Там же).*

Примечательно, как генерал с пренебрежением ссылается на часть будущего Пятого тома огромного труда Блиоха, пропуская слово в его действительно длинном и “закавыристом” названии.

Ссылаясь на природу и историю, генерал попеременно возвращается к образам и смыслам евангелий, трактуя их, разумеется, на свой салтык: например, «неизбежную» войну он уподобляет той чаше, которую молил перед смертью пронести мимо него Иисус, и которую неизбежно испивать и испивать, до скончания времён, человечеству: «ибо когда свершаются времена, чаши избежать не может» (Там же).



Титульный лист фундаментального труда И. С. Блюха и слова авторской лести в адрес её непременно будущего читателя

Таким образом, военные жертвы на “алтарь” атавистического, зоологического зверства человека, самых дурных страхов и страстей, остроумный генерал уподобляет добровольной крестной смерти Иисуса Христа, к которой предназначили его, приговорили и казнили как раз адепты старого, отжитого и опасного, дохристианского религиозного жизнепонимания язычников и евреев. Очевидно, что такие кощунства для генерала даже избыточны — при его апелляциях к «законам природы»... но уж очень соблазнительны! Как соблазнительно оказаться перед учёным оппонентом не солдафоном, а человеком начитанным, сославшись на Байрона:

«И Байрон сказал не софизм, а глубокую истину, заметив: я охотно выразил бы омерзение против войны, если бы не был убеждён, что только она спасает мир от плесени и гнили» (Там же. С. 976 – 977).

Такой “аргумент” не мог не возмутить Толстого: ибо к схожему “санитарному” сравнению любили и в его эпоху прибегать оправдатели смертных казней, от которых, как мы помним, Лев Николаевич отвратился значительно раньше и решительней, чем от войны. Возмутилось не только христианское его чувство (грубо нарушена Первая из “малых заповедей” Нагорной проповеди Христа: не именовать и не считать никого ничтожным, не заслуживающим жизни и любви), но и чувство старого воина: *солдат*, даже «вражеской» стороны, *молодцов и храбрецов*, павших и живых, всё-таки нельзя приравнять

к грешникам, подлежащим, по воле властителей и судей мира сего, смертной казни.

Ещё один отрывок, особенно полюбившийся, процитированный обозревателем «Нового времени», убеждает читателя в законности военщины, солдатского рабства, вооружений и самых войн:

«И опять все эти рассказы о “грубой” силе. Ах, господа! господа! да неужели Вам не приходит в голову, что превращение права “Грубой” Силы в силу “Деликатного” Права не уничтожает первого права, а только переводит его в скрытое состояние? Неужели вы не замечаете, что сила Права была бы очень не сильна, если бы у него за спиною не стоял Полицейский, а за Полицейским Солдат, т. е. Право Силы? Что даёт обязательную силу *деликатным* приговорам вроде многих лет каторги, пускания семьи по миру для удовлетворения «законной» претензии какого-нибудь Шейлока?» (Там же. С. 977).

Наконец, обозревателю «Нового времени» полюбилось высказывание М. И. Драгомирова в пользу “вечной” актуальности холодного оружия — так же, разумеется, направленные против выкладок И. С. Блюха в его огромном сочинении. Цитируем так же по тексту в «Разведчике»:

«Вы полагаете, что оно <холодное оружие. – Р. А.> теперь ничего не стоит; я же убеждён, что оно было и навсегда останется представителем воинской доблести; что редкость столкновения на холодном оружии доказывает ничтожество не его, а тех, кто не способен сойтись на дистанцию штыка или шашки; что не подобает говорить о его ничтожестве даже людям, мало в этих вопросах компетентным, после абиссинского нравоучения. Вам, как человеку вольному, разумеется можно всё говорить, даже и то, будто социализм есть реакция против милитаризма, а не против капитализма; но с военной точки зрения проповедь о ничтожестве холодного оружия есть отрицание самоотвержения и оправдание самосохранения, т. е., попросту говоря, апофеоза трусости» (Там же; ср. Новое время. № 7434 6 ноября 1896 г. С. 2).

Вероятнее всего, Толстой знакомился в 1896 году с очерком Драгомирова не по «Разведчику», а именно по изложению в дайджесте «Нового времени». При этом, очень хитро, он не цитирует те строки, где речь идёт о «Берте Зуттнер и её последователях», хотя степень ответной эмоциональности, доходящей в черновике до ругательств в адрес уважаемого тогда всю консервативной Россией генерала, уж как-то слишком напоминает раздроченное мужское джентльменство по отношению к обидчику дамы... Но не в этом даже дело. Мы

помним, что «последователей» Берты Зуттнер сам Толстой критиковал и даже высмеивал в трактате «Царство Божие внутри вас» — как раз в связи с их верой в победу над *силой* посредством международного *права*. Кроме того, наш просвещённый читатель наверняка вспомнит статью Л. Н. Толстого «Письмо студенту о праве» (1909), пусть и писанную через много лет после анализируемой, в которой Толстой практически разделяет скепсис М. И. Драгомирова в отношении правовой системы — именно по той причине, что за плечами «мирных» судей всегда стоят вооружённые люди. И временное расстояние до времени написания «Письма студенту о праве», в данном случае, отнюдь не показатель. В уцелевшем тексте «Garthago delenda est» есть место, доказывающее, что Лев Николаевич уже в этом, 1896-м, году держался в отношении «юридического обеспечения» справедливости тех же, обусловленных религиозной верой, скептических отношений. Прочитовав в статье, по публикации в «Новом времени», соответственный отрывок, Толстой ниже ворчит:

«И, очевидно воображая, что он открыл новость о том, что право держится насилем, и этим доказал необходимость, войны, генерал этот спокойно проповедует то, что ему хочется и нужно, именно зверство диких животных, которые зубами раздирают добычу» (39, 220).

Полагаем, что причина, по которой Льва Николаевича так жестоко «сорвало» в отношении довольно тривиальной болтовни в прессе, скорее всего, не в этом очерке «Нового времени», а в *репутации* генерала в глазах Толстого, сложившейся задолго до знакомства с этим номером газеты. На негативное отношение повлиял отчасти другой «шедевр» Драгомирова — уже выше упоминавшаяся нами, широко известная в то время «Памятка» для солдат.

Толстой противопоставляет Драгомирова ностальгически вспоминаемому им старшему поколению, своим, в 1850-е годы, начальникам на военной службе:

«За 40 лет тому назад военные писатели, следя за всем тем, что делалось в Европе, писали о том, как уничтожить войну, или как по крайней мере сделать её менее жестокой.

[...] 30, 40, 50 лет тому назад такие статьи <как статья Драгомирова в «Разведчике»> были невозможны. Ещё менее возможны были такие руководства для солдат, сочинения того же автора, которые теперь распространяются между ними» (39, 219 – 220).

Это драгомировская «Памятка», и она, подчёркивает Толстой, «вся ужасна». Вот процитированные, избранные Толстым два отрывка:



«Сломится штык — бей прикладом; приклад отказался — бей кулаками; попортил кулаки — вцепись зубами. Только тот бьёт, кто отчаянно, до смерти бьётся.

Трое наскочат: первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун. Храброго бог бережёт.

Умирай за веру православную, за царя батюшку, за святую Русь. Церковь бога молит. Погубящий душу свою, обрящет её». (Мало ему своё — он Евангелием хочет подтвердить своё зверство.) «Кто остался жив, тому честь и слава».

И, наконец, заключение:

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, справедливу, благочестиву. Молись богу! От него победа! Чудо-богатыри! Бог вас водит, он вам генерал!» (*Там же. С. 220*).

С точки зрения Л. Н. Толстого, Драгомиров в «Памятке» для солдат кощунствует не только против разума человеческого, отказывая солдату в праве на поведение свободного и разумного от Бога существа, а не послушного военного раба, машины смерти, исполняющей команды манипуляторов. Кощунствует он и против самого Бога (даже во всех его «ипостасях», в которые верят поклонники церквей), называя Бога «генералом», то есть вожаком покорной солдатни. Эмоциональная, «бравая» ложь, цинично и нагло отрицающая евангельские истины!

«И это кощунственное бешеное сочинение, которое мог произвести только мерзкий и пьяный человек, развешено во всех казармах, и все молодые [люди] во всей христианской России, поступавшие на службу, должны изучать это сочинение и верить ему» (*39, 221*).

Напомним читателю, что в окончательных вариантах статей Толстой обыкновенно смягчал публицистический накал эмоций. К сожалению, здесь в наше распоряжение остался только черновик. Кроме того, отвращение и гнев Толстого можно и нужно понимать: за этим заигрыванием с ограниченностью и эмоциями солдата (вспомним тут кстати стишки Поля Деруледа) великий яснополянский жизнелюбец чувал не только большую кровь надвигающегося столетия, но и волчье зло безбожников, большевиков. Недаром «в 1918 году в “Книжку красноармейца”, составленную Высшей военной инспекцией и утверждённую “как обязательную для всей Красной Армии”, В. И. Лениным был внесён целый раздел, состоящий из мыслей Суворова и Драгомирова» (*Бескровный Л. Г. М. И. Драгомиров // Драгомиров М. И. Избранные труды. М., 1956. С. 37*).

«Бог ваш генерал» — вещает солдатам в своей «памятке» генерал Михайло Иваныч Драгомиров. И современные подпутинские шлюхи в

рясах и казённо дипломированные интеллигенты — готовы его памятку признать и подписаться под его словами...

Нет! врётё, врётё, господа! Слово «генерал» этимологически восходит к латинскому *generalis* – «общий», «всеобщий», «главный», «стоящий над всеми», образованному, в свою очередь, от *genus* — «род», «родовой». То есть — не Бог это, а вожак вооружённых и с кем-то вечно воюющих родичей из одной пещеры, одного стойбища, одной первобытной стаи... По толстовской концепции жизнепониманий, уже евреи и римляне возвысили своё отношение друг к другу, к миру и к Началу его в Боге до предела совсем иного, высшего жизнепонимания: единого государства с бессчётным числом таковых родственных кланов и общим для всех войском. В наше время, в XX – XXI веках, наследники этого архаического жизнепонимания оперируют понятиями с размытой, лукавой семантикой – «единая нация», «германская нация», «советский народ», «российский народ»... всё на том же уровне понимания «единства», давно пережитого лучшими людьми человечества.

Но обретение веры Христовой, высшего, христианского, жизнепонимания — это ведь новое *рождение*, «свыше». И не только первобытные «родственники», но и «родное» государство с его фантазированием платных и добровольных интеллигентских шлях о «всечеловеческом призвании» только обитающей на его территориях «нации», о «мировом влиянии» и пр. — исчезают для христианина. Невозможно воскресить в сознании человека того, что уже обличило для него всю свою опасность, ложность, вред и просто ненужность для жизни и земных трудов — не раба князей мира, а сознательного сына Бога, работника, служащего словами и поступками для осуществления Божьего замысла о мире и о нём самом, известного как по христианскому, так и по другим чистым, первоначальным религиозным учениям.

Но не в одном талантливом защитнике древней дикости М. И. Драгомирове дело, и не против него одного суд Бога, Иисуса и Льва. Судя по тем же уцелевшим отрывкам, статья Толстого была задумана в более широком плане. Исправляя статью, Толстой постепенно сокращал и изменял и её содержание. Первоначально статья началась с цитаты из речи французского писателя, основателя (в 1867 г.) и первого руководителя Международной лиги мира *Фредерика Пасси* (*Frédéric Passy*; 1822 – 1912) «Вооружения будущего», произнесённой им в 1895 г. «в большом собрании» в Париже. Речь Пасси была горячим протестом против военщины. Толстой назвал её «прекрасной». Комментируя эту речь, он отмечал, что «лучшие люди европейского общества» уже понимают «всю преступность войны», но

вместе с этим указывал и на то, что взгляды большинства *военных* людей стали «более грубы и нелепы».

Нецензурность и актуальность для России данной статьи именно в том, что она поднимает тему нравственной *деградации* в среде военного сословия в государствах, не изживших варварского, имперского и церковного лжехристианского наследия, балующихся (как Германия в прошлом или Россия до сего дня) идейками гонки вооружений, милитаризации, военной мощи, реванша, великих побед и мирового влияния. Одно с другим тесно связано: военщина, как и полицейщина, чуя поддержку «верхов» и фактическую безнаказанность, неизбежно ожесточается и нагнет.

Толстой приводит в пример пару из множества возможных примеров такой деградации морали и даже интеллекта в среде правительственных «силовики»:

«Почти в одно и то же время в двух самых военных государствах — в Германии и в России — совершены офицерами возмутительные преступления: в Германии пьяный офицер убил беззащитного человека под предлогом оскорбления мундира. В России компания пьяных офицеров тоже под этим предлогом с помощью солдат, врываясь в дома, грабила и секла беззащитных жителей.

Убийство, совершённое немецким офицером, произошло при следующих обстоятельствах:

«11-го октября, вечером, в кафе-ресторане “Тангейзер”, который был переполнен народом, сидели два молодых лейтенанта местного гренадёрского полка фон-Брюзевиц и фон-Юнг-Штилинг. Около 12 часов ночи в залу вошли два штатских с двумя дамами и сели за столик около лейтенантов.

Один из штатских, механик Зипман, задел своим стулом стул, на котором сидел лейтенант фон-Брюзевиц. Лейтенант счёл себя оскорблённым и потребовал, чтобы Зипман перед ним извинился, на что тот возразил, что он и не думал оскорблять лейтенанта. Тогда фон-Брюзевиц выхватил шпагу и хотел ударить ею Зипмана, но был остановлен хозяином ресторана и кельнером, что дало возможность Зипману скрыться.

— Теперь моей чести капут. Я должен подавать в отставку! — воскликнул лейтенант, выходя из кафе, но, узнав от полицейского, что господин, похожий на Зипмана, не выходил на улицу, снова вернулся в кафе, надеясь найти там своего обидчика и вернуть свою честь. Действительно, он увидел там Зипмана и бросился на него с обнажённой шпагой, несмотря на то, что безоружный механик, убегая от офицера, усиленно просил у него извинения.

Произошла отвратительная сцена: среди оцепеневших мужчин и кричавших в ужасе женщин храбрый лейтенант гонялся за убежавшим механиком и, наконец, нагнав его в углу двора, уложил на месте ударом шпаги. Опуская окровавленную шпагу в ножны, офицер с чувством удовлетворения произнёс: «Ну, теперь моя честь спасена!»

Поступок русских офицеров ещё отвратительнее: Пьянствующие офицеры вывел из терпенья толпу, над которой они издевались, и одного из этих пьяных офицеров прибили и сорвали с него погоны. Офицер собрал товарищей и солдат и с этой командой пошёл по домам евреев, врываясь в них, грабя жителей и отыскивая несчастные погоны. Погоны найдены были на мельнице, и тут начались истязания хозяев мельницы, истязания, кончившиеся смертью, как говорят некоторые. То, что сущность дела такова, — в этом не может быть сомнения; подробности же могут быть неверны, и поправить их нельзя, потому что всё это дело старательно было скрыто от всего русского общества. В газетах было только известие о том, что разжаловаются в солдаты неизвестно за что двенадцать офицеров» (39, 217 – 218).

В советском толстоведении, всего-то лет 40 – 50, и более, тому назад, очень любили вспоминать статью Толстого «Carthago delenda est» 1896 года именно в связи с этими, рассказанными в ней, историями. И совершенно не коробило авторов это сопоставление офицерства «милитаристской» Германии и России: ведь речь шла о *той* России, времён «проклятого царизма», буржуазного милитаризма, царства военщины и полицейщины... а не о «самом мирном во всём мире» СССР.

Да, за последние полвека смыслы изменились и стали для нас даже злободневнее... Толстой особо подчёркивает, что правительства Германии и России оказались едины в своём желании замолчать, *скрыть* и даже *оправдать* преступления своих военнослужащих. Русское — просто воспользовалось невежеством, равнодушием, стадной быдлатностью большинства обитателей своей гостерритории. В Германии же, где мог всё же возникнуть некоторый общественный резонанс, император Вильгельм Второй, «который всегда пропускает случай смолчать и никогда не пропускает случая сказать глупость», оправдал своего верного свинтуса Брюзевица, заявив, что «если оскорблена честь мундира, то военный должен помнить, что оскорблён этим сам император, и они, офицеры, должны немедленно и основательно пустить в ход своё оружие» (Там же. С. 218).

Что изменилось с той поры? Лишь то, что в путинской России, пропитанной ещё с середины XX столетия миазмами ГУЛАГа и криминальной среды, теперешний военный, полицейский чин, депутатик, чиновник или даже кто-то из их родственничков и знакомых, может смело и с уверенностью в безнаказанности украсть, прибить в драке, переехать насмерть автомобилем или иным способом убить человека — даже не за честь свою, которая для этих существ уже только пустое слово, а — «по понятиям» (впитанным их мозгами, может быть, ещё в детстве, в гоп-компаниях каких-нибудь ленинградских качалок и подворотен), спяну или сдуру, «по ходу жизни»...

«Хотя при системе молчания и требовании всеобщего молчания о всём том, что важно и интересно обществу, мы не знаем, что именно было сказано властями по этому случаю, мы знаем, что сочувствие высших властей на стороне этих защитников мундира и что поэтому-то и не были судимы эти преступники, и наказание им назначено то, которое обыкновено очень скоро прекращается прощением и возвращением прежнего звания» (*Там же. С. 218*).

Да, это всё же не про современную раковую опухоль на теле Земли, не про путинскую Россию пишет Лев Николаевич Толстой. Про более честный, даже нравственный XIX-й век. В путинской гадине — не только звания возвращают, но и повышают в оном!..

Нравственный прогресс человечества для Толстого — аксиома. Людям неизбежно или погибнуть, или прийти к высшему пониманию жизни, высшей этике, к истинно разумной, достойной человека, общей жизни.

И люди выбирают жизнь, даже не всегда и не все сознательно. Христиане — сознательно выбирают это же: мирную, любовную, братскую жизнь и совершенствование во Христе.

При этом лучшие, передовые люди, а за ними, по доверию к этим нравственным авторитетам, и всё человечество, утверждаясь в новом религиозном понимании жизни, новых отношениях с другими людьми, с природой, с Богом, уже не могут ни в обыденной, ни в профессиональной своей жизни совершать некоторых поступков, исполнять некоторые социальные роли.

В частности, такие люди — и их становится всё больше и больше — не идут на службу в пресловутые «силовые структуры»: в полицию, в войско... Тем более, человек, для которого *вера Христа жива*, то есть руководит в мельчайшей его повседневности его помыслами и поступками, не закабалит себя в военное рабство, в солдатчину никаким «контрактом» или иным обязательством.

Вот почему в обществах, отсталых от всечеловеческого религиозно-нравственного прогресса, на государственной службе неизбежно, от поколения к поколению, будут оказываться:

а) кадры наиболее наивные, поддающиеся правительственным обманам и приманкам и, главное,

б) наиболее жестокие, грубые, склонные к насилию, безнравственные люди.

Толстой констатирует, что в российском обществе, как и во всём медленно и неизбежно охристианивающемся мире, совершились процессы, подобные химической реакции разложения:

«В обществе совершилось разделение: лучшие элементы выделились из военного сословия и избрали другие профессии; военное же сословие пополнялось всё худшим и худшим в нравственном отношении элементом и дошло до того отсталого, грубого и отвратительного состояния, в котором оно находится теперь. Так что на сколько более человечны, и разумны, и просвещённые стали взгляды на войну лучших не военных людей европейского общества и на все жизненные вопросы, на столько более грубы и нелепы стали взгляды военных людей нашего времени как на вопросы жизни, так и на своё дело и звание» (Там же. С. 218 – 219).

Обратим внимание: речь именно о *нравственной* отсталости — от общего охристианения общества, от возрастания людей европейской цивилизации к потребности разумных детей Бога, Божьих в мире работников — потребности в мире, единении и любви. Такая отсталость не мешает генералу Драгомирову быть и весьма умным и даже обаятельным в *свете* человеком!

И снова — писано как будто про сегодняшних, февраля 2023 года, распорядителей и рядовых участников палаческой агрессией путинского режима в Украине:

«Теперь для того, чтобы быть военным, человеку нужно быть или грубым, или непросвещённым в истинном смысле этого слова человеком, т. е. прямо не знать всего того, что сделано человеческой мыслью для того, чтобы разъяснить безумие, бесполезность и безнравственность войны и потому всякого участия в ней, или нечестным и грубым, т. е. притворяться, что не знаешь того, чего нельзя не знать, и, пользуясь авторитетом сильных мира сего и инерцией общественного мнения, продолжающего по старой привычке уважать военных, — делать вид, что веришь в высокое и важное значение военного звания» (Там же. С. 219).

Единственное спасение для людей — ненасильственное скорейшее разрушение этого сцепления лжи и зла: отказом от любой, даже сло-

весной, поддержки его, от пользования правительственным насилием (не говоря уж о поступлении на службу), от всяких оправданий существования любых государств и правительств.

Если держится ещё этот Карфаген (и не одной военщины, которую бичует в статье Толстой, но всех ходячих мирских идолов, всех распорядителей *чужих* жизней и судеб) – то только лишь недоразумением обманутых с детства государственными и поповскими суевериями людей.

Надо помочь «химической реакции» в обществе:

«Вонючий газ должен быть уничтожен. Точно так же и военное сословие, выделившись из общей жизни, стало отвратительно и должно быть уничтожено. [...] Люди эти, очевидно, составили вокруг себя удушливую, вонючую атмосферу, в которой живут и в которую не проникает тот свежий воздух, которым дышит уже большинство людей. Очевидно, люди эти не допускают до себя этот свежий воздух и, по мере распространения его, сгущают вокруг себя свою вонючую атмосферу. До них никак не доберёшься. [...] И что ужаснее всего, это то, что эти самые люди имеют власть, силу над другими людьми... Как же быть? Какое средство для того, чтоб уничтожить это? А средство есть только одно: уничтожение той атмосферы уважения, восхваления своего сословия, своего мундира, своих знамён и т. д., за которыми скрываются эти люди от действия истины» (*Там же. С. 221 – 222*).

Всякие реформы, бунты или революции, всякие попытки внешней деструкции ветхого, отжитого устройства жизни — тщетны, пока не разрушена в головах, в массовом сознании оправдывающая и освящающая его существование идеологическая матрица. Наша брань должна быть не против плоти, а против лжей века сего: не традиционная, а идейная война против слуг сатаны, слуг зверя (низшего, атавистического, звериного в человеческой природе). Вот это главное, что завещает нам и уже нашему веку исповедник Христов, яснополянский и всерусский и всемирный старец и учитель, Лев Николаевич Толстой.

---

## 6. 7. «CARTHAGO DELENDI EST» (О милитаризме). 1898.

Средство для того, чтобы не было войны, состоит в том, чтобы не воевали те, которым не нужна война, которые считают грехом участие в ней.

(Лев Николаевич Толстой)

В конце марта или в начале апреля 1898 г. Толстой получил циркулярное письмо, составленное совместно двумя издательствами: «La Vita Internazionale» (Милан) и «L'Humanité Nouvelle» (Париж). Издатели обратились к всемирно известным деятелям, в том числе к Толстому, с анкетой о войне и милитаризме. с вопросами об отношении к «войне и милитаризму»:

«...Мы просим всех людей, занимающих видное место в Европе в области политики, науки, искусства, в рабочем движении и даже среди военных, присоединиться к этому высокоцивилизаторскому делу и прислать нам ответы на следующие вопросы:





1. — Требуют ли войны между цивилизованными народами история, право, прогресс?

2. — Каковы последствия милитаризма — интеллектуальные, нравственные, физические, экономические и политические?

3. — Каковы должны быть решения вопросов войны и милитаризма для пользы будущего всемирной цивилизации?

4. — Каковы средства, ведущие скорейшим путем к таким решениям?» (39, 197).

Письмо было подписано директорами издательств, одним из которых был известный в свою эпоху *Эрнесто Теодоро Монета* (итал. Ernesto Teodoro Moneta, 1833 — 1918), известный общественный деятель, впоследствии лауреат Нобелевской премии мира. Участник «восстания пяти дней» и войны Пьемонта, соратник Гарибальди в 1860-е годы, Монета, оставив военную службу, занялся журналистикой. Ещё в 1892 г. Толстой одобрительно отзывался о его усилиях в защиту международного мира, наверняка не зная, что Монета колебался между пацифизмом и итальянским национализмом (в последние годы жизни он был именно националистом).



Эрнесто Теодоро Монета

Вторая подпись принадлежала некоему А. Намон. Оба просили ответить на поставленные вопросы не позднее 25 апреля н. с. 1898 г.

Толстому ответ был более чем ясен. Совсем недавно, около 24 января (6 февраля н. с.), на просьбу неутомимой Берты фон Зуттнер, просившей о «нескольких строках» к международному дню пацифистов (22 февраля н. с.), Толстой ответил чеканными формулировками обращения к «друзьям мира»:

«Одно только я хотел бы сообщить друзьям мира, следовательно нашим друзьям, что единственное средство достигнуть цели, которую мы преследуем, состоит в том, чтобы не принимать никакого участия, даже самого отдалённого, во всём, имеющем какое бы то ни было отношение к войне, и что самое действительное средство продолжать настоящий порядок вещей состоит в компромиссах с своей совестью и в уверенности, что наши речи и наши писания могут произвести какое-либо действие, если наши поступки им не соответствуют. Освобождение людей от военного рабства не может исходить ни от коронованных особ, ни от писателей, а от духовенства, которое должно привести всю жизнь в соответствие со своею совестью. Но это будет только тогда, когда люди сознают своё человеческое достоинство, что возможно только при верном понимании религиозной жизни. Милитаризм — только симптом болезни. Если болезнь (отсутствие религии или ложная религия) исчезнет, вместе с другим злом исчезнет и милитаризм» (71, 272).

Ответные письма Толстого к Ernesto Moneta и A. Namon не сохранились, однако из их последующих писем явствует, что Толстой писал им. Так, Намон в письме от 30 апреля н. с. сообщает о получении письма Толстого и благодарит за обещание прислать статью, при этом оговариваясь, что «долго не отвечал» на письмо Толстого потому, что «был в отсуствии». То же писал и Moneta в письме с почтовым штемпелем получения 20 апреля 1898 г.

К работе над статьёй Толстой приступил, по-видимому, в начале апреля, С. А. Толстая 6 апреля 1898 г. записала в дневнике: «Л. Н.... утром писал о войне»; а 11 апреля 1898 г. Толстой сообщил Э. Кросби, что он пишет статью, «озаглавленную Carthago delenda est» (ДСАТ – 1. С. 372; 71, 353). В Дневнике же 12 апреля, отмечая события с 21 марта, Толстой записал: «Занятия Carthago delenda est.... Работал довольно мало» (53, 189).

Уже около 19 – 20 апреля Толстой предлагает эту статью («об отказах от военной службы») П. И. Бирюкову в подготовлявшийся им совместно с В. Г. Чертковым в Англии первый номер сборника «Свободное слово» (см. 71, 358). Очевидно, к 20 апреля статья уже была в основном закончена и только требовала некоторой отделки. Окончательно статья была подписана 23 апреля. 27 апреля в имени

своего сына Ильи Львовича Гринёвке, Толстой записал в Дневнике: «За последнее время в Москве всё кончал Carthago delenda est. Боюсь, что не кончил, и она ещё придёт ко мне. Хотя порядочно» (53, 191).

\* \* \* \* \*

Вероятно, вскоре после окончания статья была послана в Англию для первого номера сборника «Свободное слово» и одновременно в Италию — в «La Vita Internazionale» и во Францию — в «L Humanité Nouvelle».

Посылая статью в указанные журналы, Толстой, по-видимому, сомневался в том, что она по содержанию удовлетворит редакции этих журналов. Среди рукописей статьи сохранился первый лист рукописи, которая, очевидно, готовилась к отправке в какой-нибудь из этих журналов. В начале этого листа над текстами статьи помещено письмо Толстого:

«М. Г.

Мнение моё насчёт предложенных вами вопросов таково, что оно едва ли подойдёт к направлению вашего издания. На всякий случай, прежде чем послать это моё писание в какой-либо другой журнал, посылаю его вам для напечатания, если вы найдёте таковое согласным с вашими желаниями» (39, 251).

Уцелевший черновик писан аккуратной лапкой переписчика, но потом вдрызг исчёркан Толстым. Возможно, что письмо было переведено им на французский язык и весь лист был переписан ещё раз и уже в переписанном виде вложен в отправленную рукопись. Чертков, по получении рукописи статьи, в письме от 17 мая н. с. 1898 г. писал Толстому, что находит статью «сильной и неопровержимой», и лишь указывал на одно место, где говорится «о выгоде» отказа от военной службы, с которым он не согласен. К письму он приложил выписку из статьи со слов: «но отказывающимся нет никакого основания» и кончая словами: «уже будет наказывать» (см. стр. 201 – 202, строки 37 – 25 в томе 39 Полного (Юбилейного) собрания сочинений) с внесёнными им поправками. Толстой просмотрел эту выписку, зачеркнул поправки Черткова, и лишь в некоторых местах, подумав, таки внёс предлагаемые верным и преданным другом исправления.



Журнал «La Vita Internazionale» в 1898 г.

Скепсис Толстого на этот раз не вполне оправдался. Впервые статья была напечатана за границей, в № 1 газеты «Свободное слово» (Christchurch, Hants), 1898, стр. 6 – 17 (на русском языке); а затем, уже в переводе на итальянский язык, в благодарном журнале «La Vita Internazionale», в номере от 20 сентября н. с. 1898 г. На «родине», в России статья была напечатана только в 1906 г. в изд. «Обновление», да и то сразу конфискована. В 1911 г. она включалась в девятнадцатую часть Сочинений Л. Н. Толстого, изд. 12-е, М. 1911, но книга эта также была конфискована.

«Мытарства» статьи этим не ограничились. Эрнесто Теодоро Монета в июле поблагодарил в письме Толстого за статью, а в сентябре главный редактор Алессандро Тассони извещал «с сожалением»: «Ваша статья “Carthago delenda est”, которую наш журнал напечатал в номере от 20 сентября, была конфискована миланским прокурором вместе со всем выпуском журнала... Как видите, в Италии также нет свободы печати, особенно в настоящее время, после недавних волнений» (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С 503 – 504. Подлинники писем — по-французски*).

Хотя статья «Carthago delenda est» написана через два года после окончания позорной для Италии итало-абиссинской войны и в ней

не упоминаются события этого военного конфликта, она была воспринята в связи с этими событиями.

В Милане состоялось судебное разбирательство, которое, правда, журнал выиграл. Тассони послал Толстому последний оставшийся после конфискации номер журнала, и статью из газеты «Secolo»: «Толстой и журнал “Vita Internationale” оправданы»:

«Свидетели с поразительной ясностью и очень подробно рассказывали о предпринятом журналом обсуждении, объяснив, что такие обсуждения и опросы составляют ныне необходимую часть в политических, научных и литературных органах печати» (*Там же. С. 504*).

Вряд ли в современной путинской, фашиствующей России удалось бы такими аргументами отстоять права прессы!

Защитники (профессора в их числе) говорили на суде:

«Лев Толстой сияет как солнце; солнце иногда обжигает, но кто же дерзнёт с ним спорить!»

«Это человек такой высоты, что наш ум едва может его понять. Слава его всемирна, его уважают и почитают даже в России, даже царь уважает его. Критиковать произведения этого великого ума было бы святотатством со стороны журналистов».

Блестящим и убедительным было показание Джузеппе Джакоза:

«Всякий, кто думает о прогрессе человечества, оказывается в какой-то момент нарушителем законов. Но благородство целей, объективность и возвышенный тон исключают оскорбление законов».

Отвечая на вопрос председателя суда, Джакоза сказал: «Если бы Толстой прислал мне что бы то ни было, им написанное, я, редактор журнала, ухватился бы за творение Толстого и немедленно напечатал бы его, да ещё с какой гордостью!

Толстой — это вершина человечества, самый великий человек на земле!» — добавил свидетель и сделал очень краткий, но чрезвычайно убедительный обзор творчества Толстого, показав, что мысли, высказанные в инкриминируемой статье, повторяются в большинстве его произведений, имеющих свободное и широчайшее распространение в России, где никто, однако, никогда не пытался подать на Толстого в суд. (Зато соотечественники не раз желали убить его или заточить без суда в тюрьму, о чём Джакоза, конечно же, умолчал.)

В заключение Джакоза сказал, отвечая на вопрос защитника Ронкетти: «Если бы состоялся суд над Львом Толстым, весь ученый мир сказал бы только, что власти, устроившие его, приобщились к бессмертной славе». (Общий смех, аплодисменты.) (*Там же. С. 505*).

Стоит, однако, подчеркнуть, что под судом был журнал, а не лично Толстой, и, в конце концов, отстоять его права удалось, лишь доказав,

что «направление» издания никак не коррелирует с убеждениями Толстого:

«Профессор де Марки, придерживающийся иных политических убеждений, чем редактор “Vita Internationale”, является сотрудником этого журнала, исполненного истинно научного духа и возвышающегося над всеми враждующими партиями, представляющего, как сказал профессор перед судом, открытое поле для высказывания любых серьёзных, высоких и благородных мыслей и мнений.

По поводу публикации ответов на вопросы журнала все три свидетеля высказались в том смысле, что было бы невежливо не помещать ответ лица, приглашённого высказать своё мнение, хотя бы это мнение и не соответствовало точке зрения журнала.

Система подобных опросов, сказал профессор Баравалле, даёт возможность собрать ценнейший материал для науки в виде высказываний мыслителей и философов по животрепещущим вопросам гражданской жизни, мнения выдающихся людей, которые навсегда сохранятся в архивах человеческого прогресса» (*Там же. С. 504 – 505*).

Как говорится — отмазались, и лады... Суд снял запрет с журнала, конфискованный номер поступил в продажу. Но Толстой оказался всё же прав, когда в наброске письма к иностранному издателю (и, вероятно, в окончательном, отправленном адресату варианте — тоже) высказал неуверенность в том, что его мнение «подойдёт к направлению издания» (39, 251). Только это общее «направление» и спасло издателя от крупного штрафа, а выпускающего редактора — от тюрьмы.

В письме из Милана от 13 ноября Монета был «счастлив» сообщить об этом Толстому и даже просил прислать «в недалёком будущем» какую-нибудь из его «прекрасных гуманных статей». «Я счастлив за свою страну, — подчеркнул Монета, — не посрамившую себя перед цивилизованным миром осуждением идей Льва Толстого» (*Там же. С. 506*).

Оставим нашему читателю догадаться, что бы этот, как и Лев Николаевич, искренний даже в своих заблуждениях, живой, прекрасный человек сказал бы о современной путинской России, где в 2022 году осуждают и журналы, и книги, и людей не только за цитаты из антимилитаристских писаний Толстого, но даже за лозунг «нет войне!»

Если Толстой стремился поставить войну вне закона, то милитаристы, ответили ему попыткой объявить вне закона его самого и его антивоенный протест — и проиграли. В этом состоит исторический смысл суда в Милане.

Но Лев Николаевич уверен был: «... справедливость моих мыслей будет — если и не сейчас, то со временем — признана всеми» (71, 389). И нам остаётся разделить с Львом Николаевичем эту благородную надежду.

\* \* \* \* \*

Открывается статья цитированием (на французском) циркулярного письма господ газетчиков, за которым следует, без обиняков, заслуженная ими реакция Льва Николаевича Толстого:

«Не могу скрыть того чувства отвращения, негодования и даже отчаяния, которое вызвало во мне это письмо. Люди нашего христианского мира, просвещённые, разумные, добрые, исповедующие закон любви и братства, считающие убийство ужасным преступлением, неспособные, за самыми редкими исключениями, убить животное, все эти люди вдруг, при известных условиях, когда эти преступления называются войной, не только признают должным и законным разорение, грабёж и убийство людей, но сами содействуют этим грабежам и убийствам, приготавливаются к ним, участвуют в них, гордятся ими» (39, 198). Труды рабочего народа ограбляются на приготовления к войнам, а сами халтурящие, негодные правительства не только не уводят своих граждан от опасности войны, но самой этой гонкой вооружений и ссорами подводят себя к её неизбежности. При этом «незначительное меньшинство, живущее в роскоши и праздности на труды рабочих» отнюдь не спешит испытать эти вооружения на себе, а вводит всеобщую военную повинность, устраивает мобилизации — того же самого, обманутого и ограбленного народа. Казалось бы, дело любых заботников о «мире» должно состоять, в первую голову, в том, чтобы «разоблачить обман, в котором находятся массы, указать массам, как совершается обман, чем он поддерживается и как освободиться от него». Но ничуть ни бывало! Вместо того они задают «глубокомысленные» вопросы: «первый о том, требует ли [...] войны история, право, прогресс, как будто выдуманные нами фикции могут требовать от нас отступления от основного нравственного закона нашей жизни; второй вопрос — какие могут быть последствия войны, как будто может быть какое-нибудь сомнение в том, что последствиями войны всегда будут всеобщее бедствие и всеобщее развращение; и, наконец, третий вопрос, как разрешить проблему войны, как будто существует какая-то трудная проблема о том, как освободить обманутых людей от того обмана, который мы ясно видим» (Там же. С. 198 – 199).

Толстой остроумно сравнивает надуманность и фальшь таких вопросов с “проблемой” о том, как разлучить игроков с рулеткой или пьяниц с бутылкой:

«Если человек пьянствует, и я ему скажу, что он может сам перестать пьянствовать и должен сделать это, то есть надежда, что он меня послушается; но если я скажу ему, что пьянство его составляет сложную и трудную проблему, которую мы, учёные люди, постараемся разрешить в наших собраниях, то все вероятия за то, что он, ожидая разрешения проблемы, будет продолжать пьянствовать» (Там же. С. 200).

Аналогично, отставив лицемерие «просвещённых друзей мира», можно бы было нанести удар по надежде правительств разрешать халтурно, дракой, те задачи, для которых им можно и нужно, чтобы оправдать своё существование, отыскивать мирные решения:

«Для того, чтобы люди, которым не нужна война, не воевали, не нужно ни международного права, ни третейского суда, ни международных судилищ, ни разрешения вопросов, а нужно только людям, подлежащим обману, очнуться, освободиться от того *spell*, от того околдования, в котором они находятся. Средство для того, чтобы не было войны, состоит в том, чтобы не воевали те, которым не нужна война, которые считают грехом участие в ней. Средство это проповедывалось с древнейших времён христианскими писателями — Тертуллианом, Оригеном, проповедывалось павликианами и продолжателями их менонитами, квакерами, гернгутерами; про средство это писали Даймонд, Гаррисон, Балу; вот уже скоро 20 лет тому назад и я всячески разъяснял грех, вред и безумие военной службы. Средство это и применялось уже давно и в последнее время стало особенно часто применяться как отдельными лицами в Австрии, Пруссии, Швеции, Голландии, Швейцарии, России, так и целыми обществами, как квакеры, менониты, назарены и в последнее время духоборы, целое пятнадцатитысячное население которых вот теперь уже третий год борется с могущественным русским правительством, несмотря на все страдания, которым их подвергают, не уступая ему в его требованиях участия в преступлениях военной службы.

Но просвещённые друзья мира не только не предлагают это средство, но терпеть не могут упоминания о нём, и когда слышат про него, то делают вид, что не замечают, или если и замечают, то с важным видом пожимают плечами, высказывая сожаление о тех необразованных и неразумных людях, употребляющих такое недействительное, глупое средство, когда у них есть такое хорошее, состоящее в том, чтобы посыпать соли на хвост той птицы, которую хочешь поймать, т. е. уговорить правительства, живущие только насилием и



обманом, отказаться от этого насилия и обмана» (Там же. С. 200 – 201).

Халтурные, то есть милитаристские и не умеющие без войны, правительства, чтобы оправдать выгодное своё положение при существующем строе, подразумевающим решение вопросов дракой — не разрешают, а, напротив, создают и провоцируют всё новые недоразумения. Грех поддерживать их: грех *обличаемый*, который в современных обществах не следует молча терпеть. А вот поддерживать отказников от «призыва» в армию — можно и нужно: «каждый отказ подрывает тот престиж обмана, в котором правительства держат людей» (Там же. С. 201). И ни в коем случае не следует, особенно в перспективах войны, пропаганду отказов воспринимать как призывы к мученичеству:

«Отказываясь от военной службы, всякий человек рискует гораздо меньше, чем он рискует, поступая на службу. Отказ от военной службы и наказание — тюрьма, изгнание есть часто только выгодное страхование себя от опасностей военной службы. Поступая на службу, всякий человек рискует тем, что он будет участвовать в войне, для чего он и готовится, и на войне попадёт в такое положение, в котором он, в самых тяжёлых, мучительных условиях, будет как приговорённый к смерти почти наверное убит или изувечен, как это я видел в Севастополе, где полк приходил на бастион, на котором уже было выбито два полка, и стоял там до тех пор, пока и этот новый полк был весь уничтожен. Другая, уже более выгодная случайность та, что поступивший не будет убит, но только заболеет и умрёт от нездоровых условий военной службы. Третья случайность та, что, получив оскорбление, он не выдержит, скажет грубость начальнику, нарушит дисциплину и подвергнется наказанию худшему, чем то, которому он подвергался бы, отказавшись от военной службы. Самая же выгодная случайность та, что, вместо тюрьмы или ссылки, которой подвергнется отказавшийся от военной службы, человек проведёт три или пять лет своей жизни в упражнении к убийству, в развратной среде и такой же неволе, как и в тюрьме, но только в унижительной покорности развратным людям.

...Подчинение требованиям военной службы есть, очевидно, только подчинение гипнозу толпы, есть совершенно бесполезное прыгание Панурговых овец в воду на явную гибель» (Там же. С. 201 – 202).

Панурговы овцы, или панургово стадо (*фр. mouton de Panurge*) — выражение, обозначающее группу людей, которая слепо подчиняется своему лидеру, копируя его поведение или повинуюсь его воле. При этом такая покорность может приводить к самым печальным

последствиям. Своим появлением «панургово стадо» обязано французскому писателю Франсуа Рабле. В четвёртой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле один из главных героев, Панург, поссорился с купцом по прозвищу Индюшонок (*фр.* Dindenault). После показательного примирения, устроенного по просьбе Пантагрюэля, Панург стал торговать у купца какого-то из его баранов. Заплатив требуемую цену, Панург выбрал из стада барана «самого красивого и крупного», и швырнул его в море. Вслед за вожакom и другие бараны, кричавшие и блеявшие ему в лад, начали по одному скакать и прыгать за борт. Пытаясь спасти своё имущество, утонул и сам Индюшонок.

Главное в краткий век человеческой жизни — увести себя и тех, кто послушает, как можно дальше от такого бараньего состояния. Развоевавшаяся тётя «родина» умеет быстро выжать, как лимон, и бросить инвалидом на «дожитие» человека, даже целые поколения своих порабощённых военным рабством граждан, а оттого надо спешить:

«Каждый человек не может не желать того, чтобы жизнь его не была бесцельным, никому не нужным существованием, а была бы служением Богу и людям. Часто человек проживает жизнь, не находя случая этого служения. Призыв к участию в военной службе есть этот случай, представляющийся каждому человеку нашего времени. Всякий человек, отказываясь от личного участия в военной службе, как призывающийся или как плательщик податей тому правительству, которое употребляет эти подати на военное дело, служит отказом этим великую службу Богу и людям, потому что этим отказом самым действительным способом содействует движению вперёд человечества к тому лучшему общественному устройству, к которому стремится и должно придти человечество» (*Там же. С. 202 – 203*).

Наконец, вспомнив, вероятно, аргументацию отказников Ван-дер-Веера и Сулержицкого, Толстой апеллирует и к нравственным табу сознания человека на более-менее продвинутом этапе «охристианения»:

«Для всякого человека есть поступки нравственно невозможные, столь же невозможные, как невозможны бывают действия физические. И таким нравственно невозможным поступком для огромного большинства людей нашего времени, если только человек свободен от гипноза, есть обещание рабского повиновения чуждым и безнравственным людям, заведомо имеющим целью убийство людей» (*Там же. С. 203*).

Без труда разоблачает Толстой и аргумент «к совестливости» отказников, состоящий в том, что вместо них придётся нести тяготы службы другим, а иначе — некому будет защитить мир и добрых лю-

дей от злых. Злые, отвечает Толстой, и самые хитроумно, продуманно злые — уже давно владеют христианским миром, и они-то подбивают народы к войне, включая провокации «диких» народов — которыми пугают своих, условно «цивилизованных». А главное, для человека, чьи разум и совесть просвещены истинным учением Христа, совершенно ясно, что «рассуждения о том, что может произойти вообще для мира от такого или иного нашего поступка, не могут служить руководством наших поступков и нашей деятельности».

[...] От того, что человек будет поступать так, как велит ему его разум, его совесть, его Бог, может выйти только всё самое хорошее, как для него, так и для мира» (*Там же. С. 203 – 204*).

Ещё задолго до знаменитой одноименной статьи 1904 г. Толстовское «опомнитесь!» рефреном прозвучало в ряде его публикаций — причём, надо подчеркнуть, с логической привязкой не к пресловутому «обличению войны», а — к христианской проповеди. Звучит этот призыв, тоже в контексте религиозного слова к современникам, и в данной статье, завершая её:

«Опомнитесь, братья, не слушайте вы ни тех злодеев, которые с детства заражают вас дьявольским, противным добру и истине, духом патриотизма, нужным только для того, чтобы лишить вас и вашего имущества, и вашей свободы, и вашего человеческого достоинства, ни тех старых обманщиков, которые проповедуют войну во имя бога, ими выдуманного, жестокого и мстительного, и извращённого ими лживого христианства, ни ещё менее этих новых саддукеев, которые во имя науки и просвещения, желая только продолжения существующего порядка, собираются на собрания, пишут книги и говорят речи, обещая устроить добрую и мирную жизнь людям без их усилия. Не верьте им. Верьте одному своему чувству, говорящему вам, что вы не животные и не рабы, а люди свободные, ответственные за свои поступки и потому не могущие быть убийцами ни по своей воле, ни по воле распорядителей, живущих этими убийствами. И стоит вам только опомниться, чтоб увидеть весь ужас и безумие того, что вы делали и делаете, и, увидав, перестать делать то зло, которое вы сами ненавидите и которое губит вас».

А перестанете делать зло, которое сами ненавидите, и исчезнут сами собой, без вашего усилия, как совы от дневного света, те теперь властвующие обманщики, которые сначала развращают, а потом мучают вас, и сложатся сами собой те новые человеческие, братские условия жизни, которых жаждет уставшее от страданий и измученное обманом, завязшее в неразрешимых противоречиях христианское человечество.

Пусть только каждый человек без всяких хитроумных и сложных соображений и предположений исполнит то, что ему в наше время несомненно говорит его совесть, и он узнает справедливость слов евангелия: “Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю”» (Иоанн. VII, 17» (*Там же. С. 204 – 205*).

\* \* \* \* \*

В связи с тем, что именно эта статья была окончена Толстым и отдана в печать и была последней из одноимённых статей Толстого, именно её исследователи склонны считать «вершиной» его антивоенного цикла «*Carthago delenda est*». На деле, полагаем, каждое из выступлений Толстого с таким именованием — 1889-го года (вместе с «Воззванием»), 1896-го и 1898-го — самоценно и отлично по главенствующей тематике. И как раз статья 1898 года — самая *неоригинальная* из трёх, так как она повторяет многое, уже сказанное ранее Толстым неоднократно, начиная с трактата о «Царстве Божием внутри вас».

Черновики 1889 года, к примеру, свидетельствуют о тех ранних размышлениях Толстого о судьбах цивилизации и существующего устройства жизни, которые в окончательных формулировках предстают нам только в его статьях 1905 – 1906 и последующих лет («Конец века», «О значении русской революции»), вплоть до последней крупной работы Толстого-публициста – «О социализме» (1910), отринувшей суеверие социалистического «переустройства» общества именно как порождение мышления, порабощённого заблуждениями западной садо-некрофильской цивилизации, имеющей фундаментом организованное насилие военщины, революционеров и навязчивых прожектёров «социальных реформаторов».

«*Carthago delenda est*» 1896 года — обличение нравственной гнили людей, связавшей себя военной службой в России и других странах, управляемых правительствующим аппаратом имперского социодискурсивного типа, вредным и асоциальным по своей исконной сущности: неумело, неумно, но навязчиво (как «медведь на воеводстве») халтурящим в управлении страной; часто грубо-невежественным, особенно на уровне мелких прислужников-исполнителей и распорядителей на местах; главное же — не уважающим граждан как равных и не доверяющим им и полагающимся в своей преступной и безбожной деятельности главным образом на обман (попы, журналюги, разные платные интеллигенты) и насилие, красиво именуемое «необходимым принуждением» (полицай, военщина).

И, наконец, идейное содержание и даже образный строй «Carthago delenda est» 1898 года многожды пересекаются с ранее (1890 – 1893 гг.) написанным Л. Н. Толстым огромным религиозным и антивоенным трактатом «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», выше подробно нами представленным.

Подкупленная путинскими денежками и статусами, положеньицем в академической среде, грантами и пр. современная интеллигентская сволота от толстоведения сочинила о Толстом немало дурилок-мифов. Или — воскресила старые. Так, в частности, московская исследовательница Ирина Петровицкая на своём сайте (нынче, в 2023 году, уже дохлом, как и сама Петровицкая), на сайте-«портале» «Толстой. Ру» и в книжке «Лев Толстой — публицист и общественный деятель» (Изд-во "Икар". 2013), текст которой в значительной степени сплагачен ею из научных комментариев в старом Полном (Юбилейном) собрании сочинений Толстого 1928 – 1958 гг., — подаёт автора данной статьи как единомышленника европейских пацифистов, таких как немецкая писательница Берта фон Зуттнер, о которой мы тоже вели уже речь. Это — старо, баба Ира. Старо! «Пацифистом» Лев Николаевич уже был... в книжках времён твоей далёкой молодости, 1960 – 1980-х гг. Тогда за это было принято поругивать... А ещё он побыл тогда — социалистом. За что его было принято похваливать... А ещё (позднее, в одержимые мистикой конец 1980-х и в 1990-е) — адептом некоей абстрактной «эзотерики»... и оставался и остаётся им для многих уже на моей профессиональной памяти, в 2000-х. И всё это — вешали на Льва и при его жизни, кидали даже как «обличения»... Короче, ничего нового брехуны за 130 лет так и не выдумали: просто молодёжь не застала тех времён и не читала тех статей и книжек... и полудохлая московская преподаваха этим пользовалась.

Стереотипы — те же, чуть подновлённые. В поп-книжке А. Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» Толстой превращается на жизненном пути из искателя веры в «радикального» пацифиста. Неоригинальное такое «прочтение», опять же...

Толстой – пацифист? Но ведь уже в «Царстве Божиим внутри вас...», как мы помним, Толстой жестоко и заслуженно высмеивает именно пацифистские филиппики к правительствам и «влиятельным людям» (типа той, которую прислали ему в 1898-м и на которую он откликнулся данной статьёй), мессы, конгрессы... Именно там впервые появляется повторенный в «Carthago delenda est» 1898 года образ «посыпания соли на хвост птице»: тщетных и глупых попыток

деятелей «миротворчества» повлиять на агрессивность и воинственность, на хищнические замыслы правительств ведущих держав. И именно там Толстой противопоставляет пацифистской либеральной и верноподданнической *дури* — сознательный религиозный отказ от военной службы человеком, пришедшим к христианскому жизнепониманию.

Сам факт этой «успешной» (законченной и опубликованной) статьи — обличение идиотству и дури пацифистов всех времён. Они не могли не прочесть и не знать толстовского «Царства Божия...», уже давно к 1898 году опубликованного, но идейное содержание этого сочинения, как видно... мягко скажем: не преодолело «барьера восприятия» сих благонамеренных читателей. Толстой повторил в 1898-м... результата — ноль.

В августе 1909 г. Толстой пытался принять участие в Восемнадцатом Международном конгрессе мира в Стокгольме. Он не смог поехать на него, но доклад свой — послал для озвучения на Конгрессе. Господа пацифисты *скрыли* его. Ходили даже слухи, что, боясь приезда самого Льва Николаевича, «друзья мира» хотели сперва отменить или перенести по времени сам Конгресс. Толстой даже сетовал иронически: «это нескромно с моей стороны», ибо явно было, что конгресс отложен не столько из-за забастовки рабочих в Швеции, сколько из-за его послания мнимым либеральным «единомышленникам». А они и обосрались сразу: «Как нам быть с ним? — Прогнать нельзя. И отложили конгресс» (*Маковицкий Д.П. Яснополянский записки // Литературное наследство. М., 1979. Том. 90. Кн. 4. С. 30*). (Ниже, в соответственном по хронологии месте, мы со всеми подробностями возвратимся к этой истории.)

Наконец, через год, 23 мая 1910 г. замкнулся тот дурной круг бессмысленного диалога зрячего с глухими, который либеральничавшие с правительствами западные интеллигенты заставили вести с ними Толстого, начиная с послания 1898 года. Лев Николаевич получил от доктора словесности Ж. Бергмана (J. Bergman), секретаря организационного комитета Международного конгресса мира, созыв которого намечался в Стокгольме на 1 – 6 августа 1910 г. (нового стиля), приглашение на конгресс. Через некоторое время это же приглашение повторил барон Бонд (Carl Carlson Bonde). Это они прощупывали, суки: может быть, Толстой «обломался» после унижения с его докладом в 1909 году? Но Толстой не унижился и не «обломался», ибо просто *herr* на всех этих господ клал... но и не забыл той ихней попытки! Он написал в ответ «ядовитую статью» («Добавление к докладу на конгрессе мира»), выдержанную в сдержанно-ироническом и скептическом тоне начиная от обращения не к кому-то лично, а ко

всему сборищу: «Вы желаете, чтобы я участвовал в вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса. Доклад этот послан. Боюсь однако, что доклад этот не удовлетворит требованиям лиц, собравшихся на конгрессе. [...] Считаю выработку на конгрессах новых законов, обеспечивающих мир, бесполезным главным образом потому, что закон, несомненно обеспечивающий мир среди всего мира, закон, выраженный двумя словами “не убий”, известен всему миру и не может не быть известен и всем высоко просвещённым членам конгресса. [...] Правда, что деятельность тех сотен людей, которые, следуя этому закону, отказываются от военной службы и подвергаются за это тяжёлым лишениям и страданиям, как мои друзья в России и в Европе [...], не может интересовать высоко просвещённых членов конгресса...» и т.д. (см.: 38, 419 – 420).

Члены сии опущенные наконец-то всё поняли и отвязались от старца Льва

Итак, Толстой буквально *повторил* им свой скептический ответ 1898 года! То есть: по крайней мере, в последние 20-ть лет своей жизни (когда им активно заинтересовалась западная и прозападная пацифистствующая сволочь, желавшая использовать его имя и авторитет) — пацифистом он *точно* не был. Для старца-исповедника Христа сие навязываемое ему членство в либерально-буржуазной сомнительной политдвижке было невозможным и, главное, *избыточным*. Как, кстати говоря, и членство в рядах либералов или социалистов, которых он равно считал заблуждающимися и вредными безбожниками. Но и те, и другие (равно как и попы «православия», протестанты, сектанты и даже мусульмане) — до сих пор рвут «кусочки Толстого» на себя, «высасывая их пальца» мнимые «свидетельства» близости или даже единомыслия давно безответного Льва — с ними, с их религией или их политическим курсом.

Обломайтесь, обломайтесь, господа!

\* \* \* \* \*

И напоследок. Эта статья, равно как вышеназванный трактат «Царство Божие...», вместе с последовавшей за ним «антипатриотической» серией статей Толстого, должны стать *настольными книгами* всякого молодого человека, готового послать свою навязчивую казённую тётеньку «родину» туда, куда положено, и *отказаться от службы в армии*: как полностью, по религиозному внутреннему запрету всякого сотрудничества с правительствами, так и путём выбора возможной по закону в современной России *альтернативной*

гражданской службы (АГС) без оружия в руках. Последний выбор — конечно, альянс с разбойничьим гнездом (которым является всякое государство, полагающееся на оружие, войско, межгосударственные военные блоки, союзы и пр.). Но он подразумевает исполнение трудовой повинности мирного, нелёгкого, но полезного обществу и созидательного труда, а значит — имеет свои нравственные корни в законе Бога всякому человеку, в учении Иисуса и христианском поведении отче Льва. Путь к этой возможности даже более счастливых европейских народов был долог — и в последующих главах книги мы обратимся ещё к некоторым его страницам.

И пусть идеал уничтожения старого строя системных насилия и лжи, выраженный Львом Николаевичем в цикле «Carthago delenda est», сопутствует вам не только в годы вашего отказа, но и — *главное!* — позднее, на всём пути жизни: пути самосовершенствования в Боге и Христе в борьбе с соблазнами и лжами мира сего и века сего.

---

## 6. 8. «ДВЕ ВОЙНЫ». 1898

... По тому закону, который нам дан Богом  
и который признаёте и вы, требующие от нас участия в убийстве,  
явно запрещено не только убийство, но и всякое насилие,  
и потому мы не можем и не будем участвовать в ваших приготовлениях к убийствам,  
не будем давать на это денег и не пойдём в вами устроенные сборища,  
где извращают разум и совесть людей, превращая их в орудия насилия,  
покорные всякому злему человеку, взявшему в руки это орудие.

*(Лев Николаевич Толстой «Две войны»)*

Поводом к написанию этой статьи для Толстого послужила американо-испанская война (1898). «Про эту войну, — писал он, — знал весь мир, и все люди с напряжённым вниманием следили за её проявлениями» (*Цит. по: 31, 287*).

Речь шла об американо-испанской войне в Карибском море и на Тихом океане.

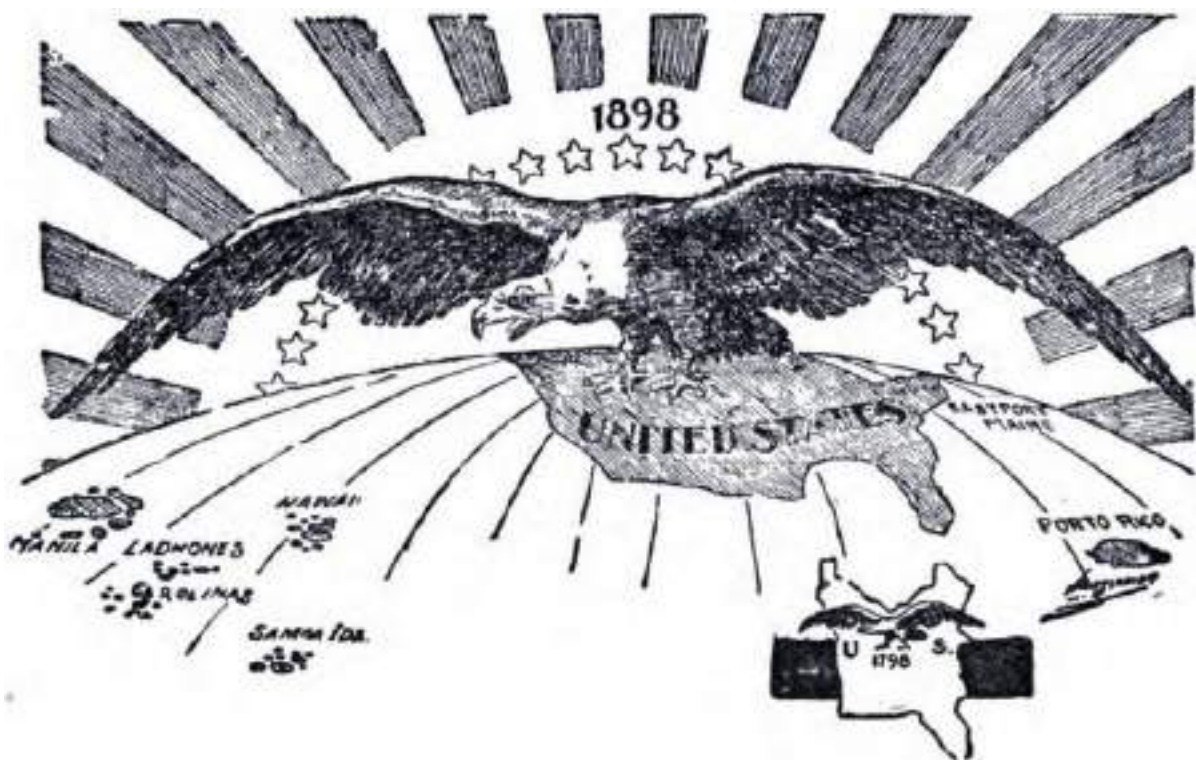
Американский военный корабль «Maine» был отправлен к берегам Кубы, как было объявлено, для «помощи» кубинским повстанцам в их борьбе против испанского владычества. Корабль взорвался на рейде в Гаване при таинственных обстоятельствах. Соединённые



Штаты предъявили ультиматум Испании и 21 апреля начали военные действия. Когда испанские плохо вооружённые войска капитулировали, представитель кубинских повстанцев был отстранён от переговоров, и американцы оккупировали Кубу.

Точно такой же трагический фарс был разыгран и на Филиппинах. 1 мая 1898 г. испанский деревянный флот был сожжён и потоплен американской эскадрой в Манильском заливе. К этому времени филиппинские повстанцы фактически ликвидировали власть Испании на островах. Но им не позволили овладеть Манилой. Условившись о сдаче Манилы, американцы предприняли штурм незащищённого города. Так навязчиво была продемонстрирована «решающая» роль Соединённых Штатов в уничтожении испанского владычества на Филиппинах.

В итоге, в ходе боевых действий САСШ захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. В декабре 1898 г. в Париже был подписан мирный договор, по которому Куба объявлялась независимой, а фактически попадала под американский протекторат; что касается Филиппин, то эта богатейшая испанская колония целиком переходила во власть Соединённых Штатов.



**Ten thousand miles from tip to tip.—Philadelphia Press.**

«Десять тысяч миль от края до края».

Карикатура 1898 года, изображающая сферу господства США, простирающуюся от Пуэрто-Рико до Филиппин

Так — перераспределением колоний — окончилась эта война. За её событиями, действительно, следили «с напряжённым вниманием» её как сторонники, так и противники, и именно потому, что эта война представляла собой характернейшее явление новой империалистической эпохи.

Десятидневная война за господство в Карибском бассейне завершилась безусловной победой американцев, но ославила жестокость, с которой они вели её. В черновике статьи «Две войны» (рук. № 1) Толстой эмоционально замечает:



Американские солдаты после капитуляции испанских войск в Сантьяго-де-Куба. Куба, 1898

«Не буду повторять то, что все знают, какие боины устраивали американцы, как посылали и людей заряды с пудами взрывающегося динамита, как как в зверей стреляли в спасающих свою жизнь, уплывающих людей... Иногда кажется, что этого не может быть, что всё это только сновидение, от которого проснёшься. Всё это слишком ужасно, чтобы повторять это. Но ужаснее всего тот мрак, до которого дошли люди. И кто же эти люди? Самой молодой, передовой нации — американцы» (Там же. С. 250).

Американо-испанскую войну, как и англо-бурскую, которые велись американскими и английскими империалистами с целью захвата колоний, Толстой назвал «ужасной». В Дневнике на 8 января 1900 г. он записал: «Читаю о войне на Филиппинах и в Трансвале и берёт ужас и отвращение. Отчего? Войны Фридриха, Наполеона были искренни и потому не лишены были некоторой величественности. Было это даже и в Севастопольской войне. Но войны американцев и англичан среди мира, в котором осуждают войну уж гимназисты, — ужасны» (54, 7 – 8).

В рукописных материалах содержатся высказывания Толстого об американо-испанской войне, не вошедшие в основной печатный текст. Так, в рукописи № 2 он говорит об этой войне как «о том страшном, бессмысленном и вместе с тем холодном, расчётливом и зверском убийстве, которое производилось над испанцами, которое американцам представляется чем-то очень похвальным». В рукописи № 1 Толстой отметил, что «поразительно было в этой войне всеобщее несочувствие американцам». «Действие американцев в этой войне вызвало чувство того омерзения и отвращения, которое испытываешь.... к наглым убийцам», — писал он.

Э. Г. Бабаев, а вместе с ним и ряд других советских исследователей, были убеждены, что «непосредственным поводом или толчком для <написания> этой статьи Толстого послужило письмо американки Джесси Л. Глэдвин» (Бабаев Э.Г. *Иностранная почта Толстого. // Литературное наследство. Том 75. Кн. 1. С. 473*).

Вот его полный текст (перевод с английского):

«Пуэбло. Колорадо. 1 августа 1898 г.

№ 440

Графу Льву Толстому [Lyof Tolstoy]. С.-Петербург. Россия.

Милостивый государь!

Беру на себя смелость обратиться к вам с частным письмом, где кратко излагаю свою несложную просьбу и её цель. Не будете ли вы столь добры прислать мне несколько слов, написанных вашей рукой, с выражением ваших чувств и мыслей о благородной роли американской нации и героизме её солдат и моряков в теперешнем столкновении?

Как только мы получим пятьсот ответов от лиц, к которым мы обратились, письма эти будут на несколько дней выставлены в каком-

нибудь крупном центре, а доход от выставки незамедлительно поступит в Американское Общество Красного Креста для помощи больным и раненым солдатам и морякам — дело нужное и неотложное.

Пожалуйста, не прерывайте цепь номеров. Будем бесконечно благодарны за любезный и скорый ответ.

Официальное подтверждение Общества и упоминание о вашем ответе будут сделаны в печати своевременно.

Искренне ваша Джесси Л. Глэдвин» (*Там же. С. 474*).

На письме стоит цифра 440. Очевидно, это — порядковый номер запроса из числа тех, которые были сделаны Глэдвин, обращавшейся к различным выдающимся деятелям разных стран.

Конечно же, такое письмо не могло не возмутить Толстого, и он излил своё возмущение на страницах новой работы. Но, как нам кажется, выводы Э. Г. Бабаева о значении для Толстого этой статьи преувеличены. В своём анализе советский, жёстко подцензурный исследователь избегает писать о *второй* войне, которую понимает Л. Н. Толстой в заголовке статьи. А между тем — она-то в то время и была для Толстого значительно важнее «агрессии империалистов», которую разрешалось и поощрялось ругать в СССР.

Эта резкая антивоенная статья — неизмеримо шире смыслами, чем просто публицистическое выступление против конкретной войны. Она — первое в антивоенной публицистике Толстого выступление в защиту отказавшихся тогда от воинской повинности «горсти христиан», кавказских духоборов, над которыми издевалась имперская Россия.

В мире идут две войны, — утверждает Толстой, — и противоположность между ними поразительна. Одна, теперь уже кончившаяся, испанско-американская, была «старая, тщеславная, глупая и жестокая», решавшая посредством убийства вопрос о том, как и кем должны управляться люди. Л. Н. Толстой сравнил в ней тогдашнюю испано-американскую войну с избиением сильным и молодым человеком (Штатами) «выжившего из ума и сил старика». Восхваление американцев в прессе названо в рукописном черновике статьи «умственным повреждением» хвалителей (*31, 98, 250*).

Этой войне противопоставлена публицистом «другая война», «новая, самоотверженная, основанная на одной любви и разуме, святая война, — война против войны» (*Там же. С. 97, 98*). Толстой имеет в виду обратившее уже в это время его внимание противостояние русскому правительству выселенных им на Кавказ сектантов-духоборов, воздерживавшихся от греха повиновения властям, в том числе

от военной службы по призыву. Толстой называет духоборцев «героями войны против войны» за их отказ даже от простого ношения оружия, столь необходимого на Кавказе (*Там же. С. 99*).



Сожжение оружия духоборами

Одна война занимала всех, а про другую войну «почти никто и не знает», — с горечью заметил писатель, приводя имена людей, отказавшихся от военной службы, «героев войны против войны», которые умирали «под розгами, или в вонючих карцерах, или в тяжёлом изгнании» (*Там же. С. 99 – 100*).

Здесь та же христианская, восходящая к исповеданию «В чём моя вера?», *пря духовная* Толстого, исповедника Христа, с миром, с мирскими ложью и злом. Толстой начинает статью с упоминания о других, чтимых высоко миром, «героях». Здесь-то и пригодилась публицисту вовремя полученная им рассылка из САСШ. Второпях или от возмущения, но он не обратил внимания, что автор оной — женщина:

«Я на днях получил письмо из Колорадо от какого-то господина Джесси Глодвина, который просит меня прислать ему: “...несколько слов или мыслей, выражающих мои чувства по отношению благородного дела американской нации и героизма её солдат и моряков”. Господин этот, вместе с огромным большинством американского народа, вполне уверен, что дело американцев, состоящее в том, что они побили несколько тысяч почти безоружных (в сравнении с вооружением американцев испанцы были почти безоружны) людей,

есть несомненно благородное дело, noble work, и что те люди, которые, побив большое количество своих ближних, большею частью остались живы и здоровы и устроили себе выгодное положение, — герои» *(Там же. С. 97 – 98)*.

Позорная война в Украине нынче (февраль 2023 г.) ещё не завершена, а преступная Россия уже готовит собственный паноптикум «героев», живых и умертвлённых, из числа законтрактовавшей себя нечисти, пытавшей и расстреливавшей людей в украинских оккупированных городах, а равно и прощённых, набранных по тюрьмам бандитов — истинных «братков» тех, кто распоряжается Россией!

А в подпутинских школах уже пытаются навязать детям культ почитания «ветеранов спецоперации», то есть гнусной войны с мифическим «украинским нацизмом», «которые, желая отличиться перед людьми, получить награду и славу, убили очень много людей или сами умерли в процессе убийства своих ближних» *(Там же. С. 99)*.

Как раз всем подобным «героям» и противопоставляет отче Лев смиренных, не противящихся злу, творимому над ними правительственными людьми, евангельских, чистых христиан духоборов. Православное, то есть, якобы, христианское государство Россия «выставило против духоборов все те орудия, которыми оно может бороться. Орудия эти: полицейские меры арестов, непозволения выезда из места жительства, запрещение общения друг с другом, перехватывание писем, шпионство, запрещение печатания в газетах сведений о всём, касающемся духоборов, клевета на них, печатаемая в журналах, подкупы, сечения, тюрьмы, ссылки, разорение семей. Духоборы же с своей стороны выставили своё единственное религиозное орудие: кроткую разумность и терпеливую твёрдость, и говорят: не должно повиноваться людям больше, чем Богу, и что бы вы с нами ни делали, мы не можем и не будем повиноваться вам» *(Там же)*.

Здесь же, чтобы подтвердить читателю, что мученичество отказников не ограничивается лишь сектантскими движениями, Толстой вспоминает погубленного тётёй родиной Евдокима Никитича Дрожжина и живых, продолжавших в те дни свой духовный подвиг, солдат Ольховика и Середу. И таких десятки — людей, которые «умерли, ослепли и всё-таки не покоряются требованиям, противным закону Бога» *(Там же. С. 100)*.

К этому времени враги Христа в России уже заметили связь участвовавших идейных отказов с исповедничеством великого яснополянца. Его стали винить в подбивании молодых людей на напрасные жертвы: «Люди эти погибнут, а устройство жизни останется то же» *(Там же)*. Схожие мнения текли и из-за границы. Например, в связи с агиографией толстовца Е. И. Попова о Дрожжине, Толстой получил

открытое письмо от немецкого писателя-патриота Фридриха Шпильгартена (*нем.* Friedrich Spielhagen, 1829 — 1911), опубликованное впервые на Рождество, 25 декабря 1895 г., в газете «Neues Wiener Tageblatt» («Новый венский дневник», № 354), а в следующем году охотно, в обличение «еретику», напечатанное отдельной брошюрой и в России.



Ф. Шпильгартен в своём рабочем кабинете. 1898 г.

В этом письме старик, почти ровесник Льва Николаевича, ревностный протестант, подтвердив общность с Толстым идеалов всеобщего мира, при этом доказывает, что смерть Дрожжина не была полезна этому самому делу всеобщего мира, что она была бесполезной жестокостью, и что ответственность за неё падает на Льва Николаевича (*Открытое письмо к гр. Льву Толстому Фридриха Шпильгартена. СПб., 1898. С. 23*).

Самого Льва-учителя Шпильгартен описывает в открытом письме мрачно и жестоко, как главного палача Дрожжина, более виновного, чем царь, министры или военщина — одновременно обращаясь с обличениями и напрямую к Толстому:

«...К рукам его, в моих глазах, так страшно прилипли кровь и слёзы несчастного, что никакие духи — которыми, как я слышал, вы любите при случае окроплять себя — ни вся вода вашей Волги омыть

их не могут» (Там же. С. 8). Немецкий писатель напоминает коллеге о его непомерно раздутых величии и авторитете — при которых нужно быть особенно осторожным с орудием слова:



Обложка отдельного издания в России открытого письма Ф. Шпильгартена Л.Н. Толстому

«Мне поэтому, к сожалению, не остаётся ничего иного, как обвинить вас в ужаснейшем неразумии и неосторожности, раз вы с вашей, недоступной для уголовного суда высоты, возвестили миру слова, которые стали для бедного Дрожжина источником жесточайших страданий» (Там же. С. 15 – 16).

«Но, может быть, вы станете отрицать, что он был вашим учеником?» (Там же. С. 16) — задаёт Шпильгартен совсем не риторический вопрос ученику Христа (такому же, как Дрожжин).

По большому счёту, даже с формальной, внешней стороны обвинения Фридриха Шпильгартена в адрес Льва Николаевича Толстого не вполне несправедливы, так как агитаторами Дрожжина была сектантская кодла князя Хилкова, принадлежавшего к т. н. «штунде», независимой от толстовства рационалистической секте, ещё до знакомства с духовными писаниями Толстого. Сам Дрожжин «начал»,



как мы помним, с увлечения социализмом и соответствующей литературой, и навредил себе первоначально именно этим. Любопытно, что, будучи сам позорно, в пожилые годы, увлечён «прогрессивными» идеями, Фридрих Шпильгартен обходит это обстоятельство неловким молчанием — и не «включает» совесть для того, чтобы не пропагандировать социал-демократические взгляды хотя бы в письме к Толстому! Он напоминает яснополянцу афоризм Гёте, что одиночка «не должен прыгать за своими идеалами»:

«...Чтобы доставить на земле торжество идеи мира, — приводить в борьбу с крепко установленными государственными формами беспомощных индивидуумов, борьбу, которая неминуемо ведёт к трагической гибели последних. Ибо таким способом вы [...] не осуществите идеи мира.

Как же быть, спросите вы.

[...] Видите ли, граф, наши социал-демократы в этом случае гораздо благоразумнее и мудрее вас. Будьте уверены, что они питают не меньшее отвращение к принудительной военной службе, проповедают с не меньшим убеждением всеобщий мир. Но они [...] старательно избегают становиться мишенью для малокалиберных магазинов и нарезных орудий, и, хотя сердце их обливается кровью, но они позволяют своей молодёжи приносить присягу знамени и обучаться искусству “убивать людей”, в твёрдой уверенности, что постепенное “просветление человеческого духа” основательно устроит все их дела.

[...] У нас есть пресса с своими газетами, журналами, брошюрами, книгами; у нас есть народные собрания, парламенты, театры. Наконец, у нас есть всякого рода союзы, общества, а для цели, о которой здесь идёт речь, — общества мира.

Вы ничего не ждёте от них? Вы не верите в действительность их?» (Там же. С. 18 – 21, 22 – 23).

Каков «христоробивый» говнюк?! На место последовния Христу немецким писателем и публицистом ставится распространение светских просвещения и гуманизма. И ведь это вполне верующий христианин, протестант! А Христу, по вере Шпильгартена, и вовсе не нужно последовать — как делали древнейшие, первые христиане — в отрицании участия в военной службе, если таковое отрицание сопряжено с риском свободой, здоровьем, жизнью:

«Несомненно то, что Он сам умер на Кресте. Но я никогда не слышал и нигде не читал, чтобы Он, для испытания своего учения, предпослал бы кого-нибудь другого на Голгофу» (Там же. С. 22). Шпильгартен здесь смешно, бессмысленно прав: действительно, именно *предпослать* на гибель Иисус не мог никого из последовавших за ним

— лишь предсказав верным ученикам возможность страданий и терпения, и даже риск быть убитыми мечом язычника, враждующего с Божьей правдой-Истиной, а от себя, от первых слов учения до последних, на римской распялке, судорог от кровопотери и мучительнейшей жажды — «всего лишь» дав пример жизни в воле Отца, именно чистой *христианской* жизни.

По существу, Шпильгартеном пропагандируется то самое, чего мог, до встречи с писаниями Толстого-христианина, наслушаться от социалистов Евдоким Дрожжин. Сам Лев Николаевич, конечно же, пронизательнейше обратил на эту неловкость Шпильгартена внимание. В письме к Эугену Генриху Шмитту (позаботившемся не только о пересылке Толстому письма Шпильгартена, но и об ответе ему с «толстовских», евангельских и христовых, позиций) от 27 февраля 1898 г. он надрал немца в его социал-демократический арш — буквально за один абзац (подлинник по-немецки):

«...Если бы у меня было больше времени и сил, то я ответил бы не одному Шпильгагену, а всем вождям социалистов то, что я давно уже желаю сказать, а именно, что социалистическая и либеральная деятельность не только тщетна и не может привести ни к каким результатам, но даже в высшей степени вредна, ибо привлекает к себе лучшие силы, и вместо того, чтобы приучать молодых людей утверждать своё человеческое достоинство и дорожить им, она приучает их к компромиссам, так что весьма часто эти люди, сами того не замечая и воображая, что борются за истину и свободу, переходят в лагерь своих противников» (69, 49).

Как может помнить читатель, в протестном мировоззрении Евдокима Никитича Дрожжина, вовремя освободившегося от увлечения социализмом, напротив, тема человеческого достоинства и незыблемого, во Христе, духовного мировоззренческого «якоря», «автономной» от мирских влияний морали, несовместимой с повиновением приказывающей убивать человеческой власти, занимает значительнейшее место.

А Шпильгартен таки заполучил от Толстого ощутимую шпильку в свой арш — ибо речь-то в письме Толстого явно о нём!

Но для нас важнее отметить иное. Явное непонимание Шпильгарте-ном того *внутреннего*, глубинного душевного процесса, который привёл Дрожжина к совершению его подвига, конечно, не оставляло возможности Толстому лично ему отвечать, возражать. Интересно это письмо только тем, что выражает общественное мнение того времени большой социал-демократической германской группы, к которой принадлежал покойный немецкий писатель, автор известного политического романа «Im Reih und Glied» [*нем. пригл.*: «В общем

строю» (1866); в русском переводе «Один в поле не воин». Название вполне отражает главную идею романа Шпильгартена: великой личности возможно перевернуть общественный и мировой порядок, но только с опорой на вооружённые массы. – Р. А.]. Роман этот, по метко-остроумному наблюдению биографа Толстого Павла Ивановича Бирюкова, «до сего времени является выражением немецкой массовой нравственности, или, вернее, рабства, которому всегда страшна была личная инициатива, та самая, которую Л. Н-ч полагал в основу человеческого прогресса» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х т. М., 1922. Том 3. С. 263*).

Таковым агитаторам, вредителям делу грядущей победы в войне с войной, Толстой так отвечает в статье «Две войны»:

«Так же, я думаю, говорили люди и о напрасности жертвы Христа, да и всех мучеников за истину. Люди нашего времени, особенно ученые, так огрубели, что не понимают, не могут даже по грубости своей понимать значения и действия духовной силы. Заряд в 250 пудов динамита, пущенный в толпу живых людей, — это они понимают и видят в этом силу; но мысль, истина, получившая осуществление, проведённая в жизни до мученичества, ставшая доступной миллионам, — это, по их понятию, не сила, потому что она не трещит и не видно сломанных костей и луж крови. Учёные (правда, плохие учёные) все силы эрудиции употребляют на то, чтобы доказать, что человечество живёт, как стадо, руководимое только экономическими условиями, и что разум дан ему только для забавы; но правительства знают, что движет миром, и потому безошибочно по инстинкту самосохранения ревнивей всего относятся к проявлению духовных сил, от которых зависит их существование или гибель. Оттого-то все силы русского правительства были направлены и ещё направлены на то, чтобы обезвредить духоборов, изолировать их, выслать их за границу.

Но, несмотря на все усилия, борьба духоборов открыла глаза миллионам.

Я знаю сотни людей, старых и молодых военных, которые благодаря гонениям против кротких, трудолюбивых духоборов усомнились в законности своей деятельности; знаю людей, которые в первый раз задумались над жизнью и значением христианства, увидав и услышав про жизнь этих людей, про гонения, которым они подверглись.

И правительство, управляющее миллионами людей, знает это и чувствует, что оно поражено в самое сердце.

[...] И последствия её важны не для одного русского правительства. Всякое правительство, основанное на войске и на насилии, точно

так же поражено этим оружием. Христос сказал: "Я победил мир". И он действительно победил мир, если только люди поверят в силу данного им этого оружия» (*Там же. С. 100 – 101*).

Как призыв к христианскому миру опомниться, не участвовать в военных приготовлениях звучат слова Толстого о том, что «люди нашего времени должны понимать значение и действие духовной силы». Он уверен, что мир победит, «если только люди поверят в силу данного им оружия» и каждый человек будет следовать «своему разуму и своей совести».

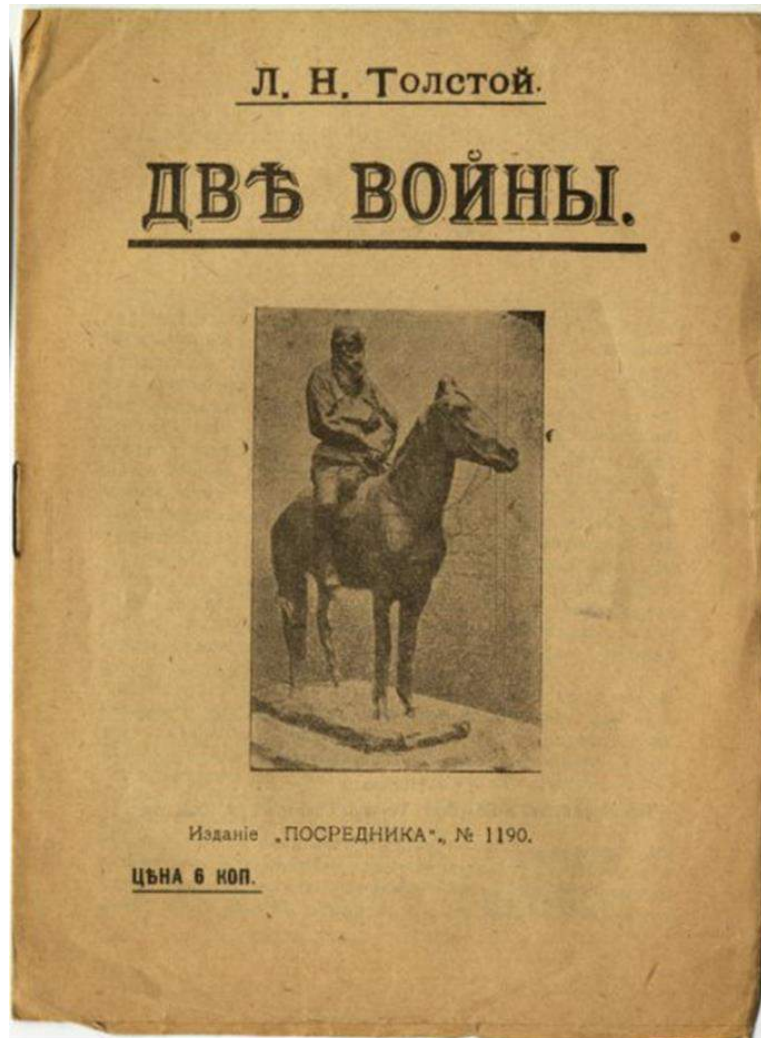
Как видим, статья — не простенькая и *весьма* актуальная уже своим образным строем. Перед читателем — европейцем, россиянином, — почти наверняка причисляющим себя либо просто к умным и добрым, либо даже — к христиански верующим людям, автор ставит дилемму: *с кем быть?* Кого поддержать — одобрением на словах, поступками, денежной помощью, оружием: "своё" ли правительство, проводящее с целью наживы, аннексий, колонизаций и иных внешнеполитических и геополитических игрищ, агрессивную политику в отношении других народов и стран, *или* — духоборов и прочих *истинных* христиан, ведущих, ценою огромных жертв и усилий, бескровную (с их стороны) "войну против войны": против самой антихристовой, языческой идеи добровольного или (чаще) недобровольного участия, на правах обитателя территории агрессора ("простого" гражданина, а в просторечии — лошка), всякого человека своими словами, поступками, деньгами и пр. — в грызне "своего" государства с соседями, или внутри государства — с несогласными с его политикой, будь то оппозиция или пресловутые "бандиты", "террористы": кстати, говоря, порождения той же садо-некрофильской цивилизации, которая породила и сами государства, искони — коды грабителей и убийц, выразителей низшего, наиболее грубо-атавистического в человеческой природе.

Будь то Северо-Американские Штаты, Российская империя времён Толстого, будь то фашиствующая путинская Россия наших дней — не важно: надо только задуматься: *с кем ты?* С Христом или с князьями мира сего? Разбойничьи ли заботушки (ах! как бы другая держава или, скажем, НАТО тебя в грабировке не опередили!..) твоего монарха или "президента" должны быть *для тебя* актуальны, или — то, чтобы исполнить в жизни своей главный, религиозный смысл: совершенствования в любви и разумности, увеличение любви в окружающем мире проповеданием и примером?

Как и в случае выбора между миром и патриотизмом, и здесь нужно выбирать: *или* — Царство Бога, христианство и ненасилие, *или* —

теперешнее мирское устроение, государства и стремительное движение современной садо-некрофильской цивилизации к окончательному разорению природы и экономик в грызне и переделах территорий и остатков ресурсов, саморазрушению и гибели.

*Придётся выбирать!*



Издание статьи «Две войны» в «Посреднике»

В связи с отразившимися в статье «Две войны» Толстого событиями испано-американской войны нельзя не упомянуть, в завершение о ней нашего рассказа, ещё о некоторых письмах к Толстому по поводу этой войны — от людей, некоторые из которых исфантазировали себе даже некую «близость» к Толстому, хотя вряд ли бы поняли идеи его новой статьи.

Весьма примечательным среди таковых писем было послание старого английского юриста и публициста, переселившегося в Штатах ещё в конце 1860-х годов, *Монтегю Ричарда Леверсона* (Montague Richard Levenson, 1830 – 1925). Он был близко знаком в молодости с

высокопочтимыми Толстым А. И. Герценом, Джузеппе Мадзини, Джоном Стюартом Миллем, а в Америке — с Генри Джорджем. В САСШ он был владельцем ранчо в округе Дуглас, штат Колорадо, а также адвокатом и неудачливым политиком в Калифорнии. В конце 1870-х этот беспокойный еврей стал известен скандальными доносами в Белый дом — на действующего губернатора территории Нью-Мексико. Оказалось, что Леверсон метил на этот пост. Дело ограничилось тогда осмеянием клеветника в ежедневной газете «The Santa Fe New Mexican» (*Keleher W. A. The Fabulous Frontier, 1846 – 1912. University of New Mexico Press, 1962. P. 62*).

Леверсон также пытался стать врачом, но остался на уровне обыкновенного американского шарлатана своей эпохи: гомеопатом, противником вакцинаций и отрицателем микробной теории (*The New Cycle. Metaphysical Publishing Company. 1908. P. 307*).



Монтегю Леверсон

В 1900 году его политическая деятельность, в числе прочего, выражалась поддержкой Американской антиимпериалистической лиги (*The American Anti-Imperialist League*), созданной 15 июня 1898 года для борьбы с американской аннексией Филиппин как островной территории. Антиимпериалисты выступали против насильственной экспансии, считая, что империализм нарушает фундаментальный

принцип, согласно которому справедливое республиканское правительство должно основываться на "согласии управляемых". Лига утверждала, что такая деятельность потребовала бы отказа от американских идеалов самоуправления и невмешательства — идеалов, выраженных в Декларации независимости Соединённых Штатов, Прощальной речи Джорджа Вашингтона и Геттисбергской речи Авраама Линкольна. Уже в первые годы XX столетия, в результате агитации противников, Лига проиграла в глазах общественного мнения и потерпела поражение, как и ставленник антиимпериалистов на выборах президента 1900 и 1908 гг., популист Уильям Дженнингс Брайан (*Harrington F. H. Literary Aspects of American Anti-Imperialism 1898 – 1902. New England Quarterly, Vol. 10, No. 4 (Dec., 1937). P. 650*).

23 февраля 1900 г. Леверсону удалось-таки совершить исторический поступок: на митинге Лиги в Филадельфии, перед немногочисленными сторонниками, он выразил возмущение «жестокой войной, которую ведёт теперь Мак-Кинли и американская армия против храброго, цивилизованного и свободолюбивого народа Филиппинских островов. [...] Эта несправедливая война, по мысли Леверсона, угрожала не только Филиппинам, но и самой Америке. «О мои соотечественники, — говорил Леверсон, — вы должны сделать выбор теперь, иначе будет поздно. Вы должны выбрать теперь правду, выбрать свет, выбрать свободу, и не только для себя, но и для ваших братьев, независимо от того, какого цвета у них кожа и к какой расе они принадлежат. Вы должны сделать выбор и ради них, и ради самих себя. Иначе и вы тоже станете рабами. Да будут спасены республика и свобода!» (Цит. по: Бабаев Э. Г. *Иностранная почта Толстого. // Литературное наследство. Том 75. Кн. 1. С. 474 – 475*).

Речь Леверсона была выпущена отдельной брошюрой, которую он не преминул послать Толстому, вместе с письмом такого содержания (перевод, в сокращении):

«Форт Гамильтон. Нью-Йорк. [...]

Милостивый государь!

Я послал вам заказным письмом текст моей речи [...] в надежде, что грустные факты, о которых там говорится, побудят вас обратиться с посланием к народу Соединённых Штатов, дабы указать ему на злодеяния, совершаемые его правительством на Филиппинах, на Кубе и в Пуэрто-Рико, и призвать американцев прекратить эти преступления, заставить своё правительство вернуться на честный, человеколюбивый путь, с которого оно сбилось.

Преступления и ужасные дела, о которых я говорил в моей речи, продолжают совершаться ежедневно. Народ Соединённых Штатов прислушается к вашему голосу из уважения к вам и во имя поруганной гуманности.

Умоляю вас поднять свой голос против жестоких, испорченных людей, совершающих от имени Соединённых Штатов эти отвратительные дела, стараясь скрыть их от народа.

Вы, может быть, вспомните моё имя: я англичанин, друг знаменитого Герцена, оказывал значительную помощь эмигрантам, жившим в Англии в 1850 – 1864 гг.

[...] Ваше обращение может разбудить спящую совесть американцев» и т. п. (*Там же. С. 475*).

Упоминание об оппозиционных России эмигрантах вряд ли могло быть приятно Толстому: он не мог забыть их деструктивной роли в антироссийской пропаганде 1880 – 1890-х гг. в Европе и САСШ, затруднившей то общее дело помощи голодавшим в России крестьянам, в которое включился в 1891 году Лев Николаевич. Не одобрял он и политического активизма, напополам с авантюризмом, самого Монтегю Леверсона. Так или иначе, в поддержке старому пройдохе им было отказано, а письмо его ясмнопольянец оставил без ответа.

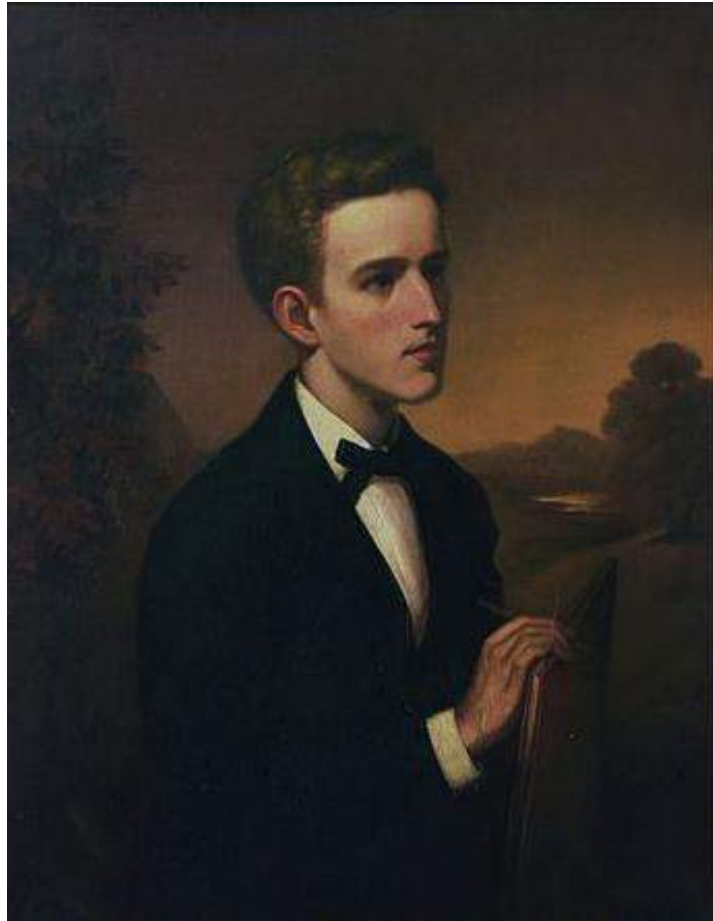
Обосравшись в Америке по всем пунктам, Лeверсон в том же 1900 г. вернулся в Англию, где лишь в 1922-м, незадолго до кончины, смог восстановить британское гражданство.

Другим значительным адресатом Л. Н. Толстого в связи с событиями испано-американской войны был человек, несколько более выдающийся и значительно более приятный — американский общественный деятель и публицист *Герберт Уэлш* (Herbert Welsh, 1851 - 1941), приятель толстовца Эрнеста Ховарда Кросби.

Герберт Уэлш родился в Филадельфии, и был младшим из 8 детей Джона Уэлша, преуспевающего торговца и филантропа. Он получил образование в Епископальной академии в Филадельфии, окончил Университет Пенсильвании (1871), а затем изучал искусство в Пенсильванской академии изящных искусств в Филадельфии.

В мае 1873 года Уэлш уезжает в Париж, чтобы учиться в студии Леона Бонна. Весной 1874 года он вернулся в Филадельфию и некоторое время работал художником. К этим годам, вероятно, относится масляный портрет Герберта Уэлша, с которого он предстаёт нам во всей прелести своих молодости и привлекательности.





Герберт Уэлш. 1870-е (?)

В отношении политической деятельности, Уэлш стал известен как искренний защитник прав коренных американцев и борец с коррупцией. Он был президентом Ассоциации реформирования государственной службы Пенсильвании, членом исполнительного комитета Национальной лиги реформирования государственной службы (National Civil Service Reform League), а с 1895 по 1904 год был редактором еженедельника «Город и государство» («City and State»), посвящённого интересам эффективного управления.

В отношении заботы об экологии родной страны Герберт Уэлш стал основателем существующего по сей день Государственного парка Маунт-Санапи, общественной зоны отдыха в Ньюбери, штат Нью-Гэмпшир.

С 1915 по 1929 гг. (быть может, помня и о Толстом), Герберт Уэлш стал пропагандистом пеших путешествий и занимался ими сам для поддержания здоровья.



HERBERT WALDEN WALDEN CORTESI

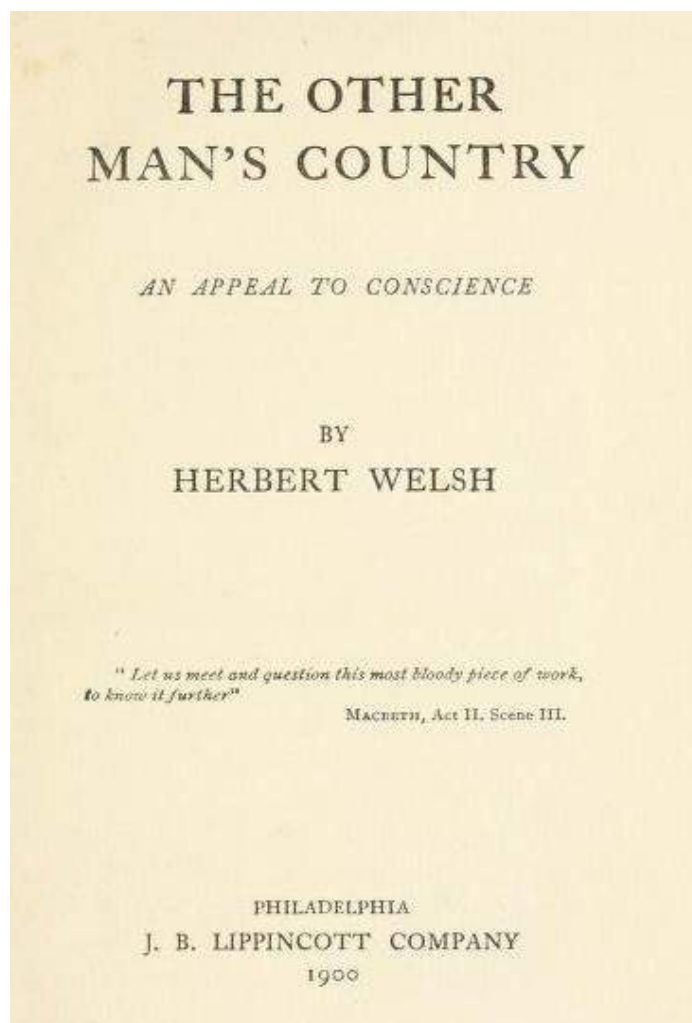
Герберт Уэлш в пешем походе.  
Фото из книги «The new gentleman of the road» (1921)

В 1900 г. Уэлш опубликовал книгу «The other man's country: an appeal to conscience» [«Чужая страна: взываю к совести»] – а с таким материалом, конечно же, прямая дорожка была к Толстому! Ему 18 ноября 1902 г. он адресовал пространное письмо, приводимое ниже в переводе и с незначительным сокращением.

«Филадельфия. 18 ноября 1902 г.  
1305, Arch Street.

Милостивый государь!

[...] Я один из тех многих тысяч мыслящих людей на земле, которых сейчас сильно беспокоит вопрос о войне, которые считают войну бичом человечества и полагают долгом каждого, кому дороги интересы человечества, разумно и терпеливо делать всё, что в их силах, для её ограничения, а, если возможно, то и окончательно изгнать войну из жизни человеческого общества.



Я много лет надеялся — по-видимому, не совсем без основания, — что народ Соединённых Штатов сможет эффективно способствовать предотвращению войны, спасению цивилизованного мира от этого бедствия. Казалось, всё вело нас к этому: географическое положение, традиции, христианское учение, исповедуемое нами, наши торговые интересы.

Укрепляло эту надежду и то, что мы открыли путь для урегулирования споров, которые иначе грозили разрешиться войной — третейские суды.

Когда страдания кубинского народа привлекли внимание и возбудили сочувствие Соединённых Штатов — казалось, для нашего народа с его мощной нравственной силой открылась прекрасная возможность уладить возникшие трудности указанным выше образом, вместо того чтобы прибегать к войне. Что Испания согласилась бы на такое разрешение вопроса, а мы использованием мирных средств высоко подняли бы свой престиж — ясно теперь из многих

документов, опубликованных с тех пор, и благодаря тщательному изучению исторических фактов.

Но мы избрали иной путь; правильно или неправильно мы признали войну средством достижения высокой цели защиты свободы и мира на Кубе. Всем известно, что на этом пути мы были вовлечены в разрешение вопроса, не предусмотренного в момент возникновения кубинского конфликта на политическом горизонте. Мы предприняли завоевание новообразовавшейся Малайской республики на отдалённых Филиппинских островах, то есть заняли совершенно такую же позицию, какую занимала Испания по отношению к богатому острову Кубе в Вест-Индии.

В политическом отношении мы отстаивали на Филиппинах свою власть над жителями этих островов совершенно так же, как Испания на Кубе. А ведь мы провозгласили на весь мир, что жестокость и бездарность испанских правителей лишают их права на власть над Кубой.

Затем, будто по велению незримой судьбы, наша молодая и сильная республика создала до последней чёрточки во всех оттенках ту же картину, какую на глазах всего мира живописала своей дряхлой рукой умирающая Испания: мы совершили завоевание, употребив жестокие, отвратительные, средневековые способы, применение которых стало в Испании уже более или менее привычным.

Книжка, которую я вам послал, является попыткой проследить историю наших действий в её ранней стадии. Я убеждён, что сказанное мною там — правда.

Я привожу доказательства, что в этой войне мы применяли пытки как один из видов оружия.

Пишу к вам, побуждаемый горячим желанием узнать ваше мнение об этом историческом инциденте. Я глубоко убеждён в душе, что он содержит очень важный материал и для историка, и для всякого, кто честно и серьёзно озабочен прогрессом человечества. Мне кажется, что случай этот поднимает спорные вопросы, касающиеся не только американцев, но всех справедливых и разумных людей, мужчин и женщин.

Сознаю вполне: многие могут счесть, что, спрашивая ваше мнение об этих вещах, я непатриотичен, что не следует выставлять напоказ иностранцу дурные деяния моей страны. Но я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что поднятые вопросы являются делом всех цивилизованных народов. И все цивилизованные люди должны встать заодно против разрушительных сил, которые привели нас к таким результатам. Поступая так, они способствуют прогрессу всего человечества, а, следовательно, и благополучию своего народа. Ибо,

если будет установлено, что такие деяния — дурны, они будут наносить ущерб не только тому народу, против которого направлены, но также и тому, кто их совершает.

Не стану больше ничего говорить, потому что цель моего письма — не столько выразить собственные взгляды, сколько узнать ваше мнение.

Прибавляю только в заключение, что считаю себя лично глубоко вам обязанным за ваши огромные услуги делу мира и цивилизации.

Искренне ваш Герберт Уэлш» (*Цит. по: Бабаев Э.Г. Указ. соч. С. 476 – 477*).

Испытав к адресату, другу очень духовно ему близкого Эрнеста Кропси, понятную симпатию и почувствовав близость, Толстой лично ответил ему в письме от 15 декабря 1902 г.:

«Не могу не любоваться вашей деятельностью, но преступления, совершённые на Филиппинах, именно такие, какие, по моему мнению, всегда будут происходить в государствах, управляемых посредством насилия, или в которых насилие допускается и употребляется как необходимое и законное средство» (73, 338).

Зло войны от безверия и от производного от него суеверия оправданного, легитимизируемого организованного в обществе насилия. Решение — доверие Богу, послушание Христу и отказ от насилия. Это стремился донести Толстой и своей статьёй «Две войны», в ничтожности понимания современниками и влияния на них которой убедился благодаря, в числе прочего, и своим иностранным почитателям.

Всё-таки влияние социальной критики Толстого даже на секуляризованное общественное сознание современников было столь значительным, что даже сам Тедди Рузвельт, главный распорядитель «большой дубинки», как называли тогдашнюю политику США, счёл нужным выступить против Толстого. В 1909 г. в журнале «Outlook» появилась статья Рузвельта «Tolstoy», где доказывался тезис, что Толстой — плохой «моральный гид» для «людей дела» (Roosevelt, Theodore. Tolstoy. — «The Outlook. 1909. Vol. 92. P. 103 – 105»). Рузвельт пытался отвести и толстовскую критику империалистических захватов, оправдывая их требованиями и интересами цивилизации. Толстой, прочитав писания Рузвельта, отозвался о них очень кратко: «Статья глупая». «Я знаю о нём только то, что он империалист и милитарист»,

— говорил Толстой о Рузвельте (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 267*).

Эти два понятия были связаны в представлении Толстого в одно целое.

---

## 6. 9. «ПИСЬМО К ФЕЛЬДФЕБЕЛЮ». 1899

Эта статья представляет собой ответ на письмо от 18 декабря 1898 г. фельдфебеля в отставке, мещанина *Михаила Петровича Шалагинова* (годы жизни не установлены), спрашивавшего Толстого, совместимо ли христианское учение с военной службой и войной.

18 декабря 1898 г. Шалагинов, проживавший в то время в посёлке Каменский Завод Камышловского уезда Пермской губ., обратился к Толстому с письмом такого, по внешности наивного, но доброго и необычайно глубокого содержания:

«Уважаемый граф Лев Николаевич.

Хотя я не имею права беспокоить вас, но слышал, что вы человек снисходительный, не похожий на других наших русских бар, и авось будете так же добры и ко мне — поможете разрешить мне мучающие меня вопросы.

Я исповедания православного, отставной фельдфебель и мечтатель, люблю задаваться философскими вопросами. (Вероятно, смешно вам будет, что малограмотный человек пускается в философию и задаётся такими вопросами. Простите меня, но мне кажется, могут быть философы не только неучёные, но и неграмотные совсем; не знаю, допускается ли это по-вашему?)

В Русско-турецкую войну служил в кавказской армии. Во время прохождения военной службы мне в голову гвоздём запала мысль: зачем же нас, солдат, учат, что мы будто не грешим против шестой заповеди, убивая на поле брани врагов наших (разумеется, мнимых), или иначе, — заповедь эта не запрещает нам это, а повелевает. (Не имея того учебника, теперь, по прошествии девятнадцати лет, передать буквально примечание к шестой заповеди не могу и передаю

лишь смысла его.) Это должен был вызубрить каждый солдат, а особенно приготавливающийся в унтер-офицеры. (Вы же, быв офицером, сами знаете, можно ли было ответить не по учебнику, а по убеждению.) В Евангелии сказано: “любите врагов ваших”, из 10-й главы Луки видно, что нет различия в вере или подданстве, а всякий человек — наш ближний. А если это так, то зачем же я иду во время войны по неволе убивать другого такого же невольника, и этот другой — меня, не сделав один другому в жизни никакого зла и не зная один другого?

Теперь, по прошествии девятнадцати лет, мне думается, что собственно дерутся паны (не верю я в патриотизм их; патриот отечества всё согласится перенести и не допустить войны, ибо знает, что и от удачной войны не барыш отечеству) и ещё те, которые в кабинетах заседают, а у нас, хлопцев, чубы трещат, и от драки этой большие господа наживают нередко большие деньги, солдаты же — неизлечимые болезни; а сколько от этого бывает горя, слёз и нищих, господи, ты веси!!!

И теперь помню, как наши офицеры по окончании Русско-турецкой войны жалели, что война кончается скоро, они желали её продолжения, но солдаты молились Богу за окончание. Знаете ли, г. граф, почему это? — Потому что нас морили голодом, морозили и т. п., а офицеры жили при усиленном содержании, как сыр в масле катались, воевали или пировали, а слава чины, ордена и т. п. награды, всё это доставалось скоро и дешёво, только реляцию покрасивей написать.

Потом, в церкви, я посеичас слышу, “христолюбивое воинство” поминают, — с чего это, и не абсурд ли? Учение Христа есть любовь, во всём евангелии не видал я слова о войне (и войнах), а однако кто-то и тут приплёл Христа-спасителя.

Если можно, граф, помогите мне разрешить эти вопросы: кем или кому в угоду это установлено, есть ли на это указание в св. писании, или это простое умозаключение наших старых богословов?

Слышал я, что вопрос этот вами будто бы уже выяснен хорошо, но будто бы русская цензура наложила на него свою лапу, — насколько это верно, не знаю. Если это ваше сочинение действительно издано и существует, то не найдёте ли возможным приказать выслать мне наложенным платежом, а также и другие недорогие, в которых заключаются ваши важные философские мысли. Человек я хотя и малограмотный, самоучка, но люблю понятную философию. Вас же я понимаю, кажется, сносно. Вашу “Крейцерову сонату” читал и нахожу, что это вами написано с людей вашего круга, а в нашем кругу, слава богу, этого нет, или если есть, то редко, и у тех, которые, как обезьяны, подражают большим господам.

[...] Ах, как было бы хорошо, если бы осуществилась идея всеобщего мира, тогда не было бы конца благодарности нашему государю не только от его подданных, но и других народов. Ярмо войны и содержание армии тяжело всем. Простите, граф, меня, простого деревенского самоучку, за смелость беспокоить вашу особу этим письмом. Бывший вятский крестьянин, нынче камышловский мещанин Михаил Петрович Шалагинов. Из ваших сочинений читал: “Войну и мир”, “Анну Каренину”, “Смерть Ивана Ильича” и “Власть тьмы”, первые два романа читал со страстью и, кажется, нередко со слезами. Ещё раз благодарю Вас за доставленные мне минуты глубокого удовольствия» (72, 41 – 42).

Если учесть трудность для жителя заводского, в глухой провинции, посёлка прочитать не то, что запрещённые в России книги, но даже и изданные массовыми тиражами художественные произведения Толстого, фельдфебель в отставке Михаил Петрович Шалагинов, действительно, человек был в своём кругу незаурядный — начитанный, а в не меньшей степени наслышанный о жизни, включая военную службу в молодости, и о воззрениях Льва Николаевича Толстого: на армию и военное сословие, на международное пацифистское движение и многое другое.

31 декабря 1898 г. Толстой начал работу над обстоятельным ответным письмом, о чём он в этот день сообщал В. Г. Черткову: «Нынче написал длинное письмо одному бывшему фельдфебелю о невозможности соединения войны и христианства, и что из этого выходит» (88, 148). 21 же февраля 1899 г. Толстой записал в дневнике, после перерыва со 2 января описывая события этого промежутка времени: «Написал письмо фельдфебелю и в шведские газеты» (53, 219).

Письмо было создано в разгар работы над романом «Воскресение», что отразилось на ряде изложенных в нём идей. Толстой соглашался с мыслями Шалагинова о социальных источниках войн и развивал их: «Правительства [...] затевают войны, которые [...] выгодны не только генералам и офицерам, но и чиновникам и купцам» (72, 37). Писатель доказывал и несовместимость военных действий с христианством: «...правительства стараются всеми силами (особенно наше) удержать это церковное идолопоклонство, скрывшее христианство, и не дать народу прозреть и увидеть, что правительство со своими солдатами-убийцами, острогами, виселицами есть самое противное и несовместимое с христианством учреждение» (Там же). Он предлагал своё объяснение причин «молчаливого согласия» большинства с правительством: «...ни за чем правительство не следит с таким



страхом и вниманием, как за тем, чтобы это извращение мозгов людей совершалось бы непрестанно, и чтобы ни один человек, ни один ребёнок не миновали этого духовного и нравственного изуродования» (Там же. С. 39).

Отправив письмо Шалагинову, Толстой доработал его текст и переслал Черткову в Англию, где оно было опубликовано в виде статьи под названием «Письмо к фельдфебелю» в «Листках свободного слова» (1899. № 5. С. 1 – 5).

Во многом статья повторяет уже знакомые читателю тезисы предстоящих выступлений в печати Толстого как христианского публициста: да, отвечает Лев Николаевич пытливому фельдфебелю, всё это обман, и источник обмана — правительства лжехристианского мира, не исключая Россию, которым «нужно иметь средство для властвования над рабочим народом», и средство это — пресловутые «вооружённые силы», войско, армия:

«Немецкое правительство пугает свой народ русскими и французами, французское — пугает свой народ немцами, русское правительство пугает свой — французами и немцами, и так все правительства; а ни немцы, ни русские, ни французы не только не желают воевать с соседями и другими народами, а, живя с ними в мире, пуще всего на свете боятся войны. Правительства же и высшие праздные классы для того, чтобы иметь отговорку в своём властвовании над рабочим народом, поступают, как цыган, который нахлещет за углом лошадь и потом делает вид, что не может удержать её. Они раздражат свой народ и другое правительство, а потом делают вид, что для блага или для защиты своего народа не могут не объявить войны, которая опять-таки выгодна бывает только для генералов, офицеров, чиновников, купцов и вообще богатых классов. В сущности же война только неизбежное последствие существования войск; войска же нужны правительствам только для властвования над своим рабочим народом» (90, 54 – 55).

Вспомним, что образное сравнение с хитрым цыганом Толстой уже использовал — в 1894 году, в Главе 14-й статьи «Христианство и патриотизм». Вероятно, оно полюбилось ему, как весьма точное и одновременно по заслугам «унижающее», то есть ставящее на настоящее место, халтурные правительства — такие, которые не умеют управлять без обмана своих народов и военной агрессии по отношению к прочим.

Бесценный вывод о том, что война именно *последствие* существования войск Толстой рефреном повторит позднее в ряде публицистических выступлений и писем частным адресатам.

Истинное христианское учение противоречит потребностям таких правительств, и поэтому, с подмогой в лице дрессированных попов, они с глубокой древности извратили учение Христа в его первоначальной силе и смыслах:

«Извращение это христианства сделано давно, ещё при причисленном за это к лику святых злодее царе Константине, Все последующие же правительства, особенно наше, стараются всеми силами удержать это извращение и не дать народу увидеть истинный смысл христианства...» (Там же. С. 55).

Обманутые, развращённые люди пополняют собой ряды гнусных прислужников насилия над ними правительств, чиновников, полицейских и, разумеется, солдатни и прочей военщины:

«Народ задавлен, ограблен, нищ, невежествен, вымирает. Отчего? Оттого, что земля в руках богачей, народ закабалён на фабриках, заводах, в заработках, потому что с него дерут подати и сбивают цену с его работы и набивают цену на то, что ему нужно. Как избавиться от этого? Отнять землю у богачей? Но если сделать это, — то придут солдаты, перебьют бунтовщиков и посадят в тюрьмы. Отнять фабрики, заводы? Будет то же. Выдержать стачку? Но это никогда не удастся. Богачи дольше выдержат, чем рабочие, войска будут всегда на стороне капиталистов. Народ никогда не выкрутится из той нужды, в которой его держат, до тех пор, пока войска будут во власти правящих классов.

Но кто же такие те войска, которые держат народ в этом порабощении? Кто те солдаты, которые будут стрелять по крестьянам, завладевшим землёй, и по стачечникам, если они не расходятся, и по контрабандистам, привозящим товары без подати, — которые будут сажать в остроги и держать там тех, которые откажутся платить? Солдаты — это те самые крестьяне, у которых отобрана земля, те самые стачечники, которые хотят повысить свой заработок, те самые плательщики податей, которые хотят избавиться от этих платежей.

Зачем же стреляют эти люди по своим братьям? А затем, что им внушено, что для них обязательна та присяга, которую их заставляли принимать при поступлении на службу, и что убивать нельзя людей вообще, но можно по приказанию начальства, т. е. над ними производится тот же самый обман, который поразил вас.

[...] Обманываются люди не одним этим обманом, а с детства подготавливаются к этому целым рядом обманов, целой системой обманов, которая называется православною верою и которая есть не что иное, как самое грубое идолопоклонство. По этой вере люди обучаются тому, что бог тройной, что, кроме этого тройного бога, есть ещё

царица небесная, и, кроме этой царицы, еще угодники разные, тела которых не сгнили, и, кроме угодников, ещё иконы богов и царицы небесной, которым надо ставить свечи и молиться руками, и что самое важное и святое на свете — эта та мурцовка, которую из вина и булки делает поп по воскресеньям за перегородкой, — что после того, как поп над этим пошепчет, то вино будет не вино и булка — не булка, а кровь и тело одного из тройных богов и т. п. Всё это так глупо, бессмысленно, что нет никакой возможности понять, что всё это значит, да и те, которые преподают эту веру, не велят понимать, а велят только верить; и приученные к этому с детства люди [верят] во всякую бессмыслицу, которую им скажут. Когда же люди так одурочены, что верят в то, что Бог висит в углу или сидит в кусочке мурцовки, которую им поп даёт на ложечке, что целовать доску или мощи и ставить к ним свечи бывает полезно и для этой жизни и для будущей, — тогда их зовут на службу и там уж обманывают, как хотят, уверяя их, что по закону Христа можно убивать, и заставляя их прежде всего клясться на Евангелии (в котором запрещено клясться), что они будут делать то самое, что запрещено в этом Евангелии, и потом обучая их тому, что убивать людей по приказанию начальства не грех, а грех не повиноваться начальству и т. п.» (*Там же. С. 55 – 57*).

Так что из верующих в лжехристианском мире свободными от обмана, отрекающимися от военного рабства, оказываются одни так называемые сектанты. Примеры таких сект Лев Николаевич приводит в статье: духоборы и молокане в России, назарены в Австро-Венгрии, евангелики в Швеции, Швейцарии и Германии. Великий яснополянец скромно умалчивает о своих духовных львях, но, без сомнения, имеет в виду и их — в сочетании, с другими недогматическими движениями, влиянии на общественное сознание, спасительное для общества, но губительное для обманщиков и насильников у власти:

«Правительство всё допускает: и пьянство, и разврат (и не только допускает, но поощряет пьянство и разврат: это помогает одурению), но всеми силами противится тому, чтобы люди, освободившиеся от обмана, освобождали и других» (*Там же. С. 57 – 58*).

В России этот обман, посредством церковников и светских адептов разделяющей и ссорящей людей антирелигии, вперемешку с военным патриотизмом, совершается «особенно жестоко и коварно», начиная с крещения младенцев:

«Когда же дети окрещены, т. е. считаются православными, тогда под страхом уголовного наказания им запрещается обсуждать ту веру, в которую они, помимо своей воли, были окрещены, и за такое

обсуждение этой веры так же, как за отступление от неё и переход в другую, они подвергаются наказаниям. Так что про русских людей нельзя сказать, что они верят в православную веру, — они не знают, верят ли они, или не верят, потому что обращены все в эту веру тогда, когда они были младенцами; держатся же этой насильно навязанной им веры страхом наказания. Все русские люди пойманы в православие коварным обманом и жестоким насилием удерживаются в нём» (Там же. С. 58).

Заключительная часть ответа яснополянца умному человеку, хотя и фельдфебелю, Михаилу Петровичу Шалагинову, логично указывает на «единственное средство» освобождения людей от рабства и бедствий войны. Пора очень многим опорожнить ночную макитру на плечах, в которую серит казённая и поповская пропаганда:

«Нельзя влить ничего нужного в сосуд, который полон ненужным. Надо прежде вылить из него ненужное. Так и в усвоении истинного христианского учения. Надо прежде понять, что все рассказы о том, как Бог будто бы 6000 лет тому назад сотворил мир, и как Адам согрешил, и как пал род человеческий, и сын Бога и Бог, родившись от девы, пришёл в мир и искупил его, и все басни Библии и Евангелия, и все жития святых и рассказы о чудесах, иконах и мощах — суть не что иное, как грубое смешение суеверий еврейского народа с обманами духовенства. Только человеку, совершенно освободившемуся от этих обманов, может быть доступно и понятно простое и ясное учение Христа, которое не требует никаких толкований и которое нельзя не понять.

Учение это ничего не говорит ни о начале, ни о конце мира, ни о Боге и об Его замыслах, вообще о том, чего мы знать не можем, да нам и не нужно знать, а говорит только о том, что нужно делать человеку для того, чтобы *спастись*, т. е. прожить наилучшим образом ту жизнь от рождений до смерти, в которую он пришёл в этот мир. Для этого нужно поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали с нами. В этом весь закон и пророки, как сказал Христос. Для того же, чтобы нам поступать так, нам не нужно ни икон, ни мощей, ни церковных служб, ни попов, ни священных историй, ни катехизисов, ни правительств, а, напротив, нужна совершенная свобода от всего этого; потому что поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобою, может только человек, свободный от тех басен, которые жрецы выдают ему за единую истину, и не связанный с другими людьми обещаниями поступать так, как они велют ему. Только тогда будет человек в состоянии исполнять волю не свою и не других людей, а волю Бога.

Воля же Бога состоит не в том, чтобы мы воевали и угнетали слабых, а в том, чтобы признавали всех людей братьями и служили друг другу» (Там же. С. 58 – 59).

Надо ли говорить, что такое религиозное христианское решение не соответствовало и не соответствует по сей день убеждениям и общественным программам тех самых пацифистов, к рядам которых напрасно, ошибочно причисляют и Льва Николаевича Толстого и которые, хотя и готовы подписаться, вероятно, под каждым из проклятий Толстого войне, но, с одной стороны, не имеют, как правило, в своих макитрах и, главное, в сердцах, живой Христовой веры, а с другой, многие из них, независимо от своего отношения к религии больше всего боятся конфликта с исторически сложившимися и влиятельными церквями нашего лжехристианского мира, их учениями и храмовым идолопоклонством.

\* \* \* \* \*

Впервые ответ Шалагинову был опубликован, как было выше сказано, за границей, в 1899 году, в неподцензурных «Листках "Свободного слова"», издаваемого командой В. Г. Черткова. В России же публикация смогла состояться только в 1917 – 1919 гг., сразу в нескольких изданиях, силами Общины-коммуны "Трезвая жизнь" и ряда других издательств. Слишком нецензурной, видимо, показалась статья и советским цензорам Полного собрания сочинений Толстого, включившим её, как-то нехотя, вне общей хронологии издания, только в последний, 90-й, том, вышедший ничтожным тиражом в хрущёвскую "оттепель", в 1958 г.

Конечно, такого массового пробуждения в обществах к христианскому религиозному пониманию жизни не могло бы последовать, даже если бы статья получила в России свободное бесцензурное распространение. А эффект "запретного плода" вкупе с необходимостью печатать статью в тех же европейских типографиях, которые принимали заказы от пропагандистов социализма, и распространять её нелегально в России — опять же, теми самыми приёмами, которыми распространялась нелегальная литература — навредили судьбе этого толстовского слова к современникам, как и ряду других, сильнее всего образом: социалисты "присвоили" себе, выдрвав из текстов Толстого все упоминания о вере и Христе, его страстную критику правительств, духовенства и военщины.

28 октября 1906 г. домашний врач и личный секретарь Л. Н. Толстого Душан Петрович Маковицкий записал в дневнике, что Толстой

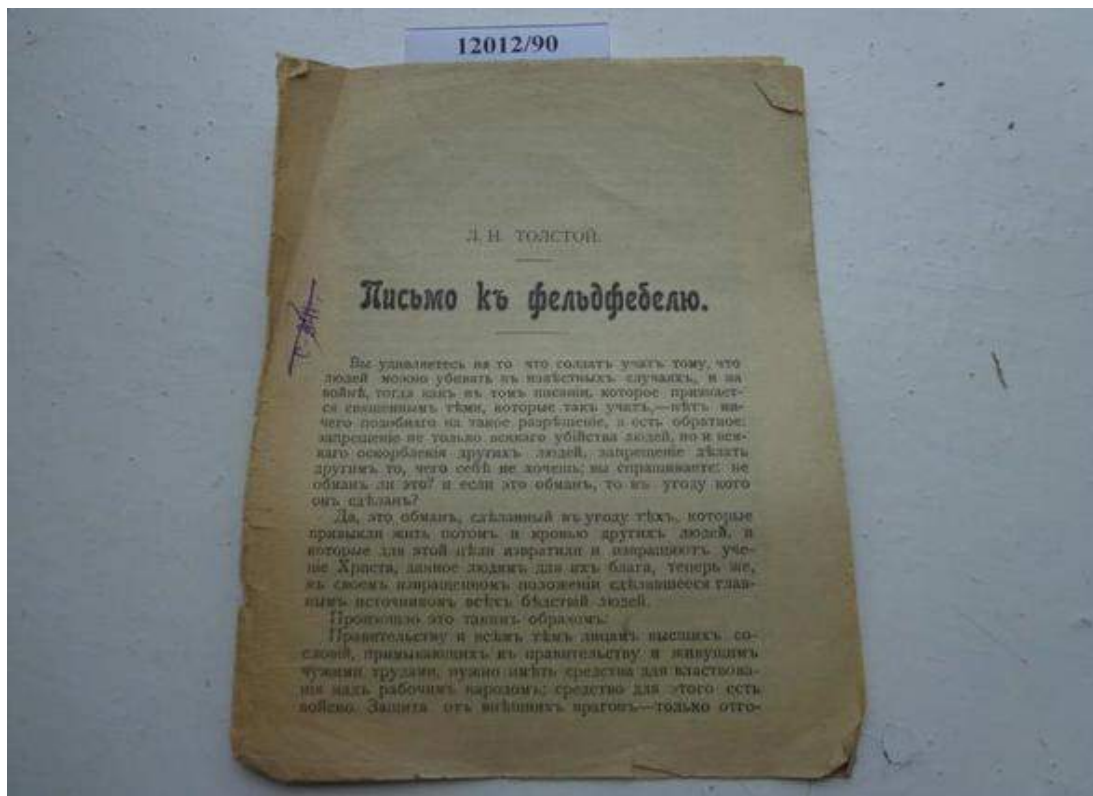
упомянул в устной беседе о М. П. Шалагинове и об отправленном ему десятилетие назад письме:

«Получил письмо и в нём моё “Письмо к фельдфебелю”, издание революционеров, истрёпанное, многие его читали. Пишет: “Вас прежде уважали, а теперь вас весь народ презирает, что вы такую святыню можете осуждать”.

*Софья Андреевна.* Какую святыню?

*Л. Н.:* Церковь, войско».

Маковицкий свидетельствовал, что «всё это Л. Н. говорил на вид спокойно, как будто бы его это не касалось. Обыкновенно же ему бывает больно, когда получает такие письма» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 2. С. 288*).



Издание в виде брошюры «Письма к фельдфебелю»  
Книгоиздательство «Братство народов», г. Москва. Нач. XX в.

Можно сделать вывод, что Толстой отнюдь не сожалел о таком использовании его мирной христианской проповеди: верил, быть может, что религиозная Истина победит, даже при попытках замолчать и или извратить её политическими маргиналами. Побеждать обман правительств и попов было для него важнее — настолько, что через год, в декабре 1907 года, Толстой в разговоре с единомышленницей Марией Александровной Шмидт, перечислив лучшие, по его

мнению, «книжки» свои «о военной службе» («Царство Божие», «Приближение конца», «Памятки» <солдатская и офицерская. – Р. А.>, «Письмо к фельдфебелю»), сравнил их с информационной «бомбой», которую «только приложить» (Там же. С. 588). Но Толстой радовался при этом, что жившим тогда в Ясной Поляне стражникам оказались понятны и одобрительны и жизнестроительные, именно религиозные его важные сочинения, «Краткое изложение Евангелий» и «Христианское учение»: ведь, подорвав старый, лживый и насильнический порядок, надо уже иметь фундаментальные, духовные ориентиры в созидании лучшего, нового.

---

## 6. 10. «ПО ПОВОДУ КОНГРЕССА О МИРЕ В ГАЛГЕ (Письмо к шведам)». 1899

... Для того, чтобы уничтожить войска и зло, происходящее от них, нужны не конференции правительств, а конференции граждан, обманутых и обманываемых правительствами, обманываемых самым коварным образом именно такими конференциями. Для того, чтобы уничтожить войска, нужно, чтобы общественное мнение приписывало важность не собранию наряженных в смешные костюмы представителей держав, которые после балов и обедов будут заседать в роскошных залах и с важностью говорить бессодержательные французские фразы, а напротив, клеймило бы презрением и насмешкой такого рода собрания, имеющие целью только закрепить рабство людей, и приписывало бы важность и значение только поступкам тех людей, которые и словом и делом, не боясь страданий и смерти, заявляют сознание своего человеческого достоинства, отказываются от участия в бесчеловечной организации убийств. Уничтожатся войска тогда, когда такие люди будут признаны тем, что они есть — первыми, передовыми борцами за свободу и прогресс человечества, и когда таких людей будут тысячи и миллионы...

*(Лев Николаевич Толстой)*

Сборища европейских пацифистов, всё более частые в 1890-е годы, встречали стойкий скепсис Л. Н. Толстого — всё по той же причине,

что и прежде: проходили они в декларативно, номинально *христианском* мире, а по существу — игнорировали то решение проблематики войны и мира, которое было и остаётся неизбежным следствием из искренне принятого сердцем и разумением, каждым человеком, учения Христа. Учение обращается именно к каждому *отдельному человеку*, а значит, наибольшую поддержку должно бы было оказывать индивидуальной, естественной для морально здорового человека, ненависти к системным, организованным формами насилия, принуждения. Пацифистские же круги стремились, минуя принципиально «вопросы религии», решить актуальные вопросы, исходя из жизнепонимания дохристианского, языческого — посредством норм международного «права», апеллируя к безбожному, «светскому» гуманизму.

Таково было и очередное сборище пацифистов, на этот раз в Гааге, знаменитая 1-я Гаагская мирная конференция 1899 года, неожиданно для многих, даже причастных к теме, созванная по инициативе варварской Российской империи и находившаяся «под эгидой» российского императора Николая II.

Отчего это могло понадобиться «доброму батюшке» царю — легко догадаться. В конце 1890-х годов XIX века начался новый этап в развитии вооружений: большинство стран вооружились более современными моделями винтовок. Появление бездымного пороха позволило увеличить скорость полёта пули, а уменьшение калибра — снизить вес винтовок и увеличить носимый запас патронов. За счёт выигрыша в весе винтовки получили встроенный магазин, обеспечивающий более высокую скорострельность. В 1886 году Франция принимает систему Лебея, а в 1887 году Турция — систему Маузера, Япония — Мураты, в 1888 году Австрия — Маннлихера. Тогда же Германия перевооружается магазинной винтовкой 1888 года, созданной на основе конструкции Маузера. Через год на новые системы перешли Англия (система Ли-Метфорда) и Италия (система Маннлихера-Каркано) и Россия (образец 1891 года).

В России в качестве основного образца стрелкового оружия была выбрана 3-линейная винтовка системы Мосина образца 1891 года. Скорострельность магазинной винтовки Мосина составляла 10 – 12 выстрелов в минуту, а прицельная дальность стрельбы — до 2000 метров. На вооружении в русской армии в то время были морально устаревшие револьверы системы Смита-Вессона образца 1871, 1874 и 1880 годов, которые в конце XIX века были заменены револьверами системы Нагана образца 1895 года.



В этот период появились и скорострельные автоматические пистолеты, которые постепенно вытеснили револьверы. Первые автоматические пистолеты Джона Браунинга появились в 1897 году, автоматический пистолет Вильгельма и Пауля Маузеров — в 1896 году (в 1866 году они сконструировали однозарядную винтовку и револьвер, которые в 1871 году были приняты на вооружение в германской армии).

Промышленный подъём 2-й половины XIX века предоставил возможность создания и производства нарезных артиллерийских орудий (нарезное орудие — орудие, имеющее винтовые нарезы по каналу ствола). Благодаря бездымному пороху и увеличению относительной длины снаряда достигалась высокая начальная скорость снаряда, что позволяло увеличить дальность стрельбы, а приданием снаряду устойчивости в полёте с помощью нарезов по каналу ствола, достигалась точность стрельбы. В армии всех стран с 1857 по 1870 годы были приняты на вооружение нарезные артиллерийские орудия. Для стрельбы из нарезных орудий применялись вначале снаряды со свинцовой оболочкой, а в последующем стальные снаряды с закреплёнными на их корпусе медными ведущими поясками.

В России в 1885 году на вооружение приняли 6-дюймовую (152-мм) полевую мортиру системы Круппа на лафете Энгельгардта.

Немецкий конструктор Эргардт разработал скорострельную пушку калибра 76, 2 мм. Скорость стрельбы орудия составляла 15-20 выстрелов в минуту. Германия в 1897 году приняла на вооружение 77-мм пушку образца 1896 года, скорострельность которой составляла 5 выстрелов в минуту. Англия закупила орудия Эргардта с боеприпасами для изучения и приняла на вооружение 76,2 мм пушку. В 1892 году французы Пюто и Дьюпор создали 75 мм пушку с независимой линией прицеливания. На вооружение французской армии была принята 75-мм полевая пушка образца 1897 года, со скорострельностью 16 выстрелов в минуту.

В германской армии была принята на вооружение скорострельная полевая 77-миллиметровая пушка (образца 1896 года), которая делала 6 – 10 выстрелов в минуту: почти в 5 раз больше, чем ранее.

К концу XIX века была установлена твёрдая классификация кораблей парового флота. В России классификация была введена приказом по Морскому ведомству от 1 февраля 1892 года. Она устанавливала следующие классы кораблей: броненосцы эскадренные и береговой обороны, крейсера 1 ранга (броненосные и бронепалубные) и 2 ранга, минные крейсера, канонерские лодки мореходные и береговой обороны, пароходы, яхты, транспорты, миноносцы, миноноски, учебные суда, портовые суда.

Основные классы кораблей имели следующие предназначение и тактико-технические элементы:

1. Эскадренные броненосцы — наиболее мощные артиллерийские корабли для ведения главным образом эскадренного боя; имели водоизмещение 10 – 15 тысяч т.; вооружение: артиллерийское — четыре 305-мм., до двенадцати 152-мм., до двадцати 75-мм. и до тридцати 47 – 37-мм. орудий; торпедное — до четырёх надводных и двух подводных торпедных аппаратов; бронирование 406 – 250 мм.; скорость 17 – 18 узлов; дальность плавания до 8 тысяч миль.

2. Броненосцы береговой обороны — артиллерийские корабли для ведения боя в прибрежном районе; имели водоизмещение до 5000 тонн, скорость до 16 узлов; артиллерийское вооружение — четыре 254-мм, четыре 120-мм и до двадцати четырёх 47- и 38-мм орудий, четыре торпедных аппарата, бронирование до 203 мм.

3. Крейсера 1 ранга — для ведения артиллерийского боя вместе с эскадренными броненосцами, а также для самостоятельных действий на океанских коммуникациях; их водоизмещение достигало 12 тысяч тонн, скорость — 20 узлов, дальность плавания — 8000 миль; вооружение: артиллерийское – четыре 203-мм, шестнадцать 152-мм, до тридцати 37 мм орудий, торпедное — до четырёх надводных торпедных аппаратов; бронирование — до 203 мм.

4. Крейсера 2 ранга – для ведения тактической (ближней) разведки, несения дозорной службы, нарушения коммуникаций противника и защиты своих коммуникаций, отражения атак миноносцев; имели водоизмещение от 3000 до 6000 тонн, скорость до 25 узлов, дальность плавания до 4000 миль; вооружение: артиллерийское — восемь 152-мм, двадцать четыре 75-мм, восемь 37-мм орудий; торпедное — до четырёх торпедных аппаратов.

5. Канонерские лодки — небольшие артиллерийские корабли для ведения боя вблизи берегов; имели водоизмещение до 1500 тонн, скорость до 15 узлов и по два орудия калибром от 152 до 225 мм.

6. Эскадренные миноносцы — торпедные корабли для действий в открытом море и прибрежных районах; водоизмещение эскадренных миноносцев до 350 тонн, скорость до 27 узлов, одно 75-мм и пять 47-мм орудий, три торпедных аппарата; у миноносцев водоизмещение до 180 тонн, скорость до 24 узлов, три 37-мм орудия, два торпедных аппарата.

Расходы на совершенствование вооружений тяжело сказались на финансовом положении России. Поэтому, когда летом 1898 года российскому правительству стало известно о намерении германского императора Вильгельма II потребовать от рейхстага значитель-

ного увеличения личного состава армии, что могло вынудить и Россию увеличить расходы на дальнейшее развитие боевых средств, ведомство иностранных дел России посчитало своевременным созвать международную конференцию с целью положить предел постепенному развитию современных вооружений. Император России Николай II согласился с этим предложением.

12/24 августа 1898 г. была опубликована нота министра иностранных дел России гр. М. Н. Муравьева с предложением императора Николая II о созыве международной конференции мира. Даже самое место проведения конференций предложила именно Россия: Гаага является родиной «отца науки международного права» Гуго Гроция, опубликовавшего в 1625 г. свой фундаментальный трактат «О праве войны и мира». Судя по всему, главной целью многодневных и дорогостоящих заседаний было «приручение» наиболее умеренных, сговорчивых пацифистских кругов с одновременным внесением раскола в ряды пацифистов, часть которых, как Берта фон Зуттнер, желали ставить на конференциях вопросы именно разоружения, уничтожения войн, а не их «гуманизации». Без веры, без единения всех противников войны в актуальном, спасительном христианском жизнепонимании такой сценарий обречён был оставаться утопией.

Сама легитимизация задействия в Мирной конференции, тем более в качестве инициаторов, участников гонки вооружений (на которую, кстати сказать, Россия в те годы тратила более четверти расходов бюджета) превращала сборище в посмешище. Между тем "царский манифест" был восторженно встречен пацифистами. Казалось, неожиданно приблизилось воплощение самых смелых надежд на установление "вечного мира" через пацифизм "сверху", посредством монаршей «отмены войны». Кстати, подобное предложение, но в отношении смертных казней, конкретно помилования цареубийц, прозвучало в письме Л. Н. Толстого, после событий 1 марта 1881 года, в адрес сына убитого императора, Александра III. В отношении же войн такого разрешения грезил Берта фон Зуттнер, первоначально с восторгом воспринявшая инициативу симпатичного ей молодого русского царя.

Этот оптимизм пацифистов убавлялся по мере того, как выяснилась повсеместно холодная официальная реакция на предложения России. Западные государства восприняли идею мирной конференции с плохо скрываемой враждебностью. Германия, Англия и Франция боялись уступить друг другу приоритет, а также затронуть болезненные взаимные вопросы: об Эльзасе и Лотарингии, Турции, Китае.

Германский император Вильгельм II был уверен, что «Россия уже дошла до предела», и денег у неё в казне нет. Левая западная печать обрушилась на Россию с упрёками в популизме и в том, что она использует мирные инициативы для прикрытия агрессивной политики, о чём, в частности, написал известный социал-демократ и деятель Второго Интернационала Карл Каутский в статье «Демократическое и реакционное разоружение» в марксистском журнале Второго Интернационала «Die Neue Zeit». Идею Конференции поддержали Австро-Венгрия, действительно нищая, традиционно неудачливая в войнах Италия и ряд менее влиятельных стран. В результате первоначальный объём вопросов будущей конференции был значительно урезан. В официальном обращении министра иностранных дел от 30 декабря 1898 г. предлагалось внести в повестку дня форума следующие вопросы:

«1. Сохранение на известный срок настоящего состава сухопутных и морских вооружённых сил и бюджетов на военные надобности и предварительное изучение средств, при помощи которых могло бы в будущем осуществиться даже сокращение вооружённых сил и военных бюджетов.

2. Запрещение вводить в употребление в армиях и во флоте какое бы то ни было новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые вещества, а также порох, более сильно действующий сравнительно с принятым в настоящее время как для ружейных, так и для орудийных снарядов.

3. Ограничение употребления в полевой войне разрушительных взрывчатых составов, уже существующих, а также запрещение пользоваться метательными снарядами с воздушных шаров или иным подобным способом.

4. Запрещение употреблять в морских войнах подводные миноносные лодки и иные орудия разрушения того же свойства, а также обязательство не строить в будущем военных судов с таранами.

5. Применение к морским войнам постановлений Женевской конвенции 1864 года на основании дополнительных к ней постановлений 1868 года.

6. Признание на таких же основаниях нейтральности судов и шлюпок, коим будет поручено спасание утопающих во время или после морских сражений.

7. Пересмотр декларации о законах и обычаях войны, выработанной в 1874 году на конференции в Брюсселе и до сего времени не ратификованной.

8. Принятие начала применения добрых услуг, посредничества и добровольного третейского разбирательства в подходящих случаях,

с целью предотвращения вооружённых между государствами столкновений; соглашение о способах применения этих средств и установление однообразной практики в их употреблении» (*Циркулярное сообщение министра иностранных дел пребывающим в Санкт-Петербурге представителям иностранных государств от 30-го декабря 1898 г. // Правительственный вестник. 1899. № 8. 12 января*).

Та степень гопнической наглости и ожесточённого цинизма, с которыми даже в наши дни, в третьем десятилетии XXI века, именно Россия попирает своей палаческой агрессией в Украине все нормы международного права, утвердившиеся в XX веке, позволяет нам констатировать дальновидность именно скептиков «николаевской» Гааги и наивность надежд в массе тогдашних европацифистов. Тем не менее, пропагандистские акции пацифистов по всей Европе при подготовке и в ходе I Гаагской конференции мира означали действительный прорыв в истории антивоенного движения. Толстой следил и за ними, и за положительными (разумеется) отзывами на инициативу императора в российской печати. Вот, для примера, агитка от «Московского листка» от 9 мая 1899 года:

«Открытие мирной конференции в Гааге вызвало сочувственные заявления целям её со стороны всех участвующих в ней представителей правительств, выразивших горячие и сердечные поздравления Русскому Государю. Кроме того, день открытия этого международного совещания отмечен был с особенной радостью всеми народами земного шара и всей мировой печатью...

[...] ...Нельзя без глубокого сожаления вспомнить о тех возгласах недоверия, которые раздались почти накануне открытия конференции в Гааге, по поводу её программы [...].

Так, например, в Германии одна газета обнародовала изречение заслуженного историка Моммсена, сказавшего, что он считает Гаагскую мирную конференцию исторической опечаткой, о которой, как таковой, он не считает даже нужным и высказывать свои суждения». Другой немецкий учёный, философ Куно Фишер, заявил, что «он относится к идее мирной конференции в Гааге без веры и надежды».

[...] <Народы> не должны увлекаться мыслью о возможности установления вечного мира, обуславливающего прекращение всякого вооружения. Подобные надежды, пока не наступит царство Божие на земле, представляются едва ли достижимыми и предаваться таким мечтаниям правительства и народы не приглашались вовсе воззванием русского правительства, изданным в августе прошлого года. Оно указывало лишь на цели, гораздо более скромные, но не

менее великие и благодатные по последствиям, которые может повлечь за собой их достижение.

Гаагская конференция вовсе не предполагает разрабатывать вопросы и задачи, которые ставят себе, так называемые, „общества мира“, давно существующие в Европе и основанные отклонёнными мечтателями, увлечёнными воодушевляющей их идеей. Но то, что предполагается выработать и установить на открывшейся 6 мая, по почину нашего Всемилостивейшего Государя, конференции содержит в себе весьма много хорошего, удовлетворяющего насущным потребностям ныне живущего поколения людей и может в достаточной мере способствовать осуществлению возвышенной цели, лежащей в основе конференции.

[...] Одно содержание этой программы будущих работ гаагской конференции наполняет сердце чувством глубокого благоговения к великодушному замыслу Русского Царя. Народы исполнятся благодарностью уже и в том случае, если война, в иных случаях считающаяся пока неизбежной, будет ограничена законами, внушаемыми чувством человеколюбия и справедливости, и если все государства, по крайней мере, признают в принципе идею третейского суда, как средства предупреждения войны. И это одно, несомненно, составит огромный шаг на пути мирного развития человечества» ([https://nik191-1.ucoz.ru/blog/gaagskaja\\_mirnaja\\_konferencija\\_1899\\_g\\_otzyvy\\_pechat\\_i\\_o\\_ee\\_celjakh/2020-06-01-7386](https://nik191-1.ucoz.ru/blog/gaagskaja_mirnaja_konferencija_1899_g_otzyvy_pechat_i_o_ee_celjakh/2020-06-01-7386)).

Конференция прошла в период с 6 (18) мая по 17 (29) июля 1899 г. В ней приняли участие представители 27 государств: Австро-Венгрии, Германии, Бельгии, Китая, Дании, Испании, США, Мексики, Франции, Великобритании, Греции, Италии, Японии, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Ирана, Португалии, Румынии, России, Сербии, Сиам, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Турции, Болгарии (не присутствовали государства Центральной и Южной Америки).

В состав российской делегации, которая представляла также интересы Черногории, входило 13 человек, возглавлял её российский посол в Лондоне Егор Стааль.

Конечно, вся официозная, а тем более пропагандистская шумиха вокруг неё живо напомнили Толстому восторги по поводу «Тулонской весны» 1893 г., военного Франко-русского союза, так же долженствовавшего, якобы, обеспечить «мир». Вряд ли бы, однако, он сам захотел откликаться на это представление в печати.

Однако, как и можно было предвидеть — его «достали».



Российская делегация на Гаагской конференции.

*Сидят: граф Баранцев, Ф.Ф. Мартенс, Е.Е. Стааль, А.К. Базили, Я.Г. Жилинский.  
Стоят: Н.А. Гурко-Ромейко, И.А. Овчинников, В.М. Гессен, С.П. Шейн, М.Ф. Шиллинг, Н.А. Базили, Н.Г. Приклонский*

Вскоре после опубликования циркулярной ноты русского правительства редакция газеты «New York World» обратилась к Толстому с телеграммой, датированной 19 августа (1 сентября): «Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте добры ответить. Ответ тридцать слов оплачен».

Мысленно послав дорогую редакцию нахуй, Толстой всё же ответил телеграммой (20 – 22 августа ст. ст.):

«Следствием рескрипта будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства».

В одной из первоначальных редакций стояло: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (*Чистякова М. Толстой и европейские Конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 603*).

Редакция «New York World» не удовлетворилась этим ответом и в начале 1899 г. повторила свой телеграфный запрос. Точную дату установить затруднительно, так как сама телеграмма из газеты

утрачена, как нет в нашем распоряжении и ответа яснополянца, отправленного газете. Но сохранился, и даже в четырёх редакциях, черновик, без даты, по которому можно судить, что он не был благоприятен ни для газеты, ни для Конференции (оригинал на английском; слова в скобках в оригинале зачёркнуты):

«Мой ответ на ваш вопрос тот, что мир никогда не может быть достигнут конференциями <на которых люди, сами не идущие на войну>, и может быть решён <только> людьми, которые не только болтают, но которые <принуждены сражаться> сами идут на войну. Этот вопрос был разрешён 1900 лет тому назад учением Христа так, как оно им понималось, а не так, как оно было искажено церквами. Все конференции могут быть выражены одним изречением: все люди сыны Божьи <и каждый человек должен любить ближнего, а не убивать его> и братья и потому должны любить, а не убивать друг друга. Извините мою резкость, но все эти конференции вызывают во мне сильное чувство отвращения за лицемерие, столь в них явное» (72, 116).

9 сентября н. ст. 1898 г. редакция журнала «Les Droits de l'Homme» прислала Толстому для заполнения анкету по поводу «царского рескрипта», оставленную Толстым без ответа.

Но имел место и более содержательный диалог — о котором теперь пойдёт речь.

В конце того же года некий Хеннинг Меландер (Henning Melander) от имени группы шведской интеллигенции обратился к Толстому с пространственным письмом, в котором излагалась история отказов от военной службы по религиозным убеждениям в Швеции и других странах и выражалось пожелание, чтобы предстоящая мирная конференция включила в повестку своих заседаний рассмотрение вопроса об освобождении от военной службы лиц, отказывающихся по религиозным убеждениям, с заменой для них военной службы общепольными работами (сооружение железнодорожных путей, осушение болот и пр.). Подлинник письма утрачен, оттого точная датировка документа невозможна. В № 1 (август) за 1899 г. начатого тогда в Женеве близким другом Толстого, Павлом Ивановичем Бирюковым, бесцензурного журнала «Свободная мысль» (стр. 2 – 4) письмо было опубликовано без даты и, возможно, с утратами и искажениями, в следующем виде:

«Многоуважаемый Лев Николаевич!





В таком положении находится вопрос этот у нас. Но вопрос этот имеет значение не для одной нашей страны и потому должен, как вопрос общечеловеческий, быть рассмотрен и в других странах.

Существующая система воинской повинности создала мучеников в Норвегии, Дании, Германии, Австрии, России, — вообще во всём христианском мире. Везде подвергались той же участи юноши, желавшие лишь поступать по совести, везде они были причислены к преступникам и с ними вместе осуждены.

Никто лучше вас этого не знает, граф, и никто лучше вас не умел бороться со злом. Но нам неизвестно, думали ли вы об этом, и в какой степени возможно предложить этот вопрос на рассмотрение правительства именно теперь, когда приготавливаются к великой конференции общего разоружения, и потому мы просим вас обдумать его. Нам кажется, что возбуждение этого вопроса не может быть более своевременным, чем теперь, когда правительственные представители великих культурных стран должны собраться, чтобы изыскивать средства для уменьшения бедствий войны.

Имея в виду не только сокращения сумм, тратимых на воинское вооружение, но, как мы надеемся, желая противодействовать войнам или по крайней мере уменьшить возможность их возникновения или даже хоть их ужасы, — собравшиеся правительственные уполномоченные должны будут выслушать наше заявление, так как самая цель конгресса не позволит отнестись без внимания к такому важному, в интересах гуманности, заявлению. Отнесясь невнимательно к нашему заявлению, члены конгресса показали бы перед целым светом, что они лишены и тех искренних человеколюбивых намерений, которые необходимы людям, желающим осуществить благородные и гуманные идеи миролюбивого царя.

В какой мере осуществляются эти идеи, предвидеть невозможно. Судя по запутанному положению, грозившему в последнее время зажечь весь мир, нельзя ждать серьёзных результатов конференции. Но если бы могли согласиться, по примеру Швеции, предложить на обсуждение правительств, до которых это касается, вопрос об отказе от воинской повинности по религиозным убеждениям, то конференция наверно не осталась бы без значения. Конечно этим путем не будет достигнуто полное разоружение, но только уменьшится число войск на несколько сот человек, которые будут освобождены от участия в вооружении, но этим зато был бы сделан первый шаг по истинному направлению, связав органически осуществление стремлений к разоружению с живыми людьми, могущими их выполнить в жизни.

Но скажут: если будет всякому дана свобода не пойти в военную службу по требованию совести, то из этого произойдёт общая военная стачка. На это достаточно возразить то, что речь идёт не об освобождении от гражданских обязанностей, а о превращении воинской повинности в такую повинность, которая не противоречила бы требованиям совести, как например, служба лесничих, работы по осушению болот, сооружение путей железных дорог и т. п.

Если же таких людей окажется слишком много, ну что же! — мы будем иметь культурное войско, могущее делать производительные и полезные работы.

Так постепенно превратились бы войска в общественную армию спасения, осушающую болота, устраивающую жилища, обращающую пустыни в плодородные нивы, где бедные находили бы своё пропитание.

Этим вопрос о разоружении получил бы своё естественное разрешение, которого никакими законодательными мерами, как бы они благонамеренны ни были, достигнуть невозможно.

Могут сказать ещё, что неразумно обременять царскую программу мирной конференции побочными вопросами, но мы того мнения, что данный вопрос не побочный, а самый центральный, и потому имеет право на первое место в ряду вопросов, имеющих быть возбуждёнными в программе.

Впрочем, никто, многоуважаемый граф, не может понимать этого глубже вас, судя по вашим сочинениям, а потому мы почтительнейше просим вас обратить на это внимание царя или его министров, а также и публики.

Выражая вам глубочайшее уважение, мы имеем честь почтительнейше подписаться. [Четыре члена рейхстага, один журналист, один секретарь редакции, два профессора, пять пасторов, один военный врач, один директор миссии, один учитель и другие.]» (Цит. по: 72, 14 – 16).

Как видим, Лев Николаевич “обречён” был откликнуться: шведы написали о самом главном, драгоценном для Толстого: о том, что одним из средств, содействующих разоружению государств и установлению мира, они признают *отказы от военной службы* отдельных лиц и о *мученичестве* таких идейных отказников во всём христианском мире.

Весьма примечателен, как характеризующий воззрения на Гаагскую конференцию радикальных противников войны, комментарий, предваряющий публикацию письма, вероятно, самого Павла Бирюкова — издателя газеты «Свободное слово»:

«Многое ожидалось от неё легковерными людьми, много нашумел в Англии Стэд, женские общества неумолкаемо выражали сочувствия и надежды, но ничего не помогло. Большая часть манифестаций была даже не допущена конференцией и все дела её решено было вести в тайне. “Чего стыдимся, того и таимся!” За закрытыми дверями всегда совершается что-нибудь скверное» (*Свободное слово*. – 1899. № 1. С. 2).

Упомянутый комментатором английский журналист *Уильям Томас Стэд* (William Thomas Stead; 1849, Эмблтон, Нортамберленд, Великобритания — 1912, «Титаник») познакомился с Л. Н. Толстым в мае 1888 года, когда гостил неделю в Ясной Поляне. Стэд известен тем, что, как и Лев Николаевич, живо эволюционировал в своих общественных убеждениях. В 1900-е годы он был уже консервативен и, в частности, в публичных лекциях защищал российское правительство от радикальной революционаристской сволочи. Но в 1890-е Стэд был ещё умеренно либерален и поддерживал таких же умеренных пацифистов, одобрявших «мир через арбитраж» «высший суд справедливости между народами» и т. п. Под влиянием бесед с Толстым, вернувшись в Англию, Стэд превратился и в издателя — стал выпускать, по образцу толстовского «Посредника», дешёвые книжечки для народа.

В Толстом англичанин искал не только источник свежего материала, но и авторитетного единомышленника по части тогдашних своих либеральных воззрений. Как и в других подобных случаях, Толстой с честью выдержал испытание и... не оправдал до конца ожиданий своего гостя.

Диалог Л. Н. Толстого со шведами связал его со «своим» человеком в Швеции, давним знакомцем, журналистом и путешественником *Йонасом Стадлингом* (Jonas Jonsson Stadling, 1847 – 1935). Во время голодного бедствия в России он очень помог Льву Николаевичу в Бегичевке, где располагался главный “штаб” помощи крестьянам, а также и его сыну, Льву Львовичу, в Патровке Самарской губ. – не только личными трудами, но и более значимо: информационно, как журналист. Для своих публикаций, вызвавших в 1892 году сочувствие и поддержку во всём мире, он сделал уникальные фотографии, сохраняющие своё источниковое значение до сего дня.

Письмом из Стокгольма от 31 января 1899 г. Йонас Стадлинг благодарил Толстого за письмо от 12 января, в котором тот сообщал о обращении к нему шведских сторонников мира и своём решении ответить и обещал Льву Николаевичу самую значимую помощь: пе-

ревод письма на неизвестный Толстым шведский язык и распространение по шведским газетам. Вероятно, вспомнив, по 1892 году, особенности удивительного почерка доброго русского друга, он просил Толстого подготовить ответ шведам в печатном виде (на пишущей машинке), чтобы облегчить перевод (Бабаев Э.Г. *Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75, Кн. 1. С. 425 – 426*).



Йонас Стадлинг

Стадлинг сполна исполнил обещание. Ответ Толстого, известный как письмо «группе шведской интеллигенции», изваянный Львом Николаевичем приблизительно 7 – 9 января 1899 года, был скоро опубликован, в хорошем переводе, в шведских газетах. Вот он, с незначительными сокращениями:

«Милостивые государи,

Мысль, высказанная в письме вашем, может иметь очень важные последствия, и я постараюсь по вашему желанию обратить на неё внимание царя и общества. Боюсь, однако, того, чтобы капризная и робкая русская цензура не запретила печатания как вашего прекрасного письма, так и самый ответ на него. Всё-таки напишу, что думаю, и пришлю написанное вместе с вашим письмом сначала в русские, а потом в иностранные газеты.

Мысль ваша о том, что всеобщее разоружение может быть достигнуто самым лёгким и верным путём посредством отказа отдельных лиц от участия в военной службе, совершенно справедлива. Я даже думаю, что это единственный путь избавления людей от всё усиливающихся и усиливающихся ужаснейших бедствий военщины (милитаризма). Мысль же ваша о том, что вопрос о том, каким образом и чем должна быть заменена воинская повинность для лиц, не согласных убивать своего ближнего, должен быть предложен и может быть рассматриваем на [...] конференции, мне кажется совершенно ошибочным.

Конференция, нам говорят, будет иметь целью если не разоружение, то прекращение увеличения вооружений. Предполагается, что на этой конференции сами правительства или их представители условятся о том, чтобы не увеличивать больше вооружений своих, но для того, чтобы не увеличивать более вооружений, необходимо прежде уравнивать вооружения респективных <здесь: равных в военной мощи. – Р. А.> государств, потому что те правительства, которые во время сбора конференции случайно будут слабее, чем их соседи, не могут согласиться на то, чтобы и в будущем оставаться в таком положении, не увеличивая своих военных сил. Если же дело конференции будет состоять в том, чтобы уравнивать военные силы государств и на этом остановиться, то невольно возникает вопрос, почему правительства должны остановиться на таком вооружении, которое существует теперь, а не на более низком, почему, если выражать силу вооружения количеством полков, нужно, чтобы у Германии и России было то большое количество полков, которое теперь существует, а не меньшее количество. Почему нужно и русским и немцам иметь 810, 800 полков, а не по 499, не по 400, не по 300, не по одному, и, наконец, почему бы не выставлять вместо всех этих войск — борцов, Давида и Голиафа, и решать международные дела, смотря по тому, кто поборет.

Я помню, в Севастополе я пришёл к приятелям адъютантам Сакена, <граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790 – 1881) — Р. А.> начальника гарнизона, и в это время пришёл князь С. С. Урусов, <князь Сергей Семёнович Урусов (1827 – 1897) — математик, шахматист; со времён Севастопольской обороны близкий и любимый приятель А. Н. Толстого. – Р. А.> офицер, известный своей храбростью и один из лучших шахматных игроков того времени и вместе с тем очень наивный человек. Он сказал, что у него есть важное дело до генерала, и его провели в дверь комнаты. Через ¼ часа он вышел, а присутствовавшие при аудиенции адъютанты, смеясь, рассказали нам, в чём было дело Урусова до Сакена. Урусов предлагал Сакену

для того, чтобы решить, за кем останется передовая траншея перед 5 бастионом, несколько раз переходившая из рук в руки и стоившая несколько сот жизней, вызвать от неприятеля лучшего шахматного игрока и сыграть партию на эту траншею: кто выиграет, за тем она и останется.

Предложение было очень логично, но Сакен не согласился, потому что не мог ручаться за то, чтобы Мак-Магон, <граф Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магон (Marie Edme Patrice Maurice, Comte de Mac-Mahon; 1808 – 1893) — выдающийся французский маршал и политический деятель. В 1855 г., командуя дивизией в Крыму, взял Малахов курган. – Р. А.> несмотря на проигрыш своего чемпиона, не прислал бы баталион со штыками занять траншею. Точно также не могут согласиться и державы на то, чтобы уменьшить войска, потому что они никогда не могут быть уверены в том, что не явится вновь Наполеон или новый Бисмарк, который, наплевав на все условия, увеличит свои войска и побьёт тех, которые будут так глупы, что будут держаться условия уменьшать их. Пока есть войска, то они нужны для того, чтобы побеждать. А побеждают les gros bataillons [фр. большие войска], и поэтому если правительство имеет войско, то оно должно стараться, чтобы его было как можно больше. В этом состоит обязанность всякого правительства. Оно поставлено затем, чтобы соблюдать могущество своей страны. В этом главное оправдание существования правительства. И потому, если правительство не делает того, к чему оно приставлено, его и не нужно. [...] Правительство может делать очень многое во внутреннем управлении, может освобождать, просвещать, обогащать народ, строить дороги, каналы, колонизировать пустыни, устраивать общественные работы, но одного не может делать, именно того, для чего собирается конференция, т. е. уменьшать свои военные силы.

Поэтому-то мне кажется, что предложение на рассмотрение конференции, как вы это предлагаете, вопроса о замене воинской повинности полезным трудом для людей, не согласных убивать своего ближнего, совершенно неуместно. Такое предложение может иметь только одно благое последствие, именно то, что оно явно обличит пустоту, праздность и лицемерие конференции. Конференция не может иначе отнестись как отрицательно к таким предложениям и никогда не допустит того, чтобы люди могли безнаказанно отказываться от исполнения воинской повинности, потому что такой отказ подрывает в её основании власть правительства и даже смысл его существования.

Запутавшиеся в своём многословии либералы, социалисты и другие так называемые передовые деятели могут, как они и делают это, вообразить, что их речи в палате, в собраниях, их брошюры и книги имеют очень важное для прогресса человечества значение, но что отказы отдельных лиц по своим религиозным убеждениям от воинской службы суть неважные и даже ничтожные явления; но правительства знают очень хорошо, что все трескучие речи в рейхстагах и все стачки рабочих и революционные речи, демонстрации не только не страшны, но суть очень полезные отвлекающие средства от настоящего опасного для правительства дела, состоящего в пробуждении человеческого достоинства и вытекающего из этого сознания отказа от военной службы и податей, назначаемых на военное дело. И потому никакое правительство никогда не только не примет рассмотрения вопроса об этих отказывающихся, а всегда более или менее грубо поступит, так, как поступило русское правительство, которое в то самое время, когда с треском публиковало на весь мир свои будто бы миролюбивые намерения, самым жестоким образом преследовало и продолжает преследовать и мучать самых лучших и миролюбивых людей России — духоборов, выгоняя их за границу или мучая в пустынях Сибири. И всякое правительство более или менее грубо вынуждено поступать и будет поступать так. До тех пор, пока правительства будут управлять своими подданными силою, они будут разрешать свои международные недоразумения тоже силою, и для этого войска правительств будут постоянно увеличиваться. Покуда будут правительства, будут и всё увеличивающиеся войска, а покуда будут войска, будут и правительства.

А потому уменьшиться войска не могут по воле, а могут уменьшиться и уничтожиться только против воли правительств. Уничтожиться же они могут против воли правительств только одним способом — сознанием людей своего человеческого достоинства, не позволяющего им быть добровольными рабами-убийцами. Уничтожатся войска только тогда, когда между народами будет распространено истинное просвещение, не позволяющее делаться бесправным рабом других людей, подчиняясь той животной дрессировке, которая называется дисциплиной.

Не то просвещение, при котором человек, знающий все науки и пользующийся всеми последними изобретениями, считает для себя возможным отдаваться на время в рабство других людей, допускает возможность и необходимость убийства и признаёт одних людей стоящих неизмеримо высоко над другими и имеющих право на безграничное уважение, а то просвещение, при котором человек признаёт священным только один закон делания другим того, что себе



хочешь <Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними>. – *Мф., VII, 12*>, не считает никого из людей ни выше, ни ниже себя, а всех безразлично считает своими братьями и ни при каких условиях, ни ради чего не отдаст в руки других людей свою свободу, составляющую основу его человеческого достоинства. Только тогда, когда будет распространено это истинное просвещение, уменьшатся, уничтожатся войска» (72, 9 – 12).

Ниже Толстой приводит в пример две военных операции Северо-Американских Соединённых Штатов: в испанской провинции на Кубе и на Филиппинах. Война с Испанией, описанная Толстым в статье «Две войны» как гнусность, завершилась для Штатов таким же успехом — оккупацией Кубы — как и операция в Ило-Ило. Но последняя ознаменовалась скандалом: американские войска, назначенные для подавления восстания филиппинцев, отказались отправиться в Ило-Ило. «Генералу Миллеру предписано уйти из Ило-Ило и возвратиться в Манилю. Все американские войска получили приказание сосредоточиться в Манилье. Положение весьма серьёзное» — сообщала 3 января 1899 г. газета «Новое время». Вскоре, однако, и этот «бунт среди своих» был подавлен, и месяц спустя «после бомбардировки с моря, американцы взяли Ило-Ило» («Новое время» 1899, № 8239 от 3 февраля).

Продолжим знакомство с письмом Льва Николаевича шведским пацифистам.

«На днях было известие, что американский полк отказался идти в Ило-Ило. Известие это передаётся как нечто необыкновенное. А между тем удивляться можно только тому, что люди-солдаты в наше время могут подчиняться начальству и идти, американцы на Кубу, испанцы на американцев, немцы на французов и тому подобное. Ведь все эти люди читают книги, теперь читают газеты, имеют знакомых. Все американцы, идущие на Манилю, знают, что говорил Брайан о завоевательной мании американского правительства. Они слышали, что он сказал, что это скверный, безнравственный поступок. <Вильям-Дженнингс Брайан (Bryan) (1860 – 1925) — северо-американский политический деятель, глава демократической партии. По окончании Испано-американской войны в своём выступлении за ратификацию мирного договора решительно высказался против присоединения Филиппинских островов. – Р. А.> Да и каждый разумный человек не может не знать, что дурно нравственно подавлять свободу народов. Мало того, всякий знает, что дурно разорять, убивать, так что удивляться надо, как идут люди воевать, а не тому,

как отказываются. Идут воевать и поступают на службу только потому, что не распространено и скрывается теми, кому это выгодно — правительством, истинное просвещение.

И потому для того, чтобы уничтожить войска и зло, происходящее от них, нужны не конференции правительств, а конференции граждан, обманутых и обманываемых правительствами, обманываемых самым коварным образом именно такими конференциями. Для того, чтобы уничтожить войска, нужно, чтобы общественное мнение приписывало важность не собранию наряженных в смешные костюмы представителей держав, которые после балов и обедов будут заседать в роскошных залах и с важностью говорить бессодержательные французские фразы, а напротив, клеймило бы презрением и насмешкой такого рода собрания, имеющие целью только закрепить рабство людей, и приписывало бы важность и значение только поступкам тех людей, которые и словом и делом, не боясь страданий и смерти, заявляют сознание своего человеческого достоинства, отказываются от участия в бесчеловечной организации убийств. Уничтожатся войска тогда, когда такие люди будут признаны тем, что они есть — первыми, передовыми борцами за свободу и прогресс человечества, и когда таких людей будут тысячи и миллионы, только тогда уничтожатся войска, а не тогда, когда будут собираться конференции.

И вот почему я думаю, что отказ от воинской повинности и конференция правительств — два явления несовместимые» (72, 12 – 13).

С 1894 года письма Толстого к различным адресатам помощники его (секретарь, переписчик или даже кто-то из членов семьи) стали перед отправкой копировать на ручном копировальном прессе. В данном случае, как и ряде других, копия письма была превращена Толстым в черновик, и, после всех правок (в основном “причесавших” текст, чтоб сдуру не дразнить цензуру), была, помимо Стадлинга, отослана и в Англию, к ближайшему из помощников и друзей, Владимиру Григорьевичу Черткову, в английский Перлей, который и опубликовал его в июньском номере «Листков “Свободного слова”». Основное содержание и структура первоначальной, эпистолярной версии в статье «По поводу конгресса о мире. (Письмо к шведам)» автором сохранены, и мы не будем здесь останавливаться отдельно на её анализе.

Публикацию письма Л. Н. Толстого в «Свободной мысли» завершает небезынтересный для нас комментарий — не подписанный, но, полагаем, что издателя, Павла Ивановича Бирюкова:

«Предположения, высказанный в этом письме, не замедлили оправдаться.

Конференция, как известно, разделилась на три комиссии: 1) Об уменьшении вооружений, 2) О международном суде и 3) О расширении Женевской конвенции.

Члены 1-й комиссии на своих заседаниях не знали о чём говорить и, поговоря вероятно о погоде, решили отослать своим правительствам запросы, что делать дальше.

Деятельность 2-й комиссии встретила неожиданное, но весьма серьёзное препятствие. Немецкий делегат заявил, что его правительство не может подчиниться решению международного трибунала, так как верховная власть германского правительства имеет божественное происхождение и поэтому никто не может ей ничего предписать извне! Как не подумали об этом раньше все эти “Божьей милостью” и человеческой глупостью и подлостью поставленные правители о таком неудобстве?

О деятельности 3-й комиссии, вырабатывающей гуманные законы войны, совестно даже и говорить.

Во-первых, конференции мира вырабатывать законы войны — это какая-то ужасная нелепость. Во-вторых, если эти международные представители пришли к удивительным заключениям, что раненых надо жалеть, то неужели для этого надо было созывать конференцию?

Но и этим наивным решениям встретилось препятствие. Англичане не согласились отказаться от употребления пуль *дум-дум*, дающих несомненный смертельный исход со страшными страданиями — на том основании, что эти пули полезны для истребления дикарей, т. е. людей, мешающих им обогащаться.

В одной французской газете приводится любопытный обмен мыслей между двумя делегатами: китайским и германским. *Les extrémités se touchent.* [*фр.* Крайности сходятся.] Представитель самой мирной нации сошёлся во взглядах на конференцию с представителем нации самой военной.

„Мы никогда не желали войны, говорит китаец, но к нам пришли европейские державы и стали у нас отнимать кусок за куском нашей земли и продолжают делать это и теперь, и в это же время пригласили нас на мирную конференцию. Что же нам на ней говорить?“

“А мы никогда не отказывались от войны, ответил немец, и всегда будем готовы к ней, несмотря ни на какие постановления конференции. И потому наше участие в ней также очень странно”.

Оба эти представителя, замечает газета, решили воспользоваться пребыванием в Гааге для гигиенических целей и большую часть времени проводят на морском берегу.

И во время этой мирной конференции большая часть правительств, пославших туда своих представителей, совершают по всему земному шару своё дикое цивилизованное грабительство более слабых народов» (*Свободная мысль*. – 1899. - № 1. – С. 7).

\* \* \* \* \*

Толстой в своём ответе не просто высмеивает наивности западного буржуазно-либерального пацифизма, но и жестоко, по заслугам, *обличает* интеллигентскую сволочь, которая, со своими спектаклями «мирных конгрессов» и «миротворной» фразеологией — давно и прочно встала на идеологическую службу правительствам, которые и не могут, и не желают ни разоружаться, ни отменять рабство военной службы.

Даже их «коронное» предложение (до сих пор очень популярное у российской, либеральной сволоты) о подмене для «идейных» пацифистов службы в армии так называемой «альтернативной», без оружия в руках — лукавая ложь.

Пацифизм в христианском мире (и России, и Швеции...) не может не быть религиозным — христианским. А для христианского жизнепонимания государство с его войском — это всегда только разбойничье гнездо грабителей, защищающих себя от ограбленных кодами вооружённых убийц — полицией и солдатнёй.

Поэтому для христианина *нет* альтернативы: потому что нравственно *невозможно* входить в сделки с разбойниками за право не быть причастным к их разбою!

И не будет одиночек-«мучеников» — если не *попустительствовать* вранью «патриотического воспитания» детей и молодёжи, оправдывающему и освящающему организованное насилие правительств. Обличать, истреблять оправдания его из сознания масс, а не кланчить у правительств «облегчений» в применении его и в принуждении граждан к участию в нём — вот дело для *настоящих* слуг мира!

Невежество, т. е. незнание (от неверия, безбожия!) изуверившейся Европы путей к миру без войн, войск, оружия, государств, границ и пр. — должно быть жестоко обличаемо и вызываемо к покаянию, а не поддерживаемо! И Толстой — отказывает брехунам, обманывающим других и самих себя (для успокоения совести) во всякой поддержке их спектакля!

А выдвигавшиеся ими в письме «невоенные» альтернативы службы — это всё, на практике, *общественно-полезный* мирный труд, который создаётся не государством, а обществом, которому он необходим. И потому сделок по поводу всеобщей воинской повинности в *этой* сфере, полезного труда — не должно быть!

Да, выход совсем другой и именно в сфере общественной мысли, её охристианения: надо не подавать руки, презирать, «клеить позором» — и не солдат, конечно, обманутых с детства ложью «патриотического воспитания», а именно лукавцев с государственными дипломчиками, званиями, степенями, денежками, «положением» в обществе, действующих зачастую с согласия правительства, по его «закону», но вещающих при этом якобы во имя «мира» и даже от имени Бога и Христа.

---

## 6. 11. «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО». 1900

Я, старый инвалид,  
имею к Вам, граф, большую просьбу,  
которая исходит из самого искреннего убеждения,  
из самой глубины души моей:  
напишите хорошую книгу против войны,  
с таким заглавием: **война войне**.

*(Иоганн Клейнгоппен – Л. Н. Толстому. 16 марта 1900 г.)*

Повесть «Хаджи-Мурат», о которых скажем ещё подробнее, стала, в числе прочего, и художественным представлением итогов эволюции воззрений Л. Н. Толстого на войну и мир, и шире — на «легитимное» насилие правительств (с такой оговоркой сюда можно отнести и роман «Воскресение»). В публицистике же ему соответствует страстная, остро-нецензурная статья «Патриотизм и правительство», ставшая в дни преступной агрессии России в Украине, наряду с позднейшей статьёй «Одумайтесь!», одним из фаворитов у любителей цитирования в интернете. Их можно понять: статья относительно невелика по объёму, а беспощадной честностью в раскрытии темы

«рабства у учения мира», именно военного, солдатчины — не уступает пространному, мало кем читаемому и в наше время трактату «Царство Божие внутри вас».

У Толстого за 1890-е годы явно обозначились любимые заголовки для публицистических выступлений. Например, «Carthago delenda est» [лат. «Карфаген должен быть разрушен»] — название сразу *трёх* статей Толстого, а кроме того, так поначалу он хотел назвать и статью «Приближение конца». Вот и статья «Патриотизм и правительство» была им начата с “рабочим” заглавием, уже хорошо известным читателю — «Патриотизм или мир?». Такие повторения подчёркивают идейную “преемственность” всех антивоенных выступлений Толстого, а также, конечно, и неутомимость в повторении истины, в которой сам он был убеждён.

Черновик статьи был подготовлен Толстым в феврале 1900 года. 28 февраля он писал своим единомышленникам во Христе и замечательным друзьям, Владимиру Григорьевичу и Анне Константиновне Чертковым: «Я, кажется, кончил маленькую статью о патриотизме» (88, 191). Но, как почти всегда и было у Толстого, такое предположение о скором окончании работы над статьёй оказалось ошибочным.

В марте Толстой получил письмо из города Мюльхайм-ан-дер-Рур (нем. Mülheim an der Ruhr) от инвалида германской армии Иогана Клейнгопена (Johann Kleingorpen), датированное 16 марта (н. ст.) 1900 г. Перевод этого письма Толстой использовал частично в Главе VII статьи «Патриотизм и правительство», не упоминая имени автора. Подлинник письма затерялся — будучи, вероятно, пересланным П. И. Бирюкову в Женеву для бесцензурной публикации. Она и состоялась, в другом переводе, в № 4 (апрель) журнала «Свободная мысль», на стр. 50 – 51, под заголовком «Мнение о войне немецкого рабочего», а позднее, в том же переводе — в России, в газете «Курьер» 1900, № 16 от 27 апреля.

Приводим ниже полный текст письма Иоганна Клейнгопена — в основном, по переводу в «Свободной мысли». Приведённые в статье Толстого цитаты заключены нами в прямые скобки и печатаются по этой статье. Клейнгопен писал:

«Многоуважаемый граф.

Позвольте мне, как человеку из простого народа и другу истины и справедливости, обратиться к Вам с полным доверием.



Я только что случайно прочёл критику на Ваш роман “Воскресение”, который, к сожалению, я не могу приобрести, так как мы, раненые войны, получаем большею частью очень скудную пенсию.

Я, старый инвалид, имею к Вам, граф, большую просьбу, которая исходит из самого искреннего убеждения, из самой глубины души моей: напишите хорошую книгу против войны, с таким заглавием: **война войне.**

[Я совершил два похода вместе с прусской гвардией (1866 – 1870 гг.) и ненавижу войну от глубины души, так как она сделала меня невыразимо несчастным. Мы, раненые вояки, получаем большею частью такое жалкое вознаграждение, что приходится, действительно, стыдиться за то, что когда-то мы были патриотами. Я, например, получаю ежедневно сорок копеек <в оригинале: 80 пфенигов. – P. A.> за мою простреленную при штурме С. Прива 18 августа 1870 г. правую руку. Другой охотничьей собаке нужно больше для её содержания. А я страдал целые годы от моей дважды простреленной правой руки.

Уже в 1866 г. я участвовал в войне против Австрии, сражался у Траутенау и Кенигреца и посмотрелся довольно-таки ужасов. В 1870 г. я, как находившийся в запасе, был призван вновь и, как я уже

сказал, был ранен при штурме в С. Прива: правая рука моя была прострелена два раза вдоль. Я потерял хорошее место (я был тогда пивоваром) и потом не мог уже получить его опять. <В публикации «Свободной мысли» названа профессия строителя. – Р. А.> С тех пор мне уже больше никогда не удалось встать на ноги. Дурман скоро рассеялся, и вояке-инвалиду оставалось только кормиться на нищенские гроши и подаяние.] Вот благодарность отечества!

Любимая мною моя супруга лишила себя жизни четыре года тому назад из боязни попасть на старости лет в богадельню. Конечно, эта мысль мучила её уже несколько лет и так засела у неё в голове, что она стала душевнобольной.

С тех пор как смерть отняла у меня милую супругу, я часто в тишине уединения размышлял о суете человеческого существования. Ведь такой брак, как мой, не прекращается со смертью избранной, ибо, опираясь на любовь, переживает смерть и могилу. А страдание всё-таки чрезвычайное для того, кто остался жив. Только сознание нравственной чистоты и стремление к лучшему сохранили меня от подобной же участи.

[В мире, где люди бегают, как дрессированные звери, и не способны ни на какую другую мысль, кроме того, чтобы перехитрить друг друга, ради маммоны, в таком мире пусть считают меня чудачком, но я всё же чувствую в себе божественную мысль о мире, которая так прекрасно выражена в Нагорной проповеди.

По моему глубочайшему убеждению, война — это только торговля в больших размерах — торговля честолюбивых и могущественных людей счастьем народов.

И каких только ужасов не переживаешь при этом! Никогда я их не забуду, этих жалобных стонов, проникающих до мозга костей. Люди, никогда не причиняющие друг другу зла, умерщвляют друг друга, как дикие звери, а мелкие рабские души замешивают доброго Бога пособником в этих делах. Соседу моему в строю пуля раздробила челюсть. Несчастный обезумел от боли. Он бегал, как сумасшедший, и под палящим летним зноем не находил даже воды, для того чтобы освежить свою ужасную рану. Наш командир кронпринц Фридрих (впоследствии благородный император Фридрих) писал тогда в своём дневнике: «Война — это ирония на Евангелие...». <В переводе «Свободной мысли»: «Война — это ирония над всякой благой вестью». – Р. А.>]

Итак, ещё раз прошу Вас, почтенный граф, напишите хорошую книгу против войны.



При Вашем необыкновенном духовном даровании, это была бы великолепнейшая картина, такая, какую со времён Канта никто не написал, и, право, труд этот был бы достоин Вашего усилия.

Хотя я только простой, бедный человек, но могу спокойно сказать, что с детства вдохновляла меня истина и справедливость, и они были мне утешением и спасли меня от окончательной гибели во время моих невыразимых страданий. Должно заметить ещё, что во всю жизнь мою я никогда не был наказан; вообще, всё, что я здесь писал Вам, сушая правда, и во всякое время я могу это доказать.

Если имеешь возможность заглянуть в жизнь и дела купцов, то удивляешься, с какой утончённостью эти люди стараются перехитрить друг друга; оно забавно даже, если бы не было так грустно, видеть все те религиозно-патриотические ужимки, с которыми эти бедные люди друг друга обманывают и при этом требуют самой строгой честности от бедняка...

Вот здесь звучит слово “Воскресение” могучим колоколом из лучшей страны. Да даст Бог Истины и праведности, чтобы этот великий день настал скорее!

Многоуважаемый граф! Для людей истинно благородных, проникнутых духом истинного христианства, евангелием человеколюбия, для таких людей не существует преград национальностей, им противна религиозная и национальная ненависть, посредством которых сильные мерзавцы ловят народные массы!

Я сам был свидетелем того, как мы в 1866 г. при Кенигреце на месте сражения вместе с австрийцами мирно ели нашу скудную пищу. Было трудно поверить, что эти миролюбивые люди несколько часов тому назад хотели убивать друг друга.

Как я уже упомянул, я бедняк, который должен тяжело работать, чтобы прокормить себя, и в юности моей я получил самое скудное школьное образование и потому прошу вас, будьте ко мне снисходительны.

Итак, прощайте, почтенный граф. Да сохранит Вас Бог надолго в живых и да защитит Вас и убережёт во благо страждущего человечества.

Этого желает Вам Вас искренно любящий

Иоганн Клейнгопен, старый инвалид» (*Свободная мысль*. 1899. № 4. С. 50 – 51; ср. 90, 440 – 441).

Очень грустное письмо. Старичку Иоганну уже не прожить никак иначе, кроме жизни непутёвого, обманутого и ограбленного лоша-

рика, гордящегося тем, что всю жизнь угождал мирским начальствам и «никогда не был наказан» ими. Наказали его за глупость Божьи законы жизни — не поправить! И нету духовным лъвьятам Льва Николаевича дела до личной его трагедии, подробности которой они поэтому вырезали из журнальной публикации: он лишь полезный, по случаю, *образчик жертвы*. И не узнать старцу Иоганну, что книга такая, и христианская религиозная, и при этом «война войне», уже давно написана Толстым: наш, более счастливый, читатель знает, что это трактат «Царство Божие внутри вас». Хотя годы прошли, и автор, конечно же, не считает уже этот трактат «последним словом» своим в антивоенной теме. Даже вожделенный роман «Воскресение», в котором именно против войны не много, нищему инвалиду не суждено было прочесть... быть может, и к лучшему?

Но вдохновение писателя и публициста от письма Иоганна Клейнгоппена на новый антивоенный протест не подлежит сомнению. 13/25 марта Лев Николаевич, в ответе Клейнгоппену, спросив разрешения перевести письмо его для опубликования в газетах, прибавляет (оригинал на немецком):

«Очень хотел бы исполнить ваше желание — написать хорошую книгу против войны. Я над этим теперь работаю» (72, 334).

В этот же день, 13 марта 1900 г., после перерыва с 27 января, Толстой записывает в Дневнике: «Писал всё 1) письмо духоборам, которое кончил и послал, 2) о патриотизме, которое много раз переписывал и которое ужасно слабо, так что вчера решил или бросить, или всё с начала, и кажется, есть что сказать с начала. Надо показать, что теперешнее положение, особенно Гагская конференция, показали, что ждать от высших властей нечего и что распутывание этого ужасного губительного положения, если возможно, то только усилием частных отдельных лиц» (54, 10).

Через 6 дней, 19 марта, Толстой записывает: «Мало, но успешно работаю» (Там же. С. 15). Затем — 24 марта: «Пишу то Патриотизм, то Денежное рабство <статью «Рабство нашего времени». — Р. А.>. И первое много улучшил, но вот второй день не пишу» (Там же. С. 18). После этого — запись 6 апреля: «Всё работаю ту же работу, загородившую мне художественную» (Там же. С. 20). Затем 2 мая: «Всё время был занят двумя статьями. И хочется думать, что кончил... Мало думал вне работы. Работа всё поглощала» (Там же. С. 24).

2 мая в письмах к Д. А. Хилкову и к А. Шкарвану (см. т. 72, стр. 353 и 358) Толстой извещал их об окончании статьи, причём во втором письме статья приобрела окончательное заглавие — «Патриотизм и

правительство». Так же называется она и в письме Льва Николаевича от 20 июня к финскому единомышленнику, *Арвиду Александровицу Ернефельту* (Ярнефельт; фин. Arvid Järnefelt; 1861 – 1933), толстовцу с начала 1890-х, с 1895-го — корреспонденту и адресату писем Льва Николаевича, а с 1899-го, после посещения финном Ясной Поляны — личному его знакомому и другу, которому был доверен перевод на финский язык романа «Воскресение».

Однако и на этот раз сообщение об окончании статьи было преждевременным. 7 мая Толстой писал Чертковым: «Всё доканчиваю две статьи: о патриотизме и о рабочих [«Рабство нашего времени»]. И очень хочется с Кенворти послать к вам» (88, 195). Действительно через три дня, 10 мая, статья была послана Черткову с гостившим у Толстого и уезжавшим обратно в Англию англичанином Джоном Кенворти. При этом Толстой писал: «Посылаю вам эту статью, милые друзья. Простите, что злоупотребляю вашей добротой, перемарал её и, не переписав, посылаю её с милым Кенворти. С статьёй делайте, что найдёте нужным. Печатайте, если найдёте её стоящей того, или вернёте, чтобы исправить. Хотя я очень много раз её исправлял, я могу ещё почистить её. Есть в ней, мне кажется, нужное, но она как-то не задалась и не нравится мне. Впрочем, я столько ковырял в ней, что уже потерял чутьё» (88, 196).

Статья «Патриотизм и правительство» была впервые напечатана В. Г. Чертковым в изд. «Свободное слово» в Англии в 1900 г. и затем переиздана берлинскими издательствами: Гуто Штейница (1903 г.) и Н. Caspari (без указания года). В России статья была перепечатана в 1906 г. в изд. «Обновление» в Петербурге (тираж был конфискован) и в изд. «Жизнь» в Харькове. В 1917 г. статья появилась в Москве в двух изданиях: Толстовского общества, издательств «Посредник» и «Свободная жизнь» и в Харькове в издательстве «Сеятель». В 1918 г. была перепечатана Комиссариатом народного просвещения Смоленской губернии и в Екатеринодаре издательством Колосова и Жандармова.

\* \* \* \* \*

В статье девять небольших глав, ни одна из которых не озаглавлена, хотя некоторые буквально «напрашиваются» на это. *Первую*, например, можно бы было назвать: «Уж сколько раз твердили миру!..».

«Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль, — так начинается своё выступление Толстой — о том, что патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиня-

ющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, — а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами» (90, 425).



Обложка отд. Издания статьи «Патриотизм и правительство». Издательство «Обновление». 1906 г.

Но все аргументы наталкиваются на барьер «или молчания, или умышленного непонимания» (то есть *нежелания* понимать) и на стереотипные возражения: «говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство, осуждать которое не только неразумно, но преступно. О том же, в чём состоит этот настоящий, хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные высокопарные фразы...» (Там же).

Любые жизненные блага — утилитарные, знаниевые, тем более духовные — потенциально принадлежат всем людям и не могут быть

основанием гордости одной общности, тем паче вражды с другими. Особенности же народа, отличающие от других, могут иметь свойства предмета возлюбленной в культурном диалоге “непохожести”, но, опять же, не ненависти и, с другой стороны, не поклонения и удержания во имя общего «прогресса». Такое удержание препятствует братскому единению народов и чуждо христианскому пониманию жизни. Поэтому, заключает Лев Николаевич, в какие бы павлиньи перья ни рядили патриотизм, общественной ли пользы, нравственного ли достоинства, духовности ли — его истинная морда зверюшки Дарвина, неизжитого в психике человека, атавистического стайно-территориального зверства, проступает со всею очевидностью:

«...Не воображаемый, а действительный патриотизм, тот, который мы все знаем, под влиянием которого находится большинство людей нашего времени и от которого так жестоко страдает человечество [...] есть очень определённое чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам, и потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов или государств» (Там же. С. 426 – 427).

Таким образом, завершает Толстой Первую главу своего правдивого и нецензурнейшего шедевра, «патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же — учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении» (Там же. С. 427).

Главу Вторую можно бы было назвать «Ступени идей». По существу, это переформулированное изложение всё той же, важнейшей в социальном и религиозном учении Толстого концепции трёх различных религиозных пониманий жизни — из которых проистекает актуальность общественных идей. К отжитым идеям, соответствующим первобытному эгоизму человека, Толстой относит людоедство, похищение самок, ограбление соседей... К актуальным, соответствующим второму, общественному, жизнепониманию язычников и евреев, относятся — «идеи собственности, государственного устройства, торговли, пользования домашними животными и т. п.» (90, 428). (Очень мило, кстати, что к следствиям охристианения сознания обществ Толстой относит и освобождение животных.) Кроме того, среди «идей будущего» им названы победа над эксплуатацией труда рабочих, равенство с мужчинами женщин, отказ от мясной

пищи... и, конечно же, собственные возлюбленные идеалы: «уничтожения насилия, установления общности имуществ, единой религии, всеобщего братства людей» (*Там же*).

Но удержание как отдельных отживших своё идей, так и в целом отжитой религиозной веры, архаического и вредного жизнепонимания может быть полезно некоторым влиятельным членам общества. Так происходит с отжитыми религиями, продвигаемыми в головы детей и простецов их жрецами, чьё привилегированное положение зависит от влиятельности их религии; так же поступает сволота светская, правительственная и интеллигентская, по отношению к давно отжитым и вредным, даже опасным идейкам патриотизма.

Отчего-то Лев Николаевич не вспомнил в этот раз о мрачном герценовском образе «Чингис-Хана с телеграфом». Жаль, ибо именно так, судя по описаниям, можно было бы назвать *Третью главу*.

Знания религиозное и светское, средства коммуникации, логистика и простая логика, технологии управления, наконец, здравый смысл — всё приходит в подмогу народов, *желающих* жить мирно. Однако выгоды «правлящих классов», под которыми Толстой разумеет общественные элиты как таковые: «не одни правительства с их чиновниками, но и все классы, пользующиеся исключительно выгодным положением: капиталисты, журналисты, большинство художников, учёных», напрямую зависят от сохранения языческого устройства жизни, «государственного устройства, поддерживаемого патриотизмом»:

«Патриотизм и последствия его — войны дают огромный доход газетчикам и выгоды большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает своё положение, чем более будет проповедывать патриотизм. Всякий император, король тем более приобретает славы, чем более он предан патриотизму.

В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своём народе» (*Там же*. С. 430 – 431).

*Глава Четвёртая* может быть условно названа «К истокам» — разумея звериное «детство» всего человечества, к которому явственно

развернулись, вослед за милитаристской Германией, Россия и другие европейские страны — постоянно прикрывая и оправдывая эту «эволюцию наоборот» патриотическим словоблудием:

«Начались наперебой, вызываемые отчасти прихотью, отчасти тщеславием, отчасти корыстью захваты чужих земель в Азии, Африке, Америке и всё большее и большее недоверие и озлобление правительств друг к другу.

Уничтожение народов на захваченных землях принималось как нечто, само собой разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захватит чужую землю и будет уничтожать её обитателей» (90, 432). Комическую и вместе с тем страшную актуальность вдруг приобрела символика государственных гербов:

«...Все государства всегда стоят друг против друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут только того, чтобы кто-нибудь впал в несчастье и ослабел, чтобы можно было с наименьшей опасностью напасть на него и разорвать его» (Там же).

Всеобщая военная повинность вкупе с современными средствами информации привели к положению граждан государств, которые или призваны, либо мобилизованы, на очередную бойню, либо «находятся в положении зрителей в римском цирке» (Там же).

«— “А я тебя ущипну”. — А я тебя кулаком. — “А я тебя кнутом”. — А я палкой. — “А я из ружья”... Так спорят и дерутся только злые дети, пьяные люди или животные, а между тем, это совершается в среде высших представителей самых просвещённых государств, тех самых, которые руководят воспитанием и нравственностью своих подданных» (Там же. С. 433).

Животных бы не стоило в этом обижать, отче Лев! Но хорошо, что тебе никогда не узнать, насколько унижительно и позорно под твоё описание подпадает современная, 2023 года, путинская Россия — слава Богу, уже не вызывая своими провокациями ответных зверств со стороны народов свободного и цивилизованного мира, за прошедшее столетие не без труда и ошибок, но всё же соединившихся в евро-атлантической мирной и дружной семье.

13 марта 1900 г., после перерыва с 27 января, Толстой записывает в Дневнике: «Писал всё [...] о патриотизме, которое много раз переписывал и которое ужасно слабо, так что вчера решил или бросить, или всё с начала, и кажется, есть что сказать с начала. Надо показать, что теперешнее положение, особенно Гаагская конференция, показали, что ждать от высших властей нечего и что распутывание этого ужасного губительного положения, если возможно, то только усилием частных отдельных лиц (54, 10).

Эта запись указывает нам на ключевой замысел Л. Н. Толстого по отношению именно к данной статье: нужно было откликнуться на крах надежд на Конференцию «легковерных людей» (90, 433). Он был связан с началом, тотчас после гаагских заседаний, Второй англо-бурской (т. н. Трансваальской) войны 1899 – 1902 гг., шокировавшей современников «многообещающей» Двадцатому веку жестокостью англичан. Это была война Великобритании против республик буров (потомков голландских колонистов в Южной Африке) — Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики), закончившаяся победой Британской империи. В этой войне англичане впервые применили тактику выжженной земли на земле буров и концентрационные лагеря, в которых погибло около 30 тысяч бурских женщин и детей, а также неустановленное количество коренных африканцев.

В начале 1900 г. Толстого посетил в Ясной Поляне корреспондент московской газеты «Русский листок» Станислав Станиславович Окрейц (псевдоним: С. Орлицкий; 1834 – ?). Речь зашла о событиях, которые в ту пору волновали весь мир. «Знаете ли, до чего я доходил, — говорил Толстой в беседе с корреспондентом „Русского листка“, — Теперь этого уже нет; я превозмог себя... Утром, взяв в руки газету, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан. Эта война — величайшее безрассудство наших дней. Как?! Две высокоцивилизованные нации — голландцы и англичане — истребляют друг друга; Англия, страна, гордившаяся титулом свободной страны, пытается раздавить малочисленных буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это что-то непонятное, невероятное.

Знаете, на что это безумное нападение похоже? [...] Это то же самое, если бы мы с вами, люди уже старые, вдруг поехали к цыганам в “Стрельну”, утратив всякий стыд. И эта бойня, заметьте, совершается после гаагской конференции, так на шумевшей. Трансваальская война — знамение нашего времени, но печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездушное торгашество» (Лакшин В.Я. (сост.). *Интервью и беседы с Львом Толстым*. — М., 1987. С. 143 – 144).

Непосредственно в связи с фельетоном Орлицкого существует любопытное письмо Толстого к переводчику Эйльмеру Мооду от 27 января 1900 г., в ответ на его письмо, с вырезкой из газеты, в которой было напечатано: «Count Tolstoy is reported to have said that whenever he takes the morning's paper he hopes to read that the Boers have given the Englishmen a good thrashing» [«Нам сообщают, что граф Толстой сказал, что каждый раз, как он берёт утренние газеты, он надеется



прочесть, что буры задали англичанам хорошую трёпку»]. Толстому Моод писал (по-русски): «При сем посылаю вам вырезку из газеты. Этот параграф перепечатывается из газеты в газету. Конечно, вы не могли серьёзно желать, чтобы люди были убиты, и, вероятно, никогда ничего такого и не сказали. Я был бы очень рад иметь возможность опровергнуть этот газетный слух. Пожалуйста, если возможно, пишите одно слово сказать, что это неправда. Большинство газет старается раздуть национальные страсти всякими способами» (72, 291).

Толстой написал ответ, разошедшийся, как и вышецитированное интервью с ним, по всему миру:

«Я, разумеется, не мог сказать и не сказал того, что мне приписывают. Произошло это от того, что пришедшему ко мне под видом автора, принёсшего свою книгу, корреспонденту газеты я сказал на его вопрос о моём отношении к войне, что я ужаснулся на себя, поймав себя во время болезни на том, что желал найти в газете известия о победе буров, и был рад случаю выразить в письме Волконскому моё истинное отношение к этому делу, которое состоит в том, что я не могу сочувствовать никаким военным подвигам, хотя бы это был Давид против десятка Голиафов, а сочувствую только тем людям, которые уничтожают причины: престиж золота, богатства, престиж военной славы и главную причину всего зла, престиж патриотизма и ложной религии, оправдывающей братоубийство.

Я думаю, что не стоит того печатать в газетах опровержение ложно приписываемого мне мнения. На всякое чиханье не наздравствуешься. Я, например, получаю в последнее время письма из Америки, в которых одни упрекают, а другие одобряют меня за то, что я отрёкся от всех своих убеждений. Стоит ли опровергать, когда завтра могут быть выдуманы 20 новых известий, которые будут содействовать наполнению столбцов газеты и карманов издателей» (72, 289 – 290).

Это прекрасная установка, стоит здесь заметить. Но не без исключений — когда речь о преднамеренном, системно обустроенном, *абсолютном зле* и сопротивлении ему. Украина в наши дни защищается от соседа-агрессора, как раз как маленький Давид сражался с Голиафом. Надо иметь *очень* неортодоксальные отношения с Богом и с христианством, чтобы не сопереживать Давиду, чтобы оставаться равнодушным к этому сюжету — не только Библии, но архетипичному у человечества: когда, с Божьей помощью, побеждает не грубая и развратная, самоуверенная, безбожная сила, а побеждают смирение перед Всевышним, разум и добро!

Свое отношение к англо-бурской войне Толстой высказывал неоднократно. «Я всегда считаю нравственные мотивы двигающими и решающими в историческом процессе. И вот теперь... мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнётся. Я это говорю не из бесознательного русского патриотизма. Если бы восстала Польша или Финляндия и успех был на их стороне, моё сочувствие принадлежало бы им, как угнетённым» (*Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Л., 1959. С. 60. [Запись 1900 г., 21 февраля]*).

Такой ответ даёт понимание, на чьей стороне, не выдержав никакой аполитичности, только и мог бы быть Лев Николаевич — в противостоянии Московии и Украины. Когда Украину поддержала даже традиционно нейтральная Швейцария. Британская империя — одна из зловреднейших в истории, идеальный образчик «разбойничьего гнезда», как Толстой был склонен называть каждое вообще государство своей эпохи. Она была образована в 1497 году и формально просуществовала до 1997 года (ровно 500 лет), до момента возвращения Гонконга в юрисдикцию Китая. Британия XIX и начала XX веков — всё тот же «всемирный пират», склонный к грабежам и территориальной экспансии. Одним же из неприятных её конкурентов издавна была имперская Россия — возросшая на ограбленном труде мирных пахарей гнусная Московия с её внутренними колониями, насильственно «собранными» землями. Сердце Льва Николаевича Толстого было и остаётся на стороне оккупированных, подчинённых, угнетённых такими «разбойничьими гнездами», как Россия или прежняя Англия.

В связи с реакцией Льва Николаевича Толстого на известия об англо-бурской войне сохранилось, кстати упомянутое выше, в письме Толстого Эйльмеру Мооду, интереснейшее письмо яснополянца от 4 (16) декабря 1899 г. к князю *Григорию Михайловичу Волконскому* (1864 – 1912). Четвероюродный племянник Льва Николаевича, Г. М. Волконский был внуком декабриста Сергея Григорьевича Волконского, сыном Михаила Сергеевича (1832 – 1909) и Елизаветы Григорьевны (1838 – 1897), урожд. светл. кнж. Волконской. Известен как автор труда «Род князей Волконских» (Спб. 1900). С 1894 г. был женат на княгине Иде Витовне Дампиер (Jeanne Marie Alice Marguerite Ida de Dampierre, 1869 – 1962). Сотрудник заграничного журнала «Освобождение», автор ряда политических брошюр, выходящих за границей в 1900-х гг. Жил на юге Франции (был болен туберкулёзом). Конечно же, он не удержался прислать дальней родне, знаменитой родне, «самому» Льву Толстому свои брошюры и получил, по заслугам, такой вот замечательный ответ:

«4 декабря 1899 г. Москва.

Я получил ваше письмо с брошюрами и прочёл их. Отвечаю так поздно потому, что ваше письмо ходило в Ясенки, — а я в Москве — и не своей рукой, потому что болен и слаб.

С удовольствием отвечаю вам, потому что брошюры ваши написаны очень хорошо и искренно, за исключением третьей, насчёт которой я согласен с вашими родными. Эта брошюрка слаба не потому, что слишком резка, но потому, что недостаточно ясно выставляет отталкивающие черты одного из самых отвратительных, если не комических, представителей императорства — Вильгельма II.

Как ни хорошо написаны ваши статьи, я по существу не согласен с ними, не то что не согласен, но не могу осуждать того, что вы осуждаете.

Если два человека, напившись пьяны в трактире, подерутся за картами, я никак не решусь осуждать одного из них; как бы убедительны ни были доводы другого, причина безобразных поступков того или другого лежит никак не в справедливости одного из них, а в том, что вместо того, чтобы спокойно трудиться или отдыхать, они нашли нужным пить вино и играть в карты в трактире. Точно так же, когда мне говорят, что в какой бы то ни было разгоравшейся войне исключительно виновата одна сторона, я никогда не могу согласиться с этим. Можно признать, что одна из сторон поступает более дурно, но разборка о том, которая поступает хуже, никак не объяснит даже самой ближайшей причины того, почему происходит такое страшное, жестокое и бесчеловечное явление, как война. Причины эти для всякого человека, который не закрывает <на них> глаз, совершенно очевидны, как теперь в Трансваальской войне, так и во всех войнах, которые были в последнее время.

Причин этих три: 1-ая — неравное распределение имуществ, т. е. ограбление одними людьми других, 2-ая — существование военного сословия, т. е. людей, воспитанных и предназначенных для убийства, и 3-я — ложное, большею частью сознательно обманное религиозное учение, в котором насильственно воспитываются молодые поколения.

И потому я думаю, что не только бесполезно, но и вредно видеть причину войн в Чемберленах, <Джозеф Чемберлен (1836 – 1914) — в то время англ. министр колоний. После того, как Трансвааль сделался одним из главных мировых местонахождений золота и алмазов, Чемберлен повёл по отношению к Южно-Африканской республике агрессивную политику, приведшую к войне 1899 г. — Р. А.> в

Вильгельмах и т. п., скрывая этим от себя действительный причины, которые гораздо ближе, и в которых мы сами участвуем.

На Чемберленов и Вильгельмов мы можем только сердиться и бранить их; но наше сердце и брань только испортит нам кровь, но не изменят хода вещей: Чемберлены и Вильгельмы суть слепые орудия сил, лежащих далеко позади их. Они поступают так, как должны поступать и как не могут поступать иначе. Вся история есть ряд точно таких же поступков всех политических людей — как Трансваальская война, и потому сердиться на них и осуждать их совершенно бесполезно и даже невозможно, когда видишь истинные причины их деятельности и когда чувствуешь, что ты сам виновник той или другой их деятельности, смотря по тому, как ты относишься к трём основным причинам, о которых я упомянул. До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительными богатствами в то время, как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т. п., которые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исключительное богатство. Тем более неизбежны будут войны до тех пор, пока мы будем участвовать в военном сословии, допускать его существование, не бороться всеми силами против него. Мы сами или служим в военном сословии, или признаём его не только необходимым, но похвальным, и потом, когда возникает война, осуждаем в ней какого-нибудь Чемберлена и т. п. Главное же, будет война до тех пор, пока мы будем не только проповедовать, но без негодования и возмущения допускать то извращение христианства, которое называется церковным христианством, и при котором возможно христолюбивое воинство, благословение пушек и признание войны делом христиански справедливым. Мы учим этой религии наших детей, сами исповедуем её и потом говорим — одни, что Чемберлен, а другие, что Крюгер виноват в том, что люди убивают друг друга. <Поль Крюгер (1825 – 1904) — бурский политический деятель, с 1883 г. президент Трансваальской республики. Во время Англо-бурской войны ездил в Европу, где тщетно пытался добиться помощи со стороны держав против Англии. – Р. А.>

Вот поэтому-то я и не согласен с вами и не могу упрекать слепые орудия невежества и зла, а вижу причины в таких явлениях, в которых я сам могу содействовать уменьшению или увеличению зла. Содействовать братскому уравнению имуществ, пользоваться в наименьшей мере теми преимуществами, которые выпали на мою долю; не участвовать ни с какой стороны в военном деле, разрушать тот гипноз, посредством которого люди, превращаясь в наёмных убийц, думают, что они делают благое дело, служа в военной службе;

и, главное, исповедовать разумное христианское учение, всеми силами стараясь разрушать тот жестокий обман ложного христианства, которым насильно воспитываются молодые поколения, — в этом тройном деле, мне кажется, заключается обязанность всякого человека, желающего послужить добру и справедливо возмущённого той ужасной войной, которая возмутила и вас» (72, 254 – 256).

В. Г. Чертков опубликовал ответ Толстого в 1900 г. в «Листках Свободного слова» (1900, № 11, стр. 10 – 13). В феврале 1900 г. выдержки из письма в обратном переводе на русский язык перепечатывались в русских газетах из немецкого журнала «Zukunft» (см. «Новое время» 1900, № 8619 от 25 февраля и «Киевское слово» 1900, № 4360 от 27 февраля). Отдельной брошюрой письмо Толстого к Волконскому было опубликовано за границей под названием «Кто виноват? (по поводу англо-бурской войны). Из письма Л. Толстого к X». В России, в «Новом сборнике писем Л. Н. Толстого», изд. «Окто», М. 1912, №112 напечатано без первого абзаца и с небольшим цензурным пропуском (о Вильгельме II и «императорстве»). Но издание это было арестовано и сожжено на костре по приговору Московской судебной палаты от 22 декабря 1911 г., сохранившись лишь в ста, очень редких в наши дни, экземплярах книги.

В ответ на это письмо кн. Г. М. Волконский прислал Толстому своё стихотворение, начинающееся фразой:

«Словно с неба огонь, нас твой голос сразил!  
Он ударил по броне разврата,  
Озарил нашу совесть и в ней обнажил  
Всё, что подняло брата на брата» (Там же. С 258).

Ответ по существу был Волконским опубликован в журнале «Свободная мысль» 1900, 4, стр. 1. В номере первом этого журнала за 1900 г. стр. 2 – 3 было напечатано письмо Толстого к Волконскому под заглавием: «Кто виноват? (По поводу Трансваальской войны.) Из письма Л. Н. Толстого к X». В своём ответе Волконский также не указал, кому письмо Толстого было адресовано:

«В прекрасном письме гр. Л. Н. Толстого, помещённом в № 1 Вашей газеты, выставлены те дурные инстинкты и ложные принципы, которыми обуславливаются войны. Но мне кажется, что бороться со злом должно не только воздействием на стороны нашего характера, но и обличая тех, которые укореняют в нас эти заблуждения, открыто заявляя себя защитниками тех трёх принципов, о которых говорит граф Толстой, и на которых зиждется современный строй

государственной жизни. Например, королева Виктория имела полную возможность не допустить этой войны, и всемогущие английские биржевики не подняли бы народ против престарелой королевы. Чемберлен вёл дело к войне, попирая, международные обычаи и конвенции. Война эта принесла пользу лишь богатейшим классам Англии. Эта постыдная война терпит правительствами Европы благодаря английскому золоту, рассыпанному в южных её государствах, и благодаря тому, что царствующие дома находятся в родстве с фамилией Кобургов. Война эта обусловлена тем, что Англия и Германия, порешив на ней, не допустили Трансвааль к Гаагской конференции, на которой прусский полковник разъяснил человечеству евангелие германского императора, — то самое, что проповедуется в Китае. Английскому правительству приходится всё время лгать, только этою ценою удаётся ему вести за собою английский народ на это позорное дело. Не будь духовенство и пресса в руках правительства, а последнее — в руках биржевиков, то войны этой не было бы. Устроить грабёж под сенью Гаагской конференции, доказывает, сколько нужно лжи в наши дни для обеспечения подобного разбоя; а это, в свою очередь, заставляет думать, что общественная совесть настороже; ещё несколько совместных усилий, и войны станут неосуществимыми, ибо народы поймут, кто и куда их ведёт» *(Там же)*.

Князь и родственничек, как мы видим, предпочёл продолжить свои пени к «великим» политическому миру — как бы «не замечая», что критика племянника относится и к нему: одному из тех странных аристократов России, кто, клонясь к идеям революционного и социалистического толка, имел счастье не дожить до времени попыток их реализации в России. В оправдание князю добавим, что впоследствии Волконский опубликовал по-французски свои статьи в защиту буров и против империализма, приложив к ним в качестве предисловия, это письмо к нему Льва Николаевича Толстого.

Приходили к Толстому в дни этой войны и менее искренние письма — например, из Германии, давнего геополитического противника Великобритании. Х. фон Хорн, издатель газеты «Deutsche Warte», в письме от 9 октября 1899 года, представлял своё издание, как якобы аполитичное, провозглашающее «высокие принципы чистой и благородной человечности», «разумные правила жизни, согласно с природой и её наставлениями» *(Цит. по Бабаев Э. Г. Иностранная почта Толстого. Указ. изд. С. 480)*. Просил Хорн, ни много ни мало, эксклюзивную статью на тему войны Англии с «германской народностью» (т.е. бурами) — для своего издания. Конечно же, не получил.

Наконец, в апреле 1900 г. Толстой получил телеграмму от агентства «American Cable News» с просьбой помочь бурам «заручиться добрыми услугами Америки». Он незамедлительно послал ответ: «Добрые услуги Америки могут состоять лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить вашего желания» (72, 347). Фразы «сходите, пожалуйста, нахуй» в ответе нет, но она вполне ощутима.

Критике итогов Конференции мира в Гааге и посвящена *Глава Пятая* статьи, которую бы мы назвали «Глупость, дерзость и обман, или Запаханые всходы».

Соглашение держав и разоружение, даже частичное, невозможны без доверия их друг другу — которого нет. Пока же, образно выражаясь, правители, как малые дети, лишь меряются друг с другом, подглядывая посредством шпионов, военными писюльками — боясь, что у соседа уже длиннее — любая мирная конференция есть и пребудет, как заключает резко Лев Николаевич, «или глупость, или игрушка, или обман, или дерзость, или всё это вместе» (*Там же. С. 433 – 434*).

Даже не печально прославленное милитаризмом немецкое, а именно российское, организовавшее посиделки, правительство является, подчёркивает Толстой, *enfant terrible* всего мероприятия:

«Русское правительство так избаловано тем, что дома никто не возражает на все его явно лживые манифесты и рескрипты, что оно, без малейшего колебания разорив свой народ вооружениями, задушив Польшу, ограбив Туркестан, Китай и с особенным озлоблением душа Финляндию, — с полной уверенностью в том, что все поверят ему, предложило правительствам разоружаться». Участники же Конференции и не поверили, но исполнили свою часть общей лживой игры: «в продолжение нескольких месяцев, во время которых получали хорошее жалованье, хотя и посмеивались себе в рукав, все добросовестно притворялись, что они очень озабочены установлением мира между народами» (*Там же. С. 434*).

Отжитой человечеством, но суеверно удерживаемой, государственной форме сосуществования имманентна вооружённая сила. А этой силе — своё развитие, включая сюда рост оборонных расходов и гонку вооружений. Без этого государства и правительства теряют смысл своего существования: люди просвещённые и христиански верующие, то есть победившие страх перед соседями по планете и соблазны (главный из которых — ограбление чужого труда) вполне могли бы сосуществовать общинами, соединёнными интересами мирного хозяйствования, а главное — общей верой, то есть общим отношением к Богу, к Божьему миру и своей в нём жизни.

Вот почему для правительств опасно миролюбие обыкновенных людей. И они «искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду». И следует общее, весьма образное, заключение главы: «Если нужно было пахать для того, чтобы сеять, то пахота была разумное дело; но, очевидно, безумно и вредно пахать, когда посев взошёл. А это самое заставляют правительства делать свои народы, — разрушать то единение, которое существует и ничем бы не нарушалось, если бы не было правительств» (*Там же. С. 435*).

Эта глава — идейная “вершина” статьи. Далее последует — уход под уклон, та самая «слабость» разработки темы, которую почувствовал сам автор. Знатокам его публицистического наследия текст *Главы шестой* напомнит рассуждения писателя из его статьи «Единое на потребу (О государственной власти)», опубликованной в 1905 году, а *Глава Седьмая* — содержание ещё более поздней, 1909 года, статьи «Пора понять». Вероятнее всего, в 1900 году Толстой почувствовал, что ещё недостаточно обдумал сам то, что хотел сказать читателю в рамках этой нецензурной, но вечно актуальной тематики. А почувствовав это, и вовсе “смазал” концовку, повторив в *Главах восьмой и девятой*, не столь талантливо и убедительно, как в «Царстве Божием» и предшествующих статьях 1890-х гг., ту же проповедь «пробуждения от гипноза патриотизма», «уничтожения деспотизма правительств». То есть, по отношению к сфере идей — пробуждения сознания индивидов и общностей к христианскому пониманию жизни и, как следствие оно — ненасильственного сопротивления вождениям халтурных (не умеющих без драки) правительств в поставках для них «пушечного мяса».

Тем не менее, мимо Шестой и Седьмой главы мы не можем пройти — уже потому, что, благодаря заразительной эмоциональности, в наши дни они стали «донорами» множества цитат в сообществах и на страницах интернета и постоянно обсуждаются. Завершая данную главу нашей книги, ниже, в Прибавлениях, мы помещаем полные тексты указанных глав, а для сравнения — начало (первые две главы без эпиграфов) статьи «Единое на потребу», которая тоже напрямую связана с антивоенным протестом Л. Н. Толстого, но, по особенности содержания, не может быть особенно представлена и анализируема в рамках данного нашего исследования.

**ЗДЕСЬ КОНЕЦ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ**



## Прибавление 1.

### **СТАТЬЯ «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО». Глава 6**

#### **«6.**

В самом деле, что такое в наше время правительства, без которых людям кажется невозможным существовать?

Если было время, когда правительства были необходимое и меньшее зло, чем то, которое происходило от незащитности против организованных соседей, то теперь правительства стали не нужное и гораздо большее зло, чем всё то, чем они пугают свои народы.

Правительства не только военные, но правительства вообще, могли бы быть, уже не говорю полезны, но безвредны, только в том случае, если бы они состояли из непогрешимых, святых людей, как это и предполагается у китайцев. Но ведь правительства по самой деятельности своей, состоящей в совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных святости элементов, из самых дерзких, грубых и развращённых людей.

Всякое правительство поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение. Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой большая часть людей находится во власти стоящей над ними меньшей части; эта же меньшая часть подчиняется власти ещё меньшей части, а эта ещё меньшей и т. д., доходя, наконец, до нескольких людей или одного человека, которые посредством военного насилия получают власть над всеми остальными. Так что всё это учреждение подобно конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или того одного лица, которые находятся на вершине его.

Вершину же этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более хитёр, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник тех, которые более дерзки и бессовестны.

Нынче это Борис Годунов, завтра Григорий Отрепьев, нынче распутная Екатерина, удушившая со своими любовниками мужа, завтра Пугачёв, послезавтра безумный Павел, Николай, Александр III.

Нынче Наполеон, завтра Бурбон или Орлеанский, Буланже или компания панамистов; нынче Гладстон, завтра Сольсбери, Чемберлен, Родс.

И таким-то правительствам предоставляется полная власть не только над имуществом, жизнью, но и над духовным и нравственным развитием, над воспитанием, религиозным руководством всех людей.

Устроят себе люди такую страшную машину власти, предоставляя захватывать эту власть кому попало (а все шансы за то, что захватит её самый нравственно дрянной человек), и рабски подчиняются и удивляются, что им дурно. Боятся мин, анархистов, а не боятся этого ужасного устройства, всякую минуту угрожающего им величайшими бедствиями.

Люди нашли, что для того, чтобы им защищаться от врагов, им полезно связать себя, как это делают защищающиеся черкесы. Но опасности нет никакой, и люди продолжают связывать себя.

Старательно свяжут себя так, чтобы один человек мог со всеми ими делать всё, что захочет; потом конец верёвки, связывающей их, бросят болтаться, предоставляя первому негодю или дураку захватить её и делать с ними всё, что ему вздумается.

Сделают так и потом удивляются, что им дурно.

Ведь что же, как не это самое, делают народы, подчиняясь учреждая и поддерживая организованное с военной властью правительство?» (90, 435 – 436).

<P. S.> Текстик этот полюбился и самому Толстому: уже в 1900-е, составляя свод мудрой мысли под названием «Круг чтения» он включил его в состав т. н. «Месячных чтений» за апрель (42, 400 – 402).

## Прибавление 2.

### **ИЗ СТАТЬИ «ЕДИНОЕ НА ПОТРЕБУ (О государственной власти)» (1905)**

#### **«I.**

Уже второй год продолжается на Дальнем Востоке война; На войне этой погибло уже несколько сот тысяч человек. Со стороны России вызвано и вызываются на действительную службу сотни тысяч человек, числящихся в запасе и живших в своих семьях и домах. Люди эти все с отчаянием и страхом или с напущенным, поддерживаемым водкой, молодечеством бросают семьи, садятся в вагоны и беспрекословно катятся туда, где, как они знают, в тяжёлых мучениях погибли десятки тысяч таких же, как они, свезённых туда в таких же

вагонах людей. И навстречу им катятся тысячи изуродованных калек, поехавших туда молодыми, целыми, здоровыми.

Все эти люди с ужасом думают о том, что их ожидает, и всё-таки беспрекословно едут, стараясь уверить себя, что это так надо.

Что это такое? Зачем люди идут туда?

Что никто из этих людей не хочет делать того, что они делают, в этом не может быть никакого сомнения. Все эти люди не только не нуждаются в этой драке и не хотят участвовать в ней, но не могут даже себе объяснить, зачем они делают это. И не только они, те сотни, тысячи, миллионы людей, которые непосредственно и посредственно участвуют в этом деле, не могут объяснить себе, зачем всё это делается, но никто в мире не может объяснить этого, потому что разумного объяснения этого дела нет и не может быть *никакого*.

Положение всех людей, участвующих в этом деле и смотрящих на него, подобно тому, в котором были бы люди, из которых одни сидели бы в длинном караване вагонов, катящихся по рельсам под уклон с неудержимой быстротой прямо к разрушенному мосту над пропастью, а другие беспомощно смотрели бы на это.

Люди, миллионы людей, не имея к этому никакого ни желания, ни повода, истребляют друг друга и, сознавая безумие такого дела, не могут остановиться.

Говорят, что из Манджурии возят каждую неделю сотни сумасшедших. Но ведь туда ехали и едут не переставая сотни тысяч совершенно безумных людей, потому что человек в здравом уме не может ни под каким давлением идти на отвратительное ему самому и безумное и страшно опасное и губительное дело — убийство людей.

Что же это такое? Отчего это делается? Что или кто причиной этого?

Сказать, что причиной этого те солдаты, русские и японские, которые стараются как можно больше убить, искалечить неизвестных и ничего не сделавших им людей, никак нельзя, потому что солдаты эти не только не чувствовали и не чувствуют никакой враждебности друг против друга, но год назад не имели ни малейшего понятия о существовании друг друга, а когда сходятся теперь, то дружелюбно общаются друг с другом.

Сказать, что виной этого офицеры, генералы, ведущие солдат, или разные чиновники, военные и штатские, изготовители орудий, снарядов, амуниций, крепостей, — тоже нельзя. Все они, эти офицеры, генералы, чиновники поставлены своей нуждой, своими слабостями, всем своим прошедшим в такое положение, в каком находится запряжённая лошадь, которую сзади стегают и которой правят вожжами, или в положении голодной собаки, которую заманивают в конуру и ошейник кусочком сала, вода ей перед носом.

Все эти офицеры, генералы, чиновники, дипломаты, все так с детства запутаны, заверчены, что они не могут не делать того маленького, нехорошего дела, из которого слагается то большое, ужасное дело, которое совершается теперь. И потому нельзя и их назвать причиной: они не виноваты.

Кто же причина и кто же виноват? Микадо? Николай II? Так сначала представляется потому, что этих, кажется, уж нельзя ни принудить, ни приманить чем бы то ни было. Представляется, что стоило только Николаю II не приказывать, не позволять делать всего того, что делалось в Манчжурии и в Корее, стоило ему согласиться на требования Японии, и войны бы не было; стоит ему теперь предложить условия мира, и война кончится. Всё как будто от него. Но это только так кажется. Про микадо я не знаю, но по тому, что знаю вообще о главах правительств, уверен, что он в тех же условиях, как и другие; про Николая же II я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещённый человек, который поэтому никак не мог быть причиной тех огромных по своему объёму и последствиям событий, которые совершаются теперь на Дальнем Востоке.

Разве может быть то, чтобы деятельность миллионов людей была направлена противно их воле и интересам только потому, что этого хочет один человек, во всех отношениях стоящий ниже умственного и нравственного среднего уровня всех тех людей, которые гибнут как будто по его воле?

Почему же кажется, что причина войны Николай и микадо?

А это кажется потому же, почему кажется, что минированный город взорван тем, кто пустил искру, воспламенившую мину, которая подведена под него.

Не Николай и не микадо сделали и делают войну, а делает это то устройство людей, при котором микадо и Николай могут причинить несчастья миллионов людей. Виноваты не они, а та машина, при которой это возможно; следовательно, виноваты те, кто устраивает машину.

Что же это за машина и кто её устраивает?

## II.

Машина эта давно известна миру и давно известны дела её. Это та самая машина, посредством которой в России властвовали, избивая и мучая людей, то душевно больной Иоанн IV, то зверски жестокий, пьяный Пётр, ругающийся с своей пьяной компанией над всем, что

свято людям, то ходившая по рукам безграмотная, распутная солдатка Екатерина первая, то немец Бирон, только потому, что он был любовник Анны Иоанновны, племянницы Петра, совершенно чуждой России и ничтожной женщины, то другая Анна, любовница другого немца, только потому, что некоторым людям выгодно было признать императором её сына, младенца Иоанна, того самого, которого потом держали в тюрьме и убили по распоряжению Екатерины II. Потом захватывает машину незамужняя развратная дочь Петра Елизавета и посылает армию воевать против пруссаков; умерла она — и выписанный ею немец, племянник, посаженный на её место, велит войскам воевать за пруссаков. Немца этого, своего мужа, убивает самого бессовестно-распутного поведения немка Екатерина II и начинает со своими любовниками управлять Россией, раздаривает им десятки тысяч русских крестьян и устраивает для них то греческий, то индийский проекты, ради которых гибнут жизни миллионов. Умирает она — и полуумный Павел распоряжается, как может распоряжаться сумасшедший, судьбами России и русских людей. Его убивают с согласия его родного сына. И этот отцеубийца царствует 25 лет, то дружа с Наполеоном, то воюя против него, то придумывая конституции для России, то отдавая презираемый им русский народ во власть ужасного Аракчеева. Потом царствует и распоряжается судьбами России грубый, необразованный, жестокий солдат Николай; потом неумный, недобрый, то либеральный, то деспотичный Александр II; потом совсем глупый, грубый и невежественный Александр III. Попал нынче по наследству малоумный гусарский офицер, и он устраивает со своими клеветами свой манчжуро-корейский проект, стоящий сотни тысяч жизней и миллиарды рублей.

Ведь это ужасно. Ужасно, главное, потому, что если и кончится эта безумная война, то завтра может новая фантазия с помощью окружающих его негодяев взбрести в слабую голову властвующего человека, и человек этот может завтра устроить новый африканский, американский, индийский проект, и начнут опять вытягивать последние силы из русских людей и погонят их убивать на другой край света.

И происходило и происходит это не в одной России, а везде, где существовало и существует правительство, т. е. такая организация, при которой малое меньшинство может заставлять большое большинство исполнять свою волю. Вся история европейских государств — история бешеных, всходящих один за другим на престол, глупых, развратных людей, убивающих, разоряющих и, главное, развращающих свой народ.

Вступает в Англии на престол бессовестный, жестокий негодяй, развратник Генрих VIII и ради того, чтобы прогнать жену и жениться на своей б..., выдумывает своё мнимо христианское исповедание, заставляет весь народ принять эту его выдуманную веру, и миллионы людей истреблены в борьбе за и против этого выдуманного исповедания.

Завладевает машиной величайший лицемер и злодей Кромвель и казнит другого, такого же, как он, лицемера Карла I и безжалостно губит миллионы жизней и уничтожает ту самую свободу, за которую он будто бы боролся.

Владеют во Франции машиной разные Людовики и Карлы, и все их царствования такой же ряд злодейств: убийства, казни, избиения, разорения народа, бессмысленные войны. Казнят, наконец, одного из них, и тотчас же Мараты и Робеспьеры захватывают машину и творят ещё ужаснейшие преступления, губя не только людей, но великие истины, провозглашённые людьми того времени. Захватывает власть Наполеон и губит миллионы людей во всей Европе, То же происходит в Австрии, Италии, Пруссии. Такие же глупые, безнравственные властители и такие же жестокие, губительные для народа дела их, И всё это не только дела прошедшего, не то, что происходило когда-то и больше уже не повторится, — всё это происходит теперь, сейчас, везде, в самых мнимо свободных конституционных государствах и республиках, точно так же как и в деспотических, и в Англии, и в Турции, и в Германии, и в Абиссинии, и во Франции, и в России, и в Соединённых Штатах Америки, и в Марокко, и везде, где только действует машина, называемая правительством.

Везде, несмотря ни на какие конституции, без всякой внутренней надобности, только по разным сложным отношениям лиц, партий начинаются войны, как последние войны то французов, то англичан с Китаем, то англичан с бурами, то с Тибетом, то с Египтом, то Италии с Абиссинией, то России, Франции, Англии, Америки, Японии с Китаем, то теперь России с Японией.

Везде, где существует такое учреждение, посредством которого меньшинство может заставлять большинство делать всё то, что это меньшинство назовёт законом или правительственными распоряжениями, везде каждый человек большинства всегда в опасности того, что на него и его семью могут обрушиться самые ужасные бедствия — и не стихийные бедствия, независимые от воли людской, а бедствия, происходящие от людей, тех нескольких людей, которым он добровольно отдался в рабство» (36, 166 – 171).

Прибавление 3.

**СТАТЬЯ «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО», Глава 7**

«7.

Для избавления людей от тех страшных бедствий вооружений и войн, которые они терпят теперь и которые всё увеличиваются и увеличиваются, нужны не конгрессы, не конференции, не трактаты и судилища, а уничтожение того орудия насилия, которое называется правительствами и от которых происходят величайшие бедствия людей.

Для уничтожения правительств нужно только одно: нужно, чтобы люди поняли, что то чувство патриотизма, которое одно поддерживает это орудие насилия, есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное — безнравственное. Грубое чувство потому, что оно свойственно только людям, стоящим на самой низкой ступени нравственности, ожидающим от других народов тех самых насилий, которые они сами готовы нанести им; вредное чувство потому, что оно нарушает выгодные и радостные мирные отношения с другими народами и, главное, производит ту организацию правительств, при которых власть может получить и всегда получает худший; постыдное чувство потому, что оно обращает человека не только в раба, но в бойцового петуха, быка, гладиатора, который губит свои силы и жизнь для целей не своих, а своего правительства; чувство безнравственное потому, что, вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, — всякий человек, под влиянием патриотизма, признаёт себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести.

Стоит людям понять это, и само собой, без борьбы распадётся ужасное сцепление людей, называемое правительством, и вместе с ним то ужасное, бесполезное зло, причиняемое им народам.

И люди уже начинают понимать это. Вот что пишет, например, гражданин Северо-Американских Штатов:

"Единственно — чего мы просим все, мы, земледельцы, механики, купцы, фабриканты, учителя, — это права заниматься нашими соб-

ственными делами. Мы имеем свои дома, любим наших друзей, преданы нашим семьям и не вмешиваемся в дела наших соседей, у нас есть работа, и мы желаем работать.

Оставьте нас в покое!

Но политиканы не хотят оставить нас. Они облагают нас налогами, поедают наше имущество, переписывают нас, призывают нашу молодёжь к своим войнам.

Целые мириады живущих на счёт государства зависят от государства, содержатся им, чтобы облагать нас налогами; а для того, чтобы облагать с успехом, содержатся постоянные войска. Довод, что армия нужна для того, чтобы защищать страну, явный обман. Французское государство пугает народ, говоря, что немцы хотят напасть на него; русские боятся англичан; англичане боятся всех; а теперь в Америке нам говорят, что нужно увеличить флот, прибавить войска, потому что Европа может в каждый момент соединиться против нас. Это обман и неправда. Простой народ во Франции, Германии, Англии и Америке — против войны. Мы желаем только, чтобы нас оставили в покое. Люди, имеющие жён, родителей, детей, дома, — не имеют желаний уходить драться с кем бы то ни было. Мы миролюбивы и боимся войны, ненавидим её.

Мы хотим только не делать другим того, чего не хотели бы, чтобы нам делали.

Война есть неперемное следствие существования вооружённых людей. Страна, содержащая большую постоянную армию, рано или поздно будет воевать. Человек, гордящийся своей силой в кулачном бою, когда-нибудь встретится с человеком, который считает себя лучшим бойцом, и они будут драться. Германия и Франция только ждут случая испытать друг против друга свои силы. Они дрались уже несколько раз и будут драться опять. Не то, чтобы их народ желал войны, но высший класс раздувает в них взаимную ненависть и заставляет людей думать, что они должны воевать, чтобы защищаться.

Людей, которые хотели бы следовать учению Христа, облагают налогами, оскорбляют, обманывают и затягивают в войны.

Христос учил смирению, кротости, прощению обид и тому, что убивать дурно. Писание учит людей не клясться, но "высший класс" заставляет нас клясться на писании, в которое не верит.

Как же нам освободиться от этих расточителей, которые не работают, но одеты в тонкое сукно с медными пуговицами и дорогими украшениями, которые кормятся нашими трудами, для которых мы обрабатываем землю?

Сражаться с ними?



Но мы не признаём кровопролития, да, кроме того, у них оружие и деньги, и они выдержат дольше, чем мы.

Но кто составляет ту армию, которая будет воевать с нами?

Армию эту составляем мы же, наши обманутые соседи и братья, которых уверили, что они служат Богу, защищая свою страну от врагов. В действительности же наша страна не имеет врагов, кроме высшего класса, который взялся блюсти наши интересы, если только мы будем соглашаться платить налоги. Они высасывают наши средства и восстанавливают наших истинных братьев против нас для того, чтобы поработить и унижить нас.

Вы не можете послать телеграмму своей жене или посылки своему другу, или дать чек своему поставщику, пока не заплатите налог, взимаемый на содержание вооружённых людей которые могут быть употреблены на то, чтобы убить вас, и которые несомненно посадят вас в тюрьму, если вы не заплатите.

Единственное спасение в том, чтобы внушать людям, что убивать нехорошо, учить их тому, что весь закон и пророки в том, чтобы делать другим то, что хочешь, чтобы тебе делали. Молчаливо пренебрегайте этим высшим классом, отказываясь преклоняться перед их воинственным идиолом. Перестаньте поддерживать проповедников, которые проповедуют войну и выставляют патриотизм, как нечто важное.

Пусть они идут работать, как мы.

Мы верим в Христа, а они нет. Христос говорил то, что думал; они говорят то, чем они думают понравиться людям, имеющим власть — "высшему классу".

Мы не будем поступать на службу. Не будем стрелять по их приказанию. Мы не будем вооружаться штыками против доброго, кроткого народа. Мы не будем по внушению Сесиль Родса стрелять в пастухов и земледельцев, защищающих свои очаги. <Сесил Джон Родс (англ. Cecil John Rhodes, 1853 — 1902) — южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке, по мнению некоторых «архитектор апартеида». — *Ред.*>

Ваш ложный крик: "волк, волк!" не испугает нас. Мы платим ваши налоги только потому, что принуждены делать это. Мы будем платить только до тех пор, пока принуждены это делать. Мы не будем платить церковные налоги ханжам, ни десятой доли вашей лицемерной благотворительности, и мы будем при всяком случае высказывать своё мнение.

Мы будем воспитывать людей.

И всё время наше молчаливое влияние будет распространяться; и даже люди, уже набранные в солдаты, будут колебаться и отказываться сражаться. Мы будем внушать мысль что христианская жизнь в мире и благоволении лучше, чем жизнь борьбы, кровопролития и войны.

"Мир на земле!" — может наступить только тогда, когда люди отделяются от войск и будут желать делать другим то что хотят, чтобы им делали".

Так пишет гражданин Северо-Американских Штатов, и с разных сторон, в разных формах раздаются такие же голоса» (90, 436 – 440).

<Далее, до завершения *Главы седьмой* статьи «Патриотизм и правительство», Толстой цитирует письмо Клейнгоппена, которое в полном виде мы уже привели выше. – Р. А.>

## **ЗДЕСЬ КОНЕЦ ШЕСТОЙ ГЛАВЕ**



## Глава Седьмая. ДУХОБОРЫ И РОМАН «ВОСКРЕСЕНИЕ»

### 7. 1. АНТИМИЛИТАРИЗМ Л. Н. ТОЛСТОГО В ЕГО ВЛИЯНИИ НА ИДЕИ И СУДЬБЫ ДУХОБОРОВ

В научной литературе по русским сектантам, именно духоборам, можно встретить точку зрения, что духоборческое движение 1890-х годов, кульминацией которого стало сожжение оружия в 1895 г., не было от начала связано с толстовцами и христианским проповедничеством Льва Николаевича. Это мнение основано на том, что новое учение духоборцев, получивших название «постники», уже полностью сложилось к концу 1894 г., а тогда, в декабре 1894-го, состоялись лишь самые первые контакты лидеров движения с Л. Н. Толстым и его последователями; и лишь после сожжения оружия, когда Толстой и его друзья начали оказывать духоборцам, подвергшимся репрессиям, моральную и материальную помощь, между ними установились тесные взаимоотношения.

Существовала, правда, и другая точка зрения, в соответствии с которой, напротив, в основе движения, например, духоборцев «постников» (одна из группировок) лежали *исключительно* идеи Толстого, привнесённые в их среду толстовцами. Эту концепцию исследователи никогда не рассматривали серьёзно, так как она принадлежала чиновникам Синода и Департамента полиции.

Истина, как водится — где-то между этими крайними мнениями. За более чем сто лет никто не попытался разобраться в тех событиях и оценить степень влияния толстовства на духоборческое движение. Опубликованные эпистолярные, мемуарные источники, дневники и архивные материалы свидетельствуют, однако, о том, что толстовцы сыграли в духоборческом движении самую непосредственную роль. Они использовали раскол в секте после смерти бездетной руководительницы духоборцев Лукерьи Калмыковой и сумели обратить борьбу за власть и деньги между Петром Веригиным и его сторонниками, с одной стороны, и жителями села Горелое — с другой, в религиозное движение толстовского толка.

Первым на духоборцев обратил внимание уже не раз встречавшийся читателю на страницах этой книги князь-толстовец Дмитрий

Александрович Хилков. Ещё будучи совсем молодым человеком, во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., князь Хилков служил в Закавказье, вскоре после войны побывал в духоборческом селении Троицкое. Разговор с хозяином дома, в котором князь ночевал, о вере, об иконах, об образе Божиим в человеке, заставил Хилкова взяться за Евангелие. Учение духоборцев очень его заинтересовало, и позже он писал: «Зная Евангелие, я видел, что они ближе к нему, чем православные» (*Малов П. Духоборцы, их история, жизнь и борьба. Канада, 1948. Кн. 1. С. 571*). После встречи с духоборцами Д. А. Хилков начал изучать литературу, касавшуюся этой секты, и в ноябре 1880 г. закончил рукопись под названием «Учение духовных христиан», в которой изложил своё представление о духоборческом учении.

Стоит здесь отметить, что «духовными христианами» называли не только духоборцев, но и молокан. Название именно этой группе русских — духоборы — придумал в 1785 г. архиепископ Екатеринославский Амвросий за их борьбу против Православной Церкви, в которой Дух Святой. Духоборам, однако, это название понравилось — они переделали его в "духоборцы", увидев здесь любимую ими идею борьбы с греховностью не церковными таинствами, а силой собственного духа. Духоборцы православно учили о Троице, воплощении Господа Иисуса Христа и Святом Духе, признавали второе пришествие и воскресение мёртвых. Однако, они полностью отрицали всё церковное — таинства, священные одежды, иконы, мощи. По учению духоборцев, официальная православная Церковь с её обрядностью, пышностью богослужений наносит вред вере, является тленной, а не вечной; "священники — выдумка людей, чтобы легче прожить". Крещение духоборцы осуществляли не погружением в воду, а обычной крестильной формулой, которую мог произнести любой духоборец. К Писанию относились с почтением, но непогрешимость его отвергали. Эта особая этноконфессиональная группа русских часто квалифицируется как конфессия христианского направления.

Духоборов традиционно считали рационалистической сектой, и это было большим заблуждением, в которое впали и толстовцы. Глубинной причиной может быть то, что сам Лев Николаевич за много лет до контакта с духоборами, живя в Самарской губернии, имел ещё в 1860-е годы возможность контакта с действительными рационалистами — сектой молокан. Но если в молоканстве религиозный рационализм, зревший в течение нескольких веков в России, остался в прежнем, "чистом" виде, где Библия и разум лежали и основе религии, то у духоборов русский религиозный рационализм смешался с

мистицизмом некоторых западных сект, таких как квакеры, анабаптисты, меннониты и др. От них духоборы заимствовали идею о внутреннем совершенстве Духа и веру во внутреннее просвещение от Бога-слова, обитающего в душе каждого человека. В то же время учение духоборов в основных своих принципах сохранило религиозный рационализм, существовавший и широко распространившийся среди русского крестьянства в XVIII веке, который в рассматриваемый нами период являлся основой вероисповедания молокан.

По учению духоборов, Бог един в трёх лицах: Бог-Отец — память. Бог-Сын — разум, Святой Дух — воля. Духоборы никогда не считали, как толстовцы, Христа «простым смертным», избранным Богом для провозглашения своих заветов человечеству. Христос в понимании духоборцев — это Бог и Сын Божий, после крестной смерти человеческой плоти пребывающий в плоти их вождей. В своих суждениях об Иисусе Христе, об оправдании верою, о внутреннем слове, о будущем воскресении и в правилах нравственности, духоборы повторяли квакеров. Как и квакеры, духоборы не давали присяги властям, отрицали все формы насилия, в том числе и воинскую службу, не снимали головных уборов ни перед кем, были честны в труде и в быту и т.д. Признавая за грех убийство человека, духоборы в то же время имели оружие и, окружённые кочевыми племенами, грабившими их, по необходимости пользовались этим оружием. Духоборы до влияния на них толстовцев никогда не были и анархистами: в том смысле, что они безоговорочно признавали власть своего вождя. Они верили в собственную избранность, и секта была совершенно закрытой для посторонних людей.

Но Хилков, сам сектант-штундист, при этом человек умнейший, располагающий к себе и просвещённый элитарным образованием, сумел найти «ключик» ко многим из разумов и сердец этих тёмных общинников. Труд Д. А. Хилкова представлял собой упрощённые извлечения из литературы о секте, недоступной простым её членам, «сдобренные» ссылками на Писание, дабы тем самым доказать истинность духоборческого учения. При этом Хилков пошёл тем же путём, каким шёл Л. Н. Толстой в своей реконструкции по каноническим евангелиям чистого, первоначального учения Христа: духоборческие догматы были очищены от неясностей, усилены и дополнены тем, что сектанты на своём пути «обронили» значимого из учения Христа. Например: «Всё, что не сотворено людьми, не может принадлежать отдельным людям: земля, вода, деревья, трава, хлеб, — принадлежат Богу, то есть всему роду человеческому, в котором он пребывает» (Хилков Д. А. *Учение духовных христиан.* – Цит. по: Иникова С.А. *Роль «толстовства» и толстовцев в движении кавказских*

*духоборцев 1890-х гг. // Толстовский сборник – 2000. Тула, 2000. В 2-х ч. Ч. II. С. 51).* До контактов с Хилковым, одним из радикальнейших толстовцев, ничего подобного у духоборцев не было ни в учении, ни в жизни. Хилков там же пишет, что платить подати — значит способствовать усилению власти, которая всегда враждебна учению Христа. Духоборцы, стоит заметить, были не далеки от такого отношения: они считали себя не подданными государства, а *данниками*, плательщиками, откупающимися от вековечного разбойничьего гнезда, сиречь государства Российского, и старались свести контакты с властями до минимума. Но для этого они всегда исправно отдавали «кесарю кесарево».

Несомненной заслугой князя-толстовца является возвращение миру в книге об учении духоборцев, во всей её силе и значении, концепции о духовном ненасилии, христовом и евангельском «непротивлении злу»: «Духовный христианин не противится злему до тех пор, пока тот не задевает его человеческого достоинства, то есть Бога, в нём пребывающего...», но если такое случится, он должен умереть, но не покориться, так как нельзя слушать людей больше, чем Бога (*Там же. С. 51 – 52*).

«Краткое исповедание духовных христиан» было напечатано в 1886 году в машинописном самиздатовском сборнике «Всходы», распространявшемся среди окружения и сподвижников Л. Н. Толстого. Об этом сборнике мы находим упоминание в письме Толстого к П. И. Бирюкову, написанном в июне 1887 г. (64, 56). В конце 1888 г. это сочинение Хилкова взялся править сам Лев Николаевич — и, вероятно, затруднился сектантским ходом мысли, так как признавался в письме Д. А. Хилкову от 10 ноября, что его «записку», катехизис духовных христиан, ему «надо больше обдумать» (*Там же. С. 193*).

Так люди в России передового, христианского религиозного понимания жизни духоборческую мистическую, обособленную секту повели к новой жизни — в духовных подвигах, страданиях и победах. В эти годы сами толстовцы чувствовали необходимость письменного изложения и публичной манифестации своей веры. Своё исповедание Христа они стремились изложить как можно короче и доступнее для понимания других. Сохранились «Краткое исповедание», написанное П. И. Бирюковым, и «Исповедание веры» Д. А. Хилкова. Обстоятельное ознакомление с духоборчеством, а также учениями других сект, прежде всего штундизмом, к которому очень благосклонно относился Л. Н. Толстой, имело совершенно определённые и далеко идущие цели. Шла работа по выработке некоего универсального христианского исповедания, которое предназначалось для распространения среди сектантов, для того чтобы объединить и этих

«духовных христиан» во «всемирном, божеском» религиозном понимании жизни, проповеданном Л. Н. Толстым.

Здесь не будет излишним обозначить позицию самого Л. Н. Толстого — симпатизировавшего сектантам в 1880-е годы больше, чем в 1860-70-е, и даже, судя уже по некоторым суждениям трактата «В чём моя вера?», считавшего сектантство единственным «живым» духовным движением в христианстве и противопоставлявшего его в этом смысле догматическому учению церквей, но долгое время не желавшего быть прозелитом «иноверия» среди любых сектантов.

Довольно известная запись в Дневнике ещё молодого Л. Н. Толстого от 4 марта 1855 г., доносит до нас его раннее суждение о необходимости воссоздания христианства во всех его первоначальных силе и значении, способных служить основанием для единения людей в одном религиозном понимании жизни: «религии Христа, но очищенной от веры и таинственности», т.е. от мистики и обрядоверческого идолопоклонства, свойственного и сектантам — от всего того, что, напротив, всегда разделяло людей.

Приводим отрывок по тексту тома 47 Полного собрания сочинений Толстого:

«В эти дни я два раза по несколько часов писал свой проэкт о перестройке армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли. Нынче я причащался.

Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле.

Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (47, 37 – 38).

В первую очередь обратим внимание на ближайший *событийный контекст*, в котором молодой Лев доверяет страницам Дневника свой замысел и который отразился в них: смерть Николая I и связанные с нею надежды на «великие перемены» для России, на необходимую модернизацию:

«1 марта. [...] 18 февраля скончался Государь и нынче мы принимали присягу новому Императору. Великие перемены ожидают Россию.

Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (Там же. С. 37).

И Толстой берётся за посильное для него поприще: готовит свой проект реформы в армии, о котором достаточно подробно шла у нас речь ещё в Первой главе. Но не менее насущным для России кажется ему и непосильное *пока* дело: участие в *религиозном* преображении любимого отечества.

Если устройство армии архаично и вредно для государственных задач, то... самым архаичным и вредным для сознания и душ соотечественников молодой человек справедливо находит *церковное* учреждение: не только на уровне его внешнего строения и недопустимой для христиан тесной связи с государством, но и в фундаментальном, в суеверном лжеучении и языческом колдовстве «таинств» и идолопоклонничества.

*Целесообразно* ли для борьбы с этим буквально «основывать новую религию» — т. е., на деле, создавать *ещё одну* секту, которая тупо-натупо будет конкурировать с другими такими же сектами и влачить маргинальное существование рядом с презирающими или ненавидящими её верунами доминирующей гиперсекты «православия»? Никак. И Толстой предполагает совершенно иной, действенный путь: борьбы *изнутри*. Не учреждения с учреждением, а отчасти уже осознанной *лжи* отжитого религиозного понимания жизни с некоей истиной Самого Бога, пока, в 1855-м году, неизвестной ему.

А теперь — прочитаем ещё раз:

«Вчера разговор о божестве и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — *основание новой религии*, соответствующей развитию человечества, *религии Христа*, но *очищенной* от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле" <Запись от 4 марта 1855 г. Выделения наши. — Р. А.>.

По сей день идеологически ангажированные (чаще всего — церковно-верующие) исследователи зачастую сразу "перебрасывают" от сих строк читателя к Толстому конца 1870-х – 1880-х гг., времён «Исповеди», почти навязывая кажущийся истинным вывод о том, что Толстой в последние десятилетия жизни просто-напросто осуществил замысел молодости...

Так ли это?

Вчитаемся, в чём замысел. Это не так-то просто понять: Дневник Льва Николаевича, как и всякий источник личного происхождения



и (первоначально) для личного пользования не подвергался специальному редактированию: Толстой нередко излагал свои мысли в Дневнике несколько "неряшливо", "для одного себя", не подбирая слова, а по принципу: "я-то сам понимаю, что хочу этим сказать".

Итак:

1. Молодой Толстой пришёл к идее «основания новой религии».
2. Религия, которую Толстой полагает «основать» — есть «религия Христа», т.е. христианство, но —
3. "Религия... *очищенная от веры* (?! – Р. А.) и таинственности. Тут стоит вдуматься и попытаться не впасть в недоумение в связи с появляющимися вопросами:

1) Как можно вновь *основать* уже основанную Христом религию? и 2) Как религия (синоним: вера) может быть "очищена от веры"? Мы берёмся утверждать, что Толстой 1870-х — 1900-х гг. *этим* дерзким и непродуктивным путём не пошёл. Изучив евангелия и православное богословие, прочитав множество книг по религиоведению и библеистике, он из этих замыслов молодости выполнил только одно: именно *очищение* учения Христа «от веры и таинственности». Вера (религия) в этой записи Дневника — окказиональный синоним молодого Льва для обозначения наносного в христианстве, суеверного, ложного... Толстой не «выдумывал», а искал живую веру и нашёл: частично, как сумел, высвободил христианство от того, что уже в древности превратило преданное Христом миру Божье откровение и пример земной жизни разумного человека, данный им, в фундамент для мистического учения и колдовского обрядоверия назвавших себя христианскими церквей, для прикрытия и освящения их многовекового экономического и идеологического господства. **Никакого "толстовства" Толстой не «основывал»**, оставшись на христианском идейном "фундаменте", став свободным от веры в отжившие своё суеверия церкви, но всё-таки — христианином. *Свободным* христианином, могущим быть членом лишь одной, истинно Христовой, церкви — если бы такая исторически где-нибудь существовала.

К сожалению, у столь характерных, независимых духовных «попутчиков» Толстого-христианина, как князь Дмитрий Александрович Хилков, было иное отношение к Слову Бога и Христа. Когда в 1880-е годы в землях Украины широкое распространение получил штундизм, толстовцы обратили на него особенно пристальное внимание, и в эти же годы «опростившийся», по образцу Л. Н. Толстого, кн. Д. А. Хилков начал успешную пропаганду толстовства среди крестьян

Павловки Сумского уезда Харьковской губернии. Его друзьям — П. И. Бирюкову, А. М. Бодянскому и И. М. Трегубову — казалось, что вот именно сейчас настало время для пропаганды учения Толстого, то есть возвращения всех открытых к духовному поиску христиан к первоначальной вере Христа, во всех её силах и значении, могущей стать в их руках бескровным оружием.

Активную позицию в вопросе пропаганды толстовства в народе с конца 1880-х годов занял Иван Михайлович Трегубов. После прочтения присланного Бирюковым катехизиса херсонских штундистов Трегубов писал в черновике ответного письма от 28 мая 1888 г.: «Но что делать... если у нас нет более верного средства изменить жизнь к лучшему, как только чрез обновление старой веры на новую, лучшую? Что делать, если главная наша сила — народ — не принимает нашего учения, не основанного на религии?» (*Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 53*). Обратим внимание на ту же, что и в знаменитой записи в Дневнике 1855 г., семантику лексемы «религия»: обрядность, массовые суеверия и под.

Для автора письма было совершенно ясно, что «необходимо уничтожить в народе старое мировоззрение», то есть отжитое, всё более вредное и опасное жизнепонимание язычников и евреев, транслировавшееся в умы поколений церковью российского православия. Сектанты, «особенно те из них, которые отличаются необыкновенным самоотвержением, доходящим до распятия себя на кресте», по мнению автора письма, были наиболее готовы к восприятию этих идей (*Там же*).

В письме к Д. А. Хилкову от 27 февраля 1889 г. И. М. Трегубов подчеркнул свою солидарность с позицией Хилкова, который, по его мнению, на первый план выдвинул политико-социальную сторону толстовского учения, то есть «разрушение церкви и государства». Трегубов считал «толстовщину», как он сам называл учение Л. Н. Толстого, тем рычагом, которым можно «переворотить жизнь». «Но для того, чтобы толстовщина оказалась таким рычагом, необходимо распространить её между народом: без народа нечего и думать о каком-нибудь перевороте. Распространение же толстовских идей в народе с успехом идёт только в рационалистических сектах: у духоборцев, молокан, особенно у штундистов... [Нельзя] забывать, что наши рационалистические секты (молоканство, духоборчество и др.) стремятся очистить свои зёрна от половы. И не вина простого люда, если ему до сих пор не удалось завершить эту очистку. Помочь совершить эту очистку должна интеллигенция. В лице Льва Николаевича и штунды интеллигентной. Эта помощь уже оказывается нашему

народу, но этого мало, нужно больше сил. Давайте же помогать разобратся нашему народу в его стремлениях к истине. А для этого нам остаётся только распространять идеи Л. Н[иколаевича] и штунду. К восприятию идей Л. Н[иколаевича] и штунды наши рационалистические секты все склонны» *(Там же. С. 54)*.

Обращает внимание утверждение Трегубова о духоборческой секте как одной из тех сект, среди которых уже идёт успешное распространение христианского слова Льва Николаевича, и которая уже тогда, в 1889-м, начала «очищать зёрна от половы».

Вовлечению в прозелитство толстовцев самого Л. Н. Толстого возросло с февраля 1891 года, когда среди пропагандистов появился первый «мученик святого дела». Предсказуемо им стал фанатик «новой штунды» Д. А. Хилков, который, за пропаганду среди крестьян Павловки приведённых нами выше «толстовских» идей, был приговорён к административной высылке в Закавказье.

Весьма не случайно местом своего поселения несгибаемый князь-толстовец выбрал духоборческое село Башкичет Тифлисской губернии, где и прожил с февраля 1892 г. до апреля 1894 г. Через месяц после своего приезда в Башкичет, познакомившись с населением, несколько разочарованный, Д. А. Хилков делился с Л. Н. Толстым впечатлениями: «Духоборы очень для меня поучительны. Они показывают, что от духобора не всегда рождается духобор, что дух дышит, где хочет, и что он не составляет исключительную собственность какой-либо отдельной секты или веры. А потому ошибочно говорить, что в Башкичете живут духоборцы, только потому, что башкичетские жители носят картузы с большими козырьками и синие поддёвки. По жизни духоборы не лучше и не хуже православных. Только такой забитости нет, как в русских сёлах... Есть и пьяницы, и воры. Друг у друга крадут. Кабак постоянно полон народа. Начальства боятся как огня и Божие охотно отдают кесарю... Учение их изложено в псалмах и в форме вопросов и ответов. Всё это они знают наизусть, но смысла не понимают...» *(Там же. С. 54 – 55)*.

Хилков достаточно объективно оценивал и самих духоборцев, и суть раскола, произошедшего в секте, тем не менее он сразу же взялся за «очищение зёрен от половы». Он хотел возбудить в сектантах духовное алкание ко Христу, направить помыслы их на христианскую стезю. Умному, обаятельному, неизменно доброжелательному Дмитрию Александровичу оказалось нетрудно расположить к себе духоборцев, которые называли его «милым человеком Дмитрием». Им явно льстило, что человек высшего ранга — образованный, да ещё и князь, — охотно, на равных беседовал с ними, интересовался их жизнью и «раздавал книги для прочтения» *(Там же. С. 55)*.

Книгами, вернее небольшими брошюрками, изданными издательством «Посредник» для народа, Дмитрия Александровича Хилкова снабжал Владимир Григорьевич Чертков. Известно, что и Толстой отправлял Хилкову «кое-какие книжечки» (66, 282). Департамент полиции отмечал хождение среди духоборцев сочинений Сократа, Диогена и Эпиктета. Учения известных античных философов издавались для народа в виде упрощённом и переработанном так, чтобы быть ясными и близкими для свободно-христианского сознания.

Десять лет спустя, говоря о значении в обновлении сознания духоборов «Посредника», Павел Иванович Бирюков вспоминал:

«Взгляды Л. Н-ча начали проникать в народ. Путей проникновения этих взглядов было, главным образом, два: первый — это личная пропаганда жизнью единомышленников Л. Н-ча, огромное большинство которых жило в деревне, в живом общении с народом; другой путь были издания "Посредника", руководимого Л. Н-чем. Книжки "Посредника", несмотря на строгость тогдашней цензуры, давали столько живого материала уму и сердцу русского крестьянина, и притом в столь доступной форме, что там, где они появлялись, начиналось и сознательное, критическое отношение к существующему строю, и попытки его изменения, всегда начиная с самого себя.

И вот в начале 90-х годов книжечки "Посредника" проникают на Кавказ, в среду духоборческой секты. Семена попадают на добрую почву и приносят плод. Духоборческая секта, сама по себе живая, в лице своих лучших представителей пользуется книжками "Посредника" для обновления своего мировоззрения, и на Кавказе начинается новое религиозное движение среди духоборов» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. М., 1922. Том 3. С. 241*).

Бирюков признал также, что и Д. А. Хилков «своим личным влиянием» способствовал этому движению (*Там же. С. 257*).

В первый год пребывания в ссылке Хилков составляет из 70 вопросов и ответов «Псалом духоборческий»: такую же адаптацию свободно-христианских, евангельских убеждений Л. Н. Толстого к сектантскому восприятию, как и катехизическое «Учение духовных христиан». Позже количество вопросов и ответов было доведено до 153, и псалом был назван «Исповедная песнь христианская, духоборо-молоканская».

Именно Хилков включил в псалом вопрос об отношении к войне и убийству. После введения на Кавказе в 1887 – 1890 гг. воинской повинности к исполнению воинских обязанностей были призваны даже духоборы, ранее имевшие возможность выбрать службу, не

требующую использования оружия. Памятуя, что они христиане, духоборцы всё-таки покорно шли на службу в войске и не помышляли об отказе от воинской повинности. Впрочем, даже отправившись в воинские части, они массово отказывались касаться оружия, а тем более применять его. Подобное долго продолжаться не могло и постепенно большинство духоборов стихийно отходит от «соглашательской» политики.

Во зло их плотской, греховной жизни, но на благо душам, искренний человек, хотя и фанатик, Дмитрий Хилков стал, вероятно, первым, кто просветил их. «Война и убийство, и всякое человеконенавистничество есть самое невозможное дело для слуги Божьего», – говорилось в состряпанном им псалме (*Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 55*). Дмитрию Александровичу очень хотелось привлечь внимание духоборцев к этой проблеме.

Напомним читателю, что в 1891 г. по религиозным мотивам от оружия отказались рядовые Дрожжин и Изюмченко. Евдоким Дрожжин был благословлён на «отказ до конца» и на мученичество лично Д. А. Хилковым с единоверцами, и в 1894 году замучан тётёй родиной до смерти. А уже в начале 1892 г. было несколько отказов от оружия среди призванных в армию крестьян Павловки. С радостью восприняв весть о павловцах, Хилков сетовал: «Невольно сравниваю их с духоборами, молоканами, баптистами и хлыстами. Сравнение не говорит в пользу всех этих сект. И я думаю, что главное, что мешает людям, числящимся в этих сектах, проявлять силу духа, – это то, что они обособлены. Как бы стадо, вечно смотрящее либо на одного вожака, либо друг на друга. Это очень связывает дух» (*Хилков Д.А. Письмо Л.Н. Толстому. 12 июня 1892 г. – Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 56*).

Вслед за Хилковым в 1893 – 1894 гг., через ссылку или добровольно, на Кавказ прибыло немало толстовцев. В Грузии возникло несколько толстовских колоний. Последователи Толстого воспринимали духоборцев как носителей истинного христианства в народной среде, которые временно, в силу обстоятельств, отошли от своих идеалов. Однако не было осознания того, что, как и церковные лжехристиане, например, православные, духоборы уже догматизировали своё учение и закоснели в своём образе жизни, потворствующем самым разнообразным грехам и порокам: пользованию деньгами, правительством, повиновению законам государства предпочтительнее Божьих... Понимание неустранимой порочности этой долго идеализированной лъвьями Льва Николаевича секты пришло позже, уже после переселения духоборцев-постников в Канаду, и принесло толстовцам разочарование и крушение иллюзий.

Между тем, в глазах европейских сектантов духоборам уже отведено было место — совершенно независимое от проповедания Льва Николаевича и толстовцев. Близость идейного «фундамента» духоборческой доктрины к квакерам предопределила внимание к ним самих квакеров, в частности «общества друзей» в Англии, которое в конце 1892 г., когда установился санный путь, поручило двоим из своих видных членов, Джону Беллоузу (John Bellows, 1831 – 1902) и Джозефу Ниву (Josepf Neave) пробраться через Петербург и Москву на Кавказ и в южную Россию с целью самоличного ознакомления с положением проживающих там сектантов, молокан, духоборов и штундистов и оказания им помощи. Помимо сектантских групп, Беллоуз и Нив намерены были посетить и Хилкова — который до знакомства с учением Толстого тоже был «чистым» штундистом. С ними Толстой отправил драгоценное письмо к духовному собрату во Христе, в котором наконец мог высказаться, не опасаясь утраты письма по пути к адресату или иных последствий от навязчивой перлюстрации корреспонденции в Российской Империи. В письме этом, датированном около 8 декабря, были и такие строки:

«...Я гонений не боюсь. И если бы работал по случаю гонений, то работал бы прежде всего над тем, чтобы избавить гонителей от их зла. Они, а не гонимые, жалки.

Просил я дочь собрать кое-какие книжечки, чтобы послать вам. Надеюсь, что она успеет.

Дай Бог вам идти всё той же дорогой дальше и дальше» (66, 282).

Это письмо — достаточное свидетельство того, что Толстой, несмотря на собственную занятость работой на голоде, несмотря и на всегдашнюю, удерживаемую им, установку неприятия прозелитизма, был в зиму 1892 – 1893 гг. в курсе идеологической «работы», предпринятой группой толстовцев над сектантски закоснелыми, но при том, как всё не очень умное, и весьма податливыми из этого состояния мозгами духоборов, помогал им в этой деятельности присылкой нелегальной литературы — и, что особенно для нас важно, готов был нести моральную ответственность за результаты этой, безусловно одобренной им, деятельности.

В первой же половине 1890-х духоборцы действительно оказались очень удобной почвой для пропаганды возвращённого миру Л. Н. Толстым первоначального учения Христа — в силу того особого внутреннего состояния в духоборческом обществе, которое проявилось после раскола.

Расцвет духоборческих общин в Грузии во второй половине XIX столетия связан с именем *Лукерьи Васильевны Калмыковой* (1841 – 1886), управлявшей общинами 22 года, с 1864 г. Лукерья при жизни пользовалась безусловным авторитетом, сколотив завидное состояние на торговле лошадьми. Лошади из хозяйств духоборцев были породистыми и рабочими, славились на всё Закавказье и обусловили извозный промысел, которым занимались духоборцы, перевозя товары фургонами в Пруссию, Турцию, Индию и по Закавказью. На духоборов была возложена обязанность содержать за плату почту по всему Закавказью. При этом духоборы были недовольны этой повинностью, как малоодоходной, и добились её отмены (*Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 51*).

Помимо сакрального авторитета, «богородица» Лукерья сочетала сильную волю с огромным личным обаянием (*Там же*). В общине при Лукерье практиковались телесные наказания: битьё розгами и заключение в «холодную» с применением пыток (*Там же. С. 56*). А пьяниц, например, для вразумления, заставляли голыми ходить по деревне. Эта замечательная традиция духовного вытрезвления впоследствии «переехала» с духоборами в Канаду (*см. об этом: Родионов А. А. СССР – Канада. Записки последнего советского посла. М., 2007*). Вместе с тем Калмыкова во время войны с Турцией 1877 – 1878 гг. смогла договориться с вел. кн. Михаилом Николаевичем (1832 – 1909), чтобы духоборы, подлежащие призыву в армию, не участвовали в военных действиях, а исполняли т. н. «нестроевые» работы: к примеру, в роли перевозчиков провианта солдатам (*Там же*). Духоборческая община смогла выставить для этого дела около 4 тысяч фургонов, и наладили регулярное снабжение армии фуражом, продовольствием и оружием по трудной просёлочной горной дороге. До 150 фургонщиков погибло в пути при перевозке грузов. Кроме того, общины обеспечивали медицинскую поддержку, создавая в избах лазареты (*Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 51*).

«Лушечка Блаженная», как звали Лукерью суеверные сектанты, запомнилась им, в числе прочего, пророчеством о будущем расколе в среде движения и о вынужденном отъезде из России:

«Милые мои! Духоборцам предстоит великая борьба — освободиться от пролития крови человеческой. Как желала бы я, чтобы духоборцы были все заедино, но может случиться, что духоборцы расколются между собой, и это будет огромное несчастье. Духоборцам суждено будет покинуть нашу родину и побывать в далёких странах для испытания их веры и для прославления Господа, но говорю вам, где бы духоборцы ни были, где бы они ни ходили, они должны возвра-

титься на это место. Это место им обетованное, и когда возвратятся — духоборцы найдут себе покой и утешение» (Родионов А. А. СССР – Канада. Записки последнего советского посла. Указ. изд.).



В 1886 году Лукерья преставилась ко Господу — оставив миру свои не только добрые дела, но и грехи. Среди последних был т. н. «сиротский дом» в духоборческом селе Гореловка Тифлисской губернии. Первоначально это, действительно, был межобщинный приют для странников, стариков и детей-сирот, но со временем матушка «богородица» не утерпела, превратив его в латифундию своего имени. У «сиротского дома» появились свои земли, свои стада, своё хозяйство, которое, однако, безвозмездно обрабатывалось духоборцами. Одновременно увеличились и обложения, являвшиеся по существу своеобразным налогом. Общие доходы «сиротского дома» составляли



тайну для общинников и распоряжалась ими единолично Лукерья Калмыкова. По сведениям С. А. Толстого, стоимость общественного имущества Сиротского дома превышала миллион рублей (*Толстой С.А. Путешествие в Америку с духоборами. М., 2017. С. 38*). Публичный оборот — малая часть общих доходов латифундии — превышал полмиллиона рублей (*Беженцева А. Указ соч. С. 54*).

И вот в конце 1886 года в среде духоборов разгорелся конфликт из-за этого жирнейшего наследства. Лукерья не имела собственных детей, но готовила себе приемника в лице *Петра Васильевича Веригина* (1859 – 1924), познакомившегося с Лукерьей Калмыковой в нач. 1880-х и ставшего вплоть до смерти Лукерьи её любовником и, кстати, руководителем мутного «сиротского дома». Любовник оказался талантливым менеджером: он не только откупал огромными взятками общины от всех претензий к ним администрации, но и практиковал денежные раздачи «нуждавшимся».

Конечно, после кончины Лукерьи большинство (в особенности молодые общинники, у многих из которых не лежало сердце к традиционному крестьянскому труду общины, а оттого труд этот не спорился в их руках и не приносил средств к существованию) — встали горой именно за Лушечкиного сожителя, за Петра Веригина. Его последователи составили т. н. «большую партию», численностью до 11 тыс. голов. Соответственно, «малую партию» составили сторонники законного наследника Лукерьи, брата её, *Михаила Васильевича Губанова* (1847 – 1930). «Губановцами» были в основном зажиточные духоборы и старейшины общин.

26 января 1887 года, когда один из старейших духоборцев по фамилии Махортов предложил собравшимся отдать поклон новому руководителю Петру Веригину, большая часть толпы упала на колени, а меньшая часть осталась стоять на ногах (*Беженцева А. Указ. соч. С. 58*).

Большая часть капиталов духоборов осталась у малой партии: официально имущество общины принадлежало Калмыковой, а так как Губанов являлся её ближайшим родственником, то через государственный суд в Тифлисе он смог получить всё имущество общины. Веригин подал ответный иск, но, конечно же, всё дело с треском, позорнейше проиграл ([https://scepsis.net/library/id\\_1830.html](https://scepsis.net/library/id_1830.html)).

На время Веригин переселился из Гореловки в родное село Славянка Елисаветпольской губернии. Но в конце июня 1887 года руководитель Ахалкалакского уезда сообщил губернатору Тифлиса, что Веригин неожиданно вернулся в город Ахалкалаки без паспорта, и попросил полицию разрешить посетить духоборцев. Его снова отправили в Славянку. Веригин позже связался с духоборцами села

Гореловка через других посланников, а также по телеграфу, призвав их не подчиняться местному правительству и контролировать имущество Каалмыковой.

Впоследствии «малая партия» — в основном зажиточные, хозяйственные духоборцы — пошла на компромисс с государством и православием. Истинными же духоборцами остались те, кто не получили грешного наследства Каалмыковой.

В конечном итоге, попытки протеста и объединения сторонников привели к высылке 27-летнего Веригина с 1887 года в Шенкурск Архангельской губернии, знаменитое с 1860-х гг. место политической ссылки. Впоследствии его ссылка продлевалась на 5 лет в административном же порядке ещё дважды, а он сам был перемещён в места всё более удалённые: в 1890 году в Колу (близ Мурманска), а в 1894 году в Обдорск (ныне Салехард). В ссылке он ознакомился с «учением Л. Н. Толстого» и продолжал руководить своими сторонниками путём переписки и общения с посланцами духоборов, которые встречались с ним, нередко втайне от властей.

\* \* \* \* \*

Важно понимать, что раскол в секте отражал недовольство рядовых духоборцев своими руководителями, превратившими религиозную организацию в орудие наживы и разврата. Поэтому, когда разгорелась борьба за власть между последователями Лукерьи Каалмыковой, часть духоборцев встала на сторону Петра Веригина именно потому, что он призывал покончить с несправедливостью, притеснениями со стороны богачей, восстановить идеалы предков.

Разложение общины завершилось открытой борьбой низовой духоборческой массы против собственной олигархии. Ей способствовало появление новых «законных» претендентов на наследство Каалмыковой — её родни, но при этом, в отличие от брата, людей совершенно чужих для общинников. Пачкотные скандалы отвратили от Губанова некоторых из них, более нравственно чутких.

Лидеры так называемой «большой партии», признавшей своим вождём П. В. Веригина, понимали, что необходимы радикальные перемены в жизни секты, благополучие и зажиточность которой неизбежно приведут к её распаду; перемены, способные возродить былой религиозный энтузиазм и сплотить духоборов. Проповеданное Толстым первоначальное, евангельское учение Христа с его жёстким, доходчиво обоснованным аскетизмом было как раз той идейной платформой, на которой, казалось бы, могло состояться духовное возрождение духоборцев.

Духоборческая беднота организовала артельную обработку земель и артельные мастерские. Хлеб начали делить по числу едоков, создали общественную кассу, куда сдали все свои наличные средства. Скот стали держать по норме, а остальной продали. Перестали заниматься извозным промыслом. Духоборцы отказывались служить в армии, платить подати, налоги. Они вновь возродили у себя общинное хозяйство в его первоначальном виде. Под влиянием толстовцев они отказывались пить спиртные напитки, есть мясо, а сторонники христианского идеала целомудрия — даже сожительствовать с жёнами.

Те из духоборцев, которые усвоили учение А. Н. Толстого, получили от неедения мясной пищи название «постников» или «белых», т. е. *обелившихся*, сделавшихся чистыми посредством поста.

Не все члены «большой партии» приняли программу Веригина, что привело к дальнейшему разделению общины. Отделившаяся от них так называемая «средняя партия», лидером которой был А. Ф. Воробьёв («воробьёвцы»), занимала соглашательскую позицию.

После того как закавказская администрация встала на сторону противников П. В. Веригина, а его самого отправила в ссылку, в среде духоборцев резко усилились антигосударственные настроения. Главная причина успеха пропаганды свободного, нецерковного христианства среди духоборцев заключалась именно в том, что они были восприняты П. В. Веригиным и, будучи освящены его сакральным авторитетом, приобретали в среде его наиболее духовно чутких последователей статус религиозных догм.

Как выше было сказано, с 1887 г. Пётр Васильевич Веригин находился в ссылке на севере России. По свидетельствам современников и по его письмам, перелом в его мировоззрении произошёл в период с мая 1890 г. по 1893 г., во время пребывания в Коле Архангельской губернии. Он перестал курить, пить, есть мясо, занялся работой на земле и благотворительностью. В какой степени именно толстовцы повлияли на него? Этот вопрос остаётся без ответа. Архангельская губерния была местом ссылки людей разных религиозных направлений и политических убеждений, с которыми общался Веригин. Не исключено, что в руки Веригина могла попасть христианская литература, выпускавшаяся сподвижниками Льва Николаевича, тем более что ближние и дальние родственники ездили к нему через Петербург и Москву.

На фигуру опального вождя сразу же после приезда в Закавказье обратил внимание Д. А. Хилков. В первом же письме к А. Н. Толстому из Башкичета, от 18 марта 1892 г., Хилков упоминает о П. В. Веригине.

гине: «Один духобор — вождь большой половины всех духобор — со-слан в Колу (кажется, Архангельской губернии). Его именем много зла творится, а я думаю, что он хороший человек. Нет ли у Вас, Лев Николаевич, знакомых в тех местах? Я хочу написать ему письмо. Имя его — Пётр Васильевич Веригин» (*Хилков Д.А. Письмо Л.Н. Толстому. 18 марта 1892 г. – Цит. по: Иникова С.А. Указ. соч. С. 57*). Вполне возможно, что после этого письма Толстой нашёл «знакомых в тех местах», которые и взялись за развитие и просвещение Петра Веригина. Таким человеком (или одним из таких людей?) стал народный писатель Максим Леонович Леонов (псевд. Максим Горемыка; 1872 – 1929), отец знаменитого советского писателя Леонида Леонова. Его пребывание в ссылке в Коле (Архангельская губерния, 1892 г.) совпало с пребыванием там же Петра Васильевича Веригина. Известно, что между ними именно в этот период сложились дружеские отношения. При этом сам Леонов был страстным почитателем Толстого, которого считал «великим учителем».

Хилков написал письмо Веригину, но ответа на него не последовало, и их переписка не состоялась. Однако Хилкову, видимо, удалось наладить снабжение Веригина изданиями «Посредника» и улучшенными сытинскими книжками для народа, в числе которых были произведения Л. Н. Толстого. Находясь в ссылке, П. В. Веригин регулярно получал эти книги, которые, как он сам потом писал, у него собраны почти все по каталогу. Духоборцы свидетельствовали, что «сами видели его за чтением сочинений графа Толстого». Знакомый Петра Васильевича А. Исупов также отмечал, что, по свидетельству близких к Веригину людей, он изменился под влиянием идей Толстого (*Там же. С. 58*).

Все эти достаточно убедительные, пусть даже не всегда прямые, свидетельства говорят в пользу того, что не только духоборцы «большой партии», но и её ссыльный вождь стали объектами пропаганды толстовцев ещё в начале 1890-х годов.

Очень быстро первые религиозно-нравственные искания П. В. Веригина приобрели совершенно определённую, законченную форму. В конце 1893 г. и в начале 1894 г. через связных духоборцы большой партии получили целый ряд советов своего ссыльного вождя. Они сводились к следующему: не должен «духоборец идти на военную службу и учиться там убивать людей на войне и притеснять их в другое время по приказанию людей»; не должен духоборец гнаться за наживою и стараться обеспечить себя и своё семейство, роскошно отмечать свадьбы, рождение или смерть, платить за невесту, как за скотину, выкуп; «не полезно» для души курить и пить; грех есть мясо и рыбу и для этого убивать живое существо. Чтобы

родиться свыше от Св. Духа и войти в Царствие Божие, духоборцы также должны отказаться от использования чужого труда, поделиться лишним с неимущими, прекратить супружеское сожитие и рождение детей, во-первых, потому, что человечество и так перенаселило землю; во-вторых, потому, что большое количество детей в семье не позволяет родителям думать о божественной жизни и в том же духе воспитывать детей; в-третьих, духоборцам предстоит тяжёлая борьба, а дети могут стать «препятствием Божьему делу» (Веригин Г.В. *Не в силе Бог, а в правде*. Б. м., Б. г. С. 56 – 63). Большую часть этих советов можно было вывести из традиционного духоборческого учения (но, конечно же, не из практики), однако вегетарианство и ненасилие над всякой тварью Божьей, так же как воздержание от плотских отношений, никак не укладывались в рамки привычных религиозно-этических догм.

Советы Петра Васильевича о пересмотре основ духоборческой жизни обсуждали и принимали в течение зимы 1893/94 гг. Именно в этот период среди «большой партии», сторонников Веригина, произошёл раскол на последовательных веригинцев, полностью принявших советы вождя и получивших название «постников», и на «воробьёвскую» партию во главе с А. Воробьёвым. Вполне сочувственно относясь к постникам, они сами не решились следовать учению, узанному от «Петюшки» и (справедливо) сомневались в его сакральности.

К концу 1894 г. стали совершенно очевидны успехи толстовской пропаганды среди духоборцев. Они вызвали повышенный интерес к секте со стороны тех толстовцев, кто первоначально не принимал непосредственного участия в кампании: Е. И. Попова, И. М. Трегубова, В. Г. Черткова, П. А. Буланже, И. и Е. Накашидзе и, конечно же, самого А. Н. Толстого.

В декабре 1894 г. состоялось личное знакомство А. Н. Толстого и его ближайших последователей с лидерами духоборческого движения. Произошло это в Москве во время перевода П. В. Веригина из Шенкурска Архангельской губернии в г. Обдорск Тобольской губернии. П. В. Веригин пересылался по этапу и находился в московской Бутырской пересыльной тюрьме. Позади остались семь лет ссылки, предстояло столько же...

Толстого сопровождали два спутника — П. И. Бирюков и Е. И. Попов. Позднее в «Биографии Льва Николаевича Толстого» Бирюков рассказал про эту встречу:



Пётр Васильевич Веригин

«Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидели трёх взрослых мужчин в особых красивых полукрестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший на пути в Сибирь, и Василий Иванович Объедков. Всех нас поразила скромный, но достойный вид этих людей, представлявших не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, ни после не приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.

Мы, а по преимуществу Л. Н. Толстой, стали расспрашивать их о их жизни и взглядах. Короткое время свидания и малое знакомство с их прошлым не позволило нам вдаваться в подробности и мы могли обменяться только общими положениями. На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви, вегетарианства они отвечали согласием с его взглядами, а на вопрос о том, как же они прилагают это к жизни, они отвечали с какою-то таинственностью, что всё это у них только начинается, что теперь кое-кто так думает и живёт, а скоро все открыто присоединятся к ним» (Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Указ. изд. Том 3. С. 241 – 242).

В тот же день, в тюрьме, П. В. Веригин познакомился и с Евгением Ивановичем Поповым, который заранее вызнал о приезде Петра Васильевича и специально пришёл на свидание.

Во время их встречи присутствовал брат Петра Веригина Василий, который вместе с ещё двумя духоборцами сопровождал духовного вождя.

Пётр Васильевич велел поговорить с этим толстовцем «без стеснения обо всём подробно» (*Веригин Г.В. Указ. соч. С. 76*). Попов прошёл с Василием Веригиным до гостиницы, в которой духоборцы остановились, и сразу же пошёл к Толстому. Лев Николаевич направил в гостиницу П. И. Бирюкова и Е. И. Попова, чтобы пригласить духоборцев на обед. Те отказались, опасаясь ареста: они обязательно должны были добраться до своих и передать им советы Петра об отказе от воинской повинности и сожжении оружия. Договорились, что толстовцы придут к ним в гостиницу на следующий день, 9 декабря (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., Л., 1936. С. 508 – 509*).

В гостиницу пришли Л. Н. Толстой, а также П. И. Бирюков, Е. И. Попов, И. М. Трегубов, видимо, М. Шарапова и, возможно, В. Г. Чертков. Расспрашивал в основном Толстой. «На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви и вегетарианства мы отвечали полным согласием», — вспоминали позже духоборцы (*Веригин Г.В. Указ. соч. С. 77*). Толстой во время этой встречи передал В. В. Веригину книгу «Царство Божие внутри вас» (*Там же*). На Василия Веригина это произведение Толстого произвело сильное впечатление. После его прочтения он написал беседу «Возлюбленный братец в Господе, Иисусе Христе, желаю побеседовать с тобой» (т. н. псалом № 374 в «Животной книге духоборцев»), в которой почти дословно воспроизвёл часть декларации Гаррисона, опубликованной Толстым в «Царстве Божием...».

Позднее, живя в Канаде, П. В. Веригин вспоминал, что брат Василий и Верещагин рассказывали об этой встрече: их «очень удивило, что во Л. Н-че они мало заметили “графского”, так как слышали, что Л. Н. имеет титул графа... их поразила простота обращения и приятная, как бы душевная осанка Л. Н-ча» (*Международный Толстовский альманах. 1909. С. 20*).

Духоборцы так же произвели на Толстого очень хорошее впечатление. В тот же день, 9 декабря, Лев Николаевич в письме к Николаю Никитичу Иванову (в то время арестованному за распространение сочинений Льва Николаевича) писал, что виделся с братом сосланного в Сибирь духоборца и ещё двумя. «Сосланный Веригин виновен

в том, что оживил дух застывших в своих верованиях и опустившихся по жизни единоверцев, вызвал в них истинную христианскую жизнь, так, что они стали отдавать всё своё имущество в общину, перестали курить, пить, есть мясо и отказываются от присяги и военной службы...» (67, 279).

Разумеется, что и свойственно сектантам, сам П. В. Веригин никогда не признавал, что проповедуемые им идеи заимствованы, как оказалось, у «чужого» вожака — при посредничестве князя Хилкова и его настырной «команды». В письме к Н. Т. Изюмченко в январе 1896 г. Веригин подчёркнуто небрежно писал: «В чём заключается его <Л. Н. Толстого> философия? Произведений его я не читал. Только понаслышке знаю, что он отрицает законность современной цивилизации, то есть прогресс её» (*Цит. по: Иникова С. А. Указ. соч. С. 60*).

В пользу версии о ничтожности знаний Веригина лично о Толстом к моменту первого свидания, несмотря на чтение «подготовленной» для него сподвижниками Хилкова и даже выпрошенной им лично у Толстого литературы — свидетельствует и такая деталь в воспоминаниях П. И. Бирюкова о встрече в пересыльной тюрьме:

«Побеседовав с ними около часа и передав им некоторые книги и рукописи, которые, как нам казалось, могли интересовать их, мы стали собираться домой. Прощаясь с ними, Лев Николаевич попросил их писать о ходе дел. Веригин вынул записную книжку и, обращаясь к Льву Николаевичу, сказал: "Пожалуйста, напишите, кто вы такой и как вам писать". Лев Николаевич записал свой адрес и мне, часто наблюдавшему встречу Льва Николаевича с другими людьми и замечавшему то волнение, которое производит на людей его имя, показалось странным, что на духоборца оно не произвело видимого впечатления» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Том 3. С. 241 – 242*).

Уже весной 1895 г. началась переписка П. В. Веригина с Е. И. Поповым, С. А. Дашкевичем, И. М. Трегубовым, но только 21 ноября 1895 г. первое письмо Веригину написал сам Л. Н. Толстой. Их опубликованная переписка продолжалась по 1909 г. (*см. Л.Н. Толстой и П.В. Веригин. Переписка. СПб., 1995*).

К 6 июля 1896 г. относится документ, свидетельствующий, что огромность влияния Л. Н. Толстого и толстовцев на радикализацию духоборческого вероисповедания признавало и правительство. Это полицейская справка «По делу распространения Веригиным нового учения Графа Л. Н. Толстого» от 6 июля 1896 года, в начале которой читаем:



«...Обращает на себя внимание сходство проповедуемого ныне, именем Веригина, среди духобор, нового религиозно-нравственно-политического учения с таковым же графа Л. Н. Толстого» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/168> ).

Далее в справке следуют подтверждения сходства «ересей» радикализировавшихся духоборов и Л. Н. Толстого.

Помимо деятельности Л. Н. Толстого, но по-прежнему с ориентиром на неё, вступались за духоборов и английские братья по вере — квакеры. Приблизительно в середине февраля 1895 года двое английских квакеров доставили царю записку с просьбой прекратить гонения за веру и дать свободу совести. Один из них, Эдмонд Брукс (Brooks), не позднее начала марта посетил Толстого и читал прошение. «Записка с обычной формальной риторикой. Царь выслушал их и ничего не сказал им — ровно ничего», — написал Толстой Д. А. Хилкову и добавил: «Ждать сверху какого-либо изменения и улучшения никак нельзя и не могу отделаться от той мысли, что оно и не нужно. Всё в нас самих, и мы свободны, если только живём истинной жизнью» (68, 46 – 47).

Забегая вперёд, скажем: Толстому предстоит ещё, как минимум, одна встреча с Эдмондом Бруксом, в декабре 1899 г. Это было своеобразное благодарное признание квакерами результатов и значения усилий Льва Николаевича в организации эвакуации преследуемых тётей родиной духовных христиан. Вместе с неразлучным Джоном Беллоузом он приедет тогда хлопотать, в числе прочих, о духоборах, сосланных в Якутскую область — просить правительство разрешить им выехать в Канаду вместе с другими духоборами. По заключению Л. Н. Толстого в письме к Черткову от 15 декабря 1899 г., и в тот раз «они дурно взялись за дело», и ходатайство их было отклонено.

В ноябре 1894 г. был обнародован царский манифест, даровавший «помилование» некоторым категориям осуждённых. Духоборцы ожидали, что Веригин и одновременно сосланные с ним «старички» попадут под амнистию, но вместо этого им продлили срок. Впрочем, они сами были готовы к этому: каким же ещё образом веригинцы-постники могли выразить христианское, ненасильственное неприятие безбожного государства, как не отказом от его защиты, непризнанием его властей и добровольным принятием за это страданий? Саму форму пассивного протеста своим последователям подсказал Пётр Васильевич. Отказ 11 солдат-духоборцев от оружия в апреле 1895 г., а затем, 29 июня, в День Петра и Павла, сожжение оружия

в трёх местах расселения духоборцев в Закавказье и Карской области в знак протеста против убийства, войны и насилия были осуществлены так же по его совету. При этом, стоит подчеркнуть, среди духоборцев были и такие, кто действительно сознательно воспринял антивоенные идеи, так как был убеждён в их правоте, а не только потому, что они исходили от Петра Васильевича. Духоборческая среда уже несколько лет жила в постоянном духовном напряжении. Духоборцы внутренне были готовы к самым отчаянным действиям, к страданиям во имя Бога и даже искали их.

В отличие, кстати сказать, от их удалённого «духовного учителя». 18 июня 1895 г., получив от Александра Никифоровича Дунаева (1850 – 1920), близкого знакомого и единомышленника, корреспонденцию «Биржевых ведомостей», Толстой записал в дневнике: «9 солдат духоборов отказались от военной службы и несколько запасных возвратили свои билеты. Удивительное дело, это не радует меня» (53, 40). А дальше — объяснение, отчего так: «В последнее время я очень слаб и потому близок к смерти, т. е. к новой высшей жизни, и потому яснее, проще (слава людская соскочила) чувствую. И вот успех внешний, осуществление, по моим понятиям, царствия Божия не земле, не радует меня. Отказы от военной службы — ну хорошо. А потом? И что бы ни было, разве это всё? Разве что-нибудь внешнее может удовлетворить? Только одно внутреннее движение вперёд и то, какое в моей власти, движение и приближение к Богу, только это может вечно удовлетворять и радовать. И я чувствую это всей душой» (Там же. С. 43).

Словам этим Толстого нужно верить, но не следует полагать их значительными в надвигавшемся на писателя и публициста огромном и многосложном общественном деле. Этот морально-психологический «привал» перед новым боем очень напоминает такое же состояние Толстого летом и в начале осени 1891 года — с «усталым», могущим кому-то показаться равнодушным, отношением к известиям о голоде. Накануне двухлетней эпопеи спасения тысяч жизней в сёлах и деревнях — и не только крестьян, но и других животных!

Об антивоенных протестных акциях в книге «Гонение на христиан в России», отредактированной и дополненной послесловием самим Л. Н. Толстым, рассказывает Павел Бирюков:

«Эти братья <посетившие Л. Н. Толстого. – Р. А.>, вернувшись к своей общине, привезли от Петра Веригина предложение, принятое всей большей партией, об воздержании от присяги, военной службы,

всякого участия в насильственных делах правительства и об уничтожении всякого оружия. С тех пор начались между духоборами отказы от военной службы.



Титульные листы заграничных бесцензурных изданий книги «Гонение на христиан в России»

Первый человек, подавший пример такого отказа, был Матвей Лебедев, духоборец, служивший в г. Елизаветполе, в резервном батальоне.

[...] Днём объявления отказа был назначен первый день пасхи нынешнего 1895 года.

[...] По обычаю, весь батальон должен был идти в церковь и после церкви участвовать в церковном параде. Духоборцы, как сектанты, могли не идти в церковь, но должны были ожидать на площади и участвовать в параде.

Матвей Лебедев объявил своим братьям, десяти духоборцам, служившим вместе с ним в том же батальоне, что на парад идти не надо, так как они все решили сегодня перестать служить. Все десять человек согласились на это и остались дома, в казармах.

[...] Лебедева стал увещевать ротный командир, очень любивший его. Лебедев пользовался любовью как начальства, так и солдат своего отделения, плакавших, когда его от них уводили. После увеща-

ния следовали угрозы, но и они не подействовали. Тогда ротный командир приказал его арестовать и его отвели под конвоем в тёмный подземный карцер, так называемую "яму", где продержали его 9 дней под строгим арестом, т. е. давая ему только хлеб и воду в очень малом количестве.

Между тем остальные десять духоборов, вернувшись с постов и узнав, что Лебедев уже отказался и заключён в тюрьму, так же взяли свои ружья и отдали их фельдфебелю, заявив свое отречение от службы вследствие того, что она противоречит служению Богу и учению Христа. Их также посадили в тюрьму, но отдельно от Лебедева и тщательно следили, чтобы между ними и Лебедевым не было сообщения. Но сообщение это происходило непрерывно, так как низшие чины все были за арестованных. И Лебедев своими советами поддерживал силы своих духовных братьев.

Делу дан был судебный ход. Во время следствия на допросах на отказавшихся духоборов старались подействовать угрозами расстреляния, но они не изменили своего решения. Они так свыклись с мыслью о смерти, что были удивлены, когда после суда узнали из приговора, что их не расстреляют.

Судили их в Тифлисе 14 июня и суд приговорил их в дисциплинарный батальон: Лебедева на три года и остальных на два. Военный прокурор остался недоволен решением суда, обжаловал его в высшую инстанцию и дело это ещё не кончено. Никто не знает, какая участь ожидает этих людей.

Теперь они содержатся в Тифлисе, в военной тюрьме, покорно ожидая решения своей судьбы. Мне удалось видеть их, хотя очень короткий срок. Все они бодры духом и имеют вид здоровых весёлых людей, как бы готовящихся встретить праздник.

Вслед за этим случаем, один за другим стали повторяться отказы от военной службы солдат духоборов.

Так, в городе Олты, Карсской области, на турецкой границе, отказалось шесть человек солдат духоборов; в Карсе — один, в Ахалкалаках — пять, в Дилижане — два. Кроме того, заражённые этим примером, в Карсе четыре православные солдата также бросили ружья. Ещё один православный отказался в Тифлисе и один в Манглисе. Эти два отказались, получив письма от родителей, в которых они уведомляли детей своих, что они, родители, приняли истинную веру от духоборов и считают военную службу грехом и просят детей своих, как только они услышат, что духоборцы-солдаты отказываются от службы, самим отказаться и бросить ружья, что они и ис-

полнили. Все эти люди были арестованы и сидят по тюрьмам» (*Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] Гонение на христиан в России в 1895 году. Женева, 1896. С. 20 – 25*).

В Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии над пятью отказниками военное начальство поиздевалось всласть, и совершенно в сволочных традициях «русского мира», то есть, всем сочетанием грубой жестокости и идиотизма:

«Их отвели на тюремную площадь и поставили в ряд. Затем были вызваны казаки и им велено было спешиться (сойти с лошадей) и зарядить ружья. Видя это, духоборцы попросили позволения помолиться. Им позволили. По окончании молитвы офицер скомандовал: “шеренга, – товсь! шеренга!...” и выдержал так несколько минут. Духоборцы стояли спокойно и ждали команды: “пли!” Но пробил отбой и ружья были опущены. После этого им опять предложили взять ружья и служить, и когда они отказались, то казакам велено было сесть на коней и, обнажив шашки, скакать на духоборцев; подскакав к ним казаки, несколько раз махнули обнажёнными шашками над головами духоборцев, делая вид, что хотят зарубить их, но на самом деле не задевая их. Духоборцы не изменили своего решения. Тогда их начали сечь плетьюми, и жестоко избили» (*Там же. С. 25 – 26*).

По сведениям С. А. Толстого, отказников, помимо обыкновенных побоев, «секали и морили голодом». Кирилл Конкин и Михаил Щербинин погибли во время применения к ним пыток, другие выдержали до конца, и только Матвей Лебедев не выдержал издевательств, «покорился и взял ружьё» (*Толстой С.А. Указ. соч. С. 42*).

Эти подробности заставляют вспоминать страшные новости 2022 – 2023 гг. из оккупированных путинскими мразями земель Украины, где с жестокостью столь же скудоумной, но слишком часто откровенно «блещущей» садизмом, оккупанты издевались над пленниками из числа защитников Украины и мирных жителей.

По поводу такой инсценировки смертной казни на России принято жалеть Фёдора Михайловича Достоевского, над коим подобное было учинено в 1849-м. Ну, как же! «Родной»: и православный, и даже оправдатель войн. И смертные казни активно оправдывал бы — не «попадись» сам в молодости... Истязания же духоборов «русский мир» простил самому себе и позабыл!

Духоборами был разработан своеобразный «катехизис отказника», похожий на знаменитое «Провозглашение» 1838 г. Уильяма Ллойда Гаррисона — но так же совершенно позабытый. Вот его главные вопросы и ответы:

«*Вопрос:* Почему вы не желаете служить императору?»

*Ответ:* Желал бы исполнять волю императора, а он научает людей убивать, а моя душа этого не желает.

*В.* Почему не желает?

*О.* Потому что Спаситель заповедал (т. е. запретил) людей убивать, а я верю Спасителю, исполняю волю Божию.

*В.* Ты кто такой?

*О.* Я христианин.

*В.* Почему ты христианин?

*О.* По познанию слова Христова, христианина дух живущий не может и не будет делать дел ваших» (Цит. по: [Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] *Гонение на христиан в России. Женева, 1896. С. 26 – 27*).



Фотография групповая духоборцев (6 человек). XIX век.  
Российская империя, с. Гореловка в Грузии (?)  
Из фондов Ростовского обл. музея краеведения

Удивительно, насколько малоподвижна, закоснела и стереотипна в низших, спонтанных реакциях психика обитателей мрачного «русского мира», той части человечества, у которой с древности учение

Истины, подлинное учение Христа было отобрано попами и толковниками, подменено византийским эрзацем! Ещё в 8 главе Евангелия от Иоанна схожий дискурс Иисуса, отпустившего блудницу, в адрес фарисеев: об *ином духе* (ваш отец — диавол) и о делах диавольских — завершается попыткой фарисеев побить камнями самого Иисуса. Так же, по рассказам духоборов, когда они доходили, воспроизводя свой катехизис, до своего противопоставления «делам» мирской имперской мундированной сволочи — последняя «уже ничего не могла сделать», ничем иным отреагировать, кроме самого окаянного насилия (*Там же. С. 27*).

Постепенно духоборцы подходили к главному своему, и самому знаменитому акту — сожжению оружия:

«Когда ожидался приезд Тифлисского губернатора в духоборческие селения, 13 духоборов вызваны были по наряду уездным начальником для охраны дороги от разбойников. Они должны были выехать вооружёнными, а выехали без оружия. И на вопрос уездного начальника, почему они приехали без оружия, они ответили, что оно им не нужно, так как если они и встретят разбойника, они ни стрелять, ни бить его не будут, а могут только уговаривать. И тут же объяснили, что они отказываются от всякой службы правительству. Они были арестованы и сидят в Тифлисской тюрьме.

[...] В Елизаветпольской тюрьме сидят 120 человек духоборцев. Часть их была арестована за возврат ополченских билетов, т. е. за отказ от службы в запасе, часть за отказ от должностей сельских старост и за возврат печатей и блях, а часть за подстрекательство и всякого рода неповиновение» (*Там же. С. 29 – 30*).

Наконец, в ночь на 29 июня 1895 года группы духоборов — «постников» в Тифлисской и Елизаветпольской губерниях, а также в Карсской области совершили массовое антивоенное действие, которое П. И. Бирюков называет «торжественным отречением» от насилия (*Там же. С. 30*). Они собрали всё имевшееся у них с прежних времён оружие и сожгли его на кострах:

«Для того, чтобы вполне оценить этот поступок, надо понять то значение, которое имеет оружие на Кавказе. Ношение оружия на Кавказе есть не только обычай и условие приличия, но считается необходимостью для всякого человека. С оружием ходят и по городу и в гости, с оружием отправляются в дорогу и даже работают и пасут стада, чтобы быть в состоянии защищаться от нападения зверей и разбойников. И потому уничтожение оружия имело для духоборов важное значение. Это уничтожение было поступком, выражающим на деле готовность принять все последствия непротивления злу

насилием, т. е. терпеть всякого рода посягательства на жизнь и безопасность скорее, чем позволить себе сделать насилие над другим человеком» (Там же. С. 30 – 31).

По сведениям Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, первой в костёр была брошена винтовка самого П. В. Веригина, специально по этому случаю присланная им их ссылки (Бонч-Бруевич В.Д. Из мира сектантов. Сборник статей. [М.], 1922. С. 70 – 71).

Изображая скрытность, заговорщики Карской области подготовили четыре места для сожжения оружия — о которых тут же проведала полиция. Но в решающую ночь духоборы отправились в пятое место, и никто им не помещал. Так же всё покойно совершилось в Елизаветпольском уезде. Репрессии ограничились арестами нескольких десятков человек.

А вот в Тифлисской губернии, в Ахалкалакском уезде, над духоборами была учинена расправа, положившая начало их уже публичным, ведомым всеми муру (благодаря Льву Николаевичу) великому-ченичеству и гонениям:

«По доносу враждебной партии, это сожжение оружия, для чего понадобилось духоборцам снести всё оружие в определённое место, было принято администрацией за подготовку к вооружённому восстанию. Были вызваны казаки и над непокорными духоборцами, державшими себя с особенным достоинством, была учинена дикая расправа, после чего все непокорные, в числе около 4 000 человек, были выгнаны из их жилищ и расселены по грузинским горным деревням, а так называемые зачинщики посажены в тюрьмы» (Бирюков П.И. Биография... Указ. изд. Том 3. С. 257).

У Сергея Львовича Толстого находим значительные подробности совершившегося:

«В Тифлисской губернии... духоборы-мясники <т.е. «малая партия», не отказавшиеся от мяса. – Р. А.>, узнав о приготовлениях постников, донесли начальству, что постники якобы собираются с оружием напасть на них — «мясников». Тогда тифлисский губернатор <Георгий Дмитриевич> Шервашидзе, не проверив этих слухов (а может быть, умышленно), утром в день Петра и Павла послал казаков в то место Ахалкалакского уезда, где происходило сожжение оружия. Казаки, встретив там двухтысячную толпу мужчин, женщин и детей, мирно поющую псалмы вокруг потухающего костра, где горело оружие, бросились на неё с нагайками. Сотник Прага, заведывавший экзекуцией, сам потом рассказывал, что он тогда особенно был сердит, потому что духоборы всё время смыкались в одну кучу, и он никак не мог разделить их и избить по частям. Действительно, мужчины защищали своими телами женщин и детей. После этого казаки



были поставлены в селения духоборов на Холодных Горах на постой. Там они неистовствовали, как хотели, в продолжении нескольких дней. Достоверно известно, что ими были изнасилованы женщины. [...] Положение карских и елизаветпольских духоборов-постников, сжёгших своё оружие без участия казаков и не выселенных из своих домов, было несколько легче. Однако все они были отданы под надзор полиции, которая по произволу сажала их под арест и в тюрьму или вымогала с них крупные взятки» (Толстой С.А. Указ. соч. С. 41 – 43).

Сведения старшего сына Толстого хорошо подтверждаются документально. В широко известной в узких кругах толстоведов и историков Докладной записке из канцелярии Елизаветпольского губернатора на имя главноначальствующего гражданской частью на Кавказе Сергея Алексеевича Шереметева (1836 – 1896) «О ситуации сожжения оружия духоборцами и её последствиях» от 23 августа 1895 года (под грифом: «совершенно доверительно») описывается и мерзкая имитация казни, с надеванием на живых людей саванов и проч., устроенная в Карсе над безоружными кроткими людьми («Пришлось окончить трагикомедию без результата»), и расправа над сжигателями оружия:

«Костёр горел всю ночь, а духоборцы пели псалмы. 29-го днём тифлисский губернатор направил на них казаков. Казаки понеслись в атаку. Духоборцы поставили женщин и детей в кучи, а сами стали кругом. Не могли вооружённые воины победить безоружных. Духоборцы стояли неподвижно, только убитых и раненых убирали в середину. Наконец надоели казачьему командиру бесплодные атаки, и он их прекратил. Велели духоборцам идти к губернатору. Пошли, неся раненых и четырёх убитых. Губернатор князь <Георгий Дмитриевич> Шервашидзе встретил духоборцев с криками и бранью. Духоборцы не отвечали ни слова, наконец губернатор спросил стариков более членораздельной речью: "будут ли служить, или нет? Старики ответили, что они стары и в солдаты не годятся. Тогда губернатор вызвал трёх запасных рядовых; предложил им тот же вопрос и, получив отрицательный ответ, приказал их бить. Били долго и сильно. Опять губернатор предложил тот же вопрос и получил отрицательный ответ. Опять начались истязания. Тогда все запасные человек 60 вышли из толпы и положили к ногам губернатора свои воинские билеты. "Бить их", крикнул губернатор и ушёл, передав свои обязанности уездному начальнику. Духоборцев били в продолжении 6 дней; кроме того, начальство негласно разрешило казакам насиловать женщин и девушек. Для этого были арестованы все мужчины,

а христоролюбивое воинство бросилось ломиться в двери и окна духовоборческих жилищ и насиловать женщин. Голос совести заговорил у казаков и они неохотно стали исполнять дальнейшие приказания начальства. Тогда их заменили лезгинской милицией, состоящей из мухамедан, повиновавшихся начальству с большим рвением» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/134> ).

Подробности эти дошли до министра внутренних дел, особенно недовольного тем, что сведения, прежде расследования их, просочились «в заграничные революционные листки» (*Там же. Л. 1*).

Как и можно было ожидать, такими средствами ожесточённый, мрачный и тупой «русский мир» достигнул целей, прямо противоположных желаемой, то есть «подчинения воинской повинности» всех духоборов:

«Духоборы, служившие ранее солдатами, а теперь состоявшие в запасе, вернули свои билеты начальству с заявлением, что они служить не будут. Такие заявления были сделаны не только тифлисскими духоборами, а также елизаветпольскими и карскими» (*Толстой С.А. Указ соч. С. 42*).

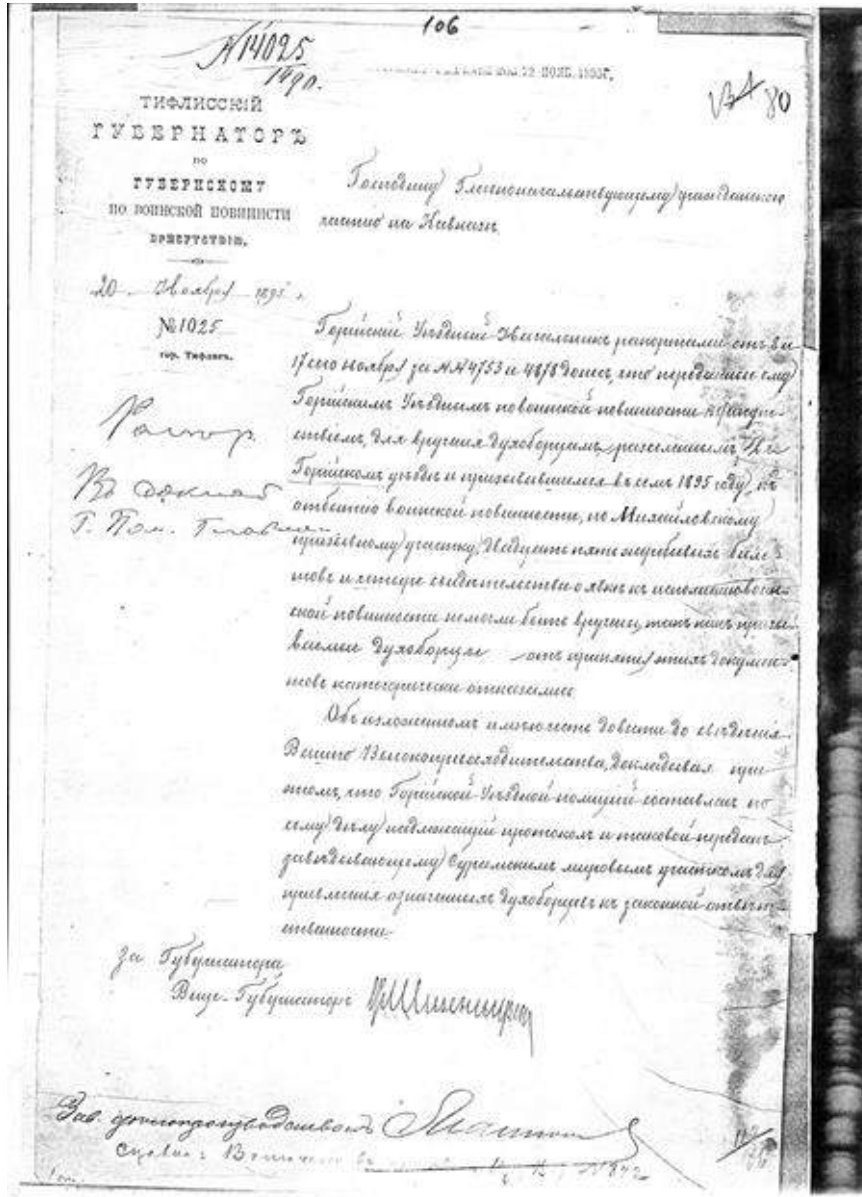
Подробнее и точнее, по мемуарам одного из участников, расправа над ахалкалакскими духоборами описана в книге «Гонение на христиан в России», см. стр. 32 – 43 в издании 1896 г. Мы выносим эти вопиющие подробности в Прибавление № 1 к данной главе.

Выселение тифлиских духоборов также совершалось методами, излюбленными, по причине своей жестокости, «щедрой» на любые гадости душкой-Россией:

«После экзекуции стали духоборцев выгонять из их деревень, сначала по 5 семей из каждой деревни, потом по 10, через несколько дней одну партию после другой. По объявлении приказа, на выселение давалось сроку 3 дня. В эти 3 дня надо было собраться, уложить и распродать своё имение. Продавали всё за бесценок... Побросали много скота, и хлеб на корню остался неубранным, так что все разорились.

Всего выселено из Ахалкалакского уезда 464 семьи и расселены они по четырём уездам Тифлисской губернии: Душетском, Горийском, Тионетском и Сигнахском, по грузинским деревням, как будто с целью уморить их с голоду, по 2, 3 и по 5 семей в одной деревни, без клочка земли и с запретом общения между собой. Они распродают понемногу своё имущество и работают на грузин — бедным даром, а богатым за небольшую плату. И, несмотря на своё разорение, продолжают помогать беднейшим» (*[Бирюков П.И., Толстой Л.Н.] Гонение на христиан в России. Женева, 1896. С. 43 – 44*).

По официальному документу, «совершенно доверительному», эти сведения подтверждаются, и даже с некоторыми дрянными подробностями, которые, как и подробности об организованном изнасиловании девушек, Павел Иванович Бирюков побоялся включать в свою книжечку, чтобы не вызвать недоверия читателей в цивилизованном мире. Например, вот это:



Докладная записка С. А. Шереметеву  
о проблемах с призывом духоборцев на военную службу.  
Тифлис. 20 ноября 1895 г.

«Приехавшие к духоборцам армяне для покупки их имущества, видя, что с ними делают, стали плакать и жалеть их. В напутствие ссылаемым губернатор публично сказал, что "он приказал ничего им по дороге ни продавать ни даром давать, чтобы они подошли с голода".

Духоборческие сёла оцеплены: никого не впускают и не выпускают. Духоборцы всё не унывают...» (<https://doukhobor.ru/dokumenty/134>).

С поддержавшими тифлисцев отказниками карскими и елизаветпольскими поступили не менее жестоко: «Их расселили поодиночке по разным глухим и нездоровым местам Елизаветпольской, Бакинской и Эриванской губерний... не дав им ни земли, ни возможности чем бы то ни было жить... В низменных местах, куда их переселили, они почти все заболели лихорадкой; кроме того, от отсутствия достаточной пищи у них развилась трахома, цинга и другие болезни». Из 4 тысяч тифлисцев погибла примерно тысяча человек (Толстой С.А. Указ. соч. С. 42).

Репрессии, обрушившиеся на них, вызвали в духоборах взрыв религиозного энтузиазма — вдохновивший, в свою очередь, на поддержку Толстого и толстовцев. Теперь все свои силы толстовцы направили на то, чтобы как можно шире оповестить мир о движении среди кавказских духоборцев, чтобы подтолкнуть к подобным действиям другие религиозные группы в России и за рубежом и, в конечном итоге, приблизить наступление царства Божия, царства Христовой и Божьей правды-Истины на Земле.

Первые известия о расправе Толстой получил от князя Хилкова. Вот что об этом вспоминает сподвижник биограф писателя П. И. Бирюков:

«К сожалению, рассказ Хилкова был почерпнут из третьих рук и страдал неточностями. Вот что написал ему в ответ Л. Н-ч <в письме от 29 июля>: "Получил ваше письмо с описанием насилий над духоборцами и не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать потому, что исполнить того, что вы хотите, не могу. Послать статью в русские газеты нельзя. Ни одна не напечатает ваш рассказ в том виде, в котором вы мне его прислали. (В "Бирж<евых> ведом<остях>" в № 201, 24 июля напечатано известие довольно подробное о начале раздора между духоборцами и о том, как выслали Веригина, и как рядовые отказались от службы, и о том, что теперь их выселяют в нагорные места Душетского, Тионетского и Сигнахского уездов). Послать ваш рассказ в иностранные газеты считаю тоже излишним, главное потому, что рассказ этот написан очень дурно и дурно не потому, что в нём нет литературных достоинств, напротив — в нём нет простоты, точности, определённости и правдивости, и тон всего рассказа какой-то иронический, шутливый, таком тон, которым нельзя говорить о таких ужасных делах. Не нужно писать о христолюбивых воинах белого царя, а нужно объяснить, как убили 4-х человек, кто были эти люди, возраст, имя, как они умерли. Отчего, когда убили

4-х человек, командир убедился в бесплодности атаки. Всё это и многое другое об изнасиловании так нехорошо, неясно, преувеличено, что вызывает полное недоверие ко всему. В таком виде статья или вовсе не будет напечатана, или если и будет напечатана в какой-нибудь маленькой газете, то не вызовет никакого впечатления.

Я совершенно согласен с вами, что надо бы об этом напечатать в иностранных изданиях, в русских и думать нечего; если и напечатают, то с такими урезками, что пройдёт не замечено, но для того, чтобы статья имела влияние на тех, на кого она должна иметь влияние, нужно, чтобы она была написана строго правдиво, обстоятельно, точно. И потому, если можно собрать такие сведения, то соберите и пришлите.

Ваш же рассказ, рискуя сделать вам неприятное, я пока оставляю у себя. Если вы велите посылать, как есть, я пошлю. Одно, что я сделаю теперь, это то, что по вашему плану напишу в Англию нашему другу Kenworthy и другому ещё о том, что на духоборов происходит жестокое гонение и что, если они хотят узнать подробности, то прислали бы корреспондента, направив его к вам с тем, чтобы вы уже направили его куда надо. Завтра посоветуюсь об этом с Чертковым и напишу. [...] Пока прощайте. Не сердитесь на меня и любите меня, как я вас"» (Бирюков П.И. Биография... Указ. изд. С. 257 – 258; ср. 68, 131 – 132).

Толстой думал написать английскому пастору и издателю-толстовцу, «другу», как именует его в письмах (другу, которого сам уже скоро, угождая В. Г. Черткову, нехорошо предаст — очень удалённого по географии, но искреннего, без кавычек, друга!) Джону Кенворти, с просьбой прислать в Россию корреспондента. Но отказался от этой мысли, посоветовавшись с В. Г. Чертковым (как и в прошлый год, Чертковы жили в Дёменке, близ Ясной Поляны). Дело кончилось тем, что П. И. Бирюков сначала составил, по письму Хилкова и газетным публикациям, краткое изложение событий, а вскоре сам отправился на Кавказ; Толстой же принялся дополнять и поправлять короткую записку Бирюкова. Статья писалась в форме открытого письма в иностранные газеты:

«Дорогой друг. В настоящую минуту на Кавказе происходит гонение на христиан духоборцев. И, право, кажется, что мучители, хотя и в другом роде, но не менее жестоки и глухи к страданиям своих жертв и жертвы не менее тверды и мужественны, чем мучители и мученики времён Диоклетиана».

Рассказано было здесь и о личной встрече с духоборами в декабре 1894 г. (по ошибке памяти событие отнесено к «нынешнему 95

году»): «... Самого Веригина мне не удалось видеть, так как он очень строго содержался, как преступник, в тюрьме» (см. 39, 209 – 215).

Датирована записка 2/14 августа 1895 г. Затем она несколько раз копировалась, вновь исправлялась и даже начала переводиться (видимо, Чертковым), но отправлена не была. Толстой решил ждать возвращения Бирюкова с достоверными сведениями.

Далее — слово П. И. Бирюкову. Но это уже не биография Толстого от Павла Ивановича, а, скорее, особенный меморат о личных похождениях:

«В это время мне случилось быть в Ясной Поляне. Известие о духоборах сильно поразило меня, и я предложил Льву Николаевичу свои услуги съездить на Кавказ и разузнать, в чём дело. Л. Н-ч одобрил мой проект, и в начале августа я поехал туда, был у Хилкова, в Нухе, по его указанию разыскал ссыльных духоборов, расспросил лично участвовавших в сожжении оружия, в столкновениях с казаками и в других протестах и привёз Л. Н-чу подробное описание всего виденного и слышанного» (Там же. С. 258).

Деятельность П. И. Бирюкова тут же привлекла к себе внимание полиции, но ему удалось вовремя скрыться на пароходе.

Результатом поездки «друга Поши», как ласково звал ученика Лев учитель, стала книга о «гонении на христиан в России» в 1895 году, которую мы цитировали выше. Потрясённый подробностями, Лев Николаевич изваял к нему своё Предисловие (в издании 1896 г. напечатано как Послесловие), по традиции предпослав ему евангельский эпиграф: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир» (Ин. XVI, 3).

Вот отрывки из него:

«Причина этих гонений та, что вследствие различных причин в нынешнем году три четверти всех духоборов, именно около 15 000 человек (так как всех их около 20 000), вернувшись в последнее время с новой силой и сознательностью к своим прежним христианским верованиям, решили на деле исполнять закон Христа непротивления злу насилием» (39, 99).

Скромно обозначенное Л. Н. Толстым «возвращение» духоборов якобы к «прежним верованиям» проблематично: необходимо уточнить, что, скорее, духоборы именно как христиане «вернулись» к букве и духу евангельского учения, в простых и честных трактовках его Л. Н. Толстым — то есть, благодаря его, как христианского духовного наставника, влиянию.

Впрочем, несмотря на обыкновенную неточность формулировок, именно так Толстой и осознаёт протест духоборов: как торжество,

пусть ещё пока в сознании немногих в нашем мире — истинного христианского понимания жизни:

«Положение правительств ужасно, ужасно тем, главное, что им не на что опереться. Ведь нельзя же признать дурными поступки тех людей, которые, как замученный в тюрьме Дрожжин, или теперь ещё томящийся в Сибири Изюмченко, или врач Шкарван, приговорённый к тюрьме в Австрии... Никакими ухищрениями мысли нельзя признать эти поступки людей дурными или нехристианскими, и не только нельзя не одобрять, но нельзя не восхищаться ими, потому что нельзя не признавать, что люди, поступающие так, поступают так во имя самых высших свойств души человеческой, без признания высоты которых человеческая жизнь падает на степень животного существования. И потому, как бы ни поступало правительство по отношению этих людей, оно неизбежно будет содействовать не их, а своему уничтожению. Если правительство не будет преследовать людей, которые, подобно духоборам, штундистам, назаренам и отдельным лицам, отказываются от участия в делах правительства, то выгода христианского мирного образа жизни этих людей будет привлекать к себе не только искренно убеждённых христиан, но и людей, которые только из-за выгод будут принимать личину христианства, и потому количество людей, не исполняющих требований правительства, будет всё увеличиваться и увеличиваться. Если же правительство будет жестоко, как теперь, относиться к таким людям, то самая эта жестокость к людям, виноватым только в том, что они ведут более нравственную и добрую жизнь, чем другие, и хотят на деле исполнять исповедуемый всеми закон добра, — самая жестокость эта будет всё более и более отталкивать людей от правительства. И очень скоро правительства не будут находить людей, готовых насильем поддерживать их.

Полудикие казаки, бывшие духоборов по приказанию начальников, очень скоро “заскучали”, как они выражались, когда они были поставлены в духоборческих селениях, т. е. совесть начала мучить их, и начальство, боясь вредного влияния на них духоборов, поспешило вывести их оттуда.

[...] Ещё одно небольшое усилие, и галилеянин победит, но не в том ужасном смысле, в котором приписывал ему победу языческий царь, а в том истинном смысле, в котором он про себя сказал, что победил мир: “В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, — сказал он, — я победил мир” (Ин. XVI, 32), потому что он действительно победил мир, не в том мистическом смысле невидимой победы над грехом, который приписывают богословы этим словам, а в том простом, ясном и понятном смысле, что если только мы будем мужаться и смело

исповедовать его, то очень скоро не будет не только тех страшных гонений, которые совершаются над всеми истинными учениками Христа, исповедующими его учение на деле, но не будет ни тюрем, ни виселиц, ни войн, ни разврата, ни роскоши, ни праздности, ни задавленной трудом нищеты, от которых теперь стонет христианское человечество» (*Там же. С. 102 – 103, 105*).

Такие пространные цитируемые отрывки нужны нам — как свидетельства особенностей мировосприятия, религиозных переживаний и ожиданий самого Толстого-христианина.

Лев Николаевич стремился как можно скорее предать гласности дело о преследовании духоборов. Не дожидаясь окончания работы над своим Послесловием, он торопится отправить статью П. И. Бирюкова Джону Кенворти с коротким письмом в виде предисловия, которое он написал на имя редактора английской газеты:

«Средство помочь как гонимым, так в особенности гонителям, не знающим, что творят, есть только одно: гласность, представление дела на суд общественного мнения, которое, выразив своё неодобрение гонителям и сочувствие гонимым, удержит первых от их часто только по темноте и невежеству совершаемых жестокостей и поддержит бодрость во-вторых и даст им утешение в их страданиях.

[...] Мысли, вызванные во мне этими событиями, я выразил отдельно, и если вы хотите этого, то могу прислать их вам для напечатания уже после появления настоящей записки» (*68, 173*).

Послесловие Толстого в русской легальной прессе, конечно же, напечатано не было, но известия о нём появились в прессе, проникли и в заграничную русскую печать. Статья Бирюкова, в сокращении, была опубликована в лондонской «Times» (1895, № 34715, 23 октября) с письмом Толстого «К редактору английской газеты». Как особенно пакустную подробность, следует оценить оперативность, с какой в инициативу Толстого вцепились деятели революционной эмиграции из России, т. н. «Друзья русской свободы» и «Фонд вольной русской прессы» во главе с С. М. Кравчинским (Степняком). Названный «фонд» в том же, 1895-м, году выпустил очерк Бирюкова полностью, но хитро задвинув Предисловие к нему Л. Н. Толстого в Послесловие («заключение»), а в названии — заменив «христиан» на «духоборцев». Предисловием же в брошюре стал очерк Степняка (за подписью С. С.), не поддерживавшего авторов публикуемых материалов в главном: в христианском религиозном понимании жизни, но при этом отнюдь не скрывавший ликования о получении от «самого» Толстого новых материалов для антироссийской агитации и подготовке из-за рубежа революционного переворота в России:



«Лев Николаевич утверждает, что зверства над духоборцами были роковым результатом идеи государственности и что всякое правительство должно было бы поступить с духоборцами так, или почти так, как поступило русское. Но он ошибается с точки зрения как факта, так и права. Во-первых, во всех государствах, в том числе и в тех, где существует обязательная повинность, есть люди, отрицающие по религиозным убеждениям войну и употребление оружия. И нигде с ними не делают ничего подобного тому, что делают у нас с Дрожжиным, с Изюмченко и солдатами из духоборцев. Во-вторых, те двадцать тысяч духоборцев и духоборок, которых били, убивали, насиловали, топтали лошадьми вовсе не нарушали законов о воинской повинности, по той простой причине, что к таковой они призваны не были, лишь незначительная горсть из этих двадцати тысяч были в этом положении. За что же мучили остальных? За что разорили их всех? Единственно за их религиозные убеждения. Этого не делают нигде, кроме России. Преступление совершено и могло совершиться только благодаря нашему политическому строю и позор его ложится целиком на русское правительство.

Выступивши смело и открыто со своими разоблачениями, Лев Николаевич исполнил свой долг человека и гражданина. Появившись с его именем и под гарантией его непререкаемого авторитета, факты, им сообщаемые, облетят всю Россию и не одной тысяче людей послужат они новым стимулом для борьбы — всё равно, желает ли он этого или нет» (*Гонения на духоборцев. С заключением Л. Н. Толстого. London, 1895. С. 6 [Предисловие.]*).

Налицо «классический» образчик лживых подтасовок и переделки революционаристской сволочью христианских писаний Льва Николаевича Толстого, содержащих общественную критику и изобличающие сведения, в агитки, якобы, «за революцию» — паразитарная множественность которых в 1890 – 1910 гг., к слову, и актуализирует по сей день миф о «левом», или «красном», «революционном» Л. Н. Толстом.

Павел Иванович Бирюков не преминул похвастать в Биографии Толстого своей ролью в первых успешных шагах помощи близким Л. Н. Толстому сектантам:

«Произведённое мною следствие совершенно укрылось от местных властей и они, разослав в ссылку и рассадив по тюрьмам "бунтовавших" духоборцев, успокоились было на сознании, что временное возмущение подавлено. И в таком духе был составлен доклад высшему начальству. Из напечатанных же статей в "Times" они увидели, что дело только ещё начинается, огонь постепенно разгорается и что во

главе этого движения стоит уже не малограмотный мужик, а Лев Николаевич Толстой, вынесший эту борьбу на мировую арену.

Хотя за мной и был учинён надзор, я лично уцелел тогда, потому что Л. Н-ч, пожалев меня и не сказав мне этого, напечатал мою статью без моей подписи, так что она явилась анонимной и для преследования меня не было достаточных данных.

Правительством было назначено новое следствие, открывшее, конечно, новые преступления местных властей.

С этих пор установились непосредственные и частые сношения наши и Л. Н-ча с духоборцами как ссыльными, так и заключёнными, которым мы старались оказывать всестороннюю помощь» (*Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Указ изд. Т. 3. С. 259*).

Действительно, поездка П. И. Бирюкова принесла и другой результат — по возвращении его уже духоборы начинают писать письма толстовцам. Вскоре с Кавказа с просьбой о помощи к В. Г. Черткову, возглавляющему толстовское движение, прибывает и депутация, двое духоборов. На тот момент Чертков уже был знаком с ними по переписке. В активное общение с духоборами вступает и его жена, Анна Константиновна Черткова (урожд. Дитерихс; 1859 – 1927).

Одним из первых актов активной поддержки Толстым духоборов было письмо Льва Николаевича от 31 октября 1896 года, написанное по свежим известиям о положении духоборов-отказников — к начальнику Екатериноградского дисциплинарного батальона, в котором они содержались. Батальон находился в станице Екатериноградской Терской области Нальчикского округа, а командиром его с августа 1896 г. был подполковник Моргунов — о чём, впрочем, Толстой справиться нигде не мог, по какой причине начинает своё письмо с извинения:

«Милостивый государь,

Простите меня, пожалуйста, за то, что обращаюсь к Вам без имени и отчества. Я не успел узнать этого, а между тем по великой важности как для меня, так и для вас, дело, о котором мне нужно писать Вам, не терпит отлагательства.

Дело это есть пребывание в Вашем батальоне Кавказских духоборов, отказавшихся от военной службы.

Военное начальство, осудившее их, и Вы, исполняющий над ними приговор суда, очевидно признаёте поступок этих людей вредным и считаете полезными те меры строгости, которые употреблены про-

тив этих людей; но есть люди, и их очень много, к которым принадлежу и я, считающие поступок духоборов великим подвигом, самым полезным для человечества. Так же смотрели на такие поступки люди древнего христианского мира, и так же смотрят и будут смотреть на поступок духоборов истинные христиане нового времени.

Так что взгляды на поступок духоборов могут быть совершенно различны. В одном только сходятся все — как те, которые считают поступок духоборов добрым и полезным, так и те, которые считают его вредным, а именно в том, что люди, отказывающиеся от военной службы ради религиозных убеждений и готовые нести за это всякие страдания и даже смерть, — не порочные люди, но люди высоко нравственные, которые только по недоразумению власти (недоразумение, которое, вероятно, очень скоро будет исправлено) поставлены в одно и то же положение, как самые порочные солдаты.

Я понимаю, что Вы не можете взять на себя исправления ошибки или недоразумения высшей власти, а служба исполняете обязанности службы. Конечно, это так, но кроме обязанностей службы, взятых Вами на себя произвольно и обязательных для Вас только во время малого промежутка Вашей жизни, — у Вас, как и у каждого человека, есть обязанности не временные, но вечные и наложенные на Вас без Вашей воли, и от которых Вы не можете освободить себя.

Вы знаете, кто эти люди и за что они страдают, и, зная это, Вы можете, не выходя из пределов своих прав и обязанностей, не вводить этих людей в новое непослушание, и не подвергать их за это наказаниям, вообще пожалеть их и, сколько возможно, облегчить их участь, и точно так же можете, умышленно закрывая глаза на отличие этих людей от других преступников, замучить их до смерти, как это случилось в Воронежском дисциплинарном батальоне с бывшим учителем, теперь всем известным Дрожжиным, погибшим там мучеником своих христианских верований.

В первом случае Вы приобретёте благодарность и благословение самих заключённых, их матерей, отцов, братьев и друзей, главное же, в своей совести найдёте ни с чем несравнимую радость доброго дела; во втором же случае (я не говорю о самих заключённых, потому что знаю, что они найдут утешение в сознании того, что они смертью своею запечатлевают свою веру), какие страшные осуждения Вы вызовете своей жестокостью в родителях, родных и друзьях тех, которые погибли бы под Вашим начальством, главное же Вы сами для себя в этом случае наживёте такие укоры совести, которые не дадут Вам возможности ни радости, ни спокойствия.

Ведь можно бы было говорить: “Я не знаю и знать не хочу, за что присланы ко мне эти люди, но раз они присланы, они должны исполнять законные требования и т. п.”. Если бы Вы точно не знали этого; но ведь Вы знаете, — знаете хоть по этому моему письму, что люди эти присланы за то, что они хотят исполнять закон Бога, обязательный для Вас так же, как и для них, — закон Бога, не только запрещающий убивать или истязать друг друга, но и предписывающий помогать друг другу и любить.

И потому, если Вы не сделаете всё, что можете, для того чтобы облегчить участь этих людей, Вы навлечёте на себя не видное, но самое тяжёлое несчастье — сознание явного нарушения известной Вам воли Бога, сознание непоправимого, жестокого, дурного дела.

Так вот почему дело, о котором я пишу Вам, есть дело великой важности и спешное. Для меня же это дело великой важности потому, что, если бы я не сказал всего этого, я бы чувствовал себя виноватым перед Вами, перед собою и перед Богом.

Всё на свете можно поправить, только не безбожный и бесчеловечный поступок, в особенности, когда знал, что он безбожен и бесчеловечен, и всё-таки совершил его.

Простите меня, пожалуйста, если я что сказал лишнего. Истинно перед Богом говорю, что то, что я написал, я написал только потому, что считал это своей обязанностью перед Вами.

Я буду очень вам благодарен, если Вы ответите мне

С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам.

Лев Толстой.

Адрес: Город Тула,

Графу Льву Николаевичу Толстому» (69, 190 – 192).

Ответа на это письмо Толстой не получил — «но кто знает, где прорастут брошенные семена», многозначительно, евангельской метафорой, завершает П. И. Бирюков в Биографии Толстого рассказ об этом эпизоде (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С 277*).

Информация, собранная П. И. Бирюковым во время поездки и полученная из уст самих духоборов, позволила духовным соратникам Льва Николаевича выделить основные проблемы духоборов на Кавказе и определить посильные и наиболее эффективные пути их решения.

Первой проблемой, на которую обратили внимание толстовцы, стали вопиющие беззакония, творимые в отношении духоборов: «В силу своего отверженного положения, находясь как бы вне закона, духоборы оказались в неограниченной и бесконтрольной власти представителей местной кавказской администрации, из которых многие злоупотребляют своим положением» (*Бирюков П., Чертков В. Положение духоборов на Кавказе в 1896 году. Лондон, 1897. С. 11*). Толстовцами отмечаются факты арестов, несправедливых судов и жестокости тюремных служащих в отношении духоборов (имелись, как мы уже указывали, случаи смертей от экзекуций). Назначенные властями для контроля и поселённые среди духоборов в Карской области и Елизаветпольской губернии старшины грабили духоборов, совершали безнаказанные преступления.

Вторая серьёзная проблема — бедственное положение вследствие переселения более 4 тысяч духоборов из Ахалкалакского уезда в четыре других уезда Тифлисской губернии.

Первое, что отмечают толстовцы — это несоответствие климата, вызвавшее среди духоборов всплеск эпидемий. Привыкшие к прохладному горному климату и переселённые в уезды жарких грузинских долин, духоборы стали чрезвычайно восприимчивы к таким острым заболеваниям как тиф, лихорадка, дифтерит, распространившимся, в особенности, среди детей и приведшим к высокой смертности.

Вторым следствием переселения стал голод. Духоборы были вынуждены оставить свои хозяйства и, не имея возможности на новом месте продолжить земледельческий труд, стали наниматься подённо к местному населению. Такой труд давал крайне малый доход. Как отмечают В. Г. Чертков и П. И. Бирюков: «У изгнанных духобор нет иной пищи, кроме хлеба, и в том иногда бывает недостаток. У большинства уже появились зловещие признаки голодания: общее истощение и куриная слепота» (*Там же. С. 10*).

Толстовцами были собраны данные по смертности среди духоборов в течение года с момента переселения. «На месте ссылки в Сигнальском уезде из 100 поселённых там семейств (ок. 1000 душ) умерло 106 человек. В Горийском уезде из 190 семейств умерло 83 человека. В Душечком уезде из 72 семейств умерло 20 человек. Почти все страдают болезнями, и болезненность и смертность всё увеличиваются» (*Там же*).

Третьей толстовцы определяют ещё одну крупную проблему духоборческого движения — ложный образ, приписываемый им властями. Обществу духоборы преподносятся как религиозные «революционеры-анархисты», руководимые проповедями Л. Н. Толстого и

Д. А. Хилкова (*Там же. С. 13*). И пока существует подобный ложный образ, судьба духоборов будет оставаться в опасности, поскольку не вызовет сожаления и сочувствия у основной массы российского общества.

После анализа круга основных проблем толстовцы П. И. Бирюков и В. Г. Чертков определяют программу действий по помощи положению духоборов.

Первую проблему, проблему беззакония в отношении духоборов, можно было попробовать решить с помощью воззвания, которое открыло бы глаза императору, чиновникам и обществу в целом на произвол местной администрации, либо, если высшие чиновники в курсе данных беззаконий, чтобы правительство не могло больше скрывать положение ссыльных духоборцев.

Написание текста воззвания было решено поручить П. И. Бирюкову, материалы к написанию подготовил И. М. Трегубов, редакцией и поправками занимались В. Г. Чертков и И. М. Трегубов, все трое подписали воззвание, названное «Помогите», и отвезли на подпись к Л. Н. Толстому.

По краткости документа, мы находим возможным привести текст брошюры в полном виде в Прибавлении № 2 к этой Главе.

Л. Н. Толстой, ознакомившись с текстом воззвания, вместо подписи написал послесловие, в котором по-журналистски энергично, чётко сообщал:

«Факты, рассказанные в этом, составленном тремя из моих друзей, воззвании, были много раз проверены, пересмотрены, просеяны; несколько раз это воззвание переделывалось, исправлялось; откидывалось из него всё то, что хотя и было правдой, но могло казаться преувеличением; так что всё то, что рассказывается теперь в этом воззвании, есть истинная, несомненная правда, настолько, насколько доступна правда людям, руководимым одним религиозным чувством желания служить этим обнаружением правды Богу и ближним: как гонимым, так и гонителям» (39, 192).

Для Толстого известия о бедствиях, претерпеваемых духоборами, были, по его признанию, «главным событием», turning point в жизни российского общества:

«С треском и шумом въезжает в Рим триумфатором какой-нибудь римский император, — как это кажется важно; и как тогда казалось ничтожно то, что какой-то галилеянин проповедывал какое-то новое учение и был за то казнён, наравне с сотнями других, казнённых за подобные же, как казалось, преступления. [...] А между тем как в действительности не только ничтожны, но комичны, — рядом с тем

огромной важности явлением, которое происходит теперь на Кавказе, — те странные заботы взрослых, образованных и просвещённых учением Христа (по крайней мере знающих это учение и могущих быть просвещёнными им), о том, какому государству будет принадлежать та или другая частица земли...

[...] Ведь Пилату и Ироду можно было не понимать значения того, за что был приведён к ним на суд возмущавший их область галилеянин; они даже и не удостоили узнать, в чём состоит его учение... А если мы знаем это, то нам нельзя, несмотря на неважность, необразованность и неизвестность духоборов, не видеть всей важности того, что совершается между ними. Ведь ученики Христа были такие же неважные, неутончённые, неизвестные люди. Иными и не могут быть ученики Христа. Среди духоборов, или, скорее, христианского всемирного братства, как они теперь называют себя, происходит ведь не что-нибудь новое, а только произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад, — воскресение самого Христа...

[...] Ведь все наши государственные устройства, наши парламенты, общества, науки, искусства, ведь всё это только затем и есть, и живёт, чтобы осуществлять ту жизнь, которую все мы, мыслящие люди, видим перед собой как высший идеал совершенства. И вот есть люди, которые осуществили этот идеал, вероятно отчасти, не вполне, но осуществили так, как мы и не мечтали осуществить его со своими сложными государственными устройствами. Как же нам не признать значения этого явления? Ведь осуществляется то, к чему мы все стремимся, к чему ведёт нас вся наша сложная деятельность» (*Там же. С. 193 – 195*).

Снова и снова Толстой стремится убедить общество активно помочь рождению в мир новой, истинно христианской жизни:

«Ведь жизнь есть жизнь только тогда, когда она есть служение делу Божию. Противодействуя же ему, люди лишают себя жизни, а между тем ни на год, ни на час не могут остановить совершения дела Божия.

И то ожесточение и слепота русского правительства, направляющего против христиан всемирного братства гонения, подобные временам язычников, и та удивительная кротость и стойкость, с которыми переносят эти гонения новые христианские мученики, — всё это несомненные признаки близости этого совершения» (*Там же. С. 196*).

Помимо Послесловия, датированного в окончательной версии лишь 14 декабря 1896 г., Толстой редактирует само воззвание Черткова, Бирюкова и Трегубова «Помогите!». «Ваше воззвание я исправляю

очень усердно, — писал он Черткову. — Не знаю, вышло ли хорошо» (87, 377). Но Толстого не оставляло чувство стыда: «Как ничтожны наши письменные работы в сравнении с работой людей, под розгами исповедующих истину» (Там же. С. 382).

23 ноября Толстой прочитал воззвание собравшимся в Хамовниках общественным деятелям, но видел, что «впечатление оно не произвело. Длинно, особенно для тех, кому уже известно, и холодно — не забирает» (87, 384). И редактирование Львом Николаевичем Толстым ничтожного объёмами текста продолжилось — до середины декабря!

От себя же Толстой писал горячо и убедительно для тех, кому дорога истина и способность к состраданию:

«Хотим ли или не хотим видеть это, — теперь на Кавказе в жизни христиан всемирного братства, особенно со времени гонения на них, проявилось то осуществление христианской жизни, для которого происходит всё то доброе и разумное, что только творится в мире.

[...] Обыкновенно говорят: такие попытки осуществления христианской жизни уже были не раз: были квакеры, были менониты и другие, и все они ослабевали и вырождались в обыкновенных людей, живущих общему государственною жизнью. И потому попытки осуществления христианской жизни не важны.

[...] Говорят, что это сделается, но только не таким путём, а каким-то другим: книгами, газетами, университетами, театрами, речами, собраниями, конгрессами. Но если и допустить, что все эти газеты, и книги, и собрания, и университеты содействуют осуществлению христианской жизни, — ведь осуществление должно совершиться людьми, — людьми добрыми, христиански настроенными, готовыми к доброй, общей жизни; и потому главное условие осуществления есть существование и собрание таких людей, которые осуществляют уже то, к чему мы все стремимся. И вот такие люди есть.

И нельзя не видеть, что при той внешней связи, установившейся теперь между всеми обитателями земли, при том пробуждении христианского духа, которое проявляется теперь со всех сторон земли, совершение это близко. И потому, поняв всю важность совершающегося события как в жизни всего человечества, так и каждого из нас, помня, что тот случай действовать, который представляется теперь нам, никогда уже не возвратится, сделаем то, что сделал купец евангельской притчи, продавший все для того, чтобы приобрести бесценную жемчужину; пренебрежём всеми мелкими, алчными соображениями, и каждый из нас, в каком бы положении он ни находился, сделаем всё то, что в нашей власти, для того, чтобы если уже



не помочь тем, через кого делается дело Божие, если уже не для того, чтобы участвовать в этом деле, то, по крайней мере, чтобы не быть противниками совершающегося для нашего блага дела Божия» (39, 194 – 196).

Брошюра «Помогите! Обращение к обществу по поводу гонений на кавказских духоборов, составленное П. Бирюковым, И. Трегубовым и В. Чертковым. С послесловием Льва Николаевича Толстого» явилась в свет в 1897 г. в Лондоне. Толстой одобрил план сообщить о воззвании Николаю II и распространять среди общества.

Кроме воззвания, в 1897 г. В. Г. Чертков и П. И. Бирюков публикуют брошюру «Положение духоборов на Кавказе в 1896 году», так же использованную нами выше, где подробно описываются проблемы, возникшие у русских сектантов по вине властей и содержится призыв исправить ошибки.

О последствиях распространения воззвания «Помогите» биограф Толстого и непосредственный участник событий, один из авторов воззвания П. И. Бирюков вспоминает следующее:

«Наше воззвание вскоре возымело своё действие. За нами был учинён надзор. Наконец, 2 февраля утром нагрянули жандармы, произвели обыск и отобрали весь сектантский архив. Через 2 дня нам <П.И. Бирюкову и В. Г. Черткову> была объявлена ссылка». Сам П. И. Бирюков в письмах Л. Н. Толстому пишет о своей уверенности, что дело духоборов было лишь поводом, жандармы «искали вообще все книги и рукописи по «толстовской пропаганде» (Цит. по: Лучникова Е.А. Роль толстовского движения в организации помощи гонимым за веру духоборам Кавказа в конце XIX – начале XX вв. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2014. М., 2014. С. 112).

6 февраля 1897 г. в имение друзей семьи Толстых Олсуфьевых, у которых гостил в те дни Толстой, Никольское, прибыл из Петербурга И. И. Горбунов-Посадов, сообщивший Л. Н. Толстому грустные известия: за «вмешательство в дела сектантов» (т.е. за попытки помочь духоборам) одного из друзей Толстого, П. И. Бирюкова, готовят к высылке в Курляндскую губернию, а другого, В. Г. Черткова — за границу. Толстой немедленно едет в имперскую столицу — проститься... Из Никольского-Обольянова вместе с Толстым Софья Андреевна 7-го числа выехала в Петербург, где супруги остановились в доме А. В. Олсуфьева.

А вот подробности из Биографии Л. Н. Толстого:

«Это было в декабре 1896 г. Л. Н-ч был тогда уже в Москве. Предвидя катастрофу, я съездил проститься с родными и отправился в

Петербург догнать Черткова, который был уже там, чтобы действовать заодно.

"Помогите" с послесловием было отпечатано на машинке во множестве экземпляров и разослано по заранее составленному списку лицам, стоящим во главе правительства, всем видным общественным деятелям и вообще всем, от кого можно было ждать какого-либо участия. Государю также был передан экземпляр. Последствия этого не замедлили обнаружиться. В квартире Черткова был произведён обыск, были отобраны все документы по духоборческому делу, и через несколько дней подписавшим воззвание была объявлена административная ссылка на 5 лет под надзор полиции. Причём В. Г. Черткову ссылка была заменена высылкой за границу, меня же прямо отправили в ссылку в Курляндскую губернию, в город Бауск, близ Митавы. Это произошло 2-го февраля 1897 года, а самая высылка произошла через несколько дней. Л. Н-ч жил тогда у своего друга графа Олсуфьева в Никольском, близ Москвы. Получив телеграмму о нашей высылке, он приехал проводить нас в Петербург и провёл с нами несколько дней; эти дни надолго останутся в моей памяти. Мы собирались каждый вечер в квартире Черткова, окружали Л. Н-ча тесным кольцом, и задушевная беседа наша высоко поднимала наш дух, и никакие козни дьявольские нам тогда не были страшны.

[...] Лев Николаевич уехал из Петербурга накануне нашей высылки, напутствуя нас самыми сердечными пожеланиями. Мы обняли его и разлучились с ним почти на 8 лет.

[...] Ссылка наша произвела, конечно, сенсацию в обществе и сильно взволновала Л. Н-ча. Во многих письмах к друзьям и даже к малознакомым людям он говорит об этой ссылке со смирением и с самообличением, считая себя недостойным терпеть какое-нибудь преследование.

Вместе с тем одной из главных забот его было как-нибудь утешить, ободрить нас, сосланных его друзей; оказать нам какую-нибудь услугу, чем-нибудь выразить свою любовь к нам, которой, нам казалось, мы так мало заслуживали. И письма его к нам полны выражениями самых нежных, трогательных чувств.

[...] Несколько отрывков достаточно, чтобы составить себе понятие о том, как следил и заботился Л. Н-ч о своих, удалённых от него, друзьях» (*Бирюков П. И. Указ. соч. С. 280, 282, 284*).

И ещё бы было Толстому не следить! После объявления ссылки толстовцы В. Г. Чертков и П. И. Бирюков продолжают полезнейшим образом участвовать в общем деле, но уже с помощью созданных в

Англии, а затем в Швейцарии периодических изданий «Свободное слово» и «Свободная мысль». В каждом номере своих журналов толстовцы помещают раздел о духоборах (общие статьи о мировоззрении, письма духоборов, отчёты о жизни духоборов), а так же ведут сбор денежных средств в их поддержку. Разделы о духоборах и об отказниках от военной службы толстовцы считают важнейшими. Публикуются письма духоборов, сосланных в Сибирь, как, например, в январском номере «Свободного слова» за 1904 г. В некоторых выпусках вместе с самой публикацией даются и результаты: «Опубликованы 23 случая гонений или несправедливого суда. Всего было привлечено к ответственности только по этим сообщениям 298 человек» (*Свободное слово. 1901. № 1. С. 23*).

Мимоходом отметим, что, в отличие от духовной единомышленницы мужа, Анны Константиновны Чертковой, жена Льва Николаевича, Софья Андреевна Толстая, не одобряет вмешательства мужа и его друзей в дела сектантов и не симпатизирует духоборам — но в переписке с ней Толстого тема духоборов присутствует так же. Вот отрывок из письма от 31 октября 1896 г. с рядом значительных для нас подробностей:

«Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, до смерти засекали в дисциплинарном батальоне, а семьи их, разорённые, как они пишут, вымирают от бездомности, голода и холода. Они написали воззвание за помощью к обществу, и я решил послать им из наших благотворительных денег тысячу рублей. Лучшего употребления не найдут эти деньги, и они тебя поблагодарят за то, что ты против моего желания выхлопотала эти деньги. <«Гонорар из театра автору за “Плоды просвещения” и “Власть тьмы”, сначала поступавший голодающим, потом погоревшим крестьянам; и из них Лев Николаевич взял и духоборам». – *Примечание С. А. Толстой.*> Поэтому, когда приедешь, привези эти деньги, или подожди, я спишусь с Чертковым, куда их послать. Передаются же деньги верно через одну всем знакомую княжну <Елену Петровну> Накашидзе, которая уже передавала им деньги от квакеров.

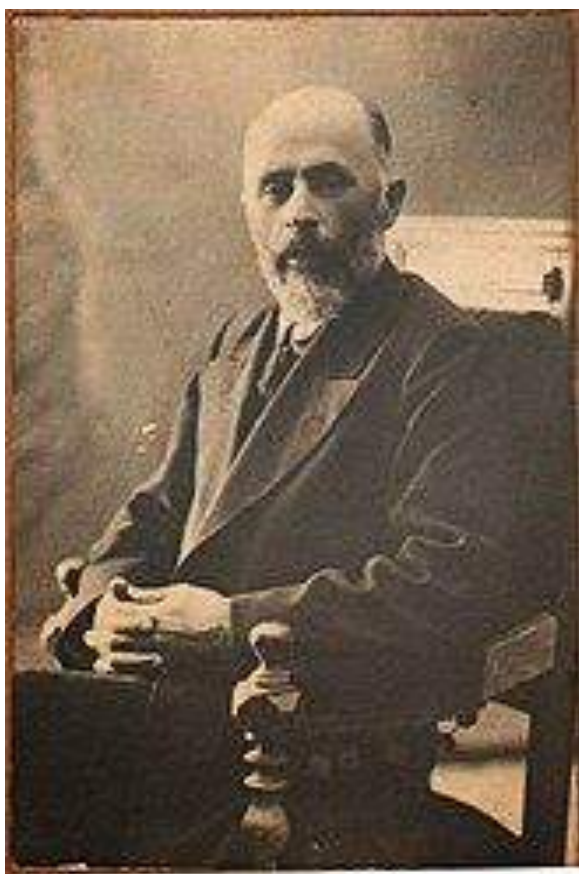
Это известие было для меня главным событием за это время. Я написал <в защиту духоборов> ещё письмо к кавказскому начальнику батальона. [...]

Л. Т.

31 Окт. 96» (84, 269).

Упомянутая в письме *Елена Петровна Накашидзе* (груз. ელენა პეტროვის ნაკაშიძე; 1868 – 1943) — сестра грузинского хорошего помощника Льва Николаевича, филолога по образованию, *Ильи Петровича Накашидзе* (груз. ილია პეტრეს ძე ნაკაშიძე, 1866 – 1923). Надо сказать, что, как и в наши дни, в связи с событиями в Украине, тогда, в конце XIX столетия, подлая жестокость российского режима в отношении духоборов встретила возмущение всей просвещённой грузинской общественности. Прекрасный, мудрый, дружный, проникнутый духом учения Христа и сущностно свободолюбивый народ массово включился в сбор средств на спасение жертв имперского садизма, столь традиционного для России. Через Хилкова, Бирюкова и некоторых других посредников завязалось знакомство писателя с некоторыми грузинскими деятелями. Илья Петрович не был первоначально духовным единомышленником Толстого-христианина: сознание молодого человека было в те годы отравлено материализмом и социалистической пропагандой. Он взялся помогать духоборам не из сочувствия их религиозным взглядам, а потому, что видел в них крестьян-тружеников, преследуемых властями. При первой встрече в 1896 г. Толстой подробно расспросил И. П. Накашидзе о положении духоборов. Ему понравилось, что духоборы жили честным земледельческим трудом и среди них не было сословного различия. В свою очередь, Накашидзе стал доверенным лицом Толстого в Грузии — сперва именно в связи со сбором средств для духоборов — и, испытав духовное влияние Льва-учителя, стал скоро верным последователем евангельского, первоначального учения Христа, возвращённого миру Толстым. Прежние «друзья» не годились уже ему в спутники общего с великим яснополянцем дела жизни — зато, как и в случае с Анной Константиновной, женой Черткова, он нашёл единомыслие со своей сестрой и своей супругой — столь недостававшее в годы христианского исповедничества самому Льву Николаевичу! Учительница в Тифлисе, деятельная участница распространения внешкольного образования среди рабочих, Елена Петровна Накашидзе, в отличие от увлечённого «революцией» брата, уже в 1890-х гг. была заочной ученицей, единомышленницей Льва Николаевича и распространяла у себя на родине запрещённые цензурой его книги «В чём моя вера?», «Царство Божие внутри вас», «Соединение и перевод четырёх Евангелий» и др. Вообще в Грузии перед Толстым, гениальным писателем, преклонялись, но влиянию Толстого-моралиста порой противились, в особенности молодая грузинская интеллигенция, более ориентированная на светские, в том числе революционаристские, идеалы.

Вместе с князьями Д. А. Хилковым и Г. А. Дадиани (полковник, который оставил службу и жил как простой крестьянин) была в Грузии активной сотрудницей в деле помощи духоборам. Толстой благодарил её за интересные и полезные сведения о съезде духоборов, происходившем осенью 1896 г. в Горийском уезде Тифлисской губ., а также за другую информацию о бедственном положении духоборов, которую она регулярно, ещё с 1895 г., пересылала и ему, и В. Г. Черткову, и И. М. Трегубову. «Елена Петровна пусть пишет мне. Разумеется, с радостью буду служить ей, чем могу. Буду собирать сведения о духоборах и заведу отдельную папку для сведений о гонениях», — откликнулся Толстой в письме ок. 26 – 28 февраля 1897 г. к И. М. Трегубову (70, 40).



Супруги Накашидзе, Илья Петрович и Нино Иосифовна

Наперегонки с братом Елена Петровна регулярно информировала Толстого и его единомышленников о положении духоборов в Грузии. Преследуемая полицией, она в 1897 г. уезжает в Москву, где в марте 1897 г. знакомится лично с Толстым, а оттуда, в связи с продолжением полицейской травли — к В. Г. Черткову в Англию.

О жизни мужа и его сестры, об отношениях с Л. Н. Толстым сохранились мемуары жены Ильи Петровича, Нино Иосифовны Накашидзе (груз. ნინო იოსებოვის ასულის ნაკაშიძე; 1872 – 1963), так же единомышленницы и помощницы Л. Н. Толстого, переводчицы некоторых его рассказов на грузинский язык (см. Накашидзе Н. Несколько лет вблизи Льва Толстого. Тбилиси, 1988).

И ещё, из письма Толстого к жене, от 12 ноября 1896 г.:

«От Ивана Михайловича Трегубова и Черткова получил ответ о том, куда послать деньги духоборам, и ещё подробности об их бедственном положении. Письмо это прилагаю. Я думаю, что скоро возбудится сочувствие к ним и помощь, и хорошо начать. Деньги послать вот как: Тифлис. Мало-Каргановская, № 11. Князю Илье Петровичу Накашидзе, а внутри конверта, на бумаге, в которую будут завернуты деньги, надписать: для Е. П. Н.— Е. П. Н. — это Елена Петровна Накашидзе, и она дала этот адрес. Пожалуйста, пошли эти деньги. Это нужно.

Я тебе говорил, кажется, про чернильницу какую-то дорогую, которую в подарок мне хотели прислать из какого-то клуба в Барселоне. Я написал им через Таню, что предпочитал бы предназначенные на это деньги употребить на доброе дело. И вот они отвечают, что, получив моё письмо, они открыли в своём клубе подписку и собрали 22. 500 франков, которые предлагают мне употребить по усмотрению. Я пишу им, что очень благодарен, и как раз имею случай употребить их на помощь духоборам. Что из этого выйдет, не знаю. Очень это странно. А чернильница, говорят, — заказана, и мы её всё-таки пришлём, вы можете продать её и употребить деньги, как хотите» (84, 271).

Сохранилось аж целых *пять* писем к Толстому из Испании от некоего Деметро Санини из Барселоны. В последнем письме от 27 декабря 1896 г. он сообщал, что предполагает разыграть в лотерее заказанную чернильницу и надеется выручить за неё 50 000 франков в пользу духоборов. Дальнейших извещений из Испании не последовало, и ни денег, ни чернильницы от испанской бестолочи Лев Николаевич так и не заполучил.

Так же, с малых сумм и зависимости от жены начинал Толстой в октябре 1891 года великую эпопею помощи голодавшим крестьянам. Было в этой эпопее и другое сходство с “голодной”, начала 1890-х: в том, что Толстого, как и тогда, отвращала сама идея “по-

мощи” деньгами, а не добрыми делами. Один из друзей и единомышленников Льва Николаевича, *Пётр Николаевич Гастев* (1866 – ?), узнав, что Лев Николаевич занят помощью духоборцам и стал собирать на это денежные средства, написал ему 12 февраля 1897 г. письмо с упрёком в непоследовательности. Из ответа Л. Н. Толстого, 26 февраля:

«Всё, что вы пишете мне, дорогой Пётр Николаевич, совершенная правда, и я сам всегда так но только думал и думаю, но всегда так чувствовал и чувствую. Непосредственно чувствую, что просить помощи материальной для людей, страдающих за истину, нехорошо, совестно. Бы спросите, для чего же я присоединился к воззванию, подписанному Ч[ертковым], Б[ирюковым] и Т[регубовым]?»

Я был против, так же как был даже против помощи голодающим, в той форме, в которой мы её производили; но когда вам говорят: есть дети, старики, слабые брюхатые, кормящие женщины, которые страдают от нужды, и вы можете помочь этой нужде своим словом или делом, — скажите это слово, или сделайте это дело. Согласиться, значит стать в противоречие со своим убеждением, высказанным о том, что помощь всем всегда действительная состоит в том, чтобы очистить свою жизнь от греха и жить не для себя, а для Бога, и что всякая помощь чужими, отнятыми от других, трудами есть обман, фарисейство и поощрение фарисейства; не согласиться, значит отказать в слове, поступке, который сейчас может облегчить страдание нужды. Я, по слабости своего характера, всегда избирал второй выход и всегда это мне было мучительно» (70, 37 – 38).

27 августа 1897 г. Толстым была окончена первая редакция обращения по поводу Нобелевской премии для шведской газеты «Stokholm Tagblatt».

Умерший в 1896 г. шведский инженер, изобретатель динамита, пацифист Альфред Нобель завещал на проценты от оставленного им огромного капитала ежегодно присуждать и выдавать премии — за лучшие произведения и труды, служащие делу мира и объединению народов, и за лучшие труды в области точных наук. Решением вопроса занималась шведская Академия. В 1897 г. это делалось впервые.

Софья Андреевна, вернувшись 29-го из Москвы, где была по учебным делам сына Михаила (оставленного на второй год), записала 31 августа в дневнике на 31 августа следующее:

«Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что всё его миллионное богатство он оставляет тому, кто больше всего сделает для мира (la paix) и, следовательно, против

войны. В Швеции по этому поводу был совет, и решили, что Верещагин своими картинами выразил протест против войны. Но по дознаниям оказалось, что Верещагин не по принципам, а случайно выразил этот протест. Тогда сказали, что Лев Николаевич заслужил это наследство. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпевши так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, и некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, на мои слабые нервы я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережёт своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Он тронулся моим отчаянием и обещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлёт, но смягчённое» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 290*).

Софья Андреевна пугалась и не сочувствовала схватке мужа со смертью за жизнь: с Россией и её политическим режимом — за жизни духоборов, которых славный яснополянец взялся эвакуировать из этой страны вечных мрака, рабства, страданий и гарантированной гибели как плоти, так и души. Чем «всемирней» он становился, чем больше обрастал связями, дискурсами и поддержкой передовых людей своей эпохи — тем всё меньше и меньше принадлежал хотя и критично воспринимавшемуся Софьей Андреевной, умной дочерью немца, но всё-таки привычному для неё «русскому миру», тем необратимее рвал с ним связи внушённых с детства обманов сословной эрзац-культуры и церковной эрзац-религии — в пользу всечеловеческого культурного и духовного самостроения и в пользу живой, руководящей поступками, веры Христа, чистого, первоначального учения Христа как познанной Божьей правды-Истины, как всехнего актуального руководства в жизни...

2 сентября Толстой извещал В. Г. Черткова: «Письмо в Швецию, черновое, которое вам привезёт Ростовцев, я ещё исправлю и надеюсь завтра или послезавтра послать Арвиду Эрнефельту» (88, 49). 15 сентября в дневнике Толстого запись: «Соня боится. Очень жаль, но я не могу не сделать». 21 сентября «очень талантливым молодым шведом» Вольдемаром Ланглетом, посетившим Толстого ещё весной и теперь приехавшим снова, был закончен перевод. 23 сентября письмо



было отправлено, вместе с личным обращением (по-французски) к редактору «Stokholm Tagblatt».

Подробно объяснял Толстой новым читателям подвиг простых русских людей, отказывающихся от военной службы. И употребил своё любимое в это время сравнение: «Говорить, что способ этот недействителен, потому что давно уже употребляется, а войны всё-таки существуют, всё равно, что говорить, что весной тепло солнца не действительно, потому что не вся земля оттаяла и не распустились цветы» (70, 151). В конце говорил, что деньги следует передать как можно скорее, потому что нужда духоборческих семей «к зиме должна дойти до крайней степени. Если деньги эти будут присуждены семьям духоборов, то они могут быть переданы им прямо на местах или тем лицам, которые мною будут указаны» (Там же. С. 154).

Конечно же, Нобелевским комитетом вопрос о Премии для духоборов даже не рассматривался, поскольку премия присуждалась *лицам*. Но письмо Толстому «аукнулось» позднее: когда снова возникли предложения о Нобелевской премии для Толстого, последовало отрицательное решение шведской Академии в связи с «анархизмом» русского писателя.

Добавим к сказанному, что классик толстоведения по этой теме М. Чистякова полагала это письмо Льва Николаевича его «первой попыткой выступления на международной арене по вопросу всеобщего мира» (Чистякова М. Толстой и европейские Конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 599). Наш читатель, наблюдавший над подготовкой целой команды помощников Льва Николаевича к международной именно публикации трактата «Царство Божие внутри вас», содержащего религиозный, христианский ответ на вопрос об обеспечении всеобщего мира — уже знает, что это не так.

Полный текст письма Л. Н. Толстого к редактору «Stokholm Tagblatt» мы выносим в Прибавление 3-е к данной Главе.

Начиная с этого времени постоянная забота о преследуемых и страдающих за свои убеждения нескольких тысячах людей не уйдёт из жизни Толстого, пока не завершится переселением больших партий духоборов в Канаду.

Надеясь получить помощь от богачей, 15 августа Толстой вручил П. А. Буланже своё письмо *Козьме Терентьевичу Солдатёнкову* (1818 – 1901) (передано не было, потому что этот богатый московский купец, меценат, издатель и собиратель картинной галереи, находился в ту пору за границей).

21 августа в Ясную Поляну приехал Илья Петрович Накашидзе, («брат той княжны Накашидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым» — *Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 288*). С Накашидзе Толстой отправил кавказским духоборам уже упоминавшееся нами выше письмо со словами духовной и информационной поддержки:

«Любезные братья, страдающие за учение Христа!

Брат наш И. П. Н[акашидзе] заехал, по дороге домой, ко мне, и мне захотелось написать вам то, что не я один, но многие и многие люди и у нас и за границей знают и думают о вас и боятся за вас. Если Бог велит, то мы пришлём вам, вашим детям, женщинам и старым людям, больным, посильную помощь; духовную же помощь мы и многие, и здесь и за границей, мы получаем от вас и просим вас не оставлять нас вашей помощью. Помощь эта в том, что вы первые показываете пример хождения по пути Христову; задним легче, чем передним. Вы идёте впереди, и многие благодарят вас за это. Христос сказал: “Меня гнали, будут гнать и вас”, так и сбывается; жалко малых и старых, а ещё жалче гонителей: ведь они уже знают теперь, что они гонят не вас, а Христа, того самого, который пришёл спасать их. Они видят свой грех, но так завязли в нём, что не могут отстать от него. Они делают своё дурное; помоги им Бог опомниться и присоединиться к нам. Передавал мне И[лья] П[етрович] рассказы, как ваши братья, страдающие за отказ от участия в делах дьявола, в убийстве, поступили с теми, которые не выдержали гонений и согласились служить. Если те, которые сами страдают за Христово дело, просили прощения у тех, которые не выдержали гонений, за те страдания, которые они понесли по примеру и научению братьев, то как же мне, не удостоившемуся пострадать за Христово дело, надо выпрашивать прощения у всех тех, кого мои слова и писания повели к страданиям?

Тот, кто страдает за Христово дело не по наущению людей, а потому, что не может поступить иначе перед Богом, не нуждается в людских утешениях и поощрениях, а тот, кто поступает не для Бога, а для славы людской, тому тяжело, и его надо утешать и поддерживать и просить у него прощения, если он пострадает из-за нас.

И потому, братья, не упорствуйте в своём отказе от государственной службы, если вы это делаете для того, чтобы не укоряли вас в слабости. Если можете делать то, что от вас требуют — делайте, — избавьте этим ваших слабых жён, детей, больных, старых от мучений. Если не вселился в человека дух Христов, который не позволяет

ему делать противное воле Бога, то всякий из вас должен ради любви к своим отказаться от прежнего и покориться; никто не осудит вас за это. Так должны вы поступать, если можете. Если же дух Христов вселился в человека, и он живёт не для себя, а для исполнения воли Бога, то он и рад бы согласиться сделать всё для своих страдающих ближних, да нельзя ему сделать этого, как нельзя одному человеку поднять 100 пудов; а если так, то Христов дух, который противится делам дьявола, научит, как поступать, и утешит в страданиях и своих и близких.

Многое хотел бы я сказать вам и узнать от вас. — Если Бог велит — свидимся. Пока прощайте, братцы. Целую вас.

Брат ваш слабый, но любящий вас.

Лев Толстой» (70, 126 – 127).

В начале сентября пришло известие от П. А. Буланже: через московского обер-полицеймейстера ему сообщили «любезное приглашение» явиться в Петербург к министру внутренних дел. Толстой беспокоился. За публикацию статьи о духоборах, сношения с ними и распространение христианского слова Буланже высылали за границу. Скоро он уехал в Англию к Чертковым.

8 сентября в доме Толстого появился ещё один помощник, упоминаемый им, в частности, в письме к жене от 14 (15?) сентября 1897 г. *Артур Карлович Син-Джон* (St. John; ум. после 1907 г.) был незадолго до 1897 года офицером колониальной службы в Индии, но, познав через Льва Николаевича истину учения Христа, вышел в отставку и поселился сначала в аграрной общине в Перлее, у Чертковых. Переписывался с Толстым и сумел заранее, заочно, произвести на него положительное впечатление. В 1897 г. Син-Джон приехал в Россию для передачи пожертвований духоборам от английских квакеров. При личной встрече Толстой быстро «раскусил» испорченную натуру Син-Джона, и записал о нём 19 сентября в Дневнике: «Был St. John, джентльмен и серьёзный, но боюсь, что больше для славы человеческой, чем для себя, для Бога» (53, 151 – 152). Син-Джон, однако, стремился нравственно исправиться: принимал участие в переселении духоборов из России, и в 1899 г. сам поселился вместе с ними в Канаде.

В тот раз Толстой направил Син-Джона к Накашидзе, прося помочь этому «прекрасному, серьёзному человеку» — «он хочет войти в общение с духоборами» (70, 135). Собрать сведения о жизни духоборов в грузинских деревнях не удалось: пробыв на Кавказе лишь около двух недель, Син-Джон был арестован и выслан на родину.

Продолжалась переписка с И. М. Трегубовым, продолжавшим дело помощи духоборам на Кавказе. 5 апреля 1897 г. в Тифлисе, по выходе из зала суда, где слушалось дело елизаветпольских духоборов, его арестовали и отправили в Курляндскую губернию. Письма к нему проникнуты не только дружеским, но отеческим чувством: Трегубов тяжело переживал неразделённую, с первого взгляда, любовь к Елене Петровне Накашидзе, и Толстой пытался его утешить.

Итак, дело было мощно начато! Мы видим, что *третья* фундаментальная проблема в духоборческом деле проблема — ложный образ русского сектантства в глазах общества, потребовала длительного и планомерного разрешения. Толстовцы постепенно стараются изменить образ духоборов в массовом сознании россиян путём публикации статей и брошюр, разъясняющих вопросы вероучения и описывающих жизнь и быт гонимых за веру. Переменить отношение всего общества к сектантству, конечно же, было задачей практически невыполнимой, однако образованная интересующаяся публика именно через толстовские издания познакомилась с более объективным их образом. Более подробное рассмотрение этого комплекса мер выходит за тематические рамки нашего исследования.

А вот *вторую* проблему, выделенную толстовцами, спасения духоборов от преследования тётей родиной, эвакуации их подальше от России, пытается решить сам, во многом, «виновник» их положения, Л. Н. Толстой, прибегнув к помощи своих последователей...

В последний день 1897 года, 31 декабря, министр внутренних дел, замечательный Иван Логгинович Горемыкин (1839 – 1917), действительный тайный советник, даёт принципиальное разрешение на выезд духоборов за границу — без права возвращения. 24 января главноначальствующий гражданской частью на Кавказе князь Григорий Сергеевич Голицын направил об этом сообщения тифлисскому, бакинскому, эриванскому губернаторам и военному губернатору Карсской области. 19 марта 1898 г. Толстой записал в Дневнике: «Главное событие за это время разрешение духоборам выселиться» (53, 185). И тогда же заметил в письме к Л. Ф. Анненковой: «Духоборам разрешено переселиться в Америку или Англию, и они просят помочь им. Я весь поглощён этим» (71, 320).

Судя по воспоминаниям милейшего Леопольда Антоновича Сулержицкого, “поглотить” себя Толстой позволил далеко не сразу. Леопольд Антонович начинает свои мемуары «В Америку с духоборами» со слов уважительного признания этим трудолюбивым и выносливым людям:

«Духоборы — сами плотники, ткачи, кузнецы, портные, столяры и каменщики. Они ничего не покупают и, куда бы ни пришли, всюду они приносят с собой всё, что необходимо для создания полной, зажиточной жизни. Упорный труд и широко развитое начало взаимопомощи, составляющее отличительную черту духоборов, помогли бы им достигнуть такого же благосостояния и на новом месте хоть и в нездоровых, но плодородных долинах Тифлисской губернии» (*Сулержицкий Л.А. В Америку с духоборами. (Из записной книжки). М., 1905. С. 6).*

Но сволочная тётя родина это учла — и на три с половиной года после высылки в Тифлисскую губернию создала для высланных атмосферу неопределённости, так что люди не могли знать, не пропадут ли их труды в связи с новым вынужденным, принудительным переселением. Именно это обстоятельство более прочего расположило духовных христиан к отъезду:

«У ссыльных духоборов (в это время их насчитывались около 3.500 чел.) на случай переселения, которое они, очевидно, давно имели в виду ещё до высылки их в Тифлисскую губернию, было отложено около 50 000 р. Деньги эти сохранялись в целости, несмотря на самую крайнюю нужду. Относительно переселения, среди духоборов существовало предание, будто бы настанет такое время, когда им придётся выехать из России куда-то в новую страну. По мнению „старичков“, время это именно теперь наступило, и летом 1897 г. представители духоборов лично подали прошение Императрице Марии Феодоровне, бывшей в то время на Кавказе. В прошении духоборы просили разрешить им выселиться из России. В начале 1898 г. духоборы получили на это официальное разрешение, с тем однако условием, что, выселившись, они теряют право на возвращение в Россию.

Когда вопрос таким образом был решён, духоборы отправили двух своих доверенных к Льву Николаевичу Толстому с просьбой помочь им в выборе страны, а также в средствах и организации переселения.

Л. Н. Толстой к переселению отнёсся неодобрительно и долго убеждал доверенных отказаться от всякой мысли о выселении из России, приводя как моральные, так и чисто практические доводы против последнего. В подкрепление своего мнения он приводил письмо Петра Веригина, главного руководителя духоборов, жившего в то время в Обдорске. В письме этом <от 15 августа 1898 г. – Р. А.> Веригин писал, что хотя он и не знает всех условий и обстоятельств современного их положения, но каковы бы эти условия ни были, он „во всяком случае скорее против переселения“:

«Потому люди нашей общины нуждаются в самоусовершенствовании, и, следовательно, куда бы мы ни переселились, понесём наши слабости с собою. А что за границей свободней жить личности вообще, я думаю, разница может быть небольшая. Человечество всюду одинаково» (*Письма духовоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. – Под ред. В. Бонч-Бруевича. Вступ. ст. В. Черткова. Christchurch, England, 1901. С. 127; ср. Толстой С.А. Указ. соч. С. 44*).

В ответном письме Веригину, от 1 ноября 1898 года, Лев Николаевич выражал с ним принципиальное согласие:

«...Мне было радостно читать ваше суждение о выселении. Я совершенно того же мнения — именно того, что важно не место, в котором мы живём, и не условия, нас окружающие, а наше внутреннее душевное состояние. Познаете истину, и истина освободит вас, везде, где бы вы ни были. Вы пишете, что вы почти против переселения, и я также, но вам, живущему в тяжёлом изгнании, можно говорить страдающим людям, что им следует ещё страдать и претерпеть до конца, но мне, живущему на свободе и при всех лучших условиях, неудобно говорить людям, которые страдают: страдайте, терпите, терпите ещё. А жалко и то, что мы расстаёмся с близкими по духу людьми (утешаюсь тем, что везде наши братья), жалко и то, что люди не претерпели до конца и тем не помогли другим людям познать истину, потому что ничто так не свидетельствует об истине, как несомые за неё страдания» (71, 478 – 479).

В таком ключе вещал яснополянец и вновь пришедшим к нему ходокам... то есть, решив к тому времени в пользу наиболее гонимых, тифлисских расселённых духовоборов — склонялся к тому, чтобы помочь и остальным просящим.

«Выслушав Л. Н. Толстого, доверенные возвратились на Кавказ. Была собрана одна из самых больших сходок, где и было прочитано письмо Л. Н. Толстого, в котором он всеми силами убеждал духовоборов не уходить из России.

Несмотря однако на мнение Толстого, которое очень уважается духовоборами, и на письмо Веригина, — а воля последнего для них закон, — через некоторое время к Л. Н. Толстому опять приехали доверенные от духовоборческого общества с поручением передать ему, что переселение решено ими окончательно и что они ещё раз просят его о скорейшей помощи, так как переселиться им необходимо до зимы.

Сделав ещё несколько попыток к тому, чтобы разубедить духовоборов, написав в этом смысле несколько писем, Л. Н. Толстой, видя, что переселение тем или иным путём неизбежно осуществится, обратился к своим друзьям в России и за границей за советом о выборе

страны, собирая в то же время средства для переселения» (*Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 7 – 8*).

Уже 17 марта 1898 г. Толстой извещал В. Г. Черткова, что составил воззвание в английские и американские газеты, прося «помощи истинных христиан». Сохранились три черновика этого письма. Последняя редакция датирована 19 марта/1 апреля 1898 г. Опубликовано по-английски в газ. «Daily Chronicle» 29 апреля (*см. 71, 322 – 327*). «Население в 12 тысяч человек христиан всемирного братства, как называют себя духоборы, живущие на Кавказе, находится в настоящее время в ужасном положении» — так начал Толстой своё обращение. И далее: «Я случайно знаю подробности гонений и страданий этих людей, нахожусь с ними в сношениях, и они просят меня помочь им, и потому считаю своим долгом обратиться ко всем добрым людям как русского, так и европейского общества, прося их помочь духоборам выйти из того мучительного положения, в котором они находятся». В конце письма предлагал своё посредничество и указал адрес: Москва, Хамовнический пер., 21.

В эти же дни смягчённый вариант послания был направлен в «Санкт-Петербургские ведомости», причём редактору было дано разрешение «вымарать то, что покажется лишним». Редактор газеты, весьма благожелательный к Толстому, князь Эспер Эсперович Ухтомский письмо набрал, оттиск вручил И. П. Накашидзе, но напечатать не решился. Обращались и в редакцию «Недели» к М. О. Меншикову, у которого был свой проект, как помочь духоборам.

19 марта написал Толстой на Кавказ духоборам — уже не увещание, а вполне деловое письмо, с вопросами и предложениями: «Насчёт же места поселения, то есть четыре места, о которых мы думали: или в Америку, в штат Техас. Я туда сделал запрос о земле, или на остров Кипр, на Средиземном море. Остров находится в английском владении; или в китайскую Манджурию, там, где теперь строится русская железная дорога, или в китайский Туркестан» (*71, 327*).

Наконец, 2 апреля 1898 г. Лев Николаевич составил прошение от имени духоборов на имя Николая II, в тоне и духе, рассчитанном на сострадание и милость: «Мы были богаты — мы разорены теперь, мы были любимы и уважаемы всеми людьми — мы теперь ненавидимы и презираемы, мы были живы и здоровы — большая часть наших расселённых и сосланных вымирают теперь от нужды и болезней... Мы слышали, что Ваше Величество считает ненужным и неправильным вмешательство насилия в дела веры, желаете не препятствовать вашим подданным верить так, как Бог открыл им. Покажите же, Ваше Величество, пример вашей мудрости и добрых

чувств над нами» (71, 346 – 347; напечатано по сохранившемуся в архиве Толстого черновику).

В этот же день, 2 апреля, Софья Андреевна опасалась другого: «Приехали духоборы к Л. Н., два рослых, сильных духом и телом мужика. Мы их посылали в Петербург к князю Ухтомскому и Суворину, чтобы эти два редактора сильных газет им что-нибудь посоветовали и помогли. Они обещали, но вряд ли что сделают. Л. Н. им пишет прошение на имя государя, чтоб их выпустили переселиться за границу, всех — изгнанных, призывных и заключённых духоборов. Всё это мне страшно, как бы нас не выслали тоже!» (Толстая С. А. Дневники. Указ изд. Т. 1. С. 369).

3 апреля через М. О. Меншикова, приехавшего в Москву, прошение было передано Э. Э. Ухтомскому; тот вручил его Д. С. Сипягину, главному управляющему императорской канцелярии, для передачи царю (несколько изменённый вариант немного позднее — на Кавказе Г. С. Голицыну).

У биографа Толстого и одновременно участника событий есть указание на успешность одного из обращений самих духоборов: «Все ходатайства духоборов и друзей их о смягчении их участи оставались без результата. Но одно из прошений попало в руки императрицы-вдовы, приехавшей на Кавказ к сыну, и этому прошению был дан ход и просьба духоборов была удовлетворена; им было разрешено выехать за границу с тем, чтобы назад уже не возвращаться» (Бирюков П. И. Указ. соч. Т. 3. С. 301).

После некоторых проволочек состоялось секретное распоряжение: духоборам призывного возраста и сосланным за отказ от военной службы переселение запретить, а остальным разрешить — без права возвратиться на родину.

О препятствии к этому главным, помимо мелких административных, пишет Толстой всё в том же обращении своём от 19 марта в иностранные газеты:

«Людям позволяют выехать, но предварительно их разорили, так что им не на что выехать, и условия, в которых они находятся, таковы, что им нет возможности узнать мест, куда им выселиться, как и при каких условиях возможно это сделать, и нельзя даже воспользоваться помощью извне, так как людей, которые хотят помочь им, тотчас же высылают, их же за всякую отлучку сажают в тюрьму.

Так что, если этим людям не будет подана помощь извне, они так и разорятся и вымрут все, несмотря на полученное ими разрешение выселиться».

И чётко, как любят те, к кому он обращался теперь за помощью — Толстой называет тут же самое необходимое:



«Я обратился в одной из русских газет к русскому обществу — ещё не знаю, будет или не будет моё заявление напечатано, и обращаюсь теперь ещё и ко всем добрым людям английского и американского народа, прося их помощи, во-первых, деньгами, которых нужно много для одной перевозки на дальнее расстояние 10 000 человек, и, во-вторых, прямым непосредственным руководством в трудностях предстоящего переселения людей, не знающих языков и никогда не выезжавших из России» (71, 326 – 327).

От Леопольда Антоновича узнаём о том, как решался вопрос с местом эвакуации из проклятого «русского мира» христиан всемирного братства. Как водится, “первый блин” вышел комом:

«Вопрос этот обсуждался главным образом за границей В. Чертковым и Д. Хилковым и английскими квакерами, которые ещё до переселения организовали в Лондоне особый комитет для привлечения средств нуждавшимся духоборам. В. Чертков, как участник этого комитета, сообщил квакерам о намерении духоборов выселиться за границу, и квакеры тотчас же стали собирать пожертвования для специально духоборческого переселенческого фонда.

Наиболее подходящей страной для духоборов как в хозяйственном, так и в других отношениях являлась несомненно Канада, и на выборе именно этого места особенно настаивал Д. Хилков. Однако переселиться туда казалось невозможным в виду крайней дороговизны переезда.

Из мест же, лежащих ближе к Кавказу, квакеры указывали на принадлежащий Англии остров Кипр.

В первых числах июля 1898 г. для окончательного обсуждения этого дела в Лондон приехали два духоборческих ходока, Иван Ивин и Пётр Махортов. Канада казалась им более желательным местом для поселения, но, как было уже сказано, переехать туда пока не было возможности в виду недостатка средств. Ждать же, пока наберётся необходимая для этого сумма, они не могли, торопясь переселиться до наступления зимы. Поэтому они выразили согласие переселиться временно на о. Кипр.

После длинной переписки, на Кавказ была послана духоборам телеграмма, что можно брать паспорта, нанимать пароходы и готовиться к выезду на Кипр.

Тотчас же 1126 чел. духоборов, которые должны были составить первую партию, распродали последнее своё имущество, взяли паспорта и переехали в Батум, чтобы ждать там пароход, нанятый ими для переезда на Кипр

[...] 6-го августа 1898 г. из Батума вышел французский пароход „Duran“, увозя на Кипр 1126 чел. духоборов. Переселение же остальных 2200 чел., живших в Тифлисской губ., откладывалось на неопределённое время.

[...] К великому счастью духоборов, в продолжение всего плавания до Кипра погода стояла тихая.

Переехав на Кипр, духоборы очень скоро увидели, что жить там нет никакой возможности. Огромный процент страдавших на Кавказе лихорадкой ещё увеличился, причём случаи лихорадки очень часто оканчивались здесь смертью. На первых порах переболели почти все и умерло более 60 человек, и только с наступлением зимы заболеваемость и смертность понизились.

Квакеры поддерживали эту партию духоборов всё время пребывания их на Кипре и обещали перевезти их на свой счёт с Кипра в страну, куда переселятся остальные духоборы с Кавказа.

Печальная участь, постигшая переселившихся на Кипр духоборов, заставила остальных отказаться от мысли продолжать переселение на этот остров, и теперь было решено и духоборами и лицами, заведовавшими организацией переселения, что нужно сделать все возможное для скорейшего переселения в Канаду оставшихся на Кавказе духоборов, так же как и 1126 чел., живущих уже на Кипре.

В последних числах августа духоборческие ходоки, И. Ивин и П. Махортов, вместе с Д. Хилковым отправились из Англии в Канаду для исследования страны и условий местной жизни. Для официальных же переговоров с канадским правительством поехал вместе с ними энергичный, деловитый человек, англичанин г. Моод, стоявший близко к квакерам и очень сочувственно относившийся к духоборам.

Вскоре от ходоков из Канады духоборы стали получать письма, в которых они всячески восхваляли Канаду, говоря, что „лучшей земли для переселения не найти“. В то же время г. Моод сообщал, что в принципе канадское правительство на переселение духоборов соглашается. Кроме того, благодаря стараниям г. Моода, канадская Тихоокеанская железная дорога, по которой духоборам пришлось бы ехать от порта высадки до мест поселения (около 2000 миль), сделала для них скидку в 50% с обыкновенного своего тарифа» (*Сулержицкий Л.А. В Америку с духоборами. Указ. изд. С. 8 – 11*).

Эйльмер (Алексей Францевич) Моод, обрусевший англичанин, много лет проживший в России, уже встречался читателю на страницах этой книги — как переводчик сочинений Толстого и адресат писем Льва Николаевича к нему... Теперь этот энергичный, с деловой хваткой, человек предстанет в амплуа помощника духоборам.

\* \* \* \* \*

Как водится, поганая тётя родина, имперская Россия, попыталась мелочно, подло, ненужно, но зато дотошно и разрушительно вмешаться в начавшееся общественное дело. П. И. Бирюков вспоминает, как в редакцию газеты «Русские ведомости», поддержавшей Толстого, пришло распоряжение министра внутренних дел о «доставлении» в казначейство всех собранных пожертвований и, более того, сообщении газетой в полицию имён жертвователей:

«"Русск<ие> вед<омости>" ответили, что деньги уже переданы мне и представили в этом расписку.

Но администрация этим ответом не удовлетворилась. В архиве "Русск. вед." сохранился такой след об этом требовании:

"21-го апреля 1898 года министр внутренних дел объявил "Русским ведомостям" третье предостережение и приостановил газету на два месяца, как значилось в официальном сообщении об этом ("Русск. вед." № 112 от 25-го июня 1898 г.), "за сбор пожертвований в пользу духоборов, с распубликованием о сем в № 93 "Русских ведомостей" сего года и за уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-губернатора".

[...] Заметка, по поводу которой последовала административная кара, гласила буквально только следующее:

"В контору «Русских ведомостей» поступило в распоряжение гр. Л. Н-ча Толстого для оказания помощи больным и нуждающимся духоборам: от иногороднего подписчика 300 рублей, от г. М. 400 р., от неизвестного 300 р.". Что же касается неисполненного распоряжения генерал-губернатора (или, точнее, требования обер-полицмейстера, с которым только и имела об этом случае дела редакция), то оно действительно было не исполнено: требовали передачи в распоряжение администрации денег, пожертвованных в распоряжение Толстого, которому они, конечно, и были своевременно вручены» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 302 – 303*).

Чтобы было уж совсем точно: пожертвования, сделанные через редакцию в пользу духоборов, действительно подлежали передаче администрации, между тем как редакция разумно и смело отослала эти деньги Л. Н. Толстому — через П. И. Бирюкова.

\* \* \* \* \*

Между тем, денежные средства всё же поступали, и казавшаяся ещё весной 1898 года недосыгаемой Канада вдруг сделалась вполне

кликабельной. С. Л. Толстой рассказывает о том, как был сделан организаторами переселения окончательный выбор.

Всё же любил и хранил духоборов Господь: «Эмиграция в Капскую колонию или Австралию была невысказана уже по одной дороговизне переезда», а в Аргентине были сложности с отказом от военной службы:

«Таким образом, наиболее возможным представлялось переселение в Канаду. Либеральное, почти независимое правительство, освобождение от воинской повинности, прекрасная земля, слабая заселённость, выгодные условия для мигрантов — всё это было в пользу эмиграции в Канаду.

[...] Первоначально мысль эта явилась у одного известного русского эмигранта П. А. Кропоткина, который, обсудив её вместе с профессором университета в Торонто Джемсом Мейвором, сообщил этот план квакерам и русским в Англии. Духоборы, много слышавшие об Америке и желающие переселиться именно в Америку, с радостью ухватились за эту возможность.

[...] Поездка ходоков в Канаду была успешна. Канадское правительство согласилось в виде исключения принять духоборов зимою и дало им такие льготы, которые оно не даёт даже поселенцам, «говорящим по-английски», то есть британцам, британским колонистам и выходцам из Соединённых Штатов. Оно гарантировало духоборам полную религиозную свободу, освободило их от воинской повинности в какой бы то ни было форме, предоставило им землю на общих основаниях...». Для помощи переселившимся был создан особый Духоборческий фонд (*Толстой С.Л. Указ. соч. С. 50 – 52*).

45 тысячами рублей из 89 требовавшихся на перевозку Первой партии, именно тифлисцев, особенно жестоко и злобно гонимых «христианской» Россией, располагали сами гонимые. Остальные средства были: сборы по России, «пожертвования» английских толстовцев (В. Г. Чертков тупо ограбил общинную кассу Джона Кенворти, но это отдельная нехорошая тема...) и деньги квакеров. Кроме того, получив благословение из Канады — ходоки отправились снова... разумеется, к Толстому! 3 августа 1898 г. в Ясной Поляне были необычные гости: «беспаспортные», беглецы с места ссылки, духоборы Павел Васильевич Планидин (памятный Толстому по визиту ещё 30 марта) и некто Постников — «за советами по делу переселения» (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С. 293*).

Софья Андреевна разместила тайных визитёров в знаменитом Павильоне — садовом домике близ большого яснополянского дома — и

с тревогой, с раздражением на мужа ожидала визита полиции. Всё тогда, однако, обошлось.

Раздраконенный смиренными просителями на новые сборы, Лев Николаевич 4 и 5 августа 1898 г. снова пишет к богатым людям с призывом сделать пожертвования на дело переселения духоборов» (*Там же*).

Между тем, совершенно независимо от этих сборов, на уже имевшиеся средства, 7 августа была отправлена первая, «неудачная», партия духоборов, 1139 человек — на Кипр. И слава Богу, что «толстовских» денег там было не много: деньги эти пропали, не говоря о погибших на Кипре людях — а выживших пришлось эвакуировать уже оттуда. Причина проста: добрая тётя родина, поганая гадина Россия, намеренно селила духоборов, хотя и в тёплых широтах, да в *холодных* местах, на безлесных и на возвышенностях, на скудных почвах. «Наш народ к холоду привычен» — часто слышал от них Сергей Львович Толстой (*Толстой С.А. Указ. соч. С. 51*). Им пришлось адаптироваться к холоду — и жаркий климат Кипра оказался неприемлемым, а для многих — смертельным.

Одному из первых, Лев Николаевич написал богатейшему сахарозаводчику Лазарю Израильевичу Бродскому (*1848, Новомиргород — 1904, Базель*). Озолотившийся на стране дураков, любителей сладенького, России, этот добрый человек, дважды благородный и благословенный Богом — ибо был он еврей и «малоросс» (украинец) — разумеется, внутри себя был «человеком мира» и самых прогрессивных убеждений: просвещённым фабрикантом своей эпохи. Он бы не отказал гонимым в средствах на эвакуацию... Но увы! время сладких денег от Бродского было упущено. Отстроив только что в Киеве роскошную синагогу (где через несколько лет его и будут отмаливать в заупокойных), Лазарь Израильевич благоразумно эвакуировался из России в Швейцарию — заслуженно-сладко, спокойно и медленно дожить век, сколько Бог даст... Из сахарной конторы, от русских наёмных «шестёрок» фабриканта, вместо денег пришла отписка: держитесь, Лев Николаевич, и всего вам наилучшего! Другой просвещённый благодетель, на симпатии и поддержку которого мог рассчитывать Толстой, Козьма Терентьевич Солдатёнков, знаменитый книгоиздатель и потомственный купец, *старообрядец*, вернувшись из-за рубежа, таки промешкал на денежных мешках аж до конца января 1899 г., когда, 30-го числа, всё-таки занёс 5 тысяч рублей лично в ручки Софье Андреевне Толстой — тем самым наградив себя

за финансовые “потери” общением с чудеснейшей женщиной! За богатейшего, но и жаднейшего золотопромышленника Сибирякова тысячу рублей прислала тайком его дочь Анна. С. Т. Морозов и ещё ряд толстосумов — просто послали Толстого мысленно нахуй и не ответили ему. А П. М. Третьяков отказал открыто и решительно — не сочувствуя, как православный россиянин, делу эвакуации из России гонимых сектантов.

Всего, по сведениям П. И. Бирюкова, Толстой написал в 1898 году до 20-ти просительных писем. Не называя имени адресата, биограф приводит текст одного из них — который и мы возьмём за образец. Это письмо от 12 октября 1898 г. к Александру Николаевичу Коншину (1867 – 1919) — сыну фабриканта, владельцу мануфактурной фабрики в Серпухове и одному из основателей журнала «Свободное воспитание»:

«Милостивый государь Александр Николаевич,

Обращаюсь вам с просьбой о денежной помощи Кавказским духовоборам. Люди эти, как вы, вероятно, знаете, стараясь исполнить в самой жизни учение Христа, которому они следуют, не могли исполнять требуемой от них правительством воинской повинности и за это подверглись гонению, которое вследствие грубости кавказской администрации дошло до страшной жестокости.

Отказывавшихся истязали, запирали в тюрьмы, ссылали в худшие места Сибири, где и теперь страдают сотни лучших людей, разоряли их селения, выселяя целые семьи из их жилищ в татарские деревни. Измученные всем этим духовоборы просили о позволении им выехать за границу. Им разрешили, но в последние года их так разорили, что у них нет средств для переезда в Канаду, где им предлагают земли. Их всех выселяющихся более 7000 человек. На переезд по морю и по железным дорогам им нужно по крайней мере по 100 р. на душу, а у них, продав всё своё имущество (большую часть уже продали), наберётся не более 300 тысяч. Правда, есть добрые люди в Англии и России, которые пожертвовали и жертвуют, но всё-таки недостаёт очень много.

Подписка для этой цели не разрешается, и потому мы решили просить богатых и добрых людей помочь этому делу. И вот я обращаюсь к вам, прося вас дать, сколько вы найдёте возможным для этого несомненно доброго дела» (71, 463 – 464).

Коншин ответил 5 ноября, сообщая, что может передать в распоряжении Толстого четыре тысячи рублей. В дальнейшем эта сумма была Коншиным удвоена. Кроме того, он включился, с «командой» помощников Толстого (о которой стоило бы написать особенную

книгу), в дела организации переезда и в 1899 году был в числе сопровождавших в Канаду четвёртого, последнего, парохода с духоборами.

В сборе средств для переезда духоборов и привлечении к ним внимания потенциальных помощников было лично для Л. Н. Толстого ещё одно направление, самое непростое — творческое. О статье «Две войны», созданной писателем и публицистом в середине августа 1898 года, мы уже рассказали читателю в своём месте. 27 августа оконченная статья была отправлена В. Г. Черткову для бесцензурного заграничного издания.

Это единственное писание, на которое Толстой отвлекся за месяцы своего “ударного” труда над будущим романом «Воскресение». И отвлекся Толстой от художественного сочинения не напрасно: публикацией через В. Г. Черткова статьи в бесцензурной заграничной печати он ещё раз — и отнюдь не лишней! — напомнил мировой общественности о гонимых в России духовных христианах и о необходимости помощи им.

Но основные, титанические труды уходили на роман — третья редакция которого, кстати сказать, была закончена в тот же день 27 августа, когда к Черткову отправились «Две войны».

Самым уважительным образом Толстой относился и к текущей корреспонденции, не связанной с духоборами: прочитывал ежедневно адресуемые ему письма и даже отвечал на ряд из них. Для примера, и именно для нашей темы, интересен ответ на телеграмму из газеты «The Sunday World» от 19 августа, такого содержания (перевод с английского):

«Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте добры ответить. Ответ тридцать слов оплачен» (*Цит. по: 71, 431*).

Запрос касался созывавшейся по инициативе русского правительства мирной конференции в Гааге. Отрицательное отношение Толстого к Гаагской мирной конференции было выражено им в письме к группе шведской интеллигенции в январе 1899 г., которое мы так же рассмотрели отдельно.

Понимая, что в 30-ть слов уложиться будет тяжело и мысленно послав газетчиков нахуй, Толстой всё же ответил им телеграммой, датируемой приблизительно 20 – 22 августа (в оригинале на английском — ровно 28 слов, любимое число Л. Н. Толстого!):

«Следствием декларации будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства» (71, 430).

В письме из Англии от 20 июля н. с. 1898 г. В. Г. Чертков сообщал своему ближайшему другу и учителю о заседании квакерского комитета помощи духоборам, на котором было решено немедленно переселить 3500 духоборов, расселённых в горах Терской области, на о. Кипр. Сообщая смету на переселение, Чертков писал, что необходимо немедленно собрать ещё 75 тысяч рублей для осуществления этого плана. 14 июля (26 июля н. с.) Толстой отвечал ему, в числе прочего, следующим:

«Так как выяснилось теперь, как много ещё недостаёт денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: Иртенев <первоначальное заглавие повести «Дьявол». – Р. А.>, Воскресение и О. Сергей (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты (в газеты, кажется, самое выгодное) и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь ими доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их, *tels quels* [*лат.* таковыми, каковы они есть.] Так случилось со мной, с повестью Казаки. Я всё не кончал ее. Но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию Р[усского] В[естника]. Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе, если и не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства — не общедоступны по форме — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитете для переселения духоборов.

[...] Эта мера поможет мне ещё в том отношении, что, отдав эти свои сочинения для дела переселения, мне будет удобнее обратиться к разным богатым лицам с просьбой о пожертвованиях на дело переселения» (88, 106 – 107).

Кстати сказать, возникший денежный у автора (но при этом бескорыстный!) интерес к публикации «Воскресения» не пошёл в ущерб и творческим результатам: гений художественного слова не покинул Толстого в сложившейся ситуации. Вот лишь один, хрестоматийный,



пример его работы — из дневника С. А. Толстой. В день 70-тилетия, 28 августа 1898 г., Софья Андреевна записала примечательную беседу с мужем о романе «Воскресение»:

«Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. “Знаешь, — сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня всё кончил, т. е. решил, и так хорошо!” Я ему сказала: “Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы *фальшь*” (ДСАТ – 1. С. 405).

Речь, конечно же, о главной паре персонажей романа — Катюше Масловой и Дмитрии Нехлюдове.

Но дальше Софье Андреевне, не разделявшей с супругом его чистой, евангельской Христовой веры, пришлось почувствовать нечто более для неё тяжёлое, нежели художественная фальшь.

В дни 12 и 13 сентября была плохая погода, да к тому же и много нежеланных Софье Андреевне гостей в яснополянском доме — среди которых, конечно, не могло быть Сергея Ивановича Танеева, тогдашнего платонического любовника жены Толстого, всегда вожделенно-желанного ею гостя. И некуда бежать: дождь, слякоть... А муж, прелестный муж, затеял в оба дня читать вслух гостям отрывки из нового своего сочинения — именованного тогда ещё “повестью” — «Воскресения». И не всё ей понравилось в этих отрывках: в интимных отношениях главных героев и героини ей явственно слышались отзвуки печально и мучительно памятных ей по Дневнику мужа “похождений” его холостой молодости. И каково ей это слушать при гостях! По их разезде 13-го в вечер последовало конфликтное общение, о котором Соня рассказала в дневнике:

«Повесть эта привела меня в тяжёлое настроение. Я вдруг решила, что уеду в Москву, что *любить* и это дело моего мужа я не могу; что между нами всё меньше и меньше общего... Он заметил моё настроение и начал мне упрекать, что я ничего не люблю того, что он любит, чем он занят. [...]

— Да вот и дело моё духоборов ты не любишь... — упрекнул он мне. [...] Делу помощи голодающим в 1891 и 1892 году, да и теперь, я сочувствовала, помогала, работала сама и давала деньги. И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам — духоборам. [...] Не могу я вместить в свою голову и сердце, что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему

миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети чёрного хлеба поедят!» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х т. М., 1978. Т. 1. С. 411 – 412*).

По поводу этой именно сентенции Софьи Андреевны в дневнике В. Б. Шкловский, биограф Толстого, высказал некогда ценное уточняющее замечание:

«Внуки и дети имели состояние больше, чем полмиллиона, и права на одиннадцать томов собрания сочинений, а белый хлеб стоил четыре копейки фунт, и они могли купить поезд ситного хлеба» (*Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 707*).

В письме к мужу от 3 сентября 1898 года из Москвы “бедная” жена “разорившего семью” мужа плачется, что, прогуляв по магазинам до половины седьмого вечера, «ещё половины покупок не сделала, а артельщик говорит, что записи <покупок на доставку. – Р. А.> так много, что в три дня не отделаешься» (*Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., 1936. С. 708*).

Дневник С. А. Толстой сохранил и свидетельства того, как первоначальный план Л. Н. Толстого подготовить для издания ради сбора средств духоборам три сочинения: «Отец Сергей», «Хаджи-Мурат» и «Воскресение» было скорректировано в пользу продажи на исключительных условиях одного «Воскресения», которое в последующие месяцы было расширено Толстым из повести до романа (*Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 401, 405*). Откуда ни возьмись, как в “лучшие годы” продажи «Войны и мира», Толстой вновь явил и деловую хватку, и настойчивость в переговорах с будущим издателем «Воскресения», упомянутым Софьей Толстой богатым евреем Адольфом Марксом. Вот почему, уже не имея возможности пенять на христианское нестяжательство мужа, Софья Толстая только выражает обиду, что деньги уйдут мимо семьи, мимо “бедствующих” в своих поместьях детей Толстого (*Там же. С. 401*). Но Толстой-то знал, что такое *настоящее* бедствие!

Из письма к жене, 18 (19?) сентября 1898 г.: «Ещё духоборческие дела, которые находятся в очень напряжённом состоянии. Надо ехать 2000 человекам, а денег не хватает 50 тысяч. Верю, что устроится, а делаю, что могу, не волнуясь, но и не унывая» (84, 327).

В октябре 1898 г. Толстой собрал более 15 тысяч денег для эвакуации из России духоборов и договорился с художником Л. О. Пастернаком об иллюстрациях для «Воскресения» — всё ещё повести, в понимании автора, хотя переговоры с будущим её издателем подталкивали Льва Николаевича к переработке повести в большой роман, с которого Адольф Маркс сорвал бы куш, но который бы (то есть права на его публикацию) и продать ему можно было очень дорого.

Соня в связи с этими переговорами вспоминает в дневнике старый грех мужа, им самим упомянутый в приведённом выше письме В. Г. Черткову: продажу в 1862-м в журнал Каткова повести «Казачи» из-за карточного долга, и, в связи с этим, «кстати» сетует на «торговлю душой человеческой» (Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 416). Вероятно, читателю не надо напоминать, что тогда, в 1860-х, и позднее, в 1870-е гг., когда денежки с продаж шли на обеспечение её с детьми барской, зажиточной жизни в Ясной Поляне, а не на убиваемых, ненавидимых её «отчизной» духовных христиан — Соня отнюдь не возражала против такой торговли!

Биограф, друг Толстого и активный участник событий П. И. Бирюков приводит следующий текст договора Толстого с издателем:



«Адольту Фёдоровичу Марксу. Предоставляю редакции "Нивы" право первого печатания моей повести "Воскресение". Редакция "Нивы" платит мне по тысяче рублей за печатный лист в 35 000 букв. Двенадцать тысяч рублей редакция выдаёт мне теперь же. Если повесть будет больше двенадцати листов, то редакция платит то, что будет причитаться сверх 12 000; если же в повести будет менее двенадцати печатных листов, то я или возвращу деньги, или дам другое художественное произведение.

Лев Толстой.

12 октября 1898 г.» (Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 311).

«Само печатание романа — замечает тут же биограф, — должно было начаться с марта следующего года сразу на всех главных европейских языках. Это было исполнено и доставило Л. Н-чу немало хлопот» (*Там же*).

Адольф Маркс “нагрузил” автора пожеланиями о своей недешёвой покупке, и, как назло, необходимость напряжённой работы совпала у Толстого с простудой и ослаблением сил. Да тут ещё, с письмом от Эйлмера Моода, пришли известия о непростых переговорах его с канадским правительством об условиях переселения духобор в Канаду. И Толстой был в эти дни обременён сомнениями в том, как он пишет В. Г. Черткову в раздражённом письме 15 октября, «стоило ли столько трудов и отступлений от требований христианства для того, чтобы от одного бессердечного и жестокого хозяина перейти к другому, не менее, если ещё не более бессердечному» (88, 133).

Но вот 20-го октября от Маркса был получен аванс в 12 тысяч, и Толстой повеселел. Давние знакомцы, адвокаты Василий Алексеевич Маклаков (1869 – 1957) и Фёдор Никифорович Плевако (1842 – 1909) помогали Толстому со “скоростным” теперь сбором материала для «Воскресения». Верный Леопольд Антонович Сулержицкий готовил переезд духоборов и только что воротился с добрыми новостями. О своих похождениях Суллер сообщает в своих записках следующее:



Леопольд Антонович Сулержицкий

«Опросив все агентства, я нашёл в Марсели дешевле других пароход: „Les Andes“, который, имея все приспособления для палубных пассажиров, просил за рейс из Батума в Квебек 84 000 рублей. Поднять он мог только 1 300 чел., следовательно, переезд одного человека от Батума до Квебека обошёлся бы около 65 рублей. Кроме того, за проезд по Канадской Тихоокеанской жел. дор. нужно было заплатить приблизительно по 10 руб. с души. Итого 75 руб. за проезд каждого человека. Это было ещё настолько дорого, что переехать всем в этом году не хватило бы средств.

Тогда я решился нанять простой грузовой пароход без всяких приспособлений для пассажиров, без команды, за исключением самого необходимого количества машинной команды и рулевых, с тем, чтобы самому приспособить его для перевозки пассажиров и организовать команду из молодых духоборов.

[...] При найме парохода нам нужно было выговорить право делать необходимые постройки, т. е. нары для пассажиров и другие приспособления. С пароходной компании, так же как и с капитана парохода снималась всякая ответственность за пассажиров. Пароход нанимался на рейс весь, со всеми своими помещениями, и компании не должно быть никакого дела до того, чем я, как временный владелец, нагружу его в Батуме.

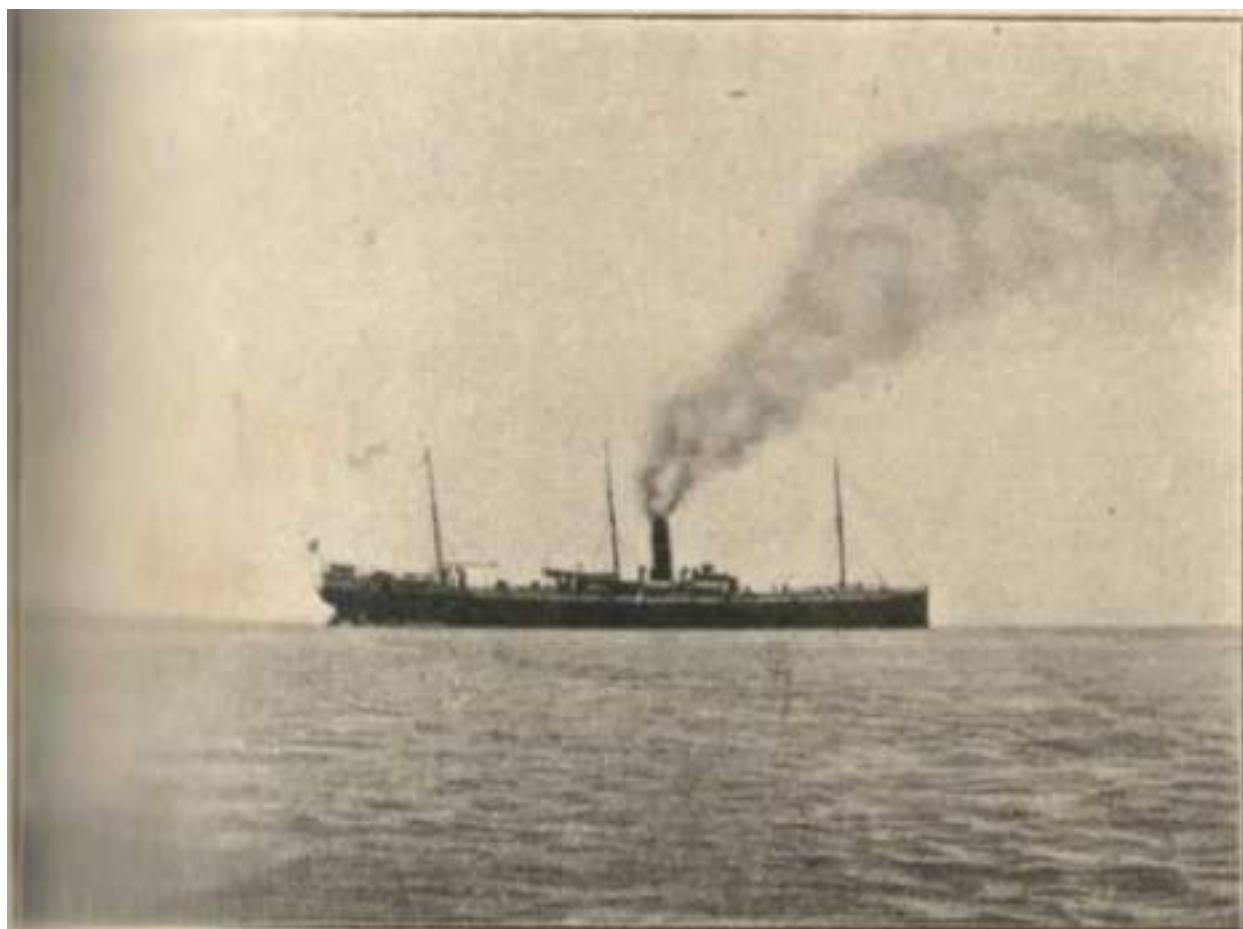
При помощи конторы Малевича в Батуме, после долгих поисков во всех заграничных портах, в Ливерпуле найден был подходящей пароход „Lake Hurone“ и на тех же условиях „Lake Superior“. Оба эти парохода ходили обыкновенно между Ливерпулом и Квебеком.

[...] По моему расчёту, „Lake Hurone“ мог поднять более 2 000 человек. За рейс от Ливерпуля в Батум, который он в виду поспешности должен был сделать порожним, и далее из Батума в Квебек или если река Св. Лаврентия замёрзнет к тому времени, то в Сен-Джон, судовладельца спросили 56 000 рублей.

Если разложить эту сумму на всех живших в Тифлисской губ. духоборов (2 140 человек), которых я рассчитывал взять с этим пароходом, то переезд до Квебека каждого человека обойдётся всего лишь в 27 р.

Немедленно был заключён контракт, по которому „Lake Hurone“ поступал в полное моё распоряжение. [...] Через несколько дней на таких же условиях за 60 000 руб. был нанят „Lake Superior“ с той только разницей, что в Батуме он должен простоять 7 дней, что было необходимо для того, чтобы растянуть промежуток между приездом двух партий в Канаду. Нанимателем второго парохода значился Сергей Львович Толстой. Вскоре он приехал на Кавказ, чтобы подготовить свою партию к выезду, т. е. 1 600 Елисаветпольских и 700

карских, а также, чтобы, приняв „Lake Superior“, сделать на нём необходимые перестройки и вести его до Канады» (Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 14 – 16).



Пароход «Lake Huron», эвакуировавший из России духоборов,  
на батумском рейде.  
*Ноябрь 1898 г.*

С. А. Толстой сопровождал вторую партию духоборов в Америку. Пароход с духоборами, на котором ехал С. А. Толстой, «Lake Superior», вышел из Батума с 2000 духоборов 23 декабря 1898 г.

Не напрасно в это же время явился в Ясную Поляну и Герберт Арчер, помощник Черткова и Моода в переводе и издании в Англии сочинений Л. Н. Толстого. В последующие месяцы ему суждено будет обеспечивать в Англии интересы, пожалуй, самого экстравагантного из писателей эпохи: желавшего получить деньги за издание переводов романа (пусть даже и для нужд духоборов!), не обеспечивая прав собственности на эти переводы. Надорвавшись на этом, Арчер в начале 1899-го сбежит сам в Канаду, помогать духоборам обустроиться на месте — оставив титаническое, затаянное дело с романом В. Г. Черткову. По счастью для Владимира Григорьевича, в июле

1899 г., когда эпопея спасения из России духовных христиан была в основном позади, Толстой стал менее щепетилен в отслеживании переводов и даже — страшно сказать! — выразил в письме к Черткову простое желание просто уставшего человека: расторгнуть все контракты с издателями и переводчиками, тупо послать их всех на... туда, куда давно хотелось, и просто просить «как издателей, которые будут перепечатывать роман, так и читателей» жертвовать средства в основанный Чертковым Духоборческий фонд в Англии. Прикинув возможное число судебных исков и неизбежный скандал, Владимир Григорьевич сумел тогда отговорить друга и учителя от необдуманного шага (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1960. Кн. 2. 1891 – 1910. С. 325 – 326*).

Софья Андреевна смирилась и, как и многие другие, не разделяя Христовой истинной веры ни с мужем, ни с духоборами — всё же включилась в общее доброе дело помощи спасаемым из России её жертвам. Например, в письме к жене Толстого от 3 или 4 ноября 1899 г., в числе прочего — речь о деньгах, посылаемых на обустройство в Канаде переселившихся духоборов:

«Посылаем на Козловку, и я надеюсь получить от тебя известие, которое очень мне нужно, хочется знать, как ты себя чувствуешь. Мы с Таней ездили вчера в Тулу. Я видел Плевако и Маклакова, которых встретил, они ехали к нам и сделали, что мне было нужно. Денег оказывается больше, чем я думал. Если ты не послала, то пошли 10 000, а остальные оставь. Если послала, то всё равно. Это не важно.

Я чувствую себя хорошо, благодаря своему воздержному режиму, и *порядочно* работал. Целую тебя, Сашу, Мишу, и радуюсь мысли скоро увидеть тебя.

Л. Т.» (84, 345 – 346).

Речь в письме идёт о посылке денег духоборам из средств аванса за «Воскресение», частью же из пожертвований. Посылались деньги в то время на имя правительственного агента, ведавшего расселением духоборов в Канаде, Мак-Крири (см. письмо к нему Толстого от 12 ноября 1899 г. нового стиля. – 72, 233). Духоборам Толстой писал об этом следующее 6 ноября: «Посылаю вам собранные деньги. Я полагаю, что хорошо бы было считать эти деньги, так же как и другие средства, которые вы получаете от добрых людей и от работающих братьев, общим достоянием и не делить по душам, а давать больше тем, у кого больше нужда» (*Там же. С. 238*). При содействии Мак-

Крири духоборы получали работу на железной дороге. При этом, однако, сам Мак-Крири смотрел на новоприбывших, как на продажный (работодателям) дешёвый трудовой скот, и скоро такие идеалисты дела переселения, как добросердечный и нравственно чуткий Леопольд Сулержицкий, порвали с ним отношения. Известясь о крайностях характеров и Мак-Крири, и Суллера, Толстой стал посылать деньги другому помощнику на месте, Герберту Арчеру (бежавшему, как мы помним, из Англии, от В. Г. Черткова и мороки с публикацией романа «Воскресение»), сочетавшему в себе чувство справедливости с английским практицизмом и сумевшему найти общий язык с Мак-Крири и подобными ему.

Софья Толстая отвечала мужу письмом *ночным* с 5 на 6 ноября:

«Сегодня получила твоё письмо, милый Лёвочка, но уже поздно было изменить посылку денег. Из Тулы получено было 2822 р. 55 к. и от Маркса 6660 р. 90 к. С прежними выходило 10 900 р. с чем-то, забыла. Я подумала, подумала да и послала 9000 р., а 1900 с чем-то осталось. Можно опять послать, это очень не дорого и просто делается» (ПСТ. С. 730).

В переписке с Адольфом Марксом, в письме 17 ноября 1898 г., Толстой окончательно согласился называть «Воскресение» романом (71, 491). Он рассчитывал кончить основные работы над романом до 1 декабря, уже дав обещание жене переехать около этого срока в Москву. В коротеньком письме 1 ноября духовно близким людям, Альберту Шкарвану и Хрисанфу Абрикосову, Толстой сообщал: «Я никогда не был так занят и делом духоборов, и отношениями самыми радостными с разными лицами, и, главное, своим Воскресением. Я так увлечён этим делом, что думаю о нём день и ночь. Думаю, что оно будет иметь значение» (71, 477).

Значение этого тяжелейшего труда для судеб спасённых из и от России духоборов и их современных потомков в Канаде и других странах свободного, цивилизованного мира — трудно переоценить. Но, конечно, подробное рассмотрение истории писания и публикации Толстым романа и отправки четырёх партий духоборов выходит за рамки нашей темы. В завершение данной части Главы седьмой ограничимся краткими сведениями из книжечки Леопольда Антоновича (к которой, как и к воспоминаниям С. А. Толстого и других участников духоборческой эпопеи мы и отсылаем за подробностями читателя).





Духоборы с детьми на спардеке «Lake Superior»  
по пути с Кипра в Квебек. 1899 г.  
Фотография Джона Беллоуза

«1) И так 10 декабря 1898 г. из Батума вышел „Lake Hurone“ с 2.140 чел. ссыльных духоборов. Благодаря жестоким бурям в пути он был 32 дня и прибыл в С.-Джон 11-го января 1899 г.

В пути умерло 10 человек. Родился 1.

2) 17 декабря 1898 г. из Батума вышел „Lake Superior“ с 1 600 чел. елисаветпольских и 700 чел. карских духоборов — всего 2 300 чел. В пути был 27 дней и прибыл в С.-Джон 15-го января 1899 г., где и был задержан на 27 дней в карантине по случаю распространившейся на пароходе во время плавания оспенной эпидемии. В пути умерло 6 человек.

3) 15 апреля 1899 г. с острова Кипра вышел „Lake Superior“ с 1 010 чел. духоборов. В пути был 26 дней и прибыл в Квебек 10 мая 1899 года. В пути умер 1 человек, родился 1.

4) В конце апреля 1899 г. из Батума вышел „Lake Hurone“ с 2.300 человек карских духоборов. В пути был 27 дней и, придя в Квебек, был задержан на 27 дней по случаю распространившейся в пути между духоборами оспенной эпидемии.

В дороге умерло 4 человека» (Сулержицкий Л.А. Указ. соч. С. 19).

В Канаде духоборы расселились в трёх районах. На «северном участке», по р. Сван-ривер (Swan-River) построили свои селения «холодненские» ссыльные духоборы, прибывшие с первым пароходом.

На «южном участке», по равнине Дед-Хорс-Крик (Dead Horse-Creek) и Уайт-Сенд (White-Sand) поселились карские и елисаветпольские духоборы второго парохода. Там же между речками Дед-Хорс-Крик и Стони-Крик (Stony Creek) обосновались «холодненские» духоборы с о. Кипра. Последняя партия, карских духоборов, которую сопровождали В. Д. Бонч-Бруевич, А. Н. Коншин, В. М. Величкина и Е. Д. Хирьякова, прибывшая с четвёртым пароходом, расселилась частью на южном участке, частью в провинции Принца Альберта (Prince Albert land) по р. Саскачеван (Saskatchevan). Туда поехали зажиточные семьи и бедняки, бывшие у них в материальной зависимости.

Хозяйства духоборческие сложились в три формы: 1) частные хозяйства, 2) временные общины и 3) общины. Частные хозяйства вели по преимуществу елисаветпольские и карские зажиточные духоборы южного участка и особенно на земле принца Альберта.

В июне 1899 г. по инициативе одного из сектантов, некоего В. Потапова состоялась «съездка» представителей духоборческих сел, на которой Потапов призывал к объединению в одну общину. Но опыт ближайших же недель доказал невозможность проведения в жизнь принципа полного коммунизма: работы на отхожих промыслах выполнялись неряшливо, отдельные духоборы бесконтрольно и без развёрстки брали товары под заработок для личных потребностей и т. п. Лишь после того, как снова разделились по деревням, производительность труда улучшилась. По мере накопления отдельными духоборами денег и собственности, многие семьи выделялись и жили частным хозяйством. Общинами в полном смысле этого слова жило к 1 января 1900 г. 1605 человек, т. е. немного более одной четверти всех переселенцев. На всех трёх участках имели место два типа таких общин: придерживавшихся коллективного способа производства и полного коммунизма с крепкой внутренней организацией.

Спасением из России Лев Николаевич не ограничил своего общения с христианами духовного братства и своей помощи им. К началу 1900 г. почти завершилась эвакуация тех, на глотке кого тётя родина ослабила бульдожьё хватку — дав разрешение. Но среди мучеников оставалась ещё духоборы «якутской» партии — то есть, сосланных падлой тётенькой на погибель в Якутскую область. За них Толстому пришлось радеть особливо — писать императору (об этом письме скажем чуть ниже). С другой стороны, как изящно сообщает нам биограф и, по совместительству, толстовец Павел Бирюков: среди переселившихся «духоборческий идеал "христианского всемирного братства" достигался с большим трудом и далеко ещё не был выполнен до конца» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 4. С. 6*).



Духоборки на улице в Виннипеге. 1899 г.  
Фотография Джона Беллоуза

Формулировочка лукава... «Идеал» на то и «идеал», сказал бы Толстой, что он в принципе не достижим, не может быть «выполнен до конца». Да оно и не требовалось и не требуется от людей, соединивших себя со Свободным Миром, с благородной евро-атлантической цивилизацией. Люди этого мира, по существу, за XIX и XX столетия пришли постепенно к тому, о чём мечтал Толстой — в той степени, в которой это посылно реальной человеческой природе. Элементы коммунитарного и общинного самоуправления, социальное и правовое государство, гармоничные отношения здоровых и радостных людей друг с другом и, хотелось бы надеяться — с природой, уже в скором грядущем... А на месте отжитых религиозных суеверий и идолопоклонства — именно такая «разумная вера», экзистенциальное и нравственное руководство в жизни, о котором мечтал Толстой. Счастливым людям и народам и не нужно иного...



Отдельное (бесцензурное) издание писем Л.Н. Толстого к духоборам.  
Изд. Гуго Штейниц. Берлин, 1902

Но это нам, с “высоты” наших 2020-х, видится такая добрая тенденция. Толстой же, не живший долго никогда и давно, к концу 1890-х, не бывавший за границей, и совершенно, к сожалению, не побывавший ни разочка в гостях у справедливо любимых им американцев — искренне опасался за духоборов, не зная, чему и верить в сумятице слухов, доходивших до него. Толстой получал известия непосредственно из Канады, но его корреспонденты, не соприкасавшиеся ранее с духоборами и составившие себе представление о них, как о «фриках», непонятных сектантах, мучениках идеи, были удручены прозаическими явлениями их жизни в это переходное время. В письмах к Толстому они не скрывали своего скепсиса и, быть может, не всегда объективно описывали создавшееся положение, иногда противореча друг другу, но все сообщения в основе сводились к

одному: духовный подъём большинства духоборов понизился, и новые формы жизни далеко отошли от духоборческих идеалов. И поэтому в период с декабря 1899 г. по середину февраля 1900 г. Толстой не пишет, а трудоёмко *составляет* и, наконец, отсылает В. Г. Черткову известное письмо «Духоборам, переселившимся в Канаду», сперва размноженное Чертковым в двух тысячах экземпляров для рассылки духоборам, а позднее опубликованное в газете «Свободная мысль» (№ 5 – 6 за 1900 г., стр. 77 – 80). Приводим полный текст этого письма в Прибавлении № 4 к данной Главе.

В декабре 1900 г. Толстым было получено от проживавшего вместе с духоборами в Канаде А. М. Бодянского известие о намерении вернуться в Россию одиннадцати духоборческих женщин, — девяти жён и двух матерей духоборов, сосланных за отказ от воинской повинности в Якутскую область на поселение. До августа 1896 г. отказывавшиеся от военной службы сектанты отбывали наказание в дисциплинарных батальонах. Согласно высочайше утвержденному 5 августа 1896 г. постановлению Комитета министров, форма наказания была изменена, и все отказавшиеся были сосланы в отдалённые районы Якутской области на восемнадцать лет. При следующих призывах отказавшиеся ссылались туда же. Полученное духоборами разрешение покинуть Россию не распространилось на тех, которые отбывали наказание в Якутской области, но духоборы были уверены, что и сосланные получат скоро возможность переехать в Канаду. В виду этого семьи некоторых из ссыльных отправились в Канаду с партиями переселенцев, а остальные тогда же переехали в Якутскую область. 18 мая 1899 г. на ходатайство сосланных духоборов был получен отказ, и их матери и жёны решили вернуться, чтобы поселиться вместе с ними в Якутской области. Без особого разрешения сделать этого было нельзя, так как духоборы были выпущены из России без права возвращения на родину.

И тогда Толстой идёт на смелый шаг: пишет царю письмо с просьбой об освобождении и якутских духоборов от злой участи под названием «Россия» (датировано: 7 декабря, из Москвы). Приводим ниже текст первой редакции этого послания, с датировкой 4 – 5 декабря, как наиболее эмоциональной и неподцензурной, откровенной:

«Ваше Императорское Величество, государь Николай Александрович!

Вы наверно не знаете и одной тысячной тех ужасных, бесчеловечных, безбожных дел, которые творятся вашим именем. А если что и

знаете, то оно представляется вам в таком превратном виде, что не видите всей бесчеловечности и часто глупой, скорее вредной, чем полезной тому делу, которое защищается, жестокости, с которой они творятся. Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека — это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдёт в историю — Победоносцевым.

Тысячи и тысячи лучших, высоконравственных, чистых, религиозных, убеждённых людей, тех, которые составляют силу народа, уже погибли в нужде и изгнании и теперь гибнут только за то, что они лучшие люди среди народа. А сколько жён, детей этих людей мучалось, голодало и умерло и теперь умирает в нужде и разлуке медленной смертью. Цвет населения не только Кавказа, но России, духовоборы, несмотря на все мученья и страдания — их вымерло больше 20% — бросили навсегда своё отечество, Россию, с презрением и ужасом вспоминая всё то, что они перестрадали в ней. 5000 человек молокан карских, столько же эриванских, тоже лучшие из русских людей (прощение которых о выселении я переслал вам), молокане ташкентские, христиане харьковские, киевские, десятки тысяч людей только одного желают — покинуть своё отечество, страну дикого изуверства, гонений и насилия, и, отряхнув прах от ног своих, уйти туда, где людям не мешают исповедовать Бога так, как они понимают Его.

Я стар, мне жить осталось немного, и я давно уже собирался перед смертью сказать вам это: я считаю это своею обязанностью перед Богом, к которому я иду. Полученное мною письмо из Канады, которое при этом прилагаю, заставило меня, не дожидаясь более, сделать это.

Прочтите это письмо, оно короткое и предназначалось не для вас. Из него вы увидите всё и поймёте, если у вас точно доброе сердце, как говорят про вас. Несчастные эти люди, и не они одни (сосланы еще неповинные братья Веригины, где и томятся больше десяти лет в самых ужасных местах Сибири) сосланы в Якутскую область. Жёны и молодые женщины, свободные, живущие в достатке, после 5 лет разлуки просят, как милости, возможности разделить с мужьями их страдания.

Как ни трудно верить, что у вас доброе сердце, по тем ужасам, которые не переставая совершаются вашим именем — я верю в вас. И когда вы были больны, мне было жаль вас, я боялся, что вы умрёте и без вас будет хуже. Я на вас почему-то надеюсь. Прочтите сами это письмо и, когда уляжется в вас чувство оскорблённой, раздутой

гордости, которое вызовет в вас это моё письмо, подумайте, сердцем подумайте (*les grandes et les bonnes pensees viennent du coeur*) (*фр.* Великие и добрые мысли идут от сердца.) и сделайте то, что вам подскажет это ваше доброе сердце.

Прогоните от себя этого злого и бездушного старика Победоносцева, который компрометирует вас и перед русским народом, и перед Европой, и перед историей, велите пересмотреть и уничтожить нелепые, противоестественные и позорные законы о гонениях за веру, которых нет ни в каких государствах и которые позорят тех, кто их поддерживает, прекратите всякие гонения за веру и верните всех сосланных, заключённых за то, что они исповедуют ту веру, которую даже не исповедуют ваши советчики, а только считают, что надобно исповедовать. Вы обязаны это сделать, потому что вы знаете, что гонение за веру дурно, и знаете, что десятки тысяч людей вашим именем подвергаются за веру страданиям, и знаете, что можете прекратить этот порядок вещей. Если же вы не сделаете этого, вы не можете не чувствовать себя виноватым, не можете спокойно отдаться никакому простому и доброму человеческому чувству; ни любви к семье, ни к людям, не можете спокойно пользоваться никакой радостью, не можете молиться (Мф. V, 23, 24): "...Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойдй прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой".

Если я не ошибся в вас, письмо это не огорчит вас. А если огорчит, то это так и надо. Надо, чтобы вы почувствовали себя виноватым для того, чтобы исправиться. А чувствовать себя виноватым сначала тяжело, но потом особенно радостно.

Простите меня, если что не так написал. Помогите вам Бог сделать то, что Ему угодно, и стало быть и лучшее для самого себя.

От всей души желающий вам добра. Л. [Толстой]» (72, 516 – 518).

Подцензурный вариант письма, отправленный адресату, был существенно смягчён и, как признаёт П. И. Бирюков, «к сожалению, после исправления письмо это потеряло значительную часть своей силы и остроты» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 4. С. 6*).

К письму Толстого было приложено письмо Бодянского из Канады. Письмо было передано Николаю II при содействии близкого знакомого семьи Толстых, судебного деятеля Н. В. Давыдова. Участи ссыльных оно не отменило, но достигло своей «минимальной» цели:

жёны сосланных в Сибирь духоборов получили разрешение вернуться в Россию.

---

## 7. 2.

### АНТИВОЕННАЯ ТЕМА В РОМАНЕ «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Как ни значительны для нашей темы обстоятельства, связанные с употреблением Львом Николаевичем гонорара от своего романа «Воскресение» на спасение учеников Христа и врагов войны, с удовольствием рассказав читателю о средствах помощи писателя и исповедника Христова тем, на кого несомненно он повлиял духовно — мы не можем наконец не задержать внимание и на антивоенной теме, как она себя выразила в самом романе. В этом отношении «Воскресению» не повезло: сюжет его позволил Толстому вволю “пройтись” по традиционной российской религии, по судилищам, тюрьмам, каторге, сборищам революционеров и проч. — но не по военщине!

Впрочем, с иной точки зрения — антивоенного в романе *много*. Его христианская, выраженная в названии романа тема — воскресение человека к *вере живой*, то есть вере, руководящей помыслами и поступками, к христианскому пониманию жизни, к жизни духа и разумения, к сознательной жизни в Боге и в познанной через Христа, через благовестия Нового Завета, воле Его. С этих же, христианских, позиций не только тюрьмы и судилища, но и вся деятельность государств имперского извода, вся жизнь обществ, не устремлённых к исконному христианскому идеалу: общинам и Церкви — жизнь незаконная. Устремление человека к слиянию своей воли с волей Бога открывает путь к освобождению от детерминаций первобытной животности — тех страхов и страстей, которые привели человечество к возникновению разбойничьих вооружённых гнёзд, превратившихся в их усилении, развитии своём в сущностно, неизбывно разбойные и палаческие государства — такие, как Россия. Такие государства и составляющие их общности подданных или даже граждан не могут по определению, по сущности своей служить Богу и Христу: их задача — не побарывать первобытные, как зверюшек Дарвина, влечения людей, а нацеплять на них павлиньи украшения «целесообразности», мнимой «необходимости» и даже сакральности, главное



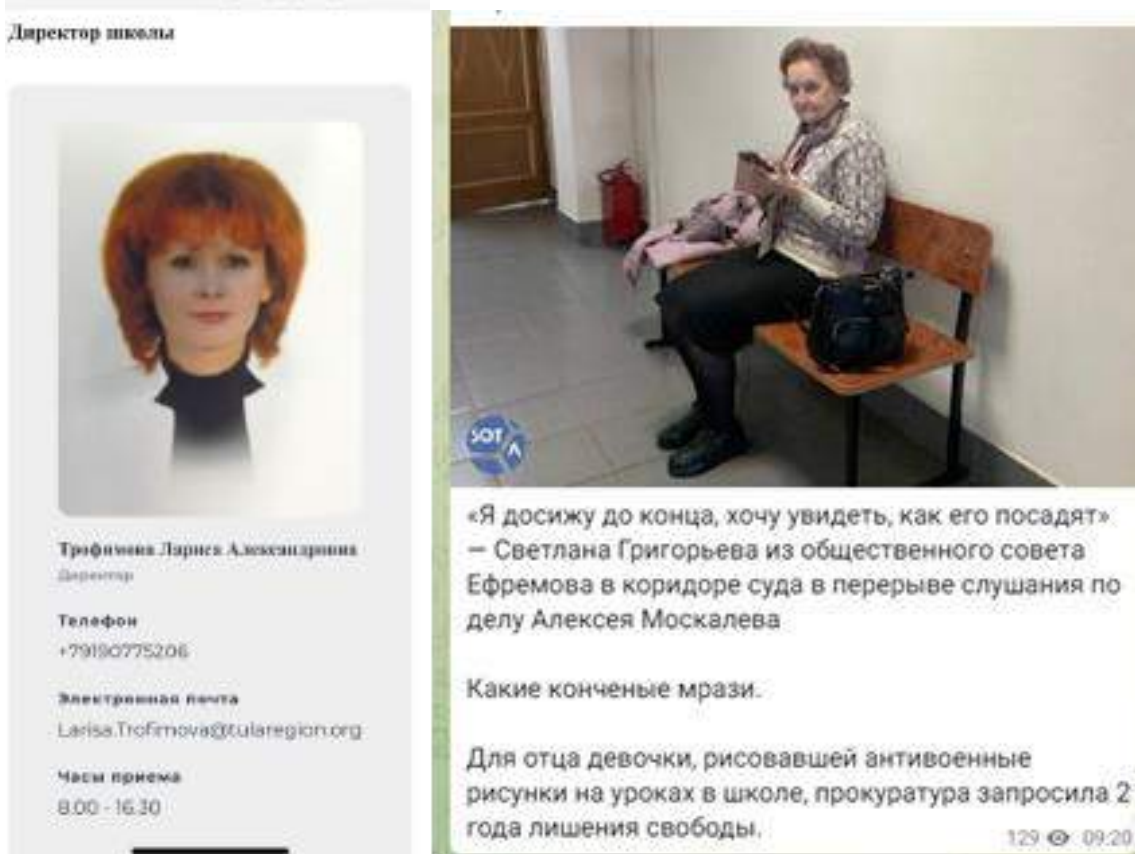
же — под этими красивыми перетолкованиями не только не уничтожать, а вводить их в норму и систему. В частности, прямое ограбление чужого труда, одно из фундаментальных влечений человека как животного (хорошо наблюдаемое в вороватом поведении т. н. “высших” приматов, обезьян, в дикой природе) — то, с чего начинались первые разбойные гнёзда ещё позднего каменного века — приняло форму сбора податей, на современном языке — налогов. А на налоги содержится не только военщина, но и вся та мундированная и безмундирная (например, палач) сволочь, которая “населяет” судилища, тюрьмы, этапы, полуэтапы и прочие казённые притоны, по которым автор проводит центральную пару своих персонажей, Катерину Маслову и Дмитрия Нехлюдова, а также множество других жертв мирских лжи и зла. «Порочные люди», подчёркивает автор, которые берутся судить и исправлять других порочных людей — менее хитрых, сдержанных и удачливых, а часто и “низких” в миру, бедных и простых — и оттого беззащитных перед общественным фарисейством.

Так точно в России конца 1990-х, и особенно путинской эпохи, в моральные наставники и цензоры, в воспитатели, и отнюдь не одних своих выблядков, а всего большого общества, полезли преуспевшие бандыри, барыганы и рэкетмэны. Последние, именно деятели рэкета, пока занимались этим своим “заработком” — в наибольшей степени сближались в своих ментальных и поведенческих структурах с первобытными грабителями, даже и с обезьянами. То есть — с истоками государственности. А с началом в 2010-х прямого разбоя России в Украине к этой зрелой сволочи присоединилось младшее поколение — мародёры, насильники, палачи, уголовники подпутинской ЧВК «Вагнер» и “дружественных” им структур — тоже живые, ходячие (к сожалению) иллюстрации исконной сущности государств.

Но у этих цинично-открытых разбойников не было бы силы и власти — на давай им разнообразную “крышу” другие подлецы на жалованьи из бюджета: от полицаев, преследующих в современной России людей, называющих вещи своими именами (войну войною, мародёров мародёрами, насильников насильниками и убийцами — убийц), до, скажем, паскудной училки из г. Ефремова (Тульская область), по “велению сердца” (и засратых пропагандой мозгов) “настучавшей” зимой 2023-го на свою ученицу за антивоенный рисунок.

Казённые изделия, насквозь порочные пороками двух преступных режимов: коммунистического и путинского — заботятся об осуждении и наказании невинных! По крайней мере, в век Льва Толстого большинству в России скатиться до *такой* подлости, до *такого* пользования общественным суеверием, оправдывающим судилища и

наказания по суду — мешала, хотя и церковная, но всё-таки искренняя религиозная вера, нравственные табу! Запрет на подлость присутствует даже в поведении хищных животных — но только не обитателей фашизированного и шизофренизированного «русского мира»!



Участницы преследования семьи Москалёвых (отец и дочь) за антивоенную позицию. *Ефремов, Тульская обл. Март 2023 г.*

Так что, как и в случае с «Войной и миром», а в особенности с «невоенным» по основной тематике романом Льва Николаевича «Анна Каренина», в «Воскресении» не только всё увязано одним «большим дыханием» художественного гения, но многое, так или иначе, окольными тропками выводит на тему войны и военщины, и даже предельно актуализирует её для нашей современности... В целом, однако, как мы и сказали в начале, роман «Воскресение» — не «про войну», так что не только антивоенных суждений, но и образов именно военных в нём не так много. Значительнейшим исключением являются подробности военной службы молодого Дмитрия Нехлюдова в начале романа — «прозрачная» аллюзия на покаянного ближайшего друга Л. Н. Толстого и «толстовца № 1», выходца из военных, Владимира Черткова.

Продолжая развивать мысли, высказанные в «Войне и мире», «Анне Карениной», в публицистических статьях (в особенности в «антидрагомировской» «Carthago delenda est» 1896 года) Толстой в «Воскресении» поднимает прежнюю тему, актуальную для него со времён кавказских повестей, тему влияния условий военной службы на нравственность человека:

«Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в неё в условия совершенной праздности, — то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождения их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам» (32, 49). В полной мере это тлетворное влияние военной службы сказалось и на формировании внутреннего мира главного героя романа — князя Дмитрия Нехлюдова. Даже и с «бонусом», который оказался доступен ему по общественному статусу: «Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется ещё и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов...» (Там же. С. 49 – 50).

И в художественных сценах, и в авторских отступлениях писатель настойчиво подчёркивает мысль, что именно на военной службе в Дмитрии Нехлюдове произошла «страшная перемена» — окончательно завершился исподволь подготавливаемый ложным кастовым воспитанием процесс превращения его из чистого и доброго юноши, обладавшего богатыми духовными задатками, в порченного тётей родиной человека, утончённого эгоиста, для которого стали иметь значение только собственные удовольствия и наслаждения.

В годы студенчества, живя летом у тётушек, в усадьбе, Дмитрий увлекается поэзией и философией и являет собой яркий тип юноши, понимавшего «всю красоту и важность жизни», а при этом и «одного из тех людей, для которых жертва во имя нравственных требований составляет высшее духовное наслаждение» (Там же. С. 43). По велению благородных разума и сердца, он отдаёт крестьянам наследственный, от отца, надел земли — часть богатой вотчины, пожалованной предкам Нехлюдова, вероятно, за военную службу.

Знакомство и общение его с Катюшей Масловой, «полуторничной-полувоспитанницей» тётушек, «черноглазой, быстроногой» так же

исполнены естественных для человека нравственной и половой чистоты: «Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения» (*Там же. С. 44*). Отношения любви, постепенно зародившиеся между ними, так же были чисты, невинны:

«Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него и для неё. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. [...] Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда всё его существо чувства радости жизни, разделяемое этой милой, весёлой девочкой» (*Там же. С. 46 – 47*).

«Лучшее богопочитание есть благодарная радость» (41, 357). И отношения этих двоих, пока не наложил на них лапы поганый «русский мир», искалечив каждого из двоих по-своему — были ближе всего к тому, чем и должен быть в Божьем мире человек как сознательное дитя и работник всехнего нашего Отца.

Но совсем иным существом возвратился через три года к тёткам и Катюше офицер гвардии Нехлюдов:

«Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело, — теперь он был развращённый, утончённый эгоист, любящий только своё наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать, — теперь всё в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. [...] Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом, — теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жён друзей, было очень определённое: женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения» и т. д. (*Там же. С. 47*). Именно как с такой женщиной обошёлся в этот визит в имение Нехлюдов с подругой юности — тем толкнув Катюшу на тот тяжёлый жизненный путь, который в патриархально-сексистской гнуси «русского мира» именуется «падением», даже «гибелью» женщины. От чего-то всё-таки женщины... Но это, к счастью, уже не наша тема.

Читая характеристику апгрэйженного тётей «родиной» Нехлюдова в главе XIII Первой части романа, читатель не напрасно, не случайно

заметит сходство авторской риторики — с его же, Льва Николаевича, риторикой в «Исповеди»: именно страницах, посвящённых описанию развращения миром, мирской ложью, молодого Льва:

«Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. [...] Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком» (23, 4 – 5).

И так далее... Но точно так же, как «Исповедь» Л. Н. Толстого отнюдь не во всём точна и уж совершенно не автобиографическое сочинение, так и, с другой стороны, путь жизни персонажа романа, Дмитрия Нехлюдова, в целом далёк от биографии как автора, так и прототипа (Владимира Черткова), но не лишён, однако, и некоторых именно толстовских *черт автобиографизма*:

«И вся эта страшная перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного я, ищущего лёгких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, всё уже было решено и решено было всегда против духовного и в пользу животного я. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей, — веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его.

Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, — все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тётка его с добродушной иронией называли его *notre cher philosophe*; [*фр.* наш дорогой философ;] когда же он читал романы, рассказывал скабрёзные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их, — все хвалили и поощряли его» и т. д. (*Там же. С. 48*).



Афиша экранизации романа «Воскресение» в США. 1927 г.

Итак, сперва жизнь в столице, а позднее, и в особенности, военная служба — гнусно развращают Нехлюдова. Армия сделала из стыдливого юнца настоящего... нет, не «мужика»: хотя бы потому, что в эпоху Толстого слово это имело семантику принадлежности того человека, которого так называли, к сословию трудящегося народа, крестьян. Сделала же военная служба из Нехлюдова — нехорошую *пародию* на его же, прежнего. «Уж не пародия ли он?» К несчастью для Катюши Масловой, она не была настолько развита, чтобы задаться такими размышлениями — даже имея, в отличие от героини Пушкина, возможность *вспомнить и сравнить*.

Офицер гвардии Нехлюдов, как и его товарищи, не только не стыдится своей беззаботной, паразитической жизни, но, напротив, чувствует «восторг освобождения от всех нравственных преград», пребывает в состоянии хронического «сумасшествия эгоизма» — кстати сказать, подсмотренном Толстым дома, в поведении жены и детей

(32, 49 – 50; ср. 58, 135; 84, 330). В состоянии такого «восторга» Нехлюдов совершает поступки, «бессердечие, жестокость, подлость» которых он, по сюжету книги, осознаёт только благодаря суровому самоанализу, напряжённой внутренней работе, той «чистке души», которая никогда, с отроческих лет, всё-таки не прекращалась в нём, и в результате которой он, падая и поднимаясь, упорно шёл к своему *воскресению*. В этом плане характерно и значительно для нас, что один из самых сильных моментов нравственного пробуждения он испытал тогда, когда, приняв решение оставить военную службу, вышел в отставку (*Там же. С. 102 – 103*).

Страницы «Воскресения» населены также и лицами, которые, в противоположность Нехлюдову, не терзаются угрызениями совести, не порывают с казённой службой, а, напротив, добиваются «примирения либеральности и гуманности с своей профессией» (32, 421) и благополучно достигают высоких местечек, чинов и званий. К таким лицам относится, в частности, Масленников, бывший товарищ Нехлюдова по военной службе.

В LVII главе первой части романа идёт речь о том, что Нехлюдов приезжает к своему товарищу по полку вице-губернатору Масленникову по тюремным делам. Нехлюдов печётся о пересмотре дела несправедливо, незаконно осуждённой Масловой и о допуске к ней и ещё некоторым заключённым в тюрьму. Остроумный адвокат Фанарин в разговоре с Нехлюдовым характеризует Масленникова так: «...Теперь губернатора нет, правит должностью виц. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете» — «Это Масленников?» — сразу, догадавшись, уточняет Нехлюдов (*Там же. С. 158*).

Иисус, без сомнения, шутил и смеялся! Потому что, верный Христов и Божий лвьёнок, Толстой мастерски умеет порадовать деликатным юмором читателя.

Масленников с первой встречи охотно готов слушать Нехлюдова, угодить ему. Но радуется он отнюдь не очнувшейся в Нехлюдове Птице Небесной, не духовному человеку, а — тому, единственному самому Масленникову, человеку порочному, каким полюбил в полку видеть приятеля. Каким не только был на службе, но и остался сам:

«Масленников был тогда казначеем полка <сближение с евангельским «предателем» Иудой. – Р. А.>. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший и не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернией и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая и заставила его перейти из военной в статскую службу.

Она смеялась над ним и ласкала его, как своё прирученное животное...

[...] Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда» (32, 170 – 171). Масленников и дома носит вицмундир — символ его пойманности, его *закрюченности* у мира. Вицмундир носил, и даже похоронен был в вицмундире — друг семьи Толстых, замечательный поэт Афанасий Фет, отдавший мирской лжи, исканиям признания и высокого статуса у мира, тяжёлую и нелепую для поэта дань.

Но, как видим, в «Воскресении» вся эта идейно-образная гиперсистема не столь страшна, как в «Войне и мире», где мир ловит в свои сети, политики и семьи, искупленную кровью и пробудившуюся, готовую взлететь Птицу Небесную — Пьера. Масленникову же — и по фамилии его каплунистой, обрюзгой летать не дано... Он дитя мира, и, год от года плешивея, толстея, этим самым внешне обозначает всё тяжелее придавливающий душеньку его груз — сладко-приятный, однако, как ортолан с трюфелью в желудке...

Мир взыскует от каждого своего, мирского. И только лишь необратимо порвав с миром, мы вправе рассчитывать на помощь Свыше. Нехлюдов *закрючен* последствиями своих же пороков и наказуем необходимостью искать у мира того, с чем праведный обращается в молитве к Богу: спасения и блага ближнего. Добившись своего в первом разговоре (а именно так и *закрючивает* свои жертвы мир), и не послушав умницу Фанарина в новом предупреждении о Масленникове («это такая, с позволения сказать, дубина и вместе с тем хитрая скотина». – 32, 177), Нехлюдов (в главе LVII Первой Части романа) едет к нему о Масловой и других узниках во второй раз. И попадает на гнусный светский «приём», устраиваемый по четвергам бойкой женой бывшего товарища. Тем унизительнее попытки Нехлюдова перевести разговор на те серьёзнейшие темы, ради которых он нанёс визит к вице-губернатору Масленникову.

Масленников, встретив Нехлюдова, увлекает его сначала в гостиную, где у его жены собралось светское губернское общество, и говорит: «Дело после; что прикажешь — всё сделаю» (32, 189). Снова пытается взбудить в Нехлюдове *единосущное* себе... Поговорив в гостиной сколько нужно было для того, чтобы соблюсти приличие, Нехлюдов просит Масленникова выслушать его, и они удаляются в японский кабинетик. Следующая глава начинается так:

«— Ну-с, je suis à vous. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить, — сказал он и принёс пепельницу.

— Ну-с?

— У меня к тебе два дела.



— Вот как.

Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно» (*Там же. С. 191*).

Из приведённого текста совершенно неясно, отчего лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло и почему исчезли следы того возбуждения, в котором он перед этим пребывал. Ведь Масленников знал, что Нехлюдов приехал к нему по делу и что этот деловой разговор, на время отложенный, всё равно состоится.

Пока Нехлюдов излагает боль своего сердца о безвинно, либо по ничтожным причинам, томящихся в остроге, из гостиниой раздаются бодрые реплики и взрывы смеха, иногда «даже натурального» (*Там же*).

Всемогущество и полная готовность услужить Масленникова лишь подчёркивают мучительность ситуации для Нехлюдова. А на следующий день, как похмелье — нравственная расплата, корреспонденция от Иуды:

«...На толстой глянцовитой с гербом и печатями бумаге письмо великолепным твёрдым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу, и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: “любящий тебя старший товарищ”, и под подписью “Масленников” был сделан удивительно искусный, большой и твёрдый росчерк» (*Там же. С. 193*).

Апофеоз безобразия этического и одновременно эстетического в этом эпизоде. Сальный поцелуй Иуды. Но не смятенного Иуды евангелий, а — «русско-мирного», православного: уверенного в своей власти... альтернативного умницы.

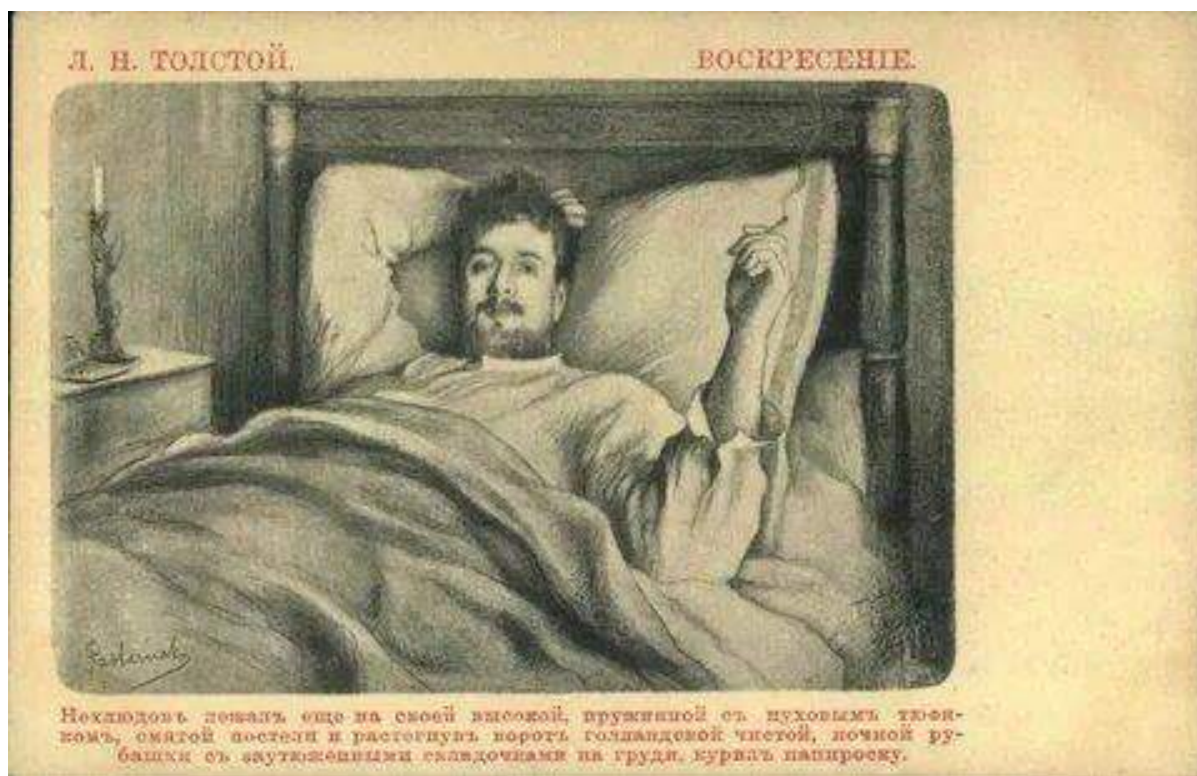
«— Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове “товарищ” он чувствовал, что Масленников снисходил до него, т. е., несмотря на то, что исполнял самую нравственно-грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал если не польстить, то показать, что он всё-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем» (*Там же. С. 193*).

Тяжёлая плата за прежние грехи! Не физическими мучениями и не искупительной, на глазах, гибелью людей, как было с Пьером — а морально, унижением перед «высокими» мира, Дмитрий Нехлюдов искупает свои прежние грехи.

Но свинопотаму Масленникову, одному из типичных уродов «русского мира», быть ходячим мертвецом уже до гроба. А Нехлюдов...

Тут же, в начале следующей, LIX-й, главы, автор дарит симпатизирующему ему (то есть, и автобиографичному Нехлюдову, и самому

Льву Николаевичу) читателю надежду на *de profundis* возлюбленного персонажа. В знаменитой метафоре «нравственной чистки», уподобленной очищению вод реки:



Дмитрий Нехлюдов. Художник Леонид Осипович Пастернак. 1899 г.

«Одно из самых обычных и распространённых суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определённые свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умён, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то тёплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь всё между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нём и от физических и от духовных причин» (32, 193 – 194).

Очередное спасительное «очищение» было наготове. Конечно же — в соприкосновении с юностью, с прошлым и с природой родной

усадьбы... В главе XIV Второй части Нехлюдов, пребывая по делу Масловой в столице, смотрит на рафинированный масленниковский мирок уже *извне*, непокойно-презрительными Львиными, толстовскими очами:



Нехлюдов в деревне. Илл. Л. О. Пастернака. 1899 г.

«Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдов теперь уже не мог без неловкости и упрёка самому себе общаться с людьми этой среды. А между тем в эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные и дружеские отношения и, главное, то, что для того, чтобы делать то, что теперь одно занимало его: помочь и Масловой и всем тем страдающим, которым он хотел помочь, он должен был просить

помощи и услуг от людей этой среды, не только не уважаемых, но часто вызывающих в нём негодование и презрение» (Там же. С. 246).

Но от чуждого масла трудно отчистить как шёрстку Льва, так и перья Птицы. Вот почему до самого финала романа духовный путь Нехлюдова во Христе ещё не определён, и продолжение, именно “христианские” части романа, задумывались, да не были написаны Толстым. «Потому что была бы фальшь, фальшь!» — воскликнула бы, с отяжелелыми крылами, раба мира Софья Толстая.

Может быть, и так, Соня... Может быть.



«Закуска у Корчагиных». Худ. Л. О. Пастернак. 1899

Ещё отсылка к системе антивоенных воззрений Л. Н. Толстого, уже сообщённых им, допреже романа, в публицистических текстах — тема дуэли Позена и Каменского, по-своему возмущившая Нехлюдова. Её подробности не случайно напомнят читателю осуждение военных убийц в «Carthago delenda est» 1896 года. Но тема нравственного повреждения в среде офицерства и в целом «благородного» сословия была начата, как мы помним, ещё кавказскими повестями Толстого и «Двумя гусарами». И вот, через десятки лет, достойное продолжение. Часть Вторая, глава XVI:

«В канцелярии Сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о

том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский; Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через два часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через две недели» (32, 256).

Глава XVII, Нехлюдов у графини Катерины Ивановны:

«Разговор и здесь зашёл о дуэли. Суждения шли о том, как отнёсся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчён за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнает, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Катерина Ивановна с своим свободологкомыслием выразила осуждение убийце.

— Будут пьянствовать да убивать порядочных молодых людей — ни за что бы не простила, — сказала она.

— Вот этого я не понимаю, — сказал граф.

— Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю, — заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову. — Все понимают, только не муж. Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен.

Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать, довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта красавца-юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорён к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения, и он разлучён с женою, с семьёй, с родными, закован в кандалы и с бритой головой идёт в каторгу, а этот сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, ест хороший обед, пьёт хорошее вино, читает книги и нынче-завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным.

Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Катерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же как и все, и Нехлюдов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то в роде неприличия» (Там же. С. 260).

Нехлюдову, безусловно, не следовало бы метать бисера перед паноптикумом мёртвых уродов. Это мы можем не только понять, а и ощутить — по окружающей нас, немногих из нас в России, мёртвой и мертвящей атмосфере. Приведённые отрывки у Толстого — уже до боли близкое описание творящегося в наши дни, предельное сближение с путинской Россией 2020-х, где головорезы, не сдохшие от руки защитников Украины, теперь герои, «гуляющие» в ощущении почёта и безнаказанности. А отцов семейства, детей, стариков — с 2022-го жестоко преследуют за высказывания против преступной войны и преступной политики тёти «родины», бандитской гадины путинской России.

Вослед Масленникову и дуэлянту Позену, одобренному, так или иначе, «светским» кругом общения Дмитрия Нехлюдова, к кому же паноптикуму уродов «русского мира» как части лжехристианской цивилизации причтём и появляющегося ближе к завершению романа генерала, начальника Сибирского края, к которому обращается Нехлюдов с просьбой о смягчении участи заключённых. Этот генерал многими чертами своего характера напоминает генералов из «Отца Сергия», «И свет во тьме светит», «Хаджи-Мурата».

Главное приобретение, которое вынес генерал из своей тридцатипятилетней службы, явилась привычка пить много вина, в результате которой он, по словам писателя, «сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы почувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, её принимали за умные речи» (32, 421). Высшие инстанции при том были абсолютно, и не без оснований, уверены в благонамеренности чувств генерала и поэтому жаловали его своим глубоким и неизменным доверием.

На страницах «Воскресения» завершается и эволюция образа офицера-иностранца, о котором ещё в юности, участвуя в войне против горцев, писал Толстой в своих кавказских рассказах. В последнем романе писателя снова фигурирует верноподданный самодержавного режима, «заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов», служивший на Кавказе и в Польше, увешанный многими орденами, теперь заведующий

тюрьмами и казематами. Весь смысл своей деятельности генерал полагает в ревностном исполнении предписаний свыше, исходящих от имени государя императора. Его не интересует конечный результат этой деятельности, то, что заключённые мрут от голода, от чахотки, кончают жизнь на виселицах. Все свои силы генерал устремляет на то, чтобы выполнить «патриотический, солдатский долг» и не ослабеть в исполнении обязанностей, которые он считает важными и которыми гордится. По отцовским стопам идёт и его сын, который, окончив военную академию, служит в «разведочном бюро». Сын также гордится своей службой. Занятия же его, как поясняет писатель, «состояли в заведывании шпионами» (32, 267).



Худ. Л. О. Пастернак. 1899

Рисуя внешний портрет генерала, писатель выделяет в нём такие черты, как потухшие глаза из-под седых бровей, хриплый старческий голос, «окостеневшие члены», старческие бритые отвисшие скулы, подпёртые военным воротником. Мундир генерала украшен белым крестом, полученным, как говорит писатель, «за исключительно жестокое и многодушное убийство» (32, 269). В целом от всей фигуры царского сатрапа исходит впечатление бездушной, тупой и мертвящей силы. От этого ходячего мертвеца зависит, чтобы не мучались мучаемые тётушкой Империей живые... Поистине, символ служилого сословия России! Недаром, в продолжение беседы, костлявый, как сама смерть, старик несколько раз неодобрительно адресуется к Нехлюдову о том, что тот не «служит», а надо бы «служить».

Стремясь поскорее уйти из мёртвого дома, «Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику» (*Там же*).

Поистине, кому служить?! Служить России, по сей день — то же, что служить лжи и смерти.

Итак, страниц, посвящённых раскрытию тематики войны и военщины, в «Воскресении» не много. Тем не менее, всё сказанное на этих страницах исполнено такой остроты, такой разоблачающей силы, что цензура не только России, но и в других странах, заражённых нарастающим в ту эпоху милитаризмом, в Англии, Франции, Германии, Америке и др., под различными предлогами добивалась изъятия тех мест, которые содержали нападки на армию и милитаризм. Для милитаристов роман был действительно страшен не только злободневностью, остротой проблематики, но и психологической достоверностью ситуаций и характеров. Так, один из переводчиков книг Толстого, Теодор де Визева (Wyzewa, 1862 – 1917), писал в феврале 1900 года из Парижа, что, по его мнению, генералы в «Воскресении» как будто списаны с генералов французского генерального штаба. Одновременно он сообщал о том, что в изданиях толстовского романа опущены строки о военной службе, так как французские читатели якобы не могли о написанном «рассуждать хладнокровно» (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 356*).

Аналогичные сообщения поступали в Ясную Поляну из Лондона, Праги, Берлина, Вены. По словам Эйльмера Моода, биографа и переводчика писателя, в берлинских изданиях «Воскресения» исключалось всё оскорбительное для военщины и попов (*Там же. С. 360*).

Толстой не оставался равнодушным к цензурным искажениям. После одной из «обработок», которой подвергся роман американским журналом «Cosmopolitan», писатель обратился с заявлением «В редакции иностранных газет», в котором писал о лишении авторизации романа в том виде, в каком он появился на страницах американского журнала (*см. 72, 115*).

Характерно, что выброшенные цензурой места романа «Воскресение» по стилю и злободневности содержания приближались к обличительным строкам публицистических статей. Отношение же самого Толстого к фактам изъятия и купюр тех мест, в которых содержалась критика военного сословия, свидетельствовало о неослабевающей энергии писателя в обличении этого зла, о его бескомпромиссном и всё возрастающем христианском проклятии в адрес многообразных истоков и сил, порождающих войны.



## **ЗДЕСЬ КОНЕЦ СЕДЬМОЙ ГЛАВЫ**

### Прибавления к Главе

#### *Прибавление № 1.*

### **РАССКАЗ ДУХОБОРА ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНИИ (По книге «Гонение на христиан в России», 1896 г.)**

Решили мы больше не служить и не повиноваться никакому начальству, а служить только Богу, идти по его пути и творить правду. Решили также не творить никому зла и насилия, а тем более никого не убивать и не только человека, но и других живых тварей, даже до самой малой птицы. Тогда нам стало не нужно оружия. Вот мы и решили уничтожить его, чтобы наше оружие и другим людям не послужило на зло. Выбрали мы сообща день Петра и Павла и объявили об этом всем нашим селениям. Оставили мы у себя только ножи, а всякое оружие сделанное на убийство человека, собрали и снесли на заранее приготовленное место. Место это с давних времён назначено у нас для больших молитвенных собраний и называется "Пещерой". Там действительно есть углубление в скале. Место это находится в 3-х верстах от Орловки, а от других селений наших подалее.

Собрались мы на это место, сложили в кучу всё оружие, обложили дровами, углём, облили керосином — всё это было заранее припасено — и зажгли. Народу сошлось до 2 000 человек.

Мы очень беспокоились о том, чтобы начальство не помешало нашему делу и потому не всем говорили раньше об этом намерении. И действительно, нам удалось сделать это без помехи. Приходили другие жители соседних деревень, армяне смотрели, как мы жгли оружие, но никто в эту ночь не донёс и к утру костёр догорел и мы стали молиться, петь и читать псалмы. Окончив молитву, мы разошлись по домам и все ждали, что будет нам от начальства. Но весь этот день прошёл спокойно. Вечером мы опять собрались на это место и стали дожигать остатки, чтобы никому не досталось; принесли ещё угля и мехи, чтобы раздувать огонь и чтобы сплавить металлические части в один кусок. И ночь прошла спокойно. Взошла заря и

мы опять стали на молитву. Собралось ещё больше народа. Были и женщины и подростки. Те, которым было далеко, приехали на фургонах.

Как сказано, мы держали между собой в тайне намерение сжечь оружие, боясь, чтобы нам не помешали; наши же соседи духоборцы, несогласные с нами, подозревали, что мы что-то намереваемся делать с оружием, но не зная наверное что и, слыша, что мы собираем оружие, решили, что мы идём грабить Сиротский дом, из-за которого у нас были с ними раздоры. Так как мы ждали, что начальство прогонит или сошлёт нас за отказ от службы правительству, то некоторые из нас делали приготовления к походу, молодые парни понакупили себе бурок, и все эти приготовления были приняты нашими врагами за приготовления к бунту и грабежу. Они так боялись нападения, что донесли начальству, и в селение Гореловку, населённую духоборами малой партии, к этому дню пригнали два батальона пехоты из Александрополя и две сотни казаков из Ардана.

Таким образом войско уже было готово и губернатор выехал на место предполагавшегося бунта. Приехав в Горловку, губернатор разослал нарочных по всем семи селениям, чтобы все шли в Богдановку, где жил пристав, и куда он намеревался прибыть сам. Те из наших, которые оставались по домам и не были на общей молитве, пошли. Мы же на утро 30-го июня молились и ждали, что будет. Приехал нарочный и к нам с приказом идти всем в Богдановку к губернатору. Так как мы решились не повиноваться никакому начальству, а только Богу, то старики ответили: "мы теперь молимся и раньше, чем окончим молитву, никуда не пойдём, а если губернатор хочет нас видеть, пускай приедет к нам; нас тысячи, а он один". Нарочный уехал, а мы продолжали молиться, петь псалмы. Приехал второй нарочный, ему ответили то же самое и продолжали петь псалмы, решив между собой, по окончании молитвы, всё-таки идти всем к губернатору, узнать чего он от нас хочет.

Богомоление ещё не было окончено, как расставленные нами наши вестовые дали нам знать, что виднеются казаки. Тогда мы столпились в кучу и стали их ждать. Казаки стали подъезжать к нам. Впереди ехал командир, и как только приблизился к нам, закричал: "ура!" и со всей сотней налетел на нас. И казаки начали бить нас по чему попало и топтать лошадьми, и сильно избивали тех, которые были внутри, и многие едва не задохлись от давки.

Долго они били нас, потом остановились бить и командир закричал: "марш все к губернатору". Тогда старики сказали ему: "что же ты нам раньше этого не сказал, мы уж и то собирались идти; зачем стал

бить?" — "А, разговаривать!" закричал командир и опять с казаками бросился на нас. И опять нас стали бить плетьюми и долго били. Некоторым казакам было стыдно бить. В одном месте два казака по команде бить стали, махать плетьюми по воздуху, нарочно никого не задевая. Вахмистр увидал это, доложил командиру, и тот, подъехав к одному из них, закричал: "ты царя обманываешь!" и так ударил его плетью по лицу, что у него брызнула кровь из носу.

Наконец, перестали бить, и мы, избитые и окровавленные, столпившись кучею, пошли к губернатору. Женщины шли с нами; но казаки стали отрезать их от нас, крича, что женщин не надо. Но женщины сказали, что пойдут всюду за своими духовными братьями. Командир велел их бить плетьюми; но они кричали, что пускай их режут, на куски, они всё-таки пойдут и пошли и казаки отступились от них.

Отойдя немного, мы остановились, вспомнив, что позади нас остались наши обозные фургоны и никого при них не было. Тогда казаки стали опять бить нас и посылать женщин править фургонами, но женщины опять отказались; тогда дали выйти из толпы по одному человеку на фургон, чтобы править лошадьми, и мы опять двинулись в путь всей толпой в Богдановку, где мы должны были найти губернатора.

Когда мы пошли, то запели псалом, но командир остановил пение и велел своим казакам петь срамные песни, такие, что нам и слушать было стыдно.

Подходя к Богдановке, командир остановил нас, увидав губернатора, ехавшего сзади нас в коляске из Гореловки в Богдановку. Губернатор был ещё далеко, когда командир заметил его, но он сейчас же закричал на нас: "шапки долой!" Старики ответили ему: "зачем шапки долой? Вот подъедет, да поздравляется с нами, тогда мы знаем, как ответить ему. А, может, он и не поздоровается, так зачем же мы будем шапки снимать?" Командир опять закричал своим казакам: "в плети, ура!" И опять казаки стали нас бить до крови и били так жестоко, что по всему месту, где мы стояли, трава покраснела от крови. Казаки били нас не только плетьюми, но и тыкали кнутовищами в лицо, стараясь сбить с головы шапку, и у кого была сбита шапка, того отделяли от толпы. Подъехал губернатор и, увидав, как мы избиты, сказал сотнику: "зачем вы бьёте, ведь я не велел?" Сотник ответил: "виноват, ваше сиятельство!" и остановил битьё. А губернатор проехал в Богдановку и собрал там тех, которые не были на общей молитве, и начал бранить их. Тогда один из них, Фёдор Михайлов Шляхов, вынул красный солдатский билет и отдал губернатору, объяснив, что служить больше не будет. Губернатор так рас-

сердился на него, что сам побил его палкой. Тогда остальные объявили, что они тоже не будут служить и ни в чём не будут подчиняться правительству. Губернатор велел стоявшим тут казакам вынуть ружья из чехлов.

Видя, что в них готовятся стрелять, братья упали на колени и сказали: "прости нас, Господи, прости нас, Господи!" Тогда губернатор приказал убрать ружья, а велел бить их плетьюми и их жестоко избивали.

Когда мы все пришли в Богдановку, писаря переписали всех мужчин домохозяев, и тогда отпустили нас по домам.

[...] Две сотни казаков, рассказывали мне духоборцы, поставили по нашим селениям. Они стояли по три дня в каждой деревне. Располагались они на улице и по дворам, ставили коновязи и брали у нас всё, что им вздумается; и чуть что не по ним, били плетьюми. Требовали, чтобы мы им оказывали почтение, и если мы не здоровались, били нас. Поели у нас всю птицу; когда мы уехали, птицы не осталось вовсе, а было девать некуда.

Нас не выпускали из наших селений, так что мы не могли знать, что делается с другими, но слышно было, что в Богдановке, где казаки безобразничали больше всего, были случаи изнасилования женщин; начальство ничему не препятствовало.

В Орловке казаки вошли в хату, где сидела женщина, Марья Черкашёва, и работала, шила. Они спросили: "где хозяин?" Она отвечала: "не знаю". — "Как не знаешь, хозяйка, а не знаешь, где хозяин?" — Она на это ответила им: "да вот и вас бы не знала, кабы не пришли". И не встала с места, а продолжала работать; тогда они вытащили её на улицу и избивали плетьюми.

Старика 60 лет Кирила Конкина также в деревни Орловке, придравшись к чему-то, так сильно секли плетьюми, что он по дороге, во время выселения, умер.

В Богдановке был духобор Василий Позняков, прежде служивший в солдатах. Когда пришли в эту деревню постоем казаки, казацкий хорунжий зашёл в хату Познякова и, узнав его, поздоровался. Позняков ответил: "здравствуйте!" — "Зачем не отвечаешь мне по военному?" — "Потому что я уж не военный и никогда им не буду", ответил Позняков. Хорунжий велел его сечь плетьюми, потом опять стал здороваться и требовать ответа по военному: "здравия желаем ваше и т. д." Позняков опять отказался, его опять стали сечь и так до трёх раз: избивали так, что он месяц лежал больной.

---

## Прибавление № 2

### ПОМОГИТЕ!

На Кавказе теперь свершается ужасное дело. Более четырёх тысяч людей <sup>1)</sup> страдают и умирают от голода, болезней, истощения, побоев, истязаний и других преследований русских властей.

---

<sup>1)</sup> В приводимых нами цифрах включены женщины, старики и дети.

Эти страдающие люди — кавказские духоборы. Они терпят гонения за то, что их религиозные убеждения не позволяют им исполнять те государственные требования, которые связаны прямо или косвенно с убийством человека или насилием над ним.

В русской и иностранной печати за последнее время нередко появлялись краткие, отрывочные сведения об этих замечательных людях. Но всё, что писалось в русских газетах, было или слишком кратко, или искажено, — одно намеренно, другое бессознательно, третье в виде уступки требованиям русской цензуры. А что было напечатано за границей, то, к сожалению, мало доступно русской публике. И потому в этом обращении мы считаем своим долгом дать общую картину происходящих теперь событий и краткий очерк обстоятельств, им предшествовавших.

Духоборы появились в половине прошлого столетия. К концу прошлого столетия и началу нынешнего учение их настолько выяснилось и число последователей настолько увеличилось, что правительство и церковь начали жестокое преследование, сочтя эту секту особенно вредной.

Основа духоборческого учения состоит в том, что в душе человека пребывает дух Божий и наставляет его своим внутренним словом. Пришествие Христа во плоти, его деяния, учение и страдания они принимают в духовном смысле. Цель страданий Христа, по их понятию, была та, чтобы подать нам пример страдания за истину. Христос продолжает в нас страдать и теперь, когда мы не живём согласно заповеди и духу его учения. Всё учение духоборов проникнуто евангельским духом любви. Поклоняясь Богу духом, духоборы утверждают, что наружная, официальная церковь и всё, что в ней совершается и к ней относится, не имеет для них никакого значения. Церковь там, где двое или трое собраны, т. е. соединены во имя Христово.

Молятся они внутренне во всякое время; в определённые же дни, для удобства соответствующие православным праздникам, они собираются на молитвенные собрания, на которых читают молитвы или поют духовные песни (псалмы, как они их называют), и братски приветствуют друг друга земными поклонами, признавая каждого человека носителем Божества.

Учение духоборов основывается на предании. Это предание называется у них "животной книгой", потому что оно живёт в их памяти и сердцах. Она состоит из псалмов, частью составившихся из содержания Ветхого и Нового Завета, частью сложившихся самостоятельно.

Как свои взаимные отношения, так и отношения к другим людям, — не только к людям, но и ко всяким живым тварям, — духоборы основывают исключительно на любви; и потому они считают всех людей равными братьями. Эту мысль о равенстве духоборы распространяют и на государственные власти, слушаться которых они не считают для себя обязательным в тех случаях, когда требования этих властей противоречат их совести. Во всём же том, что не нарушает признаваемой ими воли Бога, они охотно исполняют желания властей, как и всех людей.

Противным своей совести и воле Бога они считают убийство, насилие и вообще нелюбовное отношение к живым существам.

В жизни своей духоборы трудолюбивы и воздержаны; в речах своих всегда правдивы, считая всякую ложь большим грехом.

Таковы в самых общих чертах те верования, за проявление которых духоборы издавна терпели жестокие гонения. Император Александр I в одном из своих рескриптов относительно духоборов от 9 декабря 1816 года выражается так: "Все меры строгости, истощённые над духоборами в продолжение тридцати лет до 1801 года, не токмо не истребили сей секты, но паче и паче приумножили число последователей ея". И потому он предлагает более гуманное обращение с ними. Но, несмотря на это желание императора, гонения не прекращались. При Императоре Николае I гонения эти особенно усилились, и по повелению Николая I, в 40-х годах, они все были высланы из Таврической губернии, где были прежде поселены, в Закавказье, близко к Турецкой границе. "Польза этой меры очевидна", говорилось в ранее состоявшемся постановлении комитета министров от 6 февраля 1826 года, "пересылаемые (духоборы) за пределы Кавказской области, находясь всегда против горских народов, по необходимости должны будут оружием защищать своё имущество и семейство", т. е. должны будут отступить от своих убеждений. К тому же для поселения их назначена была местность в нынешнем Ахалкалакском

уезде Тифлисской губернии на так называемых "Мокрых Горах", с суровым климатом, на высоте пяти тысяч фут над уровнем моря, где с трудом произрастает ячмень, и нередко хлебные посевы побиваются морозами. Часть же духоборов была поселена в нынешней Елизаветпольской губернии.

Но ни суровый климат, ни соседство диких воинственных горцев не поколебали веры духоборцев и они в продолжение полу столетия, которое они прожили на Мокрых Горах, превратили эту пустынную местность в цветущие колонии и продолжали жить тою же христианскою трудолюбивою жизнью, которою они жили прежде. Но, — как это почти всегда повторяется с людьми, — соблазн богатства, которого они достигли на Кавказе, ослабил их нравственную силу, и они мало-помалу стали несколько отступать от требований своей веры.

Но отступая временно во внешней жизни от требований своей совести, они во внутреннем своём сознании никогда не отрекались от основ своих верований, и потому как только случились среди них события, нарушившие их внешнее спокойствие, так тотчас же воспрянул в них тот религиозный дух, которым руководились их отцы.

В 1887 году введена была на Кавказе общая воинская повинность, а на военную службу потребовали даже тех, для которых она раньше того была, вследствие их религиозных убеждений, заменена другим. Мера эта застала врасплох духоборов, и они сначала внешне подчинились ей; но никогда по совести не отказавшись от признания войны великим грехом, они уговаривали своих забираемых в солдаты сыновей, подчиняясь разным механическим требованиям начальства, никогда не употреблять оружия в дело. Тем не менее это введение воинской повинности среди людей, считающих грехом всякое убийство и насилие над человеком, — сильно встревожило их и заставило призадуматься над степенью своего уклонения от своей веры.

В это самое время незаконное решение правительственных учреждений и лиц, вследствие которого право на владение полумиллионным общественным имуществом духоборов было передано одному из них, ради своей личной выгоды изменившему общим интересам, вызвало протест большинства духоборов против этого человека и его партии, завладевших этим имуществом, и против подкупного местного правительства, так несправедливо решившего это дело.

Когда же несколько представителей этого большинства, — в том числе и выборный распорядитель общественного имущества, — были высланы в Архангельскую губернию, движение это приняло вполне определённый характер.

Большинство духоборов, около двенадцати тысяч человек, решили с полной строгостью держаться временно оставленных ими преданий отцов, отказались от употребления табака, вина и мяса и от всякого излишества, равномерно разделили между собою всё своё имущество, восполнив таким образом недостатки тех, которые оказались к тому времени обедневшими и нуждающимися, и собрали новый общественный капитал.

В связи с этим возвращением к строгой, христианской жизни они отказались и от всякого участия в делах насилия, а потому и от воинской повинности.

В подтверждение искренности своего решения не употреблять насилие даже для защиты себя, духоборы большой партией летом прошлого 1895 года сожгли всё своё оружие, имевшееся у них, как у всех кавказских жителей, а находившиеся на военной службе отказались её продолжать. Для сожжения своего оружия, составлявшего их частную собственность и потому находившегося в их безусловном распоряжении, они, по общему уговору, назначили ночь с 28 на 29 июня. И сожжение это было произведено при пении псалмов одновременно в трёх местах: в Тифлисской и Елизаветпольской губерниях и Карсской области. В Карсской области оно прошло беспрепятственно; в Елизаветпольской губернии вызвало заключение 40 духоборов в тюрьму, где они находятся и до сих пор; а в Тифлисской губернии при этом со стороны местной администрации произошло бессмысленное, ничем не вызванное и невероятное по своей дикости нападение войска на обезоруженных людей и жестокое истязание их.

Сожжение оружия в Тифлисской губернии должно было происходить близ села Горелого, населённого духоборами малой правительственной партии, в руках которых находилось отобранное ими общественное имущество. Эти духоборы, узнав о намерении большой партии сжечь оружие, испугавшись ли их большого скопления, или, желая оклеветать их по недоброму чувству к ним, донесли начальству, что духоборы большой партии затевают бунт и готовятся к вооружённому нападению на село Горелое. Местные же власти, не проверив основательности доноса, распорядились выслать казаков и пехоту на место мнимого бунта. Казаки прибыли на место сборища духоборов к утру, когда уже догорал костёр, уничтоживший их оружие, и произвели две кавалерийские атаки на этих добровольно обезоруживших себя и певших духовные песни мужчин и женщин, и избili их плетью самым бесчеловечным образом.

После этого начался целый ряд гонений против всех духоборов большой партии. Прежде всего вызванные войска были поставлены на



"экзекуцию" по духоборческим селениям, т. е. всё имущество и сами жители этих селений были переданы во власть офицеров, солдат и казаков, стоявших в этих деревнях. Имущество духоборов было расхищено, и сами жители были всячески оскорбляемы и истязуемы; женщины же были сечены нагайками и изнасильваемы. Мужчины, около 300, отказавшихся от звания чинов запаса, и около 30, отказавшихся от действительной службы, были заключены в тюрьмы и дисциплинарные батальоны.

Затем более четырёх сот семей Ахалкалакских духоборов были оторваны от благоустроенных хозяйств и прекрасно-обработанной земли и, после продажи за бесценок их имущества, высланы из Ахалкалакского уезда в четыре других уезда Тифлисской губернии и расселены по грузинским деревням, от одной до пяти семей на деревню, и брошены там на произвол судьбы.

Ещё с прошлой осени появились среди этих расселённых духоборов эпидемические болезни: лихорадки, тиф, дифтерит, поносы; значительно увеличилась смертность, в особенности среди детей. Выселены духоборы из холодного горного климата в жаркий климат кавказских долин, где и местные жители страдают от лихорадок; и потому почти все духоборы болеют, тем более, что не имея жилищ, они ютятся в тесноте по наёмным квартирам; главное же то, что у них, в их местах изгнания, нет средств пропитания.

Единственный заработок есть подённый труд среди того населения, где они поселены и выйти за пределы которого их не пускают. Заработок же этот очень мал, тем более, что местные жители в нынешнем году пострадали и от неурожая, и от наводнения. Поселенные вблизи железной дороги кое-что зарабатывают, работая на ней, и делятся с остальными полученною платою. Но заработок этот представляет лишь каплю в море общей нужды.

Материальное положение духоборов становится с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. У изгнанных духоборов нет другой пищи кроме хлеба, и в том иногда бывает недостаток. У большинства уже появились зловещие признаки голодания, куриная слепота, предвестница цинги. Смертность всё увеличивается и увеличивается.

На месте ссылки в Сигнахском уезде из ста поселённых там семейств (около 1000 душ) умерло в продолжение года 106 человек. В Горийском уезде из 110 семейств умерло 91 человек. В Тионетском уезде из 100 семейств умерло 83 человека. В Душетском уезде из 72 семейств умерло 20 человек. Но положение их не лучше; почти все страдают болезнями, и болезненность и смертность всё увеличиваются.

Кроме этих смертей, не прекращаются смерти прямо насильственные среди духоборов, заключённых по тюрьмам и дисциплинарным батальонам.

Первым, в июле 1895 года, умер такою смертью духобор Кирилл Конкин от побоев, полученных во время экзекуции, -- умер он по дороге, не доехав до места ссылки, в горячечном бреде, наступившем во время его сечения. Затем в августе 1896 года умер в Екатериноградском дисциплинарном батальоне Михаил Щербинин, замученный насмерть сечением и насильственным киданием во время расслабленного от сечения состояния через "кобылу" <sup>1)</sup>. Из числа заключённых в тюрьмах многие уже умерли. Некоторые из них умерли в полном одиночестве и без всякого призора, запертые на ключ в отдельной комнате, в то время, как товарищи их по заключению и ближайшие родственники, пришедшие проститься с умиравшими, тщетно умоляли о разрешении зайти к ним. Новые смерти готовятся как среди населения, страдающего от нужды в изгнании, так и в тюрьмах и дисциплинарном батальоне <sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Гимнастическое приспособление для развития в солдатах способности прыгать.

<sup>2)</sup> Вышесообщённые нами вкратце общие сведения об этом деле в случае надобности могут быть нами пополнены во всех подробностях и подтверждены самыми неопровержимыми доказательствами, разрушающими всю возводимую на духоборов возмутительную клевету в таких источниках, как, напр. "Конфиденциальное Представление Тифлиского Губернатора, Князя Шеваршидзе, на имя Начальника Кавказского края, Генерала Шереметева", которое было недавно почти буквально перепечатано в журнале "Русская Старина" в форме статьи некоего Тебенькова; после чего выдержки из этой статьи появились и в газете "Новое Время". Мы храним весь тщательно собранный нами материал, по которому можно проверить безусловную точность наших утверждений.

Духоборы сами не просят о помощи, ни те, которые с семьями находятся в ссылке, голодные и с голодными, больными детьми, ни те, которые в тюрьмах, и дисциплинарном батальоне медленно, но верно замучиваются до смерти. Они умирают, не выпуская ни одного вопля о помощи, зная за что и для чего они терпят. Но нам-то, видящим эти страдания и знающим про них, нельзя же оставаться спокойными. — Но как помочь им?

Есть только два средства помощи людям, гонимым за веру: одно состоит в исполнении евангельской заповеди призрения странного, одевании нагого, посещения больного и заключённого и насыщения голодного, которую предписывает нам и сердце, и Евангелие; другое

— состоит в обращении к гонителям, как тем, которые предписывают гонения и допускают их, когда они могли бы прекратить их, так и тем, которые, не сочувствуя гонениям, принимают в них участие и делаются орудиями их, — для того, чтобы обнаружить передо всеми этими гонителями весь грех, всю жестокость и всё безумие их деятельности.

И вот, имея возможность раньше других узнать обо всем, здесь сообщённом, — мы и обращаемся как к русским, так и нерусским людям, с просьбою помочь испытываемым тяжёлыми страданиями нашим братьям, как денежными жертвами для облегчения страданий старых, больных и детей, так и возвышением голоса в защиту гонимых.

Денежная помощь может быть прямо передана на Кавказ тем духовборцам, которые распоряжаются распределением средств среди нуждающихся братьев, а в случае невозможности прямо передать деньги духовборам, пожертвования могут быть направляемы нам, и мы уже перешлем их заведывающим помощью духовборам.

Самое же важное и драгоценное средство выражения сочувствия к гонимым и смягчения сердца гонителей заключалось бы в личном посещении гонимых для того, чтобы собственными глазами увидеть то, что с ними в настоящее время происходит, и передать истину о них всеобщему сведению.

Выражение сочувствия дорого духовборам потому, что хотя они и не просят о помощи, но для них нет большей радости, как видеть проявление любви и жалости к себе со стороны других людей, — той самой любви, ради которой эти мученики жертвуют своею плотскою жизнью.

Предание же всеобщему сведению истины о духовборах важно потому, что не может же быть того, чтобы русская государственная власть действительно желала уничтожения этих людей путём неумолимого требования от них того, чего они, по своей совести, не могут сделать, и неотступного их за это преследования и истязания. Здесь, вероятно, есть недоразумение, и потому особенно важно разглашение правды, которая может устранить его.

Помогите!

*Павел Бирюков.*

*Иван Трегубов.*

*Владимир Чертков.*

Москва, 12 декабря 1896 г.

*(Помогите! Обращение к обществу по поводу гонений по поводу гонений на кавказских духоборов, составленное П. Бирюковым, И. Трегубовым и В. Чертковым. С послесловием Льва Николаевича Толстого. Перепечатывается с издания В. Черткова [1896 г.]. СПб., 1906. С. 3 – 11).*

---

Прибавление № 3.

**РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «STOKHOLM TÄGVLATT»**

4 октября 1897 г.  
(оригинал на франц.)

Господин редактор,

Вы меня очень обязали бы, поместив прилагаемую статью в вашей газете. Эта статья была переведена на шведский язык одним очень талантливым молодым шведом \*), который был у меня как раз в то время, когда я писал эту статью. Если слог не очень гладкий, о чём я не в состоянии судить, не зная шведского языка, и если рукопись недостаточно чиста, то виной этому та спешность, с которой статья эта должна была быть написана и отослана. Надеюсь, что вы извините и то и другое, и напечатаете статью, если только найдёте её достаточно интересной для ваших читателей.

Примите, господин редактор, уверение в моём совершенном уважении.

Лев Толстой.

*P. S.* Вы окажете мне большую услугу, прислав мне № вашей газеты, если статья в нём появится, вложив её в почтовый конверт, во избежание цензуры.

---

\*) Вольдемар Ланглет; это он посоветовал мне обратиться в вашу газету. – *Примеч. Л. Н. Толстого*

М. Г.

Появившееся в шведских газетах известие о том, что в Норвежском стортинге, по завещанию Нобеля, разбирался вопрос о том, кому из лиц, наиболее послуживших делу мира, следует назначить определённые для этой цели 100 000 рублей, вызвало во мне некоторые соображения. Вы очень обяжете меня, напечатав прилагаемое в вашей газете.

Я полагаю, что условие завещания Нобеля, по отношению лиц, наиболее послуживших делу мира, весьма трудно исполнимо. Люди, действительно служащие делу мира, служат ему потому, что служат

Богу, и потому не нуждаются в денежном награждении и не примут его. Но полагаю, что условие завещания будет совершенно верно выполнено, если деньги эти передадутся находящимся в нужде семьям лиц, послуживших делу мира. Я говорю про кавказских духоборов. Никто в наше время не послужил и не продолжает служить делу мира действительно и сильнее этих людей.

Служение этих людей делу мира состоит в следующем: целое население, более чем 10 000 людей, придя к убеждению, что христианин не может быть убийцею, решило не принимать участия в военной службе: 34 человека, назначенные к отбыванию воинской повинности, отказались от присяги и службы, за что были заключены в дисциплинарный батальон (одно из самых страшных наказаний). Около 300 человек запасных солдат отнесли свои билеты начальству, объявив, что служить не могут и не будут; эти 300 человек были заперты в кавказские тюрьмы, семьи же этих людей высланы из их жилищ и поселены в татарских и грузинских деревнях, где не имеют ни земли, ни работы для пропитания. Несмотря на уговаривание правительственных лиц, на угрозы о том, что мучительство их и их семей будет продолжаться до тех пор, пока они не согласятся исполнять воинские обязанности, отказавшиеся от военной службы не изменяют своему решению. Люди эти говорят: "Мы христиане и поэтому не можем согласиться быть убийцами, вы можете и мучить, и убивать нас, мы не можем помешать этому, но мы не можем повиноваться вам, потому что исповедуем то самое христианство, которое и вы признаёте". Слова эти очень просты и до такой степени не новы, что странно кажется и повторять их, а между тем слова эти, сказанные в наше время, в тех условиях, в которых находятся духоборы, имеют большое значение.

Все в наше время говорят о мире и о средствах установления его. О мире говорят профессора, писатели, члены парламентов и обществ мира, и те же профессора, писатели, члены парламентов и обществ мира при случае выражают патриотические чувства; когда же доходит до них очередь, спокойно становятся в ряды войск, предполагая, что война прекратится не их, а чьими-то другими усилиями и не в их время, а когда-то после. Священники и пасторы проповедуют о мире в своих церквах и усердно молятся о нём Богу, но остерегаются говорить своей пастве о том, что война не совместима с христианством. О мире же не пропускают случая говорить все разъезжающие из столицы в столицу императоры, короли и президенты: они говорят о мире, обнимаясь на станциях железных дорог, говорят о мире, принимая депутации и подарки, говорят о мире с стаканом вина в руках за обедами и ужинами, главное, не пропускают случая

поговорить о мире перед теми самыми войсками, которые собраны для убийства и которыми они хвастаются друг перед другом.

И потому среди этой всеобщей лжи поступки духовоборов, ничего не говорящих о мире, а говорящих только о том, что они сами не хотят быть убийцами, получают особенное значение, потому что указывают миру на тот давнишний, простой, несомненный и единственный способ установления мира, который давно уже открыт людям Христом, но от которого люди в прежнее время были так далеки, что он казался неприменимым и который в наше время стал так естественен, что можно только удивляться, каким образом все люди христианского мира до сих пор ещё не применили его. Способ этот прост, потому что для применения его не надо предпринимать ничего нового, нужно только каждому человеку нашего времени не делать самому того, что он всегда и для всех считает дурным и постыдным: не соглашаться быть рабом тех, которые приготавливают людей к убийству. Способ этот несомненен, потому что стоит только христианам признать то, что они не могут не признать, что христианин не может быть убийцею, и не будет солдат, потому что все христиане, и будет вечный ненарушимый мир между христианами. И способ этот единственный, потому что до тех пор, пока христиане будут признавать для себя возможным участие в военной службе, будут люди властолюбивые вовлекать других в эту службу и будут войска, а будут войска, — то будут и войны.

Я знаю, что способ этот употреблялся уже давно, знаю, как древние христиане, отказывавшиеся от военной службы, были казнимы за это римлянами (отказы эти описаны в Житиях Святых). Знаю, как павликиане были поголовно избиты за это же. Я знаю, как гонимы были за это богомилы, как страдали за это квакеры и менониты; знаю также, как теперь в Австрии в тюрьмах томятся за это назарены и как мучили за это людей в России.

Но то, что все эти мученичества не уничтожили войну, никак не доказывает того, что мученичества эти были бесполезны. Говорить, что способ этот недействителен, потому что давно уже употребляется, а войны всё-таки существуют, всё равно, что говорить, что весною тепло солнца не действительно, потому что не вся земля оттаяла и не распустились цветы. Значение этих отказов в прежние времена и теперь совершенно различно: тогда это были первые лучи солнца на замёрзшую, нетронутую ещё землю, теперь это уже последнее тепло, нужное для того, чтобы разрушить остатки только кажущейся, но не имеющей уже силы — зимы.

Ведь никогда не было прежде того, что теперь, не было той очевидной нелепости, чтобы все люди без исключения сильные и слабые,

расположенные к войне и имеющие отвращение к ней, были одинаково принуждены служить в военной службе; никогда не было того, чтобы большая часть народного богатства тратилась на всё увеличивающиеся военные приготовления; никогда не было так ясно, как в наше время, что всегдашний предлог собирания и содержания войск для мнимой защиты от воображаемого нападения врагов не имеет никакого основания и что все эти угрозы нападения суть только выдумки тех, кому нужны войска для своих целей — для властвования над народом. Никогда прежде не было того, чтобы война угрожала людям такими страшными разорениями, бедствиями и такими истреблениями целых поколений, как теперь. Никогда не было, наконец, прежде тех чувств единения и благоволения между народами, вследствие которых война между христианскими народами представляется чем-то ужасным, безнравственным, бессмысленным и братоубийственным. Главное же, никогда, как теперь, не был так очевиден тот обман, посредством которого одни люди заставляют других готовиться к войне, которая всем тяжела, никому не нужна и ненавистна всем.

Говорят, что для того, чтобы этим способом уничтожить войну, должно пройти слишком много времени, должен совершиться длинный процесс соединения всех людей в одном и том же желании не участвовать в войне. Но любовь к миру и отвращение к войне уже давно составляют, как любовь к здоровью и отвращение к болезни, всегдашнее и всеобщее желание всех неразвращённых, неопьянённых и неодураченных людей. Так что, если нет ещё мира, то это не оттого, что нет в людях общего желания иметь его, нет любви к нему и отвращения к войне, а только потому, что существует коварный обман, посредством которого людей уверили и уверяют, что мир невозможен и война необходима. И потому для того, чтобы установить мир между людьми, а тем более между христианами, и уничтожить войну, не нужно ничего нового внушать людям; нужно только освободить их от того обмана, посредством которого им внушено действовать противно своему общему желанию. Обман этот всё более и более разоблачается самою жизнью и в наше время уже настолько разоблачён, что нужно только небольшое усилие для того, чтобы люди совершенно освободились от него. Вот это-то усилие и делают в наше время духоборы своим отказом от военной службы.

Поступки духоборов срывают последние покровы обмана, — скрывавшие от людей истину. И русское правительство знает это и старается всеми силами хотя на некоторое время поддержать ещё тот обман, на котором основано его могущество, и употребляет для этого

обычные в этих случаях для людей, знающих свою вину, меры жестокости и тайны. Отказавшихся от службы духоборов запирают в тюрьмах, дисциплинарных батальонах, ссылают в худшие места Сибири и Кавказа, семьи же их, старики, дети, жёны, выгнаны из своих жилищ и поселены в местностях, где они, без крова и средств заработать пищу, постепенно вымирают от нужды и болезней. И всё это совершается в величайшей тайне. Заключённые в тюрьмы и пересылаемые содержатся отдельно от всех других; сосланным не дозволяется общение с русскими, их держат только среди инородцев, справедливые сведения о положении духоборов запрещаются в печати, письма от духоборов не отсылаются, письма к ним не доходят; усиленная полиция стережёт всякое общение духоборов с русскими и запрещает его; люди, пытавшиеся помочь духоборам и распространить о них сведения среди общества, ссылаются в отдалённые места или вовсе высылаются из России. И как и всегда, меры эти производят только обратное действие того, которое желает произвести правительство. Религиозное, нравственное трудолюбивое население в 10 000 душ нельзя незаметно стереть с земли в наше время. Те самые люди, которые стерегут духоборов, солдаты, тюремщики, те инородцы, среди которых они расселены, так же и те люди, которые, несмотря на все старания правительства, входят в общение с духоборами, узнают про то, за что и во имя чего страдают духоборы, узнают про ничем не оправдываемую жестокость правительства против них и про его страх перед разглашением того, что происходит, и люди, прежде никогда не сомневавшиеся в законности правительства и в совместимости христианства с военной службой, не только начинают сомневаться, но вполне убеждаются в правоте духобор[ов] и в обмане правительства и освобождаются сами и освобождают других людей от того [обмана], в к[отором] они до сих пор находились. И вот это-то освобождение от обмана и, вследствие этого, приближение к установлению действительного мира на земле и есть великая в наше время заслуга духоборов. Потому-то я и полагаю, что никто более их не послужил делу мира. Несчастливые же условия, в которых находятся их семьи (о которых можно узнать в статье, напечатанной в газете Humanitas, Juni, 1897), делают то, что никому, с большей справедливостью не могут быть присуждены те деньги, которые Нобель завещал людям, послужившим делу мира. Передать эти деньги нужно как можно скорее, потому что нужда духоборческих семей увеличивается с каждым днём и к зиме должна дойти до крайней степени. Если деньги эти будут присуждены семьям духоборов, то они могут быть переданы им прямо на местах или тем лицам, которые мною будут указаны.



(70, 148 – 154)

---

*Прибавление № 4.*

## **ДУХОБОРАМ, ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ В КАНАДУ**

15 (27) февраля 1900 г.

Любезные братья и сёстры!

Всем нам, исповедующим христианское учение и желающим, чтобы жизнь наша согласовалась с этим учением, надо помогать друг другу. И самая нужная помощь в том, чтобы указывать друг другу те грехи и соблазны, в которые мы впадаем, не замечая их.

Потому-то и я, прося братьев моих о помощи в тех моих грехах и соблазнах, которых я не вижу, считаю своим долгом указать вам, любезные братья и сёстры, на тот соблазн, которому, как я слышу, поддаются некоторые из вас.

Вы пострадали и были изгнаны и теперь ещё терпите нужду за то, что захотели вести христианскую жизнь не на словах, а на деле, отказались от всякого насилия над ближним, от присяги, от полицейской, от солдатской службы, даже сожгли своё оружие, чтобы не было соблазна защищаться им, и, несмотря на все гонения, остались верны христианскому учению. Дела ваши стали известны людям, и враги христианского учения смутились, узнав о ваших делах, и то запирали и ссылали вас, то высылали из России, стараясь всеми силами скрыть от людей ваше дело. Сторонники же христианского учения радовались, торжествовали, любили, восхваляли вас и старались подражать вам. Дела ваши много содействовали уничтожению царства зла и утверждению людей в христианской истине.

Теперь же я узнаю из писем наших друзей о том, что жизнь многих из вас в Канаде такова, что смущены уже сторонники христианского учения, а радуются и торжествуют враги его. «Вот они, ваши духоборы, — говорят теперь враги христианства, — как только переехали в Канаду, в свободную страну, так и стали жить так же, как и все люди, так же копят имущество каждый для себя и не только не делятся с братьями, но стараются захватить каждый для себя как можно больше. Так что всё, что они прежде делали, они делали по

приказанию своих главарей, не понимая хорошенько, зачем они это делают».

Любезные братья и сёстры, знаю я и понимаю всю трудность вашего положения в чужой стороне, среди чужих людей, ничего никому не дающих даром, и знаю я, как страшно думать о том, что близкие слабые семейные люди останутся без средств и помощи. Знаю, как трудно бывает жить в общине и как обидно бывает работать на других, которые не заботливы и тратят приобретённое чужими трудами. Всё это я знаю, но знаю и то, что если вы хотите продолжать жить христианскою жизнью и не хотите отречься от всего того, за что пострадали и были изгнаны из отечества, то вам нельзя жить по мирски и собирать каждому отдельно для себя и для своей семьи собственность и удерживать её от других людей.

Ведь это только нам так кажется, что можно быть христианином и иметь собственность и удерживать её от других людей, но это невозможно. Стоит людям признать это, и от христианства очень скоро не останется ничего, кроме слов и, к сожалению, неискренних и лицемерных слов. Христос сказал, что нельзя служить Богу и мамоне; одно из двух: или собирать для себя собственность, или жить для Бога.

Сначала кажется, что между отрицанием насилия, отказом от военной службы и признанием собственности нет никакой связи. «Мы, христиане, не поклоняемся внешним богам, не присягаем, не судим, не убиваем, — говорят многие; из нас, — то же, что мы трудом своим приобретаем собственность не для обогащения, а для обеспечения своих близких, то этим не только не нарушаем учения Христа, но ещё исполняем его, если от избытка своего помогаем нищим».

Но это неправда. Ведь собственность значит то, что то, что я считаю своим, я не только не дам всякому, кто захочет взять это моё, но и буду защищать это от него. Защищать же от другого то, что считаешь своим, нельзя иначе, как насилием, т. е., в случае нужды, борьбою, дракою, даже убийством. Если бы не было этих насилий и убийств, то никто бы не мог удержать собственности.

Если ж мы удерживаем собственность, не делая насилия, то только потому, что собственность наша ограждена угрозой насилия и самым насилем и убийством, которые совершаются над людьми вокруг нас. У нас если мы и не защищаем её, не отнимают нашу собственность только потому, что думают, что мы, так же, как и другие, будем защищать её.

И потому признание собственности есть признание насилия и убийства; и вам незачем было отказываться от военной и полицейской службы, если вы признаёте собственность, которая поддерживается

только военной и полицейской службой. Те, которые исправляют военную и полицейскую службу и пользуются собственностью, поступают лучше, чем те, которые не несут военной и полицейской службы, а хотят пользоваться собственностью. Такие люди, сами не служа, хотят для своих выгод пользоваться чужой службой.

Христианское учение нельзя брать кусочками: или всё, или ничего. Оно всё неразрывно связано в одно целое. Если человек признаёт себя сыном Божиим, то из этого признания вытекает любовь к ближнему, а из любви к ближнему одинаково следует отрицание насилия и присяги, и службы, и собственности.

Кроме того, пристрастие к собственности само по себе есть обман, и Христос раскрывает нам его (Евангелие Луки, XII, 15 и сл.; Евангелие Матвея, X. 39; XX, 28; X, 10). Он говорит, что человек не должен заботиться о завтрашнем дне, и не потому, что в этом есть какая либо заслуга, что это велит Бог, а потому, что такая забота ни к чему не ведёт, что этого нельзя, и что кто будет делать это, тот будет делать глупость, стараясь сделать невозможное. Человеку невозможно обеспечить себя, во-первых, потому, что он смертен, как это показано в евангельской притче о богаче, построившем житницы, и, во-вторых, потому, что никогда нельзя найти предел нужного обеспечения. На сколько времени нужно обеспечить себя? На месяц? на год? на 10 лет? на 50? Обеспечить ли только себя или и своих детей и своих внуков, и чем обеспечить? Едой или и одеждой и жилищем, и какой едой и каким жилищем? Кто начнёт обеспечивать себя, тот никогда не придёт к концу обеспечивания, а только напрасно погубит свою жизнь, как и сказано: кто захочет сохранить свою жизнь, тот погубит её. Разве мы не видим богачей, живущих бедственно, и бедняков, живущих радостно. Человеку не нужно себя обеспечивать, как и сказал Христос. Он обеспечен раз навсегда Богом: так же, как обеспечены птицы небесные и цветы полевые.

Да, но если так, и люди все не будут работать, не будут пахать, сеять, то все помрут с голоду, — говорят обыкновенно те, которые не понимают или не хотят принять учение Христа во всём истинном его значении. Но ведь это только отговорка. Христос не запрещает работать человеку и не только не советует быть праздным, но, напротив, велит всегда работать, но только работать не на себя, а на других. Сказано: сын человеческий пришёл не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы самому служить людям, и трудящийся достоин пропитания. Человек должен работать как можно больше, но только не удерживать себе, не считать своим того, что он работал, а отдавать другим.

Чтоб вернее всего обеспечить себя, человеку есть одно средство, и это средство то самое, которому учит Христос: как можно больше работать и довольствоваться как можно меньшим. Человек, который будет поступать так, везде и всегда будет обеспечен.

Христианское учение нельзя брать кусочками: взять одно и оставить другое. Если люди, приняв учение Христа, отказались от насилия, судов, войны, то они должны отказаться и от собственности, потому что насилие и суды нужны только для удержания собственности. Если же люди держат собственность, то им необходимо и насилие, и суды, и всё мирское устройство.

Соблазн собственности есть самый тонкий соблазн, вред которого очень хитро скрыт от людей, и потому так много христиан претыкались об этот камень.

И потому, дорогие братья и сёстры, устраивая вашу жизнь на чужой стороне после того, как вы были изгнаны из своего отечества за верность христианскому учению, я вижу ясно, что вам со всех сторон выгоднее продолжать жить христианскою жизнью, чем изменить этому — начать жить жизнью мирскою. Выгоднее жить и работать сообща со всеми теми, которые захотят жить такую же жизнь, чем жить каждому отдельно, собирая только для себя и для своей семьи, не делясь с другими. Выгоднее жить и работать так, во-первых, потому что, не припасая на будущее, вы не будете тратить бесконечно сил на невозможное для смертного человека обеспечение себя и семьи, во-вторых, не будете тратить сил на борьбу с другими, чтобы удержать от ближних каждый своё имущество, в-третьих, потому что без сравнения больше сработаете и приобретёте, работая общиной, чем сколько сработали бы, работая каждый отдельно, в-четвёртых, потому что, живя общиной, вы меньше будете тратить на себя, чем живя каждый отдельно, и в-пятых, потому что, живя христианскою жизнью, вы в окружающих вас людях вместо зависти и недружелюбия вызовете к себе любовь, уважение и, может быть, и подражание своей жизни, в-шестых, потому что не погубите того дела, которое вы начали и которым посрамили врагов и порадовали друзей Христа. Главное же выгоднее вам жить христианскою жизнью потому, что, живя такой жизнью, вы будете знать, что исполняете волю Того, Кто вас послал в мир.

Знаю я, что трудно не иметь ничего своего, трудно быть готовым отдать то, что имеешь и нужно для семьи, всякому просящему, трудно покоряться избранным руководителям, когда кажется, что они неправильно распоряжаются, трудно воздержаться от привычек роскоши, мяса, табака, вина. Знаю, что всё это кажется трудно.

Но, любезные братья и сёстры, ведь мы нынче живы, а завтра пойдём к Тому, Кто послал нас в этот мир для того, чтобы делать Его дело. Стоит ли из-за того, чтобы называть вещи своими и по своему распоряжаться ими, из-за нескольких пудов муки, долларов, шубы, пары волов, из-за того, чтобы не дать неработающим воспользоваться тем, что я сработал, из-за обидного слова, из-за гордости, вкусного куска идти против Того, Кто послал нас в мир и не делать того, чего Он от нас хочет и что мы можем исполнить только в этой нашей жизни? А хочет Он от нас немногого: только того, чтобы мы делали другим то, чего для себя хотим. И хочет Он этого не для себя, а для нас же, потому что, если бы мы только согласились это делать, то всем бы было так хорошо жить на земле, как только можно. Но и теперь, хотя бы весь мир жил противно Его воле, всякому отдельному человеку, понявшему то, зачем он послан в мир, нет расчёта делать ничего иного, как только то, на что он послан.

Мне, старику, стоящему на краю жизни, со стороны ясно видно это; но и вы, дорогие братья и сёстры, если только подумаете спокойно, откинув на время соблазны мира, ясно увидите тоже, что всякий человек ничего не потеряет, а со всех сторон только выгадает, если будет жить не для себя, а для исполнения воли Бога. Сказано: «Ищите Царства небесного и правды его, а остальное приложится вам». И всякий человек может испытать, правда ли это. Вы же уже испытали это и знаете, что это правда. А то мы ищем остальное: имущество, мирские сладости, и их не получаем и Царство Небесное теряем.

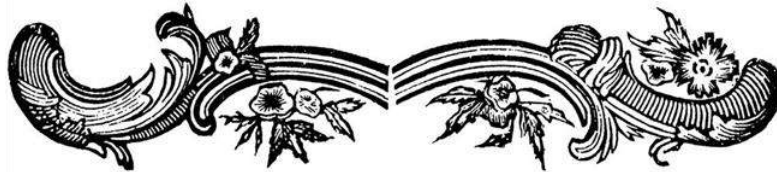
И потому, любезные братья и сестры, держитесь крепко той жизни, которую вы начали, а то вы напрасно потеряете то, что имели, и не найдёте того, чего ищете. Пославший нас в жизнь лучше нас знает, что нам нужно, и вперёд так устроил мир, что человек получает наибольшее благо и в этой жизни и в будущей, только исполняя не свою волю, а Его.

О том, как именно вы устроитесь в своей общинной жизни, я не смею вам давать советов, зная, что вы, особенно ваши старички, опытни и мудры в этом деле. Знаю только, что всё будет хорошо, если только каждый из вас будет помнить, что он не по своей воле пришёл в мир, а по воле Бога, который послал его в эту короткую жизнь для исполнения воли Его. Воля же Его вся выражена в заповеди о любви. Собирать же собственность отдельно себе и удерживать её от других — значит поступать противно воле Бога и заповеди Его.

Простите.

Любящий вас брат  
Лев Толстой.

## КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ



КОЛОКОЛ XX ВЕКА

Созревает в мире новое мирозерцание и движение  
и как будто от меня требуется участие, провозглашение его.  
Точно я только для этого нарочно сделан тем,  
что я есмь с моей репутацией — сделан колоколом.  
Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать.

*(Дневник. 19 апреля 1889 г.)*

Глава Восьмая.  
**СТАРЧЕСТВО**  
ОТ «ХАДЖИ-МУРАТА»  
ДО РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ  
*(1890-е – 1904 г.)*

Сколько же необратимых перемен совершилось в жизни семейства Льва Николаевича, в его жизни, за 1890-е годы — пока незримая миром Птица Небесная вставала на крыло! Новый век Толстой встретил и для мира, и для самого себя — совершенно иным человеком, нежели «писатель и публицист» 1890 – 1891 годов. С одной стороны, мир от своего духовного «авторитета», от «человека мира» ждал теперь, пусть даже и не оригинальных, но постоянных откликов на будоражащие общественность события. С другой же стороны — соблазненный в начале 1880-х московской жизнью, возможностью публичности, а в 1890-х выведший эту публичность на уровень всемирности, для которой уже не важно место проживания кумира — Толстой успокоил с годами и смирил себя перед соблазном проповедания, учительства, общественного активизма. Последний никогда и не отвечал его натуре: в благотворительный, международных масштабов, проект по спасению голодавших крестьян в начале 1890-х Толстой буквально «попал» стечением обстоятельств — первоначально лишь желая ограничено, по малым возможностям частного лица, помочь в работе организации столовых для окрестного населения старому своему другу, рязанскому помещику Ивану Раевскому. Многосложное дело спасения духоборов, напротив, было принято Толстым на свои плечи — именно в связи с переходом его в течение 1890-х из позиции пусть и знаменитого писателя, религиозного проповедника, но, в большей степени, и частного человека — в роль безусловного живого идола, «авторитета» для участников целого ряда общественно-политических, в том числе антивоенных, и духовных движений: его влиятельное участие становилось залогом успешности

в деле спасения людей, через него же познавших Истину первоначального учения Христа и страдавших в её исповедании!

Но при всём при том *человек мира* не желал быть *мирским*.

Для христианского сознания яснополянца уже навсегда на первое место вышло — проповедание евангельского учения о человеке как дитя и работнике в воле Отца, Бога, о смирении, о единении и любви как условиях возможности и продуктивности работы человека сына Отцу, Богу. Гонка вооружений, убийства людей на войне, равно как и смертные казни, насилие террора и революций — всё это приняло в глазах Толстого характеристики равно неприемлемого, совершаемого в области зла и неправды, греха: нарушения человеком условий собственного блага и осмысленности своей конечной, краткой жизни — то есть, критиковалось без ярко выраженных предпочтений в критике. Хотя при этом, как мы и указывали в начале книги, старый офицер мог с симпатией, одобрением высказываться о молодых военных и ценил, как нравственные достоинства, мужество и самопожертвование участников антиправительственного террора, революционеров. Однако в сочинениях, в публичных интервью Толстого в эти годы обыкновенны общие перечисления, как однородного зла, «войн, казней, революций».

По тематической специфике нашего исследования мы не можем останавливаться на всех подобных статьях, письмах либо интервью и прочих, кем-либо зафиксированных, устных высказываниях Толстого. Но приведём ниже, не отвлекаясь от хронологического принципа всей книги, сначала некоторые отдельные случаи антивоенного диалога Льва Николаевича, а затем, в особенной главке — великолепный образец, статью, изваянную Л. Н. Толстым на пороге XX века, одно именование которой указывает на принципиальное, с христианских позиций, неразличение Толстым «насилий» мира и века сего: «Не убий».

## **8. 1. ОБРАЗЕЦ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ:**

### **Спор с В. С. Соловьёвым**

Критика Толстого и толстовства — неотъемлемая и значительная для нашей темы часть наследия философа *Владимира Сергеевича Соловьёва* (1853 – 1900). Мировоззренческие основания её, в числе прочего, поучительны как указание причины массовой поддержки даже самых безумных, преступных войн, как война 2022 – 2024 г. фашистской России с Украиной, в среде городской «культурной», ин-



теллигентской сволочи. Показательно даже то, что они ставят у «источков духовного возрождения» человека, который, как и Ф. М. Достоевский, умер трагически рано — на духовном пути, который мог сблизить Владимира Сергеевича Соловьёва, как и Достоевского, с Толстым-христианином, в том числе и в отношении к войнам.

Несчастье Толстого и Соловьёва в том, что одному из них (Льву Николаевичу) довелось *прозреть* к новому религиозному жизнепониманию, увидев *истинные*, актуальные для человечества XIX, XX и последующих веков смыслы и значение земной жизни и учения Иисуса Христа. Другому же, Владимиру Соловьёву, принадлежали безусловно могучий и, главное, дисциплинированный исследовательской работой ум и *системные* (по возможностям той эпохи, конечно) научные знания о мире и человеке. Но сочетались они — с *добровольным* порабощением ума ветхим, отжитым церковным суевериям, авраамическому бреду паразитирующей на Христе, к тому времени уже 1800 с лишком лет, еврейской секты-переростка, отравленной римским и византийским имперством, влиянием язычества, но, по традиции, лживо именующей сама себя «Христовой Церковью». Частью этого возлюбленного бреда стал для Владимира Сергеевича поиск оправданий, и даже освящения войны. При этом уже в 1880-х гг. молодой философ стал известен как противник смертных казней — весьма близкий в этом отношении к Л. Н. Толстому.

К этому парадоксу В. С. Соловьёва долго подводила судьба. Отрок московского интеллигентского семейства, сын выдающегося историка Сергея Михайловича Соловьёва (1820 – 1879) и дворянки Поликсены Романовой (по линии которой, кстати, двоюродным прадедом Соловьёва был философ Григорий Сковорода, чей музей в селе Сковородиновке на Харьковщине весной 2022 года был разрушен путинскими убийцами и мародёрами), Владимир был воспитан в безусловном державном, а значит и военном, патриотизме. При этом до начала 1870-х гг. юноша симпатизировал материалистам, атеистам и позитивистам. Но если такое, полудетское, увлечение завершилось духовным кризисом обретения веры, то вычистить военно-патриотическую заразу из головы ему до конца жизни так и не удалось...



В. С. Соловьёв в 18-ть лет.  
Фото А.Ф. Эйхенвальда, сепия, 1871.

С марта 1877 г. Соловьёв, уже опытный преподаватель и автор антипозитивистской магистерской диссертации «Кризис западной философии», переезжает из Москвы в Санкт-Петербург, где знакомится, в числе прочих, с Ф. М. Достоевским. Конечно, отравление сознания патриотическими переживаниями было этим только усугублено. Прервав отпускную службу в Учёном комитете при Министерстве народного просвещения, сей духовный кумир многих интеллектуалов того и нашего времени направляется на фронт — в качестве военного корреспондента «Московских ведомостей», с поручением их редактора, Михаила Каткова.

Путь патриота лежал через имение Красный Рог под Брянском, владение поэта Алексея Константиновича Толстого, где он застал среди гостей уже хорошо известного нашему читателю поклонника России, русской литературы и русских женщин, блистательного Эжена Мельхиора де Вогюз, вспоминавшего об этой встрече следующее:

«Мы спрашивали его, получил ли он все необходимые регалии, чтобы явиться в генеральный штаб, с этим нередко возникают проблемы у журналистов. Он признался, что у него нет никаких бумаг, но зато он взял с собой револьвер. За занавеской вагона он продолжал смеяться своим детским смехом, держа в одной руке огромный

букет роз, а в другой — огромный револьвер, которым он неумело и опасно для себя потрясал: орудие, по меньшей мере, странное в руках этого абстрактного существа, которое даже мухи не обидело.

Он уехал, полон мечтаний, философствуя, читая стихи. [...] Люди с воображением могут подумать, что я пишу о сумасшедшем. Но не стоит спешить. Человек вообще есть странное существо. Русский человек странен вдвойне» (*De Vogue. E. – M. Sous l'horizon. Hommes et choses d'hier. Paris, 1900. P. 18 – 19. – Цит. по: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьёве в его молодые годы. В 3 кн. Кн. 3. Вып. 2. М., 1990. С. 167*).

Чем-то это опьянение патриотизмом напоминает состояние несчастного Пети Ростова накануне гибели. Так что остаётся благодарить судьбу Владимира Сергеевича, что ехал он на русско-турецкую войну корреспондентом, а не добровольцем.

Впрочем, приглядевшись к нему в Генеральном штабе в Свиштово, полковник Дмитрий Антонович Скалон, член Генштаба и адъютант Главнокомандующего, тут же “завернул” дитё восвояси. От греха подалее...

Отношение Соловьёва к войне связано с темой насилия государства над личностью, так явственно прозвучавшей в упомянутом выше его выступлении по поводу покушения на Александра II 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале в Петербурге, которое привело к смерти освободителя крестьян. Соловьёв выступил с публичной лекцией «О ходе русского просвещения» 28 марта 1881 г., которая была назначена и официально разрешена ещё до трагических событий 1 марта и в которой Соловьёв, неожиданно для слушателей, выступил с призывом к императорскому трону помиловать цареубийц — тем самым, нечаянно для себя, совпав с позицией в те же дни Льва Николаевича Толстого, выраженной им в знаменитом письме к наследнику, сыну убитого, имп. Александру III.

И, как и в случае с Толстым, однозначно отрицательное отношение Соловьёва к смертной казни как мере наказания, которая была, по его убеждениям, неприемлемой для христианского общества, отнюдь не означало неприятия воинской повинности. Но и тут были свои мировоззренческие нюансы — прочертившие водораздел между позициями Толстого и Соловьёва. Пытаясь оспорить право государства на смертную казнь, Владимир Сергеевич, всячески оправдывает право государства посылать своих подданных на войну. Около 1880 г. (эти материалы не вошли, но могли войти в докторскую диссертацию Соловьёва «Критика отвлечённых начал») он пишет буквально следующее: «Но допущение войны может быть,

с другой стороны, обращено против отвергающих смертную казнь. Мы основываем это отвержение главным образом на том, что государство ни в каком случае не имеет права на жизнь лица. Но этому положению, по-видимому, противоречит воинская повинность, которую государство считает себя вправе требовать от всех граждан. Так как эта повинность сопряжена с опасностью потерять жизнь, то можно сказать, что если государство вправе распоряжаться жизнью любого из граждан, тем более оно имеет право на жизнь преступника. Я не буду указывать на то, что в странах, где государство более держится присущего ему определения, нет обязательной воинской повинности. Допуская вполне право государства требовать от всех подданных военной службы, должно заметить, что здесь государство пользуется только правом организовывать наилучшим образом силы граждан для защиты от внешних врагов, которые столько же опасны для отдельного лица, как и для государства. Никакого права на жизнь лица со стороны государства здесь нет, лицо ставится только в такое положение, в котором оно может потерять жизнь не от государства, которого этого всего менее желает, а от внешних врагов. Здесь потеря жизни для каждого лица есть только риск, только возможная случайность, не зависящая от государства, тогда как при смертной казни лишение жизни есть цель для государства и сущность всего дела» (Соловьёв В. С. *Критика отвлечённых начал. Наброски* // Соловьёв В. С. *Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. Т. 3. М.: Наука, 2001. С. 409*).

На вышеприведённые суждения В. С. Соловьёва можно было бы немало возразить: например, то, что смертной казнью государство всё-таки преследует цель не *убиения* преступника, а *наказания* в отношении его деяния. Или, что важнее: что воин отдаёт государству, сопротивляясь силой его (государства) врагу, поступки, а не жизнь. А тут уже — прямая дорога к тому христианскому разграничению у Толстого «кесарева» и «Божьего», на котором мы уже останавливали внимание читателя, и не раз — и не будем здесь всё повторять. Коротко сказать: Иисуса Христа можно представить, отдающимся на убиение кесарю, отдающего жизнь и испускающего дух на кресте — но не в рядах воинов или палачей кесаря! Как раз жизнь может быть пожертвована, отдана государству, как сделал отказник-мученик Евдоким Дрожжин — но не поступки и не обещания оных (клятвы, присяга)! Даже обучение «военному делу», согласие на него, даже слова в поддержку военщины, патриотизма или войны — уже суть поступки и обещания поступков «кесарю», государству.

Рассуждения же, подобные тем, которыми полна «Критика отвлечённых начал» В. С. Соловьёва, вполне милы показались бы и

нашим, в путинской, фашиствующей России, либеральным безбожникам, проснувшимся 24 февраля 2022 года соучастниками преступлений своего, до того лишь умеренно критикуемого, кремлёвского фюрера — с которым годами вели именно те небескорыстные заигрывания, которые Л. Н. Толстой проклял, обличив либероснию своего времени, ещё в знаменитом «Письме к либералам»:

«Если бы всё правительство состояло бы из одних только тех грубых насильников, корыстолюбцев и льстецов, которые составляют его ядро, оно не могло бы держаться. Только участие в делах правительства просвещённых и честных людей даёт правительству тот нравственный престиж, который оно имеет. [...] Во-вторых, вредна такая деятельность потому, что для возможности её проявления эти самые просвещённые, честные люди, допуская компромиссы, приучаются понемногу к мысли о том, что для доброй цели можно немножко отступать от правды в словах и делах. Можно, например, не признавая существующую религию, исполнять её обряды, можно присягать, можно подавать ложные, противные человеческому достоинству адреса, если это нужно для успеха дела, можно поступать в военную службу, можно участвовать в земстве, не имеющем никаких прав, можно служить учителем, профессором, преподавая не то, что считаешь нужным, а то, что предписано правительством, даже — земским начальником, подчиняясь противным совести требованиям и распоряжениям правительства, можно издавать газеты и журналы, умалчивая о том, что нужно сказать, и печатая то, что велено. Делая же эти компромиссы, пределов которых никак нельзя предвидеть, просвещённые и честные люди [...], незаметно отступая всё дальше и дальше от требований своей совести, не успеют оглянуться, как уже попадают в положение полной зависимости от правительства: получают от него жалованье, награды и, продолжая воображать, что они проводят либеральные идеи, становятся покорными слугами и поддерживателями того самого строя, против которого они выступили» (69, 130 – 131).

Та же, но заметно смягчённая (вероятно, лучше обдуманная) аргументация в пользу войны переносится в работу В. С. Соловьёва «Право и нравственность»:

«Война, дуэль, открытое убийство могут быть бесчеловечны, ужасны, с известной точки зрения бессмысленны, но особого, специфического элемента постыдности в них нет. Что бы ни говорили сторонники вечного мира, военный человек, сражающийся против вооружённых противников с опасностью собственной жизни, ни в каком случае не может возбуждать к себе презрения. [...] Но вся эта

сторона самопожертвования или риска собственной жизнью и свободой, оправдывающая войну, извиняющая дуэль и даже смягчающая в известных случаях ужас прямого убийства, — в смертной казни совершенно отсутствует» (Соловьёв В. С. *Право и нравственность*. М.; Минск, 1994. С. 94 – 95). Тот же аргумент «оправдания» войны звучит и в 18-й главе («Смысл войны») нравственной философии Соловьёва «Оправдание добра»: война не может быть приравнена к убийству или злодеянию, поскольку у отдельного солдата такого намерения не бывает, «особенно при господствующем ныне способе боя из дальнострельных ружей и пушек против *невидимого* за расстоянием неприятеля». Кроме того, в войну вступают не отдельные индивиды, но собирательные организмы-государства, и их органы — войска, поэтому возможное убийство на войне является случайным. «Только с наступлением действительных случаев рукопашной схватки возникает для отдельного человека вопрос совести, который и должен решаться каждым по совести» (Соловьёв В. С. *Оправдание добра*. М., 2012. С. 560).

«Как отнестись к войне *мне, мне, мне...*» — вспоминается сразу запись в Дневнике Льва Николаевича, предшествовавшая написанию яростной антивоенной статьи «Одумайтесь!». Но Соловьёв имеет в виду совсем иное. Он прибегает к странной даже для последней четверти XIX столетия «организмической» теории государства — предполагая самым надёжным излечением то, чтобы «организмы» эти, что называется, «переболели», то есть навоевались всласть — с максимальной поддержкой именно тех сознательных граждан, которые мечтают о грядущем прочном мире. И уж куда здесь без «искусственного отбора», с гибелью слабейших! Как историк, сын историка Владимир Сергеевич обращается к историческим примерам того, как «война редко приводила к истреблению слабейшего рода или племени, позднее государства, зато породила договоры и право как ручательство мира» (Там же. С. 545). Соловьёв обращается к истории всемирных монархий — Ассиро-Вавилонской, Персидской, Македонской (Александра и его преемников) и, наконец, Римской. Философ отмечает их «полусознательное» стремление — «дать мир земле, покорив все народы одной общей власти». «*Организация войны* в государстве, — парадоксально заявляет он, — есть первый великий шаг на пути к *осуществлению мира*» (Там же. С. 546). Сторонник идеи единства человеческой истории, в которой он усматривал предначертанный путь собирания человечества в единый богочеловеческий организм, Соловьёв видит в войне практический инструмент к осуществлению своих утопических чаяний «одухотворения объединённого вселенского тела, осуществления в нём Царства Правды и

Вечного мира» (*Там же. С. 559*). Сторонник универсализации человеческой истории, Соловьёв приводит симптомы развития, которые сегодня считаются классическими признаками пресловутой «глобализации». Но такая интеграция, как мы можем видеть, отнюдь не стала дорогой к миру.

Между прочим, есть и в этом странном тексте, поразившем многих современников, идеи, сближающиеся с *антивоенной* (как ни парадоксально!) позицией Толстого — например, с высказанным значительно позднее, в статье «Конец века», пророчеством о военной экспансии «восточного народа», развращённого примером лжехристианской жизни Запада. Что-то похожее есть и в соловьёвском «Смысле войны» — но в рамках известной концепции «панмонголизма», постулировавшей мыслителем. Интеграция Запада и Востока произойдёт через войну, и путь к мировому единству и к миру идёт через схватку с библейскими «гогами и магогами», в роли которых выступают японцы и китайцы.

Но Толстой, как может помнить читатель, находил оптимистический выход из этой военной опасности — не через войну, а через настоящее послушание Христу тех западных народов, народов номинально «христианских», кто в веке XIX-м вооружил и развратил Восток. «Панмонголизм» же Владимира Сергеевича Соловьёва с годами становился всё пессимистичнее в отношении идеи обеспечения мира посредством единения народов во «всемирной монархии». Уже приблизительно 1895 – 1897 гг. у Соловьёва, вероятно, зарождается сомнение в том, что война коалиции колониальных держав с последним оплотом независимого Востока — Китаем — приведёт к созданию «одного» универсального государства, а не какого-то особого межгосударственного союза. Характер такого союза достаточно внятно изображён в «Краткой повести об антихристе», завершающей соловьёвские «Три разговора» (1900). Его установление становится делом франкмасонского заговора, приводящего к власти молодого президента Соединённых Штатов Европы, «социалиста, гуманиста и филантропа», которому и «выпадет честь» заключить пакт и принять особую инициацию...

Как можно было предвидеть, зная о высказанных В. С. Соловьёвым воззрениях на войну, Лев Николаевич не включился ни в какие публичные диспуты. Для него важнее были религиозно-богословские расхождения с философом: например, в отношении к Христу, божественную ипостась и воскресение из мёртвых которого Толстой не признавал. Но, например, в конце сентября 1895 г. он написал бла-

годарственное письмо в адрес литературного критика и искусствоведа *Акима Львовича Волынского* (наст. имя Хаим Лейбович Флексер, не позднее 1863 – 1926), напечатавшего в сентябрьском номере дружественного Толстому и регулярно читавшегося им журнала «Северный вестник» довольно «злую» отповедь Соловьёву в связи с его «Смыслом войны». Вот отрывок из неё:

«Не задаваясь строгим философским анализом, автор повторяет казённые рассуждения плохих учебников об исторической пользе войны — даже без малейшего оттенка диалектической страсти, которая разжигала такого рода соображения некоторых других талантливых европейских писателей. В холодном, мертвенном тоне литературного звонаря с чертою глубоко въевшегося византизма, г. Соловьёв распространяется на нескольких страницах перед огромной благодарной толпой, читающей иллюстрированные издания, о важном значении войны в историческом развитии человечества. [...] Г. Соловьёв знает все козырные карты, безусловно выигрышные в споре с людьми, которые стали бы ссылаться на высший авторитет религиозного идеала»

([http://az.lib.ru/w/wolynskij\\_a\\_1/text\\_1895\\_smysl\\_voyny\\_olderfo.shtml](http://az.lib.ru/w/wolynskij_a_1/text_1895_smysl_voyny_olderfo.shtml)).

Метко и по-еврейски безжалостно, зло Аким Волынский указывает на самые истошные истоки спекуляций Соловьёва: вырождение философской мысли, религии и морали в среде «казённого либерализма», вполне справедливо и остро ненавидимого к этому времени и Толстым. Как и многие, угоджающие мирской лжи, молодые люди всех времён, Соловьёв смекнул, что истину знает один Бог, что философия и «текущие жизненные вопросы» несовместимы без спекуляций журнального уровня, а значит, «люди с либеральным образом мысли должны, не смущаясь нравственным законом, сосредоточиться около чисто исторических задач и не сопротивляться высшим политическим силам» (*Там же*).

На самом деле, как мы видели, В. С. Соловьёв никак не вмещается в те рамки, куда стремится поместить его Волынский: отрывок его сочинения «Оправдание добра», подвергшийся злой критике не одного Волынского, всё же содержит в себе глубокое историко-философское осмысление целых эпох и довольно сложное, явно не «журналистского» уровня, концептуальное строение.

Но, так или иначе, Аким Львович Льву Николаевичу угодил. Толстой в своём письме Волынскому признался, что одобряет даже и его злость: «Уж очень скверно то, что написал Соловьёв» (68, 193).

Наконец, на замечательных «Трёх разговорах» В. С. Соловьёва так же необходимо задержать внимание. Это сочинение 1899 года, то



есть, единовременное с Гаагской мирной конференцией и, при этом, рядом военных преступлений разбойничьих гнёзд, государств, особенно значительно в череде попыток В. С. Соловьёва «опровергнуть» христианское ненасилие Л. Н. Толстого. В этом сочинении анонимный персонаж «Г-н Z» выражает мысли автора и выдаёт свои раздражение и неприязнь к другому персонажу — Князю, толстовцу (какими представлял себе толстовцев автор).

Но было бы ошибочным рассматривать это сочинение, как “адресно” антитолстовское. Уже Предисловие к “беседам”, вошедшим в книгу «Три разговора», указывает на значительно более глубокий и благородный замысел философа:

«Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?» (Соловьёв В.С. Сочинения: В 2-х тт. Т. 2. М., 1988. С. 636)

Но вот в реализации замысла своего сочинения В. С. Соловьёв безмерно тенденциозен. Помимо положительной задачи «Трёх разговоров» («представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трёх разных точек зрения»), он, как и в ряде прежних своих публикаций, ставит перед собой задачу *полемическую*, сближающую его с уже покойным тогда автором «Новых христиан», Константином Леонтьевым, о котором у нас речь заходила выше.

Как и Толстой, и в те же самые 1880-е годы, Владимир Соловьёв подверг достаточно резкой критике современное ему состояние общественных институтов – церкви и государства – и, как и Толстой, сам подвергся за эту критику цензурным взысканиям... но при этом он парадоксально продолжал безоговорочно верить учению церкви и до конца жизни брал под защиту традиционную церковную религию. Он сделался тем безумным больным, который отталкивает протягиваемое ему служителем медицины лекарство: а во все времена именно так делали и делают религиозные фанатики. Ставя для себя в отношении «Четвероевангелия» Л. Н. Толстого своего рода внутренний, психологический «барьер невосприятости», проповедь Толстого Соловьёв характеризует в Предисловии, по субъективизму данной характеристики, *очень близко* к тому, как за 17 лет до него характеризовал К. Н. Леонтьев в «Новых христианах» Пушкинскую речь Ф. М. Достоевского:

«Много лет тому назад прочёл я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались *вертидырниками* или *дыромоляями*, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь тёмном углу в стене избы дыру

средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!” Никогда ещё, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. [...]

«Но религия дыромоляев скоро испытала «эволюцию» и подверглась “трансформации”. И в новом своём виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба получила теперь название “царства Божия *на земле*”, а дыра стала называться “новым евангелием”. [...] Хотя интеллигентные дыромоляи и называют себя не дыромоляями, а христианами и проповедь свою называют евангелием, но христианство без Христа — и евангелие, то есть *благая весть*, без того *блага*, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни, — есть такое же *пустое место*, как и обыкновенная дыра, просверленная в крестьянской избе» (Там же. С. 636 – 637).

Налицо приём своеобразный для консервативной, оглушённой церковными суевериями, публицистики: полутораумное, не могущее быть понятным, приравнивается к полоумному. Установление, через реконструкцию древних, первоначальных смыслов Евангелий верного отношения человека к миру и Богу и отказ от определений Бога, опирающихся на тесный опыт человечества на одной лишь Земной планете — Соловьёв сравнивает с обрядоверием и идолопоклонством грубой секты: ещё низшим, ещё ничтожнейшим и бессмысленным, нежели церковное идолопоклонство католических или православных обрядоверов Христу как умирающему и воскресающему божеству. Блаженствующих от возможности, «подаренной» им церковниками, блудить, казнить, торговать, воевать... то есть грешить, и не по «слабости Адама» в человеке, а, зачастую, системно, преднамеренно, организовано, бесстыдно и беспробудно, продолжая считать себя последователями Христа.

Речь Соловьёв ведёт о действительной секте времён Российской Империи, отколовшейся от старообрядчества и отрицавшей всякое иконопочитание. Подобно мусульманам, они произносили молитвы, обращаясь в одном строго определённом направлении. Но если у мусульман это — священная Кааба в Мекке, то у старообрядцев «дырников» — просто направление строго на Восток. При этом как раз на стену дома или даже через закрытое окно молиться у них считалось грехом, оттого даже в стене они, действительно, прорубали отверстия... В отличие от мусульман, умевших всегда постоять за уважительное отношение к своей вере, христиан нетрадиционных объединений в России высмеивали, ненавидели и гнали, часто и грубо

высмеивали — и Соловьёв, очевидно, пересказывает дурную книжку одного из таких (православных, вероятно) пересмешников. Так как «дырники» отрицали также и необходимость в навязчивых и отнюдь не бесплатных услугах церковников — ненависть последних к ним вполне понятна. На деле в отрицании идолопоклонства икон нет ничего анти-Христового или антиевангельского. Нигде в евангелиях идолопоклонство икон не утверждается — как не устанавливается и преискурант на “услуги” самозванных “посредников” между Богом и людьми.

Действие самих очерков, весьма знаково, происходит за границей. В спорах религиозных и политических участвуют пять отдыхающих в мудрой, спокойной Швейцарии гостей из «русского мира», из имперского Мордора — Дама, Генерал, Политик, Князь и некий г-н Z, высказывающий в очерках мысли самого Соловьёва. В образе Князя легко узнать *не очень умного и честного* «последователя» Толстого-христианина, богатого и досужего пропагандиста симпатичных ему идей. В разной степени и с разных мировоззренческих позиций — мирской (Дама), военной и религиозно-бытовой (Генерал), военной, политической и культурно-прогрессивистской (либерально-западнического толка Политик) и религиозно-философской (г-н Z) ему оппонируют остальные участники трёхдневной беседы — конечно, «уничтожая» его к концу разговоров, вплоть до побуждения к «бегству» в третьем из них. Без сомнения, при создании такого образа Князя В. С. Соловьёву припоминались его споры при личных встречах с Л. Н. Толстым и казавшаяся самолюбивому молодому человеку (и ещё глупейшим слушателям) «слабость» его аргументов.

Сам Князь, с его пристрастием к рулетке в Монте-Карло — отсылка к Толстому и Достоевскому в их молодые годы, а проповедание его, конечно же, отсылает нас к «князю Христу» (он же князь Мышкин, как на грех и Лев Николаевич), из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868). Само же безымянное прозвище — Князь — отсылает нас к евангельскому «Князю Мира Сего». Так назвал Иисус *смерть*, которая «в нём не имеет ничего», то есть была бессильна перед сознательным Сыном и Работником Бога. По мысли Соловьёва, проповедание Льва Николаевича Толстого, отрицающее мистическое «Воскресение» Христа во плоти, возвращает Смерти и Злу всю силу над ересиархом Толстым и жертвами его ереси. Князь — воплощённая Смерть, а ещё — Обман, то есть сатана, абсолютное зло под благой личиной. На связи Князя с Антихристом отчётливо намекает его поведение в Третьем из разговоров, посвящённом частью как раз Антихристу.

Надо ли поддаваться провоцирующим намёкам автора и видеть в Князе именно Льва Николаевича Толстого? Никак. Помимо глупости «аргументов» в ходе Разговоров Князя, его «выдаёт» и упоминаемый образ его жизни — траты денег на роскошь и игры в рулетку (помимо «просветительской работы»). Князь — пользователь той самой цивилизации, которая создавалась войнами и которой сущностно имманентно системно организованное насилие. Нет, не узнаваем в нём Толстой-старец... Некоторые из его светских, богатых «учеников» — пожалуй, и это образ — скорее, сатира на них. Не только на «толстовцев», но на всех поклонников *мамона неправедного* (земных богатств) во Христе: от бродяги до папы Римского. Это то, во что должен был обратиться «уверовавший» богатый юноша, которому Иисус посоветовал, как следующий шаг к совершенству — оставить богатство... и тот, смутившись, оставил Спасителя (Мф. 19, 16 - 22). Князь, как и миллионы таких господ из Сан-Франциско или Монако, — образ того, во что превращается желающий «усидеть на двух стульях», слуга и Бога, и мамона. Во всех биографиях В. С. Соловьёва поднимается вопрос о вероятности тайного его перехода около 1896 г. в католичество. Если это имело место — удивительно, как сам автор «Трёх разговоров» не заметил двусмысленности образа богатого «князя мира» по отношению к тысячелетнему источнику заблуждений, страданий и гибели своих бессчётных жертв — папскому Ватикану.



Л. О. Пастернак. Три философа  
(Николай Фёдоров, Владимир Соловьёв, Лев Толстой). 1928–1932 г.

Помимо Князя и г-на Z (самого Соловьёва), остальные участники Разговоров — именно таковы, каковы должны быть: Генерал — защитник «традиционных» ценностей Российской Империи, олицетворяющий для Соловьёва седое Прошлое, историю борьбы человечества со Злом орудием военного меча; Политик — атеист и «прогрессист», а Дама — мало говорит, но иногда достаточно остроумно возражает или дополняет беседы. Оба эти персонажа, равно и Князь — олицетворение зловещего Настоящего, предвестия торжества в мировой истории Антихриста. С г-ном Z (т.е. с самим собой в его образе) Соловьёв связывает Будущее — борьбу с мировым господством Антихриста и низвержение его при воскресении из мёртвых праведных христиан разных конфессий и единении их (Соловьёв В.С. Указ. изд. Там же. С. 640). Здесь несомненно влияние на Соловьёва учения мистика, библиотекаря Румянцевской и Публичной библиотек в Москве Николая Фёдоровича Фёдорова — печально известного ссорой с Толстым в 1892 году, при появлении в печати его статей о голоде и личной помощи голодавшим. Сам Николай Фёдоров видел

проблемы глобального неурожая страны в отсутствии развитой системы «метеорической регуляции», для развития которой нужно было овладевать солнечной энергией, управлять движением земного шара, освоить космические пространства и так далее. Смерть крестьян от голода и эпидемий он не считал злом — так как предполагал возможным воскрешение всех умерших во плоти.

Не лишним будет провести здесь параллель с написанным В. С. Соловьёвым в том же 1899 г. очерком о философии Фридриха Ницше — «Идея сверхчеловека». Он значим тем, что Соловьёв в нём несправедливо, но решительно определяет место для «учений» Ницше и Льва Толстого и решительно предпочитает первого второму: «...Людьми, особенно чуткими к общим требованиям исторической минуты, <в наше время> не владеет одна, а по крайней мере три очередные или, если угодно, модные идеи: экономический материализм, отвлечённый морализм и демонизм «сверхчеловека». Из этих трех идей, связанных с тремя крупными именами (Карла Маркса, Льва Толстого, Фридриха Ницше), первая обращена на текущее и насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я считаю её самой интересной из трёх» (Там же. С. 627).

Предсказуемо и ошибочно Соловьёв отдаёт своё предпочтение Ницше как провозвестнику «сверхчеловека» — первым из которых, воскресшим «первенцем из мёртвых», для В. С. Соловьёва остаётся, конечно, Иисус Христос. Он оставляет без внимания аргументы Л. Н. Толстого о *духовных* смыслах евангельской легенды о «воскрешении» Христа, о совершенно иной *победе над смертью*, нежели та, которая представлялась веками церковным суеверам или та, которую нафантазировал себе философ Фёдоров. Богочеловечность как воскрешение Христа в его учении, соединяющем человечество будущего в сотворчестве Всевышнему Творцу, на деле вырождается у Соловьёва в обожение земного, во плоти, «личного» человека — в своего рода Человекобожество.

Сделав по недоразумению фаворита из автора книги «Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum» («Антихрист. Проклятие христианству», 1888), Владимир Сергеевич Соловьёв в Предисловии «Трёх разговоров» разъясняет читателю свои симпатии к Генералу и Политику и открытую неприязнь к Князю следующим образом: «Безусловно неправо только само начало Зла и Лжи, а не такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата». Он не замечает, что «бациллами» этих лжи и зла заражены каждый из его персонажей: не только старовер Генерал, атеист и «западник» Политик, но и легкомысленная Дама, и сектантствующий, цитирующий «из Льва

Толстого» дурак Князь... да и он сам — в лице своего персонажа, г-на Z. В чём это выражен — раскрывают постепенно вдумчивому читателю страницы «Трёх разговоров».

*Разговор первый* открывается жалобами Генерала, сводящимися к недовольству распространением в общественной мысли России и всего мира простой, но много веков не уяснявшейся человечеством идеи о *несовместимости* с исповеданием христианства ни единичных мучительств и убийств людей, ни тем более системно организованных их форм, среди которых на первом месте — армия, военная служба и любые боевые, военные действия.

Генерал страстно возражает Политику, успокаивающему его на том, что в общественном сознании постепенно уничтожается, изживается именно паразитировавший на христианстве религиозный обман, освящающий и оправдывающий статус и деятельность военного «сословия», но не оно само. По мысли Генерала, прямой и честной, как прямая кишка, важен именно этот обман: много поколений он поддерживал боевой дух «православного воинства», равно как и высокий статус военной службы в российском обществе. Истина первоначального учения Христа обрушивает и то, и другое — так что сознательно военное «поприще» скоро будут избирать только нравственно худшие люди — одно «отребье» (*Там же. С. 650*).

Многие идеи и мысли, действительно, буквально «витают в воздухе» эпохи... даже – разных эпох. Удивительным образом Генерал повторяет (но только в формате осуждения и жалобы) главный вывод одной из несчастнейших по журналистской своей судьбе, много лет не публиковавшихся антивоенных статей Л. Н. Толстого — «Carthago delenda est» 1896 года. Напомним её кусочек читателю:

«В обществе совершилось разделение: лучшие элементы выделились из военного сословия и избрали другие профессии; военное же сословие пополнялось всё худшим и худшим в нравственном отношении элементом и дошло до того отсталого, грубого и отвратительного сословия, в котором оно находится теперь. Так что на сколько более человечны, и разумны, и просвещённые стали взгляды на войну лучших не военных людей европейского общества и на все жизненные вопросы, на столько более грубы и нелепы стали взгляды военных людей нашего времени как на вопросы жизни, так и на своё дело и звание. [...] Теперь для того, чтобы быть военным, человеку нужно быть или грубым, или непросвещённым в истинном смысле этого слова человеком, т. е. прямо не знать всего того, что сделано человеческой мыслью для того, чтобы разъяснить безумие, бесполезность и

безнравственность войны и потому всякого участия в ней, или нечестным и грубым, т. е. притворяться, что не знаешь того, чего нельзя не знать, и, пользуясь авторитетом сильных мира сего и инерцией общественного мнения, продолжающего по старой привычке уважать военных, — делать вид, что веришь в высокое и важное значение военного звания» (Там же. С. 218 – 219).

Генерал хорош именно своей искренностью в отстаивании отжитых суеверий. Из пятерых собеседников, порченных «русским миром», он порчен менее всех. Конечно, он не встречает поддержки г-на Z, устами которого В. С. Соловьёв высказывается в пользу всеобщей воинской повинности как средства в скорое время «упразднить» войска и сами воюющие государства. Это, как и историческое оправдание войны, звучащее из уст г-на Z следом — всё, конечно, камешки в окошко Льву Толстому. И всё — ошибочно... Надежда на «упразднение» войск в связи с введением Россией и рядом европейских государств всеобщей военной повинности владела умами многих современников Соловьёва и, как мы помним, несколькими годами ранее, в начале 1890-х, прозвучала в знаменитом и остро-нецензурном трактате Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас», а чуть позднее, в связи с русско-японской войной, появилась в его Дневнике (в записях на 8 мая 1904 г.). Но для Толстого был важен не сам всеобщий призыв, а *этические последствия* его: необходимость для подлинных христиан отказываться от повиновения призыву по религиозным убеждениям. И Толстой не обольщался надеждами лёгкости и быстроты, с которыми такие отказы, действительно, «задушат» милитаризм лжехристианского мира. Позиция же Соловьёва напоминает иллюзии людей уже XX столетия по поводу атомного оружия, *ужас* перед которым должен был прекратить войны на планете... В таком варианте надежды философа — не более чем обольщение, самообман. Он понимает это сам — связывая представляющиеся ему перспективы уничтожения войск и государств не с победой христианства, а с торжеством Антихриста.

Достойный ответ стороне, «отрицающей» христианское научение Л. Н. Толстого о ненасилии, дали наблюдения психолога XX столетия Э. Фромма. Он делает заключение, что вся философия сторонников наказания, войны или даже «необходимой обороны» не выдерживает проверки реальностью, в которой «чисто оборонительная агрессия очень легко смешивается с необоронительной деструктивностью и садистским желанием господствовать [...]. И когда это происходит, революционная наступательность перерождается в свою противоположность и вновь воспроизводит ту самую ситуацию, которую



должна была уничтожить» (Фромм Э. *Анатомия человеческой деструктивности*. М., 1998. С. 262 – 263).

События дикой российско-украинской войны 2022 – 2023 гг. — ужасная и бесконечная иллюстрация правоты умного психолога, современника и свидетеля преступлений большевиков и нацистов. Даже самым огромным насилием Зверь Антихрист лишь ненадолго водворяется в Ад, но не теряет совершенно своего контроля над миром...

Наблюдение психолога Фромма, между прочим, — почти дословное повторение одной из идей «Царства Божия», а позднее и финального философского труда Л. Н. Толстого «Путь жизни» (1910): порядок в обществе держится не насилием, а общественным мнением, которое извращается «примером дурной жизни» общественной «верхушки»; так что «деятельность насилия ослабляет, нарушает то самое, что она хочет поддерживать» (28, 201 – 202; ср. 45, 204).

Взаимная борьба — закон животной жизни, а не общественной, разумных чад Божьих, то есть не человеческой, поэтому войны, революционное насилие или судебное преследование людей людьми же оправданы быть не могут. Теория Толстого, по мысли А. Гусейнова, призывает стараться «отделить человека, совершающего зло, от самого зла», поняв его заблуждения и соблазны, и искоренять не «злодеев», а эти соблазны и заблуждения в себе и других (Гусейнов А. *Учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием // Свободная мысль. 1994. №6. С. 81*). Посвятив этому свои силы, всякий истинный борец со злом «увидит перед собой такую огромную деятельность, что никак не поймёт даже, зачем ему для его деятельности выдумка о разбойнике» (45, 212 – 213).

Начиная с трактата 1882 – 1884 гг. «В чём моя вера?» и вплоть до упомянутой выше книги «Путь жизни» Л. Н. Толстой нигде и ни разу не говорит о несопротивлении (= покорности, потакании) злу. Непротивление в толстовской коннотации есть противоположность несопротивлению, бессильному смирению со злом. «Я говорил, — поясняет Толстой в “Трёх притчах”, — что, по учению Христа, вся жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом и любовью, но что из всех средств противления злу Христос исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же» (31, 59).

Недоумение номинальных «христиан» о конкретных формах ненасильственной борьбы со злом, об избегании войн через 1800 – 2000 лет после Христа — это позор и гибель всей христианской цивилизации и признак слабости или отсутствия веры (доверия Отцу, Богу) как таковой.

Дальнейший ход Первого Разговора выявляет как *непонимание* участниками его сущности христианского закона непротивления злему насилием (Князь), так и намеренный *барьер неприятия* этой идеи — со стороны более умного г-на Z. В разразившемся споре он становится вежливым, но непреклонным оппонентом Князя. Предсказуемо он ставит перед князем мнимо-неразрешимую дилемму: моралист, такой же как Князь, должен по велению совести вмешаться в противостояние злодея и беспомощной жертвы. Раз за разом г-н Z подводит своего оппонента, дурака и резонёра, к неизбежному различению *насилия* и — в крайней ситуации — силового противостояния злу. Точнее — Злу, ибо автор «Трёх разговоров» настаивает на его независимом от человеческой воли бытии в мире. Кроме того, в центре внимания В. С. Соловьёва, как и у большинства тех, кто спотыкался о дилемму об убийце (вариант: тигре) от которого надо защитить... почему-то всегда либо прекрасную девушку, либо «невинное дитя».

Такая картина, между прочим, тоже противоречит христианскому пониманию жизни. Здесь актуализируется уровень *животного* альтруистического инстинкта человека как социального животного. Собственно говоря, человек не единственное из высших животных, способных на самопожертвование. Разумного, собственно человеческого, сознания для этого не требуется... Пробудившееся же к христианской вере разумное сознание запрещает грех убийства – ради Божественного в *каждом* человеке (и защитнике, и жертве, и посягателе). Соединение этой бессмертной и совершенной Основы, жизнь всякого человека – в воле Бога, и не может быть уничтожено творцами *своей* воли – будь то пресловутая «оборона» или казнь. Гибель при этом *всякого* из участников конфликта — трагическое обстоятельство, которого надлежит избегать.

*Зло главное – душе того, кто убьёт*, если это человек. Для жертвы же гибель от рук или лап убийцы — лишь один из вариантов всегда карающей всякого человека смерти. Бороться надо не с делателем зла, а за него – со злом, с обманом, обладающим им... Такая этика подразумевает *христианское воспитание* с детства — разума и сердца, умения не соблазниться «простыми способами» летального насилия, доступными не одному древнему легендарному «первому убийце» Каину, но и куда более древним предковым формам человека – до Творения из них, по Божьей воле, управляемой программой Эволюции, человека современного типа.

Дисциплинированный разум и воспитанное сердце возвращают исполнению христианского Закона Непротивления первоначальный верный порядок. Слово и поступок, в крайности – применение не

деструктивных силовых действий, совершаются Защитником: 1) ради себя, своей души; 2) ради души Злодея (убережения его от делания зла, от *помощи злу* в мироздании, от *дарения материальной силы* Злу через себя, своё материальное тело, которое по истине есть инструмент работы только Богу); и только 3) ради жертвы (не только убережения её / его материального тела от разрушения, но и воспитательного примера ненасильственной борьбы).

Такая этика силы и ненасилия делает нелепыми, невозможными войско, вооружения и войны.

Оба участника Первого диалога — автор в образе г-на Z и глупый Князь — далеки от подобных осмыслений. Г-н Z, смешивая понятия *силы* и *насилия*, допускает ситуацию, «когда воля <Защитника> хотя и не имеет своей прямой целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость» (Соловьёв В.С. Указ. изд. Т. 2. С. 653).

Вот *это*, собственно говоря, и есть та работа Антихристу, которую, явно его переоценивая, г-н Z был склонен приписать Князю. Беда в том, что это самое «заранее» распространяется на ситуацию не только непосредственно предшествующую акту животного альтруизма, но и на предшествующие конфликтной ситуации месяцы, годы... Человека в лжехристианском мире с детства возвращают в идею необходимости «добра с кулаками». Пулями, ядрами, ракетами, беспилотниками... «По вертикали» это готовит ситуации конфликта, в которых с детства развращённый человек, поддавшись какому-то провоцирующему фактору, оказывается сам в роли Злодея.

А «по горизонтали» такое заведомое оправдание «необходимой обороны» распространяется, эпоха за эпохой, на отношения уже не двух или нескольких человек, а — крупных общностей, делая неизбежными военные побоища.

Ведь что такое *кулаки*, с которыми обязательно должно быть Добро? Замена кусочков говна, палок и камней, участвовавших в драках первобытных предков человека. Отрада для современных поклонников говна и палок в дрянном «русском мире». Копьё, стрела — те же, усиленные в убойной мощи заострённые палки. Пули, бомбы — усиленные в убойной мощи камни. «Сбросить бомбу» в вульгарном просторечии аборигенов «русского мира» — эвфемизм, синонимичный глаголам «нагадить», «насрать» (прямая отсылка к кусочкам кала в лапках древних хвостатых предков бравых «русичей»).

Должно ли Добро в борьбе со Злом и с Антихристом орудовать *атомной бомбой*? Активист православно-радикальной структуры в путинской России, мажущий калом «крамольную» картину на выставке — безусловно ли служитель Добра?

Но, конечно же, эти вопросы — не для Владимира Сергеевича Соловьёва, скончавшегося в последний год XIX столетия...

Беда ещё и в том, что г-н Z (т. е. скрывающийся за этим образом В. С. Соловьёв) упускает из внимания, что необходимая для торжества зла почва создаётся не только и не столько агрессией конфликтующих индивидов, сколько *страхом* и в особенности *обманом*, то есть системой заражения мозга и нервной системы вербальными отравками, в которых «повязаны» целые общности людей (та самая *материальная власть* слова!). Позиция В. С. Соловьёва, таким образом, открывает широкое поле для оправдания, иногда даже прославления многочисленных *системно организованных* форм зла. Пример минимальной организации — самосуд толпы, одержимой одновременно и Агрессией, и Обманом, и Страхом. Страх «развязывает руки» для наиболее кровожадных форм расправы (недаром ведь в психиатрических учреждениях наиболее строго наблюдают больных, одержимых одновременно «руководящими и направляющими» голосами и беспричинными страхами). Обман же — единосушное Антихристу, царю лжи, орудие — делает преступление толпы неизбежным. В случае какой-нибудь «оборонительной», «отечественной» войны — сильнее всего *страх*, актуализирующий внушённые с детства обманы патриотизма и оправданного насилия, а уже следом — агрессию, которой «помогает» ложь правительственной пропаганды. А в историческом терроризме, ведомом ложной, извращённой религией (или её эрзацем, как учение социалистов) — на первом месте *обман*. Объединяет все эти ситуации — именно *наличие заведомо ложного оправдания* индивидом или общностью людей тех или иных насильственных действий — как происходит с теперешней Россией в связи с её преступлениями в Украине.

Если целью философского диспута считать поиск и обретение истинного знания — Первый Разговор примерно с середины его был «пущен вразнос» — и не кем иным, как г-ном Z, сиречь паном философом. «Прощупав» степень идиотизма своего собеседника, он предлагает Князю «доказать» истинность одного из крайних вариантов: «...Что во всех случаях [...] воздержаться от сопротивления злу силою безусловно лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека» (*Там же*). Князь тупо «плавает», вяло отбрыкиваясь, не замечая произвольности такой дилеммы (пассивность либо летальное насилие), исключая компромиссные варианты. Не замечает он и «фигуры умолчания», позволяющей г-ну Z не уточнять своих субъективных атрибуций «злого и вредного человека». Вдруг Князя «осеняет», и он озвучивает такое, вполне убедительное, возражение:

«...Не станете же вы утверждать, что Наполеон, или Мольтке, или Скобелев находились в положении сколько-нибудь похожем на положение отца, принуждённого защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери?» (Там же. С. 654).

По сути, спор вернулся к необходимости участникам его разграничить *разные уровни и качества системности* в конфликтах: с одной стороны — двух и более частных людей, с другой — воюющих государств, тех или иных крупных человеческих общностей.

И г-н Z начитает манипулировать и лукавить. Аргумент Князя он не мог не понять, но — оставляет без ответа, вслух (для доверчивых Генерала и Дамы, при равнодушном молчании атеиста-Политика) характеризуя как «ловкий скачок от неприятного вопроса». При этом — тут же сам делает такой «скачок», и, явно задевая личность Князя, предлагает ситуацию, в которой наблюдателем действий убийцы является не отец жертвы, а такой же бездарный моралист, как сам Князь:

«Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель в то время, как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его?» (Там же).

Общаясь с дураком, философ не особенно “следит за базаром”, и мы видим, как он допускает здесь противоречие в сопоставлении с только что предлагавшейся Князю дилеммой: «злой и вредный человек», для полноты эффекта, назван «зверем», но убийство его — как и редкого хищного зверя — не более чем нежелательный и досадный исход *силового* (по причине неменяемости) сопротивления его насилью. Грань между летальным насильем, калечением человека и простым силовым сопротивлением движущему зверю инстинкту или человеком соблазну — наконец совершенно снята. «Сила» и «насилие» делаются в речи г-на Z не терминами, а окказиональными синонимами единой дефиниции.

Князь утрачивает простое понимание собеседника, апеллируя к силе молитвы, к чуду, к влиянию «евангельского духа» на озверевшего мучителя. Соловьёв (в образе г-на Z), знающий психологию эмотивных состояний и поведенческих детерминаций индивида, конечно, неизмеримо лучше Князя — великолепно “добывает” его простейшим аргументом: «евангельский дух» не повлиял на убийцу Иисуса Христа. В дополнение, дабы унизить Князя, он приводит известную в ту эпоху по детским хрестоматиям историю из жизни Вла-

димира Мономаха, мотивировавшего союзников на войну с половцами, а Генерал от себя рассказал историю расстрела из орудий толпы турецких «башибузуков» — грабителей, насильников и убийц.

Конечно, князю не приходит в голову аргумент о *невозможности* соблюдать закон непротивления, одновременно пребывая в общественном статусе «полководца» — князя или боевого генерала. Отношения лучше вооружённой банды разбойников (правительственных) с хуже вооружённой, но более агрессивной или варварского государства с такими же варварами кочевыми — по существу своему не могут быть ненасильственными, христианскими.

Разговор приобретает интерес и для Политика, но его выступление В. С. Соловьёв переносит на следующий день — соответственно, в рамки *Второго разговора*.

О политическом, тесно связанном с христианской этикой, его содержании мы уже сказали выше: это, главным образом, *панмонголизм* г-на Z (т. е. Соловьёва) и *русское европейство* атеиста Политика.

Политик в целом аттестует себя человеком сугубо своей эпохи и своего поколения. «Русский европеец» отрицает теории «азиатской» или «византийской» России, постулировавшиеся старшими поколениями, и — как будто поддерживая и г-на Z, и Князя — говорит о скором уничтожении всех в мире войск и войн, которые и в России уже вырождаются в «парламентские потасовки» (*Там же. С. 678 – 679, 687 и др.*). Но вот разговор заходит о современных событиях: войне англичан с бурами — и «русский европеец», безбожник и сторонник «прогресса» выражает поддержку именно «прогрессивных» англичан с их «прогрессивным» летальным оружием о особо «прогрессивными» концентрационными лагерями для женщин и детей – членов семей сопротивляющихся буров (*Там же. С. 699*).

Культура, мир и прогресс для Политика встали на место Бога (*Там же. С. 701, 703*). Г-н Z завершает Второй Разговор многозначительной ремаркой, что такой «прогресс», каким его понимает Политик, сам по себе есть *симптом*. В начале Третьего Разговора он пояснит, что имел в виду *симптом конца истории* — приближения предсказанного в Библии торжества в мире Антихриста (*Там же. С. 705*).

В *Третьем разговоре* две части. Первая — своеобразное «избиение» могучим в религиозно-философских диспутах г-ном Z толстовствующего Князя; вторая же — пересказ г-ном Z «Легенды об антихристе», составленной неким покойным монахом.

При упоминании об Антихристе Князь решительно уходит от участия в разговоре. В его отсутствие его самого оставшиеся обсуждают как возможно к Антихристу причастного. Генерал поднимает тему *самозванства* «таких, как князь»:

«...Духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан» (Там же. С. 707).

Г-н Z, будто дождавшись главной для себя части разговора, активно поддерживает Генерала:

«За христиан *по преимуществу* при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства <т. е. веры в плотское, «действительное» воскресение Христа. – Р. А.>.

[...] Во всяком случае несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению — и ветхозаветному, и новозаветному — обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не простое неверие, или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его» (Там же. С. 707 – 708).

Участники диспута не принимают во внимание, что первые христиане ожидали описанных Иисусом событий гораздо скорее, нежели через 1800 лет. Мысль о том, что истинный, подчинившим себе значительную часть мира Самозванцем, истинным Антихристом сделалась за много веков до них *церковь* — истинная служанка Обмана, сатаны — выходит за «барьер» их восприятия. Рабство в лапах сатаны *включает* в себя подозрение в самозванчестве и враждебности всех тех, кто попытается напомнить рабам Сатаны об истинных Боге и Христе, об Истине в приложении к жизни церковной и светской. Отсюда в современной нам России погоня за «иностранными агентами», обличающими ложь и зло, в которых погрязло общество.

Конечно, «под ударом» участников третьей беседы оказываются единомышленники Л. Н. Толстого, которых безбожник атеист Политик одним махом приравнивает к опасным религиозным фанатикам:

«...Это новые постники и безбрачники, что открыли добродетель и совесть, как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл» (Там же. С. 708).

Генерал охотно поддерживает позицию атеиста Политика:

«И в давние времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно; но сделать его отвратительным и смертельно скучным

— это лишь теперь удалось. Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался при таком успехе» (*Там же*).

Эта и многие последующие реплики участников беседы — точно удовлетворили бы дьявола, существуй он на деле: они ближе всего к греху *клеветы на Духа*. Они, впрочем, довольно отстранены от нашей темы, имея преимущественно богословский характер, и мы здесь опустим их. В центре внимания этой части «Трёх разговоров» — Христос, его учение и первые христиане, с их пониманием жизни «в воле Отца», несовместимой, в частности, и с употреблением военного меча.

Венчает скептическую картину «Трёх разговоров» — чтение г-ном Z рукописи «Краткой повести об антихристе», написанной покойным монахом Пансофием (т.е. Всемудрым — таким его хочет сделать в глазах читателя сам Соловьёв) и посвящённой его фантазиям о грядущем возвышении в мире Антихриста и победе над ним.

Фантастическая (и антиутопическая) повесть Пансофия (на деле — Соловьёва же) открывается темой, заявленной до того в «Оправдании добра» и ряде иных сочинений В. С. Соловьёва. Тема эта — *панмонголизм*, геополитическое и культурное противостояние «жёлтой расы» европейцам и Америке, погрязшим в упадке и безверии. Несколькоими годами позднее раскроет эту тему Л. Н. Толстой, назвав первые акты противостояния — «Концом Века Сего». Кончается Век Сей — гибнет и всё, чем он жил, включая ветхое *религиозное жизнепонимание*.

К сожалению, в «Краткой повести об антихристе» именно это — еврейское и церковное — старое жизнепонимание и выражено автором. Как прежде автор следовал низшим, суеверным представлениям о личном Боге, так теперь в повести такой же «великой», но всё-таки вполне земной личностью предстаёт ложно, суеверно же олицетворённое Зло, Антихрист.

Соловьёв предсказывает, что «жёлтая» империя вытеснит в начале XX столетия англичан из Бирмы, а французов из Индокитая и вторгнется в российскую Среднюю Азию и далее в европейскую Россию, Германию и Францию. Однако новое 50-тилетнее монгольское иго закончится всеевропейским восстанием — и *мнимой* «свободой» в рамках предсказанных Соловьёвым «Всеевропейских Соединённых Штатов». «Свободы», при которой большинство людей станут жить без Бога в сердце и разуме:

«Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием и освободительною борьбою, снова пошли ускоренным ходом. А предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и



смерти, об окончательной судьбе мира и человека, — осложнённые и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему без разрешения». Человечество переросло возможность наивной, внушавшейся церковниками, веры, но ещё не достигло высшего жизнепонимания, осмысления мира. «Мозговой штурм», новое богопознание становятся задачей начала XXI столетия. «И если огромное большинство мыслящих людей остаётся вовсе не верующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и *мыслящими*, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму» (Там же. С. 739 – 740).

В «освобождённой» Европе (не в России!) обнаружится Антихрист — «великий аскет, спиритуалист и филантроп», а также вегетарианец. При поддержке масонов этот человек в XXI веке станет президентом «Европейских Соединённых Штатов», которые трансформируются во «всемирную монархию». Антихристу будет помогать католический епископ, лже-папа и чёрный маг Аполлоний. Столицей империи Антихриста станет Иерусалим, где появится «храм для единения всех культов». Во время общехристианского собора погибнут два праведника: католический папа Пётр (служивший архиепископом Могилёвским) и православный старец Иоанн. Конец власти Антихриста положит восстание евреев, а окончательное уничтожение его армий будет вызвано извержением вулкана в районе Мёртвого моря.

Очевидно, что такой Антихрист, каким он предстаёт в повести «пансофия» Соловьёва, паразитирует на страстях и утилитарных помыслах мнимых христиан Европы, на суевериях *имперства* и имманентном не просветлённому христианским жизнепониманием человеческому уму культе «превосходных», «великих» личностей — том самом, который в XX столетии использовали захватившие в России власть большевистские изуверы, а в начале XXI-го — активно использует воровской и военно-бандитский режим В. В. Путина.

В человеческой истории пока не было периода, когда бы чувственность индивидов и состояние общественного сознания хотя бы одного поколения, хотя бы одной социокультурной общности людей были бы менее удобны для происков такого вымышленного лица — Антихриста. Для чего бы ему ждать 1900 лет — до XX столетия? А ведь Антихрист, в отличие от Бога, должен *ждать*, изводясь ожиданием, ибо, по околехристианской мифологии церковников, не имеет доступа на Небеса, вне известных нам условий пространства-времени. Но Зло и не ждало... В учениях «исторических» церквей,

оправдывающих и освящающих социальные проявления зла, состоялось такое «торжество Антихриста», которое бессильны бы были выдумать и все пишущие монахи и философы Российской Империи. В повести Соловьёва Антихрист опирается на *имперскость* «коллективного бессознательного» человечества, корни которой – в первобытном биологическом *имперстве* человека как стайно-территориального животного, жаждущего одновременно *господства*, доминирования над кем-то и приятного, успокаивающего *подчинения* кому-то — «высшему», «заботливому»... Антихрист и стал таким «заботником» — подобным Великому Инквизитору Достоевского — паразитирующим на бессознательно всегда работающих в сознании каждого индивида витальных фобиях людей как животных существ. При этом для обустройства своей всепланетарной Теократической Империи он использует общественные регуляторы дохристианских, древних обществ: золото и богатства, собственничество и жадность людей, *ложь* религиозную, сакрализирующую его персону... главное же – человеческую *агрессивность*, удобопреклонность к личному деланию греха насилия, пользованию общественными системно организованными его формами и *оправданию* того и другого (лганья себе – то есть добровольному отдаванию себя в лапы «Царя Лжи», того же Антихриста).

Наконец, неубедителен в повести Соловьёва и исход, пресловутое «торжество Добра». Антихриста разоблачают духовные «вожди» традиционных, исторических церквей — знаково носящие апостольские имена: папа Пётр II, старец Иоанн и немец евангелист Эрнст Паули (т. е. Суровый Павел). Убиенные глава Православия и папа чудесно воскресает на руках верующих всех конфессий, готовых к объединению с ним, с его церковью. Но в военно-политическом плане Антихриста — что тоже знаково — свергают не они, а восставшие *евреи*, узнавшие, что Всемирный Император *не обрезан*. Началась война. Сама природа помогла им:

«Всё еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живёт не расчётами и вожделениями Маммона, а силой сердечного чувства — упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. [...] Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы — под Мёртвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки... Небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии... Все казнённые Антихристом евреи и

христиане ожили и воцарились с Христом на тысячу лет» (*Там же. С. 760 – 761*).

Как говорится, один «божественный император» издох — да здравствует другой... и всей коdle «праведников» — по кусочку власти при нём. Христианская ли это победа? Никак.

Да и погиб ли Антихрист? Его самого и его воинов поглотила *родная* ему *огненная среда*. Он, вероятнее всего, возвратился в Ад. Утеряет ли он тот контроль над миром, который и прежде имел оттуда? Вряд ли. Погибло тело одержимого Сверхчеловека, сгорели и тела обманутых им или подкупленных прислужников и воинов — *но не самое зло!*

Потому что осталось в мире главное зло — *обман*. То, что духовные «вожди» церковью противопоставили Антихристу — не более, чем традиционные Символы Веры их церковей, единые в своём христоцентризме и идолослужении обожённому Иисусу Христу как богу. Это не уничтожило Повелителя Лжи, а только вырвало у Антихриста власть — с помощью евреев и их старых, много древнее Христа, агрессивных и суеверных настроений. Антихрист низвержен в Геенну Огненную... к себе домой, чтобы отдохнуть и набраться сил. Выживший евангелист Эрнст Пауль (аллюзия к ап. Павлу, легендарному новозаветному Строителю Христовой Церкви) собирает общину и, соединившись с воскресшими главами других церковей — вновь основывает *пока* единую Церковь, во имя Христа — воскресшего бога... то есть с тем же, по факту, языческим и еврейским пониманием его личности и учения и с теми же перспективами его перетолкований, разделения и вражды последующих поколений обрядоверов.

История в повести Соловьёва совершила тупо *ещё один поворот* вокруг той Оси, которой 2 000 лет назад было *единственное* явление боголюбимому народу распятого его волей религиозного учителя, а с ним — Божьего учения, открывающего новое *понимание жизни*.

«Конец истории»... *и вновь — начало*. Освящённое речью православного «старца» Иоанна перед Антихристом:

«Великий государь! Всего дороже для нас в христианстве сам Христос — Он Сам, а от Него всё, ибо мы знаем, что в Нём обитает вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твоей опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас, — вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, — исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его второго славного пришествия» (*Там же. С. 754*).

Князь, слушавший со вниманием чтение повести, на этом месте бессловесно и почти незамеченным покинул общество... Всё очень понятно. Черти, бесы и сам Антихрист сатана, то есть всякое мифологическое зло — неизмеримо честнее, добрее, чище, чем то зло, которое повседневно и сотни лет совершают опасаящиеся его суеверы лжехристианского мира. Вот почему, *по условиям сказки*, Антихрист не может соврать и исповедовать Христа. А слуги его — по тому же суеверию — испытывают всевозможный дискомфорт при произнесении, даже упоминании церковного Символа Веры. На это намекает Соловьёв, заставив Князя-«толстовца» бежать при чтении слов Иоанна.

На деле Князь мог потерять действительный интерес к повести — как раз на этом месте её чтения — и потому, что с этого места очевидным становится её *христоцентрический* пафос, не предвещающий миру, даже при условии победы над Антихристом, никакого подлинно, качественно нового поворота в духовной эволюции.

\* \* \* \* \*

Не нами первыми замечено, что критики Л. Н. Толстого как философического «соловьёвского», так и сугубо церковно-богословского «лагерей» всегда «свихиваются» в своих суждениях в субъективизм — в оценке сопоставления *актуальности* духовного наследия обоих мыслителей. Говоря максимально просто: в оценке того, кто из них принадлежит настоящему и будущему, а кто — как Князь в «Трёх разговорах» — принадлежит исключительно или по преимуществу к *своей эпохе*, к своей социальной страте и связанных с ними пред-рассудкам: кто еси от Мира Сего и от Века Сего

Образец — суждения В.П. Свенцицкого в его «Религии свободного человека». Позволим себе объёмную цитату из данного сочинения:

«Лев Толстой не понимал и не любил Вл. Соловьёва. Вл. Соловьёв не понимал и не любил Толстого. [...] Не понимали, не любили, сходились и расходились всё резче и резче и, наконец, стали почти "врагами"».

Так и общество привыкло думать: Толстой и Вл. Соловьёв -- две непримиримые противоположности. "Толстовцы" и "соловьёвцы" также считают себя двумя враждебными лагерями.

[...] Последние годы, и особенно последние дни Толстого, совершенно по-новому осветили его личность, и теперь "распря" двух величайших русских мыслителей представляется мне глубочайшим недоразумением, если хотите — трагедией современного религиозного сознания человечества.

Идея "вселенского христианства" слишком широка и всеобъемлюща, и многие служители *одной и той же идеи* считают себя *врагами* только потому, что с разных, иногда противоположных сторон видят одну и ту же истину. <Это не справедливо в отношении Толстого, который *не считал себя врагом* Соловьёва. – Р. А.>

Лев Толстой созерцал эту истину как *художник* даже в чисто философских своих произведениях.

Вл. Соловьёв созерцал её только как *философ* даже в своей поэзии. Толстой всегда *изображает*. Его "учение"— это *описание* христианского *отношения* к жизни, к людям, к Богу. Вся сила Толстого в том, что он *показывает* христианскую психологию. О любви, о жизни во имя вечности, о проникновенном чувстве добра, о самоуглублении, о напряжённом искании Царствия Божия в своём сердце — вот о чём говорил Лев Толстой.

Всё его учение есть не что иное, как исповедь *христианского сердца*.

Все эти указания на моменты приближения Толстого к христианству, конечно, недостаточны, чтобы признать его за христианина. Такое признание было бы насилием над ним и неуважением к тому страданию, которое он жертвенно принял на себя в борьбе за своё понимание Евангелия. Но их достаточно, чтобы почувствовать, насколько христианство было всё же ближе Толстому, чем бескомпромиссный, самоуверенный морализм толстовцев.

Когда Толстой начинал подыскивать этим переживаниям философские схемы, он сразу становился беспомощен и путался в противоречиях» ([http://az.lib.ru/s/swencickij\\_w\\_p/text\\_0069.shtml](http://az.lib.ru/s/swencickij_w_p/text_0069.shtml) ).

Налицо как раз некая *схема*. До оскомины знакомая всякому толстоведу, старая, даже архаическая, и довольно на деле примитивная... От автора, явно превозносящегося над Толстым за своё умение стряпать *схемы*, подобные вышеприведённой: мёртвые и *мертвящие*, препарирующие живое, выхолащивающие сложное, но *подкупающие* своей внешней логичностью и кажущейся справедливостью. Толстой здесь «разлучён» не только с собственными учениками (увы! в ряде случаев бывшими не умнее Князя и действительно вульгаризировавшими преподанное им учение), но и с Христом, и даже с собственным умом, с обыкновенной для всякого образованного человека способностью *критической аналитики* — как раз весьма сильной у Толстого!

К сильной же стороне концепции критика мы можем отнести указание (здесь и ниже) на именно христианское религиозное, а не либеральное, не светски-гуманистическое и не пацифистское основание антивоенного протеста Льва Николаевича — в признании им

настоящей жизни человечества только в Боге, в воле Отца, в истине Христового учения и в любви как необходимом повседневном основании продуктивного сотворчества человека, работника в мире, единому Хозяину и Мастеру.

Свенцицкий продолжает своё мифотворение так:

«Великое христианское сердце Толстого и великий христианский ум Вл. Соловьёва не поняли и "не нашли" друг друга.

Замечательно, что главнейший пункт несогласия и идейной вражды — это учение о воскресении Христовом! [...]

Но и здесь Толстой, отрицая "как философ" Воскресение, любил живой образ Христа, относился к нему не как просто к "учителю", а так же, как и Соловьёв, и никогда бы он не согласился в душе отречься от имени христианина, хотя бы всеми учёными мира было доказано, что Христос учил совершенно тому же, что и Будда, и Моисей, и т. д. Хотя Толстой не верит в божество Христа, но Его словам он поверил так, как могут им верить те, кто видел во Христе Бога.

<Это уже не философская схема даже, а спекуляции религиозного публициста. И, везде — тот же «барьер невосприимчивости» писаний Толстого, то же слепое отождествление христианства с учением церкви. — Р. А.>

И Толстой, "отрицавший" воскресение Христово, и Вл. Соловьёв, не проповедовавший то, что, по мнению Толстого, должен проповедовать каждый христианин, — были братьями по духу, разно мыслили, одно любили. Оба были убеждены, что Царствие Божие должно стать всем во всём человеческом обществе... искали Царствия Божия и правды его; оба они поняли его как *всеединство*, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу.

Оба они провозвестники вселенского христианства» (Там же).

В этих, последних, суждениях Свенцицкого — немало правды. Но дальше... дальше — торжествует обман, тот же, на который наводил читателя В. С. Соловьёв:

«Толстой весь принадлежит *настоящему*.

Вл. Соловьёв — *будущему*.

Толстой дал колоссальный толчок *мировой совести*.

Вл. Соловьёв дал миру гениальные религиозные *идеи*.

Совесть человеческая сразу поняла и приняла Толстого, хотя и не смогла призывы его претворить *в жизнь*.

Но ум, сознание человеческое не могло сразу впитать в себя религиозные идеи Соловьёва и даже просто "заинтересоваться" ими, понять их важность, — и потому прошло мимо них.

Дело усвоения *идей* — дело медленное. И потому дело, свершённое Соловьёвым, будет медленно *вырастать*. Оно будет продолжаться

после жизни Соловьёва, расширяться с каждым годом и вширь, и вглубь.

Дело Толстого в главнейшей своей части было свершено при жизни: никогда не будет иметь он такого влияния на людей, как в период астаповских дней. [...]

Толстой учил, *как надо жить*.

Соловьёв — как надо *понимать* жизнь.

Этот вопрос о *понимании жизни* заставил его изучить *все науки*, пройти весь трудный путь философской мысли и создать настоящую *христианскую философию*. Не новое учение, а, исходя из Евангельских начал, ответить на все основные вопросы, поставленные многовековой человеческой культурой» (*Там же*).

Как мысленный эксперимент предлагаем читателю перечитать этот отрывок, заменив имя Соловьёва — именем Толстого (и наоборот). Столь же вероятно — но и столь же малодоказательно. И всё-таки — правда!..

Да, Толстой не шёл соловьёвским путём Человека Науки: по философиям, по преданиям и стихиям мира... Но он ли не учил *понимать* жизнь — такой, какова она есть и каковой *должна стать*?

Непонятно, куда для Свенцицкого делись пояснения Л. Н. Толстого в трактате «В чём моя вера?», что он намерен не «выдумывать» собственное учение или «толковать» христианство, а — как раз *запретить* толковать его с позиций паразитирующего на нём учения церкви. Вернуть ему *исконные* смыслы, *имеющие общественную актуальность* в ответе на вопрос как раз о религиозном *понимании жизни*? Куда делась для Свенцицкого статья Л. Н. Толстого «Религия и нравственность», где он излагает свою концепцию трёх различных *жизнепониманий*, и высшим признаёт то, которое выражено в учении Христа? Куда девались для критика трактаты Толстого «О жизни», «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое *жизнепонимание*»? Куда делся для публициста и критика великолепный *христианский катехизис* Толстого — статья «Христианское учение» — выявляющая как раз *исконные* причины торжествующих общественных зол в *грехах, соблазнах и суевериях* людей? Куда делись статьи, как вышеназванная «Конец века» или другая, с длинным, очень информативным заголовком — «Почему христианские народы вообще и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении»? Автором замолчаны работы Л. Н. Толстого, цель которых как раз *дать понять* читателю коренные причины бедствий лжехристианской цивилизации и то, *какой должна быть* добрая и разумная, христианская

жизнь человечества. Наконец, «учения о жизни в изречениях» — знаменитые книги «Круг чтения» и «Путь жизни» — содержат в себе не одни художественные образы, описывающие жизнь, но и аналитику и критику её. Одной из главных тем «Круга чтения» является — «Устройство Жизни».

Как раз Толстой не создал так вождедеюще ожидавшейся от него современными критиками *ретроспективной утопии*. Он не «учил» жизни — «лучшей», «будущей». Он как раз отвечал на вопрос, *отчего теперешняя жизнь полна зла* — предлагая, как разрешение, не собственные выдумки, а *христианский религиозный* ответ, по евангелиям.

В связи с вышесказанным нам ближе позиция другого, уже называвшегося нами выше, современного нам исследователя Ю. В. Прокочука, являющегося современным духовным и философским единомышленником Л. Н. Толстого (к сожалению, «заразившимся» от него и некоторыми радикальными заблуждениями — такими, как «духовный монизм»). В статье 2009 г. «К вопросу о мировоззренческих системах Льва Толстого и Владимира Соловьёва» он делает такой вывод:

«Очевидно, что Соловьёв ближе к идеалистическим течениям западной философии с её христианской основой, европоцентризмом, историзмом. При этом он не был чужд мистики, хорошо знал восточные религиозные культы и философские системы.

Толстой, как нам представляется, ближе к духовно-монистическому направлению, присутствующему, в частности, многим течениям восточной религиозно-философской мысли, к полному ненасилию, характерному не только и не столько для исторического, церковного христианства, сколько для восточных религий.

Таким образом, «корневые» основы мировоззренческих систем мыслителей весьма существенно различались. Это и отразилось на структуре и содержании их философских и публицистических работ, оценках друг друга.

Разносторонне образованный философ, эрудит, интеллектуал Соловьёв был сыном своей эпохи, он прекрасно чувствовал, знал реалии современной ему политической, социальной, религиозной жизни. Философские конструкции Соловьёва явились питательной основой для формирования и развития идеологии богоискательства, «нового религиозного сознания». Влияние идей Соловьёва, как известно, испытали на себе Бердяев, Булгаков, Франк, Эрн, Мережковский, другие философы «русского религиозного ренессанса» начала XX в.



Толстой — религиозный мыслитель не оставил после себя школы, секты, церкви. У него не оказалось *достойных* учеников среди отечественных мыслителей. Его учение, как и его поистине всеобъемлющая личность, несколько иного масштаба, их невозможно уместить в национальные, религиозные, политические рамки. ТОЛСТОЙ — *личность, опередившая свою эпоху, сумевшая выразить то вневременное, вечное, что всегда объединяло людей*» (Мансуровские чтения. Калуга. Сентябрь 2009. Выпуск 2. Издательский дом «Ясная Поляна». 2010. — С. 50 – 64. Выделения в тексте наши. — Р. А.).

Человеком *мира сего и века сего*, со всеми его заблуждениями, религиозными, философскими и политическими — оказывается, при объективном взгляде, в много **большой** степени именно Владимир Сергеевич Соловьёв. Он чувствовал это сам — год за годом приходя к разочарованию в идеях, которыми заманила и которыми обманула его эпоха, совпавшая с его юностью и молодостью.

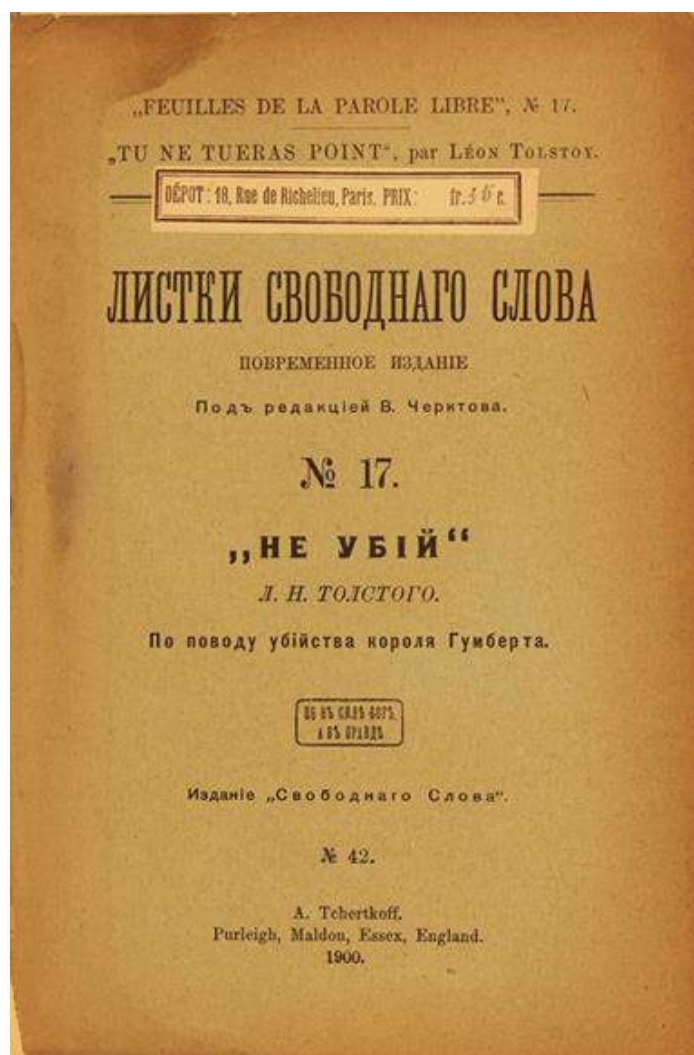
---

## 8. 2. «НЕ УБИЙ». 1900

Теперь, как и обещали, отдельно представляем читателю статью, написанную на сломе веков, одно лишь имя которой указывает на принципиальное, с христианских позиций, неразличение Толстым «насилий» мира и века сего

Статья Льва Николаевича Толстого 1900 г. с характерным библейским заглавием «Не убий» посвящена критике суеверия насилия, суеверия «оправданного» убийства, и не столько в правительственных «верхах», сколько в пресловутых *народных массах*. Того самого суеверия, которое и по сей день определяет чувства и поступки сторонников казней посредством самосуда, политических, военных переворотов и, конечно же, самых войн, международных и гражданских. Если Александра II приговорили к смерти «народовольцы», то в стихийных протестах против «недостаточно суровых» наказаний, публичных призывах к расправам как с рядовыми гражданами, так и с членами и прислужниками правительства, к использованию войск ради принуждения к чьей-то грешной воле — выражается убогое, ветхое *манихейство* церковно-православной, то есть лжехристианской, России: желание хоть умозрительно «материализовать» зло, объективно выражающееся в несправедливостях, настоящих и мнимых, со стороны части граждан или представителей власти, в мучающих страхах и пр. — в личностях конкретных людей

(изобличённых «преступников»), и, уничтожив их изъятием ли из общественной жизни (тюрьма, сумасшедший дом) или физическим уничтожением посредством военного убийства либо смертной казни, совершаемой часто по «чрезвычайным» законам военного времени, оккупационного режима — тем избавиться от примитивных животных страхов и продуцируемой ими ненависти и иллюзорно разрешить общественные проблемы, истинные, коренные причины которых были и остаются в религиозном безверии, в недоверии людей Богу, в неуступании Ему, Его воле, в неслиянии своей воли с волей Бога, известной по евангелиям и по учениям святых людей, народных учителей и пророков, по примеру их жизни в сораспятии Христу.

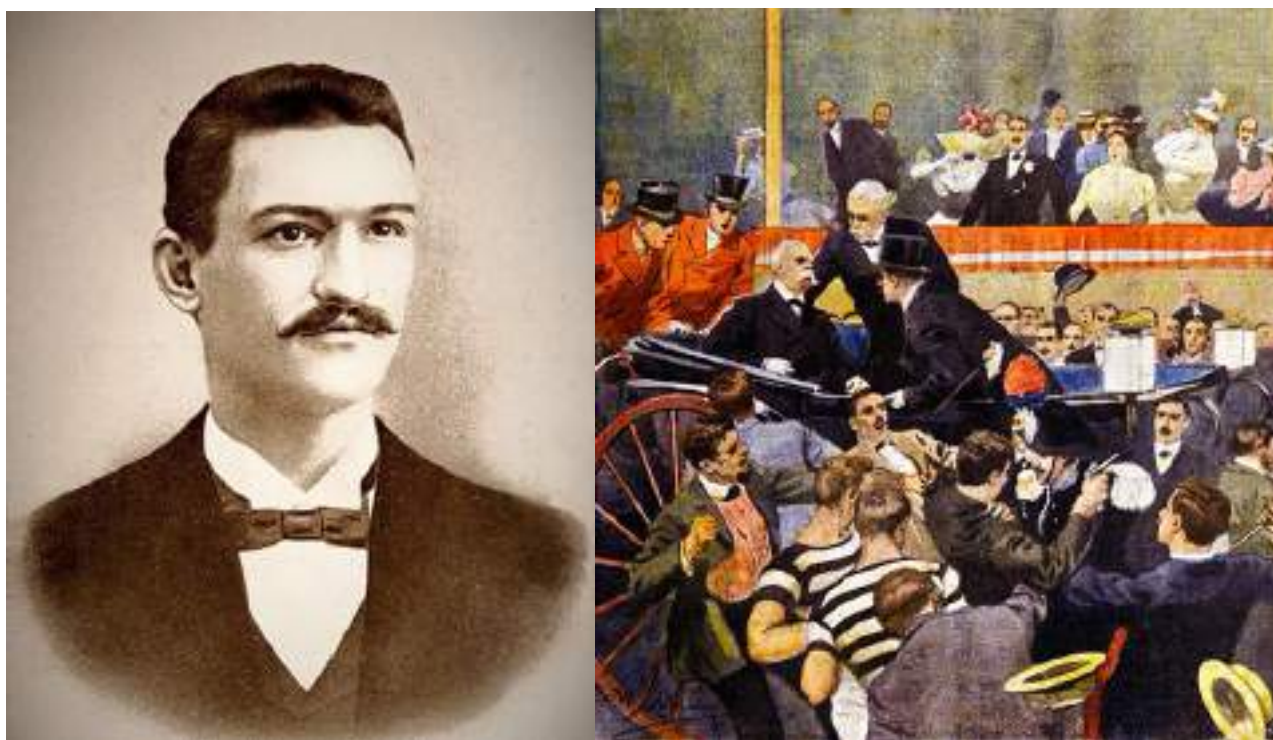


«Не убий». Обложка  
английского бесцензурного издания. 1900 г.

Статья «Не убий» была написана Толстым в 1900 г. Она явилась непосредственным откликом Льва Николаевича на совершённое 29

июля 1900 г. анархистом Гаэтано Бресси (Бреши, 1869 - 1901) убийство итальянского короля Умберто (Гумберта) I (1844 – 1900), на совести которого были, как минимум, вполне «традиционные» для итальянцев проигранные сражения, колониальные авантюры, союзничество с Бисмарком, обнищание народа и вооружённые расправы с бастующими рабочими.

Для нас в этой давней истории интересно лишь то, кто кровопиец Умберто был похоронен в римском Пантеоне, в его честь названы больница, галерея искусств, ряд улиц... А Бресси, пытавшийся освободить итальянский народ от зла, которое он связывал, в числе прочего, с активно милитаристской политикой короля — погиб через несколько месяцев в каторжной тюрьме при неясных обстоятельствах (документы расследования утрачены).



Гаэтано Бресси и сцена ликвидации короля Умберто

Но есть у статьи Льва Николаевича и очень актуальная для нас история: за её распространение добрые, нравственные, христиански-верующие люди с активной общественно-гражданской позицией подвергались репрессиям: обыскам, арестам, судилищам, тюремным заключениям, пыткам и прочим мерзостям, весьма похожим на то мракобесие, что творится в современной путинской России. Аресту и заключению в тюрьму издателя статьи *Николая Евгеньевича Фельтена* (1884 – 1940) Толстой посвятил в 1907 году статью «Не убий никого», в которой повторил общие свои выводы о коренных,

религиозных причинах всплеска общественного насилия и религиозных же путях его обуздания.

И надо отдать должное имперским цензорам. Они, вполне вероятно, поняли, что статья Толстого – не «очередная» беззубая проповедь по поводу ветхозаветной заповеди. Они разглядели истинную опасность статьи в отношении неправого, нехристианского устройства общественной жизни в России и всём лжехристианском мире. А вот советские литературоведы – или ослепли, или, что вероятнее, просто боялись, пища про «Не убий», развивать эту тему... Так наверстаем же их упущение!

Чутких «духовных» цензоров в имперской России должны были привести в ужас хотя бы уже эпитафии, выбранные Львом Николаевичем для статьи «Не убий». Библейские:

- 1) Не убий (*Исход XX, 13*).
- 2) Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его (*Лк. VI, 40*).
- 3) ...Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут (*Мф. XXVI, 52*).
- 4) И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (*Мф. VII, 12*).

Что же привело в негодование великорусских прислужников Ирода, Пилата, Каиафы и сатаны дьявола?

А то, что эти эпитафии *именно в той последовательности, в какой даны Толстым*, считываются как *единый связный текст*, как одна идейная «матрица», мотивирующая человека на актуализацию в своей повседневной жизни Христова идеала совершенства, на стремление к его посильному осуществлению. «Дети Бога, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». И – нечего противопоставить попам! Отрицать можно слова Толстого, доказавшего в «Соединении и переводе четырёх евангелий», что Христос говорит о сыновстве Богу и посланничестве в мире как работника Отцу – всякого человека. Но что возразить «священным», как они сами признают, текстам, словам Христа – того, кого они считают самим Богом?

А считывается смысл эпитафий примерно так:

«Не убивай, не касайся в земной жизни ни меча, ни иных адаптированных специально для убийства орудий. Ибо сам Христос отнял меч у ученика, запретил кровь. А ты – Христов и Божий. Идеал твой – стать как Отец. Посильная в земной жизни степень его достижения – стать таким *сознательным* сыном и работником Отца Бога, как убитый поклонниками меча и «традиций» Иисус. Да и нерасчёт тебе

быть поклонником меча, противиться насилем, ибо этим поддерживаешь и усиливаешь то зло, которое может погубить и погубит и тебя. Ведь даже греша ты не желаешь себе за грех кары? Значит – предоставь её Богу, а сам не смей карать другого, даже грешника».

Это революционные слова. В смысле той истинной революции, о которой писал Лев Николаевич в закрытой уже более столетия от массового читателя статье «О значении русской революции». Смена жизнепониманий. Смягчение нравов во всех отношениях людей с миром и друг с другом. Уничтожение всех обманов церковных и научных, оправдывающих насилие всех уровней – начиная от самого злостного и опасного, правительственного системно организованного принуждения к повиновению, военным насилием или угрозой тюрем и казней.

Первобытные гады атавистической животной агрессивности человека «разумного», жажды власти и доминирования, стяжания, делёжки трофеев и территорий – все лишатся своих ложных, маскирующих облачений, все окажутся ослеплёнными, парализованными светом христианского жизнепонимания. И невозможны станут ни правительства, ни войска, ни иные правительственные или антиправительственные бандиты, бандыри и бандюки: в том числе и те «анархисты»-террористы, которые совершили убийство в Италии. При этом даже худшие, самые порочные — не погибнут, а только подчинятся общественному мнению, просветлённому светом Божьего учения о разумной жизни разумного сына Его.

Но это при христианском жизнепонимании, для которого уже не действителен закон «око за око и зуб за зуб»... Мир церковных обрядов-лжехристиан России, Европы, Америки – знает, но не принимает его, тем думая уйти совершенно из-под действия Божьих законов. Но ведь они *имманентны* всей природе и самого человека и Божьего мира, и не могут не совершаться на судьбе и отдельных людей, и обществ. Просто работа их проявляется уже не благом, а закономерным злом для таких людей и обществ.

К примеру, «власть имущие» не могут не погибать и даже не имеют права – пред Высшей справедливостью – протестовать против своего уничтожения рабами и прислужниками того же низшего, общественно-государственного, а не Божьего, жизнепонимания, оправдывающего убийство, какое исповедуют сами. Это возвращаются на их седеющие – лысеющие черепушки их же грехи, не признанные и нераскаянные ими. Ибо, как справедливо отмечает Лев Николаевич, даже «самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, были виновниками, участниками и сообщниками, — не говоря

уже о домашних казнях, — убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений» (34, 200).

Это не об одних «королях», но на самом деле — обо всех греховодниках при деньгах и власти: и императорах, и президентах, и патриархах и папах римских и о всех их прислужниках, включая мельчайших «шестёрок», таких, как полицаи или учителя казённых школ с патриотическим воспитанием – обо всех, кто когда-либо оправдывал системное, организованное насилие того или иного правительства, государства, участвовал в нём, выгодно пользовался им... На примере последних лет: Украина, а раньше её Грузия и Сирия, коррупция под «крышей», рост нищеты и пенсионного возраста — более чем достаточный материал для смертного приговора не только режиму Путина, всей его воровской нефтегазовой и чекистской коде, но и всем их подпевалам из числа рептильных попов и интеллигентов, начиная с журналюг. Среди коих, кстати сказать, гваздаются, как видные члены партии «Единая Россия» и недостойные потомки Льва Николаевича – Пётр и Владимир Толстые.

Но «необходимость» их именно физического уничтожения представляется только таким же, как они, носителям антихристового жизнепонимания, находящимся по иную сторону политических баррикад: сволочи либеральной, левацкой, националистической, анархической и под. Всякая неиспорченная мирским влиянием душа человека — христианка по лучшим из своих устремлений, и для такой души, временно обременённой плотью, для сознания такого человека — очевиден и предпочтителен другой путь.

«Прорваться» к этой очевидности массам, однако, нелегко. Ибо провоцируют на участие в убийствах, бунтах, гражданских и прочих войнах, в ложной (насильнической) «революции» своих единомышленников во антихристе — сами короли, императоры, президенты, сами толстосумы эксплуататоры, сами брехливые попы и очкастые, очкастые, очковые интеллигенты, и самоуверенные, чующие поддержку воровского режима «силовики» всех мастёвых мастей... Опять же — это невежественное пускание ими против самих себя тех Божьих законов жизни, которые могли бы служить ихнему и общему благу. Их гордыня, их особость, которую они приписали себе – противостоят учению Христа, определяющему как необходимое смирение, отказ от влечения к любому доминированию в социуме, к любому стяжанию материальных и статусных «благ» для себя и «своих», от всякой организации насилия. Превознесение своих ничтожнейших пред Богом достоинств ведёт их к соблазну устроительства для себя особой позиции в обществе: позиции авторитетных в глазах безбожников распорядителей жизнями и судьбами других людей.

Такая самоуверенная поза обеспечивается всегда ложью и насилием, но почти никогда — истинным *знанием*. И представитель «элиты» поступает не по Божьей истине, а так, как подсказывают ему атавистические животные поведенческие детерминации в его собственных мозгах, «традиции» следования тем же зоологическим детерминациям «великих» и ужасных правителей и толстосумов прошлого, а также полуневежественным, суеверным, а иногда заведомо лукавым и лживым советам обладателей лишь немного лучших мозгов: начальников на работе или «службе», дипломированных платных шлюх, разных «консультантов» и «экспертов», учёных и не очень...

Как результат — колёсики-то и шестерни общественной машины проворачиваются, но... кровь повседневно на них, ибо, прокручиваясь, они ранят и губят живые жизни. Льются слёзы и кровь людей, а сама «элита» и её субэлитарные приبلуды на господачках — образно выражаясь, собирают на свои седомудрые бошки горящие головешки, готовят себе то падение, первым предвестием которого явилась их гордость, убеждённость в своей общественной значимости, их внутреннее, для самих себя, согласие, ради денег и карьеры вертеть судьбами других людей, и не то, что лично участвовать, а пассивно, подло оправдывать насилия «своих» лидеров — как оправдывает сейчас большинство россиянцев гнусную войну в Украине.

В начале 2023 года о таких подлых «маленьких» слугах зверя появился в интернете злой и грустный, но меткий анекдот:

«Большинство россиян против войны. Опросы показали, что 15% считают, что украинцы — братский народ, сочувствуют украинцам и считают, что как только украинцы перестанут воевать, а Запад поставлять оружие, — война сразу закончится. 22% считают, что необходимо немедленно заключить перемирие, главное — это остановить активные боевые действия, а остальные вопросы можно отложить на будущее. 16% твёрдо выступают против войны, потому что война навязана нашим народам Соединёнными Штатами, только США получает выгоду от этой войны, а наши народы страдают. 19% выступают за немедленное прекращение войны, но считают, что оно невозможно пока у власти <в Украине> находится президент Зеленский.

Таким образом, около 75% россиян — против войны, за немедленное прекращение боевых действий и за восстановление мира.

Только 12% опрошенных выступают за войну. Они считают, что украинцы защищают свой суверенитет и должны это делать до конца, как и любой другой народ.

Три четверти россиян против войны!..»

Уже тем готовят эти три четверти себе злую погибель (и не одной души, а и тела — от убийц), что развращают своими словами и примером множество простецов (детей и малодумающих взрослых). А избранные ими политические лидеры — уже прямо учат патриотическому убийству и готовят к убийству в войске новые поколения, будучи слепо уверены в том, что временно обманутый, подкупленный или принужденный ими к военной службе человек уж навсегда пребудет, со своими навыками казённого убийцы, — именно *их* доверчивым и преданным военным или полицейским рабом.

Но идеал ученика Христа — безмерно выше и того патриотического настроения, которым руководятся в наши дни защитники Украины. Их позиция может быть оправдана намерением Украины присоединиться к мирным и цивилизованным народам Запада, к демократиям, к благородной евро-атлантической цивилизации — для чего, безусловно, нужно отстоять себя от русских убийц.

Но опасность для будущего общественного сознания украинцев — именно в *оправданиях* ненависти и системного насилия в отношении агрессора. Слово имеет материальную природу — могущую и необратимо покалечить морально человека и даже целую общность людей.

Иное дело, если бы помнили украинцы богоизбранного библейского Давида — кроткого пастушка, не ставшего нравственно хуже, защитив свой народ, его будущее от филистимлян.

Гибель «элит» и прислужников эксплуататорского, насильнического и лживого строя, какова и путинская диктатура в России 2012 – 2024 г., носит не социально-обусловленный, а *сакральный* характер: оправдана не мирскими толками, а судом Божьим. Все же мирские толки в пользу насильственной борьбы с насилием — та же ложь, самообман простецов, выгодный рвущейся к власти либероидной или революционаристской сволочи, не менее зловредный, чем ложь единомысленной ей в антихристе сволочи правительственной, церковной, интеллигентской, чем «корпоративные» суеверия полицейщины и военщины... Как безумно и бессмысленно казнить обычных преступников, так же, не менее бессмысленны и злобезумны все политические убийства, бунты, майданы, революции, вся парламентская и околопарламентская демагогия т. н. «оппозиции», прикрывающая одно желание её деятелей: примкнуть к рядам народных захребётников и кровопускателей.

Уже потому глупо убийство королей и императоров, иронически замечает Лев Николаевич, что они «давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна



пуля, другая мгновенно становится на её место. *Le roi est mort, vive le roi!*» (34, 202).

А на «освободившиеся» места садятся «достоинейшие» предшественников, в смысле безнравственности, наследники — их убийцы, воспитанные в общественной суеверии оправданного насилия. И зло насильнического строя не побеждается, а увеличивается уже их насилием.

Истина в том, что зло не имеет воплощения в людях, зачастую обманутых или обманывающих себя — не только простых граждан другого государства, но даже и президентах или императорах. Нет в мире «виноватых», нет достойных расправы, смерти «преступных злодеев»! Есть или порочные, социально слабые, грешные, заблуждающиеся люди, или — те же греховодники, но окрепшие во грехе, получая поддержку и одобрение таких же заблуждающихся и одержимых фобиями, соблазнами и грехами, христиански безверных людей. Социальный заказ мотивирует их не на раскаяние, а на институционализацию своих, берущих основу в подсознательном, поведенческих программ и их рационализацию как социально приемлемых и даже обязательных, необходимых, истинных. Зло социальное, констатирует Толстой, не от людей таких или этаких, слабых и грешных а — «от такого устройства общества, при котором все люди так связаны между собой, что все находятся во власти нескольких людей, или, чаще, одного человека, который или которые так развращены этим своим противоестественным положением над судьбою и жизнью миллионов людей, что всегда находятся в болезненном состоянии, всегда в большей или меньшей степени одержимы манией *grandiosa* [величия], которая незаметна в них только вследствие их исключительного положения» (34, 202).

Российский политический режим сам провоцирует сынов противления на грех переворота и гражданской войны: глупо дразнит их самим своим скрепообразующим и традиционным имперским «стилем» взаимоотношения власти и граждан, неотделимым от недоверия и неуважения к ним. Но что делать людям, не поддающимся такой провокации и не желающим опустить дубину народного протестного движения на головы даже таких существ, как Иоанн Грозный, Бонапарт, Николай II Кровавый, не менее кровавый упырь "товарищ" Сталин или бывший "товарищ" Чекистская Моль Обыкновенная, он же Вовочка Путин? Как *им* исполнять волю Отца?

А опять же, в начале всего — покаяние и смирение: надо осознать свою долю вины в торжествующей неправде. Толстой ведь подска-

зывает в статье: «поддерживает теперешнее устройство обществ эгоизм людей, продающих свою свободу и честь за свои маленькие материальные выгоды» (34, 204). Надо «перестать поддерживать то устройство обществ», которое выводит наверх самых порочных людей. Не поддерживать ни словами, ни поступками — включая добровольное, например, по «контракту», участие в военной агрессии.

Достаточно вычистить из своих мозгов (и помочь в этом ближним!) все своекорыстные мотивации поддержания строя эксплуатации и насилия, прикрываемые ложью казённо-патриотической, научной и религиозной, — и обрушится весь этот мерзкий «конус», о котором пишет Толстой в статье, т. е. вся иерархия государственного строя, всё это разбойное гнездо, сцепление лжей и зла. Не следует бояться разрушения «родного» гнезда разбойников — если сам ты сын Отца, а не разбойник и не раб ихнего гнезда, тёти «родины», государства! Новый мир уже готов, *царство Бога внутри нас есть*, взбудить его в мир — дело освобождённых от правительств, от насилия работников Божьего дела в мире.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).

А работников дела Божия в мире будет только прибывать: очнутся от развращения легитимностью, от околдования самолюбием, богатством и властью те люди, которые ведут сейчас себя к гибели от рук единоверцев в сатане. И не нужно будет убивать их!

«Народы, сами жертвуя своим человеческим достоинством для своих выгод, производят этих людей, которые не могут делать ничего другого, как то, что они делают, а потом сердятся на них за их глупые и злые поступки. Убивать этих людей, всё равно, что избаловать детей, а потом сечь их» (34, 205). Чингис-Хан, Гитлер, Сталин, Путин — только невежественные и испорченные дети пред Божьей правдой! Как же не пожалеть их, не полюбить даже?

Что же нужно делать повседневно — вчера, сегодня, завтра? Удерживать и развивать в себе открытое нам Богом, Иисусом и отче Львом жизнепонимание сынов Отца. Крушить орудием слова фундамент мирских неправд: символы, ценности и смыслы современного нам строя. Очунать губящих себя грехом гордости, собственности, власти людей: разъяснять им, что они душегубы своей души и человекоубийцы, и, «главное, не позволять им убивать людей, *отказываться убивать по их приказанию*» (Там же. *Курсив наш.* - Р.А.). Это приблизит необходимое уже в наши дни, святое дело разрушения сперва архаических, бредящих имперством, не способных уже к преобразению разбойничьих гнёзд, какова, по своему политическому режиму, теперешняя Россия, а в перспективе, век за веком,

по мере движения человечества к идеалу учения Христа — и ликвидации, как государств, демократических Англии, Америки, Китая, Израиля, будущей обновлённой России, теперешней юной, многообещающей веку XXI-му, но тоже не вечной Украины, и любых других.

Не позволять убивать людей и отказываться убивать по приказаниям! Толстой завершает статью так:

«Если люди ещё не поступают так, то происходит это только от того гипноза, в котором правительства из чувства самосохранения старательно держат их. А потому содействовать тому, чтобы люди перестали убивать и королей, и друг друга, можно не убийствами — убийства, напротив, усиливают гипноз, а пробуждением от него» (Там же).

Это качественно иная деятельность, нежели приговаривание политиков к узилищу или к смерти и попытки привести эти приговоры в исполнение. Несознательные исполняют суд Божий над *всеми ими*, казня политических «врагов», но и сами попутно погибая нравственно и физически от своего зла в погоне за химерами социального переустройства насилием. Сознательные дети Бога – отменяют «око за око, зуб за зуб», примат в повседневности атавистической животности человека, рационализируемой кощунством на Бога церковных лжеучений и враньём казённо-дипломированных интеллигентов. Те, кто пребудут до конца с Богом, Иисусом и Львом – приведут мир к победе над неправдою и смертью.

---

### 8. 3. ОН РАЗГНЕВАЛСЯ! («Памятки» для солдат и офицеров)

Век Деятнадцатый завершался для «христианского мира» не просто в военных тревогах, а, казалось бы, полным поражением всех антивоенных инициатив и совершеннейшим же опровержением оптимистических теоретиков и мечтателей. Начало века, помимо угроз новых войн, ознаменовалось пресловутой «предреволюционной ситуацией» в России. За рамки нашей темы выходит рассказ о попытках Льва Николаевича и, что многим менее известно, среднего сына его, Льва Львовича как в годы, предшествующие Первой российской революции, так и с началом её, достучаться, с программами реформирования церкви и государства (конечно, очень различными у отца и сына), до министров и самого царя — в надежде быть понятыми и услышанными. Тщетно! Если над патриотизмом Льва Львовича хотя бы смеялись, памятуя антивоенные выступления отца, то

публицистические призывы великого яснополянца к мудрому «неделанию», к ненасилию, были в России рубежа веков и первых лет века XX-го сродни заботливому инструктированию о безопасности от пожара людей в уже тлеющем здании. Это понял вскоре и сам Лев Николаевич, с горькой иронией назвавший свои выступления «комариным писком» (36, 712).

Запись секретаря и домашнего врача писателя, духовного, во Христе единомышленника Душана Петровича Маковицкого от 6 марта 1905 г. свидетельствует о том, что Толстой в период подготовки и начала революции был настолько непопулярен, что та самая, якобы давно надоевшая его, всем якобы известная на память «проповедь» просто ушла за «барьер» восприятия, забылась — как будто не прошло двадцати лет:

«Теперь уже к Л. Н. не приходит столько людей, как в 1880 – <18>90 годах, с одним и тем же вопросом: “Как жить, что делать?” Теперь спрашивают больше о том, как бороться с правительством, что делать, чтобы изменить существующий политический и общественный строй» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Том 90. М., 1979. Кн. 1. С. 202*).

Такая безвестность увеличивалась усилиями цензуры, пускавшей под нож или в имперские костры общественно-политические и духовные писания Толстого и, по большей части, презрительным игнорированием властной «верхушкой» эпистолярных к ним обращений писателя и публициста.

Частным следствием разочарований Л. Н. Толстого в перспективах влияния на общественное сознание в России мирной проповедью является появление в самом начале столетия весьма радикальных по замыслу, адресации и самым текстам сочинений яснополянца — таких как «Солдатская памятка» и «Офицерская памятка».

Ещё 23 мая 1894 г. Лев Николаевич писал Александру Никифоровичу Дунаеву: «Как много развелось на свете писак, и какой недостаток людей, которые писали бы то, что нужно. Вот именно, жатва велика, а делателей мало. Надо бы, чтобы ни одно такое явление, как освящение банка митрополитом, не говоря уже о казни, памятках и других подобных вопиющих противоречиях и жестокостях, не проходили бы без протеста. Надо бы выразить этот протест ясно, как умеешь, и пускать в обращение в заграничную печать, или хоть в рукописи, чтобы они видели, что есть люди, видящие и понимающие значение того, что делается, и чтобы слабые духом укреплялись» (67,

131). Здесь уже упоминаются широко известные в своё время воинственные «Памятки», распространявшиеся в России по солдатским казармам. На них Толстой и ответил своими — антивоенными!

5 января 1897 г. Толстой записал в Дневнике: «Вчера читал статью Архангельского “Кому служить” и очень радовался». И тут же: «Статью свою о военном сословии надо написать для народа: «Всё зло, от которого страдают люди и на которое жалуются, всё только от солдатства. Но не это важно. Важно то, что, служа вообще правительству, а особенно солдатом, губишь душу» (53, 129). Об Александре Ивановиче Архангельском, одном из первых толстовцев, и о резкой, но справедливой критике им в книге «Кому служить?» мирских «идолов», включая военщину и иную мундированную сволочь, мы уже упоминали выше. Такой вот круговорот Истины и Добра в Божьем мире: через годы Льву Николаевичу вернулось то вдохновение, которым в 1880-х он вдохновил на религиозный, христианский протест молодого ветеринарного фельдшера из подмосковных Бронниц, выходца из священников.

К исполнению этого замысла Толстой приступил в 1901 г. 8 апреля 1901 г. в Дневнике снова записано о погублении своих и чужих душ военными мундиросцами: «Вчера читал и смотрел картины мучений в французских дисциплинарных батальонах и разрыдался от жалости и к тем, которые страдают, и больше к тем, которые обманывают и развращают». И здесь же: «Собрал матерьял для Памятки» (54, 94). Речь о первой из двух — статье «Солдатская памятка».

Первые два автографа статьи, являющиеся почти самостоятельными вариантами, не датированы автором. Первая копия со второго варианта, исправленная Толстым, датирована 25 июля 1901 г. В течение июля и августа 1901 г. статья была переписана и исправлена автором двенадцать раз. Последняя копия датирована 6 августа. В Дневнике 18 августа 1901 г. Толстой записал: «За это время написал две памятки — не дурно» (54, 108; ср. 261).

Обе «Памятки» относятся к наиболее резонансным, скандальным антимилицаристским сочинениям писателя и христианина. Понимая, какая будет реакция в «верхах», Толстой не хотел распространять свои обращения к солдатам и офицерам прежде, чем им будет написано и отправлено письмо Николаю II о положении России (см. письмо к В. Г. Черткову от 12 августа 1901 г.; 88, 243). Он опасался, что появление его статей повредит успеху письма. В то же время Владимир Григорьевич Чертков торопил с печатанием «Памяток», и в декабре 1901 г. Толстой отправил «Солдатскую памятку» Черткову для издания, перед тем ещё раз просмотрев её. Последняя копия по-

мечена переписчиком 7 декабря 1901 г. Напомним, что первая редакция обдумываемого тогда Толстым письма к царю датирована только 31 декабря 1901 г., а закончил писатель его составление 16 января 1902 г. Но обращения в 1901 и 1902 гг. к царю не дали никаких желаемых результатов, так что Толстому не пришлось сожалеть о бесцензурной, «дерзкой» заграничной публикации.

Над «Офицерской памяткой» Толстой работал, судя по датам на обложках рукописей, с 24 июля по 17 августа 1901 г. Она была впервые напечатана в 1902 г. в Англии в издании «Свободного слова» (№ 74). В России статья многократно перепечатывалась нелегально, а в 1906 г. появилась в издании «Обновления» в Петербурге. В 1917 г. статья была перепечатана в Москве издательством «Призыв».

Таким образом, до Первой российской революции 1905 – 1907 гг. издание в России обеих «Памяток» было невозможно. Нелегальные же заграничные издания «Памяток», по замыслу Толстого, должно было сопровождать такое поясняющее предисловие к ним, написанное уже отдельно, в 1902 году:

«Всякий мыслящий человек нашего времени не может не видеть, что из того тяжёлого и угрожающего положения, в котором мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный — кровавая революция, второй — признание правительствами их обязанности не идти против закона прогресса, не отстаивать старого, или, как у нас, возвращаться к древнему, — поняв направление пути, по которому движется и человечество, вести по нём свои народы.

Я попытался указать на этот путь в двух письмах, написанных мною к Николаю II.

Первое было написано в период самых напряжённых волнений 1900 – 1901 гг., второе я писал теперь, в начале января <1902 г.>. Но, к сожалению, мысли, выраженные мною в первом письме, были приняты как легкомысленная мечта не знающего жизни и глубоко-мысленной науки государственного управления фантазёра.

В последнем письме я говорил о том, что, кроме предоставления народу возможности свободного религиозного движения и такого же свободного движения мысли, по моему мнению, единственный путь к разрешению социального вопроса у нас в России состоит в уничтожении права собственности земли (что уничтожение это возможно переводом всех податей на землю, прекрасно изложено и разработано Генри Джорджем и его последователями). Очень может быть, что я ошибаюсь, — вопрос этот касается всех и потому должен быть разрешён всеми, — одно несомненно, что дело правительства не заботиться только о том, чтобы не изменилось его положение, а

смело взять центральную идею прогресса и всеми силами, которыми оно обладает, проводить её в жизнь. Только тогда правительства получат в наше время какой-нибудь смысл и перестанут быть предметами ненависти, отвращения и презрения всех тех людей, которые или не пользуются их привилегиями, или не понимают значения правительственной деятельности. А такие люди теперь почти все. Я сделал попытку во втором письме открыть глаза русскому государю на то, что он делает и что его ожидает. Но до сих пор у меня нет данных надеяться на то, что попытка эта не только достигла своей цели, но и была бы принята сколько-нибудь во внимание. И потому в виду неизбежности первого выхода, т. е. революции, предоставляю к распространению теперь эти две памятки, надеясь на то, что мысли, содержащиеся в них, уменьшат братоубийственную бойню, к которой ведут теперь правительства свои народы.

Гаспра. 11 февраля 1902 г.

Мы привлекаем внимание читателя к этому малоизвестному предисловию допреже текстов самих памяток именно по причине указания Толстыми здесь настоящего своего мотива, непосредственного импульса к опубликованию памяток: предвидения неизбежной, к глубокому сожалению Льва Николаевича, революции в России. Не было среди его мотивов ни «развала армии», ни «государственной измены» — как искренне полагали консерваторы-современники и как неискренне пиздят о Толстом современные «аналитики», шлёпающие тексты для православных, патриотических или монархических масмедиа, а зачастую — и для как бы научных сборников.

Впрочем, из того, что отсутствовали у автора «памяток» мотивы деструктивные, не следует, что не было мотивов *тайных*, в которых писатель не желал признаться никому, кроме себя.

Написание Толстым "Солдатской памятки" стало ответом на браво-патриотическую, кощунственную и циническую в своих апелляциях к Богу, якобы "благословляющему" солдатство, памятку генерала Драгомирова, получившую в 1890-е годы распространение в солдатских казармах.

Вот на личности, общественной и, немного, общественно-теоретической этого замечательного человека и отношениях (слава богу, только заочных) с ним Л. Н. Толстого мы и хотим снова задержать внимание читателей. «Снова» — потому, что для тех, кто возьмётся читать книгу нашу последовательно, имя это уже встретится на её страницах — в связи с историей подготовки Л. Н. Толстым в 1896 г.

статьи «Carthago delenda est», в которой, напомним, в черновых материалах, генералу досталась вполне несправедливая критика — более похожая на ругательства.

*Михаил Иванович Драгомиров* (1830 — 1905) — военный историк и теоретик, генерал от инфантерии (1878), начальник Академии Генштаба (1878 — 1889) и великий писатель Лев Толстой — из одного поколения. У них немало общего. Жизненные принципы и дела благородны, общественно значимы. В жизни обоих военная служба сыграла неизгладимую роль. Михаил Драгомиров стал в армейский строй в 1849 г. В 1856 г. блестяще окончил Николаевскую академию Генштаба. Его дважды направляли на европейские войны (в 1859 г. на австро-итало-французскую, в 1866 г. на австро-прусскую) в качестве официального агента России. Он преподавал в академии тактику, написал по этой дисциплине учебник, который около четверти века был основным для русской армии. Был начальником штаба Киевского военного округа, командовал дивизией в войне России с Турцией за освобождение Болгарии в 1877 — 1878 гг., получил тяжёлое ранение.

В Российской Империи последних десятилетий её существования Драгомиров был, пожалуй, самым популярным из специально «военных» писателей.

В работе «"Война и мир" гр. Толстого с военной точки зрения» (Оружейный сборник. 1868, № 4; 1869, № 1; 1870, № 1; отд. изд.: «Разбор романа "Война и мир" Л.Н. Толстого с военной точки зрения». Киев, 1895) М. И. Драгомиров обнаружил много очевидных достоинств в изображении батальных сцен и в целом военной жизни, но подверг критике историческую концепцию Толстого, его «очевидное поползновение» «умалить колоссальную фигуру» Наполеона, а также дилетантские суждения писателя о том, что «Бородинское сражение никому не было нужно» и что от Наполеона и Кутузова вообще «ничего не зависело».

Наиболее значительны для нашей темы следующие суждения М. И. Драгомирова, наверняка чувствительно задевшие Толстого:

«Система его воззрений, собственно исторических, приводится к следующему:

Война — событие, противное человеческому разуму и *всей* человеческой природе; причины, которые выставляются историками войне 12 года, несостоятельны: "для нас непонятно, чтобы миллионы людей — христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр твёрд, политика Англии хитра и герц. Ольденбургский обижен. *Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с фактом убийства и насилия*".



Ответим на это, во-первых, что война есть дело, противное *не всей человеческой природе, а только одной стороне этой природы, — именно человеческому инстинкту самосохранения*, что далеко не одно и то же. В человеке этот инстинкт играет весьма видную, но далеко не исключительную роль: так, в порядочном человеке и в порядочном народе он подчиняется чувству личного достоинства, которое находит опору в свойствах, столь же естественных, как самосохранение, и вместе с тем прямо ему противоположных, — именно: в чувстве самоотвержения, отваге, упорстве и т. п. Взяв это в расчёт, односторонность положения гр. Толстого открывается сама собою; он мог сказать, что война противна человеческому инстинкту самосохранения — и только; но вовсе не противна всей человеческой природе *и в особенности разуму*.

Иногда она противна разуму, иногда нет: зависит от того, *за что* война ведётся. Как сила вершающая, разум не подчиняется никаким узеньким нормочкам азбучной морали.

В одном и том же, по-видимому, деле (но только по видимому) он приходит иногда к положительному решению, иногда к отрицательному: вот природа человеческого разума, и в этом его превосходство над разумом звериным, который в данных особях всегда приводит к одному и тому же выводу: заяц уступает всегда; тигр или лев не уступают никогда; баран не может хитрить; лисица не может не хитрить и т. д. Человек *может* всё это. Имея это в виду, странно сказать, что война — дело, противное человеческой природе; если бы это было так, то человек никогда бы и не воевал; между тем вся история показывает обратное: не только воюет, но даже иногда из-за нелепых побуждений воюет.

[...] Война — явление, от человеческой воли независимое: недаром Пирогов называл её "травматической эпидемией"» (Драгомиров М.И. *Разбор романа «Война и мир»*. Киев, 1895. С. 58 – 60).

Какова остроумная софистика?! И как современно для нашего безверного века! Ни тебе Бога, ни Христа. Человек — «царь природы», превосходящий остальных животных способностью убивать оружием, по системе, и при этом *не всегда* нелепо.

Никаких признаков веры в христианство, которую свою веру Драгомиров столь любил подчеркнуть, адресуясь простецам (не только солдатам). Зато суждение содержит апелляцию даже к медицине, к «науке» — чего Толстой особенно не любил...

И ещё, не менее удивительный образчик критики от Михаила Ивановича Драгомирова:

«...Автор "Войны и мира", разбирая причины войны 12 года, выставляемые историками, находит их далеко недостаточными и *потому ложными*. Логический скачок: ибо из того, что *не всё* сказано, не следует вовсе, будто *то, что сказано*, ложно. Рядом с признанными причинами и поводами — то и другое автор, к сожалению, смешивает — автор выставляет свои, совершенно не имеющие никакого основания, хотя кажущиеся ему столь же основательными, как и причины историков.

"Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо *ежели бы* он не захотел идти на вторичную службу и *не захотел бы* другой и третий и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей *было бы* в войске Наполеона и войны *не могло бы* быть (!)

Эта причина, для постановки которой автору понадобился такой огромный запас условной частицы "бы", имеет один коренной недостаток: выставляемые историками причины и поводы были действительно, а эта только могла бы быть, по мнению автора, но в действительности не была. Факта, если он существует или существовал, не собьёшь никакими доводами или предположениями. Как бы красноречиво автор ни доказывал, что могло бы быть, но если того действительно никогда не было, чего ему хочется, то следовательно и не могло быть. Пусть он укажет во всей истории хоть один пример того, чтобы война не состоялась из-за нежелания солдат идти на службу, и тогда мы помиримся с его гипотезой. Но он не найдёт такого примера и не может найти, ибо подобный случай противоречит существенным условиям органической жизни масс» (*Там же. С. 62 – 63*).

Можно, конечно, и поворчать: что это сыскался за скалозуб в литературоведении?.. Но, во-первых, вовсе не скалозуб Михаил Иванович Драгомиров, а, помимо своих «корпоративных» убеждений — человек, через более чем столетие пахнувший нам, в наши разум в сердце, огромными, безусловными достоинствами нравственности и интеллекта. Во-вторых же, безотносительно к ошибкам суждений генерала, которые здесь не к месту разбирать: удар по самолюбию Толстого был нанесён. И не только по «свежему следу», в год опубликования романа, но и переизданием очерка М. И. Драгомирова в 1895 году!

Удар по историософии, служившей в ту пору, в 1860-е гг., важной мировоззренческой опорой для самого автора «Войны и мира», Тол-

стой начала 1900-х, конечно, мог “простить” проницательному Михайло Ивановичу. Но вот к Наполеону с годами Толстой не изменил своего субъективно-неприятного отношения — как, например, и к Шекспиру, к Гёте и ряду других конгенитальных ему, Толстому, людей.

Драгомиров признаёт Наполеона таким же безупречным военным гением, каким бездарью, по отношению именно к военному руководству, был император Александр I. И, в связи с этим, очень меткий, безусловно чувствительный удар умница Михаил Иванович наносит по возлюбленному Толстым персонажу, князю Андрею Болконскому, с которым вместе, как мы помним, Толстой попытался художественными средствами выйти за границы познанного человеком, познать смысл жизни в Боге, тайны смерти и духовного преобразования. Для Драгомирова, человека прагматического, сущностно принадлежащего военной породе — именно элите её, в своей эпохе — все «мистические» обстоятельства прозрений, просветлений, болезни и кончины князя ничтожны перед тем, каков он, *как личность и как офицер*. И тут Драгомиров справедливо беспощаден: как будто догадываясь, что, критикуя личность этого персонажа, он задевает и памятные автору личные слабости в пору его кавказского добровольчества и волонтерства:

«Просим припомнить появление кн. Андрея на сцену: в свете он щурится, едва отвечает, всех и вся третирует с высоты своего величия; пред вами человек, который изо всех сил бьётся, чтобы не быть, а казаться, который играет роль, который не есть сила, а только претензия на силу. Заметив пустоту сферы, к которой принадлежал, кн. Андрей уже и это вменил себе в особенную заслугу: иначе он бы не рисовался так своим презрением, не старался бы с такой аффектацией его проявлять.

Открывается война 1805 года: кн. Андрей, не стесняясь, пользуется привилегиями той среды, которую по-видимому так презирает, и поступает адъютантом к Кутузову, с мечтою обрести на поле сражения свой "Тулон", т. е. попасть в Наполеоны» (*Драгомиров М.И. Разбор романа «Война и мир». Указ. изд. С. 38 – 39*). В последнем генерал, конечно, ошибается: делая для себя Наполеона земным кумиром, князь Андрей Болконский всё же мечтал о своём пути к славе. Но что князю, да и автору романа, возражать на *такое*:

«...Он, не выдавший ни разу войны лицом к лицу, является на неё с готовыми и законченными военными взглядами. ...Как несправедливый доктринёр, он не может допустить мысли, что он ошибается; нет, скорее лжёт жизнь» (*Там же. С. 39*).

И вот уже — прямой, жестокий, великолепный удар по автору, слишком полюбившему, начиная с повести «Детство», наделять персонажей чертами своих личности и биографии, чтобы в конце 1860-х это не могло быть известно начитанному интеллектуалу даже в среде военных:

«Ничего нет удивительного после этого, что он, убедившись из горького опыта, как трудно с одного скачка попасть в Наполеоны, начинает проповедовать, что и Наполеон — вздор, и дело, которым этот последний так гениально орудовал, — тоже вздор.

Иначе и быть не могло: кн. Андрей до такой степени веровал в свои таланты и непогрешимость, что, изведав несостоятельность *своей* теории, неминуемо должен был прийти к выводу, что и не может быть никакой теории в военном деле. [...] Сам он говорит, хоть и по другому поводу, что он прощать не способен; как же ему было простить теории военного искусства? Ведь он так жестоко на ней осёкся...» (Там же. С. 40).

И ещё, и ещё — безупречные по мощи и безжалостности удары:

«Мы не останавливаемся на разборе рассуждений кн. Андрея о необходимости не брать в плен, а убивать, на том основании, что от этого будто бы войны будут возникать только из-за основательных причин; что "нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство": не останавливаемся потому, что это собственно и не рассуждения, а просто набор слов, чтоб душу отвести. Для кн. Андрея всё дело было, в личных ощущениях; он сам проговорился: "кто дошёл до этого, так как я, теми же страданиями"... В этом-то всё и дело, чтобы себя потешить, свою желчь поволновать: он лечит своё бобо» (Там же. С. 56).

А фигура Наполеона, намекает Драгомиров — «бобо» не одного князя Андрея, но и автора романа:

«В наше время никто и не думал считать героями, в древнем смысле слова, ни Наполеона, ни тем более Кутузова. Но ведь от того, чтобы не считать героями и полубогами людей, действительно выходящих из ряда, и до того, чтобы силиться доказать в их решениях произвольность и бессмысленность, ещё очень далеко. История, достойная нашего человеческого времени, заключается вовсе не в том, чтобы воображать, будто Наполеон значил в своей армии не более какого-нибудь рядового или фурштата; но в том, чтобы показать в истинном свете отношение между силою масс и силою личностей, руководящих этими массами. [...] Известные стремления, прежде чем распространиться в массе, должны зародиться в *одной голове*.

Автор не может не признавать того, что будь на месте Наполеона Дезе, Гош, Карно напр<имер>, французская жизнь между 793 и 815 годами разыгралась бы не из пункта в пункт так, как она разыгралась под Наполеоном.

[...] Отчего в те страшные минуты, когда он уже уложил несколько сот тысяч на сумасбродное предприятие, отчего в остатках этих сотен тысяч, остатках голодных, оборванных, полузамёрзших, для этого, такого же как они, человека не находилось другого слова, кроме восторженного, фанатического *vive l'Empereur?*...» (Там же. С. 76, 79).

Вообще кавалерийские наскоки славного генерала своей меткостью и болезненностью напоминают ряд мест в дневниках жены писателя, Софьи Андреевны Толстой: тех, которые она писала в расстроенных, *обострённых* чувствах, после семейных ссор. У генерала с отставным поручиком артиллерии, кажется, тоже что-то «семейное». И, как и в случае с суждениями Софьи Андреевны, Михаил Иванович Драгомиров ставит иногда под вопрос не одни личностные достоинства, но и достоинства именно писательского, художнического мастерства автора «Войны и мира»:

«...Большинство живописцев — плохие философы, и наоборот: почти все философы — плохие живописцы, разумея, конечно, живопись словом. [...] Лучшее подтверждение сказанному — Гоголь: всякий знает пропасть, отделяющую первую часть его "Мёртвых Душ" от "переписки с друзьями". Сильный в одном известном направлении, он потерпел полное фиаско, как только вздумал сойти с этого направления». К редким «исключениям» М. И. Драгомиров относит Гёте — опять без промаха, снайперски попадая в слабое и наболелое место у Толстого! «То же случилось и с гр. Толстым, хотя не в такой степени, и не дай Бог, конечно, чтобы оно когда-либо дошло до такой степени» — желает М. И. Драгомиров писателю из далёкого 1869-го. Но в Примечании к переизданию 1895 г. прибавляет: «К сожалению, как всем известно, *дошло*. Автор, усиленно настаивая в последних своих произведениях на том, что нормальный человек мыслим только в полном единении с природой и себе подобными, рядом с этим отрицает всё то, что выработано человечеством для этого единения, так как проповедует чистейшую анархию» (Там же. С. 58).

И проповедует Толстой антивоенную анархию — оставаясь, как и в годы «Войны и мира», профаном в бесценной для генерала Военной Теории, смысле его жизни:

«...Мы сами наталкивались на господ, которые из его книги ничего другого не вычитали, кроме того, что военного искусства нет, что

подвезти вовремя провиант и велеть идти тому направо, тому налево — дело не хитрое, и что быть главнокомандующим можно ничего не зная и ничему не учившись» (Там же. С. 90).

Наконец, Михаил Иванович Драгомиров в недоумении перед названием Толстым в романе, в рассуждении о сражении при Бородино, знамён — «кусками материи на палках». Действительно, такое отстранение от общепринятой сакральной символики принадлежит, скорее, «анархисту» 1890-х годов, нежели православному по вероисповеданию писателю в 1860-е. И Михаил Иванович критикует такое отношение к знамёнам — апеллируя как к свойствам человеческой психики создавать символы, так и к официальной религии:

«Гр. Толстому, конечно, известна та особенность человеческой природы, в силу которой всякая материальная вещь приобретает значение для человека не столько сама по себе, сколько по тем понятиям, которые он соединяет с этой вещью. С этой точки самый ничтожный предмет может стать для человека святыней, сохранение которой для него сливается с сохранением собственной чести и становится неизмеримо выше сохранения жизни...

[...] Что верно относительно единичных личностей. то ещё более верно относительно тех больших сборных личностей, которые называются батальонами, полками. Не представляя по внешности одного существа, они нуждаются в таких символах, в таких вещественных знаках, в которых индивидуальные личности и не нуждаются: в вещественных знаках, служащих осязательным свидетельством внутреннего духовного единения людей, составляющих известную часть. Знамя именно и есть этот символ: в порядочной части всё может умереть для войсковой жизни; одно остаётся неизменным и вечным, на сколько вечны создания человека: *дух и знамя* — его вещественный представитель. Часть, в бою сохранившая знамя, сохранила свою честь неприкосновенную, несмотря на самые тяжёлые, иногда гибельные положения; часть, потерявшая знамя, — то же, что опозоренный и не отплативший за свой позор человек. <Здесь читателю уместно будет снова вспомнить реальный сюжет с убийством офицером гражданского из «Carthago delenda est» 1896 г. и во многом схожий с ним — в романе «Воскресение». — Р. А.> Взяв это в соображение, всякий согласится, что кусок материи, который соединяет около себя тысячи человек, сохранение которого стоило жизни сотням, а может и тысячам людей, входивших в состав полка в продолжение его векового существования, — что такой кусок материи есть *святыня*, — не условная военная святыня только, но святыня в прямом и непосредственном значении этого слова, и *что из всех трофеев это именно тот, который более всего свидетельствует о*

*нравственной победе над врагом.* Гр. Толстому не мешало бы помнить, что именно в сражении под Бородиным французам не удалось взять ни одного из этих кусков материи на палках; не мешало бы не забывать и того, что на конце этих палок утверждён символ ещё более высокого единения, — символ, который, как ему известно, имеет далеко не одно формальное значение для русского человека; не мешало бы не забывать того, наконец, что, до Петровской реформы, на этих кусках материи рисовались образа, что давало знамёнам то действительное значение военной и религиозной святыни, которое они имели у народа, лучше всех понимавшего эти вещи, — у народа римского» (Там же. С. 92 – 94).

Вот и договорился генерал до реверанса империи... Отношение же к таким сакрализациям Л. Н. Толстого, выраженное позднее, в Дневнике на 7 марта 1904 г. — красноречиво до последней степени:

«Чем глупее, безнравственнее то, что делают люди, тем торжественнее. Встретил на прогулке отставного солдата, разговорились о войне. Он согласился с тем, что убивать запрещено Богом. Но как же быть? — сказал он, придумывая самый крайний случай нападения, оскорбления, к может нанести враг. — Ну, а если он или осквернит или захочет отнять святыню?

— Какую?

— Знамя.

Я видел, как освящаются знамёна. А папа, а митрополиты, а царь. А суд. А обедня. Чем нелепее, тем торжественнее» (55, 18).

Этот солдатик «Памятку» Драгомирова, безусловно, читал!

Да уж... Было, на что обиженну быть Льву Николаевичу в писаниях Драгомирова... и, кажется, по состоянию уже на 1890-е гг. обида могла быть *взаимной*.

Судить же о том, насколько силён был в памяти, в душе Толстого осадок неприязни к *отчасти* справедливо (и тем болезненней!) “зацепившему” его, попавшему в некоторое слабое и больное место, умнице-генералу мы можем не только по ругани Толстого в «Carthago delenda est» 1896 г. (т. е. как раз после переиздания очерка генерала, о котором Толстой, вероятно, надеялся, что тот уже забыт), но и, в особенности, по оригинальной реакции *больного, душевно и физически ослабленного* писателя и публициста в 1901 – 1902 гг. на свидетельства унижительного игнорирования Империей попыток его напомнить о Христе — вменить самому царю основы христианской нравственности в приложении к политике. Николай II предпочёл остаться безответным — быть может, и невменяемым...

Теперь, уже абстрагируясь от выявленных нами неявных причин «вдохновения» Л. Н. Толстого к написанию памяток, скажем несколько слов — независимых слов — о них самих.



Брошюра. "Солдатская памятка", 2-е изд. Трудовой Общины-Коммуны "Трезвая жизнь", выпуск №6, типография "Совместный труд", 1918 г.

Заметим от себя, что сличение толстовских «Памяток» с «Памятками» Драгомирова свидетельствует не в его пользу, именно его *христианскости*. К солдатам он обращается, словно тренер детской бейсбольной команды, мотивирующий тинэйджеров к командному единству и победе. К сожалению, «победы» от такой пропаганды — убийство. Например:

«Зри в части — семью; в начальнике — отца; в товарище — родного брата; в подначальном — меньшого родню; тогда и весело, и дружно, и всё ни почом» (*Драгомиров М.И. Избранные труды. М., 1956. С. 43*).

Забудь про настоящую семью... Вдруг завтра революция, и командиры поведут тебя «подавлять мятежников» в родной твоей деревне? Их приказы важнее!

Абстрагируясь от ужасной задачи этого совета именно в «Памятке» М. И. Драгомирова, скажем тут же, что такой совет пригоден и для мирной жизни, по Христу, в общинах — безо всяких государств, их «лидеров» и военных вожаков. Это вполне коррелирует со словами и



примером земной жизни Иисуса Христа, выразившихся в следующем месте Евангелия от Матфея:

«Когда же он ещё говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто мать моя? и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: вот мать моя и братья мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и мать» (*Мф. 12: 46 – 50*).

С первой Главы данной книги мы показали, что сорванные из мирной жизни, из деревень, простые солдаты у Толстого как раз и пытаются в ненормальных условиях воспроизводить эти здоровые, природосообразные человеку, христианской душе человеческой, отношения общинной, трудовой и религиозной жизни.

Но тётке «родине», казённой гадине, потребно от них совсем другое...

А вот пострашнее от пады тётеньки «советы»:

«Всегда бей, никогда не отбивайся. Сломился штык, бей прикладом; приклад отказал — бей кулаками; попортили кулаки — вцепись зубами. Только тот бьёт, кто отчаянно и до смерти бьётся» (*Драгомиров М.И. Указ. изд. С. 43*).

Тут же хочется спросить генерала «христианской» Империи: а как поступить в бою твоему воспитаннику с “попорченными” кулаками, если зубы ему выбили “свои” же, ещё до войны — в казарме и на учениях? Разве лизнуть «врага» в носик, чтоб помер от отвращения?

«Цель каждую пулю; без толку стрелять — только чорта тешить. Виноватого найдёт меткая, а не шальная пуля» (*Там же. С. 44*).

«Виноватый» здесь — такой же лохопырка из «вражеского» войска, которого его тётя «родина», его государство подкупило, обмануло, а (скорее и чаще всего) принудило к участию в войне. Вот и вся «вина» его смертная...

Впрочем, где принуждение прямое — там и навязчивый обман. Показательно в связи с этим, что генерал Михайло Иваныч Драгомиров, которого наш читатель помнит весьма стойким научным материалистом в споре с И. С. Блюхом, в тексте пропагандистском, для простецов солдат, вспоминает о чёрте. Черти, духи, бесы — не что иное, как “материализация в лицах” (мордах?) суеверными людьми атавистических влечений собственной, как полуфабрикатов эволюции, природы и связанных с этим состоянием психики и с невежеством страхов по отношению к окружающему миру. Война — результат сочетанного влияния этих влечений, страхов вкупе с мате-

риальным (на уровне биохимии и электрики живого организма) влиянием на нервную систему и мозг человека лживого слова военно-патриотической пропаганды.

В связи с этим хочется, опять же, спросить — но не Михаила Ивановича, не доброго и умного, на свой салтык, человека XIX столетия, а современных, просвещённых «высшим образованием», сторонников войны: кто, к примеру, из расстрелянных в упор весной 2022 года оккупантами из России жителей украинских городов был хоть чем-то *виноват* перед убийцами?

Итак, в сущностном развитии войны, то есть в эволюции её в её *жестокости*, которой чужды правила, в незыблемость которых ещё мог верить добрый, нравственный, православный человек, такой, как М. И. Драгомиров — не «работает» и такое правило старого генерала.

Приведём ещё несколько цитат из «Солдатской памятки» — уже без комментариев.

«Наскочишь невзначай на неприятеля, или он на тебя — бей не задумываясь, не дай опомниться. Молодец тот, кто первый крикнет ура. Трое наскочат: первого — заколи; второго — застреги; третьему — штыком карачун. Храброго бог бережёт...» (*Там же*).

«Солдат не разбойник. [...] Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, мягку, справедливу, благочестиву! Молись Богу! От Него победа! Чудо-богатыри! Бог нас водит! Он ваш генерал!» (*Там же*. С. 45).

«...Только своё трудное ты видишь, а неприятельского не видишь: но оно всегда есть. Потому не раскисай; а чем хуже тебе, тем упорнее и отчаяннее бейся; побьёшь, сразу станет лучше, а неприятелю хуже; только претерпевый до конца спасается» (*Там же*. С. 44).

Вообще М. И. Драгомиров склонен к тому же, за что и «Памятки» Л. Н. Толстого, и другие его публицистические и духовные, истинно христианские писания обвиняли в «кощунстве»: он, как в данном отрывке, не только апеллирует к Богу, но и, либо цитирует евангелия, слова Христа и апостолов, либо, как минимум, *подражает языку и стилю* канонических евангелий — в особенности во втором своём послании, в «Памятке» к офицерам, с извлечениями из которой можно ознакомиться здесь:

[http://artofwar.ru/k/kazakow\\_a\\_m/text\\_0430.shtml](http://artofwar.ru/k/kazakow_a_m/text_0430.shtml)

Высоконравственных правил, пересыпанных апелляциями к знанию научному, в этом опусе столько, что хватило бы, вероятно, на целый учебник нравственной жизни — как раз где-нибудь в школе, устроенной для своих детишек свободными общинниками-христианами, людьми XXV века. Но у Драгомирова всё нацелено на нужды Империи, государства: допреже в солдатне, а, применительно к остатней жизни выживших, ветеранов и инвалидов — в распространителях военно-патриотического обмана промежду новых поколений, детей и малодумающих взрослых.

Итак, «Памятки» М. И. Драгомирова — это своеобразный «катехизис» для солдата и офицера, одновременно и учащий, и вдохновляющий. Толстой, соответственно, должен был идти менее выигранным путём — своего рода «демотивации» мотивированных драгомировскими памятками. И он делает это — с тех же, как и прежде, христианских позиций, несмотря на огромное различие в содержании и стиле своих «памяток» — обусловленных, в числе прочего, и разным общественным положением солдат и офицеров: если нижние чины служат по принуждению, то офицеры-то выбрали свою службу добровольно!

Ссылаясь на Евангелия, Л. Н. Толстой пишет, что не только не должно убивать своих братьев, но не должно делать того, что ведёт к убийству: не должно гневаться на брата и ненавидеть врагов. При этом он особо оговаривает, что данная заповедь должна выполняться неукоснительно, любые действия начальства, направленные на то, чтобы заставить солдата убивать, не могут служить оправданием убийству. Таким образом, приказ убивать, отданный начальством, не является основанием для отступления от заповеди «не убий» и учения Христа. Убийство врагов даже на войне, вопреки разъяснениям начальства, противоречит истинному христианскому учению. Принятие присяги солдатом также не является оправданием его участия в убийствах. Присяга — это клятва, то есть грех, прямое и преднамеренное, даже и системно организованное нарушение одной из «малых заповедей» Нагорной проповеди Христа: обещание людям исполнять их волю. Сознательный сын Отца обязан удержаться в воле Отца, давшего ему жизнь и запретившего убивать. В этой связи Л. Н. Толстой указывает: во-первых, нельзя присягать в том, что будешь делать всё, что прикажут люди, во-вторых, принятие присяги есть грех, поскольку существует христианская заповедь: «не клянись вовсе. Но да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх того, то от лукавого» (*Мф.*, 5: 34, 37).

Л. Н. Толстой особо подчёркивал, что человек всегда ответственен за то, что он делает. Следовательно, несмотря на все обыкновенные отмазки (типа «я исполнял приказы», «меня обманули / заставили» и под.), ответственность перед Богом, совестью и в глазах людей христианского жизнепонимания за участие своё в организованном убийстве несёт сам солдат, а не начальство, отдававшее приказы:

«Адам, как рассказывается в Библии, согрешил против Бога и сказал, что ему велела съесть яблоко жена, а жена сказала, что её соблазнил дьявол. Бог не оправдал ни Адама, ни Еву и сказал им, что за то, что Адам послушал голоса своей жены, он будет наказан, и также будет наказана жена за то, что послушалась змия. И не оправдал, а наказал их. Разве не то же самое скажет Бог и тебе, когда ты убьёшь человека и скажешь, что тебе велел это сделать ротный?»

[...] Убивая по приказанию начальства, ты точно такой же убийца, как и тот разбойник, который убивает купца, чтоб ограбить его. Тот польстился на деньги, а ты на то, чтобы не быть наказанным.

[...] Христос научил людей тому, что они все сыны Божии, и потому христианин не может отдать свою совесть во власть другого человека, каким бы он ни назывался титулом: королём, царём, императором. То же, что взявшие над тобою власть люди требуют от тебя убийства братьев, показывает только то, что люди эти обманщики и что поэтому не надо повиноваться им» (34, 282 – 283).

В подкрепление этих слов Лев Николаевич приводит в «Солдатской памятке» интересное сравнение. Грех убийства сравнивается с грехом прелюбодеяния и подчёркивается, что грех прелюбодеяния во много раз легче греха убийства. Сравнение сопровождается риторическим вопросом — возможно ли, чтобы один человек сказал другому: прелюбодействуй, я беру на себя твой грех, потому что я твой начальник? Блудить сладко и приятно, убивать людей, попутно принимая и от них пиздюлей — никак нет, но это не повод «отечески» передоверять неприятное для тебя самого юному солдатику!

Здесь же Л. Н. Толстой сравнивает положение солдата с положением проститутки:

«Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать на осквернение своё тело тому, на кого укажет ей хозяин; но еще постыднее положение солдата, всегда готового на величайшее преступление — на убийство всякого человека, на которого только укажет начальник» (Там же. С. 283).

В завершение «Солдатской памятки» Лев-учитель, Толстой-христианин напрямую советует морально подготовившему себя к духовному подвигу солдату «поступить по-Божьи»: «свергнуть с себя постыдное

и безбожное звание солдата и быть готовым перенести все страдания, которые они будут налагать на тебя за это» (*Там же*). Остальным же, не могущим ещё осознать значения такого шага и боящимся его, как «мученичества», страдания — по крайней мере, помнить, «что настоящая памятка солдата христианина не та, в которой сказано, что Бог — солдатский генерал и другие кощунства и что солдат должен, во всём повинаясь начальникам, быть готовым убивать чужих или своих, даже безоружных, братьев, — а в том, чтобы помнить слова писания о том, что *надо повиноваться Богу более, нежели людям*, и не бояться тех, кто может убить тело, но души не может убить» (*Там же*).

Особую ответственность за участие в системном, организованном насилии Лев Николаевич Толстой возложил на офицеров. В «Офицерской памятке» говорится, что напоминание об обязанностях перед Богом, связанных с запретом на убийства и подготовку к ним, ещё более необходимо офицерству (военному начальству от прапорщика до генерала), чем солдатам (34, 285). Обусловливается это рядом обстоятельств. Во-первых, такие офицеры выбрали военную службу добровольно, «не по принуждению, а по собственной охоте», в отличие от нижних чинов, призванных на неё принудительно (*Там же*).

Во-вторых же, со времени встречи на узловой станции с военным «усмирительным» отрядом Толстой не упускал из памяти и внимания некоторые особенности несения воинской службы, имевшие место, впрочем, не в одной России конца XIX — начала XX вв. Речь идёт прежде всего об использовании правительствами армии для подавления и усмирения своего протестующего народа. В николаевской России «в столицах и фабричных местах постоянно расположены войска с целью быть готовыми разогнать собирающихся рабочих, и редкий месяц проходит без того, чтобы войска не выводили из казарм с боевыми патронами и не ставили в скрытом месте с тем, чтобы они всякую минуту были готовы стрелять по народу» (*Там же*. С. 285 – 286).

По не раз, со времён трактата «Царство Божие внутри вас», высказанному Львом Николаевичем мнению (очень спорному с точки зрения исторических фактов), 100 или даже 50 лет тому назад военным и в голову не могло прийти, что войска могут использоваться для этих целей. «Тогда», полагает Толстой, врагами были только варвары, неверные или «злодеи», то есть людей из народа, готовые разорять и убивать мирных жителей, которых поэтому предполагалось для об-

щего блага уничтожить. С наивностью усадебного теоретика Лев Николаевич выводит, что на рубеже столетий войны с внешними врагами теряют свою актуальность. Поскольку международные отношения — торговые, общественные, научные, а главное — религиозные (то самое «охристианение» сознания локальных общностей, общественного мнения) — так сблизили народы между собой, что всякая война между европейскими народами представляется чем-то вроде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей. Главное и постоянное употребление войска в наше время состоит не в защите от внешних врагов и от «злодеев» — врагов внутренних, а в убийстве своих безоружных братьев — смиренных трудолюбивых людей, которые хотят только того, чтобы у них не отнимали того, что они зарабатывают. Поэтому главное предназначение военной службы в наше время «в том, чтобы угрозой убийства и убийством удерживать порабощённых сограждан в тех несправедливых условиях, в которых они находятся» (*Там же. С. 286*). А это «уже не только неблагородное, но прямо *подлое* дело». Поэтому «офицерам, служащим теперь, необходимо подумать о том, кому они служат, и хорошо или дурно то, что они делают» (*Там же. Курсив наш. — Р. А.*).

В-третьих, Л. Н. Толстой констатирует в «Офицерской памятке», что офицеры совершают ещё большее преступление, чем солдаты: «Нельзя вытравить из человека всё человеческое и довести его до состояния машины, не мучая его и мучая не просто, а самым утончённым, жестоким образом, вместе мучая и обманывая. И это всё делаете вы — офицеры. [...] Самому быть убийцей ужасно, но хитрыми и жестокими приёмами довести до этого доверившихся вам своих братьев — есть самое страшное преступление» (*Там же. С. 288*). Офицеры от высших до низших чинов его и совершают — в этом состоит их служба. С помощью приёмов одурения людей офицеры доводят солдата до положения ниже животного, такого, в котором он готов убивать всех, кого велят, даже своих безоружных братьев. Причём совершение этого преступления отражается и на самих офицерах. Подтверждение этого Л. Н. Толстой видит в том, что среди офицеров больше, чем во всякой другой среде, процветает всё то, что может заглушить совесть — курение, карты, пьянство, разврат, чаще всего бывают самоубийства. В военной повседневности солдаты совершают только грех повиновения человеку вместо Бога, грех же насилия — только во время ведения боевых действий; офицеры же совершают этот грех ещё и в мирное время, когда обучают солдат. Доказывая особую ответственность офицеров, Л. Н.

Толстой ссылается на христианскую заповедь: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф., 18: 7) *(Там же. С. 288 – 289)*.

Офицеры служат добровольно, тщеславно и корыстно, при этом гнусенько оправдываясь тем, что если бы они не делали этого, то нарушился бы существующий порядок, произошли бы смуты и всякого рода бедствия. Л. Н. Толстой не принимает этих оправданий и отмечает, что, во-первых, офицеры служат не для поддержания существующего порядка, а ради собственной выгоды, которую даёт военная служба. Во-вторых, даже если бы отказ офицеров от службы вёл бы к нарушению этого порядка, то это не означало бы, что надо продолжать делать «дурное дело» (службу офицеров). Это доказывало бы только то, что такой порядок должен быть уничтожен, поскольку общий порядок должен быть таким, чтобы для его поддержания не нужны были убийства *(Там же. С. 289)*.

«Ну, нет! Я ж не блядь, я продавщица!» — может тут возразить Толстому какой-нибудь разобиженный офицер. И Лев Николаевич тут же, совершенно не случайно и очень метко, прибегает снова к сравнению военного, но теперь офицера, и, торгующей собой, обладательницы известного билета:

«Если бы существовали самые полезные учреждения: больницы, школы, богадельни, содержимые на доходы с домов терпимости, то вся польза, приносимая этими благотворительными учреждениями, никак не могла бы удержать в её положении женщину, желающую освободиться от своего постыдного ремесла.

“Я не виновата, — скажет женщина, — что вы устроили свои благотельные учреждения на разврате. Я не хочу более быть развратной, а до ваших учреждений мне дела нет”. То же должен сказать и всякий военный, если ему будут говорить о необходимости поддерживать существующий порядок, основанный на его готовности к убийству. “Устройте общий порядок так, чтобы для него не нужно было убийства, — должен сказать военный, — и я не буду нарушать его. Я только не хочу и не могу быть убийцей”» *(Там же)*.

Безусловно, жестоко! Но сам офицер, поручик артиллерии в отставке, Толстой безжалостен здесь же и к самому себе, он берёт за горло себя, по поводу своих же, хорошо ему известных, слабостей: внушённых ему с детства и не преодоленных до конца сословных преданий и стереотипов поведения:

«Говорят ещё многие из вас: “Я был воспитан так, я связан своим положением и не могу выйти из него”. Но и это неправда.

Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы не выходите из него, то только потому, что предпочитаете жить и действовать против своей совести, чем лишиться некоторых мирских выгод, которые вам даёт ваша бесчестная служба» (Там же).

«Бесчестная» служба, «подлость»... Такие дефиниции для офицеров царской армии не то, что звучали, а *ощущались* — и не пощёчинами, а мужицкими оплеухами.

Кто он, столь беспрецедентно оскорбляющий их в их недёшево мундированном самовлюблении? Преступник? Юродивый безумец?

И то, и другое: *пророк в своём отечестве!*

Охристианивающееся общественное мнение с полным правом казнит презрением тех из офицеров, которые ещё хватаются за отжитое, стремятся «продолжать старинные предания военного *самодовольного молодечества*» (Там же. С. 290. Курсив наш. — Р. А.). Обратим кстати внимание, в каком сочетании встречается нам, уже в тексте начала 1900-х гг., это словцо, *молодечество* — которым, как мы помним, ещё молодой Толстой определял своё, внушённое ему воспитателями, почтение к ловкости, к боевой храбрости военных и к военной службе в целом. *Самодовольство* этих архаичных *молодцов* в реалиях России начала XX века может закончиться тем, что в один совсем не прекрасный день, по приказу высшего командования, они будут «стоять лицом к лицу с безоружной толпой крестьян или фабричных и им приказано будет стрелять в них» (Там же). Путь к очевидности для офицера — в признании «братоубийственного назначения войска», за которым признанием должны последовать и действия: уже не офицера, не ходячего мундированного идола (вероятно, пища «Офицерскую памятку», Толстой снова вспомнил бронницкого ветеринара «Буку», А. И. Архангельского с его радикальнейшей книжицей «Кому служить?»), а человека христианина:

«Выход этот, самый лучший и честный, состоит в том, чтобы, собрав часть, которой вы командуете, выйти перед нею и попросить у солдат прощения за всё то зло, которое вы им сделали, обманывая их, и перестать быть военным» (Там же. С. 289 – 290). Мужества для такого поступка нужно, по мнению Толстого, меньше, чем для военного штурма или дуэли ради защиты *мундира* (Там же. С. 290).

О чём же «памятки» Л. Н. Толстого, если резюмировать буквально в двух словах? О том, что:

СОЛДАТСКАЯ СЛУЖБА ЕСТЬ — РАБСТВО.  
ОФИЦЕРСКАЯ СЛУЖБА ЕСТЬ — ПОДЛОСТЬ.



И эти высокие истины останутся истинами, сколько ни будут над их смыслом возмущаться наивные обитатели тех или иных государств, с детства, т. е. с возраста, податливого ко всяким, истинным и ложным, внушениям, выращенные в идеях "любви к родине" (на место которой в их сознании усилиями обманщиков поставляется государство), "необходимости" и "полезности" правительств, государств с их границами, флагами, войсками и прочими атрибутами, "долга" перед этой самой сволочной тёткой, который надо оплатить службой, даже кровью своей, и обязательно, если ты из *простых*, не "элитарных" обитателей гостерритории, не имеешь особых привилегий и возможностей, и, значит, и "задолжал" (казалось бы) меньше других. Но — нет! именно ты, по закону срамного козёльчика (того, который — "козёл отпущения"), должен лет этак... в 18-ть, хочешь не хочешь, загнуться раком и подставить сраку тёте «родине», которая вдруг оказывается уже не заботливой (пусть и брехливой, ибо казённая сука) мамой, и даже не тётей, а — дядей, и, на правах самозванного отца, вставляет тебе хуйца в жопную целку — по самую печёнку... хорошо, если просто на армейке, а не в «горячей точке». Всё! тобой попользовались. Можешь опосля, как заведено в России, потерпеть и сдохнуть — особо ты больше не нужен, исключая репродукцию и патриотическое воспитание таких же рабов — нового поколения... Вспоминай потом до конца дней, приукрашай, мифологизируй, облагороживай, героизируй своё рабство... расти ещё одно поколение, включая своих детей, в этой же лжи.

Нельзя было бы тысячи лет так легко обманывать целые поколения, если бы — не атавистические влечения человеческой природы: инстинкты сбивания в стаи, мечения границ "своей" и не "своей" территории, оборонительной агрессии, да столь же атавистические животные страхи, да доверчивость, да продажность... Всё это имеет основу в животной природе человека, долженствуемой быть побеждённой христианством, *верю живой*, сливанием своей воли с волей Отца. Но именно это в нашем *лже*христианском мире не только не побеждается, а намеренно культивируется и разжигается в головах простецов правительствами через обманутых и подкупленных попов и учёных интеллигентов — навязывается детям через т. н. «патриотическое воспитание», то есть одурение и развращение.

Зачем задорого покупать военных нижних чинов, как покупаются и оплачиваются чиновники штатской службы? Это на войну — можно не жалеть, разорить собственное население... А вот на солдатах, и даже на такой юнкерской и офицерской «мелочи», каким

был в годы службы Лев Толстой — грех не сэкономить!.. Патриотические идейки, впитанные детскими мозгами — очень тому помогают. Хотя и не для одного этого они нужны: повседневное послушание власти эксплуататоров, обманщиков и насильников, "легитимность" её в глазах простецов — тоже хорошо... для любого халтурного в управлении страной режима. Но войско подешевле и попослушнее — главная, многовековая мечта всех таких, халтурных, правительств.

Сделаться солдатом — значит довести своё положение жертвы этого обмана до конца.



Обложка первого издания в России  
«Солдатской памятки». 1906 г.

Сделаться офицером — значит продаться правительству, за звания и подачки, надсмотрщиком рабьего стада и верховным убийцей над кодами правительственных убийц.

Предел солдатского рабства — необходимость убийства по приказу всех лиц, кого прикажет убивать, как "врагов", правительство.

Предел офицерской подлости — распоряжение такими делами правительств, принуждение солдат к деланию их и наказание всех "неисправных" и отказывающихся убивать.

Тексты обеих «Памяток» Льва Николаевича Толстого, по их непространности, мы нашли возможным, в дополнение к сказанному, привести ниже в полном виде.

### **СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТКА**

Итак, не бойтесь их:  
ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы,  
и тайного, что не было бы узвано.  
Что говорю вам в темноте, говорите при свете;  
и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.  
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;  
а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне.

*(Мф. X, 26, 27, 28).*

Пётр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеку.

*(Деяния V, 29)*

Ты солдат, тебя учили стрелять, колоть, маршировать, гимнастике, обучали словесности, водили на ученья и смотры; может быть, ты попал и на войну и воевал с турками или китайцами, исполняя всё, что тебе приказывали; тебе и в голову не приходило спросить себя: хорошо или дурно то, что ты делаешь?

Но вот получается приказ выступить твоей роте или эскадрону и взять боевые патроны. Ты едешь или идёшь, не спрашивая, куда тебя ведут.

Полк подводят к деревне или фабрике, и ты видишь издалека, что на площади толпится народ, деревенский или фабричный, мужчины, женщины с детьми, старики, старухи. Губернатор, прокурор с полицейскими подходят к толпе и о чём-то толкуют. Толпа сначала молчит, потом начинают кричать всё громче и громче, и начальство отходит от народа. И ты догадываешься, что это крестьяне или фабричные бунтуют и тебя привели усмирять их. Начальство несколько раз отходит от толпы и подходит к ней, но крики всё громче и

громче, и начальство переговаривается между собою, и тебе дают приказ заряжать ружьё боевыми патронами. Ты видишь перед собой людей — тех самых, из которых ты взят: мужчин в поддёвках, полушубках, лаптях, и женщин с детьми в платках и кофтах, таких же женщин, как твоя жена или мать.

Первый выстрел приказывают пустить через головы толпы. Но толпа не расходится и ещё громче кричит; и вот тебе приказывают стрелять по-настоящему, не через головы, а прямо в середину толпы.

Тебе внушено, что ты не ответственен в том, что произойдёт от твоего выстрела. Но ты знаешь, что тот человек, который, обливаясь кровью, упадёт от твоего выстрела, убит тобою и никем другим, и знаешь, что ты мог не выстрелить, и тогда человек не был бы убит.

Что тебе делать?

Мало того, что ты опустишь ружье и откажешься сейчас стрелять в своих братьев. Но ведь завтра может быть то же самое, и потому хочешь — не хочешь тебе надо одуматься и спросить себя, что такое то звание солдата, которое довело тебя до того, что ты должен стрелять в своих безоружных братьев?

В Евангелии сказано, что не только не должно убивать своих братьев, но не должно делать того, что ведёт к убийству: не должно гневаться на брата и не ненавидеть врагов, а любить их.

В законе Моисея прямо сказано: «не убий», без всяких оговорок о том, кого можно и кого нельзя убивать. В правилах же, которым тебя учили, сказано, что солдат должен исполнять всякое, какое бы то ни было, приказание начальника, кроме приказания против царя, и в объяснении 6-ой заповеди сказано, что хотя заповедью этой запрещается убивать, но тот, кто убивает неприятеля на войне, не грешит против этой заповеди. В солдатской же памятке, которая висит во всех казармах и которую ты много раз читал и слушал, сказано, как солдат должен убивать людей. «Трое наскочат, первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун... Сломился штык, бей прикладом; если приклад отказал, бей кулаками; попортились кулаки, вцепись зубами».

Тебе говорят, что ты должен убивать потому, что ты присягал и отвечать за твои дела будешь не ты, а начальство.

Но прежде, чем ты присягал, т. е. обязался людям исполнять их волю, ты уже без присяги обязан во всем исполнять волю Бога, Того, Кто дал тебе жизнь, — Бог же не велит убивать.

Так что тебе никак нельзя было и присягать в том, что ты будешь делать все, что прикажут тебе люди. От этого и в евангелии (Мф. V, 34) прямо сказано «не клянись вовсе»... «Говорите: да, да, нет, нет, а что более этого, то от лукавого». И то же сказано в послании Якова

V, 12: «Прежде же всего, братия, не клянитесь ни небом, ни землею» и т. д. Так что сама присяга есть грех. То же, что они говорят, что за твои дела будешь отвечать не ты, а начальство, — явная неправда. Разве может совесть твоя быть не в тебе, а в ефрейторе, фельдфебеле, ротном, в полковнике или в ком бы то ни было? Никто не может за тебя решать, что ты можешь и должен и чего не можешь и не должен делать. И человек всегда ответственен за то, что он делает. Разве не во много раз легче убийства грех прелюбодеяния, а возможно ли, чтобы человек сказал другому: прелюбодействуй, я беру на себя твой грех, потому что я твой начальник.

Адам, как рассказывается в Библии, согрешил против Бога и сказал, что ему велела съесть яблоко жена, а жена сказала, что её соблазнил дьявол. Бог не оправдал ни Адама, ни Еву и сказал им, что за то, что Адам послушал голоса своей жены, он будет наказан, и также будет наказана жена за то, что послушалась змия. И не оправдал, а наказал их. Разве не то же самое скажет Бог и тебе, когда ты убьёшь человека и скажешь, что тебе велел это сделать ротный?

Обман виден уже из того, что в самом правиле о том, что солдат должен исполнять все приказания начальства, прибавлены слова: «кроме таких, которые клонятся ко вреду царя».

Если солдат должен, прежде чем исполнять приказания начальника, решить, не против царя ли оно, то как же ему ещё прежде, чем исполнять приказания начальника, не обсудить, не против ли высшего царя — Бога то, чего требует от него начальник? А нет более противного воле Бога дела, как убивать людей. И потому нельзя повиноваться людям, если они велят тебе убивать людей. Если же ты повинуюешься и убиваешь, то делаешь это только из своей выгоды, чтобы тебя не наказали. Так что, убивая по приказанию начальства, ты точно такой же убийца, как и тот разбойник, который убивает купца, чтоб ограбить его. Тот польстился на деньги, а ты на то, чтобы не быть наказанным начальством и получить награду. Человек всегда сам отвечает за свои поступки перед Богом. И никакая сила не может, как этого хотят начальники, сделать из живого человека мёртвую вещь, которой может помыкать, как вздумается, всякий человек с большими эполетами. Христос научил людей тому, что они все сыны Божии, и потому христианин не может отдать свою совесть во власть другого человека, каким бы он ни назывался титулом: королём, царём, императором. То же, что взявшие над тобою власть люди требуют от тебя убийства братьев, показывает только то, что люди эти обманщики и что поэтому не надо повиноваться им. Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать на

осквернение своё тело тому, на кого укажет ей хозяин; но ещё постыднее положение солдата, всегда готового на величайшее преступление — на убийство всякого человека, на которого только укажет начальник.

И потому, если ты действительно хочешь поступить по-Божьи, то тебе надо сделать одно: свергнуть с себя постыдное и безбожное звание солдата и быть готовым перенести все страдания, которые они будут налагать на тебя за это.

Так что настоящая памятка солдата христианина не та, в которой сказано, что Бог — солдатский генерал и другие кощунства и что солдат должен, во всём повинуюсь начальникам, быть готовым убивать чужих или своих, даже безоружных, братьев, — а в том, чтобы помнить слова писания о том, что *надо повиноваться Богу более, нежели людям*, и не бояться тех, кто может убить тело, но души не может убить.

В этом одна настоящая, не обманная солдатская памятка» (34, 280 – 283).

### ОФИЦЕРСКАЯ ПАМЯТКА

А кто соблазнит одного из малых сих,  
верующих в меня, тому лучше было бы,  
если бы повесили ему мельничный жернов на шею  
и потопили его в глубине морской.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам,  
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

(Мф. XVIII, 6, 7).

Во всех солдатских помещениях висит прибитая к стене так называемая «Солдатская памятка», составленная генералом Драгомировым. Памятка эта есть набор мнимо солдатских народных (совершенно чуждых всякому солдату) глупо-ухарских слов, перемешанных с кощунственными цитатами из евангелия. Евангельские изречения приведены в подтверждение того, что солдаты должны убивать, зубами грызть своих врагов: «сломился штык, бей кулаками, отказались кулаки, вцепись зубами». В заключение же «Памятки» сказано, что Бог есть генерал солдат: «Бог ваш генерал».

Ничто очевиднее этой «Памятки» не доказывает ту ужасную степень невежества, рабской покорности и озверения, до которых дошли в наше время русские люди. С тех пор, как появилось это ужаснейшее

кошунство и было вывешено во всех казармах, а это уж очень давно, ни один начальник, ни священник, которых, казалось, прямо касается извращение смысла евангельских текстов, не выразил осуждения этому отвратительному произведению, и оно продолжает печататься в миллионах экземпляров и читаться миллионами солдат, принимающих это ужасное сочинение за руководство их деятельности.

Памятка эта давно возмущала меня, и теперь, боясь, что я не успею до смерти сделать это, я написал обращение к солдатам, в котором стараюсь напомнить им о том, что они, как люди и христиане, имеют совсем другие обязанности перед Богом, чем те, которые выставляются в этой памятке. Такое напоминание, я думаю, нужно не одним солдатам, но ещё более офицерству (под офицерством я разумею всё военное начальство от прапорщика до генерала), которое поступает в военную службу или остаётся в ней не по принуждению, как солдаты, а по собственной охоте. Напоминание это, мне кажется, особенно нужно в наше время.

Ведь хорошо было лет 100 или 50 тому назад, когда война считалась неизбежным условием жизни народов, когда люди того народа, с которым велась война, считались варварами, неверными или злодеями и когда и в голову не приходило военным, чтобы они были нужны для подавления и усмирения своего народа, — хорошо было тогда, надев пёстрый, обшитый галунами, мундирчик, ходить, гремя саблей и позванивая шпорами, или гарцовать перед полком, воображая себя героем, если ещё и не пожертвовавшим, то всё-таки готовым жертвовать жизнью для защиты своего отечества. Но теперь, когда частые международные сношения — торговые, общественные, научные, художественные — так сблизили народы между собой, что всякая война между европейскими народами представляется чем-то в роде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей, когда сотни обществ мира и тысячи статей, не только специальных, но и общих газет, не переставая, на все лады разъясняют безумие милитаризма и возможность и даже необходимость уничтожить войну; теперь, когда — и это самое главное — всё чаще и чаще приходится военным выступать не против внешних врагов для защиты от нападающих завоевателей или для увеличения славы и могущества своего отечества, а против безоружных фабричных или крестьян, — гарцование на лошадке в украшенном галунами мундирчике и щегольское выступание перед ротами уже становится не пустым, но простительным тщеславием, как это было прежде, а чем-то совсем другим.

В старину, хотя бы при Николае I, никому и в голову не приходило, что войска нужны преимущественно для того, чтобы стрелять по безоружным жителям. Теперь же в столицах и фабричных местах постоянно расположены войска с целью быть готовыми разогнать собирающихся рабочих, и редкий месяц проходит без того, чтобы войска не выводили из казарм с боевыми патронами и не ставили в скрытом месте с тем, чтобы они всякую минуту были готовы стрелять по народу.

Употребление войск против народа сделалось не только обычным явлением, но войска уже вперёд формируются так, чтобы быть готовыми для этого своего употребления. Правительство не скрывает того, что распределение рекрутов по частям делается умышленно такое, чтобы солдаты никогда не были взяты из тех мест, где они стоят. Делается это с тою целью, чтобы солдатам не пришлось стрелять в своих родных.

Германский император прямо, при всяком наборе рекрутов, говорил и говорит (речь 23 мая 1901 г.), что присягнувшие ему солдаты принадлежат ему и телом и душой, что у них только один враг — это его враг, и что враг этот социалисты (т. е. рабочие), которых солдаты должны, если он велит им, застрелить (*niederschliessen*), хотя бы это были их родные братья или даже родители.

Кроме того в прежние времена, если войска и употреблялись против людей из народа, то те, против кого они употреблялись, были, или по крайней мере считались, злодеями, готовыми убивать и разорять мирных жителей, и поэтому для общего блага полагалось нужным уничтожать их. Теперь же все знают, что те, против кого высылаются войска, большей частью смирные, трудолюбивые люди, желающие только беспрепятственно пользоваться плодами своих трудов. Так что главное и постоянное употребление войск в наше время состоит уже не в воображаемой защите от неверных и вообще внешних врагов и не от злодеев бунтовщиков, врагов внутренних, а в том, чтобы убивать своих безоружных братьев, которые вовсе не злодеи, а смирные, трудолюбивые люди, желающие только, чтобы у них не отнимали то, что они зарабатывают. Так что военная служба в наше время, когда главное назначение её в том, чтобы угрозой убийства и убийством удерживать порабощённых людей в тех несправедливых условиях, в которых они находятся, — уже не только не благородное, но прямо подлое дело.

И потому офицерам, служащим теперь, необходимо подумать о том, кому они служат, и спросить себя, хорошо или дурно то, что они делают?



Знаю я, что есть много офицеров, в особенности из высших чинов, которые разными рассуждениями на тему о православии, самодержавии, целостности государства, неизбежности всегдашней войны, необходимости порядка, несостоятельности социалистических бредней и т. п. стараются доказать самим себе, что деятельность их разумна, полезна и не имеет в себе ничего безнравственного. Но они в глубине души сами не верят в то, что говорят, и чем они умнее и чем старше делаются, тем меньше верят в это.

Помню, как радостно поразил меня мой приятель и сослуживец, очень честолюбивый человек, всю жизнь свою посвятивший военной службе и достигший высших чинов и отличий (генерал-адъютанта и генерала артиллерии), когда он сказал мне, что сжёг свои записки о войнах, в которых участвовал, потому что изменил свой взгляд на военное дело и всякую войну считает теперь дурным делом, которое надо не поощрять, занимаясь им, а, напротив, всячески дискредитировать. Многие офицеры думают так же, хотя и не говорят этого, пока служат. В сущности же, всякому мыслящему офицеру и нельзя думать иначе. Ведь стоит только подумать о том, что, начиная с младших чинов и до самых старших, до корпусного командира, составляет занятие всех офицеров? От начала и до конца их службы — я говорю про фронтовых офицеров — деятельность их, за исключением редких и коротких периодов, когда они идут на войну и заняты убийством, — состоит в достижении двух целей: в обучении солдат умению наилучшим образом убивать людей и приучении их к такому послушанию, при котором они механически, без рассуждений делали бы всё то, что им прикажет начальник. В старину говорили: «двух запори, одного выучи» и так и делали. Если теперь процент забитых меньше, то принцип остаётся тот же. Нельзя довести людей до того не животного, но машинного состояния, в котором они делали бы самое противное природе человека и исповедуемой ими вере дело, именно убийство, по приказанию всякого начальника, без того, чтобы не были произведены над этими людьми, кроме хитрых обманов, ещё и самые жестокие насилия. Так это и делается.

Недавно во французской прессе наделало шуму изобличение журналистом тех ужасных мучений, которым подвергаются солдаты в дисциплинарных батальонах, на острове Oleron, в шести часах езды от Парижа. Наказываемым связывали руки с ногами на спине и так бросали на землю, надевали на большие пальцы закинутых за спину рук винты, завинчивая их до того, что каждое движение производило ужаснейшую боль, подвешивали ногами кверху и т. п.

Когда мы видим обученных зверей, которые исполняют противное их природе: собаки ходят на передних лапах, слоны вертят бочки, тигры играют с львами и т. п., — мы знаем, что всё это достигнуто мучениями голода, арапника и раскалённого железа. То же самое мы знаем, когда видим людей, которые в мундирах с ружьями замирают в неподвижности или делают в раз одно и то же движение: бегают, прыгают, стреляют, кричат и т. п., вообще производят те красивые смотры и манёвры, которыми так любят и хвастаются друг перед другом императоры и короли. Нельзя вытравить из человека всё человеческое и довести его до состояния машины, не мучая его и мучая не просто, а самым утончённым, жестоким образом, вместе мучая и обманывая.

И это всё делаете вы — офицеры. В этом, кроме редких случаев, когда вы идёте на настоящую войну, состоит вся ваша служба, от высших чинов до низших.

К вам приходит из семьи переселённый на другой конец света юноша, которому внушено, что та обманная, запрещённая Евангелием, присяга, которую он принял, бесповоротно связывает его в роде того, как положенный на пол петух с проведённой от носа чертой думает, что он связан этой чертой. Он приходит к вам с полной покорностью и надеждой, что вы, старшие, более умные и учёные, чем он, люди, научите его всему хорошему. Вы же, вместо того, чтобы освободить его от тех суеверий, которые он принёс с собою, прививаете ему ещё новые, самые бессмысленные, грубые и вредные суеверия о святости знамени, о почти божеском значении царя, об обязательности безотговорочного во всём подчинения начальству. И когда вы с помощью выработанных в вашем деле приёмов одурения людей доводите его до положения ниже животного, такого, в котором он готов убивать всех, кого велют, даже своих безоружных братьев, — вы с гордостью показываете его начальству и получаете за это благодарности и награды. Самому быть убийцей ужасно, но хитрыми и жестокими приёмами довести до этого своих, доверившихся вам, братьев — есть самое страшное преступление. И его-то вы совершаете, и в этом состоит вся ваша служба.

Неудивительно поэтому, что среди вас, больше чем во всякой другой среде, процветает всё то, что может заглушить совесть: курение, карты, пьянство, разврат, и чаще всего бывают самоубийства.

«Соблазны должны войти в мир, но горе тем, через кого они входят».

Вы говорите часто, что служите потому, что если вы бы не служили, то нарушился бы существующий порядок и произошли бы смуты и всякого рода бедствия.

Но, во-первых, неправда то, что вы озабочены поддержанием существующего порядка: вы озабочены только своими выгодами.

Во-вторых, если бы даже воздержание ваше от военной службы и нарушало существующий порядок, то это никак бы не доказывало, что вам надо продолжать делать дурное дело, а только то, что порядок, разрушающийся от вашего воздержания, — должен быть уничтожен.

Если бы существовали самые полезные учреждения: больницы, школы, богадельни, содержимые на доходы с домов терпимости, то вся польза, приносимая этими благотворительными учреждениями, никак не могла бы удержать в её положении женщину, желающую освободиться от своего постыдного ремесла.

«Я не виновата, — скажет женщина, — что вы устроили свои благотворительные учреждения на разврате. Я не хочу более быть развратной, а до ваших учреждений мне дела нет». То же должен сказать и всякий военный, если ему будут говорить о необходимости поддерживать существующий порядок, основанный на его готовности к убийству. «Устройте общий порядок так, чтобы для него не нужно было убийства, — должен сказать военный, — и я не буду нарушать его. Я только не хочу и не могу быть убийцей»

Говорят ещё многие из вас: «Я был воспитан так, я связан своим положением и не могу выйти из него». Но и это неправда.

Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы не выходите из него, то только потому, что предпочитаете жить и действовать против своей совести, чем лишиться некоторых мирских выгод, которые вам даёт ваша бесчестная служба. Только забудьте, что вы офицер, а вспомните, что вы человек, и выход из вашего положения сейчас же откроется вам. Выход этот, самый лучший и честный, состоит в том, чтобы, собрав часть, которой вы командуете, выйти перед нею и попросить у солдат прощения за всё то зло, которое вы им сделали, обманывая их, и перестать быть военным. Поступок этот кажется очень смелым и требующим большого мужества, а между тем для такого поступка нужно гораздо меньше мужества, чем для того, чтобы идти на штурм или вызвать на дуэль за оскорбление мундира, — то, что вы, как военный, всегда готовы сделать и делаете.

Но и не будучи в состоянии поступить так, вы всегда можете, если поняли преступность военной службы, уйти из неё и предпочесть ей всякую другую, хотя и менее выгодную, деятельность.

Если же вы не можете и этого сделать, то решение для вас вопроса о том, будете ли вы продолжать служить или нет, отложится до того времени, — а это для всякого скоро наступит, — когда вы будете стоять лицом к лицу с безоружной толпой крестьян или фабричных

и вам приказано будет стрелять в них. И тогда, если в вас ещё осталось что-либо человеческое, вы должны будете отказаться повиноваться и вследствие этого уже оставить службу.

Я знаю, что много ещё есть офицеров от высших до низших чинов, которые так невежественны или загипнотизированы, что не видят необходимости ни в том, ни в другом, ни в третьем выходе и спокойно продолжают служить и при теперешних условиях, готовы стрелять по своим братьям и даже гордятся этим; но, к счастью, общественное мнение всё более и более отвращением и презрением казнит таких людей, и число их становится всё меньше и меньше.

Так что в наше время, когда братоубийственное назначение войска стало очевидным, нельзя уже офицерам не только продолжать старинные предания военного самодовольного молодечества, но нельзя уже без сознания своего человеческого унижения и стыда продолжать преступное дело обучения убийству простых, доверяющих им людей и самим готовиться к участию в убийстве безоружных жителей.

Вот это должен понимать и помнить всякий мыслящий и совестливый офицер нашего времени.

*1901. 7 декабря. Гаспра (34, 284 – 290)».*

Освоивший это чтение, «закрепляющее» в памяти идеи памяток, едва ли не всякий из наших читателей, увидит их сквозную тему, связанную с представлениями Л. Н. Толстого о неизбежности революций: тему народных массовых протестов и нравственного выбора солдат и офицеров в ситуации столкновений с народом: служебный долг или живая, руководящая поступками, вера Христа?

Тот же наш внимательный читатель непременно выведет, что «Солдатская памятка» задалась Л. Н. Толстому всё же лучше «Офицерской». Это именно шах и мат Драгомирову, с его *языческим по сущности* мировоззрением, к которому, лишь виньетками без силы и смысла, пришпандорено христианство. На деле, в армии, как и в тюрьме, гимназиях, школах и других местах недобровольного пребывания человека значение имело только церковное обрядоверие и идолопоклонство: пусть тут читатель вспомнит знаменитое описание богослужения из романа «Воскресение!» (гл. XXXIX и XL Первой части романа). Тот обращается на «ты», лично к солдату — и так же обращается к солдату, к каждому по отдельности, к сознанию и к душе, и Лев Николаевич Толстой. Но Драгомиров перетолковывает кощунственно тексты Нового Завета — Толстой же восстанавливает их христианские смыслы!

И всё это — коротко, ярко, талантливо!

В этом смысле, увы! памятка для офицеров у Толстого — внешне, по стилю и пространности повторяя драгомировскую «Офицерскую памятку», по существу свелась к повторению давно уже сказанного, как раз офицерам могущего быть известным.

Дерзость подобных обращений к солдатам и офицерам, характеризующих военную службу как рабство и соучастие в преступлении, можно вполне оценить и в наши дни. Средний сын писателя, Лев Львович Толстой (1869 – 1945), сделавший себе в юности из отца христианина кумир для подражания, а позднее, после тяжёлой болезни и возрастного кризиса, превратившийся в гонителя и ругателя отца и его христианской проповеди — в мемуарах охарактеризовал «Памятки» именно так, как практически всякий патриот или консерватор оценил бы их, коли бы знал, и в наши дни: как разрушавшие и «развращавшие русское войско» (Толстой Л.Л. *Опыт моей жизни. Переписка Л.Н. и Л.Л. Толстых.* М., 2014. С. 79).

Кстати сказать, Лев Львович при жизни отца почти не служил в военной службе. В сентябре 1891 года, бросив учёбу на 2-м курсе университета, он отправился в Самарскую губернию для организации помощи голодающим. Явно и глупо соревнуясь с отцом (который, в свою очередь, помогая голодающим, не соревновался ни с кем), Лев Львович открыл более 200 столовых на средства пожертвований, собранных матерью, а частью полученных им лично от благотворителей. По трудности, охвату и разнообразию деятельности он действительно, перещеголял тогда Льва-старшего. Не будучи в ссоре с церковниками, как отец, он смог привлечь церковных служителей к управлению столовыми и, главное, контролю над поведением их посетителей; не конфликтуя с армией — получал помощь от военных, и даже лично от самарского губернатора; не разделяя с отцом скепсис в отношении международного Красного Креста — принимал участие в работе Российского Общества Красного Креста (РОКК) и пользовался его поддержкой; не разделяя с отцом скептическое отношение к медицине — организовывал фельдшерские пункты лечения больных тифом и цингой; не считая злом благотворительность посредством денег — принимал и распределял гуманитарную помощь.

Но в результате он чудовищно переутомился, сам заразился тифом, перенёс его на ногах, превратился в несколько месяцев в полуживого дистрофика, а к тому же и подорвал нервное и, вероятно, психическое здоровье. Мать, Софья Андреевна Толстая, конечно же, хотела видеть сына «прежним». Разорвав с университетом, Лев Львович мог в 1892 году пойти в военную службу — хотя, в отличие от

лиц “непривилегированных” сословий, мог и не идти. По настоянию матери, и, конечно же, вопреки мнению отца, Лев Львович с ноября 1892 по январь 1893 года служит рядовым в 4-м стрелковом Императорской фамилии батальоне, расквартированном в Царском Селе. Однако, ещё до принесения присяги он был освобождён от службы по состоянию здоровья и, в ещё тяжелейшем состоянии, возвращён отцу и матушке. С тех пор прежнее преклонение в отношении слова христианской проповеди отца сменилось у Льва Львовича нарастающей, нервически-болезненной, неприязнью. Как и положено в душевных расстройствах, оно поимело свою рационализацию, о которой уже в 1920-х годах Лев Львович сообщает читателям книги «Правда об отце и его жизни»:

«...Не согласился я с отрицанием <отцом> всяких государственных и экономических форм жизни и даже с его полным отрицанием войны, и это последнее моё несогласие с отцом, который следил за моими статьями, было особенно больно ему» (Цит. по: Ремизов В.Б. *Неформатный Толстой*. М., 2022. С. 385).

Современный исследователь Виталий Борисович Ремизов (1929 – 2022) из анализа биографических сведений и эволюции взглядов Льва Львовича делает неутешительный для его поклонников вывод:

«В отце изначально он отверг самое главное: идею о непротивлении злу насилем и бесконечном совершенстве души» (Там же. С. 398 – 399). И был за это наказан двойко: во-первых, самой жизнью, в которой джуниор, «подобно оторвавшемуся листку от ветки родимой, был ввергнут в вихрь житейских страстей, и жизнь понесла его по наклонной вниз» (Там же. С. 398). А во-вторых, и главное, тем, что в 1910-м отец умер для него совершенно, без посмертной духовной, во Христе, близости — в которой сын отказал отцу при жизни. В подтверждение этого В. Б. Ремизов приводит воспоминания Льва Львовича о похоронах отца, в которых он вспоминает поредевшую бороду и «костлявую руку» навек отложившего перо писателя, «жалкие остатки человека», представшие ему в ходе ритуала прощания, и тут же восклицает «Где же он живой?». Для него — нигде... Стараясь скрыть от себя свою вину, своё христианское безверие, он тут же рассуждает о том, что «непротивление злу насилем — это идея безумия и преступление», что даже заповедь Моисея “не убий” безнадёжно «устарела» в условиях современной государственной, политической и военной, жизни, а люди таковы, что: «Распустите войска в мире — и завтра начнётся такая резня в мире, какой ещё не видали люди» (Там же. С. 399. Курсив Л. А. Толстого. – Р. А.).

Противостояние отцу по «военно-служилому» и «военно-патриотическому» вопросам, начатое в гостиных семейного дома, излилось

скоро и в печать. В начале 1907 года газета «Голос Москвы» публикует статью «Отрицание или совершенствование», направленную сыном против христианской веры отца. Почти одновременно, в №№ 1 и 2 серийного альманаха «Патриотическая библиотека» за тот же год появились состряпанные сынишкой «Памятка русского солдата» и «Памятка русского офицера». Публикации были презаслуженнейше высмеяны, изруганы — в том числе и безусловными патриотами — не по содержанию их, конечно же, а по *бездарности и глупости*. Значение этих публикаций свелось к тому, что патриотически настроенный читатель мог, сравнив, с удивлением констатировать превосходство и военных, и психологических, и других, общенаучных знаний, и выраженных интеллекта, и яркого таланта — в широчайше известных и общедоступных «Памятках» замечательного генерала и человека, Михаила Ивановича Драгомирова.



Обложка отдельного издания  
«Памятки русского офицера» Л.Л. Толстого. 1907 г.

Конечно же, отцу не были приятны известия о такой эскападе сыночка. В «покаянно-объяснительном» письме к отцу от 30 января 1907 г. Лев Львович пытается — кстати сказать, вполне в мамином характере — не столько раскаяться, объясниться, сколько оправдать себя — всё в той же системе рационализаций, заданных маскулинным мифом «Прелюдии Шопена»:

«Дорогой папа...

Я люблю тебя горячо как кровного отца — не воспитателя, — люблю тебя как человека и писателя, но считаю и буду считать нужным говорить правду о твоих взглядах потому, что они слишком значительны, чтобы о них молчать. Я знаю, что этим врежу прежде всего самому себе, в смысле популярности и любви нашего общества, я знаю, что меня кругом ругают...

Я знаю, что с точки зрения сыновней мне не следовало бы говорить об отце, но ты мне не только отец, а ещё человек и писатель, влиявший и влияющий на Россию, и, так как Россия мне дороже всего, я считаю нужным твоё влияние, поскольку оно вредно, ослаблять. [...] Мне дороже всего правда, от которой зависит наше счастье и счастье мира, и ради этой правды я говорю против тебя открыто.

[...] Мне одинаково больно, как и тебе, что пришлось так поступать. Конечно, неприятно это и всем тем, кто нас знает. Но это нужно было сделать, на мой взгляд, и я даже не считал себя в этом виноватым. Нужно было рассеять туман, вскрыть до конца нарыв.

[...] Главное то, что я не тебя осуждаю, не тебя не люблю, наоборот, и чем дальше, тем больше буду любить, — а только известную часть твоих мыслей и их влияние на людей. Я считаю их дурными, вредными, ослабляющими и развращающими людей, вместо обратного действия, потому что они ложны в самом корне.

Человечество идёт вперёд, и мало того, что ты ему говоришь. Ты забыл всю материальную сторону жизни. А без неё нельзя ступить шага.

[...] Мне нужно одно — правду и благо России, и через неё мира — твоё наследство и книги помогут и служат через меня делу просвещения, — и ради этого я живу ради честного труда и вследствие этого я счастлив» (Там же. С. 375 – 376).

Цепкий коготками памяти читатель, наш читатель, не мог не заметить, что, на самом-то деле, единственной независимой от журнальной полемики, от борьбы идей и потому стоящей ближе всего к заявленному жанру — *памятке* — была и остаётся книжечка для солдат Михаила Ивановича Драгомирова. Изложенные добрым, старым воином, старшего поколения и “старой школы”, умным и искренним в своих предрассудках человеком мысли, советы его не просто объективно полезны для военнотружущих, а многие проверены веками — восходя и нетленной суворовской «Науке побеждать». Оба же Толстых, отец и сын, использовали драгомировский “фасад” для того,



чтобы под обложками, под видимостью, под личиной «Памяток» “выдать” массе военных некоторые свои идеи. «Памятка русского офицера» Л. Л. Толстого в этом плане особенно характеристична.

Открывается «Памятка русского офицера» явной насмешкой сына над отцом: эпитафиями, но не евангельскими, а подчёркнуто светскими, и из любимых Л. Н. Толстым авторов: Декарта и Рёскина. Джон Рёскин особенно частотно цитируется Л. Н. Толстым в сборнике 1903 г. «Мысли мудрых людей на каждый день», ставшем к 1907 году популярным.

«Памятка» начинается с утверждения, что «жизнь – это борьба, как отдельных людей и народов между собою» (*Толстой Л.Л. Памятка русского офицера. СПб., 1907. С. 1*). Она ведётся в социальных и государственных формах. Рост человеческих потребностей и связанной с ними активности делает обе формы борьбы особенно напряжёнными. «Торговля, промышленность, наука и искусство, вместе с умножившимися международными сношениями, не ослабили борьбы между людьми и народами, как думают иные, а наоборот, усилили её» – пишет автор (*Там же*).

Далее сказано, что даже наука и искусство служат усилению внутренней социальной и внешнеполитической борьбы. Они могут, «как слуги известных народов и государств в деле развития знаний и идей, послужить в укреплении и развитии чувств патриотизма, с одной стороны, но с другой — в отрицании его, если принимать в соображение некоторые формы ложной и вредной социальной борьбы» (*Там же. С. 1 – 2*). Не называя имени отца, сынок здесь, безусловно, имеет в виду Льва-старшего.

«В одной стране, вследствие роста народонаселения и увеличения потребностей и деятельности, как в Японии, например, война сделалась насущной потребностью народа» (*Там же. С. 2*). Это снова скрытая полемика сына с отцом: с тезисами его статьи «Конец века», в которой Лев Николаевич связал современную ему милитаризацию Японии с последствием “контакта цивилизаций”: именно отрицательным, развратным на неё влиянием примера лжехристианского мира.

Борьбу личностей и государств, по мнению Л. Л. Толстого, невозможно никак прекратить, а можно только позаботиться о её продуктивности и отыскать «конечный смысл»:

«Разумные существа, борясь за всё лучшее для себя как в социальной, так и в государственной форме, должны и могут бороться за него только тогда, когда уверены в своей правоте, уверены в том, что борются за благое, правое и лучшее, а не за злое, ложное и худшее. Отсюда возникает вечный вопрос, что же добро, и что зло, и

что считать их критерием». Автор брошюры отвечает так: «У человека и народов есть только один критерий этого, это — их разум» (*Там же. С. 2*).

Но воззрения сына на то, что следует считать “разумным” – в корне расходятся с отцовскими. По-прежнему не называя имени отца, сынок выдаёт такую эскападу: «За последнее время спутанный, взволнованный множеством влияний разум русского человека и русского государства помрачился. Он уже не мыслит ясно, справедливо и едино. Он полон противоречий и заблуждений, он весь под влиянием страстей, – он болен» (*Там же. С. 3*).

С высоким вероятием, сынок уже успел прочесть суперпопулярную книжицу Макса Нордау «Вырождение» (1892), в которой автор находит в паноптикуме европейских “выродков” место и Льву Толстому. Если у Льва Николаевича метафора *fin de siècle* (*фр.* «конец века») имеет библейские, христианские истоки и смысл, то Нордау, а за ним и Лев Толстой-джуниор наделяют это определение характеристиками медицинскими, натуралистическими, политическими и культурологическими.

«Здоровье» нация сохранила только в среде более патриархальной, рутинной «половины» крестьянства, а также в войске. «Военные — самые важные, самые почётные, самые нужные в стране люди» (*Там же. С. 4*). Отсюда — значение офицерства армии для «излечения» России, о котором сынок расписывает дальше:

«Офицерство призвано защищать благо известной страны и народа через служение армии. Оно должно быть на своём посту сознательным слугой и должно пользоваться уважением и доверием своей страны и своего народа» (*Там же. С. 3*).

Офицер, «учитель и воспитатель солдата», должен служить образцом тройкого самосовершенствования: физического, умственного и духовного. Заботой о таком совершенствовании офицер стяжает уважение солдат, без которого «не получится в армии того единого, мощного духа, о котором так хлопчут на войне и в мире» (*Там же. С. 5*). Снова укол шпилькой отцу...

Офицеру долженствуется воспитывать в солдате характер, волю и инициативу. Он должен «не только стремиться всячески одухотворять и осмысливать казарменную обстановку, но и сделать её радостной и счастливой» (*Там же. С. 5 — 6*). Надо деятельно любить солдата, а не только внушать ему уважение к себе.

И снова странное, явно с намерением раздражить, передразнивание сыном известных мыслей отца:

«Если офицер сознательно и с любовью будет развивать свои и солдатские способности, веря важности своего назначения, бесконечное поприще радостного труда откроется перед ним...» (*Там же. С. 6*).

И, конечно, куда же без особой миссии вооружённых русских? Тут как тут:

«Просвещённый офицер отлично понимает, что [...] тот народ принесёт человечеству высшую сумму блага, который выкажет наибольшую силу, стойкость, мужество и жизнеспособность, — духовно, умственно и физически. Тот же народ, который выкажет бессилие, погибнет, не оставив в мире следа» (*Там же. С. 7*).

«Русская армия призвана покорить мир и насадить в нём высшее благо, высшую силу, высшую культуру людей» — таким откровением, под конец памятки, делится Толстой-джуниор с русским офицерством, предлагая служить этой, актуальной для него, Льва Львовича, задаче (*Там же. С. 8*). И — такой вот эпичный кринж в финале:

«Поэтому пусть будет разумная, частная борьба людей на земле... Пусть будут войны, великие, кровопролитные войны, если они будут борьбой лучшего с худшим, добра со злом, разума с безумием! Деритесь в этих войнах за высшее, за разумнейшее, сильнейшее, лучшее, за всё своё, русское, за русские богатейшие земли, подобных которым нет на свете, за русского даровитого человека, за русские нравы, за русскую литературу, искусство, торговлю, промышленность, науку, музыку, за светлое будущее всей русской культуры, и не уступайте её никому! Победят вас, снова беритесь за оружие, пока не победите!

Ради всяческих побед, ради счастья, ради силы, ради России стоит жит, стоять работать, стоит служить, стоит совершенствоваться и совершенствовать, и только ради этого...

Всё остальное не реальные жизненные цели, а заоблачные мечты» (*Там же*).

Вот, такой вот сынок... Даже современные патриотические консерваторы и «государственники», в целом очень странные зверики, не являются поклонниками «антитез» Льва-младшего. Вот что пишет, к примеру, публицист Александр Медведев: «Оппонент своего отца — убеждённого антигосударственника, пацифиста Льва Толстого, Лев Львович Толстой всё же странен в качестве автора «Памятки русского офицера». Он не нашёл на русской культурной и патриотической почве соков, которыми напиталось бы данное издание, ограничился внешне верными, но бескровными, общими положениями» (<https://denliteraturi.ru/article/2680>). У «обескровленности» этой — специфические причины, открывающиеся читателям мемуаров

Льва Львовича «Опыт моей жизни», в особенности Книги III, написанной в зиму 1937 – 1938 годов, когда Лев Львович, бросив в Швеции свою «нордическую» жену Дору, бросив семью, а следом разочаровавшись и в любовнице, проживал в зажиточном уединении в итальянском Лунгарно (нынче — на территории Швейцарии).

На этих страницах сын великого яснополянца предстаёт, как самозванный “потомок норманнов” (произвольно возводя род Толстых к Рюрику) и шведской культуры, русофоб, вплоть до физического отращения к дорогим отцу, иногда действительно вшивым и грязным, крестьянам, а одновременно — идеолог агрессивного, экспансионистского имперства России, то есть того, что в XX столетии назовут *фашизмом*.

«Добро и зло — понятия относительные», и война, например, далеко не всегда зло: «война может служить лучшей жизни новых, лучших поколений» (Толстой Л.Л. *Опыт моей жизни*. Указ. изд. С. 150). Жизнь борьба, в которой победит нация сильнейшая — духовно и физически. Усиление же нации Толстой-младший связывает не только с модернизацией войска и вооружений, со здоровым, спортивным образом жизни, но и с... генетической чистотой. Благородной «нордической расе» потомков Рюрика, как и русским в целом, следует заботиться о сбережении расовой чистоты, о защиты славянской и норманнской кровей от смешения: «Жгучий вопрос — еврейский — возник всецело от этой великой ошибки народов». Многовековое рассеяние евреев привело к смешению, ослабившему их расовые достоинства и навредившему многим народам, кровь которых смешалась с еврейской. Актуальная задача европейских народов — расовые чистки от генетических ублютков, так как «чистокровные англичане или шведы, евреи, итальянцы или русские всегда доброкачественнее нечистокровных» (Там же. С. 162 – 162).

А вот уже победившим сильнейшим расам (желательно для Льва Львовича — «нордическим» норманнам и русским) долженствует в будущем позаботиться о выгодном всем победителям, во все времена, «мире во всём мире». Конечно же, Лев Львович не упоминает даже о христианском религиозном решении, которое предлагал отец. Сынок, при всех странностях своих воззрений, включая желание подвергнуть «восточную церковь» реформации по образцу европейской (см: Там же. С. 174), продолжал причислять себя к православию — которое его поклонники полагают истинным христианством, но которое за тысячу лет путей к миру не отыскало, а значит, из уважительной деликатности к «вере предков», и не стоило Льву Львовичу решение такой проблемы с ним связывать. Сын великого Толстого не преминул в своих записках пнуть не только «болтающих

пацифистов», не только «пакты и союзы, свидания министров и премьеров, речи и разговоры» (в чём, конечно же, сблизился со скепсисом к пацифизму отца), но и самого, давно безответного, Льва Николаевича и многих, при жизни близких ему, верующих людей:

«Некоторые религиозные люди не только в России, но и во всём мире сами отказываются идти в военную службу, перенося все тяжёлые последствия этого поступка.

Всякому понятно, что эти так называемые во Франции и Англии “отказывающиеся нести военную службу по религиозным, этическим или политическим мотивам” — лишь капля в море, не имеющая никакого значения» (*Там же. С. 178 – 179*).

Предложение Льва Львовича — вполне светское и аристократическое, но и в духе того страшного времени, когда было высказано. Оно основывается на убеждении, что русы и норманны окажутся победителями в предстоящем столкновении народов, и утвердят свою, расово чистую, мировую власть:

«Если современный нацизм и фашизм выльются в долгосрочную власть умственной аристократии, то человечество увидит длинный период процветания их народов и, вероятно, их побед над другими народами.

Власть лучших? Что это значит? Я заменяю этот термин другим, ещё более верным, — “логократией”, то есть властью разума. Только такая форма государства и такой принцип государственности благодетелен...” (*Там же. С. 173*).

По образцу современной его запискам Лиги наций, Лев Львович предлагает создать «Лигу мыслителей», члены которой, «могли бы, изучая жизнь народов в её глубинах, народные нравы и обычаи, интересы и потребности, открывать первопричины взаимных столкновений наций и вовремя их парализовать» (*Там же. С. 181*). «Лига мыслителей должна была бы заниматься не одной политикой, а всеми сторонами жизни каждой нации и решать, где чего недостаёт и где что не так и почему эти дефекты опасны.

Недостаток ли материальных благ, умственного ли развития, духовного и политического» (*Там же*).

Коротко сказать: это всё мечтания, характерные для человека, для которого, помимо церковного обрядоверия, нет уже религии, нет ни Бога, ни Христа и его учения. Нет религиозной Истины, открывающей человеку и причины зла войны в нём самом, и пути победы над ним — ненасильственные, духовные. Путь же, предлагаемый Львом Львовичем Толстым, ведёт к умозрительной «Лиге мыслителей» — через военное подчинение «слабейших» народов, через расовые чистки... Не одному сыну Толстого в тогдашней Европе приходили в

голову такие гордые, как блядь со свежим билетом, мыслишки. Результаты попыток их реализации в отношении миллионов людей — широко известны, и, в любом случае, тема для совсем другой книги.

## КОНЕЦ ВОСЬМОЙ ГЛАВЫ



Глава Девятая.  
**ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРШИНА.**  
**«ОДУМАЙТЕСЬ!»**

*(Статья по поводу русско-японской войны, 1904 г.)*

Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнурённых, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

*(«Война и мир». Том третий, часть вторая, глава XXXIX)*

Для меня безумие, преступность войны, особенно в последнее время, когда я писал и потому много думал о войне, так ясны, что кроме этого безумия и преступности ничего не могу в ней видеть, и мне кажется, что по отношению к войне всякий нравственный человек должен только стараться уклониться от неё, не участвовать в ней, чтобы не забрызгаться её мерзостью.

*(Из письма к сыну, Льву Львовичу Толстому. 15 апреля 1904 г.)*

«Одумайтесь. И если не одумаетесь, все так же погибнете». Лука XIII, 3

*(Из черновых вариантов к статье «Одумайтесь»)*

«Одумайтесь!» — несомненная вершина толстовской антивоенной публицистики и одно из лучших публицистических выступлений Льва Николаевича за весь период его христианского проповедания 1880 – 1900-х гг. Как и «памятки» для солдат и офицеров, это — голос «Льва во гневе»: Толстого-христианина, возмущённого намеренным, системно организованным в «христианском» мире издевательством над верою Христа. Того Толстого, для которого война давно перестала быть «наитруднейшим подчинением свободы человека законам Бога» — как пытался автор «Войны и мира», четырьмя, без малого, десятилетиями ранее, убедить себя, заодно с персонажем романа — Пьером Безуховым. Ведь отказ от поддержания мирских насилия и лжи, последование Христу, а не военным вожакам и лозунгам — несопоставимо трудней!

Вместе с тем, надо помнить, что это большая работа — авторства хотя и пребывавшего в полноте рассудка, но тяжело болевшего и ставшего дряхлеть писателя. Которому, если бы не очередная, и ужасная, война, несравнимо радостнее было бы приложить свои таланты и уменьшающиеся силы к совершенно иным сочинениям.

Силы, пусть и на краткий период, потребовались огромные, а результат — публицистический шедевр, по сей день вызывающий к себе внимание и уважение даже в среде противников Толстого-христианина, исповедника и христианского религиозного публициста.

Пища очерк на основании материалов этой статьи, ощутительно трудно выбирать из неё что-то для цитирования, дабы подчеркнуть её не только литературные достоинства в системе идей и образов, но и главное для публицистического сочинения: её актуальность для дня сегодняшнего, в частности — для нас и для современной ситуации в путинской России, с её массовым оболванением населения православным лжехристианством, благословлявшим искони правительства и военщину; с военно-патриотическим «воспитанием» (одурением и развращением!) детей и малодумающих взрослых людей; с её бандюжьей циничностью; с криминализацией и милитаризацией массового сознания, вышедшими на новые «высоты» с момента преступной аннексии Чекистской Молью Обнулившейся (а позднее, в 2022 году, и Обосравшейся), В. В. Путиным, законно украинского Крыма и началом подлой затяжной агрессии в отношении Украины.

Статью нужно — читать. Читать *целиком*, а не так, как она подавалась массовому читателю в СССР: в пересказах, цитатками, отрывками — причём, в «лучших традициях» Российской Империи, с неоговорёнными цензурными изъятиями.

И читать статью надо так же, как она писалась: с сердцем, открытым добру и Божьей правде-Истине и с мозгами, незамусоренными мирской ложью, оправдывающей насилие правительств и ложь церковей. Иначе может получиться, как у многих, уже современных Толстому, читателей и критиков статьи: как у честных, благородных людей консервативного лагеря, как правило, искренне православных, так и у прозападных либералов и пацифистов, а равно и у радикальной оппозиционной сволочи — которые, с совершенно различными эмоциями и мыслями, но в большинстве своём, одинаково восприняли только критическую «половину» данной статьи: проклятие войне, военщине и другим паразитам, в мундирах и без...

Между тем, Толстой-христианин, пища эту живую, честную вещь, ловил себя на помышлениях мирских, и — вымарывал из черновиков имена и многие резкие слова.



На этом — *почти* всё об актуальности этой статьи для нас, весной 2023-го года. Много уже и было сказано в этой книге, об этой самой актуальности — что статья «Одумайтесь» нудит теперь повторить... Но, дабы не превращать научно-исследовательский очерк в политический памфлет, ниже будем говорить преимущественно о другой эпохе, о восприятии статьи её современниками, а также о той её актуальности, которую она имела для самого яснополянского старца: *религиозной*.

Ибо, вопреки всему лживому толстоедению времён СССР, вопреки и теперешним некоторым исследователям, рядящим отче Льва в овечьи шкурки пацифизма, смеем утверждать, что все лучшие «антивоенные» публицистические выступления Льва Николаевича — отнюдь не против «буржуазного милитаризма» направлены, а против *безверия* нашего лжехристианского мира (и России в том числе, примкнувшей к византийскому безверию ещё в конце X века, при «святом» Красном Солнышке Владимире-князе).

Ключевые смыслы статьи, как мы постараемся показать — *религиозные*. Это взгляд даже не просто исповедника Христова, каким является Лев Николаевич Толстой в своих даже менее сильных работах, а — пророка и апостола в отношении народов всего «цивилизованного» мира.

\* \* \* \* \*

Прежде всего, вспомним кое-что из сказанного ранее.

К началу 1890-х гг. сформировались и начали действовать два значительных импульса, побудивших Льва Николаевича Толстого к антивоенным выступлениям в печати: один — внутренняя, духовная потребность в вере, не замутнённой обличёнными им в 1880-х церковными лжеучениями, другой — картины российской действительности: жизни гваздающихся в нищете и невежестве, грязи, а часто и в крови трудовых и военных рабов имперских «элит».

Третий импульс поступал вместе с газетами, брошюрами, с которыми знакомился Толстой и в которых отразился всплеск милитаристских настроений, наблюдавшийся в Европе в последней четверти XIX века. В условиях активации военных приготовлений среди рабов и слуг господствующей лжехристианской цивилизации распространялись, как чумная зараза, искусно подновлённые теории, выискивавшие «великий общенациональный смысл» войны, её «божественное происхождение», её якобы благотворное влияние на исторический прогресс и даже на нравственность человека.

Ответом Л. Н. Толстого на такие идеологические инвазии в массовое сознание стал написанный в период с июня 1890 по май 1893 г. трактат «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Этот трактат, как мог убедиться читатель, исключительно плох в отношении логики и структуры, беспрецедентно многословен, растянут и местами неубедителен... но он всё равно шедеврален — по *идейному содержанию, образному строю и по искренности!*

Трактат во многом перекликается своим идейным содержанием и с «Carthago delenda est» 1898 года, и с «Одумайтесь!», и с более поздней статьёй с библейским названием — «Конец века» (1906). В последней только представители не исламского мира, а японские самураи названы теми, кому суждено наказать лжехристиан за их многовековое самоуверенное отступничество от первоначального учения Христа. Японцы быстро смогли освоить и европейское оружие, и европейские же приёмы ведения войны, и главное: европейскую *ложь религиозную*, которой сподручно оказалось извратить и буддийское учение (эта тема затронута и в статье «Одумайтесь!»). Японцы стали сильны — а номинальные *христиане* ослабляют себя уже тем, что массово потеряли доверие церковной лжи, но и не послушались Христа, даже получив возможность массово прочесть святые Благовестия, и, наконец, остались совсем без веры живой, без нравственного руководства помыслами и поступками.

Уже в трактате, а позднее и в статье «Одумайтесь!» и ряде других Толстой цитирует авторов, разоблачая выразившуюся у них демагогию правительств, разглагольствующих о мире и одновременно, якобы для «обеспечения» этого мира, «безопасности», увеличивающих вооружения и военные расходы — в ущерб истинным нуждам обитателей их государств.

При этом даже сами «власть имущие» во времена Толстого не раз с циничной откровенностью признавались, что войска, заботу о которых они ставят превыше всего, нужны им не столько в периоды кровавого международного самоистребления «человека разумного», сколько в мирное время, для действий против собственных угнетённых народов — т. е. для обеспечения функционирования государства, шкурно потребного им разбойничьего гнезда, устроенного для системно организованного отъёма нетрудовой халявы у людей трудового народа. Ведясь на собственные первобытные витальные фобии (ожидая страшных «врагов» извне), простые, слишком простые граждане, т. е. большинство обитателей каждой гостерритории, издревле попали в безвыходную психологическую, а следом и экономическую и политическую, зависимость от своих же правителей,

якобы защитников, а не от этого внешнего врага, которым пугают их эти правители.

Любой же закон избранных ими (на выборах «честных и прозрачных», ясный пень!) законодателей оборачивается против них уже тем, что плодит не только коррупционный «криминал у власти», но и преступников, бунтарей, террористов, мошенников, убийц, прошедших прекрасную «школу ненависти» — развращение заразительным примером правительственных людей, не только распиливающих бюджетные баблосы, но и распределяющих между нижестоящими ответственность за участие в убийстве сограждан таким образом, чтобы молчала совесть каждого из них, от генерала до солдата.

Другая важная тема трактата «Царство Божие внутри вас», наследованная в статье «Одумайтесь!» — это тема *подлости повиновения* граждан, военных рабов своего государства, обманывающей и губящей системе.

Воинская всеобщая повинность, принятая народами России, обязательная служба в войске, по мысли Толстого, есть предел не только государственного деспотизма, но и рабского повиновения граждан, ибо она требует отречения от всего, что должно быть дорого и свято и христианину, и всякому разумному человеку и «разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить» (28, 139).

Проследившая конкретно-историческую детерминанту всеобщей воинской повинности среди цивилизованных христиан, писатель говорит о ней как о неизбежности в условиях нарастающего военного противостояния держав. Одна за другой, они ввели всеобщую воинскую повинность, и «сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя» (*Там же*).

Иллюстрацией, доказывающей справедливость этого тезиса, стало для Л. Н. Толстого событие, описанное в главе 1-й заключения к трактату. 9-го сентября 1892 года на станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под руководством тульского губернатора Н. А. Зиновьева, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес. Об этом эпизоде мы сказали довольно в соответствующей главе книги.

Особенно интересна, как образная и идейная предшественница «Одумайтесь!», статья «Христианство и патриотизм» (окт. 1893 – март 1894), написанная Львом Николаевичем под впечатлением от франко-русских демонстраций, проходивших в октябре 1893 г. по случаю заключения франко-русского союза и прибытия в Тулон эскадры русских военных кораблей. Встречу эскадры сопровождала

«психопатическая эпидемия» позитивного настроения — о которой Толстой предупреждает в статье, что она легко может поменяться на свою противоположность: военную ненависть “союзников” к общему противнику, за которой последует и военная бойня:

«Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство [...]. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма, к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно, засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы, и надеющиеся получить за убийство людей высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперёд записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья» (39, 46 – 47).

Миллионы, каждый против своей разумной воли, будут втянуты скопом в новую бойню. А итог всегда один:

«...Опять одичают, остервенеют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их» (Там же. С. 47).

Эти отрывочки нам необходимо было напомнить именно здесь: в статье «Одумайтесь!», читатель встретит практически автоцитирование, этот же отрывок, изложенный Толстым значительно короче. И не напрасно! По существу, пророчество Толстого осуществилось: «психопатическая эпидемия», пусть и не обратившаяся в этой войне в ненависть к неведомым простому россиянину японцам, но всё-таки обернулась войной. И, кстати, связь с десятилетней давности русско-французским союзом у этой войны была: милитаризация Японии, усиление её международного влияния не совпадали с интересами не только Российской Империи, но и европейских государств, таких как Германия и Франция. Германия, Россия и Франция добились изменения условий Симоносекского договора 1895 г. между Японией и честно, жестоко и красиво разгромленным ей Китаем: предпринятая с участием России тройственная дипломатическая интервенция 23 апреля 1895 г. (когда Россия, Германия и Франция одновременно потребовали отказа Японии от аннексии Ляодунского полуострова, которая могла бы привести к установлению японского контроля над стратегически ценным для России

Порт-Артуром) привела к передаче полуострова в 1898 году России в арендное пользование. Осознание того, что Россия фактически отобрала у Японии честно захваченный полуостров, привело к новой волне патриотических настроений и милитаризации Японии, на этот раз направленных против России.

В 1903 году спор из-за лесных концессий в Корее и продолжающегося освоения Россией Маньчжурии привёл к резкому обострению русско-японских отношений. Концессии на реке Ялу на границе между Китаем и Кореей, полученные 9 сентября 1896 года у корейского правительства владивостокским купцом Юлием Бринером сроком на 20 лет, по существу, один из факторов российского проникновения в Корею, крайне раздражали Японию.

В конце декабря 1903 года Главный штаб в докладной записке Николаю II обобщил всю поступившую разведывательную информацию: из неё следовало, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждёт лишь удобного случая для атаки. Именно к этому периоду относится не потерявший актуальности для современной России миф (или анекдот), связанный с именем Вячеслава Константиновича Плеве (1846 – 1904), тогдашнего российского министра внутренних дел и шефа жандармов. Якобы Алексей Николаевич Куропаткин (1848 – 1925), покидая в феврале 1904 г., в первые дни народной беды, пост военного министра (в период войны он последовательно занимал должности командующего Маньчжурской армией (7 февраля — 13 октября 1904), главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 марта 1905) и командующего 1-й Маньчжурской армией (8 марта 1905 — 3 февраля 1906), упрекнул Плеве, что тот содействовал развязыванию войны «и примкнул к банде политических аферистов». На это добрый старичок ответил: «Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Впервые эта приписываемая Плеве фраза была опубликована в книге «Исход российской революции 1905 года и правительство Носаря» В. И. фон Штейна (псевд. «А. Морской»), агитировавшей в поддержку Витте. Возможно, однако, что этот анекдот — выдумка самого С. Ю. Витте, изложившего его в посмертно изданных воспоминаниях.

Не исключаем и того, что Витте (или всё-таки Плеве?) просто повторил выражение государственного секретаря США Джона Хея: «Это должна быть блестящая маленькая война» (a splendid little war). Эту фразу из письма (от 27 июля 1898 г.) Джона Хея президенту США

Теодору Рузвельту сам Рузвельт позднее опубликовал в книге «Описание испано-американской войны» (1900). То есть, впервые крылатое выражение явилось с уст совсем другого пропагандиста, другой страны и по поводу другого военного правительственного преступления — о котором в данной книге уже шла речь.

Но всё-таки, «сказка ложь, да в ней намёк»: выражение закрепилось в русском языке как обозначение стремления халтурных правительств (не только России) «отвлечь» внимание граждан страны от внутренней политической повестки в неблагоприятной для политических лидеров ситуации или улучшить своё политическое положение за счёт гарантированного в безверном мире эффекта сплочения — реакции на инвазированные пропагандой тревоги, страх. Опять же, мы возвращаемся к пророческой «психопатической эпидемии» — в наши дни, в 2022 – 2023 гг., актуализировавшейся в виде массовой поддержки преступлений бандитов Владимира Путина в Украине.

\* \* \* \* \*

Обманутые и обманывающие себя обитатели имперской России, потенциальные военные рабы тёти «родины», так и не вняли ни в 1890-е годы, ни в начале 1900-х доводам яснополянского учителя. И вот в 1904 году их захлёстывает одна из жесточайших, хотя и не очень продолжительных, войн XX столетия. Можно понять весь ужас и горечь, испытанную Львом Николаевичем при открытии этой бойни.

27 января Толстой записывает в Дневнике:

«Война, и сотни рассуждений о том, почему она, что она означает, что из неё будет и тому под. Все — рассуждающие люди, от царя до последнего фурштата. И всем предстоит, кроме рассуждений о том, что будет от войны для всего мира, ещё рассуждение о том, как *мне, мне, мне* отнестись к войне? Но никто этого рассуждения не делает. Даже считает, что не следует, что это не важно. А схвати его за горло и начни душить, и он почувствует, что важнее всего для него его жизнь, и эта жизнь — его “я”. А если важнее всего эта жизнь, его “я”, то кроме того, что он журналист, царь, офицер, солдат, он — человек, пришедший в мир на короткий срок и имеющий уйти по воле Того, Кто его послал. Что же для него важнее того, что ему делать в этом мире, — очевидно, важнее всех рассуждений о том, нужна ли и к чему поведёт война. А делать по отношению войны ему очевидно что: не воевать, не помогать другим воевать, если уж не удержать их» (55, 10 – 11).

«Цивилизованный мир», опозоривший себя допущением этой бойни после всего сказанного против всех войн Толстым, знал, конечно,

какой отпор встретит он во взглядах великого старца. Но именно поэтому-то печать, торгующая всеми принципами, цинически притворилась незнающею и... запросила у Льва Николаевича его мнение!

9 февраля 1904 года Лев Николаевич специально ездил верхом на лошадке в Тулу, за телеграммами о войне. Среди прочих он получил телеграмму из Американских Штатов, от редакции крупной ежедневной газеты «The North American», издававшейся в Филадельфии (штат Пенсильвания) с 1839 г., с вопросом: «за кого он — за русских, японцев или никого?» Ответ Толстого был следующий: «Я не за Россию и не за Японию, а за трудовой народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный бороться против своего благосостояния, совести и религии» (*перевод с англ., 75, 37 – 38*).

Даже выращенным в религиозном обмане русским народом война с Японией принята была как нелепость и истинное бедствие, и мало можно было найти людей, которые шли на войну с охотой и воодушевлением. Напротив, во многих местах России наблюдались случаи прямого сопротивления. Дух протеста против солдатского рабства в первый раз дал себя серьёзно почувствовать. И прекрасно, что немалую роль в этом протесте сыграло распространение христианских писаний Льва Николаевича!

Замечательный, и по сей день лучший биограф Льва Николаевича, его друг и единомышленник Павел Иванович Бирюков, приводит такое свидетельство: некий епископ церковного лжехристианства Иннокентий, живший в свежеприсоединённой Россией т. н. Квантунской области, в городе-порте Дальнем (позднее, у японцев, Дайрен, а нынче это китайский Далянь), в своей статье по поводу японской войны прямо упрекает офицеров в практическом исповедании ими учения Христа:

«Наблюдая, — пишет епископ Иннокентий, — картины из местной военной жизни и слыша весьма часто из уст офицеров толстовскую мораль касательно войны, невольно приходится удивляться, как может армия при таких условиях справиться со своими великими задачами... Носить военный мундир и быть поклонником толстовского учения — это похоже на то, как если бы человек, оснастивши корабль и выйдя в открытое море, отказался бы от целесообразности своего плавания» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М. – Пг., 1923. Т. 4. С. 92*).

Конечно, г-н епископ выступает здесь в своеобразном амплуа церковника: отрабатывая кесарю срамную свою кормушку, он *лукавит*, т. е. служит лукавому, сатане дьяволу. Он не может не пони-

мать, что его сравнение некорректно: если рыбака, к примеру, влечёт в море необходимость привычного для него, и притом мирного, промысла, то надевать на себя особенный казённый наряд с шутовскими нашивками, побрякушками и т. п. (военный, полицейский, чиновничий...), называть себя особенными кличками (солдата, полица, министра, прокурора и т. п.), вооружаться орудиями, адаптированными для человекоубийства — людей влечёт, непосредственным образом, принятый ими на веру мирской обман, который паразитирует на атавизмах их природы как территориальных, маленьких, легко пугливых зверюшек и который поддерживают православные единоверцы г-на епископа.

Таким образом, сила влияния Христа и Будды — в том числе, чистой, христианской, евангельской проповеди Льва Николаевича — уже на первых порах войны ослабляла удар встретившихся врагов.

Разумеется, многие люди, чуявшие духовную мощь Толстого, ждали от него оценки мировых событий. Ждали что он скажет по поводу войны России с Японией. Ждали этого многие, но у немногих хватило храбрости или бесстыдства задать этот вопрос самому Льву Николаевичу. Один из первых решился на это выдающийся писатель, драматург и публицист *Жюль Кларети* (фр. Jules Claretie, 1840 – 1913). Он поместил в газете «Le Temps» пространное открытое письмо ко Льву Николаевичу. Тон этого письма довольно легкомыслен, текст — эмоционален, болтлив и свидетельствует о заведомом отказе вопрошающего не просто зафиксировать ответ — из «профессиональных» соображений, ради публикации в той же газете — а понять должным образом и принять, как истину, идейный «фундамент» того, кого он вопрошает. Но вопрос поставлен всё же довольно остроумно, с нагловатой дотошностью, свойственной журналюгам вообще, а французским в особенности. Интересно даже то, как Жюль Кларети отражает в себе актуальное и до наших дней мнение о Толстом городской интеллигентской щелкопёрной сволочи:

«Вы по вашему способу евангелизировали мир, вы преподали ему мораль сострадания и прощения, которая не всегда признавалась последователями других культов, но которая внесла в сердца людей истинное учение Христа. И вы действительно христианин, потому что прилагаете к жизни то, о чём другие только говорят. Вы ненавидите ненависть. Вы воюете с войной. Вы грезите о братстве, о мире, о добре между людьми, которые должны наконец ввести человечество в обетованную землю, к которой столетиями шли поколения за поколениями длинной вереницей, усеивая путь свой костями. Од-



ним словом, вы — один из тех пророков, которых утешают несчастных, и когда вы нам указываете в небе звезду, которую вы уже увидели, а мы ещё нет, путь наш нам кажется менее трудным, бремя жизни кажется более лёгким, и мы верим в будущее» (Цит. по: Бирюков П.И. Указ. соч. Т. 4. С. 92).

И так далее, в таком же бодро-льстивом духе...



Жюль Кларети в 1909 г.

Продолжая щедро расточать эпитеты, Кларети наконец подводит речь свою к главному:

«Вполне естественно, что мы именно у вас спрашиваем, что думаете вы, дух которого возвышается над другими, что думаете вы о совершающихся событиях, которые, к сожалению, теперь владеют людьми и опрокидывают все их стремления» (Там же).

«Вы видите, дорогой и великий учитель, — кончает так свою статью Жюль Кларети, — человек есть игрушка событий. Монарх искренно хочет мира, а его заставляют вести войну. Народ стремится к покою — его будят пушечные выстрелы. Великое слово “разоружение” брошено в мир, а вооружённые флоты пробегают океаны, и границы щетинятся штыками. Пророк добра, вы поучаете людей жалости, а они отвечают вам, заряжая ружья и открывая огонь! Не смущает ли

это вас, несмотря на твёрдость ваших убеждений, и не разочаровались ли вы в человеке-звере? Вот это-то я и хотел бы услышать от вас, дорогой и великий учитель!» (Там же. С. 92 – 93).

Надо сказать, что диалог Кларети с яснополянцем так и не сложился — ни устный, ни эпистолярный. Ещё в 1898 г. деликатный француз выслал Льву Николаевичу визитную карточку, подписав её: «С почтительнейшей симпатией». На карточке есть помета Толстого: «Отв[етить]». Но ответное письмо не известно (*Чистякова М. Толстой и Франция // Литературное наследство. Том 31 – 32. М., 1937. С. 1023*). В этот раз, по всей видимости, желание отвечать автор письма отбил у Льва Николаевича сам — своим тоном.

Как бы во исполнение высказанного в печати страстного желания Жюля Кларети слушать слово Толстого, другой француз, сотрудник газеты «Figaro» Жорж Анри Бурдон (Georges Bourdon, 1868 – 1938), в марте 1904 г. прибыл лично в Ясную Поляну, чтобы выспросить у Льва Николаевича его мнение.

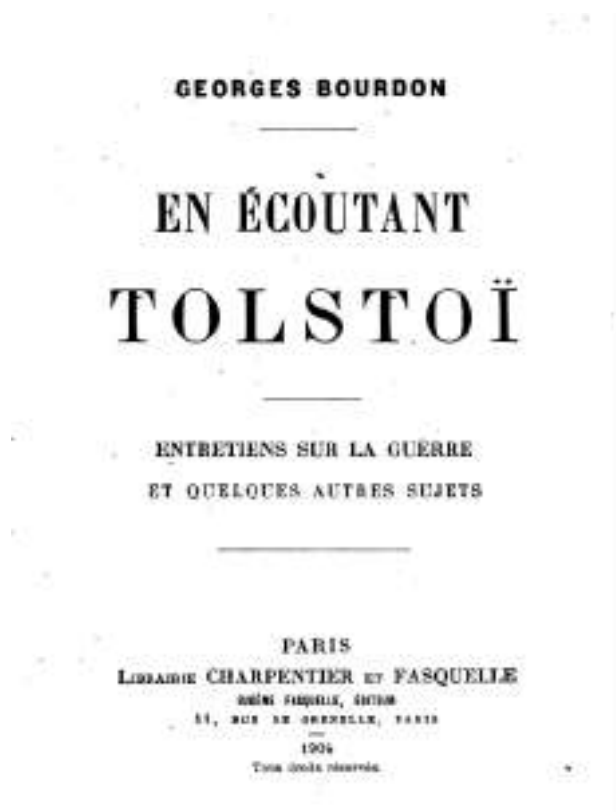


Жорж Бурдон. Снимок нач. XX века.

Он пробыл в Ясной Поляне сутки, мастерски, профессионально вызывая Толстого на длинные беседы, изложение которых составило у него целую книгу («En coutant Tolstoï. Entretiens sur la guerre et quelques autres sujets», Paris, 1904). Много ранее книги, 5 апреля 1904 г., в своей знаменитой газете, в «Фигаро», он печатает статью, в которой вкратце передаёт сущность своего разговора. Приводим

ниже её текст в переводе на русский, по современному научному изданию — с незначительными сокращениями, так как подробности визита, сообщённые самим Жоржем Бурдоном, рисуют достаточно живую и полную его картину и весьма кстати избавляют нас от нужды сообщать их читателю из других источников.

**ТОЛСТОЙ И ВОЙНА**  
(От нашего специального корреспондента)



«Санкт-Петербург. 18 (31) марта 1904 г.

Я совершил паломничество в Ясную Поляну, преодолев белую безбрежную снежную равнину. Один день и одну ночь я был гостем Толстого. С робостью приближался я к его обители. Я не знаю человека, кому книги этого автора не рисовали бы в воображении фигуру более строгую, более впечатляющую, более громадную; и Толстой, в своих книгах изливший сущность своей души, мне казался добрым Боженькой, бесконечно добрым, бесконечно сильным и более грозным в бесконечности своего совершенства.

В маленькой библиотеке на первом этаже, куда только что привёл меня слуга, он шагнул ко мне навстречу; большой палец его левой руки был засунут за кожаный ремень, а правую он протянул мне, с улыбкой, жмущейся в большой бороде; он был похож на доброго Бога

с картин итальянских мастеров, которого я внезапно увидел стоящим передо мной.

[...] Причиной моего визита было желание узнать, что он думает о японской войне; но Толстой не записной говорун, к которому любопытный прохожий приходит задать один вопрос, получить на него ответ и тут же раскланяться: Толстой — это неисчерпаемая книга жизни и красоты, и, если он соглашается, чтоб его спрашивали, остаётся только слушать его без конца, как мудреца, уже размышлявшего над этими вещами, и как апостола, для которого идеал — это сущность его жизни. Заметки, которые я сделал, покидая Ясную Поляну, заняли бы целых три страницы этой газеты: я опишу только то, что имеет отношение к настоящим событиям и, в частности, к тайной миссии, которую я выполнил в России.

Он первым заговорил о войне. В большой белой столовой на втором этаже мы сидели вдвоём, и он предложил мне чашечку кофе, чтобы согреться после четырнадцати вёрст, которые я преодолел в неспешных санях, по снегу, по ухабистой дороге.

— Есть ли у вас новости? — спросил он. И добавил, качая головой: — Как можно оставлять без внимания этот конфликт? Это огромная печаль — баталии между людьми.

— Я поднял глаза и увидел приколотую булавками к стене французскую карту Кореи и Манчжурии.

Я возразил:

— Эта война больше, чем конфликт между двумя народами. Она втянула в борьбу две расы. Какие, по-вашему, последствия будут результате победы одной над другой?

— Неважно! Я не различаю расы. Я за “человека” прежде всего, и что бы ни случилось, какая будет выгода человеку от этой войны?.. Несчастье в том, что она показывает, до какой степени люди забывают или игнорируют понятие долга. Есть долг перед семьёй, перед родиной, перед человеком, но наивысший — священный долг перед Богом, если вы позволите мне это слово, или, если слово вам мешает, перед Всем, с большой “В”. Это Всё, которое я зову Богом, стоит над индивидуальными протестами. Что бы я ни думал, я не могу сделать вид, что я не принадлежу к обществу, что я не есть часть гармонии. Сознание, что моя сущность относится к этой гармонии, — это и есть то, что называют религиозным духом. Но люди забыли основные понятия; они больше не читают Евангелие, эту восхитительную книгу; они остаются в состоянии варварства. И мы видим, как они свободно ввязываются в ужасные войны, не говоря себе, что первый долг, основной долг мыслящего человека — отменять войны!

Старый учитель выражал свои мысли со спокойным убеждением, голосом мягким и серьёзным, и я представлял себе, что святой Пётр, проповедовавший перед коринфянами, держал перед ними речь, похожую на ту, что я слышал.

— Конечно, — вымолвил я. — Но эта война — факт. Не доискиваясь до её причин, не распределяя ответственности, встанем перед этим фактом. И нужно из него сделать вывод. Разве не заинтересован человеческий прогресс в том, что вытекает из этого вывода в смысле цивилизации, и разве не желательно, чтоб наиболее развитая часть человечества воспользовалась своей силой притяжения и научила менее развитую?

— Да, я знаю, над этим тоже размышляют, и это размышление удобно для того, чтоб оправдать все затеи. Я, однако, допускаю это размышление. Я согласен, что цивилизация несёт в себе активную и образовательную силу. Но где цивилизация? Почему вы хотите, чтоб я поместил её в Европе? Потому что европейцы создали себе искусственные потребности и используют свой гений, чтоб удовлетворить их? Потому что они изобрели железные дороги, телеграф, телефон и что там ещё?.. Но все эти достижения так называемой цивилизации мне кажутся изобретениями варварства. Они служат и потворствуют самому низкому, что есть в человеке. Я не вижу, чтоб они его наделяли каким-либо нравственным превосходством; напротив, я вижу, что использование его ума чаще во зло, а не в добро.

— Однако человек создаёт не только орудия войны или инструменты для материальных наслаждений. Он также создаёт машины, которые снижают его усталость, которые уменьшают его усилия...

— Да, они облегчают труд. Но работа — это благо и здоровье; это превосходная вещь, и приятная, и весёлая — вот что такое работа.

— Работа шахтёра, к примеру, — ужасное рабство.

— Работы трудны только от насильственных потребностей. Ограничьте потребности, и вы, как и ваши собратья, избавитесь от усталости. Не работу надо искоренять, а укрощать аппетиты. А современные изобретения, развивая аппетиты, только препятствуют отмене рабства. <Аппетиты и *похоти*, можно тут добавить. Если бы человечество укротило религиозным воздержанием свою, зверюшек Дарвина, приматоидную, гнусную половую похоть, не нужно было бы ни шахт, ни орошаемых огромных полей, ни большинства электростанций и всего прочего для нужд раздувшихся, перенаселённых городов XX – XXI вв. – Р. А.>

Толстой продолжал говорить без восклицаний, тоном повествования, со строгой точностью и тихой силой, которая пренебрегает самоутверждением, бесконечными, без меры, высказываниями.

Позже, вечером, он вернулся к той же теме.

— Нет, нет, говорил он, это не по современным изобретениям надо судить о развитии человеческой духовности. Я вовсе не впечатлён железной дорогой, телеграфом и всеми завоеваниями, с помощью которых человек думает продемонстрировать прогресс. Мы восхищаемся пирамидами и себя спрашиваем: “А для чего они?” Все эти изобретения цивилизации — это наши пирамиды; я думаю, что через тысячи лет придёт народ, который, обнаружив их следы, скажет: “Что ж это были за уникальные люди, которые воображали, что главное в жизни — это быстро доехать из одного пункта в другой?” И они будут правы. Я никогда не понимал пользу путешествий; они служат только для того, чтобы люди теряли время; они служат помехой работе.

Работа — в устах Толстого всегда это слово; я помнил, что он однажды сказал: “У меня работы ещё на триста лет”.

[...] Между тем, я описывал ему японцев грубыми, жестокими, враждебными к иностранцам, скандальными, драчливыми, практикующим пытки, нацией, которая позаимствовала у Европы всего лишь её корабли, пушки, её военные и политические органы, оружие, чтобы лучше биться, нацией, направившей всю свою варварскую силу против беспечного миролюбивого славянина... и я заключил:

— Предположите, гипотетически, невозможную победу Японии; не кончится ли это в её пользу превосходством над всем Дальним Востоком, и это превосходство не будет ли осуществляться в ущерб идеалам мира и прогресса?

Толстой:

— Японцы действительно такие, как вы говорите? Хотел бы я знать. Есть один автор, которого я перечитываю часто, это Паскаль; так вот он писал: “Не подражают нравственности Александра Македонского, но пытаются подражать его завоеваниям”. Вполне возможно так же, что Япония подражает Европе только в её пороках. Но она такова, как она есть, с её достоинствами и недостатками. Она эволюционирует, как и все народы. Она выходит из варварства и начинает отказываться от крепостничества. Думаю, я представляю её примерно в таких условиях, как Россия во времена Екатерины II. Она идёт своим путём, как мы шли своим; и будьте уверены, что её черёд придёт: она разовьётся и усовершенствуется согласно всеобщему закону...

— Она жёлтая; где прогресс жёлтой расы? Посмотрите на Китай: каковы очевидные движения его эволюции за тысячелетия?

— Мы очень мало знаем жёлтый мир. Кто из нас его изучал, в него проникнул, заглянул в его сознание? Я знаю, что китайцы, индусы не воинствующие народы, они презирают войну и тех, кто её ведёт: это уже нечто, это настоящее превосходство над нами. Я знаю, что они не убивают. Я знаю, по рассказам путешественников, что они надёжны в делах, что они держат слово, что они никогда не обманывают. Вот ещё одно, чего нет в Европе.

— Однако взгляните на их дипломатию: замкнутая, хитрая, коварная.

— Вы правы. И потом они практикуют пытки. Это странно. Как объяснить это? А их философы сформулировали превосходные мысли: вспомните о Конфуции, о Будде. И если они жестоки, не таковы ли мы тоже? Ведёт ли кто счёт злодеяниям нашего христианского мира, претендующего на то, чтобы называться цивилизованным? Где действия, где результаты цивилизации в Европе? Продвигается ли мир или отступает назад? Не настало ли время задать себе этот вопрос? А об Англии, когда она пошла на Трансвааль, не можем ли мы сказать, что она регрессирует? Где вы видите в деяниях наций-колонизаторов идею подлинной цивилизации? И вы хотите, чтоб я решил *a priori*, несёт ли триумф той или иной нации больше пользы человечеству?

<Умница Толстой, Толстой-христианин начала XX века — за “горизонтом” развития в сравнении с его сыном Львом в 1930-х, с его теорией сильных и слабых рас и необходимых, якобы, в Европе расовых чисток. — Р. А.>.

Во время обеда я спросил:

— Правда, что вы предложили для раненых и больных тысячу ящиков своих книг? Это утверждали министерские чиновники в Петербурге.

Графиня Софья Андреевна, одна из невесток — жена графа Андрея, которая присутствовала здесь, сам хозяин — все разразились смехом. Толстой весёлый человек, он любит смеяться, он широко улыбается, он говорит просто, но его реплики обладают магической ясностью. На этот раз он смеялся искренне, запрокинув назад свою красивую голову, его большие руки, мощные и длинные, упирались в живот под кожаным ремнём в привычном ему положении.

— Да, я читал в какой-то газете. Но что это за история? У меня никогда не было такой мысли.

— Позвольте мне один вопрос. В настоящий момент, когда решается судьба России, вы, русский, что бы вы ни думали о войне вообще и

об этой в частности, неужели у вас нет никаких соображений относительно практического применения и пропаганды ваших идей? — Никаких. Но я хочу быть искренним, — сказал он, смеясь. — Я не чувствую себя в глубине души полностью свободным от чувства патриотизма. Атавизм ли, образование ли, но это чувство присутствует во мне, невзирая ни на что. Мне необходимо обратиться к собственному разуму, к моему основному долгу, и тогда я говорю себе безо всяких угрызений совести, что нет в мире разума, который мог бы превзойти человеческий. Да, моё сознание мне говорит, что убийство, в какой бы форме оно ни совершалось, каким бы предлогом оно ни оправдывалось, — ужасно, что война — чудовищное бедствие, что всякий, кто готовится к войне, достоин осуждения.

В первый раз я увидел, как Толстой разгорячился. Речь его тороплива, голос дрожит, черты лица напряжены; глаза сверкают, и я вижу в его груди силу, которая его поднимает, и сияние исходит от всей его персоны.

— Нет ничего, ничего более ужасного. Никогда мир не видел ничего подобного. Со времён Чингисхана убивали только те, кто этого хотел; люди имели право оставаться у себя дома, возделывать свою землю, жить в мире, делать добро. Цивилизованный мир сегодня более жесток, чем Чингисхан; каждому человеку он *приказывает* убивать, хочет тот или нет, а если он отказывается, его наказывают как преступника!.. Как это принять? Как не возмущаться? Как не замечать позора этой кровавой тирании?.. И что делать, что предпринимать, я вас спрашиваю, пока всё это будет продолжаться? Как надеяться облагородить души, пока они будут принимать подобное рабство?.. Это глубоко прискорбно. Если бы вам дали в руку нож и под страхом смерти приказали бы перерезать горло вот этой моей внучке, вы бы этого не сделали, потому что морально это для вас невозможно. Если бы христианский долг был в глубине сознания, то также было бы невозможно любому человеку взять ружьё и пойти против себе подобных.

Голос его затих, и он говорил уже с меланхолией и бесконечной жалостью.

Немного позже он заключил:

— У людей на устах всегда прекрасное слово — свобода. Свободу не устанавливают, не основывают, не организуют; проблема в том, чтобы устранить насилие; изгоните насилие — и наступит свобода.

— Чтобы отменить насилие, не надо ли вначале устранить самого человека?

— Не говорите так. Насилие не коренится в человеке, так как я знаю людей, которые ненавидят его, и я мечтаю об обществе, в котором



его объявят вне закона. И вы, и я, мы прекрасно чувствуем, что насилие бесполезно между нами, потому что мы имеем в своём распоряжении инструмент, который сильнее насилия, — разум, и не надо говорить, что насилие имманентно в человеке; и не нужно даже размышлять об этом, потому что это значит запретить себе проповедовать отмену. И существует народ, который осознал себя вне насилия. Это духоборы. Почему бы человечеству однажды не присоединиться к тому, чего они достигли вдумчивым присоединением к своему разуму?

— Через какие муки и в каком отдалённом будущем?

— Что делает время? Человеческая эволюция — это очень медленное движение, едва заметное на наш взгляд, но непрестанное и непрерывное. Наша нетерпеливость — это ошибка. Мы судим о вещах по себе, по тому, сколько времени длится наша жизнь. Поразмышляем лучше о тысячелетиях, которые были до нас, и о тех, что будут после нас. Когда смотришь с такой высоты, надежда дозволена. Как же отрицать человеческий прогресс? Сколько побед уже от первоначального зверства? Человек искоренил пытки, уничтожил рабство: разве же это ничто? Он освобождался всё больше и больше с каждым днём. Придёт время его окончательного расцвета.

— Но тогда сколько сотен веков пройдёт, прежде чем вселенная, может быть, завершит свой цикл, и наступит час, когда человечество исчезнет в эволюции миров?

— Ах, может быть!.. Но не будем об этом. Благороден ли этот идеал, чист ли он? Может ли он получиться из доброго и настоящего? Вот о чём себя надо спрашивать, и если ответ будет положительным, надо проповедовать это без усталости...

На этом славный учитель прервал свои мысли о русско-японской войне.

[...] Эта война постоянно занимает Толстого. Днём я совершил прогулку в санях вместе с женщиной высокого духа и большого сердца. Она была спутницей всей его жизни и подарила ему тринадцать детей, и так как я её спрашивал об одном и том же, она мне сказала с живостью, которая составляла очарование её речи:

— Не говорите мне об этом. Он с жадностью ловит каждую новость, а на днях он поехал в Тулу верхом за двадцать восемь вёрст по снегу, чтобы получить телеграмму с войны!

Льву Толстому семьдесят пять. Каждый день он совершает в одиночестве прогулку или пешком, или верхом на лошади. Он говорит о смерти с улыбкой. Пусть ей улыбается: смерть робеет перед теми,

кто готов принять её радостно...» (*Друзья и гости Ясной Поляны. Тула, 2020. С. 149 – 159*).

По тексту газетного очерка Жоржа Бурдона хорошо видно, что Лев Николаевич, действительно, с напряжением следил за военными событиями на Дальнем Востоке. И даже чувствовал в себе “шевеления” патриотизма — справедливо относя их к остаточным проявлениям детских “прививок” сословного воспитания. Как и в отдалённом уже по времени эпизоде общения с Полем Деруледом, он безмерно далёк оказался от всякой снисходительности к следующей стадии милитаризации изуверившегося сознания соотечественников Паскаля, Руссо, Вольтера, Ламеннэ — теории расовых различий. Любое слово симпатии в пользу французов и критики японцев могло в газетной публикации быть истолковано если не как поддержка Толстым этой теории, то, во всяком случае, как свидетельство поддержки «цивилизации» в вооружённой борьбе с «жёлтой расой». Спровоцировать Толстого на такое высказывание и было задачей Бурдона. Но он не просто провалил ту миссию, с которой ехал и о которой, в конце концов, лишь деликатно обмолвился... Толстой, кажется, сам существенно повлиял на хитрого и разговорчивого француза.

Вот момент победы: когда Бурдон, несмотря на всю свою интеллигентскую тупость, в ужасе отшатнулся от идеи, поданной ему Толстым — взять лежащий на обеденном столе нож и немедленно зарезать игравшую подле беседующих взрослых маленькую внучку Льва Николаевича. Ибо это, как тут же ликующе подчеркнул Толстой — нравственно невозможно. И тут же добавил (перевод П. И. Бирюкова): «Если бы только христианское сознание лежало в основе души человека, ему бы так же стало невозможным взять в руки ружьё и идти убивать своих ближних!» (*Цит. по: Бирюков П.И. Указ соч. Т. 4. С. 93*).

На следующий же день Бурдон предпочёл убраться восвояси: ответ Льва Николаевича на поставленные им вопросы был достаточно ясен... и наверняка стал острейшим, незабвенным впечатлением на всю дальнейшую его, бурдонью, жизнь!

Но для самого Льва Николаевича, раздроченного таким общением, а ещё более военными новостями, одного «съеденного» французишки уже было мало, и он преисполнился нового вдохновения высказаться на весь мир, во весь голос и во всю силу своего слова и своего духа. Работа над статьёй «Одумайтесь!» к этому времени уже шла: начата она была, напомним, ещё в январе 1904-го, когда впечатления от чтения французской антивоенной хрестоматии «Guerre — Militarisme» соединились для писателя и публициста с известиями

о войне. Самая первая черновая рукопись даже открывалась упоминанием об этой книге (см. 36, 605).

Общение с Жоржем Анри Бурдоном оставило, вероятно, неприятный осадок у Толстого, выразившийся в черновиках статьи «Одумайтесь!» таким, например, пассажем в адрес всех его коллег:

«Одумайтесь вы, многоречивые и лживые писаки-журналисты. Если вам нужны рубли, которые вы добываете своею ложью и возбуждением вражды между людьми, то лучше идите грабить на большую дорогу: вы, убивая богатых и отнимая у них деньги, будете менее преступны, чем теперь, сидя дома и возбуждая вашими гадкими речами людей к вражде и всякого рода злодействам» (Там же. С. 608).

Сравним с записью в это же время в Дневнике Толстого:

«Какое праздное занятие наша подцензурная литература! Всё, что нужно сказать, что может быть полезно людям в области внутренней, внешней политики, экономической жизни и, главное, религиозной, всё, что разумно, то не допускается. То же и в деятельности общественной. Остаётся забава детская. “Играйте, играйте, дети. Чем больше играете, тем меньше возможности вам понять, что мы с вами делаем”» (55, 6 – 7).

«Детской забавой» осознаёт Толстой и деятельность российских либералов, их по-интеллигентски подлое отношение к правительству: «И отношение это может быть двоякое: или правительство есть необходимое условие порядка, и надо подчиняться и служить ему; или признать то, что я признаю и что нельзя не признать, что правительство есть шайка разбойников, и тогда надо, кроме того что стараться просветить этих разбойников, убедить их перестать быть разбойниками, самому выгородить себя, насколько это возможно, от участия с этими разбойниками в пользовании их добычей. Главное — не делать то, что делают теперь либералы: признавать правительство нужным и бороться с ним его же орудиями. Это детская игра» (55, 10).

Лев Николаевич долго работал над этой статьёй. Уже 19 февраля в Дневнике появляется такая запись:

«Всё время пишу о войне. Не выходит ещё. Здоровье недурно. Но с некоторых пор сердце слабо. Никак не могу приветствовать смерть. Страх нет, но полон жизни и не могу» (55, 13).

Отсылая наконец В. Г. Черткову прибавления и поправки к статье, Толстой писал ему 28 апреля 1904 г.: «Статья эта вышла как-то круто заострённая, оттого что я писал статью о том, что все бедствия люд-

ские от отсутствия религии, и уже довольно подвинулся в этой статье, когда началась война, представлявшаяся мне иллюстрацией моей мысли. От этого я соединил две темы, и, пожалуй, ни одна не обработана достаточно» (36, 604).

Первая тема разрабатывалась Толстым в статье о значении религии «Камень главы угла», завершённой под заголовком «Единое на потребу» (1905).

Итак, что было неизбежно для Толстого-публициста, тема войны снова встретилась в «Одумайтесь!» с темой главной: христианского безверия нашего мира. В дальнейшем работа над специальной статьёй о религии на время была отложена и Толстой всецело занялся сочинением, которое с самого начала получила евангельское заглавие «Одумайтесь!» и которое сам автор в Дневнике и переписке называет «О войне».

Вопреки жалобам автора, последняя редакция статьи подписана им уже 8-го мая. В конечном варианте многие резкие слова и эпитеты были Львом Николаевичем устранены (напр., «проклятые цари» было заменено на «безжалостные цари»), зачёркнуты все личные имена в пассажах, подобных этим: «Вы, кто затеял это дело: и Николаи, и Безобразовы, и Витте, и Суворины, и Меншиковы»; «ступайте вы, Николаи с Куропаткиными, и Драгомировы, и Суворины, и Меншиковы, ступайте убивать японцев, если вам это нравится, а мы не можем этого делать», и др. (Там же. С. 609).

Вместе с тем писатель сомневается: «Читаю газеты, и как будто все эти битвы, освящения штандартов так тверды, что бесполезно и восставать, и иногда думаю, что напрасно, только вызывая вражду, написал я свою статью, а посмотришь на народ, на солдаток, и жалеешь, что мало, слабо написал» (55, 46).

Статья вышла в издании «Свободного слова», в Крайсчерче, в Англии, в 1904 г. Редакция к её заглавию сделала подзаголовок: «Статья по поводу русско-японской войны». В том же году вышло второе популярное издание, предназначенное для народа и солдат, без эпиграфов, и третье, воспроизводящее первое, но устраняющее кое-какие его ошибки.

В России статья «Одумайтесь!» вышла впервые в 1906 г. в издании «Обновление» отдельной брошюрой (конфискована). В 1911 г. статья напечатана в девятнадцатой части двенадцатого издания сочинений Толстого (тираж тома так же был конфискован).



Издания «Одумайтесь!» 1904 г. (в Англии), 1906 и 1917 гг. (в России)

\* \* \* \* \*

Не считая дописанных на последнем этапе работы двух заключительных глав статьи «Одумайтесь!», десять им предшествующих оцутимо делятся пополам: от начала до конца пятой главы — превалируют описания и критика происходящего, с главы же 6-й — религиозная проповедь.

В свою очередь, каждая глава статьи «Одумайтесь!» структурно распадается на две части. Первая часть представляет, в виде пространных эпиграфов, свод мнений различных мыслителей о войне. Вторая часть каждой главы представляет основной текст статьи — рассуждения и умозаключения Льва Николаевича на ту же тему. Для значительной части эпиграфов шедевра публицистики Л. Н. Толстого «донором» послужила книга *Жана Грера* (фр. Jean Grave; 1854 – 1939) — французского общественного деятеля, философа, публициста, теоретик анархизма, популяризатора идей и работ Петра Кропоткина во Франции. Книга была опубликована в 1902 г. под названием «Guerre-militarisme. Bibliothèque documentaire. Les temps nouveaux» («Война, милитаризм. Хрестоматия. Новое время»), и, как можно догадаться из названия, содержала подборку антивоенных текстов разнообразных авторов. Здесь мы не будем вдаваться в подробности персоналий авторов или предпочтений Л. Н. Толстого при заимствовании. С полным списком источников для значительней-

ших, в замысле Толстого, эпиграфов 11-ти глав статьи читатель может познакомиться в научном комментарии к ней в Полном (Юбилейном) собрании сочинений Толстого (см: 36, 617 – 618).

С одним из эпиграфов, к V-й Главе, связана история, которую мы не можем обойти вниманием. В 1948 г., в книге XII (Т. 1) Летописей государственного литературного музея были опубликованы письма племянницы Л. Н. Толстого, дочери сестры писателя Марии Николаевны Толстой, Елизаветы Валерьяновны Оболенской (урожд. Толстая; 1852 – 1935) к дочери, Марии Леонидовне Маклаковой (урожд. Оболенская; 1874 – 1949). В письме из Карамышева от 26 мая 1904 г. она сообщает дочери:

«...Война на меня очень тяжело действует; не могу равнодушно читать о тех ужасах, которые делаются, думать о тех, которые ещё будут делаться; патриотических разговоров избегаю слушать; я не хочу этим сказать, чтобы я была сама совсем лишена патриотического чувства; я очень сочувствую несчастным русским солдатам и морякам, которые, страдая и умирая, не имеют даже этого чувства удовлетворения, что они сделали что-то полезное, но не могу находить, что всё, что у нас делается, прекрасно; не могу говорить “слава богу” при известии, что японцев погибло вдвое больше, чем русских. Лев Николаевич написал прекрасную статью о войне. Статья сама по себе хороша, кроме того, каждой главе предшествуют несколько эпиграфов, взятых из всевозможных авторов всевозможных времён, и эти эпиграфы составляют главное украшение статьи. Среди них есть скромная фраза, выписанная из моего письма к нему, подписанная “Из частного письма русской матери” и почему-то очень ему понравившаяся. Статья эта у меня списана...» (*Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Т. 2. С. 142*).

Фраза Елизаветы Валерьяновны, которую Толстой вынес в эпиграф, следующая:

«В “Русских Ведомостях” я прочла рассуждение о том, что выгода России в том, что у неё неистощимый человеческий материал.

Для детей, у которых убьют отца, у жены — мужа, у матери — сына, материал этот истощается скоро» (36, 114).

Все эпиграфы несут в статье существенную смысловую нагрузку. В отношении же их выборки структурным исключением стала заключительная глава: как и заключительная, тоже Двенадцатая, глава в трактате «Царство Божие внутри вас», она не была запланирована Толстым до последнего момента и стала его откликом на актуальнейшие события последних дней.

Лев Николаевич начинает статью выражением своего возмущения совершившимся фактом — объявлением войны:

«Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.

Люди, десятками тысяч вёрст отделённые друг от друга, сотни тысяч таких людей, с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.

Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть, — хочется верить, что это сон, и проснуться.

Но нет, это не сон, а ужасная действительность» (36, 101).

Анализируя причины войны, Лев Николаевич возвращается к давнему, 1880-х годов, своему заключению, что люди заблудились на своём пути к благу, утратив религиозный ориентир в едином учении жизни, выраженном в основаниях всех величайших религий мира.

«Люди нашего христианского мира и нашего времени подобны человеку, который, пропустив настоящую дорогу, чем дальше едет, тем всё больше и больше убеждается в том, что едет не туда, куда надобно. И чем больше он сомневается в верности пути, тем быстрее и отчаяннее гонит по нём, утешаясь мыслью, что куда-нибудь да выедет. Но приходит время, когда становится совершенно ясно, что путь, по которому он едет, никуда не приведёт, кроме как к пропасти, которую он начинает уже видеть перед собой» (Там же. С. 115).

Главное заблуждение состоит именно в отрицании религии, т. е. руководящего нравственного начала.

«Лишённые религии люди, — констатирует Лев Николаевич, — обладая огромном властью над силами природы, подобны детям, которым дали бы для игры порох или гремучий газ. Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его, чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефоном, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга» (Там же. С. 123).

В главе V-й Толстым делается уже общий неутешительный вывод о состоянии и перспективах современной лжехристианской цивилизации. Читая, делается понятным, что на отче Льва, пророка в отечестве своём, от известий войны пахло ХХ-в веком:

«...Совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилем, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося бóльшую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться.

[...] Пропасть, к которой мы идём, уже становится видна нам, и самые простые, не философствующие, не учёные люди не могут не видеть того, что, всё больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга».

И тут же повторяются, с нелицеприятным “довесочком”, контраргументы пацифистам, знакомые читателям «Царства Божия внутри вас»:

«Устроить международные судилища для решения международных споров? Но кто же заставит подчиниться решению судилища тяжущегося, у которого под ружьём миллионы войска? Разоружиться? Никто не хочет и не может начинать. Придумать ещё более ужасные средства истребления: баллоны с начиненными удушливыми газами бомбами, снарядами, которыми люди будут посыпать друг друга? Что бы ни придумали, все государства заведутся такими же орудиями истребления, пушечное же мясо, как после холодного оружия шло под пули и после пуль покорно шло под гранаты, бомбы, дальнобойные орудия, картечи, мины, пойдёт и под высыпаемые из баллонов бомбы, начинённые удушливыми газами.

Ничто очевиднее речей господина Муравьёва и профессора Мартенса о том, что японская война не противоречит Гаагской конференции мира, ничто очевиднее этих речей не показывает, до какой степени среди нашего мира извращено орудие передачи мысли — слово и совершенно потеряна способность ясного, разумного мышления. Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать



всякую деятельность, как бы она ни была преступна. Последняя бур-ская война и теперь японская, которая всякую минуту может перейти во всеобщую бойню, без малейшего сомнения доказали это.

[...] Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться и летим в неё» (36, 115 – 116).

Кстати приглядимся к названным Львом Николаевичем особям. Это Николай Валерьянович Муравьев (1850 – 1908), в 1894 – 1905 г. министр юстиции, статс-секретарь, и Фёдор Фёдорович Мартенс (1845 – 1909) — юрист, профессор международного права петербургского университета и участник мирной Гаагской конференции 1899 г. Закрывая в феврале 1904 г. заседание международного третейского суда в Гааге по Венесуэльскому делу, Муравьев сказал, как высрал:

«Мы начинали наши работы среди всеобщего спокойствия, мы кончаем их при зловещих звуках орудий. Таков беспощадный закон истории или, скорее, таков удел несовершенства условий, в которых заключена человеческая природа, слишком часто задерживаемая препятствиями на своём многотрудном пути к добру и к свету.

Древнее изречение “если хочешь мира — готовься к войне” — ещё далеко не потеряло, по-видимому, своего сурового смысла и значения. Можно всеми силами стремиться к миру, работать для него ревностно и убеждённо, и тем не менее ничто не предохранит от неприятельского вызова, от неожиданного нападения. Можно горячо и искренно желать мира — и быть вынужденным мужественно принять необходимую войну во имя чести и достоинства отечества» (Цит. по: 36, 618 – 619).

Начиная с Главы VI характер подобранных эпиграфов меняется: на смену критике войны и военщины, описания ужасов войны — являются тексты о Боге и человеке, о вере: Ламеннэ, Консидерана, де Виньи, Мадзини, Канта... Соответственно, открывается и основной текст главы, даже его интонационный строй:

«Две тысячи лет тому назад Иоанн Креститель и за ним Христос говорили людям: «исполнилось время и приблизилось царство Божие, одумайтесь (μετανοείτε) и веруйте в Евангелие» (Марка I, 15). И «если не одумаетесь, все погибнете» (Луки XIII, 5).

Но люди не послушали его. И та гибель, которую он предсказывал, уже близка» и т. д. (36, 118).

«Μετανοείτε» в основном значении переводится — “покайтесь”, и именно в сотворческом Творцу, Богу покаянии, в раздумывании каждым человеком над жизнью своей, в смирении и страхе своего греха, побеждающем страх перед князьями и начальствующими

мира сего, перед неугождением им — именно в этом христианский смысл очунания, или одумывания:

«...Самое верное и несомненное избавление людей от всех бедствий, которые они сами наносят себе, и от самого ужасного из них — от войны достигается не какими-либо внешними общими мерами, а только тем простым, обращением к сознанию каждого отдельного человека, которое 1900 лет тому назад предлагал Христос, — тем, чтобы каждый человек одумался, спросил себя: кто он? зачем он живёт и что ему должно и что не должно делать?» (Там же. С. 120).

Покаявшись, надо уж держаться Христа: познанного учения Истины и образцов жизни праведных в Боге, пусть даже разных вероисповеданий, разных эпох — то есть, утвердиться в том *всемирном, божеском* новом и высшем из открытых человечеству религиозном понимании жизни, в котором одним ключ к освобождению от военных угроз и солдатского рабства, как и от рабства податного (т. е. налогового — на военщину) и сопутствующих им. Из Главы VII:

«Человеку нет выбора: он должен быть рабом наиболее бессовестного и наглого, чем другие, раба или — Бога, потому что для человека есть только одно средство быть свободным: это соединение своей воли с волей Бога. Лишённые религии люди, одни, отрицающие самую религию, другие, признающие религией те внешние, уродливые формы, которые заменили её, и руководимые только своими личными похотями, страхом, человеческими законами и, главное, взаимным гипнозом, не могут перестать быть животными или рабами, и никакие внешние усилия не могут вывести их из этого состояния, потому что только религия делает человека свободным.

А большинство людей нашего времени лишено её» (Там же. С. 123 – 124).

В качестве одного из эпиграфов к Главе VIII Толстому послужила запись из восхитившего его в начале 1890-х «Задушевного дневника» швейцарского мыслителя Анри Фредерика Амиеля. В переводе дочери писателя, Марии Львовны, выполненном специально для издания выбранных мест из амиелева дневника в толстовском «Посреднике», эта запись от 27 января 1869 г. выглядит так:

«Превращение церковного и исповедного христианства в христианство историческое есть дело библейской науки. Превращение исторического христианства в философическое есть попытка почти невозможная, потому что вера не может совершенно раствориться в науке. Но выведение христианства из области исторической в область психологическую есть стремление нашего времени. Необходимо высвободить вечное Евангелие. Для этого нужно, чтобы исто-

рия и сравнительная философия религий определили истинное место христианства и оценили его. Затем надо выделить веру, которую исповедовал Иисус, от той веры, которая сделала Иисуса предметом своего поклонения. И когда найдут то душевное состояние, которое составляет основную клеточку, начало вечного Евангелия, то нужно будет его держаться. Это есть *punctum saliens* [лат. Отправная точка] чистой религии.

Может быть, сверхъестественное будет заменено необыкновенным и великие гении будут рассматриваться как посланники Бога истории, как предопределённые избранники, посредством которых дух Божий движет человеческими массами. Уничтожается не прекрасное, но произвольное, случайное, чудесное. И как жалкие плашки деревенского праздника или ничтожные восковые свечи процессии тухнут перед величием солнца, потухнут все эти маленькие, местные, ничтожные и сомнительные чудеса перед всемирным законом действия великих умов, перед несравненным зрелищем истории человечества, руководимой тем всемогущим драматургом, которого называют Богом. *Utinam*. [лат. О! Если бы!]» (Из дневника Амиеля. СПб., 1894. С. 54).

А вот во что превратил эту запись, изрядно сократив и подредактировав, Лев Николаевич в эпиграфе статьи «Одумайтесь!»:

«Нужно высвободить ту религию, которую исповедывал Иисус, от той религии, предмет которой есть Иисус. И когда мы узнаем состояние сознания, составляющую основную ячейку и начало вечного Евангелия, надо будет держаться его.

Как жалкие плашки деревенской иллюминации или маленькие свечи процессии потухают перед великим чудом света солнца, так же потухнут ничтожные, местные, случайные и сомнительные чудеса перед законом жизни духа, перед великим зрелищем человеческой истории, руководимой Богом» (36, 124 – 125).

Дневниковую запись женеваца, как видим, Лев Николаевич не просто сократил, а довёл изложенные в ней мысли до недостижимой для Амиеля, но посильной для него, для Толстого, глубины и ясности. Интересно, например, как «душевное состояние» обратилось под пером яснополянца в «состояние сознания» — термин, вполне актуальный и для современной нам психологии!

К такой радикальной редакторской работе с дневниковыми записями Анри Амиеля Толстой прибегал в тех случаях, когда любимым философом затрагивались глубокие и значимые для самого Льва Николаевича философские и религиозные проблемы. А здесь проблема затронута — пожалуй, одна из глубочайших и самых животрепещущих для Толстого-христианина. Ибо корень не только военного, но

всех общественных зол не в «повреждении грехом» природы индивида, как любят лукаво бляеть прихвостни лукавого, попы «православного» и иных лжехристианств. Корень бедствий, наиболее опасных для выживания человечества, для исполнения в мире замысла Божия о человеке, для его восстания из первобытного животного существа — в неправдах, или лжах, обеляющих, оправдывающих и даже освящающих то или иное зло. А главной ложью является, как понимали это и Анри и Лев, указанная Амиелем подмена христианства идолопоклонством Христу как особенному богу и перетолкование его учения — всё смертные грехи хулы на Бога, совершённые людьми, некогда в большинстве своём не понявшими, а в меньшинстве — не принявшими сознательно христианского жизнепонимания, не согласившимися с требованиями, которые оно им предъявило.

Первобытно-эгоистическое жизнепонимание мотивирует индивида на поиски личного блага для себя и «своих» (самки, детёнышей...) и моление о таком же благе к особенным вымышленным существам — разным богам или духам. В этом смысле Лев Николаевич признавал, например, буддизм не более чем «отрицательным язычеством», язычеством навыворот: буддист не ищет благ, но желает исполнить условия прекращения неизбежных страданий (39, 8). По жизнепониманию среднему из трёх, языческому и еврейскому, общественно-государственному (не исключающему эгоизма, но лишь отодвигающего его — и то в идеале — с переднего плана) человек служит и желает блага тем или иным структурам языческого социума: опять же семье, своим клану, товарищескому сборищу, корпорации, «своей» церкви с её лжеучением и обрядоверием, «своему» государству с его вожаками, войском, границами, символикой и прочими глупостями и гадостями... и, наконец, обществу или даже человечеству в целом. Так называемая «историческая» часть бытия человечества в известном ему Божьем мире — это как раз история сперва утверждения в лучших людях примата такого жизнепонимания над первобытным эгоистическим, а затем — начиная с «осевой» эпохи земной жизни и проповеди Христа Иисуса — борьбы этого, всё более и более являющего своё зло и свою архаику жизнепонимания языческого с христианским.

Третье жизнепонимание, или отношение человека к миру, христианское, состоит, как пишет о нём Лев Николаевич «в том, что значение жизни признаётся человеком уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той Воле, Которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли» (Там же. С. 9).

Современных ему групповых отказников от военной службы, «уни- тарианцев, универсалистов, квакеров, сербских назаренов, русских духоборов» и всех религиозных рационалистов Толстой безусловно относит к исповедникам религии высшего жизнепонимания (*Там же. С. 10*). А его Зачатки мыслитель находит уже в древности, в уче- нии пифагорейцев, эссеев, браминов, даосов и др. течений религи- озно-философской мысли «в их высших представителях». Полнейшее и лучшее выражение это жизнепонимание получило в первоначаль- ном христианстве.

В своей замечательной статье с характеристическим названием «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении» (1907) Толстой по- дробно рассказывает, как первоначальное христианство было из- вращено еврейско-сектантской проповедью тщеславного еврея Савла, известного поклонникам церковной религии как «апостол Па- вел» (37, 350 – 352).

Вот что пишет Толстой о заведомой слабости и ничтожестве лже- учения церковей в сравнении даже с религиями низшего жизнепони- мания:

«...Так называемое церковно-христианское учение, не есть цельное, возникшее на основании проповеди одного великого учителя уче- ние, каковы буддизм, конфуцианство, таосизм, а есть только под- делка под истинное учение великого учителя, не имеющая с истин- ным учением почти ничего общего, кроме названия основателя и не- которых ничем не связанных положений, заимствованных из основ- ного учения.

...Церковная вера, которую веками исповедовали и теперь испове- дуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с ис- тинным христианством» (37, 349 – 350).

Христианство и учение жидовствующего лжеапостола Павла и жи- довствующих в его, Павла, еврейском жизнепонимании «историче- ски сложившихся» церковей — два религиозных учения совмести- мых, так как враждебно несовместимы живящие их понимания жизни: общественно-государственное, давно отжитое, а к XX столе- тию ставшее уже опасным для человечества жизнепонимание цер- ковных обрядоверов и идолопоклонников, с одной стороны, а с дру- гой — всемирное, божеское, высшее и актуальное жизнепонимание свободных христиан Христа. С одной стороны — «великое, всемир- ное учение, уясняющее то, что было высказано всеми величайшими мудрецами Греции, Рима и Востока», с другой — «мелкая, сектант-

ская, случайная, задорная проповедь непросвещённого, самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и ловкого еврея» (*Там же. С. 352*). Лишь время и легковерие простецов сделали из еврея-фанатика Савла «святого апостола», а из его мистического бредословия — «святое» учение якобы христианства.

Всё учение Савла-«Павла», ставшее фундаментом ложного, церковного христианства, и в частности его определение религиозной веры («Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». — *Евреям, 11, 1*), данное специально, чтобы угодить «своим», именно евреям, и тем завлечь их (и содержимое их кубышек) в свою секту — всё это не от христианского корня, ибо выражает низшее, отжитое ко времени Христа, общественно-государственное жизнепонимание. И всё это — антихристово, ибо подменило собой истину Бога и Христа.

Но что же есть вера (религия) для истинного христианина?

Вот настоящее христианское определение того, что *не есть* и того, что *есть* истинная религия, данное Львом Николаевичем:

«Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают учёные, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; *религия есть* устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперёд к предназначенной ему цели» (35, 197 – 198. Выделение наше. – Р. А.).

«Разум» в данном определении упомянут отнюдь не в значении мирского «здравого смысла»; не сводится он и к научным рефлексиям. Толстой имеет в виду здесь то, что открывается разуму наиболее религиозно чутких людей Свыше — напрямую от Бога. Философия и науки не могут своим системным и научно проверенным знанием противоречить Истине откровения, а уничтожают неизбежно только то, что привнесено в религиозных учениях ошибками или суеверной выдумкой людей.

В тот-то и дело, даже наука современного лжехристианского мира значительна тем, что пополняемая и презентуемая ею массам картина мира обличает и уничтожает обманы отжитого жизнепонимания: ложь правительств и церквей.

В каждом культурном и цивилизационном сообществе люди соединены между собой и могут жить разумной жизнью исключительно

благодаря общему религиозному жизнепониманию. И только благодаря ему люди могут дать достойные ответы на вызовы истории, находить разумные разрешения общих и частных проблем.

Чем больше в этом жизнепонимании от Бога, т.е. от истины, приобретенной тысячами лет лучшими умами человечества посредством откровения от Бога или научных открытий, то есть завоеваний разума как Божьего дара — тем оно полезнее и для общего земного устройства жизни всего человечества, и для утверждения бессмертной основы каждого человека.

Но чем больше над религиозной истиной совершается насилий: перетолкований, искажений, замалчиваний, осмеяний, то есть, чем больше примешивается к учению жизни не истинного, Божьего, а лукавых и корыстных или просто грубо-суеверных человеческих измышлений, тем менее такое учение жизни полезно как общему жизнеустройству, так равно и разуму и душе людей, тем оно зловредней и опасней в условиях неизбежного прогресса внеэтических, опасных без религиозного руководства, знаний и возможностей людей.

Божье учение жизни не нуждается в перетолкованиях богословами: оно уже Свыше изначально адаптировано к человечеству и условиям его жизни. А вот подмена Божьего закона человеческими установлениями — всегда в пользу несовершенства, лукавства, зла...

От эпохи к эпохе задачей мудрых учителей человечества было: научить словом и примером исполнению актуального для состояния мира и людей *в эту эпоху* закона жизни. А так как основа и смысл этого закона — не одно воспроизводство общественного строя, а совершенствование людей и обществ, то в результате такого совершенствования человечество возрастает к возможности понимания и исполнения уже высшего, чем прежний, закона, более близкого к единой Божьей Истине.

Кроме того, так как разумное существо приобретает усилиями разума всё более опасные возможности, для его спасения новое, соответствующее этой опасности, учение жизни даётся от Бога вне зависимости от степени исполнения прежнего учения. Такое новое учение, особенно обличающее людей в уклонении от исполнения воли Отца, особенно яростно отрицается или перетолковывается, или же попросту забывается.

Так и вышло у людей христианского мира с учением Христа. Учение Христа требовало смирения, доверия Богу как Отцу всех людей, т.е. принятия за руководство в самосовершенствовании тех идеалов, а за руководство в повседневной жизни — тех правил и образцов поведения, которые прежде были неведомы человечеству и не могли в

эпоху Христа (а в значительной степени и в нашу) быть проверены научно или подтверждены историческим опытом.

Вот почему именно историческое (церковное) христианство явило человечеству новой и новейшей эпох не ответ на его жизненные проблемы, а концепцию, едва ли не самую архаическую, бесполезную, противоречивую, извращённую, лукавую, но при этом тупо или агрессивно отстаиваемую её редееющими от поколения к поколению адептами.

Зёрна других, даже позднейших по времени, но низших по выраженному в них жизнепониманию учений – например, ислама – легли в более подготовленную почву. У того же ислама, к примеру, с историческим христианством – общая беда: оба были перетолкованы, оба распались на толкующие их по-разному группировки адептов. То же – с рядом других религий. Но требования вер римской, еврейской, буддистской были ниже, чем у христианского учения. Не запрещались ни неравенство, ни эксплуатация, ни стяжание собственности, ни удержание её организованным насилием, ни казни, ни войны... Соответственно, адептам этих религий, религий низшего, чем христианское, жизнепонимания не понадобились и те громадные извращения, к которым прибегли церковные лжехристиане, стремившиеся соединить заведомо несоединимое: приспособившая истину высшего жизнепонимания к привычному, не требующему смены идеалов и новых усилий самосовершенствования, приятному и выгодному устройству жизни и оправдывающим его лжам.

Что же дальше?

А дальше то, что номинально христианские народы пытались и пытаются веками жить *не по Христу, а по сатане*, т.е. по лжеучению своих церквей. При этом христианская цивилизация неизбежно вступала как в мирные контакты, так и в столкновения с цивилизациями народов, живших по учениям низших жизнепониманий, в которых по этой причине было меньше извращений. Среди мнимых христиан же эти извращения актуальной Божьей истины, в условиях прогресса научного знания, всё более являли себя. Люди Европы, Америки и примкнувшей к ним России в новую и новейшую эпоху всё более и более утрачивали доверие попам. А так как им неизвестно, не памятно первоначальное, истинное, без церковных извращений, христианство — они остаются вовсе без единственно действительного нравственного руководства в жизни.

Какой пример европейские или американские адепты церквей и сект могли подать таким людям иных вер и цивилизаций? Уж точно не образец нравственной, воздержной, мирной трудовой жизни —



то есть то, что было бы понятно и уважаемо равно и мусульманином, и китайцем, и японцем и даже варваром!

А при контактах цивилизаций срабатывает то же, что и при контакте ребёнка со старшим, с педагогом: как ребёнок, так и менее развращённый народ верит *не словам, а поступкам* более опытного учителя. И, к сожалению, легче поддаётся развратному, нежели мудрому и доброму влиянию. В статье «Конец века», написанной вскоре после «Одумайтесь», Лев Николаевич показывает (как раз на примере итогов русско-японской войны) результаты многовекового иудина предательства европейским человечеством Христа: японцы потому и оказались для русских тяжёлым и непосильным военным противником, что успели за вторую половину XIX столетия выучиться у лжехристиан «современным» приёмам войны. Японцы показали всему нехристианскому миру доходчивый пример того, как, в ответ на развратное и деспотическое влияние лжехристианской цивилизации, цивилизации *честных нехристиан* могут «не только освободиться, но и стереть с лица земли все христианские государства» (36, 237). Номинальные христиане Европы, включая Россию или Америки, не имея в сердце и разуме Христа, обречены биться в заведомо бесконечной и обречённой борьбе с языческими народами. Они наращивают против дубины *их* народной войны, *их* справедливой мести за навязчивое и развратное межцивилизационное культурное и геополитическое влияние, *свои* вооружения, изнуряют себя страхами и разоряют расходами на полицейщину и оборонку во имя идола *безопасности* (а это как раз предмет поклонения, который изобличает трусливых, не верующих, то есть не доверяющих Богу, испуганных буржуазных хомячков). Но итог будет один: языческие народы *их* же оружием «свергнут *их* и отомстят *им*» (*Там же*). Оружие, изобретённое для оправданного, вопреки Христу, насилия полиции или войска, попадает скоро к преступникам, единичным и организованным: террористам либо мигрантам, воюющим за более соответственное *их* вере, нежели христианству, то есть более рационально оправдываемое право пользоваться теми материальными благами и приятностями телесной, животной жизни, которые, в противоречие аскетике истинного христианства, христианства евангелий, развили между собой, ошибочно считая настоящим человеческим прогрессом, номинальные, церковные, то есть ложные последователи Христа.

Единственное спасение для христианского мира — стать подлинными христианами: направить все усилия не на противостояние насилию насилием, тем более войной, а «на такое устройство жизни, которое, вытекая из христианского учения, давало бы наибольшее

благо людям не посредством грубого насилия, а посредством разумного согласия и любви» (*Там же. С. 237 – 238*).

Иначе говоря, апгрейдить и апдейтить нужно не «системы безопасности», а головы. Восприятие жизни, своего и других места и значения в ней... Религиозное непонимание. И само понятие «конец века» у Толстого как раз тесно связано с его концепцией непониманий. «Век и конец века, — говорится в начале статьи, — на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начало другого...» (*Там же. С. 231*).

Нынче, в первой четверти XXI столетия, лжехристианский мир уже настигает возмездие от тех, кого он развратил при контакте цивилизаций. Среди мстителей не на последнем месте — воины Ислама, благороднейшей, в рамках своего непонимания, религии: религии огромной нравственной чистоты, смиренного ума и львиного сердца. Но она, в отличие от первоначального христианства, никогда и не ставила перед своими адептами идеалов столь высоких, как те, что выражены в учении Христа. Оттого она меньше извращена толкователями, но оттого же она — более незащищена, мировоззренчески и нравственно, перед соблазнительной и лукавой мерзостью лжехристианского влияния. Вот почему исповедники Ислама — при своих правах перед Всевышним, защищая свою веру, чистоту своего исповедничества (не словами, а жизнью) *всеми* дозволенными, допустимыми великим учением Ислама способами.

Разумные существа в других Божьих мирах, живущих по выраженному в учении Христа или ещё высшему, неведомому нам, непониманию — могли бы быть безопасны от межцивилизационного разврата, но — не такие же люди, соседи мнимых христиан по планете!

Ложные христиане много веков употребляли Божий дар – разум – не на исполнение в мире воли Отца, а на своё своеволие: грехи и их оправдания. Причём как сами грехи, так и лживые оправдания их были уже не тем невольным и простительным, что неизбежно было и будет случаться по несовершенству человеческой природы или естественному – детей или дикарей – невежеству. Нет! Лжехристианам *была и отчасти и сейчас известна* преданная им через Христа истина нового, спасительного учения, но они не приняли её за руководство в жизни, во всей её повседневности. А отринув Христа и Бога, они невольно были вынуждены веками громоздить ложь на ложь, создав не только из своих грехов целые системы злой и безумной жизни, но и *системы лжи* из оправдывающих эту систему зла больших и малых неправд.

И — сами угодили в эту паутину, сами стали в новое и новейшее время рабами и жертвами своего зла, своего насилия, своих лжей!

Лжехристианская цивилизация «поделилась» с воинами Ислама не только материальным оружием динамитов, бомб, самолётов, танков, автоматов, печатных станков, телеграфов, интернета и прочего, но, что много страшнее, вооружило самых дерзких, самых нравственно дурных из исповедников и сочувственников Ислама приёмами системного, организованного, массированного обмана, то есть насилия над сознанием тех людей, которых они обманывают, готовя для покорения изуверившегося и оттого ослабшего христианского мира.

Единое спасение номинально исповедующим христианство народам — покаяться, *одуматься*, и отойти от лжеучений как теперешних их церквей и сект, так и модного «атеизма», главное же — прислушаться к голосу таких спасителей и исповедников учения Христа, каким был величайший из Божьих и Христовых духовных воинов, Лев Николаевич Толстой.

А Лев Николаевич в своей статье 1906 года «О значении русской революции» даёт идеал жизни людей, гармоничной в отношении и окружающей, и собственной человеческой жизни. Это — безгосударственные, братские общины людей, соединённых христианским жизнепониманием, «целомудренных, борющихся с своими похотями, живущих в любовном общении с соседями среди плодородных полей, садов, лесов, с прирученными сытыми друзьями-животными» (36, 359). Путь к такой свободной и радостной жизни — через преодоление даже не одного «православного» и прочих лжехристианств, но всех современных религий, «мировых» и «самобытных», но заражённых мирскими неправдами и оттого лишь разделяющих людей, — к признанию всеми людьми единого закона любви к Богу и ближнему, выраженного одинаково в истоках «и браминской, и буддийской, и конфуцианской, и таосийской, и христианской религии» (*Там же*. С. 360).

Sapienti sat. Отправившись от единственного, но очень значительного эпиграфа Восьмой главы, мы пошли на прямую замену анализа религиозного содержания второй половины толстовского декалога (главы 11-я и 12-я, напомним, не были изначально запланированы, и суть дописки позднейшего этапа работы) — общим аналитическим очерком мировоззрения автора «Одумайтесь!», выразившегося и в ряде других публицистических выступлений 1900-х, часть из которых, в противном случае, мы не смогли бы рассмотреть вовсе — по различию их тематики с темой нашей книги.

Сама Восьмая глава, основным текстом своим, направлена против лжеучителей отжитых религий, и, с другой стороны — идолопоклонников науки, отрицающих необходимость религии как таковой. Тема, уже не раз заявленная в более ранних сочинениях Толстого.

Девятая глава повествует в своих эпиграфах о судьбах П. А. Ольховика и Е. Н. Дрожжина — соответственно, настраивая читателя на необходимость отдать свою жизнь в руки Бога, будучи готовым к страданиям, и без оглядки на массовость поддержки; ибо «спасение людей от тех бед, которые они причиняют сами себе, произойдёт только в той мере, в которой они будут руководиться в своей жизни не выгодой, не рассуждениями, а религиозным сознанием» (36, 131).

Отдельно интересен ответ (в главе IX-й) на вопрос, который часто задавали лукавцы Льву Николаевичу. Ответ мудрый, нисколько не устаревший, ибо указывает на разницу *системных состояний* в отношениях человека и общества, равно как и важнейших, человека с Богом — не все из которых достойны звания разумного Его творения:

«Но как же поступить теперь, сейчас, — скажут мне, — у нас в России в ту минуту, когда враги уже напали на нас, убивают наших, угрожают нам; как поступить русскому солдату, офицеру, генералу, царю, частному человеку? Неужели предоставить врагам разорять наши владения, захватывать произведения наших трудов, захватывать пленных, убивать наших? Что делать теперь, когда дело начато?»

Но ведь прежде, чем начать дело войны, кем бы оно ни было начато — должен ответить всякий одумавшийся человек, — прежде всего начато дело моей жизни. А дело моей жизни не имеет ничего общего с признанием прав на Порт-Артур китайцев, японцев или русских. Дело моей жизни в том, чтобы исполнять волю Того, кто меня послал в эту жизнь. И воля эта известна мне. Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему. Для чего же я, следуя временным, случайным требованиям, неразумным и жестоким, отступаю от известного мне вечного и неизменного закона всей моей жизни?

...На вопрос о том, что делать теперь, когда начата война, мне, человеку, понимающему своё назначение, какое бы я ни занимал положение, не может быть другого ответа, как тот, что какие бы ни были обстоятельства, — начата или не начата война, убиты ли тысячи японцев или русских, отнят ли не только Порт-Артур, но Петербург и Москва, — я не могу поступить иначе, как так, как того требует от меня Бог, и потому я как человек не могу ни прямо, ни косвенно, ни распоряжениями, ни помощью, ни возбуждением к ней

участвовать в войне, *не могу, не хочу и не буду*» (Там же. С. 129 – 130).

Да, всё верно, Лев Николаевич! Пока война не начата, есть и должно быть общее дело: беречься от войны всем, как берегутся люди от пожара. Не выставлять во власть и не терпеть во власти политической таких лидеров халтурщиков, а тем более злонамеренных преступников или безумцев, которые не только могут не суметь урегулировать все спорные с другими правителями вопросы без войны, но могут сами, и преднамеренно даже, втянуть своих сограждан в агрессивную авантюру.

Необходимо доверием Богу и Христу, *духовным оружием Христовой веры* живой (то есть, определяющей помыслы и поведение как отдельной личности, одного человека, так и общности людей, соединённых одной верой) блокировать в своих головах атавистические влечения стайно-территориальных агрессивных животных: не делить на разные государства и не метить территорию, не отнимать друг у друга общих благ Природы, а свободно, радостно спешить за короткий свой век *поболее уступить, подарить* результатов своего труда. Главное: не ставить авторитетными вожаками общества той *лживой и лгущей от имени церкви и науки* сволочи (попов и системных, казённо-дипломированных интеллигентов), которые, вместо помощи ближним в самосовершенствовании каждого в добре и разумности, оправдывали бы ложью научной, журналистской, поэтической, писательской и — самой страшной! — религиозной следование людьми этим животным, атавистическим влечениям и поведенческим структурам вместо жертвенной борьбы с ними.

А если пожар войны всё же разгорелся — как и во всяком пожаре, нужно настаивать на правде не одними словами, но и делом: уводить себя от стихии и отманивать, даже утаскивать других. Спасать всех и всё, что можно спасти. *Очунать и одумывать* слабых и непробудившихся!

Люди, не имеющие мужества в отстаивании своих убеждений (ведь по отдельности-то всякий — *вроде как* против войны!), делают противное своему разуму и совести, «призывают Бога на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству», а, одержав вдруг важную в их глазах военную «победу», — «благодарят за это кого-то, кого они называют Богом» (Там же. С. 106).

Итак, корень бедствия — в утрате народами нашего христианского мира религиозно-нравственной опоры, руководства в приложении к жизни научных знаний, дающих власть над природой. Лев Николаевич указывает на необходимость спасительного исполнения каж-

дым человеком воли пославшего его в жизнь Бога Отца во имя создания Царствия Божия на земле (то есть, условий продуктивного сотворчества сына, человека, Отцу). Воля же Отца и Творца, Мастера — блюдение детьми и учениками в Его великой учебной и творческой Мастерской, на планете Земля, дисциплины и техники безопасности, а следовательно — неучастие в военных драках, разрушениях и прочих делах насилия и подготовках к ним (*Там же. С. 131 – 134*).

Вся заключительная, не считая дописанных двух, Десятая глава — суть такое проповедание закона любви, долженствующего сменить закон насилия. Пища это слово старого воина, теперь духовного воина, к современникам и потомкам, Толстой, вероятно, вспоминал уже состоявшийся к тому времени визит Жоржа Анри Бурдона с его теорией неполноценности «отсталой жёлтой расы», возражая, в числе прочих, и ему:

«Но как же быть с врагами, которые нападают на нас?»

«Любите врагов ваших, и не будет у вас врага», сказано в «Учении Двенадцати Апостолов». И ответ этот — не одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать, что предписание любви к врагам есть нечто иносказательное и означает не то, что сказано, а что-то другое. Ответ этот есть указание очень ясной и определённой деятельности и её последствий.

Любить врагов, японцев, китайцев, тех жёлтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть, любить их — значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане, не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли, как делали это французы, русские, немцы, не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские.

«Ученик не бывает выше учителя... Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его».

Любить жёлтых людей, которых мы называем врагами, значит не учить их под именем христианства нелепым суевериям грехопадения, искупления, воскресения и т. п., не учить их искусству обманывать и убивать людей, а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви, и не словами, а примером нашей доброй жизни.

И что же мы делали и делаем с ними?..» (*36, 133*).

Да, именно такие усилия братства и равенства ведут к реализации замысла Божия о человеке, или, выражаясь в иной терминологии, к гармоничности и долговременности взаимоотношений человека с человеком и с природой в обозримом будущем. Л. Н. Толстой дерзал

мечтать о человеке действительно Разумном, избавившемся от атавизма стайно-территориального животного. Он надеялся на то, что уже в XX веке настанет время, когда, наконец, «обманутые люди опомнятся и скажут: да идите вы, безжалостные и безбожные цари, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты и как вас там называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдём. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кормить вас же, дармоедов» (*Там же. С. 143*).

И главную надежду возлагал снова и снова — на «первых ласточек»: на героических одиночек и на общины отщепенцев от мирских лжи и зла:

«...Как ни странно это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями, дипломатическими соображениями, административными, финансовыми, экономическими мерами, революционными, социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями, которыми они думают избавить человечество от его бедствий, — избавление людей не только от бедствий войн, но и от всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди, сделается не теми императорами, королями, которые будут учреждать союзы мира, не теми людьми, которые свергнут императоров, королей, или ограничат их конституциями или заменят монархии республиками, не конференциями мира, не осуществлением социалистических проектов, не победами и поражениями на суше и на море, не библиотеками, университетами, не теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой, а только тем, что будет всё больше и больше тех простых людей, которые, как дубоворы, Дрожжины, Ольховики в России, назарены в Австрии, Гутодье во Франции, Тервей в Голландии и другие, поставив себе целью не внешние изменения жизни, а найточнейшее исполнение в себе воли Того, кто послал их в жизнь, на это исполнение направят все свои силы. Только эти люди, осуществляя царствие Божие в себе, в своей душе, установят, не стремясь непосредственно к этой цели, то внешнее царство Божие, которого желает всякая душа человеческая» (*Там же. С. 133 – 134*).

Весьма любопытно, вслед Льву Николаевичу, проследить судьбы некоторых из названных им в Десятой главе статьи «Одумайтесь!» отказников от военной службы.

*Гутодье (Goutaudier)* — молодой слесарь, который, живя и работая в Южной Америке, узнал Христа через общение с членами протестантской общины «методистов». Будучи призван в 1895 г. на военную службу, Гутодье отказался от ношения оружия, за что просидел

в разных тюрьмах, включая одиночные камеры, более трёх лет. После столь ощутимого тюремного срока Гутодье всё-таки добился замены для себя строевой службой службой санитаров при военном лазарете — причём лишь благодаря вниманию к нему не только соратников Льва Николаевича, но и влиятельнейшего Жака Людовика Трарье (Jacques Ludovic Trarieux; 1840 – 1904), юриста и правозащитника, одного из «пионеров» международных прав человека и создателя в 1898 г. французской «Лиги прав человека» (Ligue des droits de l'homme) — энергичного старичка, настойчивого и, накануне смерти, вполне бесстрашного в защите прав кротких и беспомощных, гонимых мира сего! Лично Трарье пришлось походатайствовать за голубоглазого блаженного лично перед военным министром...

Сведения о Гутодье Толстой почерпнул от Павла Ивановича Бирюкова, опубликовавшего их в Швейцарии, в редактировавшемся им журнале «Свободная мысль» (1901, № 16, стр. 248 – 249) (отказник назван в статье «Кутодье»). Там сказано, в частности об отказнике, следующее: «На вопрос почему он отказывается от военной службы, он отвечает, что общечеловеческая нравственность и каждая религия запрещает убивать людей. Просто и ясно — и он не понимает, как верующие люди могут носить мундир. Об учении Л. Толстого он ничего не слышал...» (Там же. С. 249).

Тогда же состоялась публикация о Гутодье и в английском журнале Владимира Григорьевича Черткова «Свободное слово» (1902, № 2, стлб. 15 – 16). Здесь сообщены подробности о судьбе отказника. В лазарете Гутодье «начальство, офицера и доктора изводили всячески насмешками и грубостями, называя „вредным анархистом“ и старательно удаляя его от общения с другими служителями. Главный врач же так прямо и заявил ему: „Пока у вас будут эти превратные идеи, мы вас не выпустим, вы не достойны вернуться к гражданской жизни“. Они умышленно подстрекали унтер-офицеров против него с очевидным намерением вывести его из терпения и тем получить законный повод — наложить на него дисциплинарное взыскание. Но усилия их были тщетны. Гутодье — человек хладнокровного характера, спокойный и вместе с тем откровенный, к тому же он образцовый работник в лазарете, так что и придраться начальству было не к чему.

В виду того, что Гутодье единственный сын и опора стариков родителей, Трарье снова возобновил ходатайство о его освобождении. Оказывается, что по закону он должен был отбывать всего 1 год военной службы; вместо этого он просидел 4 года в тюрьме. Трарье получил обещание, что его выпустят; но тут началась обычная кан-



целярская процедура с бесконечным задерживанием со стороны военных чиновников, путаницей и лганьём (точь в точь как в нашей самодержавной России), — которая длилась несколько месяцев, пока наконец прошение Гугодье было доставлено министру» (*Свободное слово. 1902. № 2. Стлб. 16*).

Здесь же один из корреспондентов журнала оптимистично восклицает: «Слава Богу, войско уже признано цивилизованными народами противным человечности. Военщина умирает, она в агонии. От неё остаётся только пурпур и золото для ослепления глаз женщин и дураков. Дух национализма и церковности потухает. Наши дети покончат с этой гнилью...» (*Там же. Стлб. 17*). Показательно, как характеристика наивности единомышленников Толстого, занимавшихся делами и следивших за судьбами отказников.

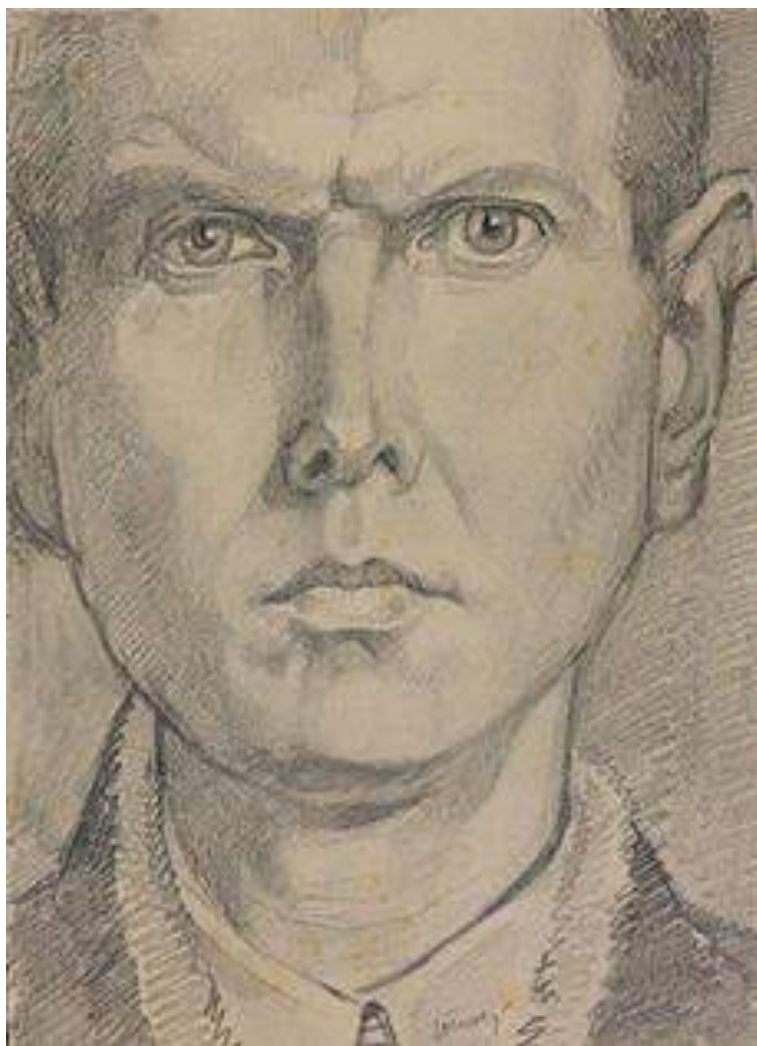
Возьмём, для примера, и ещё одну судьбу отказника, заинтересовавшую Толстого. *Ян Петер Тервей* (Jan Pieter Terwey, 1883 – 1965) — голландец, христианский анархист, а по религиозной вере — «меннонит» (направление в анабаптизме). Как и Лев Николаевич, он рано потерял отца, и религиозное воспитание принял от мамы. В 16 лет вступил в общину. С 1897 года Тервей учился на литографа, окончив в 1901 г. Академию изящных искусств в Амстердаме. В студенческой и богемной среде он стал убеждённым вегетарианцем и анархистом. На почве этих убеждений он знакомится с сынишкой проф. Ван Рееса — так же анархиста и основателя близкой толстовцам общины (о нём ещё будет речь ниже). Именно эти новые знакомые помогли сделать отказ Тервея достоянием общественности.

Как и духоборы в России, голландские меннониты десятки лет не желали идти на конфликт с правительством и, после введения в стране в 1898 году обязательной военной службы, Ян Тервей произвёл сенсацию в общине, став первым голландским меннонитом отказником

([https://gameo.org/index.php?title=Terwey,\\_Jan\\_\(1883-1965\)](https://gameo.org/index.php?title=Terwey,_Jan_(1883-1965)) ).

Прослужив ещё в 1902 г. четыре месяца солдатом, в возрасте девятнадцати лет, когда его убеждения ещё окончательно не сложились, он при вторичном призыве на военную службу в декабре 1903 г. отказался от несения её, за что был посажен в тюрьму в Хаарлеме. В связи с этим отказом и преследованием Тервея в Голландии образовался комитет, ведущий агитацию за освобождение Тервея и за предоставление свободы совести в вопросе о несении военной службы всем, кто ей по нравственным или религиозным убеждениям противится. В защиту Тервея комитетом был выпущен манифест, а

затем несколько брошюр различных авторов. По его делу в голландских газетах и журналах завязалась переписка. Сведения о нём и его большое письмо к другу с мотивировкой отказа от военной службы были изложены в статье П. И. Бирюкова «Ян Тэрвей в Голландии» («Свободное слово» 1904, № 11, столб. 4 – 8), датированной апрелем 1904 г. Вот, в сокращении, отрывок этой статьи — письмо Яна Тервея близкому другу, актуальная и небесполезная, вдохновительная исповедь и исповедание веры отказника:



Ян Петер Тервей. Автопортрет. Около 1915 г.  
Nouveau Musée Bienne, Dresden

«Дорогой друг! Я не буду больше служить, я не могу, ты это знаешь. Почему? Потому что я в душе моей чувствую, что быть солдатом — противно правде и любви. Для меня это подобно употреблению спиртных напитков. Будучи мальчишкой, ещё не отличая хорошо добро от зла, я баловался и пил вино и водку. Так и с военной службой. Не понимая вреда её, я ещё мог служить. Долг отказа ещё не

вошёл в моё сознание, я ещё больше думал о благе плотском, своём и моих друзей. Теперь я уже не могу пить даже умеренно, зная опасность отравления. И точно также я не могу больше служить, хотя и сознаю, что этим отказом я могу подвергнуть опасности свою жизнь и нарушить спокойствие моих друзей. Я не могу отступить от моего решения, потому что во мне есть нечто большее, чем моё тело. Я сознаю в себе присутствие Бога и вижу его во всех вас, друзья мои, и знаю, что это божественное начало вечно и неуничтожаемо, как вечен и неуничтожаем Бог.

[...] Меня будут мучить, и моё тело, и мою душу. Но ведь для меня главное и наибольшее страдание — служить на военной службе. Почему же я теперь буду страдать <за себя>? За самого себя я буду счастлив. Но за тех, кому недоступно испытываемое мною счастье, у кого нет веры в Бога, и упования на него, кто не знает Бога, у кого нет ясного представления о жизни — вот за тех людей я буду страдать. Я не стану оплакивать потерянной свободы. Я буду плакать потому, что я вижу яснее, чем другие то, что совершается перед нами. Я буду плакать о тех христианах, которые знают заповедь: “Люби ближнего, как самого себя”, и думают применить другую заповедь: “Люби Бога больше всего на свете” — и которые в то же время прилепляются к деньгам, к имуществу, к своей плоти; о тех христианах, которые больше уповают на деньги, на военную силу, на законы человеческие, чем на закон любви, на закон братства людей перед Богом.

Когда я буду сидеть в тюрьме под праздник Рождества Христова, я, нарушитель церковной веры, раб, который сбросил с себя оковы их божественного авторитета, я буду в одно время с ними, с этими христианами по имени, петь радостную песнь: “На земле мир и в людях благоволение”. Но я буду петь её не так, как поют люди, приходящие в восторг при виде солдат, люди, изменившие заповедь: “Любите врагов ваших” — на заповедь: “убивайте их”, люди, оспаривающие друг у друга их имущество, люди готовые запереть человека за отказ исполнить обязанность солдата, ту обязанность, которую мы объявили противною разуму и совести...

Нет, я буду петь эту песнь за всех вас, и за тех, кто будет меня судить и запирает в тюрьму, за тех, кто быть может, разрушит жизнь мою, моей матери и моих друзей, за тех, кто будет равнодушно смотреть на это, за тех, кто сочтёт меня сумасшедшим равно как и за тех, кто любит Бога в духе и истине, за тех, кто в заповеди: “Люби ближнего, как самого себя”, видит больше смысла, чем: “издавай законы для твоих ближних и наказывай их за их нарушение”... За вас,

враги мои и друзья, я пропою песнь: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение”.

Я думал так: перенесу ли я моё горе? Как смогу я видеть снедаемых печалью моих близких, быть может, их смерть? Да, смерть, только не для меня, потому что я знаю, что то, что в них, не умирает. Страдание? Ты заставишь страдать твоих близких! Да поймите же, что страдания, которым добровольно подчиняешься, которые суть результат исполнения воли Бога — эти страдания обращаются в радость. И эта радость приближает нас к Богу.

И вот я решил отказаться от военной службы. Один маленький человек сопротивляется закону, поддерживаемому военной силой и полицией. — Это нелепо, — говорят исполнители закона, — заprite его в тюрьму, если понадобится — на всю жизнь, авось это пройдёт! — Но ведь подобным образом рассуждали и мучители Христа. И вы, их последователи, думаете, как они. Но не забывайте того, что убить Христа было возможно; но нельзя было уничтожить духа Христа, духа Божия, который и в вас живёт и перед которым вы бессильны. Быть может, вы этому не верите, вы хотите испытать свою силу? — тогда ваши усилия разобьются о несокрушимую твердыню, воздвигнутую самим Богом.

Вы все, власти военные и гражданские, министры, короли, проповедники, со всем вашим могуществом, пушками, динамитом, палачами и тюрьмами — вы не можете заставить одного человека, в котором действует сила Божия, совершить поступок, который он считает дурным, например, надеть военную форму. Не чувствуете-ли вы, что вся ваша гигантская сила — ничто перед разумом и совестью, перед силой Бога, живущего в человеке?

Итак, вы, министры, короли и императоры, вы, в которых столько могущества, вы капиталисты и проповедники — бросьте ваше ложное величие. Покажитесь в вашем истинном образе, в образе человека, служащего своему ближнему.

Мудрецы — не делайтесь глупыми. Сильные мира сего — не делайтесь слабыми! С вами борется теперь один человек — а таких скоро будет множество. И эти люди увидят вашу слабость, а своё могущество.

Чтобы вам сохранить себя в этом мире ложного величия, вам нужно убивать, уничтожать людей. Где же ваша сила?

Ваше величие призрачно, и стена, о которую разобьются все ваши усилия, — это сама действительность. И стена эта построена духом Божиим, духом Христа, чтобы показать вам тщету ваших усилий.

Я готов. — Я больше не могу быть рабом обстоятельств, которые делают из человека нечто худшее, чем животное. Я не могу любить людей больше моего Отца Небесного.

Неужели, друзья мои, у вас больше нет веры в силу любви, силу духа? Неужели вы думаете, что путь, указанный нам Христом — любить Бога больше всего на свете, — не нужен потому, что люди сильны и без Бога? Вы говорите, что вы любите людей. Вы ошибаетесь; вы любите людские призраки. Или не знаете вы, что сущность человека вечна? Чего же тогда бояться? Зачем заботиться о своём теле и о телах других, когда дело идёт об исполнении воли Бога? Зачем беспокоиться об имуществе и деньгах, зачем бояться голода и смерти? Для человека смерти нет.

Правду сказал Мультиатули <голландский писатель. — Р. А.>, что назначение человека быть человеком, полагаясь на силу правды. Итак, вперёд, почитатели Мультиатули и ученики Христа! Покажите же, что вы не рабы обстоятельств и идёте вслед за теми, кто опередил вас на пути к благу!

Лучше жить по правде и умереть только плотски, чем жить призраками и умереть совсем.

Кланяюсь всем знающим и не знающим меня и люблю вас всех.

Ян Тервей» (*Свободное слово*. 1904. № 11. Стлб. 4 – 6).

Видно и ощутительно, что писано сие полурёбёнком — но уж как искренне! Павлу Ивановичу Бирюкову было «отрадно» рассказывать читателю об этом вдохновенном и вдохновляющем других дитя — особенно на фоне доходивших к нему в Швейцарию известий из воюющей России. Отрадно было и за будущее дела мира — наблюдая пример Голландии:

«...Эта передовая страна уже стоит по своему развитию накануне великой реформы — признания действительной свободы совести, реформы, которая несомненно окажет благотворное влияние на жизнь всего человечества» (*Там же*. Стлб. 6 и 8).

Юному анархисту Ваньке Тервецу, и вправду, повезло: он отбыл за отказ тюремный срок в три месяца, а за вторичный — был приговорён, по голландским законам, на целых пять, и со “страшной” прибавкой: лишением права, по отбытии наказания, поступать на военную службу на срок в пять лет (*Там же*. Стлб. 6). А поднятая его защитниками шумиха вряд ли могла сподвигнуть правительство преследовать бойкого молодого человека и позднее!

Очень хорошо возражение одного из сочувствующих Яну Тервею в печати — на аргумент какого-то великовозрастного хуйла, близкого

к правительственным и церковным кругам, о слабости, “несерьёзности” и нестойкости убеждений Ваньки:

«Почему же вы допускаете возможным в двадцатилетнем юноше убеждение в преступности убийства, грабежа, поджога в частной жизни — и не допускаете того же по отношению к жизни государственной? И почему вы допускаете в таком человеке убеждение в законности любви к родным и не допускаете того же по отношению ко всему человечеству?» *(Там же. Стлб. 7).*

Ещё до напечатания этой, журналистски великолепной, очень профессиональной статьи Толстой узнал подробности о Яшкином наказании и о милом его письме, видимо, из письма самого автора статьи, П. И. Бирюкова — о чём 10 июня 1904 г. сообщает В. Г. Черткову: «Прекрасно письмо Тервея и статья Поши» (88, 336). А ещё ранее, самые первые сведения о Тервее и его поступке Лев Николаевич почерпнул из письма к нему от 8 января 1904 г. голландского единоверца во Христе, профессора Амстердамского университета Якоба ван Рееса (1854 – 1928). Помимо занятий гистологией, ван Реес прославился как писатель, публицист, издатель (основал голландский антивоенный журнал «Vrede»), антимилитарист, пацифист, анархист и поклонник языка эсперанто — то есть, по совокупности, как раз очень-очень хороший умненький львёнок Льва Николаевича! В 1903 г. ван Реес основал в Бларикуме общину «Роцца Гуманитариев» (Humanitaire bosje), проповедовавшую возвращённое Толстым миру христианство Христа не только словом, но и примером жизни её членов.

На письмо ван Рееса с известиями о Тервее Толстой отвечал 21 января (3 февраля) следующим (перевод с немецкого):

«Дорогой друг!

Очень рад был получить ваше письмо с хорошими вестями об отказе Яна Тервея от военной службы... Не могу не радоваться его отказу, хотя горячо соболезнаю горю его матери и всему тяжёлому, что ему приходится переживать. В России такие случаи с каждым годом повторяются всё чаще и чаще, и когда я о них или о Тервее слышу, всякий раз испытываю смешанное чувство зависти, что не я, но другой совершил этот хороший поступок, стыда, что живу в покое и благополучии, в то время как другой страдает за нас, и раскаяния, что, может быть, я с моими писаниями — причина этого страдания. Но самое живое чувство, которое я испытываю при таких вестях, — это чувство радости за приближение Царства Божьего на земле и чувство любви к людям, страдающим за осуществление этого. Передайте, пожалуйста, мою любовь Тервею, если это может быть ему

приятно, и будьте добры сообщить мне об его дальнейшей участи. Меня очень радует, что ваше религиозное мировоззрение распространяется всё шире и шире. Действовать надо с полной уверенностью, что не увидишь плодов своей деятельности и принимать каждый признак успеха, как нечто неожиданное, тем не менее твёрдо веря, что успех будет.

С сердечным приветом — преданный Лев Толстой» (75, 25 – 26).

Учитывая то, что в России отказник Толстой не отделался бы столь легко, как Ивашка-анархист в Голландии, нам остаётся только порадоваться, что его, не раз высказанное, желание разделить с отказниками разных стран мученическую судьбу так и не осуществилось.

Сам Ян Тервей, освободившись, помогал в том же другим отказникам — пиша о них очерки для журнала «Vrede». Благодаря друзьям в общине, устраивавшим юному таланту выставки, он скоро нашёл щедрых покупателей и для своих живописных работ. Профессор ван Реес отдал ему в жёны свою дочь Mies: для их свободной любви в общине «Роцца Гуманитариев» была построена уединённая хижина. Оставив общине сожительницу и обильное потомство, разочаровавшись в анархистах (в рядах которых становилось всё больше социалистом и атеистов), Ян Тервей отдаётся искусству. С огромным числом постоянных поклонников и покупателей он легко делается свободным художником, и, кстати, тоже немножко писателем: в частности, публикует несколько статей и о Льве Николаевиче Толстом! С 1914 года умница Тервей живёт Швейцарии, уже в «законном браке», подарившем ему дочь и двоих сыновей. Тервей прожил остаток жизни мирно и мудро, как мог только мечтать, покойно, благословляя Господа, в радости и творчестве, и тихо, во сне отошёл к Нему 18 марта 1965 года.

Наконец, *назарены* — христианская секта, основанная первоначально в Швейцарии Сэмуэлем Генрихом Фрелихом (1803 – 1857), и уже в 1840-х годах получившая распространение в Венгрии, а затем и в других странах, преимущественно в Австрии, Сербии и Болгарии. Будучи своей догматической стороной во многом близкими к церковному христианству, назарены отрицали храмы, иконы, физический пост, праздники и всякую внешнюю обрядность. Отрицая также иерархию и святых, они единственным посредником между Богом и человеком считали Христа, который, по учению большин-

ства членов секты, признавался богом, по мнению же более свободомыслящего и разумного меньшинства — человеком. Назарены отрицали суд, присягу и отказывались от употребления оружия на военной службе, подвергаясь за это большею частью тяжким репрессиям. В том же номере 16-м за 1901 г. журнала «Свободная мысль» есть очерк о назаренах, показавших себя в тюрьме города Сегед (в Австро-Венгрии) примерными, трудолюбивыми и нестигаемыми в убеждениях мучениками: «Если нужен добросовестный, ловкий рабочий, то выбирают только назарена...» (*Свободная мысль. 1901. № 16. С. 248*). Отбывшим срок наказания по выходе снова предлагали поступить на военную службу — и так в течение десяти лет, пока не истекал законный срок военной службы в Австро-Венгрии. И назарены снова и снова выбирали тюрьму... Один из них, Степан Шапта, отбыл так полные восемь лет наказания — и готовился, после отказа, к ещё двум (*Там же*).

В 1905 г. молодой толстовец *Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич* (1873 – 1955), под псевдонимом В. Ольховский, выпустит в издании «Посредника» книжечку «Назарены в Венгрии и Сербии», в которой, по существу, выразит толстовскую идеализацию верований, образа жизни и отказов назарен от военной службы, как пути к миру. По закону круговорота добра в природе, содержание этой книжечки Лев Николаевич использует при составлении своего «Круга чтения». Вот отрывок:

«Сущность учения назарен состоит в следовании учению Нового Завета, преимущественно Нагорной проповеди. Они не признают никакой иерархии, писанного учения и вообще организации; учение их не установившееся, изменяющееся, различно в догматическом отношении в различных общинах, — даже в одной и той же общине есть члены, верующие по-своему.

Но нравственное учение у всех одно и то же. Все они ведут строго нравственную воздержную жизнь. Считают главными правилами жизни: трудолюбие, кротость в обращении с людьми, смиренное перенесение обид и воздержание от участия в насилии. Они не признают суда, не платят добровольно податей, не присягают и отказываются от военной службы и вообще к государству относятся, как к ненужному им учреждению.

В свои общины, состоящие преимущественно из трудового народа, назарены принимают только “воскресших духом”, покаявшихся и живущих новой жизнью. Поэтому дети назарен не считаются назаренами, пока не придут в сознательный возраст и сами не пожелают вступить в общину верующих.



Отказ назарен от воинской повинности вызывает против них гонения австрийского правительства. Но назарены твёрдо держатся своего убеждения о несогласии с христианством военной службы и покорно несут накладываемые на них наказания, не изменяя закону Христа.

Свои отказы от воинской повинности назарены основывают на словах Христа: “А я говорю вам: не противься злему” (5, 38 Матф.) и “любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас” (5, 44 Матф.).

Простые крестьянские парни, назарены, часто удивляют своих гонителей той твёрдостью, с которой они переносят всякие мучения. И так поступают не только рекруты, но и запасные, т. е. такие, которые уже после отбытия действительной службы сделали назаренами. Когда их призывают на манёвры, они отказываются брать оружие в руки. Зная, что их за это могут приговорить к пожизненному заключению, они заблаговременно распоряжаются своим хозяйством так, чтобы жена могла управляться одна, и прощаются как бы навеки с своими семьями. Семьи их большей частью сочувствуют их мученичеству.

Так, несколько лет тому назад Йога Радованов (серб) из Вечбаса (Бачка), будучи зачислен в Пеште в 6 полк 6 роту, отказался взять оружие, сказав, что вера его не позволяет ему этого. Суд приговорил его к заключению на 2 года. Старший брат его, приговорённый к заключению в 1894 г., сидел уже 10-й год. Мать этих обоих братьев пришла навестить младшего. Начальство ей не разрешило свидания. Она стояла и плакала на дворе тюрьмы. И в это время увидела в одном из окон лицо сына и сейчас же крикнула ему: “Сыне мой злати, не мой за Бога узети пушку! (Сынок мой золотой, Бога ради не бери ты ружья!)”.

В конце августа 1895 г. призывались запасные Сегединского резервного полка. Когда запасным раздавали ружья, двое из них не хотели принять ружья, потому что, как они сказали, им это не дозволяет назаренская вера. Капитан Олчвари стал говорить им, что Бог любит войско, что ведь теперь идут не на войну, а только на манёвры, где никто не будет проливать крови. Назарены на это ответили: “Но нас для того ведут на манёвры, чтобы выучить убивать людей”. Капитан пытался подействовать на них страхом. Он сказал им, что прошлой осенью один назарен тоже так себя вёл и его несколько раз наказывали и, наконец, заключили на 17 лет в крепостную тюрьму.

— Пусть нас застрелят, — спокойно ответили назарены, — но не можем идти против законов Бога.

Другие запасные пошли к семьям этих назарен, и жёны их, не находившиеся ещё в секте, с плачем просили мужей, чтобы те покорились власти, но они не согласились. Капитан посадил их предварительно на 10 дней тяжёлого ареста. Когда их отводили, они, плача, расставались с семьями.

— Оставайтесь с Богом, — говорили они, — нас заживо похоронят ради господина Бога, ради святой невинности и чистоты душевной, потому что люди должны быть, как агнцы Божии.

Франко Новак должен был отбывать военную службу в Тамешваре. Когда его в первый раз повели вместе с другими рекрутами на учебный плац, он отказался принять оружие. Заметив суету около Новака, бывший на плацу генерал подъехал к этому месту и спросил, что случилось. Ему доложили.

Генерал ласково спросил Новака, почему он не хочет взять оружие. Новак вынул из кармана маленькое Евангелие и сказал: “Высшие власти разрешают печатать эту книжку, а также не запрещают жить по высказанным в ней заветам. В книге же этой сказано: “Люби ближнего, как самого себя”. Не принимаю оружия потому, что хочу следовать заветам Спасителя”. Генерал спокойно выслушал до конца Новака, потом сказал ему: “Однако в этой же книжке сказано: кесарево — кесарю, Божье — Богу”.

Новак сначала смутился и молчал, но потом, одумавшись, снял военную фуражку, оружие, мундир и, положив всё это, сказал: “Вот, всё это его величества кесаря, вот и я отдам ему всё, что его”» (42, 386 – 388).

И, для контраста — сколь далеки от таковых святых людей, безмерно далеки, были устроители, распорядители и пропагандоны российско-японской бойни! Главная вина и ответственность ложится, конечно же, не столько на тех, кто непосредственно гнал людей на убийство, сколько на тех, кто настолько извращал и по сей день извращает душу человека, что делает возможным подчинение людей самым нелепым требованиям.

Главная доля ответственности за войну лежит на светских и религиозных учителях, которые проповедуют детям и малодумающим взрослым людям патриотизм и подкрепляющую его ложную веру, извращая учения великих учителей человечества.

В русско-японской войне совершилось столкновение двух религий — христианской и буддийской, одинаково запрещающих убийство. Мы знаем хорошо, как учителя лжехристианства православия извращали и извращают заповеди Христа в своих катехизисах и официальных проповедях и учебниках для школ. Но вот, оказывается,

точь-в-точь то же самое происходило в ту эпоху в Японии, которая уже «цивилизировалась» тогда достаточно для того, чтобы служители её государственной религии, буддизма, множили толкования на учение Будды, в которых доказывалось, что, хотя Будда и учил любви ко всем существам, но врагов — китайцев или русских — убивать полезно и можно.

Лев Николаевич вынес подробности этой стыдной истории из основного текста статьи в сноску. С тем большим удовольствием рассмотрим-ка её попристальной.

Влиятельный учёный монах, начальствующий над 800 монастырями, *Сойен Шакю* (1860 – 1919), далёкий предтеча Геббельса и путинских, фашиствующих Петра Толстого и Владимира Соловьёва, в годы войны служил капелланом в армии Японии и открыто радовался её победе.

В одной из пропагандистских своих статей он «объясняет» своей самурайской лопухой пастве, «что, хотя Будда и запретил убийство, но он же сказал, что он не будет спокоен до тех пор, пока все существа не будут соединены в бесконечном, любящем сердце» (Здесь и далее все изречения Сойена Шакю — по переведённым цитатам Л. Н. Толстого в статье «Одумайтесь!»).

В статье кроме этого сказано от имени Будды:

«Тройной мир принадлежит мне. Все вещи в нём мои дети... Все они только отражения моего Я. Все из одного источника... Все части моего тела. Поэтому я не могу быть покоен до тех пор, пока малейшая часть существующего не будет доведена до своего назначения...»

Таково отношение Будды к миру, и мы, его смиренные последователи, должны идти по его пути.

Почему же мы сражаемся?

Потому что мир не таков, каким должен быть, потому что есть извращённые существа, ложные мысли, дурно направленные сердца, вследствие невежественной субъективности. И потому буддисты никогда не перестанут воевать со всеми произведениями невежества, и война их продолжится до горького конца. (To the bitter end.) Они не помилуют. (They will show no quarter.) Они уничтожат корни, из которых вытекают несчастья жизни.

Чтобы достигнуть этого, они не пощадят своих жизней» (36, 142).

Дальше идут, такие же, как у православных брехотворцев, путанные рассуждения о самоотвержении и незлобivosti, переселении душ и многое другое... «Всё только для того, — констатирует Лев Николаевич, — чтобы закрыть ту простую и ясную заповедь Будды о том, чтобы не убивать» (Там же).

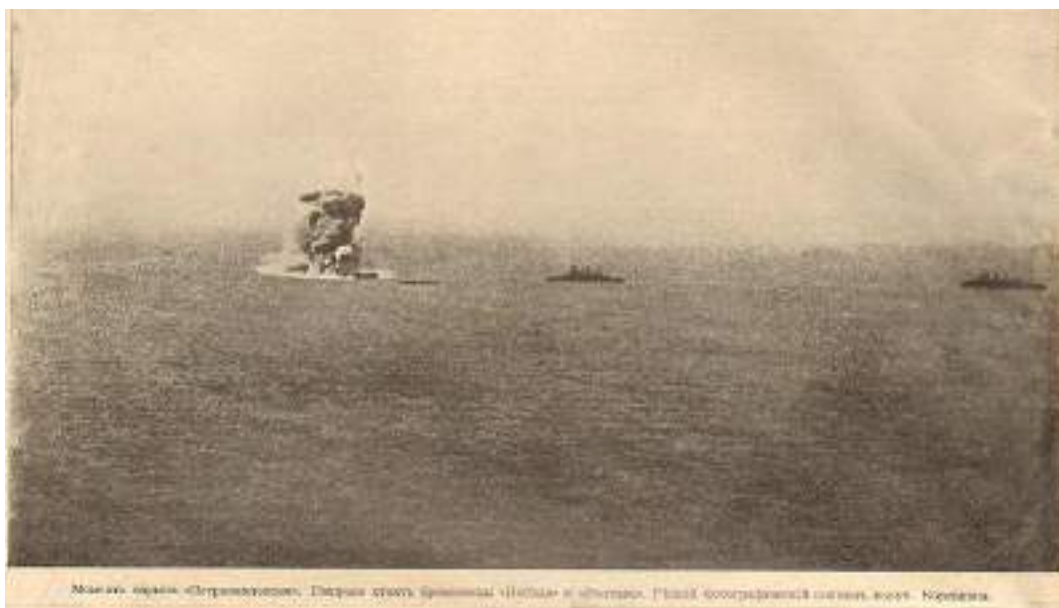
Наконец, говорится: «Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел, не принадлежат личности, а суть орудия, которыми пользуется Начало, стоящее выше преходящей жизни» и т. д. («The Open Court», May, 1904. Buddhist Views of War. The Right Rev. Soyen Shaku).

Что тут сказать? Конечно, посоветовать каждому из таких седомудрых обманщиков начать с себя. Ибо именно *они* — главные извратители мышления и сердец людей, устремляющихся к миру и к добру. «Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел» — всегда были и будут не «превыше преходящей жизни», а много ниже её. Ибо «преходящая» мирная жизнь — тоже часть жизни вечной разума, и человек должен не отступать от её законов и смыслов, как это происходит, когда он повинуетя низшим поведенческим программам своей первобытной, именно животной природы. «Учитель» же Сойен Шакю — благословляет именно такую потачку неизжитой животности целых миллионов людей!

Когда человек блудит, то это его похоть, подстёгиваемая воображением, творит грех — а не бесы в головке полового члена или божок любви со стрелами. Так точно и к войне гладкокожих, бесхвостых зверюшек Дарвина подвигают не духи или демоны, не боги или Бог, а то же потворство отжитому и вредному, а с XX века опасному и не для одного человечества, стадному, звериному состоянию.

\* \* \* \* \*

Глава Одиннадцатая — отклик Толстого на известия о гибели 31 марта эскадренного броненосца «Петропавловск». Будущий герой Цусимы (27 мая 1905 года в Цусимском сражении японский флот наголову разгромил 2-ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры), талантливый японский стратег и военачальник адмирал Того Хэйхатиро (1848 – 1934) 30 марта выманил русскую эскадру из восьми миноносцев на заранее подготовленные японские крейсера и минное заграждение. Сперва, в ночь на 31-е, поймался миноносец с «говорящим» названием «Страшный» — в темноте принявший японскую эскадру за «своих» и, на рассвете, красиво расстрелянный в упор. На помощь имперскому корыту геройски ринулось другое такое же, броненосец «Петропавловск», на котором присутствовал лично командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров — и японцы благоразумно отступили, наблюдая красивый финал.



Конечно же, корыто смерти подорвалось на установленных умницами японцами минах! Понадеявшийся на русский “авось” Макаров погиб вместе с 10 штабными офицерами, включая начальника штаба контр-адмирала М. П. Моласа, 17 или 18 корабельными офицерами, 620 – 652 матросами (данные о числе погибших в разных источниках отличаются), судовым священником о. Алексием Раевским и, вишенкой на торте — известным художником-баталистом Василь-Васильевичем Верещагиным, делавшим наброски для будущих своих героико-патриотических картинок.



Вынос жертв «Петропавловска». На заднем плане повреждённый броненосец «Победа». Фото 31 марта 1904 г.

«Я кончал эту статью, когда пришло известие о гибели шестисот невинных жизней против Порт-Артура» — так начинает Толстой Одиннадцатую главу, по понятным причинам относя к *невинным* жертвам только простых матросов, убиенных тётей «родиной»: тех «несчастных, собранных со всей России людей, которых с помощью религиозного обмана и под страхом наказания, оторвав от их честной, разумной, полезной, трудовой, семейной жизни, загнали на другой конец света, посадили на жестокую и нелепую машину убийства и, разорвав в клочки, потопили вместе с этой глупой машиной в далёком море, без всякой нужды и какой бы то ни было возможности пользы от всех тех лишений, усилий, страданий и смерти, которая их постигла» (36, 136).

Но, как и в 2022-м году с потоплением обороняющими своё отчество украинцами крейсера «Москва» — ни в среде участников войны, ни в основной массе общественности не явилось в головках и, тем более, речах никаких рефлексий не то, что христианской, а хотя бы светско-гуманистической и антивоенной направленности. Вели и шли на убийство и смерть — и готовы, как скот, дальше!

В связи с этим Л. Н. Толстой приводит исторический характерный прецедент, вычитанный им в книге «Thaddée Wylezinski. Mémoires. Episode de la Révolution de Pologne de 1830 – 1831, avec une préface de M. Constantin Woënsky», мемуарах Фаддея Иосифовича Вылежинского (1794 – 1844), подполковника польских войск, флигель-адъютанта императора Николая I, во время Польского восстания 1830 – 1831 гг. бывшего дипломатом в переговорах императора с диктатором восстания, Иосифом Хлопицким (1771 – 1854).

Хлопицкий придерживался политически умеренных взглядов и, не веря в возможность военной победы восставших при столкновении с силами России и в возможность интервенции Европы в пользу Польши, пытался разрешить кризис дипломатическим путём. За это он подвергался ожесточённым нападкам радикально-демократического крыла повстанцев — т. н. «клубистов», которые ставили на расширение восстания и поддержку Европы. Однако популярность в народе, верившего в Хлопицкого как в военного гения, способного спасти Польшу, парализовала оппозицию клубистов. С другой стороны, и переговоры с Россией не увенчались успехом:

«В 1830 году, во время польской войны, посланный от Хлопицкого в Петербург адъютант Вылежинский в разговоре с Дибичем, шедшем на французском языке, на поставленное Дибичем условие, чтобы русские войска вступили в Польшу, отвечал (далее перевод диалога с французского. – Р. А.):

— Господин маршал, я думаю, что при этих условиях совершенно невозможно, чтобы польский народ согласился принять этот манифест.

— Поверьте, император не сделает уступок.

— Тогда я предвижу, что, к несчастью, будет война, много будет пролито крови, много несчастных жертв.

— Напрасно вы думаете так, самое большое погибнет с обеих сторон 10 000 человек, только всего.

<Это> сказал своим немецким акцентом Дибич, вполне уверенный, что он, вместе с другим, столь же жестоким и чуждым, как и он, русской и польской жизни человеком, <имп.> Николаем Павловичем, имеет полное право приговорить или не приговорить к смерти десятки, сотни тысяч русских и польских людей.

Вылежинский прибавляет от себя: “Фельдмаршал не думал тогда, что более 60 000 только русских погибнет в этой войне, не столько от неприятельского огня, сколько от болезней, и что он сам будет в том числе”.

[...] 60 тысяч жизней кормильцев семей погибло по их воле. И теперь происходит то же самое» (*Цит. по: 36, 136 – 137*).

Война с Японией, пророчит, на возвышении эмоций, Лев Николаевич, потребует больше жертв, нежели русско-польская за 70 лет до того: жертв «живых русских людей, которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей, грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее безнравственные, тщеславные люди, сидящие теперь спокойно в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барышей от убийства этих 50 000 ни в чём не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями, несчастных, обманутых русских рабочих людей. Из-за чужой земли, на которую русские не имеют никакого права, которая грабительски захвачена у законных владельцев и которая в действительности и не нужна русским, да ещё из-за каких-то тёмных дел аферистов, хотевших в Корее наживать деньги на чужих лесах, тратятся огромные миллионы денег, то есть большая часть трудов всего русского народа, закабаляются в долги будущие поколения этого народа, отнимаются от труда его лучшие работники и безжалостно обрекаются на смерть десятки тысяч его сынов. И гибель этих несчастных уж начинается. Мало того, война ведётся теми, которые затеяли её, так дурно, небрежно: всё так не предвидено, не приготовлено, что, как и говорит одна газета, главный шанс успеха России в том, что у неё неистощимый человеческий материал. На это и рассчитывают те,

которые посылают на смерть десятки тысяч русских людей» (Там же. С. 137 – 138).

Образом, позорнейшим для современного нам гнезда бандырей, воров и разбойников — для путинской России — это описание Льва Николаевича подходит и для совершающегося в наши дни преступления — военной агрессии России в Украине.



«Неистощимый человеческий материал». Карикатура 2022 г.

Далее Толстой прибегает к очень страшному, но точному и тоже актуальному сравнению:

«Пешая саранча переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом.

И вот первый нижний слой уж начинает топиться, показывая путь другим тысячам, которые все так же погибнут.

И что же, начинают понимать свой грех, своё преступление зачинщики, распорядители и возбудители этого ужасного дела? Нисколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют свою обязанность, и гордятся своей деятельностью.

[...] “Зрелая нация не сделает другого вывода из поражения, хотя бы и неслыханного для неё, как тот, что надо продолжать, развить и закончить борьбу. Найдём же в себе новые силы; явятся новые витязи духа”, пишет <газета> «Русь». [...]



И с ещё бóльшим остервенением продолжаютя убийства и всякого рода преступления» (Там же. С. 138 – 139).

\* \* \* \* \*

Лев Николаевич кончил было уже свою статью, когда 8 мая 1904 г. он получил интересное письмо, от 11 апреля 1904 г., от матроса Ефима Савельевича Ивуса, в котором задумавшийся о смысле происходящего матрос просил разрешить его сомнение о совместимости войны с христианской религией. Об этом письме он записывает в своём Дневнике:

«8 мая. Нынче получил письмо от матроса из Порт-Артура: "Угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать?"» (55, 33).

В тот же день Толстой написал дополнение к Двенадцатой главе, в которое целиком включил письмо матроса, и сразу отослал его В. Г. Черткову, предварив его таким обращением к адресату: «Присылаю вам ещё прибавление к статье. Распорядитесь с ним как хотите. Напечатайте в статье или в отдельном письме или вовсе уничтожьте. Вот оно» (Цит. по: 36, 612). Драгоценное для Льва Николаевича письмо Ивуса было перепечатано секретарём на пишущей машинке, тогда как своё письмо и прибавление к статье он уместил на обрывке почтового листка и ещё одном листочке из блокнота (Там же). Конечно же, Чертков не уничтожил его — хотя до этого, как особенно доверенный друг и духовный последователь Льва Николаевича получил от него *carte blanche* «выключать» из текста всё, что покажется Черткову излишне резким, «нехорошим»: «Я нынче в таком духе, что особенно живо чувствую своё зло» (Там же). Увлечённость, задор вдохновенного творческого порыва, даже и праведный гнев — требовали от Толстого-публициста потом, в более спокойном настроении, множественных правок, на которые не доставало времени и сил.

Образец Льва во гневе — начало Двенадцатой главы, ставшее реакцией на новые, в газетах, призывы пролить ещё больше крови в битве с «низкой» Японией, под лозунгом «Довольно сентиментальничать!» (кстати, то же самое в наши дни вещают лживые пропагандисты войны России с Украиной):

«Только что отослал последние листы статьи о войне, как пришло ужасное известие о новом злодеянии, совершённом над русским народом теми легкомысленными, ошалевшими от власти людьми,

которые присвоили себе право распоряжаться им. Опять наряженные в разные пёстрые наряды, раболепные и грубые рабы рабов, разных сортов генералы, из-за желанья отличиться или насолить один другому, или заслужить право присоединить к своим дурацким пёстрым нарядам ещё звездочку, побрякушку или ленточку, или по глупости, или по неряшеству, — опять эти ничтожные, жалкие люди погубили в страшных страданиях несколько тысяч тех почтенных, добрых, трудолюбивых рабочих людей, которые кормят их. И опять это злодеяние не только не заставляет задуматься или покаяться виновников этого дела, но и слышишь и читаешь только о том, как бы поскорее ещё искалечить и убить побольше людей и ещё больше разорить семей и русских и японских» (Там же. С. 140).

Здесь же, вслед изложению позорной истории с Соёном Шакю, неустаревающие, к сожалению, в своей актуальности для России истории с мобилизацией и проводами «запасных»:

«Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроём ехали на телеге. Он был немного выпивши, лицо жены распухло от слёз. Он обратился ко мне:

— Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток.

— Что же, воевать будешь?

— Надо же кому-нибудь драться.

— Никому не надо драться.

Он задумался.

— Как же быть-то? Куда же денешься?

Я видел, что он понял меня, понял, что то дело, на которое посылают его, дурное дело.

“Куда же денешься?” Вот точное выражение того душевного состояния, которое в официальном и газетном мире переводится словами: “За веру, царя и отечество”. Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют: “Куда же денешься?” Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России

[...] Те же, которые остаются, не только чувствуют, но знают и выражают это. Вчера я встретил на большой дороге порожнем возвращавшихся из Тулы крестьян. Один из них, идя подле телеги, читал листок.

Я спросил:

— Что это, телеграмма?

Он остановился.

— Это вчерашняя, а есть и нынешняя.

Он достал другую из кармана. Мы остановились. Я читал.

— Что вчера на вокзале было, — начал он, — страсть. Жены, дети, больше тысячи; ревут, обступили поезд, не пускают. Чужие плакали, гядучи. Одна тульская женщина ахнула и тут же померла; пять человек детей. Распихали по приютам, а его всё же погнажи... И на что нам эта кака-то Манчжурия? Своей земли много. А что народа побжи и денег загубжи...

Да, совсем иное отношение людей к войне теперь, чем то, которое было прежде, даже недавно в 77 году. Никогда не было того, что совершается теперь.

Газеты пижут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неопикуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, как там повесилось трое призванных запасных, там ещё двое, там оставшаяся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова: “за веру, царя и отечество”, гимны и крики “ура” уже не действуют на людей, как прежде: другая, противоположная волна сознания неправды и греха того дела, к которому призываются люди, всё больше и больше захватывает народ.

Да, великая борьба нашего времени не та, которая идёт теперь между японцами и русскими, или та, которая может разгореться между белой и жёлтой расами, не та борьба, которая ведётся минами, бомбами, пулями, а та духовная борьба, которая не переста- вая, шла и теперь идёт между готовым к проявлению просвещённым сознанием человечества и тем мраком и тяжестью, которые окружают и давят его.

Христос, тогда ещё, в своё время томился ожиданием и говорил: “Огонь пришёл низвесть я на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся”. (Лука XII, 49.)

Чего желал Христос, совершается. Огонь возгорается. Не будем же противиться, а будем служить ему» (Там же. С. 144, 146 – 147).

К сожалению, по нашему времени, по фашиствующим в Украине, мародёрствующим, убивающим детей подонкам на жалованьи из путинской России мы хорошо видим, сколь идеализировал Лев Николаевич Толстой духовный прогресс *немногих* — на фоне массового повиновения или, самое большее, рабского бунта, самоубийств.

Да и процент этих немногих мог бы быть ещё значительно меньше — свидетельствует один из ближайших и дорогих Толстому людей,

крестьянин-единомышленник *Михаил Петрович Новиков (1871 – 1939)*, если бы речь шла не о Японии, которая «находится через море» а, например, о традиционном и хорошо известном враге — Турции: её «беззаконные поступки вызвали бы взрыв негодования и возбудили бы высокое патриотическое настроение в народе», даже при том, что в родной Новикову Лаптевской волости, Тульского уезда и Тульской же губернии, как признаётся в мемуарах сам этот неглупый мужичок, «газеты редко где выписывались по одной на деревню» (*Новиков М.П. Из пережитого. М., 2014. С. 193 – 194*). Дело лишь в подходящем пропагандистском обмане, и война обрела бы популярность. К моменту начала агрессии японцев таковой российское правительство заготовить для лапотных своих лохопырок не успело:

«Понятный в других войнах лозунг “За веру, царя и отечество” здесь был совсем не применим, так как никто нашей веры, ни царя и отечества трогать не собирался, а другого лозунга не успели сочинить, так и осталось пустое место» (*Там же. С. 194*).

Теперешняя полоумная война России в Украине демонстрирует такое же «пустое место», с которого, за первые же месяцы 2022 года, наспех состряпанная оправдывающая её ложь смылась, как гадкий грим со злого клоуна.

Следом за христианским пожеланием, в завершение Двенадцатой главы, стоит дата: 30 апреля 1904 г. — и основной текст этой именно Главы статьи «Одумайтесь!» завершается. Но отнюдь не завершается канонический текст всей статьи! Письмо, полученное от матроса Ивуса, заставило продолжить. Приводя в своеобразном эпилоге к статье письмо Ивуса, находившегося на крейсере «Паллада», Толстой воспроизводит, хотя и не вполне точно, орфографию подлинника:

«Писмо от матроса (следует имя, отчество и фамилия). Многа уважемаму Леву Николаевичу кланеюс и Вам нижающе Почтение низкае Поклон слюбовью многоуважаемае Лев некалаевич. Вот и четал ваше сочнение оно для мене очен была четать Прятна я очень Любителъ Был четать ваше сочнение так. Лев никалаевич унас теперь Военая дество как Припишите Мне пожалуста Угодна оно Богу ил нет что нас началства заставлает убевать. Прашу я Вас лев никалаевич Припишите мена Пожалуста что есть теперя на свети Правда ил нет. Припишите мне Лев никалаевич унас уцеркви Идёт Малитва Священник поминает Христалюбимае военства. Правда эта или нет что Бог Узлюбел Воену. Пращу я вас лев некалаевич нетли увас таких книжек чтоб и увидал есть насвети Правда или нет. Пришлите мне

таких книжек сколка это будет стоить я заплачу. Прашу я вас Лев Николаевич не оставте мое прозби когда книжак нет то пришлите Мне письмо. я очень Буду рад как я Получу ат вас Письмо. Снетерпениемъ буду аждать ат вас Писма. Теперь да сведане остаюсь жив издаров итого вам желаю ота Госпада Бога добраго здорове вделах ваших хорошого успеха» (36, 147 – 148).

Вот, с датой 8 мая, комментарий Льва Николаевича об этом письме, уже совершенно завершающий статью — из которого труднее выкинуть хоть слово, чем из многих современных стихов или песен:

«Прямо словами я не могу ответить этому милому, серьёзному и истинно просвещённому человеку. Он в Порт-Артуре, с которым уже нет сообщения ни письменного, ни телеграфного. Но у нас с ним всё-таки есть средство общения. Средство это есть тот Бог, в которого мы оба верим и про которого мы оба знаем, что военное “действие” не угодно Ему. Возникшее в его душе сомнение есть уже и разрешение его.

И сомнение это возникло и живёт теперь в душах тысяч и тысяч людей, не только русских и не только японских, но и всех тех несчастных людей, которые насилием принуждаемы к исполнению самого противного человеческой природе дела.

Гипноз, которым одуряли и теперь стараются одурять людей, скоро проходит, и действие его всё слабеет и слабеет; сомнение же о том, “*угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать*”, становится всё сильнее и сильнее, ничем не может быть уничтожено и всё более и более распространяется.

Сомнение о том, угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать, это искра того огня, который Христос низвёл на землю и который начинает возгораться.

И знать и чувствовать это — великая радость» (Там же. С. 148).

Письмо Ивуса, напомним, датировано 11-м апреля — то есть, с высокой вероятностью, залежалось в какой-то военной цензуре. Получено оно было, увы! слишком поздно: с Порт-Артуром тогда прервалась связь... Но известно, что бронепалубный крейсер «Паллада» в этот период войны не участвовал (вплоть до битвы в Жёлтом море 28 июля) в крупных сражениях и, вплоть до потопления японцами 8 декабря, не терпел крупной убыли личного состава. Судьба Ефима Савельевича Ивуса, к сожалению, неизвестна: в литературе отсутствуют даже даты его жизни. Успел ли кто-нибудь, до катастрофы в декабре, рассказать ему, что Лев Николаевич сделал лучше, чем если бы написал простой ему, одному матросу, ответ? Детали биографии

и судьба умного и доброго матроса, если и будут когда-то попытки их восстановить — дело кропотливых архивных изысканий.

\* \* \* \* \*

С заключительной, Двенадцатой главой статьи связан ещё один интереснейший сюжет — и история ещё одного отказника. Следом за рассказом о призыве запасного, нами выше цитированном, Толстому потребовалось привести образец писем, получаемых им в эти дни от призванных, оторванных от мирных жизни и труда, «людей рабочего народа», то есть, в первую голову, крестьян. Два письма одного из призванных — и одного из самых близких Толстому единомышленников, упоминавшегося уже выше крестьянина Михаила Петровича Новикова.

Михаил Петрович, как и старший брат его Адриан (1865 – 1930), проживали в селе Боровково, Лаптевской волости Тульского уезда, Тульской же губернии. 26 октября 1902 г. в письме к Анатолию Фёдоровичу Кони Толстой сообщал: «В Тульском уезде есть замечательная по нравственности, уму и образованию семья крестьян Новиковых» (73, 311). Адриан служил лакеем в Москве у Волконских. Со взглядами Толстого познакомился через свою барыню. Оба брата, лакей и толстовец — гостили в Ясной Поляне, писали Толстому и оставили о своей жизни мемуары.

До японской мобилизации Михаил Петрович уже был в военной службе — в качестве грамотея и умницы, старшим военным писарем в воинской части в Москве. В 1893 г. Толстой прочёл рукопись одной из его статей и сразу заметил его талант. Он использовал материал статьи в своей драме «И свет во тьме светит». В 1896 г. Толстой встретился с Новиковым и тогда же записал о нём в дневнике: «...изменил свою жизнь, вследствие моих книг. [...] Горячий юноша» (53, 83).

Толстой часто встречался с Новиковым, вскоре «за либеральные идеи» (по сведениям из того же письма Толстого к Кони) тот был разжалован из писарей и сослан в Тургайскую область. Вернувшись из ссылки, поселился в деревне и занялся крестьянским трудом, продолжал писать о крестьянской жизни. Начальство и духовенство стали для него заклятыми врагами. Из-за сложностей характера и убеждений Михаила Петровича всё чаще происходили столкновения. В 1902 г. ему пришлось хоронить своего ребёнка в огороде, ибо священник не разрешал это сделать на кладбище. Немного позднее,

став членом комитета по нуждам сельскохозяйственной промышленности, Новиков подал в комитет достоверное и правдивое описание жизни крестьянства и его нужд. «Записка эта, в которой говорится о выкупных платежах, давно покрывших долг и всё-таки собираемых, о малоземельности, об унижении крестьянства, о дурной постановке школ, вызвала [...] большое негодование против Новикова. ...Его арестовали и вытребовали в Петербург по приказанию министра внутренних дел» (73, 312). «Совестно жить в государстве, где могут делаться такие дела» — добавляет Л. Н. Толстой (Там же).

Как и в случае с похоронами церковно-«беззаконного» ребёнка, тогда всё для Новикова завершилось благополучно — но благодаря ходатайству Толстого и его друзей.

Письмо 24 апреля 1904 г. и последующие — бесценный материал, характеризующий не столько отношения к Русско-Японской войне толстовцев (Новиков в этом отношении всегда был особняком и «себе на уме»), сколько, берём шире — именно трудолюбивого, зажиточного крестьянства, которому безусловно, и помимо жизни и семейств «было, что терять» в вырванной из-под них в начале 1904-го мирной жизни.

Толстой использовал письма Новикова в статье «Одумайтесь», а сам Новиков — в статье «На войну!», образчике действительно хорошей публицистике и одновременно своеобразной мести Михаила Петровича тётке «родине». Благодаря Толстому и Черткову статья увидела свет в бесцензурном издании в Англии.

Приводим ниже самое интересное из писем, от 24 апреля 1904 г., не по сильно сокращённым, «журнальным» вариантам, а в более полном виде — почти так, как оно было получено и прочитано Толстым:



Сохранившиеся фотоизображения М. П. Новикова

«Дорогой Лев Николаевич.

Ну вот, сегодня я получил явочную карту о призыве на службу, завтра должен явиться на сборный пункт, вот и всё, а там дальше на Дальний Восток, под японские пули. Про моё и горе моей семье я вам не говорю, вам ли не понять всего ужаса моего положения и ужасов войны! Всем этим вы уже давно переболели и всё понимаете. А как мне всё хотелось у вас побывать, с вами поговорить. Я было написал вам большое письмо, в котором изложил муки моей души, но не успел переписать — и получил явочную карту. Что делать теперь моей жене с четверыми детьми, из которых двое так называемые некрещёные? Как старый человек, вы, разумеется, не можете интересоваться судьбою моей семьи, но вы можете попросить кого-либо из ваших друзей ради прогулки навестить мою осиротелую семью, тем более что от ст. Лаптево до нашего Боровкова меньше часу ходьбы. Ведь окружающая нас среда очень рада, что меня берут на войну, в надежде, что я не вернусь...

Я вас прошу душевно, что, если моя жена не выдержит муки своего сиротства с кучей ребят и решится пойти к вам за помощью и советом — вы примите её и утешьте: она хоть вас и не знает лично, но верит в ваше слово, а это много значит. Тем более, что мы так изверились в людях, что кроме вас не знаем человека, который бы совершенно искренно мог относиться к другим людям. У всех на словах любовь и благожелание, а на деле предвзятая цель и особенная политика.

Противиться призыву я не мог, но я наперёд говорю, что через меня ни одна японская семья сиротой не останется. Господи, как всё это ужасно, как тяжело и больно бросать всё, чем живёшь и интересуешься. Как мизерны и мелки кажутся теперь все понятия и сказки про богов и чертей, про чудеса и святых, перед страшными бедственными ужасами войны. Учат, что Бог ради какого-нибудь одного старичка делал чудо, делал его нетленным и чудодейственным, где же теперь этот Бог и что ещё медлит с новыми чудесами, чтобы остановить братоубийственное кровопролитие? Ужели тысячи безвинных жертв и сирот не стоят и одного чуда, не стоят того, чтобы Бог пошевелил пальцами? Очевидно, он сам страшится современного вооружения и новейшей техники военного чуда. [...]» (Новиков М.П. Письма 1896 – 1935 // Новиков М.П. Указ. изд. С. 396 – 397).



26 апреля Лев Николаевич кратко отвечал своему очень умному, с непростым характером (ради его демонстрации читателю мы и восстановили некоторые фрагменты письма, субъективно-личные, обыкновенно в литературе опускаемые), единомышленнику:

«Близкий сердцу моему брат Михаил Петрович.

Получил ваше письмо и без слёз не мог читать его и теперь не могу думать о вас.

Всё, что возможно, сделаем для семьи вашей и на днях посетим её. В материальном отношении наверное всё нужное будет сделано, в духовном будем стараться.

Братски целую вас. Помогай вам тот Бог, который в нас, всё больше и больше расширяясь и разгораясь в душе вашей.

Лев Толстой» *(Там же. С. 397).*

Окончание этого письма при цитировании так же обычно опускают, а между тем оно характеристично: Толстой, как ему было свойственно, идеализировал в «хорошую» сторону Новикова, считая его безусловным единомышленником — чем Михаил Петрович, по адскому внутреннему свободолюбию, и не мог бы никогда быть!

Сведения из писем М. П. Новикова хорошо дополняют его же опубликованные воспоминания. Приводим ниже отрывок из главы «Японская война».

«Всю зиму 1904 г. шли мобилизации сибирских крестьян как более близких к месту действия, к весне же эта общая беда подошла и к нам, коснулась и нашего дома. [...] Идти на войну, да ещё на такую непопулярную, для меня было гораздо хуже каторги. По своим убеждениям я не мог себе представить, что я там буду делать и зачем я это стану делать? Руки опускались заранее, и заранее же я знал, что пользы там принести не могу, а потому и не должен по совести обманывать начальство. Надо было отказываться, и я стал к этому готовиться.

На подготовке в Туле я пробыл недель шесть и всё никак не мог собраться с духом, чтобы отказаться. Я знал, что в военное время мой отказ вызовет самое суровое наказание, и я мысленно мирился с этим.

В казарме я слышал открытый ропот солдат, которые также осуждали эту войну и не хотели идти туда.

— За что нам воевать, за чужую квартиру? — говорили солдаты из рабочих. — У нас собственности нет, а работать на других не всё ли одинаково: будь то русский заводчик и фабрикант, будь то немец или японец. Может, японский-то купец ещё дороже платить будет.

— Ни за что не поеду, — говорил один из них, — как посадят в вагоны, так я на мосту в реку брошусь (он и бросился), пускай хоть могила на родине детям останется, а там сдохнешь, дети и могилы не будут знать.

— А нам и совсем не за что воевать, — говорили смельчаки из крестьян. — Земли наши японец не трогает и не собирается трогать, да и земли-то у нас мало, а воевать за целостность помещичьих имений не согласны. Мы и поедem туда, а что толку-то от этого, будем там дурака валять да больными притворяться.

[...] О таких разговорах скоро узнало начальство и приказало взводным и фельдфебелям не допускать собираться в кучки солдатам и сейчас же их разгонять, а кто будет разговорами заниматься — тех сажать в карцер» (Новиков М. П. *Из пережитого*. Указ. изд. С. 194 – 195).

Драматические подробности проводов солдат родными и будней «в лапах материалистической организации» Новиков описывает во втором письме к Толстому, от 27 апреля 1904 г. (см. Там же. С. 397 – 399). В ответе, датированном 30 апреля, Толстой высказывает желание повидаться с любимцем в Туле (Там же. С. 399).

В один из праздников отпущенный Новиков сам навещает в Ясной Поляне Льва Николаевича — и сразу получает от старца посильные ободрение и моральную поддержку:

«Лев Николаевич плакал вместе со мною над моим положением, плакал и за всех тех несчастных, которые должны ехать на убой за десять тысяч вёрст и погибать там в канавах неизвестно за что.

[...] — Ко мне теперь каждый день приходят женщины с детьми, — говорил он, — чтобы я похлопотал им о пособии. Приходят и плачут. И я плачу вместе с ними. Разве им пособия нужны? Им нужны их сыновья, мужья, отцы и братья, а без них сколько бы они ни получали пособия, все они будут горькими вдовами и сиротами... Дипломаты уверяют, что без войны никак нельзя, нельзя договориться. А когда прольют реки крови, погубят и искалечат миллионы людей, тогда у них сразу прибавится ума и они всё же стоворятся.

Когда я рассказал Льву Николаевичу о том недовольстве войной запасных, какое я видел в казарме, он сказал:

— Да, так оно и должно быть на деле. Патриотизмом заражены только газеты и газетные писаки, которые теперь получают уйму денег за своё враньё, да те дельцы, которые наживают во время войны капиталы, а народ молчит и страдает. За этим и солдат подпаивают водкой, чтобы они в пьяном угаре забывали своё настоящее положение в этой жизни. Да, да, ведь без ужаса и омерзения нельзя даже и подумать об этом огульном злодеянии, на которое посылают их, а их

ещё заставляют ходить под музыку и песни на это злодеяние, заставляют кричать "ура", когда от них побегут недобитые ими солдаты другого народа» (*Новиков М.П. Из пережитого. С. 195 – 196*).

С этим именно настроением Толстой писал «Одумайтесь!». Вероятно, Новиков и навещал его в дни завершения работы над статьёй — скорее всего, в мае, в котором «неприсутственных дней», с возможностью отпуска с места сбора призванного запасного, было и в Российской Империи предостаточно. Тем более, что Новиков спешил посоветоваться с Толстым о готовящемся им отказе служить.

Как обычно в таких случаях, Толстой предостерёг отказника:

«Главное, бери только по своим силам, и непременно поговори вперёд с семейными» (*Там же. С. 195*).

Об отказе своём Михаил Петрович рассказывает ярко, характерно, и столь при том немногословно, что отрывок этот читаем за возможное привести ниже целиком.

«Недели за три до отправки на войну я подал всё же письменное заявление об отказе от службы с оружием в руках, мотивируя тем, что по чистому человеческому разуму, не затемнённом ни страхом, ни корыстью, ни желанием карьеры, делать этого нельзя, и, чтобы не обманывать начальство, я заявляю об этом наперёд. Может, я и не прав политически, говорил я в этом заявлении, но иначе поступать не могу, так как политика есть условная ложь и ширма, за которой люди обычно прячут свою совесть, что жизнь человека и её задачи перед людьми и Богом совсем не в этой политической лжи, а только в делании добра и правды, в желании другому того, чего желаешь себе.

Я считался рядовым 4-й роты II пехотного Псковского полка, но, минуя непосредственное начальство, подал своё заявление в полковую канцелярию. На другой день нас погнали с песнями на стрельбище, за семнадцать вёрст от Тулы, и когда нашу роту развели в цепь для стрельбы, по ней неожиданно забежал фельдфебель, выкрикивая мою фамилию. Я отозвался, и меня тотчас же взяли из цепи и с вестовым отправили обратно в Тулу, в штаб полка. На коридоре с пустыми ящиками ко мне вышел адъютант с моим заявлением и спросил:

— Это ты писал сам, собственноручно?

Я подтвердил.

— А ты знаешь, что не только по суду, но я сейчас сам могу пристрелить тебя здесь вот, в коридоре, и никому не буду отвечать за

такую гадину! — гневно закричал он на меня, беря из кобуры револьвер. — Стой и не шевелись! Ты изменник, и с тобой разговоры коротки!

Я спокойно опустил руки и сказал:

— Что вы сделаете со мной, это ваше дело, а моё дело вас не обманывать, пока ещё меня не увезли за десять тысяч верст.

Он гневно обошёл меня кругом, извергая сквернословие и угрожая, а потом, сделавши два выстрела мимо уха, спрятал револьвер и быстро ушёл в канцелярию, дёрнувши по ходу за рукав. Через полчаса ко мне вышел полковник Львов и, с любопытством осмотрев меня с ног до головы, спокойно сказал:

— Нам с тобой возиться некогда, ты от нас не уйдёшь, а пока я тебя перевожу в обоз, а там видно будет, может, ты и сам ещё в разум придёшь!

Обоз стоял за Московской заставой в палатках. Прочитавши присланную со мной бумагу, командир обоза сказал:

— Ты что, баптист, молокан, евангелик?

И, не давши мне ответить, опять заговорил:

— Я знаю, знаю, имел дело с такими солдатами, мы тебе не дадим никакого оружия, а занятия найдём. А пока тебе дадут повозку и пару лошадей, учись их наскоро отпрягать и запрягать.

И мне дали пару лошадей. Бедные лошади, они стояли сотнями около коновязей и с голоду ели свой же навоз под ногами...» (Там же. С. 196 – 197).

В России 2022 – 2023 гг. очень многие, наконец-то, обратили внимание на эту статью Льва Николаевича и очень хорошо, до сердечной боли, смогли посочувствовать Михаилу Петровичу и его семье. Но статья-то 1904 года, господа! Где вы были раньше? Война предотвращается повседневно — послушанием Истине, жизнью в воле Бога. А не так, что, когда взяли за загривок — испугалось, заверещало, запоносило...

\* \* \* \* \*

Тётя «родина» тупо, неспешно, но кое-чему училась... Несмотря на вышеописанную клоунату адъютантишки — лживую и злую, вполне в актуальных традициях «русского мира» — Новиков “отделался” не в пример легче, нежели многие отказники 1880-х и 1890-х годов. Безусловно, сделали своё доброе дело и известия, что Новиков общается с Толстым... По сведениям из писем нашего счастливого отказника к Толстому, ещё до официального переосвидетельствования 21

мая, странной «канцелярской ошибкой» Михаил Петрович был переведён в нестроевую службу, а после вторичного освидетельствования 11 июня — отпущен домой (*Там же. С. 401, 404 – 405*). Стоит заметить, что близкий к губернскому городу, отравленный газетной пропагандой родной общинный мир встретил этого христианина вполне в поганых «традициях» «мира русского»:

«Односельчане ещё больше возненавидели меня, так как все сразу решили, что меня освободил “Толстов”, [...] и их затаённые желания избавиться от меня не сбылись. Первый мужик, который встретил меня за деревней, язвительно спросил: “Что ж, знать, Толстов-то выручил? А ведь с твоей мордой можно было послужить за веру и отечество”» (*Там же. С. 405*).

Эта злая русская псина, облаявшая односельчанина на околице, отчасти была права. Везло не всем. И знакомство с Толстым помогало облегчить участь отказывающихся от военной службы. В комментариях Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого читаем:

«Яков Трофимович Чага (1880 – ?) — сельский учитель, единомышленник Толстого. За отказ по религиозным убеждениям от воинской службы 3 октября 1903 г. был приговорён к 18 годам ссылки в Якутскую область. Лично знаком с Толстым не был. Об отказе Чаги от военной службы сообщалось В. Г. Чертковым: “Свободное слово” 1904, 9» (75, 20).

*Яков Трофимович Чага* (укр. Яків Трохимович Чага; 1880 – после 1949), дитя Украины, уроженец г. Єйська, в 1902 г. на собственных землях под селом Маргаритовка Ростовского уезда устроил с единомышленником, толстовцем Скороходовым, вольную земледельческую общину. Вероятно, это навредило его карьере народного учителя — и, как и Евдоким Дрожжин, потеряв место, он подпал под военный призыв.

Обратим внимание: отказ Якова Трофимовича состоялся ещё в т. н. «мирное время», до начала Японской войны — и сколь суров приговор! Потому что — таки да: «лично знаком не был...». 20 января 1904 г. Толстой написал Чаге такое письмо со словами ободрения и поддержки:

«Когда я узнаю про таких людей, как вы, и про то, что с вами случилось, я всегда испытываю чувство зависти, стыда и укора совести. Завидую тому, что прожил жизнь, не успев, не сумев ни разу на деле показать свою веру. Стыдно мне оттого, что в то время, как вы сидите с так называемыми преступниками в вонючем остроге, я роскошествую с так не называемыми преступниками, пользуясь всеми материальными удобствами жизни. Укоры же совести я чувствую за то, что, может быть, я своими писаньями, которые я пишу,

ничем не рискуя, был причиною вашего поступка и его тяжёлых материальных последствий. Самое же сильное чувство, которое я испытываю к таким людям, как вы, это — любовь и благодарность за всех тех миллионов людей, которые воспользуются вашим делом» (Там же. С. 19 – 20).

И хотя Чага тоже оставил семью, как немногим позднее (и всего на три с половиной месяца!) Михаил Новиков, ему, прежде незнакомому, Толстой лишь предложил, «делая для Бога, а не людей», с Божьей помощью «найти выход и довершить дело» (Там же. С. 20).

Разница налицо... При этом, благодаря Черткову, Чага стал новой иконой мученичества в пропагандистской бесцензурной прессе толстовцев. Для справедливости стоит заметить, что Толстой, узнав от своих учеников о Чаге, уже не забывал ни на день, вёл с ним переписку (известны 12 писем) и писал влиятельным людям прошения об облегчении и его участи. Например, Виктору Николаевичу Булатову, который в 1903 – 1906 гг. был гражданским губернатором Якутской области — с просьбой поселить Чагу, как ссыльного, в более комфортных условиях, в городе Якутске (см. 75, 78 – 79). Более одного письма писать в Якутск не пришлось: вероятно, просьба Льва Николаевича была удовлетворена. Уже в революционном 1905 году Я. Т. Чага был освобождён из ссылки, но в 1909-м — возвращён в Якутск. В любом случае, с помощью Толстого, ссылка эта далась Якову Трофимовичу легче, чем, через много лет, в 1930 году, пять лет сталинских лагерей — «за участие в нелегальной анархо-мистической организации» и, как было с многими толстовцами, за «антисоветскую агитацию», то есть, естественную реакцию на большевизм (<https://base.memo.ru/person/show/2779397> ).

Чаге повезло с «двух сторон». Распоряжением от 26 февраля 1905 г. сектанты, сосланные после 1896 г. в Якутскую область, были возвращены, и ссылка в Якутскую область лиц, отказывающихся от военной службы, была отменена. Но и в 1905 г. отказывавшихся от военной службы судили на основании 105 ст. военного устава о наказаниях — за неповиновение приказаниям начальства. Наказанием был дисциплинарный батальон. Желая хоть как-то на благо отказников использовать недолгие послабления революционной эпохи, Толстой в открытом письме в дружественную ему газету «Русские ведомости» от 1 декабря 1905 г. пытался привлечь общественное внимание к судьбе ещё двоих отказников, Петра Рышкова и Павла Бугаева. От себя Толстой пишет: «Полагаю, что в теперешнее время, когда с одной стороны провозглашена свобода совести, с другой стороны освобождены все политические арестанты, пора бы перестать

наказывать людей за то, что они остаются верными своим религиозным, мирным, братолюбивым убеждениям...» (76, 61).

Сведений о дальнейшей судьбе этих двоих нет, но, вероятно, в данном случае попытка Толстого изменить их судьбу не увенчалась успехом.

\* \* \* \* \*

Несмотря на все предпосылки к отчаянию, наблюдая массовую готовность в военное рабство людей даже по случаю совершенно нелепой, спровоцированной самой имперской Россией войны, Толстому, тем более, были дороги сомнения таких людей, как Михаил Новиков, как Ефим Ивус, в том, «угодно ли Богу» системно организованное «начальством» и профинансированное с народных трудов, с податей, убийство людей. В той же, от 8 мая, записи Дневника, упомянув от письме от Ивуса, он продолжает свою мысль:

«Есть <в народе> это сомнение, и я пишу о нём, но знаю тоже, что есть великий мрак в огромном числе людей. Но, как Кант говорит, как только ясно выражена истина, она не может не победить всё. Когда? — это другой вопрос. Нам хочется скоро, а у Бога 1000 лет как один час. Думается мне, что для того, чтобы кончились войны (и с войнами узаконенное насилие), нужны вот какие исторические события: нужно 1) чтобы Англия и Америка были в войнах разбиты государствами, введшими общую воинскую повинность; 2) чтобы они вследствие этого ввели общую воинскую повинность, и 3) что тогда только все люди опомнятся» (55, 33).

Часть этого пророчества исполнилась. В первой мировой войне Англии угрожало поражение Германией. И Англия, а потом и Америка ввели обязательную воинскую повинность. Конечно, это значительно подвинуло дело мира — в смысле изобличения ветхих обманов. Все народы узнали все ужасы войны, рабство военное и ложь всякого патриотизма. С тех пор для всех очевидно, что только на обмане, подкупе или принуждении держится никому не нужный институт солдатчины, обслуживающий никому не нужные «великие» государства, существование которых, в свою очередь — только следствие уступки масс людей своим давно и ни на что в человеческой разумной жизни не нужным, атавистическим бессознательным животным программам, господствующим над ними вследствие христианского безверия: отвёртывания их от Бога, недоверия Ему и непослушания Христу.

И уже поэтому так важно и актуально всякое слово религиозного публициста — такое, как гениальная статья Л. Н. Толстого «Одумайтесь!» — служащая среди безумия войны духовным и информационным оружием, уничтожающим возможность победы для вредного хищника, такого, как Россия николаевская в годы Русско-Японской войны или как путинская Россия в наши дни.

Замечательный исследователь толстовского наследия, полковник Рик Мак-Пик, преподаватель в военной академии Вест-Пойнт (США), говорит об этом оружии всемирного добра так:

«Его (Толстого – Р. А.) философия войны и мира не оставляет камня на камне от традиционных критериев успеха в вооружённом конфликте, в том числе таких, как патриотизм, героизм и победа [...]. В универсальной системе координат, предложенной им [...], когда люди выбирают насилие для решения какой-либо проблемы, проигрывают все, живущие на земном шаре. Для Толстого настоящая битва происходит в духовной сфере. Поэтому единственная приемлемая стратегия для *духовного воина* — это отказ брать в руки оружие, а истинная мера победы — количество душ, спасённых от насильственной смерти. [...] Стоит ли удивляться, что редкие нации и индивидуумы откликнулись на громкий призыв к миру этого великого воина» (Мак-Пик, Р. Толстой: боец за мир / Р. Мак-Пик // Лев Толстой и мировая литература: Материалы 5-й Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 12 – 16 августа 2007 г. Тула, 2008. С. 39 – 45. Выделение в тексте наше. – Р. А.).

Сам Лев Николаевич с подлинно-христианской скромностью относился к этой своей работе. Очень интересно его отношение к ней выражено им в письме от 1 июня 1904 г. к великому князю Николаю Михайловичу, где Толстой благодарит его за исполненную просьбу о помощи духовоборам и затем прибавляет:

«Я никак не думал, чтобы эта ужасная война так подействовала на меня, как она подействовала. Я не могу не высказаться о ней и послал статью за границу, которая на днях появится и, вероятно, будет очень не одобрена в высших сферах.

В предпоследнем письме вы писали, что может быть когда-нибудь заехали бы в Ясную Поляну. Как ни приятно бы было мне видеть вас у нас, я думаю, что я настолько неприятное лицо правительству — и в особенности буду теперь, после моей статьи о войне, — что ваше посещение меня могло бы быть неприятно для вас, и потому считаю нужным предупредить вас об этом» (75, 116 – 117).

Статья Льва Николаевича имела большой успех и, несомненно, способствовала просвещению человечества.



Отзывы об этой статье, напечатанной в английских газетах, дошли и до Льва Николаевича, и он 22 июня записывает в своём Дневнике: «Вчера в “Русских ведомостях” суждение о моей статье в Англии. Мне было очень приятно, самолюбиво приятно, и это дурно» (55, 57). Приведём здесь два из этих отзывов как наиболее характерные (цит. по биографии авторства П. И. Бирюкова).

«Последнее воззвание Толстого представляет один из самых замечательных документов мировой истории. Это пространная и красноречивая проповедь на текст “война есть убийство”. На эту тему он проповедует с логическим пренебрежением к самым излюбленным преданиям мира. Он обнажает войну, срывая с неё её украшения, гордость, торжественность, и выставляет её в её голом безобразии к ужасу человечества. “Храбрость”, “патриотизм”, “военная слава” — всё это для бесстрашного русского реформатора пустые слова, изобретённые для поддержания системы огульной резни, которую люди называют войной... Для цивилизованного человечества, освободившегося или, по крайней мере, отчасти освободившегося от дикого состояния, позорно то, что война, со всеми связанными с нею жестокостями и страданиями, всё ещё считается не бедствием, которому люди подвергаются, а доблестным делом, достойным восхваления» (Freeman’s Journal).

«Статья Толстого есть пророческое слово, освещённое светом неземного происхождения. Оно дышит самым духом Христа. Но как ни замечательна эта статья со стороны освещения внутренних условий русской жизни, наш интерес сосредоточивается в борьбе иной, нежели та, которая теперь свирепствует между Россией и Японией. Толстой воплощает самое глубокое сознание современного просвещения. Бог заставляет людей выбирать между Его волей и той животностью, которая до сих пор господствовала среди большинства человечества... Наступает новая заря в эволюции высшего человечества... В словах Толстого есть дух, опасный для всех правительств. Но “когда правители отдаются безнравственному честолюбию и убивают своих братьев, увлекаясь грабительскими войнами, они не должны удивляться, если народ отрекается от них” (The Sunday School Chronicle, 29 June 1904).

Но были и отрицательные отзывы, особенно в России. Например, *Софья Дмитриевна Толь* (урожд. Толстая, 1854 — 1917) дочь Дмитрия Андреевича Толстого (1823 – 1889), с 1882 г. министра внутренних дел, шефа жандармов и президента Академии наук, жена графа

С. А. Толя, написала Льву Николаевичу письмо с обвинениями не только в измене тётке «родине» (не значившими для христианина-Толстого ничего), но и с более важными для публициста: в общем недоброжелательном тоне статьи.

Графиня изрядно сгруппировала в своём письме: она, судя по ответу Льва Николаевича, попутно наскочила на него и с обличением в том, что он отвечает только тем, кто хвалит его в письмах. На деле было, скорее, наоборот: хвалители в своих похвалах чаще всего были предсказуемы и скушны Толстому, а вот умные ругатели... Если критика была содержательной и отправитель при этом не «забывал» указать своё имя и обратный адрес — Толстой вполне мог ответить. Ответил он 1 июля и графине, вот как:

«Графиня Софья Дмитриевна, я очень благодарен вам за то, что вы подписались под вашим письмом. А то я часто получаю такого же рода письма и, желая ответить на них, не могу сделать этого. Хочется ответить потому, что особенно больно в мои годы, когда стоишь одной ногой в гробу, знать, что есть люди, которым ты ничего, кроме добра не желаешь, которые ненавидят тебя. Хочется оправдаться, смягчить их.

Вы пишете, что я не отвечу на это письмо, потому что отвечаю только тем, кто меня хвалит. Это не совсем справедливо, я всегда с большим интересом и вниманием читаю письма, осуждающие меня, стараясь извлечь из них пользу. И такую пользу, и очень большую, я извлёк из вашего письма. Вы указали мне на то, что в моей статье есть то, чего не должно быть у христиан — негодования, осуждения. Я и прежде чувствовал это, но ваше письмо ясно указало мне это. Совершенно справедливо, что человек, опирающийся на Христа, должен стараться быть, как Он, кроток и смирен сердцем. А я совсем не то. Не в оправдание себя, но в покаяние себя могу сказать только то, что я слабый человек, далеко не достигший того идеала, к которому, стремлюсь. Я виноват, что тон, дух моей статьи недобрый, но смысл её для меня несомненно истинен, и я буду повторять то же на смертном одре. И уверен я в этом не потому что я верю себе, а потому что верю Христу и закону Бога.

Смягчающим мою вину обстоятельством может хотя немного служить то, что, тогда как вы живёте и Петербурге в среде торжественных приготовлений и воздействий войны, я живу среди несчастного народа, который, живя в крайней нужде, отсылает своих кормильцев на непонятное и ненужное ему побоище, видит только лишения, страдания и смерть. Но я боюсь опять отдаться нехорошему чувству. Лучше замолчу, так как письмо это имеет целью не убеждать вас, а

просить забыть те недобрые слова, которые вы написали мне, и вызывать в себе хотя не доброжелательные, но не недоброжелательные ко мне чувства, с которыми свойственно всем людям относиться друг к другу и которые я испытываю к вам, в особенности вспоминая моё свидание с вами где-то вечером в Петербурге, свидание, оставившее во мне самое приятное воспоминание» (75, 136 – 137).

(Толстой действительно встречался с С. Д. Толь в 1878 г. у матери А. А. Толстой — Прасковьи Васильевны Толстой.)

Консервативное, как сама графиня Толь, «Новое время» увидело в публикации статьи Толстого в газете «Таймс» — то же самое пособничество Толстому в «измене родине» в военное время:

«Что сказал бы “Times”, если бы во время трансваальской войны какая-нибудь французская газета напечатала статью англичанина, который требовал бы, чтобы англичане положили оружие даже в том случае, если Кап и Дурбан, не говоря уже о Лондоне, попали бы во власть буров? “Times” протестовал бы, и основательно. [...]

Для чего же “Times” напечатала статью графа Толстого? Принимая во внимание направление газеты ещё до войны, принимая во внимание, что Англия — союзница Японии, напечатание такой статьи в английской газете является более чем обыкновенным промахом или наивностью. Это, прежде всего действие, достойное порицания» («Новое время». 21 июня (4 июля) 1904 г.).

А насквозь патриотичный «Гражданин» делает из Толстого «злейшего врага и палача» военных «героев», bravо служащих злу, олицетворённому в «государе и отечестве», пославшими их сдыхать из-за халтурного неумения и преступного нежелания «государей» жить без войн:

«Каждый понимает, что есть люди, ненавидящие войну, и есть люди, её идеализирующие; между идущими на войну и героически умирающими на поле битвы есть ненавидящие идею войны, но из любви к Отечеству и его Государю ставящие эту любовь превыше ненависти к идее войны; это и суть ученики Христовы настоящие, ибо, подражая Его примеру, ненавидят зло, но отдают ему свою жизнь во имя любви к своему отечеству. И вот, думал я, читая строки Толстого, в какую жалкую и мизерную личность съёживается этот носитель крупного гения, с комфортом, в своём кабинете Ясной Поляны, посылающий на войну своим друзьям и братьям по крови и по духу ядовитые слова возмущения и смущения, в минуты, когда, среди лишений и страданий, они героически исполняют свой долг и умирают за что-то святое, и когда даже дети в многомиллионном народе понимают и чувствуют, что в эти минуты нужны каждому солдату, кроме пищи, оружия и крова, слова любовного ободрения,

и что тот, кто, кто в это время смущает его словом, чтобы лишить его ободрения, тот злейший враг и палач этих героев» (*Гражданин. 24 июня (7 июля) 1904 г.*).

Как будто не дал «ободрения» Толстой тем, кто поневоле, как скот на убой шёл на эту войну!

Всё та же похабная песенка: Толстой многие «мирные» годы пишет и повторяет одно и то же — его не слышат! Он обобщает и повторяет то же самое более ярко, в одной статье, в «годину войны» — и вот тут-то его, наконец, услышали... и клянут за «предательство», чуть ли не за нравственную и личностную деградацию!

И будто не писан Толстым трактат «Царство Божие внутри вас» с опровержениями высокоумных «благословений» войне. «Гражданин» добавляет свои:

«Зачем понадобилось Толстому напечатать в “Times” эту гадкую антипатриотичную статью, я не знаю, но я не вижу в этом ни самопожертвования, ни жертвы собой ради проявления вложенной в него, на пользу другим людям, силы. Тут одно из двух: либо заблуждение, либо преступление. И то и другое требует немедленного осуждения. Если Толстой, как сын православной церкви, не мог быть терпим за свою религиозную ересь, то он едва ли может быть терпим, как русский гражданин и сын великого народа, за свою политическую ересь. Мы переживаем смутное время, у нас идёт разлад и брожение везде и всюду, но если эту смуту вносят в нашу жизнь не инородцы, а лучшие из русских сынов, убелённые сединой старцы, потомки знаменитых родов, что же тогда станут делать враги и пасынки России. разночинцы и интеллигентные босяки? Над этим вопросом не мешает призадуматься. Что-то ужасное творится в нашей русской жизни. Бедствием для нас является не война, а те ужасные годы мира, в которые мы окончательно развратились, ослабели физически и нравственно, опошлелись и заметно поглупели. Нет, война — это не бедствие, это наше спасение, это то героическое средство, которое может встряхнуть от корня до вершины ныне ослабевший и отупевший организм. Знает Бог, что делает!» (*Гражданин. 1(14) июля 1904 г.*).

Да уж! Знает Бог, что делал в 1917 году, убивая Империю, отгрызавшуюся таким образом на пророка и спасителя человечества, жестоко преследовавшую его единомышленников, запрещавшую его книги.

И, без сомнения, Божье дело будет совершено и ещё раз (жаль, что не к столетию событий 1917-го, а позже): ибо теперешняя наследница Империи и сталинского Совка уже всю собирает на свою голову горящие уголья: и военными преступлениями, и внутренним ограблением и притеснением свобод своих граждан, розыском религиозных «оскорбителей» и «политической ереси», преследованиями противников репрессий и войны!

Наконец, откликнулись и сволочные «Московские ведомости», антипод московских же «Русских ведомостей» и истинный голосок дрянного «русского мира», плевавшие злобой своих инвектив и доносов на Льва Николаевича ещё в неурожайном 1891 году, в пору его помощи голодающим крестьянам:

### «НОВЕЙШИЙ ПАМФЛЕТ гр. ТОЛСТОГО

В начале настоящей войны известный французский писатель Жюль Клар<е>ти обратился к графу Толстому с "открытым письмом", напечатанным в своё время в газете "Times". Письмо это, написанное в изысканных выражениях должно было, по наивному мнению автора, поставить гр. Толстого в весьма затруднительное и даже безвыходное положение.

Французский писатель руководился такими соображениями:

«Гр. Толстой безусловный противник войны, но вместе с тем он русский. Какая, следовательно, должна происходить "буря под его черепом", когда он как философ, должен бороться против войны, а как сын России, должен стать за вооружённую борьбу с её врагами».

Всем, кто сколько-нибудь ближе знает гр. Толстого, должна броситься в глаза явная несообразность такого рассуждения, первая посылка которого настолько же верна, на сколько ошибочна вторая.

Да, гр. Толстой — противник войны; но он давно уже перестал быть Русским, с тех пор, приблизительно, как он перестал быть православным.

А потому настоящая война не могла вызвать в нём никаких "коллизий чувств", и под его черепом не произошло никакой бури, ибо граф Толстой ныне совершенно чужд России, и для него совершенно безразлично, будут ли Японцы владеть Москвой, Петербургом и всей Россией, лишь бы Россия скорее подписала мир с Японией, на каких угодно, хотя бы самых унижительных и постыдных условиях. Так пошло и подло чувствовать, думать и высказываться не может ни один Русский человек, а потому считать Толстого Русским может

разве только такой Французик, как Клар<e>ти, не имеющий ни малейшего понятия, ни о Русских, ни о России.

Весьма понятно, поэтому, что "открытое письмо" французского писателя нисколько не задело гр. Толстого, который ничего на него и не ответил; зато теперь он выпустил за границей возмутительнейший памфлет против России, с которой он уже окончательно порывает всякие связи. Если он ещё живёт в пределах России, то это объясняется лишь великодушием Русского Правительства, чтущего ещё бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет. [...]

Если бы Правительство сочло возможным сорвать личину с гр. Толстого и показать его русскому народу во всей его безобразной наготе, то этим положением был бы конец всему нашему "толстовству", и тогда, но только тогда, можно было бы представить старому сумасброду спокойно доживать свой век в его Ясной Поляне и хоронить там свою бывшую славу» (*Московские ведомости*, 10 июля (27 июня) 1904 года).

Эту гадость лучше оставить без комментариев. Единомышленники авторов «Московских ведомостей» гуляют нынче по улицам городов путинской Рассеюшки, ищут всё новых и новых «врагов» своего особого «русского пути» и щеголяют схожими по содержанию и стилю национал-патриотическими высерами в интернете...

Для контраста, доброе слово доброго «Листка» на закуску:

«Толстой, этот великий актив человечества, за последние полвека никогда больше не заслужил благодарности людей, как за это слово своё» (*Русский листок*. 20 июня (3 июля) 1904 г.).

Разноречивыми были и мнения о статье Толстого за границей.

Например, передовица вышепомянутой «Times» так критиковала статью Толстого: «Это в одно и тоже время исповедание веры, политический манифест, картина страданий мужика-солдата, образчик идей, бродящих в голове у многих этих солдат и, наконец, любопытный и поучительный психологический этюд. В ней ярко проступает та большая пропасть, которая отделяет весь душевный строй европейца от умственного состояния великого славянского писателя, недостаточно полно усвоившего некоторые отрывочные фразы европейской мысли» (*Цит. по: 55, 468*).

«Daily News» встретил статью Толстого восторженными одобрениями. «Вчера Толстой — говорит газета, — выпустил одно из тех великих посланий к человечеству, которые возвращают нас к первым

основным истинам, поражающих нас своей удивительной простотой» (*Там же*).

Понятно, отчего именно английские издания были столь благожелательны к автору дерзкой статьи: всемирный пират и давний геополитический враг России, Британская Империя ждала от Толстого антивоенной эскапады против империи Российской — и дождалась.

По этой же причине вполне искренно благожелателен и справедлив был отзыв о статье, в личном письме Толстому 15 (28) июня 1904 г., английского искусствоведа С. Кокереля, прочитавшего «Одумайтесь!» в переводе:

«Ваша волнующая, смелая статья во вчерашнем “Times” читается в Англии больше, чем что-либо написанное вами. Она много сделает для мира во всех странах» (*Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись... 1890 – 1910. С. 487*).

А ещё, увы! для «дела» революции — затевавшейся “под крылышком” британских покровителей эмигрантами из России. Цитаты из этой статьи тоже были использованы в пропаганде революционеров. Но невнимание к религиозному пафосу «Одумайтесь!» вкупе с чрезмерным — к эмоциональной критике и ярким образам, этот эпичный кринж — но таки не отче Льва кринж, а всего нашего лжехристианского мира.

\* \* \* \* \*

Мнения же *истинной*, народной и трудовой России об очередной войне – были совсем иными, чем у городских очкатых писорчуков... В июле месяце Толстого в Ясной Поляне посетил всё тот же его друг, уже свободный от военной службы, крестьянин М. П. Новиков. Конечно, разговор их коснулся войны. И Новиков в своих воспоминаниях приводит интересные и сильные отзывы Льва Николаевича об этом ужасном деле. Когда заговорили о войне, он воскликнул:

« — Ужасно, ужасно! И сегодня, и вчера я плакал о тех несчастных людях, которые, забывши мудрую пословицу, что худой мир лучше доброй ссоры, десятками тысяч гибнут изо дня в день во имя непонятной им идеи. Я не читаю газет, зная, что в них описываются ужасы убийств не только не для осуждения, но для явного восхваления их. Но домашние иногда читают мне, и я плачу... Не могу не плакать.»

Лев Николаевич показал Новикову полученное им письмо и предложил ему прочесть его вслух. В письме этом неизвестный автор описывал, как они были хорошо настроены с места, из родного города, и как это настроение совершенно менялось по мере приближения к

Манчжурии. «Ехали день, два, неделю, месяц, — говорилось в письме, — всё пустые поля да леса. Чай, семь тысяч проехали, а десяти деревень не видали. Степи и степи. Да на этой земле ещё 10 Рассеев поселить можно, и то полноты не будет, а китайской землёй поехали — одни горы да камни. И кой рожон нам здесь было нужно, ради чего кровь проливать из-за каких-то гор да камней? Добро бы своей земли не было. Вот когда всё это увидели да раздумали, и мысли другие пошли, и охоты не стало.

— Каково? — спросил Лев Николаевич, когда я кончил чтение. — Народ обмануть хотят, дипломаты уверяют, что иначе никак нельзя было, а мужики едут и решают по-своему, что воевать не из-за чего было.

— Да, ужасно, ужасно! — продолжал Лев Николаевич. — Совершается страшное дело, и никто не сознаёт этого. На днях на дороге догоняет деревенская баба, торопится в город, трое босых ребят с нею. Пошёл вместе, разговорились. Идёт за пособием, вторая получка вышла. «Хлопотали, хлопотали, — говорит, — бегали, бегали, у самого члена три раза были, насилу выдачки дождались». — «Что же, — спрашиваю, — привыкли без хозяина? С получкой, чай, и одни хорошо проживёте. Прежде нужды-то поди больше было?» И-и, как зарыдает баба, как зальётся, слова не выговорит. «Мы бы, — говорит, — им последнюю коровёнку отдали, даром что сами в нужде находимся. Пошто, — говорит, — детям-то деньги нужны? Им отец нужен. Они при отце только хороши и веселы. А теперь как цыплята мокрые стали, от хвоста матери не отходят. Шагу тебе ступить не дадут, всюду вяжутся». — «А разве тятка-то не воротится?» — испуганно спрашивает её девочка, утирая глаза и смотря то на меня, то на мать, и я стою, плачу, и они все плачут. Старый дурак я, хотел разговориться, утешить, а вышло — только в грех ввёл» (*Толстой. Памятники творчества и жизни. Т. 2. Под ред. В. И. Срезневского. М. 1920, стр. 96, 97*).

Выше нами изложены предыстория, история писания и печатание, содержание статьи «Одумайтесь!», некоторые связанные с ним сюжеты и некоторые же показательные отклики в печати на неё. Но у эпохальной статьи есть обильная и протяжённая по времени послестория, и не только в плане позднейших откликов ругателей и единомышленников, которые нам хронологически удобнее не приводить здесь, но так же история *отношения* писателя и публициста к современным писанию статьи событиям — в первую очередь, к самой Русско-Японской войне. Остановимся здесь лишь на нескольких ярких сюжетах.



«Война давит всех. Сбор запасных производит ужасное впечатление» — пишет Толстой дочери Тане 1 мая 1904 г. И о том же ощущении «давления» — в записях в Дневнике под 2, 4, 6 июня, 2 августа... «Война захватила вашу семью своим матерьяльным колесом, меня же она давит духовно. Ужасаешься на то, что с таким усилием и напряжением совершается то, чего не должно, не может быть, если только человек разумное существо» — это из письма к Константину Васильевичу Волкову (1871 – 1938), крымскому доктору, участвовавшему в лечении Толстого в 1901 – 1902 гг. и призванному в эти дни на военно-медицинскую службу.

Вместе с тем, достаточно свидетельств того, что современники атрибутировали как «патриотизм Льва Толстого». Например, вышеупомянутая Елизавета Валерьяновна, дочь сестры Льва Николаевича, в письме к дочери Марье сообщает следующее о «новом» отношении Толстого к войне и причинах его усиления:

«Что будет от этой войны? Там творятся все ужасы, а газеты всё лгут и лгут; невозможно разобраться, но чувствуется, что нам не хорошо. Лев Николаевич долго противился, но теперь его охватил патриотизм; огорчается нашими поражениями и говорит: “Мне больно, что бьют русских людей”» (*Летописи Государственного литературного музея. М., 1948. Кн. 12. Т. 2. С. 143*).

Сравним со сведениями из дневника домашнего доктора Толстых, Душана Петровича Маковицкого — в записях на 26 марта уже 1905 г. В разговоре присутствовали дочь Толстого Татьяна и толстовцы Дунаев и Гольденвейзер. Речь зашла о последних победах японцев:

«...О том, что интеллигенты российские сочувствуют японским победам. Татьяна Львовна рассказывала, как сёстры, С. А. и М. А. Стахович, “аж плакали”, что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено.) [...]

Об этом завязался общий оживлённый разговор. Л. Н. сказал:

— Русские мне ближе: там дети мои, крестьяне; 100 миллионов мужиков заодно с русским войском, не желают поражения. Это непосредственное чувство. А что либералы говорят и ты (к Татьяне Львовне) — это извращение» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 225*).

Мамзель начала пиздеть в ответ, одновременно с отцом, что-то выдумывая ему в возражение, и доктору Маковицкому не удалось дальше расслышать и записать... Но — поистине, *sapienti sat!*

Говоря в связи с этим сообщением о «патриотизме Толстого», некоторые путают это *воспитанное* чувство, канализируемое пропагандой, с *непосредственным* — Льва Николаевича Толстого. В. Ф. Асмус, автор вступительной статьи к «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого, трактует приведённое выше высказывание следующим конъюнктурным образом:

«Первые военные неудачи поднимают в Толстом патриотическое чувство. Он тяжело воспринимает их, в нём поднимает голос бывший артиллерийский офицер, бесстрашно стоявший в Крымскую войну на четвёртом бастионе Севастополя, ненавидящий врагов родины, желающий, несмотря на все свои идеологические соображения, победы русскому оружию и в глубине души на эту победу уповающий. Он не изменяет своим убеждениям и верованиям. Он считает начавшуюся войну безумной, ужасной и преступной. Но он не хочет русского бесславия, гибели тысячи тысяч русских простых людей, унижения и позора России» (*Асмус В.Ф. Толстой в дневнике Маковицкого. Эпоха. Мировоззрение. Быт // Там же. С. 15*).

На деле, этот «патриотизм» Толстого, на самом деле любовь к страдальцу-народу, по всему контексту беседы, совершенно не соотносим с фантазированием интеллигентских сволочных головок о военных победах, о «славе» или «бесславии», «позоре России» и чреват, как мы видели из анализа заключительных глав статьи «Одумайтесь!», даже обратным, неприязненным отношением яснополянца к тёте «родине».

Этому есть дополнительные свидетельства — в том же дневнике Маковицкого. По его сведениям, 17 мая Толстой в подавленном настроении выслушал известие о гибели 14 мая русской эскадры Рождественского близ острова Цусима. А уже под 19 мая — за Львом Николаевичем записано следующее:

«Я вижу, в народе никакого чувства унижения нет (после Цусимы). Христиане, какие они ни испорченные, у них есть чувство, что война — не христианское дело. 50 лет тому назад его не было. Теперь везде сознаётся: общества мира...» (*Там же. С. 288*).

Хороша и запись под 25 мая — о «нравственном значении» разгрома:

«В войне для меня были три события, самые мучительные: потеря 30 пушек (Тюренчэн), сдача Порт-Артура и разгром Балтийской эскадры. Жаль мне было, во-первых, убитых людей, второе — русских людей, и третье — ложно направленной покорности русского

народа, приведшей к этим ужасным событиям. Этот разгром [...] будет иметь большое нравственное значение» (Там же. С. 294).

Свои уступки патриотическим настроениям Толстой объясняет сам — в известной записи в Дневнике от 31 декабря 1904 г., в день известия о сдаче Порт-Артура:

«Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нём и не свободен от него так же, как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эгоизмы эти атрофируются» (55, 111).

Это — всё о том же: «отдавайте кесарево кесарю...».

К сожалению, люди, даже понимая, на историческом опыте, ненужность и вред и этой, и всякой иной войны – всё же повторяют затверженную с детства ложь в оправдание войн и всё же идут служить правительствам... Отдают и Богово кесарю. Потому что ещё силен в них обман, потому что — *не одумались*.

«Не первая капля начинающегося дождя, упав на спящего, разбудит его, но, скорее всего, только одна из многих». Но именно вкупе с другими... Так точно и одно из многих и многих напоминаний высшей истины о том, что человек сын Бога и его посланник в мире, и должен служить Богу, своему божественному началу, взбужению в мире Царства Божия, которое есть во всех нас — в череде множества разнообразных напоминаний, всё-таки пробудит разумное сознание одного за другим, многих, каждого человека к христианскому пониманию жизни. Этому делу служили многочисленные выступления в печати Льва Николаевича и духовно близких ему современников. Послужит, смеем надеяться, и наш скромный очерк.

## КОНЕЦ ДЕВЯТОЙ ГЛАВЫ



## Глава Десятая.

# СТАРЧЕСТВО ОТЧЕ ЛЬВА В 1900-е: ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА И ПИСЬМА

### 10. 1. АНТИВОЕННЫЙ ДИАЛОГ 1900-х гг. С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «УГНЕТЁННЫХ НАРОДОВ»

#### 10. 1. 1. БРАТЦЫ ПО СЛАВЯНСТВУ

Начиная со второй половины 1880-х годов Л. Н. Толстого нередко посещали общественные деятели, литераторы, музыканты, студенты из славянских стран. О некоторых из этих встреч, диалогов и новых дружбах-единомышленниках Л. Н. Толстого именно 1880-х мы уже рассказали выше. Кроме того, в эпизоде, посвящённом Переписке Л. Н. Толстого с М. Э. Здзеховским, мы охарактеризовали и непростую специфику воззрений Л. Н. Толстого на «освободительные» национальные движения, идейным «якорем» которых, однако, и в первой половине 1880-х годов было уже христианское неприятие военного и всякого организованного насилия.

Начиная со второй половины 1880-х годов, прознав об оппозиционных воззрениях яснополянца, всё больший интерес к нему стали проявлять представители т. н. «угнетённых народов» и движений за их освобождение — не только от России, но и от её традиционных геополитических противников, таких, как Англия. В числе первых использовать мировой авторитет новоявленного «единомышленника» возжелали братцы славяне.

Издравле славяне (включая восточных славян) занимали в Европе внушительную «территорию — свыше половины всего континента. Лакомый кусочек, большой... всякого хищника пасть порадует. Оттого уже в средние века большая часть западных и южных славян оказалась под габсбургским и турецким владычеством.

Начавшиеся в конце XVIII — начале XIX в. в землях западных и южных славян национальные движения на первых порах проходили под знаком борьбы за родной язык, за реабилитацию отечественной истории, за воскрешение и дальнейшее развитие отечественной литературы. Эпоха формирования и развития наций, или эпоха *национального возрождения*, как определили её в XIX вв., продолжалась

до середины, а в некоторых южнославянских землях до последней трети XIX в. Социальная и национальная борьба, выливавшаяся в народные восстания; частые правительственные перевороты; военные и таможенные столкновения; стремление найти поддержку у других славян — таковы основные характерные черты социально-экономической и политической жизни славянских народов в конце XIX — начале XX столетий.

Освобождение Болгарии от турецкого ига в результате русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., сыграв огромную роль в укреплении национального самосознания и формирования государственности у болгар, не решило многих экономических и социальных проблем. Основную долю тягот нёс на своих плечах болгарский крестьянин. В 1899 г. был основан Болгарский земледельческий народный союз — мелкобуржуазная демократическая партия.

В стране по-прежнему было много неграмотных. Медленно формировалась болгарская высшая школа, университет возник лишь в 1904 г. Не имея возможности получить образование у себя на родине, болгарская интеллигенция уезжала в Россию и Германию, поступая там в высшие учебные заведения.

Второй крупной славянской территорией, тоже по преимуществу сельскохозяйственной, освобождённой от турецкого господства в результате русско-турецкой войны, была Сербия. Страну сотрясали дворцовые заговоры (вызывавшие негодование Толстого). Сербы мечтали об объединении южных славян. Прогрессивная интеллигенция выступала в защиту угнетённого народа, боролась за демократические преобразования, зачастую опираясь при этом на передовую русскую культуру.

Победа России принесла освобождение от турецкого ига и Черногории. Поступавшая от России помощь зерном и денежными субсидиями не смогла, однако, вывести Черногорию из затянувшегося экономического кризиса.

Словения в XIX в. не раз становилась жертвой территориальных споров между Италией и Австрией, в которую она входила вплоть до 1918 г., когда воссоединилась с другими южнославянскими землями в составе Югославии. Промышленное развитие в Словении началось несколько раньше, чем у соседей. С укреплением экономики страны растут антиавстрийские настроения, которые приводят к демонстрациям, к созданию антиправительственных групп.

Хорватия, как и Словения, Чехия и Словакия, также находилась в составе Австрии, а вскоре после образования (1867) Австро-Венгрии была объявлена (1868) неотъемлемой частью венгерских земель. С

последней трети XIX в. в Хорватии начинает развиваться промышленность. С этого времени национальное движение в Хорватии приобретает особый размах. В 1871 г. под руководством радикально-буржуазной «партии права» происходит восстание «правашей», в 1883 г. хорваты активно выступают против мадьяризации. Неоднократно вспыхивают крестьянские волнения. Растёт эмиграция.

Чехия на путь капиталистического развития вступила на рубеже XVIII – XIX вв. От других славянских стран Чехию отличали сравнительно высокий жизненный уровень и почти стопроцентная грамотность населения (к примеру, в Хорватии и Сербии грамотных было всего 26 процентов). Быть может, это опережающее соседей развитие, а, скорее всего, и в большей степени, национальный характер, этому развитию помогавший, отвращал чехов от насильственных методов национальной борьбы в пользу светского и духовного просветительства — тем вызывая особенную симпатию Л. Н. Толстого.

Антиподами чехов были поляки — боровшиеся за воссоединение национального государства мужественно, жестоко и трагично весь XIX-й век. Глубоко уважавший храбрость, самопожертвование и героизм Толстой испытывал в отношении этого движения смешанные чувства, но никогда не мог однозначно поддержать его — и тем более, в годы христианского осмысления путей для человеческих храбрости и героизма.

События русской революции 1905 – 1907 гг. влили новую энергию в социально-освободительное движение в славянских землях. Осенью 1905 г. в Праге, Брно, Кракове, Триесте, Любляне и других городах состоялись массовые демонстрации под лозунгами государственной самостоятельности и ниспровержения существующих режимов, в том числе самодержавия в России.

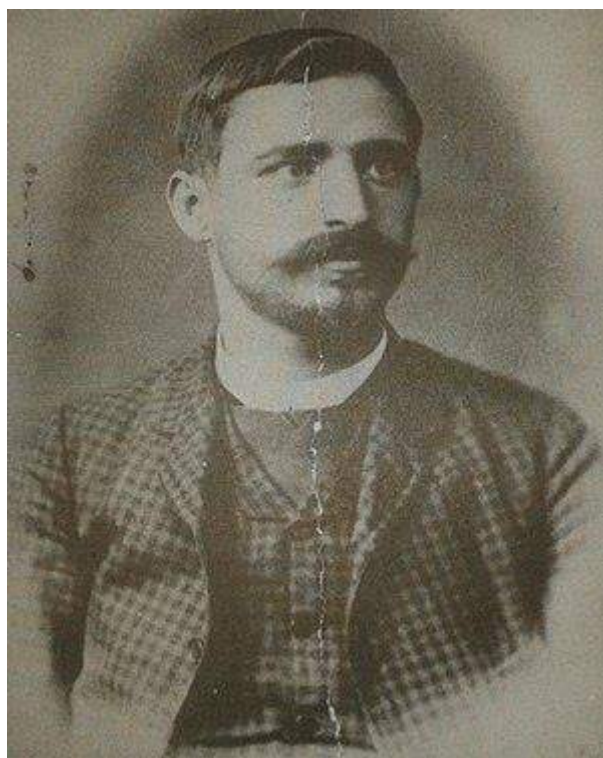
Тяжёлый удар балканским славянам нанесла аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 г. Это был неприкрытый акт агрессии, совершённый из боязни потерять политическое и экономическое влияние на полуострове. Австро-Венгрия, которую, как всякое опирающееся на насилие государство, Толстой признавал образцовым «разбойничьим гнездом», окончательно утратила у южных славян свой политический престиж.

События первого десятилетия XX в., за которыми Лев Николаевич Толстой пристально следил, а также прямые, неоднократные обращения к нему зарубежных славянских корреспондентов и посетителей с настоятельными просьбами вмешаться своим влиятельным словом в политическую борьбу, приводят к тому, что славянская тема начинает занимать всё большее место в рассуждениях Льва Ни-

колаевича в его публицистике, сохранявших признаки как указанные выше противоречий, так и указанного выше неколебимого религиозного мировоззренческого основания.

Писателя возмущала жестокая эксплуатация и тяжёлое, бесправное положение славянских народов, но путь вооружённой борьбы он решительно отвергал, а стремление к национальной самостоятельности посредством насилия, войны с «режимом», он назовёт «государственными соблазнами», которыми «развращены» целые народы (38, 155). Как раз в том ответе польской адресату, о котором мы изрядно скажем ниже...

В 1899 г. Л. Н. Толстого посетил болгарский дипломат, публицист, общественный деятель *Димитр Христов Ризов* (1862 – 1918). Он просил писателя вступить за славян в Македонии, всё ещё находившихся под турецким владычеством.



Димитр Христов Ризов в 1880-е гг.

Возвратившись на родину, Димитр Ризов в журнале «Мисл» («Думка») так описывал реакцию Льва Николаевича Толстого на его просьбу: «Из вашего рассказа мне ясно, что жизнь христиан у вас на родине очень тяжела, но я могу помочь лишь тем, кто живёт по-Божески, или таким, помочь которым можно без вмешательства в дела политики». Писатель сказал гостю, что политика, по его мнению, объединяет людей «под знаменем всеобщей ненависти». В качестве

доказательства он привёл в пример Болгарию: «Спросите себя сами, что хорошего увидели ваши болгары после освобождения! Да, у вас сейчас болгарский князь вместо турецкого султана, болгарская конституция вместо турецкой монархии, болгарские чиновники и офицеры вместо турецких, свобода печати вместо цензуры и пр... но народ, трудовой народ, эти потрескавшиеся руки, которые вас охраняют, какие-такие блага они приобрели в результате всего этого? Не удивляйтесь, что я смотрю на мир иначе: вы стреляете с близким прицелом, а я целюсь вдаль и потому взвожу курок до отказа» (<https://www.strumski.com/biblioteka/?id=286>).

В 1901 г. к Л. Н. Толстому по тому же македонскому вопросу обращается известный болгарский поэт, писатель, публицист *Стоян Николов Михайловский* (1856 – 1927), известный как автор гимна «Върви, народе възродени!» («Вперёд, народ возрождённый!») (1892), к которому в 1900 году композитор Панайот Пипков (1871—1942), в то время учитель в Ловече, написал музыку.

Такой же «знаток» Льва Николаевича Толстого, как и Димитр Ризов, Стоян Михайловский отчего-то был уверен в том, что автор «Анны Карениной» не может не отнестись сочувственно к усилиям «свергнуть режим Абдуламида». Толстой не вступил с ним в диалог (см. *Порочкина И.М. Л.Н. Толстой и славянские народы. Л., 1983. С. 38*).

С иных позиций писал Л. Н. Толстому по поводу дел в Македонии болгарский толстовец *Георгий Стоилович Шопов* (1879 – ?). Он уже был знаком Толстому, как единоведец и отказник, и потому имел право рассчитывать на ответ. Уроженец села Панагюрише, малограмотный Шопов начал понимать несоответствие военной службы своей вере и душе только после призыва, в ходе «словесных», теоретических занятий. Его вопросы сперва ставили преподавателей в ступор, потом стали злить — преимущественно потому, что Шопов задавал их публично. Совершенно же отвратили его от службы занятия стрельбой по мишеням, изображавшим людей. Командиру он «дерзко» отвечал, что «предпочитает быть убитым, чем сделать зло своему ближнему, делом, помыслом или чем иным» (*Дело Шопова // Свободная мысль. 1900. № 12. С. 187*).

24 апреля 1900 г. Георгий Стоилович отказался от военной службы, примерно так же, как до него Альберт Шкарван и многие другие: «сняв форменную одежду и надев штатскую, он пришёл в Софию и написал письмо своему начальству, в котором говорил, что он не желает служить, потому что считает себя гражданином и соотечественником граждан всего мира» (*Там же*). 11 ноября того же года был на три года приговорён в дисциплинарный батальон — формально за «самовольную отлучку», неповиновение начальству, отказ от присяги



и пр. Дело рассматривалось 12 ноября 1900 г. в Софии. Заметка о Шопове, дополненная выдержкой из его письма к другу, была напечатана в толстовской, швейцарской, издававшейся П. И. Бирюковым «Свободной мысли», в № 12 за 1900 год на стр. 186 – 189. Статья в журнале заканчивалась так: «Пожелаем от всего сердца этому человеку устоять до конца!» (Цит. по: 72, 510).

А 14 мая 1901 г. редакция одноимённой с толстовским изданием газеты («Свободна мисль») послала Толстому номер, в котором была помещена речь Шопова на суде (на болгарском языке). В ответном письме от 29 мая Толстой, благодаря редактора, высказывался о Шопове положительно и даже — как часто бывало, когда Толстой-христианин, оставшийся и художником, умозрительно любовался представлением, составленным о человеке, идеальным его образом — с аллюзиями на евангельский образ семени и почвы:

«...Я понял то, что он глубоко убеждённый в христианской истине человек.

Он очень молод, и потому страшно за него. Помоги ему Бог быть не тою землёю, в которой ростки семян быстро всходят, но не могут укорениться, а тою, которая приносит плод сторицею.

Чем больше я живу и думаю и чем серьёзнее думаю, приближаясь к смерти, тем больше я убеждаюсь в том, что войско, т. е. люди, готовые на убийство, есть причина не только всех бедствий, но и всего развращения нравов в нашем мире и что спасение только в том, что делает милый дорогой Шопов. Да подкрепит его Бог. Чем больше живу, тем больше изумляюсь на слепоту нашего учёного мира (иногда мне кажется, что это слепота умышленная), который предлагает всевозможные средства спасения людей от их бедствий, но только не то одно, которое наверное спасает их и от бедствий и от ужасного греха убийства, которым держится существующий строй и которым мы пользуемся. Не слепы только правительства, те, которые держатся убийством и потому боятся Шоповых больше, чем всех войск соседей.

[...] Если вы имеете сообщение с милым Шоповым, то передайте ему, пожалуйста, мою любовь, благодарность, уважение и один только совет: чтобы он не настаивал на своём отказе, если он делает это для людей, а не для Бога, и чтобы руководился только своим отношением к Богу. Если вы меня уведомяте об его дальнейшей судьбе, буду очень благодарен» (73, 84 – 85).

Уведомить отче Льва о судьбе своей привелось самому Шопову — в письме от 14 июня 1901 г. 10 августа Толстой отвечал Шопову:

«То, что судят вас не за причину отказа, а за неисполнение военных приказаний — это они всегда делают. Им больше делать нечего. И я истинно жалею их. И вы, находящийся в их власти и лишённый ими свободы, всё-таки должны сожалеть об них. Они чувствуют, что против них истина и Бог, и цепляются за всё, чтобы спастись, но дни их сочтены. И та страшная революция, которую вы производите, не разбивая бастилию, а сидя в тюрьме, разрушает и разрушит всё теперешнее безбожное устройство жизни и даст возможность основаться новому. Я все свои последние силы употребляю на то, чтобы служить в этом Богу...» (Там же. С. 117).

Шопов освободился из заключения тем же стойким христианином, каким был, и занимался распространением в Болгарии “запретных” сочинений яснополянца, самостоятельно переводя их и публикуя в издававшемся им в 1903 – 1906 гг. журнале «Лев Н. Толстой». В дальнейшем Шопов — основатель издательства «Жизнь» (1907 – 1922), издавшего более 30 книг писателя и мыслителя, автор книг «Как жил, работал и умер Лев Толстой» и «В гостях в Ясной Поляне» (1928). Вместе с другим духовным львёнком Льва Николаевича, Христо Досевым, и молодым учёным-педагогом, сторонником толстовского «свободного воспитания», Димитром Тодоровым Кацаровым (1881 – 1960) основал Болгарский вегетарианский союз.

Нам важны эти подробности двояко: как свидетельство о первом болгарине-толстовце, отказавшемся от военной службы, и, в то же время — о *затруднительном положении*, в которое поставил Льва учителя его болгарский ученик.

В письме от 29 мая 1903 г. Георгий Шопов осудил действия македонской «террористической группы», полагая, что «виновник всего существующего бедствия в мире — это правительство, духовенство и ложная журналистика». «Прошу Вас, милый Лев Николаевич, — продолжал Шопов, — напишите что-нибудь по поводу этого македонского движения, чтобы осветится народ и увидит ложность своего направления. Прошу Вас написать это, потому что Ваши слова имеют больше влияния пародом, чем слова кого-либо другого.

[...] Под влиянием революционного комитета и журналистики болгарское правительство готовится объявить войну султану. Народ, рабочий народ не хочет война и верю, что Вы напишете про это что-нибудь...» (Цит. по: Порочкина И.М. Указ. соч. С. 38).

Шопов знал о запросе к Толстому Стояна Михайловского и был уверен, что и ему, и Михайловскому Толстой может дать без затрудне-

ний ожидаемый ответ. Но это-то и было отвратительно и невозможно Толстому: не безусловное порицание насилия, конечно, а присоединение своего голоса к *политическому хору*, в котором кроткий голосок Шопова был отнюдь не самым слышным...

Толстой *не ответил* своему возлюбленному ученику.

Переписка возобновилась зимой 1904 г., когда, в письме от 1 февраля, Георгий Стоилович Шопов сообщил о грозных, хорошо известных Толстому признаках кризиса, уже сломившего толстовское общинное и общественно-просветительское движение в ряде стран — более всего в Англии и Соединённых Штатах. Шопов писал о разногласиях между последователями Толстого в Болгарии и социалистами по поводу истолкования «учения» Толстого. Влияние социалистов соблазняло многих, особенно молодых толстовцев. Льву Николаевичу необходимо было ответить, но сделал он это 17 марта 1904 г. очень кратко:

«...Чем дальше живу и чем больше приближаюсь к смерти, тем мне яснее и несомненнее то, что самая важная деятельность не внешняя, а внутренняя: совершенствоваться — *“будьте совершенны, как отец ваш небесный”*, и что всякая внешняя деятельность плодотворна только тогда, когда она есть следствие внутренней» (75, 63).

Этот краткий ответ можно отнести и к запрашиваемому прежде Шоповым отношению Толстого к политической деятельности.

В декабре 1907 г. Л. Н. Толстой откликается на обращение Генрика Сенкевича по поводу притеснения поляков в Пруссии. Отметив, что, «несмотря на все старания хвалителей, все французские Людовики и Наполеоны, наши Екатерины Вторые и Николаи Первые и немецкие Фридрихи не могут внушать ничего, кроме отвращения», а современные «властители до такой степени стоят ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже негодовать...», Л. Н. Толстой приходит к парадоксальному выводу: «Что же касается до подробностей того дела, о котором вы пишете; о приготовлении прусского правительства к ограблению польских землевладельцев крестьян, то и в этом деле мне жалко больше тех людей, которые устраивают это ограбление и будут приводить его в исполнение, чем тех, кого грабят. Эти последние *ont le beau role* [*фр.* в лучшей роли]. Они и на другой земле и в других условиях останутся тем, чем были, а жалко грабителей, жалко тех, которые принадлежат к нации, государству грабителей и чувствуют себя с ними солидарными» (77, 332).

По поводу письма Сенкевича Толстой сказал 20 декабря 1907 г.: «Положение поляков лучше, чем наше, обижающих их русских. Мне сколько раз было совестно перед поляками за Николая Павловича. Немцам не стыдно» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. У Толстого. Указ. изд. Кн. 2. С. 594*).

---

## 10. 1. 2. БЛАГОВЕСТИЕ ДЛЯ АННЕКСИРОВАННЫХ

**В** том же духе отвечает яснополянец и сербке *Андже Мите Петровичевой* (*Andža Meta Petrovičeva*, 1891 – ?; в Полном (Юбилейном) собрании сочинений Л. Н. Толстого ошибочно названа “Петробутевой”), дочери сербского историка Миты Петровичева, обратившейся к нему с призывом поднять голос в защиту Боснии и Герцеговины, аннексированных Австро-Венгрией.

12 (24) апреля 1877 года, как мы помним, началась очередная Русско-турецкая война, по итогам которой Сербия, Черногория и Румыния обрели независимость и было образовано автономное болгарское княжество. По решению Берлинского конгресса, на территорию Боснии и Герцеговины «временно» вошли австрийские войска. При этом юридически эти земли ещё оставались в распоряжении Турции. Крестьяне Боснии и Герцеговины, положение которых практически не улучшилось, были разочарованы. Уже в январе 1882 года здесь началось антиавстрийское восстание, поводом для которого послужило введение воинской повинности. Оно было полностью подавлено в апреле того же года.

5 октября 1908 года Вена объявила о «присоединении» (аннексии) Боснии и Герцеговины к империи Габсбургов, выплатив османам в качестве компенсации 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Захват Боснии и Герцеговины вызвал бурные протесты в Сербии, где эти земли рассматривались как неотъемлемая часть будущего южнославянского государства. Сербия обратилась за поддержкой к России и, при поддержке Черногории, стала готовиться к войне. Германия заявила о поддержке своих союзников, Великобритания и Франция ограничились нотами протеста. Россия, ещё не оправившаяся от тяжёлого и унижительного поражения в войне с Японией, тогда прошла буквально по лезвию бритвы. Большую роль в предотвращении но-

вой и абсолютно ненужной ей войны сыграл Пётр Аркадьевич Столыпин. Австро-Венгрия в обмен обещала признать право на проход российских военных кораблей через черноморские проливы.

Великолепно по своей гнусности то, что через почти три десятилетия после начала *мирной христианской* проповеди Льва Николаевича не только старшие поколения не удосужились понять её настоящий смысл, но и юная сербская говнюшка, только изволившая родиться на свет в год, когда Толстой успел уже, за десятилетие 1880-х, сказать миру главное — взирали на яснополянца с изуверским снисхождением: как «истинная патриотка» возлюбленной Сербии — на национального предателя, врага России, вероятно, по 80-тилетнему своему возрасту, уже и выжившему из мозгов, но, по всемирной влиятельности своего голоса, могущего, однако, в конкретной политической ситуации осени 1908 года сыграть на руку сербам-патриотам, как прежде, старый дурак, поддержал против России поляков и финнов.



«Портрет сестры Анджи».  
Худ. Надежда Петровичева, 1908.  
Народный музей, Белград

Разумеется, в первом письме к Толстому девица старается не выдать себя, но с первых строк льстит весьма обдуманно, «прицельно»:

«Его сиятельству графу Толстому, философу и писателю!

Больше всего мне хотелось бы, чтоб у вас хватило терпения дочитать это письмо до конца.

Обращаться к вам, философу и гению XX века — огромная смелость со стороны молодой сербки. Простите меня, уважаемый апостол угнетённых. Вы, умеющий прощать и учащий людей справедливости и милосердию, не откажете в просьбе вашим ученикам. Вы внушили мне отвагу — обратиться к вам с просьбой от нашей небольшой страны — к вам, поборнику христианской гуманности.

Я осмелюсь рассказать вам о ранах, которые терзают сербов, и просить слова утешения от имени всей сербской молодёжи. Ваше слово явится для русского общественного мнения гласом апостола. Так провозгласите же это спасительное слово, смягчите сердце вашего народа в отношении маленькой балканской народности, находящейся в плену у захватчиков. Поднимите голос за свободу боснийцев и герцеговинцев! Это сербы, это южные славяне, это люди, веками борющиеся за сохранение своей самобытности.

Мы, сербы, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем теперь, что стоим перед пропастью, которая таинственно влечёт нас в свои глубины. На дне её неясно мелькает луч — то ли избавления, то ли смерти; и мы должны броситься в эту пропасть с лозунгом “Свобода или смерть!” и очутиться между ужасом и спасением.

И всё же, Отец, мы, словно львы, которых охотники окружили огненным кольцом, — полны отваги и готовы положить на алтарь отечества свои жизни и своё имущество, оставаясь до последнего вздоха верными родине.

Мы должны разрушить стены нашей тюрьмы, преграждающие нам путь к свободе и осуществлению наших возвышенных стремлений; силы врага больше, чем наши, враг неумолим к стонам и угрозам своих пленников, и всё же мы не падаем духом. В спёртом воздухе тюрьмы мы не можем бороться за благородные христианские идеалы, а все наши утешения были бы бесполезной мечтой, поисками вымышленного мира, где нет страдания и унижений.

Нынче во всей разодранной на клочки сербской земле нет ни одного серба, который бы решительно не требовал войны с Австрией и освобождения сербских областей Боснии и Герцеговины.

Сербы никогда не страшались войны, ибо они уверены, что в борьбе возрастают силы и что патриотический подъём сам указывает путь

и направление всем возникающим в ходе борьбы событиям. Пусть оспаривают за сербами способность к общественной жизни, пусть приписывают нам все пороки (нам, а не Германии с её интригами, направленными на наше уничтожение) — ни один народ не знал и не знает большего воодушевления и большей готовности к самопожертвованию, чем сербы, веками боровшиеся против вражеских интриг и нашествий.

Сейчас наступила одна из самых критических минут, когда сербы находятся в ожидании решения культурной Европы на конгрессе великих держав.

Россия молчит. Это страшное молчание может стоить жизни целому народу. Возможно ли, чтобы великая Россия стала палачом и причиной гибели невинных славян? Где же подлинный гуманизм? Где человеколюбивые, филантропические объединения культурных народов, если ни один голос не раздаётся в защиту южных славян от германского нашествия?

Разве не правда, что этот гуманизм проявляется только в отношении невежественных народов Азии и Африки, проповедуя дикарям христианское милосердие, в то время как на юге Европы он спокойно допускает уничтожение целого народа, имеющего многовековую историю и культуру. Этот народ уничтожается только потому, что хищническая Европа продолжает вести тайную политику и что Россия защищает лишь интересы болгар — потомков татарских пришельцев.

Россия молчит, потому что Болгария, подопечная ей, уже получила независимость, а сербы пускай гибнут. Можем ли мы рассчитывать на помощь англичан и немцев, желающих, в сущности, ослабления славянства?

Англия больше других противится аннексии Боснии и Герцеговины, но не потому, что ущемлены интересы сербов, а потому что она хочет удовлетворить свою союзницу Турцию. Все страны, улучшившие свои отношения с Турцией, выиграли. Для Болгарии это выразилось в аннексии Румелии; Греция получила Крит; Австрия — сербские провинции, Боснию — Герцеговину. А Сербия из-за своей лояльности не получила ничего. Таковы были цели европейской политики. Турция оказалась вороной, разукрашенной чужими перьями, но на этот раз и другие хищные птицы разделились в чужие перья. А Сербия должна была стать на сторону обобранной Турции, своего бывшего врага.

Ужасно, когда в культурный век приходится проливать кровь за свои права. Пусть Европа охраняет интересы германских народов и турок, а героическая Сербия без страха пойдёт на войну.

Если дело идёт о защите великосербских стремлений к воссоединению, лучше погибнуть, защищая от разбойников свои интересы. Австрийская армия на примере союзной армии Сербии и Черногории ещё раз увидит, что значит защищать отечество и что значит отправляться на охоту за чужим добром.

Героическая смерть, которая поразит всех до единого, или свобода независимой сербской земли! Даже если сербскую армию на поле брани оставит милость всевышнего, врагу не удастся в Сербии легко переступить порог наших домов; неизведанные ещё силы сербских женщин проявятся в мести за смерть отцов и братьев.

И пусть во веки веков останется свято воспоминание о последних днях королевства, воздвигнутого на развалинах могущественного балканского царства, достойного великих предков сербского народа.

Я открыла вам свою душу, я пишу то, что кровавыми буквами записано в сердце каждого серба; свои упования на ваши симпатии по отношению к сербам я охотно доверяю бумаге, которая, быть может, никогда не попадёт в руки вашей милости.

Но если вы получите это письмо, не отвергайте его из-за того, что язык наш будет вам непонятен; не пренебрегите возникшими в моём сердце воодушевлением и восхищением, которые я испытала, обращаясь к вашему сиятельству.

Дай бог, чтобы в результате моего письма сербский народ приобрёл ещё одного друга в лице прославленного писателя Льва Толстого.

Пусть ваше сиятельство простит мне мою смелость и примет безграничное уважение молодой сербки, исполненной любви к отечеству и желания, чтобы весь мир проникся добрыми чувствами к маленькой Сербии.

Анджа М. Петровичева» (Цит. по: [Бабаев Э.Г.] *Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Том. 75. Толстой и зарубежный мир. М., 1965. Кн. 1. С. 494 – 496*).

Показательно, что письмо юной сербки датировано 7 октября (н. ст.) 1908 года, то есть написано буквально «по свежим следам» событий, сразу после объявления Австро-Венгрией аннексии — очевидно, без раздумий, но с пониманием, чьим авторитетным именем следует заручиться в политическом протесте.

Толстой подобного не любил: когда те или иные политические «друзья», любые борцы (с колониализмом, с оккупацией, с аннексией, с классовыми врагами и под.) стремились заручиться его поддержкой.



В середине октября письмо было получено в Ясной Поляне. Домашний доктор и секретарь, духовный единоведец Толстого Душан Петрович Маковицкий записал 14 октября в Дневнике:

«Когда я массировал Л. Н., он спросил о письмах, которые дал прочесть. Первое — сербской девушки Анджи Петровичевой из Белграда. Я сказал, что письмо горячее, патриотическое; что с аннексией Боснии, если будет признана державами, для сербов потеряно всё. Когда их раздробят политически, им останется только броситься в войну и погибнуть. И что ни у одного народа нет такой готовности умереть за свой народ, как у сербского.

Л. Н. ответил, что это будет так (готовность умереть), что это отмечают и газеты.

— Подумаю завтра, что ей ответить, — сказал он» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90: В 4-х кн. М., 1979. Кн. 3. С. 226*).

На следующий день Толстой, за обедом читая газеты, констатировал: «Кажется, будет война. [...] Сербский архимандрит Дмитрий призывает к войне. Австрийский посол отозван из Петербурга». Чертков, присутствовавший на обеде, проницательно заметил: «Недавняя война истощила военные силы и снизила престиж. Можно ожидать массовых отказов от военной службы. Я думаю, русское правительство не решится на войну». А Толстой, обращаясь к Маковицкому, недоуменно спрашивал: «Почему сербы так противятся присоединению Боснии и Герцеговины к Австрии? Что потом и их заберут?» (*Там же. С. 227*).

В тот же день Толстой изложил Маковицкому ответ Андже Петровичевой:

«Л. Н.: Можете ей написать, что мы говорили по поводу её письма, что, когда внешнее потеряно, человек сильнее идёт внутрь, к Богу. К чему оно приведёт (какие последствия будут) — неизвестно, но последствия могут быть только хороши» (*Там же. С. 226*).

Уже по этому религиозному высказыванию Толстого справедливо заключить, что старец и юная сербка говорили друг с другом на разных языках.

Но через четыре дня Толстой начал исправлять и дополнять свой ответ, и знаменитое «Письмо к сербке» разрослось постепенно в целую статью, получившую название «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». В Дневнике на 26 октября 1908 г. есть запись: «Начал тоже письмо сербке. Всё хочется короче и яснее выразить ошибку жизни христианских народов» (56, 152). 30 октября, вместо Толстого, сербке коротко ответил сам Д. П. Маковицкий:

«Милостивая государыня!

По случаю вашего письма Лев Николаевич вспомнил изречение о том, что когда нам кажется, что всё погибло, часто бывает, что тут-то всё спасено.

Думает Лев Николаевич это потому, что важно не политическое положение государства Сербии, а важно духовно-религиозное состояние всего народа. И это особенно важно для народов славянского племени, которые, как думает Лев Николаевич, более других религиозны и вследствие этого призваны обновить христианское человечество новым пониманием жизни и потому призваны внести совершенно новое и иное, чем отношение других народов, отношение к политической власти.

И это новое, иное, чем обычное, отношение к политической власти может выразиться именно теперь по случаю, так сильно волнующего сербский народ, дерзкого присоединения австрийским правительством Боснии и Герцеговины.

Вопрос этот настолько заинтересовал Льва Николаевича, что он в довольно длинном письме, которое вероятно скоро будет напечатано, высказал подробно свои мысли об этом предмете.

Д. П. Маковицкий» (*Иностранная почта Толстого. С. 497*).

Анджа Петровичева, разумеется, обрадовалась известию, что ей удалось, и буквально с одного письма, “раскачать” Толстого на публицистическое выступление, на открытое письмо в печати против «молчания России». Уже как новоявленный «друг», она пишет Толстому второе, ещё более пространное письмо, датированное 19 ноября 1908 г., из Белграда. Судя по этому письму, всё, что она поняла из ответа Маковицкого о Толстом — это то, что тот призывает «познавать самих себя», при этом «уважая законы общества и религии», а идеалом имея некое «возрождённое человечество» (*Там же*). Но тут же она замечает, что «маленькому народу в этом деле трудно быть впереди», пока не побеждены враги этого маленького народа (сербов), враги его славного «национального» будущего:

«Разбой угрожает теперь нашей национальной свободе, ведёт к уничтожению нашей самостоятельности, нашей народности.

Под грязной вуалью скрывает германская раса свою аморальность и бесстыдство, она разжигает в наших сердцах ненависть, ибо своим эгоизмом она старается вытеснить славянские народы, за которыми будущее» (*Там же*).

На радостях о мнимом единомыслии с влиятельным писателем, Анджа уже не скрывает политической подоплёки своего обращения:

«Успех мой огромен, он превзошёл результаты деятельности всех наших дипломатов, ибо я сумела заинтересовать нашим справедливым делом величайшего в мире гения» *(Там же)*.

Девушка выслала яснополянцу некое историческое сочинение отца, составленное по подлинным сербским документам — о знакомстве с которым Толстого мы, к сожалению, сведениями не располагаем. Самой юной Андже папка доверил для «обработки» (вероятно, редакторской) ту часть своей будущей исторической книжки, в которой рассказывается о героизме сербских женщин — и этим-то чтивом, вкупе с предшествующим «воспитательным» воздействием, по всей видимости, и свихнул в патриотизм, сквасил мозги любимой доченьки. Судя по пересказу в письме к Толстому, Анджа явно вдохновлена чтением:

«Во время турецкого господства и тирании захват невинных девушек и детей в рабство называли в народе “кровавой данью”. Женщина — мать и сестра, несла на себе тяжёлый крест, она голыми руками защищала в своём доме малых детей и имущество, побуждая к сопротивлению, разжигая чувства любви и храбрости, а по отношению к тиранам чувство ненависти. И, принося жертвы, сербка не стонала и не требовала награды.

И дома, и на поле боя, возле раненых, среди боевых кликов сербские женщины были нежными помощницами. Встретив первый, после пяти веков рабства, луч свободы на сербском небе, они были первыми, прославившими Провидение, влившее силы в их ослабевшие мышцы. Они принесли свои женские чувства на алтарь освобождения отечества, как солдаты храбро, героически и терпеливо вынесли всё, с радостью встретив кровавое солнце на нашем пылающем небосводе.

Страшны были эти пять веков чёрной ночи, когда миллионы сербских матерей, охваченные ужасом и отчаянием, были свидетелями несчастья, которое подстерегало их детей с первых дней жизни, обрекая их на участь рабов азиатских тиранов; небо наше и сейчас ещё залито кровью, на наших сердцах и сейчас ещё лежит печать истерзанного сербского народа.

Наше прошлое обогрето кровью, настоящее — ещё более обогрето кровью, и будет ли когда-нибудь конец этим мучениям, возможно ли, что нет спасения от мрака и что звон цепей будет и в дальнейшем раздаваться среди дивных сербских лесов. Страдания сербов прежние, изменился только тиран — раньше это были турки, теперь — немцы» *(Там же. С. 498, 500)*.

Халтурное сочинение — насколько мы можем судить по располагаемому переводу. Слишком много эмоций и крови для того, чтобы Толстой, не будь он даже противником, как такового, патриотизма, мог разделить с белградской девицей её чувства.

А тут ещё, в конце письма, совсем раскочегарившись, Анджа Петровичева заверяет Льва Николаевича в том, что сербы «верят в будущее славян, ибо, только объединившись, славяне смогут уничтожить немцев и их политику и тем самым обеспечить славянам свободу культурного развития» (*Там же. С. 500*).

Толстой прекрасно понимал, что в ответ на чудовищный призыв Австро-Венгерской империи «уничтожить сербов» может последовать призыв «уничтожать немцев». Эта мысль и явилась в письме заражённой патриотизмом и, под влиянием заражения, распалившейся воинственными мечтаниями Анджи.

И Толстой решил для себя: в ответном письме-статье он вновь повторил своё великое: «Одумайтесь!»

Теперь, уже кратко, о самой статье, выросшей из ответа на первое письмо сербке.

В 1907 г. Лев Николаевич Толстой работал над статьёй с длинным, но зато красноречивым заглавием: «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении?» (*см. 37, 348 – 359*). В ней Толстой-публицист развивает уже известные читателю идеи, восходящие к трактату «В чём моя вера?» Первоначальное учение Христа было извращено Павлом лже-апостолом и церковниками, и люди неизбежно, с увеличением просвещения, утратили доверие к тому церковному обману, которым было подменено учение спасительной Истины. К этому же, страшному обману, а тем более к безверию, как дурная кровь к опухоли, «приливают» архаические идеи, в числе которых — национальный патриотизм и войны за независимость.

Об этом — центральная часть и этой, ощутимо трёхчастной, статьи, открывающейся всё тем же, басенным — «уж сколько раз твердили миру...». Как ни устал Толстой повторять сказанное ещё в прошлом веке, а вот, народилось ещё поколение, которое более некому научить:

«Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о том, что я думаю о совершившемся на днях присоединении к Австрии Боснии и Герцеговины, — так начал свою статью Толстой. — Я вкратце

отвечал ей, но рад случаю высказать тем, кого это может интересовать, насколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом событии» (37, 222 – 223).

Толстой осудил аннексию, совершенную «посредством всякого рода обманов и лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности». Он назвал захват славянских земель Австрией «грабежом», а империю Габсбургов — «разбойничьим гнездом».

Но всё дело в том, что «разбойничьими гнёздами» грабителей Толстой задолго до этой статьи именовал всякое государство и предшествующих эпох, и своей современности. Австро-Венгрия для Толстого — всего лишь «одно из тех больших разбойничьих гнёзд, называемых великими державами, которые посредством всякого рода обманов, лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых первых требований нравственности держат в страхе перед собой, ограбляя их, миллионы и миллионы людей» (Там же. С. 223).

И в данном послании Лев Николаевич не изменил своему христианскому отношению к государственности. Отношение это ознаменовано уже пространным, но значительным эпиграфом ко всей статье: «Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодеяния, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы люди были разделены на государства и народы, и чтобы им было внушено, что это разделение так полезно для них, что они должны жертвовать и жизнями и всем, что для них есть святого, для поддержания этого губительного, вредного для них разделения.

Мы так привыкли думать, что одни люди могут устраивать жизнь других людей, что распоряжения одних людей о том, как другие должны верить или поступать, нам не кажутся странными. Если люди могут делать такие распоряжения и подчиняться им, то это только потому, что люди эти не признают в человеке то, что составляет сущность всякого человека: божественность его души, всегда свободной и не могущей подчиняться ничему, кроме своего закона, то есть совести, закона Бога» (Там же. С. 222).

С этих позиций осуждается Толстым не одна Австро-Венгрия, и не только её конкуренты в грабеже, которые обиделись, что с ними не будут делиться, и «вот уже несколько недель толкуют на своём, как у воров, воровском жаргоне о всякого рода аннексиях, компенсациях, конгрессах, конференциях, декларациях, делегациях и т. п.» (Там же. С. 223). Осуждает Толстой и реакцию черногорцев и сербов,

пожелавших «воевать, то есть посредством самых преступных для человека поступков: убийства своих и чужих людей, противодействовать неправильному, по их мнению, вредному и опасному для них поступку австрийского правительства» (*Там же. С. 225*). Помимо повиновения оккупантам или насильственного сопротивления, люди не видят третьего пути — религиозного освобождения, духовного противостояния агрессору и оккупанту, руководящемуся отжитым, дохристианским религиозным пониманием жизни, то есть не имеющем в своём сознании живой веры:

«В наше время народам, над которыми совершается грубое насилие, как то, которое совершается теперь над славянскими народами, нужен не счёт штыков и батарей и не заискивание у жалких, несчастных, заблудших, одурённых своим мнимым величием людей, как разные Габсбурги, Романовы, Эдуарды, султаны с их дипломатами, министрами, генералами и войсками, а нужно совсем другое. Нужно сознание людьми своего человеческого, равного для всех людей достоинства, не допускающего ни распоряжения одних людей жизнями других людей, ни подчинения этих людей другим каким бы то ни было людям. Сознание же это возможно только для тех людей, которые знают своё назначение в жизни и следуют тому руководству поведения, которое вытекает из этого познания. Знают же своё назначение в жизни и следуют вытекающему из него руководству поведения только те люди, у которых есть религия» (*Там же. С. 227 – 228*).

Глава IV-я статьи — быть может, самая интересная: в ней Толстой приводит примеры таких освободившихся, религиозных людей, по сведениям своим о секте назаренов в Венгрии. Как антивоенные эпитафии к каждой главе статьи, так и этот отрывок об отказе назаренов от военной службы Толстой включил в подготавливаемый им в то время сборник мудрой мысли «Круг чтения». Выше мы уже цитировали эту историю, но по тексту «Круга чтения»:

«Несколько лет тому назад сидел в австрийской тюрьме, в числе сотен отказывающихся от военной службы людей из секты назарен, молодой человек той же секты. Мать молодого человека пришла проведать сына. Когда часовой, сжалившийся над ней, допустил её к окну, из которого она могла видеть сына, мать эта вместо того, чтобы плакаться сыну на свою беспомощность и упрекать его за то, что он бросил её, закричала сыну: “Не бери ружья, сынок мой золотой. Помни Бога”. И сын послушался и матери, и своего внутреннего голоса и остался досиживать свои 15 лет тюрьмы, к которым приговорило его австрийское правительство.

Да, не готовиться вам, сербам, надо к войне, то есть к убийству жалких, заблудших людей, приведённых целым рядом грехов и соблазнов к тому одурённому состоянию, в котором они убивают и готовы убивать кого попало, и не выпрашивать вам надо посредством вами же поставленных бог знает зачем властителей, милости у людей, которые сами не знают, как им выпутаться из того обмана и зла, в которых они завязли, — ничего этого не нужно вам.

Для освобождения вас, и не только вас, не только славян, но для освобождения всех порабоощающих самих себя народов: и китайцев, и японцев, и индусов, и персов, и турок, и русских, и немцев, и французов, и итальянцев, и всех людей мира от тех грехов, соблазнов и суеверий, в которых они коснеют, нужны не штыки и батареи, и не дипломатические переговоры и конференции, и конвенции, и т. п., а нужно одно то, в чём поддерживала эта мать своего любимого сына. Нужны не патриотизм, не гордость, не злоба, не воинственная храбрость, а нужно только то, что делал этот назарен, что делали и делают теперь в России духоборы, молокане, иеговисты, свободные христиане, что делали и делают в Персии бабисты, такие же люди в Турции, Индии, что делают среди христианского, буддийского, магOMETанского мира тысячи и тысячи людей, сознающих в себе своё духовное начало и потому не признающих никакой выше власти этого духовного начала» *(Там же. С. 228 – 229)*.

Собственно, на этом можно было закончить: Толстому — статью, а нам наш рассказ и анализ оной. Но Толстому важно было ещё раз, на этот раз юному поколению Анджи, рассказать о коренной причине зла — и агрессии, оккупаций, захватов земель, и исполненного ненависти противостояния врагу. Причина военного, как и всякого прогосударственного, «национального», «патриотического» насилия, и более того: «всех бедствий всех народов» в том, «что люди вообще и в особенности люди христианского мира живут по тому грубому пониманию жизни, которое давно уже пережито лучшими людьми всего человечества, а не по тому пониманию смысла жизни и вытекающему из него руководству поведения, которое открыто христианским учением 1900 лет тому назад, и которое понемногу всё более и более входило в сознание человечества, и которое теперь одно свойственно людям нашего времени» *(Там же. С. 231)*.

Это переход ко второй части статьи — о тех коренных причинах безверия, о которых говорилось выше и в нашей книге. Повторяться не стоит уже по тому, что, имея в виду именно частную переписку, как начало статьи — Толстой метал бисер отнюдь не перед самой благодарной аудиторией (таковы многие сербы и по сей день — судя

по проценту среди них поддерживающих преступления режима В. В. Путина в России).

«Сознание того, что старый закон и отжил и довёл людей до высшей степени бедственности и уродливости жизни и что новый закон свободы и любви, открытый уже тысячи лет тому назад, требует своего применения и осуществления, до такой степени близко теперь людям не только нашего христианского, но и всего мира, что пробуждение от того порабощения и развращения, в котором столько веков держали и держат сами себя народы, может, как я думаю, наступить всякую минуту» (*Там же. С. 236 – 237*). Всё это, допреже аудитории прессы, Толстой адресовал юной особе (или *особи?*) со смазливой мордашкой, которая всем своим мировоззрением и поступками как будто стремилась доказать обратное!

Наконец, третья часть, главы X – XII — возвращение публициста к идее нового, христианского понимания того, что есть *человеческое достоинство*:

«Только сознай люди ясно, твёрдо, кто они, сознай люди то, чему учили все мудрецы мира и чему учит Христос: что в каждом человеке живёт свободный, один и тот же во всех, вечный, всемогущий дух, сын Божий, что человек не может ни властвовать, ни подчиняться, что проявление этого духа одно: любовь, [...] и поступай согласно или, скорее, не поступай только люди противно этому сознанию, и сразу самым простым, мирным способом уничтожатся все затруднения не только в Боснии и Сербии, но во всём христианском мире, и не только в христианском мире, но и во всём человечестве. ...И кончатся все те ужасы, от которых они теперь страдают: кончатся и угнетения одних народов другими, и войны, и приготовления к ним, разоряющие и развращающие людей, кончатся эти смешные обманы конституций, эти захваты земли и обращение в рабство людей, кончатся эти суды людей над людьми, эти ужасные и по жестокости и по глупости наказания людей людьми, эти цепи, тюрьмы, казни, кончится властвование праздного развращённого меньшинства людей над превращённым в рабов большинством людей, ещё не развращённых, трудящихся, способных к разумной жизни». Участие в делах государства, пользование им (в частности — собираемыми принудительно налогами, судами и войском) несовместимо с таким сознанием (*Там же. С. 237 – 238*).

По обыкновению, установленному ещё в трактате «Царство Божие внутри вас», Толстой отвечает умозрительным оппонентам на всегдашний их «неотразимый» аргумент: о том, что до того, как большинство переменит своё сознание — отдельному человеку враждовать с учением мира бесполезно, а иногда и мучительно:



«...Говорят так только люди, находящиеся под внушением патристического и государственного суеверия. Таким людям кажется, что человек немислим вне государства, что человек, прежде чем быть человеком, есть член государства. Такие люди забывают, что всякий человек, прежде чем быть австрийцем, сербом, турком, китайцем, человек, то есть разумное, любящее существо, призвание которого никак не в том, чтобы соблюдать или разрушать сербское, турецкое, китайское, русское государство, а только в одном: в исполнении своего человеческого назначения в тот короткий срок, который предназначено прожить ему в этом мире. Вот это-то самое и говорит человеку учение Христа. Оно говорит ему про это его вечное назначение, и потому не знает и не может и не хочет знать о том временном, случайном положении, в государстве или вне государства, в котором в известный исторический период может находиться человек. Ведь дело в том, что государство есть фикция, государства никогда не было и нет как чего-то реального. Реально только одно: жизнь человека и людей. [...] Учение Христа открывает человеку такое его назначение и благо, которое не может изменяться соответственно каким-либо внешним учреждениям. Оно не говорит о том, что выйдет в будущем для собрания людей, называемых народами, государствами, и не может говорить, потому что никто не знает и не может знать этого, а говорит только то, что знает и чувствует всякий: что из следования человеком своему закону, закону единения и любви, ничего, кроме добра, выйти не может» (Там же. С. 238 – 239).

Тут как тут и другой контраргумент, на доводы о том, что правительства прибегнут к расправам над такими, самыми опасными им — не признающими их — духовными революционерами:

«...Люди, держащиеся суеверия государства, как бы предполагают, что правительства суть какие-то отвлечённые существа, обладающие особенными свойствами и приводящие свои решения в исполнение тоже какими-то особенными, нечеловеческими силами. Но ведь таких существ нет, и как они ни называй себя, есть только люди, такие же, как и те, кого они мучают и угнетают» (Там же. С. 240).

Речь не о чём ином, как о том же, постулируемом со времён «В чём моя вера?», назывании участников системного, организованного насилия — настоящими их именами: грабителей, насильников, палачей... О *делегитимизации* подданными каждого правительства — власти этих самых правительственных людей над ними.

Толстой сознаётся, что письмо Анджи Петровичевой отнюдь не одиноко среди вопрошателей его всё об одном: «меня спрашивают со-

вета, что делать? спрашивает ли совета индус, как бороться с Англией, серб, как бороться с Австрией, персиянин или русский человек, как бороться с своим персидским, русским насильническим правительством» (*Там же. С. 241*). Средство у Толстого для всех одно («и не могу не верить, что это одно спасительно всегда и для всех»):

«...Освободиться всеми силами от губительного суеверия патриотизма, государства и сознать каждому человеку своё человеческое достоинство, не допускающее отступления от закона любви и потому не допускающее ни господства, ни рабства и требующее не делания чего-либо особенного, а только прекращения делания того, что поддерживает то зло, от которого страдают люди.

Что делать боснякам, герцеговинцам, индусам, сербам, русским, шведам, всем одурённым, потерявшим своё человеческое достоинство народам? Всем одно и одно: то самое, что сказала сербская женщина сыну: жить по закону Божескому, а не по закону человеческому» (*Там же*). Славянам это, по ошибочному мнению Толстого, даже легче, так как они менее развращены общим для лжехристианской цивилизации развратом: «Ещё не достаточно учёны, чтобы рассуждать превратно» — повторяет Лев Николаевич любимую поговорку одного из любимых своих мыслителей, Мишеля Монтеня, так же включённую им в состав «Круга чтения». Оттого и освобождение, для которого не нужно насилия, к ним ближе: «Только сознание людьми в себе высшего духовного начала и вытекающее из него сознание своего истинного человеческого достоинства может освободить и освободит людей от порабощения одних другими. И сознание это уже живёт в человечестве и всякую минуту готово проявиться» (*Там же. С. 241 – 242*).

Такова статья Толстого против сербского, и всяческого, патриотизма, насыщенная поистине неотмирной мудростью. Окончена она была в начале ноября 1908 г. (на окончательной версии дата — 5 ноября), а первых числах декабря статья была напечатана (с многочисленными цензурными пропусками) в «Голосе Москвы» и в других русских и иностранных газетах.

Статья Толстого вызвала многочисленные отклики в русской и иностранной печати. Д. П. Маковицкий 23 февраля 1909 г. познакомил его со статьёй М. Стевановича «Лев Толстой об аннексии» (Стеванович М. Лав Толстой о анексіј. — «Недѣльнй Прѣглед», 1908, Бројі 36 и 37). В этой статье автор заключает саркастически, что Толстому вряд ли удастся убедить А. Эренталя, австрийского министра иностранных дел, в необходимости отказаться от аннексии Боснии и Герцеговины. И всё это в дневнике Маковицкого, кстати, в связи со

сказанной Толстым тут же французской пословицей, «в том смысле, что его писания — это долбление глухим» (*Маковицкий Д. Указ. соч. Кн. 3. С. 339*). Комментаторы уточняют, что это был так же один из любимых афоризмов Толстого, из Мольера: «Il n'y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre» («Нет более безнадёжных глухих, чем те, которые не хотят слышать»). Толстой часто приводил эту поговорку: например, в качестве эпиграфа к ст. «Неизбежный переворот» (*Там же. С. 498. Комментарий*).

И Толстой, выслушав это, сказал по поводу своей статьи: «Никого не убедит» (*Там же*).

Вскоре, 25 февраля, Д. П. Маковицкий получил письмо от сербского переводчика И. Г. Максимовича, с такими свидетельствами:

“Когда у нас появилась в печати статья Льва Николаевича о Боснии и Герцеговине, некоторые газеты и журналы отнеслись к ней отрицательно, шаблонно, упоминая об утопиях и т. д. Теперь же, когда европейские правительства, не исключая и русского, поступают относительно сербов совершенно так, как это было сказано в статье Льва Николаевича, т. е. правительства — волки, защищают волка — Австрию, а не ягнёнка — сербский народ (Сербию, Боснию и Герцеговину) — теперь те самые газеты осуждают волков словами, доводами и приёмами, взятыми прямо из статьи Льва Николаевича и её идеологии. Будучи вообще бесконечно отдалены от отрицания государства, они теперь по опыту убедились, что корень наших бедствий лежит именно в существовании государства”.

Л. Н-чу и всем понравилось.

— Если бы убедились! — сказал Л. Н.» (*Там же. С. 341*).

А вот и реакция первой его адресатки, Анджи Петровичевой — последнее её письмо к Толстому, от 20 декабря 1908 г., образчик той самой, идеальной в своей безнадёжности, глухоты:

«Ваше сиятельство!

Считаю своим долгом поблагодарить вас за ваше благородное письмо по поводу нашего сербского вопроса.

Основной христианский принцип — люби ближнего и люби человечество — символ христианских устремлений, понятие человеческой правды и личной независимости приняло ныне иные формы, искажение благородных идей самого Христа получило санкцию власти.

Христианином теперь называется даже тот, кто, прикрываясь этим именем, проливает кровь своих братьев во имя выдуманых, укоренившихся принципов; эгоизм завладел каждым в отдельности и всеми вместе.

Цели утратили своё истинное благородство, так что вы, учитель, правы — тропа добродетели затерялась в повседневной борьбе.

Ваше учение, или возрождение современного общества, было бы, без сомнения, осуществимо, если б все люди освободились от своих традиций, убедив этот материалистский, эгоистический мир, что он заблуждается, считая ваше учение неосуществимой философией, а не истинной наукой, которую так легко воспринимают люди с чистой душой.

Ваш ответ пробудил во мне благородные мечты о правде и любви, но чтобы воспринять милосердие и благородство великого учителя, я должна была бы забыть, что я сербка, забыть о тех несчастьях, среди которых живёт сербский народ. А действительность требует постоянной, реальной заботы о моём отечестве и разрешении кризиса, после которого должен быть создан хоть временный мир.

Я исполнена надежд и горячо желаю, чтобы быстрее осуществились принципы вашего благородного учения. Я льщу себя мыслью, что эра, в преддверии которой мы стоим, не позволит растоптать целый народ и что в ближайшем будущем будут осуществлены народные права.

Веря в справедливость надежды об общем счастье, поздравляю вас с Рождеством и Новым годом и шлю тысячи тёплых пожеланий долгих лет жизни и успешного труда.

Ещё раз примите сердечную благодарность от меня и всех сербов за участие и отклик в печати на аннексию Боснии и Герцеговины.

С горячим приветом и уважением

Анджа М. Петровичева» (*Иностранная почта Толстого. С. 500 – 501*).

В письме очевидны сдержанные огорчение, неодобрение, и — всё тот же «барьер» непонимания, *нежелания* понимать... Папины, и других воспитателей в родной Сербии, внушения оказались для доченьки значительнее учения якобы «великого учителя». «Между строк» так и читается: может быть ты, старец, ещё и не съехал кукухой совсем уж в говнище, но *мы*, грядущая великая нация, всё равно

знаем лучше, как нам поступать. Раз потребной цели с тобой не достичь — прощай и прости, бесполезный для молодых, дряхлеющий мечтатель!

Поистине, переписка Толстого-христианина с сербкой, увенчанная открытым письмом-статьёй старца, более всего напоминает любимую притчу Толстого о двух дураках, один из которых доил козла, а другой — подставлял решето. Того же мнения был о диалоге писателя с польской патриоткой его зять, Михаил Сергеевич Сухотин, который часто и по многим политическим вопросам выступал в своеобразной роли оппонента Толстого. Тогда же Сухотин записал в своём дневнике:

«Л. Н. пишет ответ какой-то сербке, который мне не нравится по своей бесцельности. Сербка плачет о том, что их окончательно заберут в свои руки и уничтожат их национальность швабы, а Л. Н. в утешение ей доказывает, что не нужно никакой национальности и что одинаково вредно ей, сербке, всякое государство, будь то турецкое, немецкое или сербское» (*Сухотин М.С. Толстой в последнее десятилетие своей жизни (по записям в дневнике М. С. Сухотина) // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 2. С. 208*).

---

### 10. 1. 3. «ОТВЕТ ПОЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЕ (Одной из многих)». 1909

Близкий, многолетний друг и биограф Л. Н. Толстого Павел Иванович Бирюков, свидетельствует, что рассказ «За что?», над которым Толстой работал с января по апрель 1908 года, посвящённый судьбе поляков, сосланных в Сибирь после восстания в 1830-е гг., имел для автора существенное личное значение: «Этим рассказом, по словам самого Л. Н-ча, он отдавал дань уважения и сочувствия польскому народу, подвергавшемуся в это время жестоким преследованиям русского правительства. Вместе с тем, как говорил мне Л. Н-ч, он расплачивается за свой старый грех, так как в молодости своей, под влиянием патриотической среды, в которой он жил, он позволял себе враждебные отношения к этим людям» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Т. 4. М. - Пг., 1923. С. 122*).

1 марта 1906 г., по ходу работы над рассказом «За что?», Лев Николаевич просил Душана Петровича Маковицкого снести с профессором-лингвистом Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ по поводу важных материалов для работы: «истории Польского восстания 1831 года, написанной с польской точки зрения» — то есть,

попросту говоря, правдивой. Даже в официозном сочинении Н. К. Шильдера «Император Николай I в Польше» Толстой нашёл свидетельства бесценных для него с юных лет храбрости, вдохновенности и обдуманности ведения боя, благодаря которым «русские были несколько раз разбиты поляками», при том, что самих «поляков было 80 тысяч; русских войск 180 тысяч» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. У Толстого // Литературное наследство Т. 90. М., 1979. Кн. 2. С. 65*).

Другой близкий единомышленник и секретарь Толстого, Николай Николаевич Гусев, в дневнике на 1 июля 1908 г. записал следующие слова писателя: «Во мне в детстве развивали ненависть к полякам. И теперь я отношусь к ним с особенной нежностью, оплачиваю за прежнюю ненависть» (*Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1973. С. 180*).

И здесь же приведём ещё одно, о том же, личное свидетельство Бирюкова-биографа:

«Мне лично несколько раз приходилось слышать от Л. Н-ча выражение его симпатий к польскому народу. В этом его добром чувстве, как он сам говорил, была доля раскаяния, желание загладить те дурные чувства, которые, под влиянием патриотического воспитания, внушались ему с детства, которые он питал в своей юности и которые мешали ему видеть в истинном свете борьбу польского народа за свою независимость» (*Там же. Т. 3. М., 1922. С. 260*).

Уважаемый биограф-толстовец, к сожалению, не поясняет, каков этот «истинный свет» — для него и для учителя во Христе, отче Льва. Для нас важно, что этот «свет» не затмил — по крайней мере, для самого Толстого — простой истины о том, что ни масштаб, ни системная организованность «освободительного» насилия, ни умозрительные представления об альтернативном будущем в условиях «национальных» свободы и единения — не оправдывают ненависти и убийств и не освобождают человека от Божьего ярма.

Из этих соображений, слава Богу, Толстой и исходил не только в эпистолярном диалоге с Марианом Здзеховским, о котором мы довольно рассказали в своём месте, но и, более чем через десятилетие после этого диалога, в 1909 году — в своём знаменитом «Ответе польской женщине», представляющем собой снова — разросшийся в статью эпистолярный ответ, или, иначе, открытое письмо.

Письмо это, или статья, является ответом Толстого на письмо польки Стефании Ляудын из курортного местечка Закопане (Галиция) по поводу его статьи «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (1909).

*Стефания Ляудын-Хшановская* (Laudwen; урожд. Боровская; 1872 – 1942), родилась в Польше, в имении Рохачёв под Могилёвом, в семье с польскими патриотическими традициями. Идеи, воспринятые в детстве, стали основополагающими в её жизни. Образование получила в польских и русских школах, свободно владела русским языком. В своё время сотрудничала с либеральным изданием «Московский еженедельник», с петербургской газетой «Русь». В Москве вышла замуж за адвоката Адама Ляудын-Хшановского, с которым переехала в Польшу, затем — в Галицию, в курортный городок Закопане.

Весной 1909 г. Толстой получил письмо на хорошем русском языке от неизвестной польской женщины по поводу его статьи «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». Это пространное и страстное письмо от 20 марта 1909 г. н. с. (почтовый штемпель: «Ясенки» — 11. III) из курортного местечка Закопане в Польше, подписанное псевдонимом «Полька (Одна из многих)». По причине такой анонимности «польки» в юбилейном издании (38, 150 – 156) фамилия Стефании Ляудын не указана. Так же анонимно её корреспонденция к Толстому была полностью опубликована в краковском журнале «Świat Słowiański» (1909, t. I, № 53, s. 302 – 307).

Знакомясь с письмом Стефании, сразу обращаешь внимание на то, что она не преминула использовать, атакуя риторикой Толстого, скромный свой писательский талант. Подлинник письма утрачен; в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, в Комментарий к его ответу полячке, он цитируется по публикации в журнале «Жизнь для всех», куда Толстой отослал его и свой ответ. Вот письмо полячки:

«Передо мною — обращение Ваше по поводу аннексии Боснии и Герцеговины. Прочла и убедилась, что Вы иногда способны ломать Ваше молчание и возвышать свой голос, хотя бы в столь далёких для Вас делах политики. Да, Вы способны вместе со всем русским народом, проникнуты возмущением по поводу далёких, незнакомых братьев Боснии и Герцеговины, способны в защиту их неприкосновенности, во имя их сомнительной обиды разразиться протестом по части справедливости и прав народа. Вижу это, вижу — и тем более жгуче, невыносимо больно сознание того Вашего преступного, виноватого и грешного молчания, которое Вы сохраняете по отношению Вашего близкого... брата...

И встаёт передо мною во всей суровости великий грех Ваш, тяжёлое упущение, как христианина, как человека и как русского...

В историческом лицемерии своём находите вы все слова и чувства людские по отношению далёких славянских братьев, и все вы сознательно глухи и слепы по отношению к реальному делу, по отношению

к настоящей тяжёлой действительности, требующей от вас искренней воли, отваги и действия. Да, да, ведь это вытекает из учения Вашего, великий русский пророк, из философии Вашей, изобретённой и оставляемой Вами народу как завещания, из учения «непротавления злу».

Берегитесь, Вы отравляете родину Вашу учением своим, усугубляете то зло и яд, которые и так душе народной привили века рабства. Берегитесь! Вам перед лицом идущей на Вас вечности — время прозреть и понять, что и в Вашем собственном мышлении и крови таится то самое пагубное зерно безволия, которое Вы освятили, как добро, в грешном и вредном учении Вашем, поданном народу.

Смотрите, вот оно, вот воплощённое в жизнь перед Вами... Россия, разбитая анархией душевной и житейской, Россия, утопающая в разврате, упадке воли, обнищании чувств, оскудении души народа.

Где геройство, где спасительный вихрь подъёма, решения в минуты тяжёлых исторических переломов?

Где люди, вожди, пророки? Непротивление злу, непротивление злу на всех огромных, убитых пространствах России, растрение душевное и физическое, гнёт, дикость. Вот оно. Что дальше? Но это дело Ваше. Я разуверилась в обновлении духа и жизни России...

Тонкий слой светлого покрова, пропитанного культурой, свободой и гуманизмом запада, слишком слаб, и хрупок, и бессилён. Едва ли спасти ему всю тёмную гущу под собою, обуздать и светом проникнуть эту бурлящую, дикую и мутную стихию...

Боюсь, судьба может быть к русскому народу неумолима... Где заслуги его долгие, долгие века исторической жизни? Где его вклад в историю человечества? Кровь, кровь и — мрак...

Целое море крови и мрака...»

Наряду с этим мрачным зрелищем «польская женщина» рисует другую, более светлую картину, рисует «народную душу» польского народа, которая, не смотря на все терзания, остаётся «живая, упрямая, творческая, протестующая»:

«Такой завет оставили нам великие люди нашей истории, такое сокровище жизни таится в светлом прошлом. Над нами бодрствует и нас одушевляет бессмертный дух Скарги, Кохановского, Словацкого и героя-пророка Мицкевича. В дни затмения голоса их несут нам жизнь, веру в будущее, презрение к пытке».

Далее идёт описание того, что польский народ испытывает в настоящее время. «Польская женщина» касается здесь и проекта об отделении Холмщины. По Венскому договору 1815 года Холмщина во-



шла в состав т. н. «Царства Польского», областей Польши, насильственно включённых в состав Российской империи. После Польского восстания 1863 – 1864 годов царское правительство приняло решение о насильственном переводе в православие принадлежащих к Украинской греко-католической церкви украинцев Холмщины. Сопротивлявшихся насильственному перекрещению в ряде случаев расстреливали в упор. 11 мая 1875 года в присутствии войск, вошедших в сёла, чиновники и духовенство зачитали императорский указ о «воссоединении» холмских униатов с православной церковью.

В начале XX века епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский) (1868 – 1946) выдвинул в Думе предложение о выделении Холмщины из Царства Польского. Но лишь с 1919 года Холмщина вошла в состав возрождённого самостоятельного польского государства. Как раз об этом, ещё не оконченном в 1909 году, пути к свободе от Империи и поганого «русского мира» пишет Толстому польская патриотка Стефания Ляудын:

«Я знаю всё, что мы прошли. Мы были на плахе отечества и на Голгофе истории. Но в крови польского народа лежит завет свободы, в душе его золотые скрижали жизни, будущего... Я верю, мы живём, жить будем и возродимся. Мы с вами хотели идти в будущее... Но... вы отвергли нашу руку и... вырываете бездну навсегда. Дороги наши расходятся. Кто может, да спасает будущее. Быть может, не всё ещё потеряно...

К Вам, к Вам, великий учитель, я обращаюсь прежде всего со своею речью. И слово Ваше мы прежде всего услышать хотим в великой тьме. Оно даст силу возвысить голос колеблющимся, прозреть сомневающимся и разразиться пламенным протестом тем из нас, которых слишком мало... Верю — Вы не отойдёте с молчанием... Слово Ваше взовьётся, быть может, как жаворонок, сулящий весну, и солнце, и жизнь омертвевшей земле. Да будет оно золотой стрелой, идущей к покаянию и правде, туда, где решается судьба народов» (38, 535 – 536).

Как видим, болтливая, уверенная в себе, хотя и ощутительно скромная именно писательскими талантами коллега по перу бьёт адресата своего болезненно и метко — как будто угадывая настроения дряхлеющего яснополянца в отношении многолетне притесняемых Россией поляков.

В конце письма был указан обратный адрес: «Закопане. До востребования».

Конечно же, письмо произвело на Льва Николаевича большое впечатление. На конверте он пометил: «Ответить» и приписал в конце

письма: «Душану: ответьте, что пишу, насколько сумею, обстоятельный ответ. Был задержан и нездоровьем, и другими делами; прошу извинить» (*Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. Кн. 3. С. 500*).

На следующий день Толстой отвечал «польке». Д. П. Маковицкий отметил в своих записях: «Л. Н. утром продиктовал мне ответ польке, упрекавшей его за то, что он написал о Боснии, а об их Польше не пишет» (*Там же. С. 356*). «Мысль моя состоит в том, что избавить польский народ от его порабощения и дать ему свойственное всем людям благо, — диктовал Толстой, — может никак не борьба насильем с насильниками, не покровительство насильнических держав, как Россия и другие, но вступление на тот путь истинно христианской жизни, при которой все люди признают себя братьями и потому свободными. Свободу даёт только любовь, религиозная любовь; любовь же только тогда любовь, когда непременным условием её есть неупотребление насилия, т.е. непротивление.

Разделение и угнетение Польши всегда возбуждало во мне величайшее негодование. Спасение от него, думаю, есть одно то, чтобы поляки перестали бы себя считать поляками, а считали бы себя братьями всего человечества. Я думаю, что такая мысль и деятельность особенно свойственна славянским народам, и такому народу, как поляки, которые перенесли такие тяжёлые испытания» (38, 327).

Здесь же приписка Маковицкого: «Л. Н. продиктовал мне этот ответ “польке” 14 марта 1909 г., но потом он сам от своего имени написал ей длинный ответ» (*Маковицкий Д.П. Указ соч. Кн. 3. С. 357*).

Далее Маковицкий писал: «Ответ Л. Н. “польке” был послан на анонимное письмо и адресован (послан) до востребования в Закопане — курорт в Галиции. Так как не было потребовано, почта вернула его обратно. “Полька” между тем сообщила новый адрес: “В Чешскую Прагу до востребования”, но т. к. не было сделано лишней копии, не было ей сразу отвечено, а после нескольких дней, принёсших свою новую работу, было про её письмо забыто. Так и осталось неизвестным, кто такая была эта “полька”» (*Там же. С. 358*).

Александр Борисович Гольденвейзер позднее записал в дневнике суждение Толстого об этом письме: «Она мне пишет, — сказал Л. Н.: — “вы написали о Боснии и Герцеговине, а о Польше ничего не скажете. Здесь ничего не поделаешь с вашим дурацким непротивлением, единственное средство — вооружённая борьба”. Я тогда ей ответил небольшим письмом, которое меня не удовлетворило, и я его не послал. Я получаю аглицкий (Л. Н. всегда говорил “аглицкий”) журнал об Индии, который выходит в Лондоне и на котором, как эпитафия, написано: “Resistance” <англ. «Сопротивление»>. Аналогия

этих двух явлений на разных концах света меня поразила, и я стал ей (польке) отвечать, и теперь работаю над этим письмом» (*Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: Воспоминания. Запись 29 августа 1909 г. М., 2002. С. 265*).

Работа над ответом «Польке» продолжалась в августе и в начале сентября. Письмо «разросло и стало совсем нецензурно», как писал Толстой Н. Н. Гусеву 8 сентября (80, 88). Фактически письмо превращалось в целую статью.

В своей статье Толстой опровергает высказанные «всеми борцами против угнетения не только народов, но и сословий» мысли, осуждающие философию непротivления злу, «как будто в этом учении заключается главное препятствие к освобождению людей». С горечью он замечает: «Мало того, что отрицается, оно вызывает самые недобрые, озлобленные чувства против тех, кто их предлагает, напоминая ту собаку, которая злобно кусает того, кто хочет отвязать её» (38, 151). Но несмотря на то, что многие, «презрительно пожимая плечами», даже «не дают себе труда и подумать о таком непрактическом, фантастическом приёме борьбы со злом», Толстой убеждён, что «освобождение не только поляков, но всех людей [...] может совершиться только признанием людьми обязательности для себя закона любви, несовместимого с употреблением какого бы то ни было насилия против ближнего, т. е. *непротivления*.

«E pur si muove». «И всё-таки вертится». Не думаю, что Галилей был более убеждён в несомненности открытой им истины, чем убеждён я, несмотря на всеобщее отрицание её, в несомненности открытой не мной и не одним Христом, но всеми величайшими мудрецами мира истины о том, что зло побеждается не злом, а только добром» (*Там же*).

В этом Толстой видит «единственное средство спасения от того зла, от которого страдают все порабощённые народы и сословия»; об этом он говорит со всей уверенностью. И несмотря на то, что «дело казалось бы так просто и ясно, что совестно разъяснять то, что до такой степени очевидно», Толстой вновь и вновь убеждает своих оппонентов в том, что «избавление порабощённых людей [...] никак не в разжигании того ли иного польского, индусского, славянского патриотизма или революционного задора, [...] а только в одном: в отрешении от отжитого людьми, уже несвойственного им закона борьбы и насилия и в признании основным законом жизни общего в наше время всем людям закона любви, любви, исключающей возможность участия в каком бы то ни было насилии» (*Там же. С. 154*).

Толстой убеждён, что замена закона насилия законом любви «совершится очень скоро». «У меня есть мечта», признаётся он в завершённой статье: она «в том, что этот огромный переворот в жизни человечества начнётся именно среди нас, среди славянских народов», по мнению мечтателя, наименее воинственных и наиболее близких к Истине и ко Христу (*Там же. С. 155*).

Свой окончательный ответ польской женщине Толстой резюмирует в конце статьи предельно сжато: «Освобождение Польши, как и всех порабощённых народов и всех порабощённых людей, в одном — в признании людьми высшим законом жизни закона любви, включающего в себя непротивление и потому не допускающего ни само насилие, ни какое-либо участие в нём» (*Там же*).

12 сентября 1909 г. открытое письмо-статья «Ответ польской женщине» было послано Владимиру Александровичу Поссе (1864 – 1940), между прочим, анархисту с весьма революционными настроениями, который тогда начал издавать новый журнал «Жизнь для всех» (каким-то чудом избежавший разгрома имперскими цензорами и полициями и разгромленный только большевиками в 1918-м); в сопроводительном письме к издателю Толстой писал: «Когда Душан Петрович предложил мне послать это письмо к польской женщине вам, я пересмотрел его и невольно кое-что прибавил, от чего, боюсь, оно стало ещё более нецензурно, чем было. Во всяком случае посылаю его вам, предоставляя вам сделать в нём те сокращения, какие найдёте нужным. Буду рад, если оно в каком бы то ни было виде пригодится вашему изданию, которому по тому, что вы пишете об его задачах, всей душой сочувствую. Хотя я и не считал бы это письмо к польской женщине заслуживающим того, чтобы оно одновременно было напечатано за границей (считаю незаслуживающим, потому что в нём много повторений много раз сказанного), В. Г. Чертков просит вас списаться о времени выхода, если вы захотите печатать письмо. Прилагаю и письмо польской женщины. Вы сделаете с ним, что найдёте нужным. Всё оно длинно и малоинтересно. Может быть, вы найдёте нужным сделать из него извлечения» (38, 635).

Статья «Ответ польской женщине» появилась в декабрьском номере журнала «Жизнь для всех» (1909) в сокращении и вызвала широкий резонанс в России и Польше. Там же, как было сказано, были опубликованы значительные фрагменты утраченного письма «польки» к Толстому. Редактор краковского журнала «Критика» Вильгельм Фельдман обратился к профессору Санкт-Петербургского университета,

выдающемуся лингвисту польского происхождения Ивану Александровичу Бодуэну де Куртенэ с просьбой приобрести полный текст статьи. При содействии Владимира Григорьевича Черткова текст без купюр и изъятий был передан в журнал. Таким образом, впервые полный текст статьи «Ответ польской женщине (Одной из многих)» появился в польском переводе в краковском журнале «Krytyka» (1910. Т. I. № 5. С. 243 – 247). При содействии одного, как минимум, революционера и двух ярых, безусловных патриотов Польши!

Примечательно, что нигде ни разу не было названо подлинное имя корреспондентки Толстого: лишь спустя несколько десятилетий его установил польский исследователь-литературовед Базыли Бялокозович (1932 – 2010).

Достоверно установлено, что в сентябре 1909 г. Стефания Ляудын-Хшановская прислала в Ясную Поляну из Праги своё сочинение: *Laudynowa Stefania. Kwestja Polska i inne / Listy polityczne «Polki» (pseud.) drucowane w gazecie «Rus» od 1 (14) pazdzemika 1904 r. po 10 (24) listopada 1907 r. - Warszawa, 1908, с дарственной надписью: «Великому Русскому — на память весны русско-польских отношений посвящает «Полька» — (Стефания Ляудынь)». И чуть ниже: «Напечатанное в Варшаве и сейчас уже конфискованное, кроме нескольких экземпляров, у меня оставшихся. Прага, д. 20. IX. 1909 года». Книга сохранилась в яснополянской библиотеке.*

Одновременно Ляудын-Хшановская написала Толстому и призналась, что не получила его открытого письма и не знает, где и когда оно было напечатано. Ляудын просила кого-либо из окружения Толстого разъяснить создавшуюся неловкую ситуацию: «Если б, граф, из Вашей канцелярии мог мне кто прислать № или объяснение. Простите, простите, но ведь мне — *нам* так дорого слово Ваше и суждение. Примите выражение того горячего, благодарного волнения, которое я теперь при мысли о Вас — испытываю, да хранит Вам Господь твёрдое здоровье и крепкие силы. Стефания Ляудын. Адрес: Австрия — Прага. *Poste restante*» (Толстовский ежегодник. 2003. С. 156). 28 сентября 1909 г. Толстой поручил младшей дочери написать ответ незнакомой «Польке», что Александра Львовна и исполнила.

В 1910 году Стефания Ляудын-Хшановская уехала в США, где опубликовала в польской газете, издаваемой в Чикаго, «Ответ польской женщине» Толстого. Позднее она занимала ответственный редакторский пост в польском журнале «Glos Polek» («Голос польских женщин»), Вернулась в Польшу, в Закопане, в 1922 г. В 1930 г. она основала Славянскую Лигу женщин в Польше, преобразованную в Объединение славянских женщин, которое сама и возглавляла. По возвращении из США издала несколько книг и брошюр, в которых

звучат идеи братства всех славян и слышны отголоски мыслей Толстого, высказанных в письме к «польской женщине».

---

#### 10. 1. 4. ФИННЫ И АРВИД ЕРНЕФЕЛЬТ

Из народов, волею имперского насилия оказавшихся в «подданстве» Империи и московитскому царю, не одни поляки к началу XX столетия достигли уже самосознания национальной общности и мечтали отчистить и смыть с себя нравственную грязь «русского мира» — обрести независимость от России. Сложность отношений яснополянского отрицателя войны не только с поляками, но и со сторонниками будущей счастливой, великой в мудрости и добре, в благе для всех граждан, независимой Финляндии, выступавшими против политики Николая II на культурное «обрусение» и усиление военно-политической зависимости финнов, проиллюстрирует в нашей книге только один рассказ — об отношениях Толстого с писателем Арвидом Эрнефельтом.

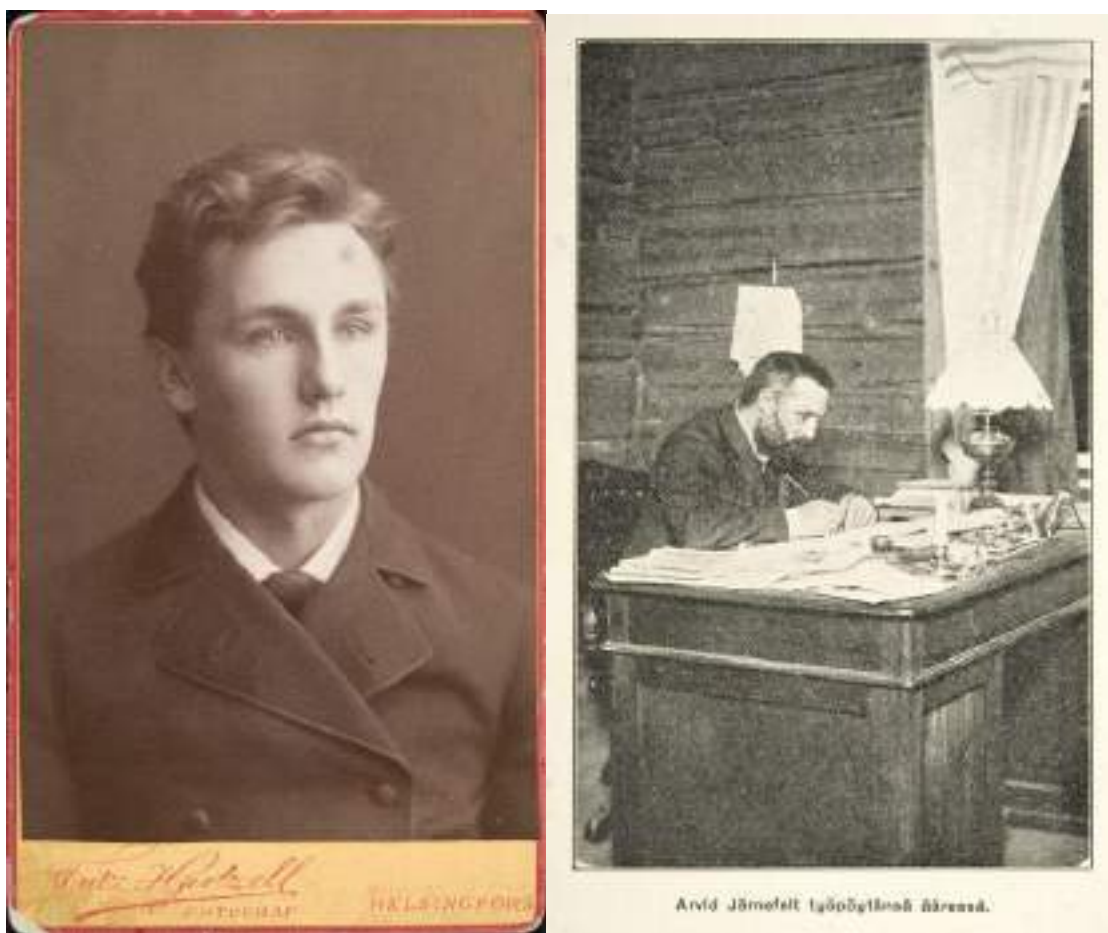
Имя это уже известно нашему читателю. Арвид Александрович Эрнефельт, толстовец с начала 1890-х, с 1895-го — корреспондент и адресат писем Льва Николаевича, а с 1899-го, после личного визита в московские Хамовники, к Толстому — личный его знакомый и друг, которому был доверен перевод на финский язык роман «Воскресение».

Судьба Арвида Александровича — образец счастливой судьбы умного толстовца, сумевшего не только не навредить себе избытком фанатизма, имманентного многим русским толстовствующим головёшкам, но и послужить Богу, Иисусу и Льву, и родной финской, и общечеловеческой культуре.

Результатом усилий Арвида Эрнефельта, сочетанных с другими представителями финской и мировой интеллектуальной и творческой элиты, стало, конечно же, не царство Божие на Земле, но всё же, всё же, всё же...

Показательно: Арвид умер, как и родился — в *столичном городе*. Да только городом этим был не Санкт-Петербург, в котором он в ноябре 1861-го родился, а Хельсинки, не менее великолепная в своей северной суровости красавица-столица обретшей долгожданную независимость (хотя ещё и угрожаемую Россией — большевистскими бандитами с вожаком своим Сталиным) милой Финляндии!

Отцом Арвида был военный человек, и выдающийся — военный топограф, губернатор и сенатор, генерал-лейтенант Александр Густавович Ернефельт. Мать — не менее, а даже более выдающаяся личность: Елизавета Константиновна, урожд. баронесса фон Клодт (фин. Elisabeth Järnefelt, 1839 – 1929). Сохранив на всю жизнь лучшее из русской культуры и передав это детям, она сумела освоить финский язык, включиться в национальную жизнь Финляндии (иногда Елизавету Ернефельт называли «матерью финской литературы»). Счастливейшим для сына образом, она в одно с ним время прислушалась к голосу Христовой и Божьей Истины из Ясной Поляны — и проводила в жизнь то, к чему подвигало её живое слово христианской проповеди Льва Николаевича.



Арвид Ернефельт. Снимки 1880-х и 1900-х гг.

Уже во второй половине 1880-х молодой Арвид, влюблённый, благодаря матушке, в русскую литературу, печатает в финских газетах свои «Письма из России», в которых делится впечатлениями о русской жизни. Такие письма помогали культурным финнам лучше понять своего восточного врага — от которого необходимо было скорее,

но культурно, желательно и без насилия, отделиться; при том и надёжно защитить своё разумное и доброе будущее.

Благодаря маме Арвид становится единомышленником Льва Николаевича — прочтя в 1891 году свеженькое издание «Anden af Kristi lära: En kommentarie öfver evangeliets mening» («Краткое изложение Евангелий»). Восторженный читатель безотлагательно делает и публикует финский перевод книги!

В 1895 он Арвид, уже опытный юрист, подал в отставку со службы в губернском суде, купил участок земли неподалёку от города Лохья, где основал крестьянское хозяйство, освоил ремесло сапожника и бесплатно обучал грамоте местных жителей. В 1894 г. в Гельсингфорсе (буд. Хельсинки) на финском языке была издана его автобиографическая книга «Heräämiseni» («Моё пробуждение») — об обретении, через Льва Николаевича, живой веры Христа. Перевод на русский язык пятнадцатой главы этой книги «Почему я не вступил в должность судьи» был сделан им вместе с матерью специально для Льва Николаевича и послан вместе с первым письмом к нему в 1895 году. В своём ответном письме от 22 декабря 1895 года писатель отметил «драгоценные черты правдивости» присланной книги. С середины 1890-х Арвид состоит в переписке с Толстым, а в апреле 1899 г. происходит и личное их знакомство.

В своих книгах Арвид показывал, что улучшение общества возможно лишь на основе переворота в душе каждого человека, а не внешним насилием или законодательными актами. Убеждённый в том, что перенесённые в жизни невзгоды обязательно ведут человека к пониманию христианской любви, Ернефельт, как и сам отче Лев, учитель, был разочарован тем, что социальные потрясения не привели к религиозно-нравственному перерождению общества.

Секретарь Л. Н. Толстого Валентин Фёдорович Булгаков (в те годы тоже толстовец) оставил воспоминания о Ернефельте в его посещение Ясной Поляны в 1910 г.:

«Это был хорошо сложенный, изящный мужчина лет 45 – 50, с тонким, бледным, одухотворённым лицом и с седой бородкой клинышком, очень похожий на портреты композитора П. И. Чайковского. Говорил Арвид Александрович тихо, не торопясь, держался спокойно, уравновешенно, со всеми был исключительно внимателен и деликатен, на вопросы отвечал и рассказывал чрезвычайно просто, незатейливо, но и глубоко. Он производил на редкость милое, приятное впечатление — впечатление человека знающего, мыслящего, благородного, доброжелательного, талантливого» (*Булгаков В.Ф. О Толстом. Тула, 1978. С. 349*). Толстой ценил «драгоценные черты правдивости и серьёзности» Ернефельта, «дорожил общением» с



ним. У Толстого и его финского единомышленника сложились доверительные отношения. Его фотография сохранилась в кабинете Льва Николаевича.

По отношению к антивоенной тематике чаще всего вспоминают два сюжета: обращение Толстого к Арвиду Эрнефельту в 1906 году в связи с “угрозой” номинирования его (Толстого) на Нобелевскую премию, и участие финна в готовящемся в 1909 году визите Льва Николаевича на Конгресс мира в Стокгольме. Летом 1909 года предполагалось, что Арвид будет сопровождать Толстого на XVIII международный конгресс мира в Стокгольм, но после отказа писателя от поездки и принятия решения послать лишь доклад, огласить его должен был, по поручению Льва Николаевича, Эрнефельт. По счастью для последнего, Конгресс вскоре был вовсе отложен...

Реже вспоминают как раз более ранний, значительнейший, сюжет — личную встречу писателей в 1899 г. Преодолеть робость и приехать к Толстому Арвиду Эрнефельту помог Февральский манифест 1899 г., угрожавший давней автономии Финляндии в составе Российской империи. В 1900 г. в бесцензурном издании «Свободного слова» (Maldon, Essex, England) была опубликована брошюра В. Г. Черткова «Финляндский разгром» с подробностями медленного “пожирания” Империей автономии финнов.

Особое значение в этом процессе для нас имеет введение в Финляндии в 1878 году воинской повинности (впрочем, жеребьевой, формально не всеобщей), со службой в три года. За этим последовало “обрусение” войска: на место финских офицеров назначались русские, и автономность финского войска превращалась в фикцию. Этим дело не ограничилось:

«В августе 1898 г. был обнародован рескрипт царя о мире; в октябре того же года русское правительство осведомило финский сенат о царском предложении относительно нового военного законопроекта, согласно которому, между прочим, количество военных сил Великого Княжества Финляндского должно быть увеличено с 5 600 человек до 35 000 человек. 15-го февраля текущего года обнародован указ, главной целью которого является уничтожение конституции Финляндии, — конституции, основанной на древних, освящённых временем скандинавских традициях, и которую торжественно клялись поддерживать поочерёдно все русские властители Финляндии, не исключая и теперешнего царя. Эти события, по мнению многих, [...] знаменуют торжество автократических принципов Востока над конституционными началами Запада и, хотя бы уже по одному

этому, они должны привлечь на себя внимание публики» (*Финляндский разгром. Сборник под редакцией В. Черткова Maldon, Essex, England, 1900. С. 3*).

Конфликт нарастал, финны искали внешнюю поддержку, а более крупного морального авторитета, чем Толстой, в России не было, и поскольку Ернефельт сделался в глазах соотечественников, в некоторой мере, представителем Толстого в Финляндии, его попросили узнать мнение Толстого по этому вопросу. Сделать это надо было лично: всем хорошо известна была привычка писателя реагировать на личные письма открытыми, публичными и весьма нецензурными ответами. Одновременно брату Арвида, художнику Ээро Ернефельту (1863 – 1937), понадобилась компания для поездки в Крым через Москву. Решение было принято, давняя тайная мечта Ернефельта о встрече с Толстым приблизилась к исполнению.

Ернефельт предупредил Толстого о встрече в письме от 26 марта (7 апреля) 1899 г., в котором отчитался и о надвигающемся кризисе. Февральский манифест ставил под угрозу конституцию Финляндии, основу независимого существования в империи, что само по себе вызвало волну патриотизма. Ернефельт, осведомлённый о негативном отношении Толстого к патриотизму, стремился доказать Толстому, что в данном случае речь идёт о той любви к родине, которая в корне отличается от «тулон-кронштадтского патриотизма», легкомысленного, под развевающимися знамёнами, франко-русского военного братания 1893 года, которое Толстой критиковал в статье «Христианство и патриотизм» (1895). Финский патриотизм не выражался в национальном самодовольстве или внешней агрессии. Целью было демократическое объединение всех общественных классов — в желании служить народу, просвещать его, способствуя реализации европейского цивилизационного выбора Финляндии (т. е., повышая шансы на ненасильственное отделение страны как культурное, от поганого «русского мира», так и политическое, от Империи).

Реакция Российской Империи не заставила себя ждать. Осенью 1898 года было созвано специальное заседание ландтага для одобрения наращивания военных ресурсов Финляндии. Все привилегии военнотружущих автономии отменялись, срок армейской службы повышался с трёх до пяти лет, численность действующих военных увеличивалась вчетверо. Как и Толстой, Ернефельт не мог не заметить иронию обстоятельств, заключавшуюся в том, что одновременно царь и российское правительство призывали другие нации на конференцию по разоружению в Гааге. Далее последовал новый шок в виде Февральского манифеста. Петербург отказал сенату и парламенту в приёме, а народной делегации в дискуссии. Теперь

сомневались, какую тактику выбрать. Открыто, без оглядки на последствия возражать или позволить собой управлять из осторожности и предусмотрительности. Сопротивление или подчинение?

В письме Эрнефельт поделился с Толстым и другими актуальными проблемами. В Финляндии обострились сословные противоречия. Получил распространение социализм, рабочие начали требовать политических прав, пусть пока только парламентскими средствами. Одновременно среди безземельных крестьян распространились слухи, что российская сторона намерена провести новый передел земель, разделив их «справедливо», то есть, поровну. В итоге испуганные землевладельцы были готовы пожертвовать конституцией ради того, чтобы обезопасить собственные доходы.

Среди молодого поколения наблюдалась новая волна интереса к народному образованию — но уже без прежних идеалистических посылов народничества, характерных для 1870 – 1880-х гг. В худших случаях эта деятельность способствовала появлению ультранационалистических настроений, признавал Эрнефельт.

Эрнефельт обещал привезти в Москву материалы по финскому вопросу. Вместе с его письмом Толстому их можно было потом отправить помощникам Льва Николаевича, толстовцам Павлу Бирюкову и Павлу Буланже, высланным из страны, которым, для расширения пропаганды, крайне нужна была информация о ситуации в Финляндии.

Беседа с Толстым в первый же день, 31 марта 1899 г., вылилась в дискуссию: для Эрнефельта был главным вопрос просвещения народа, в поддержку европейского выбора родной страны, для Толстого же — решение земельного вопроса для крестьян. Кстати сказать, сам Арвид Эрнефельт давно разрешил для себя дилемму роста сельского населения и нехватки земли — в пользу христианского идеала полового воздержания. Но Толстой, испытавший десятки лет сильнейшего полового влечения — предпочёл уклониться в разговоре от такого направления мысли.

Толстой положительно относился к борьбе финского народа, но только пока её цели были не узко национальными, а подключались к универсальному движению «к свету и свободе». Лишь при условии, что есть люди, готовые исполнять волю Божию, дело Финляндии могло стать делом Толстого. В качестве средства борьбы он рекомендовал ненасилие: «Протестовать, протестовать, протестовать!» Отказ выполнять дурной приказ всегда достоин похвалы. Текущий момент был, несомненно, важен для Толстого, поскольку он предлагал воз-

возможность на практике опробовать пассивное сопротивление, гражданское неповиновение и силу христианской этики не только на индивидуальном плане.

В конце разговора Толстой посмотрел Эрнефельту в глаза и произнёс низким, предельно дружелюбным тоном: «В учении Христа есть всё, оно решает любые сложности» (*Järnefelt A. Päiväkirja matkaltani Venäjällä ja käynti Leo Tolstoin luona keväällä 1899. Hki, 1899. S. 62 – 103*).

На следующий день, 1 апреля 1899 года, Эрнефельт с братом нанесли, отбывая из гостиницы, прощальный визит Толстому. В книге «*Vanhempieni romaani*» («Роман моих родителей», 1928 – 1930) Эрнефельт вспоминает, что застал у Толстого группу революционно настроенной молодёжи: как и 15 лет назад их старшие единомышленники, они стремились оправдать перед Толстым насилие. Тот же в ответ принципиально отказывался видеть различие между теми, кто посредством насилия хочет осуществить революцию, и теми, кто насильственно защищает царящий общественный строй: «Вы оба люди одного типа» (*Järnefelt A. Vanhempien romaani. III. Porvoo, 1930. S. 116*). В качестве альтернативы Толстой рассказал им о пассивном сопротивлении финнов, о забастовках судей и служащих. Несмотря на то что у подобных акций могут быть исключительно внутригосударственные причины, они могут иметь большое международное значение, поскольку означают приближение к «той безусловной форме забастовки, в основе которой отказ от убийства, отказ от применения любого насилия, то есть чисто духовная забастовка».

Главные принципы заключались в том, что все люди произошли из одного источника, родина нужна, чтобы научиться любить и чужую родину, и к врагам следует относиться с любовью. «Безоружный героизм» — вот новый идеал! (*Ibid. S. 117*).

На молодых радикалов слова Толстого не возымели никакого действия — напротив, те всё сильнее убеждались, что мировоззрение Толстого отстало от эпохи. А вот славный финский левёнок вернувшись домой, в Виркбю, поблагодарил Льва Николаевича в письме за духовную пользу, и не ему одному: «Я верю, что всё, что вы сказали, принесёт большую пользу Финляндии» (*Переписка Льва Толстого и Арвида Ярнефельта / Публ. Э. Карху // Север (Петрозаводск). 2001. № 3. С. 42*).

Общение духовно сблизившихся писателей, малого и великого в миру, но равных во Христе, продолжалось и эпистолярно. В письме, написанном после тяжёлой болезни, в Гаспре, 14 (26) марта 1902 г.,

в ответ на известия, в письме Ернефельта от 2 (14) марта об участвовавших в Финляндии отказах от военной службы, старец сетует, что мотивы отказников увязаны на политической борьбе за автономию, и редко связаны с христианской верой:

«Как бы хорошо было, если бы ваши финляндцы перенесли средства борьбы из патриотических интересов в общие, вечные. Не отказывались бы от военной службы в известных условиях, а совсем, как от дела противного не только христианству, но и самой нетребовательной совести. Отказы от военной службы всё чаще и чаще повторяются, как распускающиеся в разных местах почки весной. Я так и умру с уверенностью, что “близко, при дверях” изменение всего существующего строя от лжи и насилия к разуму и любви не только в Финляндии или России, но во всём христианском мире. Вы, верно, знаете про отказы во Франции и в Болгарии» (73, 217).

«Политических» отказников, по сведениям П. И. Бирюкова, было «около трёх четвертей всех призывных» (*Свободное слово. 1903. № 4. Стлб. 11*). Но и они были значительны для толстовцев — своим примером выдержки в ненасильственном сопротивлении имперской гадине, России — на стороне которой была грубая сила (*Там же*).

За “политизированных” отказников Финляндии, на самом-то деле, можно было порадоваться: именно потому, что их отказы от службы в напичканной руснёй “финской” армии имели близкую огромному большинству финнов политическую мотивацию — они и получали не только поддержку от общества и власти, но и оправдания в судах и освобождения от службы. В любом случае, их участь была легче, нежели упомянутых Толстым отказников во Франции и Болгарии. В Болгарии Толстой наверняка имел в виду Георга Шопова, а о французских отказниках, таких, как Гутодье, Граслен, Пети, Дэрессоль и др., мог узнать из публикаций в бесцензурных изданиях П. И. Бирюкова и В. Г. Черткова, конечно же, тайно переправлявшихся и к Толстому.

Впрочем, были среди финских отказников и приятные Толстому исключения. В письме Ернефельту от 28 июля 1902 г. он просит «передать любовь» некоему Савандеру (*Там же. С. 267*). Нестор Савандер был знакомцем Арвида, портным по профессии и национальности. В числе всего нескольких человек в Финляндии, он обосновал свой отказ брать в руки оружие именно религиозно-нравственными мотивами. В воинское присутствие он передал интересное заявление, в конце которого он, между прочим, писал: «В этом отказе от военной службы моя совесть вполне согласна с заповедью Бога» (*Цит. по: Ернефельт А. Моё пробуждение. Исповедь. [Вступление.] С. XXIV*).

Заявление это напечатано в „Свободном Слове“, № 4, 1903. Однако, Савандер симпатизировал секте адвентистов и позднее примкнул к ней.

В том же номере «Свободного слова», который рассказал о Савандере, содержится пример более лояльного, чем прежде, отношения к отказникам в России: Пётр Ганжа в Киевской губ., заявив отказ, получил не тюремное заключение, а отсрочку от призыва на один год (*Свободное слово. 1903. № 4. Стлб. 11*). А вот отказника Николая Силантьевича Акулова в г. Екатеринодаре, прямо просившего о замене ему строевой службы альтернативной, с «бессмысленной жестокостью» отослали в ссылку в Якутию (*Там же. Стлб. 11 – 13*). Но всё же — хотя бы не в тюрьму и не в дисциплинарный батальон!

В то же письме от 28 июля, Толстой сообщает:

«На днях узнал, что в Москве сидит в тюрьме 279 человек солдат за высказанное ими решение не стрелять в своих братьев. Как много нужно времени и усилий для того, чтобы люди поняли, что то, что они давно знают, они знают для того, чтобы поступать сообразно с тем, что они знают» (73, 267).

Здесь нелишне заметить, что источник этих сведений Льва Николаевича исследователями не разыскан: возможно, его ввёл в заблуждение какой-то недостоверный слух.

В переписке Толстого с А. А. Ернефельтом отразилась и знаменитая история с Нобелевской премией, справедливо пахнувшей для Толстого не только военным порохом, но и, как всякие нетрудовые деньги, всем мировым злом. С другой стороны, для Нобелевского комитета яснополянец вполне мог сойти за требуемого завещанием Альфреда Нобеля идеалиста, «поборника мира» и сближения народов. И вот, за датую 25 сентября 1906 года, Арвиду Ернефельту было отправлено такое, весьма секретное, послание:

«Бирюков сказал мне, что [...] может случиться, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться и поэтому я очень прошу вас, если у вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали» (76, 201 – 202).

Секретность письма была связана с вероятной неловкостью положения, в которое мог быть поставлен Толстой своей реакцией на слух: «мне неудобно вперёд отказываться от того, чего, может быть, они и не думают назначать мне» (*Там же. С. 202*). При этом отказ от

премии, вероятно, со времени первых слухов в 1897 году о возможности вручения премии ему, был для Толстого делом решённым, нравственно необходимым — но, как официальная процедура, и весьма неприятным: связанным с необходимостью объясняться с чуждыми, далёкими от возможности понять его, людьми.

Арвид Александрович Эрнефельт исполнил просьбу Льва Николаевича, переслав в Швецию дословный перевод этого его письма.

При первом посещении А. А. Эрнефельтом Льва Николаевича, в 1899 г., Толстой, по словам Эрнефельта, дал определённые советы насчёт желательного поведения финнов в их крайне затруднительном положении и с жаром одобрил мысль пассивного сопротивления. Его слова были переданы Эрнефельтом, насколько позволили тогдашние цензурные условия, в книжке, изданной на финском языке под заглавием „Дневник во время моей поездки в Россию в 1899 г.“ (Гельсингфорс).

Наступление Империи на финскую автономию между тем продолжилось и в 1900-х. 29 июня 1901 года был утверждён указ о воинской повинности, по которому отменялась самостоятельная финляндская армия, а финнов стали призывать на общих основаниях в российскую армию. В делопроизводство Сената был введён русский язык, основана русскоязычная «Финляндская газета», учебные заведения поставлены под бдительный контроль, «нелояльные» учителя устранены...

Толстой, радуясь ненасилию и кротости финнов, видя именно в них залог их победы — многозначительно молчал.

Наконец, в 1908 г. финские политические деятели снова попросили Арвида Эрнефельта уговорить Толстого выступить против отделения от Финляндии Выборгской губернии, сильно взволновавшего в то время всех финляндцев. В письме от 25 февраля (7 марта) 1908 г. Эрнефельт от своего имени и от имени группы общественных деятелей и литераторов просил Толстого высказаться о финляндских делах. К письму было приложено не сохранившееся циркулярное обращение (78, 72. [Комментарий]).

28 февраля 1908 года Толстой писал в ответе Эрнефельту: «Что же касается письма ваших журналистов, то я никак не могу знать никакой Финляндии, так же как не знаю и не могу знать никакой России. Знаю я людей, живущих в разных местах земного шара, более или менее близких мне, никак не по тому, что они по странному заблуждению считают себя подданными такого или иного правительства и привыкли говорить на том или ином языке, а по тому,

насколько мы соединены с ними одним и тем же пониманием жизни и взаимной любовью, вытекающей из такого понимания».

Далее, имея в виду, видимо, убийство финляндского генерал-губернатора и командующего войсками Финляндского военного округа Николая Ивановича Бобрикова (1839 – 1904), Толстой утверждал: «Нет никакого условия жизни, при котором люди... могли бы совершать такие ужасные преступления, как те, которые совершатся во имя патриотизма. Понимаю я, что угнетённые народности, как польская, финляндская, могут особенно легко поддаваться этому страшному искушению, но всё-таки не могу без жалости думать о людях, которые поддаются ему. Вот всё, что я могу сказать им» (*Там же. С. 71*).

Примечательно, что убийце Бобрикова, застрелившемуся на месте чиновнику Шауману, финны в ту эпоху возвели мемориал. А вот через столетие, в 2004 году, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен осудил поступок Шаумана.

Лев Николаевич размышлял над «финским вопросом» с чувством вины за столыпинскую политику. В 1910 г. Толстому были даже приписаны газетчиками слова: «Вряд ли, найдётся хоть один финн, который до такой степени страдал бы за Финляндию, как страдаю я». И Толстой отозвался об этом слухе так, что, по существу, признал существенную долю его справедливости: «Это подтасовка. Я страдаю от казней и других действий правительства, между прочим, и от тех, что против Финляндии» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 225*). Заступничество в отношении разумных, слабых и мирных людей и народов осознавалось Толстым как нравственная обязанность христианина. Тема истязания имперской гадиной маленькой родной страны Арвида стала «родной» и для Толстого. С горечью и негодованием писал об этом 80-тилетний старец Толстой в статье «Не могу молчать» (1908): «...годами... говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских» (37, 85 – 86). Жёсткая политика правительства в отношении Финляндии «быстро и бойко, по-герценовски, по журнальному» не раз предавалась огласке на страницах бесцензурных заграничных толстовских изданий «Свободного слова» и «Свободной мысли».

В связи с финским вопросом Толстой размышлял о национальных проблемах, о патриотизме; важные замечания писателя зафиксированы Д. П. Маковицким:

20 июня 1908 года: «Л. Н. стал говорить о том, как теперь во всём мире (в России поляки, прибалтийские, финляндцы, кавказские



народы, английская Индия, французский Тонкин и т. д.), захваченные чужими государствами, желают освободиться: “Дайте нам жить, как мы хотим”. После бесчисленных насилий, совершив захват, когда народ после одного-шести лет шевельнётся, это считается бунтом, и забыто, что над ним совершено так недавно насилие и что оно продолжается»;

3 ноября 1908 года: «Толстой говорил что патриотизм — это внушение суеверия; предание, не соответствующее нынешнему сознанию (русских людей). Величие России! Все выгоды его в том, что финляндцы нас ненавидят, кавказцы нас ненавидят» (*Маковицкий Д. П. Указ. соч. Кн. 3. С. 120, 240*).

Толстой, однако, помнил и признавал, что, с христианской точки зрения, не может быть никаких национальных — польских, финских, кавказских, еврейских — «вопросов», отношение к людям не может зависеть от их национальности. В Финляндии для Толстого жили не финны, а люди — дети и работники единого Отца, сестры и братья разных общин, но единой Церкви, равные члены всего прошлого, настоящего и будущего человечества.

---

## 10. 2. ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ: ЭПИЗОДЫ ДИАЛОГА Л. Н. ТОЛСТОГО С ИНДИЕЙ

Печальный парадокс: чем больше, в разные годы Лев Николаевич адресовал идеалистических надежд тем или иным народам или общностям, тем неизбежнее постигало его разочарование. За рамками нашей книги остаётся тематика «конца века» в восприятии Толстого: ненасильственной, духовной «революции», гегемонами которой Толстой в 1900-х “назначал” то русский народ, в противопоставлении ушедшим по ложному пути западным, то славянские народы... А ещё Толстому хотелось верить в «неподвижный» по отношению к вакханалии прогресса — в Мудрый Восток. В частности — в торжество ненасильственного освобождения Индии от британской колониальной зависимости. Пожалуй, только Индия, и то уже гораздо после кончины Толстого, в XX столетии, *отчасти* оправдала его надежды. Но и там было немало поклонников войны с колонизаторами, вооружённых восстаний, и, кстати сказать — чуждых Толстому в большей степени, нежели Востоку, теорий социального преобразования социалистического толка.

Ниже мы остановимся лишь на нескольких выдающихся примерах диалога Л. Н. Толстого с подлинными и мнимыми единомышленниками из Индии. Таки лишь Индии, а не всего Востока: не следует пытаться объять необъятное в рамках одного монографического исследования. О специфике восприятия антимилитаристских и религиозных «непротивленческих» идей только в Японии, например, можно бы было написать ещё отдельную книгу. Но мы выбрали Индию: более «репрезентативную», нежели та же Япония, в демонстрации отклика на пресловутый «пламенный протест Толстого», по причине исключительной пестроты умозрений, религий и этносов.

Ох! Ну и “поджигатель” же Лев Николаевич кое для кого, в этом плане — и по сей день. И не одна советская историография повинна: началось это в головах ещё современников Толстого, о некоторых из которых пойдёт речь ниже...

### 10. 2. 1. ГОПАЛ ЧЕТТИ, СОЦИАЛИСТ ИЗ МАДРАСА

Сведения о выпрашивании и даже вымогании у Л. Н. Толстого тех или иных сумм могли бы составить сюжет многих рассказов. Весть о «шибко добром», да к тому же «увлекающимся» религиозно-альтруистическими фантазиями «барине» распространялась в последние четверть века жизни Толстого не только в окрестностях Ясной Поляны, соблазняя лёгкостью добычи тульских питухов и попрошаек, и даже не только по одной России, «бомбившей» яснополянского «еретика» почти ежедневно и вперемешку ругательно-обличительными и попрошайническими письмами и визитёрами (кстати сказать: *весьма* красноречивое для русского народца сочетание: и ругаем-проклинаяем, но и денежки не прочь с ругаемого хапнуть!), но и по всему миру.

Но если более сытые, а оттого внешне цивилизованно-обходительные и лукаво-цинически-сдержанные Америка и Европа, в лице тамошних эзотериков, сектантов, доморощенных социал-реформаторов и пропагандистов всех мастей вели с Л. Н. Толстым своего рода хитро-подлую игру, не клянча напрямую вожделенные суммы, а лишь стремясь заручиться его, желательно письменно выраженными, симпатией и поддержкой, дабы использовать его имя в саморекламе, которая, в свою очередь уже вела и к вниманию донаторов и притоку деньжат, — то русским или азиатским попрошайкам, гораздо более близким своею психикой к состоянию обезьяны, такая сдержанность иногда изменяла.

Переписка Льва Николаевича Толстого с публицистом и издателем из индийского города Мадрас, о которой пойдёт речь ниже, — как раз красноречивый пример того, как неудачливый пропагандист *чуждых* Л. Н. Толстому социал-реформаторских идей (с религиозной подкладкой) сперва применяет вполне европейскую продуманную хитрость, добывая у Толстого слова одобрения своей деятельности, а затем, не сумев привлечь громким именем Толстого достаточное количество щедрых подписчиков своего журнала, — «раскрывает карты», уже напрямую клянча вполне весомые и конкретные суммы, да кроме них — ещё и участия Толстого в рекламе своего журнала.

Имя неудачливого хитреца — Д. Гопал Четти (Гопауль; Chetty, Gopaul). Адвокат из индийского города Мадрас решил подвизаться на ниве социалистической пропаганды. В литературе нет точных сведений ни о судьбе (даже датах жизни) самого Четти, ни о судьбе издававшегося им с апреля 1906 приблизительно по 1912 гг. журнала «New Reformer» («Новый реформатор»). Сделав Л. Н. Толстого «почётным подписчиком» своего издания, Д. Гопал Четти услужил российским исследователям: в яснополянской библиотеке сохранились номера журнала за 1907 – 1910 гг. Есть информация, что он выходил ещё и в 1912-м: один номер за этот год хранится в библиотеке Международного института социальной истории в Амстердаме. Но это — практически всё, до нас дошедшее... Впрочем, речь пойдёт о содержании не журналов, а эпистолярного диалога их издателя Д. Гопала Четти с Л. Н. Толстым.

Переписка продолжалась, с большими перерывами, более двух лет — начиная от первого письма Гопала Четти Л. Н. Толстому от 5 мая 1907 года и заканчивая его же письмом от 26 июня 1909 года, «подкреплением» которому был очерк Гопала Четти о Л. Н. Толстом, адресованный прежде всего индийским читателям. Шла переписка на английском языке, но ниже — для краткости — мы будем цитировать только русские её переводы.

Всего Четти отослал Толстому четыре письма. В ответ неудачливый освободитель народов получил лишь *одно* письмо от Льва Николаевича — по содержанию, скорее, «дежурный» знак вежливости, но уж никак не выражение солидарности — которое и попытался использовать для популяризации своего издания и увеличения его доходности. Прочие его филиппики — с неприкрытой лестью и истошным клянчением денег — Лев Николаевич пометил буквами: Б. О. (то есть: «Без Ответа»), как недостойное внимания.

Так что главным «козырем» и историческим оправданием всей инициативы Гопала Четти — как в популяризации в Индии творчества

Л. Н. Толстого, так и в переписке с ним — является как раз написание им этого очерка. Это была, вероятно, первая в Индии монографическая работа о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. Работа эта, впрочем, не «блещет» особенными достоинствами: это исследование не учёного, а очень субъективного публициста. Основная часть очерка — пересказ биографии Толстого как некоего пути к протестно-социалистическим воззрениям (как представлялось Гопалу Четти и, кстати сказать, как любили подавать читателю Толстого разнообразные «просветители масс» в СССР). Редактор и составитель выпускавшегося в честь 80-летия Л. Н. Толстого Международного толстовского альманаха, куда Д. Гопал Четти прислал английский текст его очерка, вероятно, долго плевался, матерился и морщился, сокращая авторское многословие до приемлемых объёмов (в итоге — более чем в 4 раза). В таком виде его можно прочитать в Альманахе (см.: *О Толстом. Международный толстовский альманах / Сост. П. Сергеенко. М., 1909. С. 397 – 400*).

Итак, в середине мая 1907 г. в Ясную Поляну Гопалом Четти сбрасывается первая раскруточно-пропагандистская информационная говно-«бомба»: два номера этого журнала, да при них письмо, в котором он рассказал о целях его издания и о своей общественной деятельности.

Обратим внимание, в каких высокопарных и одновременно расчётливо-малоинформативных, общих выражениях формулировал Гопал Четти замысел своего издания:

«Главное назначение журнала, — писал он, — служить искоренению ложных и эгоистических воззрений, отдаляющих людей друг от друга, и утверждению вместо них Разума, Справедливости и Любви как главных движущих сил всех человеческих действий. Это как раз те принципы, которые Вы так благородно отстаиваете на благо заблудившегося человечества. Почтительно и смиренно прошу Вас ответить мне и поддержать меня в моём скромном начинании» (*Л. Н. и Индия. Переписка. М., 2013. С. 88 – 89*).

Как — «поддержать»? С чего бы? Лишь потому, что ты сам сомневаешься (оттого и темнишь в письме), но при этом *хочешь верить*, что твои социал-реформаторские убеждения и есть те, которые исповедует христиански-верующий русский человек Толстой?

*И в каких же формах «поддержать»?* Ладонками под пушистую жопку? Д. Гопал Четти хитро обходит в своём первом письме этот вопрос, видимо, смекая: «Чем ни поможет, деньгами или рекламкой, — всё к лучшему...».

Толстой, имевший к писателям «мудрого Востока» особенную субъективную приязнь, просмотрел присланные номера журнала и даже

обнаружил в них пару небезынтересных статей, посвящённых проблемам индийской жизни. 17 (30) мая 1907 г. он отправил своему корреспонденту ответ, в котором дал высокую оценку журналу и деятельности его издателя — настолько объективную, насколько лишь было возможно по скудным сведениям из письма Четти и двух прочитанных им статей.

«Цель вашего издания, как вы её излагаете в вашем письме, — писал Лев Николаевич, — является наивысшей, какую только может преследовать человеческая деятельность» (Там же. С. 89; ср. 77, 114).

Но это всё в похвалу издания, что Лев Николаевич смог «выжать» из себя. Помогли ли Толстому ум, интуиция или информировавшие его помощники — но невозможность сближения он явно учуял... Ибо далее в его письме следует как будто нейтральное пожелание-совет Гопалу Четти, а на самом деле — между строк — намёк, разоблачающий всю ограниченность и его околорелигиозных воззрений, и всех сведений его о яснополянском старце-христианине:

«Я очень интересуюсь философией и религиозным учением ваших великих учителей. Чем больше места вы будете уделять в вашем журнале идеям этих людей, тем интереснее он будет для западных читателей» (Там же).

Вот так! Входило ли религиозное просвещение «западных читателей» мудростью вероучений Кришны, браминов или Будды в планы Четти? Вряд ли. Его симпатии, скорее, на стороне социальной критики Толстого, нежели его отношений к Вечному. Он ближе к религиозным социалистам Европы, нежели собственно к верующим.

Гопал Четти, не спрашивая разрешений, поспешил тиснуть ответ Толстого в своём журнале, и в том же номере поместил, заготовленный заранее, тот самый очерк... Позднее, в 1909 г., в Мадрасе вышла книга «Граф Лев Толстой, его жизнь и учение», подготовленная Четти на основе этого же очерка.

17-м июля 1907 г. датируется второе письмо Четти с благодарностью Толстому за его отзыв и его интерес к индийской философии. Именно «философии». Хотя Лев Николаевич имел к древним учениям Индии интерес не философа, а — *христиански верующего* человека. Человека, мечтавшего о *религиозном единении человечества* в одном, отвечающем и Божьему разумению в людях, и современным знаниям, и вызовам общечеловеческой цивилизации — в *едином* жизнепонимании. Лучшим выражением такого высшего жизнепонимания он признавал учение Христа по сведениям евангелистов, но, ища путей к желанному единению, он искал — и отыскивал! —

крупницы этого жизнепонимания, (выражающего закон жизни, данный от Бога всем разумным существам мироздания) во всех главных мировых религиях и даже в учениях ряда сект.

Для Толстого это был единственный действительный путь к победе над войнами, к миру на Земле — по отношению к которому пацифисты или анархисты ещё могли быть хотя бы дружественны, и даже «родные», российские революционеры подкупать высотой идеалов и личной храбростью. Но от «Востока» Лев Николаевич ждал совершенно другого...

Понимал ли мадрасский адвокат-неудачник, кого задумал охмурить и завербовать в помощники своему журналу? Нет, — если судить по тому, что во втором письме он сообщает Толстому: «молюсь о том, что Вы *хоть немного* поможете мне в том огромном деле, за которое я взялся» <Выделение наше. – Р. А.>.

И это первое письмо Четти, которое Толстой помечает вполне заслуженным приговором: Б<ез> О<твета>.

После этого Гопал Четти несколько месяцев отмалчивается. Вероятно, он ещё надеялся на рекламный потенциал толстовского к нему письма: что удастся «свести концы с концами»...

Не удалось! И вот 11 ноября 1907 г. в адрес Льва Николаевича летит третья «бомба». Это уже не скромное письмо, а... некоторого рода многожанровое произведение манипулятивного искусства. По внешности это — листовка, отпечатанная типографским способом, с вписанным от руки именем адресата, числом и подписью; содержанием же — сочетание высокопарной филиппики... с финотчётом.

Открывается сей эпистолярный «шедевр»... стихами! Вот их дословный перевод:

«Употребим же наши жизни  
На праведные дела.  
Мы, возможно, не насладимся наградой,  
Наша работа не удостоится справедливых слов,  
Хотя мир может нас распять,  
А наши надежды разрушить и уничтожить,  
Как бы глубоко ни были они погребены,  
Наши добрые дела всё равно возродятся»

(Л. Н. Толстой и Индия. Переписка. Указ. изд. С. 91).

Подписаны стихи именем F. W. Vockett — личность, в наши дни практически неизвестная... Да и само появление стихов в письме Л. Н. Толстому — опять же, характеризует автора письма как человека,

плохо Льва Николаевича знающего. Поэтам угодить Толстому было всегда нелегко: к стиху, как и к музыке, он всегда был аристократически, болезненно чуток. Навязать Толстому чтение третьестепенного, никому не известного виршеплёта было верным способом отвлечь его от себя.

Сам Гопал Четти продолжает письмо хоть и прозой, но не менее высокопарно, в стилистике полуофициальной манифестации, да при этом ещё и повторяется:

«Побуждаемый мечтой посвятить остаток своей жизни установлению более справедливого положения в обществе, стараясь искоренить те фальшивые и эгоистические идеи, которые в настоящее время отдаляют людей друг от друга, и на их место утвердить здравый смысл, справедливость и любовь как источник человеческой деятельности, я, бедный адвокат из Южной Индии, начал выпускать журнал под названием “Новый реформатор” в Мадрасе в апреле прошлого года» (*Там же. С. 92*).

И дальше – будто для контраста – индийский корреспондент доводит до сведения «глубокоуважаемого господина», что ему позарез необходимо получить с «господина», по крайней мере, 1500 рупий (100 английских фунтов) на финансирование его работы «для установления всеобщего счастья и братства». При этом Четти не побрезговал напомнить Толстому, процитировав, его высокую оценку пары статей из «The New Reformer» (*Там же. С. 93*).

Для удобства раскошеливания яснополянского обожателя индийской философии к листовке был приложен специальный бланк для перечисления пожертвований.

В письме указаны только два «господина», которые ко времени его отправки уже отослали деньги. Но, судя по всему, подобным спамом Гопал Четти пробомбил, помимо Толстого, и ещё не одну дюжину «глубокоуважаемых господ» и деньги с некоторых из них получил, ибо ни в 1907-м, ни в последующем году — и вплоть до лета 1909 г. — Толстого он больше не беспокоил. Не поздравил, например, с 80-летним юбилеем — хотя и использовал, как мы писали выше, юбилейный толстовский сборник для публикации в России своего развесистого очерка...

Последнюю нашу догадку подтверждает четвёртое и заключительное письмо Гопала Четти Л. Н. Толстому — от 26 июня 1909 года. Это самая «тяжёлая» из обрушенных Четти на голову Толстого агитационно-попрошайнических «бомб», даже по объёму самого письма.

Это письмо не только снова напечатано в виде листовки, но и текстологически — в двух первых абзацах — повторяет своего предше-

ственника. И снова в письме те же две стилистически неравные части: одна — «исповедальная», обрисовывающая амбиции издателя, вторая — «просительная», о деньгах. Для подкрепления своей исповеди «бедный юрист», добровольный жертвенник на алтарь социального переворота, приложил к письму фотографию своего бедного жилища. Мы узнаём, что у Четти есть семья, которую он так же, как и себя самого, разорил своим журналом. В остальном — ничего нового... А вот просительная часть, в сравнении с предшествующим письмом, проработана лучше: чувствуется, что, в отличие от 1907-го года, в 1909-м Четти уже «набил руку» в клянчении денег. Что Толстой у него уже не один из первых желательных донаторов, а — *очередной*.

В письме — таблица поступлений и расходов: убыток — около 1900 рупий. Тут же — сведения о количестве подписчиков и покупателей журнала: их очень мало, и большую часть из 18 тысяч отпечатанных экземпляров издатель еле-еле всучил читателям бесплатно.

И снова лесть в адрес Льва Николаевича, совершенно неосновательно названного «щедрым филантропом» (Толстой-христианин барско-буржуазную "филантропию" ненавидел). И снова — бланк для пожертвований (*Там же. С. 95 – 97*).

Собственно, на этом всё. Письмо оставлено Толстым — Б. О. Переписка прекратилась...

Особливо любопытно, как отреагировал на это письмо Гопала Четти Лев Николаевич — если обратить внимание на *постскриптум* письма, добавленный Четти от руки внизу первой страницы. Всего несколькими строками этого постскриптума индийский «левак», но при этом по-азиатски самоуверенный наивыш, умудрился и дополнить свои денежные просьбы более реалистическими: «предложить что-нибудь или рекомендовать журнал кому-нибудь», но и тут же — катастрофически, непоправимо навредить себе же, вот этими самыми словами:

«"New Reformer" — единственный *социалистический журнал* в Индии. Он был основан для распространения Ваших мыслей в этой стране» (*Там же. С. 97. Выделение в тексте наше. – Р. А.*).

Итак, издатель признался, что, вопреки пожеланиям, высказанным Л. Н. Толстым в цитированном нами выше письме, он не собирается нести свет древнеиндийской религиозной мудрости европейскому и американскому читателям, а, напротив, планирует замусоривать мозги соотечественников идеями социалистического, неотделимого от насилия, переустройства общества. И при этом, как и российские социалисты-агитаторы, он вознамерился «взять на вооружение» не-



которую часть публицистического (в основном) наследия Льва Николаевича – социально-обличительную. А у Толстого она — только надстройка на «фундаменте» религиозной проповеди. Но социалистам в России, в массе своей материалистам-безбожникам, «юридическая проповедь» Толстого была не нужна: они отбирали для пропаганды как раз социально-обличительные его высказывания... Ничто не было Льву Николаевичу более неприятно, как такое, адресованное народу, намеренное коверканье его христианского научения. Социализм он считал однобоко, материалистически (т.е. ложно) понятым христианством. Христианством без Бога, без религиозной основы нравственности... Навязчивая добродетель без добра. Проповедь социальных мира и гармонии — с перспективами многих, и жестоких, войн...

Иногда религиозным, или христианским, социалистом ложно называют и Толстого, забывая (вернее, не желая признавать), что Лев Николаевич отнюдь не подыскивал в учении Христа оправданий для войн (в том числе национально-освободительных, как в Индии) либо революционных социальных переворотов, а, напротив, проповедал учение евангелий как выражение того высшего учения жизни, к исповеданию которого должны прийти все люди, отказавшись от соблазна общественной деятельности посредством реформ или насилия. Не важно, куда и как изменится «строй» общественной жизни. Главное, чтобы менялся к лучшему, по мере своих сил, сам человек.

## 10. 2. 2. РАМСЕС-ХАН, ИСТИННЫЙ АРИЕЦ

«Картинки с выставки» наивности надежд яснополянского мудреца о мире, прекращении войн, как подарке христианскому миру от «мудрого» Востока продолжит ещё один исторический персонаж.

Переписка издателя журнала «The Arya» («Ариец») А. Рамасешана (иногда именуют: Рамсес, или Рамзес-Хан) с Л. Н. Толстым происходила в период с 13 июня по 12 сентября 1901 года. Биографическими подробностями о Рамасешане мы не располагаем. Все письма его Толстому были написаны на стандартных редакционных бланках журнала «The Arya» («Ариец»).

Первое письмо А. Рамасешана Л. Н. Толстому — о миссионерах и английском управлении Индией, о положительных и отрицательных его сторонах — было написано им 13 июня 1901 г. из Мадраса. Начинается оно с вполне стандартных выражений восхищения А. Рамасешана и его единомышленников гением Толстого как худож-

ника и мыслителя — в частности, как автора известных А. Рамасешану по английским переводам пьесы Льва Николаевича «От ней все качества» и философского трактата «О жизни».

Плавненько так, однако, Рамасешан поворачивает разговор к более пропагандистски-насущному для него: у Толстого-де, признаётся индус, он с единомышленниками обнаружил, в числе прочего, «точную оценку социального и политического положения Европ»:

«Впервые мы прочли в сочинении христианина то, что мы и сами давно не могли не подметить. Это верно, слишком верно, что причиной всех несчастий современной Европы, несмотря на её поразительный материальный прогресс и достижения за границей, является следование ошибочной религии, которую исповедует большинство современных христиан. [...] Мы спросили себя, и всё чаще и чаще в свете последних событий, как народ, исповедующий столь высокую религию, как религия Христа, может совершать столь варварские поступки или поощрять политические идеалы и социальные порядки, столь явно противоречащие духу христианского учения. Дух Макиавелли всё ещё витает над современной Европой. И предлагаемое Вами решение европейской проблемы, от которой и в самом деле зависит благополучие остального мира, есть единственное решение, которому можно разумно содействовать. Европа много страдала от ложного христианства — а с нею и весь мир. И от Вас, милостивый государь, мы ждём начала влияния более чистого по своей природе и более благородного в конечном счёте» (*Л.Н. Толстой и Индия. С. 32*).

В то же время, рассуждая прагматично и без эмоций, А. Рамасешан находит не одни лишь отрицательные черты в деятельности в Индии колонизаторов и миссионеров:

«Мы откровенно заявили, что христианское учение, которое они проповедуют и исповедуют, не есть истинная религия Христа и что все их попытки обращения в свою веру, обречены на провал. Но в другом отношении наши друзья-миссионеры являются нашими благодетелями. Они первыми принесли в эту страну западное образование и в этом отношении сделали многое, за что мы должны быть им благодарны.

...Мы вполне счастливы под британским правлением. Оно положило конец всем междоусобным конфликтам за землю, взяв в свои руки всю страну целиком. Оно дало нам период спокойного мира. Оно дало нам просвещённое правительство. Оно ввело английскую систему образования и открыло нам возможность, если мы поведём себя благоразумно, наверстать упущенное и построить себе новую жизнь. [...] Наши отношения не являются, говоря дипломатично,

«сердечными». Но мы верим в Англию и знаем, что наш единственный шанс связан с нею. У нас, как и у любого народа в мире, есть свои идеалы. Мы не верим в европеизацию нашей страны. Наш национальный дух слишком силен для попыток подобного рода. Мы верим, что придёт время, когда грубая сила перестанет быть единственным условием политической свободы, и что путём устойчивого мирного прогресса мы обязательно осуществим цикл нашего развития, когда индийский народ будет жить бок о бок с европейскими народами в мире и согласии» (Там же. С. 32 – 33).

В заключение своего письма А. Рамасешан так характеризует коренную причину, по которой индусы пристально следили и сочувствовали общественной и публицистической деятельности Льва Николаевича:

«Мы считаем, что истинное христианство вовсе не противоречит нашей религии и философии. Истинный христианин во многих отношениях индус, а истинный индус, в сущности, христианин...» (Там же. С. 33).

В своём первом письме А. Рамасешан просит Льва Николаевича написать индусам «несколько ободряющих слов». Разумеется, Толстой не мог не откликнуться как на эту просьбу своего собеседника, так и на прочие, сообщённые им, соображения. Ответное письмо Толстого датируется 25 июля 1901 г. (Оригинал письма см.: ОР ГМТ, ф. 1, № 2885, л. 1 – 6. Черновик. Автограф. Копия: ОР ГМТ, ф. 1, № 2885, л. 132-134. Опубл.: Юб. Т. 73, 101 – 103).

Свой ответ А. Рамасешану Лев Николаевич начинает с выражения своего согласия с наиболее близкими ему из высказанных индийцем соображений: его критикой европейского цивилизационного пути:

«Я совершенно согласен с вами, что ваша нация не может принять того решения социального вопроса, которое предлагает ей Европа и которое, в сущности, не есть решение.

Общество или собрание людей, основанное на насилии, находится не только в первобытном состоянии, но и в очень опасном положении. Связи, соединяющие такое общество, всегда могут быть порваны, и само общество может подвергнуться величайшим несчастьям. Все европейские государства находятся именно в таком положении» (Там же. С. 35).

И далее Лев Николаевич повторяет многократно высказанную им и в публицистических выступлениях, и в письмах идею о необходимости объединяющего человечество общего религиозного жизнепонимания:

«Единственное решение социального вопроса для разумных существ, одарённых способностью любить, состоит в уничтожении

насилия и в организации общества, основанного на взаимной любви и разумных принципах, добровольно принимаемых всеми. Такое состояние может быть достигнуто только развитием истинной религии. Под словами истинная религия я разумею основные принципы всех религий, которые суть: 1) сознание божественной сущности человеческой души и 2) уважение к её проявлению — человеческой жизни» (*Там же*).

Как мы знаем, такое жизнепонимание Толстой называл «всемирным» и находил его выражение в учении Христа, очищенном от грязи церковно-богословских перетолкований и обрядоверческих наслоений. Ни церковное христианство, ни любая другая религия, в её исторической эволюции, этого, спасительного для человечества, жизнепонимания не выражает, включая сюда и древние верования индийцев:

«Ваша религия, — указывает Толстой, разумея здесь, вероятнее всего, индуизм, — очень древняя и очень глубокая в своём метафизическом определении отношений человека к духовному Всеми — к атману, но я думаю, что она искажена в своём нравственном, т. е. практическом, применении к жизни, вследствие существования каст». Более близким к истине высшего жизнепонимания практическим применением религии Толстой называет джайнизм, буддизм и ряд сект, в том числе последователей Кабира. Он ценит мировоззрение их адептов за то, что их «основным постулатом является святость жизни и, следовательно, запрет лишать жизни любое живое существо, особенно человека» (*Там же*).

Как мы видим, мудро начав с того, в чём собеседник наверняка согласен с ним, Толстой вполне логично перешёл к тем идеям, которые драгоценны для него, но, по верному его предположению, не разделялись А. Рамасешаном.

Тут же высказывается идея о необходимости *ненасильственного* освобождения индийцев от колониального режима. «Всё то зло, которое вы испытываете, — пишет Толстой Рамасешану и всем индийцам, — будет продолжаться до тех пор, пока ваш народ соглашается убивать себе подобных и поступать в солдаты (сипай).

Паразиты питаются только на нечистых телах. Ваш народ должен стараться быть нравственно чистым, и поскольку он будет чист от убийства или готовности к нему, постольку и он будет свободен от того режима, от которого теперь страдает.

Я совершенно согласен с вами, что вы должны быть благодарны англичанам за всё то, что они для вас сделали, [...] но вам не следует помогать англичанам в их управлении насилем и никогда ни под

каким видом не участвовать в организации, основанной на насилии» (*Там же*).

Таким образом, как в случае с перепиской с другими своими индийскими (и не только индийскими) корреспондентами, так и здесь, как мы видим, Лев Николаевич не только не дал увлечь себя чужими, лишь по внешности, условно близкими ему идеями, но и нанёс «ответный удар» — проповедавав то, что истинно его и дорого ему. А. Рамасешан во втором своём письме (от 22 августа 1901 г.) отвечает ему сдержанно, в уважение болезни Толстого, о которой было известно по всему миру, но... не удерживается тут же от мягкого несогласия с отношением Толстого к кастовой системе (а, следовательно, и религиозному непониманию индийцев в его социальном выражении): «Её происхождение, развитие и нынешнее состояние — каждый имеет свою историю. Но, учитывая состояние Вашего здоровья, я не буду сейчас утомлять Вас подробностями этих вопросов. [...] Но все согласятся с Вами в том, как Вы разрешаете нашу проблему. Поразительно, что человек, столь далёкий от нас, чуждый нашим традициям и нашей истории, сумел так верно понять наши настоятельные нужды и указать пути окончательного разрешения нашей проблемы» (*Там же*. С. 37).

Как видим, сквозь лесть и "дежурные" слова заботы сквозят у Рамсес-Хана нелепое снисхождение и принципиальное несогласие с Толстым по самым животрепещущим для него вопросам — веры и социального жизнеустройства на принципах единения и любви. Толстой увидел это между лицемерных строк и, конечно, не продолжил переписку (тем более, что этому, действительно, не содействовало и личное самочувствие). Но А. Рамасешан, конечно, не успокоился, и прислал-таки Толстому ещё одно письмо (12 сентября 1901 г.), где, что называется, «раскрыл все свои карты», а также августовский (1901 г.) номер своего журнала «The Arya» с текстом уже опубликованного в нём "любезного послания" Толстого. Особенно «любезной» была присылка в адрес больного писателя статьи А. Рамасешана в этом же номере журнала, в которой он громит вероятно показавшиеся ему «наивными» взгляды Толстого на перспективы в Индии буддизма и джайнизма как религий, выражающих высокую нравственность в сфере повседневных взаимоотношений людей. Эту идею своей статьи редактор выражает кратко и в своём последнем письме «господину графу» (на которое Толстой так же не ответил):

«Мы полностью согласны с Вами, считая, что мы должны очистить нашу религию от огромного числа предрассудков, возникших в результате упадка в последнее время. Но в то же время мы считаем,

что в наших древних книгах ясно видна более чистая форма религии, к которой нам и следует попытаться вернуться. У буддизма в Индии шансов нет, потому что его нирвана, его конечное небытие не может удовлетворить духа индийцев. Без сомнения, этика Будды — этика очень высокого порядка. Но нравственность, не основанная на живом присутствии любящего всех, всемогущего Бога, не может иметь долговременного влияния. Разум индийцев сильно стремится к живой личности Бога... Именно эта слабая сторона буддизма заставила его в конце концов полностью исчезнуть из Индии, более чем все учёные диспуты и личное влияние великого религиозного реформатора Индии Шри Шанкары. Джайнизм же лишь подчёркивает некоторые отдельные принципы индуизма. Но ему недостаёт сильного метафизического основания и убедительности своей первоосновы. В наши дни джайнов у нас очень мало и живут они лишь в определённых районах страны, в других же их можно встретить очень редко» (*Там же. С. 39*).

Что же касается выраженных Толстым в опубликованном А. Рамасешаном «послании» идей о необходимости ненасильственного противостояния и свержения английского колониального господства, редактор «The Arya» цинично и нагло признаётся в завершение своего письма, что... вырезал их из публикации, дабы не осложнить политические отношения с «нашими англо-индийскими друзьями» — т. е. "благодетельными" колонизаторами! (*Там же*).

Итак, как в случае с многими другими адресатами Толстого, каждый, по результатам переписки, остался «при своём». Толстой — при своей вере в закон любви и грядущее религиозное братское единение людей, Рамасешан же — при своей вере в жизнотворительный и актуальный на все времена потенциал Вед, Корана (недаром ведь так расплывчато, общо было сказано им о возврате к "древним книгам") и мирного сосуществования с колонизаторами и миссионерами. Идеал Рамасешана — в древних, идеализируемых им, "источках", в слепо возведённых в авторитет книгах, в политическом охранительстве во имя иллюзорной возможности будущего «особого пути» для просвещённых европейцами индийцев.

---

#### 10. 2. 4. LETTER TO A HINDOO

А теперь поговорим о *лучшем из худших* — среди тех, кого апостолу непротивления могла предложить в собеседники, Индия... то есть,

хотя и умнице, расположившем Толстого к пространному ответу, но отнюдь не о единомышленнике.

*Тарак Натх Дас* (или Таракнатх Дас; তরক নাথ দাস, 1884 – 1958) – бенгальский учёный (политолог) и политик, антибританский революционер и националист, профессор политологии в Колумбийском университете, сотрудничавший и со многими другими американскими учебными заведениями.

Ещё в период обучения в «Scottish Church College» в Калькутте Тарак Натх Дас увлёкся идеями национального патриотизма от своей старшей сестры Гириджи. В Калькутте он познакомился с рядом бенгальских патриотов, от которых услышал рассказ о национальном герое Индии — Шиваджи, и вместе с которыми участвовал в бенгальских фестивалях. В нач. XX в. Тарак Натх Дас вступил в радикальную антибританскую партию «Анушиллон шомити» («Общество прогресса»). Затем с некоторыми своими соратниками, борющимися за свободу Индии, уехал в 1907 году через Японию в США, чтобы оттуда помогать индийским патриотам. Издавал журнал для индийских эмигрантов «The Free Hindustan» («Свободный Индостан»).



Тарак Натх Дас

К Толстому он обратился с таким письмом от 24 мая 1908 г. из Вашингтона:

«Милостивый государь,

Ваше имя служит в наши дни храмом и лозунгом для тех, кто трудится на пользу человечества. Ваши произведения, в которых Вы

показали порабощённый русский народ, открыли глаза цивилизованному миру и вызвали глубокую симпатию к нему. Ваша моральная сила одержала верх над самодержавными методами русского правительства, упорно противящегося либеральным точкам зрения, но Ваши произведения ему внушают страх, и оно безмолвствует.

Действительно, русский народ угнетаем, но он не самый угнетаемый народ, если мы сравним его с нашим, с положением народа Индии. Вам известна история народов всего мира, и Вы знаете, как мы порабощены. В книге сэра Уильяма Дигби «Процветающая Британская Индия» доказано, что за десять лет, с 1891 по 1900 гг., от голода в Индии погибло 19 миллионов человек, в то время как за последние 107 лет, с 1793 по 1900 г., от войн во всём мире погибло всего 5 миллионов человек. Вы ненавидите войну, но голод в Индии страшнее войны. Голод в Индии — это не голод от недостатка продуктов питания; причиной его является вывоз [продовольствия] и бедность населения, вызванная британским правительством. Не возмутительно ли, что когда миллионы голодают, в то же самое время тысячи тонн риса и другие основные продукты питания вывозятся из Индии английскими купцами!

Человеческая природа тяжело страдает в Индии. Политика Британии в Индии представляет собой угрозу всей христианской цивилизации.

Своими литературными трудами Вы принесли огромное благо России. Мы умоляем, если только у Вас будет время, написать хотя бы статью об Индии и высказать тем самым своё мнение об Индии. От имени миллионов голодающих взываю к Вашей христианской душе — возьмитесь за это дело. [...]

Искренне Ваш — Таракнатх Дас.

*(Источник: ОР ГМТ. Ф. 1, Оп. 1, № 1295, л. 1 – 3. Автограф. Конверт; Публ.: 37, 444 – 445).*

Тарак Натх Дас выслал 2 номера своего журнала для ознакомления и просил Толстого «именем голодающих в Индии» написать статью о бедственном положении народностей Индии. Судя по всему, он не оставлял вниманием яснополянца и позднее: в яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров журнала «The Free Hindusthan» за 1908 и следующие годы.

Толстой заинтересовался первыми номерами журнала и письмом Даса. На конверте этого письма мы можем видеть надпись карандашом рукой Льва Николаевича: Душ<ану>. Ответить. Желая исполнить. Нужны сведения.



Душан Петрович Маковицкий, не только домашний врач, но и секретарь Льва Николаевича, действительно, ответил на это письмо Тарак Натха Даса. Письмо это не сохранилось. В ответном, втором своём, письме от 15 июля 1908 г. Тарак Натх Дас благодарит за эту «записку Д. П. Маковицкого» и просит Толстого дать совет «о нашем движении Свободный Хиндустан», а также о том, чтобы Лев Николаевич в своей будущей статье упомянул это движение (*Л. Н. Толстой и Индия. С. 135*).

Таким образом, упорный до упоротости Тарак Натх Дас «ненавязчиво» повторил свою просьбу к Толстому о написании им статьи по проблемам Индии.

И таки своего добился! 7 июня 1908 г. Д. П. Маковицкий записал в дневнике: «Л. Н. писал письмо индусу Chitale и другое — индусу Das'у. "Я ему хочу сократить статью "Всеми бывает конец" — сказал Л. Н., — и послать. Они добиваются права участвовать в правлении, то есть подтвердить то насилие, которое над ними совершается" (*Маковицкий Д.П. Указ соч. Т. 3. С. 108*). 10 июня Толстой занёс в Дневник: "Начал письмо к индусу, да запнулся". Он отметил, что, «поправляя Сербское письмо и письмо от индуса, понял: "надо отвечать почти то же"» (*56, 154*).

Как и юная сербка, Дас написал Толстому, не скрывая от него своей веры в вооружённое насилие; он нападал на толстовское учение о непротивлении; и, несмотря на это, просил дать несколько сочувственных строк для его журнала «Free Hindustan».

Толстой ответил очень длинным письмом — скорее, статьёй, которая ваялась им по-восточному неспешно и трудоёмко, с 7 июня по 14 декабря 1908 г. Под заглавием «Письмо к индийцу» (или «индусу») статья эта распространилась по всему миру и стала популярной. Полный текст её мы помещаем в Прибавлении 1 к данной Главе.

В письме Толстой провозглашал энергично учение о непротивлении и любви, обрамляя каждую часть своих доказательств цитатами из Кришны.

«Вы в своём журнале, как основной принцип, долженствующий руководить деятельностью вашего народа, ставите эпиграфом такую мысль: "Resistance to aggression is not simply justifiable, but imperative; non-resistance hurts both altruism and egoism". (Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непротивление вредит одинаково и альтруизму и эгоизму.)

...И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с лёгким сердцем и уверенностью в своём научном просвещении, и потому несомненной правоте, отрицаете этот закон, по-

вторяя ту — простите меня — поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейские учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индийцев потому, что индийцы недостаточно противились и противятся насилию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только потому, что индийцы признавали и признают главным основным принципом своего общественного устройства насилие; во имя этого принципа подчинялись своим царькам, во имя его боролись между собою, боролись с европейцами, с англичанами... Торговая компания — 30 тысяч людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, — поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, — он не поймёт, что значат эти слова... Разве не ясно, по одним цифрам, что не англичане, а сами индийцы поработили себя... Если индийцы порабощены насилием, то только оттого, что они сами жили насилием, живут насилием и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.

Жалок и невежествен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что имеет его. Да, жалок и невежествен человек, который не знает блага той любви, которая окружает его, которую я дал ему!" (Кришна.)

Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас».

Цитатой Кришны заканчивается — как и началась — эта проповедь непротивления, обращённая Россией к Азии:

«Дети, взгляните вверх своими ослеплёнными глазами, и мир, полный радости и любви, откроется вам, разумный мир, сделанный моей мудростью, один мир действительный. Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас хочет". (Кришна.)» (37, 259 – 272).

А вот, в сокращении — ответ Т. Даса на это огромное письмо-статью Толстого, демонстрирующий, кстати сказать, как несостоятельность распространённого мнения о каком-то «лучшем» понимании

Толстого на Востоке в сравнении с Россией или Америкой, о «признании» там его, так и несостоятельность надежд на «мудрость Востока» самого яснополянца:

### «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

графу Толстому в ответ на его “Письмо к индусу”».

Сударь,

Ваше открытое письмо мне в ответ на мою частную корреспонденцию уникально и совершенно в том, как Вы изложили вопрос непротivления и любви. [...] Та ступень, о которой Вы говорите, это стадия пребывания над всем материальным — та, что индусские философы называют “Gumatita”.

В соответствии с учением пророка Кришны в “Бхагавад-Гите” [...] мы видим, что существуют четыре стадии бытия людей, обществ и циклов. Это: 1) пассивность, 2) активность, 3) безмятежность, 4) стадия Gumatita. ...Мы не можем ожидать, чтобы догма стадии пассивности полностью подошла бы стадии активности, безмятежности и т.д. Пища молодого человека отлична от того, что ест старик, точно так же Ваши идеи отличны от наших. Сфера Вашей деятельности — находиться над материальным миром и вообще отрицать его, тогда как наша — исполнять наш долг до тех пор, пока мы живём в этом материальном мире. Для Вас нет обязательств, но они есть у НАС. [...] Мы выступаем за сопротивление. [...] ...До тех пор, пока существует добро и зло, пока права слабого незаконно захватываются сильнейшим и пока существует разница в природе вещей, наши принципы непоколебимы, и они будут [...] применяться как выражение борьбы за любовь к роду человеческому.

Непротivление является абсолютной догмой. Мы отрицаем существование абсолютного непротivления.

[...] Идея абсолютного непротivления — не всегда любовь, но часто она подразумевает пассивность, слабость, ведущую к фатализму.

[...] Мы верим во всеобщее братство, но мы нетерпимы к любому акту эксплуатации какой-либо нации, расы, сообщества, семьи или индивидуума другими. [...] Мы стоим на том, что если пассивное сопротивление не приносит результатов, мы должны прибегать к активному сопротивлению, для того чтобы остановить насилие и тиранию.

Мы хотим установить царство любви, но [...] сначала надо покончить с негодной системой. И мы стоим на том, что мы должны сопротивляться злу, для того чтобы установить справедливость.

[...] Наша цель – обретение народом чувства собственного достоинства через национальную независимость. Мы хотим изменить существующие в Индии общественные, политические и экономические механизмы, которые привели более чем 30-миллионный народ за последние 40 лет к безвременной смерти от голода. Если мы прекратим своё существование, кто будет любить? Если индийский народ хочет существовать, он должен уничтожить британское правление.

Милостивый государь, Вы утверждаете — «Главная и если не единственная причина порабощения англичанами индийского народа лежит в отсутствии настоящего религиозного сознания и вытекающего отсюда управления поведением». Настоящее религиозное сознание, по Вашему мнению, это «выражение любви вместе с непротивлением», но история этого не подтверждает. Мы видим процветающую Индию в первой половине эпохи буддизма и до этого, но как только индийский народ начал терять свой деятельный склад ума с ростом духа и практики непротивления, который проповедовали буддийские монахи, начинается упадок. Для Индии опять наступили дни процветания, когда Шанкарачарья отверг порочную буддийскую практику и проповедовал деятельную религию философии Веданты. Идея непротивления привела народ Индии к тупоумию и фатализму, а фатализм привёл к невежеству и суеверию. В этом и есть отдалённая причина нашего падения! Мы хотим активной деятельностью искоренить суеверия и фатализм, вытекающие из идеи непротивления.

Милостивый государь, [...] Вы не различаете тираническое правление и правление народа. Мы верим в правление народа, которое не должно быть тираническим. [...] Мы [...] вместе с Вами провозглашаем, что Любовь это Бог, но в то же время утверждаем, что святость больше всего представлена в человеческой природе и *сопротивление тирании — самая главная из обязанностей человека*. [...] Мы не можем поверить, что когда-то миром правила исключительно любовь и всё ухудшалось до современного уровня, потому что мы верим в закон вечного развития. Экономическая история мира приводит нам примеры каннибализма, феодализма, рабства, крепостничества, гражданской войны, религиозных пыток и т. д., которых более не существует. Мы находим примеры Христов, умирающих на кресте, Будды, проповедующего любовь, Кришны и Рама, сражающихся, чтобы покончить с тиранической формой правления, как явное доказательство приоритета принципов, отличных от любви, во все периоды мировой истории.

На нас не так сильно влияли западные учителя, как наши собственные, Рама и Кришна. Кришна учил нас в Гите «выйти из летаргии и

изнеженности и подняться на бой за справедливость”. Он также сказал: “Когда бы добродетель ни страдала от несправедливости, я явлюсь для спасения поборников справедливости и истины и искоренения зла”. Современная психология учит, что восстановление и создание — понятия парные, поэтому мы опять повторяем, что принцип противления тирании *не* несовместим с духом любви.

[...] Vande Mataram («Приветствую тебя, родина-мать»).

Нью-Йорк,

14 декабря 1908 г. – 16 октября 1909 г.»

*(An open letter to count L. Tolstoy in reply to his “Letter to a Hindoo” by the editor of “Free Hindustan”. New York City, 1908. P. 1 – 8, 40 – 47; Цит. по: А. Н. Толстой и Индия. С. 161 – 166).*

Тарак Натх Дас в своих возражениях Толстому прибегает активно к авторитету не только религиозного, но и научного знания — очевидно, оппонировав таким образом выраженному в «Письме к индусу» критическому отношению Толстого к наукам. Толстой ведь неприятно, хотя и справедливо, задел и лично тов. Тарака, когда указывал ему, что он, защищая насильственные методы борьбы с насилием, повторяет «поразительную глупость», внушённую ему его «европейскими учителями».

Тарак Натх Дас ответил Толстому так же, как писал ему Толстой: *открытым письмом* — тем как бы подчёркивая мнящееся ему равное право на публичную пропаганду *своих* и своих единомышленников убеждений, отличных от убеждений Толстого. Ни о каком глубоком понимании или хотя бы *желании понять* Толстого — увы! нет в нём и речи. «Толстой» — то, что называется, *громкое имя*, или “бренд”, который выгодно слепить со своей проповеднической, просветительской, политической, реформаторской, революционной деятельностью и Тарак Натху Дасу, и всякому, независимо от его личного приятия или неприятия христианской проповеди Льва Николаевича. Вплоть до защиты, авторитетом Толстого, идей революции и войны!

Письмо Толстого к странному американскому «индусу», ничего не изменившее в мировоззрении прямого адресата, имело неожиданное значение как для самого Льва Николаевича, так и для будущего человечества. Оно попало в руки молодого индийца, который находился в это время в Южной Африке, в Йоганнесбурге, в качестве

адвоката. Его звали Ганди. Он был захвачен письмом и написал Толстому в конце 1909 г. Он оповестил его о кампании самопожертвования, которую он проводил в течение десятка лет в евангельском духе Толстого и просил разрешения перевести на индийский язык его письмо к Дасу. Ниже об этом адресате, одном из главнейших во всех переписках Толстого, во всей его жизни, мы поговорим особо.

На России «Письмо индусу» впервые было напечатано в выдержках в газетах «Киевские вести» (1909, № 103 от 19 апреля; на русском языке) и «Русские ведомости» (1909, № 89 от 19 апреля); полностью – в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», часть двадцатая, изд. С. А. Толстой (1911).

На английский язык письмо было переведено В. Г. Чертковым и впервые было напечатано в журнале Мохандаса Ганди «Indian Opinion» (1910, январь), после получения от Толстого разрешения на публикацию (этот номер журнала с «Письмом к индусу» был получен в марте 1910 г.). В Дневнике отмечено: «Прочёл письмо своё индусу и очень одобрил» (58, 28).

В 1910 г. Эугеном Шмитом был напечатан авторизованный перевод «Письма к индусу» на немецком языке: «Leo Tolstoi. Brief an einen Hindu. Autorisierte Uebersetzung von Dr. A. Schkarwan. Mit Worwort, herausgegeben von Dr. E. Schmitt».

---

## 10. 2. 5. МАХАТМА ЛЕВ И МОХАНДАС ГАНДИ В ПЕРЕПИСКЕ

«Встреча в письмах» Толстого и Ганди — не только бесспорная вершина религиозного и антивоенного эпистолярного диалога Толстого с миром, но и, сама по себе, удивительное явление. Примечателен сам факт переписки двух совершенно неизвестных друг другу людей из противоположных концов мира — из России и Южной Африки: ведь как ни был знаменит Толстой и как ни были обширны его связи и переписка, тем не менее круг его персональных контактов был по-человечески ограничен (вспомним лишь, что ему не случилось встретиться ни лично, ни письменно с таким своим известным соотечественником и современником, как Достоевский). И кажется вовсе невероятным, что неизвестный индус оказался именно тем, кому в качестве мыслителя и общественного деятеля выпало на долю расширить горизонт и продвинуть дальше дело самого Толстого. Это

была поистине счастливая страница истории, преисполненная символического смысла и как бы специально подстроенная судьбой для того, чтобы не погас огонь ненасилия и чтобы передать его, словно эстафету, из одних рук в другие — из могучих рук Толстого в твёрдые руки Ганди.

*Мохандас Карамчанд Ганди* (хинди मोहनदास करमचंद गाँधी, 1869 – 1948) в период написания писем был не более чем молодой юрист-консульт индийской торговой фирмы в Южной Африке и лидер индийской общины в Натале. Только в 1915 году, уже в годы зрелости, он вернётся в Индию, где сблизится с партией Индийский национальный конгресс и станет лидером и идеологом национально-освободительного движения Индии.

Но и ко времени своей деятельности по защите прав индийских переселенцев в Южной Африке молодой Мохандас Карамчанд был уже тем, что можно именовать *умным* (независимым) *толстовцем*. В своих воспоминаниях уже 1928 года «Мой Толстой» он рассказывает, как «сорок лет тому назад» (на самом деле — точно не более 35) «тяжелейший приступ скептицизма и сомнения» ему, как и многим современникам, помогло преодолеть христианское слово Льва Николаевича «Царство Божие внутри вас»:

«В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убеждённым сторонником ненасилия. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шёл на любые жертвы ради истины» (*Новые пророки / Григорьева Т.П., сост. М., 1996. С. 325*).

Далее, совсем в духе толстовских фантазирования о Будде, Ганди восхищается «великим отказом» яснополянца от земных благ и радостей жизни. Кроме того, Лев Николаевич удостоивается звания «самого честного человека своего времени», который «не страшась ни духовной, ни светской власти, показал миру вселенскую правду, безоговорочную и бескомпромиссную» (*Там же*). И он же, Толстой, в лице Ганди — главный идеолог и поборник ненасилия, «ахимсы»:

«Никто на Западе, ни до него, ни после, не писал о ненасилии так много и упорно, с такой проникновенностью и прозорливостью. [...] Истинная ахимса должна означать полную свободу от злой воли, гнева и ненависти и беспредельную любовь ко всему существу. Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огромной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником вдохновения» (*Там же. С. 325 – 326*).

Взгляды Л. Н. Толстого помогли, по словам Ганди, придать устойчивую форму идее ненасильственного сопротивления, ставшей осно-

вой движения против дискриминации за свои права индийских переселенцев в Южной Африке и получившей название сатьяграха («сатья» — истина, «аграха» — твёрдость, упорство, т. е. «упорство в истине»). В дальнейшем ненасильственные действия протеста под руководством Ганди стали наиболее массовой формой национально-освободительной борьбы в Индии.



Мохандас Карамчанд Ганди, юрист.  
Южная Африка, 1909 г.

Долгое время считалось, что Лев Николаевич Толстой и Мохандас Карамчанд Ганди обменялись *шестью* письмами, при этом каждый из участников эпистолярного диалога написал по три письма. Но было ещё одно, затерявшееся, письмо Ганди, о котором стаю известно через 47 лет...

Первое письмо Ганди пишет Толстому 1 октября 1909 г., представляя себя как «абсолютно неизвестного Толстому человека» (*Л.Н. Толстой и Индия. Указ. изд. С. 222*). Оно состоит из трёх сюжетов. 1) Ганди знакомит Толстого с дискриминацией индийской общины в Южной Африке, положение которой стало особенно тяжёлым в связи с принятым за несколько лет до этого законом ограничения проживания и перемещения азиатов; сообщает, что община развернула борьбу пассивного сопротивления за свои права. Ганди специально подчёркивает, что он и некоторые его друзья ведут эту борьбу



с твёрдой верой в учение о непротивлении злу. Про себя же он специально подчёркивает, что ему выпало счастье познакомиться с трудами Толстого, которые оказали глубокое воздействие на его мировоззрение. 2) Он спрашивает мнение Толстого относительно того, не следует ли организовать всеобщий конкурс работ о нравственности и действенности пассивного сопротивления, чтобы привлечь более широкие круги к этим идеям. 3) Ганди ставит некоторые вопросы в связи с публикацией и распространением работы Толстого «Письмо индусу». В Дневнике Толстого от 24 сентября (ст. ст.) он помечает. «Писал письмо индусу <Бишону Нараину (Bishen Narain). – P. A.> и получил приятное письмо от индуса из Трансвааля» (Толстой 1957, 143). (Называя своих адресатов индусами, Толстой имеет в виду их принадлежность государству Индии, а не религии индуизма.)

Ответ Толстого, помеченный 25 сентября (7 октября) 1909 г., является очень дружественным и кратким. Он приветствует их борьбу: «Помогай Бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале. Та же борьба мягкого против жёсткого, смирения и любви против гордости и насилия с каждым годом всё более и более проявляется и у нас, в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с законом мирским — в отказах от военной службы. Отказы становятся всё чаще и чаще» (80, 110 – 111). Здесь же Толстой выражает радость по поводу перевода и распространения своей работы и даёт ответы на все связанные с ней вопросы.

В письме от 10 ноября 1909 г. Ганди обращается к Толстому с просьбой поддержать своим влиянием их борьбу и посылает ему книгу о своей жизни и борьбе (*Толстой и Индия. Переписка. С. 225 – 226*). Это письмо затерялось в бумагах и осталось без ответа, так как Лев Николаевич в эти дни болел. Именно оно счастливым образом, нечаянно, было обнаружено в 1956 г. сотрудницей музея в Абрамцево Еленой Панфиловной Населенко (1896 – 1985), работавшей в архиве Ясной Поляны под руководством выдающегося и легендарного Николая Павловича Пузина (1911 – 2008).

В третьем письме (от 9 апреля 2010 г.) Ганди напоминает о себе и просит принять от «скромного последователя» новую книгу. Речь идёт о написанном в 1909 г. очерке «Индийское самоуправление» (Gandhi M.K. Indian Home Rule), тираж которой на языке гуджарати был конфискован правительством Индии, и поэтому он сам срочно осуществил перевод. Ганди со всей почтительностью выражает надежду на критический отзыв Льва Николаевича об этом сочинении. Одновременно он пересылает две копии «Письма индусу». Толстой отвечает 25 апреля (8 мая) коротким письмом о том, что про-

читал книгу с интересом и считает пассивное сопротивление вопросом «величайшей важности не только для Индии, но для всего человечества». И обещает, когда позволит здоровье, написать Ганди всё, что хотел бы «сказать по поводу его книги и всей его работы» (81, 247 – 248).

Ганди письмом от 15 августа 1910 г. благодарит Толстого за ободряющее и сердечное письмо и пишет, что будет ждать более подробный отзыв о своей «брошюре "Indian Home Rule"». Одновременно Ганди представляет своего друга и соратника, немецкого архитектора Германа Калленбаха (1871 – 1945), кстати, уроженца Царства Польского в Российской Империи, который прошёл через многие испытания, столь образно описанные Толстым в «Исповеди», и под сильным впечатлением от сочинений Толстого избрал возвещаемый им путь жизни. Ганди выражает поддержку Калленбаху, позволившему себе назвать основанную ими ферму «Фермой Толстого».

Одновременно с письмом Ганди посылает несколько номеров журнала «Indian Opinion» с описанием совместного их с Калленбахом проекта. Калленбах пишет отдельное письмо Толстому, задним числом извиняясь за то, что воспользовался его именем. Он говорит о глубоком воздействии трудов и учения Толстого, в честь чего он и назвал ферму в 1100 акров земли, предоставленную для нужд непротивленцев и их семей. В завершение письма и в оправдание он пишет Толстому, что будет стремиться «жить согласно тем идеям, которые вы столь бесстрашно вносите в мир» (*Толстой и Индия. Переписка. С. 229 – 230*).

В Дневнике под 6 сентября 1910 г. находим запись: «Приятное известие из Трансвааля о колонии непротивленцев» (58, 100).

Толстой находился в то время в тяжёлом душевном состоянии из-за обострившихся отношений с женою. По-видимому, интересное содержание писем Ганди и Калленбаха и полученные журналы произвели на Толстого сильное впечатление, и несмотря на тяжёлое душевное и неважное физическое состояние, он немедленно, в день получения известий, приступил к ответу Ганди. 6 и 7 сентября он продиктовал письмо Д. П. Маковицкому, исправил его, и тут же отправил на перевод В. Г. Черткову и уже через неделю. 14 сентября, получил его уже переведённым на подпись.

Последнее письмо Толстого к Ганди, датированное 7 сентября 1910 г., явилось развёрнутым изложением его взгляда на идеи непротивления в современном мире, включая деятельность сторонников Ганди в Трансваале. Непосредственно оно стало откликом на то, что было сказано в полученных им номерах журналов «Indian Opinion» о

непротивляющихся. Текст Толстого не содержит в себе никаких признаков частного письма. Это скорее манифест, он пишет то самое важное и сокровенное, что хочется ему сказать людям, особенно «теперь, когда живо чувствует близость смерти» (*Толстой и Индия. Переписка. С. 230*).

Данное письмо, несомненно, входит в фонд основных толстовской произведений, концентрированно излагающих его мировоззрение — христианское «непротивление злу», ненасилие. Сам Толстой был недоволен письмом; он пишет Черткову 17 сентября: «Перевод письма Gandhi прочёл. Не хорош не перевод, но слог письма. Но что же делать, если лучше не умел. Перевод... передаёт ясно мысль» (89, 215). В данном случае Толстой, вопреки своему обычаю, почти не правил написанное, но это письмо ценно именно необработанностью слога, в качестве непосредственного отклика души.

Письмо шло до Ганди долго. Его отправлял В. Г. Чертков по поручению Толстого. Он пишет: «Толстой шлёт вам и вашим сотоварищам сердечный привет и горячее пожелание успеха в вашем деле» (<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma-tolstomu/letter-266.htm>). Владимира Григорьевича также заинтересовало сообщение о Калленбахе, и он, по поручению Толстого, прилагает последнему отдельное письмо. Что касается самого письма Толстого в адрес Ганди, оно, сообщает Чертков, с разрешения Толстого будет опубликовано в издаваемом дружественном журнале в Лондоне, и номер с напечатанным письмом будет доставлен Ганди. Чертков поручил своему помощнику А. Д. Зирнису переслать подлинник Ганди. Однако Зирнис, будучи болен, переслал письмо только 1 ноября. В результате Ганди получил письмо в Трансваале всего за несколько дней до смерти Толстого. Ответить ему он уже не успел.

Ганди опубликовал письмо, сделав новый перевод (видимо, не будучи доволен переводом Черткова) 26 ноября 1910 г. в журнале «Indian Opinion». Он воспроизвёл это письмо в 1914 г. в специальном номере журнала, «выпущенном в ознаменование победы южноафриканских индийцев в борьбе за свои гражданские права. Там же был помещён портрет Толстого, под которым значится, что великий русский писатель явился одним из главных вдохновителей этой борьбы, длившейся с 1906 по 1914 г.»

(<http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/publicistika-3.htm>).

\* \* \* \* \*

Любое исследование соотношения мировоззрений Толстого и Ганди логично начинать всё с того же «Письма к индусу», изваянного отче

Львом для Тарак Натха Даса — которое, однако, с достаточной подробностью уже было рассмотрено на этих страницах. И не только потому, что это произведение стало поводом для первого письма Ганди к Толстому (у Ганди была анонимная машинная копия этого текста и он, желая напечатать его в своём журнале, просил Толстого подтвердить авторство и указать источники использованных в качестве эпиграфов высказываний Кришны). Более важно, что в этом письме Толстой выразил взгляд на действенность непротivления применительно к борьбе индийского народа против британского порабощения ещё до того, как познакомился с Ганди и его линией пассивного сопротивления.

После знакомства с теми индийскими лидерами, которые направляли свой народ, как он считал, по ложному пути насилия и скорее способствовали его порабощению, чем освобождению, и после того, как он в «Письме к индусу» со всей определённости высказал свою критическую позицию по этому вопросу. Толстому было особенно радостно узнать о Ганди, индийце, разделяющем его взгляды. Как показывают записи в Дневнике, получив от Ганди второе письмо и его книгу. Толстой глубоко заинтересовался им. 19 апреля, в день получения письма, он отмечает: «Нынче утром приехали два японца. Дикая люди в умилении восторга перед европейской цивилизацией. Зато от индуса и книга и письмо, выражающее понимание всех недостатков европейской цивилизации, даже всей негодности её» (58, 40). 20 апреля: «Вечером читал Канди *(так сладко у Толстого. – Р. А.)* о цивилизации. Очень хорошо. Записать:

1) Движение вперёд медленно, по ступеням поколений. Для того, чтобы двинуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, не влекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеславием революции, как профессии. Как важно воспитание детей, — следующих поколений.

2) Японцы принимают христианство как одну из принадлежностей цивилизации. Сумеют ли они также, как наши европейцы, так безвредить христианство, чтобы оно не разрушило того, что они берут в цивилизации?

3) Огромное большинство живёт одной животной жизнью; в вопросах же человеческих слепо подчиняется общественному мнению.

4) Усилие мысли, как семя, из которого вырастает огромное дерево, не видно; а из него вырастают видимые перемены жизни людей» *(Там же. С. 40 – 41).*

В этих суждениях Толстого о перспективах воспитания и постепенном проращении в обществе идей непротивления причудливым образом соединились личные впечатления от его встречи с европеизированными японцами и размышления над книгой Ганди. Его сравнение усилий мысли с невидимым семенем, из которого произрастает огромное дерево, похоже, прямо переключало в книгу Ганди «Индийское самоуправление»: «Семя никогда не видно. Оно работает под землёй. Само оно уничтожается, и лишь дерево, которое возвышается над землёй, оно одно и видно» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. Madras, 1919. P. 10*).

Недаром книга эта так понравилась Толстому! Образ малого семени, которое даёт начало нескорой в наступлении, но неизбежной новой жизни, христианский образ, был очень близок сторонникам ненасилия, которым приходилось работать в условиях всеобщего непонимания.

Дневник, 21 апреля: «Читал книгу о Gandhi. Очень важная. Надо написать ему» (58, 41). Толстой читал раннюю биографию Ганди, о деятельности его в Южной Африке, авторства Joseph J. Doke: «M. K. Gandhi. An London Indian Patriot South Africa», London, 1909. В тот же день Толстой пишет Черткову, что читал «одного индусского мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посредством Passive Resistance. Очень близкий нам, мне человек. [...] Он просит моего мнения об его книге. Мне хочется подробно написать ему. Переведёте вы моё такое письмо?» (89, 185 – 186). А вот запись в записках Д. П. Маковицкого, врача и секретаря Толстого: «Ганди, — сказал Толстой, — автор книжки “Indian Home Rule”. Он начальник партии, борющийся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я получил книгу о нём. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение с точки зрения религиозного индуса о всей европейской цивилизации. Как он приезжал в Лондон, как он начал есть мясо, как он учился танцевать и подчинялся цивилизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодействие — это пассивное» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 233*).

«За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха...» В свою очередь, к книге «Индийское самоуправление» Ганди приложил небольшой список из двадцати наименований «авторитетных работ», который *открывается* шестью произведениями Толстого (на английском языке): «Царство Божие внутри вас»; «Что такое искусство?»; «Рабство нашего времени»; «Первая ступень»; «Так что же нам делать?» и «Письмо индусу».

Ганди говорил о Толстом часто и всегда с почтением, как о человеке, у которого надо учиться. И тем не менее его нельзя назвать последователем Толстого, точно так же, как его нельзя возвести в обычном школьном смысле к какой-то определённой традиции, школе, учителю. Ганди испытал, конечно, много интеллектуальных и человеческих влияний, переработал много книг, быть может, не так много, как Толстой, да и в целом его жизненный путь не был таким драматичным и противоречивым, и его дорога к ненасилию, возможно, была не такой ухабистой, как у Толстого. Но он, и в этом они схожи с Толстым, пришёл к ненасилию не из книг, не из университетов, не в поисках своего места в академической или какой-либо иной человеческой корпорации. Думаем, не будет также корректно сказать, что он дошёл до всего самостоятельно и сам открыл истину ненасилия, подобно тому, например, как Эйнштейн открыл теорию относительности. Истина ненасилия для Ганди — не одна из истин, а *истина сама по себе*, единственная истина, и в данном случае не требуется даже уточняющее определение «ненасилие». Ганди не вычитал идею ненасилия, он *увидел* её. На вопрос о том, существует ли историческое подтверждение ненасилия (непротравления, пассивного сопротивления), которое тождественно духовной силе, силе правды, Ганди ответил: «Мне это кажется научной истиной. Я верю в это точно так же, как в то, что дважды два — четыре. Сила любви — это то же самое, что сила души или истины. На каждом шагу мы видим доказательства её работы» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. Madras, 1919. P. 93*). И он сформулировал свой знаменитый тезис: «Вселенная исчезла бы, если бы эта сила не существовала» (*Там же*).

Эту истину он увидел в опыте собственных духовных поисков, она стала его основным религиозным переживанием. Попав юношей из Индии в сверкающий мир Европы и столкнувшись с разными верованиями, он задумался над тем, кто он. Он открылся всем верованиям, примеряя их на себя и пытаясь в них найти отгадки жизни: он искал себя и в индуизме, и в христианстве, и в мусульманстве, и среди теософов, и среди протестантов – квакеров. Всюду его сердце находило отзвук и в то же время что-то его отвергало. Так, близкий по происхождению и воспитанию индуизм был неприемлем из-за идеи неприкасаемых. На него произвела неизгладимое впечатление Нагорная проповедь Христа, но он не мог принять христианскую идею искупления грехов. Он приходит к выводу, что все религии разными путями приходят к одной цели. Во внешних проявлениях они отличаются друг от друга, но общий корень у них один — это любовь, которая в своём прямом и чистом виде обнаруживает себя в отречении, непротравлении насалию. Ахимса — вот слово, которое

выражает то, как на самом деле всё устроено и должно быть устроено в мире, а все виды насилия в общественной жизни и в истории — «нарушения равномерной работы этих сил любви» (Там же. С. 95). Толстой полностью согласен с Ганди, что любовь есть истина, которая всем очевидна, она — «единственный закон жизни человеческой, и это в глубине души знает и чувствует каждый человек (как это мы яснее видим на детях)» (82, 137).

\* \* \* \* \*

Толстой считает непротивление насилием точным и неискажённым выражением любви. Ганди тоже пришёл к тому, что поставил знак равенства между пассивным сопротивлением и силой любви, введя для этого специальное понятие *сатьяграха*. Любовь как основной закон жизни означает, что духовная сила превосходит физическое принуждение и страх смерти, органически связана с самопожертвованием. И закон этот находится внутри каждого как знак его божественного происхождения, его надо найти в самом себе и руководствоваться им. Толстой в письме к Ганди приводит реальный пример девушки с женских курсов, которая на экзамене на вопрос архиерея о том, всегда ли, во всех ли случаях Законом Божиим запрещается убийство, ответила не так, как её учили, что, мол, убийство разрешено на войне и при казнях преступников, а сказала: всегда. И несмотря на все доводы и софистические ухищрения экзаменатора, девушка твёрдо стояла на своём, что убийство всегда, как и всякое зло против другого человека, является грехом. И архиерей вынужден был замолчать, девушка осталась моральной победительницей. И вопрос не в том, чтобы человек мобилизовал доводы в пользу любви и ненасилия, — они очевидны любому разумному человеку, — а в том, чтобы решиться следовать голосу своей совести.

Как считали Толстой и Ганди, любовь (ненасилие, *сатьяграха*) никак не сводится к усвоению определённых знаний и представлений, она представляет собой не то, что говорят и должны делать другие, а то, что делать *мне* самому, в чём состоит *моё* собственное нравственное совершенствование. Как пишет Толстой, он ошибался, когда думал, что следует стремиться исправить жизнь других, вместо того, чтобы «отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым» (25, 392). Эту же ключевую мысль *сатьяграхи* выражает Ганди: «метод обеспечения прав путём личных страданий» (*Gandhi M.K. Indian Home Rule. P. 96*). Закон любви мы, люди, находим каждый в самом себе. Он

уходит в бесконечность нравственного совершенствования. Мы не можем сказать, куда он идёт, но мы знаем, с чего он начинается.

Первый шаг начинается с управления собственным телом, с целомудрия в самом широком значении слова, начиная с вегетарианства и умеренности в пище и кончая подавлением похотей. Толстой и Ганди соглашались в понимании этого вопроса. Интересно отметить, по вопросам вегетарианства они оба оказались (разумеется, не зная об этом) под влиянием одной и той же книги Х. Уильямса «Этика пищи» (*The Ethic of Diet* by Howard Williams, 1883 г., на русский язык переведена в 1893 г.): Ганди увлекался ею в Лондоне, когда сделал выбор в пользу вегетарианства. Толстой в 1891 в качестве предисловия для русского издания этой книги подготовил развёрнутую статью «Первая ступень». Ганди пошёл намного дальше, и возможно, был последовательней, чем Толстой, в деле эксперимента над своим телом: он уделял телу больше внимания, чем временному прибежищу души. Особо показателен его успешный эксперимент, широко известный как *брахмачирья*. Ганди считал, что единственное назначение полового инстинкта состоит в рождении детей, и в 37 лет, когда у него уже было трое сыновей, получив согласие жены, взял обет отказаться от половой жизни и не только безукоризненно следовал ему, но благодаря особому режиму питания и упражнению тела добился того, что в 1880-х и до середины 1890-х годов Лев Николаевич счёл бы для себя великим счастьем: исчезновения, как такового, полового влечения к самкам его вида.

Толстой и Ганди не считали себя ни праведниками, ни святыми. Скорее, наоборот: каждый из них сознаёт своё принципиальное человеческое несовершенство. И именно поэтому они считали себя недостойными судить других. Их автобиографические рассказы — истории собственных прегрешений, в них нет ничего героического, ничего, что делает честь человеку. Они рассматривают свои жизни как индивидуальные случаи, а не как частные проявления человека вообще. Им достаточно того, что они, каждый по-своему, знают своё глубокое несовершенство и руководствуются этим, даже если предложить, что они представляют собой худшие человеческие экземпляры. Они ориентируются не на общие каноны, которых придерживаются люди, а на внутренний моральный закон, который каждый находит в себе, подобно тому как каждый находит в своей груди бьющееся сердце.

Если в жизни и словах Толстого и Ганди заключён некий урок, то он заключён совсем не в гуманизме, даже не в ненасилии или пацифизме. Они учат, что человек живёт не себя, а для Бога, вернее, жи-



вёт не ради своего животного благополучия, а ради того божественного, что есть в нём — ради самоотвержения. Толстого и Ганди роднит не только моральное убеждение в непротивлении насилию, но и понимание того, что это убеждение есть выражение божественного в жизни. Разумное самоограничение, именно пост и половое воздержание — являются лишь первым шагом, *первой ступенью* на этом пути.

Первый шаг задаёт направление, за ним следуют другие, непротивление злу разворачивается в целостный образ жизни. Учения Толстого и Ганди поражают совпадением основных добродетелей: это действительно удивительно для людей столь разных биографий, семейных традиций, среды, национальных и религиозных традиций, интеллектуальных влияний, и сам по себе факт такого совпадения может рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу той истины, которую они свидетельствуют.

Для человека «всемирного, божеского» жизнепонимания, в котором чудесно сошлись Толстой и Ганди, существует зло насилия, так как самим фактом животной жизни он погружён в атмосферу насилия, но для него не существует «злодеев», так как сама жизнь в её духовной изначальности является любовью, ненасилием. Поэтому, став на путь непротивления, каждый индивид вступает в бой с самим собой, ожесточает своё сердце против проникающего в него зла, открывает сердце всем братьям и протягивает им руку. Если бы для Толстого кто-то был злодеем, то это был бы русский царь Николай II. Но он пишет ему письмо, обращаясь: «Любезный брат». Если бы для Ганди во время Второй мировой войны кто-то был злодеем, то это был бы Гитлер. Но он начинает своё письмо ему словами: «Дорогой друг», и во втором письме, как бы полемизируя с теми, кто был недоволен, что он так обратился к нему в первом письме, добавляет, что такое обращение не является для него пустой формальностью.

У Толстого развёрнута глубокая критика, охватывающая едва ли не все стороны общественной жизни (политическое устройство, экономику, науку, искусство, судебную систему, деньги и др.). Ганди также не оставляет от Запада, как говорится, камня на камне, доходя до отрицания даже машин, учителей, врачей, судей. Оставляя в стороне этот вопрос, требующий самостоятельного исследования, хотелось бы только сказать, что основной пафос критики обоих мыслителей является моральным. Современной цивилизации они отказывают в историческом праве на существование по следующим основным причинам: она вся замещана на материальном благополучии, поклонении Маммоне: все её институты имеют по отношению

к человеку внешний отчуждённый характер: её несущей конструкцией является насилие. Толстой и Ганди просто последовательны как мыслители и честны как люди: или закон любви, или закон насилия.

Сопоставляя учение Ганди с христианским проповеданием Льва Николаевича Толстого, правильней говорить не о верном ученике, и не об отличиях, разных подходах, а о дальнейшем развитии. Ганди распространил идею ненасилия на область общественной жизни. Он разработал гениальную стратегию и тактику ненасильственной борьбы за национальное освобождение, взяв за основу нравственно-религиозное учение Толстого.

## КОНЕЦ ДЕСЯТОЙ ГЛАВЫ

### Прибавление

#### Лев Николаевич Толстой ПИСЬМО К ИНДУСУ

Всё, что существует, едино:  
люди только называют это единое разными именами.

*Веды.*

Бог есть любовь;  
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.

*1-ое Посл. Иоанна.*

Бог есть одно целое; мы только части его.

*Изложение учения Вед Вивекананды.*

### I

Не ищи спокойствия, отдыха в той земной области,  
которая порождает рассуждения и желания,  
потому что, если будешь искать этого там,  
ты будешь влеком через пустыню жизни, чуждой мне.  
Когда ты почувствуешь, что ноги твои путаются в свившихся корнях жизни,  
знай, что ты сбился с того пути, на который я призывал тебя,

потому что я поставил тебя на пути широком, лёгком, усыпанном цветами,  
и дал свет, за которым ты всегда можешь идти и следуя которому никогда не споткнёшься.

*Кришна.*

Получил ваше письмо и два номера журнала. И то и другое мне было в высшей степени интересно, так как угнетение и неизбежно вытекающее из этого разращение одних людей другими, малым числом большого числа, есть явление, всегда занимавшее и особенно живо занимающее меня последнее время. Постараюсь высказать вам то, что я думаю об этом вообще и в частности по отношению к тем причинам, вследствие которых произошли и происходят те страшные бедствия, о которых вы говорите в вашем письме и говорится в присланных вами мне номерах индийского журнала.

Причины, по которым происходит то удивительное явление, что большинство трудящегося народа подчиняется кучке праздных людей, распоряжающихся не только трудами, но и жизнью большинства, всегда и везде одни и те же, как там, где угнетаемые и угнетённые принадлежат к одному и тому же народу, так и там, где, как это происходит в Индии и в других странах, угнетатели принадлежат к иной, чем угнетённые, нации. В Индии это кажется особенно странным, так как здесь более чем 200-миллионный, высокоодарённый и духовными и телесными силами народ находится во власти совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют. Причины эти, как это видно из вашего письма и из статей «Free Hindusthan», и из весьма интересных сочинении индусского писателя Свами Вивекананды и других, состоят в том же, в чём причины бедствий всех народов нашего времени: в отсутствии разумного религиозного учения, которое, одинаково уясняя людям смысл их существования, определяло бы и высший закон, долженствующий руководить их поступками, и в замене и того и другого теми, более чем сомнительными положениями, ложной религии и ложной науки и вытекающими из того и другого безнравственными выводами, называемыми цивилизацией.

Как видно из вашего письма и из статей не только «Free Hindusthan», но и из всей политической индийской литературы нового времени, большинство руководителей общественного мнения вашего народа, не приписывая уже никакого значения религиозным учениям, которые исповедовались и исповедуются индийским народом, видят единственную возможность избавления этого народа от претерпеваемого им угнетения в приобщении его к тем антирелиги-

озным и глубоко безнравственным формам общественного устройства, в которых живут теперь английские и другие мнимо-христианские народы. Ничто очевиднее этого стремления внушить индусскому народу усвоение форм жизни европейских народов не показывает в теперешних руководителях индусского народа полного отсутствия религиозного сознания. А между тем в этом отсутствии религиозного сознания и вытекающего из него руководства поведения, — отсутствии, общем в наше время всем народам и запада и востока, от Японии до Англии и Америки, и заключается главная, если не единственная причина порабощения индусского народа англичанами.

## II

О вы, видящие бедствия над вашими главами  
и под вашими ногами и справа и слева!  
Вечно вы будете загадкой для самих себя,  
пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребёнок.  
Тогда признаете меня, и, познавши меня в себе, вы будете управлять мирами  
и, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне себя,  
вы будете благословлять всё, что есть,  
и будете знать, что всё хорошо и в вас и вне вас.

*Кришна.*

Для того, чтобы уяснить мою мысль, должен начать немного изда-  
лека.

Как жило человечество за миллионы, хотя бы десятки тысяч лет  
тому назад, мы не знаем и не можем (смело скажу, и не нуждаемся)  
знать; но то, что человечество с тех пор, как мы что-нибудь знаем о  
нём, всегда жило отдельными соединениями семей, родов, народов,  
в которых большинство покорно и охотно, считая это неизбежно не-  
обходимым, подчинялось насилию одного или нескольких лиц, са-  
мого малого меньшинства, это мы верно знаем. Такое устройство  
жизни людей, несмотря на внешнее разнообразие событий и лиц,  
проявлялось одинаково во всех народах, о прежней жизни которых  
мы что-нибудь знаем. И такое устройство жизни, чем дальше назад,  
тем больше считалось как властвующими, так и подвластными не-  
обходимым условием возможности согласного сожития людей  
между собою.

Так это происходило везде.

Но, несмотря на то, что такое устройство жизни в своих внешних  
формах продолжалось веками, продолжается и теперь, ещё очень  
давно, за тысячи лет до нашего времени, среди держащегося на

насилии устройства жизни, была высказываема в различные времена, среди различных народов одна и та же мысль о том, что в каждом отдельном человеке проявляется одно и то же духовное начало, дающее жизнь всему существующему, и что это-то духовное начало стремится к единению со всем однородным ему и достигает этого единения любовью. Мысль эта в разных формах и с большей или меньшей полнотой и ясностью выражалась в разные времена и в разных местах. Выражалась она и в браманизме, и в еврействе, и в маздеизме (учение Зороастра), и в буддизме, и в таосизме, и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских мудрецов, и в христианстве, и в магометанстве. Уже то одно, что мысль эта, одна и та же, высказывалась среди самых различных народов и в различное время, показывает то, что мысль эта была свойственна человеческой природе и заключала в себе истину. Но истина эта, провозглашавшаяся среди людей, считавших возможным соединить людей в общества только посредством употребления насилия одних над другими, была так несогласна с существующим устройством и, кроме того, была выражаема первое время своего появления так отрывочно и неясно, что люди, хотя отвлечённо и признавали её, не могли принять её как обязательное руководство поведения. Кроме того, со всеми выражениями этой истины, по мере того, как она высказывалась среди основанного на насилии устройства жизни людей, происходило одно и то же, а именно то, что люди, пользовавшиеся выгодами власти, чувствуя то, что признание людьми этой истины разрушало их положение, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, как могли, извращали истину, одевая её самыми чуждыми ей прибавлениями, толкованиями и, кроме того, прямым насилием противодействовали её распространению. Так что свойственная человеческой природе истина о том, что жизнь человеческая должна быть руководима тем духовным началом, которое составляет основу жизни человеческой и проявляется любовью, для того, чтобы войти в сознание людей, должна была, кроме своей неясности выражения, бороться ещё с умышленными и неумышленными извращениями её, а также и с прямым насилием, заставлявшим людей наказаниями и гонениями признавать установленное властью понимание религиозного закона, противное открытой истине. Такое извращение и затемнение новой, не доведённой ещё до полной ясности истины происходило везде: и в конфуцианстве, и в таосизме, и в буддизме, и в христианстве, и в магометанстве, и в вашем браманизме.

### III

Моя рука рассеяла любовь повсюду, предлагая её тем, кто хочет взять её.  
Благо дано всем моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его.  
Только немногие поднимают те дары, которые в изобилии лежат у их ног,  
но ещё больше тех людей, которые в своём самодовольном легкомыслии  
отворачиваются от них и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что я дал им.  
Многие из них отрицают не только дары мои, но и меня.  
Меня, источника всех благ, творца их жизни.

*Кришна.*

О, остановись, хоть на время, от суеты и борьбы мира,  
и я украшу твою жизнь любовью и радостью,  
потому что свет души — это любовь.  
Там, где есть любовь, есть довольство и мир,  
а где есть довольство и мир, там и я среди них.

*Кришна.*

Решение безгрешного состоит в том, чтобы не причинять печали другим,  
хотя бы он мог через это получить великую власть.  
Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал ему зло.  
Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его,  
он в конце концов будет иметь неустранимую печаль.  
Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром  
заставить их устыдиться своих дел.  
Какая польза в учёности того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего  
столько же, как и самого себя.  
Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его.

*Индийский Кюрал.*

Так это происходило везде. Везде истина о том, что любовь есть высшее нравственное чувство, не отвергалась и не опровергалась, но везде так искусно соединялась с таким количеством самой разнообразной лжи, извращающей её, что от признания любви высшим нравственным чувством ничего не оставалось, кроме слов. Внушалось то, что это высшее нравственное чувство применимо только для личной жизни, годно, так сказать, для домашнего обихода, для общественной же жизни признавалось необходимым для блага большинства людей употребление против злых людей всякого рода насилия, тюрем, казней, войн, поступков, прямо противоположных самому слабому чувству любви. Несмотря на то, что здравый смысл говорил то, что, если одни люди могут быть решителями того, каких людей надо подвергать всякого рода насилиям ради предполагаемого блага многих, то и эти некоторые люди могли решать то же самое по отношению тех, кто их подвергал насилию, несмотря и на то, что великие религиозные учителя — и браминские, и буддийские, и

в особенности христианские, предвидя это извращение закона любви, прямо указывали на неизбежное условие любви: перенесение обид, оскорблений, всякого рода насилий без противления злу злом, люди продолжали признавать несовместимое: благодетельность любви и, вместе с тем, противление злу насилием, прямо противоположное любви. И такие учения, несмотря на явное заключающееся в них противоречие, так укоренились, что люди, признавая благодетельность любви, признают вместе с тем и законность устройства жизни, основанного на насилии, включающем нанесение одними людьми другим не только истязаний, но и смерти.

Люди долгое время жили в этом явном противоречии, не замечая его. Но пришло время, когда противоречие это всё чаще и чаще стало поражать мыслящих людей разных народов. И древняя простая истина о том, что людям свойственно помогать и любить, а не мучить и убивать друг друга, всё более и более стала выясняться, и всё менее и менее могли люди верить в те лжетолкования, которыми оправдывались отступления от неё.

В старинные времена главным средством оправдания употребления насилия, противного любви, было признание особенных, сверхъестественных прав за так называемыми государями, царями, султанами, раджами, шахами и т. п. главами государств. Но чем дольше жили люди, тем всё больше и больше стала ослабевать вера в особенные, освящённые Богом права государей. Ослабевала эта вера одинаково и почти одновременно и в христианском, и в браминском, и в буддийском, и в конфуцианском мире, а в последнее время уже так ослабела, что не могла уже служить, как прежде, оправданием поступков, явно противных и здравому смыслу и истинному религиозному чувству. Люди всё яснее и яснее и уже теперь в большинстве вполне ясно видят бессмысленность и безнравственность подчинения своей воли воле таких же, как они, людей, требующих от них поступков, противных не только их выгоде, но и нравственному чувству. И потому, казалось бы, естественно людям, потеряв веру в поддерживаемую религией божественность власти всякого рода властителей, освободиться от подчинения ей. Но, к сожалению, выгодами властвования над народами пользовались не одни эти считавшиеся сверхъестественными существами государи, но везде вследствие существования этих мнимо-сверхъестественных существ образовалось в продолжение их царствования всё большее и большее количество людей, пристраивавшихся к властителям и, под видом управления народом, живших его трудами. И вот эти-то люди позаботились о том, чтобы по мере того, как ослабевал старый религиозный

обман о сверхъестественном и самим Богом определённом властвовании государей, выросла такой новый обман, который мог бы, заменив старый, продолжать так же, как и старый, держать народы в рабстве немногих властителей.

#### IV

Хотите знать, дети, чем должны быть руководимы сердца ваши?  
Оставьте ваши желания и стремления к тому, что ничтожно и пусто;  
откиньте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, о пустых и неискренних желаниях.  
Откиньте всё это, и вы познаете любовь.

*Кришна.*

Не будьте уничтожателями самих себя.  
Поднимитесь к вашему истинному я, поднимитесь до него, и тогда вам нечего бояться.

*Кришна.*

На место устарелых, отживших религиозных оправданий явились новые. Оправдания эти так же неосновательны, как и прежние, но они ещё новы, так что несостоятельность их ещё не сразу может быть признана большинством, и, кроме того, люди, пользующиеся властью, так искусно распространяют и поддерживают их, что оправдания эти многим, даже тем, которые страдают от того, что они оправдывают, кажутся неопровержимыми. Новые оправдания эти называются научными. Под словом же «научное» понимается то же самое, что разумелось под словом «религиозное», а именно то, что так же, как всё то, что называлось религией, уже по одному тому, что называлось религией, всегда было несомненно истинно, так точно и всё то, что называется наукой, уже по одному тому, что оно называется наукой, всегда несомненно истинно. Так в данном случае отжившее религиозное оправдание насилия, заключавшееся в признании особенности, сверхъестественности лиц, стоящих во власти и утверждаемых во власти Богом («нет власти не от Бога»), заменилось научным оправданием, заключающимся, во-первых, в том, что всегдашнее существование среди людей насилия одних людей над другими доказывает то, что такое насилие должно всегда существовать. В этом, то есть в том, что люди должны жить не согласно с разумом и с совестью, а с тем, что долгое время происходило между ними, — в этом состоит то, что «наукой» называется «историческим законом». Второе же «научное» оправдание насилия состоит в том, что так как среди растений и животных происходит борьба за суще-



ствование, оканчивающаяся всегда переживанием наиболее приспособленных, то эта же самая борьба должна происходить и между людьми, существами, одарёнными свойствами разума и любви, — свойствами, отсутствующими у существ, подчиняющихся закону борьбы и отбора. В этом другом «научное» оправдание насилия.

Третье же, самое главное и самое, к сожалению, распространённое научное оправдание насилия есть, в сущности, самое старое религиозное оправдание, только несколько видоизменённое, состоящее в том, что, так как в общественной жизни бывает неизбежно необходимо употребление насилия против некоторых для блага многих, то, как ни желательна любовь людей между собою, насилие всё-таки необходимо. Отличие оправдания насилия лженаукой от оправдания лжерелигией состоит только в том, что на вопрос о том, почему те, а не другие люди имеют право определять, кто именно те люди, против которых может и должно быть употреблено насилие, наука отвечает уже не то, что отвечала религия: что определения эти справедливы потому, что делаются лицами, имеющими сверхъестественную власть, а то, что определения эти представляют волю народа, которая будто бы при избирательном образе правления выражается во всех решениях и поступках людей, в данную минуту находящихся во власти.

Таковы научные оправдания насилий. Оправдания эти не только неосновательны, но прямо нелепы, но они так нужны людям, занимающим привилегированное положение, что они слепо верят в них, как прежде верили в бессеменное зачатие, и так же уверенно распространяют эту веру.

Несчастное же, задавленное трудом большинство так ослеплено той важностью, с которой передаются ему эти «научные истины», что, находясь под этим новым внушением, принимают, так же, как прежде принимали лжерелигиозные оправдания, все эти научные глупости за священную истину и продолжают рабски подчиняться своим новым, столь же жестоким, только несколько увеличившимся по численности властителям.

## V

Кто я? Я то, чего ты искал с тех пор, как твой детский взгляд с удивлением смотрел на мир, пределы которого скрывают от тебя истинную жизнь.

Я то, о чем ты молил в своём сердце, чего ты требовал, как право своего рождения,

хотя и не знал, что это такое. Я то, что лежало в твоём сердце веками, тысячелетиями.

Иногда я лежало в тебе с печалью о том, что ты не узнаёшь меня.

Иногда я поднимало голову, открывало глаза и простирало руки, призывая тебя,

то тихо, то громко требуя от тебя, чтобы ты возмутился против тех железных цепей земли,

которые притягивали тебя к праху.

*Кришна.*

Так это происходило и происходит в христианском мире. Можно было надеяться, что в огромном брамино-буддийском, конфуцианском мире новое научное суеверие это не будет иметь места, и китайцы, японцы, индусы, поняв ложь религиозных обманов, оправдывающих насилие, прямо перейдут к сознанию свойственного человечеству закона любви, так сильно провозглашённого великими учителями Востока, но оказывается, что научное суеверие, заменившее религиозное, захватило и захватывает всё больше и больше восточные народы. Оно захватило уже с особенной силой и страну крайнего востока, Японию, и, кажется, уже не одних руководителей, но и большинство этого народа, готовя ему величайшие бедствия; захватило и 400-миллионный Китай и вашу 200-миллионную Индию, или, по крайней мере, большинство людей, считающих себя, так же как и вы, руководителями этих народов.

Вы в своём журнале, как основной принцип, долженствующий руководить деятельностью вашего народа, ставите эпиграфом такую мысль: *Resistance to aggression is not simply justifiable, but imperative; not resistance hursst both Altruism and Egoism* (Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непотворление вредит одинаково и альтруизму и эгоизму).

Любовь есть единственное средство спасения людей от всех претерпеваемых ими бедствий. В данном случае единственное средство освобождения вашего народа от порабощения только в любви. Любовь, как религиозная основа жизни людей, с особенной силой и ясностью была ещё в далёкой древности провозглашена в вашем народе. Любовь при допущении противления злу насилием есть внутреннее противоречие, так что теряет всякий смысл и значение. И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с лёгким сердцем и уверенностью в своём научном просвещении и потому несомненной правоте отрицаете этот закон, повторяя ту — простите меня — поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейские учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индусов потому, что индусы недостаточно противились и противятся насилию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только потому, что индусы признавали и признают главными, основными принципами своего общественного устройства насилие. Во имя этого принципа подчинялись своим царькам, во имя его боролись между собой, боролись с европейцами, с англичанами и теперь стараются бороться с ними.

Торговая компания поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, он не поймёт, что значат эти слова. Что значит то, что 30 тысяч людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, поработили 200 миллионов живых, умных, сильных, любящих свободу людей? Разве не ясно по одним цифрам, что не англичане, а сами индусы поработили себя. Индусам жаловаться на то, что англичане поработили их, всё равно, что людям, предающимся пьянству, жаловаться на то, что поселившиеся среди них продавцы вина поработили их. Вы говорите им, что они могут не пить, но они отвечают вам, что они так привыкли, что не могут воздержаться, что им стало необходимо поддерживать свою энергию вином. Разве не то же самое со всеми людьми, с миллионами людей, покоряющихся тысячам, сотням людей своих или чужих народов.

Если индусы поработены насилием, то только оттого, что они сами жили насилием, живут насилием и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.

«Жалок и невежественен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что имеет его. Да, жалок и невежественен человек, который не знает блага той любви, которая окружает его, которую я дал ему» (Кришна).

Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас.

## VI

О вы, сидящие в заключениях и страдающие о свободе и ищущие её, ищите только любви. Любовь есть мир в самом себе, и мир, дающий полное удовлетворение. Я — тот ключ, который отпирает дверь в ту редко открываемую страну, в которой одной живёт довольство.

*Кришна.*

С человечеством нашего времени, одинаково с восточным, как и с западным, совершается то же, что совершается с каждым отдельным человеком, когда он, переходя от одного возраста в другой (ребёнок в юношу, юноша в мужа), теряет прежнее руководство в жизни и, не уяснив себе ещё нового, свойственного его возрасту, живёт без всякого руководства и придумывает, какие может, суеты, заботы, развлечения, раздражения, одурманивания, которые бы скрыли от него бедственность и бессмысленность его жизни. Такое состояние может продолжаться долго.

Но как при переходе одного человека от одного возраста к другому неизбежно должно наступить время, когда жизнь не может уже продолжаться по-прежнему, в бессмысленной суете и раздражении, и человек должен понять, что если прежнее руководство жизни уже несвойственно ему, то это не значит то, что ему надо жить без всякого разумного руководства в жизни, а только то, что надо постараться уяснить себе то понимание жизни, которое свойственно его возрасту, и, уяснив его, руководствоваться им в своём новом возрасте. Точно такие же времена должны наступать и для движущегося и изменяющегося человечества.

И я думаю, что время такого перехода человечества от одного возраста к другому наступило теперь, и теперь не в том смысле, что оно наступило именно в 1908 году, а в том, что то внутреннее противоречие жизни людей: сознания благодетельности закона любви и устройства жизни на противном законе любви насилии, вызвавшее бессмысленную, раздражённую, суетливую и страдальческую жизнь человечества, продолжавшееся столетия, в наше время дошло до того напряжения, при котором оно не может уже более продолжаться и неизбежно должно разрешиться, и разрешиться, очевидно, не в пользу отжившего своё время закона насилия, а в пользу с самых древних времён уже признаваемой всем человечеством истины о том, что закон жизни людей есть закон любви.

Признание же этой истины во всём её значении возможно для людей только тогда, когда они вполне освободятся от всех, как религиозных, так и научных, суеверий и вытекающих из них лжетолкований, извращений и нагромождений, посредством которых столько веков она скрывалась от человечества.

Для того, чтобы спасти тонущий корабль, надо выбросить из него тот балласт, который если и был, может быть, когда-нибудь нужен, теперь губит его. То же и с религиозными и научными суевериями, скрывающими от людей спасительную для них истину. Для того, чтобы люди могли воспринять истину уже не так смутно, как она

представлялась им в период их детства, и не так односторонне и превратно, как она истолковывалась для них религиозными и научными учителями, а так, чтобы она стала высшим законом жизни людей, для этого нужно полное освобождение этой истины от всех, всех тех суеверий, как лжерелигиозных, так и лженаучных, которые теперь скрывают её, освобождение не частичное, робкое, считающееся с освящённым древностью преданием, с привычками народа, такое, какое в области религиозной сделано у вас Гуру Нанака, основателем религии сейков, а в христианстве Лютером и такими же реформаторами в других религиях, а полное освобождение религиозной истины от всех, как древних религиозных, так и новых научных, суеверий.

Только освободи себя люди от верования в разных ормуздов, брам, саваофов, в воплощения их в кришнах и христах, от верований в рай и ад, ангелов и демонов, от перевоплощений и воскресений, от вмешательства Бога во внешнюю земную жизнь; освободи себя, главное, от признания непогрешимости разных вед, библий, евангелий, трипитак, коранов и т. п.; освободи себя люди точно так же и от слепого верования в разные научные учения о бесконечно малых атомах, молекулах, о разных бесконечно великих и бесконечно удалённых мирах, их движениях и происхождении их, силах, от слепой веры в несомненность разных научных мнимых законов, которым будто бы подчинено человечество, — законов исторических, экономических, законов борьбы и переживания и т. п.; освободи себя только люди от этого страшного нагромождения праздных упражнений низших способностей ума и памяти, называемых науками, от всех этих бесчисленных отделов разных историй, антропологий, гомилетик, бактериологий, юриспруденций, космографий, стратегий, им же имя легион, — только освободись люди от этого губительного, одуряющего их балласта, и тот простой, ясный, доступный всем и разрешающий все вопросы и недоумения закон любви, который так свойственен человечеству, станет сам собой ясным и обязательным.

## VII

Дети, смотрите на цветы под вашими ногами, не топчите их.  
Смотрите на любовь между вами, не отвергайте её.

*Кришна.*

Есть один высший разум, превосходящий все человеческие умы.  
Он далёк и близок. Он проникает все миры и вместе с тем до бесконечности выше их.  
Человек, который видит, что все вещи содержатся в высшем духе

и что высший дух проникает все существа, не может относиться с презрением ни к какому существу.

Для того, для кого все духовные существа одинаковы с высшим, не может быть места для обмана или для печали.

Те, кто невежественны, преданы одним обрядам религии, находятся в густом мраке, но те, кто преданы только бесплодным размышлениям, находятся в ещё большей темноте.

*Упанишады из Вед.*

Да, в наше время людям для избавления себя от наносимых ими самим себе, дошедших до высшей степени бедствий: индусу ли, ищущему своего освобождения от английского порабощения, или какому бы то ни было человеку в борьбе его с насильниками, будут ли эти насильники люди своего или чужого народа, в борьбе или негра с северо-американцами, или персиянина, русского, турка со своим персидским, русским, турецким правительством, как и вообще для каждого человека, ищущего наибольшего блага как для себя, так и для всех людей, нужны не новые объяснения и оправдания старых религиозных суеверий, как это делали у вас Вивекананды, Баба-Барати и другие, и у нас, в христианстве, бесчисленное количество таких же новых толкователей и разъяснителей того, что никому ни на что не нужно; и не бесчисленные науки о предметах не только никому не нужных, но большею частью вредных (в духовной области не бывает безразличного, а то, что не полезно, всегда вредно). Нужны как индусу, так и англичанину, и французу, и немцу, и русскому не конституции, не революции, не какие-либо конференции, не конгрессы, не новые хитрые изобретения подводного плавания, воздушного летания, могущественных взрывов или различного рода удобств для удовольствия богатых, властвующих классов, не новые училища, университеты с преподаванием бесчисленных наук, не увеличение газет и книг, и граммофонов, и кинематографов, не те ребяческие, большею частью развратные глупости, которые называются искусствами, а нужно только одно: знание той простой, ясной, укладывающейся в душе каждого человека, не одурённого религиозными и научными суевериями, истины о том, что закон жизни человеческой есть закон любви, дающий высшее благо как отдельному человеку, так и всему человечеству. Только освободись люди в сознании своём от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину, и та, несомненно вечная, всегда свойственная всем людям истина, которая одна и та же во всех великих религиях мира, сама собой выделится из всей той лжерелигиозной чепухи, которая теперь скрывает её. А выделится эта истина так, что войдёт в сознание людей, и сама собой

исчезнет вся та чепуха, которая скрывает её, и вместе с ней и то зло, от которого теперь страдает человечество.

«Дети, взгляните вверх своими ослеплёнными глазами, и мир, полный радости и любви, откроется вам, разумный мир, сделанный моей мудростью, один мир действительный. Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас хочет» (Кришна).

14 дек. 1908.



### И н т е р л ю д и я

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ И СОБОЙ: Солдат Шабунин (Год 1908-й).

Теперь необходимо ненадолго разорвать рамки хронологии нашего исследования, и возвратиться в 1886 и 1889 годы, и, более того, от них совершить “прыжок” в ещё значительно отдалённейшее прошлое — в год 1866-й. Ибо к этим годам относятся любопытные эпизоды в биографии Л. Н. Толстого, без сомнения для нас, послужившие катализаторами его антивоенных настроений писателя и публициста. Мы бы назвали их «встречами с прошлым», или даже: встречами Толстого с самим собой — каким он был в прошедшем... О двух из них мы уже рассказали читателю выше: это встреча весной 1886 года в пути со старым николаевским солдатом, вспомнившим то самое бесправие солдат, от которого гневно, но бессильно желал защитить их молодой автор «Проекта о переформировании армии». Второй встречей был, конечно же, севастопольский сослуживец

живец Ершов. Встреча, как мог видеть читатель, была не без приятности для Толстого, утвердившегося к концу 1880-х в религиозном неприятии даже тех исторических военных событий, в которых в молодости поучаствовал он сам.

Но у всякого в потаённом шкафу души хранятся свои скелетики. В том же 1889 году случилась ещё одна встреча, пробудившая в Толстом целый рой воспоминаний — но на этот раз не пчелиный, а, скорее, *осиный* рой: очень-очень неприятный для Льва Николаевича.

Неприятный настолько, что о подробностях встречи и связанных с нею событий далёкого 1866 года лишь через много лет, не без труда, Толстого удалось выспросить одному Павлу Бирюкову, особо приближённому другу и биографу...

Одним из главных «камней преткновения», делавших позицию как Толстого-гуманиста 1860 – 1870-х гг., так и Толстого-христианина 1880 – 1900-х совершенно непримиримой, было то антихристово *лукавство*, с которым в России, и именно в близкой Толстому военно-служилой среде, производились в отношении провинившихся солдат смертные казни — даже часто формально, по законам, запрещённые, но фактически применявшиеся в разнообразных «экстраординарных» случаях или по «особым» законам.

Именно таким случаем было осуждение и казнь в 1866 г. солдата пехотного полка, расположенного близ Ясной Поляны *Василия Николаевича Шабунина* (1841 или 1842 – 9 августа 1866, Новая Колпна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя) не выдержавшего преднамеренных, расчётливых издевательств над собой офицера.

Это случилось летом 1866 года, в условиях очень специфической внутривнутриполитической обстановки. На всероссийском престоле двенадцатый год восседал Александр II, недавно, 4 апреля, переживший первое покушение на свою жизнь. Надежда и проклятие царя-реформатора, 50-летний генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 — 1912) был молодым военным министром. В эти дни в Петербурге сплотилась и активизировалась "аристократическая" оппозиция Великим реформам, жаждущая добиться отставки «красного» министра. Люди *благомыслящие*, потеряв надежду на возможность бесконфликтного движения империи по пути прогресса, задумались над проклятым вопросом: «Возможно ли управлять русским крестьянином и русским солдатом без палки?»

6 июня 1866 г. рядовой 2-й роты 1-го батальона 65-го пехотного Московского полка Василий Шабунин нанёс удар в лицо своему рот-



ному командиру, говоря при этом: «Я тебе дам» (РГВИА. Ф. 801. Главное военно-судное управление. Оп. 92/37. Д. 101. Св. 1549. 1866 г. 1 ст. Л. 5).



Военно-судное дело рядового В. Н. Шабунина.  
РГВИА

Это было чрезвычайное происшествие! На Георгиевское знамя полка с надписью «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.» легло пятно позора. Скандал невозможно было замять, ибо капитан получил смачных пиздюлей (оплеуху и зуботычину), от которых у него пошла кровь, при четырёх свидетелях: фельдфебеле Бобылёве, рядовом Степане Мясине и двух хозяйках дома, где помещалась ротная канцелярия, Палагее и Анне Шептатовых (Там же. Л. 13). И командир полка незамедлительно донёс об этом командующему войсками Московского военного округа генерал-адъютанту Александру Ивановичу фон Гильденштуббе (нем. Magnus Alexander Ludwig von Gildenstein; 1800 – 1884), а тот в свою очередь 15 июня отправил рапорт за № 5935 военному министру.

Но пока рапорт готовился, да потом совершал неблизкий путь из окружного штаба в Петербург, совершились события, сделавшие это неприметное в масштабах империи событие — историческим.

Через много лет о них вспомнил один из косвенных участников, захотевший тем не менее предать вспомянутые им подробности гласности и общественному мнению. Это был *Николай Петрович Овсянников* (1848 – ?), помещик Венёвского уезда Тульской губ., а в 1866 г. юнкер того самого полка, в котором служил солдат Шабунин. Он познакомился с Толстым 13 апреля 1889 г. когда навестил Льва Николаевича в его московской усадьбе в Хамовниках, дабы переговорить по поводу печатания уже написанных им воспоминаний о суде над рядовым Василием Шабунинным. Известны и два письма Николая Петровича Толстому от 3 и 15 апреля 1889 г., в которых Овсянников просил разрешить напечатать свои воспоминания о суде над Шабунинным и подтвердить правильность рассказа. Толстой ответил ему 16 апреля следующим кратким письмом:

«Очень сожалею, что никак не могу исполнить вашего желания; как я вам говорил *<при личной встрече 13-го апреля 1889 г. – Р. А.>*, я всю свою жизнь по отношению к писаниям обо мне, к переводам, извлечениям и т. п. поступал всегда одинаково: ничего не запрещал и не разрешал. Иначе я никак не могу поступить и по отношению к вашей статье. Пожалуйста, не сердитесь на меня за это. Право, мне невозможно иначе.

Ваш Л. Толстой» (64, 247).

Итак, Толстой ничего не разрешал и не запрещал Овсянникову, не подтверждал и не опровергал ничего в его сочинении и позднее... что не помешало Овсянникову придать гласности то неприятное, что Толстой много лет желал сокрыть. По счастью, мемуары безвестного юнкера не получили известности, до 1912 года не переиздавались и скоро канули в Лету. Надолго. Но не навсегда. Толстому пришлось вспомнить о них — правда, лишь в отдалённом от времени событий 1908 году, когда личный его биограф, доверенный секретарь, духовный, во Христе, единомышленник и близкий друг Павел Иванович Бирюков, работавший над вторым томом фундаментальной «Биографии Льва Николаевича Толстого», отыскал в газете «Право» за 1903 г. архивную публикацию защитительной речи Л. Н.



слал материалы о процессах в военных судах по делам, кончавшихся смертными приговорами, а также и о приведении в исполнение смертных приговоров. Сведения были кропотливо и любовно собраны Давыдовым от знакомых адвокатов, от члена военно-окружного суда и от чиновника окружного суда, присутствовавшего при смертной казни. Оценив по достоинству труды старого тульского приятеля, Лев Николаевич отписал Давыдову 3 мая 1908 г. благодарность с такими словами:

«Очень, очень благодарен вам, милый Николай Васильевич, за полученные мною нынче через П. И. Бирюкова две записки о смертной казни. [...]

Я пишу теперь для моего друга Бирюкова, составляющего мою биографию, воспоминания о моей защите в военном суде солдата, ударившего офицера и за это приговорённого к расстрелянию. Это было так давно, более 40 лет тому назад, что я мог что-нибудь забыть и описать дело не так, как оно происходило. Я просил Бирюкова побывать у вас и, рассказав, как у меня описано, спросить, нет ли в моём описании неверностей.

Простите, что утруждаю вас. Очень вам благодарен. И как бы желал суметь, благодаря вашей помощи, хоть в сотой доле выразить и вызвать в людях ужас и негодование, которые я испытывал, читая вашу записку.

До свиданья, дружески жму руку. Лев Толстой» (78, 130).

А 10 мая того же 1908 года Толстой обратился с запросом к Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826 – 1911), другу молодости, историку, публицисту, редактору журнала «Вестник Европы» — и получил от него необходимые сведения о покойном его брате, Александре Матвеевиче, участнике трагических событий 1866-го (*Там же. С. 139 – 140*).

Жена писателя, Софья Андреевна Толстая припомнила участников драмы в мемуарах, попутно высказав своё несколько жутковатое, болезненно-суицидальное отношение к судьбе Стасюлевича-младшего:

«Посещали нас ещё тогда разные военные. В Ясенках стоял полк, в котором служил наш бывший ранее знакомый Григорий Аполлонович Колокольцов, товарищ по корпусу брату моему Александру Андреевичу. Этот Колокольцов познакомил нас с своим полковым командиром, полковником Юношей и с Стасюлевичем, братом известного Михаила Матвеевича Стасюлевича, редактора «Вестника Европы». Этот несчастный офицер, недавно произведённый, уже не

молодой человек, был разжалован в солдаты ещё в молодости за побег арестанта, случившийся во время его караула. Мне очень жаль было этого Стасюлевича, худого, всегда грустного и не помирившегося с несчастьем своей жизни никогда, так как мы узнали впоследствии, что он кончил самоубийством. Надел на себя тяжёлую енотовую шубу и пошёл в глубокую речку. Он сел в шубе на дно реки и захлебнулся до смерти. Вот поразительная сила воли и желание избавиться от неудавшейся жизни» (*Толстая С. А. Моя жизнь. М., 2014. Т. 1. С. 152*).

Александр Матвеевич Стасюлевич, действительно, был разжалован в рядовые с лишением дворянского звания «за неодобрительное поведение и разные противузаконные поступки по отправлению должности караульного офицера» (см.: *Бобровский П. О. История 13 лейб-гренадёрского Эриванского его величества полка за 250 лет (1642 — 1892). Спб. 1892 – 1897. Т. IV. С. 354*). Ко времени второй встречи с Толстым он, конечно, уже выслужил себе заново офицерское звание.

Встреча со «Стасюлевичем» (молодой Толстой так пишет его фамилию) отмечена в Дневнике ещё под 4 ноября 1852 г.:

«Вчера после пульки Стасюлевич, который, как кажется, человек с очень хорошими способностями, рассказывал мне историю своего несчастья» (46, 192).

Эту историю Толстой подробно записывает, передавая, как Стасюлевич поплатился за чужие служебные проступки, из-за которых во время его дежурства из Метехского замка в Тифлисе по ночам выпускались арестанты. «Виновен он или нет? — спрашивает Толстой. — Бог знает, но когда он рассказывал мне (он то прекрасно говорит) своё горе и его жены, я едва сдерживался от слёз» (*Цит. по: 3, 313*).

Другой великий биограф Толстого, Н. Н. Гусев, в то время личный секретарь Льва Николаевича, вспоминает, как 1 мая 1908 г. Толстой диктовал ему свои, тогда ещё черновые, «Воспоминания о суде над солдатом»:

«Три раза плакал Лев Николаевич во время диктования: первый раз при упоминании о том, что общение с офицером Стасюлевичем, принимавшем участие в этом суде, “было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения”; второй раз после слов: “Я прочёл свою слабую, жалкую речь, которую мне — не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Я тут ссылаюсь на законы, статьи такие-то, такого-то тома, когда речь идёт о жизни и смерти человека”; и третий раз после слов: “Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит тело и душу. И душу эту убили и убивают всё больше и больше”» (*Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1973. С. 148*).

Это чистое, искреннее, евангельски-христианское чувство Льва Николаевича и его страстные убеждения в пользу непротравления Христа, против всякого, тем более системно организованного, насилия или принуждения человека человеком, следует иметь в виду при работе как с его «Воспоминаниями о суде над солдатом», так и с изложениями этих воспоминаний в трудах лучших его биографов и единомышленников во Христе — П. И. Бирюкова и Н. Н. Гусева.

В воспоминания 1908 г. писатель включил и присланную ему накануне Е. И. Поповым выдержку из книги Э. Геккеля «Мировые загадки», в которой смертная казнь оправдывалась с точки зрения естествознания, и развил мысль, записанную в Дневнике 2 мая: «Разве не ясно, какой полный невежда этот профессор Геккель! Каковы же его ученики? Возражать не стоит, возражение в Евангелии, но они не знают его, безнадежно не знают, решив, что они выше его. А если люди так невежественны, что могут по закону убивать, то что же закон? И всё рушится» (56, 126).

Впервые «Воспоминания о суде над солдатом» были опубликованы с цензурными пропусками в книге: П. Бирюков. «Лев Николаевич Толстой. Биография», изд. «Посредник» (1908), полностью – в сб.: «Л. Н. Толстой. “Не могу молчать” и другие статьи о смертной казни», изд. «Единение» (1917).

Статья эта уникальна в нашей теме. Она, во-первых, охватывает громадный временной рубеж: от 1866 года до 1908-го. И, конечно же, в наибольшей степени презентует неприязнь к судам и военщине, к военной среде именно 80-тилетнего старца Толстого. Однако ряд публикаций 1880 – 1890-х гг., на которых мы останавливались в данной книге, позволяют заключить, что та же выраженная неприязнь к нравам и обстановке военной службы в России характеризовала мировоззрение уже и 60-тилетнего писателя. Поэтому мы помещаем толстовские «Воспоминания о суде над солдатом» хронологически именно в конце 1880-х, как запоздалый ответ на расспросы наивного Николая Петровича Овсянникова, не получившего столь же обстоятельный ответ, конечно же, как по той причине, что не был Толстому столь же близок, как друг-биограф и духовный (во Христе) единомышленник Павел Бирюков, так и потому, что, через много лет, сделал участнику драматических событий лета 1866 года довольно-таки больно, напомнив то, что ему совершенно не хотелось вспоминать...



Кроме того, содержательно «Воспоминания» относятся в большей степени к теме «отношений» Л. Н. Толстого с писанным правом и конкретно с нормативами, регулирующими применение смертной казни. Поэтому, не вдаваясь в аналитику, мы лишь приводим ниже полный текст этого недлинного сочинения Л. Н. Толстого. (Везде в тексте, ошибкою памяти, Лев Николаевич даёт имя солдата — Шибунин. Эту ошибку «подхватил» П. И. Бирюков и ряд позднейших биографов.)

### **ВОСПОМИНАНИЯ О СУДЕ НАД СОЛДАТОМ**

Милый друг Павел Иванович

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и перечувствовано мною в связи с тем случаем моей защиты солдата, о котором вы пишете в своей книге. Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потери или поправление

состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как всё это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нём.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистической жизнью. Летом 1866 года нас <семью Толстого в Ясной Поляне. – Р. А.> посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцов, кадетом ещё ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служил в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. Это был весёлый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой, казачьей лошадкой, на которой он любил гарцовать, и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым командиром, полковником Юношей <ударение в фамилии на «О». – Р. А.>, и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем, родным братом известного редактора, служившим в этом же полку. Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведён в прапорщики и поступил в полк к бывшему своему товарищу Юноше, теперь его главному начальнику. И тот и другой, Юноша и Стасюлевич, тоже изредка езжали к нам. Юноша был толстый, румяный, добродушный, холостой ещё человек. Он был один из тех так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Юноши условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно ещё, каким бы он был, если стал бы человеком и перестал бы быть полковником, профессором, министром, судьёй, журналистом. Так это было и с полковником Юношей. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель, но какой он был человек — нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек, тяжело переживал. Так мне казалось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и



вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни, и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжёлую шинель и в этой шинели вошёл в реку и утонул, когда дошёл до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцов или Стасюлевич, в один день летом приехав к нам, рассказал про случившееся у них для военных людей самое ужасное и необыкновенное событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с сочувствием к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и ещё других к совершению этого поступка: смертная казнь, всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманым, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь, как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не разрушают во мне сознания невозможности их совершения.

Я понимал и понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя, может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя опасности смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в полном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей — этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому я, как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озёрки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении, или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, что очень редко в солдате, человеком с самым простым,

непеременяющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцовым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно, по-солдатски отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что ротный был требователен к нему. «Уж очень он на меня налегал», сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял тогда причину его поступка, она была в том, что ротный командир его, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно исполненными, довёл его до высшей степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжёлые отношения человека к человеку: отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную ещё догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчинённого и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни делал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, с своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорблял его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высшей степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и наказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был Юноша, двумя членами были Колокольцов и Стасюлевич. Привели подсудимого. После не помню каких-то формальностей я прочёл свою речь, которую мне не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи с очевидно скрываемой только приличием скукой слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то и такие-то статьи такого-то тома, и когда всё было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой

статьи, которую я приводил, то есть за оправдание подсудимого вследствие признания его невинным. Колокольцов же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, всё-таки подчинился Юноше, и его голос решил вопрос. И был прочтён приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося её ходатайствовать перед государем — государем тогда был Александр II — о помиловании Шибунина. Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь уже была совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казнённому совершенно верны.

Да, ужасно, возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашёл лучшего, как сослаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трёх сторон стола, воображая себе, что, вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, и что, вследствие всего этого, они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, — то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, — это то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого, — это знают все люди, и этого доказывать нельзя, потому что не нужно, а можно и должно только одно: постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нече-

ловеческому намерению. Ведь доказывать это — всё равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе: не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями.

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Юноша и Гриша Колокольцов с своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через <двоюродную тётку Александру Андреевну> Толстую ходатайствовал у государя о помиловании Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был, — о том, что всё, что совершалось над Шибуниным, было вполне нормально и что также нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом деле того человека, которого называли государем. И я *просил* этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь *власти*. Если бы я был свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра второго и Шибунина, это то, чтобы просить Александра не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушёл бы из того ужасного, постыдного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях (по «закону») уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я ещё ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал ещё тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни [и] какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет никакой причины, по какой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям

убивать друг друга. Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства церковью и наукою, вместо достижения своей цели: оправдания, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже, когда видел издали смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле. Но мне всё еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный. Только гораздо позднее, когда уже я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел те явные и грубые обманы, которыми и церковь и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, которыми объясняется необходимость и законность, убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать.

«В. Что запрещается в шестой заповеди?

О. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь *по должности*, как-то: 1) когда преступника *наказывают* по правосудию, 2) когда убивают неприятеля *на войне* за государя и отечество».

И дальше:

«В. Какие случаи относятся могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто *укрывает или освобождает убийцу*».

В «научных» же сочинениях двух сортов: в сочинениях, называемых юриспруденцией с своим уголовным *правом*, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывається то же самое ещё с большей ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно всё есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон

борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же *enfants terribles* этого учения, как знаменитый профессор Йенского университета Эрнст Геккель в своём знаменитом сочинении: «Естественная история миротворения», Евангелии для неверующих, прямо высказывает это:

«Искусственный подбор оказывал весьма благоприятное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания. Как искусственный подбор, и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как "либеральная мера", отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов. Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества, подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивируемого сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесёт полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества "борьбу за существование", но и произведёт выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества».

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше я желаю ему образумиться и ни в каком случае не хотел бы лишить [его] этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяца, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских. С одной стороны раздаются награды за убийство по 10 и по 25 рублей, с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их, как великих подвижников. Вольным палачам платят по 50 рублей за

казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришёл человек с просьбой передать ему дело исполнения казни, так как он возьмётся сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось ли, или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело и душу...

Всё это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал уже тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имел на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, самое благодетельное влияние. На этом случае я первый раз почувствовал, первое — то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе — то, что государственное устройство, немислимое без убийств, несовместимо с христианством. И третье, что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь» (37, 67 – 75).

Письмо Толстого своему биографу, превратившееся в особенную статью, как видим, *исключительно* информативно: не только последовательностью изложения многих главнейших событий, избавляющего нас от необходимости рассказывать их от себя, но и *исповедальной* составляющей, раскрывающей ряд подробностей *духовной* биографии Льва Николаевича — как раз в аспекте эволюции его мировоззрения к христианскому неприятию войн, военщины и смертных казней, включая военно-судебные, да и в целом расправ людей над людьми по «праву» и по суду.

Судя по записям в Дневнике Л. Н. Толстого, встреча 13 апреля с Овсянниковым и воспоминания о 1866 году наложились на множество других негативных впечатлений писателя от Москвы: как от жизни семейной, так и от муштры солдат на Хамовническом плаце, свидетелем которой в эту весну Толстой был неоднократно. Вот весьма характеристическая запись от 30 апреля:

«Пошёл к солдатам. У них шёл обман принятых осенью. Их заставляли присягать перед знаменем. Попы в ризах пели с певчими в нарядных стихарях, носили иконы, били в барабаны и играла музыка. Проходя назад, слышу разговор вахмистра — “не полагается”.

Какое страшное слово! Ведь не про божеский закон оно говорится, а про безумно жестокую чепуху военного устава.

Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства. 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жестокость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция.

Когда подходил к войскам, попы с образами пошли на меня. Я, чтоб не снимать шапки, пошёл прочь от них» (50, 76 – 77).

Вторая часть этой исторической, хрестоматийной записи — это не просто слова возмущения, а творческие планы Толстого-публициста, религиозного и антивоенного.

На довершение признаемся читателю, что мы долго сомневались, в какую Главу нашей книги поместить очерк о Василии Шабунине. История эта обнимает сразу три эпохи: «цветущие» писательские 1860-е, бурный конец 1880-х и, наконец, старческий 1908-й год. Наконец, выбрали 1908-й — по формалистическому критерию хронологии. Он оправдан тем, что в рассмотренном нами выше очерке для биографа Толстой неизбежно выражает своё мировоззрение — именно 1900-х гг. Хотя, без сомнения, только *записаны* неприятные для Толстого воспоминания о судилище 1866 года были в 1908-м, а вспомнил, чтобы уже не забывать совершенно, многие рассказанные в них обстоятельства гибели солдата, коснувшиеся его лично, Толстой ещё тогда, в 1889-м, после свидания с Н. П. Овсянниковым — одним из судьбоносных «свиданий с прошлым». Высказанное для П. И. Бирюкова в 1908-м не стало для биографа-толстовца откровением: те же критические мысли он мог встретить в антивоенных писаниях Толстого-христианина, созданных им как раз с конца 1880-х гг.

## КОНЕЦ ДЕСЯТОЙ ГЛАВЕ





## Глава Одиннадцатая

# ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ГЛАВА О ДВУХ ВЕЛИКИХ — КНИГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

(Повесть «Хаджи-Мурат» и антивоенная тема в художественном творчестве  
Л. Н. Толстого конца 1890-х – 1900-х годов)

Вопреки мнению многих критиков о «заброшенности» Толстым художественного творчества буквально с конца 1870-х и до последних дней земной жизни, интерес писателя и публициста во второй половине 1890-х, когда в защиту Истины Христова учения и против мирских лжей и зла им было уже сказано, и не раз, всё сколь-нибудь значительное — смещается к новым, и, безусловно, более успешным, нежели в 1880-е, попыткам *художественного иллюстрирования* проповеданной Истины. В это время, вплоть до конца 1890-х гг., Толстой, уделяя непрерывное внимание антивоенной публицистике, работает параллельно и над художественными произведениями — повестью «Отец Сергей», драмой «И свет во тьме светит», повестью «Хаджи-Мурат», романом «Воскресение» и др., — в которых, создавая образы военных людей, картины войны, в то же время надеется, по его собственному признанию, «многое важное... высказать» (71, 469) и по актуальным проблемам общественной жизни.

Ряд сочинений приобретает безусловно антиимперскую направленность. Так, к 14 декабря 1895 г. относится дата завершения Толстым статьи «Стыдно», посвящённой телесным наказаниям крестьян — в которой, однако, публицист возвращается к своим излюбленным идеализациям дворян-декабристов. В процессе работы статья имела ряд названий, и в предпоследнем варианте она называлась «Декабристы и мы». Эти лучшие, по мнению Толстого, представители дворянства 1820-х годов первыми отказались сечь солдат своих полков, заслужили их уважение и любовь, и вместе с ними вышли в 1825 году за общее дело на Сенатскую площадь. В черновой рукописи № 3 статьи Толстой вспоминает, как Матвей Иванович Муравьёв-Апостол, «один из последних декабристов», рассказывал ему: «В 20-х годах все они, цвет тогдашней образованной молодёжи, служба в Семёновском полку, решили не осквернять себя употреблением телесного наказания и обходиться без него» (71, 276). Дата окончания статьи была напоминанием автора читателю о годовщине восстания и о том, что всё может, и даже *должно* повториться, только уже инициативой не прогнившей с декабристских времён офицерской «верхушки», а самого униженного и оскорблённого в человеческих чувствах народа.

К этому же периоду, возможно, относится и замысел тематически примыкающего к статье «Стыдно» рассказа «После бала», написанного в 1903 году, в котором изображена сцена военного наказания николаевского времени — прогнание сквозь строй. По свидетельству писателя Ивана Николаевича Захарьина-Якунина, в 1898 – 1899 годы Толстой усиленно интересовался подробностями такого рода экзекуции, свидетелем которой был Захарьин-Якунин в начале 1860-х, во время военной службы (*Захарьин (Якунин) И. Встречи и воспоминания. СПб., 1903. С. 224*).

Если в рассказе «После бала» экзекуция беглого солдата-татарина положена в основу сюжета произведения, то в «Хаджи-Мурате», в финальном варианте повести, лишь упоминается об этой излюбленной Николаем I мере наказания: в гл. XV царь накладывает такую резолюцию на деле студента-поляка, ударившего профессора: «Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь тысячу человек» (35, 72). Ниже мы подробнее вернемся к этому сюжету.

В рассказе «После бала» противопоставлены друг другу два образа — образ рассказчика, Ивана Васильевича, и фигура полковника, воинского начальника николаевского времени. Этим определено и художественное своеобразие рассказа — контрастность не только идеи и образов, но и стиля, сочетание лирико-поэтических элементов и обличительно-сатирического начала. Образом отца Вареньки Б., в которую Иван Васильевич был влюблён возвышенной, неземной любовью, писатель дополнил впечатляющую галерею военных типов, показав под внешне привлекательными чертами полковника (румяное лицо, радостная, ласковая улыбка, стройная фигура в искусно подогнанном мундире, украшенном орденами) его сокровенную суть выкорыща, воспитанника и прислужника лжехристианского мира: автоматизм, бездушие и жестокость.

Повесть эта — ещё одна, хотя и не последняя по времени, «встреча» Льва Николаевича с самим собой в прошлом. Она автобиографична. В основе рассказа лежат события, произошедшие с братом Льва Толстого — Сергеем. В ту пору Лев Николаевич, будучи студентом, жил в Казани вместе с братьями. Сергей Николаевич был влюблён в Варвару Андреевну Корейш — дочь военного начальника Андрея Петровича Корейша и бывал у них в доме. Эта история прочно осела в памяти Толстого, и много лет спустя он описал её в своём произведении.

Характерной особенностью дневниковых записей писателя конца 1890-х — начала 1900-х годов являются параллельные упоминания

об одновременной работе как над публицистическими, так и над художественными произведениями, посвящёнными злобе дня и в то же время «вечным» вопросам. Так, 12 апреля 1898 года Толстой помечает в дневнике: «Занятия Carthago delenda est» и «Хаджи-Мурат». «Писал воззвание», — записано в дневнике 28 июня того же года о работе над статьями «Где выход?» и «Неужели и это так надо». Тут же рядом помечено: «Писал нынче Отца Сергия» (53, 199). «Начал переписывать *Воскресенье*... статью свою о военном сословии надо написать для народа» (53, 129), — пишет он в другой раз, имея в виду под статьёй «Солдатскую памятку». Аналогичная запись занесена в дневник 21 февраля 1899 года: «Сначала шло «Воскресение», потом совсем остыл. Написал письмо фельдфебелю и в шведские газеты». Вот пометки от 23 октября 1896 года: «Перечёл *Хаджи-Мурата*, не то. За *Воскресение* я взяться не могу. Драма занимает («И свет во тьме светит» — Р. А.)» (53, 115). И таких примеров можно привести немало.

В повести «Отец Сергей», задуманной Толстым ещё в конце 1880-х годов и законченной в 1898 году, военная тема по своему объёму занимает сравнительно небольшое место. Но её роль в раскрытии основной идейно-художественной мысли произведения чрезвычайно велика. Главный герой повести, отец Сергей, прежде чем уйти в монастырь, служил командиром эскадрона кирасиров в лейб-гвардии, был принят в высшие круги придворного общества, имел все основания добиться блестящей военной карьеры. Круг военных, в котором вращается князь Касатский, показан Толстым примерно так, как и круг военных в «Анне Карениной». Офицер Касатский, подобно Вронскому, Яшвину, Петрицкому, «любим товарищами и начальством» (черновой вариант, 31, 203). Но Касатский многим отличается от своих сослуживцев: у него огромное честолюбие, большая сила воли, стремление во всём достигнуть совершенства, начиная от безукоризненного исполнения служебных обязанностей и кончая настойчивыми попытками установления гармоничного равновесия между собственными мыслями и поступками.

Нравственная чистота Касатского, верность его той «детской вере, которая никогда не нарушалась в нём» (31, 11), не позволяют ему пойти на компромисс с совестью. Узнав об измене невесты, он, несмотря на отговоры родных и знакомых, решительно и бесповоротно порывает с жизненной сферой, вне которой не мыслил раньше своего существования.

Уход Касатского в монастырь — не только достигнутая им ступенька на пути к внутренней свободе. Это — сильный и искренний протест против лицемерия и лжи, господствовавших над умами и

душами того круга людей, о которых он отныне не может думать без омерзения.

Чистоте духовных помыслов Касатского в повести противопоставлены сочный, ядрёный аморализм императора Николая Павловича, и, для контраста, тощая, пошлая бесцеремонность полкового командира. У последних, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, во всех случаях жизни «материя преобладает над духом». Толстой сознательно подчеркнул моральную низость имп. Николая, сделав невесту Касатского любовницей именно царя, а не просто одного «важного лица», как это намечалось в первоначальных вариантах (см. 31, 203).

Но и после того как по воле автора и логике сюжета Касатский оказался заточённым в монастырь, на страницах повести вновь появляются военные лица. В частности, возникает фигура генерала, бывшего командира полка, в котором в молодости служил Касатский. Теперь этот генерал, занимающий важное положение, появляется в монастыре, движимый любопытством и желанием взглянуть на чудака-монаха, своего прежнего сослуживца. Взгляду отца Сергия представляется внушительная фигура с вензелями и аксельбантами, с выхоленной харей и самодовольной на ней улыбкой. В противоположность отцу Сергию с его душевной тонкостью и чуткостью, генерал — воплощение специфических «профессиональных» качеств военщины: нравственной чёрствости, грубости.

Отцу Сергию не помогают послушание и смирение, которые он с усердием воспитывал в себе. Вид генерала вызывает в нём потребность протеста. Ощутив при разговоре с бывшим начальником «запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард» (31, 16), он взрывается и дерзко бросает в лицо генералу своё презрение. Так толстовского монаха, старавшегося воспитать в себе чувства всепрощения и терпимости, один вид человека в мундире приводит в бешенство. Тем самым автор «Отца Сергия» этим эпизодом и всей системой образов военных людей, созданных им в повести, открыто выразил своё резко отрицательное отношение к военному сословию самодержавной России.

Дальнейшее развитие военная тема получила в драме «И свет во тьме светит», над которой писатель работал во второй половине 1890-х годов. В пьесе Толстой художественными средствами выразил и закрепил свой тезис об отказе от военной службы, которую он устами отдельных героев называет самой подлой службой, незаконной, жестокой, зверской деятельностью (см. 31, 124, 156). Положительный герой драмы Борис Черемшанов, придя к убеждению о несовместимости службы в царской армии с религиозной верой и с

достоинством человека, отказывается принять присягу. После этого на сцену выступает целая галерея должностных лиц — священник, жандармский офицер, врач-психиатр, генерал, полковник и другие, которые совместными усилиями с помощью средств убеждения и принуждения пытаются «завлечь» молодого человека в лоно армии.

Священник, полковник, даже жандармский офицер стремятся воздействовать на новобранца увещеваниями, апеллируя к его раску. Генерал же, в отличие от них, является сторонником решительных мер и требует от подчинённых не рассуждений, а исполнений. «Одна паршивая овца всё стадо портит, — говорит он. — Тут нельзя миндальничать» (31, 160). Он хочет дать понять Черемшанову, что тот не более как песчинка под колесницей и в случае, если новобранец не одумается, ему придётся сгнить в крепости. Исчерпав все доводы и средства, Бориса помещают в госпиталь. «И как всегда, к нам, как последняя инстанция», — с мрачным юмором встречает его доктор-психиатр (31, 166).

Несмотря на тщетность попыток чиновников военного, духовного и иного звания сломить волю Черемшанова, автор драмы отнюдь не склонен недооценивать их силу и влияние. Нравственная победа Бориса достигается не лёгкой ценой: его подвергают истязаниям, ему грозит дисциплинарный батальон и, по всей вероятности, гибель (пьеса осталась незаконченной). Но, главное, на стороне властвующих находятся такие союзники, как невежество и рабская покорность тех, кто не твёрд в мужестве исповедания своих убеждений. «Как же тоже без военного сословия. Нельзя же», — говорит Борису Черемшанову писарь полковой канцелярии, голосок срамотного агрессивно-послушного большинства поганого «русского мира». Если священники твердят, что без христоролюбивого войска не обойтись, то они, «архиереи, должно, знают», что говорят, — повторяет вслед за писарем солдат-часовой в 6-м явлении 3-го действия пьесы (31, 162).

В целом, сцены пьесы, раскрывающие военную тему, исполнены большой взрывчатой силы. Характерно, что, когда в 1911 году, уже после смерти автора, драма вышла в свет, цензурные пропуски составляли *более трети* всего текста произведения. Что касается сцен 3-го действия с описанием эпизода отказа от военной службы, то они были опущены почти целиком. Тем самым было отдано должное остроте и социально-разоблачительной направленности военных сцен драмы, глубокой реалистичности изображения Толстым военной касты, возлюбленных сволочной тётки «родины».

Следует сказать, что и в других драматических произведениях писателя, начиная от пьесы «Плоды просвещения» и кончая драмой

«Живой труп», почти всегда, в главных или эпизодических ролях, присутствуют военные лица. Все они, за редким исключением (отставной солдат Митрич из «Власти тьмы», князь Абрезков в «Живом трупе»), относятся к числу отрицательных персонажей. Всего лишь одну фразу произносит в драме «Живой труп» офицер своей даме после суда над Федей Протасовым («Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура»). Но и эта фраза не только вполне характеризует офицера как ханжески-бессердечное и нравственно-тупое отродье, но и показывает в целом отношение духовных уродов Империи к проблеме человечности, выраженной в мыслях и поступках толстовского «живого трупа».

Наконец, с предельными силой и глубиной толстовская концепция войны и мира последнего полуторадесятилетия творческой жизни писателя выражена в повести «Хаджи-Мурат».

Работа над этой повестью составила целую эпоху в художественном творчестве Льва Николаевича: он начал повесть эту летом 1896 года и продолжал вплоть до того момента, как осенью 1910 года навсегда покинул Ясную Поляну.



«Хаджи-Мурат».  
Обложка отдельного издания 1913 г.

С 29 апреля 1896 г. Толстой поселяется на лето с семьёй в Ясной Поляне. Основными работами на май и июнь остаются статья «Христианское учение» и статья об искусстве. С 18 июля к ним присоединяется новый замысел, будущей повести «Хаджи-Мурат». О рождении его Толстой повествует в Дневнике, в записи 19 июля, во время пребывания у брата, Сергея Николаевича, в имении Пирогово, там же давая себе своего рода творческую установку, о чём и ком следует писать:

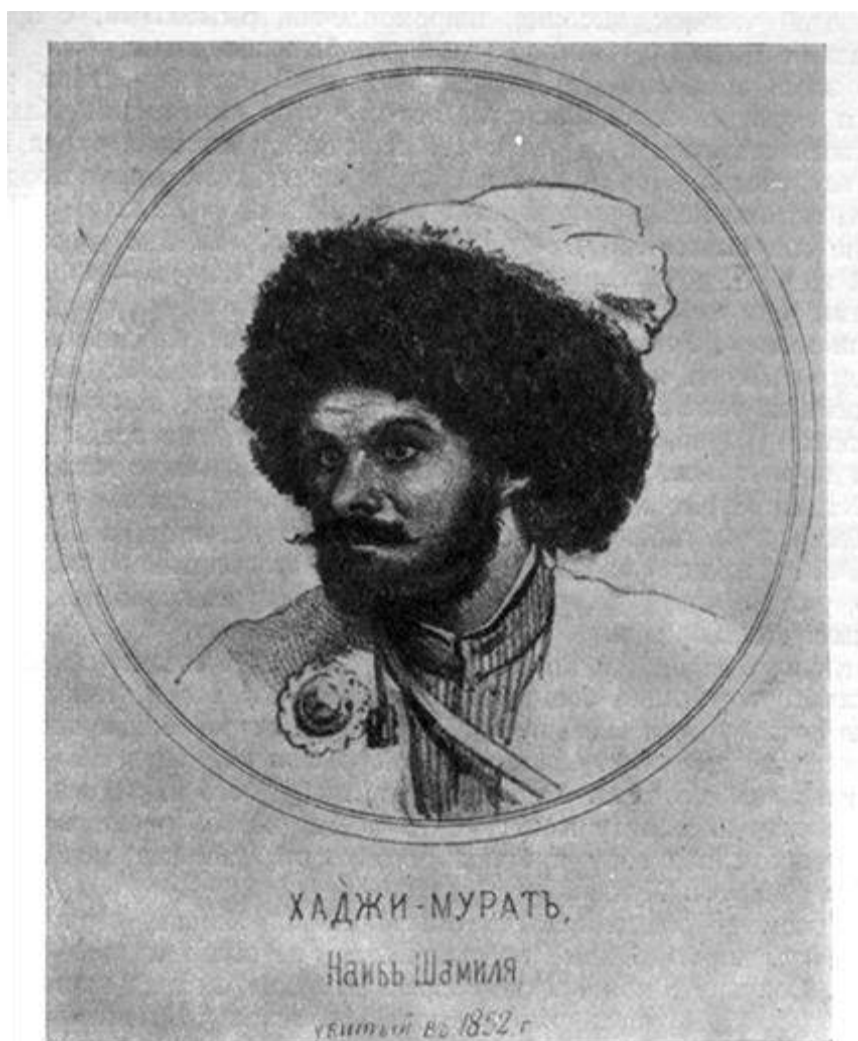
«Вчера иду по передвоенному чернозёмному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме чёрной земли — ни одной зелёной травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязнённый цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, чёрный, стебель надломлен и загрязнён; третий отросток торчит вбок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в серединке краснеется. — Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял её.

[...] Вчера [...] вспомнил нашу в Ясной Поляне неумолкаемую в 4 фортепьяно музыку, и так ясно стало, что всё это: и романы, и стихи, и музыка не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей.... Стыдно, гадко. Помогите мне, Отец, разъяснением этой лжи послужить Тебе» (53, 99 – 100, 101).

Помимо сбора с 1896 г. исторического материала, Толстым обдумывалась и концепция будущей повести: в Дневнике на 4 апреля 1897 г. появляется запись: «Думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, о том, что в нём, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман» (53, 144). Постоянны в 1897 г. обращения писателя к многотомному «Сборнику сведений о кавказских горцах».

Персоналия историческая, *Хаджи-Мурат Аварский* (авар. Хлажимурад Хунзахъаса; ок. 1818 — 5 мая 1852) — аварский вождь и военачальник, наиб, то есть «правая рука» имама Шамиля в Дагестане. Уроженец Хунзаха (Дагестан), молочный брат аварских ханов. Хаджи-Мурат и его старший брат Осман были близкими сверстниками ханских сыновей, росли вместе с ними, и это, бесспорно, сыграло немаловажную роль в формировании взглядов и характера

славного наиба. С детства он не любил людей, одержимых обыкновенными пороками выкормышей и рабов мира: самовлюблённых, хвастливых, трусливых, похотливых, жадных...



ХАДЖИ МУРАТ

Литография из «Художественного Листка» В. Тимма. Была прислана Толстому С. Н. Шульгиным вместе со следующим письмом: «Лев Николаевич! Я имел редкое счастье внести свою долю труда по собиранию понадобившихся вам сведений о наипе Хаджи Мурате (в 1902 г.). Не будучи уверен, что вы вместе его изображение, я решаюсь предложить вам прилагаемый при сем портрет Хаджи Мурата, снятый мною с очень редкого издания («Русский Художественный Листок» Тимма, 1858 г., № 32). Будьте счастливы и здоровы на многие годы. С. Шульгин, 5 февр. 1909 г.»

Детство его совпало с начальным этапом Кавказской войны под руководством дагестанских владетелей, а юность с зарождающейся борьбой имамов против русского проникновения в Северо-Восточный Кавказ. В этих условиях Аварское ханство, оказавшись между двумя огнями, вело политику сохранения своего независимого положения и от одной и с другой стороны, то есть политику «вооружённого нейтралитета», если употребить современные термины. Он и его



сверстники повзрослели очень рано, не по годам, как все дети войны, к тому же оказались в близком окружении высших политических кругов Аварского ханства, где шли оживлённые дискуссии о выборе путей разрешения военных и политических вызовов времени. Жертвами джихадистской войны пали сначала отец Хаджи-Мурата, а после — ханы и, наконец, старший родной брат Осман, участник восстания против узурпатора Гамзат-Бека и его убийца. Подробности жестокого захвата власти Гамзат-Бекем и истребления аварских ханов изложены в книжечке 1848 г. подполковника царского Генерального штаба Александра Андреевича Неверовского (1818 – 1864) «Истребление Аварских ханов в 1834 году» (см. [https://viewer.rusneb.ru/ru/000199\\_000009\\_003543141?page=1](https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003543141?page=1) ).

Истребление аварских ханов и последовавшее за этим убийство Гамзат-бека и его соратников надолго отстранило Аварское ханство от мюридистского движения. Аварское ханство тесно связало себя с русской военной администрацией и противниками мюридизма в Дагестане, а руководители мюридизма и новый имам Шамиль с ещё большей энергией стремились присоединить силой оружия Аварское ханство к своим владениям и тем самым ликвидировать главный очаг сопротивления.

Хаджи-Мурат и его сторонники твёрдо стали в ряды противников Шамиля. Во многом это было неизбежно. Близость к ханским сыновьям, смерть наследников ханства и последующая месть за них определили на этом этапе позицию Хаджи-Мурта. Слишком многих из своих родственников и друзей он потерял, защищая политический выбор Аварского ханского дома и хунзахцев. Хаджи-Мурат в сложившейся ситуации защищал свой дом, своё село и Аварию, а с Россией и русскими, в культурном плане, не был ещё знаком. Собственно говоря, дальнейшая коллизия повести и обозначает конфликт между желанием, с одной стороны, Хаджи-Мурата поддерживать мирный нейтралитет для своей родины, с другой — необходимостью сопротивления жестокому противнику и спасения семьи, а для этого — принятия помощи от русских и, наконец, с третьей стороны — необоримой естественной гадливостью к имперской русне и «русскому миру» нравственно чистого человека, преданного вере и традициям своего народа.

С назначением Ахмед-хана временным правителем Аваристана между ним и Хаджи-Муратом, сложились отношения соперничества, которые переросли во вражду. В 1840 году доносы и наговоры Ахмед-хана привели к аресту Хаджи-Мурата по обвинению в ведении тайных переговоров с Шамилем, а также разрушению его дома,

разграблению имущества и скота. Было приказано сослать его в Темир-Хан-Шуру, но он по пути сумел бежать, совершив рискованный прыжок со скалы, по краю которой пролегла тропинка. Он смог утащить за собой двоих конвоиров, на которых и приземлился, слава при падении только одну ногу (остался хромым).

Познав, в культурном диалоге с русскими, их нравы, Хаджи-Мурат с отвращением, решительно и охотно, переходит с ноября 1840 г. на службу к Шамилю. Со временем Шамиль сделал своего союзника наибом всех аварских селений. В течение 10 лет Хаджи-Мурат был правой рукой «Шмеля», как звали имама русские. В эти годы он организовал немало ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. Туда, где мог объявиться «призрачный» (одно из прозвищ Хаджи-Мурата), русское командование направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Свои набеги Хаджи-Мурат проводил не только ради добычи, но и как карательные акции, ради мести. При этом часть добычи неизменно выделялась сиротам и вдовам. Хаджи-Мурат стал одним из самых знаменитых горских воинов. Его храбростью восхищались как в Дагестане, так и в Чечне. А слава его подвигов облетела весь Кавказ и Россию

([https://kvkz.ru/2007/08/30/abrechestvo\\_realnost\\_i\\_predrassudki.html](https://kvkz.ru/2007/08/30/abrechestvo_realnost_i_predrassudki.html)).

Легендарный Хаджи-Мурат, «самый предприимчивый и влиятельный сподвижник Шамиля» (М. С. Воронцов), был «ярким явлением в плеяде героев Кавказа» (Л. Бланч). К данному высказыванию можно добавить, что он являлся и самой трагической фигурой среди набои Шамиля. Причиной этого в немалой степени была слава Хаджи-Мурата, которая, как верно заметил историк М. А. Аммаев, «постепенно стала опережать его самого. Если Шамиль был знаменем борьбы, то Хаджи-Мурат становился её душой. Его имя вдохновляло соратников, с ним связывали успех и удачу, его боялись враги» (Аммаев М. А. *Хаджи-Мурат Хунзахский (штрихи к портрету и мотивации поступков)* // *Хаджи-Мурат в памяти потомков. Махачкала, 2002. С. 10*). Интриги завистников сыграли роковую роль в разладе между Шамилем и Хаджи-Муратом. Провал одного из набегов стал поводом к обвинению наибо и лишению его власти имамом. Последующее развитие событий (когда Хаджи-Мурату дают знать, что его хотят убить) способствовало принятию им решения 23 ноября 1851 года перейти на сторону Российской империи вместе с четырьмя преданными ему мюридами. В плену у Шамиля осталась его семья — жена и дети...

Командир Куринского егерского полка флигель-адъютант полковник Семён Михайлович Воронцов (1823 – 1882) поначалу не поверил в такую удачу. Но вскоре сын кавказского наместника самолично,

во главе сильного отряда, отправился навстречу знаменитому воину. Убедившись, что перед ним действительно знаменитый Хаджи-Мурат, князь Воронцов препроводил необыкновенного перебежчика в крепость. Воодушевлённый экстраординарным событием, главнокомандующий, *Михаил Семёнович Воронцов* (1782 – 1856), поспешил обрадовать своего государя. Это было неслыханной удачей — заполучить самого Хаджи-Мурата, чьё имя повергало в трепет Кавказ и который считался «половиной Шамиля». Император не разделял упований Воронцова, но согласился оставить Хаджи-Мурата под личную ответственность наместника. В генеральном штабе опасались, что хитроумный Хаджи-Мурат вышел по тайному соглашению с Шамилем, что цель его — высмотреть силы и средства Воронцова, дороги и крепостные сооружения, чтобы затем устроить опасный сюрприз и вновь соединиться с имамом.

В апреле 1852 года Хаджи-Мурат прибыл в Нуху в сопровождении сильного конвоя и под надзором капитана Бучкиева. Начальник Нухинского уезда подполковник Карганов старался развлечь Хаджи-Мурада, обещая скорые перемены в его деле. А пока разрешал ему ездить по Нухе и окрестностям в сопровождении своих нукеров и небольшого конвоя. Обещания, однако, оставались обещаниями... Видя равнодушное отношение русских к судьбе его семьи и подозрительное отношение к себе, Хаджи-Мурат сделал попытку уйти в горы и погиб в стычке с превосходящими силами казаков и горской милиции в районе села Онджалы (в настоящее время Гахский район, Азербайджан). Хаджи-Мурат вместе с четырьмя сподвижниками (трое аварцев и один чеченец) сражались с тремя сотнями противников, окопавшись в небольшой яме. По сообщению 1870 г. одного из убийц, Василия Потто: «Мюриды его зарезали своих лошадей и держались до тех пор, пока не расстреляли всех своих патронов. Тогда, с обнажённой головою, без шапки, Гаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады и, с шашкою в руке, один врезался в густые толпы милиционеров. Он был изрублен на месте; с ним пали двое мюридов, а остальные два, израненные, были взяты в плен и, впоследствии, преданы военному суду. С нашей стороны было убито два и ранено девять милиционеров». Этот же автор называет и альтернативную возможную причину вторичного ухода Хаджи-Мурата от русских: «Гаджи-Мурат, имевший большие сношения с лезгинами, хотел пробраться в Закаталы и сделаться независимым владельцем как от Шамиля, так и от русских, относительно которых он, во время пребывания в Тифлисе, обогатил себя многими полезными и важными сведениями»

<https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Potto V A/gadzi-murat.htm>.

На наш взгляд, непосредственно на роковой шаг Хаджи-Мурата могли подвигнуть как раз эти самые «сведения о русских», но не столько военные, сколько всё новые, делающиеся постепенно не-сносными, подробности бытовой, рабьей и скотской жизни русни и фактического отдаления этих *православных*, то есть, в массе своей, мнимых и липовых «христиан» от настоящего последования, от послушания Богу и Христу (высокопочтиму и в мире Ислама).



Хаджи-Мурат. С литографии 1851 г.

Итак, на страницах своей повести писатель-Толстой воскресил реальные события полувековой, к тому времени, давности, свидетелем и участником которых в немалой мере довелось быть и ему самому (хотя писатель и не повстречался ни разу на Кавказе с самим Хаджи-Муратом). Не случайно одна из редакций повести носит характерный подзаголовок: «Воспоминания военного человека». В «Хаджи-Мурате» Толстой дополняет и конкретизирует ответ на вопрос, кто же был виновником многолетней Кавказской войны. Раньше при

описании военных событий Толстой избегал обнажённых, прямых средств обличения (См. *Купреянова Е. Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 69*). Сейчас он намеревается использовать и художественную типизацию, и открытую публицистическую инвективу.

То, что центральной фигурой своего произведения Толстой избрал Хаджи-Мурата, отнюдь не случайно. Он не раз отмечал, что в основе подлинного искусства лежат строгие и незыблемые законы, поэтому не всякое реальное лицо имеет «условия художественные» (15, 242). Историческая же фигура Хаджи-Мурата в высшей степени обладала этими «условиями художественными», с помощью которых писатель создал яркий, но при этом реалистически совершенный образ.

Поставив своей задачей при описании исторических событий и лиц «быть до малейших подробностей верным действительности» (35, 614), Толстой на страницах повести воскресил реальные черты облика Хаджи-Мурата: прямодушие, удаль, сметливость, рыцарственную самоотверженность, храбрость, о которой среди горцев и русских ходили легенды. Все эти качества современниками Хаджи-Мурата отмечались неоднократно: «Смелый, ловкий партизан Хаджи-Мурат был один из известнейших предводителей, пользовался большим почётом», — пишет А. Л. Зиссерман, служивший на Кавказе (*Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе, 1842—1867. СПб., 1879. Т. 2. С. 59*). А. Л. Зиссерман, видный участник кавказских походов и автор ряда книг о кавказской войне, живший верстах в пятнадцати от Ясной Поляны. При встречах с ним Толстой, несомненно, перебирал кавказские воспоминания, а также расспрашивал о Хаджи Мурате. Личность последнего Зиссерман ставил высоко и, вероятно, оказал в этом отношении влияние на Льва Николаевича.

Даже в письмах наместника Кавказа М. С. Воронцова отдана дань безумной смелости и необыкновенному характеру человека, который «умер отчаянным храбрецом, каковым и жил». «Все, что мы слышали от горцев о его смерти, а, особенно, что мы узнали во время последних происшествий на лезгинской линии, — писал Воронцов, — доказывает, каким большим влиянием и уважением Хаджи-Мурат пользовался в Дагестане. Это, конечно, была главная причина ненависти, которую питал к нему в последнее время Шамиль» (*Письма о Хаджи-Мурате М. С. Воронцова // Русская старина. 1881. № 3. С. 661, 666*).

В первый год своего пребывания на Кавказе, назвав в дневнике 23 декабря 1851 года Хаджи-Мурата вторым лицом после Шамиля, Толстой писал: «Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне» (59, 132).

В противоположность Шамилю с его твёрдостью, непоколебимостью, необузданным властолюбием — даже во внешнем облике имама подчёркивается нечто «каменное, совершенно неподвижное» — Хаджи-Мурат выступает как личность, не лишённая лучших человеческих качеств: искренности и пытливости, свободолюбия и непокорности. Мечтая о помощи в приобретении власти, как прежде, над Аварией и едва ли не над всею Чечнёй, Хаджи-Мурат совершает глупость: переходит на сторону русских, то есть безусловного врага. Но для Хаджи-Мурата, натуры своенравной, ищущей, мятущейся и мятежной, не вынесшей деспотического своеволия Шамиля, невыносима также и навязанная ему роль почётного пленника. Главное же: дитя своего народа и именно народной культуры Дагестана, искренне преданный Богу мусульманин, нравственно чистый, как чисто хищное в природе животное — он, соприкоснувшись отнюдь не с подлинными, всегда чтимыми Толстым, людьми *русского трудового народа*: мирный, добрый и верующий крестьянский народ произвёл бы на него, в массе своей, значительно лучшее впечатление. Но благородный аварец столкнулся именно с выкормышами и воспитанниками николаевской Империи, образованными, даже *словно* «благородными» распорядителями трудовых (крепостные) и военных (солдатня) рабов и с самими этими рабами — и он сперва почувствовал, а затем убеждённо увидел нравственную порочность этих существ, огромного большинства из них. В них, в «православных», не было ни его живой веры, ни твёрдых моральных установок. «Власть тьмы» (сочетавшая в себе невежество, омрачённость и ожесточённость, похоть, корысть и другие пороки безверия, прикрытого обрядовым, храмовым идолопоклонством) пожирала в эпоху Толстого уже и общинную народную жизнь, но тем сильнее являла себя в среде городских, и в особенности военно-служилых дармоедов и их окружение — от солдата до денщика, от офицерской жены до царских министров и придворных... Только познакомив читателя с Хаджи-Муратом, заставив любоваться им, скрывающимся от Шамиля, в гостях у кунака Садо (голодный более суток, он, тем не менее, сперва молится Всевышнему, а потом съедает только немного хлеба, сыра и мёда), Толстой, как бы по незримым «ступеням разврата», низводит читателя в гнусные нравственные бездны «русского мира». Сперва — солдаты, военные рабы империи, менее связанные грехом:

«Накурившись, между солдатами завязался разговор:

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдать.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо вишь овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмёт и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведывала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчёт от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было» (35, 13 – 14).

Великолепная зарисовка, портрет типовой (по сей день!) «русско-мирной» сволочи. Так, к слову сказать, разлагалась в позапрошлом столетии не одна армия, но и община — тот самый, упомянутый Авдеевым, крестьянский *мир*. Их, лохопырок, и «не в первый раз» уже, грабит ротный командир, которому поручена общая скудная касса — и руснявые готовы снова покрыть, замолчать воровство «хорошего человека»!

С такими же «хорошими» человеками сводит Толстой своего Хаджи-Мурата. Флигель-адъютант Семён Михайлович Воронцов, лицо историческое, командир Куринского егерского полка и сын знаменитого главнокомандующего, наместника Кавказа, Михаила Семёновича Воронцова, жил при полку, помимо службы, привычной светской жизнью, вместе с женой своей, Марьей Васильевной, «знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью: здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью» (Там же. С. 16). Обычное времяпрепровождение русских «господ» — ночная, иногда и ночь напролёт, игра в карты. Ворюга ротный командир — тут как тут: автор, сам испытывавший на Кавказе и даже в Севастополе прихоти игровой «фортуны» не преминул подчеркнуть, насколько

«насушно» необходимы были игроку украденные у солдат рубли. Теперь же, проигрывая последнее, Полторацкий не стесняется заигрывать с женой командира на глазах у мужа, а Марья Васильевна, «большеглазая, чернобровая красавица» сидит подле ротного, очаровывая его и заглядывая ему в карты. «Широко расставленными, чёрными глазами» перевозбуждённого юного оленя тот пожирает давно замужнюю даму, делая ошибки и проигрывая деньги солдат адъютанту, к чарам «светской» полковой проститутки равнодушному (быть может, даже гомосексуалу) *(Там же. С. 17 – 18)*. В конце концов, Полторацкий, пресытившись общением с общедоступной кокеткой, отыгрывается и даже выигрывает 17-ть рублей...

Воронцов-младший между тем получает известия о «выходе» к русским Хаджи-Мурата, но, по законам светского раута — не говорит о «делах». В следующий день, когда рота отправлена на рубку леса, эта светская «деликатность» будет стоить жизни козлу отпущения войны — солдату Авдееву...

Вот зарисовка офицерской жизни, пока солдаты, угрожаемые пулями горцев, рубят лес:

«На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выпался, был в том особенном настроении подъёма душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шёл оживлённый разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания её и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и весёлость, с которой они, одни в молодецких, дру-



гие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них» (Там же. С. 25).

О предстоящем выходе Хаджи-Мурата «хорошим человеком» Воронцовым не передано ни слова ни столь же «хорошему» Полторацкому, ни солдатам. Как следствие, передовой отряд, для безопасности — и совершенно не лишне, как оказалось — посланный Хаджи-Муратом вперёд, встречен был пулями из сторожевой цепи и вынужден был отстреливаться. Смертельно ранен Авдеев:

«Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним. — Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу, — чикнуло, смотрю — он ружьё выпустил. <Примечательная деталь: генетический раб словно оправдывается перед начальством. Не убило нелепо напарника, а — «он ружьё выпустил». — Р. А.>

— Те-те, — пощёлкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не даёт. Винца бы, ваше благородие.

Водка, т. е. спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашёлся, и Панов, строго нахмурившись, поднёс Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примаёт душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на неё Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своём английском, кровном рыжем жеребце, сопровождаемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

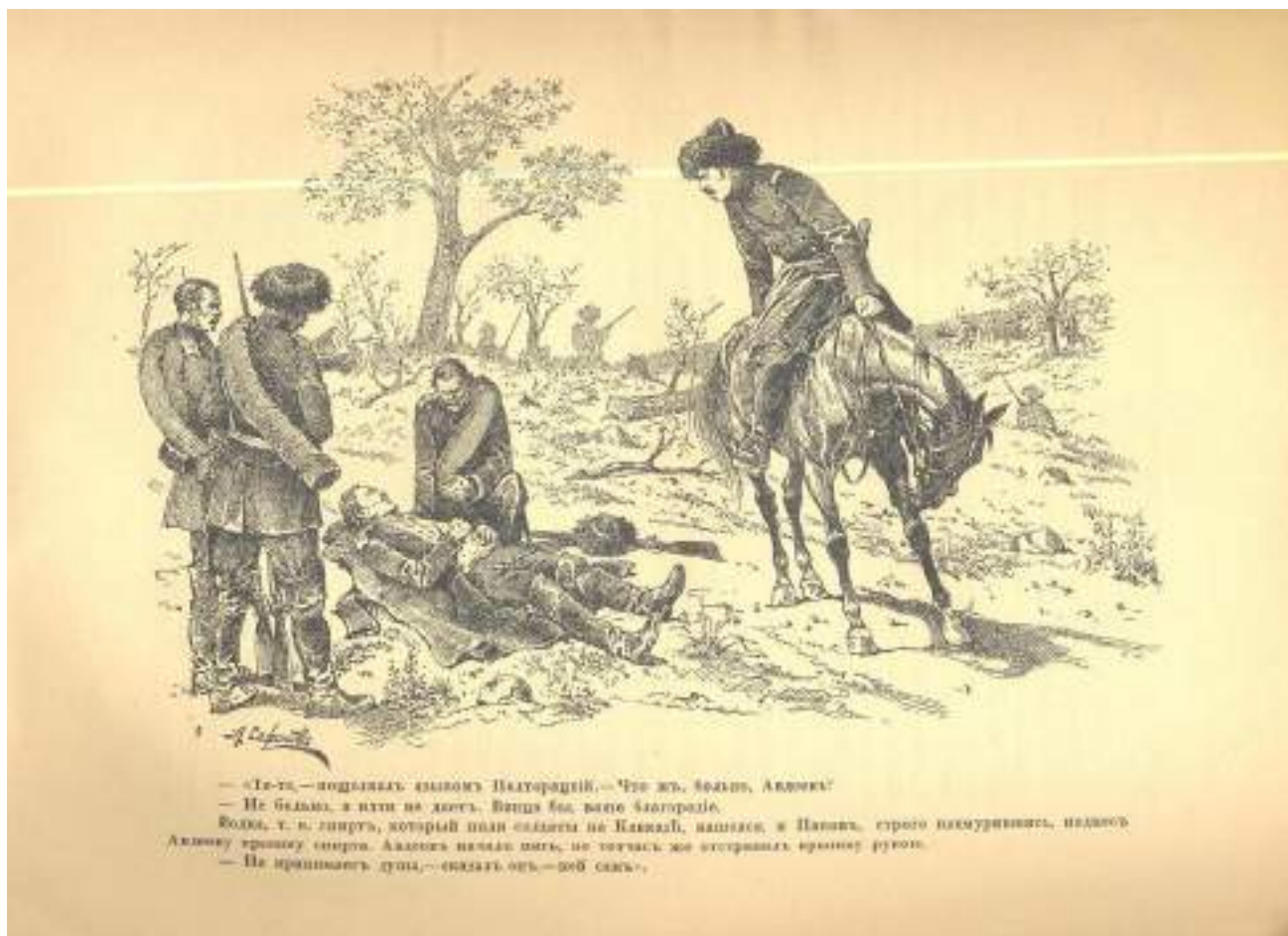
— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости» (Там же. С. 27 – 28).

Чему радуется русский палач — знает один бог войны, его бог... В целом, сцена, в контексте блядок и попок с карточными играми, мало подходит для педагогики: для пресловутого «военно-патриотического воспитания» детей и дураков современной нам, путинской... да и всякой, тоже прежней и последующей, России.

Авдеев между тем *отдаёт Богу душу*, побеждает в нём смерть, но и освобождает от жизни-страдания в рабстве у тётки «родины» и её поганых «элит» — оттого не принимает душа его спиртного пошла, извечно в «русском мире» лекарства для живых и страдающих.



Ранение Авдеева. Худ. А.П. Сафонов. 1913 г.

А прочие, не убитые пока, военные рабы этой падлы тётиньки во всей сцене «принятия», с кровью, Воронцовым Хаджи-Мурата пе- няют... но отнюдь не на своих руснявых командиров:

« — Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаго- творять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля <т. е. Шамиля. — Р. А.> был. Теперь, небось...» (Там же. С. 29).

Замечательно в сцене «выхода» Хаджи-Мурата и впечатление рот- ного командира Полторацкого от давно невиданного им среди «своих», умного и, как молодой лев, прекрасного обликом и нрав- ственно чистого человека; особенно поразили рвотного во хмелю «широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно и спокойно смотрели в глаза другим людям» (Там же. С. 28). Такие же «добрые, широко расставленные глаза» у него самого — залог нетронутости (пока) нравственного ядра личности и возможности очищения от военно-полевой скверны — разумеется, вне военной службы... Того очищения, движения и развития духовного, которое совершают у Толстого благословенные автором, чем-то близкие ему персонажи.

Пока Воронцов-младший радуется своему «улову», а старший, Ми- хаил Сергеевич Воронцов, ловит «волны лести» в роскошном, боль- шом доме, в доме маленьком, одном на всех, в госпитале, в общей палате умирает бездумно отданная им, Воронцовым, дань смерти — крестьянин, забранный в солдаты, Пётр Авдеев. А воронцовский сы- нок между тем уже заготовил, для доклада в Тифлис, по начальству, лживую реляцию, где, конечно же, нет ни слова о том, что равно- душный виновник гибели солдата — он сам:

«3 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек уби- тыми и ранеными» (35, 36).

Не довольствуясь этой обличительной картиной, в главе VIII повести Толстой переносит нас в родную деревню и семью Авдеева — пока- зывая «власть тьмы», нравственную деградацию крестьянского мира на уровне семьи и общины. Отец жалеет, что Петруха, хороший ра- ботник, пошёл в солдаты вместо паршивого братца Акима: «Пётр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и дельвал старик, он тотчас же

брался помогать — или пройдёт ряда два с косой, или навьёт воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было, как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нём — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался. Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного» (*Там же. С. 38*). Зато лодырь братец, пользуясь зажиточностью скаредного своего семейства, наструбал с женой, от сытой похоти, четверых выщенок, под стать себе — и не прочь был ещё и ещё увеличить сволочное поголовье: количество в ущерб качеству и в насмешку над смыслом... Наконец, Петру был послан рубль с письмом — с известием, что его жена Аксиныя пошла «в люди». Письмо и деньги воротились: солдата уже не было в живых — и блядовитая Аксиныя лишь порадовалась гибели мужа: «Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать её, и приказчик мог взять её замуж, как он и говорил ей, когда склонял её к любви» (*Там же. С. 40*).

Хаджи-Мурат меж тем приобретает новый опыт соприкосновения с бездной разврата имперской «элиты», именно «русского мира», в театре и на светском приёме у старшего Воронцова. На вечере «молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнажённая, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнажённые женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит» (*Там же. С. 48*).

Ему не могло нравиться то, что он видел — уж слишком эта русская оргия напоминала о тех трагических обстоятельствах, с которых начались бедствия Хаджи-Мурата, о которых он поведал адъютанту Воронцова, *Михаилу Тариезовичу Лорис-Меликову* (1824 – 1888):

«Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за

два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названный, и Булач-Хан, меньшей, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: “Мусульмане, хазават!” Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в своё удовольствие и ни о чём не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Хань боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон <Григорий Владимирович Розен, 1782 – 1841. – Р. А.>. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты всё, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увёз его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза» (Там же. С. 50 – 51).

Нет, не могли чистому морально человеку, мусульманину, горцу нравиться нравы имперской русни — как не нравилось и то, что один из его мюридов, Хан-Магома, «весельчак и кутила» по натуре, живя с ним у Воронцова, пристрастился к курению (Там же. С. 54). Хаджи-Мурат заслуженно презирает русскую военщину: и рабов (солдатню), и господ — за её нравы и повседневность, но ещё надеется на помощь русских «сардарей» (государей, князей, царя) в спасении от Шамиля семьи его — и готов, при спасении семьи, послужить, как прежде, России...

В «биографии» Хаджи-Мурата, записанной Толстым в черновиках 1902 года, гадкая история разращения юного хана русской мундированной нечистью рассказана с дополнительными мерзкими подробностями:

«После смерти Кази Муллы, убитого русскими в Гимрах, его ближний мюрид Хамзат-бек продолжал его дело. Чечня и весь Дагестан, кроме Аварии, были в его власти, и всякий час надо было ждать его нападения на Аварию. [...] Хамзат-бек прислал послов к аварским ханам, требуя от них покорности. У аварских ханов не было достаточно войска, чтобы противустоять Хамзату, и потому Хаджи Мурат предложил ханше отправить его вместе с Омар-ханом в Тифлис просить у русских помощи против Хамзата. Ханша согласилась, и Хаджи Мурат с Омар-ханом и переводчиком поехали в Тифлис к главному начальнику барону Розену просить у него войск для защиты Аварии.

[...] Хаджи Мурат остался дожидаться на площади против дома, в то время как переводчик вошёл во дворец. Через четверть часа Хаджи Мурата позвали во дворец. Он думал, что его тотчас же приведут к сардарю, как он называл главнокомандующего, и он уже готовил речь ему, но его привели в канцелярию; пришёл молодой офицер с длинными усами, это был адъютант, и расспросил Хаджи Мурата об его деле и о том, кто такой Омар-хан и богат ли он. Узнав, что он богат, офицер записал адрес [в Тифлисе] и сказал, что сам заедет к ним.

Действительно, в тот же вечер офицер с длинными усами и с другими, уже не молодыми, офицерами приехал к ним, познакомился с Омар-ханом и повёз его в театр. На другой день тот же офицер повёз Омар-хана обедать, и Омар-хан вернулся пьяным. Хаджи Мурат, всегда строго державшийся закона, не пивший вина и не пропускавший время молитв, почтительно посоветовал хану быть осторожнее. Но хан, добродушный и глуповатый, не слушал Хаджи Мурата, и пил, и ездил к женщинам, и стал играть в карты. Тут при этой игре, которая происходила на квартире хана, Хаджи Мурат почувствовал величайшее презрение к русским. Он видел, что дело, ради которого он приехал и которое не могло не быть важным и для русских, потому что вопрос был в том, останется ли главная сила Дагестана — Авария в дружбе с русскими или будет врагом их, что дело это никого не занимало, а занимало офицера и других, которых он привозил с собой, то, чтобы развратить добродушного, здорового, глуповатого хана и обобрать его, сколько возможно.

Когда хан проиграл все свои деньги, с ним стали играть на его оружие, на кинжал, шашку. И офицеры выиграли у него отцовский, золотом оправленный кинжал и увезли с собой.

Хаджи Мурат ещё раз ходил ко дворцу, и один от хана, и ответ был один: что главнокомандующий примет меры. На десятый день их пребывания в Тифлисе Хаджи Мурат объявил хану, что им надо ехать домой, и, несмотря на нежелание расслабевшего хана, увёз его домой. Денег у хана больше не было. И так кончилась эта несчастная поездка в Тифлис» (Сергеенко А. «Хаджи-Мурат». Неизданные тексты // Литературное наследство. М., 1939. Том 35/36. Л.Н. Толстой. I. С. 554 – 555).



Хаджи-Мурат за игрой в шахматы.  
Рисунок Г. Г. Гагарина, сделанный с натуры в Тифлисе.  
30 января 1852 г.

А в одной из черновых версий повести, именно в пятой её редакции, написанной в январе 1898 года, Толстой делает истоком ненависти Хаджи-Мурата в отношении русских впечатления детства: от зрелища унижайшейшей экзекуции горцев — кстати, не выдуманной писателем, а почерпнутой в её жутких подробностях из книги А. Л. Зиссермана «25 лет на Кавказе». Хаджи-Мурату в этом отрывке 10 лет, и он с матерью своей, Патимат, отправился в гости к деду своему, по матери, Мухамед-хану, в горский аул Гоцатль. Страшным контрастом со святой жизнью угрюмого деда стали впечатления от увиденного мальчиком во всей мерзости «русского мира»:

«Русские тогда только что начинали завоёвывать Кавказ. Турецкий султан уступил русским все народы Кавказа. Народы же Кавказа никогда не повиновались султану (они только почитали его) и считали себя свободными и были свободны. Русские пришли и стали требовать покорность горцев русскому царю» (*Сергеенко А. Указ соч. С. 529*).

В отличие от молодого волонтёра в рассказе «Набег» и от молодого же его автора, Толстой-христианин и старец не сомневается в неправоте, преступности в таком культурном диалоге именно Империи. Вот отрывок из черновика, рассказа о жизни Хаджи-Мурата, 1902 г.:

«Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами. Происходило то, что или под предлогом защиты своих, тогда как нападение всегда вызвано обидами сильного соседа, под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живёт несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или ещё под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодейства над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними.

Так это было на Кавказе, когда, под предлогом чумы, в 1806 году жителям запрещалось выходить из аулов и тех, кто нарушал это запрещение, засекали насмерть. Так это было, когда для того, чтобы отличиться или забрать добычу, русские военные начальники вторгались в мирные земли, разоряли аулы их, убивали сотни людей, насиловали женщин, угоняли тысячи голов скота и потом обвиняли горцев за их нападения на русские владения.

[...] Но мало того, что считались полезными и законными всякого рода злодейства, столь же полезными и законными считались всякого рода коварства, подлости, шпионства, умышленное поселение раздора между кавказскими ханами. Русские начальники не только



говорили, но и думали, что они этим способом умиротворят край. В действительности же такой образ действий заставлял горцев всё больше и больше сплачиваться между собой и подчиняться отдельным лицам, которые призывали их к защите их свободы и отмщению за все совершаемые русскими злодеяния» (Там же. С. 561).

Пока формировалось и искало мощных, как Кази-Мулла и как Шамиль, вождей движение мюридизма, сопротивления рашизму — русскому агрессивному имперству — горцы непокорного Дагестана сопротивлялись, как могли, разрозненно, отдельными аулами:

«Случилось в это время, что рота русских зашла далеко от других войск в горы. Горцы узнали про это, напали на эту роту и всю истребили её: которых убили, которых увели в плен. Когда русский главнокомандующий узнал про это, он послал два батальона в аулы и велел выдать главных виновников, угрожая, в противном случае, сжечь аулы и истребить всех жителей». Горцы поступили по-своему, выдав, по жребию, 16 человек «аманатов», добровольно согласившихся на казнь, на смерть. Но умереть с честью русское мундированное дрянцо, конечно же, им не дало, а заготовило совершенно иное. В утро расправы с окрестных аулов был согнан народ, невольные зрители — в числе которых были дед Хаджи-Мурата и он сам.

Вот что увидал Хаджи Мурат:

«С 4-х сторон стояли в несколько рядов бритые люди в белых куртках с ремнями через плечи и с ружьями с штыками. Это были солдаты; их было столько, что нельзя было сосчитать. Между ними ходили люди без ружей, с одними тонкими, длинными кинжалами — это были офицеры. Впереди рядов было несколько десятков людей с пёстрыми барабанами. В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстёгнутый, в чёрных штанах и белом бешмете с золотыми наплечниками. Вокруг него стояло несколько человек, таких же, как он, начальников и солдат. Это был генерал, начальник. Один из солдат подал ему, на длинном чубуке, трубку. Толстый, краснолицый, с запухшими глазами начальник взял трубку, и в то же мгновение загремело что-то. Это ударили барабаны. И как только ударили барабаны, одна сторона солдат расступилась и между солдат ввели 16 человек. Хаджи Мурат перечёл их. Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой, редкой бородой». Барабаны смолкли, и один из палачей, по-русски и по-татарски, прочитал пленникам приговор. «И как только он кончил, в одно и то же мгновение поднялся стон в горском народе, и начальнику с заплаканными глазами подали трубку и опять загремела дробь барабанов.

[...] С первого, статного, тонкого, широкоплечего рыжего человека лет 40, два солдата сняли черкеску, потом бешмет. Солдаты хотели снять рубаху, но горец не дался им и, отстранившись от них, сам разорвал на себе рубаху и стряхнул её с себя, так же стряхнул с себя и штаны и остался голый. Когда солдаты взяли его за руки, чтобы привязать их к ружью, руки эти дрожали и тонкий стан его рванулся назад. Начальник с брюхом и заплавленными глазами что-то сказал, и солдаты одной стороны составили ружья в козлы и, выйдя из рядов, стали подходить к арбе, на которой были палки, и, разобрав их, выстроились улицей от одного ряда солдат до другого. Хаджи Мурат только мельком видел движения солдат. Он не спускал быстрых глаз с начальника и обнажённого человека. Он видел связь между ними. Начальник что-то крикнул, и два солдата повели обнажённого человека за ружья, к которым он был привязан, в улицу, составленную из солдат с палками.

Первый солдат улицы взмахнул палкой и ударил ею по белой спине горца. Горец вздрогнул, — так же вздрогнул и Хаджи Мурат, — и оглянулся. И не успел он оглянуться в одну сторону, как на белую спину упал удар с другой стороны и на белой спине ясно выступили красные, перекрещивающиеся полосы. С запухшими глазами начальник выпускал через усы дым трубки, а солдаты тянули обнажённого, иногда упирающегося человека вдоль солдат, и удары, один за другим, ложились на бывшую прежде белой, теперь красную спину, только руки были белы и шея до того места, где она загорела.

Сначала горец молчал, но, когда его поворотили назад и провели уже более чем через 200 ударов, он странно завизжал, и визг его пронзительный, не переставая, выделялся из-за грохота барабанов. Дед Хаджи Мурата, не переставая, шептал беззубым ртом молитву. Хаджи Мурат дрожал, как в лихорадке, и переступал, не переставая, с ноги на ногу...

Первого водили до тех пор, пока со вспухшей, как резаное мясо, спины сочилась по обоим бокам кровь и горец, всё ослабевая и ослабевая, упал наконец. Его немного протащили, но начальник подошёл, что-то поговорил. Барабаны замолкли, и солдаты положили избитого горца на носилки и вынесли за ряды. Страшный визг поднялся в толпе, как только затихли барабаны, и женщины, жена и мать избитого, окружённые толпою, кинулись к избитому.

Вслед за этим два солдата подошли к красавцу с маленькой бородкой лезгину в жёлтой черкеске, и стали раздевать его. Солдат кузнец стал снимать с него ножные кандалы. Но не успел он снять их, как лезгин вырвал их у него из рук, взмахнул ими над головой солдата, и солдат не успел отклониться, как цепь с замком размозжила ему

голову. Солдаты, стоявшие около, взяли ружья на руку и двинулись к лезгину, угрожая ему штыками; но он, как будто только и ждал этого, сам схватил ружьё за дуло, бросился на штык и воткнул его себе в грудь ниже левого ребра и запел.

Солдат выдернул ружьё, поток чёрной крови хлынул из раны. Лезгин развёл руки, постоял так с минуту и упал навзничь.

[...] Умиряющего вынесли за ряды. Опять ударили барабаны, и так же, как первого рыжего, раздели старика, привязали к ружьям и повели по рядам. Старик шёл молча и закрыв глаза, и только вздрагивал при каждом ударе.

[...] Начальник с брюхом и заплывшими глазами всё сидел и курил трубку, которую ему подавали солдаты. Хаджи Мурат дольше не мог видеть и убежал домой» (*Там же. С. 529 – 532*).

Среди выживших, переживших в Украине современную её оккупацию руснёй, подпутинскими свинособаками, наверняка найдутся в скором будущем свидетели, мемуаристы и писатели, которые расскажут миру подробности не менее, а куда более страшные.

По биографической версии 1902 года, дед Хаджи-Мурата собирал у себя мюридов, и юный отрок знал к 11-ти годам про необходимость священной войны с русскими. После зрелища экзекуции горцев «он весь дрожал от злобы и желания заставить русских свиней страдать так же, как они заставили страдать его единоверцев. С этой поры намерение Хаджи Мурата бежать в горы к мюридам [...] уже не могло быть более откладываемо» (*Там же. С. 552*).

В финальном варианте повести этого повествования, об истязании мусульман русской нечистью, свиноподобным начальником и его рабами, конечно же, нет: слишком не стыковались реалистичное повествование и естественное отвращение ребёнка к виденному, оставившему неизгладимое впечатление, с позднейшими, взрослого Хаджи-Мурата, эпизодами службы русским и почтения к властной элите — «сардарям» России. (Оно, это отвращение, как мы знаем, «откочевало» в другое произведение Толстого, рассказ 1903 г. «После бала».) Русские в финальном варианте чаще именуются собаками, нежели свиньями: и то, и другое, разумеется, по заслугам, и недаром защитники Украины в 2022 году, не делая выбора в сортах говна, назвали путинских оккупантов «свинособаками»!

Между тем, самый главный из имперских «сардарей», император Николай Павлович, каким весьма реалистично изобразил его в главе

XV повести Толстой — явно не из тех, кому мог бы, узнай его поближе, согласиться добровольно служить нравственно чистый, как детёныш перед Господом, человек Хаджи-Мурат.

Вот светлейший князь Александр Иванович Чернышёв, военный министр, 1 января 1852 года едет в отстроенный, для новых грехов, после великого очистительного, предрождественского пожара 1837 г. царский Зимний дворец — с докладом от Воронцова, из Тифлиса, о «выходе» к русским Хаджи-Мурата:

«Чернышёв не любил Воронцова и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышёв всё-таки *parvenu* [*фр.* выскочка], главное за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышёв пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышёву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что, по небрежности начальства, был горцами почти весь истреблён небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышёву только потому, что в это утро 1-го января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышёва, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышёва и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что, благодаря дурному расположению духа Николая, Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время» (35, 64 – 65).

В двух абзацах — полная картина того порочного устройства жизни, христиански осуждённого Толстым, при котором судьбу человека может решать интрига, случайность или настроение «сильных мира». Обращает внимание упоминание Толстым об одной из мрачных легенд, связанных с именем князя А. И. Чернышёва: его

«стараниями» на следствии по делу декабристов однофамилец его, Захар Григорьевич Чернышёв (1797 – 1862) был, с лишением прав состояния, приговорён к четырём годам каторги, а после неё — бессрочному поселению. Многие современники были уверены, что за приговором скрывалась интрига светлейшего князя. Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин писал в воспоминаниях:

«Граф Чернышёв, отданный под суд, содержась в крепости и ни разу не быв призван в <Следственный> комитет, даже не получив ни одного письменного запроса, был приговорён в каторжную работу. Он со временем должен был получить в наследство довольно значительный майорат, установленный в их роде. Граф Чернышёв был единственный сын, и после лишения его всех прав и состояния мужская линия прекратилась в их семействе, и генерал Чернышёв, так усердно действовавший в комитете, воспользовался таким обстоятельством, предъявил свои требования на получение майората. Сенат, по рассмотрении этого дела, нашёл, что требования генерала Чернышёва не были основаны ни на малейшем праве...» (*Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 110 – 111*).

Но благородный однофамилец-декабрист уже был приговорён, и был оставлен на каторге!

То есть, Николай I сознательно держит при себе людишек подлых, но полезных! Сколь нравственно ниже это существо «варвара» Шамиля, с гадливостью «пожалевшего» Юсуфа, сына Хаджи-Мурата, предавшего отца и заискивавшего перед ним — заменив смертную казнь позорным ослеплением, «как он делает всем изменникам!» (35, 90).

«Хром» Николай Павлович и на блудливую ножку, отнюдь не стесняя себя обязательствами супруга. Толстой описывает одно из бессчётных «угощений» Николая в этом роде:

«Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства ещё, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девушка эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провёл с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лёг на узкую, жёсткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, пол-

ные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек» (*Там же. С. 68*).

В новогоднее утро император помолился и вышел на прогулку — оказавшуюся не столь усладительной, как вечерний блуд:

«Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчёркнуто-выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! Ваше Императорское Величество.

— Молодец!

Ученик всё стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, Ваше Императорское Величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошёл дальше...» (*Там же. С. 68 – 69*).

Вот этот-то честный ответ будущего правоведа и испортил, в числе более давних воспоминаний, настроение императору перед встречей со своим военным министром. Сама встреча описана Толстым в ярких сатирических и обличительных красках:

«Первого он принял Чернышёва. Чернышёв тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышёва, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышёва было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников...

[...] Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.



**Николай I.**

Рис. Е. Лансере. 1912.

(В 1917 г. рисунок подвергался запрещению цензурой)

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он. Чернышёв тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, Ваше Величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив её на левую сторону стола. [...]

— Ну, что ещё? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышёв и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышёв.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он признавал, что их не было.

[...] Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный

плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубке лесов и истребления продовольствия тоже себе. [...] Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышёв.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз и, когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанёс ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им. [...] Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нём расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай»*, подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.



Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул её Чернышёву. — Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышёв прочёл и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

“Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем”, подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семёновичу?

— Твёрдо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семёнович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышёв и, встав, стал откланиваться» (*Там же*. С. 69 – 73).

«Николая Палкина» Толстой художник и Толстой-публицист относил к прямым и непосредственным виновникам военных преступлений, совершавшихся не только на Кавказе, но и в Польше, Венгрии, на бесчисленных учениях, смотрах, где засекались тысячи солдат. Царь олицетворял собой самые характерные черты самодержавного деспотизма. В дневнике писателя периода работы над «Хаджи-Муратом» можно найти такую запись: «Деспотизм производит войну и война поддерживает деспотизм. Те, которые хотят бороться с войной, должны бороться только с деспотизмом» (55, 45).

Назвав Николая I очевидным виновником казни Рылеева, Пестеля и других декабристов, виновником издевательств над поляками, Толстой говорит об императоре как о безбожном и жестоком существе, уверенном в своей рыцарской правдивости и честности, в том, что он, император, является мудрым правителем и благодетелем своего народа. Царь считает самым нужным и для себя, и для России

«не университеты, не журналы, не статьи, не науки, не учёных и поэтов и не просвещение, а дисциплину». «Из наук была только одна нужная наука, — подчёркивает Толстой, — наука военная, а из искусств весёлая музыка: марши, рыси и водевили» (35, 536).

В рукописных вариантах повести европейскому деспоту противопоставлен азиатский деспот — Шамиль, который, как и Николай I, единолично вершит судьбами подвластного ему народа.

Подчёркивая личную виновность императора Николая в самых крупных военных преступлениях его эпохи, Толстой одновременно ставит вопрос: «Но он ли один был виновен в этом?» Тут же следует недвусмысленный ответ: «Но стоит вспомнить про его жизнь, про его прошедшее, детство, молодость, для того, чтобы убедиться, что он не мог быть иным, как такой, какой он был. Вся жизнь Николая была приготовление к тому, что он сделался тем странным, ужасным существом, с извращёнными до такой степени умом и сердцем, что в нём не осталось ничего человеческого» (35, 549).

Перечисляя ряд русских монархов, правивших от Петра I до Николая, Толстой пишет: «Разве лучше был... лживый, сластолюбивый, жестокий фарисей, его “благословенный” брат, отцеубийца, посредством Аракчеева забивавший насмерть тысячи людей и говоривший, что он уложит трупами дорогу от Чудова до Петербурга, прежде чем согласится отступить от нелепой мысли военных поселений?.. Таковы же были все те распутные, глупые и безграмотные бабы, бабы и девки, которые царствовали до него. Таков же был... собственноручно для забавы рубивший головы стрельцам... Пётр, который представляется образцом для всех последующих царей» (35, 549 – 550). Личности российских монархов интересуют Толстого в различных аспектах, и, за малым исключением, ни в одной стороне их жизни и деятельности он не находит ни добра, ни простоты, ни правды.

Писатель снова подтверждает свой вывод: «И таков был Николай Палкин. Он и не мог быть иным. Вся жизнь его была приготовлением к этому» (35, 554).

Этих размышлений нет в окончательном тексте. Они, без сомнения, нарушили бы эпически «объективный» тон повествования, «холодность описания» — приём, использованный Толстым и в «Хаджи-Мурате».

Раздумья писателя над природой и последствиями деспотической власти вошли позднее в публицистическую статью «Единое на потребу» (с подзаголовком «О государственной власти»), начатую в конце 1903 года и оконченную в разгар русско-японской войны в апреле 1905 года. Деграция имперской России, политическая и

религиозно-нравственная, будет отнесена им к прямым причинам очередной разгоревшейся бойни.

В последнем варианте повести имеется другое. Тут на материале кавказской войны средствами искусства показаны последствия деспотического правления, механика практического осуществления николаевских военных предначертаний. Изображены также исполнители высочайшей воли, начиная от Чернышёва и Воронцова и кончая солдатами и офицерами, руками которых претворяются в жизнь принципы николаевской доктрины, предписывающей разорение жилищ горцев, уничтожение их продовольствия, проведение карательных экспедиций. Всем представителям этой многоступенчатой иерархии функционеров свойственно нечто общее: рабье послушание, безропотная, механическая исполнительность, нравственная тупость. Бесчеловечный смысл того дела, которому они служат, обесцвечивает и утилизирует их личности, внутренне выхолощивает их, превращая в бездумных и бездушных фанатиков-насильников.

Зловещая сущность деяний таких, например, верных слуг государя, как майор Петров, командир роты Бутлер и других, прикрыта внешне привлекательным камуфляжем. В облике майора читателю бросаются в глаза прежде всего добродушие, приветливость, компанейская общительность. Бодростью, спокойствием, весёлостью веет от всей фигуры Бутлера, переведённого из Петербурга на Кавказ. Молодой офицер радуется всему, что видит вокруг себя: отступлению горцев из аула, молодецкому виду своих солдат, их ухарской песне «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!», с которой отряд возвращается в крепость после удачного набега. Таков же и майор Петров, ближайший начальник Бутлера. Оба русских кацапа, палача просто-таки наслаждаются обществом друг друга:

«Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он <Бутлер> забыл теперь и про своё разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — всё это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах погибает углы и понтирует, ненавидя банкомёта и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов кавказцев.

“То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!” — пели его песенники. Лошадь его весёлым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый, серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело.

Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды и уважение и здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать своё поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошёл мимо трупов, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и тёмно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться» (35, 79).

Эти радование жизнью и легкомыслие молодых людей, справедливые, законные во всяких нормальных для человека условиях, подале от армии, войны и военщины — особенно омерзительны в день варварского набега русских на мирный горский аул. Но Толстой-писатель, реалист, в таких случаях не знает пощады к чувствам читателя... Всё тем же внешне «холодным», бесстрастным языком, увеличивающим мощь воздействия на читателя, Толстой повествует о том, что, после прихода в крепость, как и предвидел майор Петров, его жена накормила офицеров «сытым, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошёл к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошёл в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под курчавую светлую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания» (35, 80).

Сон разума рождает чудовищ... Как раз за этой идиллически мирной сценой в повести следует знаменитое описание аула, в исполнение «высочайшей» воли царя Николая Павловича разорённого солдатами добродушного Петрова и спящего «сном без сновидений» красавца Бутлера. Показаны страшные результаты их «трудов»:

«Аул, разорённый набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провёл ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьёй в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезён мёртвым к мечети

на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей её старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушёл с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишнёвые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчёлами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены ещё два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал её.

Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями всё с такими трудами заведённое и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю по слов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного» (35, 80 – 81)

Безумный «стратег» имп. Николай I, рядом черт напоминающий современного кремлёвского вора и палача В. В. Путина, достигнул, таким образом, целей, противоположных желаемым им: жестокостью разорения аулов он спланировал горское население в противостоянии Империи — под знамёна Шамиля! Так точно и Путин, воюя с Украиной, декларативно, ради уничтожения угрозы для России со стороны НАТО — «гениально» за 2022 – 2023 гг. усилил и приблизил этот

военный блок к своим же границам! Украина, как разрушенный Империей горский аул, защитит и восстановит себя, краше прежнего — а вот грешникам суждено гибнуть, гибнуть, гибнуть от собственного их, грешников, зла! Amen.

Думается, описание главы XVII – й «Хаджи-Мурата» могло бы служить иллюстрацией, нарисованной рукой писателя-христианина, к утверждениям тех апологетов войны, которые, подобно Мольтке, Ницше, Вогюэ, толковали, как мы помним, о божественности, святости войны и призывали войти в её какой-то там «дворец». Толстой, верный сполна своей севастопольской *правде*, не только вводит читателя в «дворец войны» и показывает её несвятой лик, но и создаёт картину, отмеченную изумительной выразительностью и соразмерностью деталей, целостностью общего впечатления.

Прямую связь это описание имеет и к естественному в наши дни отношению граждан Украины к участникам российской агрессии. Речь даже не о ненависти к военному противнику, а о гадливом отращении, *моральной тошноте* от «диалога культур»: контрактных либо мобилизованных выблядков «русского мира», совершивших в 2022 году дичайшие, запредельно бесчеловечные преступления в дни, когда надеялись на лёгкую оккупацию Украины и гнусную победу — и граждан этого маленького, прекрасного, юного европейского государства, стремящегося, чтобы спасти *лучшее* в себе, и культурно, и политически отделить себя от обречённой бывшей метрополии давно издохшей Империи.

Нечто схожее запечатлевает нам и XVII – я глава «Хаджи-Мурата». Немало, разумеется, и различий: тот же Бутлер, например — всё же человек XIX столетия и своего, благородного и благовоспитанного, дворянского круга. Вряд ли его можно вообразить в роли насильника над женщиной или мародёра — как те оккупанты, кто в 2022 – 2023 годах вывозили из Украины не только краденые в чужих домах стиральные машинки и унитазы, но и обращённых ими, палачами, в сирот детей!

И всё же и Бутлер — хоть и своего изящного века, а такой же палач... и палач самый страшный и самый распространённый в «русском мире»: легкомысленный, часто и вовсе бездумный и без нравственного «якоря» в сознании — судя по тем огромным проигрышам в карты, которые он позволил себе, один из которых привёл его на Кавказ, а второй, под носом у Воронцова-старшего, совершён был прямо на службе... Вряд ли такое поведение «друга» одобрил бы, разобравшись в этой личности, Хаджи-Мурат. Своеобразной «копией» Бутлера в повести является Хан-Магома, легкомысленный и

неумный нукер Хаджи-Мурата. Антипод же Бутлера в повести, ощущимо — безвинная и беспомощная жертва войны, крестьянин по жизни и солдат поневоле Авдеев.

Безусловно, ваяя этот великолепный образ имперского «героя», единственной жертвы нелепой стычки рубщиков леса с горцами, Толстой вспоминал не только кавказский свой опыт, отразившийся в ранних повестях — «Набеге» и «Рубке леса», но и своего же Платона Каратаева, так же добровольного солдата из крестьянской семьи, и, быть может, такого же «добровольца поневоле», но из жизни ренальной — солдата Шабунина, расстрелянного в 1866 году по приговору военно-полевого суда, за которого Толстой, с ничтожным своим юридическим опытом, неудачно пытался вступить и спасти его.

Все они — и памятные Толстому из 1851 – 1853 гг. кавказские солдаты, и злосчастный Шабунин из 1866-го — умирали по Христу: без страха, смиренно, со свечой (как Авдеев в повести), с молитвой на устах, или, как Шабунин, грамотный ротный писарь — читая накануне расстрела Евангелие...

Казалось бы, смерть «варвара» Хаджи-Мурата совсем не похожа на то, как умирали русские солдаты, военные рабы тёти «родины»... но всегда не всё так просто у Толстого!

Хаджи-Мурат долгое время не знает ничего об уничтожении руснёй дружественного ему аула. Не знает до конца и об участии в этом деле Бутлера — которого, живя вынужденно под одной крышей с русскими, приближает к себе, делает своим «кунаком», другом: «...много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать» (35, 85). Если памятовать, что Хаджи-Мурат доверился Бутлеру, как другу — его роль в повести вполне сближается с ролью Иуды по отношению к Христу. «Друг» Бутлер, увлекаясь культурой, фольклором чеченцев и изображая по внешности такового — всё тот же, чуждый, хотя и хитрый, выщенок Империи... Судьба уберегла Хаджи-Мурата от того, чтобы узнать, до *какой* степени!

Но и без того «диалог культур», в котором он вынужденно участвует, вызывает в Хаджи-Мурате нарастающее отвращение. Он терпит русских не столько из-за единственного среди них, и то мнимого, друга, сколько ради надежды выручить у Шамиля, с их помощью, свою семью. Но «рабы Государевы», «благородная», служилая русня меж тем просто-напросто выполняет распоряжения «сверху», от военного министра и царя — и не собирается «держатъ слова», выполнять данных «дикому горцу» изуствных обещаний. И Хаджи-Мурат, оскорблённый в лучших человеческих чувствах, убедившись,

кстати, именно в собачьей (преданность царю!) сущности «русских собак» — уходит от них. Собаки, именно как собаки — оравой преследуют его с его «мюридами» (товарищами по оружию) и оравой же, в сотни против шестерых, с подлым страхом и огромным трудом, с потерями в своей поганой стае, уничтожают его...

Загнанный в угол предательством, которого, по наивности своего чистого сознания, не мог предвидеть, а более всего — спровоцированный естественным культурным, *моральным отвращением*, Хаджи-Мурат убивает русских солдат и, наконец, погибает и сам, до последней минуты цепляясь за жизнь... Как трофей, как высшую степень торжества демонстрировал офицер Каменев его отрубленную голову, «развозил по всем укреплениям, аулам, показывал» (35, 109). Толстой описывал эту «страшную» человеческую голову, и теперь, кажется, его не смущал, как когда-то в «Набеге», откровенный натурализм этой картины: жестокость в людях надо лечить горькими лекарствами. Но, как и в рукописях первого военного рассказа, вдруг пронзительной нотой начинала звучать тема детства: на мёртвом лице Хаджи-Мурата, «несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение» (Там же). Характерный штрих, который Толстой неоднократно подчёркивал в его живом портрете. «Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.





— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он». «Сильно выпивший» Иван Матвеевич «пьяными глазами долго смотрел» на голову.

«— А всё-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую. [...] Нет, дай я его поцелую. Он мне пашку подарил, — кричал Иван Матвеевич» (*Там же. С. 109 – 110*). Даже простой казак, для которого Хаджи-Мурат не был ни знакомым, ни собеседником, видимо, чем-то смущён: он «положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула». И только Марья Дмитриевна, единственная женщина в этой сцене, назвала вещи своим именем: «Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё» (*35, 110*).

«Живорезы» в устах доброй Марьи Дмитриевны — синоним для «кацапов»: мясников, живодёров, палачей...

Масштаб и системная организованность *ничего* не оправдывают. Никакая *война* не может и не должна оправдать *убийство*! В финальной версии повести, безусловно, превалирует именно такой, антивоенный, посыл — несмотря на то, что ещё в версии 1901 года, переработанной из черновых 1896 г., автор развивает «романтическую» линию влюблённости Марьи Дмитриевны в прекрасного аварца, и именно с этим чувством связывает напрямую её огорчение и досаду его жестоким убийством:

«Она часто вспоминала и говорила о нём, и Иван Матвеевич смеялся ей и при других, что она влюблена в Хаджи Мурата, и Марья Дмитриевна смеялась и краснела, когда это говорилось. Увидала она это лицо через месяц при следующих условиях». Следует схожее описание визита офицера Каменева. В мешке, как думает Марья Дмитриевна, гостинец для неё, арбузик — но это оказывается совсем не арбузик:

«Марья Дмитриевна посмотрела, узнала Хаджи Мурата и, ничего не сказав, повернулась и ушла к себе. Когда Иван Матвеевич вернулся, он застал Марью Дмитриевну в спальне. Она сидела у окна и смотрела перед собой.

— Маша! Где ты? Пойдём же, Каменева надо уложить. Слышала радость?

— Радость! Мерзкая ваша вся служба, все вы живорезы. Терпеть не могу. Не хочу, не хочу. Уеду к мамаше. Живорезы, разбойники.

— Да ведь ты знаешь, он бежать хотел. Убил человек пятнадцать.

— Не хочу жить с вами, уеду.

— Положим, что он глупо сделал, что показал тебе. Но всё-таки печалиться-то тут не об чем.

Но Марья Дмитриевна не слушала мужа и разбранила его, а потом расплакалась. [...]

— Он добрый был. Вы говорите — “разбойник”. А я говорю добрый. И наверное знаю, и мне очень, очень жаль его. И гадкая, гадкая, скверная ваша вся служба.

— Да что же велишь делать, по головке их гладить?

— Уж я не знаю, только мерзкая ваша служба, и я уеду.

И действительно, как ни неприятно это было Ивану Матвеевичу, он, не прошло года, как вышел в отставку и уехал в Россию» (35, 294).

У этого варианта, кстати сказать, особая история — многое объясняющая. В Дневнике Толстого под 19 марта 1901 г. значится: «За всё это время ничего не писал, кроме обращения к царю и его помощникам, и кое-какие изменения, и всё скверные, в «Хаджи Мурате», за которого взялся не по желанию!» (54, 90).

Слова «взялся не по желанию» объясняются следующим образом: Софья Андреевна Толстая, жена писателя, состоя попечительницей одного московского детского приюта, устраивала благотворительный вечер. Для большего успеха ей хотелось включить в программу концерта художественное чтение чего-либо неопубликованного из писаний своего мужа. Толстой обычно отклонял такие просьбы, но на этот раз уступил. И до такой степени, что в текст ощутимо вкрались пацифистские и даже феминистские элементы: жена влияет на отношение мужа к военной службе — и так основательно, мощно, что тот уходит в отставку! Конечно же, угодив супруге, Толстой из позднейших вариантов повести клюкву сию начисто вымарал!

Жизнелюбивые и детские черты в художественном образе Хаджи-Мурата в повести Толстого имеют одним из источников воспоминания писателя о поездках летом 1871 г. на кумыс, в селение Каралык Самарской губернии, к башкирам. Его шурин Степан Андреевич Берс, сопровождавший его, вспоминал:

«На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец Хаджи-Мурат, а русские его звали Михайлом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались ещё смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперёд, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал: “боль-

шой думать надо”. Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и мы долго потом вспоминали его ещё в Ясной Поляне» (*Берс С. А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. С. 54*).

«Думать надо», «подумать надо об этом» — несколько раз говорят в повести Хаджи-Мурат и другие горцы, тем самым отсылая нас к другому, исторически почти неизвестному, но очень хорошему человеку, тѣзке великого аварца.



Смерть Хаджи-Мурата.  
Иллюстрация Е. Лансере.

Важно то, что Хаджи-Мурат мучим не так, как умоляющий о милосердии татарин в рассказе «После бала». Он даже и гибнет — возлюбленным до конца фаворитом автора, Льва Николаевича, так и сохранившим, помимо неприятия своего войны, почтительное отношение к храбрости на войне. Гибнет в прелестный весенний день

(исторически это — 23 апреля (5 мая) 1852 года), под пение соловьёв и на хлебном поле... то есть, на рисовом, конечно, но ведь рис для многих народов Земли — тот же хлеб. И гибнет он подготовленным к страданиям и смерти, не молящим поганый «русский мир» о пощаде, как экзекуцируемый татарин («Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали...». — 34, 123), а так же, предав себя Богу, как был готов к смерти и как погиб Иисус Христос. Не напрасно, не случайно во дни очередного периода напряжённой работы над повестью, в Дневнике Толстого, среди записей на 23 сентября 1902 г., находим и такую:

«Говорят о том, что христианство есть учение слабости. Хорошо то учение слабости, основатель которого погиб мучеником на кресте, не изменяя себе, и которое насчитывает миллионы мучеников, единственных людей, смело смотревших в глаза злу и восстававших против него. И евреи, казнившие Христа, и теперешние государственники знают, какое это учение слабости и боятся его одного более всех революционеров. Они чутьём видят, что это — учение, под корень и верно разрушающее всё то устройство, на котором они держатся. Упрекать в слабости христианство всё равно, что на войне упрекать в слабости то войско, которое не идёт с кулаками на врага, а под огнём неприятеля, не отвечая ему, строит батареи и ставит на них пушки, которые наверное разобьют врага» (54, 139).

Православная, лжехристианская русня, служки дрянного своего царя, предадут Хаджи-Мурата — вполне единосуцно предательству Иудой Христа. И они же гнусно, пёсией сворой, добивают его... Один из убийц, хорошо читателю известный по характеристике, данной выше, майор Петраков, погибает сам, и Толстой, снова без жалости к читателю, сообщает об этом кратко, вот так:

«Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к нему, и он, как рыба, всхлипывая, умирал» (35, 113).

Не так, как истекал в Небеса кровью князь Андрей Болконский, и не так, как (в легенде Толстого), гибнет Хаджи-Мурат: схватишись смертно за дерево, будто желая раствориться в природе, в Божьем мире — в Боге, в Котором живёт мир, Который — все мы, когда мирно и вместе... Даже не как Праскухин в «Севастополе в мае» — к смерти которого Толстой так же заставляет приглядеться читателя, как в случае со всеми «любимцами» из персонажей. Как животное? Даже и не это...

Как обречённая рыба — выловленная из среды своей жизни.

Вспоминается то значение, которое имела для Толстого в эти годы книга Петра Хельчицкого «Сеть веры», которую Толстой прочёл не по единственному изданию 1893 г., где текст Хельчицкого был дан в *изложении*, а в первоначальных, бесцензурных корректурных листах, добытых для него из хранилищ Академии наук усилиями Н. Н. Страхова. Важнейшая мысль Петра Хельчицкого такова, что Христос-«рыбак» уловил словом Истины и удержал в «сетях» нового учения жизни, спас — лишь немногих. Сперва «сильные мира», элиты языческого и еврейского обществ, прорвали сеть и ушли — а вослед им, на погибель себе, ушли от Христа в мирское рабство и простецы. Так и храброго майора Петракова мир «уловил» в свои сети — и, радостного, легкомысленного, вдруг подвёл к смерти, и убил, но, будто смилившись под конец — не граблею такой же русской свинособаки, а дланью одного из покорных Всевышнему праведников и героев.

Именно *мужество* Христа и Хаджи-Мурата, *уверенно*, с верой живой, с преданностью Богу смотревших в глаза своих убийц, бесценна для Толстого-христианина, духовного воина... Как раз в дни писания сцены убиения аварского героя он получил письмо от очередного, ещё готовящегося к отказу от службы, призывника. Некто Николай Вениаминович Ченцов в письме от 20 сентября 1902 г. сообщил яснополянцу о своих колебаниях, вызванных предстоявшим призывом на военную службу. Как и многим другим до него, Толстой в ответном письме от 26 сентября посоветовал Ченцову не спешить с отказом — именно по причине нестойкости его веры. Надо приучить себя поступать только перед Богом и не загадывать о последствиях, об умозрительном будущем:

«Сознание преступности участия в убийстве может быть так сильно, что вы будете чувствовать невозможность согласиться на такое участие. Если же есть сомнение, колебание, то лучше поступить в солдаты, чем по одному рассуждению отказаться от военной службы и потом раскаяться в своём хорошем поступке. Такое раскаяние хуже всего. Оно извращает всё мировоззрение человека. И потому мой совет: если вы *можете* поступить на военную службу, поступайте.

[...] Представьте себе, что вы через сутки наверно умрёте, и спросите себя, что бы вы сделали в таких условиях: огорчите ли родителей своим отказом от военной службы, или, несмотря на огорчение родителей, всё-таки откажетесь.

И то, что вы решите в таких условиях, то и будет лучшим решением. Кроме того, советую вам помнить слова, сказанные Христом ученикам, когда он послал их: «И не думайте о том, что вы будете говорить,

когда вас поведут к судьям и правителям, дух Божий будет говорить в вас”. Надо только, чтобы дух Божий жил в нас. Надо разжигать его в себе. И тогда он, этот дух, скажет то, что должно» (73, 302 – 303).

Один из символов Христа — терние, терновый венец. И такой же “колючий” символ, стойкий репей на хлебном поле, напомнивший о Хаджи-Мурате старому офицеру Толстому, Толстому-духовному воину 1890 – 1900-х годов, обрамляет повествование о Хаджи-Мурате.



Сволочь тётя «родина», «родное» государство, знает, падла, чем тебя закрючить — чтобы ты оказался в войске, а то и на преступной войне... Надо быть, как репей, как поругаемый Иисус, как равнодушный к сладостям и прелестям развратного «русского мира» воин Хаджи-Мурат... Даже и без его физических сил. Но с упованием на Бога:

«Только деятельное, нравственное, духовное, глубокое и религиозное сознание придаёт жизни всё её достоинство и энергию. Оно делает неуязвимым и непобедимым. Землю можно победить только именем Неба.

[...] Только тогда бываешь сильнее всего, когда вполне бескорыстен, и мир у ног того, кого он не может обольстить.

Почему? Потому что дух властвует над материей, и мир принадлежит Богу.

“Мужайтесь, — сказал небесный голос, — Я победил мир”.

Боже, дай силы слабым, желающим доброго!» (42, 134).

В критике подчас можно встретить упрёк в адрес Толстого в том, что писатель в угоду своей нравственно-философской концепции истолковывает изображаемые в повести события и поведение своих героев в морально-этическом плане, упуская при этом социально-политический аспект (См. Родионов Н. Предисловие к кн.: Толстой Л. Н.. Полн. собр. соч. 35. С. VIII). Упрёк этот нельзя признать обоснованным. Говоря о политике, Толстой никогда не забывает о морали. Всё дело как раз в том и состоит, что он не отделяет мораль от политики. «Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире, – это отделение политической науки от нравственной» — это изречение П.-Б. Шелли было среди любимых у Толстого. Какова мораль общества, такова и политика его властных элит. Не наоборот. В повести нравственной высоте облика Хаджи-Мурата, естественности и простоте жизненного уклада горцев-тружеников писатель противопоставил никчёмность образа жизни представителей русского воинства — майора Петрова, Бутлера, генерала Козловского — с таким неотъемлемым атрибутом их служебного быта, как карты, кутежи, водка. Тем самым писатель не только оправдал и благословил антиколонизаторскую войну горских народов за свободу и независимость, но и осудил экспансионистскую политику русского царизма. Особое осуждение у писателя вызывает насильственный характер этой политики, а также главный инструмент её осуществления — царская армия, которую русское самодержавие на рубеже XIX – XX веков, т. е. в тот период, когда Толстой работал над своей повестью, начало усиленно готовить для новых военных авантюр.

Повесть «Хаджи-Мурат» — не только “лебединая песнь” Толстого-художника, но и вершина антивоенной мысли Льва Николаевича, в её выражении именно в художественном тексте. Мы видим, что Толстой, просветившись чистой, первоначальной верою Христа, избавился от иллюзий юности и молодости: от желаний оправдать и освятить вооружённое системное, военное насилие, совершавшееся в разное время казённо-имперской его родиной. То же самое искание правды, последование правде, заявленное в Севастопольском цикле — привело писателя к правдивой картине состояния российской армии, не утратившей актуальности и для нашего времени. Современный нам публицист А. Г. Невзоров пишет следующее: «Армия, совершающая глобальное, коллективное преступление- становится армией подонков и живёт по подонским правилам» (<https://t.me/nevzorovtv/8591>). И это всё — о том же, хотя захваты

земель, убийства и уничтожение природных богатств и инфраструктуры цивилизации совершаются в наши дни бандитами из России не на Кавказе, куда многие из них сунуться бы засрали, а в Украине. Но это всё — о том же... Метко и по-толстовски безжалостно!

«Хаджи-Мурат» — антивоенное художественное завещание Толстого всем нам. Повесть практически исчерпывает тему отношения Толстого к войне, выраженного именно в художественных текстах, и мы завершим её анализом маленькую, но самостоятельную — по уважению к достоинству персонажа, которому посвящена — предпоследнюю Главу нашей книги.

**ЗДЕСЬ КОНЕЦ И ОДИННАДЦАТОЙ ГЛАВЕ**





Глава Двенадцатая.  
**СТАРЧЕСТВО:**  
**«СКАЗАТЬ НА ПРОЩАНИЕ...»**  
(*Конец 1890-х – 1910 гг.*)

Закончилось представление читателю главного антивоенного художественного сочинения Льва Николаевича Толстого позднего жизненного периода — повести «Хаджи-Мурат». Но в годы работы над ней продолжал звучать и голос Толстого-публициста и христианского проповедника. Условные хронологические рамки данной главы — от Гаагской конференции 1899 года, о которой на этих страницах было довольно сказано, до Стокгольмской 1909 года, в которой старец Лев намеревался принять активное участие. В эти временные рамки вошло несколько достойных внимания сюжетов, о которых мы и расскажем читателю в завершающей основной текст книги Главе Двенадцатой.

На рубеже веков Толстой оставался верующим христианином. Он всё меньше интересовался городскими, самообманными игрищами, которые устраивали не слишком понимавшие его, настоящие и мнимые, «союзники»: пацифисты, анархисты, деятели либеральной и революционной оппозиции, но всё так же прислушивался к известиям об одиночных и групповых отказах от обязательной военной службы по вере и совести. Как и прежде (например, как было в случае с Ван дер Веером), сам акт отказа для писателя и публициста был важнее одинаковости воззрений. Та самая «правильная храбрость», за отысканием которого, влекомым мирской ложью, отправился молодой Лев на Кавказ — нашлась через десятки лет старцем во Христе, в письмах отказников и известиях о них.

И всё же диалог продолжался — со всеми, кто хоть и не весьма основательно, но искренне выражал Льву Николаевичу своё единомыслие. Остановимся ниже лишь на некоторых образцах таких диалогов.

**12. 1. КРУГ ОБЩЕНИЯ, ЖИВОЙ И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ:  
АВТОРЫ КНИГ, ДРУЗЬЯ, ЕДИНОВЕРЦЫ, ОТКАЗНИКИ...**

Круг знакомств Льва Николаевича, прежних и новых, условия и содержание общения, tête-à-tête и эпистолярного, в немалой степени были связаны именно с продолжающимся служением отче Льва как христианина Слову Божьей правды-Истины в обличение системно организованных людьми мира насилий, принуждений — включая насилие военное и принуждение к военной службе. Огромную лепту вносили здесь и субъективные пристрастия: склонность Толстого приукрашивать в своих представлениях, идеализировать личность собеседника, адресата или гостя, а тем более — служащего ему с искренним усердием единомышленника и друга, первейшим из которых с отдалённого уже 1883 года стал Владимир Григорьевич Чертков. На этой личности сходились не только линии общения с многими другими близкими людьми, но и интересы Толстого-писателя и Толстого-христианского исповедника, служителя Истины. Так, например, в письме около 17 марта к В. Г. Черткову Толстой упоминает беседу с «богатым лицом» (по предположению исследователей, с купцом и меценатом К. Т. Солдатенковым) о том, «как устроить за границей печатный орган, в котором печатались бы все дурные дела, совершаемые русским правительством»: «Я сказал, что обличение зла есть одно из проявлений христианской деятельности и что если бы лицо это и не желало вполне служить своими средствами делу религиозному, люди наших верований могли бы вести такую обличительную газету...» (88, 84). Толстой обсуждал с Чертковым в письмах такое бесцензурное книгоиздание, радуясь за сосланного глупым российским правительством за границу — в виде наказания! — друга и за себя. Из письма Черткову от 2 февраля 1898 г.:

«Знаю, какая это радость: точно из темноты и духоты выглянуть на свет и простор. Я же в обратном положении теперь — на низу волны. Вот этим хорошо единение, чтобы поднимать друг друга» (*Там же. С. 76 – 77*).

Толстого радостно духовно “подняла” тогда новая антивоенная статья В. Г. Черткова «Мир, мир... тогда как нет мира», критикующая деятельность международных пацифистских организаций — Толстой называет статью в этом письме «прекрасной» (*Там же. С. 77*).

«Прекрасного» в эпигонских опусах Черткова откровенно не много. Он цитирует антивоенные книги и статьи Толстого, но одновре-

менно, в угоду новым помощникам и друзьям, английским социалистам и революционным эмигрантам из России, прибегает к несколько несвойственной Толстому фразеологии. Вот пример:

«Только тогда, когда сознание народов дорастёт до признания преимущества нравственного блага над материальным, и когда они перестанут оружием отстаивать свои интересы, — только тогда может прекратиться и усиление их вооружений. И прекратится оно, не вследствие конференций между *правящими классами* о том, как бы поэкономичнее для государственной казны готовить людей убивать друг друга; а только вследствие того, что *рабочие массы*, составляющие ядро всякого войска, поймут наконец, какую глупую и скверную роль они играют, и просто-напросто откажутся учиться, по приказанию *господ*, резать своих братьев-людей» (*Чертков В. Мир! Мир!.. тогда как нет мира // Листки «Свободного слова». 1899. № 6. С. 10. Выделения в тексте наши. — Р. А.*).

Столь же неоригинальны и взятые у Толстого выводы публициста — впрочем, и преследующие только цель напоминания европейским читателям об Истине веры и о положении, по отношению к ней, в лжехристианском мире, а не оригинальности:

«...О теперешние блестящие манифестации в пользу мира, не будучи в состоянии привести ни к чему доброму, вместе с тем приносят большой вред не только в частности русскому царю и русскому народу, но и, вообще, делу мира и благу всего человечества, отсрочивая на более или менее продолжительное время окончательное признание людьми назревающей в их сознании истины о незаконности военной службы вообще. Я не могу не видеть, что, отвлекая внимание людей в ложную сторону и придавая фальшивый лоск добродетели одному из величайших зол нашего времени, производимая агитация тем самым укрепляет это зло, способствуя тому, что вместо благотворного стремления к полному воздержанию от него, люди с облегчённой совестью продолжают в нём участвовать, воображая при этом, что они наилучшим образом ему противодействуют.

Зло войны может на самом деле исчезнуть только тогда, когда, решившись безусловно воздержаться от всякого в нём участия, мы направим свои усилия к действительному осуществлению любви и согласия во всех своих взаимных отношениях, вместо того, чтобы

жить как теперь, поедая друг друга даже в пределах нашей собственной страны, — вместе с тем восторгаясь своими прекрасными рассуждениями о всеобщем мире» (Там же. С. 19).

Замечательно в этом же номере «Листков “Свободного слова”» письмо анархистки Элизабет Пикард с возражениями в адрес уже известного нашему читателю журналиста и публициста Уильяма Томаса Стэда. Стэд издавал в Англии антивоенный журнал с очень, очень толстовским названием «War against War» («Война войне»), но, не желая, вероятно, терять денежки и иную поддержку влиятельных подписчиков, вопреки известному ему мнению Толстого, превозносил до небес конференции мира и иные подобные пацифистские посиделки, и резко критиковал как одиночек отказников от военной службы, так и проповедь Льва Николаевича о непротивлении. Почти забытая в наши дни Элизабет Пикард, никогда и не встречавшаяся с Толстым, не видевшая, но вдумчиво прочитавшая его христианские писания, оказалась ближе Льву Николаевичу давнишнего его посетителя и знакомца. Вот что она отвечала Стэду в открытом письме (к сожалению, не датированном в перепечатке его «Листками» Черткова):

«Милостивый Государь,

Мне кажется, что Вы правы, утверждая, что в деле непротивления злу насилем нельзя логически остановиться на полпути. Но, стараясь высмеять заповедь *"не противься злу"*, Вы как будто забываете или не видите, что в ней, на самом деле, заключается единственное средство для побеждения зла. Человек, становящийся на эту почву непротивления злу злом, приобретает поддержку самых могущественных жизненных сил. Он сливается с высшей любовью; истина служит ему защитой; и смерть теряет для него свой ужас.

Когда Иисус отправлял семьдесят своих учеников проповедывать Царство Божие, то он было прежде всего велел им отказаться от всяких средств самозащиты, посылая их как "агнцов среди волков", и сказал им, "что ничто не повредит им".

Когда для самого Иисуса настало время встретить смерть, он в точности исполнил то, чему учил, объясняя при этом, что Царство его не от мира сего: "Если бы от мира сего было царство моё, то служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан Иудеям".

Позвольте мне, в виду всего этого, спросить вас, каким образом можете вы говорить о себе, как о человеке, желающем следовать примеру Христа, и вместе с тем прославлять "величие британского флота"? Возможно ли более вопиющее противоречие?

Критикуя Толстого, вы утверждаете, что, если б его принципы получили всеобщее распространение, то "общество" было бы разрушено, и порядок стал бы невозможен. Почему же так? Современный общественный порядок, называемый "государством", основанный на грубом насилии, несомненно разрушился бы; и хаос, господствующий теперь в более или менее скрытом виде, стал бы более явным; но среди его выросло бы настоящее общество, образовался бы настоящий порядок, который нельзя было бы разрушить, потому что он был бы "основан на камне".

Вы хвастаетесь тем, что можете обнаружить непоследовательность квакеров, и мне, как принадлежащей к их числу, стыдно за них. Существуют однако такие сторонники мира, непоследовательность которых вы не в состоянии обнаружить и привлечь которых к участию в вашей агитации вы не имеете возможности, так как вы только стараетесь применяться к обстоятельствам, а не служить добру, ради добра.

Вы всуе призываете имя Князя Мира и тем самым предаёте и унижаете как его самого, так и его учение» *(Там же. С. 23 – 24).*

Прекрасно сказано! И всё-таки специфика европейских условий отдаляла многих, даже близких и многолетних единомышленников Толстого, от него — разводя по лагерям социализма, анархизма, мистицизма, атеизма, пацифизма... К последнему, как мы помним, сердечно и пожизненно принадлежала великолепная и пассионарная фрау Берта фон Зуттнер, знакомая Толстому по настойчивым письмам к нему и не дававшая ему забыть о себе ни в конце 1890-х, ни позднее. В письмах её 1898 – 1900 гг. мы находим сообщения о деятельности сторонников мира, возмущённый отклик на скандальное дело Дрейфуса, печатные обращения-протесты по поводу англо-бурской войны... По письмам видно, что фрау внимательно следила за всем, что сообщалось в печати о её кумире из России.

Берта фон Зуттнер восторженно приняла известие о том, что от имени русского царя было опубликовано послание, призывавшее правительства всех стран на мирную конференцию. Она тотчас же

(4 сентября 1898 года) написала Толстому, ожидая от него положительного отклика на «манифест царя». Мы помним, что Толстой расценивал царский манифест и весь шум вокруг последовавшей за ним Гаагской конференции как обман и лицемерие. Но Зуттнер наивно полагала, что Николай II чуть ли не проникся духом антимилитаристских писаний Толстого, что правители и культурные элиты разных стран могли бы многое сделать для всеобщего мира. Особенно её взволновало сообщение английской газеты «Daily Mail» от 17 января 1899 года о том, что царь, проезжая через Тулу, пожелал якобы встретиться с Толстым, обнимал его и спрашивал мнение о манифесте. Толстой не отвечал на настойчивые просьбы Берты Зуттнер высказать своё отношение к «русской инициативе», подтвердить газетные толки о встрече с царём.

Наконец, в письме 2 (14) августа 1901 г. Зуттнер выразила «огромную и искреннюю» радость о выздоровлении Толстого и сочувствие в связи с «безобразным эпизодом отлучения» (Цит. по: Травушкин Н.С. Берта Зуттнер — корреспондент Л. Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 150). Толстой ответил 15 (28) августа очень обстоятельным письмом, которое было не только знаком учтивости, выражением благодарности за сочувствие, но в нём излагались и взгляды Толстого на вопросы, волновавшие австрийскую писательницу. При этом, обратим внимание, деликатно намекает, что баронесса — невнятная дура, которой не поможет и повторение прежде сказанного. Перевод с французского оригинала:

«Дорогая баронесса,

Очень вам благодарен за ваше доброе письмо. Мне было чрезвычайно приятно узнать, что вы сохраняете обо мне хорошее воспоминание.

Рискуя надоесть вам повторением того, что я говорил много раз в своих писаниях и о чём, мне кажется, я вам писал, не могу воздержаться, чтобы не сказать вам ещё раз, что чем дольше я живу и чем больше думаю над вопросом о войне, тем больше я убеждаюсь, что единственное решение вопроса — это отказ граждан быть солдатами. До тех пор пока каждый человек в возрасте 20, 21 года будет отказываться от своей религии — не только от христианства, но и от заповедей Моисея: *не убий*, и пока будет обещать убивать всех тех,

кого ему прикажет убить его начальник, даже своих братьев и родителей, как говорит при всяком случае этот болтливый и жестокий идиот, называемый германским императором, — до тех пор не прекратится война и будет становиться всё более и более жестокой, — такой, какой она делается в наше время.

Для того, чтобы не было войны, не надо ни конференций, ни обществ мира, а нужно только одно: восстановление истинной религии и, как следствие этого, восстановление достоинства человека.

Если бы самая малая часть энергии, которая тратится сейчас на статьи и на речи на конференциях и в обществах мира, употреблялась бы в школах и среди народа на уничтожение ложной религии и на распространение истинной, — войны скоро стали бы невозможными.

Ваша превосходная книга произвела огромное действие в смысле внушения ужаса к войне. Теперь следовало бы показать людям, что они сами производят всё зло войны, повинясь людям больше, чем Богу. Позволяю себе посоветовать вам посвятить себя этой работе, которая представляет единственное средство достигнуть той цели, которую вы преследуете.

Прося вас извинить меня за смелость, которую я беру на себя, прошу вас, сударыня, принять уверения в совершенном почтении и уважении» (73, 125 – 126).

Сама фон Зуттнер по-прежнему видела в отказе от военной службы единоверцев Льва Николаевича во Христе, а также сектантов: духоборов, менонитов, назареев — лишь один из возможных путей борьбы против войны, и не самый важный. Она предпочитала путь массовой пропаганды через печать, конгрессы и общества мира. Этой теме она посвятила свой новый роман «Дети Марты» (1902) (в русском переводе он был издан под названием «В цепях»). Это было продолжение романа «Долой оружие!»; здесь показано, как сын Марты Тиллинг Рудольф Доцкий вступает на поприще борьбы против милитаризма и войны.

Конечно же, графоманка от пацифизма (или пацифистка в среде графоманов?) не преминула помянуть в своей книжице и Льва Толстого. В дневнике Марты, простоватой и ограниченной, как сама баронесса фон Зуттнер (кстати, по замыслу автора, это автобиографический персонаж) читаем:

«С давних пор книги играли в моей жизни роль событий. Как подействовали на меня, в моей юности, Бокль и Дарвин, и, ещё недавно, Толстой своим произведением „Царство Божие в вас“! Такие книги были в моих глазах не простыми научными и литературными явлениями, — это были факелы, внезапно загорающиеся и освещающие тёмную область, а держат их в руках люди, у которых душа светится...» (Фон-Зутнер, Б. В цепях. СПб., 1904. С. 106).

В другом месте рассказывается, что Рудольф, потерпев неудачу с основанием газеты и с избранием в палату, намерен организовать общество мира, обратиться к единомышленникам в разных странах: «В России... Туда я напишу Толстому. Кто создал такое произведение, как „Война и мир“, должен быть врагом насилия» (Там же. С. 77 – 78).

Неудовлетворённость фрау Берты последним к ней письмом Толстого, содержащим легко понятный намёк, что она дура, вылилась в полемику с ним в романе. На вопрос фрау Марты, можно ли считать указанное Толстым средство борьбы против войны единственным, друг её отвечает: «Я вообще не верю в единственные средства. Такое на тысячу ладов переплетённое, давно укоренившееся явление, как война, должно быть также на тысячу ладов атаковано с разных сторон, чтобы оно, наконец, поддалось, отступило...» (*Die Waffen nieder! Eine Lebensgeschichte. Von Bertha von Suttner. Fortsetzung: Martha's Kinder. Dresden, 1902. S. 34*).

Примечательно, что в русском издании заботами цензуры не оказалось ни отрывка из письма Толстого, ни последующего его обсуждения.

Сами эти возражения — довольно глупый пример несистемного, хотя и романтического, суждения о системном состоянии общества. Чтобы что-то негативное прервать в системе — надо, как раз, упорно повторять разрушительные удары по одной или немногим выбранным точкам. А «на тысячу ладов», «со всех сторон» можно заигрывать, комариными укусами, с милитаризмом хоть вечно! Вероятно, в этой бесконечной игре, успокаивающей интеллигентскую подленькую совесть, но не отводящей от народов угрозу новых войн, и заинтересованы, вплоть до наших дней, поколения городских либералов и пацифистов — сознательных пользователей, с детских лет, приятностей и выгод цивилизации, неотторжимой от организованного насилия людей над природой и друг над другом, необходимого для её поддержания и развития.



Всё же, несмотря на все глупость и малохудожественность, роман «Дети Марты» удостоился запрещения к ввозу в Россию Комитетом цензуры иностранной в августе 1902 года. В мотивировке запрещения сказано: «Герой этого нового романа известной проповедницы идеи мира ставит своей задачей не только борьбу против милитаризма, но и переустройство всех общественных отношений в духе христианства, проповедуемого Эгиди, Толстым и др. Один из виднейших представителей австрийской аристократии, он добровольно отказывается от майората, чтобы быть свободным от всяких обязательств к обществу, к которому он принадлежит, и принимается за проведение своих идей посредством печатного и устного слова. Корнем всего зла на земле он признаёт насилие, на котором, вопреки евангельским заветам, зиждется весь современный общественный строй. В то же время он, верный своим идеалам, осуждает революцию, признавая единственным путём к достижению евангельских идеалов на Земле проведение в сознание человечества истинных понятий о свободе и справедливости. На стр. 401 приведено также письмо графа Толстого, в котором он излагает средства к избавлению от милитаризма, а именно — отказ всех отбывать воинскую повинность...». Во всём этом цензура усматривала «явную враждебность к существующему ныне строю» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. С. 151*).

После такого запрещения оригинала не мог без труда пройти через цензуру и русский перевод. Всё же роман «Дети Марты» дважды выходил в России (в 1903 году — в издании М. М. Ключкина, в 1904 году — в издании О. Н. Поповой). Письмо Толстого и любые упоминания о нём в обоих изданиях отсутствуют.

Следующий эпизод эпистолярного общения Льва Николаевича Толстого с австрийской своей мнимой единомышленницей относится уже к 1907 году. В 1907 году Берта фон Зуттнер возобновила прерванное ею на несколько лет участие в журнале сторонников мира «Die Friedenswarte». Политизированность её приобретает более чёткие прогерманские очертания — будучи направлена теперь не менее яростно против царской России, как ранее против Франции. В хронике событий, которую она вела в журнале, немало места уделяется сообщениям из России, тоном и содержанием сближающимся с агитацией революционной российской эмиграции: множатся очерки о «народной революционной борьбе», о «преступлениях царизма» и

под. Конечно, фрау Берта в курсе, что ближайший друг яснополянца Владимир Чертков, издававший бесцензурно книги Толстого, использовал знакомства, средства и типографские ресурсы подобных агитаторов — и надеялась поэтому на одобрение самого Толстого к её новому, обличающему Россию, поприщу. В публикациях она не гнушалась апеллировать к имени Льва Николаевича. Но требовалось его, хотя бы какое-то, но одобрение... 28 сентября (10 октября) 1907 г. Берта фон Зуттнер уж в который раз “забросила удочку” по своего кумира в России, написав ему такое послание:

«Дорогой и великий учитель.

Я только что прочла вашу статью «Не убий». Увы, вот уже шесть тысяч лет, как не могут понять этой простой заповеди. Однако, слова таких людей, как вы, слова убедительные и настойчивые, не могут не проникать в человеческие умы. Помните ли вы меня хоть немного, дорогой учитель? Взгляните на подпись и вспомните мой призыв “Долой оружие”, который, к сожалению, не дошёл до слуха многих. Я продолжаю и теперь писать книги, статьи и т. п. Изредка меня подкрепляют сочувствие и понимание. Чувствую, что торжество правды приближается. Хочу выпустить один номер “La Paix” (иллюстрированным), в котором будут помещены статьи наших великих современников, тех, кто ведёт за собой человечество. Напишите или продиктуйте, пожалуйста, хоть несколько строчек для этого номера. Очень прошу вас об этом. Форма безразлична. Пусть это будет просто ответом на моё письмо. Я часто думаю о вас, особенно за последние годы, которые принесли столько тяжёлых бедствий вашей стране; я думаю о том, что должны были вы пережить» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 607*).

Это было последнее из писем Берты Зуттнер Толстому. На него русский писатель ответил очень убеждённо, обстоятельно, но... снова *на другом языке*, нежели тот, на котором могла и хотела говорить с ним немецкая политически активная баронесса. Он воспроизвёл для неё в письме своё понимание совершившейся в России внешней революции — как пролога к революции «истинной», духовной: в религиозно-нравственном руководстве жизнью, в религиозном непонимании большинства. Вот это письмо, ответ Берте фон Зуттнер от 7 (20) октября 1907 г. (перевод с французского):

«Милостивая государыня,

Чем старше я становлюсь, тем более убеждаюсь, что в деле, которому вы служите, час торжества постепенно приближается. Русская революция есть лишь частичное и дурное проявление великой внутренней всеобщей революции, которая происходит в идеях, руководящих христианским миром. Я чувствую приближение этой великой революции, которая должна будет совершенно переменить правительства у народов, а также их внешние отношения. Перемена эта естественно предполагает упразднение или, вернее, невозможность не только войны, но и всякого вида насилия. Если у меня будет время и возможность написать что-либо достойное появления в вашем сборнике, то я с удовольствием пошлю это вам.

Примите, милостивая государыня, уверения в моём совершенном уважении.

Лев Толстой» (77, 216).

«Выжать» хоть что-то, желанное ею, политически тенденциозное, из такого письма фрау Берта не могла — как бы ей ни хотелось. Всё же, сообщая в ноябре 1907 года о преступлениях карателей в Одессе, о погромах, чёрных сотнях и т. п., писательница с горечью говорит: «Напрасно взывает Толстой в последней своей брошюре „Не убий“. Как видно, пройдёт ещё немало времени, пока будут услышаны эти уже шесть тысячелетий безответно звучащие слова. В качестве мирового закона — а так они мыслились от Моисея до Толстого — они ещё совершенно неведомы всем практикам от политики» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. С. 151*).

Это последнее из писем Толстого к Берте Зуттнер нашло место (как, впрочем, и самое первое) в «Мемуарах» писательницы, завершённых ею к июлю 1908 года.

Наконец, в архиве Л. Н. Толстого хранится ещё телеграмма Берты Зуттнер из Вены от 2 сентября 1909 года: «Если приедете в Берлин, не сможете ли также приехать в Вену» (*Цит. по: Травушкин Н.С. Указ соч. С. 152*). Присылка этой телеграммы связана с тем, что в европейской печати сообщалось о возможности приезда Толстого с докладом, подготовленным для Стокгольмского (XVIII) международного конгресса мира. По всей вероятности, Берта фон Зуттнер предполагала воспользоваться случаем и организовать выступления Льва

Николаевича в Вене. Как известно, Толстой на этот конгресс соби-  
рался, но намерение это не осуществилось, как и поездка в Берлин  
для чтений, а доклад Толстого, в силу его радикальности, на кон-  
грессе зачитан не был. Подробнее на этом сюжете мы остановимся  
немногим позднее.

Ни о каком более глубоком понимании баронессой фон Зуттнер ре-  
лигиозности Л. Н. Толстого, по крайней мере, до конца его жизни, не  
приходится говорить. Тому подтверждение — высказывания её в  
дни траура по великому писателю. Они опубликованы на страницах  
«Die Friedenswarte» и вошли затем в книгу публицистики Берты Зут-  
тнер.

«Толстого нет! — писала она. — В нём все мы, борцы за мир, в том  
числе и те из нас, которым его радикальные требования и предло-  
женные им пути кажутся неосуществимыми, чтим верховнослужи-  
теля идеи мира. Заповедь „Не убий” никто, как он, не сумел понять  
во всей её силе и простоте, никто, как он, не защищал её. Однако  
жизнь, труд, смерть этого замечательного человека не есть предмет,  
который можно „комментировать”. Множество томов, целые библио-  
теки исследований будут созданы, и сам дух Толстого будет жить и  
оказывать своё действие вплоть до отдалённого будущего» (Там же.  
С. 153).

Далее писательница говорит, что со смертью Толстого, учителя жи-  
вой, современной этики (каким она его воспринимает), ещё ярче об-  
наруживается раскол мира на два лагеря. Есть друзья мира, есть и  
недрузи. В русской думе, в немецком и австрийском рейхстагах  
люди свободомыслящие и социалисты предложили отдать дань ува-  
жения Толстому как провозвестнику мира и любви к человечеству,  
а «истинно русские люди», клерикалы, реакционеры выступили про-  
тив или вынуждены были молчать. Писательница с горечью отме-  
чает, что в австрийском рейхстаге не решились официально почтить  
славную память Толстого, тогда как это было сделано почти во всех  
парламентах мира (Там же).

«Лагеря» третьего, недогматических, свободных христиан, к кото-  
рому истинной принадлежал Лев Николаевич, Берта фон Зуттнер с  
её пацифистствующими единомышленниками, конечно же, презри-  
тельно «не заметила».

Приведём, по хронологии, примеры ещё нескольких «антивоенных» диалогов Льва Николаевича с современниками.

В начале февраля 1900 г. Толстой ответил письмом из Москвы Организационному комитету десятого международного мирного конгресса, проходившего в Париже, на такой же точно Всемирной выставке, как та, 1889 года, воспетая самым блистательным и остроумнейшим Мельхиором де Вогиюэ, самое устройство которой, не говоря уже об особом военном отделе, Вогиюэ признал свидетельством роковой неизбежности войн.

Обустроенную территорию выставки использовали, в период её работы, разнообразные общественные голодранцы, преимущественно интеллигентских кругов, закатывавшие на ней свои тематические посиделки. Отчего бы, до кучи, и не пацифисты? А им бы — Толстого, Толстого заполучить... для солидности. И вот 23 января (5 февраля) Оргкомитет пацифистского сборища шлёт Толстому, до кучи с другими потребными знаменитостями, циркулярное приглашение такого содержания:

«Организационным комитетом десятого международного мирного конгресса на нас возложена приятная обязанность просить Вас принять участие в Попечительном комитете конгресса. Как Вы, быть может, уже знаете, этот Конгресс будет иметь место в Париже, во дворце Конгрессов всемирной выставки с 30 сентября по 5 октября 1900 года. Проведение этой манифестации в пользу мира в конце Выставки будет до некоторой степени венчанием и логическим завершением праздника Труда и Мира, на который Париж сзывает весь мир. Очень важно, следовательно, чтобы мы сделали его возможно внушительнее по количеству и значительности делегатов всех наций, принимающих участие в выставке. Исходя из этой мысли, Организационный комитет решил поставить его под покровительство лиц, оказавших наиболее крупные заслуги идее мира. В надежде, что Вы согласитесь оказать нам поддержку Вашим именем, мы просим Вас, милостивый государь, принять уверение в нашем почтительнейшем уважении» (*Цит. по: 72, 298*).

Как и в ряде подобных ситуаций, пригласителей погубил *циркулярный* характер приглашения. Один и тот же текст был отправлен

весьма разным людям — в том числе и умным, не тщеславным, домоседам, как Толстой. Отказ последнего был предрешён (перевод с французского):

«Милостивая государыня,

Несмотря на моё искреннее желание принять участие в деле, которому вы служите, болезнь, от которой я недавно стал оправляться, не позволяет мне утомлять себя дальним путешествием и участвовать в заседаниях Конгресса.

Из своего уединения, где мне хочется закончить предпринятую работу, шлю пожелания, чтобы Всемирный конгресс 1900 г. двинул вперёд идею братства и мира» (*Там же. С. 297*).

Это не было отговоркой: Толстой болел и периодически чувствовал себя нехорошо ещё с ноября. Куда интереснее обращение его в ответ на циркулярный официоз, в французском оригинале письма: «Madame». Откуда узнал Толстой, что рассылку приглашений устроила именно «мадам», и кто она — осталось загадкой для исследователей. Как, кстати сказать, и факт отправки окончательной версии письма: до нас дошёл лишь черновик, не содержащий никаких ни редакторских, ни секретарских пояснений.

Значительно более повезло обращению к Толстому, от 1 (12) июля того же 1900 года, итальянца, студента-юриста из Мессины (Сицилия), уроженца Франции, *Жана Батиста Коко* (Jean Baptiste Cocco). Тому нужно было от Толстого нечто значительно скромнейшее и легко осуществимое (пер. с французского):

«Граф,

Я хотел бы на родном мне языке выразить вам чувства благоговейной любви, так как только родной язык позволяет слову быть светочем души, точно так же, как душа является светочем божественной мысли. Граф, я живу, думая о благе человечества, я не склоняюсь ни перед могуществом силы, ни перед бесплодным блеском чванного богатства, и я проникся большой любовью к вам, посвятившему себя изучению вопроса всеобщего мира, вопроса, составляющего славу и

страдание уходящего столетия!! Вы так удивительно учите нас проводить в жизнь тот божественный закон социальной солидарности, который отдаёт богатство на служение нищете, науку на служение невежеству. Ваши писания являются неустанным протестом против того антиобщественного эгоизма, который именуется войной. Честь и слава вам! Счастлив удел тех, которые, как вы [...] достойны повторения божественных строк Мильтона: “Гори же всё более ярким и умиротворяющим блеском, внутреннее пламя души моей!”. А затем, прежде чем кончить письмо, я прошу вас об одной милости. Могу ли я на неё надеяться? Я убеждён, что вопрос всеобщего мира не может быть разрешён монархами Европы, а лишь при помощи всеобщего плебисцита, ибо “голос народа — голос Божий”. Но прежде, чем распространять эту мысль, я хотел бы услышать ваше мудрое мнение. [...] Граф, если вы, по вашей доброте, согласитесь удовлетворить моё горячее желание, это доставит мне большую радость, если же нет, то я прошу вас простить меня, ибо мною руководит лишь великая любовь к человечеству» (*Цит. по: 72, 420*).

Вряд ли бы Толстой почтил визитом Италию, пригласи его такой же пылкий юноша даже возглавить какой-нибудь Организационный комитет такого плебисцита. Но тут требовалось не многое: моральная поддержка, слово от безусловного авторитета... И Толстой не отказывает в нём Коко, ответив 12 августа из Ясной Поляны следующим (перевод):

«Всем сердцем одобряю идею плебисцита против войны. Я работаю изо всех моих сил над тем, чтобы результат всемирного плебисцита мог бы быть благоприятен для всеобщего мира» (*Там же*).

Здесь нам важна установка писателя и публициста на продолжение антивоенной темы: «работаю изо всех сил». К сожалению, в последующие годы свои коррективы в эту решимость внесут болезни и личные, семейные драмы в жизни Льва Николаевича.

В следующем, 1901-м, году уже тяжело болеющий Толстой отвечает 9 сентября на анкету, присланную ему парижским журналистом с итальянской фамилией, Пьетро Маццини (Мадзини). Особенно приятно, по всей вероятности, Толстому было вспомнить свою блистательную критику франко-русского союза, отношение к которому у него явно не изменилось к лучшему.

Приводим ниже, с огромным удовольствием, весь текст ответного письма Льва Николаевича (перевод с французского):

«Милостивый государь,

Мой ответ на ваш первый вопрос о том, *что думает русский народ о франко-русском союзе?* — следующий:

Русский народ, настоящий народ, не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза; но если бы даже он знал об этом союзе, я уверен, что так как все народы для него одинаково безразличны, то его здравый смысл, а также его чувство человечности указали бы ему, что этот исключительный союз с одним народом, предпочтительный перед всяким другим, не может иметь иной цели, как ту, чтобы вовлечь его во вражду, а, быть может, и в войны с другими народами, и потому союз этот был бы ему в высшей степени неприятен.

На вопрос: *разделяет ли русский народ восторги французского народа?* — я думаю, что могу ответить, что не только русский народ не разделяет этого восторга (если этот энтузиазм существует на самом деле, в чём я сильно сомневаюсь), но если бы народ знал обо всём, что делается и говорится во Франции по поводу этого союза, то он испытал бы скорее чувство недоверия и антипатии к тому народу, который без всякого разумного основания начинает вдруг проявлять к нему внезапную и исключительную любовь.

Относительно вопроса: *каково значение этого союза для цивилизации вообще?* — думаю, я в праве предположить, что так как союз этот не может иметь другой цели, кроме войны, направленной против других народов, то влияние его не может не быть зловредным. Что касается значения этого союза для обоих национальностей, заключающих его, то ясно, что как в прошлом, так и в будущем он был и будет огромным злом для обоих народов. Французское правительство, пресса и вся та часть французского общества, которая восхваляет этот союз, уже пошли и будут принуждены идти дальше на ещё большие уступки и компромиссы против традиций свободного и гуманного народа для того, чтобы сделать вид или на самом деле быть согласными в намерениях и чувствах с правительством, наиболее деспотичным, отсталым и жестоким во всей Европе. И это было и будет большим ущербом для Франции. Между тем, в отношении России этот союз уже имел и будет иметь, если он продолжится, влияние ещё более пагубное. Со времени этого злополучного союза русское правительство, некогда стыдившееся мнения Европы и считавшееся с ним, теперь уже более не заботится о нём; чувствуя за собой



поддержку этой странной дружбы со стороны народа, считающегося наиболее цивилизованным в мире, оно шествует теперь, высоко подняв голову, среди своих друзей французов под звуки Марсельезы и раболепного гимна *Боже царя храни* (которые должны быть очень удивлены тем, что очутились рядом) и становится с каждым днём всё более реакционным, деспотичным и жестоким.

Так что этот странный и несчастный союз не может иметь, по моему мнению, другого влияния, кроме самого отрицательного, на благосостояние обоих народов, так же как и на цивилизацию вообще.

Примите, милостивый государь, уверения в моих лучших чувствах. Лев Толстой» (73, 138 – 139).

Даже как-то досадно становится, что какой-нибудь французский журналист не прислал Толстому такой анкеты тогда, в 1893-м, накануне напряжённой его работы над пространной статьёй «Христианство и патриотизм», направленной как раз против франко-русского военного союза. Вполне вероятно, что широкое распространение в европейской печати ответа Толстого избавило бы его от необходимости тратить огромные силы и время на это сочинение. И через полные восемь лет он мог только повторить главное, прежде сказанное в этой статье...

Безусловно, Толстой идеализирует здесь состояние сознания «настоящего народа» в России, его степень независимости от деструктивной военно-патриотической и иной пропаганды. Как будто не наступил ещё XX-й век, и на дворе не ранняя осень 1901-го, а всё то же, блаженной памяти, лето 1886 года, когда Толстой с поддержкой своего же бывшего ученика в яснополянской школе Прокофия Власова заставил опешить агитатора войны Поля Деруледа. О чём позднее, как мы помним, с удовольствием рассказал в главах VII и VIII статьи «Христианство и патриотизм». Жизнь между тем, с той поры, изломала обоих: и учителя, и ученика. А скорые события русско-японской войны уже совершенно красноречиво подтвердят Толстому его ошибку. По мере того, как возрастала чистота физическая, плотская, чистота сознания, как и половая, и прочая моральная — увы! с каждым годом уменьшались в «просвещавшемся» газетами и агитаторами народе. И только в сознании Толстого-христианина идеал нравственной и вероисповедной чистоты был неколебим.

Это пространное, но очень интересное письмо было перепечатано тогда же рядом иностранных газет — и, конечно же, замолчано в

России. В переводе на русский язык оно смогло быть напечатано в 1901 году только в бесцензурном, выходящем за границу, «Свободном слове» Владимира Черткова.

21 января 1902 г. Лев Николаевич получил письмо из Парижа от замечательного друга семьи, посетителя дома Толстых, выдающейся певицы Марии Николаевны Муромцевой (урожд. Климентова; 1857 – 1946). Светское письмо, само по себе малоинтересное, содержало, персонально для Льва Николаевича, вырезку из газеты «Le Matin» («Утро») от 16 (29) января 1902 г., с корреспонденцией из города Безансона под заглавием «Le cannonnier gréviste» [«Забастовавший канонир»] подробно сообщается о состоявшемся 28 января н. с. 1902 года в гор. Безансоне заседании военного суда седьмого артиллерийского корпуса по делу канонира девятой батареи в Бельфорте Фредерика Жозефа Граслена (Grasselin Frédéric Joseph).

Простой французский крестьянин из провинции Жироманьи, округа Бельфорта, Граслен, будучи призван в ноябре 1901 года на военную службу, отказался, основываясь на христианском учении, «повиноваться» и исполнять воинские обязанности. На суде между прочим выяснилось, что одним из любимейших его писателей был Толстой. Суд приговорил Граслена к двум годам заключения в военной тюрьме.

Доктор *Лев Бернардович Бертенсон* (1850 – 1929), навестивший в тот день Толстого, получил возможность ознакомиться с заметкой.

Из воспоминаний Бертенсона:



Номер газеты «Le Matin» с заметкой о суде над Грасленом.

«Гр. Софья Андреевна, по поручению Л. Н., передала мне для прочтения № парижской газеты «*Matin*», с отчётом о судебном процессе одного французского солдата, который, веруя в основанное на заповеди “Не убий” учение Толстого, отказался от несения воинской службы и от повиновения своему начальству и за это был приговорён к двум годам тяжёлого тюремного заключения.

Я тотчас же, конечно, прочёл газету, и когда вернулся, как было условлено, к Л. Н., для производства медицинского исследования, он спросил меня: — Прочли «*Matin*»? Не правда ли, ужасно?! А каково мне сознавать себя виновником сурового и несправедливого приговора?! — Эти слова, произнесённые с большим волнением и со слезой в голосе, произвели на меня такое впечатление, что в первый момент я не мог ничего сказать» (*Бертенсон Л.Б. Страничка к воспоминаниям о Л.Н. Толстом // Сборник воспоминаний о Толстом. М., 1911. С. 86 – 87*). Деликатно отмолчавшись, умница еврей вернулся потом к своим прямым обязанностям: осмотру больного.

В календарном блокноте на 24 января Толстой высказывает пожелание написать письмо Граслену, но это намерение не было им осуществлено. Вообще сделать писатель тогда же мог немного — в том числе, и в связи с собственной болезнью, по поводу которой его и посещали в те дни доктора. Но В. Г. Черткову, для бесцензурной публикации, он, конечно, материал отправил. Об его деле и процессе см. в периодическом обозрении «Свободное слово», под ред. В. Г. Черткова, № 2, Christchurch, 1902, («Отказы от военной службы во Франции») и № 3 («Суд над Граслэном»). Повлияла ли как-то эта огласка на судьбу Граслена, остаётся невыясненным.

Приводим ниже подробности суда по изложению статьи «*Le Matin*» в № 3 «Свободного слова» за 1902 г.

«...Вводится под конвоем подсудимый — скромный и бесстрашный солдатик – крестьянин, который, очевидно, не подвержен внушениям окружающей его торжественной обстановки и военной угрозы. Он смотрит на всё окружающее совершенно спокойным взглядом, и на его бледном лице заметно лишь выражение воли и решимости.

Он садится лицом к суду, не обнаруживая ни малейшего волнения, рядом со своим адвокатом. Два часовые с ружьями становятся за ним. Председатель суда, полковник Крэтъен делает официальный

опрос, из которого публика узнаёт, что подсудимый родом из провинции Жироманьи округа Бельфорта, что его семья обитает в Тараре на Роне, что он по роду занятий земледелец и до настоящего призыва получил отсрочку по причине своей тщедушности. Затем. По прочтении обвинительного акта, начинается следующий замечательный допрос:

*Вопрос:* 18 ноября 1901 года, 4 дня спустя после вашего поступления на службу, вы отказались повиноваться вашему капитану, приказавшему вам открыть тарель пушки?

*Ответ:* Я не отказался, я сказал, что — не могу...

*В.* Почему вы не могли?

*Молчание.*

*В.* Вам прочли свод военных законов?

*О.* Да, полковник.

*В.* 10 ноября, на следующий день, вам было дано то же приказание; вы опять отказались исполнить его. И следующие за тем дни вы продолжаете стоять на том же. Вам прочли кодекс наказаний до пяти раз. Просьбы, угрозы, строгие выговоры не могли преодолеть вашего упорства. Почему вы так поступаете?

*О.* Иисус Христос сказал: „Не убий! Возлюбим друг друга!“ — Я не хотел причинять вреда никому.

*В.* Но открыть тарель — не значить повредить кому-либо.

Эти слова вызывают улыбки на лицах присутствующих.

*О.* Но после мне дали бы ружьё, а оно предназначено для убийства, всё равно как лемех у плуга предназначен для пахоты.

*В.* Наконец, вам не следовало рассуждать, когда вам приказывают.

*О.* Над моими начальниками — людьми, для меня есть Христос.

*В.* Христос не предписывает не подчиняться законам своей страны. <Однако, жить, разделяясь на разбойничьи гнёзда «государств», собирая войска, изготавливая оружие и воюя Христос тоже «не предписывает»! Для милитаризованного государства и его узников («граждан») война неизмеримо неизбежней, чем необходимость обороны силой для отдельного человека христианина. — *Р. А.*>

Затем председатель суда, переспросив его ещё раз о причинах отказа, — спрашивает его: что бы он сделал, если бы на него напал кто-нибудь?

<*Обратим внимание!* Некорректное, преднамеренное, рассчитанное на невежество молодого человека смешение разных уровней си-

стемности и степеней организации насилия. К такому примитивному варварству прибегают и в современной путинской России, возражая отказникам от участия в военной службе и войне. — Р. А. >

О. Я бы не отбивался.

В. Почему?

О. Чтобы не убить его.

В. Что же бы вы сделали?

О. Я бы спасался бегством. *(Взрыв смеха в публике).*

В. А если бы злодеи подожгли дом ваших родителей и пытались бы убить вашего отца, мать, братьев?

О. Я бы пытался им помешать.

В. Каким образом.

О. Не нанося им ударов.

В. Взглядом, что ли? Значить, вы не хотите воевать?

О. Не хочу.

В. Соглашаетесь ли вы но крайней мере подчиняться законам?

О. Не для убийства. Пусть меня заставить делать чтонибудь другое.

В. Будете ли вы теперь открывать тарели у пушек?

О. Я бы хотел обещать, но знаю, что не исполню. Я не могу исполнять этого. Это не неповиновение, это послушание моей совести.

В. Ваша совесть должна бы вам повелеть слушаться ваших начальников, как это делают все французы. <Некорректная, лживая апелляция к внушённому патриотизму. Инстинкт и потребность повиновения имманентны стайным животным, включая приматов и человека, а не нации. Чудо живой веры Христа освобождает человека из-под доминанты страхов и инстинктов животного. Увы! Не одни французы в ту секулярную эпоху отказались от веры! — Р. А. >

Допрос окончен. Во время ответов голос подсудимого несколько раз прерывался от волнения» *(А<нна> Ч<ерткова> (сост). Отказы от военной службы. Во Франции. Суд над Граслэном // Свободное слово. 1902. № 3. Стлб. 7).*

Волнение Толстого о ещё одном своём львёнке понятна: сам Толстой, на своей военной службе в артиллерии, не только охотно распоряжался зарядением орудий (через *тарели* — тыловые части), но и командовал стрельбу — не особенно задумываясь о тех, кого калечили и убивали пущенные снаряды. Но тревога эта Льва Николаевича, вероятнее всего, и не столь основательна — в применении именно к *его* духовным писаниям. По тексту статьи в «Le Matin» и

его изложению в «Свободном слове» ясно, что религиозные настроения Граслена были связаны с самостоятельным изучением евангелий. Ещё до призыва, когда Граслен работал управляющим торгового дома в Лионе, он стал известен мистическими настроениями и щедростью в отношении семей бедняков-рабочих: «странен, носился с Евангелием, проповедывал среди своих товарищей» (*Там же. Стлб. 7 – 8*). То есть, поступал буквально по предписанию Христа для своих учеников, для апостолов: странствовать (быть «странным» для мира, не уживаться нигде с ним) и проповедовать Евангелие. Отказ от ружейных учений — закономерное продолжение, но нигде сам Граслен не связывает его с влиянием именно книг Л. Н. Толстого. Отчего-то Лев Николаевич упустил из внимания, что его имя названо Грасленом в числе прочих, и более сильных, специфически «национальных», книжных влияний: Мопассан, Гюго, Ренан, Эркман-Шатриан... Тенденциозный уклон убеждённого противника военицины в таком выборе чтения безусловен, но, будь Лев Николаевич в те дни не болен, не расстроен в чувствах — он, вероятно, понял бы, что вина на нём за судьбу Граслена не более, чем на авторах евангелий или на тех двоих, которые писали под псевдонимом «Эркман-Шатриан». Кстати, в оригинальной речи этот псевдоним Граслен назвал на суде первым, до имени Толстого (см.: *Le cannonier greviste // Le Matin. 1902. Janvier 29. P. 1: <https://www.retronews.fr/journal/le-matin/29-jan-1902/66/163131/1>*).

Результат, впрочем, оказался тот же, как было и со многими безусловными толстовцами. «...Нельзя допустить, чтобы он истолковывал заповеди Евангелия иначе, чем служители его религии, более квалифицированные, чем он» — заявляет государственный обвинитель в своей самоуверенной, но халтурной речи (*Там же*). «Обвинительная речь правительственного комиссара... лишней раз только выказала несостоятельность защитников военного ремесла» — наивно прибавляет от себя А. К. Черткова в «Свободном слове» (*Свободное слово. 1902. № 3. Стлб. 8*). Наивно потому, что халтура эта в судебных речах — разве что моральное утешение для жертв таких судилищ и их близких в странах, куда более отдалённых от правосудия и демократии, чем Франция. Например, в фашиствующей путинской России 2010 – 2020-х годов, где, помимо фэйкового приговора к призванному в армию и осуждающему военную службу и войну могут применить и любые меры воздействия, включая пытки!

Или вот ещё, из речи обвинителя Граслена, нечто весьма актуальное для России 2020-х: «Граслэн знал, что с него будут требовать в полку, если же он хотел избежать этого, он мог бы покинуть родину и отправиться в другую страну, которая более соответствовала бы его теориям. Долг суда положить конец подобным случаям» и т. д. *(Там же)*.

Обвинитель особенно подчеркнул, что Граслен (как и неведомый во Франции Ольховик) «увлёк» антивоенной проповедью ещё одного солдата, Дэressoля — осуждённого ранее Граслена на два года.

Наказание Граслену — те же два года военной тюрьмы...

Обвинитель проболтался в своей речи о насущном: Граслэн не был и на родине так одинок, каким его стремились выставить противники на суде и давно почивший щелкопёр в заметке «Le Matin». Очерк о Граслене в № 3 «Свободного слова» автор его, Анна Константиновна, жена В. Г. Черткова, завершает такими сведениями:

«Дело Граслэна вызвало большие толки во французских газетах. После него, как известно, были ещё случаи отказов в войсках, и имена самоотверженных героев — Граслэна, Дэressoля и, на днях, Субигу (вегетарианца) — пугают уже националистов. Они в негодовании называют этих бесстрашных людей “настоящими духоборами”, “последователями фантазий Толстого”, “анархистами” и пр., и призывают французское правительство к строжайшим мерам прекращения распространения этих “вредных и опасных” для государства идей. Этот переполох среди охранителей старого порядка даёт право всем, любящим истинную свободу, радоваться этому верному признаку “приближения конца” военного, а с ним и капиталистического владычества над народами» *(Там же)*.

В предыдущем, № 2 «Свободного слова» Анна Константиновна вспоминает Гутодье, призванного в 1895 г., который, благодаря влиятельной поддержке, сумел надломить в свою пользу военную машину и был переведён на службу в военный госпиталь *(А. Ч. Отказы от военной службы во Франции // Свободная мысль. 1902 № 2. Стлб. 15 – 16)*.

И здесь же приведена прекрасная, даже поэтичная, подробность об отказе Фредерика Жозефа Граслена:

«В газетах был приведён его разговор с полковым командиром, который, пытаясь разубедить его, сказал ему: “подумай, разве это не

безумие?! Вся Франция подчиняется закону о военной службе, что же можешь сделать ты — *один* против всех?!”

Крестьянский парень спокойно ответил: “Вы забываете, полковник, что одно хлебное зерно, падая в землю, даёт 20 на следующее лето”.

Его посадили сначала в холодный карцер на 8 дней, а потом в тюрьму и отдали под суд. Все солдаты 9-ой батареи находятся под сильным впечатлением его геройской простоты и силы воли» (*Там же. Стлб. 16*).

То есть, даже в батарее, к которой был приписан к службе Граслен, “зёрнышко” христианского понимания жизни, христианского естественного неприятия войны, военной службы, войск и правительств — едва не дало ростка, недостало лишь времени! В том же Бельфорте, в 35-м пехотном полку, отказался брать саблю и учиться убийству солдат Дэресоль. Военные власти “взяли за глотку” его родителей, деревенских простецов, заставив написать умоляющее, слезливое письмо — но Дэресоль остался презрительно непоколебим (*Там же. Стлб. 16 – 17*).

Журналист *Урбен Гойе* (1862 – 1951), рассказал о Граслене, взяв из других газет, в газете социалистов с “говорящим” названием: «L'Augore». Там же он сообщает о судьбе ещё одного отказника — солдата Пети, приговорённого на три года за то, что «не хотел быть убийцей». «Такова действительно мораль нашего “прекрасного” общества. Торжествуют разбойники» — прибавляет от себя этот печально знаменитый автор «Протоколов сионских мудрецов».

Таков лжехристианский мир. Палачам и разбойникам тайно служат даже *как бы* «обличители» разбоя и убийств...

Но и это не повод становиться в ряды *военных* рабов и палачей!

«Ce n'est pas de l'insubordination, c'est la soumission à ma conscience» [«Это не неподчинение. Это подчинение моей совести»] — эти слова Граслена, сказанные на суде, хорошо бы помнить как современным отказникам, так и противникам отказов от военной службы по христианской совести.

В завершение статьи Анна Черткова пророчит: «Придёт время, когда “мир устанет в борьбе, захлебнётся в крови”, и тогда люди будущего вспомнят об этих — *мирных* героях духа и последуют *их* примеру!» (*Там же. Стлб. 18*).

Вспомнить о них просто так, без таких книг, как наша, не получится, а вот к схожим действиям, можно надеяться, приведёт разум.



\* \* \* \* \*

Имидж всемирного антимилитаристского гуру не “приклеивался” к личности Толстого, а напоминания о нём — безусловно, утомило его в годы дряхления, последовавшие за смертными, тяжелейшими болезнями 1901 – 1902 гг. В 1903 г., например, хороший человек, хотя и анархист, парижанин Эмиль Жанвион (Émile Janvion; 1866 – 1927) был мысленно послан нахуй, когда, в письме от 23 июля (5 августа) просил Толстого написать статью для антимилитаристического журнала «L'Ennemi du peuple» [«Враг народа»].

Надо сказать, Толстой либо знал, либо чуял, кого посылать нахуй. Типчик Жанвион был столь же мутный, как и вышеупомянутый Урбен Гойе. На пути своём от анархо-синдикализма 1890-х к ультра-правому национал-синдикализму (прообразу фашизма) 1910-х он сошёлся на время и с антимилитаристами — прежде всего, в вопросе национализации земли и средств производства. Среди авторов его журнала “всплыл” тут же и Урбен Гойе, единомысленный с Жанвионом в вопросах антисемитизма. Название же журналу дал и написал множество публикаций, позволивших изданию держаться на плаву до 1904 года, писатель Жорж Дариен (Georges Darien, 1862 – 1921), известный единомышленник Л. Н. Толстого по вопросу теории Генри Джорджа о «едином налоге» на ценность земли. Конечно, Жанвиону хотелось заполучить в соавторы и самого Льва Толстого, с оригинальной антивоенной статьёй, но вот ведь облом: Лев Николаевич ответил ему 10 (23) августа кратким отказом (с французского):

«Милостивый государь,

Я только что получил первый номер “L'ennemi du peuple”. Нахожу, что номер составлен очень хорошо, и желаю вашему изданию большого успеха.

Я не могу сказать ничего нового по вопросу о средствах, которые могут уничтожить войну, и вследствие этого, к глубокому сожалению, не могу исполнить вашей просьбы» (74, 156 – 157).

То есть: пользуйся, дружок, тем, что уже есть — на новую работу ты меня не вдохновляешь... Это помимо того, что не было для неё и сил. Такие же типичные отказы получали большинство домогателей к писателю и публицисту со всего мира.

\* \* \* \* \*

Итак, Толстой после страшных болезней 1901 – 1902 гг. чувствовал себя вне сил и желая повторять отдельным адресатам то, что многажды, ещё до рождения на свет некоторых из них, было им против войн и военщины публично высказано. Вместе с тем он продолжал читать всё, что приходило в его руки по теме и планировать художественные и публицистические антивоенные писания, и, конечно же, создавать их. К 4 июля 1903 г. относится в Дневнике следующая запись: «Читал, как обучались солдаты. Как бы хорошо наивно рассказать это» (54, 181). «Наивно» значит здесь: *остранённо*, с непосредственностью дитя или иного чистого от мирской лжи человека, или очистившего себя христианина. К сожалению, такое намерение осуществлено писателем не было. Но в записях Дневника того же дня — свидетельство работы Толстого над гениальным «Хаджи-Муратом», которого он ваял к совершенству ещё целые годы...

\* \* \* \* \*

Война напоминала о себе и из прошлого Толстого... При письме от 23 сентября 1903 г. *Александр Владимирович Жиркевич* (1857 – 1927), поэт, прозаик, публицист, военный юрист и общественный деятель, давний знакомый Толстого, прислал записанные им воспоминания старшего офицера лёгкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады *Юлиана Игнатьевича Одаховского* (1823 – 1904?), служившего вместе с Толстым под Севастополем. Воспоминания Ю. И. Одаховского «На севастопольских бастионах» отличаются живым, непосредственным восприятием Толстого, захваченного в Севастополе военными, историческими событиями, и интересны своими бытовыми подробностями. Жиркевич опубликовал эти воспоминания вместе с полученными от Толстого заметками, в «Историческом вестнике» (1908, I, стр. 167 – 176).

Вот, в выдержках, то, что дошло до нас благодаря А. В. Жиркевичу, включая комментарии Льва Николаевича и необходимые примечания редактора уже советского переиздания этой публикации:

«В 1855 году, после Инкерманского дела, наша батарея (3-я лёгкая 11-й бригады), участвовавшая в этом деле, была помещена в Бельбеке (в 15 – 20 верстах от Севастополя) и стояла в резерве, когда прибыл в неё граф Л. Н. Толстой, в чине поручика, с которым я тут

лично познакомился впервые (раньше же я, как и другие офицеры, конечно, слышал о Толстом как писателе и читал его произведения). Командиром 3-й батареи был тогда капитан Филимонов...

[...] Стоянка в Бельбеке была очень скучная. Батарея в Инкерманском сражении понесла большой урон и стояла без дела. Каждый офицер имел свой барак, наскоро сколоченный из досок солдатами. Обедали все вместе, по обычаю, у командира батареи капитана Филимонова. Обилие свободного времени наталкивало на более близкое знакомство, сближало, и прибывший граф Толстой скоро сделался душой нашего небольшого кружка.

<Одаховский в другом случае рассказывал Жиркевичу о «беседах» Толстого. После одной из таких «бесед» «у графа Л. Н. Толстого возникла мысль, чтобы каждый из нас присутствовавших тут же рассказал про свои чувства в три момента — во время приготовления к бою с неприятелем, в самом бою и по окончании сражения. Мне первому пришлось поделиться впечатлениями с товарищами... Когда настала очередь графа Л. Н. Толстого описать свои боевые впечатления, то он, насколько помню, сказал, что чувствует страх в сражении, но что для него бой — картина, увлекающая его как любителя сильных ощущений» - *Примечание редактора.*>

Наружность Толстого была некрасивой; особенно его портили огромные, оттопыренные в стороны уши. Но говорил он хорошо, быстро, остроумно и увлекал всех слушателей беседами и спорами.

Толстой сражался часто с нами в карты, но постоянно проигрывал. Впрочем, игра была у него несерьёзная, “от нечего делать”, так как, кроме офицеров батареи, в ней никто не участвовал. Толстой по ночам играл в карты, днём же сидел в своём бараке один и писал: я заходил к нему в барак и часто заставлял его за литературной работой, но о работе этой с ним не заговаривал. После обеда у Филимонова Толстой обыкновенно затевал какие-либо игры, придумывал развлечения и шутки. Например, мы, по его почину, играли в игру “палта” (в роде “бабок”). Затем он же придумал особую игру: по очереди мы должны были становиться на одной ноге на один из колышков палатки, к которому прикреплялась палатка, и кто дольше мог простоять на колышке (назначалось известное число минут, по счёту “раз, два, три”), тот получал выигрыш — пряники, апельсины и т. п. Становились “на пэ”, “на транспорт”, “на угол” и т. п. Толстой так умел увлечь всех в свои проказы, что даже неуклюжий, огромного роста, командир батареи капитан Филимонов (занятый главным образом набиванием своих карманов на счёт лошадиного овса и сена)

стоял на таком колышке наравне со всеми нами, а потом удивлялся, как это с ним, командиром батареи, могло случиться.

<В пометах на рукописи Толстой отрицал достоверность указанных эпизодов: «Ничего не было», «В первый раз слышу». Однако в дневнике Толстого встречаются записи, отчасти подтверждающие воспоминания Одаховского: «12 марта [1855 г.]. Утром написал около листа *Юности*, потом играл в бабки...» (47, 38). – *Примеч. ред.*>

Графа Толстого все очень полюбили за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции (хотя на Бельбеке у него больших столкновений не выходило), вечно нуждался в деньгах, спуская их в карты. Он говорил мне, что растратил всё своё состояние во время службы на Кавказе и получает субсидию от своей тётки графини Толстой.

По временам на Толстого находили минуты грусти, хандры: тогда он избегал нашего общества. Это бывало в то время, когда он начал у себя в бараке усиленно заниматься литературным писанием или получал деньги.

На Бельбеке мы простояли сравнительно недолго — с 24 октября по 27 марта, встретили там Новый год и приняли присягу. Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном ходу. Двенадцать орудий нашей батареи были распределены так: 4 орудия были поставлены на Язоновский редут; остальные 8 находилась в резерве, на Графской, на случай вылазок. Я и граф Толстой очутились в резерве... Офицеры батареи, в том числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам, на Екатерининской улице, у главной Екатерининской пристани.

Скоро капитана Филимонова назначили на Северную сторону — командиром всех батарей Северной стороны, а я был назначен старшим над оставшимися орудиями, офицерами и людьми (нижними чинами). Продовольствие офицеров и людей батареи, таким образом, перешло ко мне; Филимонов же оставил за собою продовольствие батарейных лошадей 3-й батареи сеном и овсом (с целью получать по-прежнему доходы). На свои средства стал я кормить офицеров батареи (в этом отношении я не мог, конечно, сравняться с капитаном Филимоновым, у которого, как сказано выше, были свои «побочные доходы»). Ежедневно на обед в мою квартиру собирались граф Толстой и другие, свободные от службы (вылазок, дежурства) офицеры, хотя редкий день мы могли сойтись все вместе. Эти обеды

соединяли наше общество. Обеды отлично готовил мой денщик. После обеда начинались оживлённые беседы, споры, шутки. Приходили ко мне и посторонние офицеры, как, например, граф Тотлебен — тогда ещё простой инженерный подполковник. Граф Толстой и другие нападали на Тотлебена, критикуя построенные им и инженерами укрепления (например, Язоновский редут, находя, что он слишком выдвинут), а Тотлебен нападал на артиллеристов и, в свою очередь, критиковал их действия. Все подобные споры происходили в мирном, товарищеском тоне. Во время обедов рассказывались сева­стопольские новости, и граф Толстой собирал материал для своих будущих произведений. В квартире моей стоял рояль. Обыкновенно, после того как выпьем водочки и прилично закусим, граф Толстой садился за этот рояль — играл нам и пел шутовские песни, им же сочинённые, под аккомпанемент рояля, рассказывал анекдоты, читал нам сочинённые им в Севастополе на злобы дня и на начальство стихотворения, придумывал новые игры и забавы, рассказывал о своих похождениях. Вообще по-прежнему, как и в Бельбеке, он был душой нашего общества.

< Возражение Толстого по поводу этой части воспоминаний — «Рояля у Одаховского и ни у кого из офицеров не было. Стихотворений никаких, кроме песни «Как четвёртого числа...», не сочинял» (ИВ, 1908, № 1, с. 169) — не совсем справедливо. Толстой писал Т. А. Ёргольской 7 мая 1855 г.: «У меня очень нарядная квартира, с форте­пьяно...» (59, с. 314, *перевод с франц.*) — *Ред.*>

Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отпра­влялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может, и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал нам подробности дела, в котором участвовал.

Иногда Толстой куда-то пропадал — и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. < Помета Толстого: «Правда». — *Ред.*> И он нам каялся в своих грехах.

Часто Толстой давал товарищам лист бумаги, на котором были набросаны окончательные рифмы: мы должны были подбирать к ним остальные, начальные слова. Кончалось тем, что Толстой сам подбирал их, иногда в очень нецензурном смысле. В таких шутках, в обществе Толстого, мы коротали послеобеденное время.

Стихи, которые я вам, Александр Владимирович, передал, все записаны со слов Толстого мною и офицерами батареи — в послеобеденные часы, в моей квартире. Стихотворение «Как четвёртого числа нас нелёгкая несла горы занимать» граф Толстой, сочинив в Севастополе, принёс нам и затем раз пять при мне читал его всем присутствующим. Иногда, записав с его слов стихотворения, мы показывали их Толстому, и он их исправлял, а затем они распространялись в военном обществе. Начальство знало о том, что шутовские солдатские песни (в которых были выставлены все генералы) пишет Толстой, но не трогало его. У меня было много стихов Толстого, даже им собственноручно написанных, но с либеральным содержанием: восстание 1863 года заставило меня из предосторожности сжечь их, о чём теперь жалею.

<Кроме песни «Как четвёртого числа...», по признанию Толстого, он принимал участие в сочинении песни «Как восьмого сентября...» (см. письмо Л. Н. Толстого М. Н. Милошевич от 18 мая 1904 г. — 75, 106). Обе песни имели широкое распространение в Крыму и вскоре были опубликованы Герценом в «Полярной звезде» (кн. III на 1857 г.). «Начальство» было недоволено тем, что Толстой сочинял сатирические песни. Он по этому поводу объяснялся с помощником начальника штаба А. А. Якиммахом (см. 47, 98). В письме С. Н. Толстому от 10 ноября 1856 г. Толстой сообщал: «... великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил её солдат» (60, 107). В мемуарной литературе имеются свидетельства об участии Толстого в создании других сатирических стихотворений (см. Е. Бушканец. «Солдатские песни» Л. Толстого (1854—1855). — журнал «Русская литература», 1960, № 3). — Ред.>

В то время граф Толстой писал «Севастополь в августе» и «Севастополь в мае». [...]

Из посторонних, не батарейных офицеров бывали часто у графа Толстого и у меня (на обедах) штабной — князь Мещерский и штабной же, из штаба графа Остен-Сакена, Бакунин. <Брат М. А. Бакунина, автор патриотического воззвания к защитникам Севастополя, использованного Толстым в докладной записке главнокомандующему русскими войсками князю Горчакову. — Р. А.> Сестра Бакунина была сестрою милосердия, и я видел её впоследствии раненой во время взрыва. Бакунин тоже — со слов графа Толстого — записывал его стихотворения.

Вскоре поневоле должны были прекратиться у меня общие обеды: во время одиннадцатидневной бомбардировки Севастополя шальная бомба влетела в мою квартиру и разнесла рояль, на котором играл Толстой, а также кухню. <Помета Толстого: «Не помню». – Ред.> К счастью, тогда никого в квартире не было.

В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку.

Так как граф Толстой прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор) назначил его командиром горной батареи. Назначение это было грубой ошибкой, так как Лев Николаевич не только имел мало понятия о службе, но никуда не годился как командир отдельной части: он нигде долго не служил, постоянно кочевал из части в часть и более был занят собой и своею литературой, чем службою.

<Это назначение произошло 15 мая 1855 г. 31 мая того же года Толстой записывал в дневнике: «Командование моё доставляет мне довольно много забот, особенно денежные счёты. Я решительно неспособен к практической деятельности; и ежели способен, то с большим трудом, которого не стоит прилагать, потому что карьера моя непрактическая» (47, 43). Как видим, помимо недоумения и обид Толстого, уличений мемуариста в неточностях, Одаховский прав во многом в оценке именно его личности. Ответственно распоряжаться и хозяйствовать в условиях войны у молодого Льва получалось ещё хуже, чем дома, в Ясной Поляне. – Р. А.>

[...] Насколько любили Льва Николаевича сослуживцы его, видно уже из того, что однажды у меня за обедом, на Екатерининской улице Севастополя, я при Толстом обратился к товарищам со словами: “Господа! дадим слово не играть с Толстым! Он вечно проигрывает. Жаль товарища!”. Толстой же на это преспокойно ответил: “Я и в другом месте проиграюсь”. И действительно, как только мы перестали с ним играть, он стал уходить в город и играть с пехотными и кавалеристами, а после нам же рассказывал, как те его обыгрывали.

Толстой был бременем для батарейных командиров и поэтому вечно был свободен от службы: его никуда нельзя было командировать. В траншеи его не назначали; в минном деле он не участвовал. Кажется, за Севастополь у него не было ни одного боевого ордена, хотя во многих делах он участвовал как доброволец и был храбр. <Неточность. Толстой был награждён «за отличную храбрость и примерную стойкость, оказанные во время усиленного бомбардирования» Севастополя орденом Св. Анны четвёртой степени с надписью «За храбрость». – *Ред.*> В «аристократию» Толстой не лез, любил поговорить по душе, умно; недалёких товарищей, вроде Проценко, сторонился. С солдатами Толстой жил мало, и солдаты его мало знали. Но, бывало, у него хватит духа сказать солдату: «Что ты идёшь расстёгнутый?!» (Сам был либералом по этой части.) В обращении Лев Николаевич был ровен со всеми, хотя дружбы ни с кем не заводил; готов был поделиться последним с товарищами; любил выпить, но пьян никогда не был. Часто беседовал я с ним на разные темы: это был истинно русский человек; он любил свою веру и свой родной язык, но во всяком человеке прежде всего видел человека...

(<http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/vs1/Vs1-059-.htm> ).

Полагаем, довольно. Мы оставили в приведённых выше отрывках весь рассказ Одаховского о сатирических песнях, написанных Толстым — так как в своём месте специально не рассматривали этой темы. А песни, между тем, навредив военной карьере Толстого, составили часть его славы в народе как противника войн и военщины — хотя, при сочинении их, вряд ли задумывались как специально антивоенные.

Конечно, Толстой был ощутительно задет многими страницами мемуаров Ю. И. Одаховского. В сопровождающем возвращение рукописи письме к А. В. Жиркевичу от 6 октября 1903 г. он сообщает, что рукопись его «очень разочаровала»: «Удивительно, как он мог всё так забыть, но ещё удивительнее, что мог уверить себя, что было то, чего не было. [...] Очень сожалею, что вы напрасно потрудились, списывая эти воспоминания» (74, 199 – 200).

Одной из причин предвзятого отношения Толстого к этим воспоминаниям могло быть его прошлое нерасположение к Одаховскому и его окружению. В дневниковой записи от 23 января 1855 г. даются резкие характеристики командиру батареи В. Филимонову и заодно



Одаховскому: «... остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей!» (47, 35. См. также письмо Толстого С. Н. Толстому от 3 июля 1855 г. — 59, 321). Толстой, по-видимому, относил Одаховского к тем людям, которые, по его определению, «затрогивают» «задушевную сторону», «но не в такт и неприятно» (47, 50).

Именно такой, «не в такт и неприятно», оказалась для Льва Николаевича Толстого *очередная*, из числа связанных с тематикой войны, *встреча его с самим собой из прошлого*.

\* \* \* \* \*

Через три дня после Жиркевича, 9 октября 1903 г., Лев Николаевич пишет ещё одно интересное письмо — *Александру Михайловичу Добролюбову* (1876 – лето или осень 1945). Александр Михайлович в 1890-х стал известен первоначально как мистически настроенный поэт-декадент, близкий остро ненавистному Толстому В. Я. Брюсову. Отец его — действительный статский советник, выслуживший дворянство, служил в Варшаве. После его смерти в 1892 г. Добролюбов переехал в Санкт-Петербург. Сочинял стихи ещё в школьные годы, после переезда увлёкся поэзией и стилем жизни западноевропейских символистов, особенно Бодлером, Верленом, Малларме, Метерлинком, Эдгаром По. Курил гашиш, и проповедуемый им культ смерти, по слухам, привёл его сотоварищей по университету к самоубийству, вследствие чего он сам был исключён.

Но уже в середине 1890-х гг. Добролюбов отрёкся от идей декадентства и «ушёл в народ». Степень возможного влияния на это решение именно духовных писаний Л. Н. Толстого достоверно исследователями не выяснена, и при том сомнительна. В крестьянской одежде, с посохом в руках А. М. Добролюбов бродил по северным деревням, записывая народные песни, заклинания, плачи, сказания. Известно, что он обращался за духовной поддержкой к ненавидевшему Л. Н. Толстого популярному гуру «чистого православия» Иоанну Кронштадтскому, ходил паломником в Троице-Сергиеву лавру и в Москву, а к концу 1898 г. отправился в монастырь на Соловецких островах, чтобы постричься в монахи.

В начале 1900-х гг. Александр Михайлович прекратил литературные занятия и поселился в Самарской губернии, где занялся земледельческим трудом. Он проповедовал опрощение, непротивление

злу, основал религиозную секту «добролюбовцев» («братков»), близкую к молоканам. Вероучение секты было основано на идеях христианского анархизма. «Добролюбовцы» отказывались нести воинскую повинность и шли на страдания, связанные с этим отказом. В 1901 г. и сам Добролюбов был осуждён за «подстрекательство к уклонению от воинской службы», а в 1902 г. в Петербурге его обвинили в оскорблении святынь. Родные спасли Добролюбова от отбывания наказания, добившись психиатрической экспертизы, признавшей его человеком «не от мира сего».



Сбежав от родни и докторишек, Александр Михайлович продолжил своё исповедничество Христа «ногами», и, конечно же, завалился в гости к осязатому многими такими же неотмирными людьми товарищу, единомышленнику — Льву Николаевичу Толстому. Достоверно известно, что Добролюбов встречался с духовным авторитетом дважды: в сентябре 1903 г. и в июле 1906 г. Как писал Н. Н. Гусев, Добролюбов видел своё расхождение с Толстым в том, что «Лев Николаевич слишком большое значение придаёт разуму, а Добролюбов придаёт большое значение «глубоким внутренним ощущениям». Лев Николаевич одобрил основу выраженной в этих словах мысли» (Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1973. С. 256). «Лев Толстой, — говорил Добролюбов, — всё хочет объяснить и понять холодным

рассудком, он не признаёт чуда, не верит в его возможность. Но откровение выше разума, а потому мы должны стремиться достигнуть того состояния, при котором будет возможно откровение». В этом он безуспешно пытался убедить Толстого (*Пругавин А. Новая секта // Речь. 1913. №3*).

К поэтическому творчеству Добролюбова Толстой относился, конечно же, резко отрицательно.

Но во взглядах на *чистоту* человека моральную и умственную, на неприятие насилия войн и рабства военной службы — Добролюбов, похоже, оставался, в значительной степени, единомышленником Толстого до конца. Известно, что этот духовный бродяга срать хотел и срал на политические режимы, войны и революции, странствуя по коммунистическому, новорабьему Совку-СССР так же, как в молодые годы — по Российской Империи. До 1923 г. он с последователями жил в Сибири (недалеко от Славгорода), в 1923 – 1925 близ Самары, занимаясь земляными работами, в 1925 – 1927 вёл кочевническую жизнь в Средней Азии. Покойно и мудро пронаблюдав, мирно трудясь, человечье безумие двух Мировых войн, Александр Михайлович Добролюбов отошёл ко Господу в 1945 году, не позднее тёплой осени, на территории Нагорного Карабаха, где работал в артели печником.

Самым близким учеником Добролюбова был Леонид Семёнов-Тянь-Шанский, сын помещика и внук знаменитого путешественника. Он окончил университет, ни политикой, ни религией не интересовался. Но 1905 год закружил и его. Семёнов примкнул к социал-демократам, потом перешёл к эсерам. Стал пропагандистом. Его судили. Тюрьма. Семёнов, отсидев срок, опять идёт к эсерам, и опять арест... Его призывают на военную службу, но Семёнов уже стал толстовцем. Он два года прослужил, отказываясь брать в руки оружие, офицерам говорил: *брат*. Его дважды заключали в знаменитую казанскую психушку. В камере было около пятидесяти сумасшедших. Познакомившись с Добролюбовым, бывший социал-демократ и эсер понял, что обрёл наконец истину. Он сразу принял все добролюбовские идеи и пошёл с ними по России. Добровольные нищие, эти люди сами обрекли себя на вечное искание абсолютной правды, божественного света (Кошель, П. Ушедший за истиной // *Завтра. 2 сентября 1997 г. № 35 (196)*. - <http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/97/196/72.html>).

Вскоре после встречи с Толстым этот убеждённый враг насилия и рабства, которого поставить в вооружённый строй было бы тяжельше, чем дикого львёнка, в очередной раз оказался в тюрьме за

пропаганду непротивления и за «безписьменность» (отказ от паспорта). В письме от 9 октября, в тюрьму, где содержался Добролюбов, Толстой пишет слова ободрения в поддержку ему и некоторым другим, известным ему в то время, отказникам:

«Пожалуйста, напишите мне подробнее о вашем положении и о вашем душевном состоянии. Судя по тому, что знаю о вас, вы должны перенести своё заключение радостно и плодотворно. Помогите вам в этом Бог. О Волкове я писал два раза и был очень обрадован письмом Сахарова, извещающего меня о том, что Волков признан душевно больным и передан в ведение гражданского начальства. О Хмелёве ничего не знаю и пока ничего сделать не могу. Нельзя ли узнать подробности о нём. Если можете, пожалуйста, пишите мне. Я полюбил вас» (74, 200).

О Хмелёве таки вправду сведений не уцелело, а вот Волков этот, упомянутый в письме Толстым — тип интересный. Месяцем ранее, 6 октября, Толстой писал о нём самому тогдашнему военному министру Куропаткину:

«Милостивый государь Алексей Николаевич,

Я несколько месяцев тому назад писал Вам о вахмистре Оренбургского войска Макаре Волкове, отказавшемся от ношения оружия.

Дошло или не дошло моё письмо до Вас, я считаю своим долгом вновь обратиться к Вам с тою же просьбою.

Я думаю, что излишне доказывать всё несоответствие наказания дисциплинарного батальона с преступлением Волкова, вытекающим из религиозных побуждений, и естественное желание всякого человека облегчить его положение.

Если Вы можете это сделать, то я уверен, что Вы сделаете это истинно доброе дело. Волков находится в Оренбургском дисциплинарном батальоне.

С совершенным уважением остаюсь  
готовый к услугам Лев Толстой» (74, 176 – 177).

Ответил Толстому 17 сентября 1903 г. товарищ военного министра Виктор Викторович Сахаров — тот самый, который сменит на посту

министра обгаженного Куропаткина в первые месяцы русско-японской войны. Вместо дисциплинарного, Макар Волков был «приговорён», и на значительно меньший срок, конечно же, к сумасшедшему заведению — что в те варварские по отношению к отказникам времена всё же было огромным облегчением участи вахмистра во Христе.

\* \* \* \* \*

В октябре – ноябре 1905 г. Л. Н. Толстой работает над статьёй «Три неправды» (от которых страдают «все народы»), одна из которых (помимо захвата у трудящихся земли и ограбления их налогами), конечно же — военная служба, «солдатчина»:

«Третья неправда в том, что правительство, затеяв какие-нибудь споры с другими правительствами, захватив чужие земли и не отдавши те, какие оно прежде захватило, или просто поссорившись с правительственными лицами другого государства, может во всякий час затеять войну и потребовать людей в войска и погнать их на убиения и убийства.

Мало того что правительство может всякую минуту оторвать рабочих людей от их семей и труда и послать их за тысячи вёрст на убийство, — что все правительства всегда и делают, — ещё и до начала войны правительства отрывают людей от работы, собирают их в войска и годами держат их в праздной, развратной жизни, обучая их убийству и тратя на эти приготовления большую часть тех денег, которые собирают с народа.

Неправда эта самая большая и жестокая, и явно противная христианскому закону. И пока будет эта неправда, не будут люди знать спокойной и доброй жизни» (36, 399 – 400).

Примечательно, что во второй черновой редакции этой неоконченной писателем статьи «солдатчина» становится на первое место, но, как и в первой редакции, характеризуется писателем и публицистом как «неправда самая большая и самая вредная и для телесного и для душевного блага людей» (Там же. С. 403).

Очевидно, у Толстого путаница. Всё же безземелие надо признать основой зла — даже по логике 2-й редакции черновика, где утверждается, что безземельный народ «живёт по городам на заводах и в

прислугах», где «прислуживая богачам, все больше и больше отвыкает от доброй жизни и развращается» (*Там же. С. 404*). Богатый землевладелец защитит себя профессиональным войском, но сам не позволит своему же правительству загонять себя в военное рабство. Туда прямая дорога, в естественный отбор среди зверюшек Дарвина — развратной сволочи, переполняющей крупные города... Хуйлобляди «русского мира», палачествующие и мародёрствующие в Украине выкормыши и воспитаннички урбанизированной, с вымирающими деревнями и сёлами, России — просто великолепно подпадают не то, что под это описание, а под результаты уже своеобразной «селекции» худших и гадчайших нравственно людей в этих городских условиях.

Главный способ избавления от всех трёх зол, по Толстому — религиозный, христианский: «в том, чтобы повиноваться Богу, а не повиноваться людям»:

«Для того чтобы достигнуть нашей ближайшей цели, надо только не повиноваться никакой власти человеческой, а жить так, как мы живём и вы живёте — не каждый порознь, а в мире, в общине, работая каждый для себя, но сходясь для обсуждения общественных и хозяйственных дел наших в сходки, и повиноваться только тому, в чем мы добровольно согласились, а во всех же делах правительства не участвовать.

Будем мы поступать так: не будем идти в солдаты, не будем добровольно давать податей, и само собой уничтожится правительство, то самое, которое собирает войско, заводит войны, обирает труды народа податями и удерживает захваченные земли за владельцами. А уничтожится правительство, то народу в каждой деревне, в каждом приходе легко будет устроиться так, чтобы не было ни солдатства, ни войн, ни податей, ни пошлин, ни земель, к которым бы не было доступу всему народу.

Для того чтобы не было нужды в солдатстве и войнах, нужно только устроить добрую, справедливую жизнь без податей и запретной земли, и тогда никто не придёт воевать с таким народом, а скорее придут учиться у таких людей жить свободно и без греха» (*Там же. С. 405 – 406*).

А что, если всё-таки “придут”, Лев Николаевич? А ведь обязательно придут: природа большинства гладкокожих полуфабрикатов эволюции, именующих себя «люди человеки», именно такова тысячи лет: ограбь труд другого, даже с «военным» риском... И выйдет «сказка

про белого бычка»: ибо именно с необходимости обороны осёдлых поселений от множества грабителей и «пошло есть» (грабить и жрать, если точнее) не одно Государство Российское, но и все древние разбойничьи гнёзда, все государства.

«Вытянуть» земельный вопрос в середину статьи, в третью «позицию» Толстого вынудил замысел пропаганды в ней учения Генри Джорджа о «едином налоге» на ценность земли — которой и посвящена вторая половина первой редакции. Между тем, по отношению именно к «солдатству» всё гораздо логичнее оказалось в редакции Первой. И осуществимее, как понятно нам с «высот» XXI века. Сравним:

«Для того же, чтобы не было солдатства, нужно только одно: не принуждать другие народы жить под нашим русским законом и властью, а оставить и поляков, и немцев, и финляндцев, и грузин, и татар, и черкесов, и всех тех людей, которые теперь живут под русской властью, устраиваться жить каждому народу по-своему.

Не будем мы заставляя чужих людей жить под нашей властью, а будем сами мирно жить доброй жизнью, нам не нужно будет ни пушек, ни крепостей, ни солдат.

Те, кто властвуют, говорят, что без войска мы все пропадём и что все мы живы только потому, что есть войско. Но ведь все видят и знают, особенно теперь после японской войны, что это неправда. Нам не было и нет никакой нужды лезть в чужие дальние земли, в Китай, когда у нас земли девать некуда, и миллионы десятин лежат необработанными, и вся земля наша не устроена. А мы полезли куда нас никто не спрашивал и погубили тысячи миллионов денег, и сотни тысяч ни в чём не повинных людей убиты и изуродованы.

А если мы будем жить хорошо, никто нас не тронет. А только к нам придут и с нас пример брать будут» *(Там же. С. 401).*

В наши дни на Земле довольно счастливых стран, в которых нисколько не осуществилась утопия американского «экономиста с Библией» Генри Джорджа, которой так увлекался Толстой, но которые могут быть примером осуществления вполне посильной «заповеди»: живи сам по-людски, да дай жить другим!

Возвращение же к общинной жизни, охристианение её, Толстой на спаде революционных событий был вынужден признать, по крайней мере, довольно отдалённым идеалом. 1 февраля 1908 года секретарь

Николай Николаевич Гусев записал суждение Толстого на тему того, что «мы делаемся городскими жителями»:

«Да, может быть, такое будущее предстоит человечеству. Всё, что делается в больших размерах, обходится дешевле. Но если действительно таково будущее человечества, то жалко этого деревенского простора, полей, лугов» (*Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891 – 1910. М., 1960. С. 610*).

\* \* \* \* \*

В годы Первой российской революции Толстой наблюдал над эволюцией военного рабства, или, иначе: деградацией армии, всё чаще, как он и предрекал в «Солдатской памятке», бросаемой, в виде карательных отрядов, против своих же соотечественников. Так, 21 января 1906 г. в № 10718 любимой газеты «Новое время», за 15 января, Лев Николаевич читает корреспонденцию из Феллина (Лифляндской губ.) о расстрелах без суда «взбунтовавшихся крестьян эстов» по приказу штаб-ротмистра драгунского полка барона фон Сиверса. На глазах многолюдной толпы в период с 9 по 11 января было расстреляно 70 человек. При расправе над ливонскими крестьянами полковник Корф «залпом убил двадцать двух и там же, перед войском, застрелился» (*Маковицкий Д.П. Яснополянские записки. Указ. Изд. Кн. 2. С. 24*).

14 марта в газете «Русь» Толстому вновь попала на глаза о расстреле карательным отрядом — на этот раз «железнодорожных служащих на станциях Уральской железной дороги, близ Москвы» (*Там же. С. 77*). Писатель Иван Фёдорович Наживин подтвердил, что эффект от этого насилия только обратный: в Москве и Финляндии готовятся вооружённые восстания, а в России в целом — распад. Как и многие молодые офицеры царской армии, Толстой относится к этой неизбежности с сочувствием и признаёт влияние в ней и своих публицистических писаний:

«Мальчишки, продающие “Солдатскую памятку”... они сильнее распространяют просвещение, чем попечители, университеты..» (*Там же*).

В разговоре 31 декабря 1908 г., с участием Н. Н. Гусева, по поводу запроса в Думе об угнетении поляков Толстой высказывает своё убеждение в том, что «мы накануне огромного переворота, в котором Государственная дума не будет играть никакой роли». Для



борьбы с русским правительством «может быть только один из двух путей: или бомбы, или любовь» (*Гусев Н.Н. Летопись. 1891 – 1910. С. 657*).

\* \* \* \* \*

Революция 1905 – 1907 гг. не оправдала надежд Толстого на освобождение народов России ни от земельного и податного, ни от солдатского рабства. 22 октября 1909 г. Толстой в особенно подавленном настроении провожает за деревню, вместе с их родными, яснополянских парней, захваченных тётей «родиной» в солдаты. При этом, по признанию в Дневнике, он «испытал одно из самых сильных впечатлений, поплакал»:

«Были проводы ребят, везомых в солдаты. Звуки большой гармонии — залихватски выделяет барыню, и толпа сопутствует, и голошение баб, матерей, сестёр, тёток. Идут к подводам на конце деревни и заходят в дома, где товарищи. Всех шестеро. Один женатый. Жена городская, нарядная женщина, с большими золотыми серьгами, с перетянутой талией, в модном, с кружевами, платье. Толпа, больше женщин и, как всегда, снующих оживлённых, милых ребятишек, девчонок. Мужики идут около или стоят у ворот с строгим, серьёзным выражением лиц. Слышны причитания — не разберёшь, что, но всхлипывания и истерический хохот. Многие плачут молча. Я разговорился с Василием Матвеевым, отцом уходящего женатого сына. Поговорили о водке. Он пьёт и курит. — «От скуки». — Подошёл Аниканов староста и маленький, старенький человечек. Я не узнал. Это был рыжий Прокофий <Власов>. Я стал, указывая на ребят, спрашивать, кто — кто? Гармония не переставала — заливалась, все идём, на ходу спрашиваю у старичка про высокого молодца, хорошо одетого, ловко, браво шагающего: — А этот чей? — «Мой», — и старичок захлюпал и разрыдался. И я тоже.

Гармония не переставая работала. <Как барабаны в «Войне и мире» и как водка: «работа» на опьянение, бездумие людей, над которыми совершается мерзость военного призыва. — Р. А.> Зашли к Василию, он подносил водку, баба резала хлеб. Ребята чуть пригубливали. Вышли за деревню, постояли, простились. Ребята о чём-то посоветались, потом подошли ко мне проститься, пожали руки. И опять я заплакал. Потом сел с Василием в телегу. Он дорогой льстил: «Умирайте

здесь, на головах понесём”. Доехали до Емельяна. Никого, кроме ясенских, нету.

Я пошёл домой, встретил лошадь и приехал домой» (57, 157).

Впечатления от этой сцены, чувство беспомощности перед ней, после десятков лет антивоенного слова к современникам, Толстой выразил в очерке «Песни на деревне», датированном 8 ноября 1908 года, завершающемся такими строками:

«И только теперь, после этих двух слов Прокофия: “мой это”, я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туманное утро. Всё то разрозненное, непонятное, странное, что я видел, — всё вдруг получило для меня простое, ясное и ужасное значение. Мне стало мучительно стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище. Я остановился и с сознанием совершённого дурного поступка вернулся домой.

И подумать, что всё это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет долго ещё совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом» (37, 18 – 19).

---

## 12. 2. ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ: ПАЦИФИСТЫ И СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(Годы 1909 – 1910)

Сюжет этот — совершенно особенный для нашей темы. Возрастающие и развитие антивоенных воззрений писателя создаёт для исследователей ситуацию затруднения в определении хронологических рамок начала сознательного его протеста против лжи патриотизма и военного насилия. Если с годами юными и с начинающим писателем всё более-менее определённо, и это начало можно приурочить к публикации рассказа «Набег», то как раз с завершением антивоенных публичных выступлений всё неопределённо — прежде всего, по той причине, что само акцентирование традиционным толстоведением внимания на «пацифизме Толстого» неверно и заводит в тупик: чем ближе старец Лев становился к возлюбленному им образу апостола Иоанна, проповедника любви — тем очевиднее должно бы

быть пишущим о Толстом, что, несмотря на защиту отказников и протесты против принуждения их к службе, против милитаризации в технологиях и в головах — Толстой ощущал для себя пацифизм именно так, как должен ощущать, осознавать его последователь Христа: избыточным, нелепым, ненужным... Его «антивоенные» выступления всё труднее отделить от проповеди веры и любви: прежде сказанное против войны Толстой предпочитает повторять в связи с религиозной, христианской проповедью: в этом отношении, например, статья «Закон насилия и закон любви» возвращает читателей к универсализму слова «В чём моя вера?». Тем важнее для нас, дабы использовать шанс не раздуть сильно хотя бы эту, заключительную, главу нашей книги — остановить в самом завершении её внимание читателя на последнем значительном именно антивоенном выступлении Толстого-христианина и публициста. На наш взгляд, таковым был доклад Льва Николаевича, подготовленный для Конгресса мира в Стокгольме.

В начале июля 1909 г. председатель Организационного комитета XVIII международного мирного конгресса, назначенного на 14 (27) августа в Стокгольме, известил письмом Льва Николаевича об избрании его почётным членом конгресса и пригласил приехать на эти, уж точно последние в жизни Толстого, посиделки пацифистов. Неожиданно для окружающих и для самих организаторов конгресса Толстой решил принять приглашение. «Решил ехать в Штокгольм», — записывает он в Дневнике на 11 июля. Секретарь Толстого, Николай Николаевич Гусев, вспоминал:

«Я поеду, — сказал мне Лев Николаевич.

Сегодня же Лев Николаевич продиктовал мне письмо президенту конгресса, в котором говорит, что если только он будет иметь силы, то постарается сам быть на конгрессе; если же нет, то пришлёт то, что хотел бы сказать» (*Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М., 1973 С. 271*).

Толстой ответил на приглашение письмом от 12 (25) июля (пер. с французского):

«Господин председатель,

Вопрос, который подлежит обсуждению конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих лет. Я постараюсь

воспользоваться честью, которую мне оказали моим избранием, изложив то, что я имею сказать по данному вопросу перед столь исключительной аудиторией, как та, которая соберётся на конгрессе. Если силы мне позволят, я сделаю всё возможное, чтобы прибыть в Стокгольм к назначенному сроку: если же нет, я пришлю вам то, что хотел бы сказать, в надежде, что члены конгресса пожелают ознакомиться с моим мнением» (80, 23).

Примечательно, что, как и сам будущий Доклад Л. Н. Толстого в идейном его содержании, так и это даже, предваряющее поездку, письмо стали известны публике ещё до предполагаемого открытия в Стокгольме мирной конференции: стараниями журналиста Сергея Петровича Спиро (псевдоним: Сергеев; даты жизни не установлены) его текст, в русском переводе, был опубликован 2 августа в газете «Русское слово» (№ 177).

Немедленно Толстой принялся за составление доклада; 14 июля он набрасывает в Дневнике его программу:

«К Штокгольму: начать с того, чтобы прочесть статью, а потом новые письма отказывающихся, потом сказать, что всё, что говорилось здесь, очень хорошо, но похоже на то, что мы, имея каждый ключ для отпора дверей той палаты, в которую хотим взойти, просим тех, кто спрятались от нас за непроницаемой дверью, отворить её, а ключа не прилагаем к делу и учим этому и других. Главное, сказать, что корень всего — солдатство. Если мы берём и учим солдат убийству, то мы отрицаем всё, что мы можем сказать в пользу мира. Надо сказать всю правду: разве можно говорить о мире в столицах королей, императоров, главных начальников войск, которых мы уважаем так же, как французы уважают *m-r de Paris* <в *фр.* яз. метафорическое именование для палача. – *Р. А.*>. Перестанем лгать — и нас сейчас выгонят оттуда. Мы выражаем величайшее уважение начальникам солдатства, т. е. тех обманутых людей, которые нужны не столько для внешних врагов, сколько для удержания в покорности тех, кого мы насилуем» (57, 95 – 96).

Безусловно, Толстой знал, к кому едет — и что за Слово Божьей правды-Истины необходимо перед этой приглауренной, в костюмчиках, пацифистствующей аудиторией сказать, явно не рассчитывая на её симпатии и согласие!

Важно заметить, как здесь уже, в записи Дневника, и позднее, в черновиках Доклада, пересеклись две животрепещущие темы публицистических выступлений Толстого-христианина: война и смертная казнь.

20 июля 1909 г. Толстой записал в Дневнике:

«Сейчас для Штокгольма перечитывал и письмо к шведам и “Царство божие”. Всё как будто сказано. Не знаю, что ещё скажу. Кое-что думаю, что можно и должно. Видно будет. Читая же эти свои старые писанья, убедился, что теперешние мои писания хуже, слабее. <Как и всегда, когда уже устал повторять одно и то же бесконечным, похожим друг на друга недоумкам. – Р. А.> И, слава Богу, не огорчился этим. Напротив: буду воздерживаться от писания». 23 июля: «Диктовал заявление в конгресс мира (плохо очень)». 25 июля: «Потом начал писать для конгресса мира. Лучше, но слабо». 30 июля Толстой отмечает, что «закончил статью на конгресс». Однако, 1 августа он записывает: «Вечером прочёл вслух речь конгрессу — нехорошо. Нынче поправил. Лучше». 5 августа: «Вчера, 4-го, поправляя конгресс и, кажется, почти хорошо». В письме к В. Г. Черткову от 2 августа Толстой писал: «Я готовлю свой доклад, которым всё недоволен». Согласно дневниковым записям, Толстой начал работу над докладом 14 июля и закончил её в основном 30 июля, т. е. работал в течение двух недель. Несмотря на спешность работы, сохранилось значительное количество черновых рукописей, сопоставление которых с окончательным текстом доклада обнаруживает, что Толстой, работая очень напряжённо и ответственно, старался смягчать естественную резкость первоначальных редакций. Так, например, вычеркнут следующий абзац, снова сближающий антивоенный доклад Льва Николаевича с темой смертных казней:

«Человек молодой, здоровый, умный, свободный, ничем к этому не принуждаемый, из всех честных, чистых предстоящих ему деятельностей избирает военную и в знак своей принадлежности к этой профессии одевается в странную, пёструю одежду, навешивает себе через плечо орудие убийства и гордится этими знаками своей профессии (вроде того, как если бы палач в виде украшения носил бы на себе небольшую виселицу в знак своей деятельности и гордился бы этим). Вся жизнь такого человека проходит в приготовлениях к убийству, в обучении убийству, в самых убийствах, и чем больше его участие в этих делах, тем он больше гордится, вроде того как во Франции гордится M-r de Paris своей должностью, и тем выше он

поднимается в общественном мнении. Так это теперь. Но сознай люди ту простую истину, которую они все знают, но которая так скрыта от них, что не решаются высказать её и следовать ей, и тотчас же всё изменяется. Только признай люди то, чего нельзя не признать, что убийство всегда убийство и гадкое дело и что поэтому военное дело, всё посвящённое убийству, не может не быть дурным и позорным и что поэтому лучше всякая самая тяжёлая и грязная работа, чем деятельность, которая состоит только в приготовлении, поощрении и распоряжении убийствами» (38, 310).

Как только был закончен доклад, Толстой начал переводить его на французский язык, так как именно на этом языке он предполагал произносить доклад в Стокгольме. «Вчера переводил конгресс», — записывает он в дневнике 1 августа. 2 августа Д. П. Маковицкий записывает в своём дневнике: «Днём Л. Н. переводил по-французски и дополнял свой доклад “Съезду мира” в Стокгольме. Вечером просил Ивана Васильевича Денисенко помочь ему переводить, а Софье Андреевне предложил прочесть доклад на заседании съезда. Сказал, что на неё не будут грубо нападать (как на него). И кому же пристойнее прочесть, как не ей — жене» (*Маковицкий Д.П. Яснополяские записки. У Толстого. Указ. изд. Кн. 4. С. 27*).

К сожалению, у Софьи Андреевны Толстой, не разделявшей с супругом его чистой евангельской, Христовой веры, было своё воззрение на готовящуюся Толстого поездку к шведам и роль в ней мужа и собственную. Ниже мы вернёмся к этому сюжету, но скажем здесь же: возможно, и к лучшему, что в глазах чуждых, не желавших понять её мужа (она-то хоть понимала!) людей и существ она не сыграла этой дурацкой роли «русской Берты Зуттнер», «жены пацифиста», или чего-то подобного...

4 августа была получена телеграмма о том, что конгресс откладывается, и перевод доклада остался незаконченным. По наблюдению М. Чистяковой, сличившей тексты, «только первые абзацы доклада Толстой переводил с известной точностью; вскоре же перевод его обратился в самостоятельную творческую работу на французском языке, текстуально отличную от русского подлинника, некоторые абзацы которой представляют собой возвращение к первоначальной, резкой по форме, редакции» (*Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира // Литературное наследство. Том 37 – 38. Л.Н. Толстой. М., 1939. С. 610*). Например:

«Человек дома и занят своими делами. К нему приходят и говорят: вот тебе ружьё, иди и убей того человека, на которого я тебе укажу. Сомнительно, чтобы нашёлся один из тысячи, который, под самыми страшными угрозами, согласился бы совершить подобное убийство. Но тот же человек введён в состав полка. Его одевают, как тысячи людей, находящихся в тех же условиях, его заставляют ходить, бегать, прыгать через верёвку и спустя несколько месяцев, может быть, года, человек этот готов исполнять всё, что от него потребуют, и убивать всех, кого ему прикажут убивать. И вот эти то суеверия, обманы и внушения мы должны уничтожить» (38, 317).

Между тем, известие о решении Толстого принять личное участие в работах мирного конгресса в Стокгольме и слухи о новой статье, написанной им с этой целью, распространились с чрезвычайной быстротой и в России, и в прочем «цивилизованном» мире. Выше уже упомянутый Сергей Петрович Спиро, корреспондент газеты «Русское Слово», был откомандирован в Ясную Поляну для получения на этот предмет точных сведений. 30 июля он явился пред очи Льва... Мысленно послав нахуй навязчивого, уже знакомого ему газетчика (кстати, очень дотошного, но зато и правдивого, и уважавшего очень Толстого), Лев Николаевич подтвердил ему своё решение о шведах: «Это верно. Я получил от них приглашение приехать и избран ими почётным членом съезда. Доклад я пишу сейчас и ещё его не закончил». И далее, с «фирменной» толстовской откровенностью: «Если бы мой доклад был закончен, я бы дал его вашей газете, но вряд ли он мог бы быть у вас напечатан по цензурным условиям». Личное же участие его, как полагал Толстой, необходимо из-за резкости доклада: если его прочтёт равнодушная комитетская интеллигентская гнида, он уже точно не будет ни понят, ни принят (*Спиро С. П. Беседы с А. Н. Толстым. М., 1911. С. 27 – 28. – <https://www.prlib.ru/item/903572>*).

Вероятно, Лев Николаевич был здесь недалёк от истины. Слухи о содержании доклада Толстого, проникнув из России и в европейскую печать, произвели сенсацию. Очкатые, очкастые и очковые интеллигентские, пацифистские крысы в Стокгольме очень всполошились. Восхваления по адресу «великого русского писателя», новые разговоры о присуждении ему Нобелевской премии, о подготовке к его торжественной встрече прикрывали собой крайнюю тревогу и страх за то, как бы беспокойный гость своим выступлением не нарушил благопристойного течения конгресса.

В то же время, ошибочно преувеличивать значение этого страха перед словом Толстого. В том же интервью для Спиро Толстой указывает на главную помеху работе съезда, нежеланную тогда для него: «В Швеции теперь забастовка, а конгресс назначен на 14-е августа по нашему стилю. Вероятно, он будет отложен...» (*Там же*). Так впоследствии и получилось.

Решение Толстого о поездке в Стокгольм, возбуждавшее волнение в Европе, вызвало, вместе с тем, семейную драму в Ясной Поляне. Ещё 9 июля 1909 года Душан Петрович Маковицкий записал в своём дневнике: «После обеда Л. Н. сказал Софье Андреевне, что намеревается поехать в Стокгольм. Софья Андреевна отговаривала его с точки зрения его преклонного возраста, трудности перенесения мореплавания. Потом отнеслась двойственно и сама хочет ехать в Швецию. Вечером с Софьей Андреевной истерика: заперлась в комнате, никого не впускает; мы боялись, что отравилась» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 13*).

Художник Иван Кириллович Пархоменко (1870 – 1940), гостивший в Ясной Поляне с 19 по 21 июля, в своих воспоминаниях пишет: «Софья Андреевна поделилась со мной своей тревогой по поводу намерения Льва Николаевича отправиться в Стокгольм на конгресс мира:

— Не знаю, как его и отговорить. Ведь плыть туда надо от Либавы, так как в Петербурге теперь холера и требуется от всех, кто едет в Швецию через Петербург, чтобы они выдержали на судне девятидневный карантин. Главное, чего я боюсь, так это качки, — он её не переносит» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 611*).

Истерические состояния, однако, этим не объяснить. Были более глубокие причины для неприятия женой Толстого самой идеи поездки супруга в Швецию. Например, несогласие именно с религиозными, христианскими обоснованиями Толстым своей антивоенной позиции: самой Софье Толстой, урождённой Берс, москвичке и дочери лютеранина немца, был ближе именно европацифизм, либеральный, замешанный на протестантском переосмыслении церковно-христианской традиции, *не требовательный к личности*, к повседневному образу жизни мнимого поклонника *мира* — то есть, лукавый, лживый. Сущностно антихристианский — от антихриста, отца лжи! Наиболее же глубокая причина коренилась в особенностях всегда тяжёлого ей самой характера жены писателя: в прочности и



чувствительности тех «живых, трепетных нитей», которыми она связала себя с ним. В нежелании даже на время отпустить, давать свободу, терять контроль над любимым и самым близким человеком...

Была, наконец, и ещё одна возможна причина для изменения в эти дни поведения супруги Льва Николаевича — внешняя, не глубинная, но *очень* страшная в своих предпосылках, готовившая всему семейству Толстых главную катастрофу их жизни. На неё указывает не сильно симпатизировавший Софье Андреевне Толстой биограф Л. Н. Толстого, секретарь, друг и христианский единомышленник Николай Николаевич Гусев. Софья Андреевна незадолго до того, около 11 – 25 июня 1909 года, наводила справки о возможности, на основании давней, ещё от 21 мая 1883 г., доверенности от мужа на ведение имущественных дел, в том числе на издание его сочинений, продать это право третьему лицу. Ответено ей было самым неутешительным образом: письменная доверенность не предоставляла права собственности, равно как и полномочий на ведение судебных дел. Между тем Иван Васильевич Денисенко (1851 – 1916), муж племянницы Толстого, через которого Софья Андреевна наводила справки, около 14 июля пошептал об этом Льву Николаевичу, который тут же, в возмущении, пожелал составить «бумагу», в которой он мог бы объявить к общему сведению, что передаёт все свои произведения во всеобщее пользование. Об этом было скоро доведено до сведения Софьи Андреевны, у которой 18 июля последовал тяжёлый припадок. Угрожая мужу самоубийством, бедная Соничка потребовала полной передачи ей прав собственности на его сочинения. Лев Николаевич отказал ей. К 20 июля угроза лишиться семейного творческого наследства мужа и отца как-то связалась в возмущённом сознании любящей жены с его намерением ехать на конгресс мира в Швеции: резкое недовольство её в высказываниях касается теперь того и другого (*Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: В 2-х кн. М., 1960. Кн. 2. 1891 – 1910. С. 699 – 701*).

Иван Кириллович Пархоменко в своих записках отмечает тяжёлую атмосферу, царившую в семье в связи с настроением Софьи Андреевны.

Наконец, на исходе месяца разразилась буря.

«После обеда заговорил о поездке в Швецию, — записал Толстой в дневнике от 26 июля. — Поднялась страшная истерическая раздражённость. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся. Но, когда лёг в постель, спокойно обдумал,

решил отказаться от поездки. Пошёл и сказал ей. Она жалка, истинно жалею её. Но как поучительно» (57, 103).

Поучительность для Толстого-христианина описанной ситуации — в том, чтобы слушаться Христа, не связывая себя сердечными узами с родственными лишь по мирской жизни и по крови, а не по духу. Мысль Толстого о том, чтобы покинуть семейство, не оставляла его с середины 1880-х и превратилось в этот период в решение, которое крепло с каждым днём, и незадолго перед тем им совершена была одна из попыток к уходу. Софья Андреевна понимала, что, раз вырвавшись из-под её опеки, старец Лев может, воспользовавшись благоприятным случаем, уже не возвратиться к чуждым, духовно не близким людям — то есть, к семейке своей, к хищным, жадным в мамку, «берсятам» Сонички Берс (в замужестве Толстой), в оккупированную ими, давно отобранную у Толстого, Ясную Поляну. И потому, добившись от мужа отказа от поездки, она тотчас же предложила другой вариант (по внешности, как будто, заботясь лишь о нём, а не о себе): совместную поездку в Стокгольм.

«Пришла С. А., — пишет Толстой в дневнике от 2 августа, — объявила, что она поедет, но всё это, наверное, кончится смертью того или другого и бесчисленные трудности. Так что я никак уже в таких условиях не поеду» (Там же. С. 110).

В записях от 5 августа появился, позднее возмущивший до глубины души Софью Андреевну, образ Ксантиппы:

«Отчего Ксантиппы бывают особенно злы? А от того, что жене всегда приятно, почти нужно осуждать своего мужа. А когда муж Сократ или приближается к нему, то жена, не находя в нём явно дурного, осуждает в нём то, что хорошо. А осуждая хорошее, теряет la notion du bien et du mal [*фр.* понимание доброго и злого] — и становится всё ксантиппистее и ксантиппистее.

С. А. готовится к Штокгольму и, как только заговорит о нём, приходит в отчаяние. На моё предложение не ехать не обращается никакого внимания. Одно спасение: жить в настоящем и молчание» (57, 111).

Хорошее свидетельство того, что втайне Толстой справедливо придавал своей речи и поездке огромное, историческое значение и, в угоду любящей супруге, буквально «по живому», с огромным внутренним сопротивлением, «отрезал» себя от Стокгольма!

Проект совместной с женой поездки в Стокгольм Толстой считал, по-видимому, нереальным и относился к нему отчасти юмористически. Вернёмся к записи от вечера 2 августа в дневнике Д. П. Маковицкого: «Софье Андреевне [Толстой] предложил прочесть доклад на заседании съезда. [...] Софья Андреевна ответила, что для этого надо хорошо одеться. Смех со стороны женщин и крик, как проявляется женщина в Софье Андреевне». Однако, «в 11 часов ночи уехала Марья Алексеевна [Маклакова] в Москву, за деньгами и туалетами для Софьи Андреевны на дорогу», и затянувшаяся шутка перестала наконец быть смешной:

«Софья Андреевна делает вид, что едет из-за Л. Н. в Стокгольм, чтобы он не ворчал всю жизнь на неё. И говорит, что он перестал с ней говорить, но что она не будет брать на себя обязанностей по дороге: ни еду готовить, ни билеты брать. Поедет “багажом”» (*Маковицкий Д.П. Указ. соч. Кн. 4. С. 27 – 28*).

Ага! Тяжёлым чумоданом без ручки...

Неизвестно, как разрешилась бы сложная семейная ситуация в Ясной Поляне, если бы 4 августа не было получено известие о том, что конгресс, как и предсказал ему Толстой, был отложен аж на 1910 г., вследствие бессрочной забастовки рабочих в Швеции. «Я предоставляю всё судьбе. Я поездке не придаю особенного значения: в моём возрасте всё равно» — записал в этот день верный Маковицкий слова духовного учителя (*Там же. С. 30*). По всей видимости, Толстой желал внушить это и себе — молчаливо перебарывая в себе настоящее, и сильное, желание, как раз поехать на мирную конференцию! Он продолжал придавать большое значение для умонастроений и судеб мира своему публичному выступлению. За это косвенно говорит следующее обстоятельство. Некоторые газетчики, как можно было предвидеть, высказывали предположение, что одной из причин отсрочки конгресса явились опасения, вызванные предстоящим докладом Толстого и его появлением на конгрессе. Толстого это раздражало. Раздражение проявилось уже 6 августа в беседе о газетчиках и интеллигенции в целом с А. А. Стаховичем, привезшим в Ясную Поляну свежие газеты и сплетни:

«Интеллигенция — это презренная клика, которой через несколько десятилетий и помину не будет. Они <именно российская интеллигентская сволочь. – Р. А.> только повторяют то, что Европа сказала, сами своим умом не думают. Я получаю письма от интеллигенции:

одни глупости пишут, а нынче получил два письма от мужиков — полны смысла».

На возражения Стаховича, что Толстой сам интеллигент:

«Нет, я был офицером и орфографии не знаю. Я рад, что не интеллигент. Нет. [...] Зачем вы меня ругаете скверными словами? [...] 50 лет тому назад и раньше были декабристы, которые стыдились, что они крепостники. Теперь же интеллигенты не сознают греховности своего положения. Теперь 99 из 100 интеллигентов произошли из народа и сидят на его шее, пишут, изрекают слова, рассуждают. [...] Если я хочу православия, возьму катехизис, пойду к старцам. Если хочу болтовню, возьму газеты» *(Там же. С. 31)*.

Наблюдая раздражение и горячность мужа, Софья Андреевна выразила уверенность, что ему, в любом случае, не дадут ничего прочесть в Стокгольме — «остановят» *(Там же. С. 32)*. Сама она, при успокоительных известиях из Швеции, тоже сразу стала спокойнее...

Речь о городских щелкопёрах характерна, в том числе, и как дополняющее свидетельство для нас положительного, отчасти даже идеализирующего (помимо покаяний о военной службе ещё в «Исповеди»), отношения старца Льва к своей офицерской молодости и — по-прежнему — к декабристам. Но «болтуны» газетные задели его тоже нехило! Яснополянский Сократ имел основания и право придавать докладу своему немалое значение. И здесь же, в Дневнике Д. П. Маковицкого, в записях на 6 августа, мы находим свидетельства того, что он, на самом-то деле, с охоткой разделил «соображения» газетных сплетников! Вот это «скромное» признание духовного наставника преданному ученику — пощёптанное ему в глубоком секрете, в спальне, перед отходом ко сну:

«Я думаю, — это нескромно с моей стороны, — что в отложении конгресса играли роль не одни забастовки рабочих в Швеции, а и то, что я собирался приехать, и моё письмо к ним, и статья газеты (интервью Спино в «Русском слове»). Побоялись приезда. «Как нам быть с ним?». Прогнать нельзя. И отложили конгресс» *(Там же. С. 30)*.

Но, раз вцепившись в близкую, хотя и по-своему понимаемую ей тему, интеллигентская свора не могла скоро переключить внимания со старца Льва на что-то, не столь лакомое. «Анархо-пацифистского» скандала в Стокгольме не случилось... А ведь как многим из них хотелось! Вскоре за описанными событиями, концертная дирекция

Жюль Закса (Concert-Direction Jules Sachs), устраивавшая в Берлине доклады видных общественных и научных деятелей, в письме от 17 августа (н. ст.) обратилась к Толстому с предложением приехать после Стокгольма в Берлин (!) и там прочитать свой доклад, написанный для Мирного конгресса, гарантируя ему полную свободу слова. Дирекция Жюль Закса предполагала устроить в Берлине десять вечеров с докладом Толстого и предлагала ему на благотворительные цели по 5 000 франков за выступление. Толстой продиктовал Д. П. Маковицкому ответ, переведённый последним на немецкий язык:

«Так как конгресс отложен, а я приготовил доклад, который хотел сделать бы известным, я рад воспользоваться вашим приглашением, хотя приехать не сам, а попросить одного из моих друзей и единомышленников прочесть его в вашем собрании» (*Цит. по: Там же. С. 36. Подлинник письма утрачен*).

«Друг и единомышленник» стоил дешевле, а шуму мог наделать тоже немало. Конечно же, Дирекция телеграммой от 31 августа н. ст. ответила согласием. Одновременно с этим она форсировала, через органы печати, рекламную кампанию, продолжавшую утверждать о готовящемся приезде в Берлин... самого Толстого. В связи с этим редакция газеты «Morgen Post» телеграфно запросила Толстого, соответствуют ли действительности сообщения «Concert Direction Jules Sachs». Толстой ответил телеграммой: «Не могу приехать лично в Берлин. Поручаю одному другу прочесть в зале собрания Закс мою речь, приготовленную для конгресса мира в Стокгольме» (80, 59).

Рукопись доклада Толстой отправил своему другу Альберту Шкарвану для перевода на немецкий язык. Его же Толстой просил войти в переговоры с давним знакомцем по переписке, писателем и журналистом, религиозным анархистом Эугеном (Ойгеном) Генрихом Шмитом, которому и хотел поручить чтение своего доклада. Шкарван в письме от 2 сентября н. ст., сообщая о различных затруднениях, возникающих в связи с заместительством, просил Толстого приехать лично в Берлин для чтения доклада. «О моём чтении статьи не может быть и речи, — отвечал Толстой в письме Шкарвану от 26 августа ст. ст. — Я слишком слаб, и потом статья слишком ничтожна, и мне неприятно, что Sachs делает такой fuss из этого» <Англ. идиома: «the fuss around puss» — досл. «суета вокруг кота», т. е. шум и суматоха из-за пустяков. — Р. А.> (*Там же. С. 70*). Шкарван сообщал, что Шмит, вполне основательно, опасается репрессий — и

предпочёл бы, чтобы Толстой подставил под них свою, а не его, Шмита, пушистую задницу — как хотелось бы и дирекции «Жюль-Закса» (*Там же. Комментарии*). В письме к В. Г. Черткову от 31 августа н. ст. он писал: «В Берлине хотят прочесть мой доклад штокгольмский и делают или хотят сделать из этого особенный шум. И мне это неприятно. Я думаю, что доклад этот не стоит того» (89, 142).

Наконец, вполне по-интеллигентски посравшись, Э. Г. Шмит в письме от 6 сентября (н. ст.) выразил-таки готовность прочесть доклад Толстого, даже считая это за «честь», но, про себя не теряя совершенно других надежд, просил его лично подтвердить ему своё желание. Толстой отвечал ему 11 сентября н. ст. (пер. с немецкого):

«Дорогой друг,

Я вам очень благодарен за готовность и настоящим прошу вас прочесть в Берлине мой доклад, предназначенный для Стокгольмской мирной конференции.

Я не писал вам об этом в предыдущем письме потому, что хотел раньше узнать ваш ответ Шкарвану» (80, 78).

Шмит всё же не терял надежды развязаться с поручением «друга», сохранив если не честь, то хотя бы задницу. Уже в следующем письме, от 11 (24) сентября, Шмит извещал Толстого, что начальник берлинской полиции не разрешает чтения доклада без предварительной цензуры в том случае, если он не будет читаться лично Толстым. Полиция затребовала от дирекции рукопись доклада для просмотра на предмет смягчения и удаления неприемлемых, с её точки зрения, мест, при том особенно предупредив, что всё, относящееся к военнообязанным, ни в коем случае пропущено не будет (*Гусев. Летопись. 1891 – 1910. С. 713*). Дирекция, через Шмита, запрашивала у Толстого разрешения на посылку рукописи на растерзание в полицию. Толстой ответил письмом от 5 октября н. ст. (с немецкого):

«Дорогой друг,

К сожалению, я не могу согласиться на предложение Закса. Я желаю, чтобы моя речь была или оглашена целиком, без купюр и изме-

нений, или совсем не опубликовывалась. Передайте это Заксу и извините меня, пожалуйста, что я доставляю вам так много бесполезных хлопот.

Ваш любящий друг Лев Толстой» *(Там же. С. 105).*

Узнав такое решение «любящего друга», трусишка Шмит, наверняка, выдохнул шумно и с облегчением: на таких условиях чтение в Берлине уже не могло состояться... и не состоялось!

Несколько позднее доклад этот, с разрешения Толстого, был прочтён (на французском языке) Н. Н. Ге на антимилитаристском конгрессе в Биенне в Швейцарии, а затем напечатан в журнале «La Voix du Peuple» и в переводе на немецкий язык — в журнале «Der Sozialist», Bern, 1909, № 20. Председатель студенческого союза в Гельсингфорсе, Аксели Ялмари Никула (Akseli Jalmari Nikula, 1884 – 1956), либерал-националист, впоследствии известный психиатр, в письме от 4 октября 1909 г. просил у Толстого разрешения на перевод этого доклада на финский язык. «Наш студенческий союз, — писал Никула, — разделяет идеи полного мира и был бы очень благодарен, если бы вы предоставили ему честь перевести и выпустить ваш доклад тотчас после того, как ваш друг Шмитт прочтёт его в Берлине» *(Цит. по: Чистякова М. Толстой и европейские конгрессы мира. С. 613).* «Чтение доклада в Берлине, — отвечал Толстой, — отменено вследствие препятствия со стороны полиции. Доклад же будет напечатан одновременно на разных языках. Очень рад буду, если он появится и по-фински» *(80, 112).*

По отношению к шведскому конгрессу судьба статьи Льва Николаевича оказалась предсказуемо печальной. Конгресс состоялся в следующем, 1910 году, но, воспользовавшись тем, что лично Толстой на него не приехал, организаторы исключили из регламента конференции её озвучение. Конечно же, это воскресило версию о «страхе» участников конференции перед выводами Л. Н. Толстого, попавшую, тоже предсказуемо, в «Биографию Л. Н. Толстого» авторства П. И. Бирюкова, в виде такой хрестоматийной сентенции:

«Статья Л. Н-ча, которую он послал на конгресс, была получена, но на конгрессе её не читали. Умеренная и благонамеренная среда пацифистов, собравшихся на конгресс, была скандализирована “выходкой” Л. Н-ча, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали, — не должно быть войска. Это показалось им такую наивностью,

что, снисходительно улыбаясь и воздавая должное великому гению, они, пригласившие его на конгресс, не решились вслух объявить его мнение» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М., 1923. Т. 4. С. 191*).

Так или иначе, но доклад был впервые опубликован в 1910 году только в издании Русского народного университета в Лос-Анджелесе («Собрание статей по общественным вопросам за 1909 год»).

Настало время обратиться к самому тексту этого исторического выступления.

«Любезные братья, мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны» — так начинает Толстой своё выступление, уже этим обращением определяя настоящую степень близости к нему мнящих себя (и до сего дня!) «единомышленниками» пацифистов: вспомним, что обращения «Любезный брат» удостоился у Толстого в начале 1902 г. император Николай II. Толстой напоминает совести слушателей, что не они и им подобные, а трудовые народы их стран отдают войне «не только миллиарды рублей, талеров, франков, иенов, представляющих большую долю сбережений их труда, но самих себя, свои жизни» (38, 119). Следом, тут же указывая на нелепость стокгольмского сборища «десятка частных людей», намеревающихся победить так хорошо финансирующие и защищающие самих себя милитаристские правительства, памятующие, между прочим, «что то исключительное положение, в котором находятся они, т. е. люди, составляющие правительства, основано только на войне — войне, имеющем смысл и значение только тогда, когда есть война» (*Там же*).

В руках же немногих борцов может быть — только «одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина» (*Там же*). Которую, однако, следует высказывать, не по-интеллигентски и либерально, заигрывая с правительствами, обеспечивающими либеральным и пацифистствующим интеллигентам выгоды и приятности их положения в искусственной среде неотторжимой от государственности городской цивилизации, а — «всю, без всяких сделок, уступок и смягчений»:

«Истина эта во всём её значении в том, что за тысячи лет до нас сказано в законе, признаваемом нами Божьим, в двух словах: не убий, истина в том, что человек не может и не должен никогда, ни при каких условиях, ни под каким предлогом убивать другого» (*Там*



же. С. 120). Война при последовании сперва просвещёнными элитами, наставниками народа, этой Истине станет невозможной.

Прицелившись подобный образом, старый артиллерист Толстой, духовный воин Христа, бьёт уже прямой наводкой по хитрым головёшкам городской либерально-пацифистской сволочи:

«...Если мы, собравшиеся здесь на конгрессе мира, вместо того, чтобы ясно и определённо высказать эту истину, будем, обращаясь к правительствам, предлагать им разные меры для уменьшения зла войн или для того, чтобы они всё реже и реже возникали, то будем подобны людям, которые, имея в руках ключ от двери, ломались бы через стены» (*Там же*). Это прямое предательство интересов тех трудящихся народов, с трудов которых живёт, в том числе, и прикормленная с юных лет, казённо дипломированная, титулованная, всегда сытая, наряженная в костюмчики, собравшаяся на конгрессе либерально-пацифистская интеллигентская элита, составлявшая обыкновенный кворум всех подобных мирных конференций:

«Мы знаем, что все эти миллионы людей не имеют никакого желания убивать себе подобных, большей частью не знают даже того повода, по которому их заставляют делать это противное им дело, тяготятся своим положением подневольности и принуждения...» (*Там же*).

Игра в конгресс мира в описанных обстоятельствах нелепа и подла одновременно. Правительства, не умеющие удержать власть без насилий и войн, не захотят, распустив войска, самоуничтожиться. Они «будут с удовольствием слушать» пацифистский трёп, «зная, что такие рассуждения не только не уничтожат войну и не подорвут их власть, но ещё больше скроют от людей то, что им нужно скрыть для того, чтобы могли существовать и войска, и войны, и они сами, распоряжающиеся войсками» (*Там же. С. 120 – 121*).

Далее Лев Николаевич приводит обычные свои возражения на всегдашнюю же попытку прилепить к нему ярлык анархиста. Он напоминает смотрящим мимо Христа, с секуляризированными мозгами, «культурным» безбожникам о вере, «которую с особенным подчёркиванием исповедуют все люди, составляющие правительство», и которая несовместима «с составленными из христиан войсками, приготавливаемыми к убийству» (*Там же. С. 121*). Пацифистам, уж если им столь мило изуверство, «светское» безбожие, надо, что было бы логично, довести до народа свою позицию — тем разрушив не только

тысячелетний обман оправдания войн ложным, извращённым церковниками христианством, но и всякую веру в народе в Бога и Христа. Так, чтобы осталась лишь армейская дисциплина, подчинение начальствующим выдрессированных рабов — залог военных побед. Пусть же научат народ истинной своей, либеральной и интеллигентской, подлой вере, научат «верить только тому, что будет повелено, включая и убийство, разными людьми, случайно, по наследству ставшими императорами, королями, или по разным интригам, по выборам ставшими президентами, депутатами палат и парламентов» (*Там же. С. 122*).

Но и этого нельзя публично высказать членам конгресса, не выйдя из своей поганоподлой роли. *Нет* для этой роли выхода, кроме виноватого преклонения «элитарных» головёшек перед Божьей правдой-Истиной:

«Сказать, что христианство запрещает убийство, не будет войска, не будет правительства. Сказать, что мы, правители, признаём законность убийства и отрицаем христианство, никто не захочет повиноваться такому правительству, основывающему свою власть на убийстве. Да и кроме того, если разрешается убийство на войне, то оно тем более должно быть разрешено для народа, отыскивающего своё право в революции» (*Там же*).

Толстой предлагает сборищу обнародовать «воззвание», в котором следует «ясно, открыто не только повторить ту истину, о том, что человек не должен убивать человека, но и разъяснить то, что никакие соображения не могут уничтожить для людей христианского мира обязательность этой истины»; «что война не есть, как это признаётся теперь большинством людей, какое-то особенно доброе, похвальное дело, а есть, как всякое убийство, гадкое и преступное дело, как для тех людей, которые свободно избирают военную деятельность, так и для тех, которые из страха наказания или из корыстных видов избирают её» (*Там же. С. 122*). В адрес военных начальников, всякого офицера в воззвании должна прозвучать мысль, что их деятельность «тем более преступная и постыдная, чем выше положение, занимаемое человеком в военном сословии» (*Там же. С. 123*). Народу же следует напомнить, что, подчиняясь призыву на военную службу, они выбирают служение делу «кесареву» во вред и зло Божьему делу в мире, идя, пусть и невольно, «и против своей веры, и против нравственности, и против здравого смысла», в особенности потому, что

«вступают в то самое сословие людей, которое лишает их их свободы и принуждает поступать в солдаты» (*Там же*).

И снова Толстой органично соединяет две темы, в прежние периоды эволюции его антивоенных воззрений бывшие разделёнными: войны и смертных казней, «палачества». И тем, и другим, военачальникам и их рабам, следует, по убеждениям Льва Николаевича, вменить простую истину, уже открывшуюся людям, освободившимся от «суеверия военного величия»: о том, что «военное дело и звание, несмотря на все усилия скрыть его истинное значение, — есть дело столь же и даже гораздо более постыдное, чем дело и звание палача, так как палач признаёт себя готовым убивать только людей, признанных вредными и преступниками, военный же человек обещается убивать и всех тех людей, которых только ему велят убивать, хотя бы это были и самые близкие ему и самые лучшие люди» (*Там же*).

Подчеркнём, что это всё-таки соображение *рассудка* Льва Николаевича, вовсе не свидетельствующее о том, что для *чувств* его «ремесло» палача, исполнителя смертных казней по судным приговорам, не осталось, как и было с молодых его лет, всё-таки более отвратительным, нежели «палачество» военно-армейское. О совершенно обратном же свидетельствует тот простой факт, что, даже в условиях продолжавшейся милитаризации Европы, военных тревог накануне уже предвидимой многими Первой мировой войны тема именно военная у Толстого-публициста ощутимо отходит с середины 1900-х на второй план, в сравнении с тематиками смертных казней и, разумеется, с евангельской, христианской проповедью «закона любви» и единения в Истине, в вере живой. И последнее в жизни публицистическое выступление Толстого, как известно — статья «Действительное средство», связанная так же с тематикой смертных казней — так же о необходимости просвещения людей словом Истины, несовместимой с оправданием казней, а не только о казнях.

Значение конгресса мира Толстой видит именно в слове Истины, которое, как ни мала лепта, приблизит, вкуче со множеством других таких же слов, постепенно общественное сознание «цивилизованного» лжехристианского мира к признанию и принятию нового, именно христианского отношения к военной службе и войнам. Не владея в свою эпоху знанием о саморазвитии и кризисных точках в развитии сложных систем, Толстой прибегает к всё же довольно точ-

ному “химическому” сравнению. И тут же, кстати, вспоминает сказочку, нецензурную и страшную для халтурных правителей и в нашем 2023-м году:

«Каждое такое усилие, каждое такое слово может быть тем толчком в переохлаждённой жидкости, который мгновенно претворяет всю жидкость в твёрдое тело. Почему наше теперешнее собрание не было бы этим усилием? Как в сказке Андерсена, когда царь шёл в торжественном шествии по улицам города и весь народ восхищался его прекрасной новой одеждой, одно слово ребёнка, сказавшего то, что все знали, но не высказывали, изменило всё. Он сказал: "На нём нет ничего", и внушение исчезло, и царю стало стыдно, и все люди, уверявшие себя, что они видят на царе прекрасную новую одежду, увидели, что он голый. То же надо сказать и нам, сказать то, что все знают, но только не решаются высказать, сказать, что как бы ни называли люди убийство, убийство всегда есть убийство, преступное, позорное дело. И стоит ясно, определённо и громко, как мы можем сделать это здесь, сказать это, и люди перестанут видеть то, что им казалось, что они видели, и увидят то, что действительно видят. Перестанут видеть: служение отечеству, геройство войны, военную славу, патриотизм, и увидят то, что есть: голое, преступное дело убийства. А если люди увидят это, то и сделается то же, что сделалось в сказке: тем, кто делает преступное дело, станет стыдно, а те, кто уверял себя, что они не видят преступности убийства, увидят его и перестанут быть убийцами» *(Там же. С. 124)*.

Завершение речи Льва Николаевича стокгольмским политическим игрокам чем-то напоминает легендарное Галилеево «*Errur si tuove!*». Оно христиански смиренно, но и непреклонно перед лжами и насилием:

«Вот всё, что я хотел сказать. Очень буду сожалеть, если то, что я сказал, оскорбит, огорчит кого-либо и вызовет в нём недобрые чувства. Но мне, 80-летнему старику, всякую минуту ожидающему смерти, стыдно и преступно было бы не сказать всю истину, как я понимаю её, истину, которая, как я твёрдо верю, только одна может избавить человечество от неисчислимых претерпеваемых им бедствий, производимых войной» *(Там же. С. 125)*.

Лично своим докладом Толстой не воспользовался, и, когда в июне 1910 г. Толстой получил новое приглашение на конгресс в Стокгольме, он, мысленно послав пригласителей нахуй, ответил кратким

и учтивым отказом. Доктор филологических наук Ж. Бергман (J. Bergman, ? – ?), секретарь XVIII Всеобщего конгресса мира в Стокгольме, писал 16 (29) мая:

«Господин граф,

По распоряжению организационного комитета международного мирного конгресса, созываемого на 1 – 6 будущего августа, имею высокую честь пригласить вас, г. граф, принять участие в этом конгрессе. Все расходы по вашему путешествию мы берём на свой счёт и выражаем надежду, что вы пожелаете прибыть и на этот год, точно так же, как имели это намерение в 1909 году».

1 (13) июня 1910 г. приглашение это повторил и председатель организационного комитета конгресса барон Карл Карлсон Бонде (Carl Carlson Bonde, 1850 – 1913).

В тот же день Толстой ответил обоим лицам кратким письмом одинакового содержания:

«Милостивый государь,

Состояние моего здоровья не позволит мне предпринять путешествие в Стокгольм, и потому искренне сожалею, что я не могу воспользоваться вашим любезным приглашением. Всё же надеюсь, если мне удастся, представить Стокгольмскому конгрессу доклад по вопросу о мире» (82, 56).

В связи с этой перепиской Толстой снова обращается к своему прошлогоднему докладу и, не перерабатывая его, пишет особую статью в виде добавления к нему, о которой упоминает в Дневнике от 19 июля: «Писал ядовитую статью в конгресс мира». Статья, датированная в последнем черновике 20-м июля, не была закончена Толстым и на конгресс не посылалась.

Начало этой незаконченной статьи заключает в себе не только «ядовитость», но и много личной горечи, явившейся в результате целого ряда неудачных попыток апелляции не только к правительствам, но и к «просвещённому» буржуазному обществу Европы:

«Вы желаете, чтобы я участвовал в вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса. Доклад этот послан. Боюсь, од-

нако, что доклад этот не удовлетворит требованиям высокопросвещённых лиц, собравшихся на конгрессе. Не удовлетворит потому, что, сколько я мог заметить, на всех конгрессах мира мои взгляды, и не мои личные, а взгляды всех религиозных людей мира на этот вопрос, считаются под названием неопределённого нового слова антимилитаризма исключительным, случайным проявлением личных желаний и свойств некоторых людей и потому не имеющим серьёзного значения» (38, 419).

И далее чистый, евангельский христианин Толстой выводит формулу, разводящую его и его единомышленников с городской интеллигентщиной, либералами и пацифистами — жестоко, навсегда:

«Считаю выработку на конгрессах новых законов, обеспечивающих мир, бесполезным главное потому, что закон, несомненно обеспечивающий мир среди всего мира, закон, выраженный двумя словами “не убий”, известен всему миру и не может не быть известен и всем высоко просвещённым членам конгресса» (Там же).

В этом кредо сокрыто унижительное для «просвещённых» изуверов нашего лжехристианского мира обличение — в сознательном непоследовании Истине первоначального, евангельского учения Христа, которая долгие века от миллионов людей была сокрыта невежеством и церковными, поповскими перетолкованиями! Далее:

«Правда, что деятельность тех сотен людей, которые, следуя этому закону, отказываются от военной службы и подвергаются за это тяжёлым лишениям и страданиям, как мои друзья в России и в Европе (вчера только получил такое письмо от молодого шведа, готовящегося к отказу), не может интересовать высокопросвещённых членов конгресса, так как принадлежит к области антимилитаризма, я всё-таки думаю, что деятельность этих людей, не на словах, а на деле признающих закон *не убий* и потому ни в какой форме не принимающих участия в преступном деле убийства, одна только лучше всего удовлетворяет и требованиям каждой отдельной души, совести человека, а также и вернее всего служит и общему движению к добру и правде всего человечества, между прочим и той цели установления мира среди людей, которой заняты члены конгресса.

Вот это-то, любезные братья, мне, доживающему последние дни или часы моей жизни, и хотелось ещё раз повторить вам» (Там же. С. 419 – 420).

Заканчивается сохранившийся черновик краткой (слегка синтаксически корявой, но вполне понятной) формулировкой основного тезиса Толстого:

«... Нужны нам не союзы, не конгрессы, устраиваемые императорами и королями, главными начальниками войск, не рассуждения на этих конгрессах об устройстве жизни других людей, а только одно: исполнить в жизни тот известный нам и признаваемый нами закон любви к Богу и ближнему, который ни в каком случае не совместим с готовностью к убийству и самое убийство ближнего» (*Там же. С. 420*).

Если бы случилось тогда чудо, и все участники Конгресса сумели бы перестать лукавить, играть в сволочную либерально-интеллигентскую игру — они бы пожелали охотно выслушать это послание яснополянца, а выслушав, в молчаливом почтении бы разошлись, закрыв навсегда не только этот конгресс, но и все подобные посиделки! Но «любезные братья», конечно, не могли этого — как не мог послушать Толстого раб истории, «любезный брат» император Николай II в уже отдалённом 1902-м...

Заключительный тезис «Добавления к Докладу на конгрессе мира», установленный и разработанный Толстым с различной аргументацией во всех его высказываниях по вопросу европейского мира, с особенной яркостью и полнотой выражен в неопубликованном его письме к Джону Истгему, не отправленном адресату и сохранившемся в черновике. История его такова.

В апреле 1910 г. Толстой получил от действительного секретаря «Первого всеобщего конгресса рас» Джона А. Истгема циркулярное обращение:

«Милостивый государь,

При сем прилагаем номера «Outline» и «Launch». Мы будем очень рады, если вы сможете присутствовать на митинге в гостинице «Cecil» в Лондоне 18 следующего месяца. Но если это невыполнимо, то мы будем очень благодарны, если вы пришлёте нам несколько слов сочувствия для прочтения на собрании. Этот призыв к третейскому суду и миру должен был бы исходить от людей, стоящих за мир во всех странах.

Джон Истгем» (*Цит. по: Чистякова М. Указ. соч. С. 614*).

К письму прилагался печатный проспект «Первого всеобщего конгресса рас», открытие которого предполагалось в июле 1911 г. Затеянный английскими буржуазными политиками Первый всеобщий конгресс рас, маскируясь лицемерной фразой о единстве рас и мире, представлял собой попытку прикрытия и даже оправдания колонизаторской политики Британской империи.

Обращение Джона Истгема, весьма трафаретное по существу, вызвало чувство негодования у Толстого, ещё недавно относившегося, как мы помним, скептически, но всё же более сочувственно к начинаниям подобного рода. Он написал исключительное по резкости и силе ответное письмо Истгему (от 15 апреля 1910 г.):

«Получил ваш призыв прибыть или прислать слова поощрения и купон для ответа. Прочёл ваш план и не только не могу удержаться от желания высказать вам вызванные во мне чувства вашим призывом, не только не могу удержаться, но считаю своим долгом перед своей совестью и Богом высказать вам их.

Мне 82 года, я каждый день жду смерти, и потому прилично, учтиво лгать мне уже не приходится. Мало того, совесть требует сказать, насколько возможно громко, то, что я думаю о вашей забаве, — иначе не могу назвать вашу деятельность. Деятельность эта отвратительна, возмутительна.

Когда, во времена Наполеона I, военные люди гордились и хвалялись теми убийствами, которые они совершали на войнах, они были святы в сравнении с вами и всеми членами подобных вашему обществ. Те люди, во 1-х, верили в то, что война должна быть; во 2-х, сами готовы были ради того, во что они верили, на жертву, раны, смерть. Вы же ни во что не верите и тем менее в тот мир, который вы, будто, проповедуете, и готовитесь только к тем тщеславным забавам, которые, одурманивая людей, должны привлечь их в ваш лагерь.

Мир! Заботы о мире англичан, с их Индией и всеми колониями, или немцев, французов, русских, не говорю уже об покорённых народах, с их классами богатых и бедных рабов, которые удерживаются в своём положении только войсками, с восхваляемым патриотизмом всех этих и властвующих и покорённых народов.

Говорить о мире и проповедывать его в нашем мире всё равно, что говорить о трезвости и проповедывать её в трактире или винной лавке, существующих только этим пьянством.



Пока есть отдельные народы и государства, не может не быть войны. Прекратиться война может только тогда, когда все люди будут, как Сократ, считать себя гражданами не отдельного народа, а всего мира, и будут, как Христос, считать братьями всех людей, и потому — столь же невозможным убивать или готовиться к убийству каких бы то ни было людей и при каких бы то ни было условиях, как невозможно убивать или готовиться к убийству при каких бы то ни было условиях своих детей или родителей.

Прекратиться сможет война только тем, что люди перестанут, как теперь, смеяться над религией, воображая себе какую-то христианскую религию, заключающуюся в вере в искупление и другие глупости, а когда точно поверят в вечный и единственный, всем известный, общий, один закон Бога, выраженный не одним Христом, но всеми мудрыми и святыми людьми мира, закон о том, что все люди братья и потому должны любить, а уже никак не убивать друг друга. А признают люди этот закон, и война кончится, кончится потому, что не будет солдат. Всё это так просто и ясно. Но именно потому, что это просто и ясно, неискренние люди, дорожащие своим ложным положением, не хотят видеть этого.

$2 \times 2 = 4$ . Да, это правда, но ведь не в этом дело. Это ведь арифметика, но есть другие соображения. Человеку нельзя и не должно убивать ближнего! Кто же спорит с этим. Это правда. Но есть другие соображения — дипломатические, политические, так что отказываться от участия в убийстве не всегда целесообразно. Это будет антимилитаризм. А антимилитаризм нехорошо. А нужно совсем другое. И начинаются рассуждения... Стыдно и гадко. Простите меня. Знаю, что не надо было писать в таком раздражённом тоне, но не мог иначе. Простите» (81, 228 – 229).

Написав письмо Джону Истгэму, Толстой 15 апреля отправил его В. Г. Черткову, в котором просил Черткова перевести его и в том случае, если он найдёт его слишком резким, разорвать. На копии письма Толстого к Джону Истгэму, перепечатанной с черновика-автографа, рукой А. П. Сергеенко, работавшего в качестве секретаря Черткова, имеется надпись: «В. Г. Чертков, найдя, что письмо к Джону Истгэму действительно резко, написал другое письмо, как бы по поручению Льва Николаевича, и послал его Л. Н. Л. Н. совершенно одобрил его и сам его отправил из Ясной Поляны. Своё же письмо он оставил непосланным» (Цит. по: 81, 230).

Можно усматривать в этом и деспотическое влияние В. Г. Черткова — возможно, отведшего толстовский гнев от какого-то своего английского мутного дружка. Но будем помнить, что такие эмоциональные письма или статьи Толстой, чаще всего, и писал вчерне, словно «для себя», приводя в порядок мысли и чувства, и не отправляя — как не отправил свой немилостивый, хотя и праведно-гневный удар и Джону Истгему. И даже, как видим, просил простить его в конце черновика — через расстояние... простить в одних лишь эмоциях своих.

Это смиренное, христианское «простите» в адрес справедливо изобличённых им пацифистов — хотя Толстой ещё и не подозревал о том — стало и его долгожданным прощанием с поприщем антивоенного витии, пытавшегося быть понятым хотя бы теми, кто *полагал* его своим союзником и единомышленником. Событийная канва ещё не прерывается и голос Толстого продолжает звучать. Но попытка личного участия в Конгрессе мира, унижительно пресечённая близкими людьми и подготовка доклада, унижительно же замолчанного многолетне идеализировавшимися «попутчиками» на *пути к миру во всём мире* — последнее из числа исторического, выдающегося, что было сделано Толстым именно под лозунгом, незримо сопровождавшим его всю жизнь: **НЕТ ВОЙНЕ!**

Ясная Поляна. 31 июля 2023 г.

## **ЗДЕСЬ КОНЕЦ ДВЕНАДЦАТОЙ, И ПОСЛЕДНЕЙ, ГЛАВЫ**



## **КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бог есть то неограниченное Всё,  
чего человек сознаёт себя ограниченной частью.  
Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его  
в веществе, времени и пространстве.

Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь)  
соединяется в проявлениях (жизнями) других существ,  
тем больше он существует.

Соединение этой своей жизни с жизнями других существ  
совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек  
проявляет Бога, тем больше истинно существует.

*(Дневник. 31 октября 1910 г., 1 ч. 30 дня. Астапово)*

Аще же согрешит к тебе брат твой,  
иди и обличи его между тобою и тем едином:  
аще тебе послушает, приобрёл еси брата твоего;  
аще ли тебе не послушает, поими с собою еще единого или два,  
да при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол:  
аще же не послушает их, повеждь церкви:  
аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь.

*(Мф. 18: 15 – 16)*

Да избавит нас здесь читатель, прошедший, по этим страницам,  
весь путь с Львом Николаевичем в эволюции его антивоенных воз-  
зрений, от Заключения подробного и пространного. Мы считаем вы-  
полненными задачи нашего монографического исследования, вклю-  
чая главную: представления читателю этого развития воззрений  
именно как пути к вере, к христианскому религиозному пониманию  
жизни, и исповедничества открывшихся разуму писателя и старого  
офицера евангельских истин.

Смысл жизни человека как дитя и работника Божия в мире —  
жизнь и труд в воле Отца. Условия учения и самого сотворческого

труда — доверие Мастеру и Творцу и любовное единение детей между собой. Страх, недоверие, озлобление, разделение, зависть, жадность и пр. — всё признаки недоверия Отцу, Богу и неверия в Христа, в учение о благе. И эти же проявления неверия, в их системной организации, порождают вооружённые орды и укреплённые места из дислокации с награбленной добычей. Городов, оружия, войск не может оттого быть между христианами — так как города, государства суть развитие тех же злокачественных, восходящих к первобытному зверству человека, отношений с миром и «другими». Как следствие, не может промежду христиан быть и типичных городских движух — каким от основания и является пацифизм.

Победа над войной для Толстого, для истинных христиан Христа, а не попов и богословов — в победе над иллюзией другого и в утверждении понимания, что мир и все мы равно живём в Боге, и не просто живём в Боге, а *единосущны* Ему. Всякий «другой» есть ты же.

С этим пониманием уходит из жизни князь Андрей Болконский в романе «Война и мир» — потому что автор его в 1860-х сам ещё не созрел для той истины, к которой подвёл, и «подтолкнул в спинку», возлюбленного своего персонажа. Та же точка зрения праведника Христова, уже значительно полнее вербализированная, открывается в 1877-м Константину Левину. Этому же осознанию всеединства в Отце посвящены не одни теоретические рассуждения старца Льва, но и некоторые художественные позднейшие его писания. Возьмём за образец рассказ-притчу «Ассирийский царь Ассархадон». Он заимствован Толстым из немецкого теософского журнала «Theosophischer Wegweiser» (№ 5 за 1903 г.) и иллюстрирует знаменитое индуистское «тат твам аси» (*санскр.* तत् त्वम् असि; *англ.* tat tvam asi: «ты есть это») — идею духовного родства душ и, как следствие, невозможность применения насилия по отношению к живому существу. Но нет религии выше истины, и тот же принцип мы находим и в христианстве — но не для индивидуальных духовных практик, а для жизни «большого общества», у христиан безгосударственного: общин и Церкви.

Асархаддон (аккад. Ашшур-аха-иддин (Aššur-aha-iddina), букв. «Ашшур даровал брата»; *библ.* Асардан) — царь Ассирии, правил приблизительно в 680 — 669 годах до н. э. Сам он, как и покорённый

им царь Лаилиэ, правитель одного из аравийских племён — лица исторические. В 676 году до н. э. войска Асархаддона вторглись во владения аравийских арабов. Несколько правителей было убито, а их сокровища и статуи богов ассирийцы вывезли в Ниневию. Подлинный Лаилиэ, по всей видимости, пошёл на примирение с победителем: известно, что Асархаддон вернул ему статуи и земли, а также назначил своим ставленником.

В сказке всё значительно завлекательней. Асархаддон берёт Лаилиэ в плен и обдумывает для него способ казни. Ночью к нему является, миновав стражей, «с длинной седой бородой и кроткими глазами», который открывает ему подробности жизни и мышления обречённого пленника и доказывает, что нельзя уничтожить казнью вечную жизнь — ни в себе, ни в жертве — а мучая Лаилиэ, Асархаддон вредит больше самому себе.

Под чарами гостя, в купели, Асархаддону снится, что он Лаилиэ. Под влиянием лукавого или нерасчётливого советчика он затевает войну с Ассархаддоном и попадает в плен... В клетку, а скоро — и на место казни, с окровавленным колом... Нравоучение не заставляет себя ждать:

«— Понял ли ты теперь, — продолжает старец, — что Лаилиэ — это ты, и те воины, которых ты предал смерти — ты же. И не только воины, но и те звери, которых ты убивал на охоте и пожирал на своих пирах, были ты же. Ты думал, что жизнь только в тебе, но я сдёрнул с тебя покрывало обмана, и ты увидал, что, делая зло другим, ты делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой одной жизни. И только в этой одной части жизни, в себе, ты можешь улучшить или ухудшить, увеличить или уменьшить жизнь. Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — *любить их*. Уничтожить же жизнь в других существах не в твоей власти. Жизнь убитых тобою существ исчезла из твоих глаз, но не уничтожилась. Ты думал удлинить свою жизнь и укоротить жизнь других, но ты не можешь этого сделать. Для жизни нет ни времени, ни места. Жизнь мгновения и жизнь тысячи лет, и жизнь твоя и жизни всех видимых и невидимых существ мира равны. Жизнь уничтожить и изменить нельзя, потому что она одна только и есть. Всё остальное нам только кажется.

Сказав это, старец исчез» (34, 129 – 130).

Но тут же автор разумно указывает на ограничение для того, кого настигла подобная истина: «царь Асархадон велел отпустить Лаилиэ и всех пленных и прекратил казни» (Там же. С. 130). Но после этого отрёкся от царства в пользу взрослого сына, знаменитого Ашурбанипала (правление: 669 – 627 до н. э.) — которому отчего-то никакие старцы с воспитательными глюками не явились и который, как исторически достоверно известно, правил отнюдь не вегетариански.

Сам царь, отделавшись от мирской обузы, удалился в пустыню — обдумать услышанное. «А потом он стал ходить в виде странника по городам и сёлам, проповедуя людям, что жизнь одна и что люди делают зло только себе, когда хотят делать зло другим существам» (Там же).

Величие мирской власти, альтернативы которой для людей древности не было — уводит от актуализации в твоей частной жизни великих и вечных истин.

То же самое касается, кстати сказать, величия личного — гения человеческого, например, как писателя, художника. Недаром сама идея отречения от «животной личности», христианских единения, общины и особенно церковности давались Толстому тяжело: он себя не мог представить равным с простецами, чувствуя и понимая особость своих, Свыше, даров и своего поприща. Приведённое нами в эпиграфе Заключения определение Бога — это для Толстого “конечный вывод мудрости земной”, одна из последних, надиктованных с одра смерти в Астапово. Не совсем, как израненный, гибнущий князь Андрей: в 82 года, на библейском *пределе жизни*. Но «предельна» ли, до несовместимости с жизнью, сама истина об иллюзорности всех наших оснований для зависти, вражды и, конечно же, военного насилия?

Ведь в повседневной, реальной нашей жизни есть и ещё одно, и самое фатальное, ограничение в отождествлении себя и «другого», оговорённое даже Евангелием (см. второй эпиграф здесь же): своевольное уклонение человека или общности от исполнения законов любви, единения и смиренной взаимности повседневных жертв, от *усилий братства и равенства*, дарующих наградой истинную свободу — не «индивида», а сочленов христовой Церкви. Очень показательны в этом отношении, что, вместе с другими двумя сказаниями, Толстой опубликовал «Царя» в 1903 г. в Варшаве, в благотворительном сборнике «Гилф» («Помощь»), выпущенном для сбора средств в помощь жертв кишинёвского погрома. В великолепном переводе на идиш

Шолом-Алейхема... Евреев трудно было «раскошелить» иначе — даже для этнически и религиозно «своих». И именно от евреев же в церковное лжехристианство перешёл «ветхий Адам» человеческой природы: те суеверия обособления территориального, этнического, «национального», обрядового и проч. — которые и в XXI столетии приводят на Земле к самым страшным войнам и даже геноциду. Эта зараза, в отличие от христианских нравственных табу, пережила на России даже десятилетия навязчивого атеизма — и современные подпутинские жадные мародёры, насильники над Украиной, убийцы (и одновременно подлые рабы тётки «родины») руководятся теми же суеверием и иллюзией разделения.

В связи с этим же, сознательным увёртыванием людей от истины о единстве всего разумного, и даже всего живого — стоят и городские движения, такие как феминизм или пацифизм. Внимание к последнему! По статистике, самые типичные и массовые жертвы, убитые или искалеченные в 2022 – 2023 гг. в Украине — это люди, которых соблазнили или погнали на убой, руководствуясь или их невежеством, простечеством, или незащитным положением, или сочетанием того и другого. Типичный житель удалённого села, деревни, тем более из неблагополучной семьи, может до 18-20 лет не узнать даже ничего о пацифизме и об Альтернативной Гражданской Службе. И не сумеет отстаивать свои права — так, как получится у благополучного жителя Москвы. А между тем эта сволочь, этот, отмазавшийся «по пацифизму», московский говнюк будет знать, понимать, что где-то, незримо для него, погибает за него лучшая, чистейшая, достойнейшая живая жизнь, но самоуверенно-презрительно относиться к обречённому ровеснику, угодившего по невежеству и отсутствию поддержки на войну — не то, что как к «другому», но и как к чужаку, почти врагу. Пацифизм и куцая светская мораль не научат его тому же, что он мог бы почерпнуть из Евангелий и от честных христианских воспитателей. Потом живёт этот европацифист дальше, и активно, для своей персоны, своих самки и помёта выщенок, своего «бизнеса» и т. д. — пользуется системным насилием полицаев, судилищ, тюрем, войска... при этом, скорее всего, уже хорошо понимая настоящие смыслы чистого, евангельского учения Христа... но не считаясь с ними! Паразит городской проживёт, пожрёт из городских супермаркетов, разгорится на свою самку похотью, и, наконец, выплодит и воспитает ещё худших паразитов, продолжение, единосущное в звере себе, самим собой любимому...

Детёнышей того же самого, пошлого и гнусенького, вида хомо сапиенс, и того же качества. Ещё и ещё таких же гавриков, как те, кто давно перенаселили собой Землю и ведут подлинную *войну* (в прямом, не метафорическом смысле!) не только друг с другом, в завуалированных формах торговли и всякой конкуренции, но и с другими видами живой природы — равными перед Богом в отнимаемом у них человечеством праве на жизнь!

А села, и без того вымирающего, из которого погнажи на убой молодого, не испорченного паренька, могущего ещё стать честным работником — скоро не станет... Где для Христа *чужие*, где *свои*? Обреки Отец Бог Москву или Петербург очищению, как древние Содом и Гоморру — многих ли Спаситель вывел оттуда праведных?

Это самое страшное, самое неприятное Толстому из того, что приходилось признавать: сознательная до цинизма, часто и расчётливая, *преднамеренность зла* в человеке. Безверие загоняет в города. В городах же, в искусственной толпе, невозможно делается исполнение христианского закона как в отношении труда, так и в отношении ближних. И христианское неизбежно подменяется низшим, языческим и еврейским. А на гнилом этом фундаменте культивируются движухи, все якобы «за мир и равенство» — но уже всеми условиями, в которых они происходят в городах, указывающие на невозможность для их участников того и другого. Приятные игрища по правилам. Но без готовности той жертвы, на которую пошли некогда болгарин Шопов или русский учитель Дрожжин — над которыми, в заключении, издевались мундированные садисты, и Шопову подорвали здоровье, а Евдокима Дрожжина погубили до смерти. Городской же пригладурш в путинской России, новоиспечённый «пацифист», не будет отправлен в сумасшедший дом или тюрьму, не уедет даже в ссылку в Сибирь — из родного Ленинграда или возлюбленной Москвы...

Как лучшие Львята отче Льва, так и всякий последовательный христианин, в отличие от холёного современного, подпутинского пацифиста, привык чувствовать жизнь — себя, и всехнюю, и всего живого, и мира в целом — в Боге, *жизнь вечную*, и оттого не побежит от таких страданий, не посчитает их злом. Именно эта *готовность жертвы ради познанного всеединства* делает прочными любые ан-



тивоенные усилия. Не только единожды, к жертве жизнью, а, главным образом — именно к христианской жертве: смиренной, в повседневных мелочах...

Без воспитанного *чувствования* древнего *tat tvam asi* такая смиренная, повседневная жертва делается невозможной, и... остаются лишь кабинетные писания, той или иной степени талантливости, да благие пожелания, да злая игра современных городских пацифистов в России, по поводу закона об АГС, пренебрегаемого в исполнении самой тётёй «родиной» — отмазывающих от службы «своих», кто может за себя постоять, кто имеет неформальную поддержку, и тем вероятнее, неизбежнее подставляющих под военное рабство тех, у кого знаний и возможностей, включая денежные, заведомо не достанет!

Пацифисты такие для Л. Н. Толстого, безусловно, были бы *чужими*, злонамеренно *внешними* по отношению к доступной им, но не признаваемой Истине учения Христа — по сравнению даже с любым честным молодым военным служащим, которыми старец Лев, получая эстетическое удовольствие, не без ностальгии любовался встречая на улицах Москвы или Тулы, на большой дороге... Любовался стройностью этих молодых человекообразных, смышлёных зверят, мундирами их, статью, и, конечно, тем самым, памятным по юности *молодечеством*, из которого, как бабочка из червя, возрастают безусловные ценности личных мужества, честности, храбрости — необходимые христианину для отстаивания права своего не отдавать Божьего кесарю! С того момента, когда казённое животное поймёт, что оно человек — дитя и работник Бога.

Но и пока не поняли, они всё же — *свои*. Пока влекутся не сознательно, а по примеру старших, по наторенной ими, старшими, дороге жизни. В них нет *злонамеренности отрицания* Истины. Собственный опыт военной службы помогал Толстому почувствовать этих ребят — собой же, на пройденном им этапе пути. Тем ценнее были для него те, кто быстрее сверстников проходил этот, в потенциале общий, путь, и снимал с себя мундир, отрекался от оружия — уже на ранних шагах. Понимал, что это *не ego* стезя... и вообще не тот Путь Жизни, который был бы достоин человеческого звания.

В Заклучении книги хорошо бы охарактеризовать, повторяясь, хоть вкратце, и сами эти поприща отче Льва ко Христу: от ранних кавказских рассказов до «Хаджи-Мурата». От осознания себя, как

Лермонтов, «право имеющим», гением Слова, наиболее Божественного орудия... до столь тяжело дававшегося и в старости смирения перед Богом и Христом, отказа от уникальной, бесценной своей личности и от безусловных в миру прав гения. Тех самых, от которых, в известном письме, умолял его перед кончиной не отворачиваться коллега по перу, Иван Сергеевич Тургенев... Мы сознательно не делаем здесь этой дополнительной итоговой работы, оставляя Заключение максимально кратким, и выражая здесь авторское пожелание, чтобы читатель не ограничился знакомством со вступительной частью и Заключением нашей книги, а прошёл бы со Львом Николаевичем Толстым весь тот *путь к очевидности* единственного настоящего, неразрывно во Христе и в Истине, освобождения от угрозы и бедствий солдатского рабства и самых войн, который прошли мы, не спеша и радостно, за полные, не считая вынужденных перерывов и редакторской работы, девять месяцев рождения её — в Божий мир и ради мира, как естественного условия служения сына человека Отцу, всевышнему Богу.

*Роман Алтухов.*

*Ясная Поляна – Тула.*

*9 сентября 2022 г. – 6 августа 2023 г.*

**К О Н Е Ц**

